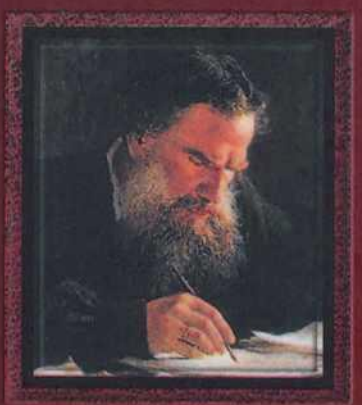
2 04 – 32 / 198

Лев Толстой

ЗАКОН НАСИЛИЯ И ЗАКОН ЛЮБВИ

О пути, об истине, о жизни



Книга для чтения

РИПОЛ
КЛАССИК

Из истории философии

и религии

нкфоэогнф нн^отан сН

i;- ■■
■■я:
V-

'0'^

■из

■W

04-32

198

Лев Толстой

ЗАКОН НАСИЛИЯ И ЗАКОН ЛЮБВИ

О пути, об истине,

о жизни

Книга для чтения

Ч

РИПОЛ
КЛАССИК

МОСКВА
2004

УДК 141.4
ББК 86.2
Т53

В оформлении использован фрагмент портрета Л. Толстого работы художника Н. Ге 1884 г.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
2004

Толстой Л. Н.
Т53 Закон насилия и закон любви: О пути, об истине, о жизни/Сост. и предисл. О. А. Дорофеева. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.— 944 с.: ил.

ISBN 5-7905-2283-1

В сборник включены произведения, принесшие мировую славу великому русскому писателю.

И сегодня размышления Л. Н. Толстого о жизни, смерти, религии, долге, любви стоят в одном ряду с учениями Будды, Христа, Конфуция и других мудрецов.

УДК 141.4
ББК 86.2

2010087565

ISBN 5-7905-2283-1

) Дорофеев О. А., составление, предисловие, 2004
) Издательский дом «РИПОЛ КЛАССИК», оформление, 2004

КОВЧЕГ ЗАВЕТА

ДВА ПОПРИЩА НА ПУТИ К ТОЛСТОМУ

И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

Матфея, V, 41

Свинья *(кобенится).* **Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит?**

Правда. Правда, свинья.

Свинья. Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?

Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!

Прохору **Свинья. Ой ли?** *(Авторитетно.)* **А по-моему, так все эти солнцы — одно лжеучение...**

М. Е. Салтыков-Щедрин

Страшно писать о Толстом. Чем меньше его знаешь, тем легче судишь о нем, чем больше узнаешь — тем все меньше чувствуешь себя вправе о нем судить.

И тем удивительнее то железное бесстрашие, с которым пишут и говорят о Толстом вот уже лет сто. Как раз век назад (точнее, в 1900 г.) издатель и журналист А. С. Суворин, втихомолку мудрый, тертый калач Суворин, написал в своем дневнике об одном из бесстрашных: «Я завидую Ник. Конст. Михайловскому. Как он великолепен в своих воспоминаниях, с какой высоты своей он говорит о Некрасове, о Толстом. Иван Великий, Хеопсова пирамида! Пирамидальный человек!» Вот именно, именно! Когда перебираешь в памяти все читанные и слышанные суждения о Толстом, возникает впечатление, что он угодил в какую-то страну пирамид. Так что удивляешься, право, отчего у нас по сей день только одна «Война и мир», отчего их не сотни и тысячи.

Понятно, конечно: это пирамидальное бесстрашие сродни бесстрашию шляпного мастера, который бы решил, что он уже достаточно осведомлен о строении человеческой головы, чтобы заняться нейрохирургией,— тут греха шляпой не покроешь. И тем не менее удивительно. Ведь о Достоевском, например, о Пушкине или о Гоголе все-таки в основном судят как-то аккуратнее, скромнее, человечнее, с большей готовностью понять (если не брать в расчет ребяческое оригинальничанье, распираемое своим собственным *Я* и кроме него, любимого, не желающее понимать никого и ничего). Но как только речь за

ходит о Толстом — сейчас наскочишь лбом на каменную плоскость пирамиды. Отчего это? Очевидно, эта пирамида сложена давно, заранее, так что любой шляпник может быстренько на нее вскарабкаться и с ее вершины погрозить пальчиком Толстому. Конечно, так оно и есть. Но из чего, из каких материалов сработана сия твердыня? О, об этом так сразу не скажешь, об этом позже. Но вот чертеж, по которому она сложена, известен всякому закончившему советскую школу (а все, кого сегодня в России может интересовать Толстой, вышли в основном оттуда). Схема очень проста. Вот в каком виде она застревает в юных головах: граф Лев Николаевич Толстой — «великий писатель русской земли» (Тургенев), в этом качестве он создал роман-эпопею «Война и мир», семейный роман «Анна Каренина» и др.; но потом старик впал в маразм; правда, будучи в маразме, он как-то ухитрялся заниматься «срыванием всех и всяческих масок» (Ленин), но в общем блажил; рисовые котлетки, «Пахать подано, ваше сиятьство» (фольклор), «юродивая проповедь непротивления злу насилием» (Ленин) и все такое прочее. Современная школа может что-нибудь придумать в смысле идеологической перекраски, но саму эту схему, железную в своей вульгарности, она сломать не может — потому что не было и не могло быть такой директивы. Схема эта очень удобна уже тем, что позволяет сказать две-три снисходительные фразы о Толстом и не открыв ни одной его книги; уж во всяком случае пирамидальный невежда решает: какой смысл читать то, что старик нагородил в маразме, если клинические наблюдения давно проведены и диагноз поставлен? И вот результат; незнание, полузнание, щебенка вторичного знания (суждения, почерпнутые из учебников и литературы о Толстом, обрывочные и искажающиеся от бесконечного хождения по кругу, как при игре в испорченный телефон) — какой великолепный все это материал для возведения пирамиды! Правда, материал этот не слишком прочный, но зато его много.

Как не вспомнить тут маленький эпизод из яснополянских семейных летописей. Один из сыновей Толстого, Илья, был совершенно обделен музыкальными способностями. Сколько с ним ни бились, все шло не впрок. И вот как-то Толстой, работая в своем кабинете, услышал нечто невообразимое — страшно фальшиво, но страшно громко, открытым звуком, безостановочно-упоенно Илья барабанил на фортепиано Шопена. Толстой заглянул в комнату, откуда лились эти вдохновенно-дикие звуки, и сразу понял что к чему. В комнате, кроме Ильи, был столяр Прохор, вставлявший рамы в окна, и это перед ним захотелось блеснуть Илье, это ему, старому Прохору, посвящался этот небывалый музыкальный фейерверк. «С тех пор,— вспоминает Т. Л. Сухотина-Толстая,— если кто-нибудь из нашей семьи хотел поразить весь мир или заставить восхищаться своей персоной, ему говорили: „Это для Прохора"».

Если б знал старый добрый Прохор, сколько концертов, больших и малых, будет еще исполнено в его честь, сколько слов о его знаменитом барине будет написано и сказано будто бы для читателей, будто бы для слушателей (для широкой аудитории или частных собеседников), а на самом-то деле — все для него, все для Прохора. Так что, пожалуй, можно бы было без особых усилий составить огромную, многотомную антологию трудов и высказываний о Толстом под общим названием; «Для Прохора».

Странная история вышла у нас с Толстым. С ним случилась та же беда, что и со знаменитым Царь-колоколом — печальным утешением национальной гордости великороссов, которое выставлено на обозрение в Московском Кремле. Вот ведь — не пожалела когда-то держава металла, да и мастера не оплоша

ли — отлили колокол на славу, украсили его изображениями царя Алексея Михайловича и матушки Анны Иоанновны, дивными орнаментами и надписями. Колокол, понятное дело, получился самый большой в мире. Но вышло — как всегда. Случился пожар, колокол треснул, и от него отвалился здоровенный ломоть в семьсот с лишним пудов. Так и провалялся сто лет в литейной яме этот колокол-гигант. Потом, уже при батюшке Николае Павловиче, его с превеликими трудами вытянули из ямы и установили на постамент. С тех пор любуемся. С тех пор можно восхищаться его грандиозными размерами, можно обходить кругом, читая надписи, повествующие об истории его создания-, можно дивиться сложности и изяществу рельефов, можно взвещивать его, замерять высоту и диаметр, можно даже слазить внутрь с фонариком и осмотреть его чрево. Одного только нельзя — услыщать его голос.

Льва Толстого не раз сравнивали с колоколом. И сам он в апреле 1889 года записал в дневнике; «Созревает в мире новое миросозерцание и движение, и как будто от меня требуется участие, провозглащение его. Точно я только для этого нарочно сделан тем, что я есмь с моей репутацией,— сделан колоколом». И раз так, то уж конечно — Царь-колоколом. Тут достаточно вспомнить знаменитую дневниковую запись Суворина (от 29 мая 1901 г.): «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии».

Впрочем, в нащи времена повальной и заразительной, как сыпной тиф, болтовни и столь же массовой самодовольной глухоты трудно, да почти невозможно понять и почувствовать, чем был Толстой для России тогда, столетие назад. И потому нелищне привести еще хотя бы несколько свидетельств.

Вот, например, что писал Чехов М. О. Меньшикову в январе 1900 года (тогда Толстой серьезно заболел, и многие решили, что он уже не выкарабкается): «Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушное стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться».

А вот фрагмент из воспоминаний судебного деятеля и литератора А. Ф. Кони, которого с Толстым связывала многолетняя дружба: «Тот, кто узнал его ближе, не может не молить судьбу продлить его жизнь. Она дорога для всех, кому дорого искание правды в жизни и кому свойственно то, что Пушкин называл „роптаньем вечным души", а Некрасов „святым беспокойством"... Можно далеко не во всем с ним соглашаться и находить многое, им проповедуемое, практически недостижимым. Можно, в некоторых случаях, не иметь сил или уменья подняться до него, но важно, но успокоительно знать, что он есть, что он существует как живой выразитель волнующих ум и сердце дум, как нравст

венный судья движений человеческой мысли и совести, относительно которого почти наверное у каждого, вошедшего с ним в общение, в минуты колебаний, когда грозят кругом облепить житейские грязь и ложь, настойчиво и спасительно встает в душе вопрос; „А что скажет на это Лев Николаевич? А как он к этому отнесется?“<...>

Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идет на водопой лев и наполняет своим рыканьем пустыню. Ему отвечает жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо — и пустыня оживает. Так бывало и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия...»

Вот что говорил о Толстом адвокат и политик В. А. Маклаков (говорил уже в эмиграции, и здесь смешались горечь изгнанничества с горечью утраты, ибо тогда еще день смерти Толстого воспринимался как день национального траура); «...для нас, русских, исключительное положение Толстого в России факт настолько бесспорный, что его не надо доказывать, и слишком сложный, чтобы в коротких словах мотивировать. Толстой был не только гордостью России, ее славой, он был ее *утешением;* недаром Тургенев в своем знаменитом письме считал себя счастливым, что был его *современником;* становилось легче на душе, когда вспоминалось, что Толстой жив и существует; даже если он молчал, было спокойнее жить, зная, что он может заговорить. Как Тургенев, в минуту „сомнений и тягостных раздумий о судьбах родины", утешался сознанием, что существует русский язык, „великий, могучий, правдивый и свободный", так и Россия в тяжелые дни,— они не только настали теперь,— успокаивала себя мыслью, что у нее есть Толстой, что он не миф, не легенда, что он живая реальность, что он действительно существует, этот старик, на которого смотрит весь мир, что он не покинет России, *не променяет ее ни на что.* И эта любовь к Толстому целого народа, в свою очередь, составляла силу Толстого и его обаяние. Думая о нем, я вспоминаю слова Киреевского, приведенные Герценом, о чудотворной иконе; „Я смотрел на эту икону и думал; нет, это не простая доска с изображением. Многие, долгие годы она впитывала в себя все жалобы, мольбы и излияния, она насыщена ими, в этом ее сила". Я не помню дословно цитаты, но таков ее смысл. К Толстому тоже со всех сторон России и всего мира шли горести, сомнения, недоумения, от него ждали ответа. Он стал воплощением человеческой совести, последней надеждой и защитой скорбящих, обиженных и несчастных, в этом была его сила; своей общей любовью человечество сделало из него эмблему того, что в нем самом было лучшего. И это охраняло Толстого. Он жил в те годы, которые кажутся нам теперь благополучными, но это не были годы свободы, уважения к человеку, политической и религиозной терпимости. Власть была сильна и требовательна, она своих врагов не щадила, но его она тронуть не смела, он был под защитой всеобщей любви. Его отлучили от Церкви. И что же? Это отлучение пало на тех, кто его отлучил. Оно ни в чем не уронило его обаяния, не повлекло тех последствий, которые наступали для тех, кого Церковь объявила отступником; а когда Толстой умирал, та же Церковь старалась с ним помириться. Его сочинения казались опасными. За простое их хранение подвергали суду, а его, автора их, тронуть не смели. Когда судили его учеников за его сочинения, он не раз заявлял о се

бе, требовал суда над собой, указывал на нелогичность, на бесстыдство такого к себе отношения,— и все было тщетно. Государство перед ним пасовало <...> государство *не смело* тронуть Толстого, Толстой был *сильнее правительства».* И напомнив одну из финальных сцен «Князя Серебряного» — торговая площадь в Китай-городе, казни и пытки, и укоры Василия Блаженного Грозному царю, и копье, занесенное Иоанном над юродивым,— Маклаков продолжал: «Но народ, который покорно молчал, пока терзали и мучили его самого, не позволил этого покушения на блаженного, он загудел: „Не смей; в животах наших ты волен, а его не тронь". Народная любовь защитила блаженного: царь Иван не решился поднять руку на того, в ком заключались надежды, упования и радость народа. Тем же был Толстой в наше время для нас. И что было, если бы он был жив в настоящее время? У нас был бы заступник, нам бы не' нужно было создавать комитеты, которые совокупностью своих членов должны были бы приобрести авторитет, чтобы напомнить миру, что Россия жива. Покуда он. Толстой, был жив, покуда он стоял за Россию, к ней не посмели бы отнестись с тем высокомерным презрением, которое мы встречаем теперь. Мы бы чувствовали нашу силу, мы бы не сознавали себя одинокими».

Да, Толстой был выше тронов, потому и границ для него не существовало. Чем был он для мира, тогда, столетие назад? Вот, чтобы не утонуть в этом море, несколько отзывов из собранных П. А. Сергеенко по всему миру в связи с восьмидесятилетним юбилеем Толстого.

Индиец Сухраварди: «Я — последователь ислама, религии, с которой обыкновенно связывают насилие и кровопролитие. И все-таки я — ученик Толстого. Я поборник мира и непротивления. Это может казаться парадоксальным. Но парадокс исчезает, если читать Коран, как читает и истолковывает Толстой Библию — в свете Правды и Разумения. <...> Толстой, подобно Магомету, один из нас, а не сверхчеловек, который глядел бы на вас с высоты своего величия, как на бедных людишек; он не злоупотребляет своими почитателями, не подавляет их.

Свет — есть свет от Бога, а не свет с Востока или Запада. Чтобы свет светил — безразлично, горит ли он в золотом, серебряном или глиняном светильнике; китайский ли он, русский или арабский. Этот русский граф, этот учитель и пророк — предмет моего почитания. Я чувствую сродство моей души с его душою. Я так же прошел через долину сомнений и испытаний, уныния и отчаяния. И, не видя того, шел той же самой стезей, как и Толстой».

Американка Л. Мэлори (многие мысли которой Толстой включил в «Круг чтения»): «До него [Толстого] человечество еще никогда не имело вождя, влияние которого захватывало бы весь мир.

Были и другие так называемые вожди, которые, в пределах известной местности и на время, путем кровопролития и грабежа, силой принуждали людей следовать за собой. Но ни один народ еще никогда не достигал прочного блага путем насилия.

Единственной же силой, которой пользовался Толстой, была сила любви и мудрости. И поэтому влияние его никогда не ослабнет, а будет продолжать все больше и больше развивать красоту и гармонию жизни, ибо любовь сама себя создает, сама в себе существует и содержит в себе начало вечного роста — развития и совершенства».

Француз П. Маргерит: «Глубокий моралист, он обновил христианское чувство и восстановил в современной совести чувство справедливого и несправед

ливого. Он — моральный свет избранного человечества, и мы поклоняемся с глубоким почтением писателю, который был апостолом, и апостолу, который был человеком».

Японец Наоши Като: «Когда в 1902 и 1903 гг. вышли в Японии переводы новых сочинений Толстого, было интересно наблюдать, как религиозные мысли Толстого проникали в каждую извилину японского ума и, подобно пороху, скрытому в трещинах скал, взрывались с большой силой, потрясая до основания все существующие теории и принципы. Это была почти революция. Не только христиане, которые достаточно прогрессивны, чтобы быть на уровне современной мысли, пришли к познанию страшной реальной истины, таящейся в исповедуемой ими религии, но даже буддисты нашли источник вдохновения в книгах графа Толстого. Многое указывает, что обновление, обнаружившееся в последние годы в буддизме, имеет здесь свое начало. <...> Десяткам тысяч молодых японцев открылась религия Христа в смелом рельефе и простейшей форме, которые сознательно или бессознательно скрывались от их взоров под оболочкой различных догматов и суетных условностей. Свет, брошенный графом Толстым на область разума, был подобен радию, проникающему столько слоев, сколько находится на его пути. Толстые панцири, существующие для охраны от бацилл религиозных эпидемий, оказались слишком тонкими для яркого света разумения. Благодаря этому свету люди нашли свою собственную религию, исходящую из глубины души, а не привитую внешним миром под именем церкви и догматов. „Религиозное сознание" — вот самые популярные слова вскоре после появления у нас книг Толстого».

И вот — еще американец, П. Карус: «Учение Толстого далеко не представляет из себя какой-нибудь стройной теории или системы. Религиозные идеи Толстого, его нравственные принципы, непротивление злу, его взгляды на войну, государство, деньги и т. п.— все это служит предметом живейшего обсуждения, но лишь немногие мыслители решаются защищать это учение, смелое до дерзновения. Но нет никакой необходимости соглашаться с Толстым, чтобы проникнуться удивлением к человеку, являющемуся таким ярким воплощением вечных запросов духа, находящего свое высочайшее выражение в этих благородных порывах. Они, эти порывы, не носят личного характера, но являются выражением мирового сознания Универсального Духа, который нас создал, самого Бога, которым мы живем и движемся».

Да, то был воистину Царь-колокол, звучавший всему миру.

Но что же дальше? Революции, войны — страшные, небывалые пожары, объявшие планету. И колокол треснул. Из него выломился огромный кусок, именно: религиозные сочинения Толстого. У нас, в России, их вместе со всеми и всяческими религиями попросту списали в архив. Половина творческого пути Толстого, тридцать лет напряженных раздумий и духовной работы (ведь о чем бы он ни писал в эти годы — об искусстве или революции, о социальных уродствах, войне или науке,— он писал о религии) — все это оказалось ненужным. Конечно, все (или почти все) было аккуратно собрано и издано в 90-томном собрании сочинений, но — широка страна моя родная, а тираж его был впору княжеству Лихтенштейн: 5000 экземпляров. Так что библиотекари пуще собственного глаза берегли его от нерях-читателей, да и читатели к нему не очень- то рвались.

В общем, с тех пор Толстой со всеми надлежащими почестями выставлен на всеобщее обозрение. И с тех пор —- все можно: можно восхищаться его ги

гантскими размерами, можно обходить его вокруг и кое-что почитывать, можно даже залезть внутрь с фонариком (дневники, бесчисленные мемуары позволяют сделать и это). Одного только нельзя — услышать его голос, будивший когда-то необозримую пустыню, подавленную молчанием смерти. Ибо только в неотрывном единстве с толстовской религиозной проповедью может быть внятен голос этого Царь-колокола, во всей его глубокой полноте и мощи.

Ну а зачем нам, собственно, его слышать? Разве те самые глобальные пожариша, воспоследовавшие за толстовским набатом, разве небывалые доселе по масштабам насилия XX века не опровергли со всей очевидностью Толстого, разве не доказали они, что его взгляды ошибочны, иллюзорны, утопичны и т. д.? (Где-то, когда-то, что-то обратное доказал на практике Мохандас Ганди, да кому теперь все это интересно?)

Но разве ночь, даже беспросветно-полярная ночь, доказывает отсутствие солнца и бесконечность тьмы? Разве дыхание смерти опровергает жизнь? Тут ведь с какой стороны посмотреть. Быть может, вся кровь XX столетия (да и сегодняшнее нарастание кровожадных настроений) есть не что иное, как доказательство от противного правоты Толстого, да ведь и не Толстого, по сути-то дела, но вечных запросов человеческого духа и вечных ответов Божьего разумения.

Во всяком случае, теперь, когда позорный XX век уже за холмом, вопрос о том, случайны ли такие яркие сполохи света духовного, как толстовская проповедь,— уже не кажется вопросом. Не с бухты-барахты, пока другие веселились, старец Ной начал сооружать свой ковчег и собирать в него семена плотской жизни. Но оттого что возвещено ему было: се, грядет потоп! И так же, наверное, прозревал духом старец Толстой: страшнее прежнего грядет потоп, ибо не небеса отверзнутся и не вода хлынет на землю, но сами люди затопят мир кровью. И он начал строить свой ковчег, начал собирать в него семена жизни духовной. Его труды последних лет, «Круг чтения», «Путь жизни», прямо напоминают такой ковчег — со всего бела света, из всех эпох, из разных религиозных учений, из разноязычных писаний светских мудрецов, по крупице, по зернышку, он собирал семена духа живого. Увы, отвратить потоп он не мог. Но собрать семена в свой огромный ковчег, который проплывет и пронесет их над бездной, он мог. Мог, и делал это до самой смерти.

Время ли сегодня выпускать голубя с этого ковчега? Настали ли времена и сроки оценить по достоинству все собранное Толстым? Кто знает. Во всяком случае, оглядываешься вокруг и понимаешь: пожалуй, живая религия — *еще* за холмом.

Но никогда не рано поотгрести кое-что из тех завалов, которые с течением времени, как курганы в честь Прохора, все растут и растут на пути читателя к Толстому. И потому цель этого вступительного слова — не пересказывать Толстого и не трактовать его (от этого Боже упаси, этого добра за сто с лишним лет навалено столько, что на десятерых таких, как Толстой, достанет). Цель — по возможности ничего не добавляя к этим завалам, наоборот, по мере сил, кое-что отгрести. Тут бы очень подошло стародавнее жанровое определение «пролегомены» (предварительные рассуждения). Потому что — уж такие заросли на пути и столько бурелома понавалено, что тут поневоле наступление приходится вести через сплошные отступления.

I. ФАРАОНОВА ПОГОНЯ
(иродиане и саддукеи)

Зорю бьют...

Когда в сентябре 2001 года в Нью-Йорке рухнули огромные зиккураты Всемирного торгового центра, когда информационно-аналитические программы наперебой крутили эффектные видеоклипы, накладывая на страшные кадры, запечатлевшие эту катастрофу, кто «Полет валькирий» Вагнера, кто «День гнева» из моцартовского Реквиема,— в те самые дни и во мне рухнуло сооружение, которое я довольно долго пытался строить.

В те самые дни на экранах наших телевизоров появился один из иерархов Русской православной церкви и заявил, что США имеют не только моральное, но и религиозное основание для ударов возмездия, что зло должно быть наказано и задача американцев состоит лишь в том, чтобы *минимизировать* жертвы из числа мирного афганского населения (от одного этого нечеловеческого слова «минимизировать» у всякого нормального жителя планеты должно бы свести скулы, но мы так привыкли к мертвому языку официоза, что если завтра нам скажут, что жертвы нужно «оптимизировать», мы и не поморщимся). Меня ничуть не поразило то, что американский президент, утешая свою нацию обещанием разрушить ненавистный талибский Карфаген, браво посверкивал глазками и через слово поминал Бога, ни на секунду не усомнившись в Его союзничестве (и то сказать, Буш-сын так грозно возвестил миру: «Кто не с нами — тот против нас»,— что, казалось, и у Всемогущего не оставалось другого выхода, как только примкнуть к антиталибской коалиции с Бушем во главе). Нет, в этом не было ничего удивительного. Правители и политики давно усвоили незамысловатую и толстую, как броня, формулу: чего хочу я, того хочет Бог. Но тут... тут говорил служитель Христовой церкви, благообразный, высокообразованный, очень гладкий и очень умный... А через день-два в том же духе высказался и наш патриарх. Поразительно! Ведь эти люди, профессионально-спокойным, механически-задушевным голосом говорившие о необходимости и религиозной обоснованности предстоящих убийств, носят на шее кресты с изображением умирающего Христа — умирающего с молитвой о прощении своих мучителей на устах. Ведь эти люди наверняка наизусть знают слова апостола Павла: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу *Божию.* Ибо написано: „Мне отмщение, и Я воздам, говорит Господь"» (Римлянам, XII, 19). Да что там, даже те, кто никогда не держал в руках Евангелия, уж как-нибудь слышали о заповеди Христа подставлять другую щеку, когда вас ударили по правой.

Но эти люди с крестами на шее так уверенно и безмятежно говорили о делегировании прав Бога-Отца Бушу-сыну, что сама эта уверенность должна была развеять все сомнения в том, что их устами глаголет истина.

Собственно, мнение православных иерархов мало интересует полчища политиков, дипломатов, военных, журналистов. Раздайся хоть глас с небес — он не расстроил бы их боевые порядки, не отвлек бы эти полчища от их дела. А этот нездоровый блеск в глазах, это плотоядное оживление, подобное тому, какое испытывает компания чревоугодников, когда перед ними распахиваются двери столовой и сладостные ароматы ударяют им в ноздри,— все это говорило о том, что это *их* день, *их* звездный час, что наконец-то они при деле, что это и есть их настоящее дело. И тут уж ничего не попишешь: когда собаке Павлова

прозвонили к обеду, уже никто и ничто, ничьи «за» или «против» не могут остановить процесс слюноотделения.

Но вот для меня заявления православных иерархов имели значение. Потому что именно к этой церкви я пытался прилепиться всеми силами души (уж сколько их ни было) и два года по утрам и вечерам старался уверить себя, что верую — «во едину святую, соборную и апостольскую церковь». Но тут-то и подоспели иерархи со своими заявлениями, и тут-то для меня все рухнуло. Потому что одно дело предполагать, одно дело допускать это в прошлом, и совсем другое — воочию видеть, что в руках человеческих не только светский закон, но и закон Божий — что дышло, куда повернул — туда и вышло.

Впрочем, я и до этого уже чувствовал (да в общем, почти с самого начала чувствовал), что это мое личное сооружение держится на честном слове и что держится-то оно — пока не пошел дождь, и не разлились реки, и не подули ветры, и не налегли на эту мою ветхую скворечню. И вот в поисках более прочных оснований я отложил церковную литературу и стал читать Толстого, те его книги, которых прежде не читал, те книги, которые когда-то взбудоражили Россию и весь мир, а ныне забыты почти всеми. И, читая, чувствовал, что, слава Богу, слава Богу, не только для всего человечества, но, видимо, и для каждого отдельного человека имеют смысл слова Христа: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанна, II, 19).

Тут нужно бы в двух словах объяснить, с чего я вдруг решил заговорить от первого лица. Меньше всего мне хотелось рядом с титанической фигурой Толстого выставлять свое маленькое «я». Это неимоверно глупо (а если к глупости примешивается еще и пирамидальность — жалко и потешно). Но когда я сам вошел в поток теоретизирований по поводу религиозных сочинений Толстого, главным образом — отповедей на его проповедь, меня начали раздражать две веши. Первое — именно обезличенность подавляющего большинства критик. И это как раз тот случай, когда авторская скромность (вернее, имитация ее) обращается в полную свою противоположность: обезличенность вкупе с самой невозмутимой самоуверенностью и безапелляционностью тона создает впечатление, что автор вещает от имени самой Истины, которую держит на поводке, как мопса. Второе — само количество теоретических выкладок, которое, в сущности, может быть безбрежным, как вселенная, и при этом не может привести никуда, кроме безбрежной вселенской пустоты, поскольку дело идет все-таки не о математике. Самый блестящий теоретический пассаж может доставить читателю несколько приятных минут, как кусочек воздушного бисквита, растаивающий во рту, но — из вольного эфира прищел, туда же и выщел. Нет, тут бисквиты выпекать ни к чему. Понятно, что, как писал Толстой, «всякая одним головным путем приобретенная истина только для редких людей может быть руководством поступков. Для большинства истина только тогда истина, когда она подтверждена своим личным мучительным опытом» («Наще жизнепонимание»). Вот потому- то я и решился заговорить от первого лица. Мое «я» — это «я» подопытного кролика, а не гордыня ученого естествоиспытателя. Мой личный опыт — это опыт одного из бесчисленного множества русских людей, которым сейчас слегка или далеко за сорок и которые попали в крайне любопытный исторический переплет, какой не всякому поколению выпадает. Поэтому и только поэтому я решился говорить исходя из своего личного опыта, уж как он ни скромен. Именно он,

«опыт, сын ошибок трудных», и еще «случай, бог-изобретатель» (если бы я только мог поверить, что в таких вопросах что-то решает случай: что на земле случай — то на небесах закон и подзаконное следствие), именно они подвели меня к гению, человеческому гению Толстого.

Не так давно мне рассказали об одном японце, который, приехав в Ясную Поляну,— плакал. Он всю жизнь мечтал попасть сюда, к Толстому, и так, видимо, страстно мечтал, что, когда мечта исполнилась, не сдержался. Сейчас телевизор приучил нас к эдакому стальному, ниндзя-самурайскому образу японца, и с трудом представляешь себе не сталь, а слезы в его глазах, но вот — этот японец плакал, настоящими японскими слезами. И как это прекрасно! И как я понимаю этого японца, потому что пришел к Толстому из страны еще более далекой от него, чем Япония,— из Советской России.

Хотя судьба распорядилась так, что я родился и сорок с лишним лет живу в Туле. А Тула — это такой город, где мелкопоместный патриотизм имеет три источника и три составные части: а) оружие (в нашем местном, с элементами ухарства, гимне поется: «Тула веками оружье ковала — стала похожа сама на ружье»), б) самовары-пряники и в) Лев Толстой, чье имение, а ныне музей-заповедник, Ясная Поляна находится под Тулой, в четырнадцати километрах от нее.

Когда я учился в художественной школе, нас летом вывозили за город, на пленэр, мы становились палаточным лагерем на лесной поляне, в двух шагах от толстовской деревни Грумант, и тогда толстовские места превращались в наши владения. Бывало, мы потихоньку от преподавателей удирали и в саму усадьбу — шли залитым солнцем березняком, потом старым Заказом, где солнце уже не проливалось с такой неудержимой силой, а сочилось и скользило, и вдруг, всегда внезапно, тропинка выводила к могиле Толстого. Мы со всей возможной почтительностью, потихоньку проходили мимо нее и топали дальше. Потому что, по совести сказать, шли-то мы не к могиле и не затем, чтобы поглазеть на дом Волконского, на флигель Кузминских, на толстовский дом с увитой зеленью террасой. Нас влекли те очаги общественного питания, которые стояли против знаменитых въездных башенок. Мы накупали лимонада и прочих сладостей и возвращались восвояси, к чему не было никаких препятствий, потому что мы знали места, где и с этой, официальной, стороны можно было пролезть к Толстому совершенно неофициально, то есть бесплатно.

Потом уж совсем в двух шагах от моего дома был поставлен огромный памятник Толстому — эдакая «глыба», эдакий «матерый человечище», с эдакой мятежной бородищей, слегка снесенной ветром набок, в знаменитой блузе от яснополянской бабки Варвары, с руками, привычно запущенными под ремешок. Авторы специально поставили его на очень низенький пьедестал, чтобы было понятно: вот, по той самой земле, по которой мы ходим, идет этот матерый великанище по имени Лев Толстой. И с тех пор он идет — прямо на административное здание нашего ликеро-водочного завода. И это годами длящееся противостояние разрешается, увы, не в пользу Толстого.

Словом, Толстой был всегда рядом и в то же время неимоверно далеко. Он был всегда перед глазами, но я всю жизнь проходил мимо, мимо и мимо. Да иначе и быть не могло. Пулемет и самовар — это такие штуки, которые с детства понятны. Под знаком меча и пряника мы рождаемся, мечом и пряником взращивает нас государство. Каким образом Толстой может быть допущен к этому ответственному делу взращивания? Только под условием, что «Война и

мир», например, будет переводиться на язык государства, то есть как «Меч и пряник». И потому понятно, конечно, что тот Толстой, который прославлялся и прославляется у нас на каждом государственном углу,— это Толстой не настоящий. Несмотря на суровую косматость бровей и матерую бородищу, это Толстой кондитерский, пряничный, как Дед Мороз на новогоднем утреннике. Впрочем, это теперь мне понятно. А раньше и понимать было нечего. Потому что жизнь проходила мимо.

Сейчас, когда я оглядываюсь назад, у меня возникает стойкое ощущение, что я жил в трех эпохах, подобных тем, которые люди проживали столетиями. Это было как сжатое повторение пройденного курса перед экзаменом истории, повторение краткое и обобщенное, без тягостного нагромождения дат и подробностей, и потому очень ясное, настолько ясное, что не понять могут только самые тупые. Сначала — советская эпоха, духовный тоталитаризм, средневековье. Потом — Перестройка, короткая, но дивная пора Ренессанса, когда наш разум возмущенный дерзновенно рванулся в какие-то заоблачные выси, до которых, по некоторым пророчествам, мы могли бы домчаться в пятьсот дней; но домчаться нам не было суждено ввиду дремучей ограниченности этих наших прекрасных порывов. Наше мимолетное Возрождение так и не создало ничего своего, оно едва успело сдуть пыль с классических мраморов — как налетело Новое время, наше теперешнее, волчье. Новейшего времени у нас пока не было, как, вопреки утверждениям учебников, не было его и в большой истории. Ибо нет ничего новейшего под солнцем. Все, что будет, было и травой поросло.

Впрочем, если взглянуть с иной точки зрения, то может выясниться, что эпох было не три, а только две. И это опять повторение пройденного. У нас еще свежи в памяти исполненные оперного историзма сцены с радостно беснующейся массовкой, когда на стогнах наших городов стаскивали с постаментов старых большевистских идолов. Все это было. Было в X веке, когда князь Владимир вернулся в Киев из земель грецких и привез с собою новую жену-царицу и новую веру — христианство, уже ограненное и ошлифованное для украшения диадемы базилевсов. Тогда повелел князь низвергнуть языческих идолов (большей частью по его приказам и понаставленных). И истуканов валили, рубили и жгли. Главное же идолище Перуна привязали к лошадиному хвосту и поволокли с горы в Днепр, и, пока тащили, дюжина молодцов лупила Перуна палками. Не правда ли, похоже до мелочей? Конечно, с учетом поправок, внесенных техническим прогрессом, ибо в XX веке в ход шла не одна лошадиная сила, а множество: подгоняли автокраны и, взяв на удавку истуканов проклятого прошлого, тащили: дюжину молодцов с палками с успехом замещали свист и улюлюканье толпы.

Засим мы все были крещены в новую веру. Какую? Разве кто-нибудь разбирается в этом, когда крещаются скопом. Как наши пращуры, которым устроили массовое купание в Днепре, так и мы, ополоумев от новизны происходящего, входили по горлышко в бурный поток, хлынувший после того, как были сняты цензурные плотины с толстых и тонких журналов и вовсе тощих газет. О, редкая птица могла долететь до середины этого потока! Мы ликовали и захлебывались — когда же тут было разобраться и подумать? До 1991 года коммунистические волхвы еще пытались обуздать стихию, удержать сирых в прежней вере, даже привлекали к делу ратников на танках. И как христианство жалось поначалу на узкой полосе земли от Новгорода до Киева, по берегам

великого водного пути из варяг в греки, так и наша новая вера бурлила тогда в баптистериях столиц и больших городов. Глухие же провинции, которые и составляют шестую часть суши, приснoблаженные наши чудь и меря, мирно пахали, особенно не вникая в то, что им готовил просвещенья дух. А уж потом крещались все — кто волею, кто неволею, кто благомысленно рассудив, что, кабы новая вера была дурна, князья да бояре ее бы не приняли, кто по стародавнему обычаю склонившись перед последним и самым универсальным аргументом,'который называется — «власть». «Да аще кто и не любовию, но страхом повелевшаго крещахуся: понеже бе благоверие его со властию спряжено».

Для чего, думаю я, для чего судьба носила нас по волнам нескольких эпох? Для чего история так спешно натаскивала нас на пройденном материале? Быть может (и это еще одно стойкое ощущение), она действительно готовит нам какой-то экзамен? А мы-то, прости Господи, опять ни бум-бум. И ведь нельзя сказать, чтоб история была зла и жестока. Она, пожалуй, похожа на одинокую старую учительницу, с ветхозаветным пучком на голове, со слезящимися глазами, в которых застыли печаль и скука, застыли от одиночества, от того, что в сотый раз об одном и том же и опять — ни бум-бум, от пустых глаз, которыми смотрят на нее все новые поколения учеников. «Ну же, Вася,— как будто говорит она,— напрягись, вспомни, что я рассказывала, подумай». Но Васе не хочется напрягаться, он косится на окно, за которым так весело валяют дурака его сверстники, и ему тоже хочется повалять. А экзамен — ну его, как-нибудь перекантуемся. И мы, конечно, перекантуемся, и в очередной раз сваляем дурака. Одна беда; в истории это не так весело получается, в истории что ни экзамен, то реки крови.

Сейчас глаза России не просто пусты, в них поистине мерзость запустения. С такими глазами не живут, с такими глазами идут топиться. Я думаю, эта мертвая пустота происходит от полноты знания — того отрицательного знания, которым могла бы поделиться бегающая по кругу цирковая лошадь, если бы она умела говорить. Это —- то знание, о котором с печалью писал Екклесиаст; «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят; „смотри, вот это новое", но *это* было уже в веках, бывших прежде нас... Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!» Этим знанием в полной мере обладают сейчас в России люди среднего и старшего поколения, независимо от того, дают ли они себе труд осмыслить его, или этот их личный опыт просто отпечатался на подкорке и опустошил их глаза.

Да, да, видели мы все дела, какие делаются под солнцем. На наших глазах рухнуло одно государство и из того же кирпича сложилось другое. И мы не могли не чувствовать, что мы, со всеми потрохами, по какому-то помимо нашей воли установленному праву, автоматически перешли из ведения одного государства в ведение другого. Точно так же, как по смерти старого барина крепостные автоматически переходили во владение его наследника. На наших глазах законы человеческие (тут не идет речь о законах Божиих, в суженном, сниженном виде приписанных к человеческим,— не убий, не укради и т. д.) — эти законы переписывались и переписываются, подчас обращаясь в полную противоположность тем, которые с детства внушались нам, как «Отче наш...» И естественно, в отличие от подданных тех государств, где население давно посажено на иглу человеческого права, мы никак не можем веровать в священное значение тех законов, которые переписываются у нас на глазах, и переписываются

людьми, которые меньше всего заслуживают уважения, доверия, которые... Да, в общем, будь они хоть семи пядей во лбу и не цепляйся друг другу в волосы, как нынешние, все-таки, благодаря телевидению, мы не можем не заметить, что они — такие же смертные, как и мы, что не восходят они, подобно Моисею, на гору Синай, и не является им Господь в густом облаке при трубном звуке, и не влагает им в руки скрижали, а сами, сами они что-то такое болтают, что-то пишут и переписывают, сами тычут пальцами в разные кнопочки...

И вот то главное, чего мы не могли не заметить: государство — это такое сооружение, которое вырастает по закону, случайно оформившемуся в устах самого косноязыкого госдеятеля последних лет (вероятно, по незыблемому правилу; устами младенца глаголет истина): «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Это глаголы самого Рока. Хотели посеять розы, а вырос, как всегда, хрен. По чертежам должны были появиться сады Семирамиды, а появились, как всегда, идиотские фараоновы пирамиды (это потом, гораздо позже мы понимаем, что ничего, кроме хрена, мы, как всегда, и не сеяли, что никаких чертежей, кроме примитивно пирамидального, не умеем читать). И не можем мы не понять наконец, что писанные и переписанные человеческие законы есть не что иное, как то самое густое облако, под покровом которого таятся законы, действительно движущие государственными маховиками и шестеренками. Да в общем, не очень-то они и таятся. В общем, не так мы все и глупы, чтобы не понимать, что мы и есть шестеренки, винтики и шпунтики этого примитивного механизма (ах, как праведно бунтовали мы против этого в краткую эпоху Ренессанса и как безропотно начали перебирать зубчиками, когда механизм снова заработал,— понятно, понятно: всем нам надо что-нибудь перетирать зубками).

И кому же, как не нам, сам Бог судил разобраться, каков тот чертеж, по которому выстраивается государство, каковы те законы, которые реально действуют в нем. Ведь что в иных цивилизованных странах припрятано по углам, что хранится там от народного сглаза и порчи, то у нас теперь открыто и явно, как в анатомическом театре. Только скажите магическую фразу, подобно гоголевскому Вию; поднимите мне веки, они набрякли от слез,— и все откроется вам.

Приступ первый: доисторические форты

Поистине замечательно то, что наша лексически неистощимая эпоха в своем варварском простодушии дает простые ответы на самые, казалось бы, сложные вопросы. Вы спрашиваете: что такое государство, в котором я живу? Что такое вообще государство? Наша эпоха, пошерудив по всем своим файлам, поковырявшись в истории и нынешней уличной лексике, в одну сотую секунды выдает ответ: «пирамида», «лохотрон», «крыша».

Действительно, какие бы гармонично округлые формы мы ни пытались придать государству, оно все равно выстроится в форме пирамиды (если угодно — в форме хрена хвостиком вверх). Наиболее развитые страны могут нарастить кое-какие жировые запасы, и тогда в воображении впечатлительных подданных их государство может рисоваться им хоть в форме тыквы. Но даже самые впечатлительные не могут не видеть в нем жесткий пирамидальный каркас, другого •— не бывает.

Тут мне придется еще дальше отойти от главной темы (чтобы уж вернуться к ней во всеоружии), отойти ненадолго, но зато в такие дебри, джунгли и са

ванны, что дальше некуда. Потому что личные наблюдения за метаморфозами государства — дело полезное, но не стоит уж совсем пренебрегать и теорией. При этом, должен сознаться, в последнее время я не испытываю острого интереса к дебрям истории, а к джунглям социологии и горным хребтам права — и подавно. Ибо «видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда» (Екклесиаст), и потому «Не дорого ценю я громкие права. От коих не одна кружится голова» (Пушкин). Самые же ценные за последние годы сведения по теории государства я почерпнул из книги доктора биологических наук В. Р. Дольника «Непослушное дитя биосферы». Эта книга в популярной, доступной дилетанту форме трактует о вопросах этологии — науки об обычаях и нравах животных, ненавязчиво предлагая и человеку заглянуть в зеркало этой науки. Я, немолодой уже примат, заглянул — и увидел там и себя, и многое из того, что было под солнцем. Рассказав пропасть интересного об инстинктивных программах, определяющих поведение животных, в особенности стадных обезьян, автор, в частности, делает вывод, который у меня (как, думаю, и у большинства жителей России) вполне созрел в ощущениях, только не нащупывался черенок, которым сей плод крепится к древу научного познания. Итак, вот что пишет ученый:

«У историка и этолога противоположное восприятие мощных автократических или тоталитарных государств прошлого и настоящего. Для историка эти многоступенчатые иерархические образования — достижения разума, блестящей организации, гениальных царей и полководцев. Они возвышаются над организацией прочих племен и народов, как египетские пирамиды над барханами песка.

Для этолога — это примитивные самообразующиеся структуры, просто разросшиеся до гигантских размеров. Их построили не гении, а „паханы". Самосборка геометрически совершенных структур бывает и в неживой природе. <...>

В силу присущих им инстинктивных программ люди самособираются в иерархические пирамиды, это для них так же неизбежно, как для солей в растворе или паров в охлаждающемся воздухе. Если будет задействован весь ряд иерархических программ, люди могут образовать огромную по масштабам, но примитивную по устройству структуру соподчинения — тоталитарную империю. Эта структура совсем не обязательно самая выгодная для каждого человека и всех вместе или самая эффективная и правильная из того, что люди могли бы создать.

Это всего лишь самый простой результат действий, как скатиться в воронку».

Этот вывод выглядит совершенно очевидным, если иметь в виду тот богатейший иллюстративный материал из запасников этологии, который автор предлагает читателю. Жаль, что не могу пересказать всего, но вот как в общих чертах обстоит дело. Система соподчинения в животном мире распространена очень широко. А сила, выстраивающая и связующая эти системы,— врожденная агрессивность, которую этологи определяют как ненависть, злобу, ярость. Посему нападение волка на ягненка агрессией не считается, поскольку никакой ненависти хищник к ягненку не испытывает — тот виноват лишь тем, что волку хочется кушать, вот и все. Тем более не испытывает волк и страха, а, как неопровержимо установили ученые (в том числе и опытным путем), агрессия и страх, как Ленин и партия,— близнецы-братья: мы говорим

«ярость» — подразумеваем «страх», мы говорим «страх» — подразумеваем «ненависть». Как ни печально это признать, но агрессивность позволяет поддерживать кое-какой порядок в животном мире вообще и внутри вида в частности; именно она разрешает конфликты между особями. А они неизбежно возникают из-за дележа жизненных благ, самок, из-за посягательств чужаков на нашу, так сказать, законную территорию (а нужно сразу заметить, что мы, приматы,— животные территориальные) и т. д. и т. п.

Говоря коротко, внутри группы животных царят единство и борьба, в ней постоянно происходит выяснение отношений, или утверждение их, если они уже сложились, или стычки за перераспределение ролей, если назрел момент. В результате образуется иерархическая структура, на верхушку которой взбирается самая агрессивная особь. Тут нужно подчеркнуть: не самая сильная, а именно самая агрессивная. Тут важна не столько сила, сколько дерзость, напор, умение нахально угрожать и выдерживать встречную угрозу (мы ведь не раз видели в передаче «В мире животных» как самцы выясняют отношения: они не столько дерутся, сколько ярятся, раздуваются, если есть что раздуть, встают на задние лапы, демонстрируя свои угрожающие размеры),— словом, важно умение выиграть психологическую войну. У людей это называется умением пройти по головам, если нужно — по трупам (но по трупам — это уж почти исключительно у людей). А там — дай наглому волю, захочет и боле.

Итак (обращаюсь еще раз к прямым разъяснениям ученого-этолога): «Доминантная (самая агрессивная) особь подавляет других. Она отстаивает и усиливает свое высшее положение, навязывая стычки остальным и терроризируя их, угнетая их психику. Агрессивность этих остальных, подавленная по отношению к доминанту, требует разрядки, и особи-субдоминанты обеспечивают ее, находя более слабых и подчиняя себе их. Часто, будучи унижены доминантом, субдоминанты тут же бегут к своим подчиненным особям и переносят на них свой гнев. Эти несчастные, в сущности, тоже не лучше: они находят более слабых и подчиняют их себе.

Так образуется четкая, обычно пирамидальная, структура организации группы животных. Жестокая, но очень эффективная организация, в которой каждый знает свое место, каждый подчиняет и подчиняется. В конечном счете она позволяет избегать постоянных конфликтов, борьбы всех со всеми за первенство, а зачастую служит основой для совместных действий».

Вот вам, собственно, и прообраз государства. Или чикагской мафии. В сущности своей, исходящей из более глубоких основ, чем Юстинианово право, это одно и то же. Налицо структура действительно незатейливая, но уже вполне приспособленная для того, чтобы, с одной стороны, агрессия переадресовывалась сверху вниз (любопытно, что когда голубь-доминант от избытка агрессивных чувств клюет субдоминанта и тот переадресует их по цепочке вниз, самый униженный голубь, которому уж не на ком выместить свой гнев, клюет землю) и чтобы в том же направлении шли команды (указы, эдикты, рескрипты и т. п.), а с другой стороны — чтобы материальные блага перемещались снизу вверх.

Если же вслед за В. Дольником обратить взоры на наших ближайших родичей, обезьян, то помимо этой принципиальной схемы откроется еще и тьма деталей до боли знакомых. Тут вам и боевая организация павианьего стада для защиты священных рубежей своей малой родины и их расширения. Тут постоянное интриганство, когда, например, анубисы образуют тайные союзы для свержения вышестоящих самцов (а значит, для обладания их самками и более

сладкими кусками), когда потенциальных союзников всячески умасливают и когда на каждом шагу в самый ответственный момент союзники друг друга предают, но если команда все-таки сколотилась — внутри пирамиды происходят перевороты вплоть до дворцовых. Тут вам и премилые нравы макак: те, если доминант берется примерно наказать подчиненного, начинают что есть мочи пособлять — вопить, швырять в него всякую гадость, в том числе экскременты, причем особенно усердствуют самые низы и даже самки, которые при обычном течении дел в иерархической возне не участвуют (автор книги поясняет: это переадресованная агрессия, ведь наказуемый в это время становится как бы ниже самых подонков, а значит, они могут безнаказанно отвести душу, излить всю желчь и всю досаду, накопившуюся за время собственных унижений; кроме того, автор объясняет, какие широкие перспективы открывает эта врожденная программа, если к ней приложить могучий человеческий разум: тут вам и публичные казни, от совершенно обезьяньего побиения камнями до высокоцивилизованного гильотинирования, тут и возможность для тирана натравить толпу на неугодного субдоминанта и извлечь из этого двойную пользу — и потенциальный соперник уничтожен, и толпа униженных выпустила пары; наконец, особенно активные, выдающиеся подонки могут быть для пользы дела приближены доминантой — и вот вам прослойка «шестерок» при пахане).

И сколько, сколько еще очаровательных подробностей! Вот, например, дабы не утруждать себя постоянными физическими расправами, доминант прибегает к ритуальным наказаниям: ставит провинившегося в позу подчинения; и если для угрозы животные всеми средствами стараются преувеличить свои размеры, то для демонстрации подчинения требуется обратное — изо всех сил уменьшиться, скукожиться; так вот почему люди веками валялись во прахе и ползали на коленях, снимали шапки и кланялись перед своими паханами, вот почему и теперь невольно втягивают голову в плечи и горбятся в кабинетах до- минантов. Кстати, и природу коленопреклоненной, преданной любви народов к своим тиранам этологи объясняют самым убедительным и изящным образом. Как, спрашивается, бедному животному реагировать на доминанта? Из всего вышеизложенного ясно, что ненависть и страх — самая естественная реакция, но ведь от безысходной ненависти и постоянного страха истаешь, как свечка. Для большего спокойствия доминанту лучше не перечить, не фордыбачиться попусту: его дело блажить, наше дело подчиняться. Но еще лучше и покойнее — действовать превентивно, по доброй воле и без принуждения всячески умасливать доминанта, изъявлять свою преданность, словом — всеми возможными средствами демонстрировать подчинение, не дожидаясь, пока к нему сурово призовет доминант. И вот оно, чудо: безотчетный страх перед доминантом претворяется в холопскую любовь, любовь по необходимости слепую, а у людей — граничащую с обожествлением.

Что же касается самих доминантов, то их власть не есть постоянное насилие (это и обременительно, да и неудобно для стадного общежития), но власть есть постоянная угроза насилия, и она должна быть запечатлена в сознании подданных раз и навсегда. Угроза, как уже выяснилось,— это непременное преувеличение размеров (отсюда — все эти непомерно высокие сооружения на головах фараонов и императоров, отсюда митры епископов и Мономаховы шапки, отсюда же — огромные скульптурные изображения правителей, желательно во всех своих дурацких колпаках). Необходимы, стало быть, постоянные зримые символы этой угрозы, власть должна карабкаться все выше, и выше.

и выше. Посему доминант у приматов, да и не только у них, всегда занимает господствующее положение на местности; для этого годится пень, большой камень или просто бугор (и горе тому, кто посягнет на эту твердыню). Люди бережно сохранили этот обезьяний обычай. Замки королей и герцогов, барские дома, всевозможные терема, хоромы и палатиумы — все это непременно громоздилось на холмах (высоко сижу — далеко гляжу). Да прибавьте к этому грандиозные, поражающие и подавляющие простых смертных размеры самих этих сооружений — проворный ум и человеческие руки вознесли власть и ее зримые символы на такие головокружительные высоты, что у подданных не могло возникнуть и тени сомнения в ее сшедшей прямо с небес законности, а уж о том, чтобы потягаться с властью, они и помыслить не могли. Говорят; архитектура — это застывшая музыка. Быть может, это и так, если смотреть на дело с поэтической точки зрения, имея в виду искусство зодчих, скульпторов, резчиков. Но если иметь в виду изначальную задачу, нашептанную инстинктивными программами, дворцовая и храмовая архитектура — это застывшая угроза, и угроза чудовищной силы.

Ну а пни в искусных руках резчиков превратились в троны, которые, уж понятное дело, никак нельзя было просто поставить на пол, они водружались на многоступенчатые пьедесталы. Из той же обезьяньей оперы — трибуны, оттуда же массивные, обязательно с непомерно высокими спинками, кресла на возвышении в судилищах. Или балкон, на который выходит сам государь и собственною ручкой бросает ломти бисквита в восторженно кишащую внизу толпу,— помните этот дивный эпизод из «Войны и мира»? (Кстати, исследователи установили, что он реален, с той лишь разницей, что в действительности государь разбрасывал не бисквиты, а фрукты). Не правда ли, сколько высокого и трогательного в этой картине! Это же сама гармония; исполненная верноподданнической любви, ликующая при виде своего государя толпа — и растроганный этой любовью царь-батюшка, щедрою рукой одаривающий свой народ, вверенный ему самим Богом. Ну как тут не подвернуться какому-нибудь голубовато-романтичному министру просвещения, как не вывести ему из подобных сцен со слезою смешанную имперскую доктрину; Самодержавие — Православие — Народность! Но самое трогательное в этой картине то, что и она от начала до кончика хвоста обезьянья. Откуда растут уши верноподданической любви, нам уже известно. Но вот что рассказывают этологи по поводу раздачи бисквитов. Иерархи стадных обезьян тоже имеют обыкновение делиться с подданными. Но как! Во-первых, они никогда не отрывают от сердца то, что добыли своими трудами, а делятся только отнятым у других (всего отнятого, понятно, не сожрешь, так вот на тебе, убоже, что нам не гоже). Во-вторых, оделяют только тех, кто отличился холопским рвением, и самых жалких попрошаек из низов, причем часто обезьяний царек по нескольку раз выдает и немедленно конфискует пожалованный кусок. Так что, как видите, щедростью тут и не пахнет, это всего лишь еще одно средство подчеркнуть, кто в стаде хозяин, еще один путь (и надежнейший, ибо лежит через желудок подданных) утвердить свое право наказывать и миловать, отнимать и одаривать. Вот вам вся премудрость власти в ее чистом виде. Вот истинная подоплека и всего механизма передвижения и перераспределения материальных благ внутри государственной пирамиды вообще, и бисквитных сцен в частности (а если повнимательнее присмотреться, обнаружится, что эта же простая и грубая программа лежит в основе и всякой бла

готворительности, государственной или частной, в какие бы тонкие, небесные ризы она ни рядилась).

И нельзя, никак нельзя не согласиться с этологами в том, что инстинктивно обусловленные ритуалы бессловесных тварей куда красноречивее свидетельствуют об истинных мотивах малых поступков и «великих деяний» людей, чем самые хитроумные и патетические объяснения самих двуногих. Поистине, горе наше гореванное — от ума, в котором чего только не намешано: тут и трепет перед древностью традиций, и желание привязать их к каким-нибудь греческим календам, и умение опоэтизировать едва ли не всякую свою животную наклонность или со жреческой важностью подвести под нее философский базис, и стремление творчески преобразить, восставить на котурны высокой трагедии, облечь в багрец и золото свое ничтожество и свой позор — словом, способность все, решительно все утопить в фарисействе и велеречии, чтобы потом веками искать концы совсем в иных сферах, вплоть до горних. А между тем пресловутой «прозрачности», о необходимости которой так много говорят парламентарии всех стран, нам был следовало поучиться у наших родичей обезьян.

Слов нет, в этой живописной картине обезьяньих нравов и обычаев ясно просматривается весь генезис государства и права. Можно положительно утверждать, что, если бы наука этология возникла пятью столетиями раньше, Макиавелли свои премудрые советы земным властителям мог бы смело черпать непосредственно из нее (правда и то, что его знаменитый труд «Государь» следовало бы тогда назвать более конкретно — например, «Пахан»).

Однако, согласитесь, чего-то очень существенного в этой картине все же недостает. Как-то слабовато у обезьян обстоит дело с собственностью. Да, у них, как и у многих общественных животных, имеются врожденные программы, позволяющие регулировать материальные отношения. Тут все как у людей. Имеют место: захват и удержание непосредственных источников жизненных благ, отнятие чужого добра силой и отнятие без всякого шума и драки, просто в силу более высокого положения в иерархической пирамиде (это уже явно попахивает правовыми механизмами; и ведь, рассказывают, правовое сознание у обезьян так развито, что они не только покорно отдают все, что потребует доминант, но и сами, дабы чего не вышло, тащат ему кто что может; иные скажут, что это попахивает не правом, а скорее коррупцией, но разве одно от другого отделимо?); ну а те, кто пониже рангом, промышляют воровством и попрошайничеством; наконец, у обезьян развит и обмен (прообраз торговли), причем непременно с целью обмана, так что эта программа неразрывно связана с самыми ловкими приемами жульничества. Ан все-таки чего-то здесь недостает. Однако стоит человеку поделиться с братьями кое-какими достижениями своего могучего разума, как картина обретает полную завершенность. Например, павианов обучают пользоваться запирающимся сундуком, и раздача бисквитов немедленно пресекается — все отнятое доминант начинает аккуратнейшим образом складывать в сундук; если же всем обезьянам раздать по сундуку, то очень скоро и они перекочевывают к доминанту.

Ну-с, остаются мелочи. Обезьян обучают добывать хлеб свой честным трудом: покачал определенное время рычаг — получи жетон, а на жетон можешь прикупить кой-какого товару, выставленного в автомате за стеклом. Тут, натурально, все преображается и цивилизаторское новшество незамедлительно приносит свои роскошные плоды. В обезьяньем обществе выделяется рабочее сословие, которое честно корячится у рычага и несет свои кровные жетоны к

автомату, там трудяг поджидает деклассированная шантрапа, промышляющая попрошайничеством, а доминанты... ну, в общем, вы сами понимаете; на кой ляд им тот дурацкий рычаг, если у них — рычаги власти. При этом они моментально оценивают удобства, которые несет цивилизация, смекая, что отнимать лучше не товар, а жетоны, которые, кажется, для того и созданы, чтобы прятать их за щеку. И вот — сундук и пиастры довершают дело; похоже, суть товарно-денежных отношений обезьяны схватывают быстрее, чем тот фараон, которому сию премудрость втолковывал Иосиф Прекрасный.

Но стоп, стоп. Замечательную и поучительную книгу В, Дольника можно пересказывать бесконечно. Уж очень все это увлекательно и забавно.

Забавно прозревать первичные признаки государственности в стаде обезьян и понимать, до какой степени, с каких невообразимо далеких доисторических времен нет ничего нового под солнцем. Забавно, отвеяв высокопарную трескотню историков, под пурпуром и горностаем обнаружить просто злую обезьяну, обезумевшую от той высоты, на которую она вскарабкалась, а под сению закона — действие тех самых инстинктивных программ, которые правят бал и в животном мире.

Впрочем, забавно, пока не думаешь о том, что в человеческой истории они имели последствия куда более дикие, чем в дикой природе, что у людей все в тысячи, в миллионы раз более жестоко и — отвратительно кроваво.

На бивуаках современности

Однако может показаться, что обезьяньи тропы подводят нас исключительно к пирамидальным сооружениям тоталитарного образца. А ведь в недрах человеческого разума родились высокие идеалы демократии — под их ли натиском устоять грубой фараоновой пирамиде! Надо сказать,’ что и уважаемый ученый- этолог явно находится под обаянием демократических идей, уповая на то, что сложные, хитроумно разработанные демократические механизмы могут придать государственной пирамиде (ибо пирамида неизбежна) хоть какой-то божеский вид. И как не понять этих упований! По всему судя, книга задумывалась и писалась в последние годы средневекового удушья, во времена ренессансной эйфории и наших первых, детски-невинных демократических шагов. А тогда если не все мы, то очень и очень многие с единодушием флюгеров, встрепенувшись под ветром перемен, смотрели в одну сторону, на благословенный Запад, и обаяние демократических идей многократно усиливалось сообщениями знающих людей о том, что там, у них, в супермаркетах — одного сыру по сорок сортов. Ну как тут было устоять...

Мы были еще так невинны на заре нашей новой государственности, так зачарованы сладкими либеральными грезами, что и не поняли поначалу, что манившие нас тогда, исполненные соблазна финансовые пирамиды есть уменьшенные, но очень точные копии государства нового времени, в частности — так называемого демократического. Ибо давно прошли времена, когда построение государственной пирамиды не требовало ничего, кроме грубой силы и застывшей угрозы (всем было ясно тогда: есть огромные массы людей, которые обязаны пахать, как рабочая скотина, и есть другие, избранные, которым самим Богом назначено пожирать эти серые жизни в свое удовольствие). С тех пор как гуманистические идеи стали все глубже проникать в сознание людей, власть, принужденная с этим считаться, должна была вырабатывать более изящные, чем прямая

угроза насилия, обоснования своего произвола, да и вообще — самого своего существования. И тут самое надежное средство — эти-то гуманистические идеи и включить в идеологический арсенал государства (не забывая, конечно, при этом всемерно совершенстаовать и расширять арсеналы оружейные; сегодня уже поговаривают о существований оружия геофизического и климатического, и это, конечно, не предел). И постепенно *культуры больших топоров* (в этом узкоархеологическом термине мне слышится широкое символическое звучание) сменяются *культурами больших лицедейств.*

Происходило это действительно постепенно — ведь издавна уже самые грубые и развращенные автократии непостижимым образом внушали подданным, что ни о чем ином они не пекутся, кроме как о благе своих народов (иные даже состояли в переписке с Вольтером). Но окончательно этот переворот совершается в так называемых демократических государствах, в которых лицедейство обретает такие грандиозные масштабы, что в него, в идеале, должны быть втянуты все, сверху до самого низа; в идеале лицемерие власти должно стать единой средой обитания всех слоев населения, так чтобы они потеряли всякое чувство реальности и перестали различать, что есть истина, а что — голое лицедейство, чтобы они и думать забыли о больших топорах, которые государства, конечно, по-прежнему держат за пазухой, или воспринимали эти гигантские топоры как оплот и гарантию своей свободы.

Наверное, в России уже народилось поколение, которое со всей мощью молодого вдохновения и творческой самоотдачей двинет систему Станиславского в жизнь. Но мы-то пока еще зрители (я говорю «мы», потому что говорю в то время, когда явка избирателей к урнам с демократическим прахом становится у нас критически низкой; значит — все меньше желающих быть статистами в демократических шоу, все меньше тех, кто считает своим гражданским долгом сказать доминанту: «Кушать подано!» — и значит, все больше трезвых зрителей). Ведь эта комедия закручивалась на наших глазах.

Помните? Россия, 1991 год. Большая амнистия в тюрьме народов.

Действие развивалось стремительно. Наша стая молодых зубастых реформаторов начала с широкомасштабной игры под названием «ваучеризация», в основу которой легли открыто лохотронные технологии. Не будь этой игры, была бы другая, быть может более тонкая, но от перемены внешних правил суть игры не меняется. Просто в России более сложных правил и не требовалось; подавляющее большинство населения было настолько не искушено в финансовых играх, что с нами можно было обращаться смело и нагло, как с папуасами (то есть, возвращаясь к лексике современных подворотен и полит- кулуаров,— как с лохами). Эти нехитрые технологии были немедленно подхвачены смекалистыми частными лицами, и по всей стране, как грибы после дождя, повылезли финансовые пирамиды. Люди радостно извлекали из-за щек свои жетоны, запихивали их, так сказать, в пирамидальные автоматы и доверчиво ждали манны небесной. Однако счастливое наваждение длилось недолго, очень скоро им объявили, что автоматы сломались, что все свободны и могут расходиться по домам. О жетонах лучше забыть, ибо здоровый сон дороже.

Ведь это чудо, чудо что такое! А между тем, повторяю, эти-то пирамиды есть не что иное, как модели так называемых демократических государств. Гигантская лохотронная пирамида лишь дублирует и упрочивает корпус пирамиды государственной. Происходит вот что. Вам (разумеется, если вы находитесь в нижних ярусах пирамиды) обещают в ближайшем будущем поистине сказоч

ные дивиденды (и те, кто пооборотистее, действительно успевают их урвать, нужно ли объяснять, что успевают те, кто находится в верхних ярусах или стремительно прорывается туда, идя по головам и набивая щеки жетонами). Под эти будущие баснословные дивиденды вы должны;

1) положить свой труд. Во-первых, налоги. Это само собой разумеется. Во-вторых — то, что тоже само собой разумеется, но в системе пирамидально-демократических отнощений усиленно размывается, именно: то, что оплата труда в нижних ярусах никогда не соответствует и не может соответствовать реально вложенным интеллектуальным и физическим затратам (да и взвесить все это крайне затруднительно, а потому здесь все так легко размывается), она всегда занижена настолько, насколько это возможно. Это ясно всякому, кто не блуждает в тумане тотального лицемерия'. А в-третьих, за государством всегда сохраняется право в критических ситуациях, которые оно же и создает, радикально поправить свои финансовые дела, уж совсем без всяких затей очистив карманы подданных. В частности, новая Россия началась с того, что все сбережения, которые население по рублику, по червончику десятилетиями скапливало на черный день, вдруг, самым что ни на есть белым днем, растворились в воздухе. И в этом была своя логика: общество равных возможностей и должно начинаться с обеспечения для низов равного права клевать землю. Но этого мало, под будущие сказочные дивиденды вы должны:

2) положить свою жизнь. В рассрочку (та немалая ее часть, которая кладется во имя процветания административно-финансово-военной пирамиды) или единовременно и оптом (в виде военных жертвоприношений). Наконец, вы должны;

3) без рассуждений и пререканий заложить свою душу (но об этом чуть позже).

И вот чудодейственная мащина заработала! И самое главное ее удобство в том, что населению верхних ярусов нет никакой надобности, слопатив свое, разбегаться, как это делали учредители частных пирамид. Потому что, пока суд да дело, уходим мы, наивные вкладчики, уходим и уходим в затылок друг другу — в те дальние края, откуда нет возврата.

Если уж совсем начистоту, если оставить в стороне все сложные и всякий день усложняющиеся правила государственной игры, то суть ее проста, как пя-

' Кстати, только этот туман может породить вполне серьезные разговоры о таком таинственном и всячески воспеваемом ныне качестве, как «умение заработать», которое должно же чем-то в корне отличаться от банального умения работать, иначе так бы и говорилось — работать. Вынырнув из тумана, понимаешь, что дело здесь идет все о тех же рычагах и жетонах, только правила этой силовой игры более сложны и запутанны, чем в подопытном стаде обезьян, потому что цель ее — не беспристрастное наблюдение за подопытными, а как раз отработка таких тонких, высокоцивилизованных. хитроумно опосредованных приемов ограбления, чтобы подопытные и не заподозрили, что их ограбили. Собственно, умение заработать есть не что иное, как повышенная агрессивность, перенесенная в сферу финансово-экономическую, это и есть умение идти по головам (а в реальных условиях современной России — и по трупам), набивая щеки жетонами. Что же касается продвижения по ступеням государственноадминистративной пирамиды, то здесь нечего добавить к тому, что уже было сказано об иерархических программах стадных обезьян. Почти нечего. Потому что чиновничество, да в общем весь законодательно-принудительно-исполнительный аппарат тоже ведь жетоны мимо рта не проносит, ведь все эти румяные ребята — совсем не посторонние в

так на ладони, и исчерпывающе определяется другим популярным сегодня словом — «крыша». Крыша, по современным понятиям, это мощная, хорошо организованная и отлаженная, строго иерархическая группировка, которая объявляет: «Мы заботимся о вас и о вашем здоровье». Забота прежде всего заключается в том, что такую-то территорию группировка облагает данью, обязуясь за это поддерживать на территории порядок и охранять ее от посягательств других группировок, контролирующих соседние территории. Порядок действительно кое-какой поддерживается — в той мере, в которой это необходимо, чтобы куры исправно несли яйца, чтобы не утаивали их от хозяев территории, чтобы на ней не появлялись всякие мелкие группки или отдельные лица, которые захотели бы действовать по тем же правилам, теми же методами и с теми же целями, что и большая группировка (а буде такие явятся, жестко и решительно пресекать их деятельность, преступную с точки зрения больших хозяев). Хуже обстоит дело в сфере межтерриториальных отношений. Раздел территорий, сфер влияния и экономических интересов — предмет вечных раздоров между мощными группировками. Посему трения, скрытая враждебность и напряженность, гнет собственных неутолимых амбиций, постоянная головная боль о том, чтобы не уступить того, что можно удержать, и оттягать то, чего не может удержать соперник, а значит, постоянная демонстрация своей мощи и вседневная забота о ее наращивании — всё это не дает покоя доминантам группировок со всем их аппаратом шестерок и субдоминантов. Время от времени группировки пытаются уладить трения, «забивают стрелки», то есть разбираются дипломатическим путем, «по понятиям», которые установились в их среде; и часто удается снять напряжение мирным путем, достигнув взаимовыгодного соглашения (взаимная выгода — это когда одна группировка до поры не чувствует себя в силах отстоять свои выгоды по всем пунктам и вынуждена в чем-то уступить, а другая, которая до поры чувствует свое превосходство, вежливо «опускает» конкурентов, заверяя их при этом в вечной дружбе, в залог которой даже бросает им какую-нибудь мелкую косточку). Но иногда договориться не удается, и тогда начинается вооруженная разборка. А поскольку такие разборки происходят в людном месте, называемом планета Земля, кровищи бывает по колено.

Не берусь решить, к чему больше относится сей краткий очерк — к области организованной преступности или к сфере государственности. Да велика ли разница? Разница только в том, что деятельность государственных «авторитетов» *считается* законной, а деятельность криминальных — незаконной. Кем считается? Государством. Если бы завтра какая-нибудь преступная группировка, какие-нибудь «солнцевские» пришли к официальной государственной власти, ничего нового, чего бы еще не было под солнцем, не случилось бы. Будьте уверены, и гуманистических идей вывалили бы целый мешок, и обещаний сказочных дивидендов — тонну, и культурку бы худо-бедно подкормили, и школы бы не закрылись (в них бы учили тому, что история нашего многострадального отечества счастливо разрешилась наступлением светлых солнцевских дней), и в космос бы летали (ибо сферы интересов нельзя упустить и там), а уж армию отгрохали бы такую, что любо-дорого: всякий честный гражданин за священный долг бы почитал пойти в нее и радостно издохнуть за своих кормильцев...

Впрочем, я не в курсе: может быть, они уже пришли?

Сейчас многие в России недоумевают. Как докатились мы до жизни такой, что уже не представляется возможным провести четкую грань между государ

ственными властными структурами и криминальными? Почему первый президент России имел явно выраженные замашки пахана, которые не могли укрыться даже от официальных телекамер? Да Бог с ним, с президентом, отчего мы, все мы еще вчера, митингуя на своих кухнях, в собраниях и на площадях, с горящими глазами вещали о разумном, добром и вечном, а сегодня — как с цепи посрывались? Отчего это повальное озлобление и озверение? Отчего верхи что хотят, то и могут, а низы с остервенением клюют землю? Отчего, едва успев захлопнуть солженицынский «Архипелаг...» с торжественным заклятием; «Никогда! Никогда больше!» — мы вдруг стали жить-наживать по тому самому лагерному закону, от которого только что с омерзением и ужасом открестились,— по закону «издохни ты сегодня, а я завтра»? Отчего все это?

. С тех пор как я познакомился с азами этологии, я ничему не удивляюсь. Люди, как и прочие животные, крайне консервативны. Наверное, двух-трех поколений достаточно, чтобы государственная пирамида, выстроенная под какими угодно знаменами и лозунгами, воспринималась как нечто законное, священное и нерушимое во веки веков; чтобы все определились со всеми кормными местами и водопоями и привыкли к ним; чтобы все перемещения внутри пирамиды, все подсиживания, заискивания, интриги и предательства вошли в будничное русло, как в стаде анубисов. Еще меньше времени требуется для того, чтобы власть и ее довольно многочисленные акционеры вычистили грязь и засохшую кровь из-под ногтей, надели свои парадно-комедиантские мундиры или смокинги, влезли на свои высоченные подмостки и замурлыкали свою вечную песенку: «Спите, дети! МЫ не спим за вас. МЫ любим вас, МЫ думаем о вас, МЫ вообще ни о чем другом, не думаем — век воли не видать!»

Но в том-то и дело, что мы присутствуем при самом зарождении нового государства — новой власти, новых элит, новых сословий. Мы-то во время нищего наивного Ренессанса полагали, что это может происходить как-то иначе, цивилизованно и демократично, в полном соответствии с теми радужными проектами, от которых распухали тогдашние журналы (мы тогда вообще много читали книг и журналов и потому слишком хорошо о себе думали). Но жизнь в который раз показала, что *никак иначе это происходить не может.* Это нужно понять, чтобы впредь не заблуждаться. В самом голом и кровавом виде это зарождение происходит (на нашей, исторической памяти) во время революций и сразу после них. Так что мы еще должны благодарить Бога, что нам на долю выпал некий смягченный вариант.

А происходит неизбежно вот что. Старая пирамида если и не рухнула вовсе, как во время революций, то донельзя расшаталась, все связи ослабли, на верхних ярусах образовалась уйма вакансий, а где не образовалась, сидят одряхлевшие индюки; только потряси — сами осыплются. Словом, старой пирамиды, можно считать, уже нет. Но пирамида всегда есть — в нашем сознании и подсознании, в наших инстинктивных программах, в наших генах. Вне пирамиды мы себя не мыслим. И начинается великое переселение внутри имеющей образоваться пирамиды, начинается генеральное выяснение отношений и беспощадная, по Дарвину, борьба за иерархический ранг в обновленном сообществе двуногих.

Поскольку природа не придумала никаких иных пирамидообразующих средств, кроме агрессивности, то она-то, первобытно-косматая, и пробуждается в нас, или, вернее, упорядоченная, благовидная и крепительно действовавшая внутри устоявшейся пирамиды, тут она вырывается в чисто поле во

всей своей звериной необузданности. А поскольку давно уже в сообществе двуногих иерархический ранг застолбляют при помощи сундука с жетонами из желтого металла, разгулявщаяся стихия обретает форму великой битвы за пиастры. Включаются и начинают на полную катушку работать все животные программы присвоения чужого или временно ничейного добра — от захвата источников материальных благ (в конечном итоге главнейшим их источником становится сама власть, на всех уровнях и во всех своих обличи- ях) до примитивного воровства и попрошайничества (которым занимаются не только синдикаты нищих, но и администраторы-вассалы по отношению к своим сюзеренам). Кроме того, агрессивная погоня за пиастрами, порождающая всенародное жгучее желание — «немедленно и много», открывает невиданный простор для грабежей, при которых вместо физической силы применяется главное оружие человека — ловкий изворотливый ум. Мошенничество приобретает характер бури и натиска, в ход идет все, от игры в наперстки на базарах до испытанного государственного лохотрона.

Но этого мало, мало! Нужды нет, что где-то там, на Западе, давно придуманы хитромудрые системы каналов и канальцев, по которым деньги мирно текут к деньгам, вольно им там, канальям, жировать, а нам надо немедленно и много, нам цацкаться некогда — мы пирамиду строим! И поэтому — раскаленные утюги на животах заартачившихся данников, бесконечные заказные убийства, массовые потасовки на заводах, переходящих из рук в руки, самая разнузданная и почти неприкрытая коррупция по всей властной вертикали, от государственных мужей до вахтеров (пока вертикаль не устоялась, рвать надо немедленно и много), наконец, побоища на окраинах территории, где появляются свои кандидаты в доминанты, которые тоже хотят организовать пусть небольшой, но свой, суверенный лохотрон. Коротко говоря (словами Толстого): «Успехи одних грабителей вызывают зависть других грабителей, и захваченная добыча становится предметом раздора и губит самих грабителей. Так это бывает с собаками, так это бывает и с людьми, спускающимися на степень животных» (так в «Письме к китайцу» Толстой обрисовал механику международных захватов, но в смутные времена она открыто ворочает и внутренними делами). Горько это осознавать, но в моменты, когда контуры пирамиды еще не оформились, когда шевелящиеся массы карабкаются по ее неоштукатуренным откосам, когда давят друг друга даже не по умыслу, а по инстинкту,— в эти моменты люди могут спускаться и ниже степени животных. Потому что ни одна собака, как бы алчна она ни была, не ставит на брюхо другой собаки раскаленный утюг.

Так стоит ли удивляться тому, что коммерческие, криминальные и государственные структуры так непотребно поперепутались. Ведь они выстраиваются по единым животным законам, и во время тотальной, хаотической пирамидообразующей борьбы их пути и интересы неизбежно пересекаются. Агрессивные особи, работающие зубами и когтями в разных структурах, могут конкурировать, могут лезть и по-альпинистски, в одной связке, смотря по тому, что выгоднее в каждый данный момент борьбы за место в пирамиде.

Да, но как же все те светлые демократические идеи, как же святые знамена, под которыми мы водили хороводы на площадях вокруг пламенных народных трибунов? О, весь этот священный хлам нужен, очень нужен — постольку, поскольку помогает решать насущные тактические задачи. И потому, повторяю, знамена и лозунги могут быть какими угодно, поскольку, по большому

счету, знамена и лозунги — сами по себе, а механизмы, образующие и связующие пирамиду,— сами по себе. Тут главное — в нужное время и нужном месте вскарабкаться повыше, на какой-нибудь камень, пень или броневик, и громко говорить те слова, которые хочет слышать это волнующееся внизу многоголовое море, а уж инстинкт — он сам куда нужно довезет, как извозчик Митрофанушку. И потому можно, скача по пням и броневикам, всю свою взлетную кампанию построить на обличении партийно-хозяйственного аппарата, его раздутости и присвоенных им привилегий, и, доскакав куда нужно, тут же учредить аппарат в несколько раз больший (а уж о привилегиях лучше не вспоминать: партийно-советские номенклатурщики — невинные хомячки в сравнении с нынешними волками). Можно охрипнуть от божбы, клянясь в своей преданности демократическим институтам, и тут же отдавать приказ лупить из танковых орудий по непокорному парламенту. Можно, возложив длань на конституционный талмуд и возведя очи горе, торжественно уверять всех и вся (в том числе и себя самого) в единой своей цели — не пощадить живота ради народного благосостояния, а в свободное от политических заклинаний время крутить десятком фирм, открытых для отсасывания жетонов из государственного «общака». Словом, можно, можно и нужно лгать во всю ивановскую.

Для меня, признаться, новая Россия начинается не с ваучеризации и не с тех потешных аукционов, под прикрытием которых происходил захват источников благ. Для меня точка отсчета — то поистине историческое, всем еще памятное заявление нашего пахана-президента о том, что он, как Анна Каренина, ляжет на рельсы, если допустит то-то и то-то (скучно даже вспоминать, что именно). Вернее, точка отсчета — фантастический по своему цинизму финал этого эпизода; президент немедленно нарушает публично данное обещание и не только не ложится под паровоз, но даже не сгорает со стыда (а потом еще столь же фантастическим путем, при реально трехпроцентном рейтинге, умудряется во второй раз влезть на президентские подмостки). Этот случай гомерического вранья на высшем уровне был как стартовая отмашка — можно, можно лгать, лгать по-крупному, непрерывно и взапуски.

И вот уже десять лет, как налаживается и совершенствуется государственная система обмена веществ: снизу вверх — труды, жизни и души, сверху вниз — ложь, ложь и ложь (достигающая просто-таки ниагарской интенсивности во время предвыборных кампаний), ну и так, кое-какие семечки, чтобы низы уж совсем-то одну землю не клевали. Эта хлещущая изо всех дыр и пор ложь составляет необходимую питательную среду государства. И настолько питательную, что скачущая по трибунам агрессивная особь, бывает, действительно сама начинает верить в то, что плетет; оно и понятно: пока ванька-инстинкт погоняет, не грех и вздремнуть, уютно устроившись в уголке экипажа, и тут чего-чего только о самом себе не пригрезится, и всё в самом приятном и возвышенном виде.

«Жестокий век, жестокие сердца!» — восклицаем мы из века в век. И опять, снова и снова оказываемся беззащитны перед собственной животной природой и худо прикрывающей ее ложью. Отчего это? Оттого, отвечает Лев Толстой, что «без веры люди могут быть руководимы только выгодой, а человек, руководимый только выгодой, не может быть ничем иным, как только обманщиком или обманутым» («Закон насилия и закон любви»).

И если взглянуть на дело трезво, то мы вспомним, что, посковырнув с наших площадей большевистских идолов, мы на их место ничего, кроме истукана

Плутоса, не водрузили (украсив его, правда, кто во что горазд, демократическими хлопушками и мишурой). Тогда слово «экономика», не сходившее с миллионов уст, зазвучало для нас как магическое заклинание. На рыночную экономику чуть что не молились, от нее ждали чудес, причем и в тех сферах, к которым экономика никогда не имела и не может иметь отношения. Мы учредили настоящий культ рыночной экономики, и мало кто тогда, во дни массового умопомрачения, отдавал себе отчет в том, что этот культ не имеет в себе ничего, кроме закона экономической целесообразности, закона выгоды. И в какие бы высокоумные плутни ни пускались экономисты и социологи, закон этот в своей исходной форме прост: издохни ты сегодня, а я завтра (ибо для меня это во всех отношениях выгоднее, а в конечном счете — и для любезного отечества: меньше народу — больше кислороду). Этот жестокий, животный, лагерный закон, теперь, у нас, действует почти открыто; пока государственные мужи плачутся на трибунах о том, что криминал не ловится, не растет кокос, и всё оттого, что законы не работают,— этот животный закон работает бесперебойно и строго.

И вот я спрашиваю себя: где, в какой стране очнулись мы после золотого сна, навеянного нашим Малым Возрождением? И уже не затрудняюсь с ответом: в той самой, в которой и заснули. «Мы живем, под собою не чуя страны», мы живем в Зоне.

Приступ второй: исторические бастионы

Еще одно, последнее сказанье, которое совершенно необходимо, чтобы прорваться наконец к Толстому. Сказание о демократии.

Когда люди живут в Зоне и не имеют возможности из нее сбежать, все их светлые надежды не идут дальше той колючей проволоки, которой Зона огорожена. В автократической Зоне люди согреваются мечтой о добром царе-батюш- ке, который придет и разгонит злых и жадных министров, вельмож и прочих притеснителей и заживет душа в душу со своим народом. В советской Зоне, в пору мирного загнивания, в народе, помню, поговаривали: вот встал бы сейчас Ленин (вариант: Сталин), увидел бы весь этот бардак, уж он бы навел порядок. Оказавшись в демократической Зоне, люди должны утешаться тем, что, да, конечно, демократия несовершенна, но ничего лучше человечество пока не придумало, и потому нужно всемерно совершенствовать то, что придумали: всячески разветвлять власть и гроздьями прививать к ее ветвям органы общественного надзора и контроля.

Действительно, все эти вихри враждебные, гуляющие теперь по Руси, легко принять за болезни роста. В конце концов все проходят через дикий период первобытного накопления капитала, через захват всего того, что можно захватить (то есть через тотальную борьбу за иерархический ранг). Общество должно перебеситься, и, когда все будет захвачено, уже во втором-третьем поколении, все переменится: наследники нынешних волков, обучившись в Кембрид- жах и Сорбоннах, будут свободно изъясняться на трех—пяти языках, музицировать на фортепианах, заниматься благотворительностью и, главное, обеспечивать все новыми рабочими местами потомков тех простофиль, которые хлопали ушами, когда надо было работать локтями и зубами. Вот тогда-то и настанет время совершенствовать, совершенствовать и совершенствовать то, что придумали.

Однако, пока речь идет о росте государственной пирамиды, мне ясно, что ныне переживаемое Россией похабство — действительно болезнь роста, настоящая чума. Но ее переживает любое государство в момент зарождения. И остается не вполне ясным вопрос, что мы такое особенное придумали, чего еще не было под солнцем, и к какому небывало радостному выздоровлению ведут се- годнящние, вот именно эти конкретные, родовые корчи.

Безусловно, демократия — порождение человеческого разума, ее действительно придумали. Порождение разума, в отличие от порождений инстинкта, должно выдерживать поверку здравым смыслом, должно иметь отправную точку уже в человеческой истории и даже явить в этой истории какие-то реальные плоды (или хотя бы перспективы урожая), которые могли бы служить доказательством разумности и жизнеспособности этого порождения.

Несколько лет назад, проснувщись в Зоне после золотого сна, в котором я благополучно пребывал вместе со всеми, я рещил покопаться в этом вопросе с помощью умных людей (то есть книг, ими написанных), попытаться выяснить, что такое демократия и с точки зрения исторической, и с точки зрения здравого смысла.

С точки зрения исторической, я пришел к неумолимому выводу; демократия есть раздел античной мифологии, по недоразумению отнесенный к области реальной истории.

Демократию придумали милые, милые эллины. У них вообще очень трудно провести четкую грань между легендой и историей, у них на каждом шагу преувеличение, гражданская патетика, символ, забавный и поучительный анекдот — словом, то совершенно детское буйство красок, та дерзость их сочетаний, которые восхищают, но от которых начинает рябить в глазах. Распознать наверняка не столь броскую натуру, с которой это пышное полотно писано, очень трудно (тут в настоящем-то толком не разберешь, где натура, а где фантазии).

Но в целом вот что выясняется. Если говорить о демократии, то говорить нужно не обо всей Древней Греции, а об Афинах, и если говорить всерьез, нужно определиться с временными рамками: от демократических реформ Клисфена (508 г. до Р. Х.) до роспуска народного собрания и прихода к власти «тридцати тиранов» (404 г. до Р. Х.) — всего сто лет с хвостиком. Если же говорить о зрелом периоде афинской демократии, то это — «век Перикла» (что, конечно же, тоже преувеличение, потому что политический век Перикла длился лет тридцать). Кроме того, надо бы отсечь и большие войны. Конечно, войны, сей неисчерпаемый источник славы и богатой добычи,— это живительный воздух языческого мира (и непреходящий хлеб историков), больше того, военные победы и считались главными доказательствами крепости и мудрости государственного устройства. И все-таки нужно отсечь от пышного полотна блестящие батальные сцены, поскольку нам интересно не животное, а человеческое (разницу между тем и другим мудрецы понимали и тогда, с горечью замечая, что человеческие законы нужны людям лишь для собственной защиты, для нападения же и мести им законы не требуются). Так вот, если от означенного столетия с одного конца отсечь войну с персами, а с другого — Пелопоннесскую войну, то в остатке получаем полтора десятка лет относительно мирного расцвета афинской демократии (так что не долго мучилась старушка Демократия).

Нужно отдать должное афинянам, они сделали все мыслимое и немыслимое, чтобы в их полисе властвовал народ, чтобы установить баланс между лич

ными интересами граждан и общегосударственными, чтобы оградить власть от авантюристов, которые захотели бы пользоваться государством как инструментом для достижения своих корыстных и честолюбивых целей, чтобы застраховать власть от язв, испокон веку ею и порождаемых,— коррупции, впутывания в государственные дела дружеских и родственных связей, запутывания этих дел в интригах и т. д. и т. п. Словом, афиняне сделали все мыслимое и немыслимое, чтобы всю совокупность субъективных факторов утопить в объективном море общего благоденствия, из которого каждый субъект мог бы черпать своей личной ложкой свое личное благо. Все мыслимое и немыслимое в этой области сводится к тому, чтобы брать не столько умением, сколько числом и постоянной кадровой перетасовкой.

Афины с Аттикой — это 25 тысяч граждан. Высшей властью обладало народное собрание, в котором для принятия важных решений должно было сойтись не менее шести тысяч человек и которое бушевало раз в полторы недели, а чиновничьи функции исполнял ежегодно переизбиравшийся Совет пятисот; Совет разбивался на десять пританий, каждая притания вела дела десятую часть года и каждый день избирала председателя, этакого афинского правите- ля-однодневку. Судебная власть, трибунал гелиастов,— тоже шесть тысяч человек, по пятьсот человек в каждой коллегии (подкупить такую ораву или подобрать к ней иной ключик затруднительно). И еще были сотни и сотни выборных должностей разных уровней по управлению, надзору и контролю — ежегодно их занимало около двух тысяч граждан, причем в век Перикла в большинстве случаев дело решалось не голосованием, а жеребьевкой. Кроме того, в этот краткий век был отменен имущественный ценз, ранее сужавший круг кандидатов на общественные должности, и эти должности стали оплачиваться (оплачивалось даже участие граждан в многочисленных празднествах, причем не только в качестве действующих лиц, но и в качестве театральных зрителей). При этом никто не мог исправлять одновременно две должности и быть избранным дважды на одну должность (исключение составляли стратеги). При этом перед вступлением в должность гражданин подвергался испытанию в Совете пятисот или одной из судебных коллегий, а слагая полномочия, предоставлял отчет в народное собрание (до утверждения отчета лишаясь права распоряжаться своим имуществом). При этом любой гражданин мог возбудить судебное преследование против лица, уже сложившего полномочия, уличив его в беззаконии, или поставить на голосование в собрании вопрос об отрешении от должности и предании суду какого угодно лица. При этом — постоянный прессинг народного собрания по отношению ко всем временно властвующим. При этом... да все, что хотите: у афинской демократии, как у хорошего фокусника, в каждом кармане по зайцу сидит. И плюс ко всему — расцвет свободных искусств, грандиозное строительство акрополя...

Словом, в известном смысле, афинская демократия была устроена идеально, настолько идеально, насколько это возможно. Самый тонкий, самый изощренный, самый дальний и самый ближний расчет в сочетании с самым очаровательным простодушием. Ведь только младенца можно уверить в том, что кадровая чехарда и шесть тысяч глоток могут быть причиной и источником политической мудрости и расцвета искусств. Этот идеальный демократический Олимп и вправду смахивает на столь же густонаселенный Олимп мифологический, на котором заседали греческие боги, делившие власть в самом широком ведомственном спектре, от вопросов громоизвержения до проблемы прыща на

каждом отдельно взятом эллинском носу,— сидят, шумят, вершат текущие дела, судят, рядят, препираются, а между делом потягивают нектар. Однако все идеальное должно опираться на что-то материальное.

Откуда брался нектар для афинской демократии, мы, в общих чертах, помним из щкольного курса истории. Аттика — это 25 тысяч граждан. При общей численности населения 300—400 тысяч. Так что пока граждане шумят, рабы несут трудовую вахту, а женщины присматривают по хозяйству. Кроме того, для низких занятий (ибо занятий, достойных гражданина, было только два — война и управление государством) имелось достаточное количество метэков — чужаков, в основном ремесленников и торговцев, которые где-то там, в родном городе, числились гражданами и, дабы не ронять себя по месту гражданства неподобающими трудами, перебирались в чужие края; здесь они могли снять мастерскую, завести рабов и прочие орудия, подкармливали государство налогами и даже имели право сложить голову в боях за чужой полис, но права купить землю, дом, и уж тем более права участвовать в управлении у них не было.

Словом, граждане, роившиеся на афинском политическом Олимпе, были действительно в своем роде небожители, ревностно оберегавшие свои кастовые интересы и исполненные гордыни, подпитывавшей пламенный афинский патриотизм. Как ни много было должностных обителей на этом Олимпе, а он все- таки не резиновый. Поэтому во времена расцвета был принят закон, по которому гражданами стали считаться лишь те, кто был рожден афинянкой от афинянина (прежде достаточно было иметь отца-афинянина), что делало касту совершенно замкнутой. Кроме того, часто в ряды небожителей проникали чужаки — конечно, через подкуп должностных лиц (ибо нельзя же государству без подкупов). Ввиду всего этого самый что ни на есть расцвет афинской демократии был ознаменован частыми и суровейшими чистками: из списков граждан, бывало, вычеркивали тысячами.

Со всем тем греков нельзя упрекнуть в недобросовестности терминологии. С точки зрения здравого смысла, насколько он нам доступен сегодня, в самом термине «демократия» заключена утопия. Демократия — власть народа. Над кем? Над самим собой. Учиться властвовать собой — дело полезное, но сугубо индивидуальное и к государственному управлению отношения не имеющее. Этим вздором можно кормить, но проглотить его можно только под гипнозом. Но у эллинов все по-честному; есть демос, народ, который властвует, и есть не- народ, который занимается всем остальным.

Собственно, этого уже достаточно, чтобы идеально устроить демократический улей с лубочной крышкой (есть у Толстого прекрасная маленькая вещичка «Две различные версии истории улья с лубочной крышкой» — там, конечно, речь об истории вообще). Для идеального устройства достаточно, но для истинного процветания — все-таки маловато. Постоянным и верным источником дохода была военная добыча. Повествования об относительно мирном периоде в истории Афин пестрят сообщениями о том, как такой-то стратег доблестно разграбил такое-то побережье, опустошил такой-то остров; совершить набег на варваров и хорошенько их потрясти — вообще дело святое и высокопатриотичное. Но все это, так сказать, будни языческого мира, этого тоже недостаточно для подлинного расцвета.

Конечно же, почву для него взрыхлила тоже война. В самом конце грекоперсидских войн Афины, вовремя сколотившие сильный флот, стали во главе Делосского союза городов, созданного для освобождения греческих земель.

остававшихся под властью персов, и вообще для защиты Эллады от варваров, сочетавщейся с превентивными нападениями. Очень скоро союзная казна со священного острова Делос перекочевала в Афины, а союзники превратились в данников. Разумеется, подчиненное положение не устраивало «союзников», то здесь, то там вспыхивали мятежи, но афиняне бесплощадно, огнем и мечом их подавляли, и покоренные города подписывали акты о повиновении Афинам. Но для поддержания должного порядка одних актов мало. Где нужно, попросту оставляли военные гарнизоны; где нужно, насаждали марионеточные правительства, изгоняли олигархов и «демократизировали» управление в подчиненных полисах, вверяя его надежным, то есть своим, людям. Кроме того, в пору расцвета появляются многочисленные клерухии — поселения вооруженных афинских граждан на землях, под корень очищенных от смутьянов. Польза от клерухий была двойная: во-первых, разгружался от трутней центральный афинский улей, а во-вторых, под боком неблагонадежных «союзников» гнездились вооруженные соглядатаи.

В одной из своих обольстительных речей Перикл назвал Афины «щколой всей Эллады». И действительно, Афины были не прочь взять в науку все греческие полисы, для чего даже предпринимались попытки созвать всегреческий конгресс. Если бы это объединение осуществилось, нетрудно догадаться, чем бы оно обернулось для Эллады, имея в виду судьбу Делосского союза. И неудивительно, что этим далекоидущим планам Афин немедленно и категорически воспротивились их мощные соперники, спартанцы, которым и без того костью в горле были имперские пляски Афин, исполнявшиеся под фальшивую миротворческую песенку. Как бы то ни было, а мощный зачаток империи был уже налицо: Афинам подчинялось около ста пятидесяти городов, из которых в центральный улей стекалась огромная дань — она-то и шла на оплату демократических игр для граждан, на бесчисленные пышные празднества и грандиозное строительство.

Итак, вот она, модель античной демократии: вверху — непрерывно жужжащий сонм граждан-небожителей (то, что сегодня называется политической элитой, в ткань интересов которой вплетены интересы всех прочих элит), внизу — рабочие пчелы; подлинный же расцвет обеспечивает — под разными предлогами и всевозможными способами налаженная — система оттягивания меда из других ульев, не имеющих столь великолепной лубочной крышки. (Если трезво и беспристрастно взглянуть на недавнюю историю и сегодняшнее положение в мире ныне процветающих демократий, мы обнаружим эту же модель и те же формы ее функционирования — хоть тресни, ничегошеньки нет нового под солнцем).

Однако надо бы еще выяснить, что представляет собой лубочная крышка этого улья. На ней можно смело начертать, украсив строгим, в эллинском вкусе, орнаментом, блестящую формулу Франсуа Фенелона, имевшего в виду афинскую демократию: «Все в Греции зависело от народа, а народ зависел от слова». Великолепно сказано. И этим вполне может ограничиться романтическая версия теории и истории государства, писанная каким-нибудь трутнем-ис- ториографом Прупру. Но мы обязаны спросить: кем в каждом конкретном случае было сказано слово, какие мотивы двигали говорившим, какие цели слово преследовало, к чьей выгоде клонилось, было ли оно сказано в неспешной беседе с человеком, способным всесторонне обдумать и взвесить его, или, чего доброго, было брошено в толпу, пусть даже она и носит гордое имя народного собрания,— в общем, многое следовало бы выяснить. Понятно, всего выяснить

невозможно. Но ответ на главный вопрос — почему век расцвета афинской демократии носит имя Перикла? — греческие историографы дают.

Перикл, блестящий аристократ, богач, в молодости с опаской относившийся к демосу,— этот самый Перикл сделался затем образцовым, неподражаемым, несгибаемым демагогом (эллинское понимание этого слова нейтрально; вождь народа). Здесь возможна романтическая версия Прупру: Перикл прозрел в демосе неисчерпаемые творческие силы. Но возможна и версия попроще: Перикл трезво оценил афинскую политическую конъюнктуру и поставил на верную карту (вообще, когда вследствие громких военных побед дух граждан на подъеме, самое время потрафить народу, дабы увлечь его за собой). Сей славный муж, по общему мнению историков, блистал всеми мыслимыми языческими добродетелями: «двадцатиместной» головой политика, умом и доблестью стратега, высоким патриотизмом, безукоризненной неподкупностью, но главное, за что он и получил прозвище Олимпиец,— небывалым красноречием и даром убеждения (в этом деле у него были великие наставники — Зенон из Элеи, обладавший «силою двое- язычной», и философ Анаксагор). Об этом даре Перикла толковали по-разному. Говорили, что, выступая в народном собрании, он, подобно Зевсу, извергает громы и молнии. Фукидиду (не историку), политическому противнику Перикла, возглавлявшему олигархическую группировку, оставалось только пошучивать на сей счет, когда в результате этого соперничества с Олимпийцем он оказался в изгнании. На вопрос спартанского царя, кто лучший борец, он или Перикл, Фукидид ответствовал: «Если даже я его поборю и положу на обе лопатки, он и тогда станет доказывать, что он стоит на ногах, победит меня в этом споре и убедит в своей правоте всех зрителей». Понятно, что слово, это мощное оружие, не должно тупить по пустякам: когда дело шло о вопросах второстепенных, Перикл действовал через третьих лиц, запуская в собрание своих друзей, самого же себя, как козырную карту, приберегал для особо важных случаев. Можно представить себе эту величественную игру в демократические кошки-мышки: кош- кой-демагогом давно уже все предрешено, однако она дает мышке-демосу временную свободу действий, возможность уверовать, что сильнее мышки зверя нет; мышка пищит, устрашающе подпрыгивает, имитируя огромный рост, но вот — последний смертоносный маневр кошки — неумолимая логика, изощренное красноречие, ораторский напор — аплодисменты, занавес.

Тут не стоит тонуть в подробностях. Уже и греческие историки, вообще говоря принимавшие демократию за чистую монету, не испытывали иллюзий насчет того, какова была форма правления в Афинах в период расцвета, какова была суть ее, прикрывавшаяся дырявым хитоном народовластия. Младший современник Перикла Фукидид (историк) писал: «По названию это была демократия, а на деле — власть первого гражданина». Позже Плутарх высказывался еще более определенно, описывая ту пору, когда Перикл, руками демоса, избавился от последних своих соперников из аристократического лагеря: «Итак, политическая борьба была совершенно ликвидирована, и государство стало как бы безмятежным и совершенно единым. Вследствие этого Перикл сделал подвластными себе Афины и всё, что было связано с Афинами,— обложения союзников, войска, триеры, острова, море и всю огромную власть и гегемонию как над греками, так и над варварами, опирающуюся на подвластные племена и на дружественные отношения с царями и союзы с властителями. Но теперь Перикл стал уже иным,- не был так послушен народу; он уже не уступал прихотям массы так же легко, как корабль дуновению ветра. Но подобно тому, как музыкант после веселой и

нежной мелодии перестраивает струны, чтобы сыграть серьезную и высокую, так и Перикл сменил мягкую демагогию, основанную на уступках народу, на аристократический и даже монархический государственный строй».

Итак, откинув лубочную крышку демократии, мы обнаруживаем под ней — автократию, демагогически смягченную, процедурно усложненную автократию, да еще с огромными, частью осуществившимися имперскими амбициями.

И не нужно думать, что самые изощренные процедурные усложнения и многолюдство на политическом Олимпе спасают от дрязг, интриг, подкупов, тайных сговоров, манипулирования толпой и военно-политических авантюр. Все это было. Даже политические убийства, конечно же, были. Все это было по той простой причине, что демократия, какой бы цветущей она ни была, не только не отменяет животную природу человека, но даже не вступает в противоречие с ней ни по одному пункту. И когда приходят дни суровых испытаний, все демократические игрушки забываются, всю высокую гражданскую сознательность как рукой снимает.

Вот что пишет Фукидид о тех временах, когда неизбежная, давно назревавшая война с лакодемонянами вспыхнула, когда жители Аттики скучились в укрепленных Афинах, когда их начала косить какая-то болезнь, которую греки называли чумой: «...с появлением чумы в Афинах все больше начало распространяться беззаконие. Поступки, которые раньше совершались лишь тайком, теперь творились с бесстыдной откровенностью. Действительно, на глазах внезапно менялась судьба людей: можно было видеть, как умирали богатые и как люди, прежде ничего не имевшие, сразу же завладевали их добром. Поэтому все ринулись к чувственным наслаждениям, полагая, что и жизнь и богатство одинаково преходящи. Жертвовать собою ради прекрасной цели уже никто не желал, так как не знал, не умрет ли, прежде чем успеет достичь ее. Наслаждение и все, что как-то могло служить ему, считалось уже само по себе полезным и прекрасным. Ни страх перед богами, ни закон человеческий не могли больше удержать людей от преступлений, так как они видели, что все погибают одинаково и поэтому безразлично, почитать ли богов или нет. С другой стороны, никто не был уверен, что доживет до той поры, когда за преступление понесет наказание по закону. Ведь гораздо более тяжкий приговор судьбы уже висел над головой, и пока он еще не свершился, человек, естественно, желал по крайней мере как-то насладиться жизнью».

Я потому привел такую длинную цитату из Фукидида, что она прямо звучит эпитафией не только афинской демократии, не только языческим добродетелям, но и всему языческому жизнепониманию (которое и поныне царит в мире). Обратите внимание на эту безукоризненную по-своему логику, которой историограф объясняет мотивы преступлений. Тяжкий смертный приговор судьбы нависает над людьми — и все человеческие законы разлетаются, как карточный домик (страшнее судьбы уже никто не покарает, и прекрасной цели достигнем не мы). Но этот же самый смертный приговор нависает над людьми всегда, над всеми (только исполнение его отложено на неведомый нам срок). И потому «естественно» (для человека языческого миропонимания это действительно естественно) «по крайней мере как-то насладиться жизнью», естественно тайком или явно, смотря по обстоятельствам, совершать преступления, естественно жить по животным законам, естественно пускаться во все тяжкие. Все это естественно, ввиду того приговора, который объявлен нам этим миром.

А законы человеческие — это ведь только правила игры, сегодня одни, завтра другие: сами пишем, сами правим, сами по ветру пускаем.

Об афинской демократии остается сказать всего несколько слов. Чума не пощадила и Олимпийца Перикла. Его не столь блестящие преемники, как пишет Фукидид, занялись «мелкими дрязгами в борьбе за руководство народом и первенство в городе, и не только вяло вели войну, но привели в расстройство своими распрями государственные дела». Все это тоже естественно и находится в полном соответствии с животными законами. Всё — конец был предрешен.

На бивуаках современности-2

Вообще же, и на длинные цитаты, и на разговоры об афинской демократии я решился потому, что ничего нового мы с тех пор действительно не придумали, разве что у римлян позаимствовали кое-какие пошлости, вроде выборных технологий (вообще, там, где у эллинов еще оставалось место простодушию, у римлян — государственное лицемерие, пошлость, металл).

И первое, что досталось нам от эллинов,— это слово, действительно превращенное ими в могучее оружие. Было бы наивно ожидать, что такой хитрый и коварный примат, как человек, всю изворотливость и силу своего ума положивший на изобретение и усовершенствование все новых орудий убийства, оставит без внимания это поистине великое оружие человека — слово. Еще во времена Перикла в Афинах появились софисты (спрос — желание добиваться своего в народном собрании — породил предложение), за хорошее вознаграждение они брались научить кого угодно логично и красно обосновывать что угодно. Вот она, настоящая чума, которую несет в себе так называемая демократия. Совершенству нет пределов — с тех пор это искусство так изощрилось и так глубоко увязло в своих извращениях, что головы, кажется, уже не вытянуть. Это привело к тому положению, о котором уже в начале XX века писал Толстой. Он писал, что эти извращения слова оборачиваются для людей потерей способности ясного, разумного мышления. Он писал, что в итоге «мысль и слово употребляются не на то, чтобы служить руководством человеческой деятельности, а на то, чтобы оправдывать всякую деятельность, как бы она ни была преступна» («Одумайтесь!»). Другими словами, животная природа подчинила, поработила и то единственное (не много, но многое!), что отличает человека от зверя. Ну а так называемая демократия открывает самый широкий простор для всех форм словоложества и логоблудия.

Мне очень нравится одно высказывание о демократии Бернарда Шоу. Он сравнивал ее с большим шаром, который наполнен горячим газом и в гондолу которого шумно, толкаясь и наступая друг другу на ноги, усаживается политическая элита: «Такой воздушный шар запускают в небо, вы следите за ним, задрав голову, а в это время другие очищают ваши карманы».

Шар ли, лубочная ли крышка (или прямые, без всяких там метафор, слова Фукидида: «По названию это была демократия, а на деле...»), но всеми чувствуется, что события в условиях демократии (я устал прибавлять «так называемой») разворачиваются как бы в двух планах. С одной стороны, пирамида сохраняется, и следовательно, в ней продолжают действовать все животные законы, все их двигатели и приводные ремни, сколько бы ни было на пути этого движения нагорожено человеческих законов. С другой же стороны, демокра

тия, создавая густую дымовую завесу путем публичного словоложества, силится перевернуть пирамиду в сознании простодушных людей.

Кстати, недавняя перепись российского населения обнаружила премилую подробность, касающуюся этого перевертыша. Вспомнили перепись конца XIX века, подняли августейше заполненный лист — оказалось, что на вопрос об основной профессии Николай II ответил тогда просто, как дитя: «Хозяин земли русской». Но не таковы вожди демократической России: все они во главе с президентом, добродушно улыбаясь переписчикам (ведь нельзя же тут сдержать улыбку), на сей вопрос отвечали в том духе, что они «оказывают услуги населению», управленческие, законодательные — всякие (вот вы попробуйте отказаться от этих назойливых услуг, откажитесь, например, идти в военное рабство или платить налог на содержание этих услужливых ребят и на вооружения — и вам немедленно будут оказаны все необходимые услуги по вашему тюремному содержанию).

Итак, существуют два плана, в которых разворачивается демократическое действо: реальный и, как теперь принято говорить, виртуальный. Механизм, который силится создать (а в головах простодушных людей и создает) виртуальную реальность демократии,— это представительство, выборы. Об этом глупом и лукавом изобретении даже как-то неловко говорить всерьез. И потому я не стану говорить о том, что лежит на поверхности, что все в России видят сейчас невооруженным глазом,— о тех огромных денежных массах, которые стоят за выборами, о той бесцеремонной лжи и примитивной демагогии, которыми соблазняют избирателей, вообще о неизбежной театрализованности предвыборных кампаний, о технологиях «пиара», который почему-то называют черным, как будто он может быть небесно-голубым (сами задачи, задачи высокотехнологичной лжи, перед ним стоящие, исключают возможность иных цветов и оттенков, кроме черного), о том, что для характеристики всех этих действ прямо, открыто, а не в укромных кулуарах применяются термины игры — шахматной, карточной, боксерской, театральной — какой угодно, но игры... Словом, не стану говорить обо всем, что ставит под большой вопрос возможность осуществления даже того странного идеала, из которого исходит выборная система, именно: что голос большинства есть голос разума. Мне только хочется сказать о тех тоже очень простых вещах, которые вытекают из всего вышеизложенного и, увы, исключают возможность выжать из демократии нечто большее, чем то, что из нее сейчас подтекает.

Надежды, связываемые с демократией, состоят в том, что когда-нибудь мы станем столь умны, столь проницательны, столь образованны в политическом, правовом, экономическом и медицинском отношении, что сможем из ста пятидесяти миллионов (или хотя бы из ста пятидесяти тысяч) выбирать пусть не самого, но хотя бы просто умного, честного, порядочного, бескорыстного, дальновидного, психически нормального, морально устойчивого (но такого, чтобы устоял, когда на него навалятся все соблазны власти), желательно еще и великодушного человека. Но этого не может случиться никогда. А при выборной системе — настолько никогда, что все надежды можно сразу отнести к минусовой области. Мы выбираем — между кем и кем? Мы выбираем между несколькими особями с ярко выраженными иерархическими, то есть животными, программами и неизбежно повышенным уровнем агрессивности (иных просто не может оказаться в предвыборной обойме; с какой стати человек малоагрессивный, не стремящийся к соблазнам власти, вообще хоть сколько-нибудь пы

тающийся одолеть в себе животную природу,— с какой стати он подчинится животным иерархическим программам, с какой стати полезет в эту обойму?). И таким образом, мы всегда тщательно выбираем между шилом и мылом. Последняя надежда на то, что выборы позволяют не допустить к власти хотя бы самых подонков, отметается дежурным возражением; нацисты в Германии пришли к власти демократическим путем. Кто-то скажет на это; «Никогда, никогда больше! Мир уже не тот!» Но, увы, мир всегда тот. Представьте, что кто-нибудь сказал бы человеку XIX века, так, между прочим сказал бы, что его правнука поведут в газовую камеру, и не просто так поведут, а с изысканной, не лишенной культурного подтекста издевкой — поведут под виртуозно-бравурную музыку Вагнера,— нет сомнений, что человек XIX века счел бы говорящего сумасщедщим. А ведь, к слову сказать, именно об этом, только об этом (не зная, конечно, тех конкретных диких форм, в которые завтра и послезавтра выльется человеческое зверство) и говорил, и предупреждал, и кричал, выбиваясь из сил, Лев Толстой на пороге кровавого XX века. «Одумайтесь! — кричал он.— Если не одумаетесь — погибнете!» Но если в сумасшедшем доме кто- то говорит разумные вещи, больные неизбежно считают его сумасшедшим.

Так вот — выборы. По своему внутреннему содержанию,— это действительно игрища во вкусе Рима, вскормленного сосцами волчицы. Тут тоже возникают два плана. С одной стороны, агрессивные особи грызутся за иерархический ранг. С другой стороны, эта грызня превращается в народную забаву, в зрелище, вроде поединков гладиаторов или бойцовых петухов. На время предвыборной кампании грызущиеся агрессивные особи становятся как бы ниже самых низов, ниже самых жалких и забитых, ибо от зрителей зависит, поднимут ли они палец вверх, или опустят вниз (то есть в каком месте поставят крестик на бумажке, которую потом засунут в ящичек). Таким образом раз в несколько лет низам предоставляется возможность поиграть в свою политическую значимость, отвести душу, как отводят душу макаки, на поругание которым доминант отдает сильную особь. Причем у людей нет даже необходимости забрасывать грызущихся экскрементами — они сами забрасывают ими друг друга, лично или через закупленную прессу.

Одним словом, выборная система выхолащивает и последние намеки на здравый смысл, к которому хоть как-то стремилась афинская демократия. Ведь в масштабах сегодняшнего среднего государства греческий полис — большая деревня, там всё пытались решить сходкой (другое дело, что опытный демагог и сходку всегда сумеет повернуть туда, куда ему нужно). В результате, выборная система отнюдь не отменяет животные законы, по которым выстраивается пирамида, и в полной мере обеспечивает то положение дел, о котором писал Толстой; «Властвуют всегда наиболее дурные, ничтожные, жестокие, безнравственные и, главное, лживые люди. И то, что это так, не есть случайность, а общее правило, необходимое условие власти». И для полной ясности добавлял; «Нравственный, добродетельный государственный человек есть такое же внутреннее противоречие, как нравственная проститутка, или воздержанный пьяница, или кроткий разбойник» («Единое на потребу»).

При совмещении двух планов демократии — реально действующей государственной пирамиды с виртуальной, перевернутой с ног на голову,— получается следующая примерно картина (насколько фантасмагория вообще поддается описанию). Властвующей особой объявляется его лохородие Демос. Но кому подобен сей властитель? Он подобен малолетнему монарху. И не потому, что

глуп (хотя и глупцов, конечно, всегда хватает), а потому, что слишком разнороден и разрознен и оттого слаб, безволен, к тому же доверчив и недальновиден, к тому же неуравновешен и по-детски порочен, склонен к шалостям, обожает игрушки и занимательные зрелища, ну и так далее. Пока такой монарх пускает слюни на троне, вместо него и его именем правят всякие регенты, опекуны, советники — все это люди ловкие, волевые, целеустремленные, туго знающие свое дело и свою выгоду и умело обращающие себе на пользу все недостатки и слабости монарха. Нужно ли объяснять, что именно такой слабый монарх особенно удобен для проворачивания всяческих авантюр (ему подсовывают на подпись любую чушь, и он, не утруждая себя чтением — ибо муторно это, по складам читать,— ставит печать и возвращается к своим игрушкам); нужно ли напоминать, что именно при таком монархе пышно расцветают придворные интриги, политический авантюризм, казнокрадство, мздоимство — разумеется, при полной безответственности и полной безнаказанности: для регентов ведь и человеческий закон не писан, к тому же они надежно прикрыты щитом, на котором начертано имя монарха — Демос.

По названию это демократия, а на деле — все что угодно. Окутанная густыми облаками демократического словоблудия, властная пирамида, которую выстраивают все эти регенты и опекуны, в принципе готова к любым мимикриям. Она может приобретать черты автократии или разнообразных форм олигархии, но в конечном счете всегда тяготеет к плутократии. Ибо единственное, что изменяется в характере (но не во внутренней сути) власти при переходе от деспотии к демократии, это то, о чем коротко и ясно писал Толстой: «...вместо власти, основанной на прямом насилии, является власть денежная, основанная на том же насилии, но не непосредственно, а через сложную передачу» («О значении русской революции»).

Особенно же ясно мы должны бы отдавать себе отчет в том, что ведь демократия всегда брюхата автократией. Поскольку властная пирамида сохраняется, теоретически на ее вершину всегда открыт путь талантливому авантюристу. Практически же для осуществления этого варианта необходимы особые обстоятельства; безотказно хорош для таких случаев военно-патриотический зуд (тоже — наследство, доставшееся нам от стадных обезьян). Государство всегда держит про запас одно-два пугала в образе «предполагаемых противников», и добравшаяся до верхушки пирамиды агрессивно-доминантная особь несколькими самоуверенными шагами на международной арене, несколькими безответственно-решительными заявлениями сама может и создать напряженность, и обострить патриотический зуд, а в условиях военной угрозы низы сами ударят челом, требуя единоначалия и армейской жесткости иерархических структур. Примеры того, как срабатывает этот механизм,— у нас перед глазами. По счастью, это пока не с размахом написанные полотна, а наброски, эскизы. Второй российский президент, скажем, взлетевший на волне патриотической жажды отмщения Чечне, всего несколькими жесткими, воинственными заявлениями в мгновение ока сплотил боевым, великодержавным духом народ и автоматически обрел его безмерную любовь, так что где-то уже начали отливать разнокалиберные бюсты президента и ткать коврики с изображением его сладчайшего лика (преобразование страха в холопскую любовь в нас происходит мгновенно и даже превентивно). А в те самые дни, когда я пишу эти строки (осень 2002 г.), конгресс США, ввиду предстоящих разборок с Ираком, поднес на блюде своему президенту (субъекту, кстати, явно агрессивному до зуда)

право единоличных решений в вопросах мира и войны. Конечно, это еще не автократия, но мощный элемент ее в структуру эталонно демократического государства внесен — ведь важнее именно этих вопросов нет ничего на свете; необдуманные, самонадеянные решения именно в этих вопросах ведут к тяжелейшим последствиям не только для тех, на кого нападают, но и для тех, кто нападает, а в конечном счете — и для всей планеты.

Что же касается тех несчастных, которые заворожены зрелищем кучевых демократических облаков, то и о них лучше Толстого не скажешь. Он писал, что обман демократии «особенно вреден тем самодовольным рабством, в которое он приводит людей, подпавших ему. Люди, подпавшие этому обману, воображая, что они, повинуясь правительству, повинуются сами себе, уже никогда не решаются ослушаться постановлений человеческой власти, хотя бы они и были противны не только их личным вкусам, выгодам, желаниям, но и высшему закону и их совести» («Конец века»).

Но ведь есть же, есть процветающие демократии, которые в недавние наши переломные годы властно поманили нас ароматами сорока сортов сыра и ста сортов колбасы! Они, конечно, есть. Но ведь мы тогда, в те славные годы, чего-то недопоняли. Эйфория была столь сильна, что вызвала повальную историческую амнезию, даже элементарный школьный курс истории моментально вышибло у нас из головы (еще простительно было не помнить об источниках процветания афинской демократии или республиканского Рима, но как мы умудрились забыть Новое время — загадка, которая может быть объяснена только массовым гипнозом). Дело представлялось нам так, что эти соблазнительные ульи только вчера появились на свет, и сразу — в процветающе-демократическом виде. Как будто эти страны не грабили веками везде и всюду, где только доставали руки, причем особенно активно и масштабно грабили уже в своей промышленно-демократической ипостаси. Как будто не было колониальной системы, в которой дело оттягивания меда из подвластных ульев было налажено так, как и не снилось наивным эллинам, ни даже грубым римлянам (и войска, и клерухии, и наместники, и обложения — все это было не ново, но сами масштабы и хитроумие прямого и денежного порабощения уже несли на себе печать зрелой цивилизации; такого чудовищного и по размаху, и по бесчеловечности грабежа действительно еще не бывало под солнцем). А ведь остатки этой системы рушились еще на наших глазах. Но разрушение это было подобно тому, как разбивают грубую и малопривлекательную снаружи гипсовую форму, в которой уже застыл в нужной конфигурации металл. Войска ушли (впрочем, и это не совсем правда — военные базы, охраняющие процветание ульев с лубочными крышками, разбросаны по всему миру), клерухии рассосались, отчасти подвергшись ассимиляции, но хитроумная финансово-экономическая сеть, обеспечивающая приток меда в центральные ульи, осталась: планета в ней — как шар, загнанный в бильярдную лузу. При этой застывшей в металле системе львиная доля мирового продукта благополучно, мирно и цивилизованно оседает в нескольких западных странах. Всё прочее — зоны их экономических интересов (лучше сказать — Зона). Хотя локальные экономические войны в этой Зоне никогда не прекращаются, генеральные схватки уже позади (по крайней мере, ближайшее будущее их, вроде бы, не предвещает; хотя, конечно, предсказать, когда, по какому направлению и по какому поводу вырвется копящаяся агрессия, невозможно), все поделено, все схвачено, вклиниться всерьез негде.

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

и вот, кстати, еще одна причина, почему Россия, возжаждавшая немедленного экономического и демократического процветания, необходимо должна была приобрести нынешние уродливые формы. Планка материального процветания, заданная лубочными демократиями, страшно высока. Достигается она только планомерным (последовательно-скрытным) внутренним или молниеносным колониальным грабежом. У новорожденной российской демократии притока меда извне нет (там все схвачено), но зато своих просторов — немерено. Что же остается нашим агрессивным особям, возжелавшим немедленно достигнуть материальных евростандартов? Только подвергнуть молниеносному колониальному грабежу собственную страну. Факт, по современным рамкам, беспрецедентный, но Россия сама себя подвергла колониальному захвату. Все признаки его налицо: и варварское разграбление природных богатств, и обращение с населением, как с папуасами, вплоть до его истребления (что, впрочем, достигается мирным путем: рождаемость минус смертность), и мощный отток меда в центральные ульи. На местном, российском уровне в их роли выступают столицы и другие мегаполисы (там ныне всё — как до нашей эры: есть и головоногие политические элиты, есть не слишком процветающие, но коренные граждане, которые полагают, что от них что-то зависит, и потому всегда очень много шумят, есть и метэки, которыми полны тамошние рынки и которых страшно недолюбливают коренные жители, исполненные гражданской гордыни, наконец, на ударных стройках капитализма процветает и фактическое рабство). Где находятся центральные ульи мирового масштаба — известно. По-настоящему до планки материального благоденствия можно дотянуться только там —■ туда и устремляются наиболее проворные наши колонизаторы, причем капиталы и металлы устремляются туда, опережая их самих. И вот, между прочим, налажен еще один канал, по которому мед притекает в передовые ульи с лубочно-демократическими крышками.

Так что не сразу, не сразу демократические рабы впадают в полное и окончательное самодовольство — их нужно еще хорошенько прикормить. До сытых западных демократий дошли наконец-то увещания Платона и Аристотеля, давным-давно толковавших, что раба, как и всякое полезное орудие, нужно содержать в исправности (впрочем, тут сказалась и та наука революционного движения, которая в свое время не обошла стороной все эти цветущие угодья и в которую, уж совсем как кур в ощип, попала Россия, чем страшно напугала Запад). Наконец-то тамошние рабы в общем и целом сыты (средства позволяют). А это, конечно, имеет и свои следствия.

Помните ли вы чеховский «Крыжовник»? Там рассказчик делится одним очень точным наблюдением: «Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое». Конечно, это очень по-русски — любое дурное свойство, общее всем людям, относить на свой национальный счет. Конечно, и это свойство — вполне интернационально. Сытость, понятное дело, не добавляет зрелости, глубины и самостоятельности ни частным мнениям рабов, ни их совокупному, общественному мнению (как раз наоборот), но самомнение развивает действительно самое наглое'. Является не-

' Важный комментарий по этой теме есть и в дневнике Толстого (8 августа 1907): «Ум возникает только из смирения. Глупость же — только из самомнения. Как бы сильны ни были умственные способности, смиренный человек всегда недоволен — ищет; самоуверенный думает, что все знает, и не углубляется».

истребимая потребность с важным видом изрекать «истины» (которые исправно в необходимых дозах поставляет телеящик), потребность поучать свысока босых и тощих. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, как Афины когда-то, отучневшая членами западная цивилизация берет на себя роль всемирной школы демократии. По мере необходимости в качестве учительской указки применяются точечные бомбовые удары. А дальше — как по нотам: гарнизон, демократизация, ручное правительство (которое за примерное поведение получает щедрый заем — этакий здоровенный кусище сыра, натурально в полмышеловки).

И вот, с тех пор как пал опасный сосед Запада, советский Лакодемон, цветущие демократии упрочились в неодолимом желании осуществить в масштабах планеты то, что не удалось осуществить Афинам в масштабах Эллады. О том, каково это предполагаемое сооружение, догадаться нетрудно. Ведь ничего, кроме животных законов, под хламидой демократии не имелось и не имеется. И главный подспудный закон — «издохни ты сегодня, а я завтра» — в планетарном масштабе действует просто и буднично (треть населения Земли голодает, тринадцать с половиной миллионов детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирает от истощения и болезней; все это так и должно быть, утешает беспристрастная наука: им и на свет-то незачем было появляться, тут и без них становится слишком тесно). Так вот, поскольку никаких коренных преобразований в животном мире демократия не производит, то предполагаемое сооружение не может стать ничем иным, как только грандиозной сверхпирамидой. Уже наметившиеся ее контуры сегодня не видны разве что слепому: в качестве доминанта — Соединенные Штаты Америки; субдоминанты — страны Западной Европы и примкнувшие к ним; ниже — все прочие (источники сырья и дешевой рабочей силы, рынки сбыта цивилизационного барахла, площадки для вредных производств, наконец, просто мировая помойка — все это так понятно сегодня, что скучно повторять).

И по правде говоря, не знаю, кого как, а меня это грандиозное, в вавилонском вкусе строительство ничем бы не смущало, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, если бы я хоть на секунду мог поверить, что доминантные и субдоминантные группы когда-нибудь наедятся и успокоятся на своих сундуках, набитых желтыми жетонами (а это весьма и весьма сомнительно; достаточно сказать, что самая богатая страна в мире, США,— одновременно и самый злостный саботажник международных экологических программ; довод американцев очарователен в своей простоте: если мы перестанем так обильно гадить — это негативно скажется на темпах роста *нашей* экономики и благосостоянии *наших* граждан; нечего и говорить о том, что почти все западные страны пропустили мимо ушей недавний призыв общественных организаций поделиться с полунищими соседями, дабы помочь им в борьбе с бедностью и решении экологических проблем, а ведь и предлагали-то оторвать от сердца по 0,7% бюджетов; при этом — сравните сей ничтожный процент с бюджетами военными).

Во-вторых, это сверхстроительство меня бы не смущало, если бы я хоть на сотую долю секунды мог поверить, что все агрессивные особи найдут себе место в верхних ярусах этой сверхпирамиды и на земле воцарится мир. Но это предположение еще более невероятно. Оно уже на корню разрушено теми пилотами-шахидами, которые направили самолеты на нью-йоркские башни Всемирного торгового центра.

«...Думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете» (Луки, XIII, 4— 5),— эти слова Христа прямо приложимы к сентябрьским событиям 2001 года. Шум тогда поднялся до небес, заговорили о том, что падение башен есть начало отсчета нового тысячелетия, что оно знаменует наступление некой новой эры в истории человечества. Но многие ли тогда в Америке, в шутовских формах исповедующей христианство, многие ли в Европе, тоже внешне исповедующей его, многие ли в России, которая лезет из кожи вон, чтобы примкнуть к «цивилизованному» миру,— многие ли вспомнили тогда эти слова Христа (о чем толковать, если и христианские пастыри их не вспомнили, а с напыщенной услужливостью бормотали что-то о языческом праве возмездия, для которого, как известно, не нужен не только Божий, но и человеческий закон). Многие ли отдавали себе отчет в том, что мы как жили, так и живем в старой, ветхой, дохристианской эре. Потому что так и не слышим этих слов Христа, в которые время вносит все новые и новые количественные коррективы. Кажется, эти страшные коррективы должны бы уже настолько усилить неотвратимый смысл Христовых слов, что не схватиться за голову, не одуматься, не покаяться просто невозможно. Что, кажется, может быть яснее сегодняшней редакции этих слов: «Думаете ли вы, что те тысячи людей, которые были погребены под руинами нью-йоркских башен, виновнее всех живущих в мире? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете».

Но нет, нет, нет, мы так и не научились каяться, мы умеем только мстить.

Приступ третий: внеисторическая цитадель

Несколько лет назад, когда я избавился от последних демократических иллюзий, я, признаюсь, оказался в положении Буриданова осла, который, находясь между абсолютно равноценными стогами сена, должен издохнуть от голода, будучи не в силах остановить свой выбор на одном из них. Разница только в том, что я должен был издохнуть от отвращения, оказавшись между одинаково гнилыми копнами автократии и демократии (со всеми возможными их мимикриями). Все уже созрело в ощущениях и даже кое-каких посильных размышлениях, я начал сторониться государства, насколько это было возможно, я пытался найти убежище от него в церкви, но все это было не то, не то! Тут требовался один-единственный шаг, один-единственный, но для меня такой трудный, что без опытного вожатого было не обойтись. И вот случай, бог-изо- бретатель, привел меня к Толстому.

О том, каков этот шаг, который бывает трудным не только для средних умов. Толстой писал в дневнике 29 декабря 1906 года: «Часто удивлялся на путаницу понятий таких умных людей, как Владимир Соловьев (сказал бы [С. Н.] Булгаков, если бы признавал в нем ум), и теперь ясно понял, отчего это. Все от того же (как и во всей теперешней науке) признания государства, как чего-то независимо от воли людей существующего, предопределенного, мистического, неизменного».

Наблюдения и выводы этологов могут внести лишь одно уточнение в это замечание Толстого: да, государство действительно существует независимо от воли людей, но лишь постольку, поскольку они — животные, и только до тех

пор, пока они находятся в безраздельной власти инстинктивных программ, которые разум затрагивает лишь по касательной (признавая их и смиряясь с ними). Но уж, конечно, ничего предопределенного и неизменного, а тем более священного и мистического в идее государства, покоящейся на животных иерархических программах, нет и быть не может.

Однако этот шаг, избавляющий от путаницы понятий, действительно очень труден, потому что человек может видеть и понимать все безобразие государств прошлого и настоящего, осознавать все то зло, которое они порождали и порождают, но зачастую не может при этом избавиться от той пирамидальной модели государства, которая запечатлена в его сознании и подсознании, и потому все свои светлые надежды связывает с переустройством и благоустройством этой пирамиды. (Особенно же человека пугает мысль, на сегоднящний день вполне фантастическая: «Что если сейчас, немедленно упразднить государство? Ведь это же — разгул бандитизма, грабежей, воровства!..» Почему-то такая ненаучная фантастика и вообще сослагательное наклонение страшат нас сильнее, чем тот изъявительный кошмар, в котором мы живем и который кажется нам более сносным только потому, что мы к нему худо-бедно привыкли. Ну в самом деле: как будто все это, и бандитизм, и грабежи, и воровство, не процветает и под мощными крылами государства, как будто оно само не занимается всем этим в особо крупных размерах, и в «легитимных» формах, и вне их, как будто государство вообще для чего-то другого создано, кроме установления «законных» форм грабежа и удержания награбленного. Какое бы там ни было на дворе тысячелетье — «открыть окно, что жилы отворить».)

Действительно, идолище государственности пустило в нашем сознании и подсознании такие мощные корни, что, бывает, в самых своих дерзновенных мечтах люди — территориальные животные! — готовы распрощаться даже с государственными границами, видя, сколько страшных кровавых бед несут в себе бесконечные территориальные разделы, переделы и беспределы, но этот будущий мир без границ они не могут представить себе иначе, как только под властью мирового правительства, то есть опять-таки в виде грандиозной сверхпирамиды.

Так что фараонова погоня, от которой так счастливо оторвались бежавшие из рабства евреи,— продолжается. Это в преданиях все легко и просто, ибо там все решает волшебство: евреи «с тимпанами и ликованием» выходят на ясный брег и запевают торжественную песнь, а фараон тем временем со всей своей военной бандой пускает бульки на дне Чермного моря. А если без волшебства — грохот фараоновой колесницы всегда у нас за спиной; если без оглушающих идеологических тимпанов — веками и тысячелетиями рабство преследует нас по пятам. И то сказать: «Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами». И тому некуда бежать, у кого в голове и в генах, как черт в Вакуловом мешке, сидит страшный, подавляющий образ чудовищной государственной пирамиды, в которой спрятан мумифицированный труп, в которой нет ничего, кроме смерти. А в основании ее — жизни тысяч, миллионов и миллиардов рабов, которых веками мучают и кладут штабелями, снова и снова воплощая все тот же тупой проект (подсчитано, что только в войнах, которых за истекшие пять тысячелетий было пятнадцать тысяч, погибло около четырех миллиардов человек).

Не отрешившись от этой самой закоренелой формы идолопоклонства — поклонения идолищу государственности,— человек не может в полной мере по

нять, признать и принять ту в общем простую истину, которую Толстой формулировал с математической точностью: «Принадлежа к государству, человек не может быть свободен» («Конец века»), причем это касается не только подвластных, но в еще большей степени властвующих.

И вот настало время объясниться, почему, заговорив о Толстом, я так долго ходил вокруг да около злосчастной государственной пирамиды, пытаясь повнимательнее присмотреться к ней то с одной, то с другой точки зрения.

14 ноября 1903 года Толстой записал в своем дневнике: «Обыкновенно думают, что прогресс в увеличении знаний, в усовершенствовании жизни,— но это не так. Прогресс только в большем и большем уяснении ответов на основные вопросы жизни. Истина всегда доступна человеку. Это не может быть иначе, потому что душа человека есть божеская искра, сама истина. Дело только в том, чтобы снять с этой искры Божьей (истины) все то, что затемняет ее. Прогресс не в увеличении истины, а в освобождении ее от покровов. Истина приобретается, как золото, не тем, что оно приращается, а тем, что отмывается от него все то, что не золото». И та золотая крупица — истина о неизбежности порабощения государством человека, его свободной души,— она тоже всегда доступна людям. Больше того, кажется, что она доступнее других, ближе других, ибо за нее уже уплачена цена неслыханная — кажется, неисчислимые страдания людей должны рассеять тьму, именно с этой стороны скрывающую искру Божью («человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх»,— сказано в Книге Иова). Но, увы, это только кажется. Потому что, пожалуй, ни одна золотая крупица истины не упрятана в такие толщи грязи и не утрамбована с таким тщанием, как эта.

Ведь едва ты начал дышать на этом свете, как немедленно в свидетельстве о твоем рождении государство ставит свою неумолимую печать (сейчас в православной среде ходят тревожные толки о том, когда и каким лукавым способом нас начнут клеймить печатью антихриста; милые, да эти рабские стигматы давно напечатлены на наших детских безмысленных лбах). Всё! Отныне ты раб государства. Отныне и навсегда (смена гражданства — это ведь как Юрьев день, в который холоп только и может, что перейти в ведение другого барина: тот-то, бают, добрейшей души — не семь шкур дерет, а всего только три). Отныне твой детский неокрепший мозг государство забирает в свои стальные тиски — вся огромная идеологическая машина, со всеми своими блестящими военными парадами, школами, университетами, средствами массовой информации, со всеми своими фанфарами, литаврами и бубнами влезает в твою душу и хозяйничает там, как в своей вотчине (и чему же рабы могут научить нас, малых сих, кроме рабского самодовольства, кроме рабской гордыни, основанием для которой служит то счастливое обстоятельство, что ты приговорен к пожизненному заключению в этой Зоне, а не в другой, наконец, кроме рабской готовности умереть за нерушимость границ твоей Зоны, но прежде чем умереть — убивать, убивать и убивать). Смешно сказать, но пошло уже третье тысячелетье от Рождества Христова, а государства и по сей день успешно насаждают прямое идолопоклонство. всеми способами (вплоть до угрозы административных наказаний) принуждая людей поклоняться государственным символам — флагам, штандартам, гербам (присмотритесь-ка, кстати, к этим гербам, ко всем этим бесконечным львам и орлам с их угрожающе распущенными когтями, с их

злобно отверстыми кровожадными клювами и пастями,— они ведь действительно очень точно символизируют внутреннюю сущность государства).

Воздействие на людей этой огромной идеологической машины Толстой часто сравнивал с массовым гипнозом. С тех пор средства тотального оболванивания стали еще более мощными, еще более изощрились, а в нашем обиходе появилось и более точное слово для характеристики их воздействия — зомби- рование. Ибо государство действительно должно прежде затоптать искру Божью, умертвить в человеке душу, чтобы сделать его управляемым.

Всё! Ты раб, ты зомби, ты заложник. Сейчас, когда все вокруг только и говорят о терроризме, мы бы должны понимать это особенно ясно; да, мы, все и всегда,— заложники собственных государств (и заложники не только настоящего, но и прошлого этих государств), заложники интересов и амбиций политических, финансовых, чиновничьих и военных элит. Террористы, выхватывая из общего числа заложников малую их часть (остальным пока повезло) и тем обостряя ситуацию, лишь делают это скрытое положение явным. Государство при этом всячески демонстрирует заботу о своих подданных, однако не скрывает и главного— того, что ни при каких условиях своего оно не уступит (почему и считается, что контртеррористическая операция прошла успешно, если угроблено только двадцать заложников из ста; из этого, между прочим, можно сделать вывод и о том, какую цену государство всегда готово заплатить для достижения своих целей: 20% населения — это сходная цена). Потом, когда острота ситуации снята, а попутно взвинчен дух патриотизма (этого уж никак нельзя упустить), государство берет других своих заложников, обряжает их в солдатскую одежку и отправляет куда надо,— и тут уж не считают ни сотен, ни тысяч. Что же касается террористов, то и они, конечно, тоже большей частью заложники,— заложники тех агрессивных особей, которыми они зомбированы'.

Все это так. «Принадлежа к государству, человек не может быть свободен». Вот почему я так долго и так издалека подступался к этой толстовской формуле, то соскальзывая в обезьянье стадо, то забредая в леса истории и современности (в которых тоже немало обезьяньего), вот почему: если человек

' Тут нельзя не сказать двух-трех слов и о том праведном негодовании, которым пылает «цивилизованный» мир в связи с терроризмом. Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно. Этот грозный галдеж сильно напоминает неудовольствие Наполеона, который, влезши в Россию, очень обижался на русских медведей за то, что они ведут войну не по правилам. Ну в самом деле, мы сколотили мощные армии, мы, не жалея триллионов долларов, запаслись ядерными арсеналами и высокоточным оружием, мы вполне созрели, чтобы вести войну через космос, мы голову себе сломали, выдумывая все новые и новые виды оружия,— словом, костьми легли и приготовились убивать высокоцивилизованно, не вылезая из бункера и с чашечкой горячего кофе,— и вдруг являются какие-то дикари и начинают убивать не по нашим правилам! Действительно обидно! Впрочем, не надо обольщаться и по поводу правил. Взгляните на ситуацию с Ираком. «Цивилизованный» мир берет эту страну в кольцо экономической блокады, то есть объявляет ее население заложниками (они, конечно, как были, так и остаются заложниками своего правительства и своего диктатора), США в ультимативной форме выдвигают свои требования к Ираку, в случае невыполнения которых грозят начать отстрел заложников и уничтожение их кормных мест. Чем, скажите, эта тактика отличается от тактики террористов? Впрочем, одно отличие все-таки есть. Это то самое животное право сильного, которое позволяет плевать на всякие правила и при этом продолжает

не принял эту истину или, по крайней мере, не подготовился к тому, чтобы ее принять, то ему не стоит и браться за серьезное чтение религиозных сочинений Толстого. Я имею в виду такое чтение, при котором читатель вступает в общение с великими умами не для развлечения (к коим нужно отнести и бесцельное накопительство высоких знаний, и неутолимое потребительство сластолюбцев от культуры), а в поисках духовной поддержки, в поисках основ для своей жизни. Толстой — вообще чтение нелегкое, а уж в последние тридцать лет жизни он меньше всего заботился о приготовлении блюд для литературных гурманов. Тридцать лет он заботился только о том, чтобы успеть снять как можно больше покровов, заслоняющих от людей истину (когда он умирал на станции Астапово, в самые последние часы его жизни, близкие уже с трудом разбирали его слова, и одна из последних его фраз, обращенная к сыну, так и осталась неразгаданной; он рывком привстал с постели, часто и тяжко дышал, и окружающие его расслышали только: «Сережа... Истина... Я люблю... много...» — дальше было не разобрать).

Покровы, которыми драпирует истину государство (весь этот царственный багрец пополам с тюремной рогожкой и солдатской портянкой) — самые тяжкие, самые многослойные, самые неприкосновенные и «священные». Разодрать их не всякому под силу, и Толстой — один из тех, кто осмелился. Казалось бы, лосле него, которому внимала вся Россия и весь мир, нам легче дотянуться до истины. Но вот прошло еще сто лет, а мы не только не тянемся к ней, но с опаской от нее отстраняемся. Казалось бы, обладая не только полнотой отрицательного знания, но и переизбытком его (ибо XX век переполнил чашу сию), мы бы должны кожей чувствовать правду о государстве; и действительно, многие из нас кожей-то чувствуют, но вот признать ее во всей полноте — многие ли готовы? И дело тут не только в животных иерархических программах, порабощающих наше сознание. Дело еще и в другом. Ведь многим принимать эту истину боязно. Многим и многим — невыгодно, и в материальном смысле, и с точки зрения внутреннего комфорта (и речь тут не только о властях предержащих — подавляющее большинство людей, особенно в силу прогрессирующей урбанизации и индустриализации, слишком тесно запутано в дела государства). Наконец, признание этой истины многим представляется фатально бесполезным: ну примем, ну и к чему это поведет (и действительно, к обретению *внешней* свободы с ближайшего понедельника это, конечно, не ведет).

Я говорил вначале, что щебенка незнания — уже подходящий материал для возведения той горделивой пирамиды, с вершины которой удобно нападать на Толстого. Но кроме незнания, есть еще материал и покрепче, именно: *нежелание* знать (где-то у Толстого выставлена эпиграфом французская поговорка: «Самые глухие люди — это те, которые не хотят слышать»). Нежелание — потому что страшно, потому что неудобно, потому что невыгодно, потому, наконец, что ни к чему. И эта добровольная глухота и слепота, вкупе с методикой государственного зомбирования, удерживает в нашем подсознании, закрепляет и насмерть цементирует в нем пирамидальное идолище государства. Вот уж эта твердыня — из рода непрошибаемых. И, конечно, любой шляпник или храбрый портняжка, любой господин Искариотов (патриот из патриотов), словом, любой из верных холопей государства, с гордостью осознающий себя плотью от плоти его, может мысленно вскарабкаться на эту твердыню и вообразить себя этаким гордым орлом на вершине Кавказа, этаким Медным всадником, и уж тогда — трепещи, Лев, наших трещоток и арапников! — уж тогда любой шляп

ник волен мнить, что он может гнать Толстого, как зайца, как пушкинский Медный всадник гнал бедного Евгения по мертвым улицам Петрополя. Волен мнить — потому что опорой ему вся мощь государства, вся тупая, грубая сила власти земной, которая не может не гнать Толстого-проповедника со всех своих престолов и седалищ, со всех своих постаментов, подпирающих столь любезных холопскому сердцу «горделивых истуканов», с их державно вытаращенными каменными и медными глазами, с их долгими руками, властно простертыми вперед, в неведомую даль, где ждут нас все новые пропасти.

Да, все иродиане (поборники государственной идеи), все саддукеи (всё измеряющие материальным и не признающие ничего, кроме материального), теоретики и практики, вчерашние, сегодняшние, завтрашние, всегда готовы выступить единым фронтом против любого, кто дерзнет замахнуться на идолище государства. Какого-нибудь бедного Евгения, который погрозит кулачком и, заранее замирая от страха, прошепчет «ужо тебе!», попросту сведут с ума и сотрут в порошок. С такими фигурами, как Лев Толстой, возни побольше, но и тут не робеют иродиане и саддукеи.

Пока Толстой был жив, целая армия загонщиков поднялась на него. Государство подвергло его неслыханной цензурной резне и отлучило от церкви (этот жест, конечно, имел целью не спасение заблудшей души Толстого, а вразумление прочих государевых чад). Иродиане-публицисты самых разных толков, от казенных богословов до революционных радикалов, со всех сторон поучали его, как неразумного надоедливого ребенка. Иные были не прочь пустить в ход тот сценарий, по которому в свое время так счастливо ошельмовали и нейтрализовали Чаадаева (первый биограф Толстого П. И. Бирюков очень аккуратно упоминает о тех доброжелателях мятежного писателя, которые «поднимали вопрос о состоянии его психики и о том, не следует ли оградить общество от его вредного влияния»). Наконец, находилось немало храбрых портняжек, которые засыпали Толстого подметными письмами, угрожая ему прямой физической расправой. Иные из этих корреспондентов с трудом могли связать два-три слова, другие не скупились на державную аргументацию. Так, в конце 1897 года Толстой получил письмо от члена некоего тайного общества «Вторых крестоносцев», созданного с целью истребить Толстого и его последователей. Этот «Второй крестоносец жребьевой Жребий 1-й» извещал, что ему, недостойному, выпала честь убить ересиарха, назначал и день кары, 3 апреля наступавшего года, и заключал; «Легко, быть может. Вы поставите мне логично вопрос; почему агитация эта только против Вашей секты? Правда, все секты — „Мерзость пред Господом!", но законоположники их жалкие недоумки — не чета, граф. Вам; во-вторых; Вы — враг нашего царя и отечества!.. Итак до „3 апреля"».

Когда же Толстой умер, отпала нужда и в потешных полках крестоносцев. Россия вскоре надолго забылась в многосерийном кровавом кошмаре, и тут уж, конечно, стало не до Толстого.

Когда Россия очнулась, государство было уже совсем иным, хотя по сути совершенно прежним. «Великого писателя земли русской» со всеми почестями поместили в школьные и университетские учебники, но, конечно же, в ряду обязательных школьных прививок не могло не быть и прививки Иродовой против опасных идей Толстого. Эти идеи, стало быть, нужно было ввести в кровь ребенка в малой, безопасной дозе, чтобы уж впредь дитя ими не болело. Посему тридцатилетняя толстовская проповедь, добрая половина его творческого

пути, заталкивалась в учебники (наверняка заталкивается и сейчас) в виде нескольких абзацев полуученой скороговорки (вроде «лит колокол, перелит колокол, да не по-колоколовски»), И при всех внешних реверансах, при всей садду- кейской напыщенности, внутреннее содержание этих абзацев просто, как младенческая пустушка: Толстой проступает из их тумана чуть ли не слабоумным стариком, который заблудился в трех соснах своих утопических идей; и вообще, еще Горький авторитетно объяснил, что «вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать»; и вообще, все это не считается, мы великодушно прощаем Толстому его глупость ввиду его высоких художественных заслуг.

После такой прививки с Толстым можно проделывать какие угодно операции — никто и глазом не моргнет. Но, конечно, самые ловкие и бесстыдные фортели выкидывает власть, ибо на самых высоких престолах все извращения приобретают такие неслыханные масштабы, что их уже почти никто не замечает. Вот, например, не далее как 22 февраля 2002 года, на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества, российский президент обратился с речью к офицерам, напомнив им вкратце, что практически все лучшие сыны России были военными, что чуть ли не весь цвет нации был выпестован доблестной русской армией, и в числе славнейших ее питомцев назвал и .Льва Толстого. Вот надо бы пошлее надругаться над его памятью, да некуда.

Я понимаю, что референт, готовивший для президента эту исполненную воинственной патетики речь, не обязан знать, что офицером-то Толстой был, мягко говоря, своеобразным (по свидетельствам очевидцев, он совершенно не признавал дисциплины и начальства, пулям не кланялся, но был туристом на войне). Не обязан референт читать и «Исповедь» Толстого, в которой он с омерзением отрекся от своего военного прошлого и проклял его, а еще раньше, в «Войне и мире», устами князя Андрея исчерпывающе аттестовал военное сословие (вспомните: «Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то — это высшее сословие, почитаемое всеми»). Не обязан референт штудировать и все последующие писания Толстого, чуть ли не в каждом из которых он говорит об армии как об одном из самых чудовищных и диких порождений государства, говорит о том, что, пока армии существуют, никакой паритет сил (то есть равное число направленных друг на друга пушек), никакие дипломатические братания не могут обеспечить мир на земле, а обеспечить его может только отказ людей идти в военное рабство и участвовать в безбожном деле массовых убийств. Всего этого референт не обязан знать. Но ведь в школе-то он учился, и там, пусть и с примесью казенных насмешек, ему не могли не рассказывать о толстовской проповеди непротивления злу насилием (растущим под знаком меча и пряника детям это кажется таким большим чудачеством, что застревает в памяти почти у всех). Но какое дело референту и президенту до этих глупостей! Был офицером? Был! Значит, стать в строй, сопли подобрать, и вперед за Родину! Государству, естественно, не нужен Толстой-проповедник, Толстой-мудрец — все это не считается, этого как будто и не было. Государству нужен Толстой — артиллерийский поручик.

пусть вполне легкомысленный по молодости лет, но зато блестящий наездник, повеса, распутник, картежник — плоть от плоти русской армии и государства.

И, как видите, это славное государство может что угодно поставить с ног на голову, вывернуть наизнанку и в таком виде приспособить себе на пользу. Так что открытые гонения государства на Толстого — давно в прошлом. Ибо самое лучшее средство гонения — это усечь, оскопить, ошельмовать, и в таком безобидном, полукукольном виде прославлять до хрипоты.

Когда я в немолодых уже летах добрался до религиозных сочинений Толстого, я вспомнил одну фразу блестящего знатока толстовского творчества Эдуарда Григорьевича Бабаева (я был в числе его студентов). Он как-то сказал нам (говоря не о частностях, а вообще): «Россия, в литературном отношении,— это страна Кащеевых кладов». Тогда уже занялась заря Перестройки, и я, как и все наверное, целиком отнес эти слова на счет тех литературных богатств, которые шквально обрушивались на нас, вырываясь из открывавшихся один за другим спецхранов. Мог ли я тогда подумать, что настоящий клад, полный истинных сокровищ (не чета тому столовому серебру, которому мы так радовались в перестроечные годы), всегда был у меня под носом. Теперь же я просто восхищаюсь Кащеевыми хитростями. Ведь самое надежное место для его клада — то самое, о котором он звонит на всех углах: «Имейте в виду: там-то и там-то зарыт клад» (и там-то и там-то, между прочими сокровищами, спрятана та самая игла, в острие которой — вопрос Кащеевой жизни и смерти). Мало того, на этом самом месте он постоянно устраивает празднества, посвященные благородному делу кладоискательства (в результате игрищ и ритуальных плясок земля в этом месте так утоптана, что никакой лопатой не укопаешь). А для большей верности это место еще и окружено бесчисленными транспарантами и указателями: «Здесь находится клад», «Ищите здесь и непременно обряще- те!» И кому же, скажите на милость, придет в голову копать в этом месте?

Ту правду о государстве, обо всех низостях высокой власти, в которую нас из века в век тычет носом кровавый ползуче-исторический опыт. Толстой обрел через опыт религиозный. В 1877 году, едва переведя дух после «Анны Карениной», он вдруг (очень глупое это слово — «вдруг») потянулся к церкви — к официальной, к государственной, к православной. «После долгой борьбы неверия и желания веры,— записала С. А. Толстая в декабре того года,— он вдруг теперь, с осени, успокоился. Стал соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу. Когда его спрашивают, почему именно он избрал эти обряды для исполнения верований, он говорит: „Я буду стараться и желаю достигнуть всех законов церкви, а пока исполняю, какие могу"».

Да, он старался как мог. Однако, чтобы оставаться в ладах с официальной церковью, чересчур стараться-то не следует. Толстой был слишком неуемен, слишком старателен и въедлив, и потому — слишком глубоко и всерьез занялся изучением основ веры. И результаты не замедлили сказаться. Уже осенью 1879 года Толстой занес в свою записную книжку неумолимые слова:

«1) Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему — птица живая та, которая летает.

2) Вера отрицает власть и правительство...

И потому правительству нельзя не желать насиловать веру. Если не насиловать, птица улетит».

Сколько ни биться вере в тенетах государства, а эта истина всегда, снова и снова, будет пробиваться к людям: не может быть благоверие спряжено с властию. Не можно впрячь в одну повозку боевого коня государства и трепетную лань веры. Ибо религия — от Бога, а государство — от зверя (я даже удерживаюсь от соблазна написать «зверя» с заглавной буквы, что привнесло бы в эту фразу аллегорический смысл; наблюдения биологов свидетельствуют: государство — от зверя в человеке, от зверя по имени человек). Приладить религию (любую высокую религию) к государственной идее — это все равно что прилепить ангельские крылышки к бульдогу. В результате таких операций не возникает ничего, кроме новых и новых покровов, заслоняющих от людей истину, и ничего, кроме удобных мягких подушек для власти земной — царствуй себе, лежа на боку, грех-то в мех, а грешки в мешки, да по подлавочью.

Откуда, однако, взялись эти суровые толстовские выкладки о несовместимости веры с властью?

Среди многочисленных покровов, облепляющих истину, есть один, выкроенный лично для Льва Николаевича,— эксклюзивный, как теперь принято говорить. Этот покров имеет и свое специальное название — «толстовство». Во всей необъятной литературе о Толстом (за вычетом написанного его друзьями и единомышленниками), во всем ее широком спектре, от творений церковных богословов до советских школьных учебников, дело представлялось так, что граф Лев Николаевич Толстой изобрел какую-то свою особенную религию, уперся на ней, подобно Лютеру («На этом я стою, я не могу иначе, и да поможет мне Бог!»), и начал совращать на свою подозрительную дорожку малых и неразумных. Ввиду всего этого он и был удостоен личного сектантского клейма. Однако непредвзятого читателя, который впервые обращается к религиозным сочинениям Толстого, неизбежно ждет одно открытие. Состоит оно в том, что никакой *своей,* религии Толстой не изобретал, что все разговоры о толстовстве — лукавые выдумки всевозможных иродиан и саддукеев, фарисеев и книжников. И ведь так просто дается это открытие — достаточно открыть книги Толстого и забыть о семижды семидесяти его толковниках. Уже после того, как я сделал для себя это открытие, в дневниках Толстого я обнаружил и его собственное суждение по этому вопросу. В декабре 1897 года, после одной из первых своих бесед с Душаном Маковицким, он записал: «Я был рад случаю сказать ему и уяснить себе, что говорить о толстовстве, искать моего руководительства, спрашивать моего решения вопросов — большая и грубая ошибка. Никакого толстовства и моего учения не было и нет, есть одно вечное, всеобщее, всемирное учение истины, для меня, для нас особенно ясно выраженное в Евангелиях».

Да, истина открылась ему в Евангелиях. И он никогда не занимался ее приращением. В конце 1870-х — начале 1880-х годов, углубившись в изучение первоистоков христианской религии, он написал книгу отрицания церковной веры («Исследование догматического богословия») и две книги утверждения веры Христовой («Соединение и перевод 4-х Евангелий» и «В чем моя вера?»). И в этих книгах — никаких приращений. Толстой только пытался отмыть от истинного золота то, что не золото. Ведь ясно, что примеси были неизбежны на долгом пути от Христовой проповеди до того момента, когда из множества церковью были выбраны и канонизированы четыре Евангелия. «Читатель должен помнить,— писал Толстой,— что священно может быть учение Христа, но

никак не может быть священно известное количество стихов и букв, и не могут сделаться священными именно такие-то книги от первой до последней строчки только потому, что люди скажут, что они священны» (Предисловие к «Краткому изложению Евангелия»).

С тех пор и до самой смерти работа Толстого шла в одном-единственном направлении — он отмывал истину от всего, что не золото. А за полтора тысячелетия, которые прошли со времени сращения христианской церкви с го- . сударством, много, невероятно много постороннего приросло к истине: «Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его» («В чем моя вера?»). И эта работа не могла не вести его к цели поистине высокой — к поиску точек соприкосновения свободного христианства с другими религиями, ибо все они, отмытые от лукавых приращений, не могут не исходить из единого божественного источника. Это так просто, что должно быть понятно даже детям; «Во всех верах учение о том, как надо жить людям, одно и то же. Обряды разные, а вера одна. Разумный человек видит то, что едино во всех верах, глупый же видит только то, что в них разное» («Беседы с детьми по нравственным вопросам»).

И вот, раз уж так много было мною наговорено о государстве, обратимся к первоистоку, из которого исходил и Толстой.

Широкая река толстовской проповеди, как и вся свободная в своем течении река христианства, имеет истоком крошечный, казалось бы, родник — Нагорную проповедь Христа. Говоря иначе, это тот самый камень, который должен сделаться главою угла и который отвергли чудотворные строители безобразноправильных государственных пирамид. Если мы повнимательнее присмотримся к тем пяти заповедям Христа, которые Толстой выделяет как основу всего Нового Завета, мы обнаружим, что все они, все без исключения, помимо высокого нравственного звучания имеют и антигосударственный подтекст (это — уж если мало нам прямых слов Христа; «Царство Мое не от мира сего»,— если мало нам его увещаний отдавать кесарю кесарево, сохраняя Богово для Бога; уму непостижимо, как это жесткое, строжайшее разделение официальные толковники умудрились перепутать и смешать).

И особенно поразительна в этом смысле первая из «заповедей сих малейших»: «Бы слышали, что сказано древним: „не убивай; кто же убьет, подлежит суду". А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду; кто же скажет брату своему „рака", подлежит синедриону; а кто скажет „безумный", подлежит геенне огненной» (Матфея, V, 21—22). Поразительно то, что, не отменяя, конечно, древней заповеди «не убий», Христос сдвигает ее на второй план. Казалось бы, нет страшнее преступления, чем убийство, но вот —это Моисеево табу становится второстепенным. И что же выдвигается на первый план? «Не гневайтесь». Эта заповедь на первый взгляд кажется настолько малосущественной, что церковь не усомнилась оставить в каноническом тексте явно чужеродное приращение; «не гневайтесь *напрасно»* (в главе VI книги «Б чем моя вера?» Толстой подробно и убедительно пишет о незаконности этой позднейшей правки, которая сводит на нет весь смысл заповеди Христа). Утверждая право гневаться «во славу Божию», церковь обзавелась и классической иллюстрацией: толковники очень любят вспоминать по этому поводу святителя Мир Ликий- ских Николая, который прямо на соборе отвесил достойную заушину ерети

ку Арию (уж если Николай Чудотворец руки распускал, то чего же нам, грешным, смущаться; после этого какой же фельдфебель усомнится в своем праве сворачивать челюсти солдатам — ведь он таким образом крепит христолюбивое воинство, защищает веру, царя и отечество). Ввиду этих приращений и превращений, дальнейщее развитие Христовой заповеди (о «рака» и «безумном») неизбежно снижалось до уровня рождественских наставлений для детишек: нехорошо обзываться. Обзываться, конечно, нехорошо в любом возрасте, но отчего эта заповедь стоит первой, отчего сдвигает на второй план заповедь «не убий», отчего опережает и те заповеди самого Христа, которые действительно поражают своей духовной революционностью?

Толстой, подробно и обстоятельно рассматривая эту заповедь, восстанавливает и ее исходный смысл, и внутреннюю ее логику. Да, дело не в оскорблениях как таковых, дело в том положении, которое дает «законный» ход и направление гневу. Если один человек считает другого «рака» (то есть ничтожеством, нечеловеком), если ставит себя выше других умом, если, научившись пользоваться зубной щеткой и кущать при помощи десятка вилок и ножичков, а насытившись, ублажаться душистой сигарой и фортепьянной сонатой, человек полагает все это достаточным основанием, чтобы считать себя цивилизованным и презирать немытых варваров (если, словом, человек делит людей на сорта по какому угодно признаку, относя себя, естественно, к первому), то нет никакого удержу для гнева, который изливается с этих воображаемых высот на ничтожных, глупых, необразованных и нечесаных. Толстой в заключительной главе книги «В чем моя вера?», по обыкновению переводя стрелки на себя, точно определяет неизбежную направленность гнева: «Я вижу теперь, что это отделение себя от людей и признание других за „рака" и безумных было главной причиной моей вражды с людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволял разгораться своему враждебному чувству на тех людей, которых считал выше себя, и никогда не оскорблял их; но зато малейший неприятный для меня поступок человека, которого я считал ниже себя, вызывал мой гнев и оскорбление, и чем выше я считал себя перед таким человеком, тем легче я оскорблял его; иногда даже одна воображаемая мною низ- кость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему». Все точно определено Толстым. И добавить тут нечего — кроме тех данных этологов, которые получены уже в XX веке. Вспомним то, что мы почерпнули из этой науки. Вспомним, что такое гнев, ярость. Это не что иное, как коренное пирамидообразующее свойство животных (государствообразующее, если на человеческий лад), это та самая агрессивность, которая выстраивает пирамиду и цементирует ее, а уж в пирамиде устанавливается то неизменное направление, по которому агрессия переадресуется,— сверху вниз и никак иначе (иначе бывает, только когда пирамида рушится, в кровавые периоды ее переустройства, и лишь до тех пор, пока волна народного гнева не вознесет на верхние ярусы новых правителей и новые элиты).

Так вот почему эта заповедь — первая. Если не зализывать заповеди Христа на официальный лад, на пробор да с лампадным маслицем, если честно и глубоко, без видовой гордыни, без сладкой колыбельной песенки о богоизбранности человека, вглядеться в его животную природу, то окажется, что Моисеево «не убий» действительно второстепенно. Все убийства, и частные, и массовые, есть только крайние последствия необузданной агрессивности человека.

Так вот Христос и призывает людей обуздать в себе этого страшного зверя'. Христос призывает тех, кто идет за ним, устраниться от потоков агрессии, которые хлещут сверху вниз в пирамиде и которые неизбежно захватывают, вовлекают в свое движение всех, кто к ней так или иначе причастен. Христос призывает людей не участвовать в той дикой и злой игре, которую дети называют «царь горы» и в которую, подросши и возмужав, продолжают играть с недетской изощренностью и изуверством.

Сколько сил положено казенными толковниками, чтобы затуманить смысл этой наипервейшей Христовой заповеди! А ведь сколько при этом в Евангелиях рассыпано частных разъяснений, примыкающих к этой заповеди и утверждающих ее (утверждающих истину: что высоко перед людьми — то мерзость перед Богом),— от притчи о нищем Лазаре и жестоком богаче, от проповеди через действие, когда Христос умыл ноги своим ученикам, до прямых его слов, которые, казалось бы, уж никак невозможно перетолковать: «...вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом...» (Матфея, XX, 25—27). Ведь должно быть ясно, как Божий день, что эта первая заповедь Христа направлена к ослаблению в людях животных иерархических программ, а в конечном счете — к их искоренению, к разрушению в нашем подсознании пирамидального идолища государственности. Увы, мы так еще подавлены этим чудищем, что, конечно же, и представить себе не можем, к каким совершенно новым, истинно человеческим, а не животным формам сознания и чувствований это должно привести, каким новым светом они должны озариться. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить»,— говорил Христос, прощаясь с учениками. Так где уж нам изощрять воображение, если за две тысячи лет мы не вместили и того, что было сказано так ясно.

И поистине нет другой такой сферы, где бы способность государства все переворачивать с ног на голову сказалась сильнее, чем в сфере религии. Бла- говерие подминается властью так решительно, что учением, которое в принципе отвергает всякую иерархию и все животные законы, ее образующие и скрепляющие,— этим самым учением веками освящали и продолжают освящать все государственные иерархические структуры, и административные, и военные, и все прочие вплоть до собственно церковных. Людям давно и очень популярно (в том числе и каленым железом) объяснили, что заповеди Христа — не для исполнения, а для умиления. И потому государственные модификации христианства давно в общем и целом свелись к милому принципу, который в одной русской прибаутке излагался так: «Господи, прости, да в чужую клеть пусти, пособи нагрести да и вынести».

Но вернемся к заповедям. Ведь если бы агрессивность человека вела только к оскорблениям и унижениям! Как это ни мерзко, но это было бы полбеды. Полбеды было бы, если бы человеческая агрессивность действовала в рамках дозволенного природой, как она действует в животном мире. Но

' Правда, ученые объясняют, что до конца подавить агрессию нельзя, неизлитая агрессия накапливается и неизбежно прорвется по самому ничтожному поводу; но они же рассказывают: животные, если у них не имеется своих «рака», вымещают агрессию на неживых предметах; так что, если бы земные правители каждое утро по два-три часа рубили дрова, куда меньше голов было бы срублено

настоящая беда в том, что наша необузданная агрессивность поставила себе на службу разум: страсть к прямому насилию он вооружил чудовищными изобретениями, о которых никакие саблезубые тигры и мечтать не могли; насилие через собственность он облек в кудрявый парик и мантию права; даже религии, которые должны бы смягчать сердца и вести к миру, он преобразил так, что испокон века они оперяют стрелы агрессивности и разжигают вражду между людьми.

Этологи и здесь дают очень важные пояснения. Когда мы толкуем о животных законах как о низших, нам не надо бы впадать в чрезмерную гордыню. Наблюдения ученых свидетельствуют о том, что у животных тоже есть своя врожденная мораль. И удивительно то, что в известных пунктах она совершеннее морали человеческой (и врожденной, и уж тем более ограненной государством). Удивительно, что, например, от природы сильновооруженный хищник в драке с сородичем не применяет тех смертельных приемов, которыми он пользуется на охоте. Удивительно, что закон «не убий» во многих животных вложен на уровне инстинкта (распространяется он, конечно, на своих — на представителей своего вида, в сниженном варианте — своей группы). Удивительно, что, когда звери дерутся между собой (а среди таких — сильнейшие, львы, волки например) и один из них чувствует, что сдает, он отскакивает и подставляет разъяренному противнику самое уязвимое место (В. Дольник совершенно точно замечает; ведь это — не что иное, как «подставь другую щеку»), и — поразительное дело! — опьяненный агрессией победитель останавливается, в нем мгновенно срабатывает вложенный в него природой запрет на подлость. Таких удивительных подробностей слишком много, а потому обратимся сразу к выводу. Один из основателей этологии Конрад Лоренц со знанием дела утверждал: «У сильного животного сильна и мораль». И то, что мораль человека слаба, то, что в нем не выработались безусловные запреты на подлость, есть прямое следствие его слабости. Подходя к этому вопросу совершенно с другой стороны, последователь Толстого на деле Мохандас Ганди говорил: «Ненасилие — это оружие сильных».

«Вы слышали, что сказано: „око за око, зуб за зуб“. А Я говорю вам; не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду...» (Матфея, V, 38—40). Эта заповедь, которая стала для Толстого ключевой в понимании учения Христа, которая действительно воспринимается как средоточие духа Евангелий (особенно при первом, свободном чтении, если ты еще не залучен в паутину, сотканную казенными толковниками), эта заповедь и есть то могучее оружие, которое может сделать слабого человека сильным, тот духовный меч, который принес на землю Христос. Ведь что может маленький слабый человек противопоставить огромной машине, работающей на топливе агрессивности и вовлекающей в эту работу всех и вся, как может он противостоять мощной, хорошо отлаженной системе прямого физического и правового насилия (если сегодня это ружьишко и не стреляет в тебя, то ведь всегда и всем ясно, что оно висит на стене и при известном развитии сценария непременно выстрелит)? Противопоставить человек может только одно ■— неучастие в насилии во всех его формах, неучастие не только в качестве нападающего, но и в качестве обороняющегося.

Вообще, агрессивность, насилие, внешне облагороженные блестящим фантиком оборонительных задач,—■ особенно опасны (уже по своей двусмысленно

сти). От оборонительных задач —• один шаг до превентивных ударов (о которых сегодня с пеной у рта вещают США и Россия, нацелившись на гнезда терроризма, окруженные мирными людьми). Разницы между превентивными ударами и нападением уже нет никакой. Когда люди, массы людей затянуты в агрессивную возню, разбирать, кто прав, а кто виноват, кто нападает, а кто обороняется, уже нет смысла, да зачастую и возможности нет (даже невинные жертвы — только до тех пор невинны и только до тех пор их кровь может взывать к совести людей, пока за ними не последует возмездие; месть, задним числом, превращает невинных в виновных, ибо они становятся причиной новых потоков крови). Взгляните на сегодняшний Ближний Восток. Попробуйте разобрать, за кем там больше правды, за евреями или за арабами (или хотя бы вспомнить, кто там первый начал). Ведь ничего там нельзя разобрать, кроме одного: просто работает стальными челюстями Молох, безостановочно и методично; просто крутится и крутится кровавое колесо — страшная модель вечного двигателя, работающего на крови по дикому закону «око за око». И покуда этот закон действует, покуда он дает людям основание считать свою агрессивность праведной, кровавое колесо будет крутиться и крутиться, равнодушно перемалывая человеческие кости.

Заповедь Христа о непротивлении — действительно могучее оружие. И уж по одному тому это можно заключить, что государства, называвшие себя христианскими, дружно сделали вид, что этой заповеди как бы и нет вовсе. Ведь в ней-то и таится погибель Кащеева, а значит — иголку в яйцо, яйцо в ларец, ларец под спуд, чтобы не совались всякие. А потом, когда уже стало как-то неприлично палить всяких умников на кострах или бросать их в Волхов, потом, если кто-то вспоминал об этой заповеди, толпы иродиан и саддукеев, с фарисеями купно, просто поднимали его на смех. Тридцать лет Толстой из статьи в статью писал об этой заповеди, напоминал, убеждал, заклинал. И что же? Цензура резала. Обыватели покатывались со смеху (пока не покатились головы тысячами и миллионами). И уж так всем надоел этот старик своим занудством, что и сам он одну из поздних статей заключил горьким, с привкусом безнадежности, оправданием; «„А, опять старая песня непротивления!" — слышу я самоуверенные презрительные голоса.

Но что же делать человеку, который видит, что толпа, давя, губя друг друга, валит и напирает на неразрушимую дверь, надеясь отворить ее наружу, когда он знает, что дверь отворяется только внутрь» («Не убий никого»).

И что же делать мстительным приматам, как не потешаться над таким человеком? Еще две с половиной тысячи лет назад Эсхил рисовал в «Орестее» весь ужас цепной реакции зла, порождаемой местью, реакции безысходной и неостановимой, пока богини мщения Эринии, насылающие на людей безумие и ярость (само их название — от глагола, означающего «быть безумным»), не обратятся в Эвменид («благомыслящих»). С тех пор благомысленное человечество в общем и целом уяснило; да, закон мести на уровне родовом, есть зло и безумие. Те немногие народы, в которых сохранился закон родовой мести, «цивилизованный» мир даже свысока именует дикими и отсталыми. Но на уровне стадно-государственном каменный век установился всерьез и надолго. Лишь только грянет где-то сакраментальное: «Наших бьют!» — и цивилизованное благомыслие как рукой снимает, животное безумие и ярость немедленно устремляются в широкое «праведное» русло. Как-то все не доходит до «цивилизованных» людей, которые и Эсхила между делом почитывают, что заклю

ченная в законе мести механика зла никак не может превратиться в механику блага ни на каком уровне, ни на межнациональном, ни на межгосударственном, ни на межгалактическом. Механика зла есть механика зла, а стадно-государственный уровень вносит изменения лишь в его масштабы, порождая массовое безумие, массовую ярость и — массовые бойни.

А ведь две заповеди Христа из пяти прямо направлены на преодоление в людях именно тех стадно-государственных животных программ, которые чреваты массовыми безумиями. Одна — «не клянись вовсе» — проста и, казалось бы, не требует разъяснений. Но государства, назвавшие себя христианскими, так нагло и открыто наплевали на нее, что Толстому пришлось долго объяснять. Да, все просто до цинизма: в нежном, полубессмысленном, да и горячем возрасте, выкупав его прежде в трех котлах государственной идеологии, человека приводят к воинской присяге (все прочие присяги так же хороши, но они сейчас редки), а дальше — и не захочешь быть зверем, так тебя заставят им быть, да и хуже, чем зверем,— бессмысленно-послушной боевой биомашиной, шевелящимся мясом с автоматом в руках. А ведь для многих тут и соблазн. Оно ведь покойно — сдать свою совесть в распоряжение высшего начальства; и голова не болит, и в душе полное благоустройство — один сплошной священный долг перед кесарем и никаких обязанностей перед Богом. А потом над погостами и пепелищами разносятся слова, не лишенные мрачной бравады и туповатой гордыни: «Я солдат, и исполнял приказ» (причем, заметьте, говорят их, как правило, не рядовые, а генералы и маршалы).

Другая заповедь Христа — поистине великая: «Вы слышали, что сказано: „люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: любите врагов ваших...» (Матфея, V, 43—44). Толстой основательно и подробно объясняет («В чем моя вера?», гл. VI), что речь здесь идет прежде всего о враге как о представителе чуждого народа (возлюбить личного врага — это прекрасно, но это, так сказать, высший пилотаж). Ибо и дух, и буква Ветхого Завета говорят о том, что все его религиозно-нравственные законы — для внутреннего пользования, все они регулируют отношения с ближним, с соплеменником, по отношению же к врагу, к чужаку — дозволено все: и ограбление, и угнетение, и истребление. Собственно, это не что иное, как низшая мораль, которая в основных чертах схожа с моралью, свойственной стадным территориальным животным (или с замкнутой моралью, действующей внутри разбойничьей шайки), и которая с известными доработками вошла в плоть и кровь государства. Именно оно, государство, удерживает и задалбливает в сознании людей рудиментарное, как аппендикс, представление о священности рубежей Зоны, именно оно бережно сохраняет и культивирует в человеке животную, стадную программу разделения людей на своих и чужих, на чистых и нечистых, на «наших» и «предполагаемых противников».

Все живое не знает границ — как птицы небесные, как реки, текущие из одной страны в другую, не ведая о тех глупых рубежах, которыми их мысленно перегораживает человек. И, напротив, всякая ограниченность есть признак умирания и вернейший залог смерти. Всякая ограниченность неизбежно вына- щивает в своей утробе мертвый, уже разлагающийся плод. И религиозно-нравственный закон тем более не может быть замкнут. Ограниченная, стадно-государственная мораль мертва есть, и уже наворочала на земле горы и горы трупов (уж не говоря о тех живых мертвецах, которых она порождает). И эта пятая заповедь Христа — тот дух живой, которым он наполняет выдохщуюся

ветхую мораль; он размыкает удушающие ее границы — нет своих и чужих, нет ближних и врагов: «Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матфея, V, 45).

О том, как соблюдали эту заповедь «христианские» государства, лучше не вспоминать — ночные кошмары замучают. Достаточно сказать, что на последнем своем издыхании христолюбивая Российская империя ввела смертную казнь за братание на фронтах первой мировой войны (уж не припомню, было ли это сделано другими «христианскими» государствами; да наверняка было). Смертная казнь — за прямое исполнение заповеди Христа! Более чудовищных извращений мертвая замкнутая мораль уж просто не может породить. Эта совершенно выгнившая изнутри империя не могла не рухнуть. И она рухнула, напитав своей мертвой кровью новое чудовище.

Облака над головами, туманы под ногами

А человечество тем временем не останавливается в своей неуемной активности и агрессивности. Вот уже экологическая ситуация на планете просто трубит в человеческие уши, что настала пора (и не просто настала — она вот-вот пройдет) разомкнуть не только стадно-государственные границы морали, но и видовые. Мораль должна простираться на всю биосферу, которая уже задыхается, которой в тягость становится тупая в своей неуемности научно-техническая деятельность человека. И снятие с религиозно-нравственного закона видовой ограниченности — это отнюдь не великодушный жест всемогущего хозяина планеты по отношению к братьям своим меньшим, к травке и цветочкам, это необходимое условие выживания слабого, всеми своими потрохами зависимого от биосферы существа, слишком рано возомнившего себя сильным.

Еще столетие назад люди могли, запуская свои хлипкие кораблики, называть их «Титаниками» и самонадеянно полагать, что они вполне созрели для вызова Всемогущему. Еще тогда они могли посмеиваться над яснополянским «врагом прогресса», который постоянно напоминал им притчу Христа о работниках, которых Хозяин послал в свой виноградник и которые, сами себя возомнив хозяевами, были изгнаны из виноградника в три щей. Еще тогда эту притчу можно было воспринимать как притчу (и даже как забавный атавизм). Мы, работники, возомнили себя хозяевами этой прекрасной цветущей планеты, мы побивали камнями и распинали тех, кто приходил напомнить об истинном ее Хозяине и о растущих долгах перед Ним, мы жгли на кострах, топили в реках, а потом поднимали на смех тех, кто слишком всерьез принимал это Слово напоминания. И вот уже сроки близки к исполнению. Притча Христа обернулась не притчей, а прямым пророчеством. Еще несколько самонадеянных шагов — и мы, слабые работники, замахнувшиеся на то, что нам не по росту, будем попросту изгнаны с этой планеты, изгнаны с позором, с треском, в три шеи.

И что же, имеем ли мы хоть малейшее основание для укоров Хозяину? Будем ли иметь право возроптать на Него? Нет, мы не посмеем тогда сказать ничего, кроме: «Прав Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Ведь Бог не нуждается ни в каких путано-выспренних теодицеях, которые сплели богословы ввиду человеческих низостей и зверств. Уже потому не нуждается, что обо

всем мы предупреждены вовремя и даже загодя. И никак нам нельзя оправдаться неведением. «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Иоанна, XV, 22).

И вот что со всей очевидностью выясняется сегодня: выделяемые Толстым пять заповедей Христа есть не что иное, как программа выживания человечества, и они потому, наверное, названы Христом малыми, что очерчивают именно программу-минимум (нам и помыслить нельзя о том, чтобы служить Богу, хвататься за кадильники, пока мы не научились исполнять эти заповеди, пока городим под этот малый закон тьму подзаконных актов, перечеркивающих его; и нет большего кощунства, чем перечеркивать — крестом святых мучений Иисуса; и уж тем более преждевременны велемудрые рассуждения философов о богочеловечестве в человеке, о сверхчеловеке, ибо человек еще и человеком- то не стал). И, как нетрудно убедиться, эта программа-минимум направлена к преодолению тех животных программ, которые выстраивают и крепят государство; а уж государство, в свой черед, всеми средствами подогревает и подкармливает в людях те инстинкты, которыми оно живоЕ

В середине XX века ученые-генетики высказали догадку о том, почему в человеке, в отличие от других животных, инстинктивные программы столь противоречивы. Они предположили, что на известном этапе разум человека перехватил инициативу у природы, которая, как заботливая мать, собирающая в дорогу сына, неторопливо и тщательно подготавливала генетический багаж чад своих. «Да будет тебе, старая, копаться! И так сойдет»,— рекло сие не по летам смышленое дитя. И вот — так и пошли мы в Африку гулять в виде странных полуфабрикатов.

А ведь об этом же самом говорят пять заповедей Христа, данные людям две тысячи лет назад. Вот, говорят они, вот что нужно, чтобы довершить начатое Богом и природой. И именно об этом писали и первые христиане. Вот, писали они, мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим, мы были «сыны противления», «были по природе чадами гнева», и вот что нам должно: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефесянам, И, 2, 3; IV, 22—24). Ведь что такое «ветхий человек», как не тот самый полуфабрикат — полу- зверь, возомнивший себя хозяином виноградника. И что такое «новый человек», как не Человек (этого звания мы еще не заслужили, так и не обновившись пока духом ума и истины).

' Нарушив порядок заповедей, я упустил одну из них — о прелюбодеянии. Но совсем не потому, что она не имеет отношения к государству. Еще как имеет. У животных перспектива обладания самками — один из главнейших стимулов борьбы за иерархический ранг. Человек — не исключение. Наша, российская, открыто и бесстыдно шевелящаяся пирамида — как наглядное пособие и в этом вопросе. Ее торопливое строительство отнюдь не случайно связано со столь же торопливой сексуальной революцией (это высокочастотное шевеление подобно картине: заключенных привели на экскурсию в публичный дом). Ведь известный иерархический ранг открывает возможность покупать самок — числом поболее, ценою подороже. Этот мотив особенно силен в агрессивных самцах, в чем-либо обделенных природой, в неказистых, малорослых, толстых, плешивых; для стареющих, но еще полных агрессивности, в том числе и половой,— так просто нет другого пути к сердцу самки, как только через иерархический ранг.

Между прочим, о том же самом издавна говаривали и в русском народе, который и слыхом не слыхал ни о генетике, ни об этологии (этих наук тогда попросту не имелось в природе); было у нас в народе такое грустное присловье: «Все мы по пояс люди».

Когда ближе к концу XIX века разум человека, всецело подчиненный его агрессивности и низшим животным инстинктам, начал с азартом раскручивать маховик технического прогресса, это ощущение недовершенности человеческой природы, ее слабости, моральной незащищенности перед плодами собственного кипучего разума, неготовности к ним,— вероятно, это ощущение особенно обострилось, натянулось, как струна. Но тогда это была еще струна в тумане. И только чуткое ухо могло расслышать ее тревожное звучание (иные, как в чеховском «Вишневом саде», и слышали звон, да не поняли, где он: то ли бадья в шахтах сорвалась, «но где-нибудь очень далеко», то ли цапля крикнула). И только сильные умы могли понять, что тут к чему. Звучание этой струны услышал Ницше и по-своему, с философической экстравагантностью, понял его (но, увы, этот сильный ум изнемог под тяжестью собственной гордыни): «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком,— канат над пропастью». Этот тревожный звук расслышал и Толстой и понял его — не мудрствуя лукаво, в исконно христианском (живом, не книжном) духе и смысле: «Человек хочет быть зверем или ангелом, но не может быть ни тем, ни другим.

И тут-то является разрешение этого противоречия, которое дает христианское учение. Оно говорит человеку, что он ни зверь, ни ангел, но ангел, рождающийся из зверя,— духовное существо, рождающееся из животного. Что все наше пребывание в этом мире есть не что иное, как это рождение» («Христианское учение»).

Представители духовенства со своих профессиональных высот поучали Толстого: религия обращена к душе человека, не должно лезть в религию разумом (для церкви дорого «credo, quia absurdum»', для Толстого — «разумение жизни есть Бог»). Церковь вообще предостерегает чад своих от высокоумия и поощряет, как одну из высших добродетелей, бездумное послушание (чем и была всегда удобна и угодна государству), ибо разум порождает в человеке гордыню, а гордый ум — источник заблуждений. И все эти опасения были бы вполне оправданны, если бы мы уже не заблудились так, что света не видно (причем полтора тысячелетия мы плутали под прямым водительством церквей). Больше того, эти опасения оправданны, но, как и все у человека, лишь наполовину. Вспомните слова Толстого: «Ум возникает только из смирения. Глупость же — только из самомнения». Самомнение, гордыня, ослепляющая разум, орудуют в сфере материального прогресса, и на этом пути нет пределов самодовольной человеческой глупости, неизбежно ведущей туда, где тьма и скрежет зубовный. Ум же смиренный, недовольный собой, ищущий, работает в сфере прогресса духовного, и на этом-то пути остановка, ощущение, что все обретено и думать больше не над чем, и порождает гордыню (хотя бы и конфессиональную), оглупляющую и все прежние великие обретения. Религии не могут быть обращены только к душе человека, минуя его разум. Это было бы возможно, если бы пророки проповедовали среди галок и сурков. Но они приходили к людям, одаренным разумом. И что же делать нам, если мы пу-

' **Верую, ибо нелепо** *(лат.).*

щены в тираж с такими серьезными и опасными недоделками? Разум напортачил — разуму и исправлять. Ибо душа без разума так же слепа, как и разум без души.

А уж для чего мы так располовинены, для чего корчимся в муках рождения духовного существа из животного,— судить не нам. Быть может,— а к этому близки и церковные толкования,— для того, чтобы мы поняли, что такое свобода. Она не может быть данностью. Свобода — это путь (то, что китайцы называют «дао», то, о чем Христос говорил: «Я есть путь, и истина, и жизнь»). И это такой путь, что, если остановиться, если перестать изо всех сил стремиться вверх, к духовному существу, неизбежно скатишься вниз, к зверю'.

Между прочим, умножающиеся научные знания о животных вообще и о животном по имени человек в частности — эволюционная теория, психоанализ, этология, генетика и т. д. и т. п.— ведь они могут воздействовать на людей двояко. Человек может устыдиться, устрашиться низменно-животного в себе, и это осознание катастрофической недовершенности собственной природы может понудить его к порыву вверх, к духовному существу (есть такой великолепный термин — творческая эволюция; эволюция, вооруженная духом ума,— это то, чего так не хватает человеку). Но может происходить и обратное — человек может утешиться и погрузиться в самодовольство. И то, что происходит именно обратное, лишний раз свидетельствует о вопиющей слабости человека. Поразительное дело: люди обрадовались! Вот, оказывается, почему мы веками перегрызаем глотку ближнему и дальнему — всё, оказывается, законно, у нас, как у зверей и спартанцев, выживает сильнейший и агрессивнейший! Вот, оказывается, почему мы свинствуем везде и всячески, вот почему гадим в свою же природную кормушку — уж такими мы сотворены! Так какой же с нас спрос? Будем веселиться! И мы веселимся, сползая все ниже и ниже к зверю.

Конечно, это обратное движение не могло не сопровождаться и секуляризацией — для чего нам религия на этом легком веселом пути? Если и осталось что-то, то только как еще одна забава, из ряда возвышенных. Этому сползанию в потемки немало способствуют и сопровождающие его невиданные, пьянящие успехи научно-технического прогресса, который придал этому движению харак-

' Что делать, приходится пользоваться словами из нашего трехмерного лексикона: вверх, вниз... Духовная высота — это совсем другое измерение. И все тут перепутывается в наших трехмерных головах. Человек по какой-нибудь из разнообразных лесенок государственной пирамиды лезет вверх, и ему кажется, что чем выше он вскарабкается, тем он будет свободнее, но чем выше он карабкается, тем ниже скатывается, становясь все более внутренне порабощенным, потому что с каждым новым ярусом все крепче прирастает к пирамиде, строящейся по закону зверя. Что высоко перед людьми — то, как мы помним, на языке мира сего есть знак угрозы, какие бы песенки она ни пела и в какие бы одежки ни рядилась, в овечью ли шкуру, или в судейскую мантию, в смокинг ли банкира, или в саккос епископа, в державную ли багряницу или в демократический хитон. И вот опять-таки: чем выше ранг этой угрозы, тем мощнее она увлекает к зверю, тем мерзостнее она перед Богом. Кстати, и застывшая угроза храмов — слишком низкий символ. Он хорош для власти земной, животной. Он хорош для языческих богов, агрессивных и иерархичных. Но для христианства — это низший, мертвый язык (как ни великолепны христианские храмы, но они говорят на чуждом христианству языке). Христос пришел не для угроз, а для служения людям, он кроток и смирен сердцем, царство его — не от мира сего. Так что высота христианской любви, ничего не ведающей об иерархиях,— это совсем, совсем другое измерение.

тер бурного пиршественного веселья — ведь сколько замечательных ярких игрушек он дарит! И какой искренней детской радостью светятся наши глаза, пока мы едем, едем, едем!.. Эти щедрые дары материального прогресса так вскружили голову Западу (а уж той части России, которая называется новой, и подавно), породили такие бездны самодовольства, граничащего с самообожанием, что, право же, царство щедринской Торжествующей свиньи, сдается, уже не за горами.

А пока младенцы радуются подаркам, власть земная не дремлет. Она туго знает свое дело. Ведь все эти цивилизационные погремущки — только отходы военного производства. А уж это неостывающее производство не просто утягивает людей вниз, оно тащит к пропасти. Толстой очень любил и часто приводил одно выражение Герцена — «Чингисхан с телеграфом». Когда государство Российское впервые обзавелось кое-какими демократическими игрушками. Толстой не обольщался, он писал, что вот теперь оно — тот самый Чингисхан с телеграфами: «И Чингиз Хан не только с телеграфами, но и с конституцией, с двумя палатами, прессой, политическими партиями et tout le tremble- ment‘<...> И он продолжает спокойно делать свое дело, надеясь, что, как это произощло и происходит во всех так называемых христианских странах, народ привыкнет, сам втянется и запутается в эти дела, и Чингиз Хан останется Чингиз Ханом, только не с ордой диких убийц, а с благовоспитанными, учтивыми, чистоплотными убийцами, которые так сумеют устроить разделение труда, что грабеж и убийство людей будет одно удовольствие и доступно самому утонченно-чувствительному человеку» («Пора понять»).

Толстой написал это за год до своей смерти, за пять лет — до первой мировой войны, за век без малого — до сего дня. И что же? К телеграфам и конституциям прибавились интернет, международный трибунал, ООН, а сверх того МВФ, Всемирная торговая организация, стратегические ракеты, ядерные боеголовки, лазерные системы наведения, спутники-шпионы, атомные субмарины, самолеты-невидимки, танки-самобранки, биологическое оружие, психотропное, геофизическое, климатическое... И Чингисхан остается Чингисханом со всеми своими онёрами. А впрочем, все чистенько и высокотехнологично. Грабеж отлажен по последнему слову финансово-экономическо-юридической мысли — своей безмятежностью и аксессуарами он напоминает эдакий послеполуденный отдых фавна (Дебюсси, педикюр копыт, шартрез, необременительный секс). Ан, по всему чувствуется, стосковалось, иззуделось Чингисханово межножье по лихому боевому коню. Надо же куда-то мчаться этому полузве-' рю, надо же куда-то употребить залежавшиеся без дела самонаводящиеся бомбы и прочие изобретения неуемного технического прогресса. Ведь еще не все на земле обучены демократии и рыночным добродетелям! Вон бедуины еще не охвачены!

А в общем — поводы всегда найдутся. Ведь не только какой-нибудь выстрел в Сараеве — просто повод. Но и передел рынков — тоже повод. В конце концов, вместимость самой необъятной утробы имеет какой-то предел. Но беспредельна агрессивность Чингисхана, беспредельна ярость, замешанная на страхе. Все прочее — поводы, а вот она-то — единственная настоящая причина. Закон мира сего, закон насилия — это закон зверя, сидящего в нас самих, в сынах противления, в отчаянно слабых чадах гнева. В самые мирные внешне времена этот закон не ослабевает, он всегда мутит нашу кровь, он всегда иск-

И со всем надлежащим шумом *(фр.)*-

рит внутри пирамиды, он всегда готов вырваться за ее пределы, и уж там-то с него мгновенно сползают все цивильные платья, изящно скроенные парламентскими кутюрье, там, в родной животной стихии, он принимает и свое естественное обличье, пьянея от крови и обрастая шерстью.

Предлоги — чушь, они всегда под ногами. Достаточно давно прочерченной линии противостояния Восток — Запад (в новейшей модификации: бедный Юг — богатый Север). Сама линия — дурацкая условность, а вот то, что закон зверя постоянно искрит по обе ее стороны,— дело нешуточное. Еще в бытность Толстого один из несчастнейших полувменяемых фавнов, кайзер Вильгельм, даже намалевал такую картину: на морском бреге вооруженные до зубов «цивилизованные» европейцы грозят и рвутся показать Кузькину муттер виднеющимся за морем Будде, Лао-цзы, Конфуцию, Мухаммеду. И вот — ничего не переменилось под солнцем с тех пор. И как будто сегодня сказаны слова Толстого: «...спасение Европы и вообще христанского мира не в том, чтобы, как разбойники, обвешавшись мечами, как их изобразил Вильгельм, бросаться убивать своих братьев за морем, а, напротив, в том, чтобы отказаться от пережитка варварских времен — патриотизма и, отказавшись от него, снять оружие и показать восточным народам не пример дикого патриотизма и зверства, а пример братской жизни, которой мы научены Христом» («Патриотизм или мир?»). Да, это было бы доказательством подлинной силы. Потому что закон христианской любви — это тот духовный меч, который неподъемен для слабосильных детей, расщепляющих атом, но бессильных перед собственной двусмысленной природой, не способных расщепить эту двойственность, чтобы извлечь из нее еще небывалую под солнцем энергию духа.

С тех пор как Толстой приблизил ко мне, простому смертному. Евангелие, которое в церквах, оковав золотом, всегда торжественно носят где-то очень далеко, с тех пор как я освежил в памяти читанную несколько раньше книгу ученого-этолога,— все в моем сознании легло, как в одну копеечку. С тех пор царство Зверя не представляется мне в причудливых апокалипсических образах. Оно представляется мне просто идеальным государством, в котором закон зверя, всегда лежавший и лежащий в основе стадно-государственного устройства, будет работать без сбоев, с научной точностью используя все струны животных инстинктов, хранящихся в человеческой природе, и с музыкальной точностью настраивая их, приводя их в согласие, стремящееся к некой темной гармонии. Если угодно, это идеальное сверхгосударство, духом которого исполнен Великий инквизитор Достоевского. Ведь государство всегда с *ним* — с духом противления и гнева, с умным духом самоуничтожения и небытия. Отвергнув хлеб небесный — закон христианской любви,— оно всегда, препоясавшись мечом кесаря, соблазнительно высоко держало знамя хлеба земного, потому что никакого другого знамени у него нет и быть не может (всё прочее — слова, слова, слова; всё прочее — гигантские шары, наполненные горячим газом государственной мифологии и догматики).

Это идеальное сверхгосударство даст наконец все, чего, по словам Великого инквизитора, «ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник...»

Обычно этот жаркий бред Великого инквизитора ассоциируется с теми образчиками тоталитаризма, на которых уже поупражнялось государство. Отчего же демократические образчики тут не годны? Годны, и очень годны. Люди сами, толкует инквизитор, призовут служителей духа небытия — «тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих». Почему же не призвать через демократические механизмы, как в свое время немцы призвали нацистов? По пророчествам, антихрист поначалу должен искусно изображать из себя невинного агнца. Да ведь только этим и занимаются жаждущие власти особи во время предвыборных кампаний, да и первые аккорды добравшихся до нее всегда очень возвышенны и трогательны. Так что идеальный зверь должен быть особенно искусен и в этих обезьяньих хитростях демократии.

И вот что грезится дальше инквизитору: «Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться <...> докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого». И вот идеал этого сверхгосударства — «тысячи миллионов счастливых младенцев». Что это, как не самодовольные рабы демократии, которая приучает их к сладкому детскому счастью, к пышным бисквитам и ярким игрушкам материального рая, и тем все крепче приковывает их к хлебу земному. Свобода, объясняют им,— это когда хлеба и бисквитов вдоволь, и никакой другой свободы нет. И младенцы тучнеют, и всё меньше им требуется для довольства собой, своей сладкой долей. И вот уже естественно-животный детский эгоизм перерастает в настоящий культ собственной личности, незатейливой, слабосильной и абсолютно животной. Еще немного, и эти младенцы воскликнут: «Спасибо умному духу земли за наше счастливое детство!»

И наверное, не бывало на земле существ более духовно расслабленных, чем эти самодовольные рабы, которые окончательно погрузятся в свое смиренное детское счастье. («Голод можно вылечить куском хлеба...— говаривал один герой Герцена.— Болезни от сытости не так скоро лечатся».) Закрепощенные государством через хлеб земной, отягченные кое-какой собственностью (средний класс — любимое дитя, надежда и опора демократий), они будут легко управляемы, будут от детских слез по малейщему мановению избранных переходить к радости, как то и виделось Великому инквизитору. Но сей мрачный старец не ведал еще, какие поистине инквизиторские возможности внесут в это дело современные средства массовой дебилизации.

Вспомните, между прочим, недавние забавы, которыми тешили американских младенцев. Вспомните, как долго и с каким упоением они копались в штанах собственного президента, Клинтона (это как если бы на поругание макакам был выдан не кто-нибудь, а сам доминант,— чего не сделаешь, чтобы уверить самих себя и весь мир в своей абсолютной демократичности и в подлинном существовании виртуальной, перевернутой, пирамиды). И вспомните, как вдруг, по мановению средств массовой информации, с тем же восторгом и детской непосредственностью младенцы переключились на ненависть к президенту Югославии и, когда наплевав на всякие-ООН, их доблестные соколы полетели бомбить эту далекую изодранную страну, прильнули к телевизорам, чтобы в прямом эфире наблюдать, как будет исполняться варварская «воля американского народа», чтобы, чавкая чипсами, вопя «ату» и улюлюкая, болеть за своих. У меня из головы нейдет одна фраза какого-то по-американски официального

лица, которое объясняло тогда, почему соколы впопыхах разбомбили мирную колонну; оно с невинным видом сообщило, что произошла ошибка, накладка, и, оправдывая оплошавшего пилота, рекло (быть может, перевод был не слишком ловкий, да ведь смысла-то не утаишь): «Он выпустил бомбу с лучшими намерениями...» Ведь это чудо что такое! Не знаешь, что и делать, смеяться или рыдать, глядя на эти странные гладкие лица. Ведь безраздельная доминантность США так им, бедным, вскружила голову, что они решили, будто во всем мире уже и не осталось никого, кроме таких же младенцев, каких они выпестовали в собственной стране, младенцев, которые, как видите, легко и непринужденно переходят от глупости к мерзости и обратно.

«Да, мы заставим их работать,— продолжает между тем Великий инквизитор,— но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками». А ведь и тут современный «свободный» мир подсуетился. Формы, да и содержание этой детской игры в жизнь уже имеют место в массовой культуре, которая вобрала в себя все основные черты элитарной (массовая или упрощает их до изначального примитива, или шаржирует,— уж это как придется). И если массовая культура являет собой предложение на запрос человека-клопа, человека-младенца: «Сделайте мне красиво»,— то должно быть и предложение на его же запрос: «Сделайте мне духовно!» И сделает, уж будьте покойны, сделает! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в голову не забирало. Ему устроят и массовую религию, нарядную, как рождественская елка, с невинными играми-обрядами, с блестящими побрякушками, с куличиками, с веселыми застольями, пожалуй — и с теми же песенками и плясками (как это уже практикуется в Америке),— «Эх, эх, попляши! Больно ножки хороши!» Тут уж, понятно, не без греха. Да ведь все это стружка, щепки. Грех-то с мизинец — ан младенцу гостинец.

«О, мы разрешим им и грех,— вещает Великий инквизитор,— они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволяем грешить». Вот оно, великое признание Великого инквизитора. Всенепременно, всеобязательнейше государство будет жонглировать перед носом младенца разнообразными соблазнами, будет крутить и пересыпать их, как стекляшки в поражающем детское воображение калейдоскопе. Дитя должно быть счастливо. Оно рождено для счастья, как птица для полета. Да будет счастье! Да будет яркое многоцветье жизни! На счастье принято бить посуду, и государство долбает ее не щадя, ибо все битое стекло пойдет на калейдоскопы для младенцев (даром что сосуды всего двух видов — одни насыщают утробу, другие утоляют похоть,— всё яркое многоцветье складывается из этого стеклобоя). Пожалуй, государство делает это просто по инстинкту: по инстинкту самосохранения. Чтобы уцелеть, оно должно, оно обязано подогревать и подкармливать в младенцах зверя, оно должно поддерживать в них необходимый уровень агрессивности, оно обязано дрессировать ее и удерживать в узде до нужного момента. А момент, как 11 сентября 2001 года, подкрадывается незаметно. И на этот случай мясо всегда должно знать, для какого рожна оно мясо, оно должно помнить о «нашем образе жизни», о «наших свободах и ценностях», ради которых оно пойдет на убой.

Тот, кто читал одну из вводных глав Гюго к «Человеку, который смеется», главу о компрачикосах, уж вряд ли забудет ее. Помните? Исчисляя разнообразные способы искусственной фабрикации уродов из детей, Гюго вспоминает и старый китайский метод выращивания младенцев в вазах (конечно же, в утеху

власть имущим). Младенца помещали в вазу без дна (если угодно — в причудливую, как демократические словеса, а хотите — в незатейливую, как коническая колба), и он несколько лет рос в ней — только голова и ноги торчали. «Дитя росло, таким образом, только в ширину, заполняя своим стиснутым телом и искривленными костями все полые места внутри сосуда», а засим из разбитой вазы «выходило человеческое существо, принявшее ее форму». Вот он, образ че- ловека-младенца, выходящего и имеющего выходить из всех этих дивных мастерских государства. По заданной государством форме он вырастал только вширь и в нужной конфигурации. И, в отличие от китайского младенца, он и помышлять- то не будет о собственном уродстве, он никогда и не осознает его, ибо именно на сознание его, на душу его и будут наложены жесткие формообразующие пределы. И конечно же, это дитя, встав поутру, сладко и счастливо потянувшись, первым делом будет бежать на лужайку перед своим домиком и радостно, с чистой детской слезой, вздевать на флагшток жалкую цветную тряпицу во славу тех проходимцев, которые его изуродовали.

Ну а идущие уже полным ходом процессы глобализации — это совершенно необходимая прелюдия к торжественному дню инаугурации идеального зверя. Это — как хлеб-соль к приходу дорогого гостя. Ибо для достойной его встречи все рычаги управления уже должны быть сосредоточены в одном месте, на едином пульте: приходи — и владей.

О том, как именно это сверхгосударство пожрет своих младенцев, гадать не будем. Гог ли с Магогом пособят, или само управится, но уж это неизбежно.

Однако что касается Апокалипсиса и нарисованных в нем страшных картин гнева Господня, то я воспринимаю их (по совести говоря, мне хочется их так воспринять) не как пророчество неизбежного, неизбежного при всех возможных условиях, но как предупреждение о неизбежности того, что ждет человечество на пути зверя. Потому что все-таки есть, есть напряжение свободы между двумя полюсами: законом зверя — и законом духовного существа; законом государства, законом Великого инквизитора — и законом духа, законом Христа; между законом насилия — и законом любви.

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна, VIII, 32),— говорил Христос. А если не познаем — будет тьма и скрежет зубовный.

Сейчас, на том историческом повороте, который опустошил и омертвил глаза России,— как, кажется, нужно нам сейчас толстовское слово, приближающее к людям христианскую истину, освежающее и ум, и душу! Но разве не так же было нужно оно людям как воздух и сто лет назад, когда проповедь Толстого еще не рассосалась по учебникам и не вылиняла в псевдонаучной щелочи, когда она набатом звучала миру и когда в мире сем уже закручивалась непревзойденная еще по дикости кровавая мистерия XX века? И разве точно так же не нужна была сердцам людей благодатная роса Христовой проповеди и две тысячи лет назад, когда древний мир ставил первые дьявольские опыты соединения закваски Иродовой с закваской саддукейской, соединения первобытной стихии зверя с регулярностью и металлом материальной цивилизации?

«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матфея, XXIII, 37—38).

и при чем тут все повороты истории, развивающейся по закону зверя? Пусты домы этой истории.

Еще в начале 1860-х годов Толстой, стоявший тогда на самых первых подступах к замыслу «Войны и мира», так излагал свой взгляд на исторический метод в приложении к любому предмету: «К какому хотите понятию стоит только приложить слово: историческое,— и понятие это теряет свое жизненное, действительное значение и получает только искусственное и неплодотворное значение, в каком-то искусственно составленном историческом миросозерцании» («Прогресс и определение образования»). И уж тем более этот метод неприложим к религии. Когда спустя двадцать лет Толстой всем своим существом отдался отысканию духовной истины, отмыванию золота от всего, что не золото, он писал, что, понимая и богословский и исторический взгляд на Евангелия, он находит их одинаково неполными: «Я смотрю на *христианство* не как на исключительное божественное откровение, не как на историческое явление, я смотрю на *христианство,* как на учение, дающее смысл жизни» (Предисловие к «Краткому изложению Евангелия»).

Действительно, исторические события, историческое время, историческая психология — все это какая-то совсем иная плоскость (именно плоскость), в которой нет места ни для смысла каждой отдельной человеческой жизни, ни для души его. Все это — замкнутая плоскость полой внутри вазы, в которую каждая эпоха норовит затолкать своих младенцев. Но религия — вне этой плоскости, она выше ее. Человек всегда может вырваться из удушающих объятий этой плоскости и расправить искривленную, затекшую в этом страшном плену душу. Первые христианские мученики, жертвовавшие собой (но не ближними) во имя закона любви, подвижники, выжигавшие в себе образ зверя тем духовным огнем, который низвел на землю Христос,— ведь они неизмеримо выше, свободнее, неизмеримо цивилизованнее (в истинном, духовном смысле этого слова), чем мы, мильоны нас, со всеми нашими интернетами, ватерклозетами и баллистическими ракетами.

Религия — это ответ на вопросы, которые Толстой называл вопросами сердца. И ответ этот действительно *всегда* доступен человеку.

II. СОБРАНИЕ ОТРАЖЕНИЙ

(фарисеи и книжники)

Велика куча не надокучит

Любопытно, что когда заходит речь о жизни духа, то и символы ее, возникающие в сознании людей,— живые. Откройте Евангелия, откройте Толстого — почти всегда это дерево, виноградная лоза, зерно и колос... Если же речь заходит о тех цивилизационных плодах, которыми так гордится человечество, то и символы возникают иные. Когда после первых своих литературных успехов Толстой с головой ушел в педагогику (а только так он и подходил к любому делу), когда открыл школу для крестьянских детей и журнал, чтобы обсудить в нем и проблемы народного образования вообще, и опыт своей школы в частности (он был замечателен уже тем, что Толстой основывал его не на принуждении, а на свободном влечении детей к знаниям), педагог Е. Л. Марков через «Русский вестник» объяснял молодому коллеге, что обсуждать-то, в общем, не

чего и никаких Америк открывать не нужно, а дело образования — напихивать в головы детей, сколько влезет, все, что накопило человечество на данный момент; «Каждый век кидает в общую кучу свою горсть, и чем дальше мы живем, тем выше поднимается эта куча, тем выше и мы с ней поднимаемся. Это известно до избитости, и я не вижу никакого оправдания в стремлениях потрясти такую, логически и исторически очевидную, истину».

Куча — это великолепно! Полцарства за такую прелесть! И не нужно упрекать автора за некоторую двусмысленность этого символа. Нет, нет, куча, со всем ее смысловым разнообразием,— это символ настолько точный, что точнее и придумать нельзя. И грех, конечно, не потрясти такую горделивую, такую логически и исторически очевидную кучу. Толстой, понятно, в долгу не остался: «Вот лучший образец исторического воззрения,— писал он по поводу этого пассажа Маркова.— Вы ищете объяснения знаменательнейшему явлению жизни, вы полагаете, что нашли общий закон, служащий основанием явления, вы полагаете, что нашли идеал, к которому стремится человечество, и критериум его деятельности,— вам отвечают, что есть куча, которая растет с каждым веком, и что это известно до избитости. Хорошо ли, что она растет? зачем она растет? — на эти вопросы вам не отвечают и удивляются еще, что вы хлопочете о разрешении таких вопросов» («Прогресс и определение образования»).

Да, не только лоза или колос растут, но и эта исторически сложившаяся научно-культурная куча тоже растет и высится. Растет, как холм, в который воины несут по горсти праха и на который влезет их царек, чтобы «с весельем озирать и дол, покрытый белыми шатрами», и прочие подвластные просторы. Растет, как надмогильный курган — громадная куча убитой земли, наваленной, чтоб сохранить иллюзию величия маленького мертвеца, зарытого в ее основании. Растет, как ворох мертвой древесины, который нагребают, чтоб запалить его и сжечь еретика. Растет, как Эверест естественных отходов цивилизационной сытости и праздности. Как все, что растет по принципу прирастания мертвого к мертвому.

Так я, по горсти бедной принося Привычку
дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм — и с высоты его
Могу взирать на всё, что мне подвластно,—

эти слова Скупого рыцаря может с гордостью произнести всякий, кто так или иначе причастен к этой общей научно-культурной куче, кто кидает в нее свою привычну дань или просто комфортно восседает на ней, озирая покоренные моря и долы и выдавливая на куче этакий знак качества своим самодовольным гузном.

Зачем растет эта куча? Хорошо ли, что она растет? И не иллюзия ли сам рост ее? И какова цена этих сомнительных накоплений?

Да! если бы все слезы, кровь и пот.
Пролитые за всё, что здесь хранится.
Из недр земных все выступили вдруг.
То был бы вновь потоп...

Скупой рыцарь по крайней мере осознавал это, со сладострастием, сопри- родным страху. Апологеты научно-культурной кучи не ведают ни страха, ни упрека (а ведь когда-нибудь, если, конечно, цивилизация не пожрет в конце концов всех своих младенцев, наши потомки, копаясь в этих окаменелых на

коплениях, будут взирать на все наши Петербурги и Петергофы как на изящные памятники душегубства и живодерства, каковы они были и есть).

Как бы то ни было, а в сознании апостолов научно-культурной кучи она действительно растет и высится, мало того — в их глазах она-то и служит оправданием и достойной компенсацией потоков крови, слез и пота, которые она впитала. Чему, однако, подобна куча сия? Не напоминает ли она вам другой символ — государственную пирамиду? Ведь очень напоминает (и это совершенно естественно, потому что эта куча с государственной пирамидой неразрывно связана). И, как видите, вечные земные символы человеческой гордыни и тщеславия вполне однотипны и едины в своей бессмысленной, мертвой громадности. Куча сия, великая и ужасная,— тоже в своем роде застывшая угроза, угроза всякому, кто задает вопросы: зачем она, хороша ли она и не катимся ли мы в тот котлован, из которого нарыт для этой кучи прах земной?

И если задающий эти вопросы не мальчик, но могучий муж, куча сия уподобляется вулкану, изрыгающему на мятежника ядовитые газы и камни. И вопли, несущиеся вслед булыжникам, вопли, в которых смешаны гнев и страх, в конечном счете сводятся к тому, о чем Толстой писал в дневнике (18 июня 1903): «Крик теперешних заблудших людей: материалистов, позитивистов, ницшеанцев, крик (Мар. 1, 24): „Оставь: что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий"».

Незнание, нежелание знать — вон уже какая великолепная куча, с которой легко и безопасно нападать на Толстого-проповедника (а в конечном-то счете — на закон христианской любви, ведь Толстой не учитель, а ученик этой единой великой школы, только, быть может, более вдумчивый и усердный, чем многие). Но вот — есть еще целая гора извращенного знания, знания, которое, возможно, и было бы пригодно для чего-то дельного, если бы не таящаяся в нем червоточина премудрости мира сего.

И тут тоже — все как по писанному. Едва только Толстой дотронулся до этой кучи, и гонители высыпались на него, как осы из потревоженного гнезда. Его гнали с благоустроенных, уютных территорий богословских, социологических, философских и прочих наук (где все так ухожено, обставлено изящными безделушками, где все налажено для покойного и сытого существования) — как тех мужиков в его «Плодах просвещения», гнали, да еще опрыскивали все после него раствором кислоты, чтобы духу его мужицкого не осталось, чтобы ни одна бацилла здравого разумения не застряла в этом благородном жилище: «Разве можно пускать в дом людей с улицы, которые Бог знает где ночевали!..» Однако тогда и могучий голос Толстого, и это злое жужжание вокруг него еще привлекали к нему людей, и не только скучающих охотников до скандалов и журнальных потасовок, не только тех франтов, которые всегда справляют себе жилет и панталоны по последней литературно-общественной выкройке', но и людей, действительно ищущих смысла своей жизни и духовной поддержки в этих поисках.

' В 1910 году, говоря о том, что «философские и социологические теории Толстого достигли Парижа почти одновременно с его романами», ставшими «чудеснейшим предисловием к Толстому-социологу», академик Э. Фаге вспоминал: «Увлечение Толстым было настолько велико, что его по праву можно сравнить с увлечением Руссо в XV1H веке, когда вслед за „Новой Элоизой" явился „Эмиль". Возникло бесчисленное множество толстовцев и толстовок. Быть русским анархистом считалось для парижанина самым

А потом, после смерти Толстого, когда он не мог уже ни отвечать за свои слова, ни разъяснять недоразумения и злоумышленные искажения его мыслей, ни протестовать, наконец,— произошло то, что всегда происходит и что действительно известно до избитости. Его просто отправили — до кучи. Да, в полном соответствии с лучшими образцами исторического воззрения его приобщили к той самой куче, против которой он восставал всем своим существом, приобщили как еще одно доказательство богатства, содержащегося в этой куче, и предоставили ему каменеть вместе с ней. В истории литературы — о, пожалуйста! — ему отвели великолепные и просторные покои; «Спи спокойно, дорогой Лев Николаевич, пусть пухом тебе будет братская могила учебников и монографий!» В истории общественной и религиозной мысли — э нет, щалишь! — тут дорогого Льва Николаевича урезали до удобных размеров, окорнали мещающиеся углы, подогнали и подогнули под собственные теории и теорийки, скрепив их Толстым, как гвоздем, вогнав и вдавив его в свои плоскости.

А вот и еще один век подвалил свое в общую кучу, и мы еще выще поднялись вместе с ней. Какие прелестные виды! Какое благолепие! «Как много, кажется, сказано, как умно, как много сведений, какой спокойно-исторический взгляд на все! — писал молодой Толстой, возражая все на ту же статью Маркова, а кажется, будто о том, что было наговорено за весь изощренно-болтливый XX век, в том числе наговорено и о самом Толстом.— Сам стоищь на каком-то воображаемом возвыщении, а под тобою действуют и Руссо, и Шиллеры, и Лютер, и французские революции; с исторической высоты одобряещь или не одобряешь их исторические поступки и раскладываешь по историческим рамкам. Мало того, и каждая личность человеческая тоже там где-то копошится, подчиненная неизменным историческим законам, которые мы знаем, но конечной цели ни у кого нет и быть не может,— есть одно историческое воззрение!» Толстой говорит, что, обращаясь к великим душам и умам прошлого, «мы ишем то вечное начало, которое выразилось в них, а нам говорят о той форме, в которой оно выразилось, и распределяют их по классам и отрядам». И вот свершилось. Сам Толстой, как произведение своего времени, как историческая функция, вправлен в историческую рамку, отнесен к известному классу и отряду и сдан в кучу в виде исторически оправданной ее принадлежности, прибит, подшит, подколот — словом, принят к сведению творцами и блюстителями достославной кучи. И в этой обшей куче успокоили наконец старика: в мягком коконе, сплетенном из исторических, философских, богословских и прочих воззрений. Толстой — как в смирительной рубашке, которую ему примеряли еще при жизни. О том вечном начале, которое выразилось в нем, не спрашивайте, это не принято в приличном цивилизованном обществе.

И вот, приобщив Толстого к своему лону, куча породила и ворох вторичного материала, трактующего о его месте и роли в общей куче, о внешнем и внутреннем облике его, об исторических и социальных истоках его мировоззрения, о том, вообще, как куча повлияла на формирование и сего облика, и сего мировоззрения, и что конкретно нужно окорнать, чтобы Толстой мирно копошился где-то там, под нами, в отведенном ему историей культурном слое. Объять этот ворох невозможно (да и нужно ли?). Я одолел лишь малую толику его, и впечатление, прямо скажем, унылое. И вот, главным образом, почему (я прибегну к помощи Толстого, к его дневниковой записи от 14 апреля 1895 г.); «Читал журнал <...> и вспомнил требование брата Сережи от литературы. Есть сердечная духовная работа, облеченная в мысли. Эта настоящая, и эту

любит Сережа, и я, и все, понимающие. И есть работа мысли без сердца, а с чучелой вместо сердца, это то, чем полны журналы и книги». И это то, чем полон ворох вторичного материала о Толстом. Да, «как много, кажется, сказано, как умно, как много сведений, какой спокойно-исторический взгляд на все», но прислушайтесь — услышите ли вы биение живого сердца? Сплошь и рядом — чучелы вместо него. Сплошь и рядом — мертвое прирастает к мертвому, горсть за горстью, слой за слоем. И всё для Прохора да для Прохора. Впрочем, много теплого, живого в воспоминаниях о Толстом, в основанных на них биографических обзорах, но как только речь заходит о мировоззрении, о главной, духовной стороне этой биографии, о вечном начале, выразившемся в этой огромной жизни,— редко встретишь, чтобы трезвый взгляд сочетался с биением сердца.

Один из таких редких образцов — небольшой доклад В. А. Маклакова «Толстой и большевизм». Он особенно замечателен тем, что, понимая Толстого, Маклаков его не принимал. Вообще говоря, он был из иродиан — модный московский адвокат, член 4-й Государственной Думы, при Временном правительстве — посол России в Париже (он был знаком с Толстым, приятельствуя с младшим поколением яснополянского дома). И вот, имея в виду узкую тему (о том, почему и как большевики с превеликими почестями подмяли под себя и покойного писателя, и живых его единомышленников), Маклаков говорил и об общем законе, по которому куча вбирает в себя то, что ей не принадлежит: «Учение Толстого, которое он никогда своим не называл, в котором он только старался восстановить Христово учение,— есть учение „не от мира сего”. И потому надо или отвергать мир, все его понятия и привычки, или отвергать его учение. И то, что в наше время происходило с учением Толстого, т. е. то, что именно последователи Толстого не понимали его, произошло еще раньше с Христом. Я надеюсь не оскорбить ничьих верований, когда провожу эту параллель. Тогда, когда появилось учение Христа, две тысячи лет тому назад, в момент религиозного экстаза, сопровождавшего крушение всего античного мира, нашлись люди, которые пошли за Христом, хотя Его понимали. Эти люди бросали свои богатства, связи, положения и шли с радостью умирать на аренах и цирках. Они не только принимали, но и понимали Христа. Его понимали и враги этого учения. Эстетики Петронии и мудрые государствоведы Марки .Аврелии одинаково чувствовали, что Христово учение — гибель *их* цивилизации, *их* государственных задач, всего *их* государственного понимания, гибель Великой Римской Империи. Одни из них возненавидели это учение, другие просто смеялись над ним; мир его не принимал, и не принимал именно потому, что его понимал. Оно еще не было искажено авторитетными интерпретациями. И шла борьба Христа и мира. Но прошли века, и мир, оставшись тем, чем он был, сохранив всю свою сущность, т. е. государство и его задачи и формы, т. е. законы, суды, правительства,— словом, всю внешнюю культуру, мир вдруг *принял* Христа. Это означало одно: мир перестал Его *понимать.* Мир из всего Христова учения усвоил одну двусмысленную фразу: отдай кесарево кесарю. Божие Богови, и, жонглируя этой фразой, оставил земную жизнь кесареви, его воле, его взглядам, отослав Царство Христа на небеса. Мир принял Христа, и это значило, что мир перестал Его понимать. Конечно, и в „исправленном" виде христианство осталось высоким учением, положило историческую грань на развитие человечества, но оно перестало быть чистым учением Христа, стало учением мира сего, И когда я смотрю теперь на толстовцев, которые уверяют серьезно, будто Толстой простил бы большевикам их зверства, за то, что их на

силия ведут к торжеству коммунизма, к гибели богатств и богатых, когда я вижу толстовцев, которые *так* понимают его, я невольно вспоминаю великих и малых инквизиторов, последователей Христова учения, которые тоже воображали, что его понимают, когда во имя Христа жгли на кострах. *Такое* понимание — общее явление, это мирская судьба учений, которые „не от мира сего“».

Да, все дело в том, что мир сей (и научно-культурная куча, в частности) судит о Толстом, казнит его или милует, по *своим* законам. Всё это суждения кротов в области астрономии. Отсюда — все недоразумения, все недоумения, все восхитительные глупости, приправленные или коричкой культуры, или научной паприкой. Вот, раз уж зашла речь об интерпретаторах, основывавшихся на «единственно верном», марксистском учении, одно из суждений о Толстом позднебольшевистской эпохи: «Верный своему учению, он искал способов, которые позволили бы, предотвратив борьбу, одновременно добиться полного политического и экономического переустройства общества. Способы, на которые он рассчитывал, под стать скорее наивному патриархальному крестьянину, чем всемирно прославленному писателю, обогащенному глубоким знанием жизни и впитавшему в себя опыт многовековой человеческой культуры...» Вот ведь, не оправдал Лев Николаевич надежд, возложенных на него кучей: кормила она его, поила, учила своему уму-разуму, прославляла почем зря, а он-то, неблагодарный, взял да и вывернулся. И ведь куда подался, наивный, к кому прибилось его неразумное сиятельство? К патриархальному крестьянину! К необразованному папуасу! Немедленно, немедленно опрыскать все раствором кислоты!

Таких суждений о Толстом за всю советскую эпоху российской истории накопился воз и маленькая тележка. И самое печальное здесь то, что ведь все эти авторы по-своему любили Толстого (нельзя же, в самом деле, всю жизнь заниматься его творчеством, не любя его), но любили странною любовью, пирамидальной, как, наверное, хозяин обожает великолепного пса с выдающейся родословной, любуясь его сообразительностью и экстерьером: до нас, понятно, не дотягивает ни тем, ни другим, но хорош, собака!

А вообще, что касается неисчислимых отражений Толстого в больших и малых зеркалах, то, для меня по крайней мере, есть один, универсальный критерий их оценки. Есть отражения в зеркале любви. И есть отражения в зеркале гордыни (со всеми вытекающими отсюда последствиями). Я отдаю себе отчет в том, что отклонения от истинного его облика, внешнего и внутреннего, могут быть и в тех, и в других. Но отклонения от истины в зеркале любви меня не смущают, больше того: сами эти отклонения мне дороги не меньше, чем истина. Потому что все это — излучение любви. Потому что это не искажение, это — преображение (и, кстати говоря, для меня, в отличие от церковноверующих, совершенно нет вопроса, действительно ли произошло преображение Христа на горе Фавор; с меня довольно и того, что это преображение произошло в зеркале любви, в сердцах учеников Христовых). И удивительно, как любовь преображет и сами эти зеркала. Вот, например, пятидесятилетний художник Н. Н. Ге. «...Он плешивый, ясные голубые глаза и добрый взгляд. Он приехал познакомиться с Левочкой: объяснялся ему в любви и хотел что-нибудь для него сделать...» — щебечет С. А. Толстая в письме к сестре. А сам Ге, преображенный, воспламененный,— вот как писал он об этом: «В 1882 году случайно попалось мне слово великого писателя Л. Н-ча Толстого „О переписи в Москве". Я прочел его в одной из газет. Я нашел тут дорогие для меня слова. Толстой, посещая подвалы и видя в них несчастных, пишет: „Наша нелюбовь к низшим — причина их плохого состояния..."

Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он хранил целую жизнь и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему». И дальше, дальше; «Я стал его другом. Все стало мне ясно. Искусство потонуло в том, что выше его неизмеримо. Это была бесконечная радость, но тут же началось то, что всегда преследует уже не художника, а человека, и преследует до смерти».

Хочется говорить и говорить именно об этих отражениях. Но тот, кто воспламенился толстовским словом, отыщет их и сам. Поговорим о зеркале гордыни. Это страшное зеркало. И ведь вроде бы ничего уж слишком отвратительного в нем не наблюдается (на первый взгляд), все очень гладенько и пристойно. Но есть в нем незначительные, казалось бы, искажения, которые в конечном счете замарывают всё. В этом зеркале рассматривается не сам Толстой, не его жизнь и труды, в нем рассматривается *свое,* авторское, видение Толстого. Это похоже на то, как мы, грешные, скучая на уроке в школе, раскрывали учебник и размалевывали помещенный в нем портрет какого-нибудь великого ученого или писателя — пририсовывали рожки, поросячий пятачок, рысьи кисточки к ушам... Вот эдак размалюешь, а потом остается только плюнуть, да и припечатать; «Ну и образина, прости Господи!» И чем больше всякой гадости пририсовано, тем больше оснований плеваться и ниспровергать. Ниспровергается при этом, понятно, не сам Толстой, а собственное искаженное видение критика, который по всем правилам литературной экзекуции сечет сам себя, сечет плод своего воображения. Ведь чем несуразнее выставлен великий человек (великий — искренностью, совестью, жаждой истины и света), тем очевиднее, неопровержимее это свидетельствует об извращенности воображения критика, рисующего столь нелепые портреты. И всё, и всё, и больше ничего не выжмешь из писания его.

Как это делается? Мне хочется, на одном примере, объяснить это чуть ниже. Пример этот — из области церковного богословия. Вот ведь какие загогулины (пользуясь терминологией первого российского президента) рисует история! Казалось бы, спор Толстого с официальной церковью должен бы остаться далеко в прошлом. Отрицание церковного учения — это далеко не главная, это попутнозлободневная цель его проповеди, имеющей заряд высокоположительный. Но оказалось, что эта попутная цель и через сто лет осталась злободневной.

Сто лет назад многие и многие чувствовали удручающее духовное оскудение церкви'. Многие и многие подвергали сомнению тот знак равенства, который давным-давно был нарисован между религией и церковью. Пробуждение религиозного сознания искало иных, внецерковных, надцерковных, форм бытия. А империя между тем продолжала уголовным уложением и палками загонять пробу-

' Я имею в виду мирскую церковь, оставляя в стороне удаленные от сует мира сего монастырские обители. Там всегда (но не везде, конечно) выше внешней обрядности ставили духовное самосозидание, и потому обители эти порождали явления и лица несравненно более высокого порядка, чем «массовая», мирская церковь. И несмотря на внешнюю, обрядно-догматическую связь с ней, эти явления и лица внутренней своей сутью стоят неизмеримо выше официальной церкви. Но так уж повелось на земле: власть мирская (а всякая власть — явление мирское; «духовная власть» — это такая же абракадабра, как «эфирный булыжник») — эта власть всегда подминает под себя то, что выше ее, что вне ее. Говорят; церковь на семи праведниках стоит. А надо бы сказать: она на них не просто стоит, она на них сидит и едет, причем погоняет ими совсем не в ту сторону, куда стремились эти высокие души

дившихся в сонное царство казенной церкви. Свидетельств ее сонливого самодовольства — масса. Я приведу два-три. Причем это не злорадные свидетели (коим нет числа); напротив, это люди, которые воспринимали церковное оскудение как беду, как личную свою печаль. Вот, например, юрисконсульт кабинета его величества Н. А. Лебедев в личном письме говорит о только что прогремевшем отлучении Толстого от церкви: «Что за глупость. Что за удовлетворение личного мщения. Ведь ясно, что это дело рук Победоносцева и что он мстит Толстому...— Но вот она, главная-то боль правоверного юрисконсульта: — Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви и применения истин христианства... Народился новый тип священника-чиновника, который смотрит на дело, как на службу, и только заботится о получении денег за требы. Все это горько и прискорбно». Оставим давно почившего юриста в прискорбном заблуждении, что тип священника-чиновника народился только в его бытность. Едва лишь религия вступает в казенную службу, в службу кесареву, она неизбежно и немедленно должна породить этот тип.

В том же 1901 году, поздней осенью, в Петербурге открылись Религиознофилософские собрания (довольно скоро прихлопнутые властями). Интеллигенция, сойдясь лицом к лицу с духовенством, надеялась взбудить это сонное царство, прояснить вопросы об отношениях между церковью и государством, между церковью и культурой, о возможных точках соприкосновения религии с реальностями жизни, о том, осуществлены ли, реально, а не ирреально, откровения христианства в европейской цивилизации и возможно ли дальнейшее религиозное творчество в рамках христианства и т. д. и т. п. (как выяснилось очень скоро, все эти вопросы, чрезвычайно важные, но по-интеллигентски напыщенно поставленные, можно было адресовать кому угодно, но только не церкви). И вот, на первом же собрании, богослов В. А. Тернавцев, «пламенный православный церковник», как аттестует его Зинаида Гиппиус (по ее воспоминаниям — и дальнейшие цитаты), так начал свою речь: «Положение России тяжко и, по-видимому, безысходно. Полная неразрешимых противоречий, как в просвещении, так и в государственном устройстве...— Россия остается сама с собой перед фактом духовного упадка и экономического разорения народа. Пугающая нагота этого факта, общая беспомощность перед ним еще увеличивается тем, что помощи ждать, по-видимому, неоткуда...

Мы, как христиане, не можем оставаться безнадежными. Россия возродится... Но где силы, способные ее возродить? Церковь?

Силы Церкви не неизвестны. Они слабы... Чем вооружены деятели Церкви? Ведь им придется лицом к лицу встретиться с другими силами, уже не помест- но русского порядка, а мировыми, борющимися с христианством на арене истории... Но церковные деятели в христианстве видят и понимают лишь загробный идеал, оставляя земную жизнь, *весь круг общественных отношений* пустыми. Единственно, что они хранят как истину для земли,— это *самодержавие...* с которым сами не знают, что делать'. <...> Да. Церковь не покидает народа в трудные времена. Но, оставаясь сама безучастной к общественному

' Кстати, Толстой в своем дневнике (30 октября 1894 г.) обрисовал это положение еще резче и яснее (столь же резко налагает свет и тени сама жизнь): «Хотят удержать и спасти тонущее самодержавие и посылают на выручку ему православие, но самодержавие утопит православие и само потонет еще скорее». Так оно и случилось.

спасению, она не может дать народу ни надежды, ни радости в его тяжком недуге. Его бедствия она понимает как посылаемые от Бога испытания, перед которыми приходится только преклоняться... Интеллигенция же с большими жертвами для себя отстаивает понимание власти как ответственности. Она создала смелое, убежденное, дорого ей стоящее обличение власти. Она отстаивает веру, что человечество найдет путь к единению. Эту веру она носит в себе как некий золотой сон сердца. Вопрос о труде и рабском отношении его к капиталу; проблема собственности, ее противообщественное значение, с одной стороны, ее неизбежность — с другой, вопрос об истинном просвещении — всему этому интеллигенция остается верна и близка, несмотря на тесноту, гонения и горечь скитальчества... Деятелям же Церкви, свидетелям совершенного разорения народа, вопросы эти чужды. <...> Всеобщая историческая гибель открывается ныне с возрастающей и грозной ясностью. Вот почему наступила пора для Церкви дать ответ не словом, а *делом,* на общечеловеческие запросы. Может ли статься, что вопросы действительные, роковые, есть ■— и нет отвечающего?..

Для всего христианства наступает ныне время открыть сокровенную в нем *правду о земле...»*

И что же церковь ответствовала? Вот прелестный образчик; позже, на подобную же горячую речь Тернавцева, некий епископ реагировал благодушноиронически: «Напугал нас В. А. своим докладом, право. И время, будто, тревожное, и за христианство страшно, и чуть не светопреставления ждать надо завтра...» А плюс к тому — догматика, догматика и еще раз догматика. Ну что тут сказать! И богословы, и советские исследователи, невесть зачем лезшие в религиозные сочинения Толстого, попрекали его некими восточными наклонностями, апологетикой даосского *неделания,* непониманием всех прелестей прогресса. Но что между тем, по восточной неподвижности, по духовной застыло- сти, по дремотному довольству собой, может сравниться с этим пассажем православного иерарха (ведь считанные месяцы оставались до первой русской революции, чуть больше десятилетия — до изуверской первой мировой войны, полтора десятка лет — до генеральной кровавой литургии октябрьской революции)?!

И вот, спустя почти полвека (1948 год, разруха и нищета после еще одной мировой бойни), удивительный по духовной высоте и бескорыстию пастырь православной церкви, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), обращаясь ко всем своим сопастырям и сослужителям по Крымской епархии, писал о процветавшем, как прежде, взгляде священников «на служение Богу как на средство пропитания, как на ремесло требоисправления», и вот что говорил он, по духу своему стоявший выше официальной церковной иерархии: «Тяжкие испытания и страдания перенесла Церковь наша за время Великой революции, и конечно, не без вины.

Давно, давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых, к стыду нашему, было немало.

И с отчаянием видим мы, что многих, многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему, и даже хуже прежнего являют они грязное лицо наемников — не пастырей, по-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе.

Им напомню страшные слова пророка Исаии: *Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От*

подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гнояш^иеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем...»

Да в общем и без этих горьких свидетельств ясно: нельзя страну, живущую глубокой и свободной верой, в двадцать четыре часа превратить в атеистическую, и даже в воинственно атеистическую, как это сделали большевики. Ясно, что казенная вера была не чем иным, как внешним, поверхностным обрядове- рием (другое дело, что в народе, латентно, всегда сохранялся трезвый взгляд и на веру, и на ее подобие; о подобии, государственно-лицемерном, всегда говорили: «Праведно живем: с нищего дерем, да на церковь кладем»,— об истинной вере говорили иначе: «И церкви не стой, а нищету прикрой, да сиротство пристрой»; и вот широковещательными обещаниями прикрыть нищету и пристроить сиротство большевики и притянули народ к своей материалистической, садцукейской вере).

И вот — прошло сто лет...

И все по-прежнему, и даже хуже прежнего. Хуже, чем могло бы присниться в страшном сне лет сто — сто пятьдесят назад. «Ибо если когда-нибудь случилось бы мне увидеть во сне, что какая-либо из внешних особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдруг воскресла посреди нас и в прежнем виде своем вмешалась в настоящую жизнь нашу, то это видение не обрадовало бы меня. Ибо такое перемещение прошлого в новое, отжившего в живущее было бы то же, что перестановка колеса из одной машины в другую, другого устройства и размера: в таком случае или колесо должно сломаться, или машина». Если вы думаете, что это опять цитата из Толстого, вы ошибаетесь. Это — Иван Киреевский, славянофил, страстный почитатель церковной святоотеческой веры, о которой-то он и пишет и с преображением которой связывает будушее России.

Однако теперь, по прошествии времени наблюдая, как церковно-мирское колесико влезает в совершенно заржавленную машину духовной жизни России, машину другого устройства и размера, понимаешь, что, увы, увы, перемещение прошлого в новое, проникновение омертвелого в живущее в наши грешные дни продолжается легко и незатейливо.

Прошло сто лет. И с чего же начала церковь свое «возрождение»? Со смиренного покаяния? С отречения от пятнавшей ее веками казенной службы? С осознания того, что тяжкие испытания и страдания были *не без вины* ее (как признавал это Войно-Ясенецкий), что бесконечные ее литургии обернулись полной и непробудной летаргией? Ведь ясно, давно объяснено и Христом, и Иоанном Предтечей, и прежде бывшими пророками, что возрождение, воскресение начинается с покаяния, с глубокого осознания своих вин и грехов. Никак иначе нельзя очиститься, если «голова в язвах и все сердце исчахло».

Но нет, все происходит как в страшном сне Киреевского. Видишь это пре- сушествление сна в явь и поневоле думаешь: все, что церковь могла, она уже давно сделала; она сохранила христианство как умела — как земля сохраняет зерно, разлагая его для нового роста, для нового колоса, для новой жизни.

Но вот ведь как шутить изволит история со всеми своими загогулинами. Советская власть, воинствуя в своем атеистическом отрицании, только усилила, ужирнила знак равенства между Богом и религией, с одной стороны, и церковью — с другой. И куда же нам, бедным, было податься после того, как сад- дукейская, коммунистическая эрзац-религия изъязвилась и исчахла (не буду скрывать: эту эрзац-религию я, как и многие, впитал с молоком матери), после

того, как мы с головой окунулись в безраздельно восторжествовавшую религию мира сего (сейчас многие печалуются, что Россия лишилась идеологии, не обзавелась новой национальной идеей; нет, ребята, без идеологии никто и никогда не живет, и Россия теперь с упоением кунается в открыто антихристианскую, да в общем — и антимусульманскую, антибуддийскую, словом — анти- божию, сатанинскую религию саморазрушения),— куда было податься нам в поисках Бога? Мы подались в церковь.

Там, в церкви, почти сразу в тебе начинают бороться два противоречивых чувства. С одной стороны, новое, свежее, осмысленное чтение Евангелия. С одной стороны, очищение, которое испытываещь, когда, «с отвращением читая жизнь свою», переворачиваещь ее всю, и трепещешь, и проклинаешь, и горько слезы льешь, и вместе с тем — хотя ничего еще не сделал путного, да и неизвестно, сделаешь ли,— начинаешь ощущать радость возрождения, хотя бы только предвкушение этой радости. С одной стороны, главный и лучший урок, который дает церковь, научая постоянному памятованию Бога. А с другой стороны... Я читал толстовскую «Исповедь» уже на закате своего церковного опыта. Читал и поражался; как все точно, вот то же, то же самое чувствовал и ты, с той только разницей, что Толстой глубоко, ясно и горячо прочувствовал то, что ты чувствовал слегка, по касательной.

Ты видишь, как (по инстинкту, наверное) церковь и безбожная мирская власть начинают тянуться друг к другу, начинают с чувством лобызаться, троекратно и тысячекратно, на всех уровнях; видишь, как, витийствуя о мире и любви, церковь начинает услужливо кропить водицей палаты, офисы, подлодки и «калаши»; ты чувствуешь, наконец, что, едва вырвавшись из ежовых рукавиц одного «единственно верного учения», ты тут же увязаешь в другом «единственно верном». Но — смирение, смирение! Не замечать, не думать.

Ты включаешь телевизор и в очередной раз слышишь сетования церковных иерархов о посягательствах католиков и протестантов на «каноническую территорию православной церкви». Но — смирение, смирение! Не замечать эти едва заметные кивки в сторону мирской власти и читающиеся между слов скромные упования на ее заступничество. Не думать, ни в коем случае не думать, что речь- то здесь не о Боге, а об обезьяньих правах на *территорию,* о каноническом «законном» праве доить и стричь под гребенку тех, кто на ней пасется.

Ты стоишь в церкви и слушаешь, по случаю Пятидесятницы, проповедь священника о красотах догматики и о еретиках, неизбежно разбивающих себе лоб о ее каменную твердыню. Но — смирение, смирение! Не замечать, что священнику так же скучно, как и тебе. Не думать, что эта краеугольная скука — предмет вечных раздоров и причина благочестивых изуверств.

Или, по какому-то другому случаю, молодой благообразный священник проповедует о богатстве, о том, что все хорошо, когда хорошо, когда оно «от Бога» (уж не припомню всех его софистических уловок, они всегда вылетают из головы мгновенно, остается только осадок; хорошо, очень хорошо, и очень сладко). Но смирение, смирение! Не замечать, что новый русский иерей кроит Евангелие под себя, под тех «новых русских», которым это сладкоречив ляжет елеем на душу и которые взблагодарят за него по-свойски. Не думать, не вспоминать, что Христос говорил об этом так ясно, что никаким перетолкованиям, казалось бы, не оставил места; «Никто не может служить двум господам... Не можете служить Богу и маммоне». Нет, нет, не думать о том, что именно этот пункт — самый коварный и, как сломался на нем богатый юноша, решивший

было последовать за Христом, так веками ломает себе на нем хребет псевдо-христианская цивилизация.

Или, уж напоследок, в неделю Торжества православия диакон громовым, трубным гласом возглашает вечную память «благочестивым» российским государям. Вот тут-то, признаюсь, в первый раз кольнуло меня не слегка, а всерьез. Я почувствовал, что лгу, безбожно лгу, присоединяясь не к памяти (отчего же и не помянуть их, грешных), а к этому бессовестному слову «благочестивые». Ведь это сто лет назад детишки могли учить историю отечества по Полевому, например, у которого все «скоропостижно скончались», и главное — вовремя. Но мы-то не можем не знать о сыноубийцах, мужеубийцах, отцеубийцах (убий- цах-заказчиках), наконец — просто о кровопийцах и распутниках, торчавших на российском троне...

Но — смирение. Не замечать. Не думать. И вот что постепенно начинаешь замечать за собой. Смирение гордыни перерастает в смирение совести (при этом гордыня, переливаясь в форму общеконфессиональную, только прирастает). Смирение «гордого ума» постепенно ведет к умственной апатии, действительно к летаргии. А сон разума, как известно, порождает чудовищ — врагов, еретиков и прочих «рака».

Пожалуй, действительно можно не заметить, как и сам превратищься в чудовище. Вспомните относительно недавний (кажется, 1999 год) случай в Вышнем Волочке. Два человека, всемерно воцерковленных, один — бизнесмен средней руки, другой — преподаватель техучилища, в канун Пасхи (Великая суббота, по церковным понятиям,— день тишины) ворвались в местное отделение милиции, убили для праздничка милиционеров и... Дальше им не дали развернуться, а план был таков: первично вооружившись, двинуться победным шествием, попутно вовлекая и вооружая народ, от Вышнего Волочка к Москве, там — перевешать в Кремле преступников-правителей и расчистить тем самым престол для «православного царя». Если мне скажут, что означенные патриоты набрались всей этой премудрости не в церкви, я, уж простите, не поверю. Нет, не зря кучкуются там всевозможные чернорубашечники: где же еще, как не в церковных кулуарах, набраться по самые ноздри национально-конфессиональной гордыни, где еще наслушаться всласть и о жидо-масонах, и о спасении через православного царя. Бедный, бедный, бедный Киреевский! Ему и во сне все это присниться не могло.

И вот что помню я особенно отчетливо из своего церковного опыта, из его закатного периода. Я как-то прочитал в газете об одной православной общине. Дай-ка, подумал я, поеду да посмотрю, как люди по-людски устраиваются (газета, как и положено газете, сообщала, что там-то и там-то обнаружен земной рай, практически коммунизм на одном отдельно взятом гектаре). Смирял я себя, как мог, но все время там шилом жиляло одно: по-людски — это громко сказано. Очень маленькое, но по всем правилам устроенное теократическое го- сударствице, со всеми входящими и исходящими. Но не в этом дело, не об этом речь. Самое главное, что впечаталось мне в память,— это момент исхода. От государствица до трассы (то есть опять-таки до мира сего) — несколько километров лугом. И я не могу передать того чувства свободы и света, которое я испытал, пока шел. Наверное, такое чувство испытывает заключенный, вырвавшийся на волю. Я тут же, по дороге, вспомнил чеховское «Пари», вспомнил того юриста, который пятнадцать лет просидел в научно-культурном затворе и перед исходом писал: «...я презираю ваши книги, презираю все блага мира и

мудрость. Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво, как мираж... Вы обезумели и идете не по той дороге. Ложь принимаете вы за правду и безобразие за красоту... я удивляюсь вам, променявшим небо на землю. Я не хочу понимать вас». День был поразительно солнечный. Солнце играло на каждой травинке, на каждом лепестке полевого цветка, на поверхности выныривавшей из зарослей ивняка, извилистой речушки (а там, в зарослях, тень набухала, наливалась тяжестью и тонула в меленьких омутах), небо, упоительно чистое, открытое на все триста шестьдесят градусов, всё сияло... Редко, увы, очень редко переживаешь такие минуты понимания красоты, свободы и света, минуты близости с миром Божиим и, кажется, с самим Богом.

И то же чувство испытывал я, читая потом Толстого, его религиозные сочинения,— чувство освобождения, света, близости мира Божия. Как будто идешь светлым днем, чистым полем («я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...»), а рядом — он, и никакой «матерости», никакой дремучести в бровях. Родной, любимый человек. «Светлый странник» (так назвал его Скиталец, писавший в дни *его,* толстовского исхода: «Лев Толстой не ушел от мира, а ушел в мир»,— и холод пробирает, когда подумаешь, в какую невыносимую, похабно-серую, осеннюю стужу он ушел). Светлый странник, без малейшего намека даже на фамильярно-дружеское насильничество, берет тебя под локоток и ведет — чистым полем, светлым днем. И всё, всё, не только искусство, как писал Те, но и весь видимый мир тонет в том, что выше его неизмеримо.

А между тем, когда снова выбредаешь на трассы мира сего, как то и положено,— «все тонет в фарисействе».

Репейные залпы

Не так давно я купил книгу: Лев Толстой, «Соединение и перевод 4-х Евангелий» (М.: ЭКСМО-Пресс, 2001). И немедленно чувство радости и благодарности издателям было несколько омрачено. Для начала, прямо на фронтисписе, под матерым портретом Толстого, переврали дату его рождения (впрочем, пустяки — омолодили его всего на год). А в конце, как гласит аннотация, «данное издание украсила также статья выдающегося философа и богослова Александра Меня, представляющая точку зрения церкви на поиски Бога великим русским писателем».

И может быть, не стоило бы трогать писания давно и страшно погибшего человека. Но вот ведь какая штука получается. Потом уже мне попалась в руки книга, десятью годами раньше изданная питерским «Худлитом» («Исповедь» -ь «В чем моя вера?»), и уж не в конце, а в самом ее изголовье, стояла все та же статья Меня. Значит, подумал я, «украшать» Толстого Менем — уже традиция, насчитывающая десятилетнюю историю. Да и вообще, традиция приглашать церковников в качестве экспертов по всем духовным вопросам уже вполне оформилась и отшлифовалась (только включите телевизор — и вы в этом легко убедитесь). А тут — Мень, трагическая кончина, которая всегда в глазах людей дорисовывает человеку светлый ореол. Ореол, восходящий над почившим человеком,— это прекрасно, это тоже своего рода преображение. Но нужно ли при этом и писания его окружать ореолом посмертного иммунитета? Это вопрос. Это все-таки вопрос, подлежащий обсуждению. Тем более теперь, когда интеллигенция так преданно потянулась влажными губками к ручке «продвинутых» батюшек. Тем более что эта статья православного протоиерея дей

ствительно в первую очередь представляет точку зрения церкви (и именно сегодняшней церкви, что крайне для нас важно) на религиозные искания Толстого.

Прочитав эту статью Меня, я как будто прошел сквозь серое-серое облако, несмотря на весь блеск эрудиции автора («Как много, кажется, сказано, как умно, как много сведений!..»). Это облако — легкое, почти незамечаемое при первом беглом прочтении марево лжи (я далек от мысли упрекать покойного богослова во лжи преднамеренной: искаженное видение Меня заранее определено его конфессиональной принадлежностью и саном; сан этот — уже обязывает пририсовать Толстому рожки и поросячий пятачок).

С самого начала все очень подозрительно и зыбко, даже сам заголовок — «„Богословие" Льва Толстого и христианство». Богословие, с сомнением взятое в кавычки, это очень понятно, это совершенно уместно и естественно (сам Толстой, включивший в «Круг чтения» чье-то высказывание: «Религия — от Бога, богословие — от людей»,— не мог смотреть на это дело иначе). Но взгляд на христианство, которое противополагается Толстому, которое будто бы исчерпывается православием и от имени которого берется говорить автор, очень и очень странен. Впрочем, просвещенный богослов уже во втором абзаце заявляет о широте своих взглядов: «Иные, может быть, скажут: а стоит ли популяризировать эту сторону творчества писателя? Ведь она неприемлема как для атеиста, так и для церковноверующего человека». И чуть ниже твердо и смело отвечает — стоит! Обязательно стоит! Нет, нам неприемлем «цензурный» подход к Толстому! Мы непременно должны опубликовать все, что сто лет назад церковная цензура зарубила. Зачем? Выходит, с единственной целью: дабы, по завету петровскому, дурость каждого видна была. Но все это — мелочи. Главное — это то, что тысячи и миллионы людей (и я вместе с ними) попросту вычеркнуты из жизни: для нас не оставлено зазора между атеистами и церковноверующими. Реально существующими признаны только две крайности, два ледяных полюса: с одной стороны, грубо-саддукейский (имевший своей вершиной у нас «единственно верное» марксистско-ленинское учение), с другой — ортодоксально-церковный (в той самой своей дремотной средневековой форме, в какой его застала революция). Все живое, движущееся, растущее, смиренно ищущее истины, алчущее и жаждущее правды, все, что путь и свобода,— все это существующим не признается или признается недостойным существования и рассмотрения. И вот — ничего еще, кажется, по существу не сказано о Толстом, а как много сказано! Уже задана, по произволу автора, система координат (причем сразу же и заявлено, что к Толстому она не имеет никакого отношения, но для людей книжного знания такие несообразности никогда не казались препятствиями: у каждого есть *своя* система, и затолкать в нее все, что шевелится,— дело техники). И степень кривизны зеркала уже вполне определена.

Когда я натыкаюсь на зеркало гордыни (личной, научной, культурной, конфессиональной, стадно-государственной — какой угодно) мне вспоминается очень ранний святочный рассказец Чехова «Кривое зеркало»; это старинное, в бронзовой оправе зеркало было так искусно искривлено, что все прекрасное в нем становилось уродливым, а все уродливое — прекрасным, и потому уродливое, прильнув к нему, уж не могло оторваться: «Всё лжет, кроме этого зеркала!»

Два ледяных полюса, атеистический и церковный,— это тот металл догматики, который, как и положено крайностям, смыкается и образует раму, и уж такую старинную, что вся она коростой поросла. Еще в книге «В чем моя вера?»

Толстой писал, что, впервые заговорив о Христовой заповеди непротивления злу насилием, он встретил особенно яростные возражения со стороны ортодоксов именно этих двух противоположных полюсов. А в одной из последних своих статей, решив было ответить мягким увещанием на исправно приходившие в Ясную Поляну «ругательные» письма (статью эту в газеты он так и не послал). Толстой, с усталостью и грустью писал: «...явно, что о моей деятельности среди большой публики установилось в последнее время очень странное недоразумение. Одни считают меня безбожником и революционером и одобряют за эту мою воображаемую ими заслугу, другие же, точно так же считая меня отъявленным безбожником и революционером, не только не одобряют, но всячески проклинают меня за то, в чем я ни в каком случае не могу быть повинен».

Читая статью Меня, я убедился, что воз этих недоразумений — и ныне там. Я сравнивал ее с попадавшимися мне в руки писаниями на эту тему советской эпохи и поражался сходству. Сходство это определяется прежде всего единством цели: отлучить Толстого от христианства, да и вообще от религии, втолковать читателям, что он сам изобрел какую-то там религию (а значит, и говорить о ней всерьез не стоит труда), что его Бог — это очень подозрительный Бог, да и Бог ли это, если представление о Нем не согласуется с постановлениями церковных соборов? А раз так — не безбожник ли Толстой в глубине души? И не революционер ли он, если с такой страстью обрушивался на все установления и законы мира сего? И вот, исходя из разнополюсных канонических штампов (одни — из нескольких статеек Ленина, другие —- из протоколов синодских мудрецов), обнаруживая единство цели (ибо в конечном-то счете и те и другие кроят Толстого по канонам мира сего), эти авторы обнаруживают и сходство в приемах, в системе аргументации, даже цитаты одни и те же кочуют туда-сюда. И там и там —• вповалку суждения о Толстом и атеистов, и религиозных философов (причем никто не утруждается проанализировать степень кривизны этих зеркал; лезет лыко в строку — так давай его сюда).

«И потому,— взывал Толстой (я продолжаю прерванную цитату),— мне очень хотелось бы просить и тех и других, почему-либо интересующихся мною, прежде чем судить обо мне, хоть сколько-нибудь познакомиться с теми мыслями о Боге и о жизни, которые я, как умел, в продолжение 30 лет старался высказывать в моих писаниях <...>, больше 30 лет я ничего другого не делал, как только старался, как умел, всеми силами души убедить себя и других людей в том, что без Бога нет и не может быть никакой, кроме скотской и самой несчастной жизни, и что наша жизнь здесь есть только частица проявления бесконечной жизни. Тоже старался показать я и то, что великая истина эта открылась мне через учение Христа».

Напрасно, напрасно взывал Толстой. Давно уже мало кого интересует «эта сторона творчества писателя». К чему возиться со всей его тридцатилетней писаниной, если научно-культурная куча давно дала свое заключение о ней? Зачем нам оригинал, если есть целый ворох вторичного материала, где все разнесено по классам и разрядам, если есть такое соблазнительное марево, оправленное в старинную бронзу? Как великолепно смотримся в нем мы сами,

а значит ■ все лжет, кроме этого зеркала

И удивительное ощущение испытываешь, когда перевариваешь какой-нибудь вторичный продукт,— испытываешь недоумение: да читали ли в самом деле эти люди самого Толстого, не пробавлялись ли и они одним вторичным продуктом? Ведь этого не может быть! А значит, такова уж магическая сила

зеркала гордыни: уже на стадии первичного восприятия в нем прежде всего видишь свой безупречно прекрасный образ, перед которым все меркнет и жухнет, а Толстой... А что Толстой? В зеркале гордыни, в научно-культурной системе координат —■ он чужой, он рака.

Толстой, видя, как его прямо на ходу искажают и перевирают, огорчался, опять брался было за перо, чтобы объясниться, и опять откладывал — нет, не оберешься от этих репьев. Вот осенью 1909 года экономист и философ П. Б. Струве с научных высот, легко, играючи разделался с толстовским «Неизбежным переворотом», и Толстой опять огорчился:

«Огорчился же я потому, что желание, очевидно руководившее г-ом Струве <...>, было нехорошее, не доброе, имевшее очевидной целью сбить с толку тех немногих людей, на которых моя статья могла бы произвести хоть отчасти желаемое мною впечатление.

— А что такое было Толстого в „Р[усских] В[едомостях]“?

— „Бесконечная перемена" или что-то в этом роде.

— Нет, это „Неизбежный переворот". Он там опять все свою старую песенку. Но ты прочти в „Р[усской1 М[ысли]“. Струве прямо носом ткнул его в кричащее противоречие.

— Вот как. А Дубровина-то, кажется, заберут-таки.

И молодой человек, который, может быть, прочел, подумал бы, теперь спокоен и может заняться политическими вопросами, социализмом, вообще наукой и незачем читать всякие глупости, которые пишет очевидно выживший из ума старик, так как сам Струве ясно и прямо показал ему, что то, о чем он думал полвека, явное, только ему одному по его умственной слабости невидимое противоречие».

И вот — никто уж почти толком и не помнит тех стародавних критиков Толстого, все молодые люди спокойно занимаются политическими вопросами, социализмом, демократией, вообще наукой, взрослеют, стареют, умирают, или, так и не успев состариться, гибнут и гибнут на больших и малых войнах, а Толстой так по сей день и обвешан репьями «противоречий». Кто-то давным- давно изрек, что докопаться до сути вещей — значит добраться до противоречий. Но какой соблазн таится в этом мудром речении! Соблазн — не вникая в суть, сразу выдавать на-гора противоречия (особенно если имеешь *свою* жесткую систему координат — так противоречия можно просто как блины выпекать: не влезает что-то на твою сковороду — уже противоречие).

Противоречия Толстого — это святое. Ленин, бывало, все толковал о его «кричащих противоречиях», и ему вторил весь советский научно-культурный хор. Бердяев, в своем терминологическом вкусе, исчислял толстовские «антиномии», да мало ли кто еще их исчислял.

А. Мень, приступая к Толстому, тоже начинает с этой неизбежной прелюдии, а завершает ее фразой: «И это далеко не все противоречия, терзавшие Толстого». Ну еще бы! Ведь мильон терзаний, мильон репьев на него навесили за сто лет (а терзания-то действительно были, да только те ли?). Пройдемся по списку Меня, тем более что все это издавна гуляет из статьи в статью и в конце концов окаменевает в наших головах.

Мень: «Человек, создавший патриотическую эпопею „Война и мир", он осуждал патриотизм». Вот, кажется, что-то похожее на противоречие (даже если оставить в стороне явное и намеренное сужение «Войны и мира» до тесного руслица патриотизма). Это — если считать противоречием тот, например.

факт, что человек в младенчестве любит сосать палец собственной ноги, а вырастая, пренебрегает этим занятием (уж и нога до рта не достает, да и невкусно, наверное). Но если вникнуть, хоть не до сути вещей (на что я совсем не претендую), а просто чуть глубже, то окажется, что даже этого натянутого противоречия тут нет. Вспомните «Войну и мир». Там есть все что угодно, вплоть до любимой всеми «дубины народной войны» (когда старику Толстому напоминали это место, он, бывало, только головой качал: «Неужели так и написано? Охо-хох!»). Одного там нет — *казенного,* государственного патриотизма. Напротив, как только в какой-нибудь сцене проклевывается казенный (или салонный) патриотизм, как только проклевывается он в ком угодно (будь то император, или Растопчин с его афишками, или любимый автором Николай Ростов),— так все немедленно окрашивается в разные тона авторской иронии. Всякий ли патриотизм осуждал Толстой уже и на склоне лет? В последнюю зиму своей жизни, как-то за завтраком он заговорил о славянском патриотизме, сознавшись, что и сам им грешен, находя, что «западные люди многого из того не понимают, что понимает (может понять) славянин». И еще добавил: «Славянский патриотизм тем лучше, что он вне государственности; он в области духовной, религиозно-нравственной». Не берусь судить, хорош или плох этот славянский патриотизм (во всяком случае, ясно, что в душе недозрелой и он может стать пищей для чувства собственного превосходства). Но я думаю, что в этом вопросе вообще много путаницы, и вносит ее именно это двусмысленное понятие — «патриотизм»,— и путаницу эту всеми средствами поддерживает и культивирует государство. Есть естественные для человека и прекрасные чувства, которые вполне исчерпываются понятием «любовь»: любовь к той земле, которая тебя вскормила, к белой березе за твоим окном, любовь к ближним, любовь к тому языку, на котором над твоей колыбелью говорила мать, любовь к отеческим гробам, наконец. А где любовь — там и Бог. Но как только лукавый подмешивает к любви гордыню, так неизбежно любовь обращается в свою противоположность — назовите ее хоть патриотизмом (а XX век породил и высшую его форму, нацизм, любимое исчадие духа самоуничтожения и небытия); гордыня неизбежно влечет за собой неприязнь, презрение и даже ненависть к чужаку, неизбежно порождает воинственность (в конечном счете, выражение «военный патриотизм» — это все равно что «металлическая сталь»). Но вернемся к Меню. Противоречие № 2: «Написавший бессмертные страницы о,любви, о семье, он в итоге отвернулся от того и от другого». Этот поклеп на Толстого — столетней давности. Он вовсе не отворачивался от любви, он лишь писал о том, что в современном ему обществе (а в нашем и подавно) плотская любовь вознесена на неподобающую ей высоту, возведена «в высшую поэтическую цель стремлений людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества» (Послесловие к «Крейцеровой сонате»). Что касается брака, то, перечисляя «обычные, иногда умышленные, иногда неумышленные недоразумения» по поводу его взглядов. Толстой писал и об этом (дневник, 3 августа 1898): «Я говорю, что надо стремиться к целомудрию, и на этом пути будет в первой степени девственность, во второй — чистый брак, в третьей — не чистый, то есть не единственный, но брак; против меня говорят, что я отрицаю брак и проповедую прекращение рода человеческого». Самое удивительное в этом пункте вот что: здесь нет не только внутреннего, толстовского противоречия, здесь нет даже противоречия между тем, что говорил Толстой, и тем, что по этому вопросу проповедует церковь. Но церковь не желает иметь

ничего общего с отверженным еретиком, и потому если противоречия нет, то его выдумают.

Противоречия № 3 и 4 — тоже из дедушкиной копилки:

«Поборник разума, он отрицал ценность науки.

Один из величайших мастеров слова, он язвительно высмеивал все виды искусства».

Вот откуда все это берется? Ясно, что не из Толстого. Ведь он-то разъяснению этого недоразумения посвятил вторую из своих «Трех притч» (это помимо статей) — уж так оно ему оскомину набило. Он вовсе не отрицал ценность науки и искусства в принципе. Он писал о том недоброкачественном товаре, который стал «продаваться в наше время на умственном базаре под видом науки и искусства», он отрицал ту науку и то искусство, которые по существу своему есть порождение мира сего и питают потребности человека-зверя. «Если бы,— писал он,— живущие грабежом разбойники или воровством воры составили свою науку, то наука их не могла бы быть ничем иным, как только знаниями о том, как наиудобнейшим способом грабить, обворовывать людей, какие нужно иметь для этого орудия и как наиприятнейшим образом пользоваться награбленным. То же и с наукой людей нашего властвующего сословия» («О науке»). И то же самое может быть вполне отнесено и к искусству. Как и следующие слова Толстого: «Истинной же наукой, по моему мнению, может быть и будет только такая наука, в основу которой будет положено религиозно-нравственное учение о душе человека, о Боге и нравственности. <...> Вследствие чего такая наука не будет, как теперь, продаваться и покупаться, не будет мастерством, не будет средством улучшения своего матерьяльного положения, а будет естественно, бескорыстно, радостно, как все духовное, передаваться от людей людям» («Еще о науке»). Вот, собственно, и вся толстовская крамола в этом вопросе: он только за то ратовал, чтобы в основание науки и искусства легло религиозное сознание и чтобы именно оно, а не бесконечные прихоти и похоти, стало и источником, и мерилом потребностей человека в научном знании и искусстве. Казалось бы, за такой подход церковь должна голосовать двумя руками. Но увы, увы, вместо этого — опять поклеп.

Но все, что перечислял Мень до сих пор,— это только недоразумения, невинные поделки из научно-культурного вторсырья. А вот дальше начинается классическая софистика, начинается подмена понятий, подстановка на место узких понятий более широких и наоборот, поглощение большего меньшим, начинаются легкие передергивания и тяжкие ярлыки. Вот противоречие № 5: «Богоискатель, нашедший основание жизни в вере. Толстой в сущности подрывал ее основы». Если бы перед этим стояло «с точки зрения православной церкви», то все можно было бы понять. Но конфессиональная гордыня заставляет вещать от лица истины прямо и безоговорочно. Между тем, проветрив это утверждение от гордыни, мы бы должны получить следующее: «Богоискатель, нашедший основание жизни в *свободной* вере. Толстой в сущности подрывал основы веры *церковно-государственной».* И это совершенно верно, здесь нет никакого противоречия. Для Толстого «птица живая та, которая летает». Если же кто-то считает, что птица без государственной клетки пропадет, не прокормится, замерзнет,— что ж, это его вера, и она, по крайней мере, требует уважения. И Толстой, безусловно подрывая основы церкви как института, к отдельным ее членам, к их верованиям относился с терпимостью и уважением (в то время как империя подвергала уголовному преследованию людей, отпав

ших от православия, в том числе и тех, кто хранил и распространял запрещенные сочинения Толстого). А когда его сестра Мария Николаевна, легко попор- хав по жизни, постриглась в монастыре, он сказал: «Лучше такая вера, чем никакой». Способна ли церковь, хотя бы сейчас, столетие спустя, сказать: «Лучше свободная вера, чем никакой»? Сегодняшние впечатления (в том числе и от статьи Меня) заставляют очень сильно в этом усомниться.

Далее, противоречие № 6: «Проповедуя Евангелие Христово, он оказался в остром конфликте с христианством и был отлучен от Церкви. По меткому наблюдению Николая Бердяева, Толстой „был до того чужд религии Христа, как мало кто был чужд после появления Христа, был лишен всякого чувствования личности Христа"». Оставим пока Бердяева в стороне. Весь грозовой блеск утверждения самого Меня основан опять-таки на незыблемом убеждении православной церкви в своем монопольном праве на обладание истиной (Бог, Христос, Евангелия — только в этой золотой клетке, и нигде больше им находиться не положено). Если же оставить в стороне конфессиональные амбиции, то дело обстоит так: «Проповедуя Евангелие Христово, Толстой оказался в остром конфликте с *огосударствленным* христианством и был отлучен от *одного из подразделений* оного. Русской православной церкви» (впрочем, если уж совсем точно, отлучения, в строго церковном смысле этого слова, с анафемат- ствованием и прочим шумом, не было; Толстой сам отпал от церкви, а через двадцать с лишним лет после этого отпадения синод своим определением лишь официально засвидетельствовал этот факт). И, как видите, никакого противоречия опять-таки нет. Напротив, все логично, все естественно, последовательно и неизбежно вытекает одно из другого.

Ну а что касается Бердяева... Я далек от мысли вступать в полемику еще и с ним. Хотя, конечно же. Толстой, помещенный в бердяевскую систему координат, погруженный в его, бердяевскую, экзистенцию,— такой Толстой тоже вызывает некоторые сомнения, и они еще более усиливаются от безапелляционного тона Бердяева (вообще, впрочем, свойственного философам); в этом тоне тоже слышится претензия на монопольное обладание христианскими истинами. Но пусть все будет так, как хочет Бердяев. Все-таки он-то, Бердяев, который признавался: «У меня есть настоящее отвращение к богословско-догматическим распрям. Я испытываю боль, читая историю Вселенских соборов»,—- Бердяев, который был так же далек от официальной церкви, как и Толстой,— ведь он совсем не так однобок в своей оценке Толстого, как это может показаться по цитате, выхваченной Менем из единого контекста статьи «Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого» (кстати, из этой статьи полузапрещенного тогда Бердяева с удовольствием потаскивали и советские критики). Ведь, говоря *А,* говоря, что Толстой весь пребывает в стихии Ветхого завета и совершенно чужд Нового (пусть, пусть будет так, как хочет Бердяев), он говорит и *Б.* Всего несколькими строками ниже фразы, облюбованной и богословом, и критиками-атеистами, он пишет: «Л. Толстому суждено сыграть большую роль в религиозном возрождении России и всего мира: он с гениальной силой обратил современных людей к религии и религиозному смыслу жизни, он обозначил собой кризис исторического христианства <...>. Рационалист этот, проповедник рассудочно-утилитарного благополучия, потребовал от христианского мира безумия во имя последовательного исполнения учения и заповедей Христа и заставил христианский мир задуматься Над своей нехристианской, полной лжи и лицемерия жизнью. Он — страшный враг христиан

ства (пусть, пусть будет так! — *О. Д.)* и предтеча христианского возрождения. На гениальной личности и жизни Л. Толстого лежит печать какой-то особой миссии».

И изумителен по силе финал этой статьи, несмотря на то что и там постоянно мелькают бердяевские, субъективные *А:* «В толстовском морализме есть начало косно-консервативное и есть начало революционно-бунтарское. Л. Толстой с небывалой силой и радикализмом восстал против лицемерия quasixpHCTHaHCKO-го общества, против лжи риа51христианского государства. Он гениально изобличил чудовищную неправду и мертвенность казенного, официального христианства, он поставил зеркало перед притворно и мертвенно христианским обществом и заставил ужаснуться людей с чуткой совестью. Как религиозный критик и как искатель Л. Толстой навеки останется великим и дорогим». Бердяев, впрочем, признавал за Толстым лищь отрицательно-критическую роль в деле религиозного возрождения, однако и замечал, что «Л. Толстой обращался с своими исканиями к обществу или откровенно атеистическому, или лицемерно и притворно христианскому, или просто индифферентному. Этому обществу нельзя было религиозно повредить, оно было уж совсем повреждено. А мертвенно-бытовое, внешнеобрядовое православие полезно и важно было обеспокоить и взбудоражить». О толстовском анархическом бунте Бердяев писал, что он «нужен был миру. „Христианский" мир до того изолгался в своих основах, что явилась иррациональная потребность в таком бунте. <...> Бунт этот предваряет грядущее христианское возрождение». И наконец: «Без толстовской критики и толстовского искания мы были бы хуже и проснулись бы позже. Без Л. Толстого не стал бы так остро вопрос о жизненном, а не риторическом значении христианства. <...> Жизнь Л. Толстого — гениальный факт в жизни России. А все гениальное — провиденциально. Еще недавний „уход" Л. Толстого взволновал всю Россию и весь мир. То был гениальный „уход". То было завершение толстовского анархического бунта. Перед смертью Л. Толстой стал странником, оторвался от земли, к которой был прикован всей тяжестью быта. Под конец жизни великий старик повернулся к мистике, мистические ноты звучат сильнее и заглушают его рационализм. Он готовился к последнему перевороту».

Грешен, я тоже несколько усекаю Бердяева — во-первых, чтобы не подпасть полемическому соблазну; а во-вторых, ведь все усеченное — это *А,* это суждения рафинированного книжника, плоды оригинальности мышления, возведенной едва ли не в самоцель; с этими суждениями можно спорить или соглашаться, но, так или иначе, они движутся по замкнутому риторическому кругу, они неизводимы из плена книжности. А вот *Б* — это сама жизнь, здесь чувствуется ее дыхание, здесь слышится биение сердца. И, увы, вполне естественно, что этим-то жизненным и пренебрегает богословие, прибирая в свои ризницы лишь риторическое.

«И наконец,— возвращаюсь к Меню,— он, поставивший во главу угла непротивление и кротость, был в душе мятежником. Ополчась против Церкви и культуры, он не останавливался перед самыми резкими выражениями, подчас звучавшими как грубые кощунства». По поводу толстовского мятежа против официальной церкви и блаженно пребывавшей и пребывающей в язычестве культуры мне нечего добавить к только что цитированным словам Бердяева: да, «полезно и важно было обеспокоить и взбудоражить» эти заросшие кугой заводи. А вот по поводу непротивления и мятежности — это старая-старая песня. Тут атаки на Толстого всегда шли с двух противоположных флангов. На од-

ном фланге был упрек, который в тысячу первый раз повторяет Мень. С другого фланга всегда доносилось: Толстой своей проповедью непротивления утверждает, что не надо вовсе бороться со злом. Делайте со мной что хотите, но я никак не могу поверить, что оба эти упрека — результат непонимания, недопонимания или добросовестного заблуждения. Не понять то, что об этом говорил Христос и что неустанно повторял и разъяснял Толстой, невозможно. Здесь возможно только упорное нежелание понимать и, как следствие, умышленное смешение двух совершенно противоположных понятий: мятежа пугачевского, бессмысленного и беспощадного, и мятежа христианского — духовного мятежа против зла мира сего. Да, не должно противиться злу насилием (и должно с кротостью принимать любого человека, с которым вступаешь в прямое общение), но духовно противостоять злу не просто нужно, это святая обязанность перед Богом каждого человека, и уж тем более — человека, ступающего на религиозный путь.

Вспомните земной путь Иисуса (здесь я вовсе не хочу проводить какие бы то ни было параллели, даже такие осторожные, как у Маклакова; просто для всякого, кто хочет следовать Христу, его жизнь и смерть — единственно надежный образец, единственно точный камертон, по которому все настраивается и который особенно необходим сегодня, когда за две тысячи лет христианское учение совершенно утонуло в толкованиях и перетолкованиях). Ведь весь путь Христа, его земная жизнь в Боге, есть духовный мятеж против мира сего, против всех его установлений. И на этом пути Иисус не останавливался перед такими выражениями, которые правоверным иудеям казались кощунствами неслыханными, за них-то он и был предан первосвященниками в руки римского «правосудия». И на этом пути не было пролито ни единой капли ничьей крови, кроме его. Христовой. И конец этого пути был победой духа непокоренного, духа, не сломленного никакими изуверствами мира сего. И это была такая великая победа духа, какие никогда не достигались и не могут быть достигнуты насилием, оружием. Только духовный меч может стяжать такую победу.

Мне хочется привести еще одно разъяснение того, что Мень преподносит как противоречие. Вот оно: «Вся сила сопротивления космическому злу сосредоточивается в глубоком сердце христианина, в то время как внешне он, по повелению Господню, „не противится злому" (Мф. 5, 39)». Как просто и ясно сказано! А ведь это — цитата из книги церковной, посвященной одному из наиболее почитаемых старцев XX века Силуану Афонскому. И получается все та же история: когда речь идет о духовном подвижнике, верном православию, церковь прекрасно понимает все то, что она рещительно отказывается понимать и принимать в своем оппоненте, в чужаке.

Столь же подробно разобрать всю статью Меня не представляется возможным, потому что вся она построена на том же песке, что и этот зачин. На каждом шагу передержка, недомолвка, опрятно обставленный оговор... В целом же, это тот тип критики, который был хорошо знаком Толстому. В слове' «Царство

' Признаться, меня не покидает ощущение, что слово «трактат», приклеенное книжниками ко многим трудам Толстого, для того специально и приклеено, чтобы отпугнуть от них читателей,— уж столько в нем тягомотины, уж такое оно пыльное, мертвое, замкнуто-книжное. Мне кажется, определение жанра, промелькнувшее в воспоминаниях Ге,— самое точное: *слово;* **это жанровое определение предполагает и горячую проповедь, и страстное обличение. Слово — это глаголы совести и сердца. Слово — это живое.**

Божие внутри вас» он подробно останавливается на пяти способах возрождений, которые вызвала его книга «В чем моя вера?» вообще и вопрос о непротивлении злу насилием в частности. Так вот: «Пятый способ, самый тонкий, самый употребительный и самый могущественный, состоит в уклонении от ответа, в делании вида, что вопрос этот кем-то давным-давно разрешен вполне ясно и удовлетворительно и что говорить об этом не стоит.

Этот способ употребляем всеми более или менее культурными духовными писателями, т. е. такими, которые чувствуют для себя обязательными законы логики». В таких критиках «повторяется одно и то же; говорится обо всем, но только не о том, что составляет главный предмет книги».

В статье Меня повсюду чувствуется тот же исходный подстрочник, тот же определяющий всю тональность подмалевок богословского и научно-культурного высокомерия: все нам известно до избитости, все давным-давно разрешено самым ясным и удовлетворительным образом; мы так высоко сидим на нашей куче, так далеко глядим, что сама высота этих престолов и седалищ есть свидетельство нашей непререкаемой правоты. А посему все клонится к объяснениям того странного обстоятельства, что Толстой, при всей своей гениальности, не достиг этих блаженных высот, на которых все решено и подписано. Посему объяснения эти сдобрены выражениями печального недоумения, грустной снисходительности и даже горького сожаления (это та вежливая жалось, с которой врач объявляет приговор безнадежно больному; или та, с которой чувствительный человек давит насекомое: и жалко, с одной стороны, а с другой — уж больно оно надоело).

С одной стороны, все у Меня клонится к тому, что Толстой, впитавший «многое из рационализма XVII—XVIII веков, для которого разум, вернее рассудок, „здравый смысл", был высшим и последним судьей во всех вопросах», так и не поднялся выше эпохи Просвещения. А потому: «Он противился глубокой и сложной христианской мысли. Разум оставался для него здравым смыслом». Решено и подписано. Между тем, везде, где Толстой заговаривает об инструментарии, данном человеку для познания истины, он пишет о «здравом смысле и совести», о «разуме и сердце». Только в этой связке разум имеет для него цену. В своих комментариях к Евангелиям он постоянно обращает внимание на попытки Христа убедить людей искать подтверждение истинности его слов не в знамениях, не в чудесах, а в собственном сердце, ибо оно — обиталище Бога в человеке, и в нем написан закон Его. И читая почти любую книгу или статью Толстого чувствуешь, что в его упряжке разум — пристяжной, а в корню — сердце и совесть (к исключениям, пожалуй, можно отнести трактат, именно трактат, «О жизни», еще, быть может, свод «Христианское учение»; в них 'задача систематизации своих взглядов, задача научной строгости и последовательности построения заметно заглушает сердце, но и там его биение местами прорывается). И потому нет ничего удивительного в том, что он оставался равнодушен к витийствам богословов, у которых всегда наготове веками сплетавшаяся схоластическая канва — по ней можно вышивать какие угодно узоры, создавая, пожалуй, при известном мастерстве и иллюзию глубины и сложности, только ведь все это — глубоко книжное, безмятежно-риторическое. Всем этим может пробавляться охочий до изысков ум, а вот сердцу-то там поживиться почти что и нечем.

С другой же стороны, и в конечном счете, все у Меня клонится к тому же выводу, к какому с печалью приходил и советский критик, которого я цитиро

вал где-то в начале этой главы: вот ведь горе, горе-гореванное, великии, кажется, писатель, местами — просто гениальный, к тому же всемирно прославленный, и ведь глубоким знанием жизни обогатился, и впитал в себя опыт многовековой человеческой культуры, а так и помер дурак-дураком. Разница только в том, что советский критик ставил этот диагноз по причине непонимания Толстым всех очистительных прелестей революционного насилия. У Меня же этот читающийся между строк диагноз не вызывает сомнения потому, что «Лев Толстой отказался от церкви, в сущности так и не узнав ее». Опять-таки совершенно нет возможности разбирать аргументацию Меня, пытающегося доказать, как мелочны были придирки Толстого к церкви, приведшие его к отпадению от православия (достаточно сказать, что до сего места довольно подробно, с привлечением цитат, излагая толстовскую «Исповедь», здесь богослов прибегает к скороговорке, в которой причины, оттолкнувшие Толстого от церкви, умело подрезаются и приобретают поверхностный, детски-глуповатый вид). Но вот два последних аргумента, которые богослов вбивает напоследок, уж просто как осиновый кол в могилу еретика.

Первый: «Вникать в дух христианского подвижничества у него не было желания». Это, мягко говоря, не совсем верно. Толстой очень любил, например, жития святых, восхищаясь и умиляясь именно высоким духом подвижничества, в них запечатленным. Но все дело в том, что, в отличие от церковных авторов, этот дух он не отождествлял с духом ограниченно-конфессиональным, тем более — с духом массового, мирского, казенного христианства. В слове «Царство Божие внутри вас», касаясь как раз этого вопроса — о подвижниках, праведниках и о казенных церквах, которые на них сидят и едут,— он писал: «Но посмотришь на плоды, чтобы оценить древо, как учил Христос, и увидишь, что плоды их [церквей] были злы, что последствием их деятельности было извращение христианства, и не можешь не признать, что, как ни добры были люди,— дело церкви, в котором эти люди участвовали, было нехристианское. Доброта и достоинства всех этих людей, служивших церквам, были доброта и достоинства людей, но не того дела, которому они служили». Кроме того, именно в поисках этого духа подвижничества Толстой не раз ездил (а однажды и пешком ходил) в Оптину пустынь, и если монастырская элита производила на него довольно тяжелое впечатление, то в молодых послушниках он чувствовал этот живой дух (и как-то записал в дневнике, что в Оптиной, как и в Киеве, «молодые послушники — святые, с ними Бог»).

Второй аргумент, ударный, сокрушительный: «Уже незадолго до смерти, когда он был у своего соседа по имению Митрофана Лодыженского, выяснилось, что ему незнакомо „Добротолюбие", классический памятник православной аскетики. Это тем более удивительно, что в этом обширном сборнике, создававшемся многие века, одно из центральных мест отведено нравственным вопросам, столь занимавшим Толстого». Да, это удар. Это — как если бы на экзамене по высшей математике студента уличили в незнании таблицы умножения, это такой конфуз, который заставляет покраснеть от неловкости не только студента, но и экзаменатора. Сообщено, правда, что «Добротолюбие» имеется в яснополянской библиотеке, и тем не менее «всем стало ясно, что Лев Николаевич его не читал». Признаюсь, я не мог в это поверить. Воспоминаний Лодыженского у меня под рукой не было (выяснить все подробности конфуза было бы нелишне — тут уж доверяй, но проверяй). С ходу вспомнить, не попадались ли мне у Толстого ссылки на

«Добротолюбие», я тоже не мог. Но и поверить до конца — все-таки не мог тоже. И вот, спустя дней несколько, лезу в дневник Толстого, чтобы справиться по совершенно другому вопросу, и случайно нападаю на запись (17 июля 1898): «Помыслы ведут к мечтаниям, мечтания к страстям, страсти к бесам. (Из „Добротолюбия“)»‘.

И как прикажете все это понимать? У кого, где и за какими завесами тут сокрыта недобросовестность? Думаю, что дело тут в общей недобросовестности, которая преследует Толстого во многих писаниях о нем. Мемуаров, записок о встречах с ним — море. И в этом море всегда можно наловить кое-какой рыбешки, независимо от того к какому берегу пригребает автор, пишуший о Толстом, и каким идеологическим ветрам он подвержен. Рыбешки много — на всех хватит, и на любой вкус. Ведь по-хорошему, если пишущего интересует правда о Толстом, а не подбор иллюстративного материала к собственной версии его портрета (то есть тех самых рожек и пятачков), то, прежде чем тащить лыко в строку, это лыко надо бы всесторонне обследовать (а если такой возможности нет, так лучше уж на него и не зариться). Ведь, по-хорошему, нужно выяснить, что за человек такой-то и такой-то мемуарист, каков его характер, каковы его взгляды и наклонности, социальное положение и способности в оценке жизненных ситуаций и явлений, каковы, следовательно, могут быть не осознаваемые им самим мотивы, клонящие его к тому или иному взгляду на вещи и, в частности, на личность Толстого. Нужно, словом, по возможности оценить характер и степень вероятной (да в общем, почти неизбежной) аберрации. Нужно свериться с другими источниками. Нужно составить хотя бы общее представление о том периоде жизни Толстого, к которому относится тот или иной эпизод или хотя бы единственное его слово (многое от истока притекает к устью, и все- таки устье — не исток), нужно хорошенько разобраться с фоном. В общем, многое нужно сделать из того, что очень часто не делается.

В нашем случае с «Добротолюбием» не сделано самого элементарного. Сказано: «Уже незадолго до смерти...» Сказано только для того, чтобы тут же изобразить праведное недоумение: как же, мол, так, жизнь прожил, тридцать лет талдычил о религии и нравственности, а так и не удосужился заглянуть в книгу, о которой самый нерадивый ученик церковно-приходской школы был наслышан! Между тем тут прежде всего нужно бы спросить себя: а прилично ли восьмидесятидвухлетнего старика, у которого уже вовсю развились склеротические явления, экзаменовать и подлавливать на мелочах, как розовощекого студента? Вот дневниковая запись Толстого, сделанная незадолго до смерти, 23 октября 1910 года: «Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. Никогда думать не мог прежде о том состоянии, ежеминутного памятования своего духовного „я“ и его требований, в котором живу теперь почти всегда. <...> Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем вы-

*** Позже, чтобы уж развеять последние сомнения, я, конечно, съездил в Ясную Поляну и выяснил: ну разумеется Толстой читал «Добротолюбие», и читал внимательно, с подчеркиваниями и заметками на полях (к этому сборнику он обращался по меньшей мере дважды — во второй половине 1880-х и в конце 90-х годов). Причем, чтобы выяснить все это, вовсе не обязательно быть особо приближенным к Ясной Поляне, достаточно отыскать давно опубликованное подробное описание толстовской библиотеки — было бы желание.**

работал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях), всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу •— не помню. Удивительно. А между тем думаю, что эта радостная перемена у всех стариков: жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо!» Да, как хорошо! И не то здесь главное, что эта запись вполне разъясняет тот казус, который так шокировал богослова. Главное — это удивительная способность Толстого каждую пору жизни, каждый поворот ее (даже и такой, который иным показался бы досадным) принимать как дар Божий и радоваться ему, радоваться, а не вздыхать с печалью по утраченному прошлому, по детским лакомствам да по сладостным утехам молодости. А самое-то, самое главное... Но нет, об этом скажу чуть позже.

Есть еще одна сторона преследующей Толстого недобросовестности, самая незатейливая, очевидная, как палец, торчащий из худого башмака, а между тем присущая самым наиученейшим, самым блестящим и горделивым книжникам (быть может, им — в первую очередь). Это, конечно, цитирование. Ведь и написанное Толстым — это тоже море. А сколько еще записанного за ним (Толстой, впрочем, просил своих друзей по-настоящему серьезно воспринимать только то, что он всесторонне обдумал и написал, потому что в разговоре, а тем более в споре, чего, бывает, не сморозишь: и самый умный человек не застрахован от спонтанной глупости). И тут тоже открывается широчайший простор для произвольного выдергивания и столь же произвольного отделения вершков от корешков, в зависимости от того, кому как удобно и кому что потребно.

Вот, например, чтобы дать читателям представление о важнейшей, этической составляющей книги «В чем моя вера?», Мень избирает следующую цитату из нее: «...учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей (разрядка — А. Меня). В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа.

Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя,— это глупо. Будешь сердиться, обижать людей,— тебе же будет хуже» (далее в этом же упрощенном, житейском ключе Толстой излагает и остальные из пяти малых заповедей Христа, и богослов добросовестно доводит цитату до конца).

Тот, кто читал эту книгу Толстого (а если знаком со всем его творчеством последнего тридцатилетия — тем более), поймет, в чем тут дело. Один из излюбленных дидактических приемов Толстого — постоянное повторение основной мысли, которую он хочет донести до читателя, которую хочет внедрить и в самую упрямую, в самую бестолковую голову. Он снова и снова возвращается к мысли с самых разных точек зрения, стараясь не упустить ни одного из возможных ракурсов. И вот, когда три четверти книги уже позади, в пятый или десятый раз возвращаясь к малым Христовым заповедям, он рассматривает их и с этой, самой простой, житейской точки зрения (или религия и в самом деле не имеет касательства к повседневной жизни человека и существует только для возвышенной болтовни?). И наверное, как раз из-за опасений быть неправильно понятым именно в этом месте, скользком и соблазнительном для людей высоких книжных умонастроений, он и предваряет его словами, наполовину усеченными Менем: «Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практи-

ческий смысл...» Но если человек *хочет* понимать Толстого неправильно, то с этим уж ничего не поделаешь (как говорится, у репейника не малины наберешься). И вот, в очередной раз непринужденно уличив Толстого в примитивизме и невежестве, богослов, торжествуя и вместе с тем печалуясь о несчастном, заключает: «Такого рода мораль, да еще с утилитарным оттенком, нетрудно вылущить из многих систем и доктрин. Но Толстой настаивал, что это и есть основа Евангелия — истинное христианство.

Под его знаком Толстой поднимает поистине титанический мятеж против всей культуры цивилизации в целом».

Вывод, который напрашивается после этих слов, один; не напрасно плакала по этому бунтовщику смирительная рубашка. Призывал, дурачок, не делать глупостей, а сам — что учудил! Наковырял из великой Книги каких-то незначительных пустяков, которых и в других доктринах и системах — как семечек в подсолнухе, оглупил их до уровня дяди Митяя и дяди Миняя и из этих-то пустяков заварил кашу на весь крещеный мир. Ну можно ли, действительно, всерьез принимать это потешное пугало, которое только серым воробыщкам может казаться чем-то значительным и могучим!

Нужды нет, что Толстой, отлущивая многое из того, что для церкви — первейшая драгоценность, священная Буква (ибо давно сказано: Буква убивает. Дух — животворит; кстати, и не раз призываемый богословом в союзники Бердяев писал в «Самопознании»: «...Священное Писание есть уже преломление откровения Бога в ограниченной человеческой среде и ограниченном человеческом языке. Обоготворение буквы Писания есть форма идолопоклонства»),— нужды нет, что, делая это. Толстой «вылущивал» (уж повторю это странное слово) дух — закон любви, братства, ненасилия — истинную и живую основу Евангелия. И эту единую основу, этот живой, духовный, божественный источник он отыскивал и в других религиях, в других «системах и доктринах», ибо там, где люди веками искали повод для разделения, для утверждения своего превосходства над другими. Толстой искал основу для единения, зная, что не может ее не быть, не может не быть этого единого и не делимого конфессиональными заборами божественного духа, изливаемого, как солнечный свет, на праведных и неправедных'.

Однако, если человек на основании своей конфессиональной принадлежности считает кого-то ниже себя, то у него, понятно, во всем этом нужды нет.

' Кстати, только недавно я задумался над простой, на поверхности лежащей вещью — над тем, что в самом названии нашей церкви ■— православная — содержится не только прямо заявленная конфессиональная гордыня, а значит, и повод к раздору, к разделению на правоверных и неверных, но и прямое кощунство по отношению к Богу. Ну представьте себе человека, мало того что славолюбивого, но еще и привередливого, под страхом сурового наказания требующего, чтобы его, как какого-нибудь египетского фараона, славили исключительно по особым, строжайше и до мельчайших подробностей разработанным, ненарушимым правилам. Согласитесь, что и человек-то такой был бы, мягко говоря, малоприятен. А ведь эти свойства приписаны Богу! И как согласовать это с христианской истиной, что Бог есть Любовь? Вот такой-то узкий, особый, конфессиональный бог (тут прописная буква никак нейдет) и толкал веками людей отрывать друг другу головы, заставляя во имя внешнего служения вере преступать ее единый внутренний закон — единственно правый закон любви. И уж поистине глупость из глупостей то, что и в третье тысячелетие по Рождестве Христовом мы тащим все тот же инквизиторский скарб на погибель еретикам, иноверцам и прочим путаникам

А посему Толстой, по крайней мере в вопросах религиозных, глуп, и это давно решено и подписано.

Признаюсь, мне страшно наскучило копаться в репьях, которыми щедро «украшен» Толстой в этой статье богослова (повторяю, они на каждом шагу, едва ли не всё, за сто с лишним лет прилипшее к Толстому, пошло в дело). Но все-таки нужно выяснить ответы на два вопроса: *почему* и *зачем?*

По тонкому льду

1) *Почему* Толстой-проповедник видится православному протоиерею столь невежественным и примитивным (и. конечно же, не ему одному, тут в союзниках у богослова едва ли не все население научно-культурного муравейника)? Вряд ли все тут объясняется гордыней, тем конфессиональным заданием, которое безусловно довлело над ним и брезжится маревом под каждой его строкой. Все-таки есть здесь, наверное, и элемент искреннего непонимания, которое происходит не от различия в умственных способностях или запасах книжного знания, накопленных тем и другим. Между богословом и Толстым неизбежно возникает нечто вроде языкового барьера, но этот барьер еще более непроницаем, потому что не может быть преодолен механическим заучиванием чужого языка.

В своей статье Мень приводит одну весьма красочную иллюстрацию к этой теме (хотя он-то приводит ее по другому поводу), фрагмент воспоминаний В. К. Истомина, бывшего свидетелем споров Толстого с Вл. Соловьевым в феврале 1881 года. Кто такой Истомин? Отчасти журналист (издавал журнал «Детский отдых», работал в «Московских ведомостях», вел кое-какие изыскания в военной истории). По внутреннему же существу своему — иродианин чистой воды, правитель канцелярии Московского генерал-губернатора, дослужившийся потом до придворного звания гофмейстера, разумеется — монархист и верное чадо казенной церкви. Словом, можно понять, почему проповедь Толстого окрашена для него «ядовитыми красками анархизма и коммунизма». Можно понять, почему он так любовался (а вместе с ним любуется и Мень) Соловьевым. Впрочем, Истомин много на себя и не берет — он знал свой шесток и был только слушателем, и, по всему чувствуется, благодарным (благодарным Соловьеву, за то что тот утешал и покоил его в привычных и удобных верованиях, извлекая их из блестящих философских оберток; кого куда, а иро- диан такие верования ведут к степенному самодовольству — сидишь эдак уютно в уголке дивана, согреваешься чаем, а к чаю — сливки и верования).

Но вот она, картина: «Дев Николаевич решительно ставил свои положения и затем стремительно развивал их и доводил до возможного конца. <...> В. С. Соловьев возражал обыкновенно вторым, и нельзя было не любоваться его выработанною, строго научною системой возражения. Соловьев оставался непоколебимым исповедником св. Троицы и, несмотря на свои молодые годы (ему еще не было тогда тридцати лет), поражал неумолимою логикою и убедительностью. В нем несомненно соединялись выдающиеся умственные дарования со строго научной европейской отделкою». И вот итог, несомненный для Истомина: «В первый раз в жизни я увидел Льва Николаевича не торжествующим, не парящим сверху, а останавливаемого в своем натиске. Только скромность В. С. Соловьева, как бы не замечавшего своего торжествующего положения, сглаживала всеобщую неловкость».

О чем в точности шла тогда речь, можно только догадываться, но как бы то ни было, признаюсь, я тут любуюсь Толстым. И вот почему.

Есть у Истомина еще одна восторженная характеристика Соловьева: «Это был не философ дилетант, а представитель науки, как бы одетый в бранные доспехи своего звания». Что-то знакомое есть в этом, ужасно знакомое. Что? Да вот — последние страницы «Анны Карениной» (писанные всего года за три-четыре до этой сцены). Левин, побитый методикой, логикой и диалектикой. И его досада на себя, на то что не удержался от спора: «Нет, мне нельзя спорить с ними,— подумал он,— на них непроницаемая броня, а я голый». Конечно, Толстой не был уж вовсе гол, как Левин, которого едва коснулось живое религиозное чувство (всегда ускользающее от прямого искусственного освещения, от логики и методики). Но разница в экипировке очевидна. На Соловьеве — непроницаемая научная броня. А на Толстом — кольчужка. Да ведь и коротка еще была его кольчужка. Он был тогда в самом начале сознательно-религиозного пути. Еще не написана «В чем моя вера?», еще не подведен даже фундамент («Исследование догматического богословия» и «Соединение и перевод 4-х Евангелий»). В общем. Толстой и сам осознавал: коротка кольчужка. Истомин передает (а Мень, конечно, отсекает), что после этого разговора Толстой признал необходимость «еще много поработать над выставляемыми им положениями для того, чтобы „сделать их всем ясными"». Тут нет и следа рассудочности, рационализма, которым потом неустанно корили Толстого его критики. Здесь — один страстный порыв к Богу, к живому духу религии (чистый, живой мотив его искания истины, который потом замажут «рационализмом», склеенным из цитат, рациональнейшим образом надерганных из его писаний).

И вот что самое поразительное в этой картине, нарисованной Истоминым. Вглядитесь. Вот Толстой, ему за пятьдесят, больше половины жизни за плечами *{его* жизни; ведь для многих-то этот возраст — уже окончательный поворот к закату); за плечами опыт, груз глубочайших раздумий о жизни и истории. И вот Соловьев (он-то, кстати, не доживет и до пятидесяти, и его религиозный путь завершится глубоко пессимистичным, пассивным взором на Апокалипсис как на единственно возможный сценарий скорого разрешения всех тягот мира сего), молодость, казалось бы — пора кипения, горячки, еще не охлажденной опытом, который потом прилагается, как лед к пылающему лбу. И поразительно то, что там, где зрелость (Толстой),— там порыв, горячность, стремительность. Там, где молодость (Соловьев),— там спокойствие, невозмутимая самонадеянность (как ни прикрывай ее ритуальной скромностью и учтивостью), та уверенность в своих силах, с которой опытный рыцарь, упакованный в отливающую инеем броню, выезжает против пешего, сиволапого, в короткой кольчужке ратника. С одной стороны — зрелость, недовольная плодами своего опыта, ищущая. С другой — книжное знание, уверенное в своей самодостаточности. С одной стороны — страстная жажда истины. С другой — система, холод, убежденность в том, что если истина еще и не до конца познана и описана в научных категориях, то все это — только дело техники и времени. С одной стороны — живое сердце, неутолимое готовыми схемами. С другой —догматика, мертвый камень, служащий надгробьем мертвому. С одной стороны — пламенное взыскание Бога. С другой — логика и европейская отделка.

Тут открывается настоящая пропасть, отделяющая Толстого от научнокультурной кучи. Полное, кардинальное различие в подходах к одним и тем же вопросам. Тут, между прочим, открывается и та путаница в критериях, с которыми представители кучи примериваются к религиозному творчеству Толстого (она, эта путаница, конечно же, нашла отражение и в статье Меня). С одной стороны. Толстого упрекают в рассудочности, с другой — в слишком вольном (то есть недостаточно рационалистическом) подходе к Евангелиям. Мень приводит в качестве иллюстрации свидетельство филолога И. М. Ивакина, учите

ля детей Толстого: «С самого первого взгляда мне показалось, что, начиная работать над Евангелием, Лев Николаевич уже имел определенный взгляд. Научная филологическая точка зрения если не была вполне чужда ему, то во всяком случае оставалась на втором, даже на третьем плане». Но то, что приводит в суеверный трепет буквопоклонника, совершенно естественно и понятно: Толстой был ведом *духом* евангельским, его первым советчиком и главным реши- телем затруднений было сердце, единственно надежное вместилище закона Божьего. А филология... Много позже Осип Мандельштам, выдирая лоскуты из сердца, писал: «Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала — всетерпимость».

Так что люди, не падавшие ниц в священном трепете перед буквой, люди, вступавшие в живое общение с Толстым, соглашаясь или не соглашаясь с ним в частностях, всегда склонялись перед главным его аргументом — живым, жаждущим истины сердцем. Ведь тот же самый Ивакин признавался: «Проезжая из Крыма в Ясную Поляну, я не шутя думал, что главнейшая цель жизни — пожить получше, или, как я выразился своему товарищу Петру, над чем он смеялся, сорвать розу в январе. Я омертвел душой, и если хоть несколько ожил, этим я обязан только Льву Николаевичу и никому больше, несмотря ни на какие его заблуждения и ошибки, несмотря на то, что толстовцем отнюдь назвать себя не могу и никогда им не был...»

Еще один очень распространенный подкоп под «рационалиста» Толстого, наиболее ехидный, заключается в следующем: как же это так, тридцать лет писал о Боге, а пошарьте по его статьям, письмам, дневникам — ведь ни одного определенного, ясного слова о том, что же такое Бог. И действительно, сколько ни шарь — все очень туманно, расплывчато, недосказанно, да и противоречиво, особенно если приложить какую-нибудь фразу из позднего письма к раннему дневнику (ах, какие дивные и почти прямые тут возникают наводки на вопрос: а не безбожник ли он?). И опять-таки то, что кажется подозрительным буквопоклоннику, совершенно понятно. Толстой, как мало кто, был честен, осторожен и *целомудрен* в этом вопросе. Вот что говорил он в одном письме совсем незадолго до смерти (речь — о Боге и душе):

«Религиозное понимание из всего того, что познаваемо человеком, выделяет то, что не подлежит определению, и говорит об этом: „я не знаю“. И такой прием по отношению к тому, что не дано знать человеку, составляет первое и необходимейшее условие истинного знания. Таковы учения Заратустры, браминов. Будды, Лао-Цзы, Конфуция, Христа. Философское же понимание жизни, не видя различия или закрывая глаза на различия между познанием внешних явлений и познанием души. Бога, считает одинаково подлежащими рассудочным и словесным определениям химические соединения и сознание человеком своего „я“, астрономические наблюдения и вычисления и признание начала жизни всего, смешивая определяемое с неопределяемым, познаваемое с сознаваемым, не переставая строить фантастические, отрицаемые одна другою теории за теориями, стараясь определить неопределимое. Таковы учения о жизни Аристотелей, Платонов, Лейбницев, Локков, Гегелей, Спенсеров и многих и многих других, имя же им легион. В сущности же, все эти учения представляют из себя или пустые рассуждения о том, что не подлежит рассуждению, рассуждения, которые могут называться философистикой, но не философией, не любомудрием, а любомудр- ствованием, или плохие повторения того, что по отношению нравственных законов выражено гораздо лучше в различных религиозных учениях».

Вот ведь. Толстой честно и твердо заявляет: *«Я не знаю».* Так отвечает он на тот вопрос, которому посвящены тома, тома и тома, написанные богословами и религиозными философами, изо всех сил пытавшимися определить не

определимое. И чего же в конечном счете требовали от Толстого «мистики», обвинявшие его в рационализме и рассудочности? Так или иначе, явно или косвенно, от него требовали догмата (не важно — традиционного или подновленного, религиозного или научного). И что такое догмат, как не попытка усадить птицу в клетку (хотя бы и золотую), в которой сознаваемое, но непознаваемое разлиновано прутьями, решеткой — горчайшим символом неволи, ограниченности, неотъемлемо свойственной человеческому рассудку (и не пустота ли остается в этой клетке)? Что такое догмат, как не попытка с бухгалтерской основательностью оприходовать Тайну?

Потому-то такими странными кажутся мягкие заходы Меня, который приводит в пример Толстому, помимо присяжных богословов, то Чаадаева, то славянофилов, то Соловьева. Это все равно что плотника отправлять в науку к златошвейкам. Он лес рубит, бревна тешет, чтобы можно было построить дом, в котором бы душа не промерзала. А ему толкуют о том, какими прелестными златотканными ковриками нужно украсить стены. Отчего же, можно, можно бы и украсить, кабы они были, эти стены.

Вот она, пропасть непроходимая. Толстой целомудренно обходит те места, где скудному человеческому разуму делать нечего, где только душа в кротком молчании может пройти. А говорит он о том, что нужно человеку на каждый день его земной жизни, что он в состоянии осмыслить. Книжники же, напротив, много рассуждают о том, что не подлежит рассуждению, а вот хле- бушка-то, простого хлебушка попросите у них, так подадут вам камень — впрочем, драгоценный, тонко ограненный камень, и чистейшей воды, но драго- ценный-то — только по барскому, спекулятивному расчету.

Об этой пропасти непонимания (подмасленного, как уж и тогда повелось, похвалами) и о причинах его Толстой в 1903 году писал французскому литератору Г. Луазону в ответ на его письмо и статью; «Вы меня осыпаете похвалами и вместе с тем вы упрекаете меня в странных ошибках и даже в отсутствии основ. Все мои критики — к сожалению, и вы не составляете исключения — упрекают меня за мои нападения или на церковь, или на науку, на искусство, и особенно на всякого рода насилие, употребляемое правительствами. И одни из них называют это просто глупостью или безумием, другие непоследовательностью или крайностью. Мне дают всякого рода лестные названия: гения, реформатора, великого человека и т. д.— и в то же время не допускают во мне самого простого здравого смысла, т. е. утверждают, что я не вижу того, что церкви, наука, искусство, правительства необходимы для обществ в их настоящем виде. <...> Упреки, которые мне делают, рассматривая мои идеи объективно, т. е. с точки зрения приложения их к жизни мира, подобны упрекам, которые бы сделали земледельцу, который, посеяв хлеб на месте, где были деревца, трава, цветы и красивые дорожки, не позаботился о сохранности всего этого. Эти упреки справедливы с точки зрения тех, кто любит деревья, зелень, цветы и красивые тропинки, но эти упреки совершенно ошибочны с точки зрения земледельца, который пашет и засеивает поле, чтобы кормиться. Земледелец совершенно последователен и логичен и не может не быть таковым, потому что, делая то, что он делает, он делает это в виду ясной и определенной цели, чтобы кормить свое тело. Не делая того, что он делает, он бы рисковал умереть с голоду. Так же и со мной. Я не могу не быть последовательным и логичным, потому что, делая то, что делаю, я преследую ясную и определенную цель — питаться духовно. Не делая того, что я делаю, я бы рисковал умереть духовно».

Да, дело в том, что куча судит Толстого по законам кучи, имея в виду свои газоны, цветочки и дорожки. Почему-то куче думается, что все, делающееся на свете, делается для ее пополнения, что, стало быть, и Толстой для того явился

на свет, чтобы принести свою горсть в кучу, на которой бы мы сидели и любовались окрестностями. А если принесенное им для этой цели не годится, то это — заблуждения, ошибки и отсутствие основ (кучных основ). Но Толстому- то нет дела до научно-культурных основ, ему нет дела до богословских, исторических, философских, а тем более стадно-государственных воззрений на жизнь и религию (словом — до точки зрения мирского здравого смысла). Ему нужен был один, единственно здравый, духовный смысл жизни. Ему нужно было выжить духовно, и если получится — помочь в этом другим.

И его писания, его проповедь не были для него болтовней. Вспомните его дневниковую запись; «Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях), всем этим я живу, пользуюсь...» Точно так же человек не помнит тех вагонов снеди, которые он поглощал в течение долгих лет, чтобы бренное тело его дожило до сего дня. Точно так же Толстой питал свой дух. Что вырабатывал он для себя, для духа в своих писаниях?*

На этот вопрос мне хочется ответить строками В. Розанова. Признаюсь, мне очень дороги эти его коротенькие заметки о поездке в Ясную Поляну за полгода до толстовского восьмидесятилетия. И именно потому дороги, что вот он-то, красноречивый до косноязычия Розанов,— книжник до мозга костей. Он тоже полемизировал с Толстым (заочно, книжно), а приехал — и вот что увидел:

«Мне он показался безусловно прекрасен. „Именно так, как ему должно быть". Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря,— в хибарочке „старцем"; молиться, думать, говорить, не с „гостями", а с прохожими, со странниками,— и самому быть странником. В самом деле, идея „Альп" была в нем выражена в том отношении, что в каком бы доме, казалось, он ни жил, „дом" был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, „идущим к нему", было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного индивидуального существования, положения в обществе, „профессии", художества и литературы. „Исповедь" его, по которой он *изо всего вышел,*— была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже *изо всего вышла,* осталась одна и единственна, одинока и грустна, но велика и своеобразна. <...>

' Тут попутно всегда встает вопрос; а выработал ли до конца? Тут неизменно извлекается семейное бельишко, и все уводится в удобную для мирской точки зрения картонную плоскость («жизни мышья беготня» — это наше любимое, общедоступное, всем понятное, и потому строгих судей и экспертов в этом вопросе — хоть отбавляй). Углубляться в эту тему у меня нет никакого желания. Тут нужно бы иметь в виду только вот что. Во-первых, тот, кто работает, никогда не успевает выработать до конца, а во-вторых — многие ли вообще работают, многие ли помогают работнику или хотя бы не мешают ему, пробудившемуся к жизни? Тут нужно бы помнить: Толстой не был ни сверхчеловеком, ни человекобогом, он был просто живым человеком. К тому же, думаю, ни один подвижник, впоследствии прославленный как святой, не подвергался таким искушениям, как этот старик. Ну вот представьте, что подвижник для борьбы с плотской похотью в себе уходит не в пустыню, а в публичный дом, где, мало того что его с ночи до утра блазнят, заголяя перед его носом все возможные прелести, но еще и смеются ему в лицо, издеваясь над его причудами, которые в столь веселом и жизнелюбивом обществе не приняты. Быть может, аналогия слишком резкая, но что-то подобное должен был испытывать Толстой, оставаясь в миру, который он всей душой отвергал. Кто

Человек — центр вещей. Здесь, „в центре", стоял человек, которому вещи были не нужны. И они рассыпались, потеряли гарманию, связанность, красоту, смысл. От этого незримого отталкивания рассыпался и „дом“, хотя физически еще и продолжал удерживаться.

Л. Н. был одет в старый халат-пальто-шлафрок, подвязанный ремнем. Одежда на Толстом страшно важна: она одна гармонирует с ним, и надо бы запомнить, знать и описать, какие одежды он обычно носил. Это важнее, чем Ясная Поляна, от которой он давно отстал. В одежде было то же простое и тихое, что было во всем в нем. Тишь, которая сильнее бури; нравственная тишина, которая неодолимее раздражения и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственною *тишиною?*

Вот эта мировая тишина, особенная, многозначительная, религиозная, была и в Толстом. Не она ли есть то „неделание", которое представляется таким незначительным в его проповеди, т. е. незначительным в формуле; тогда как в *суьцестве* как *жизнь,* как *метод жизни,* она, конечно, ворочает горами. А мы, читая его бледные слова и не понимая, в чем дело, смеемся и отрицаем. И я смеялся и отрицал (в литературе); а когда *увидел,* то сказал: „Хорошо". Хорошо таким быть, хорошо бы *такому всему* быть. Зачем грозы, зачем бури, шум? Это ненужно и мелко.

Тишина — в ней бездонная глубь...»

Много, много таких паломников бывало в Ясной Поляне. И, наверное, многие из них чувствовали то, что так тонко почувствовал и великолепно перевел на язык слова Розанов. А потом уезжали в свои закоптелые города и столицы, и опять дышали мертвыми испарениями научно-культурной кучи, и опять толковали: «Но как же можно без наших дивных газонов, аккуратных дорожек и бумажных цветов?»

А что касается тех давних бесед Толстого с Соловьевым — что ж, эти два различных религиозных пути не могли не разойтись. В октябре того же 1881 года, изнывая в первопрестольной («Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют»), после новых бесед с Соловьевым Толстой записал в дневнике (5 октября): «Соловьев бедный, не разобрав христианство, осудил его и хочет выдумать лучше. Болтовня, болтовня без конца». И тут же, без перерыва: «Был в Торжке у Сютаева, утешенье». Вот они, два берега, разделенные бездной: с одной стороны — бесконечная книжная болтовня, иссушающая, безысходная, а с другой — утешающая тишина мудрости народной. Сютаев — это тот тверской мужик, которого Толстой не раз поминает в своих статьях как помощника в его религиозном искании, тот самый, который весь дух, всю суть христианства определял всего несколькими словами, окрашенными его тверским говорком: «Всё — в табе. И всё — в любве». «И все, что нужно и можно сказать, было сказано»,— писал Толстой, вспоминая уже покойного своего друга в 1909 году, в статье по поводу нашумевшего тогда сборника «Вехи». Авторы, участвовавшие в нем («новая интеллигенция»), декларировали позицию, близкую Толстому: внешние изменения форм общественной жизни отнюдь не ведут к ее улучшению, ибо «всё — в табе». Однако вместо ответов на запросы души Толстой обнаружил в «Вехах» все ту же безысходную книжную болтовню, да еще и на туманном высоконаучном жаргоне (он записал в дневнике: «Удивительный язык. Надо самому бояться этого. Не русские, выдуманные сло

ва, означающие подразумеваемые новые оттенки мысли, неясные, искусственные, условные и ненужные. Могут быть нужны эти слова, только когда речь идет о ненужном»).

Эту свою статью о «Вехах» Толстой тоже так и не стал публиковать: он по-прежнему время от времени поддавался полемическому порыву и задору, но потом все-таки сдерживался, дабы лишний раз не будить в людях недобрые чувства. А она, эта статья,— как еще одно, последнее толстовское прости научно-культурной куче. Приведя помимо сютаевской формулы созвучный ей кусочек из письма ташкентского крестьянина, которое он получил в те дни. Толстой заключал: «Так думает и пишет безграмотный крестьянин, ничего не зная ни о Махе, Авенариусе и Луначарском, но даже и о русской орфографии. Носительница судеб русского народа' уверена в своем призвании... проведения в толщу стомиллионного народа своих инсценированных провокаций, изолирующих процессов абстракции и еще какой-то философии, которая есть орган сверхиндивидуальный и соборный, осуществляемый лишь на почве традиции универсальной и национальной, или какой-то мистической церкви, в которой должна принять участие интеллигенция и тоже, вероятно, провести ее в толщу стомиллионного невежественного народа.

Развратить народ? Да, это она может, могут те люди, которые называют себя интеллигенцией. Это они и делали и делают, к счастью, благодаря духовной силе русского народа, не так успешно, как они желали бы этого, но просветить они уже никак не могут. Ни на чем так не видно бессилие этих людей, запутавшихся в своих неясных понятиях, выражаемых еще более неясными словами, как то, что хорошие, умные люди, придя к самой несомненной, разумной и нужной в наше время истине о том, что истинная жизнь совершается в душах людей, а не во внешнем устройстве, эти люди ничего не могут сказать о том, в чем же должна состоять эта внутренняя жизнь души, а если и говорят об этом, то говорят самый жалкий и пустой вздор. И эти-то люди хотят просветить народ, считают себя не исполнившими призвания, если не научат народ той пустой, напыщенной и громоздкой болтовне, которая называется у них наукой и просвещением. Только поймите, кто вы, и кто тот народ, который вы, жалея его, хотите не лишать своего просвещения. Поймите это, и вам ясно станет, что не просвещать надо вам народ, а учиться у него тому главному делу, которое вы совсем не умеете делать и без которого не может быть никакой разумной деятельности мысли и которое он, в своих лучших представителях, всегда умел и умеет делать: правдиво ставить себе основные, существенные вопросы о жизни и просто, прямо и искренно отвечать на них».

Тут прямым продолжением просятся слова апостола Павла: «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много *из вас* мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; И незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее,— Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1-е Коринфянам, I, 25—29).

Так что есть, есть место, где научные бранные доспехи — помеха и погибель, а легкая кольчужка — верное спасение. Это — тонкий ледок жизни.

Здесь и далее Толстой пародирует веховскую лексику.

А что касается достославной кучи, так тут — просятся слова Тютчева (написанные, впрочем, по другому поводу). Потому что куча сия, со всем ее населением, которое со жреческой многозначительностью и таинственностью священнодействует на ее вершине, похваляясь своей кучевой плотью,— она ведь тоже сфинкс,

и тем она верней
Своим искусом губит человека.
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

А что же этот старик в халате-шлафроке, что он-то мог со своими «бледными словами» (Розанов), со своими «банальными серыми мыслями», которые порождала «всякая попытка Толстого выразить в слове — логизировать свою религиозную стихию» (Бердяев),— что мог он в этой стихии научнокультурного столпотворения, которое, напитавшись желчью гражданской розни, уже готово было вылиться в репетицию Апокалипсиса на малой российской сцене? Тогда — много мог. И хотя, как уж теперь нам ясно, его «немудрое» и «немощное» не пересилило премудрости мира сего, сваренной из большого топора,— все-таки хочется верить, что не пересилило временно (не важно, сколько тысяч лет еще потребно, чтобы пересилить).

Чем был тогда для России и мира Толстой — тема отдельная и неисчерпаемая. В самом начале я приводил высказывания современников, дающие возможность хоть отчасти это почувствовать (вспомните слова Маклакова: «Толстой был не только гордостью России, ее славой, он был ее *утешением*... К Толстому... со всех сторон России и всего мира шли горести, сомнения, недоумения, от него ждали ответа. Он стал воплощением человеческой совести, последней надеждой и защитой скорбящих, обиженных и несчастных, в этом была его сила...»). Я приведу еще только маленькую иллюстрацию — вот, один- единственный день, 13 июля 1910 года, по «Яснополянским запискам» Д. П. Маковицкого:

«Сегодня был мужик неграмотный из Белевского уезда, пришедший второй раз за 60 верст пешком нарочно за книжками Л. Н. Он раньше пил, теперь три месяца как не пьет и радуется, когда другие читают сочинения Толстого и он слушает.

Л. Н-чу я рассказал про него. Он сказал:

— Один (такой) окупит сто (которые получают книги и не пользуются ими)».

И в тот же день почта доставила Толстому книгу английского врача А. Хэй- га, на которой автор надписал: «С наилучшими пожеланиями Льву Толстому от одного из тех, кто обязан ему тем, что в его учении приобрел единственное знание, ради которого стоит жить».

Вот ведь, и здесь она, непреодолимая, казалось бы, социально-культурная пропасть —- бездна, настоящая бездна между нашей белевской дырой и чопорно-блестящей Англией, между безграмотным лапотником и ученым-медиком, между немудрым и мудрым, между незначащим, уничиженным и значащим. А Толстой, своими «бледными словами», умел навести мост над этой бездной, пусть подвесной, зыбкий, по которому широкой колонной не пройдешь, а только по одному и осторожно, пусть ныне забытый и заброшенный, но он есть, этот мост.

Однако остается еще вопрос: 2) *зачем* понадобились богослову все эти обходные маневры? Зачем нужно было, собрав целый легион союзников из самых разных станов, в том числе и враждебных друг другу, подводить читателя к несомненному для автора выводу, что Толстой сел не в свои сани, что его несостоятельность, невежество и примитивизм в религиозных вопросах общепризнанны и разве что младенцу не видны? А вот зачем. Вот теперь, когда богослов собрал и приобщил к делу достаточное количество улик и свидетельских показаний, изобличающих религиозную несостоятельность Толстого, когда дурость его видна и доказана всем ходом следствия,— ну о чем, кажется, тут еще говорить? Суду все ясно. Теперь всякое новое слово будет лишь еще одним доказательством уже доказанного, доказательством избыточным, а потому уже мало интересующим высокий суд. Судьи устали. Судьи досадливо почесывают слипшиеся под париками волосы. Судьи перешептываются, обсуждая дела семейные, карьерные, перекидываясь забавными замечаниями по поводу свежих политических сплетен. Судьям до смерти надоела вся эта процессуальная волокита, к которой их призывает профессиональный долг и не менее профессиональная совесть. «Ну что там еще?» — морщатся они, когда выясняется, что для полноты картины и соблюдения всех формальностей нужно рассмотреть еще один вопрос, впрочем вполне пустячный, но — положение обязывает.

Тон богослова от снисходительного перетекает к устало-покровительственному: ведь все это известно до избитости, все давно разрешено самым ясным и удовлетворительным образом, но уж если еще остались бестолковые, которым тут что-то непонятно,— ну что ж, извольте. В подробности, конечно, как и всегда, нам входить некогда, да и незачем, поскольку «многие критики справедливо указывали, что в реальных условиях любое общество погибло бы, отказавшись защищать себя от внешних врагов или преступников». А потому, исходя из этих реальных условий, Мень, касаясь главного для Толстого, но второстепенного и десятистепенного для казенного богословия, пишет:

«Лишь немногие отчетливо видели, что Толстой механически перенес нравственные заповеди, обращенные к личности, на весь общественный порядок. А полной аналогии, полного соответствия здесь быть не может.

Так, древняя заповедь „око за око, зуб за зуб“ была юридическим правилом, законом справедливости. Христос же призывает человека, в его индивидуальной жизни, возвыситься над справедливостью во имя высшего закона прощения. Таков смысл слов о щеке, подставленной обидчику.

В древности у всех народов месть рассматривалась как священный долг. Согласно же Евангелию, величие духа заключается в том, чтобы воздать добром за зло. Острота и парадоксальность формы, в которой выражена эта заповедь Иисусова, вполне гармонирует с другими Его высказываниями; например, что верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство Божие, или что обрядовер-фарисей, оцеживая комара, проглатывает верблюда (то есть упускает основное, заботясь о второстепенном)».

Столько всякого разного сплелось в этом пассаже богослова, так мастерски второстепенное вышито здесь по основе, что сразу и не сообразишь, откуда взялся тут верблюд и как он, шельма, умудрился-таки проскользнуть сквозь игольное ушко. В связи с этим чарующим пассажем (который вполне гармонирует с построением статьи в целом) мне припомнилась старая-старая сказка. Сказка о том, как один барин, обучившись на глаз кузнечному ремеслу, решил

этим делом подработать. И вот приходит к нему мужик из соседней волости, приносит большой кус железа и просит выковать из него лемеха. Барин со своим кучером берется за дело — только искры летят. Железо пережигают почем зря — ан на лемеха-то уже не хватает. «Никудышное железо»,— говорит барин и предлагает выковать топор. Ладно, пусть топор. Топора, впрочем, тоже не вышло. Пожалуй, на нож достанет. Пусть нож. И нож не вышел. Ну так хоть шило? Пусть шило. Оно тоже не задалось. Ну так путь будет пшик: бросил барин раскаленный остаток железа в воду — и вышел пшик.

Вот так у нас веками и получается. Могли бы иметь лемеха, для пахоты, для жизни, для духовного пропитания, а всё выходит пшик. Перечитайте еще разок эти три абзаца богослова, присмотритесь к ним повнимательнее. Ведь все как в той сказке. Есть закон Божий, есть великая заповедь, данная Христом и отвергающая древнюю'. О, церковное богословие с величайшим почтением и сладчайшим умилением склоняется перед этой Христовой заповедью. Однако тут же выясняется, что для общественного порядка она прямо никудышная, что она есть только парадоксальное заострение (историческое и богословское воззрения на Евангелие давно уже выработали подобные возвышеннопустые формулировки, ужасавшие Толстого), она есть заострение формы — о содержании-то уже и речи нет, оно там где-то, высоко в облацех осталось и затерялось. Но ладно, эта острота формы — все-таки еще что-то похожее на шило, которое могло бы тревожить мир сей, жиляя его в известные места. Но нет, и шила не выходит — острота формы немедленно, в полной гармонии с задачами казенного богословия, отупляется, приравнивается к причудливым метафорам, то есть прямое и ясное переводится в сферу тумана, испарения, и выходит — пшик (а ведь все, что отуманивает богословие, сказано Христом прямо, ясно, со строгостью математической формулы; у него притча и метафора — только дополнение, отвердитель этих строгих формул; но все, что у Христа — отвердитель, богословием используется как средство разжижения с последующим переводом в газообразное состояние, и вот — темна, темна вода во облацех). И ведь что хотите со мной делайте, но я не могу поверить, что и верблюд здесь оказался случайно. Ведь понятно, что насилие и богатство, закон зверя и право собственности — это две стороны одной монеты, монеты кесаревой чеканки. И потому жизненно необходимо в этом тумане, в этом мареве, под сурдинку,— весь караван верблюдов, груженных златом-серебром, протащить сквозь игольное ушко. И вот — все верблюды заглочены, комар тщательнейше оцежен, и получился — феерический пшик.

Все то, что духовно питало Толстого, что тридцать лет наполняло величайшей радостью его сердце и величайшей болью — его совесть, все, о чем он не мог забыть уже и в полубреду, мечась в чужой постели на станции Астапово (все то, чем и мы могли бы жить),— все это обращается в пшик, в большой туманный пшик.

' Кстати, подносить эту древнюю заповедь как чисто юридическое правило не вполне корректно. Загляните в «Исход», и вы поймете, что всё, от наипервейшей заповеди «Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов перед линем Моим» (XX, 2—3) до указания «Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел. То хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его» (XXI, 33—34), и прочих подобных,— все это для еврея было установлениями Божьими. Никакой речи о праве подзаконном тут не шло.

и как же после этого не изумляться вместе с Толстым; отчего, по какому такому Божьему недосмотру, на той горе, на которой Христос беседовал с бродягами и бедными рыбарями, со вчерашними блудницами и трудившимися на благо римского кесаря мытарями, со всеми немудрыми, уничиженными и немощными,— отчего на той горе не случилось какого-нибудь толмача-богосло- ва? Отчего он сразу, дела вдаль не отлагая, не объяснил этим серым массам, что все сказанное Христом — это просто «божественные парадоксы» (Ф. Фаррар, современник Толстого), «острота и парадоксальность формы» (А. Мень, наш современник), что все это — прелестные метафоры, киселем и млеком омывающие их нищие жизни и души. Отчего сразу не разъяснил им этот премудрый толмач, что не нужно лезть на кресты, под град камней и на дыбы, не нужно гореть живыми факелами на поэтично-звериных Нероновых празднествах, а нужно твердо памятовать о «реальных условиях любого общества» (не забывая, впрочем, по утрам и вечерам взывать к живому Богу), нужно бдительно помнить о врагах и рака, в кольце которых неизменно находится это реальное общество (создающее эти реальные условия), и быть готовым всегда, по мановению кесаря, идти и убивать, убивать и умирать, подчас так мучительно, что ни один Неронов палач и ни сам он не могли бы додуматься до такой блистательно-сатанинской, садистской поэзии.

Но ничего, ничего, за две тысячи лет все Божии упущения восполнены. Все объяснено, разрешено и подписано. Да будет пшик!

И как же после этого не поражаться вместе с Толстым тому, как изуверски, как поистине кощунственно обошлась казенная церковь со Словом — со Словом Христа, которого она признает Богом-Сыном, Богом-Словом, который действительно с такой невероятной силой пустил стрелу Слова во мглу грядущего, что и по сей день мы до нее еще не добрели. Но нет, не убоится церковь земная стрелы, летящей во дни. Падет подле нее тысяча стрел, и тьма одесную ее,— к ней же не приблизятся. Кто и что оберегает ее от стрел правды и совести? Бог ли. Его ли истина — щит и ограждение ее?

Ответ на этот вопрос в общем ясен из приведенного мной богословского пассажа. Но если недостаточно ясен, есть у Меня и продолжение; «Почти все соглашались с Толстым, считавшим, что социальный порядок будет преображаться по мере оздоровления личной нравственной жизни людей. Но оппоненты Толстого ясно видели, что личная этика неизбежно опережает социальную, которая вынуждена следовать более примитивным законам. Если отдельный человек лично может простить того, кто причинил ему зло, то социальный закон в этом несовершенном мире должен оставаться на принципах справедливости». Ведь для человека, не находящегося под гипнозом, тут обязательно снова возникают некоторые вопросы, ибо то, что так ясно видели оппоненты Толстого, все-таки выглядит несколько туманно.

Во-первых, уж какие мы ни есть «животные политические», возникает вопрос; где та грань, которая отделяет личную этику каждой отдельной политической особи от этики социальной, которая «вынуждена следовать» какому-то явно более примитивному, но таинственному и могущественному поводырю (уж конечно вынуждена! — прямо-таки силком, на пинках ведет ее некто,— *некто,* но уж никак не каждая отдельная, немощная и немудрая особь)? Где эта грань? Во-вторых, из каких таких ирреальных обстоятельств, из каких личных этических правил складываются «реальные условия любого общества» и «более примитивные законы» этой таинственной общественной этики? И чья

она,эта этика? И не она ли, эта странная социальная этика, вскармливает своими сосцами всякую немудрую особь — а все мы сызмала немудры — и тянет ее за собой (вот тут уж действительно — силком, и на пинках, и под присягой, и не спрашивая об «индивидуальной жизни» этой несчастной особи, которая, быть может, и хотела бы «возвыситься над справедливостью во имя высшего закона прощения», да только кто ж ее спрашивает)? И «если отдельный человек лично может простить» причиненное ему зло, то где то зло, которое удерживает это его великодушие в тенетах, в замкнутой петле «принципов справедливости»? Словом, если все высокое возможно в жизни индивидуальной, то где то зло, которое мешает вылиться этому высокому и доброму в жизнь социальную? Словом, чей он, этот «социальный закон в этом несовершенном мире», и почему, по *чьему* повелению, этот мир *должен* оставаться на принципах, освященных снисходительными речами богословов, почему немудрые и немощные *должны* повиноваться этим принципам? *Чей* он, несоверщенный мир сей? И чьи они, принципы, в нем властвующие и доминантствующие? Кто *он,* царь этой великой и неизбывно примитивной в своем величии горы? «Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?» (Апокалипсис, XIII, 4).

Из всех этих вопросов вытекает и тот частый вопрос, с которого я начал: кто оберегает земную церковь, и что, чьи принципы, чей закон в конечном счете оберегает она? К чьему закону, не туманными словами, но реальными плодами, она в конечном счете склоняется — к закону Бога, к нравственным заповедям, обращенным к личности (из личностей же слагается общество) или к закону зверя, устрояющему весь общественный порядок, закону, который ведет нас куда-то, как волшебная дудочка Нильса вела гуськом зачарованных мышей (закону, который попирает отдельную личность, который в принципе не заинтересован в ней и потому всеми средствами затушевывает и ее, и нравственные заповеди, к ней обращенные)? В общем, не только плоды, но все эти туманные речи богословов не оставляют сомнений в том, за чьим законом они признают главенство.

Тут ведь — по пословице «на вору шапка горит». Мень пишет: оппоненты Толстого ясно и отчетливо видели, что он «механически перенес нравственные заповеди, обращенные к личности, на весь общественный порядок», который вынужден «следовать более примитивным законам». Толстого можно обвинить в каком-угодно грехе, но уж только не в этом. Уж он-то ясно и отчетливо видел, что живой закон Бога не может быть перенесен на общественный порядок, основанный на законах кесаря, что не только «полной аналогии, полного соответствия», но даже никакого намека на соответствие тут быть не может. Как нельзя оживить труп, вдыхая ему в рот воздух, так нельзя живое дыхание Бога приложить к мертвому царству кесаря — дух-то живой есть, да мертвому телу он без надобности. Толстой тридцать лет только о том и писал, что в псевдо- христианском мире совершилось это странное, механическое перенесение живого, обращенного к душе человека закона Бога в сферу уже тронутого тлением языческого государства, и исход тут мог быть один: дух отлетел — общественный порядок, следующий примитивному закону зверя, остался. И вот наследники тех, кто осуществил это механическое перенесение, кто легко приписал Божие к ведомству кесаря, столь же спокойно приписали Толстому то, о чем он не ведал ни сном ни духом. Толстой тридцать лет писал только о том, что человек всегда, каждую минуту своей жизни, свободен в выборе: идти ли ему путем Бога или тянуться тропой зверя, следовать ли ему закону любви и

прощения или оставаться верным закону насилия и мести, отдавать ли то, что в нем Богово, душу свою. Богу или валить ее в общий кесарев котел.

И еще о том он писал, что царство кесаря никак не заинтересовано в предоставлении человеку этой свободы выбора. Оно по природе своей про- сто-таки обязано этой свободе противиться, всячески ее ограничивать, для чего и выработало целый арсенал теоретических и практических средств искоренения этой свободы. Словом, оно, это царство,— в бранных доспехах, в непрошибаемой броне, а человек, стоящий перед выбором,— считай что голый. И потому тот, кто решается следовать Христу не словом, но делом, должен быть готов к тому, что мир сей обойдется с ним по всем правилам своей социальной, то есть стадно-государственной этики. Но сказано; «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали *и* пророков, бывших прежде вас» (Матфея, V, 11 —12).

И не без цели, совсем не из любви к невинным риторическим упражнениям церковное богословие выковывает пшик из великой заповеди Христа. Посмотрите, как из образовавшегося пара начинают выкристаллизовываться твердые, безапелляционные формулировки. «Личная этика неизбежно опережает социальную». Неизбежно! Какое великое утешение дает мир сей своим чадам, объявляя все действительное разумным и неизбежным. Живи себе как живется, плетись туда, куда влечет тебя твой жалкий жребий, вынутый из шелома мира сего, а тем временем где-то там, за твоим окном, личная этика, непонятно чья, абстрактная, будет опережать социальную, реально властвующую. И этим действительно можно было бы хоть как-то утешиться, если бы дело обстояло так, как его рисует богослов. Если бы личная этика... а впрочем, довольно уж блуждать в богословском тумане, ведь тут разумеется не что иное, как этические заповеди Христа. Так вот, эту строгую формулу богослова можно было бы счесть удовлетворительной, если бы христианская этика и этика стадно-государственная находились в том же соотношении, что локомотив и железнодорожный состав: локомотив впереди и, напрягая все силы, тащит, а состав, хоть и тяжел непомерно и инертен неприлично, все-таки тянется за локомотивом, по той же стальной колее. Но все дело в том, что этика христианская и этика стадно-государственная находятся в прямом противоречии, в очевидном противоборстве, о чем и предупреждал своих учеников Христос. Эта стадно-государственная этика — скорее подобна мельничному жернову на шее человека, который силится выплыть, рвануться из воды и ухватиться за висящую над его головой перекладинку лествицы, сброшенной с неба на спасение ему.

А формулировки богослова между тем становятся все жестче. «Социальный закон в этом несовершенном мире должен оставаться на принципах справедливости». Должен! Решено и подписано. Чье это безапелляционное установление, неясно. Почему и до каких пор должен, не сообщается. А какое опять-таки утешение сирым: раз должен, так и живи как должно! И опять-таки эту строгую формулу долженствования можно бы было принять, если не задавать тех вопросов, которые возникают тут самым естественным образом. Возникает вопрос: может ли этот несовершенный мир породить какие-то другие представления о справедливости, кроме вопиюще несовершенных, под стать себе? И еще вопрос: если и будут Богом даны этому миру другие, более совершенные, принципы, то может ли сей мир не утопить их в своем несовершенстве? Если мир сей берет эти принципы в свой оборот, ставит их себе на службу, то может ли

он не вывернуть их наизнанку, не обратить их в свою противоположность (хотя бы просто в силу варварски-невинного несовершенства его)? И, увы, ответы на эти вопросы очевидны. Никаких иных принципов не породил мир сей, кроме все тех же, животных,— «душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу...» Форма их несколько подработана в соответствии с гуманистическими запросами цивилизации, суть же остается нетронутой, незыблемой. Что же касается более совершенных принципов, так они даны, две тысячи лет назад даны Христом. Как они были утоплены в несовершенном мире и как работали во славу его несовершенств, ясно, когда не мудрствуя лукаво читаешь историю «христианской» цивилизации. Каким образом веками перелицовывается христианская этика — становится ясно, когда перебираешь все эти строгие формулы богословов, произносимые так уверенно, как будто они исходят от самого Христа. Технология, как видите, проста. Сначала из заповедей и слов Христа выковывается пшик, а потом из густых испарений (как «вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана») выдвигается и всеми способами утверждается древний закон мира сего, животный закон возмездия.

Нужно ли говорить, что, оправдав премудрость мира сего, богослов немедленно переходит к оправданию того инструментария, с помощью которого ис- покон века осуществляются и утверждаются живодерские «принципы справедливости»,— судов и армий. И хотя тон богослова снова немного туманится, вывод выясняется один; должно, потому что неизбежно, и неизбежно, потому что должно.

Об армии — это вообще особая статья. Потому что ни в каком другом вопросе не обнаруживается с такой очевидностью элементарная, как все лукавое, технология передергивания слов Христа, да и всего евангельского духа.

Сегодня церковь, формально дистанцируясь от государства, явно ищет те ниши, где бы она могла быть полезной, могла послужить ему своей верой и своей правдой. А ведь ниша, из которой она была временно вытеснена красными политруками,— ее законная, издавна обжитая. Во все века нашей безумной «новой» эры первейшим патриотическим делом церкви было: одушевлять еще живое пушечное мясо, благословляя его на бой кровавый во имя примитивных законов мира сего (со всеми *его* принципами справедливости), а потом — отпевать это мясо, уже мертвое, изуродованное и расфасованное по закрытым гробам.

И вот, если гора (то есть пирамида) не идет к церкви, то церковь со всем радушием идет к горе. Открываешь, например, «Комсомольскую правду» (27 февраля 2002) и обнаруживаешь там рубрику «Уроки духовности». Уроки ведет митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Времена наши так фантасмагоричны, что никого не смущает само это странное соединение комсомольской правды с богословской; впрочем, наверное, это и нужно воспринять спокойно, как одно из знамений времени, отмеченного самыми фантастическими соитиями и самыми откровенными несоответствиями между вывесками и тем, что за ними реально происходит. Так вот, некая девушка Елена спрашивает: «Почему в христианстве двойной стандарт; „Не миром, но огнем" и „Ударят по щеке — подставь другую"?» И ты наивно полагаешь, что вот сейчас православный архипастырь объяснит девушке, что огонь, сведенный Христом с небес на страждущую землю,— это духовный огонь, очищающий человека от скверн мира сего, что меч, принесенный Христом,— это «меч духовный, который есть слово Божие» (Ефесянам, VI, 17), что никогда никакого другого меча Христос в руках не держал, ни к какому другому мечу не призывал, хотя

именно этого зова ждали от своего мессии иудеи, ждали, чтобы он обрушил карающий меч на медные головы римлян, но вместо этого он смиренно и кротко сам пошел на мучения и заклание, с рук на руки переданный иудеями ненавистным римлянам,— словом, что меч Христов — это его *одинокая,* его *добровольная* жертва во имя истины Божьей, во имя закона Любви.

Но вот что отвечает девушке архиерей: «Что же касается „двойного стандарта", который вами усматривается в христианской морали, то надо сказать следующее: христианин должен прощать личные обиды; в то же время долг всякого христианина — противостоять проявлениям зла в мире. Зачастую это приходится делать силой принуждения или даже оружия. В таком случае, например на войне, христианин приносит в жертву своим ближним не только свою жизнь, но и в какой-то степени свое нравственное совершенство. Именно о таком подвиге говорит в Евангелии Христос Спаситель: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15; 13)». Не буду пускаться по кругу и распутывать это плетение из суровых «должен», «долг христианина» и шелковистых «в то же время» и «в какой-то степени». Беда тут в том, что, со всем тщанием утвердив двойной стандарт, из которого вытекает, что Богово должно отдавать кесарю и наоборот, архиерей так и оставил девушку в убеждении, что этот двойной стандарт — христианский, а не казенно-церковный. Беда в том, что к этому узкоказенному рукоделию пришиты и слова Христа.

Включаешь телевизор (16 декабря 2002, РТР, «Вести-1-») и слышишь, как священник, который «работает с МВД» и регулярно выезжает в Чечню, патетически повторяет эти же слова Христа, рассказывая, как окрыляет он людей с автоматами сообщением, что нет большей любви, чем положить душу за дру- ги своя. Наше время замечательно тем, что тут же, в течение одного телевизионного вечера, можно подробно выяснить и кто эти «други». Все они там, голубчики, в ассортименте,— по всем каналам эти дружеские лица, которые зачастую с трудом вмещаются в экран; за этих-то друзей народа и должны дети положить души свои, причем, как правило, это дети как раз тех родителей, которых эти милые «други» обчистили по всем правилам мирской справедливости и которым поэтому нечем откупиться от военкоматов*.

Ужасно, но ведь эти прекрасные и высокие слова Христа давно уже оприходованы по военному ведомству. Когда в июне 1881 года Толстой пришел в Оптину пустынь, тогдашний ее настоятель, архимандрит Ювеналий вразум

*** Кажется, не далек тот день, когда это уже наметившееся расслоение на серую скотинку и оберегаемых ею окатистых «друзей» будет закреплено окончательно. Буквально через несколько дней (20 декабря, НТВ, «Свобода слова») «друзья народа» правого крыла объясняли, как дешево и сердито можно устроить переход армии на контрактную основу. Во многих российских регионах, толковали они, уровень заработной платы так низок, что достаточно накинуть сверх него несколько полушек, чтобы тамошние молодцы с радостью помчались наниматься в защитники «друзей» и их собственности. Самое поразительное здесь то, что участники этого милого шоу очень заинтересованно обсуждали, насколько верны расчеты правых с финансовой точки зрения, но никого, ровным счетом никого в студии не смутила сама эта циничная логика, по которой ведь наемную армию можно устроить еще дешевле: нужно только окончательно додавить основную массу населения нищетой, и тогда в армию за пайку хлеба на брюхе поползут. Увы, эти лоснящиеся и даже сквозь экран благоухающие ароматами Парижа «други» уже приучили нас ничему не удивляться, а главное — ничем не смущаться.**

лял его в том же духе (Толстой в дневнике в телеграфном стиле передает аргументацию архимандрита); «Судить, воевать надо. Положить живот за други своя — это значит воевать. Обязаны защитить. Начальство и власти». Но самое ужасное и сатанински забавное здесь вот что. Откройте-ка, например, повесть Ропшина (Савинкова) «Конь бледный», и там некий террорист-бомбометатель (прототипом которого был убийца великого князя Сергея Александровича И. Каляев) идеологически обосновывает свою деятельность ссылкой все на тот же евангельский стих — «за други своя». И нет никакого сомнения в том, что точно так же, как наши церковники трактуют этот стих Иоаннова Евангелия, то есть в боевом, военно-патриотическом духе,— точно так же понимают свой долг перед Богом и нынешние террористы: и талибы, и чеченские боевики, и арабские шахиды — они ведь тоже, широко забирая, косят чужаков и рака не как-нибудь, они ведь тоже — за други *своя,* хотя (уж не без того) приносят в жертву ближним не только жизни, свои и чужие, «но и в какой-то степени свое нравственное совершенство». Так и косим веками друг друга — за други своя. И нет, кажется, исхода.

А ведь он есть. И он — в тех самых словах Христа, которые идут нарасхват и у церковников, и у террористов. Прочтите этот стих, не обращая внимания на завораживающие пассы богословов: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Ведь даже если очень расстараться, тут невозможно выискать ни единого слова о том, что, прежде чем ты положишь свою душу, нужно еще успеть положить как можно больше чужих. Тут и намека на это нельзя выискать. Свою душу положи, своей душой жертвуй, но о чужих — ни слова, ни намека. Самое же нечистое состоит в том, что все эти толковники, как правило, не уточняют, когда и в связи с чем сказаны Христом эти слова. А эти слова — из прощальной его беседы с учениками, и связаны они с тем высшим актом любви, который он совершит назавтра и которым разъяснит эти слова, разъяснит, что значит эта высшая любовь, что значит — положить душу за други своя.

Назавтра будут с позором водить его от первосвященников к римскому прокуратору, назавтра будут выставлять его перед толпой и толпа будет вопить: «Распни его!» Назавтра будут истязать его в претории, и издеваться, и плевать ему в лицо, назавтра его живое тело приколотят, как вещь, гвоздями к кресту и будут опять потешаться над ним, уже умирающим... И так совершится этот великий акт любви. И будет ли хоть одна чужая душа, которую бы Христос положил за други своя? Да будет ли хоть единое слово ропота? «Не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Исаия, XLII, 2—3). Ничего от него не услышат назавтра — кроме молитвы за своих мучителей и убийц.

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Иоанна, XV, 12) ,— вот она, та великая заповедь Христа, которая непосредственно предшествует его словам о жертве за друзей и которую, конечно же, отсекают, когда необходимо эти слова подклеить к апологии насилия. Отсекают потому, что заповедь эта наводит на ненужные, лишние для толковников вопросы. И самый главный и в то же время самый простой и естественный вопрос, который может возникнуть и в голове самого зеленого новобранца, таков: раз сказано любить, как Христос возлюбил людей, то *как он* возлюбил, *как он* противостоял злу? И если новобранец задастся

этим вопросом, если, взяв в руки Евангелие, отыщет ответ на него и если до него действительно дойдет свет Христов, то он с омерзением отбросит автомат, который ему засунули в руки всевозможные «други», и скажет: делайте со мной что хотите, но Христова любовь. Христово противостояние злу — безоружны, его противостояние злу и его единственное оружие в этом противостоянии — это и есть его любовь, несовместимая ни с каким насилием, как бы благообразно оно ни было обставлено.

Как Христос возлюбил людей — он объяснил своей жизнью и своей жертвой. Как возлюбили Христа церковные иерархи и богословы — они объясняют своими писаниями и изустно. Ведь поистине нет большего кощунства, чем евангельские слова о христианской любви, о жертве как высшем акте этой любви, да в конечном счете и сам этот акт, совершенный Христом, воздевать над войском кесаря, как боевой штандарт, перетасовывать и извращать эти слова так, чтобы и кесарь был сыт, и овцы, назначенные им к закланию, были счастливы, чтобы оправдано было любое насилие, которое «зачастую приходится» применять для защиты и утверждения сомнительных «принципов справедливости». Ведь в конечном счете все маневры церковников клонятся к единственному выводу, который должен сделать читатель: первым делом — ты чадо кесарево, и свят его закон, повинуйся ему и умри за него (а буде воспротивишься, есть у кесаря и палка), а закон Христов — это для личного обихода, ну, в общем, чтобы ближним в автобусе на ноги не наступать.

А ведь, кажется, сейчас, в начале третьего тысячелетия, первые пробные аккорды которого так тревожны, церкви пора бы определиться: с кем она — с Богом или с властями и начальством, с Христом или с военным министерством? В общем, это очень старый вопрос: с кем ты — с Иисусом, ставшим выше мирской власти и мирских законов, или с Каиафой и Пилатом, позиция которых, с точки зрения этих мирских законов, безупречна (за ними — и «реальные условия общества», и «социальная этика», и «принципы справедливости», базировавшиеся для одного на интересах еврейского народа, для другого — на интересах Римской империи, в конечном же счете, для обоих — на интересах мирской власти)?

Но увы, увы, читаешь нынешних богословов и епископов, и понимаешь: ни революции их ничему не научили, ни войны. Всё те же гудки, всё такие же гудошники, и мотивы — всё те же. Читаешь или слышишь в эфире их отповеди Толстому, изрекаемые тоном жреческого всезнания, и опять — всё те же гусли-самогуды. И хочешь не хочешь, тут вспоминаются слова Толстого, обращенные к тем его читателям, к тем толкователям Евангелий, которым почему-либо выгодно держаться казенно-церковной веры: «...пусть такие люди помнят, что сколько бы у них ни было единомышленников, как бы сильны они ни были, на какие бы престолы ни садились, какими бы ни называли себя высокими именами, они не обвинители, а обвиняемые,— не мною, а Христом. Такие читатели пусть помнят, что им доказывать нечего, что они уже давно сказали, что имели сказать, что если бы они даже и доказали то, что хотят доказать, то доказали бы только то, что доказывают каждый для себя все сотни отрицающих друг друга исповеданий церковных вер; что им не доказывать нужно, но оправдываться. Оправдываться в кощунстве, по которому они учение Иисуса Бога приравняли к учениям Эзд- ры, соборов и Феофилактов и позволяли себе слова Бога перетолковывать и изменять на основании слов людей. Оправдываться в клевете на Бога, по ко

торой они все те изуверства, которые были в их сердцах, свалили на Бога Иисуса и выдали их за его учение. Оправдываться в мошенничестве, по которому они, скрыв учение Бога, пришедшего дать благо миру, подставили на его место свою святодуховскую веру и этою подставкою лишили и лишают миллиарды людей того блага, которое принес людям Христос, и, вместо мира и любви, принесенных им, внесли в мир секты, осуждения и всевозможные злодейства, прикрывая их именем Христа.

Для этих читателей только два выхода; смиренное покаяние и отречение от своей лжи или гонение тех, которые обличают их за то, что они делали и делают» (Предисловие к «Краткому изложению Евангелия»).

Что касается собственно Толстого, то и тут все, что церковь имела сказать, она давно сказала, сто лет назад сказала, и добавить ей, как выясняется, нечего. Все сказанное ею в общем вполне сводимо к появившейся тогда в «Тульских епархиальных ведомостях» заметочке:

«Замечательное явление с портретом графа Л. Н. Толстого.

Многими лицами и в том числе пишущим сии строки замечено удивительное явление с портретом графа Л. Н. Толстого. После отлучения Толстого от Церкви определением богоучрежденной власти выражение лица графа Толстого приняло чисто сатанинский облик: стало не только злобно, но свирепо и угрюмо...

Впечатление, получаемое от портрета гр. Толстого, объяснимо только присутствием около его портретов нечистой силы (бесов и их начальника диаво- ла), которым усердно послужил во вред человечества трехокаянный граф».

Все это было бы курьезно, когда бы не было так удручающе грустно. Ведь это и есть видение Толстого в зеркале конфессиональной гордыни (в чистом виде, без научно-культурных прикрас). И ведь бесы-то там безусловно присутствуют —■ они-то там и орудуют, они-то и наводят порчу, придумывают искажения почудней, потирают лапки и покатываются со смеху. Есть там и начальник, исполненный гордыни и лжи, есть и подручные: есть бесенок лжецы, передергиваний и подтасовок, есть бес слепого поклонения «богоучрежденной» власти и при нем бесенок по имени Чегоизволите, есть бес, налагающий печать смерти на живое слово, и бесенята, занимающиеся скупкой и перепродажей совести, или сдачей ее в банк под проценты, или передачей ее в бессрочную аренду,— словом, всякой нечисти там хватает, но, как ни крути, на первый план выдвигается бес-провиантмейстер, у которого всегда полно припасов для подкармливания зверя в человеке, это бес разделения (по какому признаку? — так у него этих признаков склады); еще вчера он раскармливал ненависть к «врагам народа» и социально чуждым, а позавчера — средневековую ненависть к еретикам и иноверцам, а сегодня — как позавчера, и завтра — как сегодня. И лик этого трехокаянного беса (гордыня-страх-гнев) — всегда один, багровый, как ни припудривай его образованностью, цивилизованностью, изысканностью манер и утонченностью культурных запросов.

Два голоса над бездной

И все-таки не хочется, очень не хочется разговор о реанимированных (а может быть, эксгумированных?) разногласиях между Толстым и церковью заканчивать на столь грустной ноте.

Так случилось, что практически одновременно с Толстым я читал уже упомянутую книгу «Преподобный Силуан Афонский» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999). Читал и поражался: ну откуда, откуда весь этот воз разногласий и недоразумений?

Вот, например. Автор (буду так его называть: хотя повествование ведется от первого лица, в этом издании он остался безыменным) пишет об одной из своих бесед со старцем: «Помню, в один момент своей жизни, увлеченный творениями святых отцов, я сказал ему с печалью: „Жалею, что у меня нет ни сил, ни времени заниматься изучением богословия". На это он ответил: „И вы считаете это великим делом?.." Помолчав, он добавил: „По-моему, велико только одно: смирить себя, ибо гордость мешает нам любить"». Да ведь о том же самом, о чем так мягко и осторожно говорил старец, писал и Толстой, писал прямо, открыто, подчас резко. Так он писал. Но нет сомнений, что в личной беседе он выразился бы так же мягко. Вот вам, кстати, еще одно противоречие, опять-таки кажущееся, которое прекрасно разъяснил в своих воспоминаниях А. Ф. Кони, писавший о той «благородной терпимости и деликатности, с которыми Лев Николаевич относится к чужим убеждениям и чувствам, даже когда они идут вразрез с его взглядом, но если только они искренни и не вредоносны сами по себе». «Мне пришлось испытать,— пишет Кони,— как мягко в обмене мнений... относится Лев Николаевич к тому, что он считает „заблуждением", и как тщательно избегает он того, что может оскорбить или уязвить религиозное чувство своего „со- вопросника". Мне казалось, что, даже считая свою точку зрения непоколебимою, он разделяет прекрасные слова Герцена о том, что есть целая пропасть между теоретическим отрицанием и практическим отречением — и что сердце плачет и не может расстаться, когда холодный рассудок уже постановил свой приговор...

С таким отношением к собеседнику идет как бы вразрез страстный и беспощадный подчас способ выражений, употребляемый, особенно в последние годы, Львом Николаевичем в своих произведениях, касающихся вопросов политики или религии. Но это объясняется тем, что, имея перед собою безличного, собирательного читателя, настроение и степень восприимчивости которого неизвестны, и притом не споря с ним, а лишь излагая свое мнение, он не имеет повода стесняться выбором выражений, заботясь лишь о том, чтобы возможно сильней и глубже высказать свою мысль».

Но вернемся к книге о Силуане Афонском: «У старца было глубокое и определенное сознание, что зло побеждается только добром, что борьба силою приводит лишь к замене одного насилия другим. Нам много раз пришлось беседовать с ним об этом предмете. Он говорил: „В Евангелии ясно сказано... Когда самаряне не захотели принять Христа, то Апостолы Иаков и Иоанн хотели свести огонь с неба, чтобы истребить их, но Господь запретил и сказал: *„Не знаете, какого вы духа...* Я пришел не погубить людей, а спасти" (Лк. 9, 52—56). И мы должны иметь только эту мысль, чтобы все спаслись». И только эту мысль носил в себе Толстой, тридцать лет только об этом он и писал, постоянно, упорно, невзирая на насмешки и ярость своих оппонентов.

Что еще? Наука? Культура? Цивилизация? Исчислив все ее красоты — библиотеки, академии, университеты, великолепные храмы, «неисчислимые произведения других видов искусства: музыки, живописи, скульптуры, поэзии»,— Автор заключает: «А старец как будто игнорирует все это и остано

вился только на одном: **смирение и любовь к врагам — в этом всё».**
Да ведь об этом и Толстой писал, да, «всё — в табе, и всё — в любве». Без этого, добавляет чуть ниже Автор, «все законы, все пророки, все культуры — **ничто».**

«Душа старца, его ум заняты немногими мыслями»,— пишет далее Автор, но добавляет, что эти-то мысли «суть мерило для всего. Кто в глубине своего существа живет этими мыслями, тот чрез них, как чрез таинственную духовную призму, видит весь мир». Вспомните попутно упреки книжников Толстому в скудности круга его мыслей, в их «банальности». Ведь все тут ясно. Этими немногими мыслями, почерпнутыми из Евангелий, Толстой жил, и через них он прозревал весь мир. Ему недосуг было плести тонкие ажурно-философические кружева — они ведь, по сути, лишь налагаются на мир, как тюлевая занавеска, которая придает приятную туманность жизни за окном. «Старец был человек единой идеи,— продолжает Автор,— но идеи самой глубокой, самой прекрасной, самой онтологически совершенной и, что важнее всего, осуществленной им в жизни. <...> Главное свидетельство всей его жизни в том, что любовь к врагам совершенно необходима для познания Божиих тайн. Он категорически утверждал, что в ком нет любви к врагам, тот вне Бога, тот Бога не познал. Его невозможно было обмануть. Там, где была ненависть к врагам, там видел он лицо темной бездны, какою бы „службою Богу" (Ин. 16. 2)*, каким бы пророческим пафосом она ни прикрывалась.

* *...наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу».*

И Толстой в последнее тридцатилетие своей жизни был человеком единой идеи: всё — в любви, которая не знает никаких разделений, ибо нет для христианина ни врага, ни рака, а уж отсюда, из этого единого могучего корня,— не противься злому. И как Силуан Афонский с апостольским, по слову Автора, знанием утверждал, что «любовь к врагам есть единственный достоверный критерий .истины», так и Толстой это чувствовал. И, понимая это, искал подтверждения этой истины в других. Вот, например, слова Лессинга, включенные Толстым в «Круг чтения»: «До тех пор, пока я не увижу того, чтобы соблюдалось важнейшее правило Христа — любовь к врагам,— до тех пор я не перестану сомневаться в том, чтобы выдающие себя за христиан были ими».

Удивительно и вряд ли случайно вот что. Толстой умер незадолго до первой мировой войны. Преподобный Силуан Афонский — совсем незадолго до второй, в сентябре 1938 года (когда разразилась первая, он был, и давно уже, на Афоне; но в данном случае удаление от мира ничего не решает). И, быть может, именно предощущение, сгущение темной бездны, к краю которой подходит мир, предчувствие близких и ужасающих скорбей делает чуткие сердца особенно восприимчивыми к этой единой идее, единой спасающей, они раскрываются навстречу этому лучу Божьей истины, пронизывающему и разламывающему темную бездну, они останавливаются на этой единой идее, потому что ничего выще ее пока не открыто нам, они горят ею, дабы видно было людям, к краю какой бездны они в слепоте своей уже вплотную подошли. Но мир в очередной раз не слышит их, не слышит Христа, и снова ухает в бездну ненависти.

я читал эту книгу об афонском старце и недоумевал; зачем разногласия, зачем недоразумения? Ведь все это не просто близко к Толстому, это едино с ним, это истинное единство во Христе.

Хотел умолчать, но все-таки добавлю, что даже некоторые недоразумения, связанные с приобщением того и другого к достославной куче, похожи. Вторая половина этой книги — записки самого старца, неподражаемые по простоте и поэтичности; это — от начала до конца молитва, единая молитва за мир и «скучание о Боге» (а ведь и тридцатилетние писания Толстого, пусть иного стиля, светского, но и они — единая его молитва за мир). И вот, автор, с одной стороны, пишет о старце: то был человек, «не искушенный лукавством интеллектуальной культуры», «совершенно не извращенный лукавством современной цивилизации». Автор, с одной стороны, утверждает: «И, в сущности, никакая человеческая наука не может прибавить что-либо к глубине и достоинству истины, о которой он свидетельствует». А с другой стороны, вот что пишет он о «слове старца, необычайно высоком по своему духовному совершенству»: «Для многих оно остается непонятным и недоступным, несмотря на всю свою ясность и простоту. Опыт показал, что отчасти непонятно оно именно в силу своей простоты и чуждого современному интеллектуальному человеку стиля выражения, и это обстоятельство послужило для меня побуждением сопроводить и даже предварить его пояснениями на языке, более доступном образованным людям нашего времени...» И вот, вместо того чтобы постараться вытряхнуть из головы «современного интеллектуального человека» тот мусор, которым она до отказа забита. Автор, потакая запросам кучи, начинает то и дело затемнять живое слово старца наукообразием, сыпать научными жаргонизмами, которые нужны, только когда говорят о ненужном. Грустно это. И горько прямо-таки до тошноты. Неужели нас действительно до такой степени придавила научно-культурная куча? Неужели мы до такой степени извращены лукавством интеллектуальной культуры, что уже не способны прямо воспринять простое, чистое, живое слово, и оно только тогда приобретает для нас ценность и вес, когда мы его умертвим? Это не просто грустно. Это страшно.

И все-таки это — второстепенное. Все-таки главное — то единство, которое на каждом шагу нащупывалось (да нет, оно было для меня очевидно),— единство двух сердец, таких далеких, казалось бы, друг от друга. Вот это-то и обнадеживает: ведь не только омертвелые крайности сходятся, но и живое — тоже сходится. Есть, конечно, в книге о старце и то, что разделяет (но разделяет внешне). Это неизбежные следы синдрома «единственно верного учения», это догматика, обрядность. Но эта стена разделения первостепенна лишь для тех, кто ищет разделения. Для тех же, кто ищет единения, она не может служить препятствием. Во всяком случае в устроении этой стены, в ее выдвижении на первый план, в бдительной ее охране повинен кто угодно, но только не Толстой. И потому думаю, что внешнее разделение когда-нибудь будет преодолено. Я думаю, что, быть может, после революционного погрома церкви нужно было вернуться на исходные позиции, на те росстани, где мы ошиблись в выборе дороги. Весь вопрос только в том, какую дорогу она выберет сегодня — ту же ли самую, которая всех нас завела в тупик (и гибельность которой многие, очень многие давным-давно понимали), или новую, где жизнь и свет. И еще я думаю, что и сегодня для тех чад церкви, которые живы, а не пребывают в летаргическом сне конфес

сиональной гордыни и замкнутости,— уже и сегодня Толстой может стать для них и сопутником, и помощником, по крайней мере — совопросником.

А закончить хочется, все-таки еще раз вернувшись к тому, что едино и для Толстого и для Силуана Афонского. Вот подлинные, чистые слова старца, послушайте: «Горяча любовь Божия. Ради нее святые терпели все скорби и достигали силы чудотворения. Они исцеляли больных, воскрешали мертвых; они ходили по водам, подымались во время молитвы на воздух, молитвою низводили дождь с неба; а я хотел бы научиться только смирению и любви Христовой, чтобы никого не обидеть, но молиться за всех, как за самого себя». Так он и любил, так он и молился.

Толстой жил в миру, и скорби и искушения его были мирские. В воскрешения и хождение по водам он не верил (в молитву — да), и потому этих искусов святости для него просто не существовало, и потому ему тоже только одного хотелось — научиться смирению и любви. Так обратимся и мы к зеркалу любви, к одному из многих отражений в нем — к словам последнего секретаря Толстого, В. Ф. Булгакова, который очень осторожно, но все- таки настойчиво заговаривал о святости Толстого, как человека. Спустя полвека после его ухода, во времена, когда святы были только Ленин и партия, Булгаков, возвращаясь к тому, о чем говорил прежде, писал: «Слово „святость" я употреблял, конечно, не в церковном смысле, а в смысле исключительно высокого нравственного „тонуса" личности и жизни Льва Николаевича. На этом высоком „тонусе" мне хочется и теперь настаивать, вопреки столь же частым, как и голословным, возражениям со стороны всех тех, кто *не верит* в особое благородство и в особую, благоуханную высоту и красоту духовного облика старика Толстого. В самом деле, этот, в молодости страстный, увлекающийся и гордый человек, в старости, благодаря неустанному самосовершенствованию, самокритике, самодисциплине, достиг исключительно высокого морального уровня. Сам-то он расценивал себя невысоко, но зато всем, кто сталкивался с ним, было ясно, что перед ними — не только большой писатель, мыслитель, но и высокий и чистый духом человек. Были минуты, когда все лицо Толстого светилось, когда чувствовалось, что все существо его проникнуто любовью к миру и людям».

Что есть утопия?

(заключение)

Есть вопросы, главные для человека, с которых все начинается и которыми все заканчивается, вопросы, которыми постоянно задавался Толстой и к которым постоянно подводил своих читателей. А что же я? Что же мне делать? И вообще — кто и что я в этом мире? Так вот чтобы этих трудных, подчас мучительных вопросов не возникало, давным-давно уже придумано словечко, которое преследует Толстого по всем бумажным гектарам, испещренным дифирамбами и проклятиями ему. Это словечко — «утопия» (церковный вариант — «лжеучение»). Ведь им, натурально, заполевали Льва Николаевича (а подспудно — и самого Иисуса Христа, верность которому сегодня вновь изображают очень многие). Достаточно пришпандорить к тридцатилетним писаниям Толстого это словечко (а это делается уже в шко

ле), чтобы человек впредь не задавался трудными вопросами, чтобы он потерял всякий интерес к Толстому-проповеднику и уж никогда не заглядывал на его пашню, а легко и уверенно топал проторенными и благоустроенными дорожками мира сего, красиво обсаженными цветочками и деревцами.

Однако нужно все-таки разобраться: что такое утопия? Собственно, до сих пор я около этого вопроса и крутился, и, как умел, подходил к ответу на него. Но нужно подвести итоги. Так вот, по мне, утопия —• это такой проект переустройства жизни, осуществление которого предусматривает участие более одного человека. А, как правило, такие проекты предусматривают участие миллионов людей, причем людей самых-самых разных (те, кто уж совсем никак не вписывается в такой проект, подлежат или отстрелу, или измору). Я потому так уверенно об этом говорю, что на моем веку вот уже вторая утопия реет над нами. Первая называлась «социализм», и даже «реальный социализм», «развитой социализм». На последнем этапе осуществления этой утопии, едва ли не все взрослое население понимало, что реалии общества совершенно не соответствуют лозунгам, декларациям и самой этой утопической вывеске, что жизнь развивается по совершенно иным, своим законам (то есть по естественно-животным), а «реальный социализм» существует только в речах и докладах, в газетах и книжонках — словом, в воображении людей, которым почему-либо выгодно или просто покойно было поддерживать себя и других в полумистическом убеждении, что золотой сон утопии реализован или вот-вот реализуется.

Теперь вот — демократия. Демократия, в прямом, то есть единственно честном, понимании,— это утопия из утопий. Но повторяется то же самое. Жизнь течет по своим звериным законам, и все это прекрасно видят и понимают, и в то же время поток речей, газетно-телевизионное половодье упорно внедряют в сознание и воображение людей золотой сон утопии. Собственно, такие утопии — это тоже своего рода казенные религии, приземленного, прагматично-языческого образца (каждая имеет свою мифологию, свою касту жрецов, свои доходные статьи), и все тут сводится к соблюдению внещних ритуалов, которые не имеют практически никакого отношения к реальному устройству общества, к внутренним механизмам, шевелящимся в нем, к его духовной наполненности. Как и всякая казенная религия, такая утопия напоминает тот воздушный шарик, который приятель Винни-Пуха Пятачок подарил вислоухому имениннику, ослику Иа, и который при необходимости можно легко засовывать в полезный горшочек наших мирских нужд, личных или стадно-государственных, и так же легко вытаскивать, когда надобности в нем нет.

И в то же время слово «утопия» никак не приложимо к живому религиозному учению, ибо оно по самой сущности своей обращено к отдельному человеку, взывает к каждой отдельной душе, влечет ее к переустройству *личной* духовной и внешней жизни, то есть к тому единственному, в чем человек действительно властен: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Апокалипсис, 111, 20). Христианский подвижник, например, слышит этот глас Божий, и отворяет дверь свою, и для него закон Божий — не утопия, но тот единственный закон, который он полагает в основу своей жизни, для него этот закон действительно — путь, и истина, и жизнь. Но есть, конечно же, тьмы и тьмы людей, для которых этот закон представляется из

лишним бременем (или «божественными парадоксами»), тех, кто вполне доволен и существующим порядком вещей, и самим собой, кто в переустройстве жизни уповает на планомерное накопление совокупного жирового запаса и укрепление правовых основ (для которого не придумано ничего другого, кроме наших вечных спутников — армий, полиций, судов, и еще — странных зоопарков, называемых парламентами, в коих подразумевается присутствие, как некоего духа святого, воли народа, а на самом деле сидят сотни две-три болтунов, актеров и игроков). Разумеется, таким людям удобно и выгодно считать живое религиозное учение утопией (это покоит и пищеварение, и совесть). И чтобы так считать, применяется тот простой и грубый прием, о котором я уж заговаривал. Учение, обращенное к каждой отдельной душе, учение нравственное, прикладывают к сфере социально-политической, стадно-государственной, как если бы законы звездного неба, законы движения светил приложили к луже, в которой какой-то краешек звездного неба отражается. Или так: есть воздушный шар, который только нужно наполнить горячим газом (духом живым), и тогда человек может подняться на нем в небо; но вместо этого шар бросают уж не в горшочек, а в адский котел с вечно кипящей социально-политической смолой, а потом извлекают скукоженную, слипшуюся тряпку и иронически вопрошают: «И на этом-то вы нам предлагали полетать?» Одним словом, прием заключается в следующем: разумное поверяется безумным. Божие — человеческим (а точнее — животным).

Человек, даже если он один такой на всем белом свете, спрашивает, например: «Если я хочу следовать закону Бога и подчиняться воле одного Небесного Отца, могу ли я брать в руки оружие?» Ему отвечают: «Если *мы* (то есть государство) в одночасье разоружимся, то как защитимся *мы* от внешних врагов, которые на нас немедленно набросятся?» Позвольте, я ведь не о том спрашивал — не о том, как быть кесарю, его войску и вообще государству (я даже не спрашивал, до каких пор государство будет наживать мне по всему свету врагов), я спрашивал о том, как быть мне, человеку, желающему следовать закону Бога. И не такой уж я дурак, чтобы полагать, что если я не возьму оружия (ибо, по завету Божию, у меня нет врагов), то тут же, назавтра, разоружится весь мир или хотя бы одна отдельно взятая страна. Но именно эту действительно утопичную мысль (или надежду) мне и приписывают, чтобы с легкостью и блеском ее опровергнуть. И вот что, в голом виде, происходит: я говорю о моем личном, о душе, о том, что Богово,— Богово немедленно смешивается с кесаревым, из чего и получается несъедобный салат под названием «утопия». И на том основании, что в результате действительно выходит ни Богу свечка, ни кесарю кочережка, Богово легко отвергают (то есть, повторяю, опровергают собственную утопическую стряпню, а не вопрос человека и ответ на него Бога).

Вот и решайте сами, что есть утопия, а что нет. Как бы то ни было, за «утопией» христианства есть великие жизни — и самого Христа, и многих и многих мучеников, подвижников (в том числе и безвестных, в том числе — и жизнь того «темного» люда, который веками не противился злу мира сего, а стонал да пахал, пахал да стонал). За всевозможными же казенными религиями — ничего, кроме мифов и немыслимых по числу военных жертвоприношений (вспомните: четыре миллиарда жертв; как жалки и ничтожны на их фоне самые блестящие плоды материального прогресса).

И как бы то ни было, остаются главные вопросы, к которым подводит Толстой: а что же я, что делать мне?

Тут-то и начинается главное. Действительно, читать религиозные сочинения Толстого (а вслед за ним — и оживающее для себя Евангелие) трудно. И дело тут не в его местами вязком стиле, не в частом нагромождении придаточных, которое так пугало и утомляло нас в школе. Тут другое. Ведь по-своему прав был, например, Тургенев, который, прочитав толстовскую «Исповедь», писал Григоровичу, что это «вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения», однако добавлял: «Но построена она вся на неверных посылках — ив конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой, человеческой жизни... Это тоже своего рода нигилизм...» По-своему прав был француз Вогюэ, который в те же 1880-е годы аттестовал Толстого как «выразителя и пропагандиста того состояния русской души, которое называется нигилизмом», и утверждал, что его религиозные взгляды сводятся к «уничтожению общественного зла посредством коммунизма». Они были правы — по-своему, с той самой точки зрения, которая признает благоукрашенные дорожки мира сего достойными всяческого уважения; на сих ведомых дорожках со следами виданных-перевиданных зверей эта точка зрения и стоит, и зиждется, и набирается непоколебимой самоуверенности. С этой точки зрения требования живого религиозного учения естественно видятся как «неверные посылки» (как неверны движения птицы с точки зрения бегемота). С этой точки зрения отрицание мира сего со всеми его дорожками, отрицание всех его установлений и животных законов неизбежно представляется нигилизмом (да еще и с душком коммунизма, в пошло-политическом его понимании). На этих позициях отрицание отрицаний естественно, оно избавляет от головной боли и дает ощущение полета всему бескрылому: легкость в членах возникает необыкновенная! Оставаясь на этих позициях, легко и весело откалывать огненный канкан, как Тургенев, который, после долгой размолвки и примирения с Толстым явившись в Ясную Поляну, лично, на языке танца, продемонстрировал новое парижское понимание «живой, человеческой жизни» («Тургенев cancan. Грустно»,— записал Толстой в дневнике). Или, как Вогюэ,—слагать вдохновенные гимны войне. В слове «Царство Божие внутри вас» Толстой приводит и его обольстительный гимн, и элегантный довесок к нему — письмо Вогюэ в «Ревю де Ревю» по поводу конгресса мира. Сие послание завершается с томной снисходительностью: вся история учит нас тому, что нельзя упразднить животных законов «до тех пор, пока останется на земле двое людей, хлеб, деньги («очень хороши тут деньги», замечает Толстой) и между ними женщина. Я был бы очень счастлив, если бы конгресс мне доказал противное. Но сомневаюсь, чтобы он мог опровергнуть историю, закон природы и закон Бога».

Да, как видите, на дорожках мира сего между законом зверя и законом Бога легко ставится знак равенства, на этих дорожках конгрессы мира непринужденно перемежаются мировыми бойнями, и потому на этих дорожках легко быть правым в своих томных предвидениях (как Вогюэ), И эти дорожки легко находят своих сладкоголосых певцов (подобных Вогюэ). И они (под стать Вогюэ) не умолкая поют хлеб и вино, вино и женщин, шпагу и пиастры. Небогато, конечно, но уж что имеем, А без этого набора животной романтики — что ж? Вечный постный день? Как говаривал личный черт Ивана

Карамазова, «оно хоть и свято, да скучновато». И потому — поем, поем тебя, бог Гименей, бог Плутос, бог Арес. И потому — уж мы не успокоимся, пока не достигнем того чудного идеала, который нарисовал Вогюэ, то есть пока это торжественно-романтическое самоистребление не дойдет до того предела, когда на всей земле останутся (как два щедринских генерала) два человеческих самца, совершенно одичавших в непрестанных бойнях, а между ними хлеб (непонятно, правда, кто его вырастит), деньги (непонятно, правда, на кой ляд нужны будут эти глупые жетоны) и самка. И совершенно понятно, какое потомство она произведет от уцелевшего в романтической битве за ее сердце самца.

В общем, вся эта логика — логика мира сего — очень прозрачна и легка. Все это — колея. Все это не требует усилий. Все это (сколько ни сочиняй тут гимнов и романсов) — элементарное, как оползень, скатывание к царству зверя.

Но если стать на точку зрения Толстого, возникает тяжесть. Во-первых, да, это тяжесть отрицания. «Бунтом жить нельзя»,— говорил Иван Карамазов. И это истинная правда. Голое отрицание иссушает душу, оно может превратить человека в один сплошной желчный пузырь. Так чем же жить? Религия, вера — да, она дает жизнь, дает воздух и свет. Но она же и ставит человека перед тяжелейшим вопросом: что делать мне? Толстой не только подводил читателей к этому вопросу, он постоянно подводил и к ответу. Вот, например, его дневниковая запись от 27 октября 1899 года: «Война, суды, казни, угнетение рабочих, проституция и многое другое — все это необходимое, неизбежное последствие и условие того языческого строя жизни, в котором мы живем, и изменить что-либо одно или многое из этого невозможно. Что же делать? Изменять самый строй жизни, то, на чем он стоит. Чем? Тем, чтобы, во-первых, не участвовать в этом строе, в том, что поддерживает его: в военщине, в судах, податях, ложном учении и т. п., во-вторых, делать то, в чем одном человек всегда совершенно свободен: в душе своей заменить себялюбие и все, что вытекает из него — злобу, корысть, насилие и пр.,— любовью и всем тем, что вытекает из нее: разумностью, смирением, милосердием и пр. Как колеса машины нельзя повернуть силой, они все связаны с шестернями и другими колесами, а пустить и не пустить пар, который задвигает их, легко, так точно страшно трудно изменить самые внешние условия жизни, но быть добрым или злым легко. А это: быть добрым или злым — изменяет все внешние условия жизни».

Не участвовать. Заменить себялюбие любовью. Но опять-таки все это легко на бумаге. Впрочем, нет, и сердце человеческое принимает эти истины легко и радостно. Но на деле-то, на деле — все это трудно невероятно. Потому-то так и соблазнительны дорожки мира сего: куда бредешь, неведомо, но уж зато дел там невпроворот, и всё самых благородных и почетных. Не зря Толстой писал, что «изменение свойств людей должно начинаться с самого себя и требует много борьбы и труда, изменение же форм жизни других делается легко, без внутренней работы над самим собой и имеет вид очень важной, значительной деятельности» («К политическим деятелям»).

Да, на деле все очень трудно. И особенно тяжело — пробудиться, когда большая часть жизни уже прожита, и прожита в полном соответствии с установками мира сего (так это случилось и с самим Толстым). Тяжело обнаружить себя расслабленным чадом цивилизации, обнаружить, что стара-

ниями государства и своими собственными ты превращен в однофункционадьный винтик (с приложением дополнительной функции запасного военного раба), что тебя полжизни вскармливали и воспитывали компрачикосы, и урод получился — на заглядение, так что и самому смешно собственное безобразие. И каково это — осознать всю тяжесть пут, которые десятилетиями налагал на тебя мир, всю хитроумную крепость его узлов? И как вырваться? Вот ведь и Толстой, бывало, пытаясь распутать какой-нибудь узел, только еще сильнее его затягивал. И лишь за несколько дней до смерти — разрубил их все разом.

Словом, вопросы, с которых все начинается и которыми все заканчивается, самые трудные вопросы, остаются. И каждый человек разрешает их для себя сам, в меру своего разумения, в меру своих сил, и уже — не по книгам. И это — то самое, о чем писал Н. Н. Ге, воспламененный словом Толстого: да, радость, бесконечная радость, но тут же начинается то, что всегда преследует человека, и преследует до самой смерти.

О. ДОРОФЕЕВ

ИСПОВЕДЬ

(Вступление к ненапечатанному сочинению)

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новику объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцовать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еше больше, мог прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что как теперь, так и прежде вероучение, принятое по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу тает под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто долго живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено было ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты еще всё делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное бра

том, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указание на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, говорю о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди – самые коренные неверующие, потому что если вера для них – средство для достижения каких-нибудь житейских целей, то это уж наверно не вера.) Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога или, скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя – то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью,– единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно,– я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю – составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И всё это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

II

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни – и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался выказывать то, что составляло самые задушевные мои желания; то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужнею женщиной; «rien ne lorme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut»‘; еще другого счастия она желала мне,– того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспоминать об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого; меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше.

Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной *(фр.).*

Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное учение принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить,– в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учит. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт – писал, учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество, у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собою. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учители, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы –настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Всё это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – многие ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми,– от чина художника, поэта, учителя,– я не отрекся. Я наивно воображал, что

я – поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно,– возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать – как можно скорее, как можно больше, что всё это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И, не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно,– мы не знаем, что ответить, мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекликивая друг друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы всё еще больше и больше учили, учили и учили и никак не успевали всему научить, и всё сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь мне понятно. Настоящим, задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того, чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы – очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: всё, что существует, то разумно. Всё же, что существует, всё развивается. Развивается же всё посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пищем книги и газеты, и потому мы – самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили,– стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правым.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие,– называл всех сумасшедшими, кроме себя.

Ill

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучще жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом,– говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «куда держаться»,– если он, не отвечая на вопрос, скажет: «нас несет куда-то».

Тогда я не замечал этого. Только изредка – не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом,– что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно,– я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания.

Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. «Всё развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет». Так бы я тогда должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая мне уже резала глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят.

В сущности же я вертелся всё около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтоб учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности мне ясно было, что нельзя учить, не зная, чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтоб исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел в пятьдесят лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, не изданной еще мною и обещавшей мне спасение; это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое виляние в журнале, состоявшее всё в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически,– бросил всё и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремление к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучще.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то, что я считал писательство пустяками в продолжение этих пятнадцати лет, я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предался ему как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и обшей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что- то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить попрежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и всё в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом?

Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это всё известно и что если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда,– что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая всё на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, что это – смерть.

То же случилось и со мной. Я понял, что это – не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются всё те же

вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во- первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу, сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю – зачем, я не могу ничего делать. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?..» И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: «Зачем?» Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: «Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире,– ну и что ж!..»

И я ничего и ничего не мог ответить.

IV

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, то я вперед знал, что, удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет.

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это – обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения.

Жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отнощении. Я все

ми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться! Если не распутаюсь, то всегда успею, говорил я себе. И вот тогда я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу; я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем; это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках; телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми – десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так; жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она,– как я дурак-дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...»

Но есть ли, или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла

ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Всё это так давно всем известно. Не нынче-завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что всё это – только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он всё держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором от висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утещал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь – день и ночь – подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно – неизбежного дракона и мышей,– и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне; ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи,– я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное всё – ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины – любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством,– уже не сладки мне.

«Семья»...– говорил я себе;– но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины,– всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина – смерть.

«Искусство, поэзия?..» Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит всё – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидал, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хоть я и не умею выразить его,– отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить,– зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительно. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу, что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов и теней – комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни – потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна,– игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел дракона и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться.

Вот это было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что ожидает меня – знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог отогнать

его и не мог терпеливо ожидать конца. Как ни убедительно было рассуждение о том, что всё равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь, и всё кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

V

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколько раз говорил я себе.– Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи,– искал, как ищет погибающий человек спасенья,– и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние – бессмыслица жизни,– есть единственное несо;чненное знание, доступное человеку.

Я искал везде и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что, по связям своим с миром ученым, мне были доступны сами ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшиеся открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах,– я узнал всё то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, вглядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робел перед знанием, и мне казалось, что несоответственность ответов моим вопросам происходит не по вине знания, а от моего невежества; но дело было для меня не шуточное, не забава, а дело всей моей жизни, и я волей-неволей был приведен к убеждению, что вопросы мои – одни законные вопросы, служащие основой всякого знания, и что виноват не я с моими вопросами, а наука, если она имеет притязательность отвечать на эти вопросы.

Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца,– тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Во

прос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра,– что выйдет из всей моей жизни?»

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»

На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один – отрицательный, другой – положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни.

Один ряд знаний как бы и не признает вопроса, но зато ясно и точно отвечает на свои независимо поставленные вопросы: это – ряд знаний опытных, и на крайней точке их стоит математика; другой ряд знаний признает вопрос, но не отвечает на него: это – ряд знаний умозрительных, и на крайней их точке – метафизика.

С ранней молодости меня занимали умозрительные знания, но потом и математические и естественные науки привлекли меня, и пока я не поставил себе ясного своего вопроса, пока вопрос этот не вырос сам во мне, требуя настоятельно разрешения, до тех пор я удовлетворялся теми подделками ответов на вопрос, которые дает знание.

То, в области опытной, я говорил себе: «Всё развивается, дифференцируется, идет к усложнению и усовершенствованию, и есть законы, руководящие этим ходом. Ты – часть целого. Познав, насколько возможно, целое и познав закон развития, ты познаешь и свое место в этом целом, и самого себя». Как ни совестно мне признаться, но было время, когда я как будто удовлетворялся этим. Это было то самое время, когда я сам усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укреплялись, память обогащалась, способность мышления и понимания увеличивалась, я рос и развивался, и, чувствуя в себе этот рост, мне естественно было думать, что это-то и есть закон всего мира, в котором я найду разрешение и вопросов моей жизни. Но пришло время, когда рост во мне прекратился – я почувствовал, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабеют, зубы падают,– и я увидал, что этот закон не только ничего мне не объясняет, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принял за закон то, что нашел в себе в известную пору жизни. Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времe

ни всё развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется,– это значит ничего не сказать. Всё это – слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже.

Главное же то, что вопрос мой личный: что я такое с моими желаниями? – оставался уже совсем без ответа. И я понял, что знания эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знания обратно пропорционально их приложимости к вопросам жизни: чем менее они приложимы к вопросам жизни, тем они точнее и яснее, чем более они пытаются давать решения на вопросы жизни, тем более они становятся неясными и непривлекательными. Если обратишься к той отрасли этих знаний, которые пытаются давать решения на вопросы жизни,– к физиологии, психологии, биологии, социологии,– то тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданную притязательность на решение неподлежащих вопросов и беспрестанные противоречия одного мыслителя с другим и даже с самим собою. Если обратищься к отрасли знаний, не занимающихся раз- рещением вопросов жизни, но отвечающих на свои научные, специальные вопросы, то восхищаещься силой человеческого ума, но зна- ещь вперед, что ответов на вопросы жизни нет. Эти знания прямо игнорируют вопрос жизни. Они говорят: «На то, что ты такое и зачем ты живещь, мы не имеем ответов и этим не занимаемся; а вот если тебе нужно знать законы света, химических соединений, законы развития организмов, если тебе нужно знать законы тел, их форм и отнощение чисел и величин, если тебе нужно знать законы своего ума, то на всё это у нас есть ясные, точные и несомненные ответы».

Вообще отношение наук опытных к вопросу жизни может быть выражено так: Вопрос: Зачем я живу? – Ответ: В бесконечно большом пространстве, в бесконечно долгое время, бесконечно малые частицы видоизменяются в бесконечной сложности, и когда ты поймешь законы этих видоизменений, тогда поймешь, зачем ты живешь.

То, в области умозрительной, я говорил себе: «Всё человечество живет и развивается на основании духовных начал, ***идеалов,*** руководящих его. Эти идеалы выражаются в религиях, в науках, искусствах, формах государственности. Идеалы эти всё становятся выше и выше, и человечество идет к высшему благу. Я – часть человечества, и потому призвание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время слабоумия своего удовлетворялся этим; но как скоро ясно восстал во мне вопрос жизни, вся эта теория мгновенно рушилась. Не гово

ря о той недобросовестной неточности, при которой знания этого рода выдают выводы, сделанные из изучения малой части человечества, за общие выводы, не говоря о взаимной противоречивости разных сторонников этого воззрения о том, в чем состоят идеалы человечества,– странность, чтобы не сказать – глупость, этого воззрения состоит в том, что для того, чтоб ответить на вопрос, предстоящий каждому человеку: «что я такое» или: «зачем я живу», или: «что мне делать»,– человек должен прежде разрешить вопрос: «что такое жизнь всего неизвестного ему человечества, из которой ему известна одна крощечная часть в один крошечный период времени». Для того чтобы понять, что он такое, человек должен прежде понять, что такое всё это таинственное человечество, состоящее из таких же людей, как и он сам, не понимающих самих себя.

Должен сознаться, что было время, когда я верил этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшие мои прихоти, и я старался придумать такую теорию, по которой я мог бы смотреть на свои прихоти, как на закон человечества. Но как скоро восстал в моей душе вопрос жизни во всей ясности, ответ этот тотчас же разлетелся прахом. И я понял, что как в науках опытных есть настоящие науки и полунауки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы, так и в этой области я понял, что есть целый ряд самых распространенных знаний, старающихся отвечать на не подлежащие вопросы. Полунауки этой области – науки юридические, социальные, исторические – пытаются разрешать вопросы человека тем, что они мнимо, каждая по-своему разрешают вопрос жизни всего человечества.

Но как в области опытных знаний человек, искренно спрашивающий, как мне жить, не может удовлетвориться ответом: изучи в бесконечном пространстве бесконечные по времени и сложности изменения бесконечных частиц, и тогда ты поймешь свою жизнь, точно так же не может искренний человек удовлетвориться ответом: изучи жизнь всего человечества, которого ни начала, ни конца мы не можем знать и малой части которого мы не знаем, и тогда ты поймешь свою жизнь. И точно так же, как в полунауках опытных, и эти полунауки тем более исполнены неясностей, неточностей, глупостей и противоречий, чем далее они уклоняются от своих задач. Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторические, и получается чепуха.

Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука – тогда только наука и являет величие человеческого ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы,– метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что *я* есть та же сущность; но зачем она, он не знает, и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спращиваю: Зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а сама только это и спращивает. И если она – истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: «что такое я и весь мир?» – «всё и ничто»; а на вопрос: «зачем существует мир и зачем существую я?» – «не знаю».

Так что, как я ни верти теми умозрительными ответами философии, я никак не получу ничего похожего на ответ,– и не потому, что, как в области ясной, опытной, ответ относится не до моего вопроса, а потому, что тут, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопрос, ответа нет, и вместо ответа получается тот же вопрос, только в усложненной форме.

VI

В поисках за ответами на вопрос жизни я испытал совершенно то же чувство, которое испытывает заблудившийся в лесу человек.

Вышел на поляну, влез на дерево и увидал ясно беспредельные пространства, но увидал, что дома там нет и не может быть; пошел в чащу, во мрак, и увидал мрак, и тоже нет и нет дома.

Так я блуждал в этом лесу знаний человеческих между просветами знаний математических и опытных, открывавших мне ясные горизонты, но такие, по направлению которых не могло быть дома, и между мраком умозрительных знаний, в которых я погружался тем в больший мрак, чем дальше я подвигался, и убедился, наконец, в том, что выхода нет и не может быть.

Отдаваясь светлой стороне знаний, я понимал, что я только отвожу себе глаза от вопроса. Как ни заманчивы, ясны были горизонты, открывавшиеся мне, как ни заманчиво было погружаться в бесконечность этих знаний, я понимал уже, что они, эти знания, тем более ясны, чем менее они мне нужны, чем менее отвечают на вопрос.

Ну, я знаю,– говорил я себе,– всё то, что так упорно желает знать наука, а ответа на вопрос о смысле моей жизни на этом пути нет. В умозрительной же области я понимал, что, несмотря на то, или именно потому, что цель знания была прямо направлена на ответ моему вопросу, ответа нет иного, как тот, который я сам дал себе: Какой смысл моей жизни? – Никакого.– Или: Что выйдет из моей жизни? – Ничего.– Или: Зачем существует всё то, что существует, и зачем я существую? – Затем, что существует.

Спрашивая у одной стороны человеческих знаний, я получал бесчисленное количество точных ответов о том, о чем я не спрашивал: о химическом составе звезд, о движении солнца к созвездию Геркулеса, о происхождении видов и человека, о формах бесконечно малых атомов, о колебании бесконечно малых невесомых частиц эфира; но ответ в этой области знаний на мой вопрос: в чем смысл моей жизни? – был один: ты – то, что ты называешь твоей жизнью, ты – временное, случайное сцепление частиц. Взаимное воздействие, изменение этих частиц производит в тебе то, что ты называешь твоею жизнью. Сцепление это продержится некоторое время; потом взаимодействие этих частиц прекратится – и прекратится то, что ты называешь жизнью, прекратятся и все твои вопросы. Ты – случайно слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение это комочек называет своею жизнью. Комочек рас- скочится – и кончится прение и все вопросы. Так отвечает ясная сторона знаний и ничего другого не может сказать, если она только строго следует своим основам.

При таком ответе оказывается, что ответ отвечает не на вопрос. Мне нужно знать смысл моей жизни, а то, что она есть частица бесконечного, не только не придает ей смысла, но уничтожает всякий возможный смысл.

Те же неясные сделки, которые делает эта сторона опытного, точного знания с умозрением, при которых говорится, что смысл жизни состоит в развитии и содействии этому развитию, по неточности и неясности своей не могут считаться ответами.

Другая сторона знания, умозрительная, когда она строго держится своих основ, прямо отвечая на вопрос, везде и во все века отвечает и отвечала одно и то же: мир есть что-то бесконечное и непонятное. Жизнь человеческая есть непостижимая часть этого

непостижимого «всего». Опять я исключаю все те сделки между умозрительными и опытными знаниями, которые составляют весь балласт полунаук, так называемых юридических, политических, исторических. В эти науки опять так же неправильно вводятся понятия развития, совершенствования с тою только разницей, что там – развитие всего, а здесь – жизни людей. Неправильность одна и та же: развитие, совершенствование в бесконечном не может иметь ни цели, ни направления и по отношению к моему вопросу ничего не отвечает.

Там же, где умозрительное знание точно, именно в истинной философии, не в той, которую Шопенгауэр называл профессорской философией, служашей только к тому, чтобы распределить все существующие явления по новым философским графам и назвать их новыми именами,– там, где философ не упускает из вида существующий вопрос, ответ всегда один и тот же,– ответ, данный Сократом, Шопенгауэром, Соломоном, Буддой.

«Мы приблизимся к истине только настолько, насколько мы удалимся от жизни,– говорит Сократ, готовясь к смерти.– К чему мы, любящие истину, стремимся в жизни? – К тому, чтоб освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам?»

«Мудрец всю жизнь ищет смерть, и потому смерть не страшна ему».

«Познавши внутреннюю сущность мира как волю,– говорит Шопенгауэр,– и во всех явлениях, от бессознательного стремления темных сил природы до полной сознанием деятельности человека, признавши только предметность этой воли, мы никак не избежим того следствия, что вместе с свободным отрицанием, самоуничтожением воли исчезнут и все те явления, то постоянное стремление и влечение без цели и отдыха на всех ступенях предметности, в котором и через которое состоит мир, исчезнет разнообразие последовательных форм, исчезнут вместе с формой все ее явления с своими общими формами, пространством и временем, а наконец и последняя основная его форма – субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет и мира. Перед нами, конечно, остается только ничто. Но то, что противится этому переходу в ничтожество, наша природа есть ведь только эта самая воля к существованию (Wille zum Leben), составляющая нас самих, как и наш мир. Что мы так страшимся ничтожества, или, что то же, так хотим жить – означает только, что мы сами не что иное, как это хотение жизни, и ничего не знаем, кроме него. Поэтому то, что останется по совершенном уничтожении воли для нас, которые еще полны волей, есть, конечно, ничто; но и, наоборот, для тех, в которых воля

обратилась и отреклась от себя, для них этот наш столь реальный мир, со всеми его солнцами и млечными путями, ***есть нечто».***

«Суета сует,– говорит Соломон,– суета сует – всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род преходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят; «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию всё, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтоб они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё суета и томление духа... Говорил я в сердце моем так: вот я возвеличился, приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания – умножает скорбь.

Сказал я в сердце моем; дай испытаю я тебя веселием и наслаж- дусь добром; но и это – суета. О смехе сказал я; глупость, а о веселии: что оно делает? Вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое и, между тем как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни своей жизни. Я предпринял большие дела: построил себе домы, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселия. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И оглянулся я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Но узнал я, что одна

участь постигает их всех. И сказал я в сердце своем: и меня постигнет та же участь, как и глупого,– к чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это – суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни всё будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым! И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем, ибо всё – суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это – суета. Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего...

Всему и всем – одно; одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые не знают ничего, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

Так говорит Соломон или тот, кто писал эти слова.

А вот что говорит индийская мудрость:

Сакиа-Муни, молодой счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выспрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние? И когда он узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтоб обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека, с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что

это такое. И когда он узнает, что это – болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам, здоровый и счастливый царевич, завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения и, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять; но в третий раз он видит еще новое зрелище; он видит, что несут что-то.– «Что это?» – Мертвый человек.– «Что значит мертвый?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек.– Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него.– «Что же будет с ним дальше?» – спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю.– «Зачем?»– Затем, что он уже наверно не будет больше никогда живой, а только будет от него смрад и черви.– «И это удел всех людей? И со мною то же будет? Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви?» – Да.– «Назад! Я не еду гулять, и никогда не поеду больше».

И Сакиа-Муни не мог найти утешения в жизни, и он решил, что жизнь – величайшее зло, и все силы души употребил на то, чтоб освободиться от нее и освободить других. И освободить так, чтоб и после смерти жизнь не возобновлялась как-нибудь, чтоб уничтожить жизнь совсем, в корне. Это говорит вся индийская мудрость.

Так вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

«Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его»,– говорит Сократ.

«Жизнь есть то, чего не должно бы быть,– зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни»,– говорит Шопенгауэр.

«Всё в мире – и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе – всё суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо»,– говорит Соломон.

«Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя – надо освободить себя от жизни, от всякой возможности.жизни»,– говорит Будда.

И то, что сказали эти сильные умы, говорили, думали и чувствовали миллионы миллионов людей, подобных им. И думаю и чувствую и я.

Так что блуждание мое в знаниях не только не вывело меня из моего отчаяния, но только усилило еГо. Одно знание не отвечало на вопросы жизни, другое же знание ответило, прямо подтверждая мое отчаяние и указывая, что то, к чему я пришел, не есть плод моего заблуждения, болезненного состояния ума,– напротив, оно

подтвердило мне то, что я думал верно и сошелся с выводами сильнейших умов человечества.

Обманывать себя нечего. Всё – суета. Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; надо избавиться от нее.

VII

Не найдя разъяснения в знании, я стал искать этого разъяснения в жизни, надеясь в людях, окружающих меня, найти его, и я стал наблюдать людей – таких же, как я, как они живут вокруг меня и как они относятся к этому вопросу, приведшему меня к отчаянию.

И вот что я нашел у людей, находящихся в одном со мною положении по образованию и образу жизни.

Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица. Люди этого разряда – большею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди – еще не поняли того вопроса жизни, который представился Шопенгауэру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающего их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли меда только до времени; что-нибудь обратит их внимание на дракона и мышей, и – конец их лизанью. От них мне нечему научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь.

Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попалось много. Соломон выражает этот выход так;

«И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться; это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем.

Итак, иди ешь с веселием хлеб твой и пей в радости сердца вино твое... Наслаждайся жизнью с ***женщиною,*** которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что это – доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем... Всё, что может рука твоя по силам делать, делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Этого второго вывода придерживается большинство людей нашего круга. Условия, в которых они находятся, делают то, что благ

у них больше, чем зол, а нравственная тупость дает им возможность забывать, что выгода их положения случайна, что всем нельзя иметь 1000 женщин и дворцов, как Соломон, что на каждого человека с 1000 жен есть 1000 людей без жен, и на каждый дворец есть 1000 людей, в поте лица строящих его, и что та случайность, которая нынче сделала меня Соломоном, завтра может сделать меня рабом Соломона. Тупость же воображения этих людей дает им возможность забывать про то, что не дало покоя Будде – неизбежность болезни, старости и смерти, которая не нынче-завтра раз- рущит все эти удовольствия. То, что некоторые из этих людей утверждают, что тупость их мысли и воображения есть философия, которую они называют позитивной, не выделяет их, на мой взгляд, из разряда тех, которые, не видя вопроса, лижут мед. И этим людям я не мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог ее искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может всякий живой человек, оторвать глаз от мыщей и дракона, когда он раз увидал их.

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее. Так поступают редкие сильные и последовательные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыграна, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту глупую шутку, благо есть средства; петля на шею, вода, нож, чтоб им проткнуть сердце, поезды на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится всё больше и больше. И поступают люди так большею частью в самый лучший период жизни, когда силы души находятся в самом расцвете, а унижающих человеческий разум привычек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный выход, и хотел поступить так.

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, не имея сил поступить разумно – поскорее кончить обман и убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не отдаться лучшему?.. Я находился в этом разряде.

Так люди моего разбора четырьмя путями спасаются от ужасного противоречия. Сколько я ни напрягал своего умственного внимания, кроме этих четырех выходов я не видал еще иного. Один выход; не понимать того, что жизнь есть бессмыслица, суета и зло и что лучше не жить. Я не мог не знать этого и, когда раз узнал, не мог закрыть на это глаза. Другой выход – пользоваться жизнью такою, какая есть, не думая о будущем. И этого не мог сделать.

я, как Сакиа-Муни, не мог ехать на охоту, когда знал, что есть старость, страдания, смерть. Воображение у меня было слишком живо. Кроме того, я не мог радоваться минутной случайности, кинувшей на мгновение наслаждение на мою долю. Третий выход; поняв, что жизнь есть зло и глупость, прекратить, убить себя. Я понял это, но почему-то всё еще не убивал себя. Четвертый выход – жить в положении Соломона, Шопенгауэра – знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мною шутка, и все-таки жить, умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книжки писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался в этом положении.

Теперь я вижу, что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моей мысли и мыслей мудрых, приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения.

Оно было такое: Я, мой разум – признали, что жизнь неразумна. Если нет высшего разума (а его нет, и ничего доказать его не может), то разум есть творец жизни для меня. Не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Как же этот разум отрицает жизнь, а он сам творец жизни? Или, с другой стороны; если бы не было жизни, не было бы и моего разума,– стало быть, разум есть сын жизни. Жизнь есть всё. Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Жизнь есть бессмысленное зло, это несомненно,– говорил я себе.– Но я жил, живу еще, и жило и живет всё человечество. Как же так? Зачем же оно живет, когда может не жить? Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни?

Рассуждение о суете жизни не так хитро, и его делают давно и все самые простые люди, а жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни?

Мое знание, подтвержденное мудростью мудрецов, открыло мне, что всё на свете – органическое и неорганическое – всё необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки – огромные массы простых людей – ничего не знают насчет того, как всё органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена!

И мне приходило в голову; а что как я чего-нибудь еще не знаю? Ведь точно так поступает незнание. Незнание ведь всегда это самое говорит. Когда оно не знает чего-нибудь, оно говорит, что глупо то, чего оно не знает. В самом деле выходит так, что есть человечество целое, которое жило и живет, как будто понимая смысл своей жиз

ни, ибо, не понимая его, оно не могло бы жить, а я говорю, что вся эта жизнь бессмыслица, и не могу жить.

Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя – и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь, убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришел в веселую компанию, всем очень хорошо, все знают, что они делают, а тебе скучно и противно, так уйди.

Ведь в самом деле, что же такое мы, убежденные в необходимости самоубийства и не решающие совершить его, как не самые слабые, непоследовательные и, говоря попросту, глупые люди, носящиеся с своею глупостью, как дурак с писаной торбой?

Ведь наша мудрость, как ни несомненно верна она, не дала нам знания смысла нашей жизни. Всё же человечество, делающее жизнь, миллионы – не сомневаются в смысле жизни.

В самом деле, с тех давних, давних пор, как есть жизнь, о которой я что-нибудь да знаю, жили люди, зная то рассуждение о тщете жизни, которое мне показало ее бессмыслицу, и все-таки жили, придавая ей какой-то смысл. С тех пор как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Всё, что есть во мне и около меня, всё это – плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, всё это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они – бессмыслица! «Тут что-то не так,– говорил я себе.– Где-нибудь я ошибся». Но в чем была ошибка, я никак не мог найти.

VIII

Все эти сомнения, которые теперь я в состоянии высказать более или менее связно, тогда я не мог бы высказать. Тогда я только чувствовал, что, как ни логически неизбежны были мои, подтверждаемые величайшими мыслителями, выводы о тщете жизни, в них было что-то неладно. В самом ли рассуждении, в постановке ли вопроса, я не знал; я чувствовал только, что убедительность разумная была совершенная, но что ее было мало. Все эти доводы не могли убедить меня так, чтоб я сделал то, что вытекало из моих рассуждений, т. е. чтоб я убил себя. И я бы сказал неправду, если бы

сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел, и не убил себя. Разум работал, но работало и еще что-то другое, что я не могу назвать иначе, как сознанием жизни. Работала еще та сила, которая заставляла меня обращать внимание на то, а не на это, и эта-то сила и вывела меня из моего отчаянного положения и совершенно иначе направила разум. Эта сила заставила меня обратить внимание на то, что я с сотнями подобных мне людей не есть всё человечество, что жизни человечества я еще не знаю.

Оглядывая тесный кружок сверстных мне людей, я видел только людей, не понимавщих вопроса, понимавщих и заглушавщих вопрос пьянством жизни, понявших и прекращавших жизнь и понявших и по слабости доживавших отчаянную жизнь. И я не видал иных. Мне казалось, что тот тесный кружок ученых, богатых и досужих людей, к которому я принадлежал, составляет всё человечество, а что те миллиарды живших и живых, это – ***так,*** какие-то скоты – не люди.

Как ни странно, ни неимоверно-непонятно кажется мне теперь то, как мог я, рассуждая про жизнь, просмотреть окружавшую меня со всех сторон жизнь человечества, как я мог до такой степени смешно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя, Соломонов и Шопенгауэров есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь миллиардов есть не стоящее внимания обстоятельство, как ни странно это мне теперь, я вижу, что это было так. В заблуждении гордости своего ума мне так казалось несомненным, что мы с Соломоном и Шопенгауэром поставили вопрос так верно и истинно, что другого ничего быть не может, так несомненно казалось, что все эти миллиарды принадлежат к тем, которые еще не дошли до постижения всей глубины вопроса, что я искал смысла своей жизни и ни разу не подумал; «да какой же смысл придают и придавали своей жизни все миллиарды, жившие и живущие на свете?»

Я долго жил в этом сумасшествии, особенно свойственном, не на словах, но на деле, нам – самым либеральным и ученым людям. Но благодаря ли моей какой-то странной физической любви к на- стояшему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидать, что он не так глуп, как мы думаем, или благодаря искренности моего убеждения в том, что я ничего не могу знать, как то, что самое лучшее, что я могу сделать – это повеситься, я чуял, что если я хочу жить и понимать смысл жизни, то искать этого смысла жизни мне надо не у тех, которые потеряли смысл жизни и хотят убить себя, а у тех миллиардов отживших и живых людей, которые делают жизнь и на себе несут свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей и увидал совершенно другое. Я увидал, что все эти

миллиарды живших и живущих людей, все, за редким исключением, не подходят к моему делению, что признать их не понимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставят его и с необыкновенной ясностью отвечают на него. Признать их эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь их слагается больше из лишений и страданий, чем наслаждений; признать же их неразумно доживающими бессмысленную жизнь могу еще меньше, так как всякий акт их жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считают величайшим злом. Оказывалось, что у всего человечества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знание смысла жизни. Выходило то, что знание разумное не дает смысла жизни, исключает жизнь; смысл же, придаваемый жизни миллиардами людей, всем человечеством, зиждется на каком-то презренном, ложном знании.

Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает смысл жизни, а огромные массы людей, всё человечество – признают этот смысл в неразумном знании. И это неразумное знание есть вера, та самая, которую я не мог не откинуть. Это бог 1 и 3, это творение в 6 дней, дьяволы и ангелы и всё то, чего я не могу принять, пока я не сошел с ума.

Положение мое было ужасно. Я знал, что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни, а там в вере – ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. По разумному знанию выходило так, что жизнь есть зло, и люди знают это, от людей зависит не жить, а они жили и живут, и сам я жил, хотя и знал уже давно то, что жизнь бессмысленна и есть зло. По вере выходило, что для того, чтобы понять смысл жизни, я должен отречься от разума, того самого, для которого нужен смысл.

IX

Выходило противоречие, из которого было только два выхода; или то, что я называл разумным, не было так разумно, как я думал; или то, что мне казалось неразумно, не было так неразумно, как я думал. И я стал проверять ход рассуждений моего разумного знания.

Проверяя ход рассуждений разумного знания, я нашел его совершенно правильным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, был неизбежен; но я увидал ошибку. Ошибка была в том, что я мыслил несоответственно поставленному мною вопросу. Вопрос был тот; зачем мне жить, т. е. что выйдет настоящего, не уничтожающего из моей призрачной, уничтожающейся жизни, какой смысл имеет мое

конечное существование в этом бесконечном мире? И чтоб ответить на этот вопрос, я изучал жизнь.

Решения всех возможных вопросов жизни, очевидно, не могли удовлетворять меня, потому что мой вопрос, как он ни прост кажется сначала, включает в себя требование объяснения конечного бесконечным и наоборот.

Я спрашивал: какое вневременное, внепричинное, внепространственное значение моей жизни? – А отвечал я на вопрос: какое временное, причинное и пространственное значение моей жизни? Вышло то, что после долгого труда мысли я ответил: никакого.

В рассуждениях моих я постоянно приравнивал, да и не мог поступить иначе, конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, а потому у меня и выходило, что и должно было выходить: сила есть сила, вещество есть вещество, воля есть воля, бесконечность есть бесконечность, ничто есть ничто, и дальше ничего не могло выйти.

Было что-то подобное тому, что бывает в математике, когда, думая решать уравнение, решаешь тожество. Ход размышления правилен, но в результате получается ответ: а = а, или х = х, или О = 0. То же самое случилось и с моим рассуждением по отношению к вопросу о значении моей жизни. Ответы, даваемые всей наукой на этот вопрос,– только тожества.

И действительно, строго разумное знание, то знание, которое, как это сделал Декарт, начинает с полного сомнения во всем, откидывает всякое допущенное на веру знание и строит всё вновь на законах разума и опыта,– и не может дать иного ответа на вопрос жизни, как тот самый, который я и получил,– ответ неопределенный. Мне только показалось сначала, что знание дало положительный ответ – ответ Шопенгауэра: жизнь не имеет смысла, она есть зло. Но, разобрав дело, я понял, что ответ не положительный, что мое чувство только выразило его так. Ответ же строго выраженный, как он выражен и у браминов, и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тожество: 0 = 0, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто. Так что знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным.

Поняв это, я понял, что и нельзя было искать в разумном знании ответа на мой вопрос и что ответ, даваемый разумным знанием, есть только указание на то, что ответ может быть получен только при иной постановке вопроса, только тогда, когда в рассуждение будет введен вопрос отношения конечного к бесконечному. Я понял и то, что, как ни неразумны и уродливы ответы, даваемые верою,

они имеют то преимущество, что вводят в каждый ответ отношение конечного к бесконечному, без которого не может быть ответа. Как я ни поставлю вопрос: как мне жить? – ответ: по закону Божию.– Что выйдет настоящего из моей жизни? – Вечные мучения или вечное блаженство.– Какой смысл, не уничтожаемый смертью? – Соединение с бесконечным Богом, рай.

Так что, кроме разумного знания, которое мне прежде представлялось единственным, я был неизбежно приведен к признанию того, что у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить. Вся неразумность веры оставалась для меня та же, как и прежде, но я не мог не признать того, что она одна дает человечеству ответы на вопросы жизни и, вследствие того, возможность жить.

Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна, жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на всё человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся: я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера.

Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера, с тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.

Какие бы и кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного,– смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни. И я понял, что вера в самом существенном своем значении не есть только «обличение вещей невидимых» и т. д., не есть откровение (это есть только описание одного из признаков веры), не есть только отношение человека к Богу (надо определить веру, а потом Бога, а не через Бога определить веру), не есть только согласие с тем, что сказали человеку, как чаще всего понимается вера,– вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Если он не видит и не понимает призрачности конечного, он верит в это конечное; если он понимает призрачность конечного, он должен верить в бесконечное. Без веры нельзя жить.

И я вспомнил весь ход своей внутренней работы и ужаснулся. Теперь мне было ясно, что для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение

смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы бесконечному. Такое объяснение у меня было, но оно мне было не нужно, пока я верил в конечное, и я стал разумом проверять его. И перед светом разума всё прежнее объяснение разлетелось прахом. Но пришло время, когда я перестал верить в конечное. И тогда я стал на разумных основаниях строить из того, что я знал, такое объяснение, которое дало бы смысл жизни; но ничего не построилось. Вместе с лучшими умами человечества я пришел к тому, что 0 = 0, и очень удивился, что получил такое решение, тогда как ничего иного и не могло выйти.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях опытных? – Я хотел узнать, зачем я живу, и для этого изучал всё то, что вне меня. Ясно, что я мог узнать многое, но ничего из того, что мне нужно.

Что я делал, когда я искал ответа в знаниях философских? Я изучал мысли тех существ, которые находились в том же самом положении, как и я, которые не имели ответа на вопрос; зачем я живу. Ясно, что я ничего и не мог узнать иного, как то, что я сам знал, что ничего знать нельзя.

Что такое я? – часть бесконечного. Ведь уже в этих двух словах лежит вся задача. Неужели этот вопрос только со вчерашнего дня сделало себе человечество? И неужели никто для меня не сделал себе этого вопроса – вопроса такого простого, просящегося на язык каждому умному дитяти?

Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понятно, что для рещения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор как люди есть, отысканы от- нощения конечного к бесконечному и выражены.

Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия Бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.

Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.

Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов,– разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем,– это-то разреше

ние мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.

Понятия бесконечного Бога, божественности души, связи дел людских с Богом, понятия нравственного добра и зла – суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу всё сам один сделать по-новому и по-своему.

Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа,– а я так люблю всё разумное,– то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за щестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет О = О, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.

X

Я понимал это, но от этого мне было не легче.

Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.

Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам- старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни.

Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей,– я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.

Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в

сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.

Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей,– не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать всё, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.

Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видел такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.

И я понял, что вера этих людей – не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы всё человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.

И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христиан

ским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой: суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий,– они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде, и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойною и твердою уверенностью в том, что всё это должно быть и не может быть иначе, что всё это – добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытываюших при этом величайшее счастье,– многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противуположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.

И я полюбил этих людей. Чем больше я вникал в их жизнь живых людей и жизнь таких же умерших людей, про которых читал и

слышал, тем больше я любил их, и тем легче мне самому становилось жить. Я жил так года два, и со мной случился переворот, который давно готовился во мне и задатки которого всегда были во мне. Со мной случилось то, что жизнь нашего круга – богатых, ученых – не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука, искусства – всё это предстало мне как баловство. Я понял, что искать смысла в этом нельзя. Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его.

XI

И вспомнив то, как те же самые верования отталкивали меня и казались бессмысленными, когда их исповедывали люди, жившие противно этим верованиям, и как эти же самые верования привлекли меня и показались мне разумными, когда я видел, что люди живут ими,– я понял, почему я тогда откинул эти верования и почему нашел их бессмысленными, а теперь принял их и нашел полными смысла. Я понял, что я заблудился и как я заблудился. Я заблудился не столько оттого, что неправильно мыслил, сколько оттого, что я жил дурно, я понял, что истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее. Я понял, что мой вопрос о том, что есть моя жизнь, и ответ: зло,– был совершенно правилен. Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще; я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица. И точно, моя жизнь – жизнь потворства похоти – была бессмысленна и зла, и потому ответ: «жизнь зла и бессмысленна» – относился только к моей жизни, а не к жизни людской вообще. Я понял ту истину, впоследствии найденную мною в Евангелии, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже – разум для того, чтобы понять ее. Я понял, почему я так долго ходил около такой очевидной истины, и что если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как 2 X 2 = 4, но я не признавал ее, потому что, признав 2x2 = 4, я бы должен был признать то, что я нехорош. А чувствовать себя

хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем 2 х 2 = 4. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину. Теперь мне всё ясно стало.

Что, если бы палач, проводящий жизнь в пытках и отсечении голов, или мертвый пьяница, или сумасшедший, засевший на всю жизнь в темную комнату, осадивший эту свою комнату и воображающий, что он погибнет, если выйдет из нее,– что, если б они спросили себя: что такое жизнь? Очевидно, они не могли бы получить на вопрос: что такое жизнь,– другого ответа, как тот, что жизнь есть величайшее зло; и ответ сумасшедшего был бы совершенно правилен, но для него только. Что, как я такой же сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые люди, такие же сумасшедшие?

И я понял, что мы действительно такие сумасшедшие. Я-то уж наверное был такой сумасшедший. И в самом деле, птица существует так, что она должна летать, собирать пищу, строить гнезда, и когда я вижу, что птица делает это, я радуюсь ее радостью. Коза, заяц, волк существуют так, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они делают это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь их разумна. Что же должен делать человек? Он должен точно так же добывать жизнь, как и животные, но с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один,– ему надо добывать ее не для себя, а для всех. И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна. Что же я делал во всю мою тридцатилетнюю сознательную жизнь? – Я не только не добывал жизни для всех, я и для себя не добывал ее. Я жил паразитом и, спросив себя, зачем я живу, получил ответ: низачем. Если смысл человеческой жизни в том, чтобы добывать ее, то как же я, тридцать лет занимавшийся тем, чтобы не добывать жизнь, а губить ее в себе и других, мог получить другой ответ, как не тот, что жизнь моя есть бессмыслица и зло? Она и была бессмыслица и зло.

Жизнь мира совершается по чьей-то воле,– кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнить ее – делать то, чего от нас хотят. А если я не буду делать того, чего хотят от меня, то и не пойму никогда и того, чего хотят от меня, а уж тем менее – чего хотят от всех нас и от всего мира.

Если голого, голодного нищего взяли с перекрестка, привели в крытое место прекрасного заведения, накормили, напоили и заставили двигать вверх и вниз какую-то палку, то очевидно, что прежде, чем разбирать, зачем его взяли, зачем двигать палкой, разумно ли устройство всего заведения, нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если он будет двигать палкой, тогда он поймет, что

палка эта движет насос, что насос накачивает воду, что вода идет по грядкам; тогда его выведут из крытого колодца и поставят на другое дело, и он будет собирать плоды и войдет в радость господина своего и, переходя от низшего дела к высшему, всё дальше и дальше понимая устройство всего заведения и участвуя в нем, никогда и не подумает спрашивать, зачем он здесь, и уж никак не станет упрекать хозяина.

Так и не упрекают хозяина те, которые делают его волю, люди простые, рабочие, неученые, те, которых мы считаем скотами; а мы вот, мудрецы, есть едим всё хозяйское, а делать не делаем того, чего от нас хочет хозяин, и вместо того, чтобы делать, сели в кружок и рассуждаем: «Зачем это двигать палкой? Ведь это глупо». Вот и додумались. Додумались до того, что хозяин глуп или его нет, а мы умны, только чувствуем, что никуда не годимся, и надо нам как-нибудь самим от себя избавиться.

XII

Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни; но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидать жизнь настоящую простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью и, приняв тот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его.

В это же время со мною случилось следующее. Во всё продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя: не кончить ли петлей или пулей,– но всё это время, рядом с теми ходами мыслей и наблюдений, о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога.

Я говорю, что это искание Бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей,– оно было даже прямо противоположно им,– но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь.

Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия Божия (Кант доказал мне, и я вполне понял его, что доказать этого нельзя), я все-таки искал Бога, надеялся на то, что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к

тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме доводы Канта и Шопенгауэра о невозможности доказательства бытия Божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина, и причина причин. И эта причина всего есть то, что называют Богом; и я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я сознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так тотчас же я чувствовал возможность жизни. Но я спрашивал себя: «Что же такое эта причина, эта сила? Как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю Богом?» И только знакомые мне ответы приходили мне в голову: «Он – творец, промыслитель». Ответы эти не удовлетворяли меня, и я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтоб он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет Бога, я говорил: «Господи, помилуй, спаси меня! Господи, научи меня. Бог мой!» Но никто не миловал меня, и я чувствовал, что жизнь моя останавливается.

Но опять и опять с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода, причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? – Опять Бог.

«Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть»,– говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования Бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот Бог, наш творец, в трех лицах, приславший сына – искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня Бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И, что было хуже всего, я чувствовал, что и этого я не могу сделать.

Не два, не три раза, а десятки, сотни раз приходил я в эти положения – то радости и оживления, то опять отчаяния и сознания невозможности жизни.

Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал всё об одном, как я постоянно думал всё об одном и том же эти последние три года. Я опять искал Бога.

«Хорошо, нет никакого Бога,– говорил я себе,– нет такого, который бы был не мое представление, но действительность такая же, как вся моя жизнь; нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление, да еще неразумное».

«Но понятие мое о Боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя.– Понятие-то это откуда взялось?» И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Всё вокруг меня ожило, получило смысл. Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. «Понятие Бога – не Бог,– сказал я себе.– Понятие есть то, что происходит во мне, понятие о Боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь». И опять всё стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя.

Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходивщие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе; стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос.– Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь.

«Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога». И сильнее чем когда-нибудь всё осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня.

И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая,– та самая, которая влекла меня на первых порах

моей жизни. Я вернулся во всем к самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего всё человечество, т. е. я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда всё это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить.

Со мной случилось как будто вот что; Я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал, как умел, веслами и плыл; но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели, и тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести; были пловцы, побросавшие весла; были большие лодки, огромные корабли, полные народом; одни бились с течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон с весельем и ликованием вокруг меня неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. И я поверил им и поплыл с ними. И меня далеко отнесло, так далеко, что я услыхал шум порогов, в которых я должен был разбиться, и увидал лодки, разбившиеся в них. И я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось, я видел перед собой одну погибель, к которой я бежал и которой боялся, нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение, вспомнил о береге, о веслах и направлении и стал выгребаться назад вверх по течению и к берегу.

Берег – это был Бог, направление – это было предание, весла – это была данная мне свобода выгрестись к берегу – соединиться с Богом. Итак, сила жизни возобновилась во мне, и я опять начал жить.

я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым. Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе, и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах. Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу. Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано у нашего не раскольничьего народа, среди которого я жил, много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я. Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял всё, ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел, и первое время разум мой не противился ничему. То самое, что прежде казалось мне невозможным, теперь не возбуждало во мне противления.

Отнощение мое к вере теперь и тогда было совершенно различное. Прежде сама жизнь казалась мне исполненной смысла, и вера представлялась произвольным утверждением каких-то совершенно ненужных мне неразумных и не связанных с жизнью положений. Я спросил себя тогда, какой смысл имеют эти положения, и, убедившись, что они не имеют его, откинул их. Теперь же, напротив, я твердо знал, что жизнь моя не имеет и не может иметь никакого смысла, и положения веры не только не представлялись мне ненужными, но я несомненным опытом был приведен к убеждению, что только эти положения веры дают смысл жизни. Прежде я смотрел на них как на совершенно ненужную тарабарскую грамоту, теперь же, если я не понимал их, то знал, что в них смысл, и говорил себе, что надо учиться понимать их.

Я делал следующее рассуждение. Я говорил себе: знание веры вытекает, как и всё человечество с его разумом, из таинственного

начала. Это начало есть Бог, начало и тела человеческого, и его разума. Как преемственно от Бога дошло до меня мое тело, так дошли до меня мой разум и мое постигновение жизни, и потому все те ступени развития этого постигновения жизни не могут быть ложны. Всё то, во что истинно верят люди, должно быть истина; она может быть различно выражаема, но ложью она не может быть, и потому если она мне представляется ложью, то это значит только то, что я не понимаю ее. Кроме того, я говорил себе: сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Естественно, что для того, чтобы вера могла отвечать на вопрос умирающего в роскоши царя, замученного работой старика-раба, несмышленого ребенка, мудрого старца, полоумной старухи, молодой счастливой женщины, мятущегося страстями юноши, всех людей при самых разнообразных условиях жизни и образования,– естественно, если есть один ответ, отвечающий на вечный один вопрос жизни: «зачем я живу, что выйдет из моей жизни?» – то ответ этот, хотя единый по существу своему, должен быть бесконечно разнообразен в своих проявлениях; и чем единее, чем истиннее, глубже этот ответ, тем, естественно, страннее и уродливее он должен являться в своих попытках выражения, сообразно образованию и положению каждого. Но рассуждения эти, оправдывающие для меня странность обрядовой стороны веры, были все-таки недостаточны для того, чтобы я сам, в том единственном для меня деле жизни, в вере, позволил бы себе делать поступки, в которых бы я сомневался. Я желал всеми силами души быть в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую сторону его веры; но я не мог этого сделать. Я чувствовал, что я лгал бы перед собой, насмеялся бы над тем, что для меня свято, если бы я делал это. Но тут мне на помощь явились новые, наши русские богословские сочинения.

По объяснению этих богословов основной догмат веры есть непогрешимая церковь. Из признания этого догмата вытекает, как необходимое последствие, истинность всего исповедуемого церковью. Церковь, как собрание верующих, соединенных любовью и потому имеющих истинное знание, сделалась основой моей веры. Я говорил себе, что божеская истина не может быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупности людей, соединенных любовью. Для того чтобы постигнуть истину, надо не разделяться; а для того чтобы не разделяться, надо любить и примиряться с тем, с чем несогласен. Истина откроется любви, и потому, если ты не подчиняешься обрядам церкви, ты нарушаешь любовь; а нарушая любовь, ты лишаешься возможности познать истину. Я не видал тогда софизма, находящегося в этом рассуждении. Я не видал тогда

того, что единение в любви может дать величайшую любовь, но никак не богословскую истину, выраженную определенными словами в Никейском символе, не видал и того, что любовь никак не может сделать известное выражение истины обязательным для единения. Я не видал тогда ошибки этого рассуждения и благодаря ему получил возможность принять и исполнять все обряды православной церкви, не понимая большую часть их. Я старался тогда всеми силами души избегать всяких рассуждений, противоречий и пытался объяснить, сколько возможно разумно, те положения церковные, с которыми я сталкивался.

Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело всё человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа. Кроме того, самые действия эти не имели в себе ничего дурного (дурным я считал потворство похотям). Вставая рано к церковной службе, я знал, что делал хорошо уже только потому, что для смирения своей гордости ума, для сближения с моими предками и современниками, для того, чтобы, во имя искания смысла жизни, я жертвовал своим телесным спокойствием. То же было при говений, при ежедневном чтении молитв с поклонами, то же при соблюдении всех постов. Как ни ничтожны были эти жертвы, это были жертвы во имя хорошего. Я говел, постился, соблюдал временные молитвы дома и в церкви. В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: «возлюбим друг друга да единомыслием...» Дальнейшие слова: «исповедуем Отца и Сына и Святого Духа» – я пропускал, потому что не мог понять их.

XIV

Мне так необходимо было тогда верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но это осмысливание обрядов имело предел. Если ектения всё яснее и яснее становилась для меня в главных своих словах, если я объяснял себе кое-как слова: «Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и всех святых помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим»,– если я объяснял частое повторение молитв о царе и его родных тем, что они более подлежат искушению, чем другие, и потому более требуют молитв, то молитвы о покорении под ноги врага и супостата, если я их объяснял тем, что враг есть зло,– молитвы эти и другие, как херувимская и всё

таинство проскомидии или «взбранной воеводе» и т. п., почти две трети всех служб или вовсе не имели объяснений, или я чувствовал, что я, подводя им объяснения, лгу и тем совсем разрушаю свое отношение к Богу, теряя совершенно всякую возможность веры.

То же я испытывал при праздновании главных праздников. Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение к Богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявленье, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видать того, что соблазняет меня.

Сильнее всего это происходило со мною при участии в самых обычных таинствах, считаемых самыми важными: крещении и причастии. Тут не только я сталкивался с не то что непонятными, но вполне понятными действиями: действия эти казались мне соблазнительными, и я был поставляем в дилемму – или лгать, или отбросить.

Никогда не забуду мучительного чувства, испытанного мною в тот день, когда я причащался в первый раз после многих лет. Службы, исповедь, правила – всё это было мне понятно и производило во мне радостное сознание того, что смысл жизни открывается мне. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Если это объяснение и было искусственно, то я не замечал его искусственности. Мне так радостно было, унижаясь и смиряясь перед духовником, простым робким священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь в своих пороках, так радостно было сливаться мыслями с стремлениями отцов, писавших молитвы правил, так радостно было единение со всеми веровавшими и верующими, что я и не чувствовал искусственности моего объяснения. Но когда я подошел к царским дверям и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда и не знал, что такое вера.

Но я теперь позволю себе говорить, что это было жестокое требование, тогда же я и не подумал этого, мне только было невыразимо больно. Я уже не был в том положении, в каком я был в молодости, думая, что всё в жизни ясно; я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное ничего, не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился. И я нашел в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кошунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесен. И зная вперед, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз.

Я продолжал точно так же исполнять обряды церкви и всё еще верил, что в том вероучении, которому я следовал, была истина, и со мною происходило то, что теперь мне ясно, но тогда казалось странным.

Слушал я разговор безграмотного мужика странника о Боге, о вере, о жизни, о спасении, и знание веры открылось мне. Сближался я с народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я всё больше и больше понимал истину. То же было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым моим чтением. Исключая чудеса, смотря на них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне смысл жизни. Там были жития Макария Великого, Иоасафа царевича (история Будды), там были слова Иоанна Златоуста, слова о путнике в колодце, о монахе, нашедшем золото, о Петре мытаре; там история мучеников, всех заявлявших одно, что смерть не исключает жизни; там истории о спасшихся безграмотных, глупых и не знающих ничего об учениях церкви.

Но стоило мне сойтись с учеными верующими или взять их книги, как какое-то сомнение в себе, недовольство, озлобление спора возникали во мне, и я чувствовал, что я, чем больше вникаю в их речи, тем больше отдаляюсь от истины и иду к пропасти.

XV

Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неу- ченость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять ее в таком виде.

Так я жил года три, и первое время, когда я, как оглашенный, только понемногу приобщался к истине, только руководимый чуть

ем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь, я говорил себе: «я виноват, я дурен». Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которым я учился, чем больше они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения и, тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою.

Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью – противное самым основам той веры, которою я жил,– окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквам – к католичеству и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? – То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола, и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидал, что всех, не исповедующих одинаково с ними веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидал, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие,– православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть, во-первых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, во-вторых, потому, что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность эта усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести.

Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и видавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту, и протестант к обо

им, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шакера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. Говоришь себе: да не может же быть, чтобы это было так просто, и все- таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какою должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение,– и я думал, что есть, и отыскивал это объяснение, и читал всё, что мог, по этому предмету, и советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения, кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что всё, что они могут, это молиться о них. Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне всё, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал.

Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере (а подлежит этому обращению всё наше молодое поколение), этот вопрос представляется первым; почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик так же точно утверждают единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. Нельзя ли,– говорил я,– выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуия и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к filio- qne' и папе делайте, как хотите. Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью, но сказал мне, что такие поступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков, и произведут раскол, а призвание духовной

' Букв.: и Сына *(лат.).* **Речь идет о прибавлении к восьмому члену символа веры, представляющем собой догматическое расхождение католической церкви с православной.**

власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков.

И я всё понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучщего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудивших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола всевышнего,– для исполнения человеческих дел нужно насилие, и оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедывать свое учение. А если ложное учение проповедуется неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может не сжечь книги, не удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем, горящим огнем ложной, по мнению православия, веры сектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняет сынов церкви? Что же с ним делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, т. е. по времени прилагали высшую меру наказания; в наше время прилагают тоже высшую меру – запирают в одиночное заключение. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания, и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням.

В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия, и учители веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на всё то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся.

XVI

И я перестал сомневаться, а убедился вполне, что в том знании веры, к которому я присоединился, не всё истина. Прежде я бы сказал, что всё вероучение ложно; но теперь нельзя было этого сказать. Весь народ имел знание истины, это было несомненно, потому что иначе он бы не жил. Кроме того, это знание истины уже мне

было доступно, я уже жил им и чувствовал всю его правду; но в этом же знании была и ложь. И в этом я не мог сомневаться. И всё то, что прежде отталкивало меня, теперь живо предстало предо мною. Хотя я и видел то, что во всем народе меньше было той примеси оттолкнувшей меня лжи, чем в представителях церкви,– я всё-таки видел, что и в верованиях народа ложь примешана была к истине.

Но откуда взялась ложь и откуда взялась истина? И ложь, и истина переданы тем, что называют церковью. И ложь, и истина заключаются в предании, в так называемом Священном Предании и Писании.

И волей-неволей я приведен к изучению, исследованию этого Писания и Предания,– исследованию, которого я так боялся до сих пор.

И я обратился к изучению того самого богословия, которое я когда-то с таким презрением откинул как ненужное. Тогда оно казалось мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон окружали меня явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла; теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. На этом вероучении зиждется, или по крайней мере неразрывно связано с ним, то единое знание смысла жизни, которое открылось мне. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, это – одна надежда спасения. Надо осторожно, внимательно рассмотреть его, для того, чтобы понять его, даже и не то, что понять, как я понимаю положение науки. Я этого не ищу и не могу искать, зная особенность знания веры. Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно-необъяснимому; я хочу, чтобы всё то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны, и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого. И вот я приступил к этому. Что я нашел в этом учении ложного, что я нашел истинного и к каким выводам я пришел, составляет следующие части сочинения, которое, если оно того стоит и нужно кому-нибудь, вероятно будет когда-нибудь и где-нибудь напечатано.

Это было написано мною три года тому назад.

Теперь, пересматривая эту печатаемую часть и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я переживал ее, я на днях увидел сон. Сон этот выразил для меня в сжатом образе всё то, что я пережил и описал, и потому думаю, что и для тех, которые поняли меня, описание этого сна освежит, уяснит и соберет в одно всё то, что так длинно рассказано на этих страницах. Вот этот сон: Вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам; коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чем я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетеных веревочных помочах, прикрепленных к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул ее слишком далеко, хочу захватить ее ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной еще и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится; весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко.– Тут только я спрашиваю себя то, чего прежде мне и не приходило в голову. Я спрашиваю себя; где я и на чем я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло мое тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.

Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу.

Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня, Я так же вишу на последних, не выскочивших еще из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит; «Заметь это, это оно!» и я гляжу всё дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню всё, что было, и вспоминаю, как это всё случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу всё так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Всё это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся.

11879-18821

в ЧЕМ МОЯ ВЕРА?

Я прожил на свете 55 лет и, за исключением 14 или 15 детских, 35 лет я прожил нигилистом в настоящем значении этого слова, то есть не социалистом и революционером, как обыкновенно понимают это слово, а нигилистом в смысле отсутствия всякой веры.

Пять лет тому назад я поверил в учение Христа – и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мной случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно,– и повернул домой. И всё, что было справа,– стало слева, и всё, что было слева,– стало справа; прежнее желание – быть как можно дальше от дома – переменилось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни – желания мои стали другие: и доброе и злое переменилось местами. Всё это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде.

Я не толковать хочу учение Христа, я хочу только рассказать, как я понял то, что есть самого простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастие.

Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и уму,– умные и глупые,– равны перед Богом, что всем доступна божеская истина. Христос сказал даже, что воля Бога в том, что немудрым открывается то, что скрыто от мудрых.

Не все могут быть посвящены в глубочайшие тайны догматики, гомилетики, патристики, литургики, герменевтики, апологетики и др., но все могут и должны понять то, что Христос говорил всем миллионам простых, немудрых, живших и живущих людей. Так вот то самое, что Христос сказал всем этим простым людям, не имевшим еще возможности обращаться за разъяснениями его учения к Павлу, Клименту, Златоусту и другим, это самое я не понимал прежде, а теперь понял; и это самое хочу сказать всем.

Разбойник на кресте поверил в Христа и спасся. Неужели было бы дурно и для кого-нибудь вредно, если бы разбойник не умер на кресте, а сошел бы с него и рассказал людям, как он поверил в Христа.

Я так же, как разбойник на кресте, поверил учению Христа и спасся. И это не далекое сравнение, а самое близкое выражение того душевного состояния отчаяния и ужаса перед жизнью и смертью, в котором я находился прежде, и того состояния спокойствия и счастия, в котором я нахожусь теперь.

Я, как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же. Я так же, как разбойник, знал, что я несчастлив и страдаю и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода, кроме смерти, из этого положения. Я так же, как разбойник к кресту, был пригвожден какой-то силой к этой жизни страданий и зла. И как разбойника ожидал страшный мрак смерти после бессмысленных страданий и зла жизни, так и меня ожидало то же.

Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, а я еще жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение его будет там, за гробом, а я не мог поверить этому, потому что кроме жизни за гробом мне предстояла еще и жизнь здесь. А я не понимал этой жизни. Она мне казалась ужасна. И вдруг я услыхал слова Христа, понял их, и жизнь и смерть перестали мне казаться злом, и, вместо отчаяния, я испытал радость и счастье жизни, не нарушимые смертью.

Неужели для кого-нибудь может быть вредно, если я расскажу, как это сделалось со мной?

О том, почему я прежде не понимал учения Христа и как и почему я понял его, я написал два большие сочинения: Критику догматического богословия и новый перевод и соединение четырех Евангелий с объяснениями. В сочинениях этих я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать всё то, что скрывает от людей истину,

и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия.

Работа эта продолжается уже шестой год. Каждый год, каждый месяц я нахожу новые и новые уяснения и подтверждения основной мысли, исправляю вкравшиеся в мою работу, от поспешности и увлеченья, ошибки, исправляю их и дополняю то, что сделано. Жизнь моя, которой остается уже немного, вероятно, кончится раньше этой работы. Но я уверен, что работа эта нужна, и потому делаю, пока жив, что могу.

Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием. Евангелиями. Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу рассказать здесь, была не такая. Это не было методическое исследование богословия и текстов Евангелий,– это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения, и мгновенное озарение светом истины. Это было событие, подобное тому, которое случилось бы с человеком, тщетно отыскивающим по ложному рисунку значение кучи мелких перемешанных кусков мрамора, когда бы вдруг по одному наибольшему куску он догадался, что это совсем другая статуя; и, начав восстановлять новую, вместо прежней бессвязности кусков, на каждом обломке, всеми изгибами излома сходящимися с другими и составляющими одно целое, увидал бы подтверждение своей мысли. Это самое случилось со мной. И вот это-то я хочу рассказать.

Я хочу рассказать, как я нашел тот ключ к пониманию учения Христа, который мне открыл истину с ясностью и убедительностью, включающими сомнение.

Открытие это сделано было мною так; С тех первых пор детства почти, когда я стал для себя читать Евангелие, во всем Евангелии трогало и умиляло меня больше всего то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло. Такова и оставалась для меня всегда сущность христианства, то, что я сердцем любил в нем, то, во имя чего я после отчаяния, неверия признал истинным тот смысл, который придает жизни христианский трудовой народ, и во имя чего я подчинил себя тем же верованиям, которые исповедует этот народ, т. е. православной церкви. Но, подчинив себя церкви, я скоро заметил, что я не найду в учении церкви подтверждения, уяснения тех начал христианства, которые казались для меня главными; я заметил, что эта дорогая мне сущность христианства не составляет главного в учении церкви. Я заметил, что то, что представлялось мне важнейшим в учении Христа, не признается церковью самым важным. Самым важным церковью признается другое. Сначала я не приписывал значения этой особенности церковного учения. «Ну что ж,–

думал я,– церковь, кроме того же смысла любви, смирения и самоотвержения, признает еще и этот смысл догматический и внешний. Смысл этот чужд мне, даже отталкивает меня, но вредного тут нет ничего».

Но чем дальше я продолжал жить, покоряясь учению церкви, тем заметнее становилось мне, что эта особенность учения церкви не так безразлична, как она мне показалась сначала. Оттолкнули меня от церкви и странности догматов церкви, и признание и одобрение церковью гонений, казней и войн, и взаимное отрицание друг друга разными исповеданиями; но подорвало мое доверие к ней именно это равнодушие к тому, что мне казалось сущностью учения Христа, и, напротив, пристрастие к тому, что я считал несущественным. Мне чувствовалось, что тут что-то не так. Но что было не так, я никак не мог найти; не мог найти потому, что учение церкви не только не отрицало того, что казалось мне главным в учении Христа, но вполне признавало это, но признавало как-то так, что это главное в учении Христа становилось не на первое место. Я не мог упрекнуть церковь в том, что она отрицала существенное, но признавала церковь это существенное так, что оно не удовлетворяло меня. Церковь не давала мне того, чего я ожидал от нее.

Я перешел от нигилизма к церкви только потому, что сознал невозможность жизни без веры, без знания того, что хорошо и дурно помимо моих животных инстинктов. Знание это я думал найти в христианстве. Но христианство, как оно представлялось мне тогда, было только известное настроение – очень неопределенное, из которого не вытекали ясные и обязательные правила жизни. И за этими правилами я обратился к церкви. Но церковь давала мне такие правила, которые нисколько не приближали меня к дорогому мне христианскому настроению и, скорее, удаляли от него. И я не мог идти за нею. Мне была нужна и дорога жизнь, основанная на христианских истинах; а церковь мне давала правила жизни, вовсе чуждые дорогим мне истинам. Правила, даваемые церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны; а правил, основанных на христианских истинах, не было. Мало того, церковные правила ослабляли, иногда прямо уничтожали то христианское настроение, которое одно давало смысл моей жизни. Смущало меня больше всего то, что всё зло людское – осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений; казни, войны, всё это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением.

Неужели учение Христа было таково, что противоречия эти должны были существовать? Я не мог поверить этому. Кроме того, мне всегда казалось удивительным то, что, насколько я знал Евангелие, те места, на которых основывались определенные правила церкви о догматах – были места самые неясные; те же места, из которых вытекало исполнение учения, были самые определенные и ясные. А между тем догматы и вытекающие из них обязанности христианина определялись самым ясным, отчетливым образом; об исполнении же учения говорилось в самых неясных, туманных, мистических выражениях. Неужели этого хотел Христос, преподавая свое учение? Разрещение моих сомнений я мог найти только в Евангелиях. И я читал и перечитывал их. Из всех Евангелий, как что-то особенное, всегда выделялась для меня нагорная проповедь. И ее-то я читал чаще всего. Нигде, кроме как в этом месте, Христос не говорит с такою торжественностью, нигде он не дает так много нравственных, ясных, понятных, прямо отзывающихся в сердце каждого правил, нигде он не говорит к большей толпе всяких простых людей. Если были ясные, определенные христианские правила, то они должны быть выражены тут. В этих трех главах Матфея я искал разъяснения моих недоумений.

Много и много раз я перечитывал нагорную проповедь и всякий раз испытывал одно и то же; восторг и умиление при чтении тех стихов о подставлении щеки, отдаче рубахи, примирении со всеми, любви к врагам – и то же чувство неудовлетворенности. Слова Бога, обращенные ко всем, были неясны. Поставлено было слишком невозможное отречение от всего, уничтожавшее самую жизнь, как я понимал ее, и потому отречение от всего, казалось мне, не могло быть непременным условием спасения. А как скоро это не было непременное условие спасения, то не было ничего определенного и ясного. Я читал не одну нагорную проповедь, я читал все Евангелия, все богословские комментарии на них. Богословские объяснения о том, что изречения нагорной проповеди суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек – весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасенье человека в вере, молитве и благодати,– объяснения эти не удовлетворяли меня.

Я не соглашался с этим, потому что мне всегда казалось странным, для чего Христос, вперед зная, что исполнение его учения невозможно одними силами человека, дал такие ясные и прекрасные правила, относящиеся прямо к каждому отдельному человеку? Читая эти правила, мне всегда казалось, что они относятся прямо ко мне, от меня одного требуют исполнения.

Читая эти правила, на меня находила всегда радостная уверенность, что я могу сейчас, с этого часа, сделать всё это. И я хотел и пытался делать это; но как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал.

Мне говорили: надо верить и молиться.

Но я чувствовал, что я мало верю и потому не могу молиться. Мне говорили, что надо молиться, чтобы Бог дал веру, ту веру, которая дает ту молитву, которая дает ту веру, которая дает ту молитву и т. д., до бесконечности.

Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне всё казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа.

И вот, после многих, многих тщетных исканий, изучений того, что было писано об этом в доказательство божественности этого учения и в доказательство небожественности его, после многих сомнений и страданий, я остался опять один с своим сердцем и с таинственной книгою перед собой. Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать иного, и не мог отказаться от нее. И только изверившись одинаково и во все толкования ученой критики, и во все толкования ученого богословия, и откинув их все, по слову Христа: если не примете меня, как дети, не войдете в царствие божие..., я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глубокомысленно переставлял, сличал, перетолковывал; напротив, всё открылось мне тем, что я забыл все толкования. Место, которое было для меня ключом всего, было место из V глав Матфея, стих 39-й: «Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А Я вам говорю: не противьтесь злу»... Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то что появилось что- нибудь новое, а отпало всё, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. «Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу». Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде.

Прежде, читая это место, я всегда по какому-то странному затмению пропускал слова: ***а я говорю: не противься злу.*** Точно как будто слов этих совсем не было, или они не имели никакого определенного значения.

Впоследствии при беседах моих со многими и многими христианами, знавшими Евангелие, мне часто случалось замечать относительно этих слов то же затмение. Слов этих никто не помнил, и часто, при разговорах об этом месте, христиане брали Евангелие, что

бы проверить,– есть ли там эти слова. Также и я пропускал эти слова и начинал понимать только со следующих слов; «И кто ударит тебя в правую щеку... подставь левую...» и т. д. И всегда слова эти представлялись мне требованием страданий, лищений, не свойственных человеческой природе. Слова эти умиляли меня. Мне чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить их. Но мне чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду в силах исполнить их только для того, чтобы исполнить, чтобы страдать. Я говорил себе: ну, хорощо, я подставлю щеку,– меня другой раз прибьют; я отдам,– у меня отнимут всё. У меня не будет жизни. А мне дана жизнь, зачем же я лишусь ее? Этого не может требовать Христос. Прежде я говорил это себе, предполагая, что Христос этими словами восхваляет страдания и лишения и, восхваляя их, говорит преувеличенно и потому неточно и неясно; но теперь, когда я понял слова о непротивлении злу, мне ясно стало, что Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит. Он говорит: «не противьтесь злу; и, делая так, вперед знайте, что могут найтись люди, которые, ударив вас по одной щеке и не встретив отпора, ударят и по другой; отняв рубаху, отнимут и кафтан; воспользовавшись вашей работой, заставят еще работать; будут брать без отдачи... И вот если это так будет, то вы все-таки не противьтесь злу. Тем, которые будут вас бить и обижать, все-таки делайте добро». И когда я понял эти слова так, как они сказаны, так сейчас же всё, что было темно, стало ясно, и что казалось преувеличенно, стало вполне точно. Я понял в первый раз, что центр тяжести всей мысли в словах; «не противься злу», а что последующее есть только разъяснение первого положения. Я понял, что Христос нисколько не велит подставлять щеку и отдавать кафтан для того, чтобы страдать, а велит не противиться злу и говорит, что при этом придется, может быть, и страдать. Точно так же, как отец, отправляющий своего сына в далекое путешествие, не приказывает сыну – недосыпать ночей, недоедать, мокнуть и зябнуть, если он скажет ему: «тЫ иди дорогой, и если придется тебе и мокнуть и зябнуть, ты все-таки иди». Христос не говорит: подставляйте щеки, страдайте, а он говорит; не противьтесь злу, и, что бы с вами ни было, не противьтесь злу. Слова эти; ***не противься злу или злому,*** понятые в их прямом значении, были для меня истинно ключом, открывшим мне всё. И мне стало удивительно, как мог я так навыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано; зуб за зуб, а я говорю: не противься злу или злому, и, что бы с тобой ни делали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что же может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто

и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении Христа, не только в нагорной проповеди, но во всех Евангелиях, всё, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Всё слилось в одно целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные так, как они должны быть. В этой проповеди и во всех Евангелиях со всех сторон подтверждалось то же учение о непротивлении злу.

В этой проповеди, как и во всех местах, везде Христос представляет себе своих учеников, т. е. людей, исполняющих правило о непротивлении злу, не иначе, как подставляющих щеку и отдающих кафтан, как гонимых, побиваемых и нищих.

Везде много раз Христос говорит, что тот, кто не взял крест, кто не отрекся от всего, тот не может быть его учеником, т. е. кто не готов на все последствия, вытекающие из исполнения правила о непротивлении злу. Ученикам Христос говорит: будьте нищие, будьте готовы, не противясь злу, принять гонения, страдания и смерть. Сам готовится на страдания и смерть, не противясь злу, и отгоняет от себя Петра, жалеющего об этом, и сам умирает, запрещая противиться злу и не изменяя своему учению.

Все первые ученики его исполняют это правило непротивления злу и всю жизнь проводят в нищете, гонениях и никогда не воздают злом за зло.

Стало быть, Христос говорил то, что говорил. Можно утверждать, что всегдашнее исполнение этого правила очень трудно, можно не соглашаться с тем, что каждый человек будет блажен, исполняя это правило, можно сказать, что это глупо, как говорят неверующие, что Христос был мечтатель, идеалист, который высказывал неисполнимые правила, которым и следовали по глупости его ученики, но никак нельзя не признавать, что Христос сказал очень ясно и определенно то самое, что хотел сказать: именно, что человек, по его учению, должен не противиться злу и что потому тот, кто принял его учение, не может противиться злу. А между тем, ни верующие, ни неверующие не понимают такого простого, ясного значения слов Христа.

II

Когда я понял, что слова: не противься злу, значит: не противься злу, всё мое прежнее представление о смысле учения Христа вдруг изменилось, и я ужаснулся перед тем не то что непониманием, а каким-то странным пониманием учения, в котором я находился до сих пор. Я знал, мы все знаем, что смысл христианского уче

ния – в любви к людям. Сказать: подставить щеку, любить врагов – это значит выразить сущность христианства. Я знал это с детства, но отчего же я не понимал этих простых слов просто, а искал в них какой-то иносказательный смысл? Не противься злому – значит не противься злому никогда, т. е. никогда не делай насилия, т. е. такого поступка, который всегда противоположен любви. И если тебя при этом обидят, то перенеси обиду и все-таки не делай насилия над другим. Он сказал так ясно и просто, как нельзя сказать яснее. Как же я, веруя или стараясь верить, что тот, кто сказал это – Бог, говорил, что исполнить это своими силами невозможно. Хозяин скажет мне: поди наруби дров, а я скажу: я своими силами не могу исполнить этого. Говоря это, я говорю одно из двух: или то, что я не верю тому, что говорит хозяин, или то, что я не хочу делать того, что велит хозяин. Про заповедь Бога, которую он дал нам для исполнения, про которую он сказал: кто исполнит и научит так, тот большим наречется и т. д., про которую он сказал, что только те, которые исполняют, те получают жизнь, заповедь, которую он сам исполнил и которую выразил так ясно, просто, что в смысле ее не может быть сомнения, про эту-то заповедь я, никогда не попы- тавщись даже исполнить ее, говорил: исполнение ее невозможно одними моими силами, а нужна сверхъестественная помощь.

Бог сощел на землю, чтобы дать спасение людям. Спасение состоит в том, что второе лицо троицы, Бог-Сын, пострадал за людей, искупил перед Отцом грех их и дал людям церковь, в которой хранится благодать, передающаяся верующим; но, кроме всего этого, этот Бог-Сын дал людям и учение и пример жизни для спасения. Как же я говорил, что правило жизни, выраженное им просто и ясно для всех, так трудно исполнять, что даже невозможно без сверхъестественной помощи? Он не только не сказал этого, он определенно сказал: непременно исполняйте, а кто не исполнит, тот не войдет в Царство Божие. И он никогда не говорил, что исполнение трудно, он напротив, сказал: иго мое благо, и бремя мое легко. Иоанн, его евангелист, сказал: заповеди его не тяжки. Как же это я говорил, что то, что Бог велел исполнять, то, исполнение чего он так точно определил, и сказал, что исполнять это легко, то, что он сам исполнил как человек и что исполняли первые последователи его; как же это я говорил, что исполнять это так трудно, что даже невозможно без сверхъестественной помощи? Если бы человек все усилия своего ума положил на то, чтобы уничтожить какой-нибудь данный закон, что действительнее для уничтожения этого закона мог бы сказать этот человек, как не то, что закон этот по существу неисполним и что мысль самого законодателя о своем законе такова, что закон этот неисполним, а что для исполнения его нужна сверхъ

естественная помощь? А это самое я думал по отношению к заповеди о непротивлении злу. И я стал вспоминать, как и когда вошла мне в голову эта странная мысль о том, что закон Христа божественен, но исполнять его нельзя. И, разобрав свое прошедшее, я понял, что мысль эта никогда не была передана мне во всей ее наготе (она бы оттолкнула меня), но что я, незаметно для себя, всосал ее с самого первого детства, и вся последующая жизнь моя только укрепляла во мне это странное заблуждение.

С детства меня учили тому, что Христос – Бог и учение его божественно, но вместе с тем меня учили уважать те учреждения, которые насилием обеспечивают мою безопасность от злого, учили меня почитать эти учреждения священными. Меня учили противостоять злому и внушали, что унизительно и постыдно покоряться злому и терпеть от него, а похвально противиться ему. Меня учили судить и казнить. Потом меня учили воевать, т. е. убийством противодействовать злым, и воинство, которого я был членом, называли христолюбивым воинством; и деятельность эту освящали христианским благословением. Кроме того, с детства и до возмужалости меня учили уважать то, что прямо противоречит закону Христа. Дать отпор обидчику, отмстить насилием за оскорбление личное, семейное, народное; всё это не только не отрицали, но мне внушали, что всё это прекрасно и не противно закону Христа.

Всё меня окружающее: спокойствие, безопасность моя и семьи, моя собственность, всё построено было на законе, отвергнутом Христом, на законе: зуб за зуб.

Церковные учители учили тому, что учение Христа божественно, но исполнение его невозможно по слабости людской, и только благодать Христа может содействовать его исполнению. Светские учители и всё устройство жизни уже прямо признавали неисполнимость, мечтательность учения Христа, и речами и делами учили тому, что противно этому учению. Это признание неисполнимости учения Бога до такой степени понемножку, незаметно всосалось в меня и стало привычно мне, и до такой степени оно совпадало с моими похотями, что я никогда не замечал прежде того противоречия, в котором я находился. Я не видал того, что невозможно в одно и то же время исповедовать Христа-Бога, основа учения которого есть непротивление злому, и сознательно и спокойно работать для учреждения собственности, судов, государства, воинства, учреждать жизнь, противную учению Христа, и молиться этому Христу о том, чтобы между нами исполнялся закон непротивления злому и прощения. Мне не приходило еще в голову то, что теперь так ясно: что гораздо бы проще было устраивать и учреждать жизнь по зако

ну Христа, а молиться уж о том, чтобы были суды, казни, войны, если они так нужны для нашего блага.

И я понял, откуда возникло мое заблуждение. Оно возникло из исповедания Христа на словах и отрицания его на деле.

Положение о непротивлении злому есть положение, связующее всё учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон.

Оно есть точно ключ, отпирающий всё, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка. Признание этого положения за изречение, невозможное к исполнению без сверхъестественной помощи, есть уничтожение всего учения. Каким же, как не невозможным, может представляться людям то учение, из которого вынуто основное, связующее всё положение? Неверующим же оно даже прямо представляется глупым и не может представиться иным.

Поставить мащину, затопить паровик, пустить в ход, но не надеть передаточного ремня – это самое сделано с учением Христа, когда стали учить, что можно быть христианином, не исполняя положения о непротивлении злу.

Я недавно с еврейским раввином читал V главу Матфея. Почти при всяком изречении раввин говорил; это есть в Библии, это есть в Талмуде, и указывал мне в Библии и Талмуде весьма близкие изречения к изречениям нагорной проповеди. Но когда мы дощли до стиха о непротивлении злу, он не сказал: и это есть в Талмуде, а только спросил меня с усмешкой: – И христиане исполняют это? подставляют другую щеку? – Мне нечего было отвечать, тем более, что я знал, что в это самое время христиане не только не подставляли щеки, но били евреев по подставленной щеке. Но мне интересно было знать, есть ли что-нибудь подобное в Библии или Талмуде, и я спросил его об этом. Он сказал; – Нет, этого нет, но вы скажите, исполняют ли христиане этот закон? – Вопросом этим он говорил мне, что присутствие такого правила в христианском законе, которое не только никем не исполняется, но которое сами христиане признают неисполнимым, есть признание неразумности и ненужности этого правила. И я не мог ничего отвечать ему.

Теперь, поняв прямой смысл учения, я вижу ясно то странное противоречие с самим собой, в котором я находился. Признав Христа Богом и учение его божественным и вместе с тем устроив свою жизнь противно этому учению, что же оставалось, как не признавать учение неисполнимым? На словах я признал учение Христа священным, на деле я исповедовал совсем не христианское учение и признавал и поклонялся учреждениям не христианским, со всех сторон обнимающим мою жизнь.

Весь Ветхий Завет говорит, что несчастия народа иудейского происходили оттого, что он верил в ложных богов, но не в истинного Бога. Самуил в первой книге, в главах 8-й и 12-й, обвиняет народ в том, что ко всем прежним своим отступлениям от Бога он прибавил еще новое: на место Бога, который был их царем, поставил человека-царя, который, по их мнению, спасет их. Не верьте в «тогу», в пустое, говорит Самуил народу (XII, 21 стих). Оно не поможет вам и не спасет вас, потому что оно «тогу», пустое. Чтобы не погибнуть вам с царем вашим, держитесь одного Бога.

Вот вера в эти «тогу», в эти пустые кумиры и заслоняла от меня истину. На дороге к ней, заграждая ее свет, стояли предо мной те «тогу», от которых я не в силах был отречься.

На днях я шел в Боровицкие ворота; в воротах сидел старик, нищий-калека, обвязанный по ушам ветошкой. Я вынул кошелек, чтобы дать ему что-нибудь. В это время с горы из Кремля выбежал бравый молодой румяный малый, гренадер в казенном тулупе. Нищий, увидев солдата, испуганно вскочил и в прихромку побежал вниз к Александровскому саду. Гренадер погнался было за ним, но, не догнав, остановился и стал ругать нищего за то, что он не слушал запрещения и садился в воротах. Я подождал гренадера в воротах. Когда он поравнялся со мной, я спросил его: знает ли он грамоте?

– Знаю, а что? – Евангелие читал?– Читал.– А читал: «и кто накормит голодного?..» – Я сказал ему это место. Он знал его и выслушал. И я видел, что он смущен. Два прохожие остановились, слушая. Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность,– гоняя народ оттуда, откуда велено гонять,– вдруг оказался неправ. Он был смущен и, видимо, искал отговорки. Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет, он повернулся ко мне боком, как бы уходя.– А воинский устав читал? – спросил он. Я сказал, что не читал.– Так и не говори,– сказал гренадер, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту.

Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мной и стоит перед каждым человеком, называющим себя христианином.

Напрасно говорят, что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных. Это только смелое и голословное утверждение самой очевидной неправды, которая разрушается при первой серьезной мысли об этом. Хорошо, я не буду противиться злу, подставлю щеку, как частный че

ловек, говорю я себе, но идет неприятель или угнетают народы, и меня призывают участвовать в борьбе со злыми – идти убивать их. И мне неизбежно решить вопрос: в чем служение Богу и в чем служение «тогу». Идти ли на войну, или не идти? Я – мужик, меня выбирают в старшины, судьи, в присяжные, заставляют присягать, судить, наказывать,– что мне делать? Опять я должен выбирать между законом Бога и законом человеческим. Я – монах, живу в монастыре, мужики отняли наш покос, меня посылают участвовать в борьбе со злыми – просить в суде на мужиков. Опять я должен выбрать. Ни один человек не может уйти от решения этого вопроса. Я не говорю уже о нашем сословии, деятельность которого почти вся состоит в противлении злым; военные, судейские, администраторы, но нет того частного, самого скромного человека, которому бы не предстояло это решение между служением Богу, исполнением его заповедей, или служением «тогу», государственным учреждениям. Личная моя жизнь переплетена с общей государственной, а государственная требует от меня нехристианской деятельности, прямо противной заповеди Христа. Теперь с общей воинской повинностью и участием всех в суде в качестве присяжных, дилемма эта с поразительной резкостью поставлена пред всеми. Всякий человек должен взять орудие убийства: ружье, нож, и если не убить, то зарядить ружье и отточить нож, т. е. быть готовым на убийство. Каждый гражданин должен прийти в суд и быть участником суда и наказаний, т. е. каждый должен отречься от заповеди Христа непротивления злому не словом только, но делом.

Вопрос гренадера: Евангелие или воинский устав? закон божий или закон человеческий? – теперь стоит и при Самуиле стоял перед человечеством. Он стоял и перед самим Христом и перед учениками его. Стоит и перед теми, которые теперь хотят быть христианами, стоял и передо мной.

Закон Христа, с его учением любви, смирения, самоотвержения, всегда и прежде трогал мое сердце и привлекал меня к себе. Но со всех сторон, в истории, в современной окружающей меня, и в моей жизни я видел закон противоположный, противный моему сердцу, моей совести, моему разуму, но потакающий моим животным инстинктам. Я чувствовал, что, прими я закон Христа, я останусь один, и мне может быть плохо, мне придется быть гонимым и плачущим, то самое, что сказал Христос. Прими закон человеческий – меня все одобрят, я буду спокоен, обеспечен, и к моим услугам все изощрения ума, чтобы успокоить мою совесть. Я буду смеяться и веселиться, то самое, что сказал Христос. Я чувствовал это и потому не только не углублялся в значение закона Христа, но старался понять его так, чтобы он не мешал мне

жить моей животной жизнью. А понять его так нельзя было, и потому я вовсе не понимал его.

В этом непонимании я доходил до теперь удивительного мне затмения. Для образца такого затмения приведу мое прежнее понимание слов: «Не судите, и не будете судимы» (Матф. VII, I). «Не судите, и не будете судимы – не осуждайте, и не будете осуждены» (Луки VI, 37). Мне так несомненно казалось священным, не нарушающим закона Бога учреждение судов, в которых я участвовал и которые ограждали мою собственность и безопасность, что никогда и в голову не приходило, чтобы это изречение могло значить что- нибудь другое, как не то, чтобы на словах не осуждать ближнего. Мне и в голову не приходило, чтобы Христос в этих словах мог говорить про суды: про земский суд, про уголовную палату, про окружные и мировые суды и всякие сенаты и департаменты. Только когда я понял в прямом значении слова о непротивлении злу, только тогда мне представился вопрос о том, как относится Христос ко всем этим судам и департаментам. И поняв, что он должен отрицать их, я спросил себя: Да не значит ли это: не только не судите ближнего на словах, но и не осуждайте судом – не судите ближних своими человеческими учреждениями – судами.

У Луки, гл. VI, с. 37 по 49, слова эти сказаны тотчас после учения о непротивлении злу и о воздаянии добром за зло. Тотчас после слов: «будьте милосерды, как Отец ваш на небе», сказано: «не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Не значит ли это, кроме осуждения ближнего, и то, чтобы не учреждать судов и не судить в них ближних? спросил я себя теперь. И стоило мне только поставить себе этот вопрос, чтобы и сердце и здравый смысл тотчас же ответили мне утвердительно.

Я знаю, как такое понимание этих слов поражает сначала. Меня оно тоже поразило. Чтобы показать, как я далек был от такого понимания, признаюсь в стыдной глупости. Уже после того, как я стал верующим и читал Евангелие как божественную книгу, я, при встрече с моими приятелями, прокурорами, судьями, в виде игровой шутки, говорил им: а вы всё судите, а сказано: не судите, и не судимы будете. Я так был уверен, что слова эти не могут значить ничего другого, как только запрещение злословия, что не понимал того страшного кощунства, которое я делал, говоря это. Я до того дошел, что, уверившись в том, что ясные слова эти значат не то, что значат, в шутку говорил их в их настоящем значении.

Расскажу подробно, как уничтожалось во мне всякое сомнение о том, что слова эти не могут быть понимаемы иначе, как в том смысле, что Христос запрещает всяческие человеческие учреждения судов, и словами этими ничего не мог сказать другого.

Первое, что поразило меня, когда я понял заповедь о непротивлении злу в ее прямом значении, было то, что суды человеческие не только не сходятся с нею, но прямо противны ей, противны и смыслу всего учения, и что поэтому Христос, если подумал о судах, то должен был отрицать их.

Христос говорит; ***не противиться злому.*** Цель судов – противиться злому. Христос предписывает; ***делать добро за зло.*** Суды воздают злом за зло. Христос говорит; ***не разбирать добрых и злых.*** Суды только то и делают, что этот разбор. Христос говорит; ***прош,ать всем. Прощать не раз, не семь раз, а без конца. Любить врагов. Делать добро ненавидящим.*** Суды не прощают, а наказывают, делают не добро, а зло тем, которых они называют врагами общества. Так что по смыслу выходило, что Христос должен был запрещать суды. Но, может быть, думал я, Христос не имел дела с человеческими судами и не думал о них. Но вижу, что этого нельзя предположить; Христос со дня рождения и до смерти сталкивался с судами Ирода, синедриона и первосвященников. И действительно, вижу, что Христос много раз прямо говорит про суды, как про зло. Ученикам он говорит, что их будут судить, и говорит, как им держаться на суде. Про себя говорил, что его засудят, и сам показывает, как надо относиться к суду человеческому. Стало быть, Христос думал о тех судах человеческих, которые должны были засудить его и его учеников, и засуждавшие и засуждающие миллионы людей. Христос видел это зло и прямо указывал на него. При исполнении приговора суда над блудницей он прямо отрицает суд и показывает, что человеку нельзя судить, потому что он сам виноватый. И эту же самую мысль он высказывает несколько раз, говоря, что засоренным глазом нельзя видеть сора в глазу другого, что слепой не может видеть слепого. Объясняет даже то, что происходит от такого заблуждения. Ученик станет такой же, как учитель.

Но, может быть, и высказав это по отношению к суду блудницы и указав притчей о спице на общую слабость человеческую, он все- таки не запрещает обращения к человеческому правосудию, в виду защиты от злых; но вижу, что этого никак нельзя допустить.

В нагорной проповеди, обращаясь ко всем, он говорит; и если кто хочет ***высудить*** у тебя рубаху, отдай и кафтан. Стало быть, он всем запрещает судиться.

Но, может быть, Христос говорит только о личном отношении каждого человека к судам, но не отрицает самого правосудия и допускает в христианском обществе людей, которые судят других в установленных учреждениях? Но вижу, что и этого нельзя предположить. Христос в молитве своей всем людям без исключения велит прощать другим, чтобы и им были прощены их вины. И повто

ряет эту мысль много раз. Стало быть, всякий человек и на молитве и прежде чем принести дар должен всем простить. Как же может судить и приговаривать по суду человек, который, по исповедуемой им вере, должен всем всегда прощать? И потому вижу, что, по учению Христа, христианский наказывающий судья быть не может.

Но, может быть по той связи, в которой находятся с другими слова: ***не судите и не осуждайте,*** видно, что в этом месте Христос, говоря: ***не судите,*** не думал о судах человеческих? Но этого тоже нет, напротив, ясно по связи речи, что, говоря: не судите, Христос говорит именно о судах, учреждениях: по Матфею и Луке, перед тем, чтобы сказать: не судите и не осуждайте, он говорит: не противьтесь злому, терпите зло, делайте добро всем. А перед этими словами повторяет, по Матфею, слова уголовного еврейского закона: око за око, зуб за зуб. И после этой ссылки на уголовный закон говорит: а вы делайте не так, не противьтесь злому, и потом уже говорит: не судите. Стало быть, Христос говорит именно про уголовный закон человеческий и его-то и отрицает словами не судите.

Кроме того, по Луке, он говорит не только: не судите, но – не судите и не осуждайте. Для чего-нибудь да прибавлено же это слово, имеющее почти то же значение. Прибавка этого слова может иметь только одну цель: выяснение значения, в котором должно пониматься первое слово.

Если бы он хотел сказать: не осуждайте ***ближнего,*** то он прибавил бы это слово, но он прибавляет слово, переводимое по-русски – не осуждайте. И после этого говорит: и не будете осуждены, всем прощайте, и будете прощены.

Но, может быть, все-таки Христос не думал про суды, говоря это, и я свою мысль нахожу в его словах, имеющих другое значение.

Справляюсь с тем, как первые ученики Христа, апостолы, смотрели на суды человеческие, признавали ли, одобряли ли их?

В главе IV, от 1 –11, апостол Иаков говорит: ***Не злословьте друг друга, братия; кто злословит брата и судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если закон судишь, то ты не исполнитель закона, а судья.— Един Законодатель и Судья, который может спасти и погубить,— а ты кто, который судишь другого?***

Слово, переданное словом злословить, есть слово ката^.аЯ.е(о. Без справки с лексиконом можно видеть, что слово это должно значить обвинять. И то самое оно и значит, в чем может убедиться всякий, справившись с лексиконом. Переведено: ***кто злословит брата, тот злословит закон.*** И невольно представляется вопрос: почему? Сколько бы я ни злословил брата, я не злословлю закон.

но если я обвиняю и сужу судом брата, то очевидно, что я этим самым обвиняю закон Христа, т. е. я считаю закон Христа недостаточным и обвиняю и сужу закон. Тогда ясно, что я уже не исполняю его закон, а сам судья. Судья же,– говорит Христос,– тот, который может спасти. А как же я, не будучи в состоянии спасти, буду судьей, буду наказывать?

Всё место это говорит о суде человеческом и отрицает его. Всё послание это проникнуто тою же мыслью. В том же послании Иаков (гл. II, I –13) говорит: 1) братия мои! вера в Господа нашего Иисуса Христа прославленного да будет без лицеприятия. 2) Ибо если войдет в собрание ваше человек с золотым перстнем на руке, в богатой одежде, войдет же и нищий в худом платье; и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему; тебе прилично стать здесь; а нищему скажете: ты стань там, или садись здесь, при ногах моих; то не разрозниваетесь ли вы между собою и не представляете ли в себе судей с злыми помышлениями? 3) Послушайте, братия мои возлюбленные, не нищих ли мира сего Бог избрал быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое обещал Он любящим Его? 4) А вы презрели нищего! Не богатые ли притесняют вас и ***не они ли влекут вас в суды?*** 5) Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 6) Если вы исполняете царский закон по Писанию,– возлюби ближнего твоего, как самого себя (Левит XIX, 18),– хорошо поступаете. 7) Но если смотрите на лица, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. 8) Ибо кто сохранит весь закон и в одном чем-нибудь согрешит, тот становится виновен во всем. 9) Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал: не убей. Почему, если ты не сделаешь прелюбодеяния, но убьешь, то ты всё преступник закона (Второзаконие XXII, 22; Левит XVIII, 17–25). 10) Говорите и поступайте как люди, которые должны быть судимы по закону свободы. Ибо суд без помилования тому, кто 11) не делает милости: милость торжествует над судом. (Последние слова – милость торжествует над судом – переводились, и часто, так; ***милость превозносится на суде,*** и переводились так в том смысле, что суд христианский может быть, но что он должен быть милостив.)

Иаков увещевает братьев не делать различия между людьми. Если вы делаете различие, то вы 5ia^xpivate, разрозниваетесь, как на суде судьи с злыми помышлениями. Вы рассудили, что нищий – хуже. А напротив, хуже – богатый. Он и угнетает вас и тащит в суд. Если вы живете по закону любви к ближнему, по закону милосердия (который, в отличие от другого, Иаков называет царским), то это хорошо. Но если смотрите на лица, делаете различие между людьми, то делаетесь преступниками закона милосердия. И, имея,

вероятно, в виду пример блудницы, которую привели к Христу, чтобы по закону побить ее камнями, или вообще преступление прелюбодеяния, Иаков говорит, что тот, кто казнит смертию блудницу, будет виновен в убийстве и нарушит закон вечный. Потому что тот же вечный закон запрещает и блуд, и убийство. Он говорит: ***И поступайте, как люди, судимые законом свободы.*** Потому что нет милости тому, кто сам без милости, ***а потому милость уничтожает суд.***

Как же еще сказать это яснее, определеннее: запрещается всякое различие между людьми, всякий суд о том, что этот хорош, а этот дурен, указывается прямо на суд человеческий, который несомненно дурен, и показывается, что суд этот сам преступен, казня за преступления, и что потому суд сам собою уничтожается законом Бога – милосердием.

Читаю послания апостола Павла, пострадавшего от судов, и в первой же главе к римлянам читаю увещание, которое делает апостол римлянам за все их пороки и заблуждения, и в том числе за их суды (32): «Они хотя и знают праведный суд Божий (т. е. что делающие таковые дела достойны смерти), однако не только сами их делают, но и делающих одобряют».

Глава II, 1) ***Итак, неизвинителен ты, человек, кто бы ты ни был, судящий другого: ибо тем же (судом), которым судишь другого, осуждаешь себя; потому что, судя другого, ты делаешь то же.*** 2) А мы знаем, что праведен суд Божий на делающих таковые дела. 3) Неужели думаешь ты, человек, избежать суда Божия, осуждая делающих таковые дела и (сам) делая то же? 4) Или ты пренебрегаешь богатством благости его и кротости и долготерпения, не помышляя, что благость Божия ведет тебя к покаянию?

Апостол Павел говорит: они, зная справедливый суд Бога, сами делают несправедливо и научают так делать других, и потому нельзя оправдать человека, который судит.

Такое отношение к судам я нахожу в посланиях апостолов, в жизни же их, как мы все знаем, суды человеческие представлялись им тем злом и соблазном, которые надо сносить с твердостью и преданностью воле Божией.

Восстановив в своем воображении положение первых христиан среди язычников, каждый легко поймет, что запрешать суды гонимым человеческими судами христианам не могло приходить в голову. Только при случае они могли коснуться этого зла, отрицая основы его, как они делают это.

Справляюсь с учителями церкви первых веков и вижу, что учители первых веков все всегда определяли свое учение, отличающее их от всех других, тем, что они никого ни к чему не принуждают.

никого не судят (Афинагор, Ориген), не казнят, а только переносят мучения, налагаемые на них судами человеческими. Все мученики делом исповедывали то же. Вижу, что всё христианство до Константина никогда иначе не смотрело на суды, как на зло, которое надо терпеливо переносить, но что никогда и в голову ни одному христианину того времени не могло прийти той мысли, чтобы христианин мог участвовать в суде.

Вижу, что слова Христа: ***не судите и не осуждайте,*** были поняты его первыми учениками так же, как я их понял теперь, в их прямом смысле: не судите в судах – не участвуйте в них.

Всё несомненно подтверждало мое убеждение, что слова – не судите и не осуждайте – значат не судите в судах; но толкование о том, что будто это значит: не злословьте ближнего, до такой степени общепринято и до такой степени смело и самоуверенно суды процветают во всех христианских государствах, опираясь даже на церковь, что я долго сомневался в справедливости моего понимания. Если все люди могли толковать так и учреждать христианские суды, то, вероятно, имели же они какое-нибудь основание, и что- нибудь ты не понимаешь,– говорил я себе.– Должны же быть те основания, по которым слова эти понимаются как злословие и должны же быть основания, на которых учреждаются христианские суды.

И я обратился к толкованиям церкви. Во всех этих толкованиях, с пятого века, я нашел, что слова эти принято понимать как осуждение на словах ближнего, т. е. как злословие. И так как слова эти принято понимать только как осуждение на словах ближнего, то является затруднение: как не осуждать? Зло нельзя не осуждать. И потому все толкования вертятся на том, что можно и что нельзя осуждать. Говорится о том, что для служителей церкви это нельзя понимать как запрещение судить, что сами апостолы судили (Златоуст и Феофилакт). Говорится о том, что, вероятно, этим словом Христос указывает на иудеев, которые обвиняли ближних в малых грехах, а сами делали большие.

Но нигде ни слова не говорится о человеческих учреждениях, судах, о том, в каком отношении находятся суды эти к этому запрещению осуждать. Запрещает ли их Христос, или допускает? На этот естественный вопрос нет никакого ответа, как будто уже слишком очевидно то, что как скоро христианин сел на судейское место, то тогда он не только может осуждать ближнего, но и казнить его.

Справляюсь у греческих, католических, протестантских писателей и писателей тюбингенской школы и школы исторической. Всеми, даже самыми свободомыслящими толкователями слова эти по

нимаются как запрещение злословить. Но почему слова эти, противно всему учению Христа, понимаются так узко, что в запрещении судить не входит запрещение судов, почему предполагается, что Христос, запрещая осуждение ближнего, невольно сорвавшееся с языка, как дурное дело, такое же осуждение, совершаемое сознательно и связанное с причинением насилия над осужденным, не считает дурным делом и не запрещает,– на это нет ответа; и ни малейшего намека о том, чтобы можно было под осуждением разуметь и то осуждение, которое происходит на судах и от которого страдают миллионы. Мало того, по случаю этих слов: не судите и не осуждайте, этот-то самый жестокий прием судейского осуждения старательно обходится и даже выгораживается. Богословы-толкователи упоминают о том, что в христианских государствах суды должны быть и не противны закону Христа.

Заметив это, я уже усомнился в искренности этих толкований и обратился к самому переводу слов; ***судите*** и ***осуждайте*** к тому, с чем следовало бы начать.

В подлиннике слова эти Kpivco и KaxaSiKcu^w. Неверный перевод слова катаА,аЯ,8со в послании Иакова, переведенного словом злословить, подтверждал мое сомнение в верности перевода.

Справляюсь, как переводятся в Евангелиях слова **Kpivco** и катаб1К(Х(^й) на разные языки, и нахожу, что в Вульгате слово осуждать переведено condarnnare; так же и по-французски; по-славянски – осуждать; у Лютера переведено verdammen – проклинать.

Различие этих переводов еще усиливает мои сомнения. И я задаю себе вопрос; что значат и могут значить греческое слово Kpivco, употребленное в обоих Евангелиях, и слово KaxaSiKoi^co, употребленное у Луки – евангелиста, писавшего, по мнению знатоков, на довольно хорошем греческом языке. Как переведет эти слова человек, ничего не знающий об учении евангельском и его толкованиях и имеющий перед собой одно это изречение?

Справляюсь с общим лексиконом и нахожу, что слово **Kpivco** имеет много различных значений, и в том числе весьма употребительное значение – приговаривать по суду, казнить даже, но никогда не имеет значения злословить. Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это в Новом Завете часто употребляется в смысле приговаривать по суду. Иногда употребляется в смысле отбирать, но никогда в смысле злословить. Итак, вижу, что слово **Kpivco** можно перевести различно, но что перевод такой, при котором оно получает значение – злословить, есть самый далекий и неожиданный.

Справляюсь о слове катабгко^со, присоединенном к слову Kpivoo, имеющему много значений, очевидно для того, чтобы определить то значение, в котором именно понимается писателем первое слово. Справляюсь о слове ката51ка^со в общем лексиконе и нахожу, что ***слово это никогда не имеет никакого другого значения, как только приговаривать по суду к наказаниям или казнить.*** Справляюсь с лексиконом Нового Завета и нахожу, что слово это употреблено в Новом Завете ***четыре раза, и всякий раз в смысле засудить, казнить.*** Справляюсь с контекстами и нахожу, что слово это употреблено в послании Иакова, гл. V, ст. 6, где сказано: «Вы осудили и убили праведного». Слово ***осудили,*** то самое слово Каха5iKOi^со, употреблено по отношению к Христу, которого засудили. ***И иначе, в другом смысле, это слово никогда не употребляется ни во всем Новом Завете и ни в каком греческом языке.***

Что ж это такое? До чего я объюродивел! Я и каждый из нас, живущий в нашем обществе, если только призадумывался на участью людей, ужасался пред теми страданиями и тем злом, которое вносят в жизнь людей уголовные законы человеческие – зло и для судимых, и для судящих: от казней Чингис-хана и казней революции до казней наших дней.

Всякий человек с сердцем не миновал того впечатления ужаса и сомнения в добре при рассказе даже, не говорю, при виде казни людей такими же людьми: шпицрутенов на смерть, гильотины, виселицы.

В Евангелии, каждое слово которого мы считаем священным, прямо и ясно сказано: у вас был уголовный закон – зуб за зуб, а я даю вам новый: ***не противьтесь злому;*** все исполняйте эту заповедь: не делайте зла за зло, а делайте всегда и всем добро, всех прощайте.

И далее прямо сказано: ***не судите.*** И чтобы невозможно было недоразумение о значении слов, которые сказаны, прибавлено: ***не приговаривайте по суду к наказаниям.***

Сердце мое говорит ясно, внятно: не казните; наука говорит: не казните, чем больше казните – больше зла; разум говорит: не казните, злом нельзя пресечь зла. Слово Бога, в которое я верю, говорит то же. И я читаю всё учение, читаю эти слова: ***не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, проахайте, и будете прощены,*** признаю, что это слово Бога, и говорю, что это значит то, что не надо заниматься сплетнями и злословием, и продолжаю считать суды христианским учреждением и себя судьей и христианином. И я ужаснулся пред той грубостью обмана, в котором я находился.

я понял теперь, что говорит Христос, когда он говорит; Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю; не противься злу, а терпи его.– Христос говорит; вам внушено, вы привыкли считать хорошим и разумным то, чтобы силой отстаиваться от зла и вырывать глаз за глаз, учреждать уголовные суды, полицию, войско, отстаиваться от врагов, а я говорю: не делайте насилия, не участвуйте в насилии, не делайте зла никому, даже тем, которых вы называете врагами.

Я понял теперь, что в положении о непротивлении злу Христос говорит не только, что выйдет непосредственно для каждого от непротивления злу, но он, в противоположение той основы, которою жило при нем по Моисею, по римскому праву и теперь по разным кодексам живет человечество, ставит положение непротивления злу, которое, по его учению, должно быть основой жизни людей вместе и должно избавить человечество от зла, наносимого им самому себе. Он говорит: вы думаете, что ваши законы исправляют зло,– они только увеличивают его. Один есть путь пресечения зла – делание добра за зло всем без всякого различия. Вы тысячи лет пробовали ту основу, попробуйте мою – обратную.

Удивительное дело! В последнее время мне часто случалось говорить с самыми различными людьми об этом законе Христа – непротивления злу. Редко, но я встречал людей, соглашавшихся со мною. Но два рода людей никогда, даже в принципе, не допускают прямого понимания этого закона и горячо отстаивают справедливость противления злу. Это люди двух крайних полюсов: христиане патриоты-консерваторы, признаюшие свою церковь истинною, и атеисты-революционеры. Ни те, ни другие не хотят отказаться от права насилием противиться тому, что они считают злом. И самые умные, ученые люди из них никак не хотят видеть той простой, очевидной истины, что если допустить, что один человек может насилием противиться тому, что он считает злом, то точно так же другой может насилием противиться тому, что этот другой считает злом.

Недавно у меня была в руках поучительная в этом отношении переписка православного славянофила с христианином-революцио- нером. Один отстаивал насилие войны во имя угнетенных брать- ев-славян, другой – насилие революции во имя угнетенных братьев – русских мужиков. Оба требуют насилия, и оба опираются на учение Христа.

Все на самые различные лады понимают учение Христа, но только не в том прямом простом смысле, который неизбежно вытекает из его слов.

Мы устроили всю свою жизнь на тех самых основах, которые он отрицает, не хотим понять его учение в его простом и прямом смысле и уверяем себя и других, или что мы исповедуем его учение, или что учение его нам не годится. Так называемые верующие верят, что Христос – Бог, второе лицо троицы, и исполняют сложнейшие дела, нужные для совершения таинств, для постройки церквей, для посылки миссионеров, учреждения монастырей, управления паствой, исправления веры, но одно маленькое обстоятельство они забывают – делать то, что он сказал. Неверующие всячески пробуют устроить свою жизнь, но только не по закону Христа, вперед решив, что этот закон не годится. Попытаться же делать то, что он говорит, этого никто не хочет. Но мало того, прежде чем даже попытаться делать это, и верующие и неверующие вперед решают, что это невозможно.

Он говорит просто, ясно: тот закон противления злу насилием, который вы положили в основу своей жизни, ложен и противоестественен; и дает другую основу – непротивления злу, которая, по его учению, одна может избавить человечество от зла. Он говорит; вы думаете, что ваши законы насилия исправляют зло; они только увеличивают его. Вы тысячи лет пытались уничтожить зло злом и не уничтожили его, а увеличили его. Делайте то, что я говорю и делаю, и узнаете, правда ли это.

И не только говорит, но сам всею своею жизнью и смертью исполняет свое учение о непротивлении злу.

Верующие всё это слушают, читают это в церквах, называя это божественными словами, его называют Богом, но говорят; всё это очень хорошо, но это невозможно при нашем устройстве жизни,– это расстроит всю нашу жизнь, а мы к ней привыкли и любим ее. И потому мы верим во всё это в том только смысле, что это есть идеал, к которому должно стремиться человечество,– идеал, который достигается молитвою и верою в таинства, в искупление и в воскресение из мертвых. Другие же, неверующие, свободные толкователи учения Христа, историки религий,– Штраусы, Ренаны и другие,– усвоив вполне церковное толкование о том, что учение Христа не имеет никакого прямого приложения к жизни, а есть мечтательное учение, утешающее слабоумных людей, пресерьезно говорят о том, что учение Христа годно было для проповедания диким обитателям захолустьев Галилеи, но нам, с нашей культурой, оно представляется только милою мечтою «du charmant docteur»', как говорит Ренан. По их мнению, Христос не мог подняться до высоты понимания всей мудрости нашей цивилизации и культуры. Ес-

Очаровательного учителя(<^гр.).

ли бы он стоял на той же высоте образования, на которой стоят эти ученые люди, он не говорил бы тех милых пустяков: о птицах небесных, о подставлении щеки и заботе только о нынешнем дне. Ученые историки эти судят о христианстве по тому христианству, которое они видят в нашем обществе. По христианству же нашего общества и времени признается истинной и священной наша жизнь с ее устройством тюрем одиночного заключения, альказаров, фабрик, журналов, барделей и парламентов, и из учения Христа берется только то, что не нарушает этой жизни. А так как учение Христа отрицает всю эту жизнь, то из учения Христа не берется ничего, кроме слов. Ученые историки видят это и, не имея нужды скрывать это, как скрывают это мнимоверующие, это-то лишенное всякого содержания учение Христа и подвергают глубокомысленной критике и весьма основательно опровергают и доказывают, что в христианстве никогда ничего и не было, кроме мечтательных идей.

Казалось бы, прежде чем судить об учении Христа, надо понять, в чем оно состоит. И чтобы решать: разумно ли его учение или нет, надо прежде всего признавать, что он говорил то, что говорил. А этого-то мы и не делаем: ни церковные, ни вольнодумные толкователи. И очень хорошо знаем, почему мы этого не делаем.

Мы очень хорошо знаем, что учение Христа всегда обнимало и обнимает, отрицая их, все те заблуждения людские, те «тогу», пустые идолы, которые мы, назвав их церковью, государством, культурою, наукою, искусством, цивилизацией, думаем выгородить из ряда заблуждений. Но Христос против них-то и говорит, не выгораживая никаких «тогу».

Не только Христос, но все пророки еврейские – Иоанн Креститель, все истинные мудрецы мира об этой-то самой церкви, об этом самом государстве, об этой самой культуре, цивилизации и говорят, называя злом и погибелью людей.

Положим, строитель скажет жителю: ваш дом дурен, его надо весь перестроить. А потом будет говорить подробности о том, какие бревна, как срезать и куда положить. Житель пропустит мимо ушей слова о том, что дом дурен и надо его перестроить, и будет с притворным уважением слушать слова строителя о дальнейших распоряжениях и размещении в доме. Очевидно, все советы строителя будут казаться непригодными, а не уважающий строителя будет прямо называть эти советы глупыми. Это самое совершается так точно по отношению к учению Христа.

Не найдя лучшего сравнения, я употребил это. И вспомнил, что Христос, преподавая свое учение, употребил это самое сравнение. Он сказал: я разрушу ваш храм и в три дня построю но

вый. и за это самое его распяли. И за это самое и теперь распинают его учение.

Наименьшее, что можно требовать от людей, судящих о чьем-нибудь учении, это то, чтобы судили об учении учителя так, как он сам понимал его. А он понимал свое учение не как какой-то далекий идеал человечества, исполнение которого невозможно, не как мечтательные поэтические фантазии, которыми он пленял простодушных жителей Галилеи; он понимал свое учение как дело, такое дело, которое спасет человечество, и он не мечтал на кресте, а кричал и умер за свое учение. И так же умирали и умрут еще много людей. Нельзя говорить про такое учение, что оно – мечта.

Всякое учение истины – мечта для заблудших. Мы до того дошли, что есть много людей (и я был в числе их), которые говорят, что учение это мечтательно, потому что оно несвойственно природе человека. Несвойственно, говорят, природе человека подставить другую щеку, когда его ударяют по одной, несвойственно отдать свое чужому, несвойственно работать не на себя, а на другого. Человеку свойственно, говорят, отстаивать себя, свою безопасность, безопасность своей семьи, собственность, другими словами,– человеку свойственно бороться за свое существование. Ученый правовед научно доказывает, что самая священная обязанность человека есть отстаивание своего права, т. е. борьба.

Но строит на минуту отрешиться от той мысли, что устройство, которое существует и сделано людьми, есть наилучшее, священное устройство жизни, чтобы возражение это о том, что учение Христа несвойственно природе человека, тотчас же обратилось против возражателей. Кто будет спорить о том, что не то, что мучить или убивать человека, но мучить собаку, убить курицу и теленка противно и мучительно природе человека. (Я знаю людей, живущих земледельческим трудом, которые перестали есть мясо только потому, что им приходилось самим убивать своих животных). А между тем, всё устройство нашей жизни таково, что всякое личное благо человека приобретается страданиями других людей, которые противны природе человека. Всё устройство нашей жизни, весь сложный механизм наших учреждений, имеющих целью насилие, свидетельствует о том, до какой степени насилие противно природе человека. Ни один судья не решится задушить веревкой того, кого он приговорил к смерти по своему правосудию. Ни один начальник не решится взять мужика из плачущей семьи и запереть его в острог. Ни один генерал или солдат без дисциплины, присяги и войны не убьет не только сотни турок или немцев и не разорит их деревень, но не решится ранить ни одного человека. Всё это делается только благодаря той сложнейшей машине государственной и общественной, за

дача которой состоит в том, чтобы разбивать ответственность совершаемых злодейств так, чтобы никто не чувствовал противоестественности этих поступков. Одни пишут законы, другие прилагают их, третьи муштруют людей, воспитывая в них привычки дисциплины, т. е. бессмысленного и безответного повиновения, четвертые – эти самые вымуштрованные люди – делают всякого рода насилия, даже убивают людей, не зная зачем и для чего. Но стоит человеку хоть на минуту мысленно освободиться от этой сети устройства мирского, в которой он запутался, чтобы понять, что ему несвойственно.

Не будем только утверждать, что привычное зло, которым мы пользуемся, есть несомненная божественная истина, и тогда ясно, что естественно и свойственно человеку: насилие или закон Христа? Знать ли, что спокойствие и безопасность моя и семьи, все мои радости и веселья покупаются нищетой, развратом и страданиями миллионов,– ежегодными виселицами, сотнями тысяч страдающих узников и миллионом оторванных от семей и одуренных дисциплиной солдат, городовых и урядников, которые оберегают мои потехи заряженными на голодных людей пистолетами; покупать ли каждый сладкий кусок, который я кладу в свой рот или рот моих детей, всем тем страданием человечества, которое неизбежно для приобретения этих кусков; или знать, что какой ни есть кусок – мой кусок только тогда, когда он никому не нужен и никто из-за него не страдает. Стоит только понять раз, что это так, что всякая радость моя, всякая минута спокойствия при нашем устройстве жизни покупается лишениями и страданиями тысяч, удерживаемых насилием; стоит раз понять это, чтобы понять, что свойственно всей природе человека, т. е. не одной животной, но и разумной и животной природе человека; стоит только понять закон Христа во всем его значении, со всеми последствиями его для того, чтобы понять, что не учение Христа несвойственно человеческой природе, но всё оно только в том и состоит, чтобы откинуть несвойственное человеческой природе мечтательное учение людей о противлении злу, делающее их жизнь несчастною.

Учение Христа о непротивлении злу – мечта! А то, что жизнь людей, в дущу которых вложена жалость и любовь друг к другу, проходила и теперь проходит для одних в устройстве костров, кнутов, колесований, плетей, рванья ноздрей, пыток, кандалов, каторг, виселиц, расстреливаний, одиночных заключений, острогов для женщин и детей, в устройстве побоищ десятками тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин, а жизнь других – в том, чтобы исполнять все эти ужасы, а третьих – в том,

чтобы избегать этих страданий и отплачивать за них,– такая жизнь не мечта.

Стоит понять учение Христа, чтобы понять, что мир, не тот, который дан Богом для радости человека, а тот мир, который учрежден людьми для погибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная, бред сумасшедшего, от которого стоит только раз проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться к этому страшному сновидению.

Бог сошел на землю; сын Бога – одно лицо святой троицы,– вочеловечился, искупил грех Адама; Бог этот, нас приучили так думать, должен был сказать что-нибудь таинственно-мистическое, такое, что трудно понять, что можно понять только помощью веры и благодати, и вдруг слова Бога так просты так ясны, так разумны. Бог говорит просто: не делайте друг другу зла – не будет зла. Неужели так просто откровение Бога? Неужели только это сказал Бог? Нам кажется, что мы это всё знаем. Это так просто.

Илья пророк, убегая от людей, укрылся в пещере, и ему было откровение, что Бог явится ему у входа пещеры. Сделалась буря – ломались деревья. Илья подумал, что это Бог, и посмотрел, но Бога не было. Потом началась гроза; гром и молния были страшные. Илья вышел посмотреть,– нет ли Бога, но Бога не было. Потом сделалось землетрясение: огонь шел из земли, трескались скалы, валились горы. Илья посмотрел, но Бога не было. Потом стало тихо, и легкий ветерок пахнул с освеженных полей. Илья посмотрел,– и Бог был тут. Таковы и эти простые слова Бога: не противься злу.

Они очень просты, но в них выражен закон Бога и человека, единственный и вечный. Закон этот до такой степени вечен, что если и есть в исторической жизни движение вперед к устранению зла, то только благодаря тем людям, которые так поняли учение Христа и которые переносили зло, а не сопротивлялись ему насилием. Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло. То, что это так, есть в мире души человека такой же непреложный закон, как закон Галилея, но более непреложный, более ясный и полный. Люди могут отступать от него, скрывая его от других, но все-таки движение человечества к благу может совершаться только на этом пути. Всякий ход вперед сделан только во имя непротивления злу. И ученик Христа может увереннее, чем Галилей, в виду всех возможных соблазнов и угроз, утверждать: «И все-таки, не насилием, а добром только вы уничтожите зло». И если медленно это движение, то только благодаря тому, что ясность, простота, разум

ность, неизбежность и обязательность учения Христа скрыты от большинства людей самым хитрым и опасным образом, скрыты под чужим учением, ложно называемым его учением.

Всё подтверждало верность открывшегося мне смысла учения Христа. Но долго я не мог привыкнуть к той странной мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей после тысяч людей, посвятивших свою жизнь на изучение этого закона, теперь мне пришлось, как что-то новое, открыть закон Христа. Но как ни странно это было, это было так: учение Христа о непротивлении злу восстало предо мной, как что-то совершенно новое, о чем я не имел ни малейшего понятия. И я спросил себя: отчего это могло произойти? У меня должно было быть какое-нибудь ложное представление о значении учения Христа для того, чтобы я мог так не понять его. И ложное представление это было.

Приступая к чтению Евангелия, я не находился в том положении человека, который, никогда ничего не слыхав об учении Христа, вдруг в первый раз услыхал его; а во мне была уже готова целая теория о том, как я должен понимать его. Христос не представлялся мне пророком, который открывает мне божеский закон, а он представлялся мне дополнителем и разъяснителем уже известного мне несомненного закона Бога. Я имел уже целое, определенное и очень сложное учение о Боге, о сотворении мира и человека и о заповедях его, данных людям через Моисея.

В Евангелиях я встретил слова: «Вам сказано: око за око и зуб за зуб; а я говорю вам: не противьтесь злу». Слова: «око за око и зуб за зуб» – была заповедь, данная Богом Моисею. Слова: «я говорю: не противься злу или злому», была новая заповедь, которая отрицала первую.

Если бы я просто относился к учению Христа, без той богословской теории, которая с молоком матери была всосана мною, я бы просто понял простой смысл слов Христа. Я бы понял, что Христос отрицает старый закон и дает свой, новый закон. Но мне было внушено, что Христос не отрицает закон Моисея, а, напротив, утверждает его весь до малейшей черты и йоты и восполняет его. Стихи 17–23 V гл. Матфея, в которых утверждается это, всегда, при прежних чтениях моих Евангелия, поражали меня своей неясностью и вызывали сомнения. Насколько я знал тогда Ветхий Завет, в особенности последние книги Моисея, в которых изложены такие мелочные, бессмысленные и часто жестокие правила, при каждом из которых говорится: «и Бог сказал Моисею», мне казалось странным, чтобы Христос мог утвердить весь этот закон, и непонятно, зачем он это сделал. Но я оставлял тогда вопрос, не решая его. Я принимал на веру то с детства внушенное мне толкование, что

оба закона эти суть произведения святого духа, что законы эти соглашаются, что Христос утверждает закон Моисея и дополняет и восполняет его. Как происходит это восполнение, как разрешаются те противоречия, которые бросаются в глаза в самом Евангелии и в этих стихах 17–20 и в словах: ***«а я говорю»,*** я никогда не давал себе ясного отчета. Теперь же, признав простой и прямой смысл учения Христа, я понял, что два закона эти противоположны и что не может быть и речи о соглашении их или восполнении одного другим, что необходимо принять один из двух и что толкование стихов 17–20 пятой главы Матфея, и прежде поражавших меня своей неясностью, должно быть неверно.

И, вновь прочтя стихи 17–19, те самые, которые казались мне всегда так неясны, я был поражен тем простым и ясным смыслом этих стихов, который вдруг открылся мне.

Смысл этот открылся мне не оттого, что я что-нибудь придумывал, переставлял, а только оттого, что откинул то искусственное толкование, которое присоединялось к этому месту.

Христос говорит (Матф. V, 17–18); «Не думайте, чтобы Я пришел нарушить закон или (учение) пророков; Я не нарушить пришел, но исполнить. Потому что верно говорю вам, скорее упадет небо и земля, чем выпадет одна малейшая йота или черта (частица) закона, пока не исполнится всё».

И 20-й стих прибавляет: «Ибо, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное».

Христос говорит: я не пришел нарушить вечный закон, для исполнения которого написаны ваши книги и пророчества, но пришел научить исполнять вечный закон; но я говорю не про ваш тот закон, который называют законом Бога ваши учители-фарисеи, а про тот закон вечный, который менее, чем небо и земля, подлежит изменению.

Я выражаю ту же мысль другими словами только для того, чтобы оторвать мысль от обычного ложного понимания. Не будь этого ложного понимания, то нельзя точнее и лучше выразить эту мысль, чем как она выражена в этих стихах.

Толкование, что Христос не отрицает закон, основано на том, что слову закон в этом месте, благодаря сравнению с йотою писанного закона, без всякого основания и противно смыслу слов, приписано значение писанного закона,– вместо закона вечного. Но Христос говорит не о писанном законе. Если бы Христос в этом месте говорил о законе писанном, то он употреблял бы обычное выражение; закон и пророки, то самое, которое он всегда и употребляет, говоря о писанном законе; но он употребляет совсем другое выра-

жение: ***закон или пророки.*** Если бы Христос говорил о законе писанном, то он и в следующем стихе, составляющем продолжение мысли, употребил бы слово; ***«закон и пророки»,*** а не слово ***закон*** без прибавления, как оно стоит в этом стихе. Но, мало того, Христос употребляет то же выражение,– по Евангелию Луки в такой связи, что значение это становится уже несомненным. У Луки XVI, 15, Христос говорит фарисеям, полагавшим праведность в писанном законе. Он говорит; «Вы оправдываете сами себя перед людьми, но Бог знает ваши сердца; что у людей высоко, то мерзость перед Богом». 16. «Закон и пророки до Иоанна, а с тех пор Царство Божие благовествуется, и всякий своим усилием входит в него». И тут-то, вслед за этим (см. 17) он говорит; «Легче небу и земле прейти, чем из ***закона*** выпасть одной черточке». Словами; «закон и пророки до Иоанна» Христос упраздняет закон писанный. Словами; «легче небу и земле прейти, чем из закона выпасть черточке», он утверждает закон вечный. В первых словах он говорит; ***закон и пророки,*** т. е. писанный закон; во-вторых, он говорит просто; закон, следовательно закон вечный. Стало быть, ясно, что здесь противополагается закон вечный закону писанному' и что точно то же противоположение делается и в контексте Матфея, где закон вечный определяется словами; ***закон или пророки.***

Замечательна история текста стихов 17 и 18 по вариантам. В большинстве списков стоит только слово «закон» без прибавления «пророки». При таком чтении не может быть перетолкования о том, что это закон писанный. В других же списках, в Тишендорфов- ском и в каноническом, стоит прибавка – «пророки», но не с союзом «и», а с союзом «или», ***закон или пророки,*** что точно так же исключает смысл вечного закона.

В некоторых же списках, не принятых церковью, стоит прибавка; «пророки» с союзом «и», а не «или»; и в тех же списках при повторении слова закон прибавляется опять: «и пророки». Так что смысл всему изречению при этой переделке придается такой, что Христос говорит только о писанном законе.

Эти варианты дают историю толкований этого места. Смысл один ясный тот, что Христос, так же как и по Луке, говорит о законе вечном; но в числе списателей Евангелий находятся такие, которым желательно признать обязательность писанного закона Мои-

' Мало этого, как бы для того, чтобы уж не было никакого сомнения о том, про какой закон он говорит, он тотчас же в связи с этим приводит пример, самый резкий пример отрицания закона Моисеева — законом вечным, тем, из которого не может выпасть ни одна черточка; он, приводя самое резкое противоречие закону Моисея, которое есть в Евангелии, говорит (Лука XVI, 18); «всякий, кто отпускает жену и женится на другой, прелюбодействует», т. е. в писанном законе позволено разводиться, а по вечному — это грех.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

сеева, и эти списатели присоединяют к слову закон прибавку – «и пророки» – и изменяют смысл.

Другие христиане, не признающие книг Моисея, или исключают вставку, или заменяют слово: «и» – «каЬ словом «или» «г]».– И с этим «или» это место входит в канон. Но, несмотря на ясность и несомненность текста в том виде, в котором он вошел в канон, канонические толкователи продолжают толковать его в том духе, в котором были сделаны не вошедшие в текст изменения. Место это подвергается бесчисленным толкованиям, тем больше удаляющимся от его прямого значения, чем менее толкующий согласен с самым прямым, простым смыслом учения Христа, и большинство толкователей удерживают апокрифический смысл, тот самый, который отвергнут текстом.

Чтобы вполне убедиться в том, что в этих стихах Христос говорит только о вечном законе, стоит вникать в значение того слова, которое подало повод лжетолкованиям. По-русски – закон, по-гречески – vopoi^, по-еврейски – тора, как по-русски, по-гречески и по-еврейски имеют два главные значения: одно – самый закон без отношения к его выражению. Другое понятие есть писанное выражение того, что известные люди считают законом. Различие этих двух значений существует и во всех языках.

По-гречески в посланиях Павла различие это даже определяется иногда употреблением члена. Без члена Павел употребляет это слово большею частью в смысле писанного закона, с членом – в смысле вечного закона Бога.

У древних евреев, у пророков, у Исаии – слово закон, ***тора,*** всегда употребляется в смысле вечного, единого, невыраженного откровения – научения Бога. И то же слово – закон, ***тора,*** у Ез- дры в первый раз и в позднейшее время, во время Талмуда, стало употребляться в смысле написанных пяти книг Моисея, над которыми и пишется общее заглавие – Тора, так же как у нас употребляется слово Библия; но с тем различием, что у нас есть слово, чтобы различать между понятиями – Библии и закона Бога, а у евреев одно и то же слово означает оба понятия.

И потому Христос, употребляя слово закон – «тора», употребляет его, то утверждая его, как Исаия и другие пророки, в смысле закона Бога, который вечен, то отрицая его в смысле писанного закона пяти книг. Но для различия, когда он, отрицая его, употребляет это слово в смысле писанного закона, он прибавляет всего слово; «и пророки», или слово; «ваш», присоединяя его к слову закон.

Когда он говорит: «не делай того другому, что не хочешь, чтобы тебе делали, в этом одном – весь ***закон и пророки»,*** он говорит о писанном законе, он говорит, что весь писанный закон может быть

сведен к одному этому выражению вечного закона, и этими словами упраздняет писанный закон.

Когда он говорит (Лук. XVI, 16): «закон и пророки до Иоанна Крестителя», он говорит о писанном законе и словами этими отрицает его обязательность.

Когда он говорит (Иоан. VII, 19): «не дал ли вам ***Моисей закона,*** и никто не исполняет его»; или (Иоан. VIII, 17): «не сказано ли в законе ***вашем»;*** или: «слово, написанное в законе ***их»*** (Иоан. XV, 25),– он говорит о писанном законе, о том законе, который он отрицает, о том законе, который его самого присуждает к смерти (Иоан. XIX, 7). Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и ***по закону нашему он должен умереть».*** Очевидно, что этот закон иудеев, тот, по которому казнили, не есть тот закон, которому учил Христос. Но когда Христос говорит: я не нарушить пришел закон, но научить вас исполнять его, потому что ничто не может измениться в законе, а всё должно исполниться, он говорит не о законе писанном, а о законе божественном, вечном, и утверждает его.

Но положим, что всё это – формальные доказательства, положим, что я старательно подобрал контексты, варианты, старательно скрал всё то, что было против моего толкования; положим, что толкования церкви очень ясны и убедительны и что Христос действительно не нарушал закон Моисея, а оставил его во всей силе. Положим, что это так. Но тогда чему же учит Христос?

По толкованиям церкви, он учил тому, что он, второе лицо троицы, сын Бога Отца, пришел на землю и искупил своей смертью грех Адама. Но всякий, читавший Евангелие, знает, что Христос в Евангелиях или ничего, или очень сомнительно говорит про это. Но положим, что мы не умеем читать и там говорится про это. Но, во всяком случае, указание Христа на то, что он есть второе лицо троицы и искупляет грехи человечества, занимает самую малую и неясную часть Евангелия. В чем же всё остальное содержание учения Христа? Нельзя отрицать, и все христиане всегда признавали это, что главное содержание учения Христа есть учение о жизни людей: как надо жить людям между собою.

Признав, что Христос учил новому образу жизни, надо представить себе каких-нибудь определенных людей, среди которых он учил.

Представим себе русских, или англичан, или китайцев, или индусов, или даже диких на островах, и мы увидим, что у всякого народа всегда есть свои правила жизни, свой закон жизни, и что потому, если учитель учит новому закону жизни, то он этим самым учением разрушает прежний закон жизни; не разрушая его, он не может учить. Так это будет в Англии, в Китае и у нас. Учитель не

избежно будет разрушать наши законы, которые мы считаем дорогими и почти священными; но среди нас еще может случиться то, что проповедник, уча новой жизни, будет разрушать только наши законы гражданские, государственные, наши обычаи, но не будет касаться законов, которые мы считаем божественными, хотя это и трудно предположить. Но среди еврейского народа, у которого был только один закон,– весь божественный и обнимавший вс'ю жизнь со всеми мельчайшими подробностями, среди такого народа, что мог проповедывать проповедник, вперед объявлявший, что весь закон народа, среди которого он проповедует, ненарушим? Но, положим, и это недоказательно. Пусть те, которые толкуют слова Христа так, что он утверждал весь закон Моисея, пусть они объяснят себе: кого же во всю свою деятельность обличал Христос, против кого восставал, называя их фарисеями, законниками, книжниками?

Кто не принял учения Христа и распял его с своими первосвященниками?

Если Христос признавал закон Моисея, то где же были те настоящие исполнители этого закона, которых бы одобрял за это Христос? Неужели ни одного не было? Фарисеи, нам говорят, была секта. Евреи не говорят этого. Они говорят: фарисеи – истинные исполнители закона. Но, положим, это секта. Саддукеи тоже секта. Где же были не секты, а настоящие?

По Евангелию Иоанна, все они, враги Христа, прямо называются иудеи. И они не согласны с учением Христа и противны ему только потому, что они иудеи. Но в Евангелиях не одни фарисеи и саддукеи выставляются врагами Христа; врагами Христа называются и законники, те самые, которые блюдут закон Моисея, книжники, те самые, которые читают закон, старейшины, те самые, кото- . рые считаются всегда представителями мудрости народной.

Христос говорит: я не праведных пришел призывать к покаянию, к перемене жизни, |j,stavoia, но грешных. Где же, какие же были эти праведные? Неужели один Никодим? Но и Никодим представлен нам добрым человеком, но заблудшим.

Мы так привыкли к тому, по меньшей мере странному толкованию, что фарисеи и какие-то злые иудеи распяли Христа, что тот простой вопрос о том, где же были те не фарисеи и не злые, а на- стояшие иудеи, державшие закон, и не приходит нам в голову. Стоит задать себе этот вопрос, чтобы всё стало совершенно ясно. Христос – будь он Бог или человек – принес свое учение в мир среди народа, державшегося закона, определявшего всю жизнь людей и называвшегося законом Бога. Как мог отнестись к этому закону Христос?

Всякий пророк – учитель веры, открывая людям закон Бога, всегда встречает между людьми уже то, что эти люди считают законом Бога, и не может избежать двоякого употребления слова закон, означающего то, что эти люди считают ложно законом Бога ***ваш закон,*** и то, что есть истинный, вечный закон бога. Но мало того, что не может избежать двоякого употребления этого слова, проповедник часто не хочет избежать его и умышленно соединяет оба понятия, указывая на то, что в том ложном в его совокупности законе, который исповедуют те, которых он обращает, что и в этом законе есть истины вечные. И всякий проповедник эти-то знакомые обращаемые истины и берет за основу своей проповеди. То самое делает и Христос среди евреев, у которых и тот и другой закон называется одним словом ***тора.*** Христос по отношению к закону Моисея и еще более к пророкам, в особенности Исаии, слова которого он постоянно приводит, признает, что в еврейском законе и пророках есть истины вечные, божеские, сходящиеся с вечным законом, и их-то, как изречение – люби Бога и ближнего,– берет за основание своего учения.

Христос много раз выражает эту самую мысль (Лук. X, 26). Он говорит: в законе что написано? ***Как читаешь?*** – Ив законе можно найти вечную истину, если умеешь читать. И он указывает не раз на то, что заповедь их закона о любви к Богу и ближнему есть заповедь закона вечного (Матф. XIII, 52). Христос после всех тех притч, которыми он объясняет ученикам значение своего учения, в конце всего, как относящееся ко всему предшествующему, говорит: поэтому-то всякий книжник, т. е. грамотный, наученный истине, подобен хозяину, который берет из своего сокровища (вместе, безразлично) и старое и новое.

Св. Ириней, а за ним и вся церковь точно так и понимают эти слова, но, совершенно произвольно и.нарушая тем смысл речи, приписывают этим словам значение того, что всё старое – священно. Смысл ясный тот, что кому нужно доброе, тот берет не одно новое, но и старое, и что потому, что оно старое, его нельзя отбрасывать. Христос этими словами говорит, что он не отрицает того, что в древнем законе вечно. Но когда ему говорят о всем законе или о формах его,– он говорит, что нельзя вливать вино новое в мехи старые. Христос не мог утверждать весь закон, но он не мог также и отрицать весь закон и пророков, тот закон, в котором сказано: люби ближнего как самого себя, и тех пророков, словами которых он часто высказывает свои мысли.

И вот, вместо этого простого и ясного понимания самых простых слов, как они сказаны и как они подтверждаются всем учением Христа, подставляется туманное толкование, вводящее противо

речие туда, где его нет, и тем уничтожаюгцее значение учения Христа, сводящее его на слова и восстановляющее на деле учение Моисея во всей его дикой жестокости.

По всем церковным толкованиям, особенно с пятого века, Христос не нарушал писанный закон, а утверждал его. Но как он утверждал его? Как может быть соединен закон Христа с законом Моисея? на это нет никакого ответа. Во всех толкованиях делается игра слов и говорится о том, что Христос исполнил ***закон Моисея*** тем, что на нем исполнились пророчества, и о том, что Христос ***через нас,*** через веру людей в себя, исполнил закон. Единственный же существенный для каждого верующего вопрос о том, как соединить два противоречивые закона, определяющие жизнь людей, остается даже без попытки разрешения. И противоречие между тем стихом, в котором говорится, что Христос не разрушает закон, и стихом, где говорится: «вам сказано..., а я говорю вам»... и между всем духом учения Моисея и учением Христа остается во всей силе.

Всякий интересующийся этим вопросом путь сам посмотрит церковные толкования этого места, начиная от Иоанна Златоуста и до нашего времени. Только прочтя эти длинные толкования, он ясно убедится, что тут не только нет разрешения противоречия, но есть искусственно внесенное противоречие туда, где его не было. Невозможные попытки соединения несоединимого ясно показывают, что соединение это не есть ошибка мысли, а что соединение имеет ясную и определенную цель, что оно нужно. И даже видно, зачем оно нужно.

Вот что говорит Иоанн Златоуст, возражая тем, которые отвергают закон Моисея (толкование на Евангелие Матфея Иоанна Златоуста, т. I, с. 320, 321):

«Далее, испытывая древний закон, в коем повелевается исторгать око за око и зуб за зуб, тотчас возражают: как может быть благим тот, который говорит сие? Что же мы на сие скажем? – ***То, что это, напротив, есть величайший закон человеколюбия Божия'.*** Не для того он постановил сей закон, чтобы мы исторгали глаза один у другого, но чтобы, опасаясь потерпеть сие зло от других, не причиняли и им оного. Подобно тому, как, угрожая погибелью ниневитянам, он не хотел их погубить (ибо если б он хотел сего, то надлежало бы ему молчать), но хотел только сим страхом сделать их лучшими, оставить гнев свой. Так и тем, кои так дерзки, что готовы выколоть у других глаза, определил наказание с тою целью, что если они по доброй воле не захотят удержаться от сей жестокости, то, по крайней мере, страх препятствовал бы им отни-

Курсив **Л. Н. Толстого.**

мать зрение у ближних. Если бы это была жестокость, то жестоко- стию было бы и то, что запрещается убийство, возбраняется прелюбодеяние. Но так говорить могут только сумасшедшие, дошедшие до последней степени безумия. А я столько страшусь назвать сии постановления жестокими, ***что противное оным почел бы делом беззаконным,***^ судя по здравому человеческому смыслу. Ты говоришь, что Бог жесток потому, что повелел исторгать око за око; а я скажу, что когда бы он не дал такого повеления, тогда бы справедливее многие могли бы почесть его таким, каким ты его называешь». Иоанн Златоуст прямо признает закон зуб за зуб законом божественным, и ***противное закону зуб за зуб,*** т. е. учение Христа о непротивлении злу, делом беззаконным. (С. 322, 323); «Положим, что весь закон уничтожен,– далее говорит Иоанн Златоуст,– и никто не страшится определенного оным наказания,– что всем порочным позволено без всякого страха жить по своим склонностям, и прелюбодеям, и убийцам, и ворам, и клятвопреступникам. Не низвратится ли тогда всё, не наполнятся ли бесчисленными злодеяниями и убийствами города, торжища, домы, земля, море и вся вселенная? Это всякому очевидно. Если и при существовании законов, при страхе и угрозах, злые намерения едва удерживаются, то когда бы отнята была и сия преграда, что тогда препятствовало бы людям решаться на зло? Какие бедствия не вторглись бы тогда в жизнь человеческую? Не только то есть жестокость, когда злым позволяют делать, что хотят, но и то, когда человека, не учинившего никакой несправедливости, оставляют страдать невинно без всякой защиты. Скажи мне, если бы кто-нибудь, собрав отовсюду злых людей и вооруживши их мечами, приказал им ходить по всему городу и убивать всех встречающихся,– может ли быть что бесчеловечнее сего? Напротив, если бы кто-нибудь другой сих вооруженных людей связал и силою заключил их в темницу, а тех, которым угрожала смерть, исхитил бы из рук беззаконников оных, может ли что-нибудь быть человеколюбивее сего?»

Иоанн Златоуст не говорит: чем будет руководствоваться кто- нибудь другой в определении злых? Что если он сам злой и будет сажать в темницу добрых?

«Теперь приложи сии примеры к закону: Повелевающий исторгать око за око налагает сей страх, как некие крепкие узы, на души порочных и уподобляется человеку, связавшему оных вооруженных; а кто не определил бы никакого наказания преступникам, тот вооружил бы их бесстрашием и был бы подобен человеку, который роздал злодеям мечи и разослал их по всему городу».

Курсив **Л. Н. Толстого.**

Если Иоанн Златоуст признает закон Христа, то он должен сказать: кто же будет исторгать глаза и зубы и сажать в темницу? Если бы повелевающий исторгать око за око, т. е. Бог, сам бы исторгал, то тут не было бы противоречия, а то это надо делать людям, а людям этим сын Божий сказал, что этого не надо делать. Бог сказал; исторгать зубы, а сын сказал: не исторгать,– надо признать одно из двух, и Иоанн Златоуст и за ним вся церковь признает повеление отца, т. е. Моисея, и отрицает повеление сына, т. е. Христа, которого учение будто бы исповедует.

Христос отвергает закон Моисея, дает свой. Для человека, верующего Христу, нет никакого противоречия. Он и не обращает никакого внимания на закон Моисея, а верует в закон Христа и исполняет его. Для человека, верующего закону Моисея, тоже нет никакого противоречия. Евреи признают слова Христа пустыми и верят закону Моисея. Противоречие является только для тех, которые хотят жить по закону Моисея, а уверяют себя и других, что они верят закону Христа,– для тех, которых Христос называл лицемерами, порождениями ехидны.

Вместо того чтобы признать одно из двух; закон Моисея или Христа, признается, что оба божественно-истинны.

Но когда вопрос касается дела самой жизни, то прямо отрицается закон Христа и признается закон Моисея.

В этом ложном толковании, если вникнуть в значение его, страшная, ужасная драма борьбы зла и тьмы с благом и светом.

Среди еврейского народа, запутанного бесчисленными внещни- ми правилами, наложенными на него левитами под видом Божеских законов, пред каждым из которых стоит изречение; «и Бог сказал Моисею»,– является Христос. Не только отношения человека к Богу, его жертвы, праздники, посты, отношения человека к человеку, народные, гражданские, семейные отношения, все подробности личной жизни: обрезание, омовение себя и чаш, одежды,– всё определено до последних мелочей и всё признано повелением Бога, законом Бога. Что же может сделать, не говорю Христос-бог, но пророк, но самый обыкновенный учитель, уча такой народ, не нарушая тот закон, который уже определил всё до малейших подробностей? Христос так же, как и все пророки, берет из того, что люди считают законом Бога, то, что есть точно закон Бога, берет основы, откидывает всё остальное и с этими основами связывает свое откровение вечного закона. Нет нужды уничтожать всё, но неизбежно нарушить тот закон, который считается одинаково обязательным во всем. Христос делает это, и его упрекают в нарушении того, что считается законом Бога, и за это самое его казнят. Но учение его остается у его учеников и переходит в другую среду и в века. Но в

другой среде веками нарастают опять на это новое учение такие же наслоения, толкования, объяснения, опять подстановка человеческих низменных измышлений на место божеского откровения; вместо «и Бог сказал Моисею» говорится: «изволися нам и св. духу». И опять буква покрывает дух. И что более всего поразительно – это то, что учение Христа связывается со всей той «тора» в смысле писанного закона, который он не мог не отрицать. Эта тора признается произведением откровения его духа истины, т. е. св. духа, и сам оказывается в тенетах своего откровения. И всё учение его сводится на ничто.

Так вот отчего после 1880 лет со мной случилась такая страшная вещь, что мне пришлось открывать смысл учения Христа, как что-то новое.

Мне не открывать пришлось, а мне пришлось делать то самое, что делали и делают все люди, ищущие Бога и закон его: находить то, что есть вечный закон Бога, среди всего того, что люди называют этим именем.

VI

И вот, когда я понял закон Христа, как закон Христа, а не закон Моисея и Христа, и понял то положение этого закона, которое прямо отрицает закон Моисея, так все Евангелия, вместо прежней неясности, разбросанности, противоречий, слились для меня в одно неразрывное целое, и среди их выделилась сущность всего учения, выраженная в простых, ясных и доступных каждому пяти заповедях Христа (Матф. V, 21–48), о которых я ничего не знал до сих пор.

Во всех Евангелиях говорится о заповедях Христа и об исполнении их.

Все богословы говорят о заповедях Христа; но какие эти ***заповеди,*** я не знал прежде. Мне казалось, что заповедь Христа состоит в том, чтобы любить Бога и ближнего, как самого себя. И я не видел, что это не может быть заповедь Христа, потому что это есть заповедь древних (Второзаконие и Левит). Слова (Матф. V, 19) – кто нарушит одну из ***заповедей сих*** малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в царстве небесном,– я относил к заповедям Моисея. А то, что новые заповеди Христа ясно и определенно выражены в стихах V главы Матфея от 21–48, никогда не приходило мне в голову. Я не видел того, что в том месте, где Христос говорит: «вам сказано, а я говорю вам», выражены новые определенные заповеди Христа, и именно по числу ссылок на древний закон (считая две ссылки о прелюбодеянии за одну), пять новых, ясных и определенных заповедей Христа.

Про блаженства и про число их я слыхал и встречал перечисление и объяснение их в преподавании закона Божия; но о заповедях Христа я никогда ничего не слыхал. Я, к удивлению моему, должен был открыть их.

И вот как я открывал их. Матф. V, 21–26. Сказано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду (Исход XX, 13). А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака» – подлежит синедриону, а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной (23). Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя (24), оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой (25). Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу (26). Истинно говорю: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта».

Когда я понял заповедь о непротивлении злу, мне представилось, что стихи эти должны иметь такое же ясное, приложимое к жизни значение, как и заповедь о непротивлении злу. Значение, которое я приписывал прежде этим словам, было то, что всякий должен всегда избегать гнева против людей, не должен никогда говорить бранных слов и должен жить в мире со всеми без всякого исключения; но в тексте стояло слово, исключающее этот смысл. Сказано было: не гневайся ***напрасно,*** так что из слов этих не выходило предписания безусловного мира.– Слово это смущало меня. И за разъяснением моих сомнений я обратился к толкованиям богословов; и, к удивлению моему, нашел, что толкования отцов преимущественно направлено на разъяснение того, когда гнев извинителен и когда неизвинителен. Все толкователи церкви, особенно напирая на значение слова: ***напрасно,*** объясняют это место так, что не надо оскорблять невинно людей, не надо говорить бранных слов, но что гнев не всегда несправедлив, и в подтверждение своего толкования приводят примеры гнева апостолов и святых.

И я не мог не признать, что объяснение о том, что гнев, по их выражению, во славу Божию не воспрещается, хотя и противное всему смыслу Евангелия, последовательно и имеет основание в слове ***напрасно,*** стоящем в 22 стихе. Слово это изменяло смысл всего изречения.

Не гневайся ***напрасно.*** Христос велит прощать всем, прощать без конца; сам прощает и запрещает Петру гневаться на Малха, когда Петр защищает своего ведомого на распятие учителя, казалось бы, не напрасно. И тот же Христос говорит в поучение всем

людям: не гневайся ***напрасно*** и тем самым позволяет гневаться поделом, не напрасно. Христос проповедует мир всем простым людям, и вдруг, как бы оговариваясь в том, что это не относится до всех случаев, а есть случаи, когда можно гневаться на брата,– вставляет слово ***«напрасно».*** И в толкованиях объясняется, что бывает гнев благовременный. Но кто же судья тому, говорил я, когда гнев благовременный? Я не видал еще людей гневающихся, которые бы не считали, что гнев их благовременный. Все считают, что гнев их законен и полезен. Слово это разрушало весь смысл стиха. Но слово стояло в Священном Писании, и я не мог выкинуть его. А слово это было подобно тому, что если бы к изречению: ***люби ближнего,*** было прибавлено: ***люби хороилего ближнего,*** или: ***того ближнего, который тебе нравится.***

Всё значение места разрушалось для меня словом: ***«напрасно».*** Стихи 23 и 24 о том, что прежде, чем молиться, надо помириться с тем, кто имеет что против тебя, которые без слова «напрасно» имели бы прямой, обязательный смысл, получали тоже смысл условный.

Мне представлялось, что Христос должен был запрещать всякий гнев, всякое недоброжелательство и для того, чтобы его не было, предписывает каждому: прежде чем идти приносить жертву, т. е. прежде, чем становиться в общение с Богом, вспомнить, нет ли человека, который сердится на тебя. И если есть такой, напрасно или не напрасно, то пойти и помириться, а потом уж приносить жертву или молиться. Так мне казалось, но по толкованиям выходило, что это место надо понимать условно.

По всем толкованиям объясняется так, что надо стараться помириться со всеми; но если этого нельзя сделать по испорченности людей, которые во вражде с тобою, то надо помириться в душе – в мыслях; и вражда других против тебя не мешает тебе молиться. Кроме того, слова: кто скажет рака и безумный, тот страшно виновен, всегда казались мне странными и неясными. Если запрещается ругаться, то почему избраны примеры таких слабых, почти неругательных слов? И потом, за что такая страшная угроза тому, у кого сорвется такое слабое ругательство, как рака, т. е. ничтожный? Всё это было неясно.

Мне чувствовалось, что тут происходит такое же непонимание, как при словах: ***не судите:*** я чувствовал, что как и в том толковании, так и здесь из простого, важного, определенного, исполнимого всё переходит в область туманную и безразличную. Я чувствовал, что Христос не мог так понимать слова: поди и помирись с ним, как они толкуются: «помирись в мыслях». Что значит: помирись в мыслях? Я думал, что Христос говорит: то, что он высказывал словами

пророка: не жертвы хочу, но милости, т. е. любви к людям. И потому, если хочешь угодить Богу, то прежде, чем молиться утром и вечером у обедни и всенощной, вспомни,– кто на тебя сердится; и поди устрой так, чтобы не был он сердит на тебя, а после уж молись, если хочешь. А то ***«в мыслях».*** Я чувствовал, что всё толкование, разрушавшее прямой и ясный для меня смысл, зиждилось на слове ***«напрасно».*** Если бы выкинуть его, смысл выходил бы ясный; но против моего понимания были все толкователи, против него было каноническое Евангелие со словом ***напрасно.***

Отступи я в этом, я могу отступить в другом по своему произволу; другие могут сделать то же. Всё дело в одном слове. Не будь этого слова, всё было бы ясно. И я делаю попытку объяснить как- нибудь филологически это слово ***«напрасно»*** так, чтобы оно не нарушало смысла всего.

Справляюсь с лексиконами; общим, и вижу, что слово это по- гречески eixfi – значит тоже и без цели, необдуманно; пытаюсь дать такое значение, которое бы не нарушало смысла, но прибавление слова, очевидно, имеет тот смысл, который придан ему. Справляюсь с евангельским лексиконом – значение слова то самое, которое придано ему здесь. Справляюсь с контекстом – слово употреблено в Евангелии только один раз, именно здесь. В посланиях употребляется несколько раз. В послании Коринфянам I, XV, 2, употребляется именно в этом смысле. Стало быть, нет возможности объяснить иначе, и надо признать, что Христос сказал: ***не гневайтесь напрасно.*** А должен сознаться, что для меня признать, что Христос мог в этом месте сказать такие неясные слова, давая возможность понимать их так, что от них ничего не оставалось, для меня признать это было бы то же, что отречься от всего Евангелия. Остается последняя надежда: во всех ли списках стоит это слово? Справляюсь с вариантами. Справляюсь по Грисбаху, у которого означены все варианты, т. е. как, в каких списках и у каких отцов употреблялось выражение. Справляюсь, и меня сразу приводит в восторг то, что в этом месте есть выноски, есть варианты. Смотрю – варианты все относятся к слову ***напрасно.*** Большинство списков Евангелий и цитат отцов не имеют вовсе слова ***напрасно.*** Стало быть, большинство понимало, как и я. Справляюсь с Тишендор- фом,– в списке самом древнем,– слова этого нет вовсе. Смотрю в переводе Лютера, из которого я бы мог узнать это самым коротким путем,– тоже нет этого слова.

То самое слово, которое нарушало весь смысл учения Христа, слово это – прибавка еще в пятом веке, не вошедшая в лучшие списки Евангелия.

Нашелся человек, который вставил это слово, и находились люди, которые одобряли эту вставку и объясняли ее.

Христос не мог сказать и не сказал этого ужасного слова, и тот первый, простой, прямой смысл всего места, который поразил меня и поражает всякого, есть истинный.

Но мало того, стоило мне понять, что слова Христа запрещают всегда всякий гнев против кого бы то ни было, чтобы смущавшее меня прежде запрещение говорить кому-нибудь слова ***рака*** и ***безумный*** получило бы тоже другой смысл, чем тот, что Христос запрещает бранные слова. Странное непереведенное еврейское слово ***рака*** дало мне этот смысл. Рака значит растоптанный, уничтоженный, несуществующий; слово ***рака*** очень употребительное, значит исключение, ***только не.*** Рака значит человек, которого не следует считать за человека. Во множественном числе слово ***рекам*** употреблено в книге Судей IX, 4, где оно значит пропащее. Так вот этого слова Христос не велит говорить ни о каком человеке. Так же как и не велит ни о ком говорить другое слово ***безумный,*** как и ***рака,*** мнимо освобождающее нас от человеческих обязанностей к ближнему. Мы гневаемся, делаем зло людям и, чтобы оправдать себя, говорим, что тот, на кого мы гневаемся, пропащий или безумный человек. И вот этих-то двух слов не велит Христос говорить о людях и людям. Христос не велит гневаться ни на кого и не оправдывать свой гнев тем, чтобы признавать другого пропащим или безумным.

И вот вместо туманных, подлежащих толкованиям и произволу, неопределенных и неважных выражений открылась мне с стиха 21–28 простая, ясная и определенная первая заповедь Христа; живи в мире со всеми людьми, никогда своего гнева на людей не считай справедливым. Ни одного, никакого человека не считай и не называй пропащим и безумным, ст. 22. И не только своего гнева не признавай не напрасным, но чужого гнева на себя не признавай напрасным, и потому; если есть человек, который сердится на тебя, хоть и напрасно, то, прежде чем молиться, поди и уничтожь это враждебное чувство, ст. 23, 24. Вперед старайся уничтожить вражду между собою и людьми, чтобы вражда не разгорелась и не погубила тебя, ст. 25, 26.

Вслед за первою заповедью с такою же ясностью открылась мне и вторая, начинающаяся также ссылкой на древний закон. Матф. V, 27–30, сказано; «Вы слышали, что сказано древним; не прелюбодействуй (Исход XX, 14). А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов

твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну».

Матф. V, 31–32; «Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную (Второзаконие XXIV, 1). А Я говорю вам: кто разведется с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».

Значение этих слов представилось мне такое: человек не должен допускать даже мысли о том, что он может соединяться с другой женщиной, кроме как с тою, с которой он раз уже соединился, и никогда не может, как это было по закону Моисея, переменить эту женщину на другую.

Как в первой заповеди против гнева дан совет тушить этот гнев вначале, совет, разъясненный сравнением с человеком, ведомым к судье, так и здесь Христос говорит, что блуд происходит оттого, что мужчины и женщины смотрят друг на друга как на предмет похоти. Чтобы этого не было, надо устранить всё то, что может вызвать похоть. Избегать всего того, что возбуждает похоть, и, соединившись с женою, ни под каким предлогом не покидать ее; потому что покидание жен и производит разврат. Покинутые жены соблазняют других мужчин и вносят разврат в мир.

Мудрость этой заповеди поразила меня. Всё зло между людьми, вытекающее из половых сношений, устранялось ею. Люди, зная, что потеха половых сношений ведет к раздору, избегают всего того, что вызывает похоть, и, зная, что закон человека – жить парами,– соединяются попарно, не нарушая ни в каком случае этого союза; и всё зло раздора из-за половых сношений уничтожается тем, что нет мужчин и женщин одиноких, лишенных брачной жизни.

Но поражавшие меня всегда при чтении нагорной проповеди слова: ***кроме вины прелюбодеяния,*** понимаемые так, что человек может разводиться с женою в случае ее прелюбодеяния, поразили меня теперь еще больше.

Не говоря уже о том, что было что-то недостойное в самой той форме, в которой была выражена эта мысль, о том, что рядом с глубочайшими, по своему значению, истинами проповеди, точно примечание к статье свода законов, стояло это странное исключение из общего правила, самое исключение это противоречило основной мысли.

Справляюсь с толкователями,– и все (Иоанн Златоуст, стр. 365) и другие, даже ученые богословы-критики, как Reuss, признают, что

слова эти означают то, что Христос разрешает развод в случаях прелюбодеяния жены и что в XIX главе, в речи Христа, запрещающей развод, слова: ***если не за прелюбодеяние,*** означают то же. Читаю, перечитываю стих 32, и кажется мне, что это не может значить разрешение развода. Чтобы поверить себя, я справляюсь с контекстами и нахожу в Евангелии Матфея XIX, Марка X, Луки XVI, в Первом послании Павла коринфянам разъяснение того же учения неразрывности брака без всякого исключения.

У Луки XVI, 18, сказано: «Всякий, разводящийся с женою •своею и женящийся на другой, прелюбодействует; и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует».

У Марка X, 4–12, сказано также без всякого исключения: «По жестокосердию ващему он написал вам заповедь сию. В начале же сотворения мужа и жены сотворил их Бог. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет два – одна плоть, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Опять о том же спросили Его в доме ученики Его. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».

То же самое сказано у Матфея, глава XIX, 4–9.

В Первом послании Павла коринфянам VII, с 1 по 12, развита подробно мысль предупреждения разврата тем, чтобы каждый муж и жена, соединившись, не покидали бы друг друга, удовлетворяли бы друг друга в половом отношении; и также прямо сказано, что один из супругов ни в коем случае не может покидать другого для сношений с другим или другою.

По Марку, Луке и по посланию Павла не позволено разводиться. По смыслу толкования о том, что муж и жена – единое тело, соединенное Богом, толкования, повторенного в двух Евангелиях, не позволено. По смыслу всего учения Христа, предписывающего всем прощать, не исключая из этого падшую жену, не позволено. По смыслу всего места, объясняющего то, что отпущение жены производит разврат в людях, тем более развратной,– не позволено.

На чем же основано толкование, что развод допускается в случае прелюбодеяния жены? На тех словах 32-го стиха пятой главы, которые так странно поразили меня. Эти самые слова толкуются всеми так, что Христос разрешает развод в случае прелюбодеяния жены, и эти самые слова в XIX главе повторяются многими списками Евангелий и многими отцами вместо слов: ***если не за прелюбодеяние.***

И я опять стал читать эти слова, но очень долго не мог понять их. Я видел, что тут должна была быть ошибка перевода и толкова

ния, но в чем она была – я долго не мог найти. Ошибка была очевидна. Противополагая свою заповедь заповеди Моисея, по которой всякий муж, как сказано там, возненавидевши свою жену, может отпустить ее и дать ей разводную, Христос говорит; ***А Я говорю вам, кто разведется с женой, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать.*** В словах этих нет никакого противоположения и даже нет никакого определения того, что можно или нельзя разводиться. Сказано только, что отпущение жены подает ей повод прелюбодействовать. И вдруг при этом сделано исключение о жене, виновной в прелюбодеянии. Исключение это, относящееся до виновной в прелюбодеянии жены, когда дело идет о муже, вообще странно и неожиданно, но в этом месте просто глупо, потому что оно уничтожает и тот сомнительный смысл, который был в этих словах. Сказано, что отпущение жены заставляет ее прелюбодействовать, и предписывается отпускать жену, виновную в прелюбодеянии, как будто виновная в прелюбодеянии жена не будет прелюбодействовать.

Но мало этого, когда я разобрал внимательнее это место, я увидал, что оно не имеет даже грамматического смысла. Сказано; ***кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, подает ей повод прелюбодействовать;*** и предложение кончено. Говорится о муже, о том, что он, отпуская жену, подает ей повод прелюбодействовать. К чему же сказано тут; ***кроме вины прелюбодеяния жены?*** Ведь если бы было сказано, что муж, разводящийся с женой, кроме как за ее прелюбодеяние, прелюбодействует, тогда бы предложение было правильно. А то к подлежащему муж, который разводится, нет другого сказуемого, как ***подает повод.*** Как же к этому сказуемому отнести; кроме вины прелюбодеяния? Нельзя подавать повод, кроме вины прелюбодеяния жены. Даже если бы к словам; «кроме прелюбодеяния» было бы прибавлено слово ***жены,*** или ***ее,*** чего нет, то и тогда бы эти слова не могли относиться к сказуемому; ***подает повод.*** Слова эти, по принятому толкованию, относятся к сказуемому; кто ***разводится;*** но кто ***разводится*** есть не главное сказуемое; главное сказуемое – подает повод. К чему же тут; ***кроме вины прелюбодеяния?*** И. при вине прелюбодеяния и без вины прелюбодеяния муж, разводясь, одинаково подает повод.

Ведь выражение такое же, как следующее; тот, кто лишит пропитания своего сына, кроме вины жестокости, подает ему повод быть жестоким. Выражение это, очевидно, не может иметь того смысла, что отец может лишить пропитания своего сына, если сын жесток. Если оно имеет смысл, то только тот, что отец, лишающий сына пропитания, кроме своей вины жестокости, заставляет и сына быть жестоким. Точно так же и евангельское выражение имело бы

смысл, если бы вместо слов: ***вины прелюбодеяния,*** стояло бы: вины сладострастия, распутства или чего-нибудь подобного, выражающего не поступок, а свойство.

И я просил себя: да не сказано ли здесь просто то, что тот, кто разводится с женою, кроме того, что сам виновен в распутстве (так как каждый разводится только, чтобы взять другую), подает повод и жене прелюбодействовать. Если в тексте слово прелюбодеяние выражено такими словами, что оно может означать и распутство, то смысл ясен.

И повторилось то же, что так часто в таких случаях повторялось со мной. Текст подтвердил мое соображение, так что уже не могло быть сомнения.

Первое, что бросилось мне в глаза при чтении текста, было то, что слово Tiopveia, переведенное тем же словом прелюбодеяние, как и слово ршхоЬЭаг – совершенно другое слово. Но, может быть, слова эти синонимы, или в Евангелиях употребляются одно за другое? Справляюсь со всеми лексиконами – общим и евангельским, и вижу, что слово яорУ81а, соответствующее еврейскому – , латин скому – fornicatio, немецкому – Hurerei, русскому – распутство,– имеет самое определенное значение и никогда ни по каким лексиконам не значило и не может значить поступка прелюбодеяния – adultere, Ehebruch, как оно переводится. Оно значит порочное состояние или свойство, а никак не поступок, и не может быть переведено прелюбодеянием. Мало того, вижу, что слово: прелюбодеяние, прелюбодействовать – везде в Евангелиях и даже в этих стихах обозначается другим словом – poixdtto. И стоило мне только исправить этот, очевидно умышленно неправильный, перевод, чтобы смысл, придаваемый толкователями этому месту и контексту XIX главы, стал совершенно невозможен, и чтобы тот смысл, при котором слово rtopvsxa относится к мужу, стал бы несомненен.

Перевод, который сделает всякий знающий по-гречески, будет следующий: парекхб^ – кроме, Хоуои – вины, Ttopveia^ – распутства, ло1вГ– заставляет, auxfiv – ее, poixaaSai – прелюбодействовать, и выходит слово в слово: тот, кто разводится с женою, кроме вины распутства, заставляет ее прелюбодействовать.

Тот же смысл получается и в XIX главе. Стоит только поправить неверный перевод и слова Tiopveva, и предлога ***ini,*** переведенного ***за,*** и вместо «прелюбодеяния» поставить слово распутство, и вместо ***за*** поставить – ***по*** или ***для,*** чтобы ясно было, что слова: si |xf| 8711 TTopvela не могут относиться к жене. И как слова ларекхб!^ Хбуоо лору81а^ не могут ничего значить другого, как – кроме вины распутства мужа, так и слова si pi) nopvsia, стоящие в XIX главе, не могут относиться ни к чему иному, как к распутству мужа. Сказа

но —81 |ifi 8Я1 uopveia,– слово в слово: если не по распутству, не для распутства. И смысл выходит тот, что Христос, отвечая в этом месте на мысль фарисеев, которые думали, что если человек оставил свою жену не для того, чтобы распутничать, а чтобы жить брачно с другою, то он не прелюбодействует,– Христос на это говорит, что оставление жены, т. е. прекращение сношений с нею, если и не по распутству, а для брачного соединения с другою, все-таки прелюбодеяние. И выходит простой смысл, согласный со всем учением, с теми словами, в связи с которыми он находится и с грамматикой и с логикой.

И этот-то простой, ясный смысл, вытекающий из самих слов и из всего учения, мне надо было открывать с величайшим трудом. В самом деле, прочтите эти слова по-немецки, по-французски, где прямо сказано: pour cause d'infidelite, или a moins que cela ne soit pour cause d'infidelite, и догадайтесь, что это значит совсем другое. Слово яар8ктб(^, по всем лексиконам значащее: excepte, ausgenom- men, кроме,– переводится целым предложением: a moins que cela ne soit. Слово nopv8ia(!^ переводится infidelite, Ehebruch, прелюбодеяние. И вот на этом умышленном искажении текста зиждется толкование, нарушающее и нравственный, и религиозный, и грамматический, и логический смысл слов Христа.

И опять для меня подтвердилась та ужасная и радостная истина, что смысл учения Христа прост, ясен, что положения его важны, определенны, но что толкования его, основанные на желании оправдать существующее зло, так затемнили его, что надо с усилием открывать его. Мне стало ясно, что если бы Евангелия были открыты наполовину сожженные или стертые, было бы легче восстановить их смысл, чем теперь, когда по ним прошли недобросовестные толкования, имеющие прямою целью извратить и скрыть смысл учения. В этом случае очевиднее еще, чем в прежнем, как самая частная цель оправдать развод какого-нибудь Иоанна Грозного послужила поводом к затемнению всего учения о браке.

Стоит отбросить толкования и вместо туманного и неопределенного является определенная и ясная вторая заповедь Христа.

Не делай себе потеху из похоти половых сношений; всякий человек, если он не скопец, т. е. не нуждается в половых сношениях, пусть имеет жену, а жена мужа, и муж имей жену одну, жена имей одного мужа, и ни под каким предлогом не нарушайте плотского союза друг с другом.

Тотчас же непосредственно после второй заповеди приводится опять ссылка на древний закон и излагается третья заповедь. Матф. V, 33–37. «Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои (Левит XIX, 12.

Второзаконие XXIII, 21). А Я говорю вам: не клянись вовсе; ни небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он град великого Царя; ни головою своею не клянись, потому что ни одного волоса не можешь сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого».

Место это при прежних чтениях моих всегда смущало меня. Оно смущало меня не своей неясностью, как место о разводе, не противоречиями с другими местами, как разрешение не напрасного гнева, не трудностью исполнения, как место о подставлении щеки, оно смущало меня, напротив, своей ясностью, простотою и легкостью. Рядом с правилами, глубина и значение которых ужасали и умиляли меня, вдруг стояло такое не нужное мне, пустое, легкое и не имеющее никаких ни для меня, ни для других последствий правило. Я и так не клялся ни Иерусалимом, ни Богом, ничем, и мне это никакого труда не стоило; и, кроме того, мне казалось, что буду ли, или не буду я клясться, это не может иметь ни для кого никакой важности. И, желая найти объяснение этого, своей легкостью сму- щавщего меня правила, я обратился к толкователям. В этом случае толкователи помогли мне.

Все толкователи видят в этих словах подтверждение третьей заповеди Моисея — не клясться именем божиим. Они объясняют эти слова так, что Христос, как и Моисей, запрещает произносить имя Бога всуе. Но, кроме этого, толкователи еще объясняют и то, что это правило Христа не клясться — не всегда обязательно и никак не относится к той присяге, которую каждый гражданин дает предержащей власти. И подбираются тексты священного писания не для того, чтобы подтвердить прямой смысл предписания Христа, а для того, чтобы доказать то, что можно и должно не исполнять его.

Говорится, что Христос сам утвердил клятву на суде, когда на слова первосвященника: «Заклинаю тебя Богом живым», отвечал: ты сказал; говорится, что апостол Павел призывает Бога во свидетельство истины своих слов, что есть, очевидно, та же клятва; говорится, что клятвы были предписаны законом Моисеевым, но господь не отменил этих клятв; говорится, что отменяются только клятвы пустые, фарисейски-лицемерные.

И, поняв смысл и цель этих объяснений, я понял, что предписание Христа о клятве совсем не так ничтожно, легко и незначительно, как оно мне казалось, когда я в числе клятв, запрещенных Христом, не считал государственную присягу.

И я спросил себя: да не сказано ли тут то, что запрещается и та присяга, которую так старательно выгораживают церковные толкователи? Не запрещена ли тут присяга, та самая присяга, без кото-

рой невозможно разделение людей на государства, без которой невозможно военное сословие? Солдаты – это те люди, которые делают все насилия, и они называют себя – ***«присяга».*** Если бы я поговорил с гренадером о том, как он разрешает противоречие между Евангелием и воинским уставом, он бы сказал мне, что он присягал, т. е. клялся на Евангелии. Такие ответы давали мне все военные. Клятва эта так нужна для образования того страшного зла, которое производят насилия и войны, что во Франции, где отрицается христианство, все-таки держатся присяги. Ведь если бы Христос не сказал этого, не сказал – не присягайте никому, то он должен бы был сказать это. Он пришел уничтожить зло, а не уничтожь он присягу, какое огромное зло остается еще на свете. Может быть, скажут, что во времена Христа зло это было незаметно. Но это неправда: Эпиктет, Сенека говорили про то, чтобы не присягать никому; в законах Ману есть это правило. Отчего я скажу, что Христос не видал этого зла? И скажу тогда, когда он сказал это прямо, ясно и даже подробно.

Он сказал: ***Я говорю: не клянись вовсе.*** Выражение это так же просто, ясно и несомненно, как слова: не судите и не присуждайте, и так же мало подвержено перетолкованиям, тем более, что в конце прибавлено, что всё, что потребуется от тебя сверх ответа – ***да и нет,*** всё это – от начала зла.

Ведь если учение Христа в том, чтобы исполнять всегда волю Бога, то как же может человек клясться, что он будет исполнять волю человека? Воля Бога может не совпасть с волею человека. И даже в этом самом месте Христос это самое и говорит. Он говорит (ст. 36): не клянись головою, потому что не только голова твоя, но и каждый волос на ней во власти Бога. То же говорится и в послании Иакова.

В послании своем, в конце его, как бы в заключение всего, апостол Иаков говорит (гл. V, ст. 12): ***прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни другою какою клятвою, но да будет у вас: да, да и нет, нет; дабы вам не подпасть осуждению.*** Апостол прямо говорит, почему не следует клясться: клятва сама по себе кажется не преступною, но от нее подпадают осуждению, и потому ***не клянитесь никак.*** Как еще яснее сказать то, что сказано и Христом и апостолом?

Но я был так запутан, что я с удивлением долго спрашивал себя: неужели это значит то, что значит? Как же мы все присягаем на Евангелии? Это не может быть.

Но я уже прочел толкования и видел, как это невозможное было сделано.

Что при объяснениях слов; не судите, не гневайтесь ни на кого, не разрывайте союз мужа с женою, то же и здесь. Мы установили свои порядки, любим их и хотим считать их священными. Приходит Христос, которого мы считаем Богом, и говорит, что эти-то наши порядки нехороши. Мы его считаем Богом и не хотим отказаться от наших порядков. Что же нам делать? Где можно, вставить слово – ***«напрасно»*** и на нет свести правило против гнева; где можно, как самые бессовестные кривосуды, так перетолковать смысл статьи закона, чтобы выходило обратное: вместо – никогда не разводиться с женою, вышло бы то, что можно разводиться. А где уж никак нельзя перетолковать, как в словах; ***не судите и не присуждайте,*** и в словах; ***не клянитесь вовсе,*** смело, прямо действовать противно учению, утверждая, что мы ему следуем. И в самом деле, главная помеха тому, чтобы понять то, что Евангелие запрещает всякую клятву и тем более присягу, есть то, что псевдо-христианские учители с необычайной смелостью на самом на Евангелии, самым Евангелием заставляют клясться людей, т. е. делать противное Евангелию.

Как придет в голову человеку, которого заставляют клясться крестом и Евангелием, что крест оттого и свят, что на нем распяли того, кто запрещал клясться, и что присягающий, может быть, целует, как святыню, то самое место, где ясно и определенно сказано: ***не клянитесь никак.***

Но меня уже не смущала эта смелость. Я ясно видел, что с ст. 33 по 37 была выражена ясная, определенная, исполнимая третья заповедь: не присягай никогда никому ни в чем. Всякая присяга вымогается от людей для зла.

Вслед за этой третьей заповедью приводится четвертая ссылка и излагается четвертая заповедь (Матф. V, 38–42; Лук. VI, 29, 30). «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним на одно поприще, иди с ним на два. Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся».

О том, какое прямое, определенное значение имеют эти слова и как мы не имеем никакого основания перетолковывать их иносказательно, я говорил уже. Толкования этих слов, начиная от Иоанна Златоуста и до нас, поистине удивительны. Слова эти всем очень нравятся, и все делают, по случаю этих слов, всякого рода глубокомысленные соображения, за исключением одного: что слова эти имеют тот самый смысл, который они имеют. Церковные толкователи, нисколько не стесняясь авторитетом того, кого они признают

Богом, преспокойно ограничивают значение его слов. Они говорят: «Само собой разумеется, что все эти заповеди о терпении обид, об отречении от возмездия, как направленные собственно против иудейской любомстительности, не исключают не только общественных мер к ограничению зла и ***наказанию делающих зло,*** но и частных, личных усилий и забот каждого человека о ненарушимости правды, о вразумлении обидчиков, о прекращении для злонамеренных возможности вредить другим; ибо иначе самые духовные законы Спасителя по-иудейски обратились бы только в букву, могущую послужить к успехам зла и подавлению добродетели. Любовь христианина должна быть подобна любви Божией, но любовь Божия ограничивает и ***наказывает зло*** только в той мере, в какой оно остается более или менее безвредным для славы Божией и для спасения ближнего; в противном случае должно ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство» (Толковое Евангелие архим. Михаила, всё основанное на толковании святых отцов).

Ученые и свободномыслящие христиане также не стесняются смыслом слов Христа и поправляют его. Они говорят, что это очень возвышенные изречения, но лишенные всякой возможности приложения к жизни, ибо приложение к жизни правила непротивления злу уничтожает весь тот порядок жизни, который мы так хорошо устроили; это говорит Ренан, Штраус и все вольнодумные толкователи.

Но стоит отнестись к словам Христа только так, как мы относимся к словам первого встречного человека, который с нами говорит, т. е. предполагая, что он говорит то, что говорит, чтобы тотчас же устранилась необходимость всяких глубокомысленных соображений. Христос говорит: я нахожу, что способ обеспечения вашей жизни очень глуп и дурен. Я вам предлагаю совсем другой, следующий. И он говорит свои слова от стиха тридцать восьмого по сорок второй. Казалось бы, что, прежде чем поправлять эти слова, надо понять их. А вот этого-то никто не хочет сделать, вперед решая, что порядок, в котором мы живем и который нарушается этими словами, есть священный закон человечества.

Я не считал нашу жизнь ни хорошею, ни священною, и потому понял эту заповедь прежде других. И когда я понял слова эти так, как они сказаны, меня поразила их истинность, точность и ясность. Христос говорит: вы злом хотите уничтожить зло. Это неразумно. Чтобы не было зла, не делайте зла. И потом Христос перечисляет все случаи, в которых мы привыкли делать зло, и говорит, что в этих случаях не надо его делать.

Эта четвертая заповедь была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл всех остальных. Четвертая простая, ясная, исполнимая заповедь говорит; никогда силой не противься злому, насилием не отвечай на насилие; бьют тебя – терпи, отнимают – отдай, заставляют работать – работай, хотят взять у тебя то, что ты считаешь своим – отдавай.

И вслед за этой четвертой заповедью следует пятая ссылка и пятая заповедь (Матф. V, 43–48). «Вы слышали, что сказано; люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Левит XIX, 17, 18). А Я говорю вам; любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Стихи эти прежде представлялись мне разъяснением, дополнением и усилением, скажу даже – преувеличением слов о непротивлении злу. Но, найдя простой, приложимый, определенный смысл каждого места, начинающегося с ссылки на древний закон, я предчувствовал такой же и в этом. После каждой ссылки была изложена заповедь, и каждый стих заповеди имел значение и не мог быть выкинут, и здесь должно было быть то же. Последние слова, повторенные у Луки о том, что Бог не делает различия между людьми и дает благо всем, и что потому и вы должны быть таковы же, как Бог; не делать различия между людьми и должны не так делать, как язычники, а должны всех любить и всем делать добро одинаково – эти слова были ясны, они представлялись мне подтверждением и объяснением какого-то ясного правила, но в чем было это правило – я долго не мог понять.

Любить врагов? Это было что-то невозможное. Это было одно из тех прекрасных выражений, на которые нельзя иначе смотреть, как на указание недостижимого нравственного идеала. Это было слишком много или ничего. Можно не вредить своему врагу, но любить – нельзя. Не мог Христос предписывать невозможное. Кроме того, в самых первых словах, в ссылке на закон древних; «вам сказано; ***ненавидь врага»,*** было что-то сомнительное. В прежних местах Христос приводит действительные, подлинные слова закона Моисея; но здесь он приводит слова, которые никогда не были сказаны. Он как будто клевещет на закон.

Толкования, как и в прежних моих сомнениях, ничего не разъяснили мне. Во всех толкованиях признается, что слов: «вам сказано; ***ненавидь врага»*** – нет в законе Моисея, но объяснения этого неверно приведенного места из закона нигде не дается. Говорится о том, как трудно любить врагов – злых людей, и большею частью делаются поправки к словам Христа; говорится, что нельзя любить врагов, а можно не желать и не делать им зла. Между прочим внушается, что можно и должно обличать, т. е. противиться врагам, говорится о разных степенях достижения этой добродетели, так что по толкованиям церкви конечный вывод тот, что Христос, неизвестно зачем, неправильно привел слова из закона Моисея и наговорил много прекрасных, но, собственно, пустых и неприложимых слов.

Мне казалось, что это не может быть так. Тут должен быть ясный и определенный смысл, такой же, как и в первых четырех заповедях. И для того, чтобы понять этот смысл, я прежде всего постарался понять значение слов неверной ссылки на закон: «вам сказано; ***ненавидь врагов».*** Недаром же Христос при каждом правиле приводит слова закона; не убей, не прелюбодействуй и т. д., и этим словам противополагает свое учение. Не поняв того, что он разумел под словами приводимого им закона, нельзя понять того, что он предписывает. В толкованиях же прямо говорится (да и нельзя этого не сказать), что он приводит такие слова, которых не было в законе, но не объясняется, почему он это делает и что значит эта неверная ссылка. Мне кажется, что прежде всего надо объяснить, что мог разуметь Христос, приводя слова, которых не было в законе. И я спросил себя; что же могут значить слова, неверно приведенные Христом из закона? Во всех прежних ссылках Христа на закон приводится только одно постановление древнего закона, как: не убей, не прелюбодействуй, держи клятвы, зуб за зуб..., и по случаю этого одного приводимого постановления излагается соответствующее ему учение. Здесь же приводятся два постановления, противополагающиеся друг другу: вам сказано – люби ближнего и ненавидь врага, так что, очевидно, основой нового закона должно быть самое различие между двумя постановлениями древнего закона относительно ближнего и врага. И чтобы понять яснее, в чем было это различие, я спросил себя; что значит слово «ближний» и слово «враг» на евангельском языке? И, справившись с лексиконами и контекстами Библии, я убедился, что ближний на языке еврея всегда означает только еврея. Такое определение ближнего дается и в Евангелии притчей о самарянине. По понятию еврея-законника, спращивающего, кто ближний? – самарянин не мог быть ближним. Такое же определение ближнего дается и в Деяниях (VII, 27). Ближний на евангельском языке значит; земляк, человек, принадле-

жащий к одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляет Христос в этом месте, приводя слова закона: вам сказано; люби ближнего и ненавидь врага, состоит в противоположении между земляком и чужеземцем, спрашиваю себя, что такое враг по понятиям иудеев, и нахожу подтверждение своего предположения. Слово враг употребляется в Евангелиях почти всегда в смысле врагов не личных, но общих, народных (Лук. I, 71–74; Матф. XXII, 44; Марк. XII, 36; Лук. XX, 43 и др.). Единственное число, в котором употреблено слово враг в этих стихах в выражении ***ненавидь врага,*** показывает мне, что здесь идет речь о враге народа. Единственное число означает совокупность вражеского народа. В Ветхом Завете понятие вражеского народа всегда выражается единственным числом.

И как только я понял это, так тотчас же устранилось то затруднение: зачем и каким образом мог Христос, всякий раз приводя подлинные слова закона, здесь вдруг привести слова: вам сказано: ***ненавидь врага,*** которые не были сказаны. Стоит только понимать слово враг в смысле врага народного и ближнего – в смысле земляка, чтобы затруднения этого вовсе не было. Христос говорит о том, как по закону Моисея предписано евреям обращаться с врагом народным. Все те разбросанные по разным книгам писания места, в которых предписывается и угнетать, и убивать, и истреблять другие народы, Христос соединяет в одно выражение: ненавидеть – делать зло врагу. И он говорит; вам сказано, что надо любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различия той народности, к которой они принадлежат. И как только я понял эти слова так, так тотчас устранилось и другое, главное затруднение: как понимать слова: любите врагов ваших. Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих. И для меня стало очевидным, что, говоря: вам сказано; люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю: люби врагов, Христос говорит о том, что все люди приучены считать своими ближними людей своего народа, а чужие народы считать врагами, и что он не велит этого делать. Он говорит: по закону Моисея сделано различие между евреем и не евреем – врагом народным, а я говорю вам: не надо делать этого различия. И точно, и по Матфею и по Луке вслед за этим правилом он говорит, что для Бога все равны, на всех светит одно солнце, на всех падает дождь; Бог не делает различия между народами и всем делает равное добро; то же должны делать и люди для всех людей без различия их народностей, а не так, как ***язычники,*** разделяющие себя на разные народы.

Так что опять с разных сторон подтвердилось для меня простое, важное, ясное и приложимое понимание слов Христа. Опять вместо

изречения туманного и неопределенного любомудрия выяснилось ясное, определенное и важное и исполнимое правило: не делать различия между своим и чужим народом и не делать всего того, что вытекает из этого различия: не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим.

Всё это было так просто, так ясно, что мне было удивительно, как мог я сразу не понять этого.

Причина моего непонимания была та же, что и причина непонимания запрещения судов и клятвы. Очень трудно понять, что те суды, которые открываются христианскими молебствиями, благословляются теми, которые считают себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовместимы с исповедями Христа и прямо противны ему. Еще труднее догадаться, что та самая клятва, к которой приводят всех людей блюстители закона Христа, прямо запрещена этим законом; но догадаться, что то, что в нащей жизни считается не только необходимым и естественным, но самым прекрасным и доблестным – любовь к отечеству, защита, возвеличение его, борьба с врагом и т. п.,– суть не только преступления закона Христа, но явное отречение от него,– догадаться, что это так – ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его. Мы так пропустили мимо ущей и забыли всё то, что он сказал нам о нашей жизни – о том, что не только убивать, но гневаться нельзя на другого человека, что нельзя защищаться, а надо подставлять щеку, что надо любить врагов,– что нам теперь, привыкшим называть людей, посвятивших свою жизнь убийству,– христолюбивым воинством, привыкшим слушать молитвы, обращенные ко Христу о победе над врагами, славу и гордость свою полагающим в убийстве, в некоторого рода святыню возведшим символ убийства, шпагу, так что человек без этого символа,– без ножа,– это осрамленный человек, что нам теперь кажется, что Христос не запретил войны, что если бы он запрещал, он бы сказал это яснее.

Мы забываем то, что Христос никак не мог себе представить, что люди, верующие в его учение смирения, любви и всеобщего братства, спокойно и сознательно могли бы учреждать убийство братьев.

Христос не мог себе представить этого, и потому он не мог христианину запрещать войну, как не может отец, дающий наставление своему сыну о том, как надо жить честно, не обижая никого и

отдавая свое другим, запрещать ему, как не надо резать людей на большой дороге.

То, чтобы нужно было христианину запрещать убийство, называемое войною, не мог себе представить и ни один апостол и ни один ученик Христа первых веков христианства. Вот что говорит, например, Ориген в своем ответе Цельзию (глава 63).

Он говорит; «Цельзий увещевает нас помогать всеми нашими силами государю, участвовать в его законных трудах, вооружаться за него, служить под его знаменами, если нужно – водить в сражениях его войска. На это надо ответить, что мы при случае подаем помощь царям, но так сказать, божественную помощь, потому что мы облечены бронею Бога. Этим поведением мы подчиняемся голосу апостола. «Умоляю вас прежде всего,– говорит он,– молиться, просить и благодарить за всех людей, за царей и за высоких в почестях». Так что чем набожнее, тем полезнее бывает человек для царей; и польза его более действительна, чем польза солдата, который, завербовавшись под знамена царя, побивает столько врагов, сколько может. Кроме того, людям, которые, не зная нашей веры, требуют от нас того, чтобы мы резали людей, мы можем еще отвечать то, что и ваши жрецы не оскверняют своих рук, чтобы ваш бог принял их жертвы. То же и мы». И, кончая эту главу объяснением того, что христиане приносят пользу своею мирною жизнию более, чем солдаты, Ориген говорит: «Итак, мы воюем лучше, чем кто-нибудь, за спасение императора. Правда, ***что мы не служим под его знаменами. Мы и не станем служить, если бы даже он принуждал нас к этому».***

Так относились к войне христиане первых веков и так говорили их учителя, обращаясь к сильным мира, и говорили так в то время, когда сотнями и тысячами гибли мученики за исповедание Христовой веры.

А теперь? Теперь и вопроса нет о том, может ли христианин участвовать в войнах. Все молодые люди, воспитываемые в церковном законе, называемом христианским, каждую осень, когда настанет срок, идут в воинские присутствия и с помощью церковных пастырей отрекаются от закона Христа. Только недавно нашелся один крестьянин, который на основании Евангелия отказался от военной службы. Учители церкви внушали крестьянину его заблуждение; но так как крестьянин поверил не им, но Христу, то его посадили в тюрьму и продержали там до тех пор, пока он не отрекся от Христа. И всё это делается после того, как нам, христианам, 1800 лет тому назад объявлена нашим Богом заповедь вполне ясная и определенная: «не считай людей других народов своими врагами, а считай всех людей братьями и ко всем относись так же, как ты относишься

к людям своего народа, и потому не только не убивай тех, которых называешь своими врагами, но люби их и делай им добро».

И, поняв таким образом эти столь простые, определенные, не подверженные никаким перетолкованиям заповеди Христа, я спросил себя; что бы было, если бы весь христианский мир поверил в эти заповеди не в том смысле, что их нужно петь или читать для умилостивления Бога, а что их нужно исполнять для счастия людей? Что бы было, если бы люди поверили обязательности этих заповедей хоть так же твердо, как они поверили тому, что надо каждый день молиться, каждое воскресенье ходить в церковь, каждую субботу есть постное и каждый год говеть? Что бы было, если бы люди поверили в эти заповеди хоть так же, как они верят в церковные требования? И я представил себе всё христианское общество, живущее и воспитывающее молодые поколения в этих заповедях. Я представил себе, что всем нам и нашим детям с детства словом и примером внушается не то, что внушается теперь: что человек должен соблюдать свое достоинство, отстаивать перед другими свои права (чего нельзя иначе делать, как унижая и оскорбляя других), а внушается то, что ни один человек не имеет никаких прав и не может быть ниже или выше другого; что ниже и позорнее всех только тот, который хочет стать выше других; что нет более унизительного для человека состояния, как состояние гнева против другого человека; что кажущееся мне ничтожество или безумие человека не может оправдать мой гнев против него и мой раздор с ним. Вместо всего устройства нашей жизни от витрин магазинов до театров, романов и женских нарядов, вызывающих плотскую похоть, я представил себе, что всем нам и нашим детям внушается словом и делом, что увеселение себя похотливыми книгами, театрами и балами есть самое подлое увеселение, что всякое действие, имеющее целью украшение тела или выставление его, есть самый низкий и отвратительный поступок. Вместо устройства нашей жизни, при котором считается необходимым и хорошим, чтобы молодой человек распутничал до женитьбы, вместо того, чтобы жизнь, разлучающую супругов, считать самой естественной, вместо узаконения сословия женщин, служащих разврату, вместо допускания и благословения развода,– вместо всего этого я представил себе, что нам делом и словом внушается, что одинокое безбрачное состояние человека, созревшего для половых сношений и не отрекшегося от них, есть уродство и позор, что покидание человеком той, с какой он сошелся, перемена ее для другой есть не только такой же неестественный поступок, как кровосмешение, но есть и жестокий, бесчеловечный поступок. Вместо того, чтобы вся жизнь наша была установлена на насилии, чтобы каждая радость наша добывалась и ограждалась на

силием; вместо того, чтобы каждый из нас был наказываемым или наказывающим с детства и до глубокой старости, я представил себе, что всем нам внушается словом и делом, что месть есть самое низкое животное чувство, что насилие есть не только позорный поступок, но поступок, лишающий человека истинного счастья, что радость жизни есть только та, которую не нужно ограждать насилием, что высшее уважение заслуживает не тот, кто отнимает или удерживает свое от других и кому служат другие, а тот, кто больше отдает свое и больше служит другим. Вместо того, чтобы считать прекрасным и законным то, чтобы всякий присягал и отдавал всё, что у него есть самого драгоценного, т. е. всю свою жизнь, в волю сам не зная кого, я представил себе, что всем внушается то, что разумная воля человека есть та высшая святыня, которую человек никому не может отдать, и что обещаться с клятвой кому-нибудь в чем-нибудь есть отречение от своего разумного существа, есть поругание самой высшей святыни. Я представил себе, что вместо тех народных ненавистей, которые под видом любви к отечеству внушаются нам, вместо тех восхвалений убийства – войн, которые с детства представляются нам как самые доблестные поступки, я представил себе, что нам внушается ужас и презрение ко всем тем деятельностям – государственным, дипломатическим, военным, которые служат разделению людей, что нам внушается то, что признание каких бы то ни было государств, особенных законов, границ, земель, есть признак самого дикого невежества, что воевать, т. е. убивать чужих, незнакомых людей без всякого повода есть самое ужасное злодейство, до которого может дойти только заблудший и развращенный человек, упавший до степени животного. Я представил себе, что все люди поверили в это, и спросил себя; что бы тогда было?

Прежде я спрашивал себя, что будет из исполнения учения Христа, как я понимал его, и невольно отвечал себе; ничего. Мы все будем молиться, пользоваться благодатью таинств, верить в искупление и спасение наше и всего мира Христом, и все-таки спасение это произойдет не от нас, а оттого, что придет время конца мира. Христос придет в свой срок во славе судить живых и мертвых, и установится Царство Бога независимо от нашей жизни. Теперь же учение Христа, как оно представлялось мне, имело еще и другое значение; установление Царства Бога на земле зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, уста- новляло это Царство Божие. Царство Бога на земле есть мир всех людей между собою. Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей. Так представлялось Царство Бога всем проро

кам еврейским. И так оно представлялось и представляется всякому сердцу человеческому. Все пророчества обещают мир людям.

Всё учение Христа состоит в том, чтобы дать Царство Бога – мир людям. В нагорной проповеди, в беседе с Никодимом, в послании учеников, во всех поучениях своих он говорит только о том, что разделяет людей и мешает им быть в мире и войти в Царство Бога. Все притчи суть только описание того, что есть Царство Бога и что, только любя братьев и будучи в мире с ними, можно войти в него. Иоанн Креститель, предшественник Христа, говорит, что приблизилось Царство Бога и что Иисус Христос дает его миру.

Христос говорит, что принес мир на землю (Иоан. XIV, 27). «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается».

И вот эти пять заповедей его действительно дают этот мир людям. Все пять заповедей имеют только одну эту цель – мира между людьми. Стоит людям поверить учению Христа и исполнять его, и мир будет на земле, и мир не такой, какой устраивается людьми, временный, случайный, но мир общий, ненарушимый, вечный.

Первая заповедь говорит: Будь в мире со всеми, не позволяй себе считать другого человека ничтожным или безумным (Матф. V, 22). Если нарушен мир, то все силы употребляй на то, чтобы восстановить его. Служение Богу есть уничтожение вражды (23–24). Мирясь при малейшем раздоре, чтобы не потерять истинной, жизни (26). В этой заповеди сказано всё; но Христос предвидит соблазны мира, нарушающие мир между людьми, и дает вторую заповедь – против соблазна половых отношений, нарушающего мир. Не смотри на красоту плотскую как на потеху, вперед избегай этого соблазна (28–30); бери муж одну жену, и жена – одного мужа, и не покидайте друг друга ни под каким предлогом (32). Другой соблазн – это клятвы, вводящие людей в грех. Знай вперед, что это – зло, и не давай никаких обетов (34–37). Третий соблазн – это месть, называющаяся человеческим правосудием; не мсти и не отговаривайся тем, что тебя обидят,– неси обиды, а не делай зла за зло (38–42). Четвертый соблазн – это различие народов, вражда племен и государств. Знай, что все люди – братья и сыны одного Бога, и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей (43–48). Не исполнят люди одну из этих заповедей – мир будет нарушен. Исполнят люди все заповеди, и царство мира будет на земле. Заповеди эти исключают всё зло из жизни людей.

При исполнении этих заповедей жизнь людей будет то, чего ищет и желает всякое сердце человеческое. Все люди-будут братья и всякий будет всегда в мире с другими, наслаждаясь всеми благами мира тот срок жизни, который уделен ему Богом. Перекуют лю

ди мечи на орала и копья на серпы. Будет то Царство Бога, царство мира, которое обещали все пророки и которое близилось при Иоанне Крестителе, и которое возвещал и возвестил Христос, говоря словами Исаии; «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня бла- говествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лук. IV, 18–19; Исаии LXI, 1–2).

Заповеди мира, данные Христом, простые, ясные, предвидящие все случаи раздора и предотвращение его, открывают это Царство Бога на земле. Стало быть, Христос точно мессия. Он исполнил обещанное. Мы только не исполняем того, чего вечно желали все люди,– того, о чем мы молились и молимся.

VII

Отчего же люди не делают того, что Христос сказал им и что дает им высшее доступное человеку благо, чего они вечно желали и желают? И со всех сторон я слышу один, разными словами выражаемый, один и тот же ответ: «Учение Христа очень хорошо, и правда, что при исполнении его установилось бы Царство Бога на земле, но оно трудно и потому неисполнимо».

Учение Христа о том, как должны жить люди, божественно, хорошо и дает благо людям, но людям трудно исполнять его. Мы так часто повторяем и слышим это, что нам не бросается в глаза то противоречие, которое находится в этих словах.

Человеческой природе свойственно делать то, что лучше. И всякое учение о жизни людей есть только учение о том, что лучше для людей. Если людям показано, что им лучше делать, то как же они могут говорить, что они желают делать то, что лучше, но не могут? Люди не могут делать только то, что хуже, а не могут не делать того, что лучше.

Разумная деятельность человека, с тех пор как есть человек, направлена к тому, чтобы найти, чтб лучше из тех противоречий, которыми наполнена жизнь и отдельного человека и всех людей вместе.

Люди дерутся за землю, за предметы, которые им нужны, и потом доходят до того, что делят всё и называют это собственностью; они находят, что хотя и трудно учредить это, но так лучше, и держатся собственности; люди дерутся за жен, бросают детей, потом находят, что лучше, чтобы у каждого была своя семья, и, хотя очень трудно питать семью, люди держатся собственности, семьи и многого другого. И как только люди нашли, что так лучше, то как

бы это трудно ни было, так и делают. Что же такое значит, что мы говорим: учение Христа прекрасно, жизнь по учению Христа лучше, чем та, которою мы живем; но мы не можем жить так, чтобы было лучше, потому что это «трудно».

Если это слово: «трудно» понимать так, что трудно жертвовать мгновенным удовлетворением своей похоти большему благу, то почему же мы не говорим, что трудно пахать, для того чтобы был хлеб, сажать яблони, чтобы были яблоки? То, что надо переносить трудности для достижения большего блага, это знает всякое существо, одаренное первым задатком разума. И вдруг оказывается, что мы говорим, что учение Христа прекрасно, но что оно неисполнимо, потому что трудно. Трудно же потому, что, следуя ему, мы должны лишаться того, чего мы прежде не лишались. Мы как будто никогда не слыхали того, что выгоднее иногда потерпеть и лишиться, чем ничего не терпеть и удовлетворять всегда свою похоть.

Человек может быть животным, и никто не станет упрекать его в том; но человек не может рассуждать о том, что он хочет быть животным. Как только он рассуждает, то он сознает себя разумным, и, сознавая себя разумным, он не может не признавать того, что разумно и того, что неразумно. Разум ничего не приказывает, он только освещает.

Я в темноте избил руки и колена, отыскивая дверь. Вошел человек со светом, и я увидал дверь. Я не могу уже биться в стену, когда я вижу дверь, и еще менее могу утверждать, что я вижу дверь, нахожу, что лучше пройти в дверь, но что это трудно, и потому я хочу продолжать биться коленками об стену.

В этом удивительном рассуждении: христианское учение хорошо и дает благо миру; но люди слабы, люди дурны и хотят лучше делать, а делают хуже, и потому не могут делать лучше,– есть очевидное недоразумение.

Тут, очевидно, не ошибка рассуждения, а что-нибудь другое.

Тут, должно быть, какое-нибудь ложное представление. Только ложное представление о том, что есть то, чего нет, и нет того, что есть, может привести людей к такому странному отрицанию исполнимости того, что, по их же признанию, дает им благо.

Ложное представлёние, приведшее к этому, есть то, что называется догматическою христианскою верой,– тою самою, которой с детства учат всех исповедующих церковную христианскую веру по разным православным, католическим и протестантским катехизисам.

Вера эта, по определению верующих же, есть признание существующим того, что кажется (это сказано у Павла и повторяется во всех богословиях и катехизисах как лучшее определение веры).

и вот это-то признание существующим того, что кажется, и привело людей к такому странному утверждению того, что учение Христа хорошо для людей, но не годится для людей.

Учение этой веры в самом точном его выражении такое; личный Бог, существующий вечно, один в трех лицах, вдруг вздумал сотворить мир духов. Бог благой сотворил этот мир духов для их блага; но случилось, что один из духов сделался сам злым и потому несчастным. Прошло много времени, и Бог сотворил другой мир, вещественный, и человека тоже для его блага. Бог сотворил человека блаженным, бессмертным и безгрешным. Блаженство человека состояло в пользовании благом жизни без труда; бессмертие его состояло в том, что он всегда должен был так жить; безгрешность его состояла в том, что он не знал зла.

Человек этот в раю был соблазнен тем духом первого творения, который сам собою сделался злым, и человек с тех пор пал, и стали рождаться такие же падшие люди, и с тех пор люди стали работать, болеть, страдать, умирать, бороться телесно и духовно, т. е. воображаемый человек сделался действительным, таким, каким мы его знаем и которого не можем и не имеем права и основания вообразить себе иным. Состояние человека трудящегося, страдающего, избирающего добро и избегающего зла и умирающего, то, которое есть и помимо которого мы не можем себе ничего представить, по учению этой веры не есть настоящее положение человека, а есть несвойственное ему, случайное, временное положение.

Несмотря на то, что состояние это продолжалось для всех людей по этому учению от изгнания Адама из рая, т. е. от начала мира до рождения Христа, и точно так же продолжается и после для всех людей, верующие должны воображать, что это есть только случайное, временное состояние. По этому учению сын Бога – сам Бог, второе лицо троицы, послан Богом на землю в образе человека затем, чтобы спасти людей от этого не свойственного им случайного, временного состояния, снять с них все проклятия, наложенные на них тем же Богом за грех Адама, и восстановить их в их прежнем естественном состоянии блаженства, т.е. безболезненности, бессмертия, безгрешности и праздности. Второе лицо троицы – Христос, по этому учению, тем, что люди его казнили, этим самым искупил грех Адама и прекратил это неестественное состояние человека, продолжавшееся от начала мира. И с тех пор человек, поверивший в Христа, стал опять таким же, каким он был в раю, т. е. бессмертным, неболеющим, безгрешным и праздным.

На той части осуществления искупления, вследствие которой после Христа земля для верующих уже стала рождать везде без труда, болезни прекратились и чада стали родиться у матерей без

страдании,– учение это не очень останавливается, потому что тем, которым тяжело работать и больно страдать, как бы они ни верили, трудно внушить, что не трудно работать и не больно страдать. Но та часть учения, по которой смерти и греха уже нет, утверждается с особенной силой.

Утверждается, что мертвые продолжают быть живы. И так как мертвые никак не могут ни подтвердить того, что они умерли, ни того, что они живы, так же как камень не может подтвердить того, что он может или не может говорить, то это отсутствие отрицания применяется за доказательство и утверждается, что люди, которые умерли, не умерли. И еще с большей торжественностью и уверенностью утверждается то, что после Христа верою в него человек освобождается от греха, т. е. что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он всегда безгрешен, т. е. совершенно хорош. По этому учению люди должны воображать, что в них разум бессилен и что потому-то они и безгрешны, т. е. не могут ошибаться.

Истинно верующий должен воображать, что со времени Христа земля родит без труда, дети родятся без мук, болезней нет, смерти нет и греха, т. е. ошибок, нет, т. е. нет того, что есть, и что есть то, чего нет.

Так говорит строго логическая богословская теория.

Учение это само по себе кажется невинно. Но отступление от истины никогда не бывает невинно и влечет за собой свои последствия, тем более значительные, чем значительнее тот предмет, о котором говорится неправда. Здесь же предмет, о котором говорится неправда, есть вся жизнь человеческая.

То, что по этому учению называется истинною жизнью, есть жизнь личная, блаженная, безгрешная и вечная, т. е. такая, какую никто никогда не знал и которой нет. Жизнь же та, которая есть, которую мы одну знаем, которою мы живем и которою жило и живет всё человечество, есть по этому учению жизнь падшая, дурная, есть только образчик той хорошей жизни, которая нам следует.

Та борьба между стремлением к жизни животной и жизни разумной, которая лежит в душе каждого человека и составляет сущность жизни каждого, по этому учению совершенно устраняется. Борьба эта переносится в событие, совершившееся в раю с Адамом при сотворении мира. И вопрос о том; есть ли мне или не есть те яблоки, которые соблазняют меня? – не существует для человека по этому учению. Вопрос этот раз навсегда решен Адамом в раю в отрицательном смысле. Адам за меня согрешил, т. е. ошибся, и все люди, все мы безвозвратно пали, и все наши усилия жить разумно

бесполезны и даже безбожны. Я дурен непоправимо, и должен знать это. И спасение мое не в том, что я разумом могу осветить свою жизнь и, узнав хорошее и дурное, делать то, что лучше. Нет, Адам раз навсегда за меня сделал дурно, и Христос раз навсегда поправил это дурное, сделанное Адамом, и потому я должен, как зритель, сокрушаться о падении Адама и радоваться о спасении Христом.

Вся же та любовь к добру и истине, которая лежит в душе человека, все усилия его осветить разумом явления жизни, вся моя духовная жизнь – всё это не только не важно по этому учению, но это есть прелесть или гордость.

Жизнь, какая есть здесь, на земле, со всеми ее радостями, красотами, со всею борьбой разума против тьмы,– жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная – в вере, т. е. в воображении, т. е. в сумасшествии.

Пусть человек, отрешившись от привычки, взятой с детства, допускать всё это, постарается взглянуть просто, прямо на это учение, пусть он перенесется мыслью в свежего человека, воспитанного вне этого учения, и представит себе, каким покажется это учение такому человеку? Ведь это полное сумасшествие.

И как ни странно и ни страшно это думать, я не мог не признать этого, потому что это одно объясняло мне то удивительное, противоречивое, бессмысленное выражение, которое я слышу со всех сторон против исполнимости учения Христа; ***оно хорошо и дает счастье людям, но люди не могут исполнить его.***

Только представление существуюшим того, что не существует, и несушествующим того, что существует, могло привести к этому удивительному противоречию. И такое ложное представление я нашел в проповедуемой 1500 лет псевдохристианской вере.

Но возражение против учения Христа о том, что оно хорошо, но неисполнимо, делают не одни верующие, его делают и неверующие, такие люди, которые не верят или думают, что не верят в догмат грехопадения и искупления. Возражение против учения Христа, состоящее в его неисполнимости, делают люди науки, философы, вообще люди образованные и считающие себя совершенно свободными от всяких суеверий. Они не верят или думают, что не верят ни во что, и потому считают себя свободными от суеверия грехопадения и искупления. И мне так казалось это сначала. Мне тоже казалось, что эти ученые люди имеют другие основания для отрицания исполнимости учения Христа. Но, вникнув глубже в основы их отрицания, я убедился, что у неверующих то же ложное представле

ние о том, что наша жизнь не есть то, что есть, а то, что им кажется, и что представление это зиждется на той же основе, как и представление верующих. Признающие себя неверующими, правда, не веруют ни в Бога, ни в Христа, ни в Адама; но в основное ложное представление о правах человека на блаженную жизнь, на котором зиждется всё, в него они веруют так же и еще тверже, чем богословы.

Как ни храбрись привилегированная наука с философией, уверяя, что она решительница и руководительница умов,– она не руководительница, а слуга. Миросозерцание всегда дано ей готовое религией, и наука только работает на пути, указанном ей религией. Религия открывает смысл жизни людей, а наука прилагает этот смысл к различным сторонам жизни. И потому, если религия дает ложный смысл жизни, то наука, воспитанная в этом религиозном миросозерцании, будет с разных сторон прикладывать этот ложный смысл к жизни людей. Вот это-то и случилось с нашей европейско- христианской наукой и философией.

Церковное учение дало основной смысл жизни людей в том, что человек имеет право на блаженную жизнь и что блаженство это достигается не усилиями человека, а чем-то внешним, и это миросозерцание и стало основой всей нашей науки и философии.

Религия, наука, общественное мнение, все в один голос говорят, что дурна та жизнь, которую мы ведем, но что учение о том, как самим стараться быть лучше и этим сделать и самую жизнь лучше,– учение это неисполнимо.

Учение Христа в смысле улучшения жизни людей своими разумными силами неисполнимо потому, что Адам пал и мир лежит во зле,– говорит религия.

Учение это неисполнимо потому, что жизнь человеческая совершается по известным, не зависимым от воли человека законам,– говорит наша философия. Философия и вся наука, только другими словами, говорит совершенно то же, что говорит религия догматом первородного греха и искупления.

В учении искупления два основные положения, на которые всё опирается; 1) законная жизнь человеческая есть жизнь блаженная, жизнь же мирская здесь есть жизнь дурная, не поправимая усилиями человека, и 2) спасение от этой жизни – в вере.

Эти два положения стали основой миросозерцания и верующих и неверующих нашего псевдохристианского общества. Из второго положения вытекла церковь с ее учреждениями. Из первого вытекает наше общественное мнение и наши философские и политические теории.

Все философские и политические теории, оправдывающие существующий порядок, гегельянизм и его дети зиждутся на этом положении. Пессимизм, требующий от жизни того, что она не может дать, и потому отрицающий жизнь, вытекает из него же.

Материализм с его удивительным восторженным утверждением, что человек есть процесс и больще ничего, есть законное детище этого учения, признавшего, что жизнь здещняя есть жизнь падшая. Спиритизм с его учеными последователями есть лучшее доказательство того, что научное и философское воззрение не свободно, а основано на религиозном учении о блаженной вечной жизни, свойственной человеку.

Извращение смысла жизни извратило всю разумную деятельность человека. Догмат падения и искупления человека заслонил от людей самую важную и законную область деятельности человека и исключил из всей области знания человеческого знания того, что должен делать человек для того, чтобы ему самому быть счастливее и лучше. Наука и философия, воображая, что они действуют враждебно псевдохристианству, гордясь этим, только работают на него. Наука и философия трактуют обо всем, о чем хотите, но только не о том, как человеку самому быть и жить лучше. То, что называется этикой – нравственным учением, совершенно исчезло в нашем псевдохристианском обществе.

И верующие и неверующие одинаково не спрашивают себя о том, как надо жить и как употребить тот разум, который дан нам, а спрашивают себя: отчего жизнь наша людская не такая, какою мы себе ее вообразили, и когда она сделается такою, какой нам хочется?

Только благодаря этому ложному учению, всосавшемуся в плоть и кровь наших поколений, могло случиться то удивительное явление, что человек точно выплюнул то яблоко познания добра и зла, которое он, по преданию, съел в раю, и, забыв то, что вся история человека только в том, чтобы разрешать противоречия разумной и животной природы, стал употреблять свой разум на то, чтобы находить законы исторические одной своей животной природы.

Религиозные и философские учения всех народов, за исключением философских учений псевдохристианского мира, все, которые мы знаем: иудаизм, конфуцианство, буддизм, браманизм, греческая мудрость,– все учения имеют целью устройство жизни людской и уяснение людям того, как каждый должен стремиться к тому, чтобы быть и жить лучше. Всё конфуцианство – в личном совершенствовании, иудаизм – в личном следовании каждого завету с Богом, буддизм – в учении о том, как каждому спастись от зла жизни. Со

крат учил личному совершенствованию во имя разума, стоики разумную свободу признают единой основой истинной жизни.

Вся разумная деятельность человека не могла не быть и всегда была в одном – в освещении разумом стремления к благу. Свобода воли,– говорит наша философия,– есть иллюзия, и очень гордится смелостью этого утверждения. Но свобода воли есть не только иллюзия – это есть слово, не имеющее никакого значения. Это – слово, выдуманное богословами и криминалистами, и опровергать это слово – бороться с мельницами. Но разум, тот, который освещает нашу жизнь и заставляет нас изменять наши поступки, есть не иллюзия, и его-то уж никак нельзя отрицать. Следование разуму для достижения блага – в этом было всегда учение всех истинных учителей человечества, и в этом всё учение Христа, и его-то, т. е. разум, отрицать разумом уже никак нельзя.

Учение Христа есть учение о сыне человеческом, общем всем людям, т. е. об общем всем людям стремлении к благу и об общем всем людям разуме, освещающем человека в этом стремлении. (Доказывать, что сын человеческий значит сын человеческий, совершенно излишне. Для того, чтобы под сыном человеческим разуметь что-нибудь другое, чем то, что значат слова, надо доказать то, что Христос умышленно употреблял для обозначения того, что он хотел сказать, слова, имеющие совсем другое значение. Но если даже, как это хочет церковь, сын человеческий значит сын Божий, то и тогда сын человеческий значит тоже человек по своей сущности, потому что сынами Божьими Христос называет всех людей.)

Учение Христа о сыне человеческом – сыне Бога, составляющее основу всех Евангелий, яснее всего выражено в его беседе с Никодимом. «Каждый человек,– говорит он,– кроме сознания своей плотской личной жизни, происшедший от мужского отца в утробе плотской матери, не может не сознавать свое рождение свыше (Иоан. III, 5, 6, 7). То, чтб человек сознает в себе свободным,– это-то и есть то, чтб рождено от бесконечного, от того, что мы называем Богом (11 –13). Это-то рождение от Бога, этого сына Бога в человеке, мы должны возвысить в себе для того, чтобы получить жизнь истинную (14–17). Сын человеческий есть сын Бога однородный (а не единородный). Тот, кто возвысит в себе этого сына Бога над всем остальным, кто поверит, что жизнь только в нем, тот не будет в разделении с жизнью. Разделение с жизнью происходит только от того, что люди не верят в свет, который есть в них» (18–21). (Тот свет, о котором сказано в Евангелии Иоанна, что в нем жизнь и что жизнь есть свет людей.)

Христос учит тому, чтобы над всем возвысить сына человеческого, который есть сын Бога и свет людей. Он говорит: «Когда возвы

сите (вознесете, возвеличите) сына человеческого, вы узнаете, что Я ничего не говорю от себя лично» (Иоан. XII, 32, 44, 49). Евреи не понимают его учения и спрашивают; кто этот сын человеческий, которого надо возвысить? (Иоанн. XII, 34). И на этот вопрос он отвечает (Иоан. XII, 35): «Еще на малое время свет ***в вас'*** есть. Ходите, пока есть свет, чтобы тьма не объяла вас. Тот, кто ходит во тьме, не знает, куда идет». На вопрос, что значит: возвысить сына человеческого, Христос отвечает; жить в том свете, который есть в людях.

Сын человеческий, по ответу Христа,– это свет, в котором люди должны ходить, пока есть свет в них.

Луки XI, 35. Смотри, не сделался ли ***свет,*** находящийся в тебе, тьмою?

Матф. VI, 23. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же

тьма." говорит он, поучая всех людей.

Прежде и после Христа люди говорили то же самое: то, что в человеке живет божественный свет, сошедший с неба, и свет этот есть разум,– и что ему одному надо служить и в нем одном искать благо. Это говорили и учители браминов, и пророки еврейские, и Конфуций, и Сократ, и Марк Аврелий, и Эпиктет, и все истинные мудрецы, не составители философских теорий, а те люди, которые искали истины для блага своего и всех людей^.

И вдруг мы по догмату искупления признали, что об этом-то свете в человеке говорить и думать вовсе и не нужно. Надо думать, говорят верующие, о том, какое естество у какого лица троицы, какие таинства надо и не надо совершать; потому что спасение людей произойдет не от наших усилий, а от троицы и от правильного совершения таинств. Надо думать, говорят неверующие, о том, по каким законам совершает движения бесконечно малая частица материи в бесконечном пространстве в бесконечное время; но о том, чего для его блага требует разум человека, об этом думать не надо.

' Во всех церковных переводах в этом месте сделан умышленно ложный перевод: вместо слов *в вас,* **£v miv, везде, где встречаются эти слова, стоит:** *с вами*.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

^ Марк Аврелий говорит: «Почитай то, что могущественнее всего в мире, то, что пользуется всем и всем управляет. Почитай тоже то, что могущественно в тебе. Оно подобно первому, потому что оно пользуется тем, что есть в тебе, управляет твоей жизнью».

Эпиктет говорит: «Бог посеял семя свое не только в моего отца и деда, но и во все существа, живущие на земле, в особенности в разумные, потому что они одни входят в сношения с Богом через разум, которым они соединены с ним».

В книге Конфуция сказано: «Закон великой науки в том, чтобы развивать и вос- становлять начало света разума, которое мы получили с неба». Это положение повторяется несколько раз и служит основой учения Конфуция.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

потому что улучшение состояния человека произойдет не от него, а от общих законов, которые мы откроем.

Я убежден, что через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославляемых последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений. Несколько веков ученые люди западной малой части большого материка находились в повальном сумасшествии, воображая, что им принадлежит вечная блаженная жизнь, и занимались всякого рода элукубрациями о том, как, по каким законам наступит для них эта жизнь, сами же ничего не делали и не думали никогда ничего о том, как сделать эту свою жизнь лучше. И что будет представляться еще трогательнее будущему историку – это то, что он найдет, что у людей этих был учитель, ясно, определенно указавший им, что им должно делать, чтобы жить счастливее, и что слова этого учителя были объяснены одними так, что он на облаках придет всё устроить, а другими так, что слова этого учителя прекрасны, но неисполнимы, потому что жизнь человеческая не такая, какую бы мы хотели, и потому не стоит ею заниматься, а разум человеческий должен быть направлен на изучение законов этой жизни без всякого отношения к благу человека.

Церковь говорит: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь здешняя есть образчик жизни настоящей; она хороша быть не может, она вся есть зло. Наилучшее средство прожить эту жизнь состоит в том, чтобы презирать ее и жить верою (т. е. воображением) в жизнь будущую, блаженную, вечную; а здесь жить – как живется, и молиться.

Философия, наука, общественное мнение говорят: учение Христа неисполнимо потому, что жизнь человека зависит не от того света разума, которым он может осветить самую эту жизнь, а от общих законов, и потому не надо освещать эту жизнь разумом и жить согласно с ним, а надо жить, как живется, твердо веруя, что по законам прогресса исторического, социологического и других после того, как мы очень долго будем жить дурно, наша жизнь сделается сама собой очень хорошей.

Приходят люди во двор, находят в этом дворе всё, что нужно для их жизни: дом со всею утварью, амбары, полные хлебом, погреба, подвалы со всеми запасами; на дворе – орудия земледельческие, снасть, сбруя, лошади, коровы, овцы, полное хозяйство – всё, что нужно для довольной жизни. Люди с разных сторон приходят в этот двор и начинают пользоваться всем тем, что они находят тут, каждый только для себя, не думая ничего оставлять ни тем, которые теперь с ними в доме, ни тем, которые придут после. Каждый хочет всё для себя. Каждый торопится воспользоваться чем может.

и начинается истребление всего – борьба, драка за предметы обладания: корову молочную, нестриженых котных овец бьют на мясо; станками и телегами топят печи, дерутся за молоко, за зерно, проливают и просыпают и губят больше, чем пользуются. Никто спокойно не съест куска, ест и огрызается; приходит сильнейший и отнимает, а у того отнимает другой.

Намучившись, избитые, голодные люди уходят из двора. Опять хозяин приготовляет всё во дворе так, чтобы люди могли спокойно жить в нем. Опять двор – полная чаша, опять приходят прохожие, и опять свалка, драка, всё идет тунью, и опять измученные, избитые и озлобленные люди выходят вон, ругаясь и злобясь и на товарищей, и на хозяина, что он плохо и мало заготовил. Опять добрый хозяин учреждает двор так, чтобы могли жить в нем люди, и опять то же, и опять, и опять, и опять. И вот в один из новых приходов людей находится учитель, который говорит другим: братцы! мы не то делаем. Смотрите, сколько добра во дворе, как всё хозяйственно устроено! На всех нас хватит и останется тем, которые после нас придут, только давайте с умом жить. Не будем друг у дружки отнимать, а будем помогать друг другу. Станем сеять, пахать, скотину водить, и всем хорошо будет жить. И вот случилось, что кое-кто понял, что говорил учитель, и стали это понявшие так делать: перестали драться, отнимать друг у дружки и стали работать. Но остальные, которые и не слыхали речей учителя, а которые и слышали, да не верили им, не делали по словам человека, а по-прежнему дрались и губили хозяйственное добро и уходили. Приходили другие, и было то же самое. Те, которые послушали учителя, говорили всё свое: не деритесь, не губите хозяйское добро, вам лучше будет. Делайте, как сказал учитель. Но всё еще было много таких, которые не слыхали и не верили, и дело шло долго всё по-старому. Всё это понятно и так точно могло быть, пока люди не верили тому, что говорил учитель. Но вот, рассказывают, что пришло время, все услыхали во дворе слова учителя, все поняли их, все, мало что поняли, все признали, что это сам Бог говорит через учителя, что и учитель-то был сам Бог, и все поверили, как в святыню, в каждое слово учителя. Но рассказывают, что будто после этого, вместо того чтобы всем жить по словам учителя, вышло то, что после этого уж никто не стал удерживаться от свалки, и пошли все бузовать друг друга, и стали все говорить, что теперь-то мы верно знаем, что так надо и что иначе нельзя.

Что же это такое значит? Ведь скотина – и та сладится, как ей так корм есть, чтобы не сбивать его дуром, а люди узнали, как надо лучше жить, поверили, что сам Бог им велел так жить, и живут еще хуже, потому что, говорят, нельзя жить иначе. Что-нибудь дру

гое вообразили себе эти люди. Ну, что же могли вообразить себе эти люди во дворе, чтобы, поверив словам учителя, продолжать жизнь попрежнему, отнимать друг у друга, драться, губить добро и себя? А вот что: учитель сказал им: ваша жизнь в этом дворе дурная, живите лучше, и ваша жизнь будет хорошая, а они вообразили, что учитель осудил всю жизнь в этом дворе и обещал им другую, хорошую жизнь не на этом дворе, а где-то в другом месте. И они решили, что этот ***двор постоялый*** и что не стоит стараться жить в нем хорошо, а что надо только заботиться о том, как бы не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом месте. Только этим можно объяснить странное поведение во дворе тех людей, которые верят, что учитель был Бог, и тех, которые считают его умным человеком и слова его справедливыми, но продолжают жить по-старому, противно советам учителя.

Люди всё слышали, всё поняли, но только пропустили мимо ушей то, что учитель говорил только о том, что людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор постоялый, а там где-то будет настоящий. И вот от этого вышло то удивительное рассуждение, что слова учителя очень прекрасны и даже слова Бога, но исполнять их теперь трудно.

Только бы люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами не помогут. А самим и помогать нечего. Только не ждать ничего ни с неба, ни с земли, а самим перестать губить себя.

VIII

Но положим, что учение Христа дает блаженство миру, положим, что оно разумно, и человек на основании разума не имеет права отрекаться от него; но что делать одному среди мира людей, не исполняющих закон Христа? Если бы все люди вдруг согласились исполнять учение Христа, тогда бы исполнение его было возможно. Но нельзя идти одному человеку против всего мира. «Если я один среди мира людей, не исполняющих учение Христа,– говорят обыкновенно,– стану исполнять его, буду отдавать то, что имею, буду подставлять щеку, не защищаясь, буду даже не соглашаться на то, чтобы идти присягать и воевать, меня оберут, и если я не умру с голода, меня изобьют до смерти, и если не изобьют, то посадят в тюрьму или расстреляют, и я напрасно погублю всё счастье своей жизни и всю свою жизнь».

Возражение это основано на том же недоразумении, на котором основывается и возражение о неисполнимости учения Христа.

Так говорят обыкновенно и так думал и я, пока не освободился вполне от церковного учения, и потому не понимал учения Христа о жизни во всем его значении.

Христос предлагает свое учение о жизни как спасение от той губительной жизни, которою живут люди, не следуя его учению, и вдруг я говорю, что я бы и рад последовать его учению, да мне жалко погубить свою жизнь. Христос учит спасению от погибельной жизни, а я жалею эту погибельную жизнь. Стало быть, я считаю эту свою жизнь вовсе не погибельной, считаю эту жизнь чем-то действительным, мне принадлежащим и хорошим. В этом-то признании своей этой мирской, личной жизни за что-то действительное, мне принадлежащее и лежит недоразумение, препятствующее пониманию учения Христа. Христос знает это заблуждение людей, по которому они эту свою личную жизнь считают за что-то действительное и себе принадлежащее, и целым рядом проповедей и притч показывает им, что у них нет никаких прав на жизнь, нет никакой жизни до тех пор, пока они не приобретут истинной жизни, отрекшись от призрака жизни, того, что они называют своей жизнью.

Для того чтобы понять учение Христа о спасении жизни, надо прежде всего понять то, что говорили все пророки, что говорил Соломон, что говорил Будда, что говорили все мудрецы мира о личной жизни человека. Можно, по выражению Паскаля, не думать об этом, нести перед собой ширмочки, которые бы скрывали от взгляда ту пропасть смерти, к которой мы все бежим; но стоит подумать о том, что такое одинокая личная жизнь человека, чтобы убедиться в том, что вся жизнь эта, если она есть только личная жизнь, не имеет для каждого отдельного человека не только никакого смысла, но что она есть злая насмешка над сердцем, над разумом человека и над всем тем, что есть хорошего в человеке. И потому, чтобы понять учение Христа, надо прежде всего опомниться, одуматься, надо, чтобы в нас совершилась jiaiavoia, то самое, что, проповедуя свое учение, говорит предшественник Христа – Иоанн таким же, как мы, запутанным людям. Он говорил: «Прежде всего покайтесь, т. е. одумайтесь, а то все погибнете». Он говорил: «Топор уже лежит подле дерева, чтобы срубить его. Смерть и погибель тут, подле каждого. Не забывайте этого, одумайтесь». И Христос, начиная свою проповедь, говорит то же: «Одумайтесь, а то все погибнете».

Луки XIII, I–5. Христу рассказали о погибели галилеян, убитых Пилатом. И он говорит: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но

если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете».

Если бы он жил в наше время в России, он сказал бы: разве вы думаете, что сгоревшие в бердичевском цирке или погибшие на ку- куевской насыпи были виновнее других? – все так же погибнете, если не одумаетесь, если не найдете в своей жизни того, что не погибает. Смерть задавленных башней, сгоревших в цирке ужасает вас, но ведь ваша смерть, столь же ужасная и столь же неизбежная, стоит также перед вами. И вы напрасно стараетесь забыть ее. Когда она придет неожиданная, она будет еще ужаснее.

Он говорит (Луки XII, 54–57): «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет; и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет; и бывает. Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?»

Ведь вы по приметам узнаете вперед погоду, как же вы не видите, что с вами быть должно? Убегай от опасности, оберегай свою жизнь, сколько хочешь, и все-таки не Пилат убьет, так башня задавит, а не Пилат и не башня, то умрешь в постели в страданиях еще злейших.

Сделайте простой расчет, как делают люди мирские, когда они что-нибудь затевают: башню строят, или идут на войну, или завод строят. Они затевают и трудятся над тем, что должно иметь разумный конец.

Луки XIV, 28–31. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?»

Разве не бессмысленно трудиться над тем, что, сколько бы ты ни старался, никогда не будет закончено? Всегда смерть придет раньше, чем будет окончена башня твоего мирского счастья. И если ты вперед знаешь, что, сколько ни борись со смертью, не ты, а она поборет тебя, так не лучше ли уж и не бороться с нею и не класть свою душу в то, что погибает наверно, а поискать такого дела, которое не разрушилось бы неизбежною смертью.

Луки XII, 22–27. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам; не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пиши и тело – одежды. Посмотрите на воронов; они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше их? Да кто же из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботиться о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но, говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».

Сколько ни заботьтесь о теле и пище, никто не может прибавить себе жизни на один час.' Так разве не бессмысленно заботиться о том, чего вы не можете сделать?

Вы знаете очень хорошо, что жизнь наша кончится смертью, а вы заботитесь о том, чтобы обеспечить свою жизнь имением. Жизнь не может обеспечиться имением. Поймите, что это смешной обман, которым вы сами себя обманываете.

Не может быть смысл жизни, говорит Христос, в том, чем владеем и что мы приобретаем, то, что не мы сами; он должен быть в чем-нибудь ином.

Он говорит (Луки XII, 15–21); «Жизнь человека при всем избытке его не зависит от его имения. У одного богатого человека,– говорит он,– был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой; что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и сберу туда весь хлеб мой и всё добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему; безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».

Смерть всегда, всякое мгновение стоит над вами. И потому (Луки XII, 35, 36, 38, 39, 40); «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий».

' Слова эти неверно переведены: слово iq>,iKia — возраст, время жизни. И потому всё выражение значит: не можете прибавить часу жизни.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

притча о девах, ожидающих жениха, завершение века и Страшный суд,– все эти места, по мнению всех толкователей, кроме другого значения конца мира, имеют значение: всегда, всякий час предстоящей человеку смерти.

Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша всегда совершается в виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно – смерть. И эта смерть разрушает всё то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, т. е. такая, цель которой не в жизни для себя в будущем. Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни.

Луки X, 41. «Марфа! Марфа! хлопочешь и заботишься о многом, а одно только нужно».

Все те бесчисленные дела, которые мы делаем для себя в будущем, не нужны для нас; всё это обман, которым мы сами обманываем себя. Нужно только одно.

Со дня рождения положение человека таково, что его ждет неизбежная погибель, т. е. бессмысленная жизнь и бессмысленная смерть, если он не найдет этого, чего-то одного, которое нужно для истинной жизни. Это-то одно, дающее истинную жизнь, Христос и открывает людям. Он не выдумывает это, не обещает дать это по своей божеской власти; он только показывает людям, что вместе с той личной жизнью, которая есть несомненный обман, должно быть то, что есть истина, а не обман.

Притчей о виноградарях (Матф. XXI, 33—42) Христос разъясняет этот источник заблуждения людей, скрывающего от них эту истину и заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь, за жизнь истинную.

Люди, живя в хозяйском обработанном саду, вообразили себе, что они собственники этого сада. И из этого ложного представления вытекает ряд безумных и жестоких поступков этих людей, кончающийся их изгнанием, исключением из жизни; точно так же мы вообразили себе, что жизнь каждого из нас есть наша личная собственность, что мы имеем право на нее и можем пользоваться ею, как хотим, ни перед кем не имея никаких обязательств. И для нас, вообразивших себе это, неизбежен такой же ряд безумных и жестоких поступков и несчастий; и такое же исключение из жизни. И как виноградарям кажется, что чем злее они будут, тем лучше обеспечат себя,– убьют послов и хозяйского сына,– так и нам кажется, что чем злее мы будем, тем будем обеспеченнее.

Как неизбежно кончается с виноградарями тем, что их, никому не дающих плодов сада, изгоняет хозяин, так точно кончается и с

людьми, вообразившими себе, что жизнь личная есть настоящая жизнь. Смерть изгоняет их из жизни, заменяя их новыми; но не за наказание, а только потому, что люди эти не поняли жизни. Как обитатели сада или забыли, или не хотят знать того, что им передан сад окопанный, огороженный, с вырытым колодцем и что кто- нибудь да поработал на них и потому ждет и от них работы; так точно и люди, живущие личной жизнью, забыли или хотят забыть всё то, что сделано для них прежде их рождения и делается во всё время их жизни, и что поэтому ожидается от них; они хотят забыть то, что все блага жизни, которыми они пользуются, даны и даются и потому должны быть передаваемы или отдаваемы.

Эта поправка взгляда на жизнь, эта psxavoia есть краеугольный камень учения Христа, как он и сказал в конце этой притчи. По учению Христа, как виноградари, живя в саду, не ими обработанном, должны понимать и чувствовать, что они в неоплатном долгу перед хозяином, так точно и люди должны понимать и чувствовать, что, со дня рождения и до смерти, они всегда в неоплатном долгу перед кем-то, перед живщими до них и теперь живущими и имеющими жить, и перед тем, что было и есть и будет началом всего. Они должны понимать, что всяким часом своей жизни, во время которой они не прекращают этой жизни, они утверждают это обязательство, и что потому человек, живущий для себя и отрицающий это обязательство, связывающее его с жизнью и началом ее, сам лишает себя жизни, должен понимать, что живя так, он, желая сохранить свою жизнь, губит ее,– то самое, что много раз повторяет Христос.

Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей.

Чтобы быть участником в этой жизни, человек должен отречься от своей воли для исполнения воли отца жизни, давшего ее сыну человеческому.

Иоанна VIII, 35. Раб, делающий свою волю, а не волю хозяина, не живет вечно в доме хозяина; только сын, исполняющий волю отца, только тот живет вечно,– говорит Христос ту же мысль в другом смысле.

Воля же отца жизни есть жизнь не отдельного человека, а единого сына человеческого, живущего в людях, и потому человек сохраняет жизнь только тогда, когда он на жизнь свою смотрит как на залог, как на талант, данный ему отцом для того, чтобы служить жизни всех, когда он живет не для себя, а для сына человеческого.

Матф. XXV, 14–46. Хозяин дал рабам своим каждому по части имения своего и, ничего не сказав им, оставил их одних. Одни ра

бы, хотя и не слыхали приказания хозяина о том, как употребить часть имения господина, поняли, что имение не их, а хозяйское, и что имение должно расти, и работали для хозяина. И рабы, которые работали для хозяина, стали участниками жизни хозяина, а неработавшие лишены того, что было дано им.

Жизнь сына человеческого дана всем людям, и им не сказано, зачем она дана им. Одни люди понимают, что жизнь не их собственность, а дана им как дар, и должна служить жизни сына человеческого, и живут так. Другие под предлогом непонимания цели жизни, не служат жизни. И люди, служащие жизни, сливаются с источником жизни; люди, не служащие жизни, лищаются ее. И вот с стиха 31–46 Христос говорит о том, в чем состоит служение сыну человеческому и в чем награда этого служения. Сын человеческий, по выражению Христа, как царь (34), скажет; «Придите благословенные Отца, наследуйте Царство за то, что вы поили, кормили, одевали, принимали, утещали Меня, потому что Я всё тот же один и в вас, и в малых сих, которых вы жалели и которым делали добро. Вы жили жизнью не личной, а жизнью сына человеческого, и потому вы имеете жизнь вечную».

Только этой вечной жизни учит Христос по всем Евангелиям, и, как ни странно это сказать про Христа, который лично воскрес и обещал всех воскресить, никогда Христос не только ни одним словом не утверждал личное воскресение и бессмертие личности за гробом, но и тому восстановлению мертвых в царстве мессии, которое основали фарисеи, придавал значение, исключающее представление о личном воскресении.

Саддукеи оспаривали восстановление мертвых. Фарисеи признавали его так же, как признают его теперь правоверные евреи.

Восстановление мертвых (а не воскресение, как неправильно переводится это слово), по верованиям евреев, совершится при наступлении века мессии и установлении Царства Бога на земле. И вот Христос, встречаясь с этим верованием временного, местного и плотского воскресения, отрицает его и на место его ставит свое учение о восстановлении вечной жизни в Боге.

Когда саддукеи, не признающие восстановления мертвых, спра- щивают Христа, предполагая, что он разделяет понятия фарисеев, «чья будет жена семи братьев?» – он ясно и определенно отвечает о том и о другом.

Он говорит: Матф. XXII, 20–32; Марка XII, 24–27; Луки XX, 34–38: «Вы заблуждаетесь, не понимая писания и силу Божию». И, отвергая представление фарисеев, он говорит: Восстановление из мертвых бывает не плотское и не личное. Те, которые достигнут восстановления из мертвых, делаются сынами Бога и живут как ан

гелы (сила Бога) на небе (т. е. с Богом), и вопросов личных, чья жена, для них не может быть, потому что они, соединяясь с Богом, перестают быть личностями. «Что же касается того, что есть восстановление мертвых», говорит он, возражая саддукеям, признающим одну земную жизнь и ничего, кроме плотской земной жизни, «то разве вы не читали того, что сказано вам Богом? В Писании сказано, что Бог при купине сказал Моисею: «Я – Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Если Бог сказал Моисею, что он Бог Иакова, то Иаков не умер для Бога, потому что Бог есть Бог только живых, а не мертвых. ***Для Бога все живы.*** И потому если есть живой Бог, то и жив тот человек, который стал в общение с вечно живым Богом.

Против фарисеев Христос говорит, что восстановление жизни не может быть плотское и личное. Против саддукеев он говорит, что, кроме личной и временной жизни, есть еще жизнь в общении с Богом.

Христос, отрицая личное, плотское воскресение, признает восстановление жизни в том, что человек жизнь свою переносит в Бога. Христос учит спасению от жизни личной и полагает это спасение в возвеличении сына человеческого и жизни в Боге. Связывая это свое учение с учением евреев о пришествии мессии, он говорит евреям о восстановлении сына человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в Боге. О плотском же личном воскресении он никогда не говорил. Лучшим доказательством того, что Христос никогда не проповедовал воскресения людей, служат те единственные два места, которые приводятся богословами в подтверждение его учения о воскресении. Эти два места следующие: Матф. XXV, 31–46 и Иоанн V, 28, 29. В первом говорится о пришествии, т. е. восстановлении, возвеличении сына человеческого (точно так же, как это говорится у Матф. X, 23), и потом величие и власть сына человеческого сравниваются с царем. Во втором месте говорится о восстановлении истинной жизни здесь на земле, как это и выражено в предшествующем 24 стихе.

Стоит вдуматься в смысл учения Христа о жизни вечной в Боге, стоит восстановить в своем воображении учение еврейских пророков, чтобы понять, что если бы Христос хотел проповедовать учение о воскресении мертвых, которое тогда только начинало входить в Талмуд и было предметом спора, то он ясно и определенно высказал бы это учение: он же, наоборот, не только не сделал этого, но даже отверг его, и во всех Евангелиях нельзя найти ни одного места, которое бы подтверждало это учение. А два приведенные выше места означают совсем другое.

о своем же личном воскресении, как это ни покажется странным всем, кто не изучал сам Евангелий, ***Христос никогда нигде не говорит.*** Если, как учат богословы, основа веры Христовой – в том, что Христос воскрес, то, казалось бы, меньшее, чего можно желать,– это то, чтобы Христос, зная, что он воскреснет и что в этом будет состоять главный догмат веры в него, хотя бы один раз определенно и ясно сказал это. Но он не только не сказал этого определенно и ясно, но ни разу, ни одного разу по всем нашим каноническим Евангелиям даже не упомянул об этом. Учение Христа в том, чтобы возвысить сына человеческого, т. е. сущность жизни человека – признать себя сыном Бога. В самом себе Христос олицетворяет человека, признавшего свою сыновность Богу: Матф. XVI, 13–20. Он спрашивает у учеников: чтб про него – ***сына человеческого*** – толкуют люди? Ученики говорят, что одни считают его за чудесно воскрешенного Иоанна или за пророка, другие – за Илию, пришедшего с неба.– Ну, а вы как понимаете меня? – спрашивает он. И Петр, понимая Христа так же, как он сам понимал себя, отвечает: ты – мессия, сын Бога живого. И Христос говорит: не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец наш Небесный, т. е. ты понял это не потому, что ты поверил человеческим толкованиям, а потому, что ты, сознав себя сыном Бога, понял меня. И, объяснив Петру, что на этой сыновности Богу зиждется истинная вера, Христос говорит другим ученикам, чтобы они и не говорили вперед, что именно он, Иисус – мессия. И после этого Христос говорит: что, несмотря на то, что его будут мучить и убьют, сын человеческий, сознавший себя сыном Бога, все-таки будет восстановлен и восторжествует над всем. И эти-то слова толкуются за предсказание о его воскресении.

Иоан. II, 10, 22. Матф. XII, 40. Луки XI, 30. Матф. XVI, 4. Матф. XVI, 21. Марка VIII, 31. Луки IX, 22. Матф. XVII, 23. Марка IX, 31. Матф. XX, 19. Марка X, 34. Луки XVIII, 33. Матф. XXVI, 32. Марка XIV, 28. Вот все 14 мест, которые понимаются так, что Христос предсказывал свое воскресение. В трех из этих мест говорится о Ионе во чреве китове и в одном о восстановлении храма. В остальных же десяти местах говорится о том, что сын человеческий не может быть уничтожен; но нигде ни одним словом не говорится о воскресении Иисуса Христа.

Во всех этих местах в подлиннике нет даже слова ***«воскресение».*** Дайте человеку, не знающему богословских толкований, но знающему по-гречески, перевести все эти места, и никогда никто не переведет их так, как они переведены. В подлиннике в этих местах стоят два разные слова: одно dviairipi, другое eyeipco. Одно из этих слов значит: «восстановить»; другое значит: «будить», и в медиуме:

«проснуться», «встать». Но ни то, ни другое никогда ни в каком случае не может значить: «воскреснуть». Для того, чтобы вполне убедиться в том, что греческие слова эти и соответствующее им еврейское ***кум*** не могут значить «воскреснуть», стоит только сличить те места Евангелия, где употребляются эти слова, а употребляются они множество раз и ни разу не переведены словом «воскреснуть». Слова «воскреснуть», «auferstehen», «ressusciter», нет ни на греческом, ни на еврейском языке, так как не было и соответствующего им понятия. Чтобы на греческом или на еврейском языке выразить понятие о воскресении, нужна перифраза, нужно сказать: «встал» или «проснулся» из мертвых. Так, в Евангелии говорится (Матф. XIV, 2) про то, что Ирод полагал, что Иоанн Креститель «воскрес», и там сказано: «проснулся из мертвых». Так и у Луки XVI, 31 говорится в притче о Лазаре про то, что если бы кто и воскрес, то и воскресщему бы не поверили, и сказано: «восстал бы из мертвых». Там же, где к словам: «встать», или «проснуться» не прибавлено слов: ***из мертвых,*** слова – «встать» и «проснуться» никогда не значили и не могут значить – «воскреснуть». А говоря о себе, Христос ни разу во всех тех местах, которые приводятся в доказательство предсказаний его о «воскресении», ни разу, ни одного разу не употребляет слов: «из мертвых».

Наше понятие о воскресении до такой степени чуждо понятию евреев о жизни, что нельзя себе представить даже, как мог бы говорить Христос евреям о воскресении и вечной личной, свойственной каждому человеку жизни. Понятие о будущей личной жизни пришло к нам не из еврейского учения и не из учения Христа. Оно вошло в церковное учение совершенно со стороны. Как ни странно это покажется, но нельзя не сказать, что верование в будущую личную жизнь есть очень низменное и грубое представление, основанное на смешении сна со смертью и свойственное всем диким народам, и что еврейское учение, не говоря уже о христианском, стояло неизмеримо выше его. Мы же так уверены в том, что это суеверие есть что-то очень возвышенное, что пресерьезно доказываем преимущество нашего учения перед другими именно тем, что мы держимся этого суеверия, а другие, как китайцы и индусы, не держатся его. Это доказывают не только богословы, но и вольнодумные ученые историки религий – Тиле, Макс Мюллер и др.; классифицируя религии, они признают, что те из них, которые разделяют это суеверие, выше тех, которые его не разделяют. Вольнодумный Шопенгауэр прямо называет еврейскую религию самой пакостной (niedertrachtigste) из всех религий за то, что в ней нет и понятия (keine Idee) о бессмертии души. Действительно, в еврейской религии ни понятия, ни слова такого не было. Жизнь вечная по-еврей-

ски ***«хайе-ойлом». Ойлом*** значит бесконечное, во времени непоколебимое. ***Ойлом*** значит тоже мир – космос. Жизнь вообще, и тем более жизнь вечная, ***хайе-ойлом,*** по учению евреев, есть свойство одного Бога. Бог есть Бог жизни. Бог живой. Человек, по понятию евреев, всегда смертен, только Бог есть всегда живой. В Пятикнижии два раза употреблены слова; «жизнь вечная». Один раз во Второзаконии, другой раз в книге Бытия. Во Второзаконии, гл. XXXII, 39, 40, Бог говорит: поймите, что это Я – Я. Что нет Бога, кроме Меня; Я живлю, Я умерщвляю, Я бью, Я исцеляю, и от Меня никто не освобождается; Я поднимаю руку до неба и говорю: ***Я живу вечно.*** В другой раз; в книге Бытия III, 22, Бог говорит: вот человек съел плода от древа познания добра и зла и стал таким, как мы (одним из нас); как бы он не протянул руки и не взял с древа жизни и не съел и не стал бы ***жить вечно.*** Эти два единственные случая употребления слов: ***жизнь вечная*** в Пятикнижии и во всем Ветхом Завете (за исключением одной главы апокрифического Даниила) ясно определяют понятия евреев о жизни вообще и жизни вечной. Жизнь сама по себе, по понятию евреев, вечна и такова она в Боге: человек же всегда смертен, таково его свойство.

Нигде в Ветхом Завете не сказано того, чему учат нас в священных историях – что Бог вдунул в человека ***душу бессмертную,*** или того, что первый человек до греха был бессмертен. Бог сотворил, по первому сказанию книги Бытия, ст. 26 I гл., человека точно так же, как и животных, точно так же мужеский и женский пол и точно так же велел им плодиться и множиться. Как о животных не сказано, что они бессмертны, точно так же не сказано этого и о человеке. Во второй главе говорится о том, как человек познал добро и зло. Но о жизни сказано прямо, что Бог выгнал человека из рая и загородил ему путь к древу жизни. Человек так и не вкусил плода древа жизни, он так и не получил ***хайе-ойлом,*** т. е. жизни вечной, и остался смертен.

По учению евреев, человек есть человек точно такой, какой он есть, т. е. смертный. Жизнь есть в нем только как жизнь, продолжающаяся из рода в род в народе. Один только народ, по учению евреев, имеет в себе возможность жизни. Когда Бог говорит: будете жить и не умрете, то он говорит это народу. Вдунутая в человека Богом жизнь есть смертная для каждого отдельного человека, но жизнь эта продолжается из поколения в поколение, если люди исполняют завет с Богом, т. е. условия, положенные для этого Богом.

Изложив все законы и сказав, что законы эти не на небе, а в сердцах их, Моисей говорит во Второзаконии XXX, 15: «Вот ныне я кладу перед вами благо и жизнь, смерть и зло, увещевая вас любить Бога и идти по Его путям, исполняя Его закон с тем, чтобы вы

удержали жизнь». И в ст. 19: «Беру в свидетели против вас небо и землю. Вот ***жизнь*** и ***смерть,*** благословение и проклятие я кладу перед вами. Изберите же жизнь с тем, чтобы жить вам и потомству вашему, любя Бога, повинуясь Ему и прилепляясь к Нему, потому что от Него ваша жизнь и продолжение ее».

Главное различие между нашим понятием о жизни человеческой и понятием евреев состоит в том, что, по нашим понятиям, наша смертная жизнь, переходящая от поколения к поколению, не настоящая жизнь, а жизнь падшая, почему-то временно испорченная; а по понятию евреев, эта жизнь есть самая настояшая, есть высшее благо, данное человеку под условием исполнения воли Бога. С нашей точки зрения переход этой падшей жизни от поколения к поколениям есть продолжение проклятия. С точки зрения евреев это есть высшее благо, которого может достигнуть человек, и то только исполняя волю Бога.

Вот на этом-то понятии о жизни и основывает Христос свое учение о жизни истинной или вечной, которую он противуполагает жизни личной и смертной. «Исследуйте писания», говорит Христос евреям (Иоан. V, 39), «ибо вы чрез них думаете иметь жизнь вечную».

Юноша спрашивает Христа (Матф. XIX, 16): как войти в жизнь вечную? Христос, отвечая ему на вопрос о жизни вечной, говорит: если хочешь войти в ***жизнь*** (он не говорит: жизнь вечную, а – просто жизнь), соблюди заповеди. То же говорит законнику: так поступай, и будешь жить (Луки X, 28), и то же говорит – жить, просто, не прибавляя – жить вечно. Христос в обоих случаях определяет, чтб должно разуметь под словами: жизнь вечная; когда он употребляет их, то говорит евреям то же самое, что сказано много раз в законе их, а именно: исполнение воли Бога есть жизнь вечная.

Христос в противоположность жизни временной, частной, личной учит той вечной жизни, которую по Второзаконию Бог обещал Израилю, но только с той разницею, что, по понятию евреев, жизнь вечная продолжалась только в избранном народе израильском и для приобретения этой жизни нужно было соблюдать исключительные законы Бога для Израиля, а по учению Христа жизнь вечная продолжается в сыне человеческом, и для сохранения ее нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю Бога для всего человечества.

Христос противополагает личной жизни не загробную жизнь, а жизнь общую, связанную с жизнью настоящей, прошедшей и бу- душей всего человечества, жизнь сына человеческого.

Спасение жизни личной от смерти, по учению евреев, было исполнением воли Бога, выраженной в законе Моисея по его запове

дям. Только при этом условии жизнь евреев не погибала, а переходила от поколения к поколению в избранном Богом народе. Спасение жизни личной от смерти по учению Христа есть то же самое исполнение воли Бога, выраженное в заповедях Христа. Только при этом условии, по учению Христа, жизнь личная не погибает, а становится вечною непоколебимо в сыне человеческом. Разница только в том, что служение Богу Моисея было служение богу одного народа; а служение Отцу Христа есть служение Богу всех людей. Продолжение жизни в поколениях одного народа было сомнительно потому, что мог исчезнуть сам народ, и потому еще, что продолжение это зависело от плотского потомства. Продолжение жизни, по учению Христа, несомненно потому, что жизнь, по его учению, переносится в сына человеческого, живущего по воле Отца.

Но положим, что слова Христа о Страшном суде и совершении века и другие слова из Евангелия Иоанна имеют значение обещания загробной жизни для душ умерших людей, все-таки несомненно и то, что учение его о свете жизни, о Царстве Бога имеет и то доступное его слушателям и нам теперь значение, что жизнь истинная есть только жизнь сына человеческого по воле Отца. Это тем легче допустить, что учение о жизни истинной по воле Отца жизни включает в себя понятие о бессмертии и жизни за гробом.

Может быть, справедливее предположить, что человека после этой мирской жизни, пережитой для исполнения его личной воли, все-таки ожидает вечная личная жизнь в раю со всевозможными радостями; может быть, это справедливее, но думать, что это так, стараться верить в то, что за добрые дела я буду награжден вечным блаженством, а за дурные вечными муками,– думать так не содействует пониманию учения Христа; думать так значит, напротив, лишать учение Христа самой главной его основы.

Всё учение Христа в том, чтобы ученики его, поняв призрачность личной жизни, отреклись от нее и переносили ее в жизнь всего человечества, в жизнь сына человеческого. Учение же о бессмертии личной души не только не призывает к отречению от своей личной жизни, но навеки закрепляет эту личность.

По понятию евреев, китайцев, индусов и всех людей мира, не верующих в догмат падения человека и искупления его, жизнь есть жизнь, как она есть. Человек живет, совокупляется, рождает детей, воспитывает их, стареется и умирает. Дети его вырастают и продолжают его жизнь, которая, не прерываясь, ведется от поколения к поколениям, точно так же, как ведется всё в мире существующее; камни, земля, металлы, растения, звери, светила и всё в мире. Жизнь есть жизнь, и ею надо воспользоваться как можно лучше. Жить для себя одного неразумно. И потому, с тех пор как есть лю

ди, они отыскивают для жизни цели вне себя: живут для своего ребенка, для семьи, для народа, для человечества, для всего, что не умирает с личной жизнью.

Наоборот, по учению нашей церкви, жизнь человеческая, как высшее благо, известное нам, представляется только частицей той жизни, которая на время удержана от нас. Наша жизнь, по нашему понятию, не есть жизнь такая, какую Бог хотел и должен был нам дать, а жизнь наша есть испорченная, дурная, падшая жизнь, «образчик» жизни, насмешка над настоящей, над тою, которую почему-то мы воображаем, что Бог должен был дать нам. Главная задача нашей жизни по этому представлению не в том, чтобы прожить ту данную нам смертную жизнь так, как хочет податель жизни, не в том, чтобы сделать ее вечною в поколениях людей, как евреи, или слиянием ее с волею Отца, как учил Христос, а в том, чтобы уверить себя, что после этой жизни начинается настоящая.

Христос не говорит про эту нашу мнимую жизнь, которую Бог должен был дать, но не дал почему-то людям. Теория грехопадения Адама и вечной жизни в раю и бессмертной души, вдунутой Богом в Адама, была неизвестна Христу, и он не упоминал про нее и ни одним словом не намекнул на существование ее.

Христос говорит о жизни, какая она есть и какая будет всегда. Мы же говорим о той жизни, которую мы себе вообразили и которой никогда не было; как же нам понять учение Христа?

Христос и не мог представить себе такого странного понятия у своих учеников. Он предполагает, что все люди понимают неизбежность погибели личной жизни, и открывает жизнь не погибающую. Он дает благо тем, которые во зле; но тем, которые уверились, что они имеют гораздо больше того, что дает Христос, учение его ничего не может дать. Я буду усовещивать человека, чтобы он работал, уверяя его, что он за то получил одежду и пищу, и вдруг этот человек уверится, что он и так миллионер; очевидно, что он не примет моих увещаний. Это самое происходит и с учением Христа. Что мне еще зарабатывать, когда я и так могу быть богачом? Что мне стараться прожить эту жизнь по-божьи, когда я уверен, что и без того я буду вечно лично жить?

Нас учат, что Христос спас людей тем, что он – второе лицо троицы, что он – Бог и вочеловечился и, приняв на себя грех Адама и всех людей, искупил грех людей пред первым лицом троицы и установил для нашего спасения церковь и таинства. Веруя в это, мы спасаемся и получаем вечную личную жизнь за гробом. Но нельзя же отрицать и того, что он спас и спасает людей еще и тем, что, указав им на их неизбежную погибель, он, по словам своим:

я есМb путь, жизнь и истина, дал нам истинный путь жизни, взамен того ложного пути жизни личной, по которому мы шли прежде.

Если могут найтись люди,, которые усомнятся в загробной жизни и спасении, основанном на искуплении, то в спасении людей, всех и каждого отдельно, чрез указание неизбежной погибели личной жизни и истинного пути спасения в слиянии своей воли с волею Отца, не может быть сомнения. Пусть всякий разумный человек спросит себя: что такое его жизнь и смерть? И пусть придаст этой жизни и смерти какой-нибудь другой смысл, кроме того, который указал Христос.

Всякое осмысливание личной жизни, если она не основывается на отречении от себя для служения людям, человечеству – сыну человеческому, есть призрак, разлетающийся при первом прикосновении разума. В том, что моя личная жизнь погибает, а жизнь всего мира по воле Отца не погибает и что одно только слияние с ней дает мне возможность спасения, в этом я уж не могу усомниться. Но это так мало в сравнении с теми возвышенными религиозными верованиями в будущую жизнь! Хоть мало, но верно.

Я заблудился в снежную метель. Один уверяет меня, и ему так кажется, что вот они – огоньки, вот и деревня; но это только так кажется и ему и мне, потому что нам этого хочется, а уж мы ходили на эти огоньки, и их не оказалось. А другой пошел по снегу; походил, вышел на дорогу и кричит нам; «Никуда не ездите, огоньки у вас в глазах, везде заблудитесь и пропадете, а вот крепкая дорога, и я стою на ней, она выведет нас». Это очень мало. Когда мы верили огонькам, мелькавшим в наших ошалелых глазах, была уже вот- вот и деревня, и теплая изба, и спасение, и отдых, а тут только крепкая дорога. Но если послушаемся первого, наверно замерзнем, а если послушаемся второго, наверно выедем.

Итак, что же я должен делать, если я один понял учение Христа и поверил в него, один среди непонимающих и неисполняющих его?

Что мне делать? Жить, как все, или жить по учению Христа? Я понял учение Христа в его заповедях и вижу, что исполнение их дает блаженство и мне и всем людям мира. Я понял, что исполнение этих заповедей есть воля того начала всего, от которого произошла и моя жизнь.

Я понял, кроме того, что чтб бы я ни делал, я неизбежно погибну бессмысленною жизнью и смертью со всем окружающим меня, если я не буду исполнять этой воли Отца, и что только в исполнении ее – единственная возможность спасения.

Делая, как все, я наверно противодействую благу всех людей, наверно делаю противное воле Отца жизни, наверно лишаю себя

единственной возможности улучшить свое отчаянное положение. Делая то, чему Христос учит меня, я продолжаю то, что делали люди до меня: я содействую благу всех людей, теперь живущих, и тех, которые будут жить после меня, делаю то, что хочет от меня тот, кто произвел меня, и делаю то, что одно может спасти меня.

Горит цирк в Бердичеве, все жмутся и душат друг друга, напирая на дверь, которая отворяется внутрь. Является спаситель и говорит; «Отступите от двери, вернитесь назад; чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь». Многие ли, один ли я услыхал это и поверил – всё равно; но, услыхавши и поверивши, что же я могу сделать, как не то, чтобы пойти назад и звать всех на голос спасителя? Задушат, задавят, убьют меня – может быть; но спасение для меня все-таки лишь в том, чтобы идти туда, где единственный выход. И я не могу не идти туда. Спаситель должен быть точно спаситель, т. е. точно спасать. И спасение Христа есть точно спасение. Он явился, сказал – и человечество спасено.

Цирк горит час, и надо спешить, и люди могут не успеть спастись. Но мир горит уже 1800 лет, горит с тех пор, как Христос сказал: я огонь низвел на землю; и как томлюсь, пока он не разгорится,– и будет гореть, пока не спасутся люди. Не затем ли и люди, не затем ли и горит, чтобы люди имели блаженство спасения?

И, поняв это, я понял и поверил, что Иисус не только мессия, Христос, но что он точно и спаситель мира.

Я знаю, что выхода другого нет ни для меня, ни для всех тех, которые со мной вместе мучаются в этой жизни. Я знаю, что всем, и мне с ними вместе, нет другого спасения, как исполнять те заповеди Христа, которые дают высшее доступное моему пониманию благо всего человечества.

Больше ли у меня будет неприятностей, раньше ли я умру, исполняя учение Христа, мне не страшно. Это может быть страшно тому, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру. И потому мне не может быть страшно. Я умру так же, как и все, так же, как и не исполняющие учения; но моя жизнь и смерть будут иметь смысл и для меня и для всех. Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех,– а этому-то и учил Христос.

IX

Исполняй все люди учение Христа, и было бы Царство Бога на земле; исполняй я один – я сделаю самое лучшее для всех и для себя. Без исполнения учения Христа нет спасения.

«Но где взять веры для того, чтобы исполнять его, всегда следовать ему и никогда не отрекаться от него? Верую, Господи, помоги моему неверию».

Ученики просили Христа утвердить в них веру. «Хочу делать хорошее, и делаю дурное»,– говорит апостол Павел.

«Трудно спастися», так говорят и думают обыкновенно.

Человек тонет и просит о спасении. Ему подают веревку, которая одна может спасти его, а утопающий человек говорит: утвердите во мне веру, что веревка эта спасет меня. Верю, говорит человек, что веревка спасет меня, но помогите моему неверию.

Что это значит? Если человек не хватается за то, что спасает его, то это значит только то, что человек не понял своего положения.

Как может христианин, исповедующий божественность Христа и его учения, как бы он ни понимал его, говорить, что он хочет верить и не может? Сам Бог, придя на землю, сказал: вам предстоят вечные мучения, огонь, вечная тьма кромешная, и вот спасенье вам – в моем учении и исполнении его. Не может такой христианин не верить в предлагаемое спасенье, не исполнять его и говорить: «помоги моему неверию».

Для того, чтобы человек мог сказать это, надо не только не верить в свою погибель, но надо верить в то, что он не погибнет.

Дети попрыгали с корабля в воду. Их еще держит течение, ненамокшее платье и их слабые движения, и они не понимают своей погибели. Сверху из убегающего корабля выкинута им веревка. Им говорят, что они наверно погибнут, их умоляют с корабля (притча: о женщине, нащедщей полущку, о пастухе, нащедщем пропавщую овцу, об ужине, о блудном сыне говорят только про это); но дети не верят. Они не верят не веревке, а тому, что они погибают. Такие же легкомысленные дети, как и они, уверили их, что они всегда, когда и уйдет корабль, будут весело купаться. Дети не верят в то, что скоро платье их намокнет, ручонки намахаются, что они станут задыхаться, захлебнутся и пойдут ко дну. В это они не верят, и только потому не верят в веревку спасения.

Как дети, упавщие с корабля, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не берутся за веревку; так точно и люди, исповедующие бессмертие душ, уверились в том, что они не погибнут, и оттого не исполняют учение Христа Бога. Они не верят в то, во

что нельзя не верить, только потому, что они верят в то, во что нельзя верить.

И вот они взывают к кому-то: «Утверди в нас веру в то, что мы не погибнем».

Но этого невозможно сделать. Для того, чтобы у них была вера в то, что они не погибнут, им надо перестать делать то, что их губит, и начать делать то, что их спасает – им надо взяться за веревку спасенья. А они не хотят этого сделать, а хотят увериться в том, что они не погибнут, несмотря на то, что на их глазах один за другим гибнут их товарищи. И это-то желание свое увериться в том, чего нет, они называют верой. Понятно, что им всегда мало веры и хочется иметь больше.

Когда я понял учение Христа, только тогда я понял также, что то, что люди эти называют верой, не есть вера, и что эту-то самую ложную веру и опровергает апостол Иаков в своем послании. (Послание это долго не принималось церковью и, когда было принято, подверглось некоторым извращениям: некоторые слова выкидываются, некоторые переставляются или переводятся произвольно. Я оставлю принятый перевод, исправляя только неточности по Ти- шендорфскому тексту.)

II, 14. «Что в том пользы, братия мои,– говорит Иаков,– если человек ***полагает,*** что он имеет веру, а дел не имеет? Не может вера спасти его. 15. Если, например, брат или сестра ходят голые, и нет у них дневного пропитания. 16. И скажет им кто-нибудь из вас: идите с Богом, грейтесь и питайтесь, и вы не дадите им того, что нужно для их тела, что в том пользы? 17. Так-то и вера, если от нее нет дел, мертва сама по себе. 18. И всякий может сказать: у тебя вера, а у меня дела, покажи мне веру твою без дел, а я покажу тебе делами моими мою веру. 19. Ты веришь, что Бог один: хорошо! и бесы верят и трепещут. 20. Хочешь ли узнать, пустой человек, что вера без дел мертва? 21. Авраам, отец наш, не делами ли стал праведен, положив сына своего Иакова на жертвенник? 22. Видишь, что вера содействовала делам его, а делами совершалась вера? 23 24. Видите, что делами становится праведный человек, а не верою только. 25 26. Потому что так же, как тело
без души мертво, так и вера без дел мертва».

Иаков говорит, что единственный признак веры – дела, вытекающие из нее, и что потому вера, из которой не вытекают дела, есть только слова, которыми как не накормишь никого, так и не сделаешь себя праведным и не спасешься. И потому вера, из которой не вытекают дела, не есть вера. Это только желание верить во что-нибудь, это только ошибочное утверждение на словах, что я верю в то, во что я не верю.

Вера, по этому определению, есть то, что содействует делам, а дела – то, что совершает веру, т. е. то, что делает веру верою.

Иудеи говорили Христу (Иоан. VI, 30): «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь?»

Это же говорили ему, когда он был на кресте. Марка XV, 32. «Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем». Матф. XXVII, 42. «Других спасал, а Себя Самого не может спасти! Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него».

И на такое требование усиления веры Христос отвечает им, что желание их напрасно и что ничем нельзя заставить их верить тому, во что они не верят. Он говорит; «Если скажу вам, вы не поверите» (Луки XXII, 67). «Я сказал вам, и не верите. Вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам» (Иоанн. X, 25, 26).

Иудеи требуют того же, что требуют церковные христиане, чего-нибудь такого, что заставило бы их внешним образом поверить в учение Христа. И он отвечает им, что это невозможно, и объясняет им, почему невозможно. Он говорит, что они не могут верить потому, что они не из овец его, т. е. не следуют тому пути жизни, который он показал овцам своим. Он объясняет (Иоан. V, 44), в чем различие его овец и других, объясняет, почему одни верят, а другие нет, и на чем зиждется вера. «Как вы можете веровать,– говорит он,– когда друг от друга принимаете 56^а, учение', а то учение, которое от единого Бога, того не ищете?»

Чтобы верить, говорит Христос, надо искать то учение, которое от одного только Бога. Говорящий от себя ищет свое личное учение (66^av tf|v i'5iav), а кто ищет учение пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем (Иоан. VII, 18).

Учение о жизни, 86^а, есть основа веры.

Поступки все вытекают из веры. Веры же все вытекают из 56i^а, того смысла, который мы приписываем жизни. Поступков может быть бесчисленное количество, вер тоже очень много; но учений о жизни (56^а) есть только два: одно из них отрицает, а другое признает Христос. Одно учение – то, которое отрицает Христос, состоит в том, что личная жизнь есть что-то действительно существующее и принадлежащее человеку. Это – то учение, которого держалось и держится большинство людей и из которого вытекают все разнообразные веры людей мира и все их поступки. Другое учение – то, которое проповедовали все пророки

' Дб^а, как и во многих местах, совершенно неправильно переводится словом: слава. Дб^а от бокеш значит воззрение, суждение, учение.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

и Христос, именно; что жизнь наша личная получает смысл только в исполнении воли Бога.

Если человек имеет ту 56^а, что важнее всего его личность, то он будет считать, что его личное благо есть самое главное и желательное в жизни и, смотря по тому, в чем он будет полагать это благо,– в приобретении ли именья, в знатности ли, в славе, в удовлетворении ли похоти и пр.,– у него будет соответственная этому взгляду вера, и все поступки его будут всегда сообразны с нею.

Если 66^а человека – другая, если он понимает жизнь так, что смысл ее только в исполнении воли Бога, как понимал это Авраам и как учил этому Христос, то, смотря по тому, в чем он будет полагать волю Бога, у него будет и соответствуюгцая вера, и все поступки его будут вытекать из этой веры.

Вот почему и не могут верующие в благо личной жизни поверить в учение Христа. И все усилия их поверить этому всегда останутся тщетны. Чтобы поверить,– им надо изменить свой взгляд на жизнь. А пока они не изменили его, дела их будут всегда совпадать с их верой, а не с их желаниями и словами.

Желание верить в учение Христа тех, которые просили у него знамений, и нащих верующих не совпадает и не может совпадать с их жизнью, как бы они ни старались об этом. Они могут молиться Христу Богу, причащаться, делать дела человеколюбия, строить церкви, обращать других; они всё это и делают, но не могут делать дел Христа, потому что дела эти вытекают из веры, основанной на совсем другом учении (5и^а), чем то, которое они признают. Они не могут принести в жертву единственного сына, как это сделал Авраам, между тем как Авраам не мог даже задуматься над тем, принести ли, или не принести сына своего в жертву Богу, тому Богу, который один давал смысл и благо его жизни. И точно так же Христос и ученики его не могли не отдавать своей жизни другим, потому что в этом одном был смысл и благо их жизни. Из этого-то непонимания сущности веры и вытекает то странное желание людей – сделать так, чтобы поверить в то, что жить по учению Христа лучше, тогда как всеми силами души, согласно с верой в благо личной жизни, им хочется жить противно этому учению.

Основа веры есть смысл жизни, из которого вытекает оценка того, что важно и хорошо в жизни, и того, что неважно и дурно. Оценка всех явлений жизни есть вера. И как теперь люди, имея веру, основанную на своем учении, никак не могут согласовать ее с верою, вытекающей из учения Христа, так не могли этого сделать и ученики его. И это недоразумение много раз резко и ясно выражено в Евангелии. Ученики Христа много раз просили его утвер

дить их веру в то, что он говорил; Матф. XX, 20–28 и Марк. X, 35–45. По обоим Евангелиям, после слова, страшного для каждого верующего в личную жизнь и полагающего благо в богатстве мира, после слов о том, что богатый не войдет в Царство Бога, и после еще более страшных для людей, верующих только в личную жизнь, слов о том, что кто не оставит всего и жизни своей ради учения Христа, тот не спасется,– Петр спрашивает: что же будет нам, последовавшим за тобой и оставившим всё? Потом, по Марку, Иаков и Иоанн сами, а по Матфею их мать, просят его, чтобы он сделал так, чтобы они сели по обеим сторонам его, когда он будет в славе. Они просят, чтобы он утвердил их веру обещанием награды. На вопрос Петра Иисус отвечал притчей (Матф. XX, 1 –16); на вопрос же Иакова он говорит: вы сами не знаете, чего хотите, т. е. вы просите невозможного. Вы не понимаете учения. Учение – в отречении от личной жизни, а вы просите личной славы, личной награды. Пить чашу (провести жизнь) вы можете такую же, как и я, но сесть справа и слева от меня, т. е. быть равными мне, этого никто не может сделать. И тут Христос говорит: только в мирской жизни сильные мира пользуются и радуются славой и властью личной жизни; но вы, ученики мои, должны знать, что смысл жизни человеческой не в личном счастье, а в служении всем, в унижении перед всеми. Человек не затем живет, чтобы ему служили, а затем, чтобы самому служить и отдавать свою личную жизнь, как выкуп за всех. Христос на требование учеников, показавшее ему всё непонимание ими его учения, не приказывает им верить, т. е. изменить ту оценку благ и зол жизни, которая вытекает из его учения (он знает, что это невозможно), а разъясняет им тот смысл жизни, на котором зиждется вера, т. е. истинная оценка того, что хорошо и дурно, важно и неважно.

На вопрос Петра (Марк. X, 28); что нам будет, какая награда за наши жертвы? Христос отвечает притчей о работниках, нанятых в разное время и получивших одинаковую награду. Христос разъясняет Петру его непонимание учения, от которого и зависит отсутствие его веры. Христос говорит; только в жизни личной и бессмысленной дорого и важно вознаграждение за работу по мере работы. Вера в вознаграждение за работу по мере работы вытекает из учения личной жизни. Вера эта зиждется на предположении о правах, которые мы будто имеем на что-то; но прав человек ни на что не имеет и не может иметь; он только имеет обязательства за благо, данное ему, и потому ему нельзя считаться ни с кем. Отдав всю свою жизнь, он все-таки не может отдать того, что ему дано, и потому хозяин не может быть несправедливым к нему. Если же человек заявляет права на свою жизнь, считается с началом всего.

с тем, что дало ему жизнь, то этим он только показывает, что он не понимает смысла жизни.

Люди, получив счастье, требуют еще чего-то. Люди эти стояли на базаре праздные и несчастные – не жили. Хозяин взял их и дал им высшее счастье жизни – труд. Они приняли милость хозяина и потом остались недовольны. Они недовольны потому, что у них нет ясного сознания своего положения. Они пришли на работу с своим ложным учением о том, что они имеют право на свою жизнь и на свой труд и что поэтому труд их должен быть вознагражден. Они не понимают того, что этот труд есть самое высшее благо, которое дано им и за которое им надо только стараться возвратить такое же благо, а нельзя требовать вознаграждения. И потому люди, имеющие такое же, как эти работники, превратное понятие о жизни, не могут иметь правильной и истинной веры.

Притча о хозяине и работнике, пришедшем с поля, сказанная в ответ на прямую просьбу учеников утвердить, умножить в них веру, еще яснее определяет основу той веры, которой учит Христос.

Луки XVII, 3–10. На слова Христа, что надо прощать брату не раз, а семь раз семьдесят, ученики, ужасаясь трудности исполнения этого правила, говорят: да, но... надо верить, чтоб исполнять это; утверди же, умножь в нас веру. Как прежде они спрашивали: что нам за это будет? так и теперь спрашивают о том же самом, что говорят все так называемые христиане. Хочу верить, но не могу; утверди в нас веру в то, что веревка спасения спасет нас. Они говорят: сделай так, чтобы мы верили,– то самое, что говорили ему, требуя от него чудес. Чудесами или обещаниями наград сделай так, чтобы мы верили своему спасению.

Ученики говорят так, как мы говорим: хорошо бы было сделать так, чтобы нам, живя той жизнью одинокой, своевольной, которой мы живем, верить еще, что, если мы будем исполнять учение Бога, нам будет еще лучше. Мы все предъявляем это противное всему смыслу учения Христа требование и удивляемся, что никак не можем поверить. И на это-то самое коренное недоразумение, бывшее тогда, как и теперь, он отвечает притчей, в которой показывает, чтб есть истинная вера. Вера не может произойти от доверия к тому, что он скажет; вера происходит только от сознания своего положения. Вера зиждется только на разумном сознании того, что лучше делать, находясь в известном положении. Он показывает, что нельзя возбудить в других людях эту веру обещанием наград и угрозой наказания, что это будет доверие очень слабое, которое разрушится при первом искушении, что та вера, которая горы сдвигает, та, которую ничто поколебать не может, зиждется на сознании неизбеж-

ной погибели и того единственного спасения, которое возможно в этом положении.

Для того, чтобы иметь веру, не нужно никаких обещаний наград. Нужно понять, что единственное спасение от неизбежной погибели жизни есть жизнь общая по воле хозяина. Всякий, понявший это, не будет искать утверждения, а будет спасаться без всяких увещаний.

На просьбу учеников утвердить в них веру Христос говорит; когда хозяин придет с работником с поля, то не велит ему сейчас обедать, а велит убрать скотину и служить, а потом уж работник садится за стол и обедает. Работник всё это делает и не считает себя обиженным, и не хвалится, и не требует благодарности или награды, а значит, что это так должно быть и что он делает только то, что нужно, что это есть необходимое условие службы и вместе с тем истинное благо его жизни. Так и вы, говорит Христос, когда сделаете всё, что вам велено, считайте, что вы сделали только то, что должны были делать. Кто поймет свое отношение к хозяину, тот поймет, что, только покоряясь воле хозяина, он может иметь жизнь, и будет знать, в чем его благо, и будет иметь веру, для которой не будет ничего невозможного. Вот этой-то вере и учит Христос. Вера, по учению Христа, зиждется на разумном сознании смысла своей жизни.

Основа веры, по учению Христа, есть свет.

Иоан. I, 9–12. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир произошел через него, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Иоан. III, 19–21. Суд же' состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Для того, кто понял учение Христа, не может быть вопроса об утверждении веры. Вера, по учению Христа, зиждется на свете истины. Христос нигде не призывает к вере в себя; он призывает только к вере в истину.

Иоан. VIII, 40. Он говорит иудеям: Вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога.

46. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Иоан. XVIII, 37. Он говорит; Я на

Суд — Kpicjii^ — значит не суд, а разделение.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего.

Иоан. XVI, 6. «Он говорит; Я – путь и истина и жизнь».

«Отец,– говорит он ученикам в той же главе (16),– даст вам другого утешителя, и тот будет с вами вовек. Утешитель этот – дух истины, которого мир не видит и не знает, а вы знаете, потому что он при вас и в вас будет».

Он говорит, что всё его учение, что он сам есть истина.

Учение Христа есть учение об истине. И потому вера в Христа не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание истины. В учение Христа нельзя уверять никого, нельзя подкупать ничем к исполнению его. Кто понимает учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение это – истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не может не верить в нее, и потому человек, понявший, что он истинно тонет, не может не взяться за веревку спасения. И вопрос, как сделать, чтобы поверить, есть вопрос, выражающий только непонимание учения Христа.

X

Мы говорим; «трудно жить по учению Христа!» Да как же не трудно, когда мы сами старательно всей жизнью нашей скрываем от себя наше положение и старательно утверждаем в себе доверие к тому, что наше положение совсем не то, какое есть, а совершенно другое. И это-то доверие, назвав его верою, мы возводим во что-то священное и всеми средствами – насилием, действием на чувства, угрозами, лестью, обманом – заманиваем к этому ложному доверию. В этом требовании доверия к невозможному и неразумному мы доходим до того, что самую неразумность того, к чему мы требуем доверия, считаем признаком истинности. Нашелся человек христианин, который сказал credo, quia absurdum', и другие христиане с восторгом повторяют это, предполагая, что нелепость есть самое лучшее средство для научения людей истине. Недавно в разговоре со мной один ученый и умный человек сказал мне, что христианское учение, как нравственное учение о жизни, не важно. «Всё это,– сказал он мне,– можно найти у стоиков, у браминов, в Талмуде. Сущность христианского учения не в этом, а в теозофическом учении, выраженном в догматах». То есть не то дорого в христианском учении, что вечно и общечеловечно, что нужно для жизни и разумно, а важно и дорого в христианстве то, что совершенно не-

Верю, потому что нелепо *(лат.)*.

понятно и потому ненужно, и то, во имя чего побиты миллионы людей.

Мы составили себе ни на чем, кроме как на нашей злости и личных похотях основанное ложное представление о нашей жизни и о жизни мира, и веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни. Не будь этого веками поддерживаемого людьми доверия ко лжи, ложь нашего представления о жизни и истина учения Христа обнаружились бы давно.

Ужасно сказать (но мне иногда кажется): не будь вовсе учения Христа с церковным учением, выросшим на нем, то те, которые теперь называются христианами, были бы гораздо ближе к учению Христа, т. е. к разумному учению о благе жизни, чем они теперь. Для них не были бы закрыты нравственные учения пророков всего человечества. У них были бы свои маленькие проповедники истины, и они верили бы им. Но теперь вся истина открыта, и вся истина эта показалась так страшна тем, чьи дела были злы, что они перетолковали ее в ложь, и люди потеряли доверие к истине. В нашем европейском обществе на заявление Христа,– что он пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать о истине, и что потому всякий, кто – от истины, слышит его, на эти слова все давно уже отвечали себе словами Пилата: ***что есть истина?*** Эти слова, выражающие такую грустную и глубокую иронию над одним римлянином, мы приняли взаправду и сделали их своей верою. Все в нашем мире живут не только без истины, не только без желания узнать ее, но с твердой уверенностью, что из всех праздных занятий самое праздное есть искание истины, определяющей жизнь человеческую.

Учение о жизни – то, что у всех народов до нашего европейского общества всегда считалось самым важным, то, про что Христос говорил, что оно единое на потребу,– это-то одно исключено из нашей жизни и всей деятельности человеческой. Этим занимается учреждение, которое называется церковью и в которое никто, даже составляющие это учреждение, давно уже не верят.

Единственное окно для света, к которому обращены глаза всех мыслящих, страдающих, заслонено. На вопрос: что я, что мне делать, нельзя ли мне облегчить жизнь мою по учению того Бога, который, по вашим словам, пришел спасти нас? мне отвечают: исполняй предписание властей и верь церкви. Но отчего же так дурно мы живем в этом мире? спрашивает отчаянный голос; зачем всё это зло, неужели нельзя мне своей жизнью не участвовать в этом зле? неужели нельзя облегчить это зло? Отвечают: нельзя. Желание твое прожить жизнь хорошо и помочь в этом другим есть гордость, ***прелесть.*** Одно, что можно – это спасти себя, свою душу для бу

дущей жизни. Если же не хочешь участвовать в зле мира, то уйди из него. Путь этот открыт каждому, говорит учение церкви, но знай, что, избирая этот путь, ты должен уже не участвовать в жизни мира, а перестать жить и медленно сам убивать себя. Есть только два пути, говорят нам наши учителя; верить и повиноваться нам и властям и участвовать в том зле, которое мы учредили, или уйти из мира и идти в монастырь, не спать и не есть или на столбе гноить свою плоть, сгибаться и разгибаться и ничего не делать для людей; или признать учение Христа неисполнимым и потому признать освященную религией беззаконность жизни; или отречься от жизни, что равносильно медленному самоубийству.

Как ни удивительно кажется понявшему учение Христа то заблуждение, по которому признается, что учение Христа очень хорошо для людей, но неисполнимо; но заблуждение, по которому признается, что человек, желающий не на словах, а на деле исполнять учение Христа, должен уйти из мира,– еще удивительнее.

Заблуждение это – что человеку лучше удалиться от мира, чем подвергаться искушениям мира, есть старое заблуждение, давно известное евреям, но совершенно чуждое не только духу христианства, но и иудаизму. Против этого-то заблуждения задолго еще до Христа написана повесть о пророке Ионе, столь любимая и часто приводимая Христом. Мысль повести от начала до конца одна; Иона пророк хочет один быть праведным и удаляется от развращенных людей. Но Бог показывает ему, что он – пророк, что он затем только и нужен, чтобы сообщить заблудшим людям свое знание истины, а потому он не убегать должен от заблудших людей, а жить в общении с ними. Иона брезгает развращенными ниневитянами и убегает от них. Но как ни убегает Иона от своего назначения. Бог приводит его через кита к ниневитянам, и делается то, чего хочет Бог, т. е. ниневитяне принимают через Иону учение Бога,– и жизнь их делается лучше. Но Иона не только не радуется тому, что он – орудие воли божией, но досадует, ревнует Бога к ниневитянам,– ему хотелось бы одному быть разумным и хорошим. Он удаляется в пустыню, плачется на свою судьбу и упрекает Бога. И тогда над Ионой вырастает в одну ночь тыква, защишаюшая его от солнца, а в другую ночь червь съедает эту тыкву. Иона еше отчаяннее упрекает Бога за то, что дорогая ему тыква пропала. Тогда Бог говорит ему; тебе жалко тыкву, которую ты называешь своей, она в одну ночь выросла и в одну ночь пропала, а мне разве не жалко было огромного народа, который погибал, живя как животные, не умея отличить правой руки от левой! Твое знание истины на то только и нужно было, чтобы передать его тем, которые не имели его.

Христос знал эту повесть и часто приводил ее, но, кроме того, в Евангелиях рассказано, как сам Христос после посещения удалившегося в пустыню Иоанна Крестителя, перед началом своей проповеди, подпал тому же искушению и как он был отведен диаволом (обманом) в пустыню для искушения, и как он победил этот обман и, в силе духа, вернулся в Галилею, и как с тех пор, уже не гнушаясь никакими развратными людьми, провел жизнь среди мытарей, фарисеев и грешников, научая их истине'.

По церковному же учению Христос-богочеловек дал нам пример жизни. Всю известную нам жизнь свою Христос проводит в самом водовороте жизни; с мытарями, блудницами, в Иерусалиме, с фарисеями. Главные заповеди Христа – любовь к ближнему и пропове- дание другим его учения. И то и другое требует постоянного общения с миром. И вдруг из этого делается тот вывод, что по учению Христа надо уйти от всех, ни с кем не иметь никакого дела и стать на столб. Чтобы следовать примеру Христа, оказывается, что надо делать совершенно обратное тому, чему он учил, и тому, что он делал.

Учение Христа, по церковным толкованиям, представляется как для мирских людей, так и для монашествующих не учением о жизни – как сделать ее лучше для себя и для других, а учением о том, во что надо верить светским людям, чтобы, живя дурно, все-таки спастись на том свете, а для монашествующих – тем, как для себя сделать эту жизнь еще хуже, чем она есть.

Но Христос учит не этому.

Христос учит истине, и если истина отвлеченная есть истина, то она будет истиною и в действительности. Если жизнь в Боге есть единая жизнь истинная, блаженная сама в себе, то она истинна, блаженна здесь, на земле, при всех возможных случайностях жизни. Если бы жизнь здесь не подтверждала учения Христа о жизни, то это учение было бы не истинно.

Христос не призывает к худшему от лучшего, а, напротив – к лучшему от худшего. Он жалеет людей, которые ему представляются, как растерянные, погибающие без пастуха овцы, и обещает

' Луки IV, 1, 2. Христос отведен в пустыню обманом, чтобы там быть искушаемым. Матф. IV, 3, 4. Обман говорит Христу, что он не сын Бога, если не может из камней сделать хлебы. Христос говорит; я могу жить без хлеба. Я жив тем, что вдунуто в меня Богом. Тогда обман говорит: если ты жив тем, что вдунуто в тебя Богом, то бросься с высоты, ты убьешь плоть, но дух, вдунутый в тебя Богом, не погибнет.— Христос отвечает: жизнь моя во плоти есть воля Бога. Убить свою плоть значит идти против воли Бога — искушать Бога. Матф. IV, 8—И. Тогда обман говорит: если так, то и служи плоти, как все люди, и плоть вознаградит тебя.— Христос отвечает: я бессилен над плотью, жизнь моя в духе, но уничтожить плоть я не могу, потому что дух вложен в мою плоть волею Бога, и потому, живя во плоти, я могу служить только отцу своему. Богу. И Христос идет из пустыни в мир. *Примеч. Л. Н. Толстого.*

им пастуха и хорошее пастбище. Он говорит, что ученики его будут гонимы за его учение и должны терпеть и переносить гонения мира с твердостью. Но он не говорит, что, следуя его учению, они будут терпеть больше, чем следуя учению мира; напротив, он говорит, что те, которые будут следовать учению мира, те будут несчастны, а те, которые будут следовать его учению, те будут блаженны.

Христос учит не спасению верою, или аскетизму, т. е. обману воображения, или самовольным мучениям в этой жизни; но он учит жизни такой, при которой, кроме спасения от погибели личной жизни, еще и здесь, в этом мире, меньше страданий и больше радостей, чем при жизни личной.

Христос, открывая свое учение, говорит людям, что, исполняя его учение даже среди неисполняющих, они не будут от этого несчастливее, чем прежде, но, напротив, будут счастливее, чем те, которые не будут исполнять этого. Христос говорит, что есть верный мирской расчет не заботиться о жизни мира.

«И начал Петр говорить ему: вот мы оставили всё и последовали за Тобой. Что нам будет? Иисус сказал в ответ; истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной» (Матф. XIX, 27–29; Марк. X, 28–30; Луки XVIII, 28–30).

Христос, правда, упоминает, что тем, которые послушают его, предстоят гонения от тех, которые не послушают его; но он не говорит, чтобы ученики что-нибудь потеряли от этого. Напротив, он говорит, что ученики его будут иметь здесь, в мире этом, больше радостей, чем не ученики.

Что Христос говорит и думает это, в этом не может быть сомнения и по ясности его слов об этом, и по смыслу всего учения, и по тому, как он жил, и по тому, как жили его ученики. Но правда ли это?

Разбирая отвлеченно вопрос о том, чье положение будет лучше; учеников Христа или учеников мира? нельзя не видеть, что положение учеников Христа должно быть лучше уже потому, что ученики Христа, делая всем добро, не будут возбуждать ненависти в людях. Ученики Христа, не делая никому зла, могут быть гонимы только злыми людьми, ученики же мира должны быть гонимы всеми, так как закон жизни учеников мира есть закон борьбы, т. е. гонения друг друга. Случайности же страданий – те же, как для тех, так и для других, с тою только разницей, что ученики Христа будут готовы к ним, а ученики мира все силы души будут употреблять на

то, чтобы избежать их, и что ученики Христа, страдая, будут думать, что их страдания нужны для мира, а ученики мира, страдая, не будут знать, зачем они страдают. Рассуждая отвлеченно, положение учеников Христа должно быть выгоднее положения учеников мира. Но так ли оно в действительности?

Чтобы проверить это, пусть всякий вспомнит все тяжелые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенес и переносит, и спросит себя: во имя чего он переносил все эти несчастия: во имя учения мира или Христа? Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа; но большинство несчастий его жизни произошли только оттого, что он в противность своему влечению, следовал связывавшему его учению мира.

В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь,– всё это есть мученичество во имя учения мира.

Да, я говорю про свою еще исключительно счастливую в мирском смысле жизнь. А сколько мучеников, пострадавших и теперь страдающих за учение мира страданиями, которых я не могу даже живо представить себе.

Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что всё, что мы переносим для него, необходимо.

Мы уверились в том, что все те несчастия, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо.

Чтобы быть в состоянии обсудить вопрос о том, какая жизнь счастливее, нам надо хоть мысленно отрешиться от этого ложного представления и без предвзятой мысли оглянуться на себя и вокруг себя.

Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и вглядитесь в эти истомленные, тревожные, больные лица и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам довелось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам? И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что девять десятых страданий людей несутся ими во имя учения мира,

что все эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей – мученики учения мира.

На днях, в осеннее дождливое воскресенье, я проехал по конке через базар Сухаревой башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкутся здесь в грязи, ругая, обманывая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах. Ночь – в своих углах и конурах. Воскресенье – это лучший день их недели. С понедельника в своих зараженных конурах они опять возьмутся за постылую работу.

Вдумайтесь в жизнь этих людей, в то положение, которое они оставили, чтобы избрать то, в которое они сами себя поставили, и вдумайтесь в тот неустанный труд, который вольно несут эти люди,– мужчины и женщины,– и вы увидите, что это – истинные мученики.

Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жен и детей,– отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что по учению мира считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уже о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших всё и перебивающихся требухой и водкой в ночлежных домах,– все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки и богача-купца и министра и их жен, все несут самую тяжелую, неестественную жизнь и не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира.

Поищите между этими людьми и найдите, от бедняка до богача, человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякий бьется изо всех сил, чтобы приобресть то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретет то, что требуется, от него потребуется еще другое, и еще другое, и так без конца идет эта Сизифова работа, губящая жизни людей. Возьмите лестницу состояний от людей, проживающих в год триста рублей до пятидесяти тысяч, и вы редко найдете человека, который бы не был измучен, истомлен работой для приобретения 400, когда у него 300, и 500, когда у него 400, и так без конца. И нет ни одного, который бы, имея 500, добровольно перешел на жизнь того, у которого 400. Если и есть такие примеры, то и этот переход он делает не для того, чтобы облегчить свою жизнь, а для того, чтобы собрать деньги и спрятать. Всем нужно еще и еще отягчать трудом свою и так уже отягченную жизнь и ду- щу свою без остатка отдать учению мира. Нынче приобрел поддев

ку и калоши, завтра – часы с цепочкой, послезавтра – квартиру с диваном и лампой, после – ковры в гостиную и бархатные одежды, после – дом, рысаков, картины в золотых рамах, после – заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же отдает жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же сам не знает, зачем он делал всё это. Но, может быть, сама эта жизнь, во время которой человек делает всё это, сама в себе счастлива?

Прикиньте эту жизнь на мерку того, что всегда все люди называют счастьем, и вы увидите, что эта жизнь ужасно несчастлива. В самом деле, какие главные условия земного счастья – такие, о которых никто спорить не будет?

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастия есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, т. е. жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животными. Всегда все люди считали лишение этого большим несчастьем. Заключенные в тюрьмах сильнее всего чувствуют это лишение. Посмотрите же на жизнь людей, живущих по учению мира: чем большего они достигли успеха по учению мира, тем больше они лишены этого условия счастья. Чем выше то мирское счастье, которого они достигли, тем меньше они видят свет солнца, поля и леса, диких и домашних животных. Многие из них – почти все женщины – доживают до старости, раз или два в жизни увидав восход солнца и утро и никогда не видав полей и лесов иначе, как из коляски или из вагона, и не только не посеяв и не посадив чего-нибудь, не вскормив и не воспитав коровы, лошади, курицы, но не имея даже понятия о том, как родятся, растут и живут животные. Люди эти видят только ткани, камни, дерево, обделанное людским трудом, и то не при свете солнца, а при искусственном свете; слышат они только звуки машин, экипажей, пушек, музыкальных инструментов; обоняют они спиртовые духи и табачный дым; под ногами и руками у них только ткани, камень и дерево; едят они по слабости своих желудков большей частью несвежее и вонючее. Переезды их с места на место не спасают их от этого лишения. Они едут в закрытых ящиках. И в деревне и за границей, куда они уезжают, у них те же камни и дерево под ногами, те же гардины, скрывающие от них свет солнца; те же лакеи, кучера, дворники, не допускающие их до общения с землей, растениями и животными. Где бы они ни были, они лишены, как заключенные, этого условия счастия. Как заключенные утешаются травкою, выросшей на тюремном дворе, пауком, мышью, так и эти люди утешаются иногда чахлыми комнатными растениями, попугаем, собачкой, обезьяной, которых все-таки растят и кормят не они сами.

Другое несомненное условие счастья есть труд, во-первых, любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий, успокаивающий сон. Опять, чем большего, по- своему, счастья достигли люди по учению мира, тем больше они лишены и этого другого условия счастья. Все счастливцы мира – сановники и богачи, или, как заключенные, вовсе лишены труда и безуспешно борются с болезнями, происходящими от отсутствия физического труда, и еще более безуспешно со скукой, одолевающей их (я говорю: безуспешно – потому что работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна; а им ничего не нужно), или работают ненавистную им работу, как банкиры, прокуроры, губернаторы, министры и их жены, устраивающие гостиные, посуды, наряды себе и детям. (Я говорю: ненавистную – потому, что никогда еще не встретил из них человека, который хвалил бы свою работу и делал бы ее хоть с таким же удовольствием, с каким дворник очищает снег перед домом.) Все эти счастливцы или лишены работы, или приставлены к нелюбимой работе, т. е. находятся в том положении, в котором находятся каторжные.

Третье несомненное условие счастья – есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. Большинство – прелюбодеи и сознательно отказываются от радостей семьи, подчиняясь только ее неудобствам. Если же они и не прелюбодеи, то дети для них не радость, а обуза, и они сами себя лишают их, стараясь всякими, иногда самыми мучительными средствами сделать совокупление бесплодным. Если же у них есть дети, они лишены радости общения с ними. Они по своим законам должны отдавать их чужим, большей частью совсем чужим, сначала иностранцам, а потом казенным воспитателям, так что от семьи имеют только горе – детей, которые смолоду становятся так же несчастны, как родители, и которые по отношению к родителям имеют, одно чувство – желание их смерти для того, чтобы наследовать им'. Они не заперты в тюрьме, но последствия их жизни по отношению к семье мучительнее того лишения семьи, которому подвергаются заключенные.

' Очень удивительно то оправдание такой жизни, которое часто слышишь от родителей. «Мне ничего не нужно,— говорит родитель,— мне жизнь эта тяжела, но, любя детей, я делаю это для них». То есть я несомненно опытом знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому... я воспитываю детей так, чтобы они были так же несчастливы, как и я. И для этого я по своей любви к ним привожу их в полный физических и нравственных зараз город, отдаю их в руки чужих людей, имеющих в воспитании одну корыстную цель, и физически, и нравственно, и умственно старательно порчу своих детей. И это-то рассуждение должно служить оправданием неразумной жизни самих родителей! — *Примеч. Л. Н. Толстого.*

Четвертое условие счастья – есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого главного условия счастья. Чем выше, тем уже, теснее тот кружок людей, с которыми возможно общение, и тем ниже по своему умственному и нравственному развитию те несколько людей, составляющих этот заколдованный круг, из которого нет выхода. Для мужика и его жены открыто общение со всем миром людей, и если один миллион людей не хочет общаться с ним, у него остается 80 миллионов таких же, как он, рабочих людей, с которыми он от Архангельска до Астрахани, не дожидаясь визита и представления, тотчас же входит в самое близкое братское общение. Для чиновника с его женой есть сотни людей равных ему, но высшие не допускают его до себя, а низшие все отрезаны от него. Для светского богатого человека и его жены есть десятки светских семей. Остальное всё отрезано от них. Для министра и богача и их семей – есть один десяток таких же важных или богатых людей, как и они. Для императоров и королей кружок делается еще менее.– Разве это не тюремное заключение, при котором для заключенного возможно общение только с двумя-тремя тюремщиками?

Наконец пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья. Возьмите среднего богача и его жену и среднего крестьянина и его жену, несмотря на весь голод и непомерный труд, который, не по своей вине, но по жестокости людей, несет крестьянство, и сравните их. И вы увидите, что чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины.

Переберите в своей памяти тех богачей и их жен, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек, не лечашийся постоянно или периодически летом,– такое же исключение, как больной в рабочем сословии. Все эти счастливцы без исключения начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития; все беззубые, все седые или плешивые бывают в те года, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объядения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину жизни своей проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрюзгшими калеками, неспособными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы. Переберите их смерти: кто застрелился, кто сгнил от сифилиса, кто стариком умер от конфортати- ва, кто молодым умер от сечения, которому он сам подверг себя для

возбуждения, кого живого съели вши, кого – черви, кто спился, кто объелся, кто от морфина, кто от искусственного выкидыша. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними и, как мученики, ищут страданий и гибели.

Одна жизнь за другою бросается под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирает их жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под нее!

Исполнение учения Христа трудно. Христос говорит: кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной – Богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и, сверх того, жизнь вечную. И никто не идет. А учение мира сказало: брось дом, поля, братьев, уйди из деревни в гнилой город, живи всю свою жизнь банщиком голым, в пару намыливая чужие спины, или гостинодворцем, всю жизнь считая чужие копейки в подвале, или прокурором, всю жизнь свою проводя в суде и над бумагами, занимаясь тем, чтобы ухудшить участь несчастных, или министром, всю жизнь впопыхах подписывая ненужные бумаги, или полководцем, всю жизнь убивая людей,– живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь в мире этом и не получишь никакой вечной жизни. И все пошли. Христос сказал: возьми крест и иди за мной, т. е. неси покорно ту судьбу, которая выпала тебе, и повинуйся мне. Богу, и никто не идет. Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эполетах, которому это взбредет в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружье и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть,– и все идут.

Побросав семьи, родителей, жен, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешимым вопросом – зачем? и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразительных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют, и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые страдают, но и отцы и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно.

Можно бы поверить, что исполнение учения Христа трудно и страшно и мучительно, если бы исполнение учения мира было очень легко и безопасно и приятно. Но ведь учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа.

Были когда-то, говорят, мученики Христа, но это было исключение; их насчитывают у нас 380 тысяч – вольных и невольных за 1800 лет; но сочтите мучеников мира,– и на одного мученика Христа придется тысяча мучеников учения мира, которых страдания в сто раз ужаснее. Одних убитых на войнах нынешнего столетия насчитывают тридцать миллионов человек.

Ведь это всё мученики учения мира, которым стоило бы не то что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти.

Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется,– отказаться от того, чтобы идти на войну,– и его послали бы копать канавы и не замучили бы в Севастополе и Плевне. Стоит человеку только не верить учению мира, что нужно надеть калоши и цепочку и иметь ненужную ему гостиную, и что не нужно делать все те глупости, которых требует от него учение мира, и он не будет знать непосильной работы и страданий и вечной заботы и труда без отдыха и цели; не будет лишен общения с природой, не будет лишен любимого труда, семьи, здоровья и не погибнет бессмысленно мучительной смертью.

Не мучеником надо быть во имя Христа, не этому учит Христос. Он учит тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира.

Учение Христа имеет глубокий метафизический смысл; учение Христа имеет общечеловеческий смысл; учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учит людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа.

Христос говорит: не сердись, не считай никого ниже себя,– это глупо. Будещь сердиться, обижать людей,– тебе же будет хуже. Христос говорит еще; не бегай за всеми женщинами, а сойдись с одной и живи,– тебе будет лучше. Еще он говорит: не обещайся никому ни в чем, а то тебя заставят делать глупости и злодейства. Еще говорит: за зло не плати злом, а то зло вернется на тебя еще злее, чем прежде, как подвещенная колода над медом, которая убивает медведя. И еще говорит; не считай людей чужими только потому, что они живут в другой земле, чем ты, и говорят другим языком. Если будещь считать их врагами и они будут считать тебя вра

гом,– тебе же будет хуже. Итак, не делай всех этих глупостей, и тебе будет лучше.

«Да,– говорят на это,– но мир так устроен, что противиться его устройству еще мучительнее, чем жить согласно с ним. Откажись человек от военной службы, и его посадят в крепость, расстреляют, может быть. Не обеспечивай человек свою жизнь приобретением того, что нужно ему и семье, он и семья его умрут с голоду».– Так говорят люди, стараясь защитить устройство мира, но сами они не думают так. Они говорят так только потому, что им нельзя отрицать справедливости учения Христа, которому они будто бы верят, и им надо оправдаться как-нибудь в том, что они не исполняют этого учения. Но они не только не думают этого, но никогда даже вовсе не думали об этом. Они верят учению мира и только пользуются отговоркой, которой их научила церковь,– что, исполняя учение Христа, надо много страдать, и потому никогда даже и не пробовали исполнять учение Христа. Мы видим бесчисленные страдания, которые несут люди во имя учения мира, но страданий из-за учения Христа мы в наше время никогда уже не видим. Тридцать миллионов погибло за учение мира на войнах; тысячи миллионов погибло в мучительной жизни из-за учения мира, но не только миллионов, даже тысяч, даже десятков, даже ни одного человека я не знаю, который бы погиб смертью или мучительной жизнью с голода или холода из-за учения Христа. Это только смешная отговорка, доказывающая, до какой степени неизвестно нам учение Христа. Мало того, что мы не разделяем его, но мы никогда даже серьезно не принимали его. Церковь потрудилась растолковать нам учение Христа так, что оно представляется не учением о жизни, а пугалом.

Христос призывает людей к ключу воды, которая тут, подле них. Люди томятся жаждой, едят грязь, пьют кровь друг друга, но учители их сказали им, что они погибнут, если пойдут к тому ключу, к которому призывает Христос. И люди верят им, мучаются и мрут от жажды в двух шагах от воды, не смея подойти к ней. Но стоит только поверить Христу, что он принес благо на землю, поверить, что он дает нам, жаждущим, ключ воды живой, и прийти к нему, чтобы увидать, как коварен обман церкви и как безумны наши страдания тогда, когда спасение наше так близко. Стоит прямо и просто принять учение Христа, чтобы ясен был тот ужасный обман, в котором живем все мы и живет каждый из нас.

Поколения за поколениями мы трудимся над обеспечением своей жизни посредством насилия и упрочения своей собственности. Счастье нашей жизни представляется нам в наибольшей власти и наибольшей собственности. Мы так привыкли к этому, что

учение Христа о том, что счастье человека не может зависеть от власти и именья, что богатый не может быть счастлив, представляется нам требованием жертвы во имя будущих благ. Христос же и не думает призывать нас к жертве, он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь, в этой жизни. Христос, любя людей, учит их воздержанию от обеспечения себя насилием и от собственности так же, как, любя людей, учат их воздержанию от драки и пьянства. Он говорит, что, живя без отпора другим и без собственности, люди будут счастливее, и своим примером жизни подтверждает это. Он говорит, что человек, живущий по его учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живет всякий человек. Ученик Христа должен был готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но ученик мира разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни; наши войска, крепости, наши запасы, наши одежды, наши лечения, всё наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьезно обеспечивающим нашу жизнь. Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь. Ведь всё, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову, чтобы не видать, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы наверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.

Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем мы всё – всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остается.

Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена. Но мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом

стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы. Богач обеспечивает свою жизнь тем, что у него есть деньги. И самые деньги привлекают разбойника, который убивает его. Мнительный человек обеспечивает свою жизнь лечением, и самое лечение медленно убивает его, а если и не убивает его, то наверно лишает его жизни, как того расслабленного, который не жил 38 лет, а дожидался ангела у купели.

Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь; лучше тем, что неизбежность смерти и необеспеченность жизни остается та же при учении мира и при учении Христа, но сама жизнь, по учению Христа, не поглощается уже вся без остатка праздным занятием мнимого обеспечения своей жизни, а становится свободной и может быть отдана единой свойственной ей цели – благу себя и людей. Ученик Христа будет беден. Да, т. е. он будет пользоваться всегда всеми теми благами, которые ему дал Бог. Он не будет губить свою жизнь. Мы назвали словом, выражающим беду – бедностью, то, что есть счастье; но само дело не изменилось от этого. Беден – это значит: он будет не в городе, а в деревне, не будет сидеть дома, а будет работать в лесу, в поле, будет видеть свет солнца, землю, небо, животных; не будет придумывать, что ему съесть, чтобы возбудить аппетит, и что сделать, чтоб сходить на час, а будет три раза в день голоден; не будет ворочаться на мягких подушках и придумывать, чем спастись от бессонницы, а будет спать; будет иметь детей, будет жить с ними, будет в свободном общении со всеми людьми, а главное, не будет делать ничего такого, чего ему не хочется делать; не будет бояться того, что с ним будет. Болеть, страдать, умирать он будет так же, как и все (судя по тому, как болеют и умирают бедные,– легче, чем богатые), но жить он будет несомненно счастливее. Быть бедным, быть нищим, быть бродягой (лтсохоС значит бродяга), это то самое, чему учил Христос; то самое, без чего нельзя войти в царство Бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле.

«Но никто не будет кормить тебя, и ты умрешь с голоду»,– говорят на это. На возражение о том, что человек, живя по учению Христа, умрет с голоду, Христос ответил одним коротким изречением (тем самым, которое толкуется так, что оно оправдывает праздность духовенства) (Матф. X, 10; Лук. X, 7).

Он сказал; «Не берите: ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха; ибо ***трудящийся достоин*** пропитания». «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть; ибо ***трудящийся достоин*** награды за труды свои».

Трудящийся достоин (ei^sdn) – слово в слово значит: может и должен иметь пропитание. Это очень короткое изречение; но для того, кто поймет его так, как понимал его Христос, уже не может быть рассуждения о том, что человек, не имеюгций собственности, умрет с голоду. Для того, чтобы понять это слово в его настоящем значении, надо прежде всего отрешиться совершенно от сделавшегося, вследствие догмата искупления, столь привычным нам представления о том, что блаженство человека есть праздность. Надо восстановить то свойственное всем неиспорченным людям представление о том, что необходимое условие счастья человека есть не праздность, а труд; что человек не может не работать, что ему скучно, тяжело, трудно не работать, как скучно, трудно не работать муравью, лошади и всякому животному. Надо забыть наше дикое суеверие о том, что положение человека, имеющего неразменный рубль, т. е. казенное место, или право на землю, или билеты с купонами, которые дают ему возможность ничего не делать, есть естественное счастливое состояние. Надо восстановить в своем представлении тот взгляд на труд, который имеют на него все неиспорченные люди и который имел Христос, говоря, что трудящийся достоин пропитания. Христос не мог представить себе людей, которые бы смотрели на работу как на проклятие, и потому не мог и представить себе человека, неработающего или желающего не работать. Он всегда подразумевает, что ученик его работает. И потому говорит: если человек работает, то работа кормит его. И если работу этого человека берет себе другой человек, то другой человек и будет кормить того, кто работает, именно потому, что пользуется его работой. И потому трудящийся всегда будет иметь пропитание. Собственности он не будет иметь; о пропитании же не может быть речи.

Разница между учением Христа и учением нашего мира о труде – в том, что по учению мира работа есть особенная заслуга человека, в которой он считается с другими и предполагает, что имеет право на большее пропитание, чем больше его работа; по учению же Христа: работа – труд есть необходимое условие жизни человека, а пропитание есть неизбежное последствие его. Работа производит пищу, пища производит работу – это вечный круг; одно – следствие и причина другого. Как бы зол ни был хозяин, он будет кормить работника так же, как будет кормить ту лошадь, которая работает на него, будет

кормить так, чтобы работник мог сработать как можно больше, т. е. будет содействовать тому самому, что составляет благо человека.

«Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою в выкуп за многих». По учению Христа каждый отдельный человек независимо от того, каков мир, будет иметь наилучшую жизнь, если он поймет свое призвание – не требовать труда от других, а самому всю жизнь свою полагать на труд для других, жизнь свою отдавать, как выкуп за многих. Человек, поступающий так, говорит Христос, достоин пропитания, т. е. не может не получить его. Словами; человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других, Христос устанавливает ту основу, которая, несомненно, обеспечивает материальное существование человека, а словами: трудящийся достоин пропитания, Христос устраняет то столь обыкновенное возражение против возможности исполнения учения, которое состоит в том, что человек, исполняющий учение Христа среди не исполняющих, погибнет от голода и холода. Христос показывает, что человек обеспечивает свое пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделается полезен, нужен для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование.

При теперешнем устройстве мира люди, не исполняющие законов Христа, но трудящиеся для ближнего, не имея собственности, не умирают от голода. Как же возражать против учения Христа, что исполняющие его учение, т. е. трудящиеся для ближнего, умрут от голода? Человек не может умереть от голода, когда есть хлеб у богатого. В России в каждую данную минуту есть всегда миллион людей, живущих без всякой собственности, только трудом своим.

Среди язычников христианин будет точно так же обеспечен, как и среди христиан. Он работает на других, следовательно он нужен им, и потому его будут кормить. Собаку, которая нужна, и ту кормят и берегут; как же не кормить и не беречь человека, который всем нужен?

Но больной человек, человек с семейством, с детьми не нужен, не может работать,– и его перестают кормить, скажут те, которым непременно хочется доказать справедливость зверской жизни. Они скажут это, они и говорят это, и сами не видят того, что они сами, говорящие это, и желали бы поступить так, да не могут и поступают совсем иначе. Эти самые люди, те, которые не признают приложимости учения Христа,– исполняют его. Они не перестают кормить овцу, быка, собаку, которая заболеет. Они даже старую лошадь не убивают, а дают ей по силам работу; они кормят семейство, ягнят, поросят, щенят, ожидая от них пользы; так как же они не будут кормить нужного человека, когда он заболеет, и как же не

найдут посильной работы старому и малому, и как же не станут выращивать людей, которые будут на них же работать?

Они не только будут делать это, но они это самое и делают. Девять десятых людей – черный народ – выкармливается одной десятой не черных, а богатых и сильных людей, как рабочий скот. И как ни темно то заблуждение, в котором живет эта одна десятая, как ни презирает она остальных ®/ю людей, эта одна десятая сильных никогда не отнимает у ®/ю нужного пропитания, хотя и может это сделать. Она не отнимает у черного народа нужного для того, чтобы он плодился и работал на них. В последнее время эта */ ю сознательно работает на то, чтобы ^/ю кормились правильно, т. е. могли бы выставлять как можно больше работы, и на то, чтобы плодились и выкармливались новые рабочие. Муравьи – и те плодят и воспитывают своих дойных коровок; так как же людям не делать того же: плодить тех, которые на них работают? Рабочие нужны. И те, которые пользуются работой, всегда будут очень озабочены тем, чтобы эти рабочие не переводились.

Возражение против исполнимости учения Христа, состоящее в том, что если я не буду приобретать для себя и удерживать приобретенное, то никто не станет кормить мою семью, справедливо, но только по отношению к праздным, бесполезным и потому вредным людям, каково большинство нашего богатого сословия. Праздных людей никто воспитывать не станет, кроме безумных родителей, потому что праздные люди никому, даже самим себе, не нужны; но людей-работников даже самые злые люди будут кормить и воспитывать. Телят воспитывают, а человек есть рабочее животное, более полезное, чем бык, как оно и ценилось всегда на базаре рабов. Вот почему дети никогда не могут остаться без призрения.

Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить.

Это – истины, подтверждаемые жизнью всего мира.

До сих пор, всегда и везде, где человек трудился, он получал пропитание, как всякая лошадь получала корм. И такое пропитание получал трудящийся невольно, неохотно, ибо трудящийся желал одного – избавиться от труда, приобрести как можно больше и сесть на шею того, кто у него сидит на шее. Такой невольно, неохотно трудящийся, завистник и злой работник не оставался без пропитания и оказывался счастливее даже того, который не трудился и жил чужими трудами. Насколько же счастливее будет тот трудящийся по учению Христа, которого цель будет состоять в том, чтобы сработать как можно больше и получить как можно меньше? И насколько еще будет счастливее его положение, когда вокруг не

го еще будет хоть несколько, а может быть и много таких же, как он, людей, которые будут служить и ему.

Учение Христа о труде и плодах его выражено в рассказе о насыщении 5 и 7 тысяч двумя рыбами и пятью хлебами. Человечество будет иметь высщее доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потребить всё каждый для себя, но когда они будут делать, как научил их Христос на берегу моря.

Надо было накормить тысячи людей. Ученик Христа сказал ему, что видел у одного человека несколько рыб; у учеников тоже было несколько хлебов. Иисус понял, что у людей, прищедших издалека, у некоторых есть с собой пища, а у некоторых нет. (То, что у многих были с собой запасы, доказывает уже то, что во всех четырех Евангелиях сказано, что по окончании еды остатки собраны были в 12 корзин. Если бы ни у кого, кроме как у мальчика, ничего не было, то и не могло бы быть 12 корзин в поле.) Если бы Христос не сделал того, что он сделал, т. е. чудо насыщения тысячи народа пятью хлебами, то было бы то, что происходит теперь в мире. Те, у которых были запасы, съели бы то, что у них было, съели бы всё через силу даже, чтобы ничего не оставалось. Скупые, может быть, унесли бы домой свои остатки. Те, у которых ничего не было, остались бы голодными, с злобной завистью смотрели бы на идущих, а может быть, некоторые из них утащили бы у запасливых, и про- изощли бы ссоры и драки, и одни пощли бы домой пресыщенные, другие – голодные и сердитые; было бы то же самое, что происходит в нащей жизни.

Но Христос знал, что он хотел сделать (как и сказано в Евангелии), он велел всем сесть кругом и научил учеников предлагать другим то, что у них было, и говорить другим, чтобы они делали то же. И тогда выщло то, что когда все те, у которых были запасы, сделали то же, что ученики Христа, т. е. свое предлагали другим, то все ели в меру, и когда обощли круг, то досталось и тем, которые не ели сначала. И все насытились, и осталось еще много хлеба, так много, что собрали 12 корзин.

Христос учит людей, что так сознательно они должны поступать в жизни потому, что таков закон человека и всего человечества. Труд есть необходимое условие жизни человека. И труд же дает благо человеку. И потому удержание от других людей плодов своего или чужого труда препятствует благу человека. Отдавание своего труда другим содействует благу человека.

«Если люди не будут отнимать один у другого, то они будут умирать с голоду»,– говорим мы. Казалось бы, надо сказать обратное: если люди будут силой отнимать один у другого, то будут люди, которые умрут с голоду, как оно и есть.

Ведь всякий человек, как бы он ни жил,– по учению ли Христа, или по учению мира,– он жив только трудом других людей. Другие люди и уберегли его, и вспоили, и вскормили его, и берегут, и поят, и кормят. Но по учению мира человек насилием и угрозой заставляет других людей продолжать кормить себя и свою семью. По учению Христа человек точно так же убежден, вскормлен и вспоен другими людьми; но для того, чтобы другие люди продолжали беречь, поить и кормить его, он никого к этому не принуждает, а сам старается служить другим, быть как можно полезнее всем, и тем становится нужным для всех. Люди мира всегда будут желать перестать кормить ненужного им человека, насилием заставляющего их кормить себя, и при первой возможности не только перестают кормить, но и убивают его, как ненужного. Но всегда все люди как бы злы они ни были, будут старательно кормить и беречь работающего на них.

Как же вернее, разумнее и радостнее жить: по учению мира или по учению Христа?

XI

Учение Христа устанавливает царство Бога на земле. Несправедливо то, чтобы исполнение этого учения было трудно: оно не только не трудно, но неизбежно для человека, узнавшего его. Учение это дает единственно возможное спасение от неизбежно предстоящей погибели личной жизни. Наконец, исполнение этого учения не только не призывает к страданиям и лишениям в этой жизни, но избавляет от девяти десятых страданий, которые мы несем во имя учения мира.

И, поняв это, я спросил себя: отчего же я до сих пор не исполнял этого учения, дающего мне благо, спасение и радость, а исполнял совсем другое – то, что делало меня несчастным? И ответ мог быть и был только один: я не знал истины, она была скрыта от меня.

Когда мне открылся в первый раз смысл Христова учения, я никак не думал, что разъяснение этого смысла приведет меня к отрицанию учения церкви. Мне казалось только, что церковь не дошла до тех выводов, которые вытекают из учения Христа, но я никак не думал, что новый открывшийся мне смысл учения Христа и выводы из него разъединят меня с учением церкви. Я боялся этого. И потому во время своих исследований я не только не отыскивал ошибки церковного учения, напротив, умышленно закрывал глаза на те положения, которые мне казались неясными и странными, но не противоречили тому, что я считал сущностью христианского учения.

Но чем дальше я шел в изучении Евангелий, чем яснее открывался мне смысл учения Христа, тем неизбежнее становился для меня выбор: учение Христа разумное, ясное, согласное с моею совестью и дающее мне спасение, или учение прямо противоположное, не согласное с моим разумом и совестью и не дающее мне ничего, кроме сознания погибели вместе с другими. И я не мог не откидывать одно за другим положения церкви. Я делал это нехотя, с борьбой, с желанием смягчить сколько возможно мое разногласие с церковью, не отделяться от нее, не лишиться самой радостной поддержки в вере – общения со многими. Но когда я кончил свою работу, я увидел, что, как я ни старался удержать хоть что-нибудь от учения церкви, от него ничего не осталось. Мало того, что ничего не осталось, я убедился в том, что и не могло ничего остаться.

Уже при окончании моей работы случилось следующее; мальчик, сын мой, рассказал мне, что между двумя совсем необразованными, еле грамотными людьми, служащими у нас, шел спор по случаю статьи какой-то духовной книжки, в которой сказано, что не грех убивать людей преступников и убивать на войне. Я не поверил тому, чтобы это могло быть напечатано, и попросил показать книжку. Книжечка, вызывавщая спор, называется: «Толковый молитвенник». Издание третье (восьмой десяток тысяч). Москва, 1879 г. На странице 163-й этой книжки сказано:

«Какая шестая заповедь Божия? – Не убий. Не убий – не убивай.– Что Бог запрещает этой заповедью? – Запрещает убивать, т. е. лишать жизни человека.– Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? «Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает; неприятеля убивают на войне потому, что на войне сражаются за государя и отечество». И этими словами ограничивается объяснение того, почему отменяется заповедь Бога. Я не поверил своим глазам.

Спорящие спросили моего мнения о своем споре. Я сказал тому, который признавал справедливость напечатанного, что это объяснение неправильно.

«Как же так печатают неправильно против закона?» – спросил он. Я ничего не мог ему ответить. Я оставил книгу и просмотрел ее всю. Книга содержит: 1) 31 молитву с поучениями о коленопреклонениях и сложении перстов; 2) объяснение символа веры; 3) ничем не объясненные выписки из 5-й главы Матфея, почему-то названные заповедями для получения блаженства; 4) десять заповедей с объяснениями, большей частью упраздняющими их, и 5) тропари на праздники.

Как я говорил, я не только старался избегать осуждения церковной веры, я старался видеть ее с самой хорошей стороны и потому не отыскивал ее слабостей и, хорошо зная ее академическую литературу, я был совершенно незнаком с ее учительной литературой. Распространенный в таком огромном количестве экземпляров еще в 1879 г. молитвенник, вызывающий сомнения самых простых людей, поразил меня.

Я не мог верить, чтобы чисто языческое, не имеющее ничего христианского, содержание молитвенника было сознательно распространяемое в народе церковью учение. Чтобы проверить это, я купил все изданные синодом или «с благословения» его книги, содержащие краткие изложения церковной веры для детей и народа, и перечитал их.

Содержание их было для меня почти новое. В то время как я учился закону божию, этого еще не было. Не было, сколько мне помнится, заповедей блаженств, не было и учения о том, что убивать ***не грех.*** Во всех старых русских катехизисах этого нет. Нет ни в катехизисе Петра Могилы, ни в катехизисах Платона, ни в катехизисе Белякова, нет и в кратких католических катехизисах. Нововведение это сделано Филаретом, составившим также катехизис для военного сословия. Толковый молитвенник составлен по этому катехизису. Основная книга есть «Пространный ***христианский*** катехизис православной церкви» для употребления ***всех*** православных ***христиан,*** изданный по высочайшему его императорского величества повелению.

Книга разделена на три части; о вере, надежде и любви. В первой разбор Никейского символа веры. Во второй разбор молитвы господней и восьми стихов пятой главы Матфея, составляющих вступление к нагорной проповеди и почему-то названных заповедями для получения блаженства. (В обеих частях этих трактуется о догматах церкви, молитвах и таинствах, но нет никакого учения о жизни.) В 3-й части излагаются обязанности христианина. В этой части, названной: «о любви», излагаются не заповеди Христа, а 10 заповедей Моисея. И заповеди Моисея излагаются как будто только для того, чтобы научить людей не исполнять их и поступать противно им. После каждой заповеди оговорка, уничтожающая заповедь. По случаю первой заповеди, повелевающей почитать одного Бога, катехизис научает почитать ангелов и святых, не говоря уже о матери Бога и трех лицах Бога («Прост, катех.», стр. 107–108). По случаю второй заповеди не сотворять кумира – катехизис научает поклонению иконам (стр. 108). По случаю третьей заповеди – не клясться напрасно – катехизис научает людей клясться по всякому требованию ***законной*** власти (стр. 111). По случаю

четвертой заповеди – о праздновании субботы – катехизис научает праздновать не субботу, а воскресенье и 13 праздников больших и множество малых и поститься все посты, среды и пятницы (стр. 112–115). По случаю пятой заповеди – почитать отца и мать – катехизис научает «почитать государя, отечество, пастырей духовных, ***начальствующих в разных отношениях»*** (sic); и о почитании начальствующих – три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. «Начальствующие в училищах, ***начальники гражданские, судьи, начальники военные, господа*** (sic) ***в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют»*** (sic) (стр. 116–119). (Я цитирую из катехизиса издания 64-го 1880 года. Двадцать лет прошло с уничтожения рабства, и никто не позаботился даже выкинуть ту фразу, которая по случаю повеления Бога почитать родителей была вписана в катехизис для поддержания и оправдания рабства.)

По случаю 6-й заповеди – не убий – люди с первых же строк научаются убивать.

В.– Что запрещается 6-й заповедью?

О.– Убийство или отнятие жизни у ближнего каким бы то ни было образом.

В.– Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?

О.– Не есть беззаконное убийство, когда отнимают жизнь по должности, как-то:

1) когда преступника ***наказывают*** смертью по правосудию;

2) когда убивают неприятеля ***на войне*** за государя и отечество» (курсивы в подлиннике). И дальше:

В.– Какие случаи относиться могут к законопреступному убийству?

О.– .... 2) когда кто ***укрывает или освобождает*** убийцу».

И это печатается и насильно в сотнях тысяч экземпляров и под страхом угроз и наказаний внушается всем русским людям под видом христианского учения. Этому учат весь русский народ. Этому учат ***всех*** невинных ангелов-детей,– тех детей, которых Христос просит не отгонять от себя, потому что их есть Царствие Божие,– тех детей, на которых нам надо быть похожими, чтобы войти в Царство Бога, похожими тем, чтобы не знать этого,– тех детей, ограждая которых Христос сказал: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. И этих-то детей насильно учат этому, говоря им, что это единственный священный закон Бога.

Это не прокламации, которые распространяются тайно, под страхом каторги, а это прокламации, несогласие с которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и мне жутко только за то, что я позволяю себе сказать, что нельзя отменять главную заповедь

Бога, написанную во всех законах и во всех сердцах, ничего не объясняющими словами: ***по должности, за государя и отечество,*** и что не должно учить этому людей.

Да, сделалось то, о чем Христос предупреждал людей (Лук. XI, 33–36, и Матф. VI, 23), говоря: смотрите, не сделался бы свет, находящийся в вас, тьмою. Если свет, который есть в тебе, стал тьмою, то какова же тьма?

Свет, находящийся в нас, стал тьмою. И тьма, в которой мы живем, стала ужасна.

«Горе вам,– сказал Христос,– горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что заперли вы от людей Царство Небесное. Сами не взощли и не даете другим войти в него. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что поедаете домы вдов и на виду молитесь подолгу. За это вы еще больще виноваты. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, за то, что обходите моря и земли, чтобы обращать в свою веру, а когда обратите, то сделаете обращенного хуже, чем он был. Горе вам, вожаки слепые!..

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков, украшаете памятники праведников. И вы полагаете, что если бы вы жили в те дни, когда замучены были пророки, то вы бы не были участниками в их крови. Так вы сами свидетельствуете против себя о том, что вы такие же, как те, которые били пророков. Дополняйте же меру, начатую подобными вам. И вот пощлю вам пророков мудрых и книжников; и иных вы убьете и распнете, а иных будете бить в ваших собраниях и будете высылать из города в город. И да падет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от Авеля».

«Всякая хула (клевета) прощается людям, но не может быть прощена клевета на Святой Дух».

Ведь всё это точно вчера написано против тех людей, которые теперь уже не обходят моря и земли, клевеща на святой дух и приводя людей к вере, делающей этих людей худшими, но прямо насилием заставляют их принимать эту веру и преследуют и губят всех тех пророков и праведников, которые пытаются разрушить их обман.

И я убедился, что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам.

Учение Христа, как и всякое религиозное учение, заключает в себе две стороны: 1) учение о жизни людей – о том, как надо жить каждому отдельно и всем вместе – этическое, и 2) объяснение, почему людям надо жить именно так, а не иначе – метафизическое

учение. Одно есть следствие и вместе причина другого. Человек должен жить так потому, что таково его назначение, или назначение человека таково, и потому он должен жить так. Эти две стороны всякого учения находятся во всех религиях мира. Такова религия браминов, Конфуция, Будды, Моисея, такова же и религия Христа. Она учит жизни, как жить, и дает объяснение, почему именно надо так жить. Но как было со всеми учениями; браминизмом, иудаизмом, буддизмом, так было и с учением Христа. Люди отступают от учения о жизни, и из числа людей являются такие, которые берутся оправдать это отступление. Люди эти, садящиеся, по выражению Христа, на седалище Моисея, разъясняют метафизическую сторону учения так, что этические требования учения становятся необязательными и заменяются внещним богопочитанием – обрядами. Это явление обще всем религиям, но ***никогда,*** мне кажется, это явление не выразилось с такою резкостью, как в христианстве. Оно выразилось особенно резко потому, что учение Христа есть самое высщее учение; а самое высщее оно потому, что метафизика и этика учения Христа до такой степени неразрывно связаны и определяются одна другою, что отделить одну от другой нельзя, не ли- щив всё учение его смысла, и еще потому, что Христово учение есть уже само по себе протестантизм, т. е. отрицание не только обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внещнего богопочи- тания. И потому в христианстве разрыв этот должен был уже со- верщенно извратить учение и лишить его всякого смысла. Так оно и было. Разрыв между учением о жизни и объяснением жизни начался с проповеди Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизическо-кабалистическую теорию, и совершился этот разрыв окончательно во время Константина, когда найдено было возможным весь языческий строй жизни, не изменяя его, облечь в христианские одежды и потому признать христианским.

Со времени Константина, язычника из язычников, которого церковь за все его преступления и пороки причисляет к лику христианских святых, начинаются соборы, и центр тяжести христианства переносится на одну метафизическую сторону учения. И это метафизическое учение с сопутствующими ему обрядами, всё более и более отклоняясь от основного смысла своего, доходит до того, до чего оно дошло теперь: до учения, которое объясняет самые недоступные разуму человеческому тайны жизни небесной, дает сложнейшие обряды богослужебные, но не дает ***никакого*** религиозного учения о жизни земной.

Все религии, кроме церковнохристианской, требуют от исповедующих их, кроме обрядов, исполнения еще известных хороших по

ступков и воздержания от дурных. Иудаизм требует обрезания, соблюдения субботы, милостыни, юбилейного года и еще многого другого. Магометанство требует обрезания, ежедневной пятикратной молитвы, десятины бедным, поклонения гробу пророка и многого другого. То же и все другие религии. Хороши ли, дурны ли эти требования, но это требования поступков. Только псевдохристианство не требует ничего. Нет ничего, что бы обязательно должен был делать христианин и от чего он должен бы был обязательно воздерживаться, если не считать постов и молитв, самой церковью признаваемых необязательными. Всё, что нужно для псевдохристианина,– это таинства. Но таинство не делает сам верующий, а над ним его производят другие. Псевдохристианин ничего не обязан делать и ни от чего не обязан воздерживаться для того, чтобы спастись, но над ним церковью совершается всё, что для него нужно; его и окрестят, и помажут, и причастят, и особоруют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолятся за него – и он спасен. Христианская церковь со времен Константина не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было. Христианская церковь признала и освятила всё то, что было в языческом мире. Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; но потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого.

Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала его.

Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал всё, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всем противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то и состоит учение Христа.

Но пришло время и свет истинного учения Христа, которое было в Евангелиях, несмотря на то, что церковь, чувствуя свою неправду, старалась скрыть его (запрещая переводы Библии),– пришло время, и свет этот через так называемых сектантов, даже через

вольнодумцев мира проник в народ, и неверность учения церкви стала очевидна людям, и они стали изменять свою прежнюю, оправданную церковью жизнь на основании этого помимо церкви дошедшего до них учения Христа.

Так, сами люди помимо церкви уничтожили рабство, оправдываемое церковью, уничтожили сословия, уничтожили оправдываемые церковью религиозные казни, уничтожили освященную церковью власть императоров, пап и теперь начали стоящее на очереди уничтожение собственности и государств. И церковь ничего не отстаивала и теперь не может отстаивать, потому что уничтожение этих неправд жизни происходило и происходит на основании того самого христианского учения, которое проповедовала и проповедует церковь, хотя и стараясь извратить его.

Учение о жизни людей эмансипировалось от церкви и установилось независимо от нее.

У церкви остались объяснения, но объяснения чего? Метафизическое объяснение учения имеет значение, когда есть то учение жизни, которое оно объясняет. Но у церкви не осталось никакого учения о жизни. У ней было только объяснение той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нет. Если остались еще у церкви объяснения той жизни, которая была когда-то прежде, как объяснения катехизиса о том, что ***по должности*** должно убивать, то никто уже не верит в это. И у церкви ничего не осталось, кроме храмов, икон, парчи и слов.

Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир с своим устройством, освященным церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живет без нее. Факт этот совершился,– и скрывать его уже невозможно. Всё, что точно живет, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живет своей жизнью независимо от церкви. И пусть не говорят, что это – так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава богу, гораздо гнилее Европы.

Всё живое независимо от церкви.

Государственная власть зиждется на предании, на науке, на народном избрании, на грубой силе, на чем хотите, но только не на церкви.

Войны, отношения государств устанавливаются на принципе народности, равновесии, на чем хотите, только не на церковных началах. Государственные учреждения прямо игнорируют церковь. Мысль о том, чтобы церковь могла быть основой суда, собственности, в наше время только смешна. Наука не только не содействует учению церкви, но нечаянно, невольно в своем развитии всегда враждебна церкви. Искусство, прежде служившее одной церкви, теперь всё ушло от нее. Мало того, что жизнь вся эманципировалась от церкви, жизнь эта не имеет другого отношения к церкви, кроме презрения, пока церковь не вмешивается в дела жизни, и ничего, кроме ненависти, как только церковь пытается напомнить ей свои прежние права. Если еще сушествует та форма, которую мы называем церковью, то только потому, что люди боятся разбить сосуд, в котором было когда-то драгоценное содержимое; только этим можно объяснить существование в наш век католичества, православия и разных протестантских церквей.

Все церкви – католическая, православная и протестантская – похожи на караульщиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульщиков и даже воюет с ними. Всё то, чем именно живет теперь мир; социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей и сословий и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, всё, что ворочает миром и представляется церкви враждебным, всё это – части того же учения, которое, сама того не зная, пронесла с скрываемым ею учением Христа та же церковь.

В наше время жизнь мира идет своим ходом, совершенно независимо от учения церкви. Учение это осталось так далеко назади, что люди мира не слышат уже голосов учителей церкви. Да и слушать нечего, потому что церковь только дает объяснения того устройства жизни, из которого уже вырос мир и которого или уже вовсе нет, или которое неудержимо разрушается.

Люди плыли в лодке и гребли, а кормщик правил. Люди вверились кормщику, и кормщик правил хорощо; но пришло время, что хорошего кормщика заменил другой, который не правил. Лодка пошла скоро и легко. Сначала люди не замечали того, что новый кормщик не правит, и только радовались тому, что лодка шла легко. Но потом, убедившись, что новый кормщик не нужен, они стали смеяться над ним – и прогнали его.

Всё бы это ничего, но горе в том, что люди под влиянием досады на бесполезного кормщика забыли, что без кормщика не знаешь, куда плывешь. Это самое случилось с нашим христианским обществом. Церковь не правит, и легко плыть, и мы далеко уплыли,

и все успехи знаний, которыми так гордится наш XIX век, это – только то, что мы плывем без руля. Мы плывем, не зная куда. Мы живем и делаем эту свою жизнь и решительно не знаем, зачем. А нельзя плыть и грести, не зная, куда плывешь, и нельзя жить и делать свою жизнь, не зная, зачем?

Ведь если бы люди ничего сами не делали, а были поставлены внешней силой в то положение, в котором они находятся, они бы могли на вопрос: зачем вы в таком положении? совершенно разумно ответить: мы не знаем, но мы очутились в таком положении и находимся в нем. Но люди делают свое положение сами для себя, для других и в особенности для своих детей, и потому на вопросы: зачем вы собираете и сами собирались в миллионы войск, которыми вы убиваете и увечите друг друга? зачем вы тратили и тратите страшные силы людские, выражающиеся миллиардами, на постройку ненужных и вредных вам городов, зачем вы устраиваете свои игрушечные суды и посылаете людей, которых считаете преступными, из Франции в Каэну, из России в Сибирь, из Англии в Австралию, когда вы сами знаете, что это бессмысленно? зачем вы оставляете любимое вами земледелие и трудитесь на фабриках и заводах, которые вы сами не любите? зачем воспитываете детей так, чтобы они продолжали эту не одобряемую вами жизнь? зачем вы всё это делаете? На это вы не можете не ответить. Если бы всё это были приятные дела, которые бы вы любили, вы и тогда должны бы были сказать: зачем вы это делаете? Но когда это ужасно трудные дела и вы их делаете с усилием и ропотом, то нельзя же вам не думать о том, зачем вы всё это делаете. Надо или перестать делать всё это, или ответить, зачем мы это делаем.

Без ответа на этот вопрос люди никогда не жили и не могут жить. И ответ всегда был у людей.

Иудей жил так, как он жил, т. е. воевал, казнил людей, строил храм, устраивал всю свою жизнь так, а не иначе, потому что всё это было предписано в законе, по убеждению его, сошедшем от самого Бога. То же самое для индийца, китайца; то же самое было для римлянина, то же самое и для магометанина; то же самое было и для христианина за 100 лет тому назад; то же самое и теперь для невежественной толпы христиан. На вопросы эти невежественный христианин теперь отвечает так: солдатчина, войны, суды, казни, всё это существует по закону Бога, передаваемому нам церковью. Здешний мир есть мир падший. Всё зло, которое существует, существует по воле Бога, как наказание за грехи мира, и потому исправить это зло мы не можем. Мы можем только спасать свою душу верою, таинствами, молитвами и покорностью воле Божией, передаваемой нам церковью. Церковь же учит нас, что каждый христиа-

НИН должен беспрекословно повиноваться царям, помазанникам Божиим, и поставленным от них начальникам, ограждать насилием свою и чужую собственность, воевать, казнить и переносить казни по воле Богом поставленных властей.

Хороши ли, дурны ли эти объяснения, но они объясняли для верующего христианина, как для иудея, буддиста и магометанина, все особенности жизни, и человек не отрекался от разума, живя по закону, который он признавал за божественный. Но теперь пришло время, что в эти объяснения верят только самые невежественные люди, и число таких людей с каждым днем и с каждым часом всё уменьшается. Остановить это движение нет никакой возможности. Все люди неудержимо идут за теми, которые идут впереди, и все придут туда, где стоят передовые. Передовые же стоят над пропастью. Передовые эти находятся в ужасном положении: они делают жизнь для себя, готовят жизнь для всех тех, которые идут за ними, и находятся в совершенном неведении того, зачем они делают то, что делают. Ни один цивилизованный передовой человек теперь не в состоянии дать ответ на прямой вопрос: зачем ты живешь тою жизнью, которой ты живешь? Зачем делаешь всё то, что ты делаешь? Я пробовал спрашивать об этом и спрашивал у сотен людей, и никогда не получал прямого ответа. Всегда, вместо прямого ответа на личный вопрос: зачем ты так живешь и так делаешь, всегда я получал ответ не на мой вопрос, а на вопрос, которого я не делал.

Верующий католик, протестант, православный на вопрос: зачем он живет так, как он живет, т. е. противно тому учению Христа Бога, которое он исповедует? всегда вместо прямого ответа начинает говорить о плачевном состоянии безверия нынешнего поколения, о злых людях, производящих безверие, и о значении и будущности истинной церкви. Но почему он сам не делает того, что велит ему его вера, он не отвечает. Вместо ответа о себе он говорит об общем состоянии человечества и о церкви, словно его собственная жизнь не имеет для него никакого значения, а он занят только спасением всего человечества и тем, что он называет церковью.

Философ, какого бы он ни был толка – идеалист, спиритуалист, пессимист, позитивист,– на вопрос: зачем он живет так, как он живет, т. е. несогласно с своим философским учением? – всегда вместо ответа на этот вопрос заговорит о прогрессе человечества, о том историческом законе этого прогресса, который он нащел и по которому человечество стремится к благу. Но он никогда прямо не ответит на вопрос: почему он сам в своей жизни не делает того, что считает разумным? Философ, так же как и верующий, как будто озабочен не своею личной жизнью, а только наблюдением над общими законами всего человечества.

Средний человек, огромное большинство полуверующих, полуневерующих цивилизованных людей, тех, которые всегда без исключения жалуются на свою жизнь и на устройство нашей жизни и предвидят погибель всему,– этот средний человек на вопрос: зачем он сам живет этой осуждаемой им жизнью и ничего не делает, чтобы улучшить ее? – всегда вместо прямого ответа начнет говорить не о себе, а о чем-нибудь общем: о правосудии, о торговле, о государстве, о цивилизации. Если он городовой или прокурор, он скажет: «А как же пойдет государственное дело, если я, чтобы улучшить свою жизнь, перестану участвовать в нем?» «А как же торговля?» скажет он, если он торговый человек. «А как же цивилизация, если я для улучшения своей жизни не буду содействовать ей?» Он скажет всегда так, как будто задача его жизни состоит не в том, чтобы делать то благо, к которому он всегда стремится, а в том, чтобы служить государству, торговле, цивилизации. Средний человек отвечает точь-в-точь то же, что и верующий философ. Он на место личного вопроса подставляет общий, а подставляет его и верующий, и философ, и средний человек потому, что у него нет никакого ответа на личный вопрос жизни, потому что у него нет никакого настоящего учения о жизни. И ему совестно.

Ему совестно потому, что он чувствует себя в унизительном положении человека, не имеющего никакого учения о жизни; тогда как человек никогда не жил и не может жить без учения о жизни. Только в нашем христианском мире, на место учения о жизни и объяснения, почему жизнь должна быть такая, а не иная, т. е. на место религии подставилось одно объяснение того, почему жизнь должна быть такою, какою она была когда-то прежде, и религией стало называться то, что никому ни на что не нужно: а сама жизнь стала независима от всякого учения, т. е. осталась без всякого определения.

Мало того: как всегда бывает, наука признала именно это случайное, уродливое положение нашего общества за закон всего человечества. Ученые Тиле, Спенсер и друг, пресерьезно трактуют о религии, разумея под нею метафизические учения о начале всего и не подозревая, что говорят не о всей религии, а только о части ее.

Отсюда произошло то удивительное явление, что в наш век мы видим людей умных и ученых, пренаивно уверенных, что они свободны от всякой религии только потому, что не признают тех метафизических объяснений начала всего, которые когда-то и для кого- то объясняли жизнь. Им не приходит в голову, что им надо же жить как-нибудь и что они живут же как-нибудь и что именно то, на основании чего они живут так, а не иначе,– и есть их религия. Люди эти воображают, что у них есть очень возвышенные убежде

ния и нет никакой веры. Но каковы бы ни были их разговоры, у них есть вера, если только они совершают какие-нибудь разумные поступки, потому что разумные поступки всегда определяются верою. Поступки же этих людей определяются только верою, что надо делать всегда то, что велят. Религия людей, не признающих религии, есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, т. е., короче, религия повиновения существующей власти.

Можно жить по учению мира, т. е. животною жизнью, не признавая ничего выше и обязательнее предписаний существующей власти. Но кто живет так, не может же утверждать, что живет разумно. Прежде чем утверждать, что мы живем разумно, надо ответить на вопрос; какое учение о жизни мы считаем разумным? А у нас, несчастных, не только нет никакого такого учения, но потеряно даже и сознание в необходимости какого-нибудь разумного учения о жизни.

Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих: какому они учению следуют в жизни? Они должны будут сознаться, что они следуют одному учению – законам, которые пишут чиновники II отделения или законодательные собрания и приводит в исполнение – полиция. Это – единственное учение, которое признают наши европейские люди. Они знают, что учение это не от неба, не от пророков и не от мудрых людей; они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных собраний, но все-таки признают это учение и повинуются исполнителям его – полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях ее. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерть и на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть измененным.

Понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, до такой степени утрачено в нашем обществе, что существование у европейского народа закона, определявшего всю их жизнь, такого закона, который был обязателен не по принуждению, а по внутреннему сознанию каждого, считается исключительным свойством одного еврейского народа. Что евреи повиновались только тому, что они считали в глубине души несомненной истиной, полученной прямо от Бога, т. е. тому, что было согласно с их совестью, считается особенностью евреев. Нормальным же состоянием, свойственным образованному человеку, считается то, чтобы повиноваться тому, что заведомо пишется презираемыми людьми и приводится в исполнение городовым с пистолетом, тому,

что каждым или по крайней мере большинством этих людей считается неправильным, т. е. противным их совести.

Тщетно искал я в нашем цивилизованном мире каких-нибудь ясно выраженных нравственных основ для жизни. Их нет. Нет даже сознания, что они нужны. Есть даже странное убеждение, что они не нужны, что религия есть только известные слова о будущей жизни, о Боге, известные обряды, очень полезные для спасения души по мнению одних и ни на что не нужные по мнению других, а что жизнь идет сама собой и что для нее не нужно никаких основ и правил; нужно только делать то, что велят. Из того, что составляет сущность веры, т. е. учение о жизни и объяснения смысла ее, первое считается неважным и не принадлежащим к вере, а второе, т. е. объяснение когда-то бывшей жизни или рассуждения и гадания об историческом ходе жизни, считаются самым важным и серьезным. Во всем, что составляет жизнь человека – в том, как жить, идти ли убивать людей или не идти, идти ли судить людей или не идти, воспитывать ли своих детей так или иначе,– люди нашего мира отдаются безропотно другим людям, которые точно так же, как и они сами, не знают, зачем они живут и заставляют жить других так, а не иначе.

И такую-то жизнь люди считают разумной и не стыдятся ее!

Раздвоение между объяснением веры, которое названо верою, и самою верою, которая названа обшественной, государственной жизнью, дошло теперь до последней степени,– и всё цивилизованное большинство людей осталось для жизни с одной верой в городового и урядника.

Положение это было бы ужасно, если бы оно вполне было таково. Но, к счастью, и в наше время есть люди, лучшие люди нашего времени, которые не довольствуются такой верою и имеют свою веру в то, как должны жить люди.

Люди эти считаются самыми зловредными, опасными и, главное, неверуюшими людьми; а между тем это единственные верующие люди нашего времени, и не только верующие вообще, но верующие именно в учение Христа, если не во всё учение, то хотя в малую часть его.

Люди эти часто вовсе не знают учения Христа, не понимают его, часто не принимают, так же как и враги их, главной основы Христовой веры – непротивления злу, часто даже ненавидят Христа; но вся их вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа. Как бы ни гнали этих людей, как бы ни клеветали на них, но это – единственные люди, не покоряющиеся безропотно всему, что велят, и потому это – единственные люди нашего мира, живущие не животной, а разумной жизнью,– единственные верующие люди.

Нить, связующая мир с церковью, дававшей смысл миру, становилась всё слабее и слабее по мере того, как содержание, соки жизни всё более и более переливались в мир. И теперь, когда соки все перелились, связующая нить стала только помехой.

Это – таинственный процесс рождения; и вот он совершается на наших глазах. В одно и то же время обрывается последняя связь с церковью и устанавливается самостоятельный процесс жизни.

Учение церкви с ее догматами, соборами, иерархией, несомненно, связано с учением Христа. Связь эта столь же очевидна, как и связь новорожденного плода с утробой матери. Но как пуповина и место делаются после рождения ненужными кусками мяса, которые, из уважения к тому, что хранилось в них, надо бережно зарыть в землю, так и церковь сделалась ненужным, отжившим органом, который только из уважения к тому, что она была прежде, надо спрятать куда-нибудь подальше. Как только установилось дыхание и кровообращение,– связь, бывшая прежде источником питания, стала помехою. И безумны усилия удержать эту связь и заставить вышедшего на свет ребенка питаться через пуповину, а не через рот и легкие.

Но освобождение детеныша из утробы матери не есть еще жизнь. Жизнь детеныша зависит от установления новой связи питания с матерью. То же должно совершиться и с нашим христианским миром. Учение Христа выносило наш мир и родило его. Церковь – один из органов учения Христа – сделала свое дело и стала ненужна, стала помехой. Мир не может руководиться церковью, но освобождение мира от церкви еще не есть жизнь. Жизнь его наступит тогда, когда он сознает свое бессилие и почувствует необходимость нового питания. И вот это должно наступить в нашем христианском мире: он должен закричать от сознания своей беспомощности; только сознание своей беспомощности, сознание невозможности прежнего питания и невозможности всякого другого питания, кроме молока матери, приведет его к нагрубшей от молока груди матери.

С нашим столь внешне-самоуверенным, смелым, решительным’ и в глубине сознания испуганным и растерянным европейским миром происходит то же, что бывает с только что родившимся детенышем: он мечется, суется, кричит, толкается, точно сердится, и не может понять, что ему делать. Он чувствует, что источник прежнего питания его иссяк, но не знает еще, где искать новый.

Только что родившийся ягненок и глазами и ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он всё знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия – плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он –

в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы; но он пропал, если не возьмется за соски матери.

То же самое происходит и .с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают всё, что они делают и зачем они всё это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают всё, что делают. Искусства, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность – всё полно жизни. Но всё это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. Была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло, и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут; источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли; и они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им.

Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит и что необходим новый, сознательный процесс питания.

Этот новый процесс состоит в том, чтобы сознательно принять те истины учения христианского, которые прежде бессознательно вливались в человечество через орган церкви и, которыми теперь живо еще человечество. Люди должны вновь поднять тот свет, которым они жили, но который скрыт был от них, и высоко поставить его перед собою и людьми и сознательно жить этим светом.

Учение Христа, как религия, определяющая жизнь и дающая объяснение жизни людей, стоит теперь так же, как оно 1800 лет тому назад стояло перед миром. Но прежде у мира были объяснения церкви, которые, заслоняя от него учение, все-таки казались ему достаточными для его старой жизни; а теперь настало время, что церковь отжила, и мир не имеет никаких объяснений своей новой жизни и не может не чувствовать своей беспомощности, а потому и не может теперь не принять учения Христа.

Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет есть в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. Считаете неразумным идти убивать турок или немцев – не ходите; считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр или затягиваться в корсет, или сооружать затрудняющую вас гости

ную – не делайте этого; считаете неразумным развращенных праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, т. е. в самое вредное сообщество и самую полную праздность – не делайте этого; считаете неразумным жить в зараженном городском воздухе, когда можете жить на чистом; считаете неразумным учить детей прежде и больще всего грамматикам мертвых языков,– не делайте этого. Не делайте только того, что делает теперь весь нащ европейский мир: жить и не считать разумным свою жизнь, делать и не считать разумным свои дела, не верить в свой разум, жить несогласно с ним.

Учение Христа есть свет. Свет светит, и тьма не обнимает его. Нельзя не принимать света, когда он светит. С ним нельзя спорить, нельзя с ним не соглашаться. С учением Христа нельзя не согласиться потому, что оно обнимает все заблуждения, в которых живут люди, и не сталкивается с ними и, как эфир, про который говорят физики, проникает всех их. Учение Христа одинаково неизбежно для каждого человека нашего мира, в каком бы он ни был состоянии. Учение Христа не может не быть принято людьми не потому, что нельзя отрицать то метафизическое объяснение жизни, которое оно дает (отрицать всё можно), но потому, что только оно одно дает те правила жизни, без которых не жило и не может жить человечество, не жил и не может жить ни один человек, если он хочет жить, как человек, т. е. разумною жизнью.

Сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него – в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это всё одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа – в приложении этого метафизического учения к жизни.

Метафизическая основа древнего учения евреев и Христа – одна и та же: любовь к Богу и ближнему. Но приложение этого учения к жизни по Моисею и по закону Христа – весьма различно. По закону Моисея, как его понимали евреи, для приложения его к жизни требовалось исполнение шестисот тринадцати заповедей, часто бессмысленных, жестоких и таких, которые все основывались на авторитете писания. По закону Христа учение о жизни, вытекающее из той же метафизической основы, выражено в пяти заповедях, разумных, благих и носящих в самих себе свой смысл и свое оправдание и обнимающих всю жизнь людей.

Учение Христа не может не быть принято теми верующими иудеями, буддистами, магометанами и другими, которые усомнились бы в истинности своего закона; еще менее – оно не может не быть принято людьми нашего, христианского мира, которые не имеют теперь никакого нравственного закона.

Учение Христа не спорит с людьми нашего мира о их миросозерцании, оно вперед соглашается с ним и, включая его в себя, дает им то, чего у них нет, что им необходимо и чего они ищут: оно дает им путь жизни и притом не новый, а давно знакомый и родной им всем.

Вы – верующий христианин, какого бы то ни было исповедания. Вы верите в сотворение мира, в Троицу, в падение и искупление человека, в таинства, в молитвы, в церковь. Христово учение не только не спорит с вами, но вполне соглашается с вашим миросозерцанием, оно только дает вам то, чего у вас нет. Сохраняя вашу теперешнюю веру, вы чувствуете, что жизнь мира и жизнь ваша – исполнена зла и вы не знаете, как избежать его. Учение Христа (обязательное для вас, потому что оно есть учение вашего Бога), дает вам простые, исполнимые правила жизни, которые избавят и вас и других людей от того зла, которое мучит вас. Верьте в воскресение, в рай, в ад, в папу, в церковь, в таинства, в искупление, молитесь, как это требуется по вашей вере, говейте, пойте псалмы,– всё это не мешает вам исполнять то, что открыто Христом для вашего блага; ***не сердитесь, не блудите, не клянитесь, не защищайтесь насилием, не воюйте.***

Может случиться, что вы не исполните какого-нибудь из этих правил, вы увлечетесь и нарушите одно из них так же, как вы нарушаете теперь в минуты увлечения правила вашей веры, правила закона гражданского или законов приличия. Так же вы отступите, может быть, в минуты увлечения и от правил Христа. Но в спокойные минуты не делайте того, что вы теперь делаете,– устраивайте жизнь не такую, при которой трудно не сердиться, не блудить, не клясться, не защищаться, не воевать, а такую, при которой трудно бы было это делать. Вы не можете не признать этого, потому что Бог велел вам это.

Вы – неверующий философ какого бы то ни было толка. Вы говорите, что всё происходит в мире по закону, который вы открыли. Христово учение не спорит с вами и признает вполне открытый вами закон. Но ведь помимо этого вашего закона, по которому через тысячелетия настанет то благо, которое вы желаете и приготовили для человечества, есть еще ваша личная жизнь, которую вы можете прожить или согласно с разумом, или противно ему; а для этой-то вашей личной жизни у вас теперь и нет никаких правил, кроме тех, которые пишутся не уважаемыми вами людьми и приводятся в исполнение полицейскими. Учение Христа дает вам такие правила, которые наверно сходятся с вашим законом, потому что ваш закон альтруизма или единой воли есть не что иное, как дурная перифраза того же учения Христа.

Вы – средний человек, полуверующий, полуневерующий, не имеющий времени углубляться в смысл человеческой жизни; и у вас нет никакого определенного миросозерцания, вы делаете то, что делают все. Христово учение не спорит с вами. Оно говорит; хорошо, вы не способны рассуждать, поверять истинность преподаваемого вам учения, вам легче поступать зауряд со всеми; но как бы скромны вы ни были, вы все-таки чувствуете в себе того внутреннего судью, который иногда одобряет ваши поступки, согласные со всеми, иногда не одобряет их. Как бы ни скромна была ваша доля, вам приходится все-таки задумываться и спрашивать себя; так ли мне поступить, как все, или по-своему? В таких именно случаях, т. е. когда вам представится надобность решить такой вопрос, правила Христа и предстанут перед вами во всей своей силе. И правила эти наверное дадут вам ответ на ваш вопрос, потому что они обнимают всю вашу жизнь, и они ответят вам согласно с вашим разумом и вашей совестью. Если вы ближе к вере, чем к неверию, то, поступая таким образом, вы поступаете по воле Бога; если вы ближе к свободомыслию, то вы, поступая так, поступаете по самым разумным правилам, какие существуют в мире, в чем вы сами убедитесь, потому что правила Христа сами в себе несут свой смысл и свое оправдание.

Христос сказал (Иоан. XII, 31); «Ныне ***суд миру сему;*** ныне князь мира сего изгнан будет вон».

Он сказал еще (Иоан. XVI, 33); «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь; ***Я победил мир».***

И действительно, мир. т. е. зло мира побеждено.

Если существует еще мир зла, то он существует только как нечто мертвое, он живет только по инерции; – в нем нет уже основ жизни. Его нет для верующих в заповеди Христа. Он побежден в разумном осознании сына человеческого. Разбежавшийся поезд еще бежит по прямому направлению, но вся разумная работа на нем делается уже давно для обратного направления.

Ибо всё рожденное от Бога побеждает мир. И ***победа, которою побежден мир, есть вера ваша*** (Первое послание Иоанна V, 4).

Вера, побеждающая мир, есть вера в учение Христа.

XII

Я верю в учение Христа, и вот в чем моя вера.

Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.

я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной погибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне отец жизни.

Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной погибели и дает мне здесь наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его.

Закон дан через Моисея, а благо и истина – через Иисуса Христа (Иоан. I, 17). Учение Христа есть благо и истина. Прежде, не зная истины, я не знал и блага. Принимая зло за благо, я впадал во зло и сомневался и законности моего стремления ко благу. Теперь же я понял и поверил, что благо, к которому я стремлюсь, есть воля отца, есть самая законная сущность моей жизни.

Христос сказал мне: живи для блага, только не верь тем ловушкам – соблазнам ***{axdvSa'koQ,*** которые, заманивая тебя подобием блага, лишают этого блага и уловляют в зло. Благо твое есть твое единство со всеми людьми, зло есть нарушение единства сына человеческого. Не лишай себя сам того блага, которое дано тебе.

Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором родятся дети, по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами.

Но Христос не только показал мне это, но он ясно, без возможности ошибки перечислил мне в своих заповедях все до одного соблазны, лишавшие меня этого естественного состояния единства, любви и блага и уловлявшие меня в зло. Заповеди Христа дают мне средство спасения от соблазнов, лишавших меня моего блага, и потому я не могу не верить в эти заповеди.

Мне дано благо жизни, а я сам губил его. Христос показал мне своими заповедями те соблазны, которыми я гублю свое благо, а потому я и не могу делать того, что губит мое благо. В этом и в этом одном вся моя вера.

Христос показал мне, что первый соблазн, губящий мое благо, есть моя вражда с людьми, мой гнев на них. Я не могу не верить в это, и потому не могу уже сознательно враждовать с другими людьми, не могу, как я делал это прежде, радоваться на свой гнев, гор-

литься им, разжигать, оправдывать его признанием себя важным и умным, а других людей ничтожными – потерянными и безумными; не могу уже теперь при первом напоминании о том, что я поддаюсь гневу, не признавать себя одного виноватым и не искать примирения с теми, кто враждует со мною.

Но этого мало. Если я знаю теперь, что гнев мой есть неестественное, вредное для меня болезненное состояние, то я знаю еще, какой соблазн приводил меня в него. Этот соблазн состоял в том, что я отделял себя от других людей, признавая только некоторых из них равными себе, а всех остальных – ничтожными, не людьми (ракй) или глупыми и необразованными (безумными). Я вижу теперь, что это отделение себя от людей и признание других за «рака» и безумных было главной причиной моей вражды с людьми. Вспоминая свою прежнюю жизнь, я вижу теперь, что я никогда не позволял разгораться своему враждебному чувству на тех людей, которых считал выше себя, и никогда не оскорблял их; но зато малейший неприятный для меня поступок человека, которого я считал ниже себя, вызывал мой гнев на него и оскорбление, и чем выше я считал себя перед таким человеком, тем легче я оскорблял его; иногда даже одна воображаемая мною низкость положения человека уже вызывала с моей стороны оскорбление ему. Теперь же я понимаю, что выше других людей будет стоять только тот, кто унизит себя перед другими, кто будет всем слугою. Я понимаю теперь, почему то, что высоко перед людьми, есть мерзость перед Богом, и почему горе богатым и прославляемым, и почему блаженны нищие и униженные. Только теперь я понимаю это и верю в это, и вера эта изменила всю мою оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким,– почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов,– всё это стало для меня дурным и низким. Всё же, что казалось дурным и. низким,– мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пиши, одежды, приемов – всё это стало для меня хорошим и высоким. А потому, если и теперь, зная всё это, я могу в минуту забвения отдаться гневу и оскорбить брата, то в спокойном состоянии я не могу уже служить тому соблазну, который, возвышая меня над людьми, лишил меня моего истинного блага – единства и любви, как не может человек устраивать сам для себя ловушку, в которую он попал прежде и которая чуть не погубила его. Теперь я не могу содействовать ничему тому, что внешне возвышает меня над людьми, отделяет от них; не могу, как я прежде это делал, признать ни за собой, ни за другими никаких званий, чинов и наименований, кроме звания и имени человека; не могу ис

кать славы и похвалы, не могу искать таких знании, которые отделяли бы меня от других, не могу не стараться избавиться от своего' богатства, отделяющего меня от людей, не могу в жизни своей, в обстановке ее, в пище, в одежде, во внещних приемах не искать всего того, что не разъединяет меня, а соединяет с большинством людей.

Христос показал мне, что другой соблазн, губящий мое благо, есть блудная похоть, т. е. похоть к другой женщине, а не той, с которой я сошелся. Я не могу не верить в это и потому не могу, как я делал это прежде, признать блудную похоть естественным и возвышенным свойством человека; не могу оправдывать ее перед собой моей любовью к красоте, влюбленностью или недостатками своей жены; не могу уже при первом напоминании о том, что поддаюсь блудной похоти, не признавать себя в болезненном, неестественном состоянии и не искать всяких средств, которые могли бы избавить меня от этого зла.

Но, зная теперь, что блудная похоть есть зло для меня, я знаю, еще и тот соблазн, который вводил меня прежде в него, и потому не могу уже служить ему. Я знаю теперь, что главная причина соблазна не в том, что люди не могут воздержаться от блуда, но в том, что большинство мужчин и женщин оставлено теми, с которыми они сошлись сначала. Я знаю теперь, что всякое оставление мужчины или женщины, которые сошлись в первый раз, и есть тот самый развод, который Христос запрещает людям потому, что оставленные первыми супругами мужья и жены вносят весь разврат в мир. Вспоминая то, что меня вводило в блуд, я вижу теперь, что, кроме того дикого воспитания, при котором и физически и умственно разжигалась во мне блудная похоть и оправдывалась всеми изощрениями ума, главный соблазн, уловлявший меня, заключался в оставлении мною той женщины, с которой я сошелся сначала, и в состоянии оставленных женщин, со всех сторон, окружавших меня. Я вижу теперь, что главная сила соблазна была не в моей похоти, а в неудовлетворенности похоти моей и тех оставленных женщин, которые со всех сторон-окружали меня. Я понимаю теперь слова Христа; Бог сотворил вначале человека – мужчиной и женщиной, так чтобы два были одно, и что поэтому человек не может и не должен разъединять то, что соединил Бог. Я понимаю теперь, что единобрачие есть естественный закон человечества, который не может быть нарушаем. Я понимаю теперь вполне слова о том, что тот, кто разводится с женою, т. е. с женщиной, с которой он сошелся сначала, для другой, заставляет ее распутничать и вносит сам против себя новое зло в мир. Я верю в это, и вера эта изменяет всю мою прежнюю оценку хорошего и высокого, дурного и низкого в жизни.

То, что прежде мне казалось самым хорошим,– утонченная, изящная жизнь, страстная и поэтическая любовь, восхваляемая всеми поэтами и художниками,– всё это представилось мне дурным и отвратительным. Наоборот, хорошим представились мне: трудовая, скудная, грубая жизнь, умеряющая похоть; высоким и важным представилось мне не столько человеческое учреждение брака, накладывающее внешнюю печать законности на известное соединение мужчины и женщины, сколько самое соединение всякого мужчины и женщины, которое, раз совершившись, не может быть нарушено без нарушения воли Бога. Если я и теперь могу в минуту забвения подпасть блудной похоти, то не могу уже, зная тот соблазн, который вводил меня в это зло, служить ему, как я делал это прежде. Я не могу желать и искать физической праздности и жирной жизни, разжигавшей во мне чрезмерную похоть; не могу искать тех разжигающих любовную похоть потех – романов, стихов, музыки, театров, балов, которые прежде представлялись мне не только не вредными, но очень высокими увеселениями; не могу оставлять своей жены, зная, что оставление ее есть первая ловушка для меня, для нее и для других; не могу содействовать праздной и жирной жизни других людей; не могу участвовать и устраивать тех похотливых увеселений,– романов, театров, опер, балов и т. п.,– которые служат ловушкой для меня и других людей; не могу поощрять безбрачное житье людей зрелых для брака; не могу содействовать разлуке мужей с женами; не могу делать различия между совокуплениями, называемыми браками и не называемыми так; не могу не считать священным и обязательным только то брачное соединение, в котором раз находится человек.

Христос открыл мне, что третий соблазн, губящий мое благо, есть соблазн клятвы. Я не могу не верить в это и потому не могу уже, как я делал это прежде, сам клясться кому-нибудь и в чем-нибудь и не могу уже, как я делал это прежде, оправдывать себя в своей клятве тем, что в этом нет ничего дурного для людей, что все делают это, что это нужно для государства, что мне или другим будет хуже, если я откажусь от этого требования. Я знаю теперь, что это есть зло для меня и для людей, и не могу делать его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который уловлял меня в это зло, и не могу уже служить ему. Я знаю, что соблазн состоит в том, что именем Бога освящается обман. Обман же состоит в том, что люди вперед обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме Бога. Я знаю теперь, что самое страшное по своим последствиям зло мира – убийство на войнах, заключения, казни, истязания людей совершаются только благода

ря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло. Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать и не любить людей,– я вижу теперь, что всё оно было вызвано присягой – признанием необходимости подчинить себя воле других людей. Я понимаю теперь значение слов: всё, что сверх простого утверждения или отрицания – да и нет, всё, что сверх этого, всякое обещание, даваемое вперед,– есть зло. Понимая это, я верю, что клятва губит благо мое и других людей; и вера эта изменяет мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё то, что прежде казалось мне хорошим и высоким, обязательство верности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги от людей и все поступки, противные совести, совершаемые во имя этой присяги,– всё это представилось теперь мне и дурным и низким. И потому я не могу уже теперь отступить от заповеди Христа, запрещающей клятву; не могу уже клясться другому, ни заставлять клясться других, ни содействовать тому, чтобы люди клялись и заставляли клясться других людей и считали бы клятву или важною и нужною, или хотя бы не вредною, как это думают многие.

Христос открыл мне, что четвертый соблазн, лишающий меня моего блага, есть противление злу насилием других людей. Я не могу не верить, что это есть зло для меня и других людей, и поэтому не могу сознательно делать его и не могу, как я делал это прежде, оправдывать это зло тем, что оно нужно для защиты меня и других людей, для защиты собственности моей и других людей; не могу уже при первом напоминании о том, что я делаю насилие, не отказаться от него и не прекратить его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который вводил меня в это зло. Я знаю теперь, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что жизнь моя может быть обеспечена защитой себя и своей собственности от других людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходит оттого, что они, вместо того чтобы отдавать свой труд другим, не только не отдают его, но сами лишают себя всякого труда и насилием отбирают труд других. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал себе и людям, и всё ЗЛО', которое делали другие, я вижу, что большая доля зла происходила оттого, что мы считали возможным защитой обеспечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь значение слов: человек рожден не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на других, и значение слов: трудящийся достоин пропитания. Я верю теперь в то, что благо мое и людей возможно только тогда, когда каждый будет трудиться не для себя, а для другого, и не только не будет отстаивать от другого свой труд, но будет

отдавать его каждому, кому он нужен. И вера эта изменила мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким,– богатство, собственность всякого рода, честь, сознание собственного достоинства, права,– всё это стало теперь дурно и низко; всё же, что казалось мне дурным и низким,– работа на других, бедность, унижение, отречение от всякой собственности и всяких прав,– стало хорошо и высоко в моих глазах. Если теперь я и могу в минуту забвения увлечься насилием для защиты себя и других или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губит меня и людей; я не могу приобретать собственности; не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребенка, и то только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилием; не могу быть ни судьей, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах.

Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишающий меня моего блага,– есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и потому если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа; не могу, при первом напоминании о том, не стараться быть более дружелюбным к человеку чужого народа, чем к соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что разделение мое с другими народами есть зло, губящее мое благо,– я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо мое связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю теперь, что единство мое с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая свое воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим народам, чувства отделения себя от них

никогда не было во мне, что все эти злые чувства были искусственно привиты мне безумным воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите добро врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного отца, и будьте так же, как и отец, т. е. не делайте разделения между своим народом и другими, со всеми будьте одинаковы. Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признании своего единства со всеми людьми мира без всякого исключения. Я верю в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким,– любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служение им в ущерб блага других людей, военные подвиги людей – всё это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным,– отречение от отечества, космополитизм,– показалось мне, напротив, хорошим и высоким. Если я и могу теперь в минуту забвения содействовать больше русскому, чем чужому, желать успеха русскому государству или народу, то не могу я уже в спокойную минуту служить тому соблазну, который губит меня и людей. Не могу признавать никаких государств или народов, не могу участвовать ни в каких спорах между народами и государствами, ни разговорами, ни писаниями, ни тем более службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различии государств – ни в таможнях или сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами, и не могу содействовать людям, чтобы они делали это.

Я понял, в чем мое благо, ***верю*** в это и потому не могу делать того, что несомненно лишает меня моего блага.

Но мало того, что я верю в то, что я должен жить так, я ***верю,*** что если буду жить так, и только так, то жизнь моя получит для меня единственно-возможный разумный, радостный и не уничтожаемый смертью смысл.

Я ***верю,*** что разумная жизнь моя – свет мой на то только и дан мне, чтобы светить перед человеками не словами, но добрыми делами, чтобы люди прославляли Отца (Матф. V, 16). Я верю, что моя жизнь и знание истины есть талант, данный мне для работы на него, что этот талант есть огонь, который только тогда огонь, когда он жжет. Я верю, что я – Ниневия по отношению к другим Ионам, от которых я узнал и узнаю истину, но что и я Иона по отношению к другим ниневитянам, которым я должен передать истину. Я верю, что единственный смысл моей жизни – в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и ставить его не под спуд, но высоко перед людьми, так, чтобы люди видели его. И вера эта придает мне

новую силу при исполнении учения Христа и уничтожает все те препятствия, которые прежде стояли передо мной.

То самое, что прежде подрывало для меня истинность и исполнимость учения Христа, то, что отталкивало меня от него – возможность лишений, страданий и смерти от людей, не знающих учение Христа,– это самое теперь подтвердило для меня истинность учения и привлекло к нему.

Христос сказал: когда возвысите сына человеческого, все при- влечетесь ко мне, и я почувствовал, что неудержимо привлечен к нему. Он сказал еще: истина освободит вас, и я почувствовал себя совершенно свободным.

Придет войной неприятель или просто злые люди нападут на меня, думал я прежде, и если я не буду защищаться, они оберут нас, осрамят, измучают и убьют меня и моих близких, и мне казалось это страшным. Но теперь всё, смущавшее меня прежде, показалось теперь радостным и подтвердило истину. Я знаю теперь, что и неприятели и так называемые злодеи и разбойники, все – люди, точно такие же сыны человеческие, как и я, так же любят добро и ненавидят зло, так же живут накануне смерти и так же, как и я, ищут спасения и найдут его только в учении Христа. Всякое зло, которое они сделают мне, будет злом для них же, и потому они должны делать мне добро. Если же истина неизвестна им и они делают зло, считая его благом, то я знаю истину только для того, чтобы показать ее тем, которые не знают ее. Показать же ее им я не могу иначе, как отречением от участия в зле, исповеданием истины на деле.

Придут неприятели: немцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьют вас. Это неправда. Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели – ни немцы, ни турки, ни дикари – не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе всё то, что и так отдавали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком и дикарем. Если же христиане находятся среди общества нехристианского, защищающего себя войною, и христианин призывается к участию в войне, то тут-то и является для христианина возможность помочь людям, не знающим истины. Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают ее. Свидетельствовать же он может не иначе, как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.

Но не неприятели, а свои же злые люди нападут на семью христианина и, если он не будет защищаться, оберут, измучают и убьют его и его близких. Это опять несправедливо. Если все члены семьи –

христиане и потому полагают свою жизнь в служении другим, то не найдется такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклуха-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких и его не только не убили, но полюбили его, покорились только потому, что он не боялся их, ничего не требовал от них и делал им добро. Если же христианин живет среди нехристианской семьи и близких, защищающих себя и свою собственность насилием, и христианин призывается к участию в этой защите, то этот призыв и есть для христианина призыв к исполнению своего дела жизни. Христианин только для того и знает истину, чтобы показать ее другим и – более всего – близким ему, связанным с ним семейными и дружескими связями людям, а показать истину христианин не может иначе, как не впадая в то заблуждение, в которое впали другие, не становясь на сторону ни нападающих, ни защищающих, а отдавая всё другим, жизнью своей показывая, что ему ничего не нужно, кроме исполнения воли Бога, и ничего не страшно, кроме отступления от нее.

Но правительство не может допустить того, чтобы член общества не признавал основ государственного порядка и уклонялся от исполнения обязанностей всех граждан. Правительство потребует от христианина присяги, участия в суде, военной службе и за отказ подвергнет его наказанию – ссылке, заключению, даже казни. И опять-таки это требование правительства будет для христианина только призывом его к исполнению своего дела жизни. Для христианина требование правительства есть требование людей, не знающих истины. И потому христианин, знающий ее, не может не свидетельствовать о ней перед людьми, не знающими ее. Насилие, заключение, казни, которым подвергнется вследствие этого христианин, дают ему возможность свидетельствовать не словами, а делом. Всякое насилие: война, грабеж, казни происходят не вследствие неразумных сил природы, но производятся людьми заблудшими и лишенными знания истины. И потому чем большее зло делают эти люди христианину, тем более они далеки от истины, тем несчастнее они и тем нужнее им знание истины. Передать же знание истины людям христианин не может иначе, как воздержанием от того заблуждения, в котором находятся люди, делающие ему зло, воздаянием добра за зло. И в этом одном всё дело жизни христианина и весь смысл ее, не уничтожаемый смертью.

Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана.

Все революции суть попытки насильственного разбивания этой массы. Людям представляется, что если они разобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют по ней; но, стараясь разбить ее, они только куют ее.

Но сколько бы они ни ковали ее, сцепление частиц не уничтожится, пока внутренняя сила не сообщится частицам массы и не заставит их отделяться от нее.

Сила сцепления людей есть ложь, обман. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления, есть истина. Истина же передается людям только делами истины.

Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана, отрывают одного за другим людей от массы, связанной между собою сцеплением обмана.

И вот уже 1800 лет делается это дело.

С тех пор, как заповеди Христа поставлены перед человечеством, началась эта работа, и не кончится она до тех пор, пока не будет исполнено всё, как и сказал это Христос (Матф. V, 18).

Церковь, составлявшаяся из тех, которые думали соединить людей воедино тем, что они с заклинаниями утверждали про себя, что они в истине, давно уже умерла. Но церковь, составленная из людей не обещаниями, не помазанием, а делами истины и блага, соединенными воедино,– эта церковь всегда жила и будет жить. Церковь эта как прежде, так и теперь составляется не из людей, взывающих: Господи, Господи! и творящих беззаконие (Матф. VII, 21, 22), но из людей, слушающих слова сии и исполняющих их.

Люди этой церкви знают, что жизнь их есть благо, если они не нарушают единства сына человеческого, и что благо это нарушается только неисполнением заповедей Христа. И потому люди этой церкви не могут не исполнять этих заповедей и не учить других исполнению их.

Мало ли, много ли теперь таких людей, но это – та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди.

Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лук. XII, 32).

Москва.
22 января 1884 г.

ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС,
ИЛИ
ХРИСТИАНСТВО НЕ КАК МИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ,
А КАК НОВОЕ ЖИЗНЕПОНИМАНИЕ

Познаете истину, и истина освободит вас *(Иоан. VIII, 32).*

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне *(Мф. X, 28).*

Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков *(I Коринфянам, VII, 23).*

В 1884 году Я написал книгу под заглавием; «В чем моя вера?». В книге этой я действительно изложил то, во что я верю.

Излагая свою веру в учение Христа, я не мог не высказать и того, почему я не верю и считаю заблуждением ту церковную веру, которая обыкновенно называется христианством.

В числе многих отступлений этого учения от учения Христа я указывал на главное отступление, именно – на непризнание заповеди непротивления злу насилием, очевиднее других отступлений указывающее на извращение церковным учением учения Христа.

Я очень мало знал, как и все мы, о том, что делалось и было проповедуемо и писано в прежнее время по вопросу о непротивлении злу. Я знал то, что было высказано об этом предмете у отцов церкви – Оригена, Тертуллиана и других,– знал и о том, что существовали и существуют некоторые, так называемые, секты менонитов, гернгутеров, квакеров, которые не допускают для христианина употребления оружия и не идут в военную службу; но что было сделано этими, так называемыми, сектами для разъяснения этого вопроса, было мне мало известно.

Книга моя, как я и ожидал, была задержана русской цензурой, но отчасти вследствие моей репутации как писателя, отчасти пото

му, что она заинтересовала людей, книга эта распространилась в рукописях и литографиях в России и в переводах за границей и вызвала, с одной стороны, от людей, разделяющих мои мысли, ряд сведений о сочинениях, писанных об этом же предмете, с другой стороны, ряд критик на мысли, высказанные в самой книге.

Как то, так и другое, вместе с историческими явлениями последнего времени, выяснило для меня очень многое и привело меня к новым выводам и заключениям, которые я и хочу высказать.

Прежде скажу о тех сведениях, которые я получил об истории вопроса о непротивлении злу; потом о тех суждениях об этом вопросе, которые были высказаны как духовными, т. е. исповедующими христианскую религию, критиками, так и светскими, т. е. не исповедующими христианскую религию; и, наконец, те выводы, к которым я был приведен и теми и другими, и историческими событиями последнего времени.

Одним из первых откликов на мою книгу были письма от американских квакеров. В письмах этих, выражая свое сочувствие моим взглядам о незаконности для христианина всякого насилия и войны, квакеры сообщили мне подробности о своей, так называемой, секте, более 200 лет исповедующей на деле учение Христа о непротивлении злу насилием и не употреблявшей и теперь не употребляющей для защиты себя оружия. Вместе с письмами квакеры присылали мне свои брошюры, журналы и книги. Из этих присланных мне ими журналов, брошюр и книг я узнал, до какой степени уже много лет тому назад ими неопровержимо была доказана для христианина обязанность выполнения заповеди о непротивлении злу насилием и была обличена неправильность церковного учения, допускающего казни и войны.

Целым рядом рассуждений и текстов доказав то, что с религией, основанной на миролюбии и благоволении к людям, несовместима война, т. е. калечение и убийство людей, квакеры утверждают и доказывают, что ничто столько не содействовало затемнению Христовой истины в глазах язычников и не мешало распространению христианства в мире, как непризнание этой заповеди людьми, именовавшими себя христианами,– как разрешение для христиан войны и насилия.

«Христово учение, вошедшее в сознание людей не посредством меча и насилия, говорят они, а посредством непротивления злу, посредством кротости, смирения и миролюбия,– только примером

мира, согласия и любви между своими последователями и может распространиться в мире.

Христианин, по учению самого Бога, может быть руководим в отношениях к людям только миролюбием, и потому не может быть такого авторитета, который заставил бы христианина действовать противно учению Бога и главного свойства христианина по отношению своих близких.

Правило государственной необходимости, говорят они, может заставить изменить закону Бога тех, которые ради житейских выгод стараются согласить несогласимое, но для христианина, который истинно верит тому, что следование учению Христа дает ему спасение, правило это не может иметь никакого значения».

Знакомство с деятельностью квакеров и их сочинениями; с Фоксом, Пэном и в особенности с книгой Даймонда (Dymond) 1827 г.– показало мне, что не только давным-давно сознана невозможность соединения христианства с насилием и войною, но что эта несовместимость давным-давно так ясно и несомненно доказана, что надо только удивляться, каким образом может продолжаться это невозможное соединение христианского учения с насилием, которое проповедовалось и продолжает проповедоваться церквами.

Кроме сведений, полученных мною от квакеров, около этого же времени я получил тоже из Америки сведения о том же предмете из совершенно другого и прежде мне вовсе неизвестного источника.

Сын Вильяма Ллойда Гаррисона, знаменитого борца за свободу негров, писал мне, что, прочтя мою книгу, в которой он нашел мысли, сходные с теми, которые были выражены его отцом в 1838 году, он, полагая, что мне будет интересно узнать это, присылает мне составленную его отцом почти 50 лет тому назад декларацию или провозглашение непротивления – «Non-resistance».

Провозглашение это возникло при следующих условиях; Вильям Ллойд Гаррисон, рассуждая в существовавшем в 1838 году в Америке обществе для установления мира между людьми о мерах прекращения войны, пришел к заключению, что установление всеобщего мира может быть основано только на явном признании заповеди непротивления злу насилием (Мф. V, 39) во всем ее значении, так, как понимают ее квакеры, с которыми Гаррисон находился в дружеских снощениях. Придя к такому заключению, Гаррисон и составил тогда и предложил обществу следующее провозглащение, которое было подписано тогда, в 1838 году, многими членами.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ОСНОВ, ПРИНЯТЫХ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ВСЕОБЩЕГО МИРА

Бостон, 1838 г.

Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом по отношению к себе, к делу, близкому нашему сердцу, к стране, в которой мы живем, и ко всему остальному миру, огласить это наше исповедание, выразив в нем те основы, которых мы держимся, цели, к которым мы стремимся, и средства, которые мы намерены употреблять для достижения всеобщего благодетельного и мирного переворота. Вот это наше исповедание.

Мы не признаем никакого человеческого правительства. Мы признаем только одного царя и законодателя, только одного судью и правителя над человечеством. Отечеством нашим мы признаем весь мир, соотечественниками своими признаем всё человечество. Мы любим свою родину столько же, сколько мы любим и другие страны. Интересы, права наших сограждан нам не дороже интересов и прав всего человечества. Поэтому мы не допускаем того, чтобы чувство патриотизма могло оправдывать мщение за обиду или за вред, нанесенный нашему народу...

Мы признаем, что народ не имеет права ни защищать себя от внешних врагов, ни нападать на них. Мы признаем также, что отдельные лица в своих личных отношениях не могут иметь этого права. Единица не может иметь большего значения, чем совокупность их. Если правительство не должно оказывать сопротивления чужестранным завоевателям, имеющим целью опустошать наше отечество и избивать наших сограждан, то точно так же не должно быть оказываемо сопротивление силой отдельным лицам, нарушающим общественное спокойствие и грозящим частной безопасности. Проповедуемое церквами положение о том, что все государства на земле установлены и одобряемы Богом и что все власти, существующие в Соединенных Штатах, в России, в Турции, соответствуют воле Бога, столь же нелепо, как и кощунственно. Это положение представляет Творца нашего существом пристрастным и устанавливающим и поощряющим зло. Никто не решится утверждать того, чтобы власти, существующие в какой бы то ни было стране, действовали по отношению к своим врагам в духе учения и по примеру Христа. А потому деятельность этих властей не может быть приятна Богу и потому и власти эти не могли быть установлены Богом и должны быть низвергнуты не силою, но духовным возрождением людей.

Мы признаем нехристианскими и незаконными не только самые войны – как наступательные, так и оборонительные,– но и все приготовления к войнам: устройство всяких арсеналов, укреплений, во

енных кораблей; признаем нехристианским и незаконным существование всяких постоянных армий, всякого военного начальства, всяких памятников, воздвигнутых в честь побед или павших врагов, всяких трофеев, добытых на поле сражения, всяких празднований военных подвигов, всяких присвоений, совершенных военной силой; признаем нехристианским и незаконным всякое правительственное постановление, требующее военной службы от своих подданных.

Вследствие всего этого мы считаем для себя невозможным не только службу в войсках, но и занимание должностей, обязующих нас принуждать людей поступать хорошо под страхом тюрьмы или смертной казни. Мы поэтому добровольно исключаем себя из всех правительственных учреждений и отказываемся от всякой политики, от всех земных почестей и должностей.

Не считая себя вправе занимать места в правительственных учреждениях, мы точно так же не считаем себя вправе и избирать на эти места других лиц. Мы так же считаем себя не вправе судиться с людьми, чтобы заставить их возвратить взятое у нас. Мы считаем, что мы обязаны отдать и кафтан тому, кто взял нашу рубашку, но никак не подвергать его насилию. Мф. V, 40.

Мы верим в то, что уголовный закон Ветхого Завета: око за око, зуб за зуб – отменен Иисусом Христом и что по Новому Завету всем его последователям проповедуются прощение врагам вместо мщения, во всех случаях без исключения. Вымогать же насилием деньги, запирая в тюрьму, ссылать или казнить, очевидно, не есть прощение обид, а мщение.

История человечества наполнена доказательствами того, что физическое насилие не содействует нравственному возрождению, и что греховные наклонности человека могут быть подавлены лишь любовью, что зло может быть уничтожено только добром, что не должно надеяться на силу руки, чтоб защищать себя от зла, что настоящая безопасность для людей находится в доброте, долготерпении и милосердии, что лишь кроткие наследуют землю, а поднявшие меч от меча погибнут.

И поэтому, как для того, чтобы вернее обеспечить жизнь, собственность, свободу, общественное спокойствие и частное благо людей, так и для того, чтобы исполнить волю того, кто есть царь царствующих и господь господствующих, мы от всей души принимаем основное учение непротивления злу злом, твердо веруя, что это учение, отвечая всем возможным случайностям и выражая волю Бога, в конце концов должно восторжествовать над всеми злыми силами. Мы не проповедуем революционного учения. Дух революционного учения есть дух мести, насилия и убийства. Он не боится Бога и не уважает личности человека. Мы же желаем быть преис

полнены духа Христова. Следуя основному нашему правилу непротивления злу злом, мы не можем производить заговоров, смут или насилий. Мы подчиняемся всем узаконениям и всем требованиям правительства, кроме тех, которые противны требованиям Евангелия. Сопротивление наше ограничивается покорным подчинением, имеющим быть наложенным на нас за неповиновение, наказаниям. Намереваясь без сопротивления переносить все направленные на нас нападения, мы, между тем, с своей стороны, намерены не переставая нападать на зло мира, где бы оно ни было, вверху или внизу, в области политической, административной или религиозной, стремясь всеми возможными для нас средствами к осуществлению того, чтобы царства земные слились в одно царство господа нашего Иисуса Христа. Мы считаем несомненной истиной то, что всё то, что противно Евангелию и духу его и потому подлежит уничтожению, должно быть сейчас же уничтожаемо. И потому, если мы верим предсказанию о том, что наступит время, когда мечи перекуются на орала и копья на серпы, мы сейчас же, не откладывая этого на будущее время, должны делать это по мере сил наших. И потому все те, которые выделывают, продают, употребляют оружие, содействуют всяким военным приготовлениям, этим самым вооружаются против мирного господства Сына Божьего на земле. Высказав наши основы, скажем теперь о том, какими путями мы надеемся достигнуть нашей цели. Мы надеемся победить «безумием проповеди».

Мы будем стараться распространять свои взгляды среди всех людей, к каким бы народам, исповеданиям и слоям общества они ни принадлежали. Для этой цели мы будем устраивать публичные чтения, распространять печатные объявления и брошюры, составлять общества и подавать прошения во всякие правительственные учреждения. Вообще будем стремиться всеми доступными для нас средствами к достижению коренного переворота во взглядах, чувствах и действиях нашего общества относительно греховности насилия по отношению к внешним и внутренним врагам. Принимаясь за это великое дело, мы вполне сознаем, что наша искренность может быть подвергнута жестоким испытаниям. Наша задача может навлечь на нас оскорбления, обиды, страдания и даже смерть. Нас ожидает непонимание, ложное толкование и клевета. Против нас должна подняться буря. Гордость и фарисейство, честолюбие и жестокость, правители и власти,– всё это может соединиться, чтоб уничтожить нас. Таким образом поступали с мессией, которому мы стремимся подражать по мере сил своих. Но нас не пугают эти ужасы. Мы надеемся не на людей, а на всемогущего Господа. Если мы отказались от человеческого заступничества, что же может поддержать нас, как не одна вера, побежда

ющая мир? Мы не будем удивляться тем испытаниям, которым мы подвергнемся, а будем радоваться тому, что удостоимся разделить страдания Христа.

Вследствие всего этого мы передаем души свои Богу, веруя тому, что сказано, что тот, кто оставит дома и братьев и сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля ради Христа, получит во сто раз больше и наследует жизнь вечную. Итак, твердо веруя, несмотря на всё, что может вооружиться против нас, в несомненное торжество во всем мире основ, выраженных в этом провозглашении, мы прилагаем здесь свои подписи, надеясь на разум и совесть человечества, более же всего на силу Божию, которой и вручаем себя.

Вслед за этим провозглашением были основаны Гаррисоном общество непротивления и журнал, называвшийся «Непротивляю- щимся» («Non-resistant»), в котором проповедовалось учение непротивления во всем его значении и со всеми его последствиями, как оно было выражено в провозглашении. Сведения о дальнейшей судьбе общества и журнала непротивления получены мною из прекрасной биографии В. Л. Гаррисона, составленной его сыновьями.

Общество и журнал просуществовали недолго: большинство сотрудников Гаррисона по делу освобождения рабов, опасаясь того, чтобы слишком радикальные требования, выраженные в журнале «Непротивляющемся», не оттолкнули людей от практического дела освобождения негров,-— большинство сотрудников отказалось от исповедания принципа непротивления, как он был выражен в провозглашении, и общество и журнал прекратили свое существование.

Это провозглашение Гаррисона, так сильно и красноречиво выражавшее такое важное для людей исповедание веры, казалось, должно было поразить людей и сделаться всемирно известным и предметом всестороннего обсуждения. Но ничего подобного не было. Оно не только не известно в Европе, но среди американцев, столь высоко чтущих память Гаррисона, провозглашение это почти неизвестно.

Та же неизвестность постигла и другого борца за непротивление злу, недавно умершего, в продолжение 50 лет проповедовавшего это учение, американца Адина Баллу. До какой степени мало известно всё то, что относится к вопросу непротивления, видно из того, что Гаррисон-сын, написавший превосходную, в 4-х больших томах, биографию своего отца, этот Гаррисон-сын на вопрос мой о том, существует ли теперь общество непротивления и есть ли последователи его, отвечал мне, что, сколько ему известно, общество это распалось и последователей этого учения не существует, тогда как в то время, когда он писал мне, жил в Массачусете, в Hopedale, Адин Баллу, участвовавший в трудах отца Гаррисона и посвятивший 50 лет жизни на про

поведь устно и печатно учения непротивления. Впоследствии я получил письмо от Вильсона, ученика и помощника Баллу, и вошел в сношения с самим Баллу. Я написал Баллу, и он отвечал мне и прислал мне свои сочинения. Вот некоторые выписки из них.

«Иисус Христос – мой Господь и учитель,– говорит Баллу в одной из статей, обличающей непоследовательность христиан, признающих право защиты и войны.–Я обещал, оставив всё, следовать за ним, на худое и доброе до самой смерти. Но я гражданин демократической республики Соединенных Штатов, которой я присягал в верности в том, что я буду поддерживать конституцию моей страны, если нужно жертвою жизни. Христос требует от меня, чтобы я сделал другим то, что я хотел бы, чтобы мне делали. Конституция Соединенных Штатов требует от меня, чтобы я делал двум миллионам рабов (тогда были рабы, теперь на место их смело можно поставить рабочих) как раз обратное тому, что бы я хотел, чтобы мне делали, т. е. содействовал бы тому, чтобы держать их в том рабстве, в котором они находятся. И это ничего, я продолжаю избирать или избираться, я помогаю управлять, я даже готов быть выбран на какую-либо должность управления. Это не мешает мне быть христианином. Я продолжаю исповедовать и не нахожу затруднения исполнять завет с Христом и с правительством.

Иисус Христос запрещает мне противиться делающим зло и лишать их ока за око и зуба за зуб, крови за кровь, жизни за жизнь.

Мое правительство требует от меня как раз противного и защиту себя основывает на виселице, ружье, мече, употребляемых против своих домашних и внешних врагов. И соответственно этому страна снабжается виселицами, тюрьмами, арсеналами, военными кораблями и солдатами.

В поддержании и употреблении этих дорогостоящих убийственных приспособлений мы можем весьма удобно осуществить добродетель ***прощения обижающих нас, любви к врагам, благословения проклинающих нас и делания добра ненавидящим нас.*** Для этой цели у нас есть постоянные христианские священники, чтобы молиться за нас и призывать благословение божие на святые убийства. Я всё это вижу (т. е. противоречие исповедания и жизни) и продолжаю и исповедовать и управлять и горжусь тем, что ***я в одно и то же время и набожный христианин и преданный слуга правительству.*** Не хочу я согласиться с этим безумным понятием непротивления. Не могу я отказаться от своего влияния и оставить одних безнравственных людей во главе правительства. Конституция говорит: правительство имеет право объявлять войну, и я соглашаюсь, я поддерживаю это, я клянусь, что буду поддерживать. Я от этого не перестаю быть христианином. Война тоже христианская

обязанность. Разве не христианское дело убить сотни тысяч ближних, насиловать женщин, разорять и сжигать города и делать всевозможные жестокости? Пора бросить все эти выдуманные сентиментальности. Это самое настоящее средство прощать обиды и любить врагов. Если мы только делаем это в духе любви, ничего не может быть более христианского, как такое огульное убийство».

В другой брошюре, под заглавием: ***«Сколько нужно людей, чтобы преобразить злодейство в праведность»,*** он говорит; «Один человек не должен убивать. Если он убил, он преступник, он убийца. Два, десять, сто человек, если они делают это,– они убийцы. Но государство или народ может убивать, сколько он хочет, и это не будет убийство, а хорошее, доброе дело. Только собрать побольше народа, и бойня десятков тысяч людей становится невинным делом. Но сколько именно нужно людей для этого?

Вот в чем вопрос. Один не может красть, грабить, но целый народ может. Но сколько именно нужно для этого? Почему 1, 10, 100 человек не должны нарушать закона Бога, а очень много могут?»

А вот катехизис Баллу, составленный для его паствы.

КАТЕХИЗИС НЕПРОТИВЛЕНИЯ*

Вопр.– Откуда взято слово «непротивление»?

Отв.– Из изречения: ***не противься злому.*** Мф. V, 39.

Вопр.– Что выражает это слово?

Отв.– Оно выражает высокую христианскую добродетель, предписываемую Христом.

Вопр.– Следует ли слово непротивление принимать в самом его обширном смысле, т. е. что оно указывает на то, чтобы не делать никакого ***сопротивления злу.***

Отв.– Нет, оно должно быть понимаемо в точном смысле наставления Спасителя, т. е. не платить ***злом за зло.*** Злу должно противиться всякими праведными средствами, но никак не злом.

Вопр.– Из чего видно, что Христос в таком смысле предписал непротивление?

Отв.– Из слов, которые Он при этом сказал. Он говорил: Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.

Вопр.– О ком Он говорил в словах; вы слышали, что сказано?

' Перевод сделан свободно, с некоторыми пропусками.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

Отв.– О патриархах и пророках, о том, что они сказали,– что содержится в писаниях Ветхого Завета, который евреи обыкновенно называют ***Закон и пророки.***

Вопр.– Какие предписания разумел Христос под словами: «вам сказано»?

Отв.– Те предписания, в которых Ной, Моисей и другие пророки дают право причинять личный вред наносителям вреда, чтобы наказывать и уничтожать злые дела.

Вопр.– Приведите такие предписания.

Отв.– «Кто прольет кровь человеческую между людьми, того самого кровь прольется». Быт. IX, 6.

«Кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Исх. XXI, 12, 23, 25.

«Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». «А кто сделает повреждение ближнему своему, тому должно сделать то же, что он сделал». «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб». Лев. XXIV, 17, 19, 20.

«А судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот есть свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то поступайте с ним так, как он умышлял поступить с братом своим. Да не пощадит его глас твой: душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Второз. XIX, 18, 21.

Вот предписания, о которых говорит Иисус.

Ной, Моисей и пророки учили так, что тот, кто убивает, калечит или мучает своих ближних, делает зло. Чтобы противиться такому злу и уничтожать его, нужно делающего зло наказывать смертью или искалечением или каким-нибудь личным мучением. Обиде нужно противопоставить обиду, убийству – убийство, мучению – мучение, злу – зло. Так учили Ной, Моисей и пророки. Но Христос отрицает всё это. «Я говорю вам, написано в Евангелии: не противься злому, не противься обиде – обидою, но скорее перенеси повторенную обиду от делающего зло». То, что было позволено, запрещается. Понявши, какого рода противлению они учили, мы точно знаем, чему учит непротивление Христа.

Вопр.– Допускали ли древние сопротивление обиде обидою?

Отв.– Да. Но Иисус запретил это. Христианин ни в каком случае не имеет права лишать жизни или подвергать обиде делающего зло ближнего.

Вопр.– Может ли он убить, или искалечить другого при самообороне?

Отв.– Нет.

Вопр.– Может ли он войти с жалобой в суд с той целью, чтобы его обидчик был наказан?

Отв.– Нет. Ибо, что он делает через других, в сущности он сам делает.

Вопр.– Может ли он сражаться в войске против неприятелей или против домашних бунтовщиков?

Отв.– Конечно, нет. Он не может принимать никакого участия в войне или воинских приготовлениях. Он не может употреблять смертоносного оружия. Он не может противиться обиде обидой, всё равно один ли он, или вместе с другими, сам или через других людей.

Вопр.– Может ли он добровольно выбирать, или снаряжать военных людей правительству?

Отв.– Он не может делать ничего этого, если хочет быть верным закону Христа.

Вопр.– Может ли он добровольно давать деньги для помощи правительству, поддерживаемому военной силой, смертной казнью, вообще насилием?

Отв.– Нет, если только деньги не предназначены на какой-нибудь особый предмет, справедливый в самом себе, где и цель и средства добрые.

Вопр.– Может ли он платить подати такому правительству?

Отв.– Нет, он не должен добровольно платить подати, но не должен противиться взиманию податей. Подать, налагаемая правительством, взыскивается независимо от воли подданных. Ей нельзя противиться, не прибегая самому к насилию. Насилия же христианин употреблять не может, поэтому он должен предоставить прямо ***свою собственность*** насильственному ущербу, производимому властями.

Вопр.– Может ли христианин подавать голос при выборах и участвовать в суде или управлении?

Отв.– Нет, участие в выборах, суде или управлении есть участие в правительственном насилии.

Вопр.– В чем главное значение учения о непротивлении?

Отв.– В том, что оно одно дает человеку возможность вырвать с корнем зло, как из своего сердца, так и из сердца ближнего. Учение это запрещает делать то, чем увековечивается и умножается зло в мире. Тот, кто нападает на другого и обижает его, зажигает в другом чувство ненависти, корень всякого зла. Обидеть другого, потому что он нас обидел, будто бы для того, чтобы устранить зло, значит повторить дурное дело и над ним и над собой, значит ***породить*** или по крайней мере ***освободить – поощрить*** того самого демона, которого мы будто бы хотим изгнать. Сатана не может быть

изгнан сатаною, неправда не может быть очищена неправдою, и зло не может быть побеждено злом.

Истинное ***непротивление*** есть единственное настоящее сопротивление злу. Оно сокрушает голову змия. Оно убивает и вконец истребляет злое чувство.

Вопр.– Но если мысль учения и верна, то исполнимо ли оно?

Отв.– Так же исполнимо, как всякое добро, предписываемое законом божиим. Добро не может быть исполняемо во всех обстоятельствах без самоотречения, лишения, страдания и, в крайних случаях, без потери самой жизни. Но тот, кто дорожит жизнью более, чем исполнением воли Бога, уже мертв для единственной истинной жизни. Такой человек, стараясь спасти свою жизнь, потеряет ее. Кроме того, и вообще там, где непротивление стбит пожертвования одною жизнью или каким-нибудь существенным благом жизни, противление стбит таких жертв тысячи.

Непротивление сохраняет – противление разрушает.

Несравненно безопаснее поступать справедливо, чем несправедливо; сносить обиду, чем противиться ей насилием,– безопаснее даже в отношении к настоящей жизни. Если бы все люди не противились злу злом, наш мир был бы блажен.

Вопр.– Но когда лишь немногие будут так поступать, что станется с ними?

Отв.– Если бы так поступал даже только один человек, а все остальные согласились распять его, то не более ли славно было бы ему умереть в торжестве непротивляющейся любви, молясь за врагов своих, чем жить, нося корону Цезаря, обрызганную кровью убитых? Но один ли, или тысячи людей, твердо решивших не противиться злу злом, всё равно среди просвещенных ли, или среди диких ближних, гораздо больше безопасны от насилия, чем те, которые полагаются на насилие. Разбойник, убийца, обманщик скорее оставит их в покое, чем тех, кто сопротивляется оружием. Взявшие меч от меча погибнут, а ищушие мира, поступающие дружественно, безобидно, забывающие и прощающие обиды большею частью наслаждаются миром или если умирают, то умирают благословляемыми.

Таким образом, если бы все соблюдали заповедь непротивления, то, очевидно, не было бы ни обиды, ни злодейства. Если бы таких было большинство, то они установили бы управление любви и доброжелательства даже над обижающими, никогда не противясь злу злом, никогда не употребляя насилия. Если бы таких людей было довольно многочисленное меньшинство, то они произвели бы такое исправительное нравственное действие на общество, что всякое жестокое наказание было бы отменено, а насилие и вражда заменились бы миром и любовью. Если бы их было только малое меньшин

ство, то оно редко испытало бы что-нибудь худшее, чем презрение мира, а мир между тем, сам того не чувствуя и не будучи за то благодарен, постоянно становился бы мудрее и лучше от этого тайного воздействия. И если бы в самом худшем случае некоторые из членов меньшинства были бы гонимы до смерти, то эти погибшие за правду оставили бы по себе свое учение, уже освященное их мученической кровью.

Да будет мир со всеми, кто ищет мира, и всепобеждающая любовь да будет негибнущим наследием всякой дущи, добровольно подчиняющейся закону Христа:

«Не противься злу насилием».

Баллу в продолжение 50 лет писал и издавал книги преимущественно о вопросе непротивления злу насилием. В сочинениях этих, прекрасных по ясности мысли и красоте изложения, вопрос рассмотрен со всех сторон. Устанавливается обязательность этой заповеди для всякого христианина, исповедующего Библию как божеское откровение. Приводятся все обычные возражения против заповеди непротивления как из Ветхого Завета, так и из Нового, как, например; изгнание из храма и т. п. и на все выставляются опровержения; показывается независимо от писания практическая разумность этого правила, и выставляются все обычно делаемые против нее возражения и опровергаются. Так, одна глава его сочинения трактует о непротивлении злу в исключительных случаях, в которой он признает, что если бы были случаи, в которых невозможно применение непротивления злу, то это доказывало бы, что правило это вообще несостоятельно. Приводя эти исключительные случаи, он доказывает, что именно в них-то и нужно и разумно применение этого правила. Нет стороны вопроса, как для сторонников его, так и для противников, которая бы не была исследована в этих сочинениях. Всё это я говорю для того, чтобы показать тот несомненный интерес, который должны бы иметь такие сочинения для людей, исповедующих христианство, и что потому, казалось бы, деятельность Баллу должна бы была быть известной, и мысли, выраженные им, должны бы быть или признаны, или опровергнуты; но ничего подобного не было.

Деятельность Гаррисона-отца с его основанием общества непротивляющихся и декларация еще более, чем сношения мои с квакерами, убеждали меня в том, что отступление государственного христианства от закона Христа о непротивлении насилием есть дело, давно замеченное и указанное и для обличения которого работали и не перестают работать люди. Деятельность Баллу еще более подтвердила мне это. Но судьба и Гаррисона и в особенности Баллу, никому не известного, несмотря на 50 лет упорной и постоянной работы в одном и том же направлении, подтвердила для меня и то,

что существует какой-то невысказанный, но твердый уговор замал- чиванья всех таких попыток.

В августе 1890 года Баллу скончался, и в американском христианского направления журнале (Religio-Philosophical journal, August 23) был его некролог.

В хвалебном некрологе этом пишется о том, что Баллу был духовным руководителем общины, что он произнес от 8 до 9 тысяч проповедей, женил 1000 пар и написал около 500 статей, но ни одного слова не сказано о той цели, которой он посвятил свою жизнь, не сказано даже и слова: «непротивление».

Как всё то, что 200 лет проповедуют квакеры, как деятельность Гаррисона-отца, основание его общества и журнала, его провозглашение, так и вся деятельность Баллу точно как будто не существует и не существовали.

Поразительным примером такой неизвестности сочинений, направленных на разъяснение непротивления злу насилием и обличение тех, которые не признают этой заповеди, служит судьба книги чеха Хельчицкого, только недавно ставшей известной и до сих пор еще не напечатанной.

Вскоре по выходе моей книги по-немецки я получил из Праги письмо от профессора тамошнего университета, сообщившее мне о существовании никогда нигде не напечатанного сочинения чеха Хельчицкого XV века, под названием ***«Сеть веры».*** В сочинении этом, как писал мне профессор, Хельчицкий около 4-х веков тому назад высказывал тот же взгляд на истинное и ложное христианство, который высказывал и я в сочинении «В чем моя вера?» Профессор писал мне, что сочинение Хельчицкого должно было быть издано в первый раз на чешском языке в журнале Петербургской академии наук. Не имея возможности достать самое сочинение, я постарался познакомиться с тем, что известно о Хельчицком, и такие сведения я получил из немецкой книги, присланной мне тем же пражским профессором, и из истории чешской литературы Пыпина. Вот что сказано у Пыпина: «Сеть веры» есть учение Христово, которое должно извлекать человека из темной глубины житейского моря и его неправд. Истинная вера состоит в том, чтобы верить Божьим словам; но теперь пришло такое время, что люди истинную веру принимают за ересь, и поэтому разум должен указать, в чем состоит истинная вера, если кто этого не знает. Тьма закрыла ее от людей, и они не узнают истинного закона Христа.

Для объяснения этого закона Хельчицкий указывает на первобытное устройство христианского общества,– то устройство, которое, говорит он, считается теперь в римской церкви гнусным еретичеством.

Эта первобытная церковь была его собственным идеалом общественного устройства, основанного на равенстве, свободе и братстве. Христианство, по мнению Хельчицкого, до сих пор хранит в себе эти основания, нужно только, чтоб общество возвратилось к его чистому учению, и тогда оказался бы излишним всякий иной порядок, которому нужны короли и папы: во всем достаточно одного закона любви...

Исторически Хельчицкий относит упадок христианства ко временам Константина Великого, которого папа Сильвестр ввел в христианство со всеми языческими нравами и жизнью. Константин, в свою очередь, наделил папу светским богатством и властью. С тех пор обе власти постоянно помогали друг другу и стремились только к внешней славе. Доктора и магистры и духовное сословие стали заботиться только о том, чтобы покорить весь свет своему владычеству, вооружали людей друг против друга на убийства и грабежи и совсем уничтожили христианство в вере и в жизни. Хельчицкий совершенно отвергает право войны и смертную казнь: всякий воин, даже и «рыцарь», есть только насильник, злодей и убийца».

То же, с некоторыми биографическими подробностями и выдержками из переписки Хельчицкого, сказано и в немецкой книге.

Узнав, таким образом, сущность учения Хельчицкого, я с тем большим нетерпением ожидал появления «Сети веры» в журнале Академии. Но прошел год, два, три – книга не появлялась. Только в 1888 году я узнал, что начатое печатание книги приостановилось. Я достал корректурные листы того, что было отпечатано, и прочел книгу. Книга во всех отношениях удивительная.

Содержание ее совершенно верно передано Пыпиным. Основная мысль Хельчицкого та, что христианство, соединившись с властью при Константине и продолжая развиваться в этих условиях, совершенно извратилось и перестало быть христианством. Заглавие «Сеть веры» дано Хельчицким его сочинению потому, что, взяв эпиграфом стих Евангелия о призвании учеников с тем, чтобы они стали ловцами людей, Хельчицкий, продолжая это сравнение, говорит: «Христос посредством учеников захватил в свою сеть веры весь мир, но большие рыбы, пробив сеть, выскочили из нее и в проделанные этими большими рыбами дыры ушли и все остальные, так что сеть осталась почти пустая».

Большие рыбы, пробившие сеть, это властители, императоры, папы, короли, которые, не отказываясь от власти, приняли не христианство, а только личину его.

Хельчицкий учит тому же, чему учили и учат теперь непротив- ляющиеся менониты, квакеры, в прежние времена – богомилы, павликиане и многие другие. Он учит тому, что христианство, тре

бующее от своих последователей кротости, смирения, незлобия, прощения обид, подставления другой щеки, когда бьют по одной, любви к врагам,– несовместимо с насилием, составляющим необходимое условие власти.

Христианин, по толкованию Хельчицкого, не только не может быть начальником или солдатом, но не может принимать никакого участия в управлении, не может быть торговцем или даже землевладельцем, а может быть только или ремесленником, или земледельцем.

Книга эта – одна из редких, уцелевших от костров книг, обличающих официальное христианство. Все такие книги, называемые еретическими, сожжены вместе с авторами, так что древних сочинений, обличающих отступление официального христианства, очень мало, и потому эта книга особенно интересна.

Но, кроме того, что она интересна, как ни смотреть на нее, книга эта есть одно из замечательнейших произведений мысли и по глубине содержания, и по удивительной силе и красоте народного языка, и по древности. А между тем книга эта остается, вот уже более четырех веков, ненапечатанной и продолжает быть неизвестной, за исключением ученых специалистов.

Казалось бы, что все такого рода сочинения и квакеров, и Гаррисона, и Баллу, и Хельчицкого, утверждающие и доказывающие на основании Евангелия, что наш мир ложно понимает учение Христа, должны бы возбудить интерес, волнение, шум, споры в среде как пастырей, так и пасомых.

Сочинения такого рода, затрагиваюшие самую сущность христианского учения, должны бы были, казалось, быть разобраны и признаны справедливыми или отвергнуты и опровергнуты.

Но ничего подобного нет. Со всеми этими сочинениями повторяется одно и то же. Люди самых разных взглядов, как верующие, так и – что достойно удивления – неверующие либералы, как бы сговорившись, все одинаково упорно молчат о них, и всё то, что делается людьми для разъяснения истинного смысла учения Христа, остается неизвестным или забытым.

Но еще более удивительна неизвестность двух сочинений, о которых я узнал тоже по случаю появления моей книги. Это книга Dymond'a «On war» – ***«О войне»,*** изданная в первый раз в Лондоне в 1824 году, и Daniel Musser'a ***«О непротивлении»,*** написанная в 1864 году. Неизвестность этих книг удивительна особенно потому, что, не говоря о достоинстве их, обе книги трактуют не столько о теории, сколько о практическом приложении теории к жизни, об отношении христианства к военной службе, что теперь особенно важно и интересно при общей воинской повинности.

Спросят, может быть: как же обязан поступить подданный, который верит, что война несовместима с его религией, но от которого правительство требует участия в военной службе?

Кажется, что это вопрос самый живой и такой, на который ответ при теперешней общей воинской повинности особенно важен. Все или огромное большинство людей – христиане, и все мужчины призываются к военной службе. Как же должен человек, как христианин, отвечать на это требование? Ответ Dymond'а такой:

«Обязанность его состоит в том, чтобы с кротостью, но и с твердостью отказаться от службы.

Есть некоторые люди, которые без всякого определенного рассуждения прямо почему-то заключают, что ответственность за государственные меры ложится только на тех, которые распоряжаются, или что правительство и цари решают вопросы о том, что хорошо или дурно для подданных, и что подданные обязаны только повиноваться. Я думаю, что рассуждения такого рода только отуманивают совесть людей. «Я не могу участвовать в совете правительства и потому не ответствен в его преступлениях». Правда, мы не ответственны в преступлениях правителей, но мы ответственны в своих собственных преступлениях. И преступления правителей делаются нашими, если мы, зная, что это преступления, содействуем их совершению... Те, которые полагают, что они обязаны повиноваться правительству и что ответственность за совершаемые ими преступления переносится с них на их государей, сами себя обманывают.

Говорят: «мы передаем свои поступки воле других людей, и наши поступки не могут быть ни дурными, ни хорошими; в наших поступках не может быть ни заслуги за доброе, ни ответственности за злое, так как они совершаются не по нашей воле».

Замечательно, что это самое выражено в наставлении солдатам, которые их заставляют заучивать: там сказано, что только начальник отвечает за последствия своего приказания.

Но это несправедливо. Человек не может снять с себя ответственности за свои поступки. И это видно из следующего:

«Если начальник велит вам убить ребенка вашего соседа, убить вашего отца, вашу мать, послушаетесь ли вы? Если же вы не послушаетесь, то и всё рассуждение никуда не годится, потому что если вы можете не послушаться правителей в одном случае, то где же вы найдете тот предел, до которого вы можете повиноваться? Нет другого предела, кроме того, который определен христианством, и предел этот и разумен и исполним.

И потому мы полагаем, что обязанность каждого человека, считающего, что война несовместима с христианством,– кротко, но твердо отказаться от военной службы. И пусть те, которым приходится

так поступать, пусть они помнят, что на них лежит великая обязанность. От их верности своей религии зависит – настолько, насколько она зависит от людей,– судьба мира в человечестве. Пускай они исповедуют свое убеждение и защищают его. И не одними словами, но и страданиями, если то будет нужно. Если вы верите, что Христос запретил убийство, не верьте ни суждениям, ни приказаниям людей, призывающих вас к участию в нем. Таким твердым отказом от участия в насилии вы привлечете к себе благословение, данное тем, которые слышат слова эти и исполняют их, и придет время, когда и мир почтит вас как участников в возрождении человечества».

Книга Мосера называется ***«Утверждение непротивления»*** или ***«Разделение царства Христа и царства мира сего»,*** в 1864. «Non-resistance asserted» или «Kingdom of Christ and kingdom of this world separated».

Книга эта посвящена тому же вопросу и разъясняет его по случаю требования американским правительством от своих граждан военной службы во время междоусобной войны. И тоже имеет самое современное значение, разъясняя вопрос о том, как, при каких условиях люди должны и могут отказываться от военной службы. В вступлении автор говорит;

«Известно, что в Соединенных Штатах есть много людей, сознательно отрицающих войну. Их называют «непротивляющимися» (non- resistant) или «беззащитными» (defenceless) христианами. Эти христиане отказываются защищать свою страну, носить оружие и, по требованию правительства, воевать против его врагов. До сих пор эта религиозная причина была уважаема правительством, и те, которые выставляли ее, были освобождаемы от службы. Но с началом нашей междоусобной войны общественное мнение возмущено этим обстоятельством. Естественно, что лица, считающие своей обязанностью нести все тяжести и опасности военной жизни для защиты своего отечества, чувствуют недоброжелательство к тем лицам, которые вместе с ними в продолжение долгого времени пользовались покровительством и выгодами правительства; во время же нужд и опасности не хотят участвовать в несении трудов и опасности для защиты его. Естественно даже и то, что положение таких людей признают неразумным, уродливым и признают его подозрительным».

«Много ораторов и писателей,– говорит автор,– восстали против такого положения и старались доказать несправедливость непротивления и по здравому смыслу и по Писанию; и это совершенно естественно, и во многих случаях эти писатели правы,– правы в отношении к лицам, которые, отказываясь от трудов военной службы, не отказываются от выгод, получаемых ими от правительств, но – не правы по отношению самого принципа «непротив

ления». Прежде всего автор доказывает обязательность для христианина правила непротивления тем, что предписание это ясно и что оно без возможности перетолкования дано Христом всякому христианину.

«Судите сами, справедливо ли повиноваться человеку более, чем Богу»,– сказали Петр и Иоанн. И точно так же всякий человек, желающий быть христианином, должен относиться к требованиям идти на войну, когда Христос сказал ему: «Не противься злу насилием».

Этим вопрос о самом принципе автор считает решенным. Но другой вопрос, о том, имеют ли право отказаться от военной службы лица, не отказывающиеся от выгод, даваемых насилием правительства, автор разбирает подробно и приходит к заключению, что христианин, следующий закону Христа, если он не идет на войну, не может точно так же принимать участия ни в каких правительственных распоряжениях: ни в судах, ни в выборах,– не может точно так же и в личных делах прибегать к власти, полиции или суду.– Далее в книге разбирается отношение Ветхого Завета к Новому, значение правительства для нехристиан; представляются возражения на учение непротивления и опровержения их. Заключает свою книгу автор следующим:

«Христиане не нуждаются в правительстве и потому не могут: ни повиноваться ему в том, чтб противно учению Христа, ни, тем менее, участвовать в нем».

«Христос избрал своих учеников из мира,– говорит он.– Они не ожидают мирских благ и мирского счастия, а, напротив, они ожидают жизни вечной. Дух, в котором они живут, делает их довольными и счастливыми во всяком положении. Если мир терпит их, они всегда довольны. Если же мир не хочет оставить их в покое, то они уйдут в другое место, так как они странники на земле и у них нет определенного места жительства. Они считают, что мертвые могут хоронить своих мертвецов, им же нужно одно: «следовать за своим учителем».

Не касаясь вопроса о том, верно или неверно определение обязанности христианина по отношению к войне, которая устанавливается в обеих книгах, нельзя не видеть практической важности и настоятельности решения этого вопроса.

Есть люди – есть сотни тысяч квакеров, есть менониты, есть все наши духоборцы, молокане и люди, не принадлежащие ни к каким определенным сектам, которые считают, что насилие, а потому и военная служба – несовместимы с христианством, и потому каждый год у нас в России несколько призываемых людей отказываются от военной службы на основании своих религиозных убеждений. Как же поступает правительство? Отпускает их? – Нет.– Заставляет их

идти и, в случае несогласия, наказывает их? – Нет. В 1818 году правительство поступило следующим образом. Вот никому почти в России не известная выписка из дневника Ник. Ник. Муравьева-Карско- го, не пропущенная цензурой:

2-го октября 1818 г. Тифлис.

Поутру комендант сказал мне, что недавно прислано в Грузию пять крестьян помещичьих Тамбовской губернии. Сии люди были в солдаты сданы, но не хотят служить; их уже несколько раз кнутом секли и сквозь строй гнали, но они отдают себя охотно на самые жестокие мучения и на смерть, дабы не служить. «Отпустите нас,– говорят они,– и не троньте нас, мы никого трогать не будем. Все люди равны, и государь тот же человек, как и мы; зачем мы будем ему подати платить, зачем я буду подвергать свою жизнь опасности, чтобы убить на войне человека, мне не сделавщего никакого зла? Вы можете нас по кускам резать, а мы не переменим своих мыслей, не наденем щинели и не будем пайка есть. Тот, который над нами сжалится, даст нам милостыню, а казенного мы ничего не имели и иметь не хотим». Вот слова сих мужиков, которые уверяют, что им подобных есть множество в России. Их четыре раза водили в Комитет министров и, наконец, решились о том представить государю, который приказал для поправления отправить их в Грузию и предписал главнокомандующему доносить ему ежемесячно о постепенных успехах для приведения сих крестьян к настоящим мыслям».

Чем кончилось это поправление – неизвестно, так как неизвестен и весь эпизод, содержавшийся в глубокой тайне.

Так поступало правительство 75 лет тому назад,– так поступало оно в большом количестве случаев, всегда старательно скрываемых от народа. Так же поступает оно и теперь, за исключением немцев-менонитов, живущих в Херсонской губернии, отказ которых от военной службы признается уважительным и которых заставляют отбывать сроки службы в работах при лесничестве.

В тех недавних случаях отказа от военной службы, вследствие религиозных убеждений неменонитов, правительственные лица поступали так;

Сначала прилагают все употребляемые в наше время меры насилия для «поправления» отказывающихся и приведения их «к настоящим мыслям» и держат производство этих дел в величайшей тайне. Я знаю, что про одного из отказавшихся в 1884 году в Москве через два месяца после его отказа составилось огромное, толстое дело, хранившееся в министерстве под величайшим секретом.

Начинается обыкновенно с того, что отказывающегося посылают к священникам и, к стыду их, они всегда увещевают отказывающих

ся.– Но так как увещание во имя Христа – отречься от Христа бывает большей частью безуспешным, то отказавшегося после увещания духовных лиц посылают к жандармам. Жандармы обыкновенно, не находя ничего политического, возвращают его назад и тогда отказавщегося посылают к ученым, к врачам и в сумасщед- щий дом. Во всех этих пересылках отказывающийся, лишенный свободы, терпит всякого рода унижения и страдания, как приговоренный преступник. (Это повторялось в четырех случаях.) Из сумасшедшего дома доктора выпускают отказавшегося, и тогда начинаются всякие тайные, хитрые меры, чтобы и не отпустить отказавшегося, поощрив тем других отказываться так же, как и он, и вместе с тем не оставить его среди солдат, чтобы и солдаты не узнали от него того, что призвание их к военной службе совершается совсем не по закону Бога, как их уверяют, а против него.

Самое удобное для правительства было бы казнить отказавшегося: засечь палками или каким-нибудь иным способом, как это делалось прежде. Но казнить открыто человека за то, что он верен учению, которое мы сами исповедуем,– нельзя. Оставить же человека, отказывающегося от повиновения,– тоже нельзя. И вот правительство старается или страданиями заставить этого человека отречься от Христа, или как-нибудь незаметно избавиться от него, не казня его открыто, скрыть как-нибудь и поступок этого человека и его самого от других людей. И начинаются всякого рода уловки и хитрости и мучения этого человека. Или ссылают этого человека на окраины, или вызывают на непослушание и тогда судят за нарушение дисциплины и запирают в тюрьму, дисциплинарный батальон, где уже тайно от всех свободно мучают его, или признают сумасшедшим и запирают в дом умалишенных. Так, одного сослали в Ташкент, т. е. как будто перевели в Ташкентское войско, другого в Омск, третьего судили за непослушание и заперли в тюрьму, четвертого в дом умалишенных.

Везде повторяется одно и то же. Не только правительство, но и большинство либеральных, свободно мысляших людей, как бы сговорившись, старательно отворачиваются от всего того, что говорилось, писалось, делалось и делается людьми для обличения несовместимости насилия в самой ужасной, грубой и яркой его форме – в форме солдатства, т. е. готовности убийства кого бы то ни было,– с учением не только христианства, но хотя бы гуманности, которое общество будто бы исповедует.

Так что сведения, полученные мною о том, в какой степени уже давно разъяснено и всё больше и больше разъясняется истинное значение учения Христа, и о том, как относятся к этому разъяснению и исполнению учения высшие, правящие классы не только в

России, но в Европе и в Америке, убедили меня в том, что существует в этих правящих классах сознательно враждебное отношение к истинному христианству, выражающееся преимущественно замалчиванием всех проявлений его.

II

Такое же впечатление желания скрыть, замолчать то, что я старался высказать в своей книге, произвели во мне и суждения о ней.

Книга по выходе ее, как я и ожидал, была запрещена и по закону должна была быть сожжена. Но книга вместо сожжения была разобрана чиновниками и распространилась в большом количестве списков и литографных оттисков и в переводах, напечатанных за границей.

И очень скоро на книгу появились критики, не только духовные, но и светские, которые правительство не только допускало, но и поощряло. Так что даже опровержение книги, которая считалась никому не известной, назначено было темой богословских сочинений в академиях.

Критики на мою книгу, как русские, так и иностранные, разделяются на два главные рода: критики религиозные – люди, считающие себя верующими, и критики светские – вольнодумные.

Начну с первых:

В книге моей я обвиняю церковных учителей в том, что они учат противно заповедям Христа, ясно и определенно выраженным в нагорной проповеди, и особенно противно заповеди о непротивлении злу и лишают этим учение Христа всего его значения. Церковные учители признают нагорную проповедь с заповедью о непротивлении злу насилием божественным откровением и потому, если они уже раз нашли нужным писать о моей книге, то, казалось бы, им необходимо было прежде всего ответить на этот главный пункт обвинения и прямо высказать, признают или не признают они обязательным для христианина учение нагорной проповеди и заповедь о непротивлении злу насилием, и отвечать не так, как это обыкновенно делается, т. е. сказать, что хотя, с одной стороны, нельзя собственно отрицать, но, с другой стороны, опять-таки нельзя утверждать, тем более, что и т. д., а ответить так же, как поставлен вопрос в моей книге: действительно ли Христос требовал от своих учеников исполнения того, чему он учил в нагорной проповеди, и потому может или не может христианин, оставаясь христианином, идти в суд, участвуя в нем, осуждая людей или ища в нем защиты силой, может или не может христианин, оставаясь христианином, участвовать в управлении, употребляя насилие против сво

их ближних и самый главный, всем предстоящий теперь с общей воинской повинностью, вопрос – может или не может христианин, оставаясь христианином, противно прямому указанию Христа обещаться в будущих поступках, прямо противных учению, и, участвуя в военной службе, готовиться к убийству людей или совершать их?

Вопросы поставлены ясно и прямо, и, казалось, надобно ясно и прямо ответить на них. Но во всех критиках на мою книгу ничего подобного не было сделано, точно так же как не было сделано и по от- нощению всех тех обличений церковных учителей в отступлении их от закона Христа, которыми со времен Константина полна история.

Очень много было говорено по случаю моей книги о том, как я неправильно толкую те и другие места Евангелия, о том, как я заблуждаюсь, не признавая троицы, искупления и бессмертия дущи; говорено было очень многое, но только не то одно, что для всякого христианина составляет главный, существенный вопрос жизни: как соединить ясно выраженное в словах учителя и в сердце каждого из нас учение о прощении, смирении, отречении и любви ко всем; к ближним и к врагам, с требованием военного насилия над людьми своего или чужого народа.

Всё, что можно назвать подобиями ответов на этот вопрос, можно свести к следующим пяти разрядам. Я старался собрать в этом отношении всё, что мог, не только по критикам на мою книгу, но и по всему тому, что и в прежние времена писалось на эту тему.

Первый самый грубый способ ответа состоит в смелом утверждении того, что насилие не противоречит учению Христа, что оно разрешено и даже предписано христианам Ветхим и Новым Заветом.

Этого рода утверждения исходят большею частью от людей, находящихся на высоких ступенях правительственной или духовной иерархии и вследствие этого совершенно уверенных, что на их утверждения возражать никто не посмеет, а если кто и будет возражать, то они не услышат этих возражений. Люди эти большею частью до такой степени, вследствие одурманения властью, потеряли представление о том, что есть то христианство, во имя которого они занимают свое положение, что всё то, что есть в христианстве христианского, представляется им сектантством; всё же то, что в писании как Ветхого, так и Нового Завета может быть перетолковано в смысле антихристианском и языческом, они считают основанием христианства. В пользу своего утверждения о том, что христианство не противоречит насилию, эти люди выставляют обыкновенно с величайшей смелостью самые соблазнительные места из Ветхого и Нового Завета, самым нехристианским образом толкуя их: казнь Анания и Сапфиры, казнь Симона Волхва и т. п. Приводятся все те слова Христа, которые можно перетолковать как

оправдание жестокости: изгнание из храма, «Отраднее будет земле содомской, чем городу этому» и т. п.

По понятиям этих людей, христианское правительство нисколько не обязано руководиться духом смирения, прощения обид и любви к врагам.

Опровергать такое утверждение бесполезно потому, что люди, утверждающие это, сами себя опровергают или, скорее, отвергают себя от Христа, выдумывая своего Христа и свое христианство вместо того, во имя которого и существует и церковь и то положение, которое они в ней занимают. Если бы все люди знали, что церковь проповедует Христа казнящего и не прощающего и воюющего, то никто бы не верил в эту церковь и некому было бы доказывать то, что она доказывает.

Второй способ, несколько менее грубый, состоит в том, чтобы утверждать, что хотя действительно Христос учил подставлять щеку и отдавать кафтан и что это очень высокое нравственное требование, но... что есть на свете злодеи, и если не усмирять силой этих злодеев, то погибнет весь мир и погибнут добрые. Довод этот я на- щел в первый раз у Иоанна Златоуста и выставляю несправедливость его в книге «В чем моя вера?».

Довод этот неоснователен потому, что если мы позволим себе признать каких-либо людей злодеями особенными (ракй), то, во- первых, мы этим уничтожаем весь смысл христианского учения, по которому все мы равны и братья как сыны одного Отца Небесного; во-вторых, потому, что если бы и было разрешено Богом употреблять насилие против злодеев, то так как никак нельзя найти того верного и несомненного определения, по которому можно наверное узнать злодея от незлодея, то каждый человек или общество людей стало бы признавать взаимно друг друга злодеями, что и есть теперь; в-третьих, потому, что если бы и было возможно несомненно узнавать злодеев от незлодеев, то и тогда нельзя бы было в христианском обществе казнить или калечить, или запирать в тюрьмы этих злодеев, потому что в христианском обществе некому бы было исполнять это, так как каждому христианину, как христианину, предписано не делать насилия над злодеем.

Третий способ ответов, еще более тонкий, чем предыдущий, состоит в утверждении того, что хотя заповедь о непротивлении злу насилием и обязательна для христианина, когда зло направлено лично против него, она перестает быть обязательной, когда зло направлено против ближних, и что тогда христианин не только не обязан исполнять заповеди, но обязан для защиты ближних противно заповеди употреблять насилие против насилующих.

Утверждение это совершенно произвольно, и во всем учении Христа нельзя найти подтверждения такому толкованию. Такое толкование есть не только ограничение заповеди, но прямое отрицание и уничтожение ее. Если каждый имеет право употреблять насилие при угрожающей другому опасности, то вопрос об употреблении насилия сводится к вопросу определения того, что считать опасностью для другого. Если же мое частное суждение решает вопрос опасности для другого, то нет того случая насилия, которого нельзя бы было объяснить угрожающей другому опасностью. Казнили и сжигали колдунов, казнили аристократов и жирондистов, казнили и их врагов, потому что те, которые были во власти, считали их опасными для людей.

Если бы это важное ограничение, в корне подрывающее значение заповеди, входило в мысль Христа, то о нем должно было быть где-нибудь упомянуто. Во всей же проповеди и жизни учителя не только не сделано этого ограничения, но, напротив, как раз дано предостережение против такого ложного и соблазнительного, уничтожающего заповедь ограничения. Ошибка и невозможность такого ограничения с особенной яркостью показана в Евангелии при рассказе о рассуждении Каиафы, сделавшего именно это ограничение. Он признавал, что нехорошо казнить невинного Иисуса, но видел в этом опасность не для себя, но для всего народа и потому сказал: «лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу». И еще ярче высказано отрицание такого ограничения в словах, сказанных Петру при его попытке воспротивиться насилием злу, направленному против Иисуса (Мф. XXVI, 52). Петр защищал не себя, но своего любимого и божественного учителя. И Христос прямо запретил ему это, сказав, что поднявший меч от меча погибнет.

Кроме того, оправдание насилия, употребленного над ближним для защиты другого ближнего от худшего насилия, всегда неверно, потому что никогда при употреблении насилия против не совершившегося еще зла нельзя знать, какое зло будет больше – зло ли моего насилия, или того, от которого я хочу защищать. Мы казним преступника, избавляя от него общество, и никак не можем знать, не изменился ли бы завтра бывший преступник и не есть ли наша казнь бесполезная жестокость. Мы запираем опасного, по нашему мнению, члена общества, но с завтращнего дня этот человек мог перестать быть опасным и заключение его напрасно. Я вижу, что известный мне разбойник преследует девушку, у меня в руке ружье – я убиваю разбойника, спасаю девушку, но смерть или поранение разбойника совершилось наверное, то же, что бы произошло, если бы этого не было, мне неизвестно. А какое огромное количество зла должно произойти, как оно и происходит,– от при

знания людьми за собой права предупреждать могущее случиться зло. 0,99 зла мира от инквизиции до динамитных бомб и казней и страданий десятков тысяч так называемых политических преступников основано на этом рассуждении.

Четвертый, еще более утонченный ответ на вопрос, как должно относиться христианину к заповеди Христа о непротивлении злу насилием, состоит в том, чтобы утверждать, что заповедь непротивления злу насилием не отрицается ими, а признается, как и всякая другая, но что они только не приписывают этой заповеди особенного, исключительного значения, как это делают сектанты. Приписывание этой заповеди неизменного условия христианской жизни, как это делают Гаррисон, Баллу, Даймонд, квакеры, менониты, шекеры и как это делали моравские братья, вальденцы, альбигойцы, богомилы, павликиане,– есть одностороннее сектантство. Заповедь эта имеет ни больше, ни меньше значения, чем и все другие, и человек, преступивший по слабости какую бы то ни было заповедь, а также и заповедь о непротивлении, не перестает быть христианином, если он правильно верит.

Изворот этот очень искусен, и многие люди, желающие быть обманутыми, легко обманываются им. Изворот состоит в том, чтобы прямое сознательное отрицание заповеди свести к случайному нарушению ее. Но стоит только сравнить отношение церковных учителей к этой и к другим действительно признаваемым ими заповедям, чтобы убедиться в том, что отношение церковных учителей к заповедям, которые они признают, и к этой – совершенно различно.

Заповедь против блуда они действительно признают и потому никогда ни в каком случае не признают того, чтобы блуд не был злом. Никогда церковные проповедники не указывают случаев, когда заповедь против блуда должна бы была нарушаться, и всегда поучают тому, что должно избегать соблазнов, вводящих в искушение против блуда. Но не то с заповедью непротивления. Все церковные проповедники знают случаи, когда заповедь эта может быть нарушена. И так и учат людей. И не только не учат избегать этих соблазнов, из которых главный есть присяга, но сами производят его. Церковные проповедники никогда ни в каком случае не проповедуют нарушения всякой другой заповеди. По отношению же заповеди о непротивлении они прямо учат тому, что не надо слишком прямо понимать это запрещение, что не только не всегда нужно исполнять заповедь, но что есть условия, положения, в которых нужно делать прямо противное, т. е. судить, воевать, казнить. Так что по случаю заповеди о непротивлении злу насилием проповедуется в большей части случаев о том, как не исполнять ее. Исполнение этой запове

ди, говорят они, очень трудно и свойственно только совершенству. Но как же ей быть не трудной, когда нарушение ее не только не запрещается, но прямо поощряется, когда прямо благословляются суды, тюрьмы, пушки, ружья, войска, сражения.

Стало быть неправда то, что заповедь эта признается церковными проповедниками наравне с другими заповедями. Церковные проповедники прямо не признают ее и, только не смея сознаться в этом, стараются скрыть свое непризнание ее.

Таков четвертый способ ответов.

Пятый способ, самый тонкий, самый употребительный и самый могущественный, состоит в уклонении от ответа, в делании вида, что вопрос этот кем-то давным-давно разрешен вполне ясно и удовлетворительно и что говорить об этом не стоит.

Этот способ употребляем всеми более или менее культурными духовными писателями, т. е. такими, которые чувствуют для себя обязательными законы логики. Зная, что противоречие, существующее между учением Христа, которое мы на словах исповедуем, и всем строем нашей жизни нельзя распутать словами и, касаясь его, можно только сделать его еще очевиднее, они с большей или меньшей ловкостью, делая вид, что вопрос о соединении христианства с насилием уже разрешен или вовсе не существует, обходят его'.

Большинство духовных критиков на мою книгу пользуются этим способом, я бы мог привести десятки таких критик, в которых без исключения повторяется одно и то же; говорится обо всем, но только не о том, что составляет главный предмет книги. Как характерный пример таких критик приведу статью знаменитого, утонченного английского писателя и проповедника Фаррара, великого, как и многие ученые богословы, мастера обходов и умолчаний. Статья эта напечатана в американском журнале «Forum» за октябрь 1888 года.

Изложив добросовестно вкратце содержание моей книги, Фаррар говорит:

«Толстой пришел к убеждению, что мир был грубо обманут, когда людей уверили, что учение Христа «не противься злу или злом»

' Знаю только одну не критику в точном смысле слова, но статью, трактующую о том же предмете и имеющую в виду мою книгу, немного отступающую от этого общего определения. Это брошюра Троицкого (Казань) «Нагорная беседа». Автор, очевидно, признает учение Христа в его настоящем значении. Он говорит, что заповедь о непротивлении злу насилием значит то самое, что она значит, тоже и о заповеди о клятве; он не отрицает, как это делают другие, значение учения Христа, но, к сожалению, не делает из этого признания тех неизбежных выводов, которые в нашей жизни сами собой напрашиваются при таком понимании учения Христа. Если противиться злу насилием и клясться не должно, то всякий естественно спрашивает: как же военная служба? Присяга? А вот на этот вопрос автор не дает ответа, а надо ответить. А если нельзя ответить, то лучше и не говорить, потому что умолчание производит заблуждение — *Примеч. Л. Н. Толстого.*

совместимо с войной, судами, смертною казнью, разводами, клятвой, народными пристрастиями и вообще с большинством учреждений гражданской и общественной жизни. Он верит теперь, что Царство Бога наступит тогда, когда люди будут исполнять 5 заповедей Христа, именно: 1) жить в мире со всеми людьми; 2) вести чистую жизнь; 3) не клясться; 4) никогда не противиться злу и 5) отказываться от народных различий».

«Толстой, говорит он, отрицает боговдохновенность Ветхого Завета, посланий, отрицает все догматы церкви, как-то: троицы, искупления, сошествия СВ. духа, священства и признает только слова и заповеди Христа». «Но верно ли такое толкование учения Христа? – говорит он.– Обязаны ли все люди поступать так, как учит Толстой, т. е. исполнять 5 заповедей Христа?»

Так и ждешь, что на этот существенный вопрос, который один только и мог побудить человека писать статью о книге, человек скажет, что это толкование учения Христа верно и что надо следовать ему, или скажет, что такое толкование неверно; докажет, почему, и даст другое правильное толкование тех слов, которые я неправильно толкую. Но ничего подобного не делается. Фаррар выражает только «убеждение», что – «Толстой, хотя и руководимый самой благородной искренностью, впал в заблуждение частных и односторонних толкований смысла Евангелия и разума (mind) и воли Христа».

В чем это заблуждение, не разъясняется, а говорится только:- «Входить в доказательства этого невозможно в этой статье, потому что я уже и так превзошел количество листов, предоставленных мне».

И он с спокойным духом заключает:

«Между тем, если читатель чувствует себя смущенным мыслью о том, что он обязан, как христианин, так же как и Толстой, покинуть свои привычные условия жизни и жить как простой работник, то пусть он успокоится и держится принципа: «Securus judicat orbis terrarum»*. «За малыми исключениями,– продолжает он,– всё христианство от апостольских времен и до наших дней пришло к убеждению, что цель Христа состояла в том, чтобы дать людям великий принцип, но не в том, чтобы разрушить основы учреждения всего человеческого общества, которое утверждается на Божеском установлении (sanction) и на необходимости. Если бы моей задачей было доказать, как невозможно учение коммунизма, основываемое Толстым на Божественных парадоксах (sic), которые могут быть истолковываемы только на основании исторических принципов в со-

Весь мир судить легкомысленно *(лат.)*.

гласим со всеми методами учения Христа,– это потребовало бы более места, чем я имею в своем распоряжении».

Экое горе, места -ему нет! И странное дело, никому вот уже 15 веков нет места доказать то, что Христос, которого мы исповедуем, говорил совсем не то, что он говорил. А доказать они могли бы, если бы захотели. Впрочем, и не стоит доказывать то, что всем известно. Довольно сказать: «Securus judicat orbis terrarum».

И таковы без исключения все критики культурных верующих людей и потому понимающих опасность своего положения. Единственный выход из него для них – надежда на то, что, пользуясь авторитетом церкви, древности, святости, можно запугать читателя, отвлечь его от мысли самому прочесть Евангелие и самому своим умом обдумать вопрос. И это удается.

Кому в самом деле придет в голову то, что всё то, что с такой уверенностью и торжественностью повторяется из века в век всеми этими архидиаконами, епископами, архиепископами, святейщими синодами и папами, что всё это есть гнусная ложь и клевета, взводимая ими на Христа для обеспечения денег, которые им нужны для сладкой жизни на щеях других людей,– ложь и клевета до такой степени очевидная, особенно теперь, что единственная возможность продолжать эту ложь состоит в том, чтобы запугивать людей своей уверенностью, своей бессовестностью.

Это всё то же, что происходило последние года в воинских присутствиях: сидят за столом за зерцалом, на первых местах, под портретом во весь рост императора, старые, важные, в регалиях чиновники и свободно, развязно беседуют, записывают, приказывают и вызывают. Тут же в наперсном кресте и шелковой рясе с выпростанными седыми волосами на эпитрахили благообразный старец священник перед аналоем, на котором лежит золотой крест с кованным в золоте Евангелием.

Вызывают Ивана Петрова. Выходит юноша, дурно, грязно одетый, испуганный, с дрожащими мускулами лица и блестящими бегающими глазами и прерывающимся голосом, шепотом почти говорит: «я... по закону... я, как христианин... я не могу...»

— Что он бормочет? – спрашивает нетерпеливо, щурясь и прислушиваясь, председатель, поднимая голову от книги.

— Говорите громче! – кричит на него полковник с блестящими погонами.

— Я... я... как христианин...

И, наконец, оказывается, что юноша отказывается от военной службы, потому что он христианин.

— Не говори вздору. Ставь в мерку. Доктор, потрудитесь смерить. Годится?

— Годится.

— Батюшка, приведите к присяге.

Никто не только не смущен, но даже не обращает внимания на то, что лопочет этот испуганный, жалкий юноша. «Они все что-нибудь лопочат, а нам некогда, надо еще стольких принять».

Рекрут что-то хочет сказать еще.— «Это против закона Христа».

— Ступайте, ступайте, без вас знают, что по закону, что не по закону, а вы отправляйтесь. Батющка, внущите ему. Следующий: Василий Никитин.

И дрожащего юношу уводят. И кому, и сторожам, и Василию Никитину, которого вводят, и всем, которые со стороны видели эту сцену, прийдет в голову, что те неясные короткие слова юноши, тотчас же замятые начальством, содержат в себе истину, а те громкие, торжественно произносимые речи самоуверенных, спокойных чиновников и священника суть ложь, обман.

Такое же впечатление производят статьи не одного Фаррара, но все те торжественные проповеди, статьи и книги, которые появляются со всех сторон, как только где-нибудь проглянет истина, обличающая царствующую ложь. Тотчас же начинаются длинные, умные, изящные, торжественные разговоры или писания о вопросах, близко касающихся предмета с искусным умолчанием о самом предмете.

В этом состоит пятый и самый действительный способ устранения того противоречия, в которое поставило себя церковное христианство, исповедуя на словах Христа и отрицая в жизни его учение и научая этому людей.

Те, которые оправдываются по первому способу, прямо, грубо утверждая, что Христос разрешил насилие: войны, убийства,— сами себя отвергают от учения Христа; те, которые защищаются по второму, третьему и четвертому способу, сами путаются, и их легко уличить в их неправде, но эти последние, не рассуждающие, не удостаивающие рассуждать, а прячущиеся за свое величие и делающие вид, что всё это ими или еще кем-то уже давно решено и не подлежит уже никакому сомнению,— эти кажутся неуязвимыми и будут неуязвимы до тех пор, пока люди будут находиться под действием гипнотического внушения, наводимого на них правительствами и церквами, и не встряхнутся от него.

Так относились к моей книге духовные, т. е. исповедующие веру в Христа. И иначе им нельзя было отнестись: их связывает то противоречие, в котором они находятся — веры в божественность учителя и неверия в его самые ясные слова,— из которого им надо как- нибудь выпутываться, и потому нельзя было ожидать от них свободных суждений о самой сущности вопроса, о том изменении жизни

людей, которое вытекает из приложения учения Христа к существующему порядку. Такого рода суждений я ожидал от светских, вольнодумных критиков, которые ничем не связаны с учением Христа и могут свободно смотреть на него. Я ожидал, что вольнодумные писатели посмотрят на Христа не только как на установителя религии поклонения и личного спасения (как его понимают церковники), а, выражаясь их языком, и как на реформатора, разрушающего старые и дающего новые основы жизни, реформа которого не совершилась еще, а продолжается и до сих пор.

Такой взгляд на Христа и его учение вытекает из моей книги. Но, к удивлению моему, из числа в большом количестве появившихся на мою книгу критик, не было ***ни одной,*** ни русской, ни иностранной, которая трактовала бы предмет с той самой стороны, с которой он изложен в книге, т. е. которая посмотрела бы на учение Христа как на философское, нравственное и социальное (говоря опять языком научных людей) учение. Ни в одной критике этого не было.

Русские светские критики, поняв мою книгу так, что всё ее содержание сводится к непротивлению злу, и поняв самое учение о непротивлении злу (вероятно, для удобства возражения) так, что оно будто бы запрещает всякую борьбу со злом, русские светские критики с раздражением напали на это учение и весьма успешно в продолжение нескольких лет доказывали, что учение Христа неправильно, так как оно запрещает противиться злу. Их опровержения этого ***мнимого*** учения Христа были тем более успешны, что они вперед знали, что их рассуждения не могут быть ни опровергаемы, ни исправляемы, так как цензура, не пропустив книги, не пропускала и статей в защиту ее.

Замечательно при этом то, что у нас, где нельзя сказать слова о Священном Писании без запрета цензуры, несколько лет во всех журналах извращалась, критиковалась, осуждалась, осмеивалась прямо и точно выраженная заповедь Христа (Мф. V, 39).

Русские светские критики, очевидно не зная всего того, что было сделано по разработке вопроса о непротивлении злу, и даже иногда как будто предполагая, что это я лично выдумал правило непротивления злу насилием, нападали на самую мысль, опровергая, извращая ее и с большим жаром выставляя аргументы, давным-давно уже со всех сторон разобранные и опровергнутые, доказывали, что человек непременно должен (насилием) защищать всех обиженных и угнетенных и что поэтому учение о непротивлении злу насилием есть учение безнравственное.

Всем русским критикам всё значение проповеди Христа представлялось только в том, что она как будто им назло мешает изве-

стнои деятельности, направленной против того, что ими в данную минуту считается злом, так что выходило, что на принцип непротивления злу насилием нападали два противоположные лагеря: консерваторы потому, что этот принцип препятствовал их деятельности противления злу, производимому революционерами, их преследованиям и казням; революционеры же потому, что этот принцип препятствовал противлению злу, производимому консерваторами и их ниспровержению. Консерваторы возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилием препятствует энергическому подавлению революционных элементов, могущих погубить благосостояние народа; революционеры возмущались тем, что учение о непротивлении злу насилием препятствует ниспровержению консерваторов, губящих благосостояние народа. Замечательно при этом то, что революционеры нападали на принцип непротивления злу насилием, несмотря на то, что он самый страшный и опасный для всякого деспотизма, так как с тех пор, как стоит мир, на противоположном принципе, необходимости противления злу насилием, основывались и основываются все насилия, от инквизиции до Шлиссельбургской крепости.

Кроме того, русские критики указывали и на то, что приложение к жизни заповеди о непротивлении злу насилием, своротило бы человечество с того пути цивилизации, по которому оно идет. Путь же цивилизации, по которому идет европейское человечество, есть, по их мнению, тот самый, по которому и должно всегда идти всё человечество.

Таков был главный характер русских критиков.

Иностранные критики исходили из тех же основ, но рассуждения их о моей книге несколько отличались от рассуждений русских критиков не только меньшей раздражительностью и большей культурностью, но и по существу дела.

Рассуждая о моей книге и вообще о евангельском учении, как оно выражено в нагорной проповеди, иностранные критики утверждали, что такое учение не есть собственно христианское (христианское учение, по их мнению, есть католицизм и протестантство) – учение же нагорной проповеди есть только ряд очень милых непрактических мечтаний du charmant docteur, как говорит Ренан, годных для наивных и полудиких обитателей Галилеи, живущих за 1800 лет назад, и для русских полудиких мужиков – Сютаева, Бондарева и русского мистика Толстого, но никак не приложимых к высокой степени европейской культуры.

Иностранные светские критики тонким манером, не оскорбляя меня, старались дать почувствовать, что суждения мои о том, что человечество может руководиться таким наивным учением, как на

горная проповедь, происходит отчасти от моего невежества, незнания истории, незнания всех тех тщетных попыток осуществления в жизни принципов нагорной проповеди, которые были делаемы в истории и ни к чему не привели, отчасти от непонимания всего значения той высокой культуры, на которой со своими крупповскими пушками, бездымным порохом, колонизацией Африки, управлением Ирландии, парламентом, журналистикой, стачками, конституцией и Эйфелевой башней стоит теперь европейское человечество.

Так писал Vogue, так писал Leroy Beaulieu, так писал Матью Арнольд, так писал американский писатель Савадж и Ингерзаль, популярный американский свободомыслящий проповедник, и многие другие.

«Учение Христа не годится, потому что не соответствует нашему индустриальному веку»,– наивно говорит Ингерзаль, выражая этим с совершенной точностью и наивностью то самое, что думают утонченно образованные люди нашего времени об учении Христа. Учение не годится для нашего индустриального века, точно как будто то, что существует индустриальный век, есть дело священное, которое не должно и не может быть изменено. Вроде того, как если бы пьяницы против советов о том, как им привести себя в трезвое состояние, отвечали бы, что эти советы неуместны при их алкоголическом состоянии.

Рассуждения всех светских писателей, как русских, так и иностранных, как ни различен их тон и манера доводов, все в сущности сводятся к одному и тому же странному недоразумению, именно к тому, что учение Христа, одно из последствий которого есть непротивление злу насилием, непригодно нам, потому что оно требует изменения нашей жизни.

Учение Христа негодно, потому что, если бы оно было исполнено, не могла бы продолжаться наша жизнь; другими словами: если бы мы начали жить хорошо, как нас учил Христос, мы не могли бы продолжать жить дурно, как мы живем и привыкли жить. Вопрос же о непротивлении злу насилием не только не обсуждается, но самое упоминание о том, что в учение Христа входит требование непротивления злу насилием, уже считается достаточным доказательством неприложимости всего учения.

А между тем, казалось бы, необходимо указать хоть на какое-нибудь решение этого вопроса, так как он стоит в основе почти всех дел, которые занимают нас.

Вопрос ведь состоит в том: каким образом разрешать столкновения людей, когда одни люди считают злом то, что другие считают добром, и наоборот? И потому считать, что зло есть то, что я считаю злом, несмотря на то, что противник мой считает это добром,

не есть ответ. Ответов может быть только два: или тот, чтобы найти верный и неоспоримый критериум того, что есть зло, или тот, чтобы не противиться злу насилием.

Первый выход был пробован с начала исторических времен и, как мы все знаем, не привел до сих пор к успешным результатам.

Второй ответ – не противиться насилием тому, что мы считаем злом, до тех пор, пока мы не нашли общего критериума,– этот ответ предложен Христом.

Можно находить, что ответ, данный Христом, неправилен; можно выставить на место его другой, лучший, найдя такой критериум, который для всех несомненно и одновременно определял бы зло; можно просто не сознавать сущности вопроса, как не сознают этого дикие народы, но нельзя, как это делают ученые критики христианского учения, делать вид, что вопроса никакого вовсе и не существует или что признание за известными лицами или собраниями людей (тем менее, когда эти люди мы сами) права определять зло и противиться ему насилием разрешает вопрос; тогда как мы все знаем, что такое признание нисколько не разрешает вопроса, так как всегда есть люди, не признаюшие за известными людьми или собраниями этого права.

А это-то признание того, что то, что нам кажется злом, то и есть зло, или совершенное непонимание вопроса, и служит основой суждений светских критиков о христианском учении, так что суждения о моей книге, как церковных, так и светских критиков, показали мне то, что большинство людей прямо не понимают не только самого учения Христа, но даже и тех вопросов, на которые оно служит ответом.

III

Так что, как сведения, полученные мною после выхода моей книги о том, как не переставая понималось и понимается меньшинством людей христианское учение в его прямом и истинном смысле, так и критики на нее, и церковные и светские, отрицающие возможность понимать учение Христа в прямом смысле, убедили меня в том, что тогда как, с одной стороны, никогда для меньшинства не прекращалось, но всё яснее и яснее становилось истинное понимание этого учения, так, с другой стороны, для большинства смысл его всё более и более затемнялся, дойдя, наконец, до той степени затемнения, что люди прямо уже не понимают самых простых положений, самыми простыми словами выраженных в Евангелии.

Непонимание учения Христа в его истинном, простом и прямом смысле в наше время, когда свет этого учения проник уже все са

мые темные углы сознания людского; когда, как говорил Христос, теперь уже с крыш кричат то, что он говорил на ухо; когда учение это проникает все стороны человеческой жизни: и семейную, и экономическую, и гражданскую, и государственную, и международную,– непонимание это было бы необъяснимо, если бы непониманию этому не было причин.

Одна из этих причин это та, что как верующие, так и неверующие твердо убеждены, что учение Христа понято ими давно и так полно, несомненно и окончательно, что никакого другого значения, кроме того, которое они придают ему, и не может быть в нем. Причина этого состоит в продолжительности предания ложного понимания и потому непонимания его.

Самая сильная струя воды не может прибавить ни капли жидкости в сосуд, который полон.

Можно самому непонятливому человеку объяснить самые мудреные вещи, если он не составил себе о них еще никакого понятия; но самому понятливому человеку нельзя объяснить самой простой вещи, если он твердо убежден, что знает, да еще несомненно знает то, что передается ему.

Христианское учение представляется людям нашего мира именно таким давно и несомненно каждому до всех своих мельчайших подробностей известным учением, которое не может быть понимаемо иначе, как так, как оно понято.

Христианство понимается теперь исповедующими церковные учения как сверхъестественное, чудесное откровение обо всем том, что сказано в символе веры; неверующими же,– как пережитое человечеством проявление его потребности веры в сверхъестественное; как историческое явление, вполне выразившееся в католичестве, православии, протестантстве и не имеющее уже для нас никакого жизненного значения. Для верующих значение учения скрывается церквью, для неверующих – наукою.

Скажу сперва о первых.

1800 лет тому назад среди языческого римского мира явилось странное, не похожее ни на какое из прежних, новое учение, приписывавшееся человеку Христу.

Новое учение это было совершенно новое как по форме, так и по содержанию, и для еврейского мира, среди которого оно возникло, и в особенности для того римского мира, среди которого оно проповедовалось и распространялось.

Среди разработанности религиозных правил еврейства, где, по словам Исаии, было правило на правиле, и среди римского, выработанного до великой степени совершенства, законодательства явилось учение, отрицавшее не только всякие божества,– всякий

страх перед ними, всякие гадания и веру в них,– но и всякие человеческие учреждения и всякую необходимость в них.

Вместо всяких правил прежних исповеданий, учение это выставляло только образец внутреннего совершенства, истины и любви в лице Христа и последствия этого внутреннего совершенства, достигаемого людьми,– внешнего совершенства, предсказанного пророками,– царства божия, при котором все люди разучатся враждовать, будут все научены Богом и соединены любовью и лев будет лежать с ягненком.

Вместо угроз наказания за неисполнение правил, которые выставлялись прежними законами, как религиозными, так и государственными, вместо приманки наград за исполнение их, учение это призывало к себе только тем, что оно истина. «Кто хочет узнать об этом учении – от Бога ли оно, пусть исполняет его» (Иоан. VII, 17). «Если Я говорю истину, почему не верите Мне? Зачем ищете убить человека, сказавшего вам истину? Только истина освободит вас. Исповедовать Бога надо только в истине. Всё учение откроется и уяснится духом истины. Делайте то, что Я говорю, и узнаете, правда ли то, что Я говорю» (Иоан. VIII).

Доказательств учения не выставлялось никаких, кроме истины, кроме соответствия учения с истиной. Всё учение состояло в познании истины и следовании ей, в большем и большем постигновении истины и большем и большем приближении к ней в делах жизни.

Нет по этому учению поступков, которые бы могли оправдать человека, сделать его праведным, есть только влекущий к себе сердца образец истины для внутреннего совершенства в лице Христа, а для внешнего – в осуществлении Царства Божия. Исполнение учения – только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему – подражания Христу, и внешнему – установления Царства Божия. Большее или меньшее благо человека зависит по этому учению не от той степени совершенства, до которого он достигает, а от большего или меньшего ускорения движения.

Движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте по этому учению большее благо, чем неподвижная праведность фарисея. Заблудшая овца дороже 99-ти незаблудших. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже, любимее Богом тех, которые не пропадали.

Всякое состояние по этому учению есть только известная ступень на пути к недостижимому внутреннему и внешнему совершенству и потому не имеет значения. Благо только в движении к совершенству, остановка же на каком бы то ни было состоянии есть прекращение блага.

«Пусть левая не знает, что делает правая», и «не надежен для Царства Божия работник, взявшийся за плуг и оглядывающийся назад». «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а ищите того, чтобы имена ващи были написаны на небесах». «Будьте соверщен- ны, как соверщенен Отец ващ Небесный». «Ищите Царствия Божия и правды его».

Исполнение учения только в безостановочном движении – в постигновении всё высщей и высщей истины, и всё в больщем и больщем осуществлении ее в себе всё большей и большей любовью, а вне себя всё большим и большим осуществлением Царства Божия.

Очевидно, что явившееся среди еврейского и языческого мира учение это не могло быть принято большинством людей, живших совершенно иною жизнью, чем та, которой требовало это учение; и что даже теми, которыми оно было принято, оно, как совершенно противоположное всем прежним взглядам, не могло быть понято во всем его значении.

Только рядом недоразумений, ошибок, односторонних разъяснений, исправляемых и дополняемых поколениями людей, смысл христианского учения всё более и более уяснялся людям. Совершалось воздействие христианского миросозерцания на еврейское и языческое и языческого и еврейского на христианское. И христианское, как живое, всё более и более проникало отживающее еврейское и языческое и выступало всё яснее и яснее, освобождаясь от накладываемых на него ложных примесей. Люди всё дальше и дальше постигали смысл христианства и более и более осуществляли его в жизни.

Чем дальше жило человечество, тем более и более уяснялся ему смысл христианства, как это не могло и не может быть иначе со всяким учением о жизни. Последующие поколения исправляли ошибки предшественников и всё более и более приближались к пониманию истинного его смысла.

Так это было с самых первых времен христианства. И вот тут- то, с самых первых времен его, появились люди, начавшие утверждать про себя, что тот смысл, который они придают учению, есть единый истинный и что доказательством этого служат сверхъестественные явления, подтверждающие справедливость их понимания.

Это-то и было главной причиной сначала непонимания учения, а потом и полного извращения учения.

Предполагалось, что учение Христа передается людям не как всякая другая истина, а особенным, сверхъестественным способом, так что истинность понимания учения доказывается не соответственностью передаваемого с требованиями разума и всей природы

человека, а чудесностью передачи, служащей непререкаемым доказательством истинности понимания. Возникло это предположение из непонимания, и последствием его была невозможность понимания.

Началось это с самых первых времен, когда так неполно еще и часто превратно понималось учение, как мы видим это по Евангелиям и Деяниям. Чем менее было понято учение, тем оно представлялось темнее и тем нужнее были внешние доказательства его истинности. Положение о том, чтобы не делать другим того, чего не хочешь, чтобы тебе делали, не нужно было доказывать чудесами, и положению этому не нужно было требовать веры, потому что положение это само по себе убедительно, соответствуя и разуму и природе человека; но положение о том, что Христос был Бог, надо было доказывать чудесами совершенно непонятными.

Чем было темнее понимание учения Христа, тем более примешивалось к нему чудесного; а чем более примешивалось чудесного, тем более учение отклонялось от своего смысла и становилось темнее; а чем более оно отклонялось от своего смысла и становилось темнее, тем сильнее надо было утверждать свою непогрешимость и тем менее учение становилось понятно.

С самых первых времен по Евангелиям, Деяниям, Посланиям можно видеть, каким образом непонимание учения вызывало необходимость доказательств через чудесное и непонятное.

Началось это, по книге Деяний, с того собрания, на котором сошлись ученики в Иерусалиме для разрешения возникшего вопроса о крещении или некрещении необрезанных и о едящих идоложерт- венное.

Самая постановка вопроса показывала, что обсуждавшие его не понимали учения Христа, отвергающего все внешние обряды: омовения, очищения, посты, субботы. Прямо сказано: «сквернит не то, что в уста входит, а то, что исходит из сердца», и потому вопрос о крещении необрезанных мог возникнуть только среди людей, любивших учителя, смутно чуявших величие его учения, но еще очень неясно понимавших самое учение. Так оно и было.

Насколько члены собрания не понимали учения, настолько понадобилось им внешнее подтверждение своего неполного понимания. И вот для решения вопроса, самая постановка которого показывает непонимание учения, были произнесены на этом собрании, как это описывает книга Деяний, в первый раз долженствовавшие внешним образом утвердить справедливость известных утверждений, эти страшные, наделавшие столько зла, слова: «угодно святому духу и нам», т. е. утверждалось, что справедливость того, что они постановили, засвидетельствована чудесным участием в этом решении

святого духа, т. е. Бога. Но утверждение о том, что святой дух, т. е. Бог, говорил через апостолов, опять надо было доказать. И вот понадобилось для этого утверждать то, что в Пятидесятницу святой дух в виде огненных языков сошел на тех, которые утверждали это. (В описании сошествие св. духа предшествует собору, но написаны Деяния много после того и другого.) Но и сошествие святого духа надо было подтвердить для тех, которые не видали огненных языков (хотя и непонятно, почему огненный язык, зажегшийся над головой человека, показывает, что то, что будет говорить этот человек,– несомненная правда), и понадобились еще чудеса и исцеления, воскресения, умерщвления и все те соблазнительные чудеса, которыми наполнены Деяния и которые не только никогда не могут убедить в истинности христианского учения, но могут только оттолкнуть от него. Последствия такого способа утверждения истины были те, что чем более нагромождались одно за другим эти подтверждения истинности рассказами о чудесах, тем более отклонялось самое учение от своего первоначального смысла и тем непонятнее становилось оно.

Так это было с первых времен и так это щло, постоянно усиливаясь, логически дойдя в наще время до догматов пресуществления и непогрещимости папы или епископов, или писаний, т. е. до совершенно непонятного, дошедшего до бессмыслицы и до требований слепой веры не Богу, не Христу, не учению даже, а лицу, как в католичестве, или лицам, как в православии, или – веры книжке, как в протестантстве. Чем шире распространялось христианство и чем ббльшую оно захватывало толпу неподготовленных людей, тем менее оно понималось, тем решительнее утверждалась непогрешимость понимания и тем менее становилась возможность понять истинный смысл учения. Уже ко времени Константина всё понимание учения свелось к резюме, утвержденным светской властью,– резюме споров, происходивших на соборе,– к символу веры, в котором значится: верую в то-то, то-то и то-то и под конец – в единую, святую, соборную и апостольскую церковь, т. е. в непогрешимость тех лиц, которые называют себя церковью, так что всё свелось к тому, что человек верит уже не Богу, не Христу, как они открылись ему, а тому, чему велит верить церковь.

Но церковь свята, церковь основана Христом. Не мог Бог предоставить людям толковать свое учение произвольно, и потому он установил церковь. Все эти положения до такой степени несправедливы и голословны, что совестно опровергать их. Нигде, ни по чему, кроме как по утверждению церквей, не видно, чтобы Бог или Христос основывали что-либо подобное тому, что церковники разумеют под церковью. В Евангелии есть указание против церкви как

внешнего авторитета, самое очевидное и ясное в том месте, где говорится, чтобы ученики Христа никого не называли учителями и отцами. Но нигде ничего не сказано об установлении того, что церковники называют церковью.

В Евангелиях два раза употреблено слово «церковь». Один раз в смысле собрания людей, разрешающего спор; другой раз в связи с темными словами о камне – Петре и вратах ада. Из этих двух упоминаний слова «церковь», имеющего значение только собрания, выводится то, что мы теперь разумеем под словом «церковь».

Но Христос никак не мог основать церковь, т. е. то, что мы теперь понимаем под этим словом, потому что ничего подобного понятию церкви такой, какую знаем теперь с таинствами, иерархией и, главное, с своим утверждением непогрешимости, не было ни в словах Христа, ни в понятиях людей того времени.

То, что люди назвали то, что сложилось потом, тем же словом, которое Христос употреблял о чем-то другом, никак не дает им права утверждать того, что Христос основал единую истинную церковь.

Кроме того, если бы Христос действительно установил такое учреждение, как церковь, на котором основано всё учение и вся вера, то он, вероятно бы, высказал это установление так определенно и ясно и прцдал бы единой истинной церкви, кроме рассказов о чудесах, употребляемых при всяких суевериях, такие признаки, при которых не могло бы быть никакого сомнения в ее истинности; но ничего подобного нет, а как были, так и есть теперь различные учреждения, называющие себя каждое единою истинною церковью.

Католический катехизис говорит: L'eglise est la societe de fideles etablie par notre Seigneur Jesus-Christ, repandue sur toute la terre et soumise a l'autorite des pasteurs legitimes, principalement notre Saint Pere – le Pape', подразумевая под pasteurs legitimes человеческое учреждение, имеющее во главе своей папу и составленное из известных, связанных между собой известной организацией лиц.

Православный катехизис говорит: «Церковь есть основанное Иисусом Христом на земле общество, соединенное между собою в одно целое одним божественным учением и таинствами под управлением и руководством богоустановленной иерархии», разумея под богоустановленной иерархией именно греческую иерархию, составленную из известных таких-то лиц, находящихся в таких-то и таких-то местах.

' Церковь есть общество верующих, основанное Господом нашим Иисусом Христом, распространенное по всей земле и подчиненное власти законных пастырей и святого нашего отца — папы *!фр.1*.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

Лютеранский катехизис говорит: «Церковь есть святое христианство, или собрание всех верующих под Христом, главою их, в котором СВ. дух через Евангелие и таинства предлагает, сообщает, усваивает божеское спасение», подразумевая то, что католическая церковь заблудщая и отпавщая и что истинное предание хранится в лютеранстве.

Для католиков божественная церковь совпадает с римской иерархией и папой. Для православных божественная церковь совпадает с учреждением восточной и русской иерархии*. Для лютеран божественная церковь совпадает с собранием людей, признающих Библию и катехизис Лютера.

Обыкновенно, говоря о происхождении христианства, люди, принадлежащие к одной из существующих церквей, употребляют слово «церковь» в единственном числе, как будто церковь была и есть только одна. Но это совершенно несправедливо. Церковь, как учреждение, утверждающее про себя, что она обладает несомненной истиной, явилась только тогда, когда она была не одна, а было их по крайней мере две.

Пока верующие были согласны между собою, и собрание было одно, ему незачем было утверждать себя церковью. Только тогда, когда верующие разделились на противоположные, отрицающие друг друга партии, явилась потребность каждой стороны утверждать свою истинность, приписывая себе непогрещимость. Понятие единой церкви возникло только из того, что, при разногласии и споре двух сторон, каждая, называя другую сторону ересью, признавала только свою сторону непогрешимою церковью.

*** Имеющее некоторый успех между русскими людьми определение церкви Хомякова не исправляет дела, если признавать вместе с Хомяковым, что единая истинная церковь есть православная. Хомяков утверждает, что церковь есть собрание людей (всех без различия клира и паствы), соединенных любовью что только людям, соединенным любовью, открывается истина (Возлюбим друг друга, да единомыслием и т. д.) и что таковая церковь есть церковь, во-первых, признающая Никейский символ, а во-вторых, та, которая после разделения церквей не признает папы и новых догматов. Но при таком определении церкви является еще большее затруднение приравнять, как того хочет Хомяков, церковь, соединенную любовью, с церковью, признающею Никейский символ и правоту Фотия. Так что утверждение Хомякова о том, что эта соединенная любовью и, следовательно, святая церковь и есть самая, исповедуемая греческой иерархией, церковь, еще более произвольно, чем утверждение католиков и старых православных. Если допустить понятие церкви в том значении, которое дает ему Хомяков, т. е. как собрание людей, соединенных любовью и истиной, то всё, что может сказать всякий человек по отношению этого собрания,— это то, что весьма желательно быть членом такого собрания, если такое существует, т. е. быть в любви и истине; но нет никаких внешних признаков, по которым можно бы было себя или другого причислить к этому святому собранию или отвергнуть от него, так как никакое внешнее учреждение не может отвечать этому понятию.—** *Примеч. Л. Н. Толстого.*

Если мы знаем, что была церковь, решившая в 51 году принимать необрезанных, то церковь эта явилась только потому, что была другая церковь – иудействующих, решившая не принимать необрезанных.

Если есть теперь церковь католическая, утверждающая свою непогрешимость, то только потому, что есть церкви; греко-российская, православная, лютеранская, каждая утверждающая свою непогрешимость и этим самым отрицающая все другие церкви. Так что церковь единая есть только фантастическое представление, не имеющее в себе ни малейшего признака действительности.

Как действительное историческое явление существовали и существуют только многие собрания людей, утверждающие каждое про себя, что оно есть единая, основанная Христом церковь, а что все другие, называющие себя церквами, суть ереси и расколы.

Катехизисы самых распространенных церквей: католической, православной и лютеранской прямо говорят это.

В католическом катехизисе сказано: Quels sont ceux, qui sont hors de l'eglise? – Les infideles, les heretiques, les schismatiques'. Схизматиками признаются так называемые православные. Еретиками признаются лютеране; так что, по католическому катехизису, в церкви – одни католики.

В так называемом православном катехизисе сказано: Под единой церковью Христовой разумеется только православная, которая остается вполне согласною с церковью вселенской. Что же касается римской церкви и других исповеданий (лютеран и других не называют даже церковью), то они не могут быть относимы к единой истинной церкви, так как сами отделились от нее.

По этому определению католики и лютеране – вне церкви, а в церкви – одни православные.

Лютеранский же катехизис гласит: Die wahre Kirche wird darin erkannt, dass in ihr das Wort Gottes lauter und rein ohne Menschenzusatze gelehrt und die Sacramente treu nach Christi Ein- setzung gewahret werden^.

По этому определению все те, которые прибавили что-либо к учению Христа и апостолов, как это сделали католическая и греческая церковь,– находятся вне церкви. И в церкви – одни протестанты.

‘ **Кто находится вне церкви? — Неверные, еретики и схизматики** *1фр.!.•— При- меч. Л. Н. Толстого.*

- **Истинная церковь узнается по тому, что в ней слово Бога ясно и чисто, без человеческих прибавлений преподается и таинства верно по учению Христа установлены** *!нем.1Примеч. Л. Н. Толстого.*

Католики утверждают, что св. дух непрерывно действовал в их иерархии; православные утверждают, что тот же св. дух непрерывно действовал в их иерархии; ариане утверждали, что св. дух действовал в их иерархии (утверждали это с таким же' правом, с каким утверждают это теперь царствующие церкви); всякого рода протестанты: лютеране, реформаты, пресвитерьяне, методисты, сведен- боргианцы, мормоны утверждают, что св. дух действует только в их собраниях.

Если католики утверждают, что дух святой во время разделения церквей арианской и греческой оставлял отпавшие церкви и оставался в одной истинной, то точно с таким же правом могут утверждать протестанты всякого наименования, что во время отделения их церкви от католической дух святой оставлял католическую и переходил в церковь, ими признаваемую. Так они это и делают.

Всякая церковь выводит свое исповедание через непрерывное предание от Христа и апостолов. И действительно, всякое христианское исповедание, происходя от Христа, неизбежно должно было дойти до настоящего поколения через известное предание. Но это не доказывает того, чтобы одно из этих преданий, исключая все другие, было несомненно истинно.

Каждый сучок на дереве идет без перерыва от корня; но то, что каждый сучок идет от одного корня, никак не доказывает того, чтобы каждый сучок был единственный. Точно так же и церкви. Каждая церковь представляет точно такие же доказательства своей преемственности и даже чудес в пользу истинности своей, как и всякая другая; так что строгое и точное определение того, что есть церковь (не как нечто фантастическое, чего бы нам хотелось, но как то, что есть и было в действительности),— только одно: церковь есть такое собрание людей, которые утверждают про себя, что они находятся в полном и единственном обладании истины.

Вот эти-то собрания, перешедшие впоследствии при помощи поддержки власти в могущественные учреждения, и были главными препятствиями распространению истинного понимания учения Христа.

Оно и не могло быть иначе: главная особенность учения Христа от всех прежних учений состояла в том, что люди, принявшие его, всё больше и больше стремились понимать и исполнять учение; церковное же учение утверждало свое полное и окончательное понимание и исполнение его.

Как ни странно это кажется для нас, людей воспитанных в ложном учении о церкви как о христианском учреждении и в презрении к ереси,— но только в том, что называлось ересью и было истинное движение, т. е. истинное христианство, и только тогда переставало

быть им, когда оно в этих ересях останавливалось в своем движении и так же закреплялось в неподвижные формы церкви.

В самом деле, что такое ересь? Перечитайте все богословские сочинения, трактующие о ересях, о том предмете, который первый представляется для определения, так как каждое богословие говорит об истинном учении среди окружающих его ложных, т. е. ересей, и нигде не найдете даже подобия какого-нибудь определения ереси.

Образцом того полного отсутствия какого-нибудь подобия определения того, что понимается под словом «ересь», может служить суждение об этом предмете ученого историка христианства E. de Pressense в его «Histoire du Dogme» с эпиграфом «Ubi Christus, ibi Ecclesia» (Paris, 1869). Вот что он говорит в своем предисловии (стр. 3): «Je sais, que l'on nous conteste le droit de qualifier ainsi, **T.** е. называть ересями les tendences, qui furent si vivement combat- tues par les premiers Peres. La designation meme d'heresie semble une atteinte portee a la liberte de conscience et de pensee. Nous ne pouvons partager ces scrupules, car ils n'iraient a rien moins qu'a en- lever au christianisme tout caractere distinctif»'.

И, сказав, что после Константина церковь действительно злоупотребляла своей властью определять несогласных еретиками и преследовать их, он, обсуждая первые времена, говорит:

"L'eglise est une libre association; il y a tout profit a se separer d'elle. La polemique contre l'erreur n'a d'autres ressources que la pensee et le sentiment. Un tipe doctrinal uniforme n'a pas encore ete elabore; les divergences secondaires se produisent en Orient et en Occident avec une entiere liberte, la theologie n'est point liee a d'invari- ables formules. Si au sein de cette diversite apparatt un fonds commun de croyances, n'est-on pas en droit d'y voir non pas un systeme formule et compose par les representants d'une autorite d'ecole, mais la foi elle-meme, dans son instinct le plus sur et sa manifestation la plus spontanee? Si cette meme unanimite qui se revele dans les croyances essentielles, se retrouve pour repousser telles ou telles tendances, ne serons-nous pas en droit de conclure que ces tendances etaient en desaccord flagrant avec les principes fondamentaux du christianisme? Cette presomption ne se transformera-t-elle pas en certitude si nous reconnaissons dans la doctrine universellement repousse

' я знаю, что у нас оспаривают право так определять (т. е. называть ересями) те направления, с которыми столь напряженно боролись первые отцы. Одно название «ересь» представляется покушением на свободу совести и мысли. Но мы, с своей стороны, не можем разделять подобных сомнений, которые привели бы ни к чему другому, как к отнятию у христианства его отличительного характера *1фр-1-— Примеч. Л. Н. Толстого.*

par l'Eglise, les traits caracteristiques de l'une des religions du passe? Pour dire que le gnosticisme ou l'ebionitisme sont les formes legitimes de la pensee chretienne, il faut dire hardiment qu'il n'y a pas de pensee chretienne, ni de caractere specifique qui la fasse reconnaitre. Sous pretexte de l'elargir on la dissent. Personne, au temps de Platon, n'eut ose couvrir de son nom une doctrine qui n'eut pas fait place a la theorie des idees, et Ton eut excite les justes moqueries de la Grece, en voulant fair d'Epicure ou de Zenon un disciple de l'Academie. Reconnaissons done que s'il existe une religion ou une doctrine, qui s'ap- pelle le christianisme elle peut avoir ses heresies"'.

Всё рассуждение автора сводится к тому, что всякое суждение, несогласное с исповедуемым нами в данное время сводом догматов, есть ересь. Но ведь в данное время и в данном месте люди что-нибудь да исповедуют и это исповедание чего-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь не может быть критериумом истины.

Всё сводится к тому, что ubi Christus, ibi ecclesia. Christus же там, где мы.

Всякая так называемая ересь, признавая истиной то, что она исповедует, может точно так же найти в истории церквей последовательное выяснение того, что она исповедует, употребить для себя все аргументы Пресансе и называть только свое исповедание истинно христианским, что и делали и делают все ереси.

Единственное определение ереси (слово ai'peait; значит часть) есть название, которое дает собрание людей всякому суждению, опровергающему часть учения, исповедуемого собранием. Более же

' Церковь есть ассоциация свободная; отделяться от нее представляет только выгоду. Полемика против заблуждения осуществима только на основании мысли и чувства. Общая и единая догматическая форма до сих пор еще не выработана; частные разногласия свободно проявляются как на Востоке, так и на Западе; теология вовсе не прикована к неизменным формулам. Если среди всего этого разногласия просвечивает фон общих верований, то разве мы не вправе в этом видеть не окончательно оформленную систему, составленную авторитетными представителями той или другой школы, а — самую веру в ее чистейшем побуждении и в самом непосредственном ее проявлении? Если оказывается, что это самое единство, которое обнаруживается во всех основных верованиях, восстает против тех или других направлений, то разве мы не вправе из этого предположить, что эти направления были в противоречии с основными принципами христианства? И не обратится ли такое наше предположение в полную уверенность тогда, когда мы признаем в таком учении, отвергнутом церковью, характеристические черты той или другой отжившей религии? Если допустить, что гностицизм и эбионитизм суть законные формы христианской мысли, то приходится смело признать, что вовсе нет ни христианской мысли, ни отличительного характера, по которому можно было бы ее узнать. Под предлогом ее расширить, мы ее совсем упразднили бы. Во время Платона никто не посмел бы выразить свое одобрение такому учению, в котором не умещалась бы теория идей, и рассмешил бы всю Грецию тот, кто вздумал бы причислять Эпикура или Зенона к ученикам Академии. Итак, допустим, что если существует религия или учение, называемое христианством, то оно может иметь

частное значение, чаще всего приписываемое ереси, есть значение мнения, опровергающее установленное и поддерживаемое светской властью церковное учение.

Есть замечательное малоизвестное огромное сочинение («Unpar- teiische Kirchen und Ketzer-Historie», 1729 г.) Готфрида Арнольда, трактующего прямо об этом предмете и показывающего всю незаконность, произвольность, бессмысленность и жестокость употребления слова «ересь» в смысле отвержения. Книга эта есть попытка описания истории христианства в форме истории ересей.

В вступлении автор ставит ряд вопросов; 1) о тех, которые делают еретиков (von den Ketzermachern selbst); 2) о тех, кого делали еретиками; 3) о самих предметах ереси; 4) о способе делания еретиков и 5) о целях и последствиях делания еретиков.

На каждый из этих пунктов он ставит еще десятки вопросов, ответы на которые дает потом из сочинений известных богословов, а главное предоставляет самому читателю сделать вывод из изложения всей книги. Как образцы этих вопросов, заключающих в себе отчасти и ответы, приведу следующие. По 4-му пункту о том, как делаются еретики, он говорит в одном из вопросов (в 7-м): «Не показывает ли вся история того, что самые больщие делатели еретиков и мастера этого дела были именно те мудрецы, от которых отец скрыл свои тайны, т. е. лицемеры, фарисеи и законники или совершенно безбожные и извращенные люди». (Вопр. 20–21): «И что не были ли в испорченные времена христианства отброщены лицемерами и завистниками те самые люди, особенно одаренные от Бога великими дарами, которые во времена чистого христианства были бы высоко почитаемы. И напротив, не были ли бы эти люди, которые при упадке христианства возвысили себя выше всего и признали себя учителями чистейшего христианства, не были ли бы те люди во времена апостолов и учеников Христа признаны самыми постыдными еретиками и антихристианами».

Между прочим, высказывая в этих вопросах мысль о том, что словесное выражение сущности веры, которое требовалось церковью и отступление от которого считалось ересью, никогда не могло вполне покрывать самого миросозерцания верующего и что потому требование выражения веры известными словами и производило ереси, он в вопросе 21-ми 33-м говорит;

«И что если человеку божественные дела и мысли представляются столь великими и глубокими, что он не находит соответствующих слов для их выражения, то следует ли его признать еретиком, если он не может вполне точно выразить свое понятие? И что не оттого ли в первые времена не было ереси, что христиане судили друг друга не по словесным выражениям, но по сердцу и делам, при

совершенной свободе выражения своих мыслей, без страха быть признанным еретиком? Не было ли самым обыкновенным и легким способом церкви (говорит он в 31-м вопросе), если клир хотел избавиться или погубить кого, сделать это лицо подозрительным в его учении и набросить на него плащ еретичества и тем осудить и устранить это лицо?»

«Хотя и справедливо то, что среди так называемых еретиков были грехи и заблуждения, но не менее справедливо и очевидно из бесчисленных приводимых здесь примеров (т. е. в истории церкви и ереси) и то, говорит он далее, что нет и не было ни одного искреннего и совестливого человека с некоторым значением, который бы из зависти или других причин не был бы погублен церковниками».

Так почти 200 лет тому назад понималось уже значение ереси, и, несмотря на то, понятие это существует до сих пор. Оно и не может не существовать до тех пор, пока существует понятие церкви. Ересь есть обратная сторона церкви. Там, где есть церковь, должно быть и понятие ереси. Церковь есть собрание людей, утверждающих про себя, что они обладают несомненной истиной. Ересь есть мнение людей, не признающих несомненность истины церкви.

Ересь есть проявление движения в церкви, есть попытка разрушения закоченевшего утверждения церкви, попытка живого понимания учения. Всякий шаг движения вперед, понимания и исполнения учения совершался еретиками; еретики были и Тертуллиан, и Ориген, и Августин, и Лютер, и Гус, и Савонаролла, и Хельчицкий и др. Оно и не могло быть иначе.

Ученик Христа, учение которого состоит в вечном большем и большем постигновении учения и большем и большем исполнении его, в движении к совершенству, не может именно потому, что он ученик Христа, утверждать про себя или про другого, что он понимает вполне учение Христа и исполняет его; еще менее может утверждать это про какое-либо собрание.

На какой бы ступени понимания и совершенства ни находился ученик Христа, он всегда чувствует недостаточность своего и понимания и исполнения и всегда стремится к большему и пониманию и исполнению. И потому утверждение про себя или про какое-либо собрание, что я или мы находимся в обладании совершенного понимания и исполнения учения Христа, есть отречение от духа учения Христа.

Как ни странно это кажется, церкви, как церкви, всегда были и не могут не быть учреждениями не только чуждыми, но прямо враждебными учению Христа. Недаром Вольтер (Voltaire) называл ее l’infame (бесчестная); недаром все или почти все христианские

так называемые секты признавали и признают церковь той блудницей, о которой пророчествует Апокалипсис; недаром история церкви есть история величайших жестокостей и ужасов.

Церкви, как церкви, не суть некоторые учреждения, имеющие в основе своей христианское начало, хотя и несколько отклонившиеся от прямого пути, как это думают многие; церкви, как церкви, как собрания, утверждающие свою непогрешимость, суть учреждения противохристианские. Между церквами, как церквами, и христианством не только нет ничего общего, кроме имени, но это два совершенно противоположные и враждебные друг другу начала. Одно – гордость, насилие, самоутверждение, неподвижность и смерть; другое – смирение, покаяние, покорность, движение и жизнь.

Нельзя служить вместе этим двум господам, надо выбрать того или другого.

Служители церквей всех исповеданий, в особенности в последнее время, стараются выставить себя сторонниками движения в христианстве: они делают уступки, желают исправить вкравшиеся в церкви злоупотребления и говорят, что из-за злоупотреблений нельзя отрицать самого принципа христианской церкви, которая одна только может соединить всех воедино и быть посредницей между людьми и Богом. Но это всё несправедливо. Церкви не только никогда не соединяли, но были всегда одной из главных причин разъединения людей, ненависти друг к другу, войн, побоищ, инквизиций, варфоломеевских ночей и т. п., и церкви никогда не служат посредниками между людьми и Богом, чего и не нужно и что прямо запрещено Христом, открывшим свое учение прямо непосредственно каждому человеку, но ставят мертвые формы вместо Бога и не только не открывают, но заслоняют от людей Бога. Церкви, возникшие из непонимания и поддерживающие это непонимание своей неподвижностью, не могут не преследовать и не гнать всякое понимание учения. Они стараются скрыть это, но это невозможно потому, что всякое движение вперед по пути, указанному Христом, разрушает их существование.

Послущаещь и почитаешь статьи и проповеди, в которых церковные писатели нового времени всех исповеданий говорят о христианских истинах и добродетелях, послушаешь и почитаешь эти веками выработанные искусные рассуждения, увещания, исповедания, иногда как будто похожие на искренние, и готов усомниться в том, чтобы церкви могли быть враждебны христианству: «не может же быть того, чтобы эти люди, выставившие таких людей, как Златоусты, Фенелоны, Ботлеры, и других проповедников христианства, были враждебны ему». Хочется сказать: «церкви могли отклоняться от христианства, ошибаться, но не могли они быть враждебны

ему». Но посмотришь на плоды, чтобы оценить дерево, как учил Христос, и увидишь, что плоды их были злы, что последствием их деятельности было извращение христианства, и не можешь не признать, что, как ни добры были люди,– дело церкви, в котором эти люди участвовали, было нехристианское. Доброта и достоинства всех этих людей, служивших церквам, были доброта и достоинства людей, но не того дела, которому они служили. Все эти добрые люди,– как оба Франциска, d'Assise и de Lobes, наш Тихон Задонский, Фома Кемпийский и др. были добрые люди, несмотря на то, что они служили делу, враждебному христианству, и они были бы еще добрее и достойнее, если бы не подпали тому заблуждению, которому служили.

Но зачем говорить о прошедшем, судить о прошедшем, которое может быть ложно представлено и мало известно нам: церкви с своими основами и с своей деятельностью не есть дело прошедшего; церкви теперь перед нами, и мы можем судить о них на деле по их деятельности, их влиянию на людей.

В чем же состоит теперь деятельность церквей? Как они влияют на людей? Что делается церквами у нас, у католиков, у протестантов всяких наименований; в чем их деятельность и какие последствия их деятельности?

Деятельность нашей русской, так называемой православной, церкви на виду у всех. Это факт огромный, который скрыть нельзя и о котором спорить нельзя.

В чем состоит деятельность этой русской церкви, этого огромного напряженно действующего учреждения, состоящего из полумиллионного полчища, стоящего народу десятки миллионов?

Деятельность этой церкви состоит в том, чтобы всеми возможными мерами внушить 100-миллионной массе русского народа те отсталые, отжитые, не имеющие теперь никакого оправдания верования, которые когда-то исповедовали чуждые нашему народу люди и в которые почти никто уже не верит, часто даже и те, на обязанности которых лежит распространение этих ложных верований.

Внушение народу этих чуждых ему, отжитых и не имеющих уже никакого смысла для людей нашего времени формул византийского духовенства о троице, о Божией матери, о таинствах, о благодати и т. п. составляет одну часть деятельности русской церкви; другую часть ее деятельности составляет деятельность поддержания идолопоклонства в самом прямом смысле этого слова: почитания святых мощей, икон, принесения им жертв и ожидания от них исполнения желаний. Не буду говорить о том, что говорится, пишется духовенством с оттенком научности и либерализма в духовных журналах, а буду говорить о том, что действительно совершается духовенст-

ВОМ по всей обширной русской земле среди 100-миллионного народа. Чему старательно, неупустительно, напряженно везде одинаково учат народ? Чего от него требуют в силу так называемой христианской веры?

Начну с начала, с рождения ребенка: при рождении ребенка учат тому, что надо над ребенком и матерью прочитать молитву, чтобы очистить их, так как без молитвы этой родившая мать погана. Для этого перед изображениями святых, называемых народом прямо богами, священник берет в руки ребенка и читает заклина- тельные слова и этим очищает мать. Потом внушается родителям и даже требуется от них под страхом наказания за неисполнение, чтобы ребенок был непременно крещен, т. е. обмокнут священником три раза в воду, причем читаются никому не понятные слова и совершаются еще менее понятные действия,– мазание маслом разных частей тела, стрижка волос и дутье и плевание восприемников на воображаемого дьявола. Всё это должно очистить ребенка и сделать его христианином. Потом внушается родителям, что ребенка надо причастить, т. е. дать ему под видом хлеба и вина съесть частицу тела Христа, вследствие чего ребенок примет в себя благодать Христа и т. д. Потом внушается, что этого ребенка, по мере возраста, надо выучить молиться. Молиться – значит становиться прямо перед досками, на которых нарисованы лица Христа, Богородицы, святых, и кланяться головой, всем телом, а правой рукой, со сложенными известным образом пальцами, дотрагиваться до лба, плеч и живота и произносить славянские слова, из которых самые употребительные и всем детям внушаемые: Богородица, дева радуйся и т. д. Потом внушается воспитываемому, что при виде всякой церкви и иконы надо делать опять то же, т. е. креститься; потом внушается, что в праздники (праздники – это дни, в которые Христос родился, хотя никто не знает, когда это было, дни, в которые он обрезался, в которые умерла Богородица, в которые принесен крест, в которые внесена икона, в которые юродивый видел видение и т. п.), в праздники надо одеться в лучшие одежды и идти в церковь и покупать и ставить там свечи перед изображениями святых, подавать записочки и поминания и хлебцы, для вырезывания в них треугольников, и потом молиться много раз за здоровье и благоденствие царя и архиереев и за себя и за свои дела и потом целовать крест и руку у священника.

Кроме этой молитвы, внушается еще, что надо каждый год, по крайней мере один раз, говеть. Говеть – значит войти в церковь и сказать священнику свои грехи, предполагая, что это сообщение своих грехов чужому человеку совершенно очищает от грехов, и потом съесть с ложечки кусочек хлеба с вином, что еще более очища

ет. Потом внушается, что если мужчина и женщина хотят, чтобы их плотское общение было свято, то они должны прийти в церковь, надеть на себя металлические короны, выпить питья, обойти под звуки пения три раза вокруг стола, и что тогда плотское общение мужчины и женщины сделается святым и совсем особенным от всяких других.

В жизни же внушается, что надо соблюдать следующие правила: не есть мяса и молока в известные дни, еще в другие известные дни служить молебны и панихиды по умершим, в праздники принимать священника и давать ему деньги и несколько раз в году брать из церкви доски с изображениями и носить их на полотенцах по полям и домам. Перед смертью же внушается, что человек должен непременно съесть с ложечки хлеба с вином, а еще лучше, если успеет помазаться маслом. Это обеспечивает ему благо в будущей жизни. После же смерти внушается родным его, что для спасения души умершего полезно положить ему в руки печатную бумагу с молитвой; полезно еще, чтобы над мертвым телом прочли известную книгу и чтобы в церкви в известное время произносили бы имя умершего.

В этом считается обязательная вера для каждого.

Но если кто особенно хочет позаботиться о своей душе, то по этой вере внушается, что наибольшее обеспечение блаженства души на том свете достигается еще тем, чтобы жертвовать деньги на церкви и монастыри, обязывая этим святых людей молиться за себя. Спасительны еще, по этой вере, для души хождения по монастырям и целование явленных икон и мощей.

По этой вере явленные иконы и мощи сосредоточивают в себе особенную святость, силу и благодать и близость к этим предметам; прикосновение, целование, становление свеч к ним, подлезание под них много содействует спасению, равно и молебны, заказываемые перед этими святынями.

И вот эта-то вера, и никакая другая, называемая православной, т. е. настоящей верой, под видом христианской, всеми силами в продолжение многих веков и с особенным напряжением теперь внушается народу.

И пусть не говорят, что православные учителя полагают сущность учения в чем-либо другом, а что это только древние формы, которые не считается нужным разрушать. Это неправда: по всей России всем русским духовенством и в последнее время с особенным напряжением внушается только эта вера. Другого ничего нет. Про другое говорится и пишется в столицах, но среди стомиллионного народа делается только это и внушается только это, и больше

ничего. О другом церковники разговаривают, а это они внушают всеми возможными мерами.

Всё это и поклонение лицам и иконам внесено в богословие, в катехизисы; этому старательно учат народ теоретически и практически, всеми средствами торжественности, блеска, авторитета, насилия гипнотизируя его, заставляют его верить в это и ревниво оберегают эту веру от каждой попытки освобождения народа от этих диких суеверий.

На моих глазах, как я говорил, по случаю моей книги, в продолжение многих лет учение Христа и его собственные слова о непротивлении злу были предметом насмешек, балаганных шуток и церковники не только не противились этому, но поощряли это кощунство; но попробуйте сказать непочтительное слово о безобразном идоле, кощунственно развозимом по Москве пьяными людьми под именем Иверской, и поднимется стон негодования этих самых православных церковников. Проповедуется только внешний культ идолопоклонства. И пусть не говорят, что одно не мешает другому, что «сие надлежит делать и того не оставлять», что «все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают» (Мф. XXIII, 23, 3). Это сказано о фарисеях, которые исполняли все внешние предписания закона, и потому слова; «что велят вам соблюдать, соблюдайте», относятся к делам милости и добра, слова же: «по делам же их не поступайте, они говорят, но не делают», относятся к исполнению обрядов и упущению дел добра и имеют как раз обратный смысл того, который хотят придать этому месту церковники, толкуя так, что соблюдать велено обряды. Внешний культ и служение милости и правде трудно совместимы; большею частью одно исключает другое. Так было это у фарисеев, так это и теперь у церковных христиан.

Если человек может спастись искуплением, таинствами, молитвой, то добрые дела уже не нужны ему.

Нагорная проповедь или символ веры; нельзя верить тому и другому. И церковники выбрали последнее; символ веры учится и читается, как молитва и в церквах, а нагорная проповедь исключена даже из чтений евангельских в церквах, так что в церквах никогда, кроме как в те дни, когда читается всё Евангелие, прихожане не услышат ее. Да и не может быть иначе: люди, верующие в злого и безрассудного Бога,– проклявшего род человеческий и обрекшего своего сына на жертву и часть людей на вечное мучение,– не могут верить в Бога любви. Человек, верующий в Бога Христа паки грядущего со славою судить и казнить живых и мертвых, не может верить в Христа, повелевающего подставлять щеку обидчику, не судить, прощать и любить врагов. Человек, верующий в боговдохно

венность Ветхого Завета и святость Давида, завещающего на смертном одре убийство старика, оскорбившего его и которого он сам не мог убить, так как был связан клятвою (3-я Книга Царей, глава 2, стих 8), и тому подобные мерзости, которыми полон Ветхий Завет, не может верить в нравственный закон Христа; человек, верующий в учение и проповеди церкви о совместимости с христианством казней, войн, не может уже верить в братство всех людей.

Главное же, человек, верующий в спасение людей верою в искупление или в таинства, не может уже все силы свои полагать на исполнение в жизни нравственного учения Христа.

Человек, наученный церковью тому кощунственному учению о том, что человек не может спастись своими силами, а что есть другое средство, неизбежно будет прибегать к этому средству, а не к своим силам, на которые,_его уверяют, грех надеяться. Учение церковное – всякое, с своим искуплением и таинствами, исключает Христово учение, тем более учение православное с своим идолопоклонством.

«Но народ сам так всегда верил, так верит теперь,– скажут на это.– Вся история русского народа доказывает это. Нельзя лишить народа его предания». В этом-то и обман. Народ когда-то точно исповедовал нечто подобное тому, что исповедует теперь церковь, хотя далеко не то же самое (в народе, кроме этого изуверства икон, домовых, мощей и семиков с венками и березками, всегда было еще глубокое нравственное жизненное понимание христианства, которого никогда не было во всей церкви, а встречалось только в лучших представителях ее); но народ, несмотря на все препятствия, которые в этом ставило ему государство и церковь, давно уже пережил в лучших представителях своих эту грубую степень понимания, что он и показывает самозарождающимися везде рационалистическими сектами, которыми кишит теперь Россия и с которыми так безуспешно борются теперь церковники. Народ идет вперед в сознании нравственной, жизненной стороны христианства. И вот тут-то и является церковь с своим не поддерживанием, но усиленным внушением отжившего язычества в своей законченной форме, с своим стремлением втолкнуть опять народ в тот мрак, из которого он выбивается с таким усилием.

«Мы не учим ничему новому народ, но только тому, во что он верует, но только в более совершенной форме»,– говорят священники. Это то же самое, что бы делал человек, связывая вырастающего цыпленка и засовывая в скорлупу, из которой он вышел.

Меня часто поражало это комическое, если бы последствия его не были так ужасны, наблюдение о том, как люди, сцепившись кру

гом, обманывают друг друга и не могут выйти из этого заколдованного круга.

Первый вопрос, первое сомнение начинающего мыслить русского человека есть вопрос об явленных иконах и, главное, о мощах: правда ли, что они нетленны и что от них совершаются чудеса? Сотни и тысячи людей задают себе эти вопросы и затрудняются в разрешении их преимущественно тем, что архиереи, митрополиты и все высокопоставленные люди прикладываются к мощам и чудотворным иконам. Спросить у архиерея и высокопоставленных лиц, зачем они это делают, они скажут, что делают для народа, а народ прикладывается потому, что архиереи и высокопоставленные лица это делают.

Деятельность русской церкви, несмотря на весь тот внещний лоск современности, учености, духовности, который ее члены теперь начинают принимать в своих сочинениях, статьях, в духовных журналах и проповедях, состоит только в том, чтобы не только держать народ в том состоянии грубого и дикого идолопоклонства, в котором он находился, но еще усиливать и распространять суеверие и религиозное невежество, вытесняя из народа живущее в нем рядом с идолопоклонством жизненное понимание христианства.

Помню, раз в монастырской книжной лавке Оптиной пустыни, я присутствовал при выборе старым мужиком божественных книг для своего грамотного внука. Монах подсовывал ему описание мощей, праздников, явлений икон. Псалтырь и т. п. Я спросил старика, есть ли у него Евангелие? Нет. «Дайте ему русское Евангелие»,– сказал я монаху. «Это им нейдет»,– сказал мне монах.

Это в сжатом виде деятельность нашей церкви.

Но это так только в варварской России, скажет на это европейский или американский читатель. И такое суждение будет справедливо, но только в той мере, в которой это суждение относится к правительству, помогающему церкви совершать ее одуряющее и развращающее действие в России.

Справедливо, что нигде в Европе нет столь деспотического правительства и до такой степени согласного с царствующей церковью. И потому участие власти в развращении народа в России самое сильное; но несправедливо, чтобы церковь русская в своем влиянии на народ отличалась чем-нибудь от какой-либо другой церкви.

Церкви везде одни и те же, и если католическая, англиканская и лютеранская не имеют под рукой такого покорного правительства, как русское, то это происходит не от отсутствия желания воспользоваться таковым.

Церковь как церковь, какая бы она ни была – католическая, англиканская, лютеранская, пресвитерианская, всякая церковь, на

сколько она церковь, не может не стремиться к тому же, к чему и русская церковь, к тому, чтобы скрыть настоящий смысл учения Христа и заменить его своим учением, которое ни к чему не обязывает, исключает возможность понимания истинного, деятельного учения Христа и, главное, оправдывает существование жрецов, кормящихся на счет народа.

Разве что-либо другое делало и делает католичество с своим запретом чтения Евангелия и с своим требованием нерассуждающей покорности церковным руководителям и непогрещимому папе? Разве что-либо другое, чем русская церковь, проповедует католичество? Тот же внешний культ, те же мощи, чудеса и статуи, чудодейственные Notre-Dames и процессии. Те же возвышенно туманные суждения о христианстве в книгах и проповедях, а когда дойдет до дела, то поддерживание самого грубого идолопоклонства.

И разве не то же самое делается и в англиканстве, лютеранстве, во всяком протестантстве, сложившемся в церковь? Те же требования от паствы веры в догматы, выраженные в IV веке и потерявшие всякий смысл для людей нашего времени, и то же требование идолопоклонства, если не перед мощами, иконами, то перед днем субботним и буквой Библии. Всё та же деятельность, направленная на то, чтобы скрыть настоящие требования христианства и на место их поставить ни к чему не обязывающую внешность и cant, как прекрасно определяют англичане то самое занятие, которому они особенно подвержены. Среди протестантства эта деятельность особенно заметна потому, что нет у этого исповедания даже отговорки древности. И разве не то же самое происходит и в теперешнем ри- вайвализме – обновленном кальвинизме, евангелизме, из которого выродилась армия спасения.

Как одинаково положение всех церковных учений, по отношению к учению Христа, так одинаковы и их приемы.

Положение их таково, что им нельзя не напрягать все усилия на то, чтобы скрыть учение Христа, именем которого они пользуются.

Несоответствие всех церковных исповеданий с учением Христа ведь таково, что нужны особенные усилия, чтобы скрыть это несоответствие от людей. В самом деле, ведь стоит только вдуматься в положение каждого взрослого, не только образованного, но самого простого человека нашего времени, набравшегося носящихся в воздухе понятий о геологии, физике, химии, космографии, истории, когда он в первый раз сознательно отнесется к тем, в детстве внушенным ему и поддерживаемым церквами, верованиям о том, что Бог сотворил мир в шесть дней; свет прежде солнца, что Ной засунул всех зверей в свой ковчег и т. п.; что Иисус есть тоже Бог-сын, который творил всё до времени; что этот Бог сошел на землю за

грех Адама; что он воскрес, вознесся и сидит одесную Отца и придет на облаках судить мир и т. п.

Ведь все эти положения, выработанные людьми IV века и имевшие для людей того времени известный смысл, для людей нашего времени не имеют никакого. Люди нашего времени могут устами повторять эти слова, но верить не могут, потому что слова эти, как то, что Бог живет на небе, что небо раскрылось и оттуда сказал голос что-то, что Христос воскрес и полетел куда-то на небо и опять придет откуда-то на облаках и т. п.,– не имеют для нас смысла.

Можно было человеку, считавшему небо конечным, твердым сводом, верить или не верить, что Бог сотворил небо, что небо раскрылось, что Христос улетел на небо, но для нас все эти слова не имеют никакого значения. Люди нашего времени могут только верить, что в это надо верить, что они и делают; но верить не могут в то, что для них не имеет смысла.

Если же все эти выражения должны иметь иносказательный смысл и суть прообразы, то ведь мы знаем, что, во-первых, не все церковники согласны в этом, а, напротив, большинство настаивает на понимании Священного Писания в прямом смысле, а, во-вторых, то, что толкования эти очень многоразличны и ничем не подтверждаются.

Но, даже если человек и захочет заставить себя верить учению церквей, так, как оно преподается,– всеобщее распространение грамотности и Евангелий и общение между собою людей разных исповеданий составляют для этого другое еще более непреодолимое препятствие.

Ведь стоит только человеку нашего времени купить за 3 копейки Евангелие и прочесть ясные, не подлежащие перетолкованию слова Христа к самарянке о том, что отцу нужны поклонники не в Иерусалиме, не на той горе и не на этой, а поклонники в духе и истине, или слова о том, что молиться христианин должен не как язычник в храмах и на виду, а тайно, т. е. в своей клети, или что ученик Христа никого не должен называть отцом или учителем, стоит только прочесть эти слова, чтобы убедиться, что никакие духовные пастыри, называющиеся учителями в противоположность учению Христа и спорящие между собою, не составляют никакого авторитета и что то, чему нас учат церковники, не есть христианство. Но мало и этого: если бы человек нашего времени и продолжал верить в чудеса и не читал бы Евангелия, одно общение с людьми других исповеданий и вер, сделавшееся столь легким в наше время, заставит человека усомниться в истинности своей веры. Хорошо было человеку, не видавшему людей другого исповедания, чем он сам, верить, что его исповедание – одно истинное; но стоит только дума

ющему человеку столкнуться, как это теперь беспрестанно случается, с людьми одинаково добрыми и злыми разных исповеданий, осуждающих веры друг друга, чтобы усомниться в истинности исповедуемой им веры. В наше время только человек совершенно невежественный или совершенно равнодушный к вопросам жизни, освящаемым религией, может оставаться в церковной вере.

Какие же нужны церквам хитрости и усилия, чтобы, несмотря на все эти разрушающие веру условия, продолжать строить церкви, служить обедни, проповедовать, учить, обращать и, главное, получать за это огромное содержание, как все эти священники, пастыри, интенданты, суперинтенданты, аббаты, архидиаконы, епископы и архиепископы.

Нужны особенные, сверхъестественные усилия. И такие усилия, всё более и более напрягая их, и употребляют церкви. У нас в России (кроме всех других) употребляется простое, грубое насилие покорной церкви власти. Людей, отступающих от внешнего выражения веры и высказывающих это, или прямо наказывают, или лишают прав; людей же, строго держащихся внешних форм веры, награждают, дают права.

Так поступают православные; но и все церкви без исключения пользуются всеми для этого средствами, из которых главное – то, что теперь называется гипнотизацией.

Пускаются в дело все искусства от архитектуры до поэзии для воздействия на души людей и для одурения их, и воздействие это происходит неперестающее. Особенно очевидна эта необходимость гипнотизирующего воздействия на людей для приведения их в состояние одурения на деятельности армии спасения, употребляющей новые, не привычные нам приемы труб, барабанов, песней, знамен, нарядов, шествий, плясок, слез и драматических приемов.

Но, это нас поражает только потому, что это новые приемы; разве старые приемы храмов с особенным освещением, с золотом, блеском, свечами, хорами, органом, колоколами, ризами, плаксивыми проповедями и т. п. не то же самое?

Но, как ни сильно это действие гипнотизации, не в этом главная и самая зловредная деятельность церквей. Главная и наизловреднейшая деятельность церкви есть та, которая направлена на обман детей, тех самых детей, про которых Христос сказал, что горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. С самого первого пробуждения сознания ребенка его начинают обманывать, с торжественностью внушать ему то, во что не верят сами внушающие, и внушать до тех пор, пока обман не срастется посредством привычки с природой ребенка. Ребенка старательно обманывают в самом важном деле в жизни, и когда обман так сросся с его жизнью, что уже труд

но оторвать его, тогда перед ребенком открывают весь мир науки и действительности, который никаким образом не может совместиться с внушенными ему верованиями, предоставляя ему разбираться самому, как он умеет, в этих противоречиях.

Ведь если поставить себе задачей запутать человека так, чтобы он не мог с здоровым умом выбраться из внушенных ему с детства двух противоположных миросозерцаний, то нельзя ничего придумать сильнее того, что совершается над всяким молодым человеком, воспитываемым в нашем так называемом христианском обществе.

Ужасно то, что делают над людьми церкви, но если вдуматься в их положение, то тем людям, которые составляют учреждение церквей, иначе поступать нельзя. Перед церквами стоит дилемма; нагорная проповедь или Никейский символ – одно исключает другое; если человек искренно поверит в нагорную проповедь, Никейский символ неизбежно потеряет для него смысл и значение и вместе с ним церковь и ее представители; если же человек поверит в Никейский символ, т. е. в церковь, т. е. в тех, которые называют себя представителями ее, то нагорная проповедь станет для него излишняя. И потому церквам нельзя не употреблять всех возможных усилий для затемнения смысла нагорной проповеди и для привлечения к себе людей. Только благодаря напряженной деятельности церквей в этом направлении держалось до сих пор влияние церквей. Останови церковь хоть на самый короткий срок это воздействие на массы гипнотизацией и обманом детей, и люди поймут учение Христа. А понимание учения уничтожает церкви и значение их. И потому церкви ни на мгновенье не прекращают усиленной деятельности и гипнотизации взрослых и обмана детей. И вот эта-то деятельность церквей, внушающая людям ложное понимание учения Христа, и служит препятствием понимания его для большинства людей, так называемых верующих.

IV

Теперь скажу о другом мнимом понимании христианства, мешающем истинному пониманию его,– о понимании научном.

Церковные люди считают христианством то представление о нем, которое они себе составили, и это-то понимание христианства считают единым несомненно истинным.

Люди науки считают христианством только то, что исповедовали и исповедуют различные церкви, и, предполагая, что исповедания эти исчерпывают всё значение христианства, признают его отжившим свое время религиозным учением.

Для того, чтобы ясно было, как невозможно при таком взгляде понять христианское учение, необходимо составить себе понятие о том месте, которое в действительности занимали и занимают религии вообще и, в частности, христианская в жизни человечества, и о том значении, которое приписывается им наукой.

Как отдельный человек не может жить, не имея известного представления о смысле своей жизни, и всегда, хотя часто и бессознательно, соображает свои поступки с этим придаваемым им своей жизни смыслом, так точно и совокупности людей, живущих в одинаковых условиях – народы, не могут не иметь представления о смысле их совокупной жизни и вытекающей из нее деятельности. И как отдельный человек, вступая в новый возраст, неизбежно изменяет свое понимание жизни, и взрослый человек видит смысл ее в ином, чем ребенок, так точно и совокупность людей, народа, неизбежно, соответственно возрасту своему, изменяет свое понимание жизни и вытекающую из этого понимания деятельность.

Различие в этом отнощении отдельного человека от всего человечества состоит в том, что, тогда как отдельный человек в определении, свойственного тому новому периоду жизни, в который он вступает, понимания жизни и вытекающей из него деятельности пользуется указаниями прежде живщих его людей, переживщих уже тот возраст, в который он вступает, человечество не может иметь этих указаний, потому что оно всё подвигается по не исследованному еще пути и не у кого спросить, как надо понимать жизнь и действовать в тех новых условиях, в которые оно вступает и в которых еще никто никогда не жил.

А между тем как человеку женатому и с детьми невозможно продолжать понимать жизнь так же, как он понимал ее, будучи ребенком, так и человечеству нельзя уже, при совершившихся разнообразных изменениях; и густоты населения, и установившегося общения между разными народами, и усовершенствования способов борьбы с природой, и накопления знаний,– продолжать понимать жизнь по-прежнему, а необходимо установить новое жизнепонимание, из которого и вытекла бы и деятельность, соответствующая тому новому состоянию, в которое оно вступило или вступает.

На это-то требование и отвечает особенная способность человечества выделять из себя людей, дающих новый смысл всей жизни человеческой,– смысл, из которого вытекает вся иная, чем прежняя, деятельность. Установление этого, свойственного человечеству в тех новых условиях, в которые оно вступает, жизнепонимания и вытекающей из него деятельности и есть то, что называется ***религия.***

и потому религия, во-первых, не есть, как это думает наука, явление, когда-то сопутствовавшее развитию человечества, но потом пережитое им, а есть всегда присущее жизни человечества явление, и в наше время столь же неизбежно присущее человечеству, как и во всякое другое время. Во-вторых, религия всегда есть определение деятельности будущего, а не прошедшего, и потому очевидно, что исследование прошедших явлений ни в каком случае не может захватить сущности религии.

Сущность всякого религиозного учения – не в желании символического выражения сил природы, не в страхе перед ними, не в потребности к чудесному и не во внешних формах ее проявления, как это думают люди науки. Сущность религии в свойстве людей пророчески предвидеть и указывать тот путь жизни, по которому должно идти человечество, в ином, чем прежнее, определении смысла жизни, из которого вытекает и иная, чем прежняя, вся будущая деятельность человечества.

Свойство этого провидения того пути, по которому должно идти человечество, в большей или меньшей степени обще всем людям; но всегда во все времена были люди, в которых это свойство проявлялось с особенной силой, и люди эти ясно и точно выражали то, что смутно чувствовали все люди, и устанавливали новое понимание жизни, из которого вытекала иная, чем прежняя, деятельность, на многие сотни и тысячи лет.

Таких пониманий жизни мы знаем три; два уже пережитых человечеством, и третье, которое мы теперь переживаем в христианстве. Пониманий таких три, и только три, не потому, что мы произвольно соединили различные жизнепонимания в эти три, а потому, что поступки всех людей имеют всегда в основе одно из этих трех жизнепониманий, потому что иначе, как только этими тремя способами, мы не можем понимать жизнь.

Три жизнепонимания эти следующие; первое – личное, или животное, второе – общественное, или языческое, и третье – всемирное, или божеское.

По первому жизнепониманию жизнь человека заключается в одной его личности; цель его жизни – в удовлетворении воли этой личности. По второму жизнепониманию жизнь человека заключается не в одной его личности, а в совокупности и последовательности личностей; в племени, семье, роде, государстве; цель жизни заключается в удовлетворении воли этой совокупности личностей. По третьему жизнепониманию жизнь человека заключается и не в своей личности и не в совокупности и последовательности личностей, а в начале и источнике жизни – в Боге.

Эти три жизнепонимания служат основой всех существовавших и существующих религий.

Дикарь признает жизнь только в себе, в своих личных желаниях. Благо его жизни сосредоточено в нем одном. Высшее благо для него есть наиполнейшее удовлетворение его похоти. Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религия его состоит в умилостивлении божества к своей личности и в поклонении воображаемым личностям богов, живущим только для личных целей.

Человек языческий, общественный признает жизнь уже не в одном себе, но в совокупности личностей – в племени, семье, роде, государстве, и жертвует для этих совокупностей своим личным благом. Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам – исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства'.

Человек божеского жизнепонимания признает жизнь уже не в своей личности и не в совокупности личностей (в семье, роде, народе, отечестве или государстве), а в источнике вечной, неумирающей жизни – в Боге; и для исполнения воли Бога жертвует и своим личным, и семейным, и общественным благом. Двигатель его жизни есть любовь. И религия его есть поклонение делом и истиной началу всего – Богу.

Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к жизнепониманию божескому. Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть, переживаемая нами и теперь. История замены государственного жизнепонимания божеским.

Вот это-то последнее жизнепонимание и основанное на нем христианское учение, руководящее всей нашей жизнью и лежащее в основе всей нашей деятельности, как практической, так и научной, люди мнимой науки, рассматривая его только по его внешним признакам, признают чем-то отжившим и не имеющим для нас значения.

' То, что на этом общественном или языческом жизнепонимании основываются столь разнообразные склады жизни, как жизнь племенная, семейная, родовая, государственная и даже теоретически представляемая позитивистами жизнь человечества, это не нарушает единства этого жизнепонимания. Все эти разнообразные формы жизни основаны на одном представлении о том, что жизнь личности не есть достаточная цель жизни, что смысл жизни может быть найден только в совокупности личностей,— *Примеч. Л. Н. Т.*

Учение это, по мнению людей науки, заключающееся только в его догматической стороне – в учении о троице, искуплении, чудесах, церкви, таинствах и пр.– есть только одна из огромного количества религий, которые возникали в человечестве, и теперь, сыграв свою роль в истории, отживает свое время, уничтожаясь перед светом науки и истинного просвещения.

Происходит то, что в большей части случаев служит источником самых грубых заблуждений людских; люди, стоящие на низшей степени понимания, встречаясь с явлениями высшего порядка,– вместо того чтобы сделать усилия, чтобы понять их, чтобы подняться на ту точку зрения, с которой должно смотреть на предмет,– обсуживают его с своей низшей точки зрения, и с тем большей смелостью и решительностью, чем меньше они понимают то, о чем говорят.

Для большинства научных людей, рассматривающих жизненное нравственное учение Христа с низшей точки зрения общественного жизнепонимания, учение это есть только весьма неопределенное, нескладное соединение индийского аскетизма, стоического и неоплатонического учения и утопических антисоциальных мечтаний, не имеющих никакого серьезного значения для нашего времени, и всё значение его сосредоточивается для них в его внешних проявлениях: в католичестве, протестантстве, догматах, борьбе с светской властью. Определяя по этим явлениям значение христианства, они подобны глухим, которые судили бы о значении и достоинстве музыки по виду движений музыкантов.

От этого происходит то, что все эти люди, начиная от Конта, Страуса, Спенсера и Ренана, не понимая смысла речей Христа, не понимая того, к чему и зачем они сказаны, не понимая даже и вопроса, на который они служат ответом, не давая себе даже труда вникнуть в смысл их, прямо, если они враждебно настроены, отрицают разумность учения; если же они хотят быть снисходительны к нему, то с высоты своего величия поправляют его, предполагая, что Христос хотел сказать то самое, что они думают, но не сумел этого сделать. Они обращаются с его учением так, как большею частью, поправляя слова своего собеседника, говорят самоуверенные люди с тем, кого они считают много ниже себя: «Да, вы собственно хотите сказать то-то и то-то». Поправка эта делается всегда в том смысле, чтобы учение высшего, божеского жизнепонимания свести к низшему, общественному.

Обыкновенно говорят, что нравственное учение христианства хорошо, но преувеличено,– что для того, чтобы оно было вполне хорошо, надо откинуть от него излишнее, не подходящее к нашему строю жизни. «А то учение, требующее слишком многого, неиспол-

нимого, хуже, чем то, которое требует от людей возможного, соответственно их силам»,– думают и утверждают ученые толкователи христианства, повторяя при этом то, что давно уже утверждали и утверждают и не могли не утверждать о христианском учении те, которые, не поняв его, распяли за то учителя,– евреи.

Оказывается, что перед судом ученых нашего времени закон еврейский: зуб за зуб и око за око,– закон справедливого возмездия, известный человечеству 5000 лет тому назад, более целесообразен, чем закон любви, 1800 лет тому назад проповеданный Христом на место этого самого закона справедливости.

Оказывается, что всё то, что было сделано теми людьми, которые поняли учение Христа прямо и жили сообразно с таким пониманием,– всё то, что делали и говорили все истинные христиане, все христианские подвижники, всё то, что преобразовывает мир теперь под видом социализма и коммунизма, всё это преувеличения, о которых не стоит и говорить.

Люди, 18 веков воспитанные в христианстве, в лице своих передовых людей, ученых, убедились в том, что христианское учение есть учение о догматах; жизненное же учение есть недоразумение, есть преувеличение, нарушаюнгее настоящие законные требования нравственности, соответствующие природе человека, и что то самое учение справедливости, которое отверг Христос, на месте которого он поставил свое учение, гораздо пригоднее нам.

Ученым людям заповедь непротивления злу насилием кажется преувеличением и даже неразумием. Если откинуть ее, то будет гораздо лучще, думают они, не замечая того, что они толкуют вовсе не об учении Христа, а о том, что им представляется таковым.

Они не замечают того, что сказать, что в учении Христа заповедь о непротивлении злу насилием есть преувеличение, всё равно что сказать, что в учении о круге положение о равенстве радиусов круга есть преувеличение. И те, которые говорят это, делают совер- щенио то же, что делал бы человек, не имеющий понятия о том, что есть круг, который бы утверждал, что требование того, чтобы все точки окружности были в равном расстоянии от центра,– есть преувеличение. Советовать откинуть или умерить положение о равенстве радиусов в круге – значит не понимать того, что есть круг. Советовать откинуть или умерить в жизненном учении Христа заповедь о непротивлении злу насилием – значит не понимать учения.

И те, которые делают это, действительно совершенно не понимают его. Они не понимают того, что учение это есть установление нового понимания жизни, соответствующего тому новому состоянию, в которое вот уже 1800 лет вступили люди, и определение той новой

деятельности, которая из него вытекает. Они не верят тому, что Христос хотел сказать то, что сказал: или им кажется, что он по увлечению, по неразумию, по неразвитости своей говорил то, что говорил в нагорной проповеди и других местах'.

(Мф. VI, 25-34).

25) Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26) Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницу; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27) Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть. 28) И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут. 29) Но говорю вам, что Соломон, во всей славе своей, не одевался так, как всякая из них. 30) Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь. Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31) Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть или что нам пить, или во что одеться. 32) Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33) Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. 34) Итак, не заботьтесь о завтращнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

(Лука XII, 33, 34).

Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает; ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.

' Вот, например, характерное суждение такого рода в статье американского журнала «Arena», 1890 г., октябрь, «New basis of church life» («Новые основания церковной жизни»). Рассуждая о значении нагорной проповеди и в особенности о непротивлении злу, автор, не имея надобности, как это делают церковные, скрывать значение ее, говорит: «Христос действительно проповедовал полный коммунизм и анархию; но надо уметь смотреть на Христа в его историческом и психологическом значении. Как всякий проповедник человеколюбия, энтузиаст Христос доходил в своем учении до утопических крайностей. Всякий шаг вперед нравственного совершенствования человечества всегда бывает руководим людьми, которые ничего не видят, кроме своего призвания. Христос же, не в укор ему будь сказано, имел типический темперамент такого преобразователя. И потому мы должны помнить, что поучения его не могут быть понимаемы как полная философия жизни. Мы должны анализировать его слова с уважением к ним, но в духе критицизма, ищущего истины» и т. д. Христос и рад бы сказать хорошо, но он не умел выражаться так точно и ясно, как мы, в духе критицизма, и потому поправим его. Всё, что он наговорил о смирении, жертве, нищете, незаботе о завтрашнем дне, всё это он говорил нечаянно, по неумению научно выражаться.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

Продай имение твое и иди за Мной, и кто не оставит отца или мать, и детей и братьев, и поля и дом,– тот не может быть Моим учеником.

Отвергнись от себя, возьми крест свой на каждый день и иди за Мной. Пища Моя в том, чтобы творить волю Пославшего Меня и совершать дело Его. Не Моя воля да будет, но Твоя; не то, что Я хочу, но то что Ты хочешь, и не так, как Я хочу, а как Ты хочешь. Жизнь в том, чтобы творить не свою волю, но волю Бога.

Все эти положения кажутся людям, стоящим на низшем жизнепонимании, выражением какого-то восторженного увлечения, не имеющего никакого прямого приложения к жизни. А между тем эти положения так же строго вытекают из жизнепонимания христианского, как положение об отдаче своего труда для общего дела, о жертве своей жизни для защиты отечества вытекает из жизнепонимания общественного.

Как человек общественного жизнепонимания говорит дикарю: опомнись, одумайся! Жизнь твоей личности не может быть истинной жизнью, потому что жизнь эта бедственна и преходяща. Только жизнь совокупности и последовательности личностей; племени, семьи, рода, государства продолжается и живет, и потому человек должен жертвовать своей личностью для жизни семьи, государства. Точно то же говорит христианское учение человеку жизнепонимания совокупного, общественного. Покайтесь – pExavosixs, т. е. одумайтесь, а то погибнете. Поймите, что эта плотская, личная жизнь, нынче возникшая и завтра уничтожающаяся, ничем не может быть обеспечена, что никакие внешние меры, никакое устройство ее не может придать ей твердости, разумности. Одумайтесь и поймите, что жизнь, которой вы живете, не есть настоящая жизнь; жизнь семьи, жизнь общества, жизнь государства не спасет от погибели. Жизнь истинная, разумная возможна для человека только в той мере, в которой он может быть участником не семьи или государства, но источника жизни. Отца; в той мере, в которой он может слить свою жизнь с жизнью Отца. Таково несомненно жизнепонимание христианское, видное в каждом изречении Евангелия.

Можно не разделять этого жизнепонимания, можно отрицать его, можно доказывать неточность, неправильность его; но невозможно судить об учении, не усвоив того жизнепонимания, из которого оно вытекает; а тем более невозможно судить о предмете высшего порядка с низшей точки зрения: глядя на фундамент судить о колокольне. А это-то самое делают люди научные нашего времени. Делают они это, потому что находятся в подобном же церков

ным людям заблуждении о том, что они обладают такими приемами изучения предмета, что, если только употреблены эти приемы, называемые научными, то не может уже быть сомнения в истинности понимания обсуживаемого предмета.

Это-то обладание мнимым непогрешимым их орудием познания и служит главным препятствием понимания христианского учения для людей неверующих и так называемых научных, мнением которых и руководится всё огромное большинство неверующих, так называемых образованных людей. Из этого-то мнимого понимания вытекают все заблуждения научных людей о христианском учении, и в особенности два странные недоразумения, более всего другого препятствующие правильному пониманию его.

Одно из этих недоразумений то, что христианское жизненное учение неисполнимо, и потому или вовсе необязательно, т. е. не должно быть принимаемо за руководство, или должно быть видоизменено, умерено до тех пределов, в которых исполнение его возможно в нашем обществе. Другое недоразумение то, что христианское учение любви к Богу и потому служение ему есть требование неясное, мистическое, не имеющее определенного предмета любви, которое поэтому должно быть заменено более точным и понятным учением о любви к людям и служении человечеству.

Первое недоразумение о неисполнимости учения состоит в том, что люди общественного жизнепонимания, не понимая того способа, которым руководит людей христианское учение, и принимая христианское указание совершенства за правила, определяющие жизнь, думают и говорят, что следование учению Христа невозможно, потому что полное исполнение требований этого учения уничтожает жизнь. «Если бы человек исполнил то, что проповедуется Христом, то он уничтожил бы свою жизнь; и если бы все люди исполнили это, то прекратился бы и род человеческий»,– говорят они.

«Не заботясь о завтрашнем дне,– о том, что есть, и что пить, и во что одеться; не защищая свою жизнь, не противясь злу насилием, отдавая свою жизнь за други своя и соблюдая полное целомудрие, человек и человеческий род не могут существовать»,– думают и говорят они.

И они совершенно правы, если принимать указания совершенства, даваемые учением Христа, за правила, которые каждый обязан исполнять так же, как в общественном учении всякий обязан исполнять правило уплаты податей, участия в суде и т. п.

Недоразумение состоит именно в том, что учение Христа руководит людьми иным способом, чем руководят учения, основанные на низшем жизнепонимании. Учения общественного жизнепонима

ния руководят только требованием точного исполнения правил или законов. Учение Христа руководит людьми указанием им того бесконечного совершенства Отца Небесного, к которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку, на какой бы степени несовершенства он ни находился.

Недоразумение людей, судящих о христианском учении с точки зрения общественного, состоит в том, что они, предполагая, что совершенство, указываемое Христом, может быть вполне достигнуто, спрашивают себя (так же, как они спрашивают себя, предполагая, что законы общественные будут исполнены), что будет, когда это всё будет исполнено? Предположение это ложно, потому что совершенство, указываемое христианам,– бесконечно и никогда не может быть достигнуто; и Христос дает свое учение, имея в виду то, что полное совершенство никогда не будет достигнуто, но что стремление к полному, бесконечному совершенству постоянно будет увеличивать благо людей и что благо это поэтому может быть увеличиваемо до бесконечности.

Христос учит не ангелов, но людей, живущих животной жизнью, движущихся ею. И вот к этой животной силе движения Христос как бы прикладывает новую, другую силу сознания божеского совершенства,– направляет этим движение жизни по равнодействующей из двух сил.

Полагать, что жизнь человеческая пойдет по направлению, указанному Христом, всё равно что полагать, что лодочник, перебивая быструю реку и направляя свой ход почти прямо против течения, поплывет по этому направлению.

Христос признает существование обеих сторон параллелограмма, обеих вечных, неуничтожимых сил, из которых слагается жизнь человека: силу животной природы и силу сознания сыновности Богу. Не говоря о силе животной, которая, сама себя утверждая, остается всегда равна сама себе и находится вне власти человека, Христос говорит только о силе божеской, призывая человека к наибольшему сознанию ее, к наибольшему освобождению ее от того, что задерживает ее, и к доведению ее до высшей степени напряжения.

В этом освобождении – увеличении этой силы и состоит, по учению Христа, истинная жизнь человека. Истинная жизнь, по прежним условиям, состоит в исполнении правил, закона; по учению Христа она состоит в наибольшем приближении к указанному и сознаваемому каждым человеком в себе божескому совершенству, в большем и большем приближении к слиянию своей воли с волей Божией, слиянию, к которому стремится человек и которое было бы уничтожением той жизни, какую мы знаем.

Божеское совершенство есть асимптота жизни человеческой, к которому она всегда стремится и приближается и которое может быть достигнуто ею только в бесконечности.

Учение христианское кажется исключающим возможность жизни только тогда, когда люди указание идеала принимают за правило. Только тогда представляются уничтожающими жизнь те требования, которые предъявляются учением Христа. Требования эти, напротив, одни дают возможность истинной жизни. Без этих требований невозможна бы была истинная жизнь.

«Нельзя требовать слишком многого,– говорят обыкновенно люди, обсуживая требования христианского учения,– нельзя требовать того, чтобы совсем не заботиться о будущем, как это сказано в Евангелии, но надо только не слишком много заботиться; нельзя отдавать бедным всего, но надо отдавать известную, определенную часть; не надо стремиться к девственности, но надо избегать разврата; не надо оставлять жену и детей, но надо не иметь к ним слишком большого пристрастия» и т. д.

Но говорить так – всё равно что говорить человеку, переплывающему быструю реку и направляющему свой ход против течения, что нельзя переплыть реку, направляясь против течения, а что для того, чтобы переплыть ее, надо плыть по тому направлению, по которому он хочет идти.

Учение Христа тем отличается от прежних учений, что оно руководит людьми не внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского совершенства. И в душе человека находятся не умеренные правила справедливости и филантропии, а идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния к божескому настолько, насколько это возможно в этой жизни.

Для того, чтобы пристать к тому месту, к которому хочешь, надо всеми силами направлять ход гораздо выше.

Спустить требования идеала значит не только уменьшить возможность совершенства, но уничтожить самый идеал. Идеал, действующий на людей, есть не выдуманный кем-то идеал, но идеал, носимый в душе каждым человеком. Только этот идеал полного, бесконечного совершенства действует на людей и подвигает их к деятельности. Умеренное совершенство теряет свою силу воздействия на души людей.

Учение Христа только тогда имеет силу, когда оно требует полного совершенства, т. е. слияния божеской сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога,– соединения сына с Отцом. Только это освобождение сына Божия, живущего в каждом че

ловеке, из животного и приближение его к Отцу и составляет жизнь по учению Христа.

Существование в человеке животного, только животного, не есть жизнь человеческая. Жизнь по одной воле Бога тоже не есть жизнь человеческая. Жизнь человеческая есть составная из жизни животной и жизни божеской. И чем более приближается эта составная к жизни божеской, тем больше жизни.

Жизнь по учению христианскому есть движение к божескому совершенству. Ни одно состояние по этому учению не может быть выше или ниже другого. Всякое состояние по этому учению есть только известная, сама по себе безразличная ступень к недостижимому совершенству и потому само по себе не составляет ни большей, ни меньшей степени жизни. Увеличение жизни по этому учению есть только ускорение движения к совершенству. И потому движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте – составляет высшую степень жизни, чем неподвижная праведность фарисея. И потому-то для этого учения не может быть правил, обязательных для исполнения. Человек, стоящий на низшей ступени, подвигаясь к совершенству, живет нравственнее, лучше, более исполняет учение, чем человек, стоящий на гораздо более высокой ступени нравственности, но не подвигающийся к совершенству.

В этом-то смысле заблудшая овца дороже отцу незаблудшихся. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже тех, которые не пропадали.

Исполнение учения – в движении от себя к Богу. Очевидно, что для такого исполнения учения не может быть определенных законов и правил. Всякая степень совершенства и всякая степень несовершенства равны перед этим учением; никакое исполнение законов не составляет исполнения учения; и потому для учения этого нет и не может быть обязательных правил и законов.

Из этого коренного отличия учения Христа от всех предшествующих учений, основанных на общественном жизнепонимании, происходит и различие заповедей общественных от заповедей христианских. Заповеди общественные большей частью положительные, предписывающие известные поступки, оправдывающие людей, дающие им праведность. Заповеди же христианские (заповедь любви не есть заповедь в тесном смысле слова, а выражение самой сущности учения), пять заповедей нагорной проповеди – все отрицательные и показывают только то, чего на известной степени развития человечества люди могут уже не делать. Заповеди эти суть как бы заметки на бесконечном пути совершенства, к которому идет челове

чество, той степени совершенства, которая возможна в известный период развития человечества.

В нагорной проповеди выражены Христом и вечный идеал, к которому свойственно стремиться людям, и та степень его достижения, которая уже может быть в наше время достигнута людьми.

Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызвать недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала,– в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет первую заповедь.

Идеал – полное целомудрие даже в мыслях; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала,– чистота брачной жизни, воздержание от блуда. И это составляет вторую заповедь.

Идеал – не заботиться о будущем, жить настоящим часом; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться,– не клясться, вперед не обещать ничего людям. И это – третья заповедь.

Идеал – никогда ни для какой цели не употреблять насилия; заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться,– не платить злом за зло, терпеть обиды, отдавать рубаху. И это четвертая заповедь.

Идеал – любить врагов, ненавидящих нас; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться,– не делать зла врагам, говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими согражданами.

Все эти заповеди суть указания того, чего на пути стремления к совершенству мы имеем полную возможность уже не делать,– того, над чем мы должны работать теперь, того, что понемногу мы должны переводить в область привычки, в область бессознательного. Но заповеди эти не только не составляют учения и не исчерпывают его, но составляют только одну из бесчисленных ступеней его в приближении к совершенству.

За этими заповедями должны и будут следовать высшие и высшие по пути совершенства, указываемого учением.

И потому христианскому учению свойственно заявлять требования высшие, чем те, которые выражены в этих заповедях; но никак не умалять требования ни самого идеала, ни этих заповедей, как это делают люди, судящие об учении христианства с точки зрения общественного жизнепонимания.

Таково одно недоразумение людей научных относительно значения и смысла учения Христа; другое, вытекающее из этого же ис

точника, состоит в замене христианского требования любви к Богу и служения ему любовью и служением людям – человечеству.

Христианское учение любви к Богу и служения ему и (только вследствие этой любви и служения) любви и служения ближнему кажется людям научным неясным, мистическим и произвольным, и они исключают совершенно требование любви и служения Богу, полагая, что учение об этой любви к людям, к человечеству гораздо понятнее, тверже и более обосновано.

Научные люди теоретически учат тому, что жизнь осмысленная и добрая есть только жизнь служения всему человечеству, и в этом самом учении видят смысл христианского учения; к этому учению сводят христианское учение; для этого своего учения отыскивают подтверждение в христианском учении, предполагая, что их учение и христианское – одно и то же.

Мнение это совершенно ошибочно. Христианское учение и учение позитивистов, коммунистов и всех проповедников всемирного братства людей, основанное на выгодности этого братства, не имеют ничего общего между собой и отличаются друг от друга в особенности тем, что учение христианское имеет твердые, ясные основы в душе человеческой; учение же любви к человечеству есть только теоретический вывод по аналогии.

Учение о любви к одному человечеству имеет в основе своей общественное жизнепонимание.

Сущность общественного жизнепонимания состоит в перенесении смысла своей личной жизни в жизнь совокупности личностей; племени, семьи, рода, государства. Перенесение это совершалось и совершается легко и естественно в первых своих формах, в перенесении смысла жизни из своей личности в племя, семью. Перенесение же в род или народ уже труднее и требует особенного воспитания для этого; перенесение же сознания в государство уже составляет предел такого перенесения.

Любить себя естественно каждому, и каждый себя любит без поощрения к этому; любить свое племя, поддерживающее и защищающее меня, любить жену – радость и помощь жизни, своих детей – утеху и надежду жизни, и своих родителей, давших жизнь и воспитание, естественно; и любовь эта, хоть далеко не столь сильная, как любовь к себе, встречается довольно часто.

Любить для себя, для своей гордости свой род, свой народ, хотя уже не так естественно, все-таки встречается. Любовь своего одноплеменного, одноязычного, одноверного народа еще возможна, хотя чувство это далеко не такое сильное, не только как любовь к себе, но и к семье или роду; но любовь к государству, как Турция, Германия, Англия, Австрия, Россия, уже почти невозможная вещь и.

несмотря на усиленное воспитание в этом направлении, только предполагается и не существует в действительности. На этой совокупности уже кончается возможность для человека переносить свое сознание и испытывать к этой фикции какое-либо непосредственное чувство. Позитивисты же и все проповедники научного братства, не принимая во внимание ослабление чувства по мере расширения предмета, теоретически рассуждают далее в том же направлении. «Если,– говорят они,– личности было выгоднее перенести свое сознание в племя, семью, а потом в народ, государство, то еще выгоднее будет перенести свое сознание в совокупность всего человечества, и всем жить для человечества, так же как люди живут для семьи, для государства».

Оно теоретически действительно так выходит.

Перенося сознание и любовь личности в семью, из семьи в род, народ, государство, было бы вполне логично и людям для избавления себя от борьбы и бедствий, которые происходят от разделения человечества на народы и государства, естественнее всего перенести свою любовь на человечество. Казалось бы это логичнее всего, и теоретически проповедуют это, не замечая того, что любовь есть чувство, которое можно иметь, но которое нельзя проповедовать, и что кроме того для любви должен быть предмет, а человечество не есть предмет, а только фикция.

Племя, семья, даже государство не выдуманы людьми, но образовались сами собой, как рой пчел, муравьев, и действительно существуют. Человек, любящий для своей животной личности семью, знает, кого он любит; Анну, Марью, Ивана, Петра и т. д. Человек, любящий род и гордящийся им, знает, что он любит всех гвельфов или всех гибеллинов; любящий государство знает, что он любит Францию по берег Рейна, и Пиренеи, и главный город ее Париж, и ее историю и т. д. Но что любит человек, любящий человечество? Есть государство, народ, есть отвлеченное понятие: человек; но человечества, как реального понятия, нет и не может быть.

Человечество? Где предел человечества? Где оно кончается или начинается? Кончается ли человечество дикарем, идиотом, алкоголиком, сумасшедшим включительно? Если мы проведем черту, отделяющую человечество, так что исключим низших представителей человеческого рода, то где мы проведем черту? Исключим ли мы негров, как их исключают американцы, и индейцев, как их исключают некоторые англичане, и евреев, как их исключают некоторые? Если же мы захватим всех людей без исключения, то почему же мы захватим одних только людей, а не высших животных, из которых многие выше низших представителей человеческого рода?

13 Толстом «Злкои насилия ...»

Человечество мы не знаем, как внешний предмет, не знаем пределов его. Человечество есть фикция, и его нельзя любить. Действительно, очень выгодно бы было, если бы люди могли любить человечество так же, как они любят семью; было бы очень выгодно, как про это толкуют коммунисты, заменить соревновательное направление деятельности людской общинным или индивидуальное – универсальным, чтобы каждый для всех и все для одного, да только нет для этого никаких мотивов. Позитивисты, коммунисты и все проповедники научного братства проповедуют расширять ту любовь, которую люди имеют к себе и к своим семьям и к государству, на всё человечество, забывая то, что любовь, которую они проповедуют, есть любовь личная, которая могла, разжижаясь, распространиться до семьи; еще более разжижаясь, распространиться до естественного отечества; которая совершенно исчезает, касаясь искусственного государства, как Австрия, Англия, Турция, и которой мы даже не можем себе представить, когда дело касается всего человечества, предмета вполне мистического.

«Человек любит себя (свою животную жизнь), любит семью, любит даже отечество. Отчего же бы ему не полюбить и человечество? Так бы это хорошо было. Кстати же это самое проповедует и христианство». Так думают проповедники позитивного, коммунистического, социалистического братства. Действительно это бы было очень хорошо, но никак этого не может быть, потому что любовь, основанная на личном и общественном жизнепонимании, дальше любви к государству идти не может.

Ошибка рассуждения в том, что жизнепонимание общественное, на котором основана любовь к семье и к отечеству, зиждется на любви к личности и что эта любовь, переносясь от личности к семье, роду, народности, государству, всё слабеет и слабеет и в государстве доходит до своего последнего предела, дальше которого она идти не может.

Необходимость расширения области любви несомненна; но вместе с тем эта самая необходимость расширения ее в действительности уничтожает возможность любви и доказывает недостаточность любви личной, человеческой.

И вот тут-то проповедники позитивистического, коммунистического, социального братства на помощь этой, оказавшейся несостоятельной, человеческой любви предлагают христианскую любовь, но только в ее последствиях, но не в ее основах: они предлагают любовь к одному человечеству без любви к Богу.

Но любви такой не может быть. Для нее нет никакого мотива. Христианская любовь вытекает только из христианского жизнепо

нимания, по которому смысл жизни состоит в любви и служении Богу.

Естественным ходом от любви к себе, потом к семье, к роду, к народу, государству общественное жизнепонимание привело людей к сознанию необходимости любви к человечеству, не имеющему пределов и сливающемуся со всем существующим,– к чему-то не вызывающему в человеке никакого чувства, привело к противоречию, которое не может быть разрешено общественным жизнепониманием.

Только христианское учение во всем его значении, давая новый смысл жизни, разрешает его. Христианство признает любовь и к себе, и к семье, и к народу, и к человечеству, не только к человечеству, но ко всему живому, ко всему существующему, признает необходимость бесконечного расширения области любви; но предмет этой любви оно находит не вне себя, не в совокупности личностей: в семье, роде, государстве, человечестве, во всем внешнем мире, но в себе же, в своей личности, но личности божеской, сущность которой есть та самая любовь, к потребности расширения которой приведена была личность животная, спасаясь от сознания своей по- гибельности.

Различие христианского учения от прежних – то, что прежнее учение общественное говорило: живи противно твоей природе (подразумевая одну животную природу), подчиняй ее внешнему закону семьи, общества, государства; христианство говорит: живи сообразно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняя ее ничему,– ни своей, ни чужой животной природе, и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняя внешним законам свою внешнюю природу.

Христианское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя – животного, а себя – Бога, искры Божьей, себя – сына Божия, Бога такого же, как и Отец, но заключенного в животную оболочку. И сознание себя этим сыном Божьим, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям расширения области любви, к которой был приведен человек общественного жизнепонимания. Так, при всё большем и большем расширении области любви для спасения личности, любовь была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, а есть существенное свойство души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить.

Христианское учение есть указание человеку на то, что сущность его души есть любовь, что благо его получается не оттого, что он будет любить того-то и того-то, а оттого, что он будет любить начало всего – Бога, которого он сознает в себе любовью, и потому будет любить всех и всё.

В этом состоит основное различие христианского учения от учения позитивистов и всех теоретиков нехристианского всемирного братства.

Таковы два главные недоразумения относительно христианского учения, из которых вытекает большинство ложных суждений о нем. Одно – что учение Христа поучает людей, как прежние учения, правилам, которым люди обязаны следовать, и что правила эти неисполнимы; другое – то, что всё значение христианства состоит в учении о выгодном сожитии человечества как одной семьи, для чего, не упоминая о любви к Богу, нужно только следовать правилу любви к человечеству.

Ложное мнение научных людей, что учение о сверхъестественном составляет сущность христианского учения и что жизненное учение его неприложимо, вместе с вытекающим из этого ложного мнения недоразумением и составляет другую причину непонимания христианства людьми нашего времени.

V

Причин непонимания учения Христа много. Причина и в том, что люди полагают, что они поняли учение это, когда решили, как это делают церковники, что оно сверхъестественным способом передано им; или, как это делают люди научные, что они поняли его, когда изучили часть тех внешних явлений, которыми оно выразилось. Причина непонимания – ив недоразумениях о неисполнимости учения, и о том, что оно должно быть заменено учением о любви к человечеству, но главная причина, породившая все эти недоразумения,– та, что учение Христа считается таким учением, которое можно принять или не принять, не изменяя своей жизни.

Люди, привыкшие к существующему порядку вещей, любящие его, боящиеся изменить его, стараются понять учение как собрание откровений и правил, которые можно принять, не изменяя своей жизни, тогда как учение Христа не есть только учение о правилах, которым должен следовать человек, но – выяснение нового смысла жизни, определяющего всю, совсем иную, чем прежняя, деятельность человечества в тот период, в который оно вступает.

Жизнь человеческая движется, проходит, как жизнь отдельного человека, возрасты, и каждый возраст имеет соответствующее ему

жизнепонимание, и жизнепонимание это неизбежно усваивается людьми. Те люди, которые не усваивают соответствующего возрасту жизнепонимания сознательно, приводятся к этому бессознательно. То, что происходит с изменением взглядов на жизнь отдельных людей, то же происходит и с изменением взглядов на жизнь народов и всего человечества. Если человек семейный продолжает руководствоваться в своей деятельности ребяческим жизнепониманием, то жизнь его сделается так трудна ему, что он невольно будет искать иного жизнепонимания и охотно усвоит то, которое свойственно его возрасту.

То же происходит и теперь в нашем человечестве при переходе, переживаемом нами, от языческого жизнепонимания к христианскому. Общественный человек нашего времени приводится самою жизнью к необходимости отречься от языческого понимания жизни, не свойственного теперешнему возрасту человечества, и подчиниться требованиям христианского учения, истины которого, как бы они ни были извращены и перетолкованы, все-таки известны ему и одни представляют разрешение тех противоречий, в которых он путается.

Если человеку обшественного жизнепонимания кажутся странными и даже опасными требования христианского учения, то точно столь же странными, непонятными и опасными представлялись в давнишние времена дикарю требования учения общественного, когда еще он не вполне понимал их и не мог предвидеть их последствий.

«Неразумно жертвовать своим спокойствием или жизнью,– говорит дикарь,– чтобы защищать что-то непонятное и неосязаемое, условное; семью, род, отечество, и, главное, опасно отдавать себя в распоряжение чуждой власти». Но пришло время для дикаря, когда, с одной стороны, он, хотя и смутно, но понял значение общественной жизни, значение главного двигателя ее, общественного одобрения или осуждения – славы; с другой стороны, когда страдания его личной жизни стали так велики, что он не мог уже продолжать верить в истинность своего прежнего понимания жизни, и он принял учение общественное, государственное и подчинился ему.

Точно то же теперь совершается и с человеком общественным, государственным.

«Неразумно,– говорит человек общественный,– жертвовать благом своим, своей семьи, своего отечества для исполнения требований какого-то высшего закона, требующего от меня отречения от самых естественных и добрых чувств любви к себе, к своей семье, к родине, к отечеству, и, главное, опасно отвергать обеспечение жизни, даваемое государственным устройством».

Но приходит время, когда, с одной стороны, смутное сознание в душе своей высшего закона любви к Богу и ближнему, с другой – страдания, вытекаюшие из противоречий жизни, заставляют человека отречься от жизнепонимания общественного и усвоить новое, предлагаемое ему, разрешающее все противоречия и устраняющее страдания его жизни,– жизнепонимание христианское. И время это пришло теперь.

Нам, пережившим тысячелетия назад уже переход от жизнепонимания животного, личного, к жизнепониманию обшественному, кажется, что тот переход был необходим и естествен, а этот – тот, который мы переживаем теперь эти последние 1800 лет,– и произволен, и неестествен, и страшен. Но это нам кажется только, потому что тот переход уже совершен и деятельность его уже перешла в бессознательную; теперешний переход еще не окончен, и мы сознательно должны совершить его.

Жизнепонимание общественное входило в сознание людей веками, тысячелетиями, проходило через разные формы и теперь уже взошло для человечества в область бессознательного, передаваемого наследственностью, воспитанием и привычкой; и потому оно кажется нам естественным. Но 5000 лет тому назад оно казалось людям столь же неестественным и страшным, как им теперь кажется учение христианское в его настояшем смысле.

Нам кажется теперь, что требования христианского учения о всеобшем братстве, безразличии народностей, об отсутствии собственности, о столь кажущемся странным непротивлении злу насилием – суть требования невозможного. Но точно такими же казались тысячелетия тому назад, в более древние времена, требования не только государственные, но семейные, как например: требование того, чтобы родители кормили детей, молодые – старых, чтобы супруги были верны друг другу. Еще более странными, даже безумными казались требования государственные: чтобы граждане подчинялись поставленной власти, платили подати, шли на войну для защиты отечества и т. д. Нам теперь кажется, что все такие требования просты, понятны, естественны и не имеют в себе ничего мистического и даже странного; но пять или три тысячи лет тому назад эти требования казались требованиями невозможного.

Жизнепонимание общественное потому и служило основанием религий, что в то время, когда оно предъявлялось людям, оно казалось им вполне непонятным, мистическим и сверхъестественным. Теперь, пережив уже этот фазис жизни человечества, нам понятны разумные причины соединения людей в семьи, общины, государства; но в древности требования такого соединения предъявлялись во имя сверхъестественного и подтверждались им.

Патриархальные религии обоготворяли семьи, роды, народы; государственные религии обоготворяли царей и государства. Даже и теперь большая часть малообразованных людей, как наши крестьяне, называющие царя земным Богом, подчиняются законам общественным не по разумному сознанию их необходимости, не потому, что они имеют понятие об идее государства, а по религиозному чувству.

Точно так же и теперь христианское учение представляется людям общественного или языческого миросозерцания в виде сверхъестественной религии, тогда как в действительности в нем нет ничего ни таинственного, ни мистического, ни сверхъестественного; а оно есть только учение о жизни, соответствующее той степени материального развития, тому возрасту, в котором находится человечество и которое поэтому неизбежно должно быть принято им.

Придет время и приходит уже, когда христианские основы жизни – равенства, братства людей, общности имуществ, непротивления злу насилием – сделаются столь же естественными и простыми, какими теперь нам кажутся основы жизни семейной, общественной, государственной.

Ни человек, ни человечество не могут в своем движении возвращаться назад. Жизнепонимание общественное, семейное и государственное пережито людьми, и надо идти вперед и усвоить следующее, высшее жизнепонимание, что и совершается теперь.

Движение это совершается с двух сторон: и сознательно, вследствие духовных причин, и бессознательно, вследствие причин материальных.

Как очень редко отдельный человек изменяет свою жизнь только по указаниям разума, а большей частью, несмотря на новый смысл и новые цели, указываемые разумом, продолжает жить прежнею жизнью и изменяет ее только тогда, когда жизнь его становится совсем противоречащей его сознанию и вследствие того мучительной, точно так же человечество, узнав через своих религиозных руководителей новый смысл жизни, новые цели, к которым ему нужно стремиться, долго еще и после этого познания продолжает в большинстве людей жить прежней жизнью и приводится к принятию нового жизнепонимания только сознанием невозможности продолжения прежней жизни.

Несмотря на требования изменения жизни, сознанные, высказанные религиозными руководителями и принятые разумнейшими людьми, большинство людей, несмотря на религиозное отношение к этим руководителям, т. е. веру в их учение, продолжает в усложнившейся жизни руководствоваться прежним учением, подобно тому как поступал бы семейный человек, если бы, зная о том, как

следует жить в его возрасте, по привычке и по легкомыслию продолжал бы жить ребяческою жизнью.

Это-то и происходит в деле перехода человечества от одного возраста к другому, которое мы переживаем теперь. Человечество выросло из своего общественного, государственного возраста и вступило в новый. Оно знает то учение, которое должно быть положено в основу жизни этого нового возраста, но по инерции продолжает держаться прежних форм жизни. Из этого несоответствия жизнепонимания с практикой жизни вытекает ряд противоречий и страданий, отравляющих нашу жизнь и требующих ее изменения.

Ведь стоит только сличить практику жизни с ее теорией, чтобы ужаснуться перед тем вопиющим противоречием условий жизни и нашего сознания, в котором мы живем.

Вся жизнь наша есть сплошное противоречие всему тому, что мы знаем и что мы считаем нужным и должным. Противоречие это – во всем; и в экономической, и государственной, и международной жизни. Мы, как будто забыв то, что знаем, и на время отложив то, во что мы верим (не можем не верить, потому что это наши единственные основы жизни), делаем всё навыворот тому, чего требует от нас наша совесть и наш здравый смысл.

Мы руководимся в экономических, государственных и международных отношениях теми основами, которые были годны людям три и пять тысяч лет тому назад и которые прямо противоречат и теперешнему нашему сознанию и тем условиям жизни, в которых мы находимся теперь.

Хорошо было человеку древности жить среди деления людей на рабов и господ, когда он верил, что деление это от Бога и что не может быть иначе. Но разве возможно подобное деление в наше время?

Человек древнего мира мог считать себя вправе пользоваться благами мира сего в ущерб другим людям, заставляя их страдать поколениями, потому что он верил, что люди рождаются разной породы, черной и белой кости, Яфетова и Хамова отродья. Величайшие мудрецы мира, учители человечества Платон, Аристотель не только оправдывали существование рабов и доказывали законность этого, но даже три века тому назад люди, писавшие о воображаемом обществе будущего, утопии, не могли представить себе его без рабов.

Люди древности и даже средних веков верили, точно верили, что люди не равны, что настоящие люди только персы, только греки, только римляне, только французы; но ведь нам нельзя уже верить в это. И те люди, которые в наше время распинаются за ари

стократизм и за патриотизм, не верят, не могут верить в то, что они говорят.

Мы все знаем и не можем не знать, если бы даже мы никогда и не слыхали и не читали ясно выраженной этой мысли и никогда сами не выражали ее, мы, всосав это носящееся в христианском воздухе сознание,– все, всем сердцем знаем и не можем не знать ту основную истину христианского учения, ту, что мы все сыны одного Отца, все, где бы мы ни жили и на каком бы языке ни говорили,– все братья и подлежим только одному закону любви, общим Отцом нашим вложенному в наши сердца.

Каковы бы ни были образ мыслей и степень образования человека нашего времени, будь он образованный либерал какого бы то ни было оттенка, будь он философ какого бы то ни было толка, будь он научный человек, экономист какой бы то ни было школы, будь он необразованный, даже религиозный человек какого бы то ни было исповедания,– всякий человек нашего времени знает, что люди все имеют одинаковые права на жизнь и блага мира, что одни люди не лучше и не хуже других, что все люди равны. Всякий знает это несомненно твердо всем существом своим и вместе с тем не только видит вокруг себя деление всех людей на две касты: одну трудящуюся, угнетенную, нуждающуюся и страдающую, а другую – праздную, угнетающую и роскошествующую и веселящуюся,– не только видит, но волей-неволей с той или другой стороны принимает участие в этом отвергаемом его сознанием разделении людей и не может не страдать от сознания такого противоречия и участия в нем.

Будет ли он господином или рабом, человек нашего времени не может не испытывать постоянного мучительного противоречия сознания с действительностью и вытекающих из него страданий.

Рабочая масса, большое большинство людей, страдая от постоянного, поглощающего всю их жизнь, бессмысленного, беспросветного труда и лишений, страдает больше всего от сознания вопиющего противоречия того, что есть, с тем, что должно бы быть по всему тому, что исповедуется ими самими и теми, которые поставили их в это положение и удерживают в нем.

Они знают, что они в рабстве и гибнут в нужде и мраке для того, чтобы служить похотям меньшинства, держащего их в рабстве. Они знают и высказывают это. И это сознание не только увеличивает, но составляет сущность их страдания.

Древний раб знал, что он раб от природы, а наш рабочий, чувствуя себя рабом, знает, что ему не надо быть рабом, и потому испытывает мучения Тантала, вечно желая и не получая того, что не только могло, но должно бы быть. Страдания для рабочих классов, происходящие от противоречия между тем, что есть и что должно

бы быть, удесятеряются вытекающими из этого сознания завистью и ненавистью.

Рабочий нашего времени, если бы даже работа его и была много легче работы древнего раба, если бы он даже добился восьмичасового дня и платы трех долларов за день, не перестанет страдать, потому что, работая вещи, которыми он не будет пользоваться, работая не для себя по своей охоте, а по нужде, для прихоти вообще роскоществующих и праздных людей и, в частности, для наживы одного богача, владетеля фабрики или завода, он знает, что всё это происходит в мире, в котором признается не только научное положение о том, что только работа есть богатство, что пользование чужими трудами есть несправедливость, незаконность, казнимая законами, но в мире, в котором исповедуется учение Христа, по которому мы все братья и достоинство и заслуга человека только в служении ближнему, а не в пользовании им.

Он знает всё это и не может не страдать мучительно от этого вопиющего противоречия всего того, что должно бы быть, и того, что есть. «По всем данным и по всему, что я знаю, что исповедуют все,– говорит себе рабочий человек,– я бы должен быть свободен, равен всем другим людям, любим, а я – раб, я унижен и ненавидим». И он сам ненавидит и ищет средств спастись от своего положения, свергнуть с себя навалившегося на него врага и самому сесть на него. Говорят: «Рабочие неправы тем, что они хотят сесть на место капиталистов, бедные на место богатых». Это неправда; рабочие и бедные были бы неправы, если бы они этого хотели в том мире, в котором признаются от Бога установленные рабы и господа, богатые и бедные; но они хотят этого в том мире, в котором исповедуется учение евангельское, первое положение которого есть сы- новность людей Богу и потому братство и равенство всех людей. И как ни стараются люди, нельзя скрыть того, что одно из первых условий христианской жизни есть любовь не на словах, а на деле.

Еще в большем противоречии и страдании живет человек так называемого образованного класса. Всякий такой человек если верит во что-нибудь, то верит если и не в братство людей, то в гуманность, если не в гуманность, то в справедливость, если не в справедливость, то в науку, и вместе с тем знает, что вся его жизнь построена на условиях, прямо противоположных всему этому, всем положением и христианства, и гуманности, и справедливости, и науки.

Он знает, что все привычки, в которых он воспитан, лишение которых было бы для него мучением, все они могут удовлетворяться только мучительным, часто губительным трудом угнетенных рабочих, т. е. самым очевидным, грубым нарушением тех принципов

христианства, гуманности, справедливости, даже научности (я разумею требования политической экономии), которые он исповедует. Он исповедует принципы братства, гуманности, справедливости, научности и не только живет так, что ему необходимо то угнетение рабочих, которое он отрицает, но так, что вся жизнь его есть пользование этим угнетением, и не только живет так, но и направляет свою деятельность на поддержание этого порядка вещей, прямо противоположного всему тому, во что он верит.

Мы все братья, а между тем каждое утро брат или сестра выносит мой горшок. Мы все братья, а мне утром необходима сигара, сахар, зеркало и т. п. предметы, на работе которых теряли и теряют здоровье мои, равные мне, братья и сестры, а я пользуюсь этими предметами и даже требую их. Мы все братья, а я живу тем, что работаю в банке или в торговом доме и лавке над тем, чтобы сделать все нужные моим братьям товары дороже. Мы все братья, а я живу тем, что получаю жалованье за то, чтобы уличать, судить и казнить вора или проститутку, существование которых обусловлено всем складом моей жизни и которых я сам знаю, что надо не казнить, а исправлять. Мы все братья, но я живу тем, что получаю жалованье за собирание податей с бедных рабочих для употребления их на роскошь праздных и богатых. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, чтобы проповедовать людям мнимохристианскую веру, в которую я сам не верю, лишающую их возможности узнать истинную. Я получаю жалованье как священник, епископ за то, что обманываю людей в самом важном для них деле. Мы все братья, но я отдаю бедным свои педагогические, врачебные, литературные труды только за деньги. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, что готовлюсь к убийству, учусь убивать или делаю оружие, порох, крепости.

Вся жизнь наших высших классов есть сплошное противоречие, тем более мучительное, чем чутче нравственное сознание человека.

Человек с чуткой совестью не может не страдать, если он живет этой жизнью. Одно средство для него избавиться от этого страдания – в том, чтобы заглушить свою совесть, но если и удается таким людям заглушить совесть, они не могут заглушить страх.

Нечуткие и заглушившие совесть люди высших угнетающих классов, если не страдают совестью, страдают страхом и ненавистью. И им нельзя не страдать. Они знают про ту ненависть против них, которая живет и не может не жить в рабочих классах, знают, что рабочие знают, что они обмануты и изнасилованы, и начинают организовываться, чтобы скинуть с себя угнетение и отплатить угнетателям. Высшие классы видят союзы, стачки, 1-е мая и чуют ту беду, которая угрожает им, и страх этот отравляет им жизнь.

Они чуют ту беду, которая угрожает им, и страх, который они испытывают, переходит в чувство самозащиты и в ненависть. Они знают, что если на минуту ослабнут в борьбе с угнетаемыми ими рабами, то сами погибнут, потому что рабы озлоблены, и озлобление это растет с каждым днем угнетения. Угнетающие, если бы они и желали этого, не могут перестать угнетать. Они знают, что сами погибнут, как скоро не только перестанут, но ослабеют в угнетении. Они и делают это, несмотря на мнимые заботы о благоденствии рабочего, о 8-часовом дне, о запрещении работ малолетним и женщинам, о пенсиях и вознаграждениях. Всё это обман или забота о том, чтобы раб был не в силах работать; но раб остается рабом, и господин, не могущий жить без раба, меньше чем когда-нибудь готов освободить его.

Правящие классы по отношению рабочих находятся в положении подмявшего под себя противника и держащего, не выпуская его, не столько потому, что он не хочет выпустить его, сколько потому, что он знает, что стоит ему выпустить на мгновение подмятого, чтобы самому быть сейчас же зарезанным, потому что подмятый озлоблен и в руке его нож. И потому, будут ли они чутки, или не чутки, наши богатые классы не могут наслаждаться теми благами, которые они похитили у бедных, как это делали древние, веровавшие в свое право. Вся жизнь и все наслаждения их отравлены укорами совести или страхом.

Таково противоречие экономическое. Еше поразительнее противоречие государственное.

Все люди прежде всего воспитываются в привычках повиновения государственным законам. Вся жизнь людей нашего времени определена государственным законом. Человек женится и разводится, воспитывает детей, даже исповедует веру (во многих государствах) сообразно закону. Что же такое этот закон, определяюший всю жизнь людей? Верят ли люди в этот закон? Считают ли его истинным? Нисколько. В большинстве случаев люди нашего времени не верят в справедливость этого закона, презирают его, а все-таки повинуются ему. Хорошо было людям древности исполнять свои законы. Они верили, точно верили в то, что закон их (он же большею частью был религиозный) был единственный истинный закон, которому должны подчиняться все люди. Но мы? Ведь мы знаем и не можем не знать, что закон нашего государства не только не есть один вечный закон, но что это только один из многих законов разных государств, одинаково несовершенных, а часто и явно ложных и несправедливых, со всех сторон обсуждавшихся в газетах. Хорошо было еврею подчиняться своим законам, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог; или римлянину, когда он думал.

что их писала нимфа Егерия; или даже когда верили, что цари, дающие законы,– помазанники Божии; или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание и возможность найти наилучшие законы. Но ведь мы знаем, как делаются законы, мы все были за кулисами, мы все знаем, что законы суть произведения корысти, обмана, борьбы партий,– что в них нет и не может быть истинной справедливости. И потому люди нашего времени не могут верить тому, чтобы повиновение законам гражданским или государственным удовлетворяло бы требованиям разумности человеческой природы. Люди давно уже знают, что неразумно повиноваться такому закону, в истинности которого может быть сомнение, и потому не могут не страдать, повинуясь закону, разумность и обязательность которого не признают.

Не может человек не страдать, когда вся его жизнь вперед определена законами, которым он должен повиноваться под угрозой наказания и – разумности, справедливости которых он не только не верит, но несправедливость, жестокость, неестественность которых он часто ясно сознает. Мы признаем ненужность таможен и заграничных пошлин и должны платить их; признаем бесполезными расходы на содержание двора и многих чинов управления; признаем вредной проповедь церковную и должны участвовать в поддержании этих учреждений; мы признаем жестокими и бессовестными наказания, накладываемые судами, и должны участвовать в них; признаем неправильным и вредным распределение земельной собственности и должны подчиняться ему; не признаем необходимости войск и войны и должны нести страшные тяжести для содержания войск и ведения войн и т. п.

Но и это противоречие ничто в сравнении с противоречием, которое в международных сношениях восстало теперь перед людьми и под угрозой погибели и человеческого разума и человеческой жизни требует разрешения. Это противоречие христианского сознания и войны.

Мы, все христианские народы, живущие одной духовной жизнью, так что всякая добрая, плодотворная мысль, возникающая на одном конце мира, тотчас же сообщаясь всему христианскому человечеству, вызывает одинаковые чувства радости и гордости независимо от национальности; мы, любящие не только мыслителей, благодетелей, поэтов, ученых чужих народов; мы, гордящиеся подвигом Дамиана, как своим собственным; мы, просто любящие людей чужих национальностей: французов, немцев, американцев, англичан; мы, не только уважающие их качества, но радующиеся, когда встречаемся с ними, радостно улыбающиеся им, не могущие не только считать подвигом войну с этими людьми, но не могущие без

ужаса подумать о том, чтобы между этими людьми и нами могло возникнуть такое разногласие, которое должно бы было быть разрешено взаимным убийством,– мы все призваны к участию в убийстве, которое неизбежно, не нынче, так завтра должно совершиться.

Ведь хорошо было еврею, греку, римлянину не только отстаивать независимость своего народа убийством, но и убийством же подчинять себе другие народы, когда он твердо верил тому, что его народ один настоящий, хороший, добрый, любимый Богом народ, а все остальные – филистимляне, варвары. Могли верить в это еще и люди средневековые, могли верить недавно еще в конце прошлого и в самом начале нынешнего столетия. Но мы, сколько бы ни раздразнивали нас, мы уже не можем верить в это, и противоречие это для людей нашего времени так ужасно, что жить, не разрешив его, стало невозможно.

«Мы живем во время, полное противоречий,– пишет в своем ученом трактате профессор международного права граф Комаровский.– В печати всех стран постоянно выдвигается всеобщее стремление к миру, к необходимости его для всех народов. В том же смысле говорят представители правительств и частные люди, и как официальные органы, в парламентских речах, в дипломатических переговорах и даже во взаимных договорах. В то же время, однако, возвышают правительства ежегодно военную силу страны, накладывают новые подати, делают займы и оставляют будущим поколениям как завещание обязанность нести ошибки теперешней неразумной политики. Какое кричащее противоречие между словами и делом!

Конечно, правительства указывают для оправдания этих мер на исключительно оборонительный характер всех этих расходов и вооружений, но все-таки остается непонятным для всякого незаинтересованного человека, откуда можно ожидать нападения, когда все великие державы единодушно в своей политике преследуют единственную цель обороны. В действительности же это имеет вид такой, как будто каждая из держав ждет ежеминутно нападения на себя других, и последствия этого следующие; всеобщее недоверие и сверхъестественное напряжение правительств превзойти силу других держав. Подобное соревнование увеличивает само по себе опасность войны: народы не могут переносить долго увеличенное вооружение и рано или поздно предпочтут войну всем невыгодам настоящего положения и постоянной угрозы. Так что ничтожнейший повод будет достаточен для того, чтобы во всей Европе загорелся огонь всеобщей войны. Несправедливо думать, что такой кризис может излечить нас от давящих политических и экономических бедствий. Опыт войн, веденных в последние годы, учит нас, что каждая

война только обострила враждебность народов, увеличила тяжесть и невыносимость давления милитаризма и сделала политико-экономическое положение Европы только еще печальнее и запутаннее».

«Современная Европа держит под ружьем активную армию в 9 миллионов людей,– пишет Энрико Ферри,– да еще 15 миллионов армии запасной, расходуя на это 4 миллиарда франков в год. Вооружаясь всё более и более, она парализует источники социального и индивидуального благосостояния и легко может быть уподоблена человеку, который для того, чтобы запастись оружием, приговаривает себя к анемии, утрачивая вместе с тем и самые силы свои для пользования тем оружием, которое он запасает и под бременем которого он, наконец, падает».

То же говорит Чарльс Бут в речи своей, читанной в Лондоне в ассоциации для реформы и кодификации закона народов 26 июля 1887 года. Указав те же цифры 9 миллионов с чем-то действительной армии и 17 миллионов запасной и огромные расходы правительств на содержание этих армий и вооружений, он говорит; «Цифры эти представляют только малую часть действительной стоимости, потому что, кроме этих известных расходов военного бюджета народов, мы должны принять в соображение еще громадные потери общества вследствие извлечения из него такого огромного количества самых сильных людей, потерянных для промышленности и всякого труда, и еще те огромные проценты сумм, затраченных на военные приготовления и ничего не приносящих. Неизбежным последствием этих расходов на войну и приготовлений к войне есть постоянно увеличивающиеся государственные долги. Ббльшая часть государственных долгов Европы была сделана для войны. Общая сумма их 4 миллиарда фунтов или 40 миллиардов рублей, и долги эти с каждым годом растут».

Тот же Комаровский говорит в другом месте; «Мы живем в тяжелом времени. Везде слышатся жалобы на застой торговли и промышленности и вообще на плохое экономическое положение; указывают на тяжелые условия жизни рабочих классов и на всеобщее обеднение масс. Но, несмотря на это, правительства доходят в своем стремлении к поддержанию своей независимости до крайних пределов неразумного. Везде выдумываются новые подати и налоги, и финансовое угнетение народов не знает пределов. Если мы взглянем на бюджеты европейских государств за последние сто лет, то нас прежде всего поразит постоянно прогрессивный и быстрый рост их. Чем можем мы объяснить это необыкновенное явление, рано или поздно угрожающее всем нам неизбежным банкротством?

Происходит это неоспоримо от расходов, вызываемых содержанием войска и поглощающих треть и даже половину бюджетов всех

европейских государств. Самое печальное при этом то, что этому возрастанию бюджетов и обеднению масс не предвидится конца. Что такое социализм, как не протест против этого крайне ненормального положения, в котором находится большая часть населения нашей части света».

«Мы разоряемся,– говорит Frederic Passy в записке, читанной на последнем конгрессе (1890 г.) всеобщего мира в Лондоне,– мы разоряемся для того, чтобы иметь возможность принимать участие в безумных бойнях будущего, или для того, чтобы платить проценты долгов, оставленных нам безумными и преступными бойнями прошедшего. Мы умираем с голода для того, чтобы иметь возможность убивать».

Далее, говоря о том, как смотрит на этот предмет Франция, он говорит: «Мы верим в то, что 100 лет после обнародования прав человека и гражданина пришло время признать права народов и отречься раз навсегда от всех этих предприятий обмана и насилия, которые под названием завоеваний суть истинные преступления против человечества и которые, что бы ни думали о них честолюбие монархов и гордость народов, ослабляют и тех, которые торжествуют».

«Удивляюсь на религиозное воспитание в нашей стране,– говорит Sir Wilfrid Lawson на том же конгрессе.– Мальчик ходит в воскресную школу, и его учат: милый мальчик, ты должен любить врагов. Если товарищ ударит тебя, ты не должен отплачивать ему, а стараться любовью исправить его. Хорошо. Мальчик ходит в воскресную школу до 14–15 лет, а потом друзья его определяют его в военную службу. Что он будет делать в военной службе? Ведь не любить врага, а напротив, если он только доберется до него,– проткнуть его штыком. Таково всё религиозное обучение в этой стране. Я не думаю, чтобы это был лучший способ исполнения предписаний религии. Я думаю, что если мальчику хорошо любить врага, то также это хорошо и взрослому человеку».

Далее: «В Европе 28 000 000 вооруженных людей для разрешения споров, вместо обсуждения, убиванием друг друга. Таков принятый христианскими народами способ разрешения споров. Способ этот вместе с тем очень дорогой, потому что по расчету, который я читал, народы Европы с 1872 года издержали неимоверную сумму, 15 миллиардов рублей, на приготовление и разрешение споров посредством убивания друг друга. Мне поэтому кажется, что при таком порядке вещей, одно из двух положений должно быть принято: либо то, что христианство не удалось (is a failure), либо то, что те, которые взялись толковать его, неудачно толковали его».

«До тех пор, пока наши броненосцы не будут разоружены и армия наша распущена, мы не имеем права называться христианской нацией»,– говорит Mr. F. Jowet Wilson.

В беседе, возникшей по случаю вопроса об обязательности проповеди против войны христианских пастырей, Mr. G. D. Bartlett сказал между прочим; «Если я хоть сколько-нибудь понимаю Писание,– сказал он,– я утверждаю, что люди только играют с христианством, если они игнорируют, т. е. умалчивают о вопросе войны. А между тем я прожил длинную жизнь и едва ли полдюжину раз слышал от наших пастырей проповедь всеобщего мира. 20 лет тому назад я в гостиной перед 40 человеками сказал, что война несовместима с христианством; на меня посмотрели, как на шального фанатика. Мысль о том, что можно жить без войны, была принята как непростительная слабость и безумие».

В том же духе высказался католический священник L'abbe De- fourny. «Одно из первых предписаний вечного закона, написанного в совести всех людей,– говорит аббат Дефурни,– есть запрещение отнятия жизни своего ближнего, пролития крови (без достаточной причины, не будучи принужденным к тому необходимостью); это одно из тех предписаний, которое глубже всех других врезано в сердце человеческом... Но как скоро дело касается войны, т. е. пролития крови человеческой потоками, так люди нынешнего времени уже не заботятся о достаточной причине. Те, которые принимают участие в войнах, и не думают уже спрашивать себя, имеют ли какое-либо оправдание эти бесчисленные смертоубийства; справедливы ли они, или нет, законны или незаконны, невинны или преступны, нарушают ли они, или нет главный закон, запрещающий убивать (без законной причины). Но совесть их молчит... Война перестала быть делом, зависящим от нравственности. Для военных нет другой радости в трудах и опасностях, которые они несут, как та, чтобы быть победителями, другого горя, как то, чтобы быть побежденными. Не говорите мне о том, что они служат отечеству. Уже давно великий гений ответил вам словами, вошедшими в пословицу; «Откиньте справедливость, и что такое государство, как не большое сборище разбойников? И сборище разбойников разве не маленькое государство? И шайки разбойников имеют свои законы. И там сражаются для приобретения добычи и даже для чести...»

«Цель этого учреждения (речь идет об учреждении международного трибунала) та, чтобы европейские народы перестали быть народами воров, и армии – шайками разбойников, и должен прибавить – разбойников и воров. Да, армии наши – толпы рабов, принадлежащих одному или двум правителям или министрам, которые

тиранически, без всякой ответственности, как мы это знаем, распоряжаются ими...

Особенность раба в том, что он в руках своего хозяина есть вещь, орудие, а не человек. Таковы солдаты, офицеры, генералы, идущие на убиение и на убийство по произволу правителя или правителей. Рабство военное существует, и это худшее из рабств, особенно теперь, когда оно посредством обязательной службы надевает цепи на шеи всех свободных и сильных людей нации, чтобы сделать из них орудия убийства, палачей, мясников человеческого мяса, потому что только для этого их набирают и вышколивают...

Правители, в числе двух, трех, сойдясь в кабинетах, тайно сговариваются без протоколов, без гласности, и потому без ответственности, и посылают людей на бойню».

«Протесты против тяжелых для народа вооружений начались не с нашего времени,– говорит сеньор Е. Г. Монэта.– Послушайте то, что писал Монтескье в свое время; «Франция (теперь можно подставить: Европа) погибнет от военных. В Европе распространилась новая болезнь. Она постигла царей и принуждает их содержать невозможное количество войск. Болезнь эта сыпная и потому заразительная, потому что как скоро одно государство увеличивает свои войска, тотчас же все другие делают то же. Так что от этого ничего не получается, кроме общей погибели.

«Каждое правительство содержит столько войска, сколько оно могло бы содержать, если бы его народу угрожало истребление, и люди называют миром состояние напряжения всех противу всех. И потому Европа так разорена, что если бы частные люди были в том положении, в котором находятся правительства этой части света, то самым богатым из них было бы нечем жить. Мы бедны, имея богатства и торговлю всего мира».

Это писано было почти 150 лет тому назад. Картина, кажется, написана с настоящего. Изменилось одно – образ правления. Во время Монтескье говорили, что причина содержания больших войск была в неограниченной власти королей, которые воевали в надежде увеличить победами свою частную собственность и прославиться.

Тогда говорили; «Ах, если бы народы могли избирать тех, которые имели бы право отказывать правительствам в солдатах и деньгах, пришел бы конец и военной политике». Теперь почти во всей Европе представительные правления, и, несмотря на то, военные расходы и приготовления к войне увеличились в страшной пропорции.

Видно, безумие властителей перешло в руководящие классы. Теперь уже не воюют из-за того, что один король не исполнил учти

вости относительно любовницы другого, как это было при Людовике XIV; но, преувеличивая почтенные и естественные чувства национального достоинства и патриотизма и возбуждая общественное мнение одного народа против другого, доходят, наконец, до того, что становится достаточным того, чтобы было сказано,– хотя бы известие и было неверно,– что посланник вашего государства не был принят главой другого государства, для того чтобы разразилась самая ужасная и гибельная война из всех тех, которые когда-либо были. Европа содержит теперь под ружьем больше солдат, чем во время великих наполеоновских войн. Все граждане, за малыми исключениями, принуждены на нашем континенте провести несколько лет в казармах. Строятся крепости, арсеналы и корабли, производят беспрестанно оружия, которые в самое короткое время заменяются другими, потому что наука, которая должна бы была быть направлена всегда на благо человечества, содействует, к сожалению, делу разрушения, придумывает новые и новые средства убивать большие количества людей в наиболее короткое время.

И для того, чтобы содержать столько солдат и делать такие огромные приготовления к убийству, расходуются ежегодно сотни миллионов, т. е. такие суммы, которые были бы достаточны для воспитания народа и совершения самых огромных работ для общественной пользы и которые дали бы возможность миролюбиво разрешить социальный вопрос.

Европа находится поэтому в этом отношении, несмотря на все наши научные победы, в таком же положении, в котором она находилась в самые худшие времена зверских Средних веков. Все жалуются на это положение, которое не есть война, но и не есть мир, и все желали бы выйти из него. Главы правительств утверждают, что они все хотят мира, и между ними происходит соревнование о том, кто из них сделает самые торжественные миролюбивые заявления. Но в тот же день, или на другой, они представляют в законодательном собрании предложение об увеличении вооружений и говорят, что принимают такие предосторожности именно для того, чтобы обеспечить мир.

Но это не тот мир, который мы любим. И народы не обмануты этим. Истинный мир имеет в основе взаимное доверие, тогда как эти огромные вооружения показывают явное и крайнее недоверие, если не скрытую враждебность между государствами. Что бы мы сказали о человеке, который, желая заявить свои дружественные чувства соседу, пригласил бы его разбирать предлежащие вопросы с заряженным револьвером в руке?

Вот это-то вопиющее противоречие между миролюбивыми заявлениями и военной политикой правительств есть то, что, во что бы то ни стало, желают прекратить все добрые граждане».

Удивляются на то, что в Европе совершается ежегодно 60 000 самоубийств, только известных, записанных, и то за исключением России и Турции; но надо удивляться не тому, что самоубийств совершается так много, а тому, что их так мало. Всякий человек нашего времени, если вникнуть в противоречие его сознания и его жизни, находится в самом отчаянном положении. Не говоря о всех других противоречиях жизни и сознания, которые наполняют жизнь человека нашего времени, достаточно одного этого последнего военного положения, в котором находится Европа, и его христианского исповедания для того, чтобы человеку прийти в отчаяние, усомниться в разумности человеческой природы и прекратить жизнь в этом безумном и зверском мире. Противоречие это – военное, заключающее в себе квинтэссенцию всех других противоречий,– так ужасно, что жить, участвуя в нем, можно только, если не думаешь о нем, можешь забыть его.

Как! Мы все христиане, не только исповедуем любовь друг к другу, но действительно живем одной общей жизнью, одними ударами бьется пульс нашей жизни, мы помогаем друг другу, учимся друг у друга, всё больше и больше, ко взаимной радости, любовно сближаемся друг с другом! В этом сближении – смысл всей жизни, и завтра какой-нибудь ошалелый глава правительства скажет какую-нибудь глупость, другой ответит такой же, и я пойду, сам подвергаясь убийству, убивать людей, не только мне ничего не сделавших, но которых я люблю. И это не отдаленная случайность, а это то самое, к чему мы все готовимся, и есть не только вероятное, но неизбежное событие.

Достаточно ясно сознать это для того, чтобы сойти с ума или застрелиться. И это самое и случается, и даже особенно часто между военными. Стоит только на минуту опомниться, чтобы прийти к необходимости такого конца. Только этим и объясняется то страшное напряжение, с которым люди нашего времени стремятся к одурма- нению себя вином, табаком, опиумом, картами, чтением газет, путешествиями, всякими зрелищами и увеселениями. Все эти дела производятся как серьезные, важные дела. Они действительно важные дела. Если бы не было внешних средств отуманивания, половина людей немедленно перестрелялась бы, потому что жить противоречиво своему разуму есть самое непереносимое состояние. А в этом состоянии находятся все люди нашего времени. Все люди нашего времени живут в постоянном вопиющем противоречии сознания и жизни. Противоречия эти выражаются и в экономических и

государственных отношениях, но резче всего это противоречие в сознании людьми христианского закона братства людей и необходимости, в которую ставит всех людей общая воинская повинность, каждому быть готовым к вражде, к убийству,– каждому быть в одно и то же время христианином и гладиатором.

VI

Разрешение противоречий жизни и сознания возможно двумя путями: изменением жизни или сознания. И в выборе из двух, казалось бы, не может быть сомнения.

Человек может перестать делать то, что он считает дурным, но не может перестать считать дурным дурное.

Точно так же и всё человечество может перестать делать то, что оно считает дурным, но не может не только изменить, но и задержать хоть на время всё уясняющего и распространяющегося сознания того, что дурно и чего поэтому не должно быть. Казалось бы, что выбор между изменением жизни и сознания должен бы быть ясен и не подлежать сомнению.

И потому, казалось бы, неизбежно христианскому человечеству нашего времени отречься от осуждаемых им языческих форм жизни и на признаваемых им христианских основах построить свою жизнь.

Но так бы это было, если бы не было закона инерции, столь же неизменного в жизни людей и народов, сколько в неодушевленных телах, выражающегося для людей психологическим законом, так верно выраженным в Евангелии словами: «И не шли к свету, потому что дела их были злы». Закон этот состоит в том, что большинство людей мыслят не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы уверить себя, что они находятся в истине, чтобы уверить себя в том, что та жизнь, которую они ведут и которая им приятна и привычна, и есть та самая, которая сходится с истиной.

Рабство было противно всем тем нравственным началам, которые проповедовал Платон и Аристотель, а между тем ни тот, ни другой не видели этого, потому что отрицание рабства разрушало всю ту жизнь, которой они жили. То же происходит и в нашем мире.

Разделение людей на две касты, так же как и государственное и военное насилие, противны всем тем нравственным началам, которыми живет наш мир, и вместе с тем передовые, образованные люди нашего времени как будто не видят этого.

Большинство, если не все образованные люди нашего времени бессознательно стараются удержать прежнее общественное жизне

понимание, оправдывающее их положение, и скрыть от себя и людей несостоятельность его и, главное, необходимость усвоения того христианского жизнепонимания, которое разрушает весь строй существующей жизни. Они стремятся поддержать порядки, основанные на общественном жизнепонимании, но сами не верят в него, потому что оно отжито и в него нельзя уже верить.

Вся литература – и философская, и политическая, и изящная – нашего времени поразительна в этом отношении. Какое богатство мыслей, форм, красок, какая эрудиция, изящество, обилие мыслей и какое не только отсутствие серьезного содержания, но какой-то страх перед всякой определенностью мысли и выражения ее! Обходы, иносказания, шутки, общие, самые широкие соображения и ничего простого, ясного, идущего к делу, т. е. к вопросу жизни.

Но мало того, что пишутся и говорятся грациозные ненужности, пишутся и говорятся прямо гадости, дикости, пишутся и говорятся самым утонченным образом рассуждения, возвращающие людей к первобытной дикости, к основам жизни не только языческой, но даже животной, уже 5000 лет тому назад пережитой нами.

Оно и не может быть иначе. Чураясь жизнепонимания христианского, нарушающего для одних только привычный, для других привычный и выгодный порядок, люди не могут не возвращаться назад к языческому жизнепониманию и к учениям, основанным на нем. В наше время проповедуется не только патриотизм и аристократизм так, как он проповедовался 2000 лет тому назад, но самый грубый эпикуреизм, животность, с тою только разницею, что тогда проповедующие его люди верили в то, что проповедовали, теперь же сами проповедующие не верят в то, что говорят, и не могут верить, потому что то, что они проповедуют, уже не имеет смысла. Нельзя оставаться на месте, когда почва движется. Если не идешь вперед, то идешь назад. И странно и страшно сказать – образованные люди нашего времени, передовые люди своими утонченными рассуждениями в сущности влекут общество назад, к состоянию даже не языческому, а к состоянию первобытной дикости.

Ни на чем так не видно это направление деятельности передовых людей нашего времени, как на отношении их к тому явлению, в котором в наше время в концентрированной форме выразилась вся несостоятельность общественного жизнепонимания,– к войне, к всеобщему вооружению и общей воинской повинности.

Неопределенность, если не недобросовестность отношения к этому явлению образованных людей нашего времени поразительна. Отношение к этому в нашем образованном обществе трояко: одни рассматривают это явление как нечто случайное, возникшее от особенного политического положения Европы, и считают его поправи

мым без изменения всего внутреннего строя жизни народов, внешними дипломатическими международными мерами. Другие смотрят на это явление как на нечто ужасное, жестокое, но как на неизбежное и роковое, как болезнь или смерть. Третьи спокойно и хладнокровно считают войну явлением необходимым, благодетельным и потому желательным.

Смотрят люди на предмет различно, но как те, так и другие и третьи рассуждают о войне как о событии совершенно не зависящем от воли людей, участвующих в ней, и потому даже и не допускают того естественного вопроса, представляющегося каждому простому человеку; «Что, мне-то нужно ли принимать в ней участие?» По мнению всех этих людей, вопросов этого рода даже не существует, и всякий, как бы он ни смотрел на войну сам лично, должен рабски подчиняться в этом отношении требованиям власти.

Отношение первых, тех, которые спасение от войн видят в дипломатических международных мерах, прекрасно выражается результатом последнего конгресса мира в Лондоне, и статьей и письмами о войне выдающихся писателей в 8 № 1891 года «Revue des Revues».

Вот результаты конгресса: собрав с разных концов света от ученых лично или письменно их мнения, конгресс, начав молебствием в соборе и кончив обедом со спичами, в продолжение 5 дней выслу- щал много речей и пришел к следующим решениям.

Во-1-х, конгресс выразил свое мнение о том, что прямым следствием братства между людьми должно неминуемо быть братство между народами, признающее тождественность интересов каждого народа в отдельности.

Во-2-х, конгресс признал, что христианство имеет влияние на нравственный и политический прогресс человечества и потому напомнил проповедникам Евангелия и другим лицам, занимающимся духовным воспитанием, о необходимости распространения правил мира и сердечного расположения между людьми. Для этой ***цели конгресс определил 3-е воскресенье каждого декабря.*** В этот день должно быть особое провозглашение принципов мира.

В-3-х, конгресс выразил желание, чтобы все учителя истории обращали внимание юношества на страшное зло, которое война всегда причиняла человечеству, и на то обстоятельство, что в большинстве случаев войны возникали вследствие весьма незначительных причин.

В-4-Х, конгресс осудил обучение в училищах в виде физических упражнений – военным приемам и предложил заменить военные роты, ныне существующие, спасательными ротами. Конгресс далее выразил желание внушить экзаменационным комиссиям, имеющим

обязанность формулировать вопросы ученикам, необходимость направлять умы учеников к принципам мира.

В-5-Х, конгресс выразил убеждение, что учение о правах человека требует, чтобы народы дикие и слабые, их собственность и их свобода находили защиту от несправедливости и злоупотреблений и чтобы эти народы были ограждаемы от пороков, столь распространенных между народами, так называемыми цивилизованными. По мнению конгресса, народы должны были бы для этой цели действовать заодно. Конгресс выразил свое сердечное сочувствие заключениям антирабской конференции, заседавшей недавно в Брюсселе и имеющей задачей улучшение быта африканских дикарей.

В-б-х, конгресс выразил убеждение, что, так как воинственные предрассудки и предания, которые еще так глубоко коренятся в некоторых народах, так же как и все те воинственные речи, которые произносятся в законодательных собраниях некоторыми вожаками общественного мнения и которыми наполнены органы печати, нередко являются косвенными причинами войны, то желательно бы было печатать точные сведения об отношениях народов. Для этой цели конгресс предложил основать международную газету, могущую ответить вышеизложенным требованиям.

В-7-Х, конгресс предложил комитету советовать своим членам при всех удобных случаях отстаивать проекты объединения весов, мер, монет, почтовых, телеграфных тарифов и т. д., могущие способствовать действительному торговому, промышленному и научному единению народов.

В-8-Х, ввиду безграничного нравственного и общественного влияния женщин конгресс убеждает их оказать свою поддержку всему тому, что может способствовать миру, ибо иначе на их ответственности должно лежать в большей мере всякое продолжение настоящего военного положения.

В-9-Х, конгресс выразил надежду о том, что ассоциация финансовой реформы и другие подобные общества в Европе и Америке соединятся для обсуждения мер установления справедливых торговых отношений между государствами путем уничтожения пошлин. Конгресс выразил мысль о том, что все цивилизованные народы желают мира и с нетерпением ожидают прекращения всеобщего вооружения. Эти вооружения, будучи производимы якобы для защиты, в свою очередь представляют из себя зло, так как поддерживают недоверие и в то же время являются причиной той всеобщей экономической неурядицы, которая не позволяет приступить, при благоприятных условиях, к тем вопросам о труде и нужде, которые должны были бы быть первые на очереди.

В-IO-х, конгресс признал всеобщее разоружение лучшим ручательством мира и первым шагом к разрешению, ко всеобщему удовольствию, тех вопросов, которые в настоящее время разъединяют государства, и выразил желание, чтобы в скором будущем составился съезд представителей всех государств Европы для обсуждения мер, могущих вести ко всеобщему постепенному разоружению.

В-11-х, имея в виду то, что нерешительность какого-нибудь одного государства могла бы затормозить сознание вышеупомянутого съезда, конгресс выразил мнение, что то государство, которое первое решится распустить значительную долю своей армии, окажет наиважнейшую услугу Европе и человечеству, так как этим самым заставит другие государства – под давлением общественного мнения – последовать его примеру. Своим же поступком оно, без сомнения, не только не ослабит, а лишь усилит естественные условия защиты своей страны.

В-12-х, имея в виду то, что вопрос о разоружении, так же как и о мире вообще, зависит в значительной мере от общественного мнения, конгресс предложил обществам мира, так же как и всем приверженцам мира, заняться деятельной пропагандой его, особенно во время парламентских выборов, чтобы убедить избирателей подавать голоса за кандидатов, в программу действия которых войдут установление мира, разоружение и третейский суд.

В-13-х, конгресс поздравил друзей мира с решением, принятым международной американской конференцией (Вашингтон, апрель), которым признается желательным обязательный третейский суд во всех спорах и других несогласиях, каково бы ни было их происхождение, исключая тех спорных пунктов, которые могли бы грозить независимости одной из заинтересованных стран.

В-14-Х, конгресс обращает на это решение внимание всех европейских и американских государственных людей, в надежде, что в скором будущем подобные договоры будут подписаны остальными нациями ввиду избежания впредь всех столкновений и в то же время для примера другим государствам.

В-15-х, конгресс выразил свое удовольствие по поводу принятия испанским сенатом (16 июля) законопроекта, разрешающего правительству ходатайствовать об утверждении договоров, составленных с помощью третейского суда для разрешения всех спорных вопросов, исключая тех, которые касаются независимости или внутреннего управления государств.

Конгресс выразил также свое удовольствие по поводу принятия решений подобного же содержания норвежским стортингом и итальянским парламентом в текущем месяце.

В-16-х, конгресс постановил официально обратиться к главным политическим, религиозным, торговым обществам, рабочим союзам с просьбою, чтобы эти общества ходатайствовали перед своими правительствами о принятии необходимых мер для учреждения особой комиссии, в обязанности которой входило бы рещение международных несогласий ввиду предупреждения войн.

В-17-х, ввиду того, что: 1) цель, преследуемая всеми обществами мира, состоит в установлении юридического порядка между народами; что 2) нейтрализация путем международных договоров составляет щаг к такому юридическому положению и к уменьщению числа стран, в которых будет возможна война,– конгресс предложил расщирить правила о нейтрализации и выразил желание, чтобы все договоры о нейтрализации, уже существующие в настоящее время, оставались и вперед в силе или, в случае нужды, были дополнены в том смысле, чтобы нейтралитет был распространен на всё государство или чтобы были уничтожены крепости, представляющие для всякого нейтралитета скорее опасность, чем ручательство.

Чтобы были составлены новые договоры (согласные желанию народов) для установления нейтралитета остальных государств.

В-18-х, секция комитета предложила: 1) чтобы следующие съезды конгресса мира были назначены либо перед самым заседанием ежегодной международной конференции, либо тотчас же после него и в том же городе; 2) чтобы вопрос о международной эмблеме мира был отложен на неопределенное время.

Чтобы были приняты следующие рещения: 1) Выразить удовлетворение по поводу официального предложения со стороны пресвитерианской церкви в Соединенных Штатах верховным представителям каждого религиозного общества христианского исповедания соединиться для общего обсуждения мер, могущих вести к замене войны международным третейским судом.

2) Выразить от лица конгресса глубокое почтение памяти Аврелия Саффи, великого итальянского юриста, члена комитета международного мира и свободы.

3) Чтобы отчеты этого конгресса, подписанные президентом, были по возможности переданы главам всех цивилизованных государств авторитетными депутациями.

4) Чтобы организационный комитет был уполномочен сделать нужные поправки в бумагах и рещениях, здесь принятых.

5) Чтобы были приняты следующие рещения: а) выразить признательность президентам всех отдельных заседаний конгресса; Ь) выразить признательность председателю, секретарям и членам бюро конгресса; с) выразить признательность членам различных

секций комитета; d) выразить канонику Скотт-Готланд, доктору Ревен Томасу и И. Моргану Гиббону благодарность за их речи перед открытием конгресса и просьбу доставить копии этих речей для печати, а также главам собора св. Павла, Сити Темпля и конгрегаци- онной церкви Стамфорд Гиля за пользование этими зданиями для общественных целей; е) составить благодарственный адрес ее величеству за разрешение посетить Виндзорский замок, О и также выразить признательность лорд-мэру, его супруге, мистеру Пасмор Эдвардсу и другим друзьям, оказавшим гостеприимство членам конгресса.

В-19-х, конгресс выразил свою глубокую благодарность всевышнему за замечательное согласие, господствовавшее на собраниях конгресса, на которых столько мужчин и женщин самых разнообразных народностей и вероисповеданий собиралось для тесной совместной работы, и успешное окончание трудов конгресса.

Конгресс выразил твердую и непоколебимую веру в окончательное торжество ***мира*** и тех принципов, которые отстаивались на этих собраниях.

Основная мысль конгресса та, что необходимо, во-1-х, распространять всеми средствами между всеми людьми убеждения о том, что война очень невыгодна для людей и что мир есть большое благо, и, ВО-2-Х, действовать на правительства, внушая им преимущества перед войнами международного судилища и поэтому выгоды и необходимости разоружения. Для достижения первой цели конгресс обращается к учителям истории, к женщинам и к духовенству с советом проповедовать людям каждое 3-е воскресенье декабря зло войны и благо мира; для достижения второй – конгресс обращается к правительствам, предлагая им разоружение и замену войны ар- битрацией.

Проповедовать людям зло войны и благо мира! Но ведь зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что, с тех пор как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «мир вам», так что же его проповедовать?

Не только христиане, но все язычники тысячи лет тому назад знали зло войны и благо мира. Так что совет проповедникам Евангелия проповедовать о зле войны и благе мира в 3-е воскресенье декабря совершенно излишен.

Христианин не может не проповедовать этого всегда, во все дни своей жизни. Если же христиане и проповедники христианства этого не делают, то на это должны быть причины. И покуда не будут устранены эти причины, никакие советы не будут действительны. Еще менее могут быть действительны советы правительствам, чтобы они распустили войска и заменили их международными судили

щами. Правительства тоже очень хорошо знают всю трудность и тяжесть собирания и содержания войск, и если, несмотря на то, с страшными усилиями и напряжением собирают и держат войска, то, очевидно, не могут поступать иначе, и совет конгресса никак не может изменить этого. Но ученые никак не хотят видеть этого и все надеются найти такую комбинацию, при которой (сами) правительства, производящие войны, ограничили бы сами себя.

«Возможно ли избавиться от войны? – пишет ученый человек в «Revue des Revues».– Все согласны, что если она разразится в Европе, то последствия ее будут подобны великим нашествиям варваров. Дело при предстоящей войне будет идти уже о существовании целых народностей, и потому она будет кровавая, отчаянная, жестокая.

Это-то соображение вместе с теми страшными орудиями истребления, которыми располагает новейшая наука, задерживает момент объявления войны и удерживает настоящий временный порядок вещей, который мог бы продолжаться на неопределенное время, если бы не те страшные расходы, которые давят европейские народы и угрожают довести народы до бедствий не меньших тех, которые произведет война.

Пораженные этой мыслью, люди разных стран искали средств остановить или по крайней мере смягчить последствия страшной бойни, которая угрожает им.

Таковы вопросы, поставленные на очередь предполагающимся в скором времени конгрессом в Риме и изданием брошюр о разоружении.

К несчастью, несомненно то, что при теперешнем устройстве большинства европейских государств, удаленных друг от друга и руководимых различными интересами, совершенное прекрашение войны есть мечта, которой было бы опасно утешаться. Однако некоторые принятые всеми более разумные законы и постановления при этих дуэлях между народами могли бы значительно уменьшить ужасы войны.

Одинаково утопично рассчитывать на разоружение, которое почти невозможно, вследствие соображений народного характера, понятного нашим читателям. (Вероятно, это значит, что Франции нельзя разоружаться до реванша.) Общественное мнение не готово для принятия проектов разоружения, и, кроме того, отнощения международные не таковы, чтобы можно было принять их.

Разоружение, потребованное одним народом от другого, равнялось бы объявлению войны.

Однако все-таки можно допустить, что обмен взглядов между заинтересованными народами поможет в известной степени междуна-

родному соглашению и сделает возможным значительное уменьшение военных расходов, давящих теперь европейские народы в ущерб разрешению социальных вопросов, необходимость которого чувствуется каждым государством отдельно под угрозой вызвать внутреннюю войну усилиями предотвратить внешнюю.

Можно по крайней мере предположить уменьшение огромных расходов, которые нужны при теперешнем военном устройстве, имеющем целью возможность в 24 часа захватить владения противника и дать решительное сражение через неделю после объявления войны!»

Надобно сделать так, чтобы государства не могли нападать вдруг на другие и в 24 часа захватить чужие владения.

Практическую мысль эту выразил Maxime du Camp, и к этому сводится и заключение статьи.

Предложения M. du Camp следующие:

«1) Дипломатический конгресс должен собираться ежегодно.

2) Всякая война не может быть объявлена ранее двух месяцев после события (incident), которое ее вызовет. (Затруднение тут будет в том, чтобы определять, какой именно incident вызовет войну, так как при всяком объявлении войны таких incidents очень много и надо решить, от какого считать два месяца.)

3) Война не может быть объявлена прежде, чем она не будет подвергнута голосованию народов, готовящихся к ней.

4) Военные действия не могут начаться ранее месяца после объявления войны.

Не может быть начата война... должны... и т. д.». Да кто же сделает то, чтобы ***не могла*** быть начата война? Кто сделает то, чтобы ***должны*** были люди делать то-то и то-то? Кто ***заставит*** державу дожидаться назначения срока? Все другие. Но все другие суть точно такие же державы, которых надо умерять и поставлять в границы и ***заставить.*** Кто же будет заставлять? и как? Общественное мнение. Да если есть общественное мнение, которое может заставить державу дожидаться назначенного срока, то то же общественное мнение может заставить державу и вовсе не начинать войны.

Но, отвечают на это, возможно такое уравновешение сил, ponderation des forces, при котором державы будут сами себя воздерживать. Да ведь это требование и теперь требуется. Это самое был священный союз, это самое — лига мира и т. п.

Но если все согласятся, отвечают на это. Но если все согласятся, то и войны не будет, и незачем и верховные судилища, и третейский суд, и арбитрация.

«Третейский суд, арбитрация заменит войны. Вопросы будут решаться третейским судом, алабамский вопрос решен третейским су

дом, о Каролинских островах предложено решить третейским судом папе. Швейцария и Бельгия, и Дания, и Голландия – все подали заявление, что они предпочитают решения третейского суда войне». Кажется, и Монако заявило то же желание. Досадно только одно, что Германия, Россия, Австрия, Франция до сих пор не заявляют того же.

Удивительно, чем могут себя обманывать люди, когда им нужно обмануть себя.

Правительства согласятся решать свои несогласия третейским судом и потому распустят войска. Недоразумения России и Польши, Англии и Ирландии, Австрии и Чехии, Турции и славян, недоразумения между Францией и Германией разрешатся добровольным согласием.

Ведь это всё равно, как если бы предложить купцам и банкирам ничего не продавать дороже цены покупки, а заниматься распределением богатств без барышей и уничтожить вследствие этого ставшие ненужными деньги.

Но ведь торговля и банковое дело и состоят только в том, чтобы продавать дороже, чем покупать, и потому предложение о том, чтобы не продавать дороже покупной цены и уничтожить деньги, равняется предложению уничтожиться. То же самое и с правительствами. Предложение правительствам не употреблять насилия, а по справедливости решать недоразумения, есть предложение уничтожиться как правительство; а на это-то никакое правительство не может согласиться.

Ученые люди собираются в общества (таких обществ много, более 100), собираются на конгрессы (такие были недавно в Париже и Лондоне, теперь будет в Риме), читают речи, обедают, говорят спичи, издают журналы, посвященные этой цели, и во всех доказывается, что напряжение народов, принужденных содержать миллионы войск, дошло до крайних пределов и что это вооружение противоречит всем целям, свойствам, желаниям всех народов, но что если много исписать бумаги и наговорить слов, то можно согласовать всех людей и сделать, чтобы у них не было противоположных интересов, и тогда войны не будет.

Когда я был маленький, меня уверили, что для того, чтобы поймать птицу, надо посыпать ей соли на хвост. Я вышел с солью к птицам, но тотчас же убедился, что если бы я мог посыпать соли на хвост, то мог бы и поймать, и понял, что надо мной смеялись.

То же надо понять и людям, читающим статьи и книги о третейском суде и разоружении.

Если можно посыпать соли на хвост птице, то значит, что она не летает, ее и ловить нечего. Если же у птицы есть крылья и она

не хочет быть пойманной, она не даст себе сыпать соли на хвост, потому что свойство птицы летать. Точно так же свойство правительства состоит не в том, чтобы подчиняться, а подчинять себе. И правительство только на столько правительство, на сколько оно может не подчиняться, а подчинять, и потому оно всегда стремится к этому и никогда добровольно не может отказаться от власти, а власть дает ему войско, и потому никогда не откажется от войска и употребления его для войны.

Ошибка зиждется на том, что ученые юристы, обманывая себя и других, утверждают в своих книгах, что правительство не есть то, что оно есть,– собрание одних людей, насилующих других, а что правительства, как это выходит в науке, суть представители совокупности граждан. Ученые так долго уверяли других в этом, что и сами поверили в это, и им часто серьезно кажется, что справедливость может быть обязательна для правительств. Но история показывает, что от Кесаря и до Наполеона, того и другого, и Бисмарка правительство есть по существу своему всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть иначе. Справедливость не может быть обязательной для человека или людей, которые держат под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей – солдат и посредством их управляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих повинующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение.

Таково отношение одних ученых к тому противоречию, которое тяготит наш мир, и таковы их средства разрешения его. Скажите этим людям, что вопрос только в личном отношении каждого человека к поставленному перед каждым теперь нравственному религиозному вопросу законности или незаконности участия в общей воинской повинности, и эти ученые только пожмут плечами и даже не удостоят вас ответа или внимания. Разрешение вопроса для них в том, чтобы читать речи, писать книги, избирать президентов, вице-президентов, секретарей и заседать и говорить то в том городе, то в другом. От этих разговоров и писаний, по их мнению, случится то, что правительства перестанут набирать солдат, на которых зиждется вся их сила, а послушаются их речей и отпустят своих солдат, останутся беззащитными не только перед своими соседями, но и перед своими подданными; как разбойники, связавшие безоружных людей, чтобы ограбить их, услыхав речи о той боли, которую веревка причиняет связанным, тотчас же развяжут их.

Но есть люди, которые верят в это, занимаются конгрессами мира, читают речи, пишут книжки, и правительства, разумеется, выражают этому сочувствие, делают вид, что поддерживают это, так

же, как они делают вид, что они поддерживают общества трезвости, тогда как большею частью живут пьянством народа; так же, как делают вид, что поддерживают образование, тогда как сила их держится только на невежестве; так же, как делают вид, что поддерживают свободу конституции, тогда как их сила держится только на отсутствии свободы; делают вид, что заботятся об улучшении быта рабочих, тогда как на подавленности рабочего основано их существование; делают вид, что поддерживают христианство, тогда как христианство разрушает всякое правительство.

Для того, чтобы можно было это делать, уже давно выработались такие заботы о трезвости, которые не могут нарушить пьянства; такие заботы об образовании, которые не только не мешают невежеству, но только усиливают его; такие заботы о свободе и конституции, которые не мешают деспотизму; такие заботы о рабочих, которые не освобождают их от рабства; такое христианство, которое не разрушает, а поддерживает правительства.

Теперь прибавилась еще забота о мире. Правительства прямо цари, которые разъезжают теперь с министрами, решая по одной своей воле вопросы о том: в нынешнем или будущем году начать убийство миллионов; цари эти очень хорошо знают, что разговоры о мире не помешают им, когда им вздумается, послать миллионы на бойню. Цари даже с удовольствием слушают эти разговоры, поощряют их и участвуют в них.

Всё это не только не вредно, но полезно правительствам, отводя глаза людей от самого главного, самого существенного вопроса: идти или не идти отбывать воинскую повинность каждому отдельному человеку, призываемому в солдаты?

«Мир скоро вот устроится, благодаря союзам, конгрессам, по книжкам и брошюрам, а пока идите, надевайте мундир и будьте готовы угнетать и мучить самих себя для нашей выгоды»,– говорят правительства. И ученые, составители конгрессов и статей вполне согласны на это.

Это одно отношение – самое выгодное для правительств и потому поощряемое всеми умными правительствами.

Другое отношение – это отношение трагическое, людей, утверждающих, что противоречие стремления и любви к миру людей и необходимости войны ужасно, но что такова судьба человека. Люди эти большею частью чуткие, даровитые люди, видят и понимают весь ужас и всю неразумность и жестокость войны, но по какому-то странному повороту мысли не видят и не ищут никакого выхода из этого положения, а, как бы расчесывая свою рану, любуются отчаянностью положения человечества.

Вот замечательный образец такого отношения к войне замечательного французского писателя (Мопассана). Глядя с своей яхты на ученье и стрельбу французских солдат, ему приходят следующие мысли;

«Война! Стоит подумать об этом слове, и на меня находит какое- то чувство ужаса и одурения, как если бы мне говорили про колдовство, инквизицию, как будто мне говорят про дело далекое, поконченное, отвратительное, уродливое, противоестественное.

Когда говорят нам про людоедов, мы с гордостью улыбаемся, чувствуя свое превосходство над этими дикарями. Но кто дикари? Кто настоящие дикари? Те ли, которые убивают для того, чтобы съесть побежденных, или те, которые убивают, чтобы убивать, только чтобы убивать?

Вот на поляне егеря по команде бегают и стреляют; все они предназначены на смерть, как стадо баранов, которых мясник гонит по дороге. Упадут они где-нибудь на поляне с рассеченной головой или с пробитой пулей грудью. И всё это молодые люди, которые могли бы работать, производить, быть полезными.

Их отцы старые, бедные их матери, которые в продолжение 20 лет любили, обожали их, как умеют обожать только матери, узнают через шесть месяцев или через год, может быть, что сына, большого сына, воспитанного с таким трудом, с такими расходами, с такою любовью, что сына этого, разорванного ядром, растоптанного конницей, проехавшей через него, бросили в яму, как дохлую собаку. И она спросит; зачем убили дорогого мальчика – ее надежду, гордость, жизнь? Никто не знает. Да, зачем?

Война! Драться! Резаться! Убивать людей! Да, в наше время, с нашим просвещением, с нашей наукой, с нашей философией, существует учреждение особых училищ, в которых учат убивать, убивать издалека, с совершенством, убивать много людей сразу, убивать несчастных, жалких людей, ни в чем не виноватых людей, поддерживающих семьи, и убивать их без всякого суда.

И самое удивительное – это то, что народ не поднимается против правительств,– всё равно, в монархии или республике. Самое удивительное то, что всё общество не взбунтуется при одном слове война.

Да, видно, мы всегда будем жить старыми, ужасными обычаями, преступными суевериями, кровожадными понятиями наших предков. Видно, как мы были зверями, так и останемся зверями, руководимыми только инстинктом.

Едва ли кто-нибудь, кроме Виктора Гюго, мог бы безнаказанно кликнуть клич освобождения и истины.

Силу уже начинают называть насилием и судить ее, сказал он. Война призывается на суд. Просвещение по жалобе рода человеческого ведет судебное дело и представляет обвинительный акт против всех завоевателей и полководцев.

Люди начинают понимать то, что увеличение преступления не может быть его уменьшением; что если убийство есть преступление, то убийство многих не может быть смягчающим обстоятельством; что если стыдно красть, то захват никак не может быть предметом прославления.

Провозгласим же эту несомненную истину, обесчестим войну.

Напрасный гнев,– продолжает Мопассан,– негодование поэта. Война уважаема, почитаема теперь более, чем когда-либо. Искусный артист по этой части, гениальный убийца, г-н фон Мольтке отвечал однажды депутатам общества мира следующими страшными словами: «Война свята и божественного установления, война есть один из священных законов мира, она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость. Только вследствие войны люди не впадают в самый грубый материализм».

Собираться стадами в 400 тысяч человек, ходить без отдыха день и ночь, ни о чем не думая, ничего не изучая, ничему не учась, ничего не читая, никому не принося пользы, валяясь в нечистотах, ночуя в грязи, живя как скот, в постоянном одурении, грабя города, сжигая деревни, разоряя народы, потом, встречаясь с такими же скоплениями человеческого мяса, наброситься на него, пролить реки крови, устлать поля размозженными, смешанными с грязью и кровяной землей телами, лишиться рук, ног, с размозженной головой и без всякой пользы для кого бы то ни было издохнуть где-нибудь на меже, в то время как ваши старики родители, ваша жена и ваши дети умирают с голоду – это называется не впадать в самый грубый материализм.

Военные люди – главное бедствие мира. Мы боремся с природой, с невежеством, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить наше жалкое существование. Ученые посвящают труду всю жизнь для того, чтобы найти средства помочь, облегчить судьбу своих братьев. И, упорно трудясь и делая открытие за открытием, они обогащают ум человеческий, расширяют науку, каждый день дают новые знания, каждый день увеличивая благосостояние, достаток, силу народа.

И вот наступает война. В шесть месяцев генералы разрушают всё то, что творилось в продолжение 20 лет усилия, терпения, гениальности. И это всё называется не впадать в самый грубый материализм.

Мы ее видели, войну. Мы видели, как люди сделались опять зверями, как они, как шальные, убивали из удовольствия, из страха, для молодечества, для похвальбы. Мы видели, как, освободившись от понятий закона и права, они расстреливали невинных, застигнутых на дороге и показавшихся подозрительными только потому, что они испугались. Мы видели, как убивали привязанных у дверей хозяев собак, только чтобы попробовать новый револьвер. Мы видели, как расстреливали лежавших в поле коров без всякой надобности, только чтобы пострелять для потехи. И это называется не впадать в самый безобразный материализм.

Вступить в страну, зарезать человека, который защищает свой дом, потому что он одет в блузу и у него нет на голове военной фуражки; сжигать дома бедняков, которым есть нечего, разбивать, красть мебель, выпивать вино из чужих погребов, насиловать женщин на улицах, сжигать пороху на миллионы франков и оставить после себя разорение, болезни,– это называется не впадать в самый грубый материализм.

Что же, наконец, они сделали, военные люди, какие их подвиги? Ничего. Что они выдумали? Пущки и ружья. Вот и всё.

Что оставила нам Греция? Книги, мраморы. Оттого ли она велика, что побеждала, или оттого, что произвела? Не нападения персов помещали грекам впасть в самый грубый материализм. Не нападения же варваров на Рим спасли и возродили его! Что, Наполеон I продолжал разве великое умственное движение, начатое философами конца прошлого века?

Нет, уж если правительства берут на себя право посылать на смерть народы, то и нет ничего удивительного, что и народы берут на себя иногда право посылать на смерть и свои правительства.

Они защищаются, и они правы. Никто не имеет права управлять другими. Управлять другими можно только для блага того, кем управляешь. И тот, кто управляет, обязан избегать войны; так же как и капитан корабля – избегать крушения.

Когда капитан виноват в крушении своего корабля, его судят и приговаривают, если он окажется виноватым в небрежности и даже в неспособности.

Отчего же бы не судить и правительство после каждой объявленной войны? Если бы только народ понял это, ***если бы они судили власти, ведуьцие их к убийству, если бы они отказывались идти на смерть без надобности, если бы они употребляли данное им оружие против тех, которые им дали его,— если бы это случилось когда-либо, война бы умерла.***

Но этого никогда не случится» («Sur Геаи», с. 71–80).

Автор видит весь ужас войны; видит, что причина ее в том, что правительства, обманывая людей, заставляют их идти убивать и умирать без всякой для них нужды; видит и то, что люди, которые составляют войска, могли бы обратить оружие против правительств и потребовать у них отчета. Но автор думает, что этого никогда не случится и что поэтому выхода из этого положения нет. Он думает, что дело войны ужасно, но что оно неизбежно, что требования правительств того, чтобы люди шли в солдаты, так же неизбежно, как смерть, и что так как правительства всегда будут требовать этого, то всегда и будут войны.

Так пишет даровитый, искренний, одаренный тем проникновением в сущность предмета, которое составляет сущность поэтического дара, писатель. Он выставляет перед нами всю жестокость противоречия сознания людей и деятельности и, не разрешая его, признает как бы то, что это противоречие должно быть и что в нем поэтический трагизм жизни.

Другой, не менее даровитый, писатель (E. Rod) еше ярче описывает жестокость и безумие настоящего положения и точно так же для того, чтобы признать трагизм его, не предлагая и не провидя из этого положения выхода.

«И для чего что-либо делать и затевать? – говорит он.– И разве можно любить людей в теперешние смутные времена, когда завтрашний день одна угроза? Всё, что мы начали, все наши зреющие мысли, все наши предполагаемые дела, всё то хотя малое добро, которое мы можем сделать,– разве всё это не будет снесено готовящейся бурей?

Земля дрожит повсюду под ногами, и собирающаяся туча не минует нас.

Да, если бы страшна была одна революция, которая нас пугает. Так как я не могу придумать общества, более отвратительно устроенного, чем наше, то я не боюсь того нового устройства, которое заменит наше. Если бы мне стало хуже от перемены, я бы утешался тем, что сегодняшние палачи были жертвами вчера. Я бы переносил худшее, ожидая лучшего. Но не эта отдаленная опасность пугает меня,– я вижу другую, более близкую, более жестокую, потому что ей нет никакого оправдания, потому что из нее не может выйти никакого добра. Каждый день люди взвешивают случайности войны на завтра. И каждый день эти случайности становятся неизбежнее.

Мысль отказывается верить возможности катастрофы, которая представляется на конце века как последствие всего прогресса нашей эры, а надо привыкать верить.

В продолжение 20 лет все силы знания истощаются на изобретение орудий истребления, и скоро несколько пушечных выстрелов

будет достаточно для того, чтобы уничтожить целое войско'. Вооружаются не как прежде несколько тысяч бедняков, кровь которых покупали за деньги, но теперь вооружены поголовно целые народы, собирающиеся резать горло друг другу.

У людей этих сначала крадут их время (забирая их в солдаты) для того, чтобы потом вернее украсть их жизнь. Чтобы приготовить их к резне, разжигают их ненависть, уверяя их, что они ненавидимы. И кроткие, добрые люди попадаются на эту удочку, и вот-вот бросятся с жестокостью диких зверей друг на друга толпы мирных граждан, повинуясь нелепому приказанию. И всё Бог знает из-за какого-нибудь смешного столкновения на границе или из-за торговых колониальных расчетов.

И пойдут они, как бараны на бойню, не зная, куда они идут, зная, что они бросают своих жен, что дети их будут голодать, и пойдут они с робостью, но опьяненные звучными словами, которые им будут трубить в уши. ***и пойдут они беспрекословно, покорные и смиренные, не зная и не понимая того, что они сила, что власть была бы в их руках, если бы они только захотели, если бы только могли и умели сговориться и установить здравый смысл и братство, вместо диких плутень дипломатов.***

И пойдут они до такой степени обманутые, что будут верить, что резня, убийство людей есть обязанность, и будут просить Бога, чтобы он благословил их кровожадные желания. И пойдут, топча поля, которые сами они засевали, сжигая города, которые они сами строили, пойдут с криками восторга, с радостью, с праздничной музыкой. А сыновья будут воздвигать памятники тем, которые лучше всех других убивали их отцов.

Судьба целого поколения зависит от того часа, в который какой-нибудь мрачный политик даст тот знак, по которому они бросятся друг на друга.

Все мы знаем, что лучшие из нас будут подкошены и что дела наши будут разрушены в зародыше.

Мы знаем это, содрогаемся от злости и ничего не можем. Мы пойманы в сеть разных присутственных мест и бумаг с заголовками, разорвать которую слишком трудно.

Мы во власти тех законов, которые мы сами понаделали, чтобы защитить себя, и которые угнетают нас.

Мы перестали быть людьми и сделались вешками — собственностью вымышленного чего-то, что мы называем государством, которое порабош^ает каждого во имя воли всех, тогда как

' Книга эта издана год тому назад; за этот год выдумали еще десятки новых орудий истребления — новый, бездымный порох,— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

все, взятые отдельно, хотят как раз противное тому, что их заставляют делать...

И хорошо, если бы дело шло только об одном поколении. Но дело гораздо важнее. Все эти крикуны на жалованье, все честолюбцы, пользующиеся дурными страстями толпы, все нищие духом, обманутые звучностью слов, так разожгли народные ненависти, что дело завтрашней войны решит судьбу целого, народа. Побежденный должен будет исчезнуть, и образуется новая Европа на основах столь грубых, кровожадных и опозоренных такими преступлениями, что она не может не быть еще хуже, еще злее, еще диче и насильственнее.

Так и чувствуешь, что над каждым висит ужасная безнадежность. Мы мечемся в тупом переулке с направленными на нас ружьями со всех сторон. Мы работаем, как матросы на корабле, который тонет. Наше удовольствие – это удовольствие приговоренного к смерти, которому дают выбрать для себя любое кушанье за четверть часа до казни. Ужас притупляет нам мысль, и высшее ее проявление в том, чтобы рассчитать, соображая неясные речи министров, слова, сказанные царем, выворачивая изречения дипломатов, которыми наполняют газеты, рассчитать когда это именно – нынешний или на будущий год нас будут резать.

Едва ли можно найти в истории время, в которое жизнь была бы менее обеспечена и более полна тягостного ужаса» (E. Rod, «Ee sens de la vie», стр. 208–213).

Указано на то, что сила в руках тех, которые сами губят себя, в руках отдельных людей, составляющих массы; указано на то, что источник зла в государстве. Казалось бы, ясно то, что противоречие сознания и жизни дошло до того предела, дальше которого идти нельзя и после которого должно наступить разрешение его.

Но автор думает не так. Он видит в этом трагизм жизни человеческой и, показав весь ужас положения, заключает тем, что, в этом ужасе и должна происходить жизнь человеческая.

Таково второе отношение к войне людей, признающих в ней нечто роковое и трагичное.

Третье отношение есть отношение людей, потерявших совесть, и потому и здравый смысл и человеческое чувство.

К таким людям принадлежит Мольтке, суждение которого выписано Мопассаном, и большинство военных, воспитанных в этом жестоком суеверии, живущих им и потому часто наивно убежденных, что война есть не только неизбежное, но и необходимое, даже полезное дело. Так судят вместе с тем и невоенные, так называемые ученые, образованные, утонченные люди.

Вот что пишет в том номере «Revue des Revues», в котором собраны письма о войне, знаменитый академик Дусэ на вопрос редактора о его взгляде на войну:

«Милостивый государь!

Когда вы спрашиваете у самого миролюбивого из академиков, сторонник ли он войны, его ответ уже заранее готов: к несчастью, м. г., вы и сами считаете мечтой миролюбивые мысли, вдохновляющие в настоящее время наших великодушных соотечественников.

С тех пор, как я живу на свете, мне часто приходится слышать от многих частных людей возмущение против этой ужасающей привычки международного убиения. Все признают и оплакивают это зло; но как ему помочь? Очень часто пытались уничтожить дуэли: это казалось так легко! Так нет же! Все усилия, сделанные для достижения этой цели, ни к чему не послужили и никогда ни к чему не послужат.

Сколько бы ни говорилось против войны и против дуэли на всех конгрессах мира, надо всеми арбитрациями, всеми договорами, всеми законодательствами вечно будет стоять честь, человека, которая вечно требовала дуэли, и выгоды народов, которые вечно будут требовать войны.

Я тем не менее от всего сердца надеюсь, что конгресс всенародного мира успеет в своей весьма тяжелой и весьма почтенной задаче.

Примите уверение и т. д.

К. Дусэ».

Смысл тот, что честь людей требует того, чтобы они дрались, а выгоды народов – того, чтобы они разоряли и истребляли друг друга, попытки же прекращения войн достойны только улыбки.

В том же роде мнение и другого знаменитого человека, Жюля Кларети (Jules Claretie):

«Милостивый государь,– пишет он,– для человека разумного может существовать лишь одно мнение по вопросу о мире и войне.

Человечество создано для того, чтобы жить и жить со свободой усовершенствования и улучшения своей судьбы, своего состояния путем мирного труда. Всеобщее согласие, которого добивается и которое проповедует всемирный конгресс мира, представляет из себя, быть может, только прекрасную мечту, но во всяком случае мечту, самую прекрасную из всех. Человек всегда имеет перед глазами обетованную землю будущего, жатва будет поспевать, не опасаясь вреда от гранат и пушечных колес.

Только... Да – только!.. Так как миром не управляют философы и благодетели, то счастье, что наши солдаты оберегают наши границы и наши очаги и что их оружия, верно нацеленные, являются

нам, быть может, самым лучшим ручательством этого мира, столь горячо нами всеми любимого.

Мир даруется лишь сильным и решительным.

Примите уверение и т. д.

Ж. Кларети».

Смысл тот, что разговаривать не мешает о том самом, чего никто не намерен и чего никак не должен делать. Но когда дело доходит до дела, то нужно драться.

А вот еще самое недавнее выражение мнения о значении войны, высказанное самым популярным романистом Европы – Э. Золя.

«Я считаю войну роковою необходимостью, которая является для нас неизбежной ввиду ее тесной связи с человеческой природой и всем мирозданием. Мне бы хотелось, чтобы войну можно было отдалить на возможно долгое время. Тем не менее наступит момент, когда мы будем вынуждены воевать. Я становлюсь в данную минуту на общечеловеческую точку зрения и не делаю никоим образом намека на наш разлад с Германией, являющийся лишь ничтожным инцидентом в истории человечества. Я говорю, что война необходима и полезна, так как она является для человечества одним из условий существования. Мы всюду встречаем войну, не только между различными племенами и народами, но также в семейной и частной жизни. Она является одним из главнейших элементов прогресса, и каждый шаг вперед, который делало до сих пор человечество, сопровождался кровопролитием.

Говорили и до сих пор еще говорят о разоружении, между тем разоружение нечто невозможное, и если бы даже оно было возможно, то и в том случае мы должны были бы его отвергнуть. Только вооруженный народ является могучим и великим. Я убежден, что общее всемирное разоружение повлекло бы за собой нечто вроде нравственного упадка, который высказался бы общим бессилием и воспрепятствовал бы прогрессивному преуспеянию человечества. Воинственная нация всегда пользовалась цветущими силами. Военное искусство влекло за собою развитие всех других искусств. Об этом свидетельствует история. Так, в Афинах и в Риме торговля, промышленность и литература никогда не достигали такого развития, как в то время, когда эти города господствовали над известным тогда миром силою оружия. Чтобы взять пример из более близких нам времен, вспомним век Людовика XIV. Войны великого короля не только не задержали прогресса искусств и наук, но даже, напротив того, как будто помогали и благоприятствовали их преуспеянию».

Война дело полезное!

Но лучше всего в этом смысле мнение самого даровитого из писателей этого настроения, мнение академика Вогюэ. Вот что он пишет в статье о выставке при посещении военного отдела;

«На эспланаде Инвалидов среди экзотических и колониальных помешений одно строение более строгого стиля выдается из живописного базара; все эти представители жителей земного шара примыкают к дворцу войны. Великолепный повод антитез для гуманитарной риторики; она и не упускает случая плакаться на такие сближения и утверждать, что это убьет то (ceci tuera cela)', что единение народов через науку и труд победит военные инстинкты. Не будем ей мешать ласкать надеждой химеру золотого века, который, если бы осуществился, очень скоро сделался бы веком грязи. Вся история учит нас, что то сделано этим, что нужна кровь, чтобы ускорить и закрепить единение народов. Естественные науки в наше время скрепили таинственный закон, открывшийся Жозефу де Мэстру вдохновением его гения и обдумыванием первобытных догматов; он видел, как мир искупляет свои наследственные падения жертвою; науки показывают нам, как мир совершенствуется борьбой и насильственным подбором; это утверждение с двух сторон одного и того же декрета, редактированного в различных выражениях. Утверждение, конечно, неприятное; но законы мира установлены не для нашего удовольствия, они установлены для нашего совершенствования. Взойдемте же в этот неизбежный, необходимый дворец войны, и мы будем иметь случай наблюдать, каким образом самый упорный из наших инстинктов, не теряя ничего из своей силы, преобразовывается, подчиняясь различным требованиям исторических моментов».

Мысль эта именно о том, что доказательство необходимости войны находится в двух выражениях, по его мнению, двух великих мыслителей – Мэстра и Дарвина, так нравится Вогюэ, что он еще раз повторяет ее.

«Милостивый государь,– пишет он редактору «Revue des Revues»,– вы спрашиваете моего мнения насчет успеха всемирного конгресса мира. Я верю так же, как и Дарвин, что насильственная борьба есть закон природы, управляющий всеми существами.

Так же, как и Иосиф Мэстр, я верю, что это закон божественный: два различных названия для одной и той же вещи. Если бы, паче чаяния, какой-нибудь частице человечества, положим хоть всему цивилизованному Западу, удалось остановить действие этого закона, то другие народы, более первобытные, применили бы

' Слова из романа Виктора Гюго «Notre-Dame» о книгопечатании, которое убьет архитектуру.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

его против нас. В этих народах голос природы взял бы верх над голосом человеческого разума. И они бы действовали успешно, так как уверенность в мире, я не говорю сам «мир», а «полная уверенность в мире», вызвала бы в людях развращенность и упадок, более разрушительно действующие, чем самая страшная война. Я нахожу, что для войны, этого уголовного закона, нужно делать то же, что и для остальных уголовных законов; смягчить их, стараться, чтобы они оказались ненужными, и применять их как можно реже. Но вся история учит нас тому, что нельзя упразднить этих законов до тех пор, пока останется на земле двое людей, хлеб, деньги и между ними женщина.

Я был бы очень счастлив, если бы конгресс мне доказал противное. Но сомневаюсь, чтобы он мог опровергнуть историю, закон природы и закон Бога.

Примите уверение и т. д.

Э. М. Вогюэ».

Смысл тот, что история, природа человека и Бог показывают нам, что, пока будут два человека и между ними хлеб, деньги и женщина,– будет война. То есть, что никакой прогресс не приведет людей к тому, чтобы они сдвинулись с дикого понимания жизни, при котором без драки невозможно разделить хлеб, деньги (очень хороши тут деньги) и женщину.

Странны люди, собирающиеся в конгрессы, говорящие речи о том, как ловить птиц, посыпая им соль на хвост, хотя они не могут не знать, что этого нельзя делать; удивительны те, которые, как Мопассан, Род и мн. др., ясно видят весь ужас войны, всё противоречие, вытекающее из того, что люди делают не то, что им нужно, выгодно и должно делать, оплакивают при этом трагизм жизни и не видят того, что весь трагизм этот прекратится тотчас же, как только люди перестанут рассуждать о том, о чем им не нужно рассуждать, а начнут не делать того, что им больно, неприятно и противно делать. Эти люди удивительны, но люди, которые, как Вогюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной,– эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращенностью. Те хоть говорят, что ненавидят зло и любят добро, но эти прямо признают то, что добра и зла нет.

Все толки о возможности установить мир вместо вечной войны – вредное сантиментальничанье болтунов. Есть закон эволюции, по которому выходит, что я должен жить и действовать дурно. Что же делать? Я образованный человек и знаю закон эволюции и потому буду поступать дурно. «Entrons ап palais de la guerre» (Войдем же во дворец войны). Есть закон эволюции, и потому нет ничего ни дурного,

ни хорошего, а надо жить для одной своей личной жизни, предоставляя остальное делать закону эволюции. Это есть последнее выражение утонченного образования и вместе с тем того затемнения сознания, которым заняты образованные классы нашего времени.

Желание образованных классов как-нибудь удержать свои излюбленные идеи и основанную на них жизнь дошло до последних пределов. Они лгут, обманывают себя и других в самых утонченных формах, только чтобы как-нибудь затемнить, заглушить сознание.

Вместо того чтобы изменить жизнь соответственно сознанию, они стараются всеми средствами затемнить, заглушить сознание. Но свет и в темноте светит, и так он начинает светить в наше время.

VII

Образованные люди высших классов стараются заглушить всё более и более выясняющееся сознание необходимости изменения настоящего строя жизни, но жизнь, продолжая развиваться и усложняться в прежнем направлении, усиливая противоречия и страдания людей, приводит их к тому последнему пределу, дальше которого идти нельзя. Такой последний предел противоречия, дальше которого идти нельзя, есть общая воинская повинность.

Обыкновенно думают, что всеобщая воинская повинность и связанные с нею всё увеличивающиеся вооружения и вследствие того всё увеличивающиеся подати и государственные долги во всех народах есть явление случайное, возникщее от некоторого политического положения Европы, и может быть устранено тоже некоторыми политическими соображениями, без изменения внутреннего строя жизни.

Это совершенно несправедливо. Общая воинская повинность есть только доведенное до своих последних пределов и ставщее очевидным, при известной степени материального развития, внутреннее противоречие, вкравщееся в общественное жизнепонимание.

Общественное жизнепонимание ведь состоит в том, что смысл жизни переносится из личности в совокупность и последовательность их – в племя, в семью, род или государство.

По общественному жизнепониманию предполагается, что так как смысл жизни заключается в совокупности личностей, то личности сами добровольно жертвуют своими интересами для интересов совокупности. Так это и было и есть в действительности при известных формах совокупностей, в семье или племени, безразлично от того, что чему предществовало, или в роде и даже в патриархаль

ном государстве. Вследствие обычая, передаваемого воспитанием и подтверждаемого религиозным внушением, личности без принуждения сливали свои интересы с интересами совокупности и жертвовали своими для общего.

Но чем сложнее становились общества, чем больше они становились, в особенности чем чаще завоевание было причиной соединения людей в общества, тем чаще личности стремились к достижению своих целей в ущерб общему и тем чаще для ограничения этих непокоряющихся личностей понадобилось употребление власти, т. е. насилия.

Защитники общественного жизнепонимания обыкновенно стараются смешать понятие власти, т. е. насилия, с понятием духовного влияния, но смешение это совершенно невозможно.

Влияние духовное есть такое воздействие на человека, вследствие которого изменяются самые желания человека и совпадают с тем, что от него требуют. Человек, подчиняющийся влиянию духовному, действует соответственно своим желаниям. Власть же, как обыкновенно понимают это слово, есть средство принуждения человека поступать противно своим желаниям. Человек, подчиняющийся власти, действует не так, как он хочет, а так, как его заставляет действовать власть. Заставить же человека делать не то, что он хочет, а то, чего он не хочет, может только физическое насилие или угроза им, т. е. лишение свободы, побои, увечья или легко исполнимые угрозы совершения этих действий. В этом состоит и всегда состояла власть.

Несмотря на неперестающие усилия находящихся во власти людей скрыть это и придать власти другое значение, власть есть приложение к человеку веревки, цепи, которой его свяжут и потащат, или кнута, которым его будут сечь, или ножа, топора, которым ему отрубят руки, ноги, нос, уши, голову, приложение этих средств или угроза ими. И так это было при Нероне и Чингис-хане и так это и теперь, при самом либеральном правлении, в американской и французской республике. Если люди подчиняются власти, то только потому, что они боятся того, что, в случае неподчинения их, к ним будут приложены эти действия. Все правительственные требования уплаты податей, исполнения общественных дел, подчинения себя накладываемым наказаниям, изгнания, штрафы и т. п., которым люди как будто подчиняются добровольно, в основе всегда имеют телесное насилие или угрозу его.

Основа власти есть телесное насилие.

Возможность же совершать над людьми телесное насилие прежде всего дает организация вооруженных людей такая, при которой все вооруженные люди действуют согласно, подчиняясь одной воле.

Такие собрания вооруженных людей, подчиняющихся одной воле, составляют войско. Войско всегда и стояло и теперь стоит в основе власти. Всегда власть находится в руках тех, кто повелевает войском, и всегда все властители – от римских кесарей до русских и немецких императоров – озабочены более всего войском, заискивают только в войске, зная, что если войско с ними, то власть в их руках.

Вот это-то образование и увеличение войска, необходимого для поддержания власти, и внесло в общественное жизнепонимание разлагающее его начало.

Цель власти и оправдание ее состоит в ограничении тех людей, которые захотели бы достигать своих интересов в ущерб интересам совокупности. Но приобреталась ли власть образованием нового войска, наследством, или выбором, люди, посредством войска имеющие власть, ничем не отличались от других людей и потому точно так же, как и другие люди, были склонны не подчинять свои интересы интересам совокупности, а, напротив, имея в своих руках возможность это делать, были более склонны, чем все другие, подчинять общие интересы своим. Сколько ни придумывали люди средств для того, чтобы лишить людей, стоящих у власти, возможности подчинять общие интересы своим, или для того, чтобы передавать власть только людям непогрешимым, до сих пор не найдено средств для достижения ни того, ни другого.

Все употребляемые приемы, и божеского благословения, и выбора, и наследственности, и голосований, и выборов, и собраний, и парламентов, и сенатов,– все эти меры оказывались и оказываются недействительными. Все знают, что ни один из этих приемов не достигает ни цели вручения власти только непогрешимым людям, ни препятствования злоупотреблениям ее. Все знают, что, напротив, люди, находящиеся у власти – будь они императоры, министры, полицмейстеры, городовые,– всегда вследствие того что они имеют власть, делаются более склонными к безнравственности, т. е. к подчинению общих интересов личным, чем люди, не имеющие власти, как это и не может быть иначе.

Общественное жизнепонимание оправдывалось только до тех пор, пока все люди добровольно жертвовали своими интересами интересам общего; но как скоро явились люди, добровольно не жертвовавшие своими интересами, и понадобилась власть, т. е. насилие для ограничения этих личностей, так в общественное жизнепонимание и основанное на нем устройство вошло разлагающее его начало власти, т. е. насилие одних людей над другими.

Для того, чтобы власть одних людей над другими достигала своей цели ограничения людей, стремившихся к личным целям в

ущерб общего, нужно было, чтобы власть находилась в руках людей непогрещимых, как это предполагается у китайцев или как это предполагалось в средние века и теперь для людей, верующих в святость помазания. Только при этом условии получало свое оправдание общественное устройство.

Но так как этого нет, а, напротив, люди, имеющие власть, именно вследствие обладания властью всегда не святы, то общественное устройство, основанное на власти, не могло уже иметь оправдания.

Если и было время, что при известном низком уровне нравственности и при всеобщем расположении людей к насилию друг над другом существование власти, ограничивающей эти насилия, было выгодно, т. е. что насилие государственное было меньще насилия личностей друг над другом, то нельзя не видеть того, что такое преимущество государственности над отсутствием ее не могло быть постоянно. Чем более уменьшалось стремление к насилию личностей, чем более смягчались нравы и чем более развращалась власть вследствие своей нестесненности, тем преимущество это становилось всё меньще и меньше.

В этом изменении отношения между нравственным развитием масс и развращенностью правительств и состоит вся история последних двух тысячелетий.

В самом простом виде дело происходило так: люди жили племенами, семьями, родами и враждовали, насиловали, разоряли, убивали друг друга. Насилия эти происходили в малых и больших размерах; личность боролась с личностью, племя с племенем, семья с семьей, род с родом, народ с народом. Большие, сильнейшие совокупности завладевали слабейшими, и чем больше и сильнее становилась совокупность людей, тем меньше происходило в ней внутренних насилий и тем обеспеченнее казалась продолжительность жизни совокупности.

Члены племени или семьи, соединяясь в одну совокупность, менее враждуют между собой, и племя и семья не умирают, как один человек, а продолжают свое существование: между членами одного государства, подчиненными одной власти, борьба кажется еще слабее, и жизнь государства кажется еще обеспеченнее.

Соединения эти всё в ббльшие и ббльшие совокупности происходили не потому, чтобы люди сознательно признавали такие соединения более для себя выгодными, как это описывается в басне о призвании варягов, а вследствие, с одной стороны, естественного роста, с другой – борьбы и завоеваний.

Когда завоевание уже совершилось, власть завоевателя действительно прекращает междоусобия, и общественное жизнепонима

ние получает подтверждение. Но подтверждение это только временное. Внутренние междоусобия прекращаются только в той мере, в которой увеличивается давление власти над прежде враждовавшими между собой личностями. Насилие внутренней борьбы, уничтожаемое властью, зарождается в самой власти. Власть находится в руках людей таких же, как все, т. е. таких, которые всегда или часто готовы пожертвовать общим благом для своего личного, с тою лишь разницею, что люди эти не имеют умеряющей их силы противодействия насилуемых и подвержены всему развращающему влиянию власти. И потому зло насилия, переходя в руки власти, всегда увеличивается и увеличивается и становится со временем больше, чем то, которое предполагается, что оно уничтожает, между тем как в членах общества склонность к насилию всё более и более ослабевает и насилие власти становится всё менее и менее нужным.

Государственная власть, если она и уничтожает внутренние насилия, вносит всегда в жизнь людей новые насилия и всегда всё ббльшие и ббльшие, по мере своей продолжительности и усиления.

Так что хотя в государстве насилие власти и менее заметно, чем насилие членов общества друг над другом, так как оно выражается не борьбой, а покорностью, но насилие тем не менее существует и большей частью в сильнейшей степени, чем прежде. И это не может быть иначе, потому что, кроме того, что обладание властью развращает людей, расчет или даже бессознательное стремление насилующих всегда будет состоять в том, чтобы довести насилуемых до наибольшего ослабления, так как чем слабее будет насилуемый, тем меньше потребуется усилий для подавления его.

И потому насилие над насилуемым всегда растет до того последнего предела, до которого оно может дойти, не убивая курицу, несущую золотые яйца. Если же курица эта не несется, как американские индейцы, фиджиане, негры, то убиваются, несмотря на искренние протесты филантропов против такого образа действий.

Лучшим подтверждением этого служит положение рабочих классов нашего времени, которые собственно суть не что иное, как покоренные люди.

Несмотря на все притворные старания высших классов облегчить положение рабочих, все рабочие нашего мира подчинены неизменному железному закону, по которому они имеют только столько, сколько им нужно, чтобы быть постоянно побуждаемыми нуждой к работе и быть в силе работать на своих хозяев, т. е. завоевателей.

Так это всегда было. Всегда, по мере продолжительности и усиления власти, терялись ее выгоды для тех, которые подчинялись ей, и увеличивались ее невыгоды.

Так это было и есть, независимо от тех форм правления, в которых жили народы. Разница только в том, что при деспотической форме правления власть сосредоточивается в малом числе насилующих и форма насилия более резкая; при конституционных монархиях и республиках, как во Франции и Америке, власть распределяется между ббльшим количеством насилующих и формы ее выражения менее резки; но дело насилия, при котором невыгоды власти больше выгод ее, и процесс его, доводящий насилуемых до последнего предела ослабления, до которого они могут быть доведены для выгоды насилующих, всегда одни и те же.

Таково было и есть положение всех насилуемых, но до сих пор они не знали этого и в большинстве случаев наивно верили, что правительства существуют для их блага; что без правительств они погибли бы; что мысль о том, что люди могут жить без правительств, есть кощунство, которое нельзя даже и произносить; что это есть – почему-то страшное – учение анархизма, с которым соединяется представление всяких ужасов.

Люди верили, как чему-то вполне доказанному и потому не требующему доказательств, тому, что, так как до сих пор все народы развивались в государственной форме, то эта форма и навсегда есть необходимое условие развития человечества.

Так это продолжалось сотни, тысячи лет, и правительства, т. е. люди, находящиеся во власти, старались и теперь всё более стараются поддерживать народы в этом заблуждении.

Так это было при римских императорах, так это и теперь. Несмотря на то, что мысль о бесполезности и даже вреде государственного насилия всё больше и больше входит в сознание людей, так это продолжалось бы вечно, если бы правительствам не было необходимости для поддержания своей власти усиливать войска.

Обыкновенно думают, что войска усиливаются правительствами только для обороны государства от других государств, забывая то, что войска нужны прежде всего правительствам для обороны себя от своих подавленных и приведенных в рабство подданных.

Это нужно было всегда и всё становилось нужнее и нужнее по мере развивавшегося образования в народах, по мере усиления общения между людьми одной и разных национальностей и стало особенно необходимо теперь, при коммунистическом, социалистическом, анархистическом и общем рабочем движении. И правитель

ства чувствуют это и увеличивают свою главную силу дисциплинированного войска'.

Недавно в германском рейхстаге, отвечая на запрос о том, почему нужны деньги для прибавления жалованья унтер-офицерам, германский канцлер прямо объявил, что нужны надежные унтер-офицеры для того, чтобы бороться против социализма. Каприви сказал во всеуслышание только то, что всякий знает, хотя это и старательно скрывается от народов; он сказал то, почему нанимались гвардии швейцарцев и шотландцев к французским королям и папам, почему в России старательно перетасовывают рекрут так, чтобы полки, стоящие в центрах, комплектовались рекрутами с окраин, а полки на окраинах – людьми из центра России. Смысл речи Каприви, переведенной на простой язык, тот, что деньги нужны не для противодействия внешним врагам, а для подкупа унтер-офицеров, с тем чтобы они были готовы действовать против подавленного рабочего народа.

Каприви нечаянно сказал то, что каждый очень хорошо знает, а если не знает, то чувствует, а именно то, что существующий строй жизни таков, какой он есть, не потому, что он естественно должен быть таким, что народ хочет, чтобы он был таков, но потому, что его таким поддерживает насилие правительств, войско со своими подкупленными унтер-офицерами и генералами.

Если у рабочего человека нет земли, нет возможности пользоваться самым естественным правом каждого человека извлекать из земли для себя и своей семьи средства пропитания, то это не потому, что этого хочет народ, а потому, что некоторым людям, землевладельцам, предоставлено право допускать и не допускать к этому рабочих людей. И такой противоестественный порядок поддерживается войском. Если огромные богатства, накопленные рабочими, считаются принадлежащими не всем, а исключительным лицам; если власть собирать подати с труда и употреблять эти деньги, на что они это найдут нужным, предоставлена некоторым людям; если стачкам рабочих противодействуется, а стачки капиталистов поощряются; если некоторым людям предоставляется избирать способ

' То что в Америке злоупотребления власти существуют, несмотря на малое количество войска, не только не опровергает, но только поддерживает это положение. В Америке меньше войска, чем в других государствах, и потому нигде нет меньшего угнетения подавленных классов и нигде не предвидится так близко уничтожение злоупотреблений правительства и самого правительства. В Америке же в последнее время, по мере усиления единения между рабочими, слышатся всё чаще и чаще голоса, требующие увеличения войска, хотя никакое внешнее нападение не угрожает Америке. Высшие правящие классы знают, что 50 тысяч войска скоро будет недостаточно, и, не надеясь уже на армию Пинкертона, чуют, что обеспечение их положения только в усилении войска.— *Примеч. Л. И. Толстого.*

религиозного и гражданского обучения и воспитания детей; если некоторым лицам предоставлено право составлять законы, которым все должны подчиняться, и распоряжаться имуществом и жизнью людей,– то всё это происходит не потому, что народ этого хочет и что так естественно должно быть, а потому, что этого для своих выгод хотят правительства и правящие классы и посредством физического насилия над телами людей устанавливают это.

Каждый, если еще не знает того, то узнает при всякой попытке неподчинения или изменения такого порядка вещей. И потому войска прежде всего нужны всякому правительству и правящим классам для того, чтобы поддержать тот порядок вещей, который не только не вытекает из потребности народа, но часто прямо противоположен ему и выгоден только правительству и правящим классам.

Войска нужны всякому правительству прежде всего для содержания в покорности своих подданных и для пользования их трудами. Но правительство не одно: рядом с ним другое правительство, точно так же насилием пользующееся своими подданными и всегда готовое отнять у другого правительства труды его уже приведенных в рабство подданных. И потому каждое правительство нуждается в войске не только для внутреннего употребления, но и для ограждения своей добычи от соседних хищников. Каждое государство вследствие этого невольно приведено к необходимости друг перед другом увеличивать войска. Увеличение же войск заразительно, как это еще 150 лет тому назад заметил Монтескье.

Всякое увеличение войска в одном государстве, направленное против своих подданных, становится опасным и для соседа и вызывает увеличение и в соседних государствах.

Войска доросли до тех миллионов, до которых они доросли теперь, не только оттого, что государствам угрожали соседи; это произошло прежде всего оттого, что надо подавлять все попытки возмущения подданных. Увеличение войск происходит одновременно от двух причин, вызывающих одна другую: войска нужны и против своих внутренних врагов и для того, чтобы отстаивать свое положение против соседей. Одно обусловливает другое. Деспотизм правительства всегда увеличивается по мере увеличения и усиления войск и успехов внешних, и агрессивность правительств увеличивается по мере усиления внутреннего деспотизма.

Вследствие этого-то европейские правительства одно перед другим, всё усиливая и усиливая войска, пришли к неизбежной необходимости – общей воинской повинности, так как общая воинская повинность была средством получить наибольшее количество войска во время войны при наименьших расходах. Германия первая до

гадалась сделать это. И как скоро это сделало одно государство, другие должны были сделать то же. А как скоро это сделалось, сделалось то, что все граждане стали под ружье для того, чтобы поддерживать все те несправедливости, которые против них производились; сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя.

Общая воинская повинность была неизбежная логическая необходимость, к которой нельзя было не прийти, но вместе с тем она же есть последнее выражение внутреннего противоречия общественного жизнепонимания, возникшего тогда, когда для поддержания его понадобилось насилие. В общей воинской повинности противоречие это стало очевидным. В самом деле; ведь смысл общественного жизнепонимания состоит в том, что человек, сознавая жестокость борьбы личностей между собою и погибельность самой личности, переносит смысл своей жизни в совокупности личностей. При общей же воинской повинности выходит то, что люди, принесшие все требуемые от них жертвы для того, чтобы избавиться от жестокости борьбы и от непрочности жизни, после всех принесенных жертв призываются опять ко всем тем опасностям, от которых они думали избавиться, и кроме того та совокупность – государство, во имя которой личности отреклись от своих выгод, подвергается опять такой же опасности уничтожения, какой прежде подвергалась сама личность.

Правительства должны были избавить людей от жестокости борьбы личностей и дать им уверенность в ненарушимости порядка жизни государственной, а вместо этого они накладывают на личность необходимость той же борьбы, только отодвинув ее от борьбы с ближайшими личностями к борьбе с личностями других государств, и оставляют ту же опасность уничтожения и личности и государства.

Учреждение общей воинской повинности подобно тому, что случилось бы с человеком, подпирающим заваливающийся дом; стены нагнулись внутрь – поставили подпорки; потолок погнулся – подставили другие; между подпорками провисли доски – еще поставили подпорки. Дошло дело до того, что подпорки хотя и держат дом, но жить в доме от подпорок уже нельзя.

То же с общей воинской повинностью. Общая воинская повинность разрушает все те выгоды общественной жизни, которые она призвана хранить.

Выгоды общественной жизни состоят в обеспечении собственности, труда и содействии совокупному усовершенствованию жизни – общая воинская повинность уничтожает всё это.

Подати, собираемые с народа для приготовления к войне, поглощают ббльшую долю произведений труда, которые должно охранять войско.

Отрывание всех мужчин от обычного течения жизни нарушает возможность самого труда.

Угрозы войны, готовой всякую минуту разразиться, делают бесполезными и тщетными все усовершенствования общественной жизни.

Если прежде человеку говорили, что он без подчинения власти государства будет подвержен нападениям злых людей, внутренних и внешних врагов, будет вынужден сам бороться с ними, подвергаться убийству, что поэтому ему выгодно нести некоторые лишения для избавления себя от этих бед, то человек мог верить этому, так как жертвы, которые он приносил государству, были только жертвы частные и давали ему надежду на спокойную жизнь в не- уничтожающемся государстве, во имя которого он принес свои жертвы. Но теперь, когда жертвы эти не только возросли в десять раз, а обешанные ему выгоды отсутствуют, естественно каждому подумать, что подчинение его власти совершенно бесполезно.

Но не в этом одном роковое значение общей воинской повинности как проявления того противоречия, которое заключается в общественном жизнепонимании. Главное проявление этого противоречия заключается в том, что при общей воинской повинности всякий гражданин, делаясь солдатом, становился поддерживателем государственного устройства и участником всего того, что делает государство и законность чего он не признает.

Правительства утверждают, что войска нужны преимущественно для внешней обороны, но это несправедливо. Они нужны прежде всего против своих подданных, и всякий человек, отбывающий воинскую повинность, невольно становится участником всего насилия государства над своими подданными.

Для того, чтобы убедиться в том, что каждый человек, исполняющий воинскую повинность, становится участником таких дел государства, которые он не признает и не может признавать, пусть всякий вспомнит только то, что творится в каждом государстве во имя порядка и блага народов и исполнителем чего всегда является войско. Все междоусобия династические и различных партий, все казни, сопряженные с этими смутами, все подавления восстаний, все употребления военной силы для разогнания скопищ народа, подавления стачек, все вымогательства податей, все несправедливости распределения земельной собственности, все стеснения труда,– всё это производится если не прямо войсками, то полицией, поддерживаемой войсками. Отбывающий воинскую повинность становится

участником всех этих дел, дел в некоторых случаях сомнительных для него, но во многих случаях прямо противных его совести. Люди не хотят уйти с той земли, которую они обрабатывали поколениями; люди не хотят разойтись, как того требует правительство; люди не хотят платить подати, которые с них требуют; люди не хотят признать для себя обязательности законов, которые не они делали; люди не хотят лишиться своей национальности,– и я, исполняя воинскую повинность, должен прийти и бить этих людей. Не могу я, будучи участником этих дел, не спросить себя, хороши ли эти дела? И следует ли мне содействовать исполнению их?

Общая воинская повинность есть для правительств последняя степень насилия, необходимая для поддержания всего здания; для подданных же она есть последний предел возможности повиновения. Это есть тот камень замка в своде, который держит стены и извлечение которого рушит всё здание.

Пришло время, когда всё усиливающиеся и усиливающиеся злоупотребления правительств и борьба их между собой сделали то, что от каждого подданного потребовались такие, не только материальные, но и нравственные жертвы, при которых каждому пришлось задуматься и спросить себя; могу ли я принести эти жертвы? И во имя чего должен я приносить эти жертвы? Жертвы эти требуются во имя государства. Во имя государства требуется от меня отречение от всего, что только может быть дорого человеку: от спокойствия, семьи, безопасности, человеческого достоинства. Что же такое это государство, для которого требуются такие страшные жертвы? И для чего оно так необходимо нужно?

«Государство,– говорят нам,– необходимо нужно, во-первых, потому, что без государства я и все мы не были бы ограждены от насилия и нападения злых людей; во-вторых, без государства мы были бы дикими и не имели бы ни религиозных, ни образовательных, ни воспитательных, ни торговых, ни путесообщительных, ни других общественных учреждений; и, в-третьих, потому, что без государства мы бы были подвержены порабощению нас соседними народами».

«Без государства,– говорят нам,– мы бы были подвержены насилиям и нападениям злых людей в нашем же отечестве».

Но кто же эти среди нас злые люди, от насилия и нападения которых спасает нас государство и его войско? Если три, четыре века тому назад, когда люди гордились своим военным искусством, вооружением, когда убивать людей считалось доблестью, были такие люди, то ведь теперь таких людей нет, а все люди нашего времени не употребляют и не носят оружия, и все, исповедуя правила человеколюбия, сострадания к ближним, желают того же, что и мы,–

только возможности спокойной и мирной жизни. Так что теперь уже нет тех особенных насильников, от которых государство могло защищать нас. Если же под людьми, от нападения которых спасает нас государство, разуметь тех людей, которые совершают преступления, то мы знаем, что это не суть особенные существа, вроде хищных зверей между овец, а суть такие же люди, как и все мы и точно так же не любящие совершать преступления, как и те, против которых они их совершают. Мы знаем теперь, что угрозы и наказания не могут уменьшить количества таких людей, а уменьшает его только изменение среды и нравственное воздействие на людей. Так что объяснение необходимости государственного насилия ограждением людей от насильников, если и имело основание три, четыре века тому назад, теперь не имеет никакого. Теперь скорее можно сказать обратное: именно то, что деятельность правительств с своими, отставшими от общего уровня нравственности, жестокими приемами наказаний, тюрьм, каторг, виселиц, гильотин скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников.

«Без государства,– говорят еще,– не было бы всех тех учреждений воспитательных, образовательных, религиозных, путесообщительных и других. Без государства люди не умели бы учредить общественных нужных для всех дел». Но этот довод мог иметь основание тоже только несколько веков тому назад.

Если было время, когда люди были так разобщены между собою, так мало были выработаны средства сближения и передачи мыслей, что они не могли сговориться и согласиться ни в каком общем ни торговом, ни экономическом, ни образовательном деле без государственного центра, но теперь уже нет этой разобщенности. Широко развившиеся средства общения и передачи мыслей сделали то, что для образования обществ, собраний, корпораций, конгрессов, ученых, экономических, политических учреждений люди нашего времени не только вполне могут обходиться без правительств, но что правительства в большей части случаев скорее мешают, чем содействуют достижению этих целей.

С конца прошлого столетия едва ли не всякий шаг вперед человечества не только не поощрялся, но всегда задерживался правительством. Так это было с уничтожением телесного наказания, пыток, рабства, с установлением свободы печати и собраний. В наше же время государственная власть и правительства не только не содействуют, но прямо препятствуют всей той деятельности, посредством которой люди вырабатывают себе новые формы жизни. Решения вопросов рабочего, земельного, политического, религиозного не

только не поощряются, но прямо задерживаются государственной властью.

«Без государства и правительства народы были бы порабощаемы соседями».

Едва ли нужно еще возражать на этот последний довод. Возражение находится в нем самом.

Правительства, как это говорят нам, необходимы со своими войсками для защиты от могущих поработить нас соседних государств. Но ведь это говорят все правительства друг про друга, и вместе с тем мы знаем, что все европейские народы исповедуют одинаковые принципы свободы и братства и потому не нуждаются в защите друг от друга. Если же говорить о защите от варваров, то для этого достаточно 0,001 тех войск, которые стоят теперь под ружьем. Так что выходит обратное тому, что говорится: государственная власть не только не спасает от опасности нападения соседей, а напротив, она-то и производит опасность нападения.

Так что для всякого человека, посредством воинской повинности поставленного в необходимость вдуматься в значение государства, во имя которого от него требуется жертва его спокойствия, безопасности и жизни, не может не быть ясным, что для жертв этих нет уже в наше время никакого основания.

Но мало того, что, рассуждая теоретически, всякий человек не может не видеть, что жертвы, требуемые государством, не имеют никакого основания; даже рассуждая практически, т. е. взвешивая все те тяжелые условия, в которые поставлен человек государством, всякий не может не видеть, что для себя лично исполнение требований государства и подчинение себя воинской повинности для него в большинстве случаев невыгоднее, чем отказ от нее.

Если большинство людей предпочитает подчинение неподчинению, то это происходит не вследствие трезвого взвешивания выгод и невыгод, а потому, что к подчинению привлекает людей гипнотизация, которой они при этом подвергаются. Подчиняясь, люди только покоряются требованиям, которые к ним предъявляются, не рассуждая и не делая усилия воли; для неподчинения нужно самостоятельное рассуждение и усилие, на которое не каждый бывает способен. Если же, исключив нравственное значение подчинения и неподчинения, сообразоваться только с одними выгодами, то неподчинение в общем всегда будет выгоднее подчинения.

Кто бы я ни был, человек ли, принадлежащий к достаточным, угнетающим классам, или к рабочим, угнетенным, и в том и в другом случае невыгоды неподчинения меньше, чем невыгоды подчинения, и выгоды неподчинения больше выгод подчинения.

Если я принадлежу к меньшинству угнетателей, невыгоды неподчинения требованиям правительства будут состоять в том, что меня, как отказавшегося исполнить требования правительства, будут судить и в лучшем случае или оправдают, или, как поступают у нас с менонитами,– заставят отбывать срок службы на невоенной работе; в худшем же случае приговорят к ссылке или заключению в тюрьму на два, три года (я говорю по примерам, бывшим в России), или, может быть, и на более долгое заключение, может быть, и на казнь, хотя вероятие такого наказания очень малб.

Таковы невыгоды неподчинения. Невыгоды же подчинения будут состоять в следующем: в лучшем случае меня не пошлют на убийства людей и самого не подвергнут большим вероятиям искалечения и смерти, а только зачислят в военное рабство; я буду наряжен в шутовской наряд, мною будет помыкать всякий человек, выше меня чином, от ефрейтора до фельдмаршала, меня заставят кривляться телом, как им этого хочется, и, продержав меня от одного до пяти лет, оставят на десять лет в положении готовности всякую минуту явиться опять на исполнение всех этих дел. В худшем же случае будет то, что при всех тех же прежних условиях рабства меня еще пошлют на войну, где я вынужден буду убивать ничего не сделавших мне людей чужих народов, где могу быть искалечен и убит и где могу попасть в такое место, как это бывало в Севастополе и как бывает во всякой войне, где люди посылаются на верную смерть, и, что мучительнее всего, могу быть послан против своих же соотечественников и должен буду убивать своих братьев для династических или совершенно чуждых мне правительственных интересов. Таковы сравнительные невыгоды.

Сравнительные же выгоды подчинения и неподчинения следующие.

Для неотказавшегося выгоды будут состоять в том, что он, подвергнувшись всем унижениям и исполнив все жестокости, которые от него требуются, может, не будучи убитым, получить украшения красные, золотые, мишурные на свой шутовской наряд, может в лучшем случае распоряжаться над сотнями тысяч таких же, как и он, оскотиненных людей и называться фельдмаршалом и получить много денег.

Выгоды же отказавшегося будут состоять в том, что он сохранит свое человеческое достоинство, получит уважение добрых людей и, главное, будет несомненно знать, что он делает дело божье, и потому несомненное добро людям.

Таковы выгоды и невыгоды с обеих сторон для человека из богатых классов, для угнетателя; для человека же бедного рабочего класса выгоды и невыгоды будут те же, но с важным прибавлением

невыгод. Невыгоды для человека из рабочего класса, не отказавшегося от военной службы, будут еще состоять в том, что, поступая в военную службу, он своим участием и как бы согласием закрепляет то угнетение, в котором находится он сам.

Но не соображения о том, насколько нужно и полезно для людей то государство, которое они призывают поддерживать своим участием в военной службе, еще менее соображения о выгодах и невыгодах для каждого его подчинения или неподчинения требованиям правительства решают вопрос о необходимости существования или уничтожения государства. Решает этот вопрос бесповоротно и безапелляционно религиозное сознание или совесть каждого отдельного человека, перед которым невольно с общей воинской повинностью становится вопрос о существовании или несуществовании государства.

VIII

Часто говорят, что если христианство есть истина, то оно должно бы было быть принято всеми людьми тогда же, когда появилось, и тогда должно бы было изменить жизнь людей и сделать ее лучшей. Но говорить так, всё равно что говорить, что если бы зерно было всхоже, то оно должно тотчас же дать росток, цвет и плод.

Христианское учение не есть законодательство, которое, будучи введено насилием, может тотчас же изменить жизнь людей. Христианство есть иное, чем прежнее, новое, высшее понимание жизни. Новое же понимание жизни не может быть предписано, а может быть только свободно усвоено.

Свободно же усвоено новое жизнепонимание может быть только двумя способами: духовным – внутренним и опытным – внешним.

Одни люди – меньшинство – тотчас же, сразу пророческим чувством указывают истинность учения, отдаются ему и исполняют его. Другие – большинство – только длинным путем ошибок, опытов и страданий приводятся к познанию истинности учения и необходимости усвоения его.

И вот к этой-то необходимости усвоения учения опытным, внешним способом и приведено теперь всё большинство людей христианского человечества.

Иногда думается: для чего было нужно то извращение христианства, которое и теперь более всего другого мешает принятию его в его истинном значении. А между тем это-то извращение христианства, приведши людей в то положение, в котором они находятся теперь, и было необходимым условием того, чтобы большинство людей могло воспринять его в его истинном значении.

Если бы христианство предлагалось людям в его истинном, а не извращенном виде, то оно бы не было принято большинством людей, и большинство это осталось бы чуждым ему, как чужды ему теперь народы Азии. Приняв же его в извращенном виде, народы, принявшие его, подверглись хотя и медленному, но верному воздействию его и длинным, опытным путем ошибок и вытекающих из них страданий приведены теперь к необходимости усвоения его в истинном значении.

Извращение христианства и принятие его в извращенном виде большинством людей было так же необходимо, как и то, чтобы для того, чтобы оно взошло, посеянное зерно было на время скрыто землей.

Христианское учение есть учение истины и вместе с тем пророчество.

Тысяча восемьсот лет тому назад христианское учение открыло людям истину о том, как им должно жить, и вместе с тем предсказало то, чем будет жизнь человеческая, если люди не будут так жить, а будут продолжать жить теми основами, которыми они жили до него, и чем она будет, если они примут христианское учение и будут в жизни исполнять его.

Преподав в нагорной проповеди то учение, которое должно руководить жизнью людей, Христос сказал; «И так всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. VII, 24–27).

И вот после 18 веков пророчество совершилось. Не следуя учению Христа вообще и проявлению его в общественной жизни непротивлением злу, люди невольно пришли к тому положению неизбежности погибели, которое обещано Христом тем, которые не последуют его учению.

Люди часто думают, что вопрос о противлении или непротивлении злу насилием есть вопрос придуманный, вопрос, который можно обойти. А между тем это – вопрос самою жизнью поставленный перед всеми людьми и перед всяким мыслящим человеком и неизбежно требующий своего разрешения. Вопрос этот для людей в их общественной жизни с тех пор, как проповедано христианское учение, есть то же, что для путешественника вопрос о том, по какой из двух дорог идти, когда он приходит к разветвлению того пу

ти, по которому шел. Идти надо, и нельзя сказать: не буду думать и буду идти, как шел прежде. Прежде была одна дорога, а теперь стало две, и нельзя идти, как шел прежде, а неизбежно выбрать одну из двух.

Так точно и нельзя сказать с тех пор, как учение Христа стало известно людям; буду жить, как я жил прежде, не решая вопроса о противлении или непротивлении злу насилием. Надо неизбежно при возникновении каждой борьбы решить: противиться или не- противиться насилием тому, что я считаю злом, насилием.

Вопрос о противлении или непротивлении злу насилием возник тогда, когда появилась первая борьба между людьми, так как всякая борьба есть не что иное, как противление насилием тому, что каждый из борющихся считает злом. Но люди до Христа не видали того, что противление насилием тому, что каждый считает злом, только потому, что он считает злом то, что другой считает добром, есть только один из способов разрешения борьбы, а что другой способ состоит в том, чтобы вовсе не противиться злу насилием.

До учения Христа людям представлялось, что есть только один способ разрешения борьбы посредством противления злу насилием, и так и поступали, стараясь при этом каждый из борющихся убедить себя и других в том, что то, что каждый считает злом, и есть действительное, абсолютное зло.

И для этого с древнейших времен люди стали придумывать такие определения зла, которые бы были обязательны для всех. И за такие определения зла, обязательные для всех, выдавались то постановления законов, которые, предполагалось, были получены сверхъестественным путем, то веления людей или собраний людей, которым приписывалось свойство непогрешимости. Люди употребляли насилие против других людей и уверяли себя и других, что насилие это они употребляли против зла, признанного всеми.

Средство это употреблялось с древнейших времен в особенности теми людьми, которые захватили власть, и люди долгое время не видали неразумности этого средства.

Но чем дальше жили люди, чем сложнее становились их отношения, тем более становилось очевидным, что противиться насилием тому, что каждым считается злом,– неразумно, что борьба от этого не уменьшается и что никакие людские определения не могут сделать того, чтобы то, что считается злом одними людьми, считалось бы таковым и другими.

Уже во времена появления христианства, в том месте, где оно появилось, в Римской империи для большого числа людей было ясно, что то, что Нероном и Калигулой считается злом, которому надо противиться насилием, не может считаться злом другими людь

ми. Уже тогда люди начинали понимать, что законы человеческие, выдаваемые за законы божеские, писаны людьми, что люди не могут быть непогрешимы, каким бы они ни были облечены внешним величием, и что ошибающиеся люди не сделаются непогрешимыми оттого, что они соберутся вместе и назовутся сенатом или каким- нибудь другим таким именем. Тогда уже это чувствовалось и понималось многими. И тогда-то и было проповедуемо Христом его учение, состоящее не в том только, что не надо противиться злу насилием, а учение о новом понимании жизни, частью или, скорее, приложением которого к общественной жизни и было учение о средстве уничтожения борьбы между всеми людьми не тем, чтобы обязать только одну часть людей без борьбы покоряться тому, что известными авторитетами будет предписано им, а тем, чтобы никому, следовательно и тем (и преимущественно тем), которые властвуют, не употреблять насилия ни против кого ни в каком случае.

Учение это было принято тогда только самым малым числом учеников, большинство же людей, в особенности все те, которые властвовали над людьми, и после номинального принятия христианства продолжало для себя держаться правила противления насилием тому, что ими считалось злом. Так щло это при римских и византийских императорах, так продолжалось это и после.

Несостоятельность принципа авторитетного определения того, чтб есть зло, и противления ему насилием, уже очевидная в первые века христианства, стала еще очевиднее при разложении Римской империи на многие равноправные государства, при их вражде между собою и при внутренней борьбе, происходившей в государствах. ’

Но люди не были готовы для принятия решения, данного Христом, и прежнее средство определения зла, которому надо противиться посредством установления обязательных для всех законов, приводившихся в исполнение силою, продолжало прилагаться. Ре- шителем того, что должно было считать злом и чему противиться насилием, был то папа, то император, то король, то собрание выбранных, то весь народ. Но как внутри, так и вне государства всегда находились люди, не признававшие для себя обязательными ни постановлений, выдаваемых за веление божества, ни постановлений людей, облеченных святостью, ни учреждений, долженствовавших представлять волю народа; и люди, которые считали добром то, что существующие власти считали злом, и таким же насилием, которое употреблялось против них, боролись против властей.

Люди, облеченные святостью, считали злом то, что люди и учреждения, облеченные светской властью, считали добром,, и наоборот; и борьба становилась всё жесточе и жесточе. И чем дальще держались люди такого способа разрешения борьбы, тем очевиднее

становилось, что этот способ не годится, потому что нет и не может быть такого внешнего авторитета определения зла, который признавался бы всеми.

Так продолжалось 18 веков и дошло до того, до чего дошло теперь,– до совершенной очевидности того, что внешнего обязательного для всех определения зла нет и не может быть. Дошло до того, что люди перестали не только верить в возможность отыскания этого общего, обязательного для всех определения, но перестали верить даже в необходимость выставления такого определения. Дошло до того, что люди, имеющие власть, перестали уже доказывать то, что они считают злом, есть зло, но прямо стали говорить, что они считают злом то, что им не нравится, а люди, повинующиеся власти, стали повиноваться ей не потому уже, что верят, что определения зла, даваемые этой властью, справедливы, а только потому, что они не могут не повиноваться. Не потому присоединена Ницца к Франции, Лотарингия к Германии, Чехия к Австралии; не потому раздроблена Польша; не потому Ирландия и Индия подчиняются английскому правлению; не потому воюют с Китаем и убивают африканцев, не потому американцы изгоняют китайцев, а русские теснят евреев; не потому землевладельцы пользуются землей, которую они не обрабатывают, и капиталисты произведениями труда, совершаемого другими, что это – добро, нужно и полезно людям и что противное этому есть зло, а только потому, что те, кто имеет власть, хотят, чтобы это так было. Сделалось то, что есть теперь: одни люди совершают насилия уже не во имя противодействия злу, а во имя своей выгоды или прихоти, а другие люди подчиняются насилию не потому, что они считают, как это предполагалось прежде, что насилие делается над ними во имя избавления их от зла и для их добра, а только потому, что они не могут избавиться от насилия.

Если римлянин, средневековый, наш русский человек, каким я помню его за 50 лет тому назад, был несомненно убежден в том, что существующее насилие власти необходимо нужно для избавления его от зла, что подати, поборы, крепостное право, тюрьмы, плети, кнуты, каторги, казни, солдатство, войны так и должны быть,– то ведь теперь редко уже найдешь человека, который бы не только верил, что все совершающиеся насилия избавляют кого-нибудь от какого-нибудь зла, но который не видел бы ясно, что большинство тех насилий, которым он подлежит и в которых отчасти принимает участие, суть сами по себе большое и бесполезное зло.

Нет теперь человека, который бы не видел не только бесполезности, но и нелепости собирания податей с трудового народа для обогащения праздных чиновников или бессмысленности наложения наказаний на развращенных и слабых людей в виде ссылок из одно

го места в другое или в виде заключения в тюрьмы, где они, живя в обеспечении и праздности, только еще больше развращаются и ослабевают, или не только уже бесполезности и нелепости, но прямо безумия и жестокости военных приготовлений и войн, разоряющих и губящих народ и не имеющих никакого объяснения и оправдания, а между тем эти насилия продолжаются и даже поддерживаются теми самыми людьми, которые видят их бесполезность, нелепость, жестокость и страдают от них.

Ведь если 50 лет тому назад богатый, праздный и рабочий, безграмотный человек оба одинаково были уверены, что их положение вечного праздника для одних и вечного труда для других определено самим Богом, то теперь уже не только в Европе, но и в России, благодаря передвижениям населения, распространению грамотности и книгопечатанию, трудно найти из богачей и из бедняков такого человека, в которого бы не запало с той или другой стороны сомнение в справедливости такого порядка. Не только богачи знают, что они виноваты уже одним тем, что богаты, и стараются искупить свою вину, как прежде искупали грехи жертвами на церкви, жертвами на науку или искусство, но и ббльшая половина рабочего народа прямо признает теперь существующий порядок ложным и подлежащим уничтожению или изменению. Одни люди, религиозные, каких у нас в России миллионы, так называемые сектанты, признают этот порядок ложным и подлежащим уничтожению на основании понятого в настоящем его смысле евангельского учения; другие считают его ложным на основании социалистических, коммунистических, анархических теорий, проникших теперь уже в низшие слои рабочего народа.

Насилие держится теперь уже не тем, что оно считается нужным, а только тем, что оно давно сушествует и так организовано людьми, которым оно выгодно, т. е. правительствами и правящими классами, что людям, которые находятся под их властью, нельзя вырваться из-под нее.

Правительства в наше время – все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные,– сделались тем, что так метко называл Герцен Чингис-ханом с телеграфами, т. е.-организациями насилия, не имеющими в своей основе ничего, кроме самого грубого произвола, и вместе с тем пользующимися всеми теми средствами, которые выработала наука для совокупной общественной мирной деятельности свободных и равноправных людей и которые они употребляют для порабощения и угнетения людей.

Правительства и правящие классы опираются теперь не на право, даже не на подобие справедливости, а на такую, с помощью усо- верщенствований науки, искусную организацию, при которой все

люди захвачены в круг насилия, из которого нет никакой возможности вырваться. Круг этот составляется теперь из четырех средств воздействия на людей. Средства эти все связаны между собою и поддерживаются одно другим, как звенья кольцом соединенной цепи.

Первое, самое старое средство есть средство устрашения. Средство это состоит в том, чтобы выставлять существующее государственное устройство (какое бы оно ни было – свободное республиканское или самое дикое деспотическое) чем-то священным и неизменным и потому казнить самыми жестокими казнями все попытки изменения его. Средство это как употреблялось прежде, так употребляется и теперь неизменно везде, где есть правительства: в России против так называемых нигилистов, в Америке против анархистов, во Франции против империалистов, монархистов, коммунаров и анархистов. Железные дороги, телеграфы, телефоны, фотографии и усовершенствованный способ без убийства удаления людей навеки в одиночные заключения, где они, скрытые от людей, гибнут и забываются, и многие другие новейшие изобретения, которыми преимущественно перед другими пользуются правительства, дают им такую силу, что, если только раз власть попала в известные руки и полиция, явная и тайная, и администрация, и всякого рода прокуроры, тюремщики и палачи усердно работают, нет никакой возможности свергнуть правительство, как бы оно ни было безумно и жестоко.

Второе средство есть средство подкупа. Оно состоит в том, чтобы, отобрав от трудового рабочего народа посредством денежных податей его богатства, распределять эти богатства между чиновниками, обязанными за это вознаграждение поддерживать и усиливать порабощение народа.

Подкупленные чиновники эти от высших министров до низших писцов, составляя одну неразрывную сеть людей, связанных одним и тем же интересом кормления себя трудами народа, тем более обогащаемые, чем покорнее они исполняют волю правительств, всегда и везде, не останавливаясь ни перед какими средствами, во всех отраслях деятельности отстаивают словом и делом правительственное насилие, на котором и основано их благосостояние.

Третье средство есть то, что я не умею назвать иначе, как гипнотизация народа. Средство это состоит в том, чтобы задерживать духовное развитие людей и различными внушениями поддерживать их в отжитом уже человечеством понимании жизни, на котором и зиждется власть правительств. Гипнотизация эта в настоящее время организована самым сложным образом и, начиная свое воздействие с детского возраста, продолжается над людьми до их смерти.

Начинается эта гипнотизация с первого возраста в нарочно для того устроенных и обязательных школах, в которых внушают детям воззрения на мир, свойственные их предкам и прямо противореча- гции современному сознанию человечества. В странах, где есть государственная религия, детей обучают бессмысленным кощунствам церковных катехизисов, с указанием необходимости повиновения властям; в республиканских государствах их обучают дикому суеверию патриотизма и той же мнимой обязательности повиновения правительствам. В более взрослых годах гипнотизация эта продолжается над людьми поощрением и религиозного суеверия и патриотического. Религиозное суеверие поощряется устройством на собранные с народа средства храмов, процессий, памятников, празднеств с помощью живописи, архитектуры, музыки, благовоний, одуряющих народ, и, главное, содержанием так называемого духовенства, обязанность которого состоит в том, чтобы своими представлениями, пафосом служб, проповедей, своим вмешательством в частную жизнь людей – при родах, при браках, при смертях – отуманивать людей и держать их в постоянном состоянии одурения. Патриотическое суеверие поощряется устройством правительствами и правящими классами на собранные с народа средства общественных торжеств, зрелищ, памятников, празднеств, располагающих людей к признанию исключительной значительности одного своего народа и величия одного своего государства и правителей его и к недоброжелательству и даже ненависти к другим народам. При этом деспотическими правительствами прямо воспрещается печатание и распространение книг и произнесение речей, просвещающих народ, и ссылаются или запираются все люди, могущие пробудить народ от его усыпления; кроме того, всеми правительствами без исключения скрывается от народа всё, могущее освободить его, и поощряется всё, развращающее его, как-то: писательство, поддерживающее народ в его дикости религиозных и патриотических суеверий, всякого рода чувственные увеселения, зрелища, цирки, театры и всякие даже физические средства одурения, как-то: табак, водка, составляющие главный доход государств; поощряется даже проституция, которая не только признается, но организуется большинством правительств. Таково третье средство.

Четвертое средство состоит в том, чтобы посредством трех предшествующих средств выделять из всех таким образом закованных и одуренных людей еще некоторую часть людей для того, чтобы, подвергнув этих людей особенным, усиленным способам одурения и озверения, сделать из них безвольные орудия всех тех жестокостей и зверств, которые понадобятся правительству. Достигается это одурение и озверение тем, что людей этих берут в том юношеском

возрасте, когда в людях не успели еще твердо сложиться какие-либо ясные понятия о нравственности, и, удалив их от всех естественных человеческих условий жизни: дома, семьи, родины, разумного труда, запирают вместе в казармы, наряжают в особенное платье и заставляют их при воздействии криков, барабанов, музыки, блестящих предметов ежедневно делать известные, придуманные для этого движения и этими способами приводят их в такое состояние гипноза, при котором они уже перестают быть людьми, а становятся бессмысленными, покорными гипнотизатору мащинами. Эти-то загипнотизированные, физически сильные, молодые люди (теперь при общей воинской повинности все молодые люди), снабженные орудиями убийства, всегда покорные власти правительств и готовые по его приказанию на всякое насилие, и составляют четвертое и главное средство порабощения людей.

Этим средством замыкается круг насилия.

Устращение, подкуп, гипнотизация приводят людей к тому, что они идут в солдаты; солдаты же дают власть и возможность и казнить людей, и обирать их (подкупая на эти деньги чиновников), и гипнотизировать, и вербовать их в те самые солдаты, которые дают власть делать всё это.

Круг замкнут, и вырваться из него силой нет никакой возможности.

Если некоторые люди утверждают, что освобождение от насилия или хотя бы ослабление его может произойти вследствие того, что угнетенные люди, свергнув силою угнетающее правительство, заменят его новым, таким, при котором уже не будет нужного такого насилия и порабощения людей, и некоторые люди пытаются делать это, то эти люди только обманывают себя и других и этим не улучшают, а только ухудшают положение людей. Деятельность этих людей только усиливает деспотизм правительств. Попытки освобождения этих людей дают только удобный предлог правительствам для усиления своей власти и вызывают усиление ее.

Если даже и допустить то, что вследствие особенно невыгодно сложившихся для правительства обстоятельств, как, например, во Франции в 1870 году, какое-либо из правительств было бы свергнуто силою и власть перешла бы в другие руки, то эта новая власть ни в коем случае не была бы менее угнетательной, чем прежняя, а всегда, напротив, защищая себя от всех озлобленных свергнутых врагов, была бы более деспотична и жестока, чем прежняя, как это и было при всех революциях.

Если социалисты и коммунисты считают злом индивидуалистическое капиталистическое устройство общества, анархисты считают злом самое правительство, то есть и монархисты, консерваторы.

капиталисты, считающие злом социалистическое, коммунистическое устройство и анархию; и все эти партии не имеют иного, кроме насилия, средства соединить людей. Какая бы из этих партий ни восторжествовала, для введения в жизнь своих порядков, так же как и для удержания власти, она должна употребить не только все существующие средства насилия, но и придумать новые. Порабощены будут другие люди и людей будут принуждать к другому, но будет не только то же, но более жестокое насилие и порабощение, потому что вследствие борьбы усилится ненависть людей друг против друга и вместе с этим усилятся и выработаются новые средства порабощения.

Так всегда и было после всех революций и всех попыток революций, всех заговоров, всяких насильственных перемен правительств. Всякая борьба только усиливает средства порабощения тех, которые в данное время находятся во власти.

Положение людей нашего христианского мира и в особенности самые ходячие идеалы их с поразительной убедительностью доказывают это.

Остается теперь только одна область деятельности людской, не захваченная правительственной властью,– область семейная, экономическая, область частной жизни и труда. И эта область теперь, благодаря борьбе коммунистов и социалистов, уже понемногу захватывается правительствами, так что труд и отдых, помещение, одежда, пища людей, всё понемногу, если только исполнятся желания реформаторов, будет определяться и назначаться правительствами.

Весь длинный 1800-летний ход жизни христианских народов неизбежно привел их опять к обойденной ими необходимости решения вопроса принятия или непринятия учения Христа и вытекающего из него для общественной жизни решения вопроса о противлении или непротивлении злу насилием, но только с тою разницею, что прежде люди могли принять и не принять решение, данное христианством, теперь же это решение стало неизбежно, потому что оно одно избавляет их от того положения рабства, в котором они, как в тенетах, запутали сами себя.

Но не одна бедственность положения людей приводит их к этой необходимости.

Рядом с отрицательным доказательством ложности языческого устройства шло и положительное доказательство истинности христианского учения.

Недаром в продолжение 18 веков лучшие люди всего христианского человечества, внутренним, духовным путем познав истины учения, свидетельствовали о них перед людьми, несмотря ни на ка

кие угрозы, лишения, бедствия и мучения. Лучшие люди эти своим мученичеством запечатлевали истинность учения и передавали его массам.

Христианство проникало в сознание человечества не одним отрицательным путем доказательства невозможности продолжения языческой жизни, но и своим упрощением, уяснением, освобождением от примешавшихся к нему суеверий и распространением между всеми сословиями народа.

Восемнадцать веков исповедания христианства не прошли даром для людей, принявших его, хотя и внешним образом. Восемнадцать веков эти сделали то, что теперь люди, продолжая жить языческой жизнью, не соответствуюш,ей возрасту человечества, не только видят уже ясно всю бедственность того состояния, в котором они находятся, но в глубине души верят (только потому и живут, что верят) в то, что спасение от этого состояния только в исполнении христианского учения в его истинном значении. Как и когда совершится это спасение, все люди думают различно, соответственно своему умственному развитию и ходячим предрассудкам своей среды, но всякий человек нашего мира признает то, что спасение наше в исполнении христианского учения. Одни верующие люди, признающие христианское учение божественным, считают, что спасение наступит тогда, когда все люди поверят в Христа и приблизится второе пришествие; другие, также признающие божественность учения Христа, считают, что спасение это произойдет через церковь, которая, подчинив себе всех людей, воспитает в них христианские добродетели и преобразует их жизнь. Третьи, не признающие Христа Богом, считают, что спасение людей произойдет через медленный, постепенный прогресс, при котором основы жизни языческой заменятся понемногу основами свободы, равенства, братства, т. е. христианскими основами; четвертые, проповедующие общественное переустройство, считают, что спасение произойдет тогда, когда посредством насильственного переворота люди будут принуждены к общности имущества, отсутствию правительств, коллективному, а не индивидуальному труду, т. е. к осуществлению одной из сторон христианского учения.

Так или иначе, но все люди нашего времени в сознании своем не только отрицают существующий отживший языческий строй жизни, но и признают, часто сами не зная этого и считая себя врагами христианства, то, что спасение наше только в приложении к жизни христианского учения или части его в его истинном значении.

Христианство для большинства людей, как и сказал его учитель, не могло осуществиться сразу, а должно было разрастаться, как огромнейшее дерево, из мельчайшего зерна. И так оно и разрасталось

и разрослось теперь, если еще не в действительности, то в сознании людей нашего времени.

Теперь не одно меньшинство людей, всегда понимавших христианство внутренним путем, признает его в его истинном значении, но и всё то огромное большинство людей, кажущееся по своей общественной жизни столь далеко отстоящим от христианства.

Посмотрите на частную жизнь отдельных людей, прислушайтесь к тем оценкам поступков, которые люди делают, судя друг о друге, послушайте не только публичные проповеди и речи, но те наставления, которые дают родители и воспитатели своим воспитанникам, и вы увидите, что, как ни далека государственная, общественная, связанная насилием жизнь людей от осуществления христианских истин в частной жизни, хорошими всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются только христианские добродетели; дурными всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются антихристианские пороки. Лучшими людьми считаются те, которые самоотверженно посвящают свою жизнь на служение человечеству и жертвуют собой для других; худшими считаются себялюбивые, пользующиеся для своих личных выгод бедствиями ближних.

Если признаются еще некоторыми нетронутыми христианством людьми идеалы нехристианские: сила, храбрость, богатство, то это идеалы, переживаемые и разделяемые не всеми и не людьми, признаваемыми лучшими. Всеми же разделяемых, всегда признаваемых обязательными для всех других идеалов, кроме христианских, нет.

Положение нашего христианского человечества, если посмотреть на него извне, с своей жестокостью и своим рабством людей, действительно ужасно. Но если посмотреть на него со стороны его сознания, то зрелище представляется совершенно другое.

Всё зло нашей жизни как будто существует только потому, что оно давно делалось, и люди, которые делают его, не успели, не научились еще перестать это делать, но все они не желают делать его.

Всё это зло существует по какой-то другой, как будто не зависимой от сознания людей, причине.

Как ни странно и ни противоречиво это кажется, все люди нашего времени ненавидят тот самый порядок вещей, который они сами же поддерживают.

Кажется, Макс Мюллер рассказывает про удивление одного индейца, обращенного в христианство, который, усвоив сущность христианского учения, приехал в Европу и увидал жизнь христиан. Человек этот не мог прийти в себя от удивления перед действительностью, совершенно противоположной той, которую он ожидал найти среди христианских народов.

Если мы не удивляемся на то противоречие между нашими верованиями, убеждениями и поступками, то это происходит только оттого, что влияния, скрывающие от людей это противоречие, действует и на нас. Стоит только взглянуть на нашу жизнь с точки зрения того индейца, который понял христианство в его истинном значении без всяких уступок и приспособлений, и на те дикие зверства, которыми наполнена наша жизнь, чтобы ужаснуться перед теми противоречиями, среди которых мы живем, часто не замечая их.

Стоит только вспомнить приготовления к войнам, картечницы, посеребренные пули, торпеды – и Красный Крест; устройство одиночных тюрем, опыты электрических казней – и заботы о благоденствии заключенных; филантропическую деятельность богачей – и их жизнь, производящую тех бедных, которых они благодетельствуют. И противоречия эти не происходят оттого, как это может показаться, что люди притворяются христианами, когда они язычники, а, напротив, оттого, что людям чего-то недостает или есть какая-то сила, которая мешает им быть тем, чем они уже чувствуют себя в своем сознании и чем они действительно хотят быть. Люди нашего времени не притворяются в том, что они ненавидят угнетение, неравенство, разделение людей и всякого рода жестокость не только к людям, но даже к животным, – они действительно ненавидят всё это, но не зНают, как уничтожить это, или не решаются расстаться с тем, что поддерживает всё это и кажется им необходимым.

В самом деле, спросите порознь каждого человека нашего времени о том, считает ли он не только похвальным, но достойным человека нашего времени заниматься тем, чтобы, получая за это несоразмерное с трудами жалованье, собирать с народа – часто нищего – подати для того, чтобы на эти деньги строить пушки, торпеды и орудия убийства против людей, с которыми мы желаем быть в мире и которые этого же самого желают по отношению нас; или тем, чтобы опять за жалованье посвящать всю свою жизнь на устройство этих орудий убийства, или на то, чтобы самому готовиться к убийству и готовить к этому людей? И спросите, похвально ли, и достойно ли человека, и свойственно ли христианину заниматься тем, чтобы опять за деньги ловить несчастных, заблудших, часто безграмотных, пьяных людей за то, что они присваивают чужую собственность в гораздо меньших размерах, чем мы ее присваиваем, и убивают людей не так, как это нами принято делать, и за это сажать их в тюрьмы, мучить и убивать? И похвально ли, достойно ли человека и христианина опять за деньги проповедовать в народе вместо христианства заведомо нелепые и вредные суеверия? И похвально ли, достойно ли человека

отнимать у ближнего для своей прихоти то, что необходимо ему для удовлетворения его первых потребностей, как это делают большие землевладельцы; или заставлять его нести сверхсильный, губящий жизнь труд для увеличения своих богатств, как это делают заводчики, фабриканты; или пользоваться нуждою людей для увеличения своих богатств, как это делают купцы? И всякий порознь, в особенности если один будет говорить про другого, скажет, что нет. И вместе с тем тот же самый человек, который видит всю гнусность этих поступков, сам, никем не принуждаемый, даже иногда и без денежной выгоды жалованья, сам, произвольно, из-за детского тщеславия, из-за фарфоровой побрякушки, ленточки, галунчика, которые ему позволят надеть, сам произвольно идет в военную службу, в следователи, мировые судьи, министры, урядники, архиереи, дьячки, в должности, в которых ему необходимо делать все эти дела, постыдность и гнусность которых он не может не знать.

Знаю, что многие из этих людей будут с самоуверенностью доказывать, что они считают свое положение не только законным, но необходимым, будут в защиту свою говорить, что власти от Бога, что государственные должности необходимы для блага человечества, что богатство не противно христианству, что богатому юноше сказано отдать имение, только если он хочет быть совершен, что существующее теперь распределение богатств и торговля такими и должны быть и выгодны для всех и т. п. Но, как они ни стараются обмануть себя и других, все эти люди знают, что то, что они делают, противно всему тому, чему они верят, во имя чего они живут, и в глубине души, когда они остаются одни со своей совестью, им стыдно и больно вспомнить то, что они делают, особенно если гнусность их деятельности была указана им. Не может человек нашего времени, исповедуй он или не исповедуй божественности Христа, не знать, что участвовать в качестве ли царя, министра, губернатора, или урядника в том, чтобы продать у бедной семьи последнюю корову на подати для того, чтобы отдать эти деньги на пушки или на жалованье и пансионы роскошествующим, праздным и вредным чиновникам; или участвовать в том, чтобы посадить в тюрьму кормильца семьи за то, что мы сами развратили его, и пустить семью его по миру; или участвовать в грабежах и убийствах войн; или во внушении вместо Христова закона диких идолопоклоннических суеверий; или загнать забежавшую на свою землю корову человека, у которого нет земли; или с человека, работающего на фабрике, вычесть за нечаянно испорченный предмет; или содрать вдвое за предмет с бедного только потому, что он в крайней нужде; не может не знать ни один человек нашего времени, что все эти дела – сквер

ные, постыдные и что делать их не надо. И все они знают это; все они знают, что то, что они делают, дурно, и ни за что бы не стали делать этого, если бы были в состоянии противиться тем силам, которые, закрывая их глаза на преступность их поступков, влекут их к совершению их.

Ни на чем так поразительно не видна та степень противоречия, до которой дошла жизнь людей нашего времени, как на том самом явлении, которое составляет последнее и средство и выражение насилия,– на общей воинской повинности.

Ведь только оттого, что это состояние всеобщего вооружения и воинской повинности наступило шаг за шагом, незаметно и что для поддержания его правительствами употребляются все находящиеся в их власти средства устрашения, подкупа, одурения и насилия, мы не видим вопиющего противоречия этого состояния с теми христианскими чувствами и мыслями, которыми действительно проникнуты все люди нашего времени.

Противоречие это стало нам так привычно, что мы и не видим всей ужасающей бессмыслицы и безнравственности поступков не только тех людей, которые по своей охоте избирают профессию убийства, как нечто почтенное, но и тех несчастных людей, которые соглашаются исполнять воинскую повинность, или хотя тех, которые в странах, где не введена воинская повинность, добровольно отдают свои труды на наем солдат и приготовления к убийству. Ведь все эти люди или христиане, или люди, исповедующие гуманность и либеральность, знают, что, совершая эти поступки, они становятся участниками, а при личной воинской повинности соверша- телями самых бессмысленных, бесцельных, жестоких убийств, и все-таки совершают их.

Но мало этого, в Германии, там, откуда и взялась общая воинская повинность, Каприви высказал то, что старательно скрывалось прежде, то, что люди, которых надо будет убивать, не одни иноземцы, но свои, те самые рабочие, из которых взято большинство солдат. И это признание не открыло глаза людям, не ужаснуло их. И после этого, как и прежде, они продолжают идти, как бараны, в ставку и подчиняться всему тому, что от них требуют.

Но мало и этого: недавно немецкий император еще точнее разъяснил значение и призвание воина, отличив, благодарив и наградив солдата за то, что он убил беззащитного узника, пытавшегося бежать. Благодаря и награждая человека за поступок, всегда людьми, стоящими на самой низкой степени нравственности, считающийся самым подлым и низким, Вильгельм показал, что главная и более всего ценимая властями обязанность солдата состоит в том, чтобы быть палачом, и не таким, как профессиональные палачи, убиваю

щие только приговоренных преступников, но быть палачом всех тех невинных, которых велят убивать начальники.

Но мало и этого; в 1891 году тот же Вильгельм, enfant terrible государственной власти, высказывающий то, что другие думают, разговаривая с какими-то солдатами, публично сказал следующее, и на другой день тысячи газет перепечатывают эти слова:

«Рекруты! – говорит он.– В виду алтаря и служителя Бога вы присягнули ***мне*** на верность. Вы еще слишком молоды, чтобы понять истинное значение всего сказанного здесь, но заботьтесь прежде всего о том, чтобы следовать всегда данным приказаниям и учениям. Вы присягнули ***мне*** на верность, это дети ***моей*** гвардии, значит, что вы теперь ***мои*** солдаты, что вы ***предали себя мне душой и телом.*** Для вас существует теперь один враг, а именно тот, кто ***мой*** враг. При теперешних социалистических происках ***может случиться, что я прикажу вам стрелять в ваших собственных родственников, братьев, даже родителей*** – от чего боже сохрани – ***и тогда вы обязаны беспрекословно исполнять мои приказы».***

Человек этот высказывает то, что знают, но старательно скрывают все умные правители. Он говорит прямо, что люди, служащие в войске, служат ***ему*** и ***его*** выгоде и должны быть готовы для ***его*** выгоды убивать своих братьев и отцов.

Он прямо, самым грубым словом выражает весь тот ужас преступления, к которому готовятся люди, поступающие в солдаты, всю ту пучину унижения, до которой они доходят, обещаясь в повиновении. Он, как смелый гипнотизер, пробует степень усыпления загипнотизированного: приставляет ему к телу раскаленное железо, тело шипит и дымит, но усыпленный не просыпается.

Жалкий, ошалевший от власти, больной человек этот своими словами оскорбляет всё, что может быть святого для человека нашего времени, и люди – христиане, либералы, образованные люди нашего времени, все, не только не возмущаются на это оскорбление, но даже не замечают его. Людям предлагается самое последнее, крайнее испытание в самой грубой, резкой форме. И люди как будто не замечают даже того, что это есть испытание, что им предстоит выбор. Им как будто кажется, что и нет никакого выбора и что есть только один путь рабской покорности. Казалось бы, безумные слова эти, оскорбляющие всё то, что человек нащего времени считает святым, должны бы возмутить людей, но ничего подобного не случается. Все молодые люди всей Европы год за год подвергаются этому испытанию и за самым малым исключением все отрекаются от всего, что есть и может быть святого для человека, все выражают готовность убить своих братьев, даже отцов по приказанию

первого заблудшего человека, наряженного в обшитую красным золотом ливрею, и только спрашивают, кого и когда им велят убивать. А они готовы.

Ведь у каждого дикого есть что-либо святое, за что он готов пострадать, но не уступить. Но где же это святое у человека нашего времени? Ему говорят: иди ко мне в рабство, в такое рабство, при котором придется убивать даже отца родного, и он, очень часто ученый, прошедший все науки в университете, покорно подставляет шею под хомут. Его наряжают в шутовской наряд, велят прыгать, кривляться, кланяться, убивать – он всё покорно делает. И когда его выпускают, он как встрепанный возвращается в прежнюю жизнь и продолжает толковать о достоинстве человека, свободе, равенстве и братстве.

«Да, но что же делать,– часто с искренним недоумением спрашивают люди.– Если бы все отказались, тогда бы так. А то что ж, я один пострадаю и никому и ничему не сделаю пользы».

И правда, человеку общественного жизнепонимания нельзя отказаться. Смысл его жизни – благо его личности. Для его личности ему лучще покориться, и он покоряется.

Что бы с ним ни делали, как бы ни мучили, как бы ни унижали его, он будет покоряться, потому что один он ничего не может сделать, у него нет той основы, во имя которой он мог бы противостоять насилию один. А соединиться им никогда не дадут те, которые управляют ими. Говорят часто, что изобретение страшных военных орудий убийства уничтожит войну; война уничтожит сама себя. Это неправда. Как можно увеличивать средства избиения людей, так можно увеличивать средства приведения к покорности людей общественного жизнепонимания. Пускай их бьют тысячами, миллионами, разрывают на части,– они все-таки одни, как бессмысленная скотина, будут идти на бойню, потому что их подгоняют хлыстом; другие будут идти потому, что им за это позволяют надеть ленточки и галунчики, и будут даже гордиться этим.

И тут-то с составом людей, одуренных до того, что они обещаются убивать своих родителей, общественные деятели – консерваторы, либералы, социалисты, анархисты – толкуют о том, как устроить разумное и нравственное общество. Да какое же разумное и нравственное общество можно устроить из таких людей? Как из гнилых и кривых бревен, как ни перекладывай их, нельзя построить дома, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов. Так оно и есть.

И вот, с одной стороны, люди, христиане по имени, исповедующие свободу, равенство, братство, рядом с этим готовы во имя свободы к

самой рабской, униженной покорности, во имя равенства к самым резким и бессмысленным, только по внешним признакам, разделениям людей на высших, низших, своих союзников и врагов, и во имя братства – готовы убивать этих братьев*.

Противоречия сознания и вследствие этого бедственность жизни дошли до последней степени, дальше которой идти некуда. Жизнь, построенная на началах насилия, дошла до отрицания тех самых основ, во имя которых она была учреждена. Устройство общества на началах насилия, имевшее целью обеспечение блага личного, семейного и общественного, привело людей к полному отрицанию и уничтожению этих благ.

Первая часть пророчества совершилась над людьми и поколениями их, не принявшими учения, и потомки их приведены теперь к необходимости испытать справедливость второй части его.

IX

Положение народов христианских в наше время осталось столь же жестоким, каким оно было во времена язычества. Во многих отношениях, в особенности в порабощении людей, оно стало даже более жестоким, чем было во времена язычества.

Но между положением людей в то время и в наше время та же разница, какая бывает для растений между последними днями осени и первыми днями весны. Там, в осенней природе, внешняя безжизненность соответствует внутреннему состоянию замирания; здесь же, весною, внешняя безжизненность находится в самом резком противоречии с состоянием внутреннего оживления и перехода к новой форме жизни.

То же и в том внешнем сходстве прежней языческой жизни с теперешней. Сходство это только внешнее: внутреннее состояние людей во времена язычества и в наше время совершенно различно.

Там внешнее состояние жестокости и рабства людей было в полном согласии с внутренним сознанием людей, и каждый шаг вперед увеличивал это согласие; здесь же внешнее состояние жестокости и рабства находится в полном противоречии с христианским сознанием людей, и каждый шаг вперед только увеличивает это противоречие.

*** То, что .у некоторых народов, у англичан и американцев, нет еще общей воинской повинности (хотя у них уже раздаются голоса в пользу ее), а вербовка и наем солдат, то это нисколько не изменяет положения рабства граждан по отношению правительств. Там каждый сам должен идти и убивать и быть убитым, здесь каждый должен отдавать свои труды на наем и приготовление убийц.** *Примеч. Л. Н. Толстого.*

Происходят как бы ненужные, бесполезные страдания. Происходит нечто подобное родам. Всё готово для новой жизни, но жизнь эта всё еще не появляется.

Положение кажется безвыходным. И оно было бы таковым, если бы человеку, а потому и всем людям, не была дана возможность иного, высшего понимания жизни, сразу освобождающего его от всех тех уз, которые, казалось, неразрывно связывали его.

И таково то, указанное еще 1800 лет тому назад человечеству, христианское понимание жизни.

Стоит человеку усвоить это жизнепонимание для того, чтобы сами собой распались те цепи, которые, казалось, так неразрывно сковывали его, и чтобы он почувствовал себя совершенно свободным, вроде того, как почувствовала бы себя свободной птица в загороженном кругом месте, когда бы она раскрыла свои крылья.

Говорят об освобождении христианской церкви от государства, о даровании или недаровании свободы христианам. В этих мыслях и выражениях-есть какое-то странное недоразумение. Свобода не может быть дарована или отнята у христианина или христиан. Свобода есть неотъемлемое свойство христианина.

Если же говорится о даровании или отнятии свободы от христиан, то, очевидно, говорится не о действительных христианах, а о людях, только называющих себя христианами. Христианин не может не быть свободен потому, что достижение поставленной им для себя цели никем и ничем не может быть воспрепятствовано или хотя бы задержано.

Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать ее христианство, т. е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а тому, кто послал его в жизнь, понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или государства, а ничем не ограниченный закон того, от кого он исшел, чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо.

Стоит человеку понять, что цель его жизни есть исполнение закона Бога, для того чтоб этот закон, заменив для него все другие законы и подчинив его себе, этим самым подчинением лишил бы в его глазах все человеческие законы их обязательности и стеснительности.

Христианин освобождается от всякой человеческой власти тем, что считает для своей жизни и жизни других божеский закон любви, вложенный в душу каждого человека и приведенный к сознанию Христом, единственным руководителем жизни своей и других людей.

Христианин может подвергаться внешнему насилию, может быть лишен телесной свободы, может быть не свободен от своих страстей (делающий грех есть раб греха), но не может быть не свободен в том смысле, чтобы быть принужденным какою-либо опасностью или какою-либо внешнею угрозою к совершению поступка, противного своему сознанию.

Он не может быть принужден к этому потому, что составляющие могущественное орудие против людей общественного жизнепонимания, лишения и страдания, производимые насилием, не имеют для него никакой принудительной силы. Лишения и страдания, отнимающие у людей общественного жизнепонимания то благо, для которого они живут, не только не могут нарушить блага христианина, состоящего в сознании исполнения воли Бога, но только могут усилить его, когда они постигают его за исполнение этой воли.

И потому христианин, подчиняясь одному внутреннему, божественному закону, не только не может исполнять предписания внешнего закона, когда они не согласны с сознаваемым им божеским законом любви, как это бывает при правительственных требованиях, но не может признавать и обязательства повиновения кому и чему бы то ни было, не может признавать того, что называется подданством. Для христианина обещание подданства какому бы то ни было правительству,– тот самый акт, который считается основанием государственной жизни, есть прямое отречение от христианства, потому что человек безусловно вперед обещающийся подчиняться тем законам, которые составляют и будут составлять люди, этим обещанием самым положительным образом отрекается от христианства, состоящего в том, чтобы во всех случаях жизни подчиняться только сознаваемому им в себе божескому закону любви.

Можно было при языческом миросозерцании обещаться исполнять волю светских властей, не нарушая волю Бога, полагаемую в обрезании, субботе, определенной временной молитве, воздержании от известного рода пищи и т. п. Одно не противоречило другому. Но тем-то и отличается христианское исповедание от языческого, что оно требует от человека не известных внешних отрицательных действий, а ставит его в иное, чем прежде, отношение к людям, из которого могут вытекать самые разнообразные, не могущие быть вперед определенными поступки, и потому христианин не может обещаться не только исполнять чью-либо другую волю, не зная, в чем будут состоять требования этой воли, не может повиноваться изменяющимся законам человеческим, но не может и обещаться что-либо определенное делать в известное время или от чего-либо в известное время воздержаться, потому что он не может знать, чего и в какое время потребует от него христианский закон любви, под-

'чинение которому составляет смысл его жизни. Христианин, обещаясь вперед безусловно исполнять законы людей, этим обещанием заявил бы то, что внутренний закон божий не составляет уже для него единственный закон его жизни.

Христианину обещаться в повиновении людям или законам людским – всё равно что нанявшемуся к хозяину работнику обещаться вместе с тем исполнять всё то, что ему прикажут еще и чужие люди. Нельзя служить двум господам.

Христианин освобождается от человеческой власти тем, что признает над собой одну власть Бога, закон которой, открытый ему Христом, он сознает в самом себе, и подчиняется только ей.

И освобождение это совершается не посредством борьбы, не разрушением существующих форм жизни, а только изменением понимания жизни. Освобождение происходит вследствие того, что, во-первых, христианин признает закон любви, открытый ему его учителем, совершенно достаточным для отношений людских и потому считает всякое насилие излишним и беззаконным, и, во-вторых, вследствие того, что те лишения, страдания, угрозы страданий и лишений, которыми общественный человек приводится к необходимости повиновения, для христианина, при его ином понимании жизни, представляются только неизбежными условиями существования, которые он, не борясь против них насилием, терпеливо переносит, как болезни, голод и всякие другие бедствия, но которые никак не могут служить руководством его поступков. Руководством поступков христианина служит только живущее в нем божественное начало, ничем не могущее быть стесненным или направленным.

Христианин поступает по слову пророчества, приложенного к его учителю: «Не воспрекословит, не возопиет и никто не слышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, ***доколе не доставит суду победы»*** (Мф. XII, 19–20).

Христианин ни с кем не спорит, ни на кого не нападает, ни против кого не употребляет насилия; напротив того, сам беспрекословно переносит насилие; но этим самым отношением к насилию не только сам освобождается, но и освобождает мир от всякой внешней власти.

«Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. VIII, 32). Если бы было сомнение в том, что христианство есть истина, то та полная свобода, ничем не могущая быть стесненной, которую испытывает человек, как скоро он усваивает христианское жизнепонимание, была бы несомненным доказательством его истинности.

Люди в теперешнем своем состоянии подобны отроившимся пчелам, висящим кучею на ветке. Положение пчел на ветке временное и неизбежно должно быть изменено. Они должны подняться и найти себе новое жилище. Каждая из пчел знает это и желает переменить свое положение и положение других, но ни одна не может этого сделать до тех пор, пока не сделают этого остальные. Все же не могут вдруг подняться потому, что одна висит на другой и мешает ей отделиться от роя, и потому все продолжают висеть. Казалось бы, пчелам нет из этого положения никакого выхода, как это кажется людям мирским, запутавшимся в тенета общественного миросозерцания. Но выхода не было бы пчелам, если бы каждая из пчел не была отдельно живущим существом, одаренным крыльями. Не было бы выхода и людям, если бы каждый из них не был живым отдельным существом, одаренным способностью усвоения христианского жизнепонимания.

Если бы каждая пчела, та, которая может лететь, не полетела бы, никогда не тронулись бы и остальные и никогда рой не изменил бы своего положения. И если бы тот человек, который усвоил христианское жизнепонимание, не стал бы, не дожидаясь других, жить сообразно с этим пониманием, никогда бы человечество не изменило своего положения. И как стоит одной пчеле раскрыть крылья, подняться и полететь и за ней другой, третьей, десятой, сотой, для того чтобы висевшая неподвижно кучка стала бы свободно летящим роем пчел, так точно стоит только одному человеку понять жизнь так, как учит его понимать ее христианство, и начать жить так, и за ним сделать то же другому, третьему, сотому, для того чтобы разрушился тот заколдованный круг общественной жизни, из которого, казалось, не было выхода.

Но люди думают, что освобождение всех людей этим способом слишком медленно, что нужно найти и употребить другое такое средство, которым можно бы было освободить всех сразу. Вроде того, как если бы пчелы, желающие подняться и улететь, находили бы, что слищком долго дожидаться, пока поднимется весь рой по одной пчелке, а надо найти такое средство, при котором не нужно бы было каждой отдельной пчеле раскрыть крылья и полететь, а вместе с тем и рой полетел бы, куда ему надо. Но это невозможно: до тех пор, пока первая, вторая, третья, сотая пчела свободно не раскроет свои крылья и не полетит, не полетит и рой и не найдет новой жизни. Пока не усвоит каждый отдельный человек христианского жизнепонимания и не станет жить сообразно с ним, не разрешится противоречие жизни людской и не установится новой формы жизни.

Одно из поразительных явлений нашего времени это – та проповедь рабства, которая распространяется в массах не только правительствами, которым это нужно, но теми людьми, которые, проповедуя социалистические теории, считают себя поборниками свободы.

Люди эти проповедуют, что улучшение жизни, приведение действительности в согласие с сознанием произойдет не вследствие личных усилий отдельных людей, а само собой, вследствие известного, кем-то произведенного насильственного переустройства общества. Проповедуется то, что людям не надо идти самим своими ногами туда, куда они хотят и куда им нужно, но что под них подведется такой пол, по которому они, не идя своими ногами, придут туда, куда им нужно. И потому все усилия их должны быть направлены не на то, чтобы идти по мере сил туда, куда им нужно, а на то, чтобы, стоя на месте, устраивать этот воображаемый пол.

В экономическом отношении проповедуется теория, сущность которой в том, что чем хуже, тем лучше, что чем больше будет скопление капитала и потому угнетения рабочего, тем ближе освобождение, и потому всякое личное усилие человека освободиться от давления капитала бесполезно; в государственном отношении проповедуется, что чем больше будет власть государства, которая должна по этой теории захватить не захваченную еще теперь область частной жизни, тем это будет лучше, и что потому надо призывать вмешательство правительств в частную жизнь; в политических и международных отношениях проповедуется то, что увеличение средств истребления, увеличение войск приведут к необходимости разоружения посредством конгрессов, арбитраций и т. п. И удивительное дело, косность людей так велика, что люди верят этим теориям, несмотря на то, что весь ход жизни, каждый шаг вперед обличает неверность их.

Люди страдают от угнетения, и для избавления их от этого угнетения советуется людям придумывать общие средства улучшения своего положения, которые будут приложены властью, самим же продолжать подчиняться власти. И, очевидно, вследствие этого происходит только всё ббльшее увеличение власти и вследствие того увеличение угнетения.

Ни одно из заблуждений людей не удаляет их столько от той цели, к которой они стремятся, как именно это. Люди для достижения поставленной себе цели делают всякие, самые разнообразные дела, но только не то одно, простое и прямое дело, которое предстоит каждому. Люди придумывают самые хитрые способы изменения того положения, которое тяготит их, но только не тот самый

простой, чтобы каждому не делать того самого, что и производит это положение.

Мне рассказывали случай, происшедший с храбрым становым, который, приехав в деревню, где бунтовали крестьяне и куда были вызваны войска, взялся усмирить бунт в духе Николая I, один, своим личным влиянием. Он велел привезти несколько возов розог и, собрав всех мужиков в ригу, с ними вместе вошел туда, заперся и так напугал сначала мужиков своим криком, что они, повинуясь ему, стали по его приказанию сечь друг друга. И так они секли друг друга до тех пор, пока не нашелся один дурачок, который не дался сам и закричал товарищам, чтобы они не секли друг друга. Только тогда прекратилось сечение, и становой убежал из риги. Вот этому- то совету дурачка никак не могут последовать общественные люди, которые, не переставая, секут сами себя и этому самосечению учат людей как последнему слову мудрости человеческой.

В самом деле, можно ли представить себе более поразительный пример того, как люди сами секут себя, чем та покорность, с которой люди нашего времени исполняют возлагаемые на них те самые обязанности, которые приводят их в рабство, в особенности воинскую повинность. Люди, очевидно, порабощают сами себя, страдают от этого рабства и верят тому, что это так и надо, что это ничего и не мешает освобождению людей, которое готовится где-то и как-то, несмотря на всё увеличивающееся и увеличивающееся рабство.

В самом деле, живет человек нашего времени – кто бы он ни был (я не говорю про истинного христианина, а про рядового человека нашего времени), образованный или необразованный, верующий или неверующий, богатый или бедный, семейный или несемейный. Живет такой человек нашего времени, работая свою работу или веселясь своими весельями, потребляя плоды своих или чужих трудов для себя и для близких, как и все люди, ненавидя всякого рода стеснения и лишения, вражду и страдания. Живет спокойно такой человек: вдруг к нему приходят люди и говорят ему: во-1-х, обещайся и поклянись нам, что ты будешь рабски повиноваться нам во всем том, что мы предпишем тебе, и будешь считать несомненной истиной и подчиняться всему тому, что мы придумаем, решим и назовем законом; во-вторых, отдай часть твоих трудов в наше распоряжение; мы будем употреблять эти деньги на то, чтобы держать тебя в рабстве и помешать тебе противиться насилием нашим распоряжениям; в-3-х, избирай и сам избирайся в мнимые участники правительства, зная при этом, что управление будет происходить совершенно независимо от тех глупых речей, которые ты будешь произносить с подобными тебе, и будет происходить по нашей воле,

по воле тех, в руках кого войско; в-четвертых, в известное время являйся в суд и участвуй во всех тех бессмысленных жестокостях, которые мы совершаем над заблудшими и развращенными нами же людьми, под видом тюремных заключений, изгнаний, одиночных заключений и казней. И, наконец, в-пятых, сверх всего этого, несмотря на то, что ты будешь находиться в самых дружественных сношениях с людьми других народов, будь готов тотчас же, когда мы тебе велим это, считать тех из этих людей, которых мы тебе укажем, своими врагами и содействовать лично или наймом разорению, ограблению, убийству их мужчин, жен, детей, стариков, а может быть, и твоих одноплеменников, может быть, и родителей, если это нам понадобится.

Казалось бы, что может ответить на такие требования всякий неодуренный человек нашего времени?

«Да зачем же я буду делать всё это,– казалось бы, с удивлением должен сказать всякий душевно здоровый человек.– Зачем я буду обещаться повиноваться всему тому, что мне велят нынче Са- лисбюри, завтра Гладстон, нынче Буланже, завтра палата из таких же Буланже, нынче Петр III, завтра Екатерина, послезавтра Пугачев, нынче баварский сумасшедший король, завтра Вильгельм? Зачем я буду обещаться повиноваться им, зная их за дурных или же пустых людей или вовсе не зная их? Зачем я буду под видом подати отдавать им плоды своих трудов, зная, что деньги употребляются на подкуп чиновников, тюрьмы, церкви, войска, на дурные дела и на мое же порабощение, зачем я буду сечь сам себя? Зачем я пойду, теряя свое время и отводя себе глаза и придавая насильникам подобие законности, участвовать в выборах и притворяться, что я участвую в управлении, когда я знаю очень хорошо, что управление государством в руках тех, в руках кого войско? Зачем я пойду в судах участвовать в истязаниях и казнях людей за то, что они заблуждаются, зная, если я христианин, что закон мести заменен законом любви, и, если я образованный человек, то, что наказания не улучшают, а только ухудшают людей, которых им подвергают? И зачем, главное, я из-за того только, что ключи от иерусалимского храма будут у того, а не у этого архиерея, что в Болгарии будет князем тот, а не этот немец, и что тюленей будут ловить английские, а не американские купцы, признаю врагами людей соседнего народа, с которыми я жил до сих пор и желаю жить в любви и согласии, и найму солдат или сам пойду убивать и разорять их и сам подвергнусь их нападению? И зачем, главное, буду содействовать лично ли, или наймом военной силы порабощению и убийству своих братьев и отцов? Зачем я буду сечь сам себя? Всё это мне не нужно, и всё это мне вредно, и всё это со всех сторон безнравст

венно, подло, скверно. Так зачем же я буду делать это? Если вы говорите, что без этого мне от кого-то будет худо, то, во-первых, ничего худого, как то худое, которое вы мне причиняете, если я послушаюсь вас, мне ни от кого не предвидится; во-вторых, мне совершенно ясно, что если мы сами не будем сечь себя, то и никто не будет сечь нас. Ведь правительство – это цари, министры, чиновники с перьями, которые меня ни к чему, как тот становой мужиков, принудить не могут: поведут меня насильно в суд, в тюрьму, на казнь не цари и чиновники с перьями, а те самые люди, которые находятся в таком же положении, как и я. А им так же бесполезно и вредно, и неприятно быть сеченными, как и мне, и потому, по всем вероятиям, если я им открою глаза, они не только не должны насиловать меня, но должны сделать то же, что и я.

В-третьих, если бы даже и случилось то, что мне пришлось бы пострадать за это, то и тогда мне выгоднее быть сосланным или запертым в тюрьму, отстаивая здравый смысл и добро – то, что, не нынче-завтра, то через очень короткое время, должно восторжествовать, чем пострадать за глупость и зло, которые нынче-завтра должны кончиться. И потому даже и в этом случае выгоднее рисковать тем, что меня сошлют, запрут в тюрьму и даже казнят, чем тем, что по моей же вине я проживу всю жизнь в рабстве у дурных людей, могу быть разорен вторгнувшимся неприятелем, им по-дурацки искалечен и убит, отстаивая пушку, или никому не нужный клочок земли, или глупую тряпку, называемую знаменем.

Я не хочу сечь сам себя и не буду. Мне незачем это делать. Делайте сами, коли вы этого хотите, а я не буду».

Казалось бы, не только религиозное или нравственное чувство, но самое простое рассуждение и расчет должны бы заставить каждого человека нашего времени ответить и поступить так. Но нет: люди общественного жизнепонимания находят, что поступать так не нужно и даже вредно для достижения цели освобождения людей от рабства, а надо продолжать, как те мужики станового, сечь друг друга, утешая себя тем, что то, что мы болтаем в палатах и на собраниях, составляем союзы рабочих, гуляем 1-го мая по улицам, делаем заговоры и исподтишка дразним правительство, которое сечет нас, что это сделает всё то, что мы, всё больше и больше закабаляя себя, очень скоро освободимся.

Ничто не мешает столько освобождению людей, сколько это удивительное заблуждение. Вместо того чтобы каждому человеку направить свои силы на освобождение самого себя, на изменение своего жизнепонимания, люди ищут внешнего совокупного средства освобождения и тем всё больше и больше заковывают себя.

Вроде как если бы люди утверждали, что для того, чтобы развести жар, нужно не то, чтобы разжечь каждый уголь, а то, чтобы расположить уголья известным образом.

А между тем то, что освобождение всех людей произойдет именно через освобождение отдельных лиц, становится в последнее время всё более и более очевидным. Освобождение отдельных лиц во имя христианского жизнепонимания от государственного порабощения, бывшее прежде исключительным и незаметным явлением, получило в последнее время угрожающее для государственной власти значение.

Если в прежнее время, во времена Рима, в Средние века, случалось, что христианин, исповедуя свое учение, отказывался от участия в жертвах, от поклонения императорам, богам, или в Средние века от поклонения иконам, от признания папской власти, то отрицания эти, во-первых, были случайны: человек мог быть поставлен в необходимость исповедания своей веры и мог прожить жизнь, не будучи поставлен в эту необходимость. Теперь же этим испытаниям веры подвергаются все люди без исключения. Всякий человек нашего времени поставлен в необходимость признать свое участие в жестокостях языческой жизни или отвергнуть ее. И, во-вторых, в те времена отказы от поклонения богам, иконам, папе составляли не существенные для государства явления: сколько бы людей поклонялось или не поклонялось богам или иконам, или папе, государство оставалось столь же сильно. Теперь же отказы от нехристианских требованиях правительств подрывают под корень самую государственную власть, потому что на исполнении этих нехристианских требований зиждется вся власть государства.

Мирские власти были ходом жизни приведены к тому положению, что для своего поддержания они должны требовать от всех людей таких поступков, которые не могут быть исполнены людьми, исповедующими истинное христианство.

И потому в наше время всякое исповедание отдельным человеком истинного христианства подрывает в самом существенном власть правительства и неизбежно влечет за собой освобождение всех.

Что, казалось бы, важного в таких явлениях, как отказы нескольких десятков шальных, как их называют, людей, которые не хотят присягать правительству, не хотят платить подати, участвовать в суде и в военной службе? Людей этих наказывают и удаляют, и жизнь идет по-старому. Казалось бы, нет ничего важного в этих явлениях, а между тем эти-то явления более всего другого подрывают власть государства и подготовляют освобождение людей. Это те отдельные пчелы, которые начинают отделяться от роя

и летают около, ожидая того, что не может задержаться,– чтобы весь рой поднялся за ними. И правительства знают это и боятся этих явлений больше всех социалистов, коммунистов, анархистов и их заговоров с динамитными бомбами.

Наступает новое царствование; по общему правилу и заведенному порядку требуется, чтобы все подданные присягнули новому правительству. Делается общее распоряжение. Призывают всех в собор для присяги. Вдруг один человек в Перми, другой в Туле, третий в Москве, четвертый в Калуге объявляют, что они присягать не будут, и объясняют свой отказ все, не сговариваясь между собой, одним и тем же, тем, что по христианскому закону клятва запрещена, но что если бы клятва и не была запрещена, то они по духу христианского закона не могут обещаться совершать те дурные поступки, которые требуются от них в присяге, как-то: доносить на всех тех, которые будут нарушать интересы правительства, защищать с оружием в руках свое правительство или нападать на врагов его. Их призывают к становым, исправникам, священникам, губернаторам, увещевают, упрашивают, угрожают и наказывают, но они остаются при своем решении и не присягают. И среди миллионов присягавших живут десятки не присягавших. И их спрашивают:

— Как же вы не присягали?

— Так и не присягали.

— И что же, ничего?

— Ничего.

Подданные государства обязаны все платить подати. И все платят, но один человек в Харькове, другой в Твери, третий в Самаре отказываются платить подать, говоря все, как бы сговорившись, одно и то же. Один говорит, что он заплатит только тогда, когда ему скажут, на что пойдут отбираемые от него деньги. Если на добрые дела, говорит он, то он сам даст и больше того, что от него требуют. Если же на злые, то не даст добровольно ничего, потому что по закону Христа, которому он следует, он не может содействовать злым делам. То же, хотя и другими словами, говорят и другие и не дают добровольно подати. У тех, у которых есть что взять, отбирают насильно имущество; тех же, у которых нечего взять, оставляют в покое.

— Что же, так и не заплатил подать?

— Не заплатил.

— И что же, ничего?-

— Ничего.

Учреждены паспорты. Все, отлучающиеся от места жительства, обязаны брать их и платить за это пошлины. Вдруг в разных местах являются люди, которые говорят, что брать паспорты не нужно, что

не следует признавать свою зависимость от государства, живущего насилием, и люди эти не берут паспортов и не платят за них пошлину. И опять ничем нельзя заставить этих людей исполнять требуемое. Их запирают в остроги и опять выпускают, и люди живут без паспортов.

Все крестьяне обязаны исполнять полицейские должности сотских, десятских и т. п. Вдруг в Харькове крестьянин отказывается исполнять эту обязанность, объясняя свой отказ тем, что по тому христианскому закону, который он исповедует, он не может никого связывать, запирать, водить из места в место. То же заявляет крестьянин в Твери, в Тамбове. Крестьян ругают, бьют, сажают в заключение, но они остаются при своем решении и не исполняют противного своей вере. И их перестают выбирать в сотские, и опять ничего.

Все граждане должны участвовать в суде в качестве присяжных. Вдруг самые разнообразные люди: каретники, профессора, купцы, мужики, дворяне, как бы сговорившись, отказываются от этих обязанностей, и не по причинам, признаваемым законом, а потому, что самый суд, по их убеждению, есть дело незаконное, нехристианское, которое не должно существовать. Людей этих штрафуют, стараясь не дать им публично высказать мотивы отказа, и заменяют другими. Точно так же поступают и с теми, которые на тех же основаниях отказываются быть на суде свидетелями. И тоже ничего.

Все люди 21-го года обязаны брать жребий. Вдруг один молодой человек в Москве, другой в Твери, третий в Харькове, четвертый в Киеве как бы по предварительному уговору являются в присутствие и заявляют, что они ни присягать, ни служить не будут, потому что они христиане. Вот подробности одного из первых, с тех пор как отказы эти стали учащаться, случаев, который мне хорошо известен'. Во всех других случаях повторялось приблизительно то же. Молодой человек среднего образования отказывается в Московской думе. На слова его не обращают внимания и требуют, чтобы он, так же как и другие, произнес слова присяги. Он отказывается, указывая на определенное место Евангелия, запрещающее клятву. На его доводы не обращают внимания и требуют исполнения приказания, но он не исполняет его. Тогда предполагается, что он сектант и потому неправильно понимает христианство, т. е. не так, как понимают его оплачиваемые государством священники. И молодого человека под конвоем отправляют к священникам, чтобы вразумить его. Священники начинают вразумлять молодого человека, но убежде-

' Все подробности как этого случая, так и предшествующих, подлинны,— *При- меч. Л. Н. Толстого.*

ния их во имя Христа отказаться от Христа, очевидно, не действуют на молодого человека, и его возвращают опять в войско, объявляя его неисправимым. Молодой человек продолжает не присягать и открыто отказывается от исполнения военных обязанностей. Случай этот не предвиден законом. Допустить отказ от исполнения требований начальства нельзя, но и приравнять этот случай простому неповиновению тоже нельзя. По совещании между собой военные власти рещаются, чтобы избавиться от затруднительного молодого человека, признать его революционером и отсылают его под конвоем в управление тайной полиции. Полицейские и жандармы допра- щивают молодого человека, но всё, что он говорит, не подходит ни под одно из подлежащих их ведению преступлений, и нет никакой возможности обвинить его ни в революционных поступках, ни в заговорах, так как он объявляет, что он ничего не желает разрущать, а, напротив, отрицает всякое насилие и ничего не скрывает, а ищет случая говорить и делать то, что он говорит и делает, самым открытым образом. И жандармы, несмотря на отсутствие для них законов, так же как и духовенство, не находя никакого повода к обвинению молодого человека, возвращают его опять в войско. Опять совещаются начальники и рещают хотя и не присягавшего молодого человека принять и зачислить в солдаты. Его одевают, зачисляют и отправляют под стражею на место размещения войск. На месте размещения войск начальник части, в которую он поступает, опять требует от молодого человека исполнения военных обязанностей, и он опять отказывается повиноваться и при других солдатах высказывает причину своего отказа, говорит, что он, как христианин, не может добровольно готовиться к убийству, запрещенному еще законом Моисея.

Дело происходит в провинциальном городе. Случай вызывает интерес и даже сочувствие не только в посторонних, но и в офицерах, и потому начальники не решаются употребить обычную дисциплинарную меру за отказ в повиновении. Для приличия, однако, молодого человека запирают в тюрьму и пишут в высшее военное управление, спрашивая, что делать? С официальной точки зрения отказ от участия в военной службе, в которой служит сам царь и которая благословляется церковью, представляется сумасшествием, и потому из Петербурга пишут, что так как молодой человек должен быть не в своем рассудке, то, не употребляя еще против него крутых мер, отправить его для исследования его душевного здоровья и для излечения его в дом умалишенных. Его отправляют в надежде, что он там и останется, как десять лет тому назад было с отказавшимся в Твери от военной службы другим молодым человеком, которого мучили в сумасшедшем доме до тех пор, пока он по-

' корился. Но и эта мера не спасает военное начальство от неудобного молодого человека. Доктора свидетельствуют его, очень заинтересовываются им и, разумеется, не найдя в нем никаких признаков душевной болезни, возвращают опять в войско. Его принимают и, делая вид, что забыли про его отказ и мотивы его, ему опять предлагают идти на учение, и опять он при других солдатах отказывается и заявляет о причине своего отказа. Дело это всё больше и больше обращает на себя внимание и солдат и жителей города. Опять пищут в Петербург и оттуда выходит решение перевести молодого человека в войска, стоящие на окраинах, в места, где войска находятся на военном положении и где за отказ повиноваться можно расстрелять его, и где дело это может пройти незаметно, так как в далеком крае этом очень мало русских и христиан, а большинство инородцы и магометане. Так и делают. Молодого человека перечисляют в войска, стоящие в Закаспийском крае, и с преступниками отправляют к начальнику, известному своей решительностью и строгостью.

Во всё это время, при всех этих пересылках из места в место, с молодым человеком обращаются грубо, держат его в холоде, голоде и нечистоте и вообще всячески делают его жизнь мучительною. Но все эти истязания не заставляют его изменить своему решению. В Закаспийском крае, когда ему опять предлагают идти в караул с оружием, он опять отказывается повиноваться. Он не отказывается идти стоять подле стогов сена, куда его посылают, но отказывается взять оружие, объявляя, что он ни в каком случае ни против кого не будет употреблять насилие. Всё это происходит перед другими солдатами. Оставить такой отказ безнаказанно нельзя, и молодого человека отдают под суд за нарушение дисциплины. Происходит суд, и молодого человека приговаривают к заключению в военной тюрьме на два года. Опять по этапу с преступниками его пересылают на Кавказ и там заключают в тюрьму, где он подпадает под бесконтрольную власть тюремщика. Там его мучают полтора года, но он все-таки не изменяет своего решения не брать в руки оружия и всем тем, с кем ему приходится быть в сношениях, объясняет, почему он этого не делает, и в конце второго года его отпускают на свободу раньше срока, зачислив, противно закону, содержание в тюрьме за службу, желая только поскорее отделаться от него.

Точно так же, как этот молодой человек, как бы сговорившись, поступают и другие люди в разных концах России, и во всех этих случаях образ действия правительства тот же робкий, неопределенный и скрытный. Некоторых из таких людей отправляют в сумасшедшие дома, некоторых зачисляют в писаря и переводят на службу в Сибирь, некоторых в лесничие, некоторых запирают в тюрьмы,

некоторых штрафуют. И теперь несколько таких отказавшихся сидят по тюрьмам не за сущность дела – за отрицание законности действий правительства, а за неисполнение частных требований начальства. Так, недавно офицера запаса, не давшего сведения о своем местопребывании и заявившего о том, что он не будет более служить военным, оштрафовали за неисполнение распоряжений власти 30 рублями, которые он тоже отказался заплатить добровольно. Так, недавно несколько крестьян и солдат, отказавшихся участвовать в учении и брать в руки ружье, за неповиновение и возражение посадили под арест.

И случаи отказов этих от исполнения государственных требований, противных христианству, в особенности отказы от военной службы, совершаются в последнее время и не в одной России, а везде. Так, мне известно, что в Сербии люди из так называемой секты назаренов постоянно отказываются от военной службы и австрийское правительство уже несколько лет тщетно борется с ними, подвергая их тюремному заключению. В 1885 году отказов таких было 130. В Швейцарии, я знаю, что в 1890-х годах в Шиль- онском замке сидели люди за отказ от исполнения воинской повинности, не изменившие вследствие наказания своего решения. Такие же отказы были в Швеции, и точно так же отказывающиеся были заключены в тюрьмы, и правительство старательно скрывало эти случаи от народа. Были такие отказы и в Пруссии. Я знаю про унтер-офицера гвардии, который в 1891 году в Берлине объявил начальству, что он, как христианин, не будет продолжать службу и, несмотря на все увещания, угрозы и наказания, остался при своем решении. Во Франции, на юге ее, возникла в последнее время община людей, носящих название гинчистов, Hinschist (сведения эти взяты из «Peace Herold», 1891 г., июль), члены которой отказываются на основании христианского исповедания от исполнения воинской повинности и сначала зачислялись в госпитали, но теперь, по мере увеличения их, подвергаются наказаниям за неповиновение, но все-таки не берут в руки оружия.

Социалисты, коммунисты, анархисты с своими бомбами, бунтами и революциями далеко не так страшны правительствам, как эти разрозненные люди, с разных стран заявляющие свои отказы,– все на основании одного и того же всем знакомого учения. Всякое правительство знает, как и чем защищать себя от революционеров, и имеет на это средства и потому не боится этих внешних врагов. Но что делать правительствам против тех людей, которые обличают бесполезность, излишество и вредность всяких правительств и не борются с ними, а только не нуждаются в них, обходятся без них и потому не хотят участвовать в них?

Революционеры говорят: «Государственное устройство дурно тем-то и тем-то, нужно разрушить его и заменить таким-то и таким- то». Христианин же говорит: «Я ничего не знаю про государственное устройство, про то, насколько оно хорошо или дурно, и не желаю разрушать его именно потому, что не знаю, хорошо ли оно, или дурно, но по этой-то самой причине и не желаю поддерживать его. И не только не желаю, но не могу, потому что то, что требуется от меня, противно моей совести».

Противны же совести христианина все обязанности государственные: и присяга, и подати, и суды, и войско. А на этих самых обязанностях зиждется вся власть государства.

Враги революционные извне борются с правительством. Христианство же вовсе не борется, но изнутри разрушает все основы правительства.

Среди русского народа, в котором, особенно со времени Петра I, никогда не прекращался протест христианства против государства, среди русского народа, в котором устройство жизни таково, что люди общинами уходят в Турцию, в Китай, в необитаемые земли и не только не нуждаются в правительстве, но смотрят на него всегда как на ненужную тяжесть и только переносят его как бедствие, будь оно турецкое, русское или китайское,– среди русского народа в последнее время стали всё чаще и чаще появляться случаи христианского сознательного освобождения отдельных лиц от подчинения себя правительству. И проявления эти особенно страшны правительству теперь тем, что отказывающиеся часто принадлежат не к так называемым низшим, необразованным сословиям, а к людям среднего и высшего образования, и тем, что люди эти объясняют свои отказы уже не какими-либо мистическими исключительными верованиями, как это было прежде, не соединяют их с какими-либо суевериями и изуверствами, как это делают самосожигатели или бегуны, а причинами своего отказа выставляют самые простые и ясные, всем доступные и всеми признаваемые истины.

Так, отказываются от добровольной уплаты податей, потому что подати употребляются на дела насилия: жалованье насильникам, военным, на устройство тюрем, крепостей, пушек, а они, как христиане, считают грешным и безнравственным участвовать в этих делах. Отказывающиеся от общей присяги отказываются потому, что обещаться в повиновении властям, т. е. людям, предающимся насилиям, противно смыслу христианского учения; отказываются от присяги в судах потому, что клятва прямо запрещена Евангелием. Отказываются от должностей полицейских, потому что при этих должностях приходится употреблять насилие против своих братьев и мучить их, а христианин не может делать этого. Отказы

ваются от участия в суде, потому что считают всякий суд исполнением закона мести, не совместимого с христианским законом прощения и любви. Отказываются от всякого участия в военных приготовлениях и в войске потому, что не хотят и не могут быть палачами и не хотят готовиться к палачеству.

Все мотивы этих отказов таковы, что, как бы самовластны ни были правительства, они не могут открыто наказывать за них. Для того, чтобы наказывать за такие отказы, надо бесповоротно самим правительствам отречься от разума и добра. А они уверяют людей, что властвуют только во имя разума и добра.

Что делать правительствам против этих людей?

В самом деле, правительства могут перебить, переказнить, перезапереть по тюрьмам и каторгам навечно всех своих врагов, желающих насилием свергнуть их; могут засыпать золотом половину людей, которые им нужны, и подкупить их; могут подчинить себе миллионы вооруженных людей, готовых погубить всех врагов правительств. Но что могут они сделать против людей, которые, не желая ничего ни разрущать, ни учреждать, желают только для себя, для своей жизни, не делать ничего противного христианскому закону и потому отказываются от исполнения самых общих и потому самых необходимых для правительств обязанностей?

Если бы это были революционеры, проповедующие насилие, убийство и совершающие эти дела, то противодействие им было бы легко: часть их подкупили бы, часть обманули, часть запугали бы; тех же, которых нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни запугать, выставили бы злодеями, врагами общества, казнили бы или заперли бы, и толпа одобрила бы действие правительства. Если бы это были какие-нибудь изуверы, проповедующие какую-нибудь особую веру, можно бы было, благодаря тем суевериям лжи, которые примешиваются ими к их учению, опровергнуть и то истинное, что они исповедуют. Но что делать с людьми, которые не проповедуют ни революции, ни каких-либо особенных религиозных догматов, а только потому, что они не желают делать никому зла, отказываются от присяги, уплаты податей, участия в суде, от военной службы, от таких обязанностей, на которых зиждется всё устройство государства? Что делать с такими людьми? Подкупить их нельзя: уже самый тот риск, на который они добровольно идут, показывает их бескорыстие. Обмануть тем, что этого требует Бог, тоже нельзя, потому что их отказ основан на ясном, несомненном законе Бога, исповедуемом и теми, которые хотят заставить людей действовать противно ему. Запугать угрозами еще менее можно, потому что лищения и страдания, которым они будут подвергнуты за их исповедание, только усиливают их желание исповедания, и в их законе прямо

сказано, что надо повиноваться Богу более, чем людям, и не надо бояться тех, которые могут погубить тело, а того, что может погубить и тело и душу. Казнить или навечно запереть их тоже нельзя. У людей этих есть прошедшее, друзья, образ мыслей и действий их известен, все их знают за кротких, добрых, смирных людей, и невозможно выставить их злодеями, которые должны быть устранены для спасения общества. А казнь людей, признаваемых всеми добрыми, вызовет защитников, разъяснителей отказа. А стоит только разъясниться причинам отказа, для того чтобы всем стало ясно, что те причины, по которым эти христиане отказываются от исполнения государственных требований, таковы же для всех других людей, и что всем давно уже надо бы делать то же.

Правительства перед отказами христиан находятся в отчаянном положении. Они видят, что пророчество христианства сбывается,– оно разрывает узы скованных и освобождает людей, находящихся в неволе, и видят, что это освобождение неизбежно должно уничтожить тех, которые держат других в неволе. Правительства видят это, знают, что часы их сочтены, и ничего не могут сделать. Всё, что они могут сделать для своего спасения, это только то, чтобы отсрочить час своей погибели. Они и делают это, но положение их все-таки отчаянное.

Положение правительств подобно положению завоевателя, который желает сохранить город, поджигаемый самими жителями. Только что он затушит пожар в одном месте, загорается в двух других; только что он уступает огню, отломает то, что загорелось, от большого здания,– загорается с двух концов и это здание. Загорания эти еще редки, но загораются они огнем, который, начавшись с искры, не остановится до тех пор, пока не сожжет всего.

И вот тут-то, когда правительства перед людьми, исповедующими христианство, находятся в таком беззащитном положении, и недостает только очень малого для того, чтобы рушилась вся эта кажущаяся столь могущественной и столькими веками воздвигавшаяся сила, тут-то общественные деятели проповедуют то, что не только не надо, но вредно, безнравственно даже каждому отдельно освобождаться от рабства. Вроде того, как если бы одни люди, чтобы освободить задержанную в реке воду, долго работая, прокопали бы уже всю канаву и им нужно бы было только открыть отверстие, чтобы вода сама устремилась и сделала остальное, и тут-то пришли бы другие люди и стали бы советовать, что гораздо лучше, вместо того чтобы спускать воду, устроить над рекой такую машину с черпаками, которые, вычерпывая воду с одной стороны, переливали бы ее с другой в тот же пруд.

Но дело зашло уже слишком далеко; правительства чувствуют уже свою беззащитность и слабость, и пробуждающиеся от усыпления люди христианского сознания уже начинают чувствовать свою силу.

«Огонь принес Я на землю,– сказал Христос,– и как томлюсь, когда он возгорится».

И огонь этот начинает возгораться.

X

Христианство в его истинном значении разрушает государство. Так оно было понято и с самого начала, за то был и распят Христос, и всегда так понималось людьми, не связанными необходимостью оправдания христианского государства. Только со времени принятия главами государств номинального внешнего христианства начали придумываться все те невозможные хитросплетенные теории, по которым христианство можно совместить с государством. Но для каждого искреннего и серьезного человека нашего времени не может не быть очевидной несовместимость истинного христианства – учения смирения, прощения обид, любви – с государством, с его величанием, насилиями, казнями и войнами. Исповедание истинного христианства не только исключает возможность признания государства, но и разрушает основы его.

Но если так, и справедливо то, что христианство несовместимо с государством, то, естественно, является вопрос: что нужнее для блага человечества, что больше обеспечивает благо людей: государственная форма жизни или разрушение и замена ее христианством?

Одни люди говорят, что нужнее для человечества государство, что уничтожение государственной формы повлекло бы за собой уничтожение всего того, что выработало человечество, что государство как было, так и продолжает быть единственной формой развития человечества и что всё то зло, которое мы видим среди народов, живущих в государственной форме, происходит не от этой формы, а от злоупотреблений, которые могут быть исправлены без уничтожения-, и что человечество, не нарушая государственной формы, может развиться и дойти до высокой степени благосостояния. И люди, думающие так, приводят в подтверждение своего мнения кажущиеся им неопровержимыми и философские, и исторические, и даже религиозные доводы. Но есть люди, полагающие обратное, именно то, что, так как было время, когда человечество жило без государственной формы, то форма эта временная, и должно наступить время, когда людям понадобится новая форма, и что время это наступило теперь. И люди, думающие так, приводят в

'подтверждение своего мнения кажущиеся им тоже неопровержимыми и философские, и исторические, и религиозные доводы.

Можно написать томы в защиту первого мнения (они уже и давно написаны и всё еще пишутся), но можно написать (и тоже, хотя и недавно, но много и блестяще написано) и многое против него.

И нельзя доказать ни того, как это утверждают защитники государства, что уничтожение государства повлечет за собой общественный хаос, взаимные грабежи, убийства и уничтожение всех общественных учреждений и возвращение человечества к варварству; ни того, как это утверждают противники государства, что люди уже стали настолько разумны и добры, что не грабят и не убивают друг друга, предпочитают мирное общение вражде, что сами без помощи государства учредят всё то, что им будет нужно, а что поэтому государство не только не содействует всему этому, а, напротив, под видом ограждения людей производит на них вредное и ожесточающее влияние. Нельзя доказать отвлеченными рассуждениями ни того, ни другого. Еще меньше можно доказать это опытом, так как вопрос состоит в том, следует или не следует делать опыт. Вопрос о том, наступило или не наступило время упразднения государства, был бы неразрешимым, если бы не существовал другой жизненный способ неоспоримого решения его.

Совершенно независимо от чьего бы то ни было суждения о том, созрели ли птенцы гнезда настолько, чтобы согнать наседку и выпустить из яиц птенцов, или еще не созрели для этого, неоспоримым решителем вопроса будут птенцы, когда они уже, не умещаясь более в яйцах, начнут пробивать их клювом и сами выходить из них.

То же с вопросом о том, наступило ли, или не наступило для людей время уничтожения государственной формы и замены ее новой. Если человек, вследствие выросшего в нем высшего сознания, не может уже более исполнять требований государства, не умещается уже более в нем и вместе с тем не нуждается более в ограждении государственной формой, то вопрос о том, созрели ли люди до отмены государственной формы, или не созрели, решается совсем с другой стороны и так же неоспоримо, как и для птенца, вылупившегося из яйца, в которое уже никакие силы мира не могут вернуть его,– самими людьми, выросшими уже из государства и никакими силами не могушими быть возвращенными в него.

«Очень может быть, что государство было нужно и теперь нужно для всех тех целей, которые вы приписываете ему,– говорит человек, усвоивший христианское жизнепонимание,– знаю только то, что, с одной стороны, *мне* не нужно более государство, с другой – я не могу более совершать те дела, которые нужны для существования государства. Устраивайте для себя то, что нужно вам

для вашей жизни, я не могу доказывать ни общей необходимости, ни общего вреда государства, я знаю только то, что мне нужно и не нужно, что мне можно и нельзя. Я знаю про себя, что *мне* не нужно отделение себя от других народов, и потому я не могу признавать своей исключительной принадлежности к какому-либо народу и государству и подданства какому-либо правительству; знаю про себя, что *мне* не нужны все те правительственные учреждения, которые устраиваются внутри государств, й потому я не могу, лишая людей, нуждающихся в моем труде, отдавать его в виде подати на ненужные мне и, сколько я знаю, вредные учреждения; я знаю про себя, что *мне* не нужны ни управления, ни суды, производимые насилием, и потому я не могу участвовать ни в том, ни в другом; я знаю про себя, что *мне* не нужно ни нападать на другие народы, убивая их, ни защищаться от них с оружием в руках, и потому я не могу участвовать в войнах и приготовлениях к ним. Очень может быть, что есть люди, которые не могут не считать всего этого нужным и необходимым, я не могу спорить с ними, я знаю только про себя, зато несомненно знаю, что мне этого не нужно и что я этого не могу делать. И не нужно это мне, и не могу я этого делать не потому, что мне, моей личности так хочется, а потому, что этого не хочет тот, кто послал меня в жизнь и дал мне несомненный закон для руководства в этой жизни».

Какие бы доводы ни приводили люди в пользу того, что вредно упразднить государственную власть и что упразднение это может породить бедствия, люди, выросшие уже из государственной формы, уже не могут вместиться в ней. И, сколько бы и какие бы доводы ни приводили человеку, выросшему из государственной формы, о необходимости ее, он не может вернуться к ней, не может принимать участия в делах, отрицаемых его сознанием, как не могут выросшие птенцы вернуться в скорлупу, из которой они выросли.

«Но если это и так,– говорят защитники существующего строя,– то все-таки упразднение государственного насилия возможно и желательно бы было тогда, когда бы все люди стали христианами. До тех же пор, пока этого нет, пока среди людей, только называющихся христианами, есть люди нехристиане, люди злые, для своей личной похоти готовые нанести вред другим, упразднение государственной власти не только не было бы благом для остальных людей, но только увеличило бы их бедствие. Упразднение государственной формы жизни нежелательно не только тогда, когда будет малая часть истинных христиан, но оно нежелательно даже тогда, когда все будут христианами, но в среде их или вокруг их, в других народах, останутся нехристиане, потому что нехристиане будут

безнаказанно грабить, насиловать, убивать христиан и сделают их жизнь мучительною. Будет только то, что злые будут безнаказанно властвовать над добрыми и насиловать их. И потому государственная власть не должна быть упразднена до тех пор, пока не уничтожатся все злые, хищные люди на свете. А так как этого, если не никогда, то еще долго не может быть, то, несмотря на попытки освобождения отдельных христиан от государственной власти, власть эта для большинства людей должна быть поддерживаема». Так говорят защитники государства. «Без государства злые насилуют добрых и властвуют над ними. Государственная же власть дает возможность добрым удерживать злых»,– говорят они.

Но, утверждая это, защитники существующего строя уже вперед рещают справедливость того положения, которое им нужно доказать. Говоря то, что без государственной власти злые властвовали бы над добрыми, они считают доказанным то, что добрые – это те самые, которые в настоящее время обладают властью, и злые – те самые, которые покоряются. Но ведь это-то самое и надо доказать. Ведь это было бы справедливо только тогда, когда бы в нашем мире происходило то, что хоть и не происходит, но предполагается в Китае, именно то, что властвуют всегда добрые и что, как скоро во главе правительства стоят не более добрые, чем те, над которыми они властвуют, то граждане обязаны свергать их. Так это предполагается в Китае, в действительности же этого нет и не может быть, потому что для того, чтобы свергнуть власть насилующего правительства, мало иметь на это право, надо иметь силу. Так что и в Китае это только предполагается. Но в нашем христианском мире это даже никогда и не предполагалось. В нашем мире нет даже никакого основания предполагать, чтобы властвовали более добрые или лучшие, а не те, которые захватывали власть и удерживали ее для себя и для своих наследников. Захватывать же и удерживать власть никак не могут более добрые.

Для того, чтобы приобрести власть и удерживать ее, нужно любить власть. Властолюбие же соединяется не с добротой, а с противоположными доброте качествами; с гордостью, хитростью, жестокостью.

Без возвеличивания себя и унижения других, без лицемерия, обманов, без тюрем, крепостей, казней, убийств не может ни возникнуть, ни держаться никакая власть.

«Если упразднить государственную власть, то более злые будут властвовать над менее злыми»,– говорят защитники государственности. Но если египтяне покорили евреев, персы покорили египтян, македоняне покорили персов, римляне покорили греков, варвары

покорили римлян, то неужели все те, которые покоряли, были более добры, чем те, кого они покоряли?

И точно так же в переходах власти в одном государстве от одних лиц к другим разве всегда власть переходила к более добрым? Когда свергнут был Людовик XVI и во власть вступил Робеспьер и потом Наполеон, кто властвовал? Более добрые или более злые? И когда властвовали более добрые; когда версальцы или коммунары были во власти? Или когда во главе правительства был Карл I или Кромвель? И когда царем был Петр III или когда его убили и царицей стала в одной части России Екатерина, а в другой – Пугачев. Кто тогда был злой, кто добрый?

Все люди, находящиеся во власти, утверждают, что их власть нужна для того, чтобы злые не насиловали добрых, подразумевая под этим то, что они-то и суть те самые добрые, которые ограждают других добрых от злых.

Но ведь властвовать значит насиловать, насиловать значит делать то, чего не хочет тот, над которым совершается насилие, и чего, наверное, для себя не желал бы тот, который совершает насилие; следовательно, властвовать значит делать другому то, чего мы не хотим, чтобы нам делали, т. е. делать злое.

Покоряться значит предпочитать терпение насилию. Предпочитать же терпение насилию значит быть добрым или хоть менее злым, чем те, которые делают другим то, что не желают себе.

И потому все вероятия за то, что властвовали всегда и теперь властвуют не более добрые, а, напротив, более злые, чем те, над которыми они властвуют. Могут быть злые и среди тех, которые подчиняются власти, но не может быть того, чтобы более добрые властвовали над более злыми.

Этого нельзя было предполагать при языческом неточном определении добра; при христианском же ясном и точном определении добра и зла этого уже никак нельзя думать. Если более или менее добрые, более или менее злые могут не различаться в языческом мире, то христианское понятие о добром и злом так ясно определило признаки добрых и злых, что их нельзя уже смешивать. По учению Христа, добрые – это те, которые смиряются, терпят, не противятся злу насилием, прощают обиды, любят врагов; злые – это те, которые величаются, властвуют, борются и насилуют людей, и потому, по учению Христа, нет сомнения о том, где добрые среди властвующих или покоряющихся и где злые среди покоряющихся или властвующих. Даже как-то смешно говорить о властвующих христианах.

Нехристиане, т. е. те, которые полагают свою жизнь в мирском благе, всегда и должны властвовать над христианами, теми, которые полагают свою жизнь в отречении от этих благ.

И так это всегда было и становилось всё определеннее и определеннее по мере распространения и уяснения христианского учения.

Чем более распространялось и входило в сознание людей истинное христианство, тем менее возможно было христианам быть среди властвующих и тем легче становилось нехристианам властвовать над христианами.

«Устранение государственного насилия в том случае, если в обществе не все люди стали истинными христианами, сделает только то, что злые будут властвовать над добрыми и безнаказанно насиловать их!» – говорят защитники существующего строя жизни.

«Злые будут властвовать над добрыми и насиловать их».

Да ведь другого никогда ничего не было и не может быть. Так всегда было с начала мира и так это до сих пор. ***Злые всегда властвуют над добрыми и всегда насилуют их.*** Каин насиловал Авеля, хитрый Иаков властвовал над доверчивым Исавом, обманувший его Лаван над Иаковом, Каиафа и Пилат властвовали над Христом, римские императоры властвовали над Сенеками, Эпиктетами и добрыми римлянами, жившими в их время. Иоанн IV с своими опричниками, пьяный сифилитик Петр со своими шутами, блудница Екатерина со своими любовниками властвовали над трудолюбивыми религиозными русскими людьми своего времени и насиловали их. Вильгельм властвует над немцами, Стамбулов над болгарами, русские чиновники над русским народом. Немцы властвовали над итальянцами, теперь властвуют над венгерцами и славянами; турки властвовали и властвуют над славянами и греками; англичане властвуют над индейцами, монголы над китайцами.

Так что будет или не будет упразднено государственное насилие, положение людей добрых, насилуемых людьми злыми, от этого не изменится.

Пугать людей тем, что злые будут властвовать над добрыми, никак нельзя, потому что то, чем пугают, есть то самое, что всегда было, и есть, и не может быть иначе.

Вся языческая история человечества состоит только из тех событий, посредством которых более злые захватывали власть над менее злыми и, захватив ее, жестокостями и хитростями поддерживали ее и, выставляя себя блюстителями справедливости, защитниками добрых от злых, властвовали над добрыми. Все перевороты в истории суть только захватывания власти более злыми и властвование над добрыми. То, что властвующие говорят, что если не было

бы их власти, то более злые стали бы насиловать добрых, означает только то, что насильники, находящиеся во власти, не хотят уступить этой власти другим насильникам, которые хотели бы отнять ее у них. Говоря же это, властвующие только обличают самих себя. Они говорят, что их власть, т. е. насилие, нужно для того, чтобы защищать людей от каких-то других или имеющих еще проявиться насильников'.

Тем-то и опасно употребление насилия, что как скоро оно употреблено, так все доводы, которые за себя приводят насильники, не только с тем же, но с ббльщим основанием могут быть приведены против них же. Они говорят о бывщем и чаще всего о воображаемом будущем насилии, а сами, не переставая, совершают действительное насилие. «Вы говорите, что люди прежде грабили и били, и вы боитесь, что ограбят и перебьют друг друга, если не будет ва- щей власти. Это может быть, может и не быть, но то, что вы губите тысячи людей в тюрьмах, каторгах, крепостях, ссылках, разоряете миллионы семей и губите в солдатстве физически и нравственно миллионы людей,– это не предполагаемое, а действительное насилие, против которого, по вашему же рассуждению, должно бороться насилием. И потому те злые, против которых, по вашему же рассуждению, несомненно нужно употреблять насилие,– это вы сами»,– должны сказать насильникам насилуемые люди. И люди нехристиане всегда и говорят, и думают, и поступают так. Если насилуемые более злы, чем те, которые насилуют их, то они нападают на них и стараются свергнуть и при удобных обстоятельствах свергают их, или, что самое обыкновенное, вступают в ряды насилующих и участвуют в их насилиях.

Так что то самое, чем защитники государственности пугают людей, тем, что если бы не было насилующей власти, то злые властвовали бы над добрыми, это-то самое, не переставая, совершалось и совершается в жизни человечества, а потому упразднение государственного насилия не может ни в каком случае быть причиною увеличения насилия злых над добрыми.

Если насилие правительственное уничтожится, то насилия будут совершаться, может быть, другими людьми, а не теми, которыми они совершались прежде; но сумма насилия ни в каком случае

‘ Поразительно в этом отношении до комизма наивное утверждение русских властей, насилующих чужие народности: поляков, остзейских немцев, евреев. Русское правительство душит своих подданных, веками не заботилось ни о малороссах в Польше, ни о латышах в остзейском крае, ни о русских мужиках, эксплуатируемых всеми возможными людьми, и вдруг оно становится защитником угнетенных от угнетателей, тех самых угнетателей, которых оно само угнетает. *Примеч. Л. Н. Толстого.*

не может увеличиться оттого, что власть перейдет от одних людей к другим.

«Государственное насилие может быть прекращено только тогда, когда уничтожатся злые люди среди общества»,– говорят защитники существующего строя, подразумевая под этим то, что так как злые люди всегда будут, то насилие никогда не прекратится. И это было бы справедливо, но только тогда, когда было бы то, что ими предполагается,– именно, что насилующие суть более добрые и что единственное средство избавления людей от зла есть насилие. Тогда, точно, насилие никогда не могло бы прекратиться. Но так как этого нет, а есть обратное, именно, что не более добрые насилуют злых, а более злые насилуют добрых и что кроме насилия, никогда не прекращающего зла, есть другое средство уничтожения насилия, то утверждение о том, что насилие никогда не прекратится, несправедливо. Насилие уменьщается и уменьшается и, очевидно, должно прекратиться, но не так, как представляют это себе некоторые защитники существующего строя, тем, что люди, подлежащие насилию, вследствие воздействия на них правительств, будут делаться всё лучше и лучше (вследствие этого они, напротив, становятся всегда хуже), а вследствие того, что так как все люди постоянно становятся лучше и лучше, то и наиболее злые люди, находящиеся во власти, становясь всё менее и менее злыми, сделаются уже настолько добры, что станут неспособны употреблять насилие.

Движение вперед человечества совершается не так, что лучшие элементы общества, захватив власть, употребляя насилие против тех людей, которые находятся в их власти, делают их лучшими, как это думают и консерваторы и революционеры, а совершается, во- первых, и главное, тем, что люди все вообще неуклонно и безостановочно, более и более сознательно усваивают христианское жизнепонимание, и, во-вторых, тем, что, даже независимо от сознательной духовной деятельности людей, люди бессознательно, вследствие самого процесса захватывания власти одними людьми и смены их другими, невольно приводятся к более христианскому отношению к жизни. Процесс этот совершается так, что худшие элементы общества, захвативши власть и находясь в обладании ею, под влиянием отрезвляющего свойства, всегда сопутствующего ей, становясь сами всё менее и менее жестокими, делаются неспособными употреблять жестокие формы насилия и вследствие того уступают свое место другим, над которыми совершается опять тот же процесс смягчения и, как бы сказать, бессознательного охристи- анения.

с людьми совершается нечто подобное процессу кипения. Все люди большинства нехристианского жизнепонимания стремятся к власти и борются, достигая ее. В борьбе этой наиболее жестокие, грубые, наименее христианские элементы общества, насилуя наиболее кротких, чутких к добру, наиболее христианских людей, выступают посредством своего насилия в верхние слои общества. И тут над людьми, находящимися в этом положении, совершается то, что предсказывал Христос, говоря: «Горе вам, богатым, пресыщенным, прославленным»; совершается то, что люди, находясь во власти и в обладании последствий власти – славы и богатства, доходя до известных различных, поставленных ими самими себе в своих желаниях целей, познают тщету их и возвращаются к тому положению, из которого вышли. Карл V, Иоанн IV, Александр I, познав всю тщету и зло власти, отказывались от нее, потому что видели уже всё зло ее и были не в силах спокойно пользоваться насилием как добрым делом, как они делали это прежде.

Но не одни Карлы и Александры проходят этот путь и признают тщету и зло власти: через этот бессознательный процесс смягчения проходит всякий человек, приобретший ту власть, к которой он стремился, всякий, не только министр, генерал, миллионер, купец, но столоначальник, добившийся места, которого он желал десять лет, всякий богатый мужик, отложивший одну-другую сотню рублей.

Через этот процесс проходят не только отдельные люди, но и совокупности людей, целые народы.

Соблазны власти и всего того, что она дает, и богатства, почестей, роскошной жизни, представляются достойной целью деятельности людей только до тех пор, пока она не достигнута, но тотчас, как скоро человек достигает их, обличают свою пустоту и теряют понемногу свою притягательную силу, как облака, которые имеют форму и красоту только издали: стоит только вступить в них, чтобы исчезло всё то, что казалось в них прекрасным.

Люди, овладевшие властью и богатством, иногда те самые, которые приобретали власть и богатство, большею же частью наследники их, перестают уже быть столь жадными к власти и жестокими к приобретению ее.

Изведав опытом, под влиянием христианского воздействия, тщету плодов насилия, люди иногда в одном, иногда через несколько поколений утрачивают те пороки, которые возбуждаются страстью к приобретению власти и богатства, и, становясь менее жестокими, не удерживают своего положения и вытесняются из власти другими, менее христианскими, более злыми людьми и возвращаются в низшие по положению, но высшие по нравственности слои обще

ства, увеличивая собой средний уровень христианского сознания всех людей. Но тотчас же после них опять худшие, грубейшие, менее христианские элементы общества поднимаются вверх, подвергаются вновь тому же процессу, как и их предшественники, и опять через одно или несколько поколений, изведав тщету плодов насилия и пропитавщись христианством, спускаются в среду насилуемых и опять заменяются новыми, менее грубыми, чем прежние, насильниками, но более грубыми, чем те, которых они насилуют. Так что, несмотря на то, что власть остается такою же, какою она была, по внещней форме, с каждой переменой людей, находящихся во власти, всё больще и больще увеличивается число людей, опытом жизни приводимых к необходимости усвоения христианского жизнепонимания, и с каждой переменой, хотя самые грубые и жестокие, менее христианские из всех и всё менее и менее грубые и жестокие и более христианские люди, чем прежде бывщие во власти, вступают в обладание властью.

Насилие выбирает и привлекает к себе худщие элементы общества, перерабатывает их и, улучщая и смягчая, возвращает их назад обществу.

Таков процесс, посредством которого христианство, несмотря на употребляемое государственной властью насилие, препятствующее движению вперед человечества, всё более и более охватывает людей. Христианство проникает в сознание людей не только несмотря на употребляемое властью насилие, но посредством его.

И потому утверждение защитников государственного строя о том, что если упразднить государственное насилие, то злые будут властвовать над добрыми, не только не доказывает того, чтобы это (властвование злых над добрыми) было опасно, так как это самое и происходит, но, напротив, доказывает то, что государственное насилие, дающее возможность злым властвовать над добрыми, и есть то зло, которое желательно уничтожить и которое постоянно уничтожается самою жизнью.

«Но если бы и было справедливо то, что государственное насилие прекратится тогда, когда обладающие властью настолько станут христианами, что сами откажутся от нее, и не найдется более людей, готовых занять их места, и справедливо, что процесс этот со- верщается,– говорят защитники существующего порядка,– то когда же это будет? Если прошло 1800 лет и всё еще так много охотников властвовать и так мало охотников подчиняться, то нет никакого вероятия, чтобы это не только случилось очень скоро, а случилось бы и когда-нибудь.

Если и есть, как и бывали прежде среди всех людей, такие, которые предпочитают отказ от власти пользованию ею, то запас лю-

деи, предпочитающих властвование подчинению, так велик, что трудно представить себе время, когда бы он мог истощиться.

Для того, чтобы произошел этот процесс охристианения всех людей, чтобы все люди одни за другими перешли от языческого жизнепонимания к христианскому и добровольно отказывались бы от власти и богатства и никто бы не желал пользоваться ими, нужно, чтобы не только переделались в христианство все те грубые, полудикие, совершенно не способные воспринять христианство и следовать ему, люди, которых всегда много среди каждого христианского общества, но и все дикие и вообще нехристианские народы, которых еще так много вне его. А потому, если и допустить даже, что процесс охристианения когда-нибудь совершится над всеми людьми, то, судя по тому, насколько подвинулось это дело в 1800 лет, это будет только через несколько раз 1800 лет, а потому и нельзя и незачем думать теперь о невозможном уничтожении власти, а нужно только стараться о том, чтобы власть эта была в наилучших руках».

Так возражают защитники существующего строя. И рассуждение это было бы совершенно справедливо, если бы переход людей от одного понимания жизни к другому совершался посредством только одного того процесса, при котором каждый человек отдельно и один за другим познает опытом тщету власти и внутренним путем постигает истины христианские.

Процесс этот совершается непрестанно, и люди один за другим переходят этим путем на сторону христианства.

Но переходят люди на сторону христианства не одним только этим внутренним способом, а еще и другим, внешним способом, при котором уничтожается постепенность этого перехода.

Переход людей от одного устройства жизни к другому совершается не постоянно так, как пересыпается песок в песочных часах: песчинка за песчинкой от первой до последней, а скорее так, как вливается вода в опущенный в воду сосуд, который сначала только одной стороной медленно и равномерно впускает в себя воду, а потом от тяжести уже влившейся в него воды вдруг быстро погружается и почти сразу принимает в себя всю ту воду, которую он может вместить.

То же происходит и с обществами людей при переходе от одного понимания, а потому и устройства жизни, к другому. Люди только сначала постепенно и равномерно один за другим воспринимают новую истину внутренним путем и следуют ей в жизни; при известном же распространении истины она усваивается ими уже не внутренним способом, не равномерно, а сразу, почти невольно.

и потому несправедливо рассуждение защитников существующего строя о том, что если в продолжение 1800 лет только малая часть людей перешла на сторону христианства, то нужно еще несколько раз 1800 лет до тех пор, пока все остальные люди перейдут на его сторону,– несправедливо оно потому, что при этом рассуждении не принимается во внимание другой, кроме внутреннего по- стигновения истины, способ усвоения людьми новой истины и перехода от одного склада жизни к другому.

Другой этот способ усвоения людьми новой открывшейся истины и переход к новому устройству жизни состоит в том, что люди усваивают истину не только потому, что они познают ее пророческим чувством или опытом жизни, а потому еще, что при известной степени распространения истины, люди, стоящие на низшей степени развития, принимают ее все сразу, по одному доверию к тем, которые приняли ее внутренним способом и прилагают ее к жизни.

Всякая новая истина, изменяющая склад человеческой жизни и двигающая вперед человечество, воспринимается сначала только самым малым количеством людей, понимающих ее внутренним путем. Остальные же люди, принявшие по доверию предшествующую истину, ту, на которой основан существующий строй, всегда противятся распространению новой истины.

Но так как, во-первых, люди не стоят на месте, а непрерывно движутся, всё более и более познавая истину и приближаясь к ней своею жизнью, и, во-вторых, все они по своему возрасту, воспитанию, породе расположены в постепенной градации от людей, наиболее способных понимать новые открывающиеся истины внутренним путем, до людей, наименее способных к этому, то люди, ближе других стоящие к тем, которые усвоили истину внутренним способом, одни за другими сначала через длинные промежутки времени, а потом всё чаще и чаще переходят на сторону новой истины, и количество людей, признающих новую истину, становится всё больше и больше, и истина становится всё понятнее и понятнее.

А чем больше людей усваивают новую истину и чем истина понятнее, тем более возбуждается доверие в остальных, на низшей степени по способности понимания стоящих людях, и тем легче для них становится постигновение ее и тем большее число усваивает ее. И так идет движение, всё убыстряясь и убыстряясь, расширяясь и расширяясь, как ком снега, до тех пор, пока не зарождается при этом согласное с новой истиной общественное мнение и вся остальная масса людей уже не поодиночке, а вся сразу под давлением этой силы не переходит на сторону новой истины и не устанавливается сообразный с этой истиной новый склад жизни.

Люди, переходящие на сторону новой, дошедшей до известной степени распространения, истины, переходят на ее сторону всегда сразу, массами и подобны тому балласту, которым нагружают всегда сразу для устойчивого уравновесив и правильного хода всякое судно. Не будь балласта, судно не сидело бы в воде и изменяло бы свое направление при малейшем изменении условий. Балласт этот, несмотря на то, что он кажется сначала излишним и даже задерживающим ход судна, есть необходимое условие правильного движения его.

То же и с той массой людей, которая всегда не один по одному, а всегда сразу под влиянием нового общественного мнения переходит от одного устройства жизни к другому. Масса эта всегда своей инертностью препятствует быстрым, не проверенным мудростью людской, частым переходам от одного устройства жизни к другому и надолго удерживает всякую долгим опытом борьбы проверенную, вошедшую в сознание человечества истину.

И потому несправедливо рассуждение о том, что если только малая, самая малая часть человечества усвоила христианскую истину в продолжение 18 веков, то всё человечество усвоит ее только через много, много раз 1800 лет, т. е. так еще не скоро, что нам, живущим теперь, нельзя и думать об этом. Несправедливо потому, что люди, стоящие на низшей степени развития, те самые народы и люди, которых защитники существующего строя представляют помехой для осуществления христианского строя жизни, это самые те люди, которые всегда сразу массами переходят на сторону истины, принятой общественным мнением.

И потому перемена в жизни человечества та, вследствие которой люди, пользующиеся властью, откажутся от нее и из людей, покоряющихся власти, не найдется более людей, желающих захватить ее, наступит не тогда только, когда все люди один по одному до последнего сознательно усвоят христианское жизнепонимание, а тогда, когда возникнет такое определенное и всем понятное христианское общественное мнение, которое покорит себе всю ту инертную массу, не способную внутренним путем усвоять истины и по этому самому всегда подлежащую воздействию общественного мнения.

Общественное же мнение не нуждается для своего возникновения и распространения в сотнях и тысячах лет и имеет свойство заразительно действовать на людей и с большою быстротою охватывать большие количества людей.

«Но если даже и справедливо,– скажут защитники существующего строя,– то, что общественное мнение, при известной степени своей определенности и ясности, может заставить инертную массу людей внехристианских обществ – нехристианские народы – и лю

дей испорченных и грубых, живущих среди обществ, подчиниться ему, то какие признаки того, что это христианское общественное мнение возникло и может заменить действие насилия?

Нельзя рисковать, отбросив насилие, которым поддерживается существующий порядок, положиться на неосязаемую и неопределенную силу общественного мнения, предоставив диким людям вне и внутри обществ безнаказанно грабить, убивать и всячески насиловать христиан.

Если с помощью власти мы насилу отливаемся от нехристианских элементов, готовых всегда залить нас и уничтожить все успехи христианской цивилизации, то есть ли, во-первых, вероятие того, чтобы общественное мнение могло заменить эту силу и обеспечить нас, а во-вторых, как найти тот момент, в который общественное мнение стало настолько сильно, что может заменить власть? Отменить власть и положиться для защиты себя на одно общественное мнение значило бы поступить так же безумно, как поступил бы человек в зверинце, который, отбросив оружие, выпустил бы из клеток всех львов и тигров, положившись на то, что звери в клетках и под раскаленными прутами казались смирными.

И потому люди, имеющие власть, поставленные судьбою или Богом в положение властвующих, не имеют права рисковать погибелью всех успехов цивилизации только потому, что они пожелают сделать опыт о том, может или не может общественное мнение заменить ограждение власти, а потому и не должны прекращать насилия».

Французский забытый теперь писатель Alphonse Karr сказал где- то, доказывая невозможность уничтожения смертной казни: «Que Messieurs les assassins, commencent par nous donner l'exemple»*, и много раз я потом слыхал повторение этой шутки людьми, которым казалось, что этими словами выражен убедительный и остроумный довод против уничтожения смертной казни. А между тем нельзя яснее выразить всю ложь довода тех, которые считают, что нельзя правительствам отменить насилие до тех пор, пока люди способны к нему, как именно этой шуткой.

«Пусть,– говорят защитники правительственного насилия,– убийцы покажут нам пример, отменив смертоубийство, тогда и мы отменим его». Но убийцы говорят то же самое, но только с гораздо большим правом. Убийцы говорят: «Пускай те, которые взялись учить нас и руководить нами, покажут нам пример отмене- ния смертоубийства, тогда и мы последуем ему». И они говорят

' Пусть господа убийцы сначала подадут нам пример *1фр.1.— Примеч. Л. Н. Толстого.*

это не для шутки, а серьезно, потому что действительно таково положение дела.

«Мы не можем прекратить насилие, потому что мы окружены насильниками».

Ничто более этого ложного рассуждения не препятствует в наше время движению вперед человечества и установлению среди него того строя жизни, который свойствен уже его теперешнему сознанию.

Люди, обладающие властью, уверены в том, что движет и руководит людьми только насилие, и потому для поддержания существующего порядка смело употребляют насилие. Существующий же порядок держится не насилием, а общественным мнением, действие которого нарущается насилием.

И потому деятельность насилия ослабляет, нарушает то самое, что она хочет поддерживать.

Насилие всегда, в лучшем случае, если оно не преследует одних личных целей людей, находящихся во власти, отрицает и осуждает в одной неподвижной форме закона то, что большею частью уже гораздо прежде отрицалось и осуждалось общественным мнением, но с тою разницею, что, тогда как общественное мнение отрицает и осуждает все поступки, противные нравственному закону, захватывая поэтому в свое осуждение самые разнообразные положения, закон, поддерживаемый насилием, осуждает и преследует только известный, очень узкий ряд поступков, этим самым как бы оправдывая все поступки такого же порядка, не вошедщие в его определение. Общественное мнение уже со времени Моисея считает корыстолюбие, распутство и жестокость злом и осуждает их. И оно отрицает и осуждает всякого рода проявления корыстолюбия,– не только приобретение чужой собственности насилием, обманом, хитростью, но и жестокое пользование ею; осуждает всякого рода распутство, будь то блуд с наложницей, невольницей, разведенной женой и даже своей; осуждает всякую жестокость, выражающуюся в побоях, в дурном содержании, в убийстве не только людей, но и животных. Закон же, основанный на насилии, преследует только известные виды корыстолюбия, как-то: воровство, мощенничество и известные виды распутства и жестокости, как-то: нарушение супружеской верности, убийства, увечья,– вследствие этого как бы разрешая все те проявления корыстолюбия, распутства и жестокости, которые не подходят под его узкое, подверженное лжетолкованиям определение.

Но мало того, что насилие извращает общественное мнение, оно производит в людях еще то пагубное убеждение, что движутся люди не духовной силой, влекущей их к постигновению истины и осу

ществлению ее той духовной силон, которая составляет источник всякого движения вперед человечества, а насилием,– тем самым действием, которое не только не приближает людей к истине, но всегда удаляет их от нее. Заблуждение это пагубно тем, что оно заставляет людей, пренебрегая основной силой своей жизни – своей духовной деятельностью,– переносить всё свое внимание и энергию на деятельность насилия поверхностную, праздную и большею частью вредную.

Заблуждение это подобно тому, в котором бы находились люди, желавшие заставить двигаться паровоз тем, что они руками вертели бы колеса его, не догадываясь о том, что основная причина движения его есть расширение пара, а не движение колес. Люди, которые стали бы руками и рычагами вертеть колеса, только вызвали бы подобие движения, а между тем изогнули бы колеса, помешав этим возможности настоящего движения.

То же делают люди, думающие посредством внещнего насилия двигать людьми.

Люди говорят, что христианская жизнь без насилия не может установиться потому, что есть дикие народы внехристианского общества – в Африке, в Азии (некоторые такою угрозою нащей цивилизации представляют китайцев), и есть такие дикие, испорченные и, по новой теории наследственности, прирожденные преступники среди христианских обществ, и что для удержания тех и других людей от разрушения нашей цивилизации необходимо насилие.

Но те дикие люди и вне и внутри обществ, которыми мы пугаем себя и других, никогда не покорялись насилию, не покорены им и теперь.

Народы никогда не покоряли себе других народов одним насилием. Если народ, покорявший другой, стоял на низшей степени развития, то всегда повторялось то, что он не вводил насилием своего устройства жизни, а, напротив, всегда сам подчинялся тому устройству жизни, которое существовало в покоренном народе. Если чем покорен или близок к покорению какой-либо из подавляемых силою народов, то только общественным мнением, а никак не насилием, которое, напротив, всё больше и больше возмущает народ.

Если покорялись когда люди целыми народами новому религиозному исповеданию и целыми народами крестились или переходили в магометанство, то совершались эти перевороты не потому, что их принуждали к этому люди, обладающие властью (насилие, напротив, чаще в обратную сторону поощряло эти движения), а потому, что принуждало их к этому общественное мнение. Народы же, ко

торые силою принуждались к принятию вер победителей, никогда не принимали их.

То же и по отношению тех диких элементов, живущих среди обществ: ни увеличение, ни уменьщение строгости наказаний, ни изменение тюрем, ни увеличение полиции не уменьщают и не увеличивают количества преступлений,– уменьщается оно только вследствие изменения общественного мнения. Никакие строгости не искоренили дуэлей и кровомщения в некоторых странах. Сколько бы ни казнили черкесов за воровство, они продолжают красть из молодечества, потому что ни одна девущка не пойдет за молодого человека, не показавщего свою удаль, укравщи лощадь или по крайней мере барана. Если люди перестанут драться на дуэлях и черкесы воровать, то не из страха перед казнями (страх казни прибавляет прелести молодечества), а потому, что общественное мнение изменится. То же и во всех других преступлениях. Насилие никогда не может уничтожить того, что признается общественным мнением. Напротив, стоит только общественному мнению стать прямо вразрез с насилием, и оно уничтожает всё действие насилия, как это было и всегда бывает при всяком мученичестве.

Что бы было, если бы не употреблялось насилия против враждебных народов и преступных элементов общества, мы не знаем. Но то, что теперь употребление насилия не покоряет ни тех, ни других, это мы знаем по продолжительному опыту.

Да и как же покорить силою народы, которых всё воспитание, все предания, даже религиозное учение ведет к тому, чтобы выс- щую добродетель видеть в борьбе с поработителями и в стремлении к свободе? И как искоренить насилием преступления в среде наших обществ, когда то, что считается правительствами преступлением, общественным мнением считается подвигом. Истребить насилием можно такие народы и таких людей, как это и делается, но покорить их нельзя.

Рещителем всего, основною силою, двигавщею и двигающею людьми и народами, всегда была и есть только одна невидимая, неосязаемая сила – равнодействующая всех духовных сил известной совокупности людей и всего человечества, выражающаяся в общественном мнении.

Насилие только ослабляет эту силу, задерживает, извращает и подменивает ее другою, не только не полезною для движения вперед человечества, но вредною деятельностью.

Для покорения христианству диких людей внехристианского мира – всех зулусов, и манджуров, и китайцев, которых многие считают за диких,– и людей диких, живущих в среде христианского мира, есть только одно, ***одно средство:*** распространение среди

этих народов христианского общественного мнения, устанавливающегося только христианскою жизнью, христианскими поступками, христианскими примерами. И.вот для того, чтобы завладеть теми людьми, которые остались не покоренными христианству, имея только это одно, ***только одно*** средство, люди нашего времени делают как раз обратное тому, что может достигнуть цели.

Для покорения христианству диких народов, которые нас не трогают и на угнетение которых мы ничем не вызваны, мы, вместо того чтобы прежде всего оставить их в покое, а в случае необходимости или желания сближения с ними воздействовать на них только христианским к ним отношением, христианским учением, доказанным истинными христианскими делами терпения, смирения, воздержания, чистоты, братства, любви, мы, вместо этого, начинаем с того, что, устраивая среди них новые рынки для нашей торговли, имеющие целью одну нашу выгоду, захватываем их землю, т. е. грабим их, продаем им вино, табак, опиум, т. е. развращаем их и устанавливаем среди них наши порядки, обучаем их насилию и всем приемам его, т. е. следованию одному животному закону борьбы, ниже которого не может спуститься человек, делаем всё то, что нужно для того, чтобы скрыть от них всё, что есть в нас христианского. И после этого, послав к ним десятка, два болтающих притворный церковный вздор миссионеров, мы в виде неопровержимого доказательства невозможности приложения к жизни христианских истин приводим эти наши опыты обращения диких в христианство.

То же и для тех так называемых преступников, живущих внутри наших обществ. Для того, чтобы покорить этих людей христианству, есть только ***одно-единственное средство:*** христианское общественное мнение, которое может быть установлено среди этих людей только истинным христианским учением, подтвержденным истинным христианским примером жизни.

И вот для проповедания этого христианского учения и подтверждения его христианским примером, мы устраиваем среди этих людей мучительные тюрьмы, гильотины, виселицы, казни, приготовления к убийству, на которые употребляем все свои силы, устраиваем для черного народа идолопоклоннические вероучения, долженствующие одурять их, устраиваем правительственную продажу одурманивающих ядов – вина, табаку, опиума; учреждаем даже проституцию; отдаем землю тем, кому она не нужна; устраиваем зрелища безумной роскоши среди нищеты; уничтожаем всякую возможность всякого подобия христианского общественного мнения; старательно разрушаем устанавливающееся христианское общественное мнение и потом этих-то самых нами самими старательно развращенных людей, запирая их, как диких зверей, в места, из которых они не мо

гут выскочить и в которых они еще более звереют, или убивая их,– этих самых нами со всех сторон развращенных людей приводим в доказательство того, что на людей нельзя действовать иначе, как грубым насилием.

Совершается нечто подобное тому, что бывает тогда, когда заботливые невежественные врачи, поставив выздоравливающего силою природы больного в самые невыгодные условия гигиены и пичкая его ядовитыми лекарствами, потом утверждают, что больной не умер только благодаря их гигиене и лечению, тогда как больной уже давно бы был совсем здоров, если бы они его оставили в покое.

Насилие, которое выставляется орудием поддержания христианского устройства жизни, не только не производит этого действия, а, напротив, оно-то и препятствует общественному устройству быть тем, чем оно могло и должно бы быть. Общественное устройство таково, каково оно есть, не благодаря насилию, а несмотря на него.

И потому несправедливо утверждение защитников существующего строя о том, что если насилие только едва удерживает злые, нехристианские элементы человечества от нападения на нас, то упразднение насилия и замена его общественным мнением не оградят человечества. Несправедливо это потому, что насилие не ограждает человечества, а, напротив, лишает человечество единственной возможности действительного ограждения себя установлением и распространением христианского общественного мнения на существующее устройство жизни. Только при упразднении насилия христианское общественное мнение перестанет извращаться, получит возможность беспрепятственного распространения, и люди не будут направлять свои силы на то, что не нужно им, а направят их на ту одну духовную силу, которая движет ими.

Но как отбросить очевидное, осязаемое ограждение городового с пистолетом и положиться на нечто невидимое, неосязаемое – общественное мнение? Существует ли еще оно, или нет? Главное же, тот порядок вещей, в котором мы живем, мы знаем. Хорош ли, дурен ли он, мы знаем его недостатки и привыкли к нему, знаем, как вести себя, что делать в теперешних условиях; но что будет тогда, когда мы откажемся от него и положимся на что-то невидимое, неосязаемое и вполне не известное? И людям представляется страшной та неизвестность, в которую они вступают, отказавшись от знакомых порядков жизни.

Но ведь хорошо бояться неизвестности, когда известное нам наше положение прочно и обеспечено. Но положение наше не только не обеспечено, но мы несомненно знаем, что стоим на краю погибели.

Если уж бояться, то будем бояться того, что, точно, страшно, а не того, что мы только предполагаем страшным.

Боясь сделать усилие, чтобы вырваться из губящих нас условий только потому, что будущее не вполне известно нам, мы похожи на пассажиров тонущего корабля, которые бы, боясь сесть в лодку, перевозящую их на берег, забились бы в каюту и не хотели бы выходить из нее; или на тех овец, которые от страха огня, охватившего двор, жмутся под сарай и не выходят в открытые ворота.

Разве можно нам, людям, стоящим на пороге ужасающей по бедственности и истребительности войны внутренних революций, перед которой, как говорят приготовители ее, ужасы 93 года будут иг- рущкой, говорить об опасности, которая угрожает нам от дагомейцев, зулусов и т. п., которые живут за тридевять земель и не думают нападать на нас, и от тех нескольких тысяч одуренных нами же и развращенных мошенников, воров и убийц, число которых не уменьшается от всех наших судов, тюрем и казней.

Кроме того, страх этот перед упразднением видимого ограждения полицейского городового есть страх преимущественно городских людей, т. е. людей, живущих в ненормальных и искусственных условиях. Люди, живущие в естественных условиях жизни, не по городам, но среди природы, борясь с нею, живут без этого ограждения и знают, как мало может оградить их насилие от окружающих их действительных опасностей. В страхе этом есть что-то болезненное, зависящее преимущественно от тех ложных условий, в которых многие из нас живут и выросли.

Доктор-психиатр рассказывал, что однажды летом, когда он выходил из больницы, душевнобольные сопровождали его до ворот на улицу. «Пойдемте со мной в город»,– предложил им доктор. Больные согласились, и небольшая кучка пошла за доктором. Но чем дальше они подвигались по улице, где происходило свободное движение здоровых людей, тем более робели и всё ближе и ближе жались к доктору, задерживая его ход. И, наконец, все стали проситься назад в свою больницу, к своему безумному, но привычному образу жизни, к своим сторожам, побоям, длинным рукавам, одиночникам.

Так же жмутся и тянутся назад к своему безумному строю жизни, своим фабрикам, судам, тюрьмам, казням, войнам люди, которых зовет христианство на волю, на свободную, разумную жизнь будущего, наступающего века.

Люди’говорят: «Чем мы будем обеспечены, когда уничтожится существующее устройство? Какие именно и в чем будут состоять те новые порядки, которые заменят теперешние? До тех же пор, пока

мы не будем знать, как именно сложится наша жизнь, мы не пойдем вперед и не тронемся с места».

Требование это подобно тому, которое заявил бы исследователь новых стран, потребовав подробное описание той страны, в которую он вступает.

Если бы жизнь отдельного человека при переходе от одного возраста к другому была бы вполне известна ему, ему незачем бы было жить. То же и с жизнью человечества; если бы у него была программа той жизни, которая ожидает его при вступлении в новый возраст его, то это было бы самым верным признаком того, что оно не живет, не движется, а толчется на месте.

Условия нового строя жизни не могут быть известны нам, потому что они должны быть выработаны нами же. Только в том и жизнь, чтобы познавать неизвестное и сообразовать с этим новым познанием свою деятельность.

В том жизнь каждого отдельного человека, и в том жизнь человеческих обществ и человечества.

XI

Положение христианского человечества со своими тюрьмами, каторгами, виселицами, с своими фабриками, скоплениями капиталов, с своими податями, церквами, кабаками, домами терпимости, всё растущими вооружениями и миллионами одуренных людей, готовых, как цепные собаки, броситься на тех, на кого их натравят хозяева, было бы ужасным, если бы оно было произведением насилия, но оно есть прежде всего произведение общественного мнения. А то, что установлено общественным мнением, не только может им же быть разрушено, но им же и разрушается.

Сотни миллионов денег, десятки миллионов дисциплинированных людей, удивительной силы орудия истребления, при доведенной до последней степени совершенства организации, при целой армии людей, призванной к тому, чтобы обманывать и гипнотизировать народ, и всё это подчиненное, посредством электричества, уничтожающего пространство, людям, считающим такое устройство общества не только выгодным для себя, но таким, без которого они должны неизбежно погибнуть, и потому употребляющим все силы своего ума для поддержания его,– какая, казалось бы, несокрущи- мая сила.

А между тем, стоит только представить себе то, к чему дело идет и чему никто не может воспрепятствовать, что между людьми установилось с такою же силою и всеобщностью, как и языческое общественное мнение, общественное мнение христианское и заме

нило языческое, что большинство людей так же стыдится участия в насилии и пользовании им, как стыдятся теперь люди мошенничества, воровства, нищенства, трусости, и тотчас же само собой, без борьбы и насилия уничтожается это сложное и кажущееся столь могущественным устройство жизни. А для того, чтобы это случилось, не нужно, чтобы вошло в сознание людей что-либо новое, а только чтобы исчез тот туман, который скрывает от людей истинное значение некоторых дел насилия, чтобы растущее христианское общественное мнение пересилило отживающее общественное мнение языческое, допускавщее и оправдывавшее дела насилия. Нужно только, чтобы людям стало так же стыдно делать дела насилия, участвовать в них и пользоваться ими, как стыдно теперь быть и слыть мошенником, вором, трусом, нищим. А это самое начинает совершаться. Мы только не замечаем этого, как не замечают люди движения, когда они сами движутся вместе со всем окружающим.

Правда, устройство жизни в главных чертах остается всё таким же насильническим, каким оно было 1000 лет тому назад, и не только таким же, но в некоторых отношениях, особенно в приготовлениях к войне и в самых войнах, оно представляется даже более жестоким; но зарождающееся христианское общественное мнение, то самое, которое при известной степени развития должно изменить всё языческое устройство жизни, уже начинает действовать. Засохшее дерево по виду стоит так же твердо, как оно стояло и прежде,– оно даже кажется тверже, потому что стало жестче,– но оно уже подтачивается в сердцевине и готовится к падению. То же и с теперешним насильническим устройством жизни. Внешнее положение людей то же: такие же одни насильники, другие насилуемые, но уже не тот взгляд и насилующих и насилуемых на значение и достоинство положений тех и других.

Люди насилующие, т. е. участвующие в управлении, и люди, пользующиеся насилием, т. е. богатые, не представляют уже теперь из себя, как это было прежде, цвета общества и тот идеал человеческого благополучия и величия, к которому стремились прежде все насилуемые. Теперь уже, очень часто, ненасилуемые стремятся к положению насилующих и стараются подражать им, а, напротив, насилующие часто добровольно отказываются от выгод своего положения, избирают положение насилуемых и стараются в простоте жизни уподобиться насилуемым.

Не говоря уже о явно презираемых теперь должностях и положениях, вроде; шпионов, агентов тайной полиции, ростовщиков, кабатчиков,– большое количество положений насильников, считавшихся прежде почетными, вроде полицейских, придворных, судейских, административных, духовных, военных, откупщицких,

банкирских, не только не считается всеми желательным, но уже осуждается известным наиболее уважаемым кругом людей. Есть уже люди, которые добровольно отказываются от этих прежде считавшихся безукоризненными положений, и предпочитают им менее выгодные, но не связанные с насилием положения.

Но не только правительственные люди, есть уже и такие богатые люди, которые не по религиозному чувству, как это бывало прежде, а только вследствие особенной чуткости к зарождающемуся общественному мнению, отказываются от унаследованных состояний, считая справедливым пользование только тем, что заработано своим трудом.

Положение участника в правительстве и богача уже не представляется, как оно было прежде и каково оно теперь среди нехристианских народов, несомненно почтенным и достойным уважения положением и благословением божиим. Люди, наиболее чуткие, нравственные (большею частью они же и наиболее образованные) избегают этих положений и предпочитают им более скромные, но не зависимые от насилия положения.

Лучшие молодые люди в том возрасте, когда они еще не испорчены жизнью и избирают карьеру, предпочитают деятельность врачей, технологов, учителей, художников, писателей, даже просто земледельцев, живущих своим трудом, положениям судейским, административным, духовным и военным, оплачиваемым правительством, или положению людей, живущих своими доходами.

Большинство памятников, воздвигаемых теперь, воздвигается уже не государственным деятелям, не генералам и уже никак не богачам, а ученым, художникам, изобретателям, людям, не имевшим не только ничего общего ни с правительствами, ни с властью, но очень часто боровшимся с нею. Воспеваются в поэзии, изображаются пластическим искусством, почитаются торжественными юбилеями не столько государственные люди и богачи, сколько ученые, художники...

Лучшие люди нашего времени стремятся в эти наиболее чтимые положения, и потому круг, из которого отбираются люди правительственные и богатые, становится всё меньше и низменнее, так что по уму, образованию и в особенности по нравственным качествам уже теперь люди, стоящие во главе управления, и богачи, не составляют, как это было в старину, цвета общества, а, напротив, стоят ниже среднего уровня.

Как в России и Турции, так в Америке и Франции, сколько правительства ни переменяют своих чиновников, большинство их люди корыстные и продажные, стоящие на такой низкой степени нравственности, что они не удовлетворяют даже и тем низким требовани

ям простои неподкупности, которые предъявляются к ним правительствами. Часто можно слышать теперь наивные сетования правительственных людей о том, что лучшие люди по какой-то странной, как им кажется, случайности всегда находятся во враждебном им лагере. Вроде того, как если бы люди сетовали, что по какой-то странной случайности в палачи попадаются всё люди неутонченные и не особенно добрые.

Большинство богатых людей точно так же в наше время составляется уже не из самых утонченных и образованных людей общества, как это было прежде, а или из грубых собирателей богатств, занятых только обогащением себя, больщею частью нечестными средствами, или из вырождающихся наследников этих собирателей, не только не играющих выдающейся роли в обществе, но подвергающихся в большинстве случаев всеобщему презрению.

Но мало того, что круг людей, из которого отбираются слуги правительства и богатые люди, становится всё меньше и меньше, и низменнее и низменнее, сами люди эти уже не приписывают тем положениям, которые они занимают, прежнего значения и часто, стыдясь их и в ущерб тому делу, которому они служат, не исполняют того, что они по своему положению призваны делать. Короли и императоры почти ничем уже не управляют, никогда почти сами не решаются совершать внутренние изменения и вступать в новые внешние политические условия, а большею частью предоставляют решение этих вопросов государственным учреждениям или общественному мнению. Все обязанности их сводятся к тому, чтобы быть представителями государственного единства и могущества. Но и эту обязанность они исполняют всё хуже и хуже. Большинство их не только не держится в прежнем недосягаемом величии, а, напротив, всё более и более демократизируется, даже энканальирует- ся, сбрасывая с себя последний внещний престиж, т. е. нарущая то самое, что они призваны поддерживать. То же происходит и с военными. Военные люди высщих чинов, вместо того чтобы поощрять грубость и жестокость воинов, необходимые для их дела, сами распространяют между военным сословием образование, проповедуют гуманность и часто сами даже разделяют социалистические убеждения масс и отрицают войну. В последних заговорах против русского правительства многие из замещанных были военные. И таких военных заговорщиков становится всё больще и больше. И очень часто случается, как это было на днях, что призванные для усмирения жителей военные отказываются стрелять по ним. Военное молодечество прямо осуждается самими военными и часто служит предметом насмешек. То же с судьями и прокурорами: судьи, обязанные судить и приговаривать преступников, ведут заседания так, чтобы

оправдывать их, так что правительство русское, для осуждения тех лиц, которых ему нужно осудить, уже никогда не подвергает их обыкновенным судам, а передает так называемому военному суду, представляющему только подобие суда. То же и с прокурорами, которые часто отказываются от обвинений и даже вместо обвинений, обходя закон, защищают тех, кого они должны обвинять. Ученые юристы, обязанные оправдывать насилие власти, всё более и более отрицают право наказания и вводят на место его теории невменяемости и даже не исправления, а лечения тех, которых называют преступниками. Тюремщики и начальники каторжников большею частью делаются защитниками тех, кого они должны мучить. Жандармы и сыщики постоянно спасают тех, кого они должны губить. Духовные лица проповедуют терпимость, иногда даже отрицание насилия, и более образованные из них стараются в своих проповедях обходить ту самую ложь, которая составляет весь смысл их положения и которую они призваны проповедовать. Палачи отказываются от исполнения своих обязанностей, так что в России смертные приговоры часто не могут приводиться в исполнение за отсутствием палачей, так как охотников поступать в палачи, несмотря на все выгоды, предоставляемые этим людям, выбираемым из каторжников, становится всё меньше и меньше. Губернаторы, исправники, становые, сборщики податей, мытари часто, жалея народ, стараются найти предлоги для несобирания с народа податей. Богачи не решаются пользоваться своим богатством только для себя, а распределяют его на общественные дела. Землевладельцы устраивают на своих землях больницы, школы, а некоторые из них даже отказываются от владения землей и передают ее земледельцам или устраивают на ней общины. Заводчики и фабриканты устраивают больницы, училища, кассы, пенсии, жилища для рабочих; некоторые учреждают товарищества, в которых сами становятся равными с другими участниками. Капиталисты отдают часть своих капиталов на общественные, образовательные, художественные, филантропические учреждения. Не в силах расстаться с своими богатствами при жизни, многие из них после смерти по завещаниям все-таки отказываются от них в пользу общественных учреждений.

Все эти явления могли бы казаться случайными, если бы они все не сводились к одной общей причине, как и могло бы казаться случайным то, что весной на некоторых деревьях начинает наливаться почка, если бы мы не знали, что причина этого – общая весна и что если на некоторых деревьях ветви начали мякнуть, то наверное то же будет и со всеми.

То же и в проявлении христианского общественного мнения о значении насилия и того, что основано на нем. Если это обществен

ное мнение влияет уже на некоторых наиболее чутких людей и заставляет их каждого в своем деле отказываться от преимуществ, даваемых насилием, или не пользоваться им, то оно будет влиять и дальше, и будет влиять до тех пор, пока не изменит всю деятельность людей и не приведет ее в согласие с тем христианским сознанием, которое уже живет в передовых людях человечества.

И если теперь уже есть правители, не решающиеся ничего предпринимать сами своей властью и старающиеся быть как можно более похожими не на монархов, а на самых простых смертных, и высказывающие готовность отказаться от своих прерогатив и стать первыми гражданами своей республики; и если есть уже такие военные, которые понимают всё зло и грех войны и не желают стрелять ни в людей чужого, ни своего народа; и такие судьи и прокуроры, которые не хотят обвинять и приговаривать преступников; и такие духовные, которые отказываются от своей лжи; и такие мытари, которые стараются как можно меньше исполнять то, что они призваны делать; и такие богатые люди, которые отказываются от своих богатств,– то неизбежно сделается то же самое и с другими правительствами, другими военными, другими судейскими, духовными, мытарями и богачами. А не будет людей, готовых занимать эти положения, не будет и самих положений и насилия.

Но не этим одним путем ведет общественное мнение людей к уничтожению существующего порядка и заменению его новым. По мере того как положения насилия становятся всё менее и менее привлекательными и всё менее и менее находится охотников занимать их, всё более и более разъясняется и ненужность их.

Те же в христианском мире правители и правительства, те же войска, те же суды, те же мытари, то же духовенство, те же богачи землевладельцы, фабриканты и капиталисты, как и прежде, но совсем другое уже отношение к ним людей и самих людей к своему положению.

Всё те же правители, так же ездят на свидания, такие же встречи, и охоты, и пиры, и балы, и мундиры, и такие же дипломаты, и разговоры о союзах и войнах; такие же парламенты, в которых так же разбираются вопросы восточные и африканские, и союзов, и разрывов, и гомруля, и 8-часового дня. И так же сменяются одни министерства другими, такие же речи, инциденты. Но людям, видящим, каким образом одна статья в газете изменяет более положение дел, чем десятки свиданий монархов и сессий парламентов, всё яснее и яснее становится, что не эти встречи, и свидания, и разговоры в парламентах руководят делами людей, а нечто независимое от всего этого и нигде не сосредоточенное.

Те же генералы, и офицеры, и солдаты, и пушки, и крепости, и смотры, и маневры, но войны нет год, десять, двадцать лет, и кроме того всё менее и менее можно надеяться на военных для усмирения бунтов, и всё яснее и яснее становится, что поэтому генералы, и офицеры, и солдаты суть только члены торжественных процессий – предметы забавы правителей, большие, слишком дорогостоящие кордебалеты.

Те же прокуроры, и судьи, и такие же заседания, но становится всё яснее и яснее, что так как гражданские суды решаются по самым разнообразным причинам, но только не по справедливости, и что уголовные суды не имеют никакого смысла, потому что наказания не достигают никакой допускаемой даже самими судьями цели, то учреждения эти не представляют никакого другого значения, как только средство кормления людей, ни на что более полезное не способных.

Те же священники, и архиереи, и церкви, и синоды, но всем становится всё яснее и яснее, что люди эти давно уже сами не верят в то, что проповедуют, и потому не могут уже никого убедить в необходимости верить в то, во что они сами не верят.

Те же сборщики податей, но они всё менее и менее делаются способными силою отнимать у людей их имущество, и становится всё яснее и яснее, что люди без сборщиков податей могут по добровольной подписке собрать всё, что им нужно.

Те же богачи, но всё становится яснее и яснее, что они могут быть полезны только в той мере, в которой они перестанут быть личными распорядителями своих богатств и отдадут обществу всё или хоть часть своего состояния.

Когда же всё это совсем и всем сделается вполне ясным, естественно будет людям спросить себя: «Да зачем же нам кормить и содержать всех этих королей, императоров, президентов и членов разных палат и министерств, ежели от всех их свиданий и разговоров ничего не выходит? Не лучше ли, как говорил какой-то шутник, сделать королеву из гуттаперчи?

И на что нам войска с их генералами и музыками, и кавалериями, и барабанами? На что они нужны, когда войны нет, никто не желает никого завоевывать, и даже если и есть война, то барышами от нее не дают воспользоваться другие народы и по своему народу войска отказываются стрелять?

И на что такие судьи и прокуроры, которые в гражданских делах решают не по справедливости, а в уголовных делах сами знают, что всякие наказания бесполезны?

И на что такие сборщики податей, которые неохотно собирают подати, а то, что нужно, собирается и без них?

и на что духовенство, которое давно уже не верит в то, что оно должно проповедовать?

И на что капиталы в частных руках, когда они могут приносить пользу, только сделавшись общим достоянием?»

А раз спросив себя об этом, люди не могут не прийти к решению перестать содержать все эти ставшие бесполезными учреждения.

Но мало того, что люди, содержащие эти учреждения, придут к рещению упразднить их, сами люди, занимающие эти положения, одновременно или еще прежде этого будут приведены к необходимости отказа от этих положений.

Общественное мнение всё более и более осуждает и отрицает насилие, и потому люди, всё более и более подчиняясь общественному мнению, всё менее и менее охотно занимают положения, поддерживаемые насилием; те же, которые занимают эти положения, всё менее и менее могут употреблять насилие. Не употребляя же насилия, но оставаясь в положении, обусловливаемом насилием, люди, занимающие эти положения, всё более и более становятся ненужными. И ненужность эта, всё более и более чувствуясь и теми, которые поддерживают эти положения, и теми, которые находятся в них, сделается, наконец, такова, что не найдется более людей для того, чтобы поддерживать эти положения, и таких, которые бы решились занимать их.

Раз я в Москве присутствовал при спорах о вере, которые происходили по обыкновению на Фоминой у церкви в Охотном ряду. Собралась на тротуаре кучка, человек 20, и шел серьезный разговор о религии. В это же время был какой-то концерт в рядом стоящем здании дворянского собрания, и полицейский офицер, заметив кучку народа, собравшуюся у церкви, прислал верхового жандарма с приказанием разойтись. Офицеру собственно не нужно было, чтобы расходились. Собравшиеся 20 человек никому не мешали, но офицер стоял тут целое утро, и ему надо было что-нибудь делать. Молодой малый – жандарм, молодецки подпираясь правой рукой и гремя саблей, подъехал к нам и строго приказал: «Разойтись! Что собрались?» Все оглянулись на жандарма, и один из говоривших, скромный человек в чуйке, спокойно и ласково сказал: «Мы говорим о деле, и нам незачем расходиться, а ты лучше, молодой человек, слезь да послушай, о чем говорят. И тебе будет на пользу», и, отвернувшись, продолжал беседу. Жандарм молча отвернул лошадь и отъехал.

То же самое должно совершиться во всех делах насилия. Офицеру скучно, ему делать нечего; он, бедный, поставлен в такое положение, в котором ему необходимо распоряжаться. Он лишен всякой человеческой жизни, ему можно только смотреть и распоря

жаться, распоряжаться и смотреть, хотя распоряжения его и смот- ренье ни для чего не нужны. В таком же положении отчасти уже находятся и в скором времени вполне будут находиться все эти несчастные правители, министры, члены парламентов, губернаторы, генералы, офицеры, архиереи, священники, богачи даже. Им больше ничего нельзя делать, как только распоряжаться, и они распоряжаются, посылают своих посланных, как офицер жандарма, для того чтобы мешать людям, и так как люди, которым они мешают, обращаются к ним же с просьбами, чтобы они не мешали им, то им кажется, что они необходимо нужны.

Но приходит время и придет, когда станет всем совершенно ясно, что они ни на что не нужны, а только мешают людям, и люди, которым они мешают, скажут им ласково и кротко, как тот человек в чуйке; «Не мешайте нам, пожалуйста». И все эти посланные и посылающие должны будут последовать этому доброму совету, т. е. перестать, подбоченясь, ездить между людьми, мешая им, а слезши с своих коньков и снявши с себя свои наряды, послушать то, что говорят люди, и, присоединясь к ним, приняться со всеми вместе за настоящую человеческую работу.

Приходит время и неизбежно придет, когда все насильнические учреждения нашего времени уничтожатся вследствие сделавшейся слишком очевидной для всех ненужности, нелепости, даже неприличия их.

Должно прийти время, когда с людьми нашего мира, занимающими положения, даваемые насилием, случится то, что случилось с королем в сказке Андерсена «О новом царском платье», когда малое дитя, увидав голого царя, наивно вскрикнуло: «Смотрите, он голый!» и все, видевшие это и прежде, но не высказывавшие, не могли уже более скрывать этого.

Сказка в том, что к царю, охотнику до новых платьев, приходят портные, обещающиеся сщить необыкновенное платье. Царь нанимает портных, и портные начинают шить, но говорят, что особенное свойство их платья то, что кто не нужен для своей должности, тот не может видеть платьев.

Придворные приходят смотреть работу портных и ничего не видят, так как портные водят иголками по пустому месту. Но, помня условие, все должностные лица говорят, что видят платья и хвалят их. То же делает и царь. Приходит время процессии, в которой царь пойдет в новом платье. Царь раздевается и надевает новые платья, т. е. остается голый и голый идет по городу. Но, помня условие, никто не решается сказать, что платьев нет, до тех пор, пока малое дитя не вскрикнуло: «Смотрите, он голый!»

То же должно случиться со всеми занимающими по инерции положения, давно уже ставшие ненужными, когда первый не заинтересованный в том, чтобы по пословице: рука руку моет, скрывать ненужность этих учреждений, укажет на бесполезность их и наивно крикнет: «А ведь люди эти уже давно ни на что не нужны».

Положение христианского человечества с его крепостями, пушками, динамитами, ружьями, торпедами, тюрьмами, виселицами, церквами, фабриками, таможнями, дворцами действительно ужасно; но ведь ни крепости, ни пушки, ни ружья ни в кого сами не стреляют, тюрьмы никого сами не запирают, виселицы никого не вешают, церкви никого сами не обманывают, таможни не задерживают, дворцы и фабрики сами не строятся и себя не содержат, а всё делают это люди. Если же люди поймут, что этого не надо делать, то этого ничего и не будет.

А люди уже начинают понимать это. Если еще не все понимают это, то понимают это передовые люди, те, за которыми идут остальные. И перестать понимать то, что раз поняли передовые люди, они уже никак не могут. Понять же то, что поняли передовые, остальные люди не только могут, но неизбежно должны.

Так что предсказание о том, что придет время, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копья на серпы, т. е., переводя на наш язык, все тюрьмы, крепости, казармы, дворцы, церкви останутся пустыми и все виселицы, ружья, пушки останутся без употребления,– уже не мечта, а определенная, новая форма жизни, к которой с всё увеличивающейся быстротой приближается человечество.

Но когда же это будет?

1800 лет назад на вопрос этот Христос ответил, что конец нынешнего века, т. е. языческого устройства мира, наступит тогда, когда (Мф. XXIV, 3–28) увеличатся до последней степени бедствия людей и вместе с тем благая весть Царства Божия, т. е. возможность нового, ненасильнического устройства жизни, будет проповедана по всей земле.

«О дне же и часе том никто не знает, только Отец Мой один (Мф. XXIV, 36)»,– тут же говорит Христос. Ибо оно может наступить всегда, всякую минуту, и тогда, когда мы не ожидаем его.

На вопрос о том, когда наступит этот час, Христос говорит, что знать этого мы не можем; но именно потому, что мы не можем знать времени наступления этого часа, мы не только должны быть всегда готовы к встрече его, как должен быть всегда готов хозяин, стерегущий дом, как должны быть готовы девы с светильниками, встречающие жениха, но и должны работать из всех данных нам сил для наступления этого часа, как должны были работать работ

ники на данные им таланты (Мф. XXIV, 43; XXV, 1–30). На вопрос, когда наступит этот час, Христос увещевает людей всеми своими силами работать для скорейшего наступления его.

И другого ответа не может быть. Знать то, когда наступит день и час Царства Божия, люди никак не могут, потому что наступление этого часа ни от кого другого не зависит, как от самих людей.

Ответ тот же, как ответ того мудреца, который, на вопрос прохожего: далеко ли до города? ответил: «Иди».

Как мы можем знать, далеко ли до той цели, к которой приближается человечество, когда мы не знаем, как будет подвигаться к этой цели человечество, от которого зависит – идти или не идти, остановиться, умерить свое движение или усилить его.

Всё, что мы можем знать, это то, что мы, составляющие человечество, должны делать и чего должны не делать для того, чтобы наступило это Царство Божие. А это мы все знаем. И стоит только каждому начать делать то, что мы должны делать, и перестать делать то, чего мы не должны делать, стоит только каждому из нас жить всем тем светом, который есть в нас, для того, чтобы тотчас же наступило то обещанное Царство Божие, к которому влечется сердце каждого человека.

XII
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я кончал эту двухлетнюю работу, когда 9-го сентября мне случилось ехать по железной дороге в местность голодавших в прошлом году и еще сильнее голодающих в нынешнем году крестьян Тульской и Рязанской губерний. На одной из железнодорожных станций поезд, в котором я ехал, съехался с экстренным поездом, везшим под предводительством губернатора войска с ружьями, боевыми патронами и розгами для истязания и убийства этих самых голодающих крестьян.

Истязание людей розгами для приведения в исполнение решения власти, несмотря на то, что телесное наказание отменено законом 30 лет тому назад, в последнее время всё чаще и чаще стало применяться в России.

Я слыхал про это, читал даже в газетах про страшные истязания, которыми как будто хвастался нижегородский губернатор Баранов, про истязания, происходившие в Чернигове, Тамбове, Саратове, Астрахани, Орле, но ни разу мне не приходилось, как теперь, видеть людей в процессе исполнения этих дел.

и вот я увидал воочию русских, добрых и проникнутых христианским духом людей с ружьями и розгами, едущими убивать и истязать своих голодных братьев.

Повод, по которому они ехали, был следующий:

В одном из имений богатого землевладельца крестьяне вырастили на общем с помещиком выгоне лес (вырастили, т. е. оберегали во время его роста) и всегда пользовались им, и потому считали этот лес своим или по крайней мере общим; владелец же, присвоив себе этот лес, начал рубить его. Крестьяне подали жалобу. Судья первой инстанции неправильно (я говорю – неправильно со слов прокурора и губернатора, людей, которые должны знать дело) ре- щил дело в пользу помещика. Все дальнейщие инстанции, в том числе и сенат, хотя и могли видеть, что дело рещено неправильно, утвердили рещение, и лес присужден помещику. Помещик начал рубить лес, но крестьяне, не могущие верить тому, чтобы такая очевидная несправедливость могла быть совершена над ними высшею властью, не покорились решению и прогнали присланных рубить лес работников, объявив, что лес принадлежит им и они дойдут до царя, но не дадут рубить леса.

О деле донесено в Петербург министру. Министр доложил государю, государь велел министру привести решение суда в исполнение. Министр предписал губернатору. Губернатор потребовал войско. И вот солдаты, вооруженные ружьями со штыками, боевыми патронами, кроме того с запасом розог, нарочно приготовленных для этого случая и везомых в одном из вагонов, едут приводить в исполнение это решение высшей власти.

Приведение же в исполнение решения высшей власти совершается убийством, истязанием людей или угрозой того или другого, смотря по тому, окажут или не окажут они сопротивление.

В первом случае, если крестьяне оказывают сопротивление, совершается в России (то же самое совершается везде, где только есть государственное устройство и право собственности) – совершается следующее; начальник говорит речь и требует покорности. Возбужденная толпа, большею частью обманутая своими вожаками, ничего не понимает из того, что говорит чиновничьим, книжным языком представитель власти, и продолжает волноваться. Тогда начальник объявляет, что если они не покорятся и не разойдутся, то он принужден будет прибегнуть к оружию. Если толпа и при этом не покоряется и не расходится, начальник приказывает заряжать ружья и стрелять через головы толпы. Если толпа и при этом не расходится, начальник приказывает стрелять прямо в толпу, в кого попало, и солдаты стреляют и по улице падают раненые и убитые люди, и тогда толпа обыкновенно разбегается, и войска по приказа

нию начальников захватывают тех, которые представляются им главными зачинщиками, и отводят их под стражу.

После этого подбирают окровавленных, умирающих, изуродованных, убитых и раненых мужчин, иногда женщин, детей; мертвых хоронят, а изуродованных отсылают в больницу. Тех же, которых считают зачинщиками, везут в город и судят особенным военным судом. И если с их стороны было насилие, приговаривают к повешению. И тогда ставят виселицу и дущат веревками несколько беззащитных людей, как это делалось много раз в России, как это делается и не может не делаться везде, где общественный строй стоит на насилии. Так это делается в случае сопротивления.

Во втором же случае, в случае покорности крестьян, совершается нечто особенное и специально русское. Совершается следующее: губернатор, приехав на место действия, произносит речь народу, упрекая его за его непослушание, и или становит войско по дворам деревни, где солдаты в продолжение месяца иногда разоряют своим постоем крестьян, или, удовлетворившись угрозой, милостиво прощает народ и уезжает, или, что бывает чаще всего, объявляет ему, что зачинщики за это должны быть наказаны, и произвольно, без суда, отбирает известное количество людей, признанных зачинщиками, и в своем присутствии производит над ними истязания.

Для того, чтобы дать понятие о том, как совершаются эти дела, опишу такое дело, совершенное в Орле и получившее одобрение высшей власти.

Совершилось в Орле следующее: точно так же, как здесь, в Тульской губернии, помещик пожелал отнять собственность крестьян, и точно так же крестьяне воспротивились этому. Дело было в том, что владелец без согласия крестьян пожелал держать на своей мельнице воду на том высоком уровне, при котором заливались их луга. Крестьяне воспротивились этому. Помещик принес жалобу земскому начальнику. Земский начальник незаконно (как это впоследствии признано и судом) решил дело в пользу помещика, разрешив ему поднять воду. Помещик послал рабочих прудить канаву, через которую спускалась вода. Крестьяне возмутились этим неправильным решением и выслали своих женщин для того, чтобы помешать рабочим помещика прудить канаву. Женщины вышли на плотину, перевернули телеги и прогнали рабочих. Помешик подал жалобу на женщин за самоуправство. Земский начальник сделал распоряжение о том, чтобы посадить во всей деревне из каждого двора по одной женщине в тюрьму («холодную»). Решение было неудобоисполнимое, так как в каждом дворе было несколько женщин: нельзя было знать, какая подлежит аресту, и потому полиция не приводила решения в исполнение. Помещик пожаловался губернатору на неисполнитель-

ность полиции, и губернатор, не разобрав, в чем дело, строго приказал исправнику немедленно привести в исполнение решение земского начальника. Повинуясь высшему начальству, исправник приехал в деревню и с свойственным русской власти неуважением к людям приказал полицейским забирать из каждого дома по одной женщине. Но так как в каждом доме было более одной женщины и нельзя было знать, которая подлежит заключению, начались споры и сопротивление. Несмотря на эти споры и сопротивление, исправник приказал хватать женщин по одной из двора, какая попадется, и вести в место заключения. Мужики стали защищать своих жен и матерей, не дали их и при этом побили полицейских и исправника. Явилось новое страшное преступление; сопротивление власти, и об этом новом преступлении донесено в город. И вот губернатор, точно так же, как теперь ехал тульский губернатор, с батальоном солдат с ружьями и розгами, пользуясь и телеграфами, и телефонами, и железными дорогами, на экстренном поезде, с ученым доктором, который должен был следить за гигиеничностью сечения, олицетворяя вполне предсказанного Герценом Чингис-хана с телеграфами, приехал на место действия.

У волостного правления стояло войско, отряд городовых с красными шнурками, на которых висят револьверы, и собранные должностные лица из крестьян и обвиняемые. Кругом стояла толпа народа в 1000 или более человек. Подъехав к волостному правлению, губернатор вышел из коляски, произнес приготовительную речь и потребовал виноватых и скамейку. Требование это было не понято сначала. Но городовой, которого губернатор всегда возил с собой и который занимался организацией истязаний, уже неоднократно совершавшихся в губернии, объяснил, что это значило скамейку для сечения. Принесли скамейку, принесли привезенные с собой розги и вызвали палачей. Палачи уже вперед были заготовлены из конокрадов той же деревни, так как военные отказались исполнять эту должность.

Когда всё было готово, начальник велел выйти первому из тех 12 человек, на которых указал помещик, как на самых виноватых. Первый вышедщий был отец семейства, уважаемый в обществе сорокалетний человек, мужественно отстаивавший права общества и потому пользовавшийся уважением жителей. Его подвели к скамье, обнажили его и велели ему ложиться.

Крестьянин попробовал молить о пощаде, но, увидав, что это бесполезно, перекрестился и лег. Двое городовых бросились держать его. Ученый доктор стоял тут же, в готовности оказать нужную медицинскую научную помощь. Острожники, поплевав в руки, взмахнули розгами и начали бить. Оказалось, однако, что скамейка

была слишком узка и трудно было удержать на ней корчившегося истязуемого. Тогда губернатор велел принести другую скамейку и подмостить доску. Люди, прикладывая руки к козырьку и приговаривая: «слушаю, ваше превосходительство», поспешно и покорно исполнили приказания; между тем полуобнаженный, бледный истязуемый человек, нахмурив брови и глядя в землю, дрожа челюстью и оголенными ногами, дожидался. Когда приставлена была другая скамья, его опять положили, и конокрады начали опять бить его. Всё больше и больше покрывалась рубцами и кровоподтеками спина, ягодицы, ляжки и даже бока истязуемого, и за каждым ударом раздавались глухие звуки, которых не мог сдержать истязуемый. Из толпы, стоявшей вокруг, слышались вопли жен, матерей, детей, родных истязуемого и всех тех, которые были отобраны для наказания.

Несчастный, опьяненный властью губернатор, которому казалось, что он не мог поступать иначе, загибая пальцы, считал удары и, не переставая, курил папироски, для закуривания которых несколько услужливых людей всякий раз торопились поднести ему зажженную спичку. Когда дано было более 50 ударов, крестьянин перестал кричать и шевелиться, и доктор, воспитанный в казенном заведении для служения своими научными знаниями своему государю и отечеству, подошел к истязуемому, пощупал пульс, послушал сердце и доложил представителю власти, что наказываемый потерял сознание и что, по данным науки, продолжать наказание может быть опасным для его жизни. Но несчастный губернатор, уже совершенно опьяненный видом крови, велел продолжать, и истязание продолжалось до 70 ударов, того количества, до которого ему почему-то казалось нужным довести количество ударов. Когда дан был 70-й удар, губернатор сказал: «Довольно! Следующего!» И изуродованного человека, с вспухшей спиной и потерявшего сознание, подняли и снесли и привели другого. Рыдания и стоны толпы усиливались. Но представитель государственной власти продолжал истязание.

Так же били 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го,– каждого по 70 ударов. Все они молили о пощаде, стонали, кричали. Рыдания и стоны толпы женщин всё становились громче и раздирательнее, и всё мрачнее и мрачнее становились лица мужчин. Но кругом стояли войска и истязание не остановилось до тех пор, пока не совершено было дело в той самой мере, в которой оно представлялось почему-то необходимым капризу несчастного, полупьяного, заблудшего человека, называемого губернатором.

Чиновники, офицеры, солдаты не только присутствовали при этом, но своим присутствием участвовали в этом деле и охраняли от нарушения со стороны толпы порядок совершения этого государственного акта.

Когда я спрашивал у одного из губернаторов, для чего производят эти истязания над людьми, когда они уже покорились и войска стоят в деревне, он с значительным видом человека, познавшего все тонкости государственной мудрости, отвечал мне, что это делается потому, что опытом дознано, что если крестьяне не подвергнуты истязанию, то они опять начнут противодействовать распоряжению власти. Совершенное же истязание над некоторыми закрепляет уже навсегда решение власти.

И вот теперь тульский губернатор с чиновниками, офицерами и солдатами ехал совершать такое же дело. Точно так же, т. е. убийством или истязанием, должно было привести в исполнение решение высшей власти, состоящее в том, чтобы молодой малый, помешик, имеющий 100 тысяч годового дохода, мог получить еще 3000 рублей за лес, мошеннически отнятый им у целого общества голодных и холодных крестьян, и мог промотать эти деньги в две-три недели в трактирах Москвы, Петербурга или Парижа. На такое именно дело ехали теперь те люди, которых я встретил.

Судьба, как нарочно, после двухлетнего моего напряжения мысли всё в одном и том же направлении, натолкнула меня в первый раз в жизни на это явление, показавшее мне с полной очевидностью на практике то, что для меня давно выяснилось в теории, а именно то, что всё устройство нашей жизни зиждется не на каких-либо, как это любят себе представлять люди, пользующиеся выгодным положением в существующем порядке вещей, юридических началах, а на самом простом, грубом насилии, на убийствах и истязаниях людей.

Люди, владеющие большим количеством земель и капиталов или получающие большие жалованья, собранные с нуждающегося в самом необходимом рабочего народа, равно и те, которые, как купцы, доктора, художники, приказчики, ученые, кучера, повара, писатели, лакеи, адвокаты, кормятся около этих богатых людей, любят верить в то, что те преимущества, которыми они пользуются, происходят не вследствие насилия, а вследствие совершенно свободного и правильного обмена услуг, и что преимущества эти не только не происходят от совершаемых над людьми побоев и убийств, как те, которые происходили в Орле и во многих местах в России нынешним летом и происходят постоянно по всей Европе и Америке, но не имеют даже с этими насилиями никакой связи. Они любят верить в то, что преимущества, которыми они пользуются, существуют са

ми по себе и происходят по добровольному согласию людей, а насилия, совершаемые над людьми, существуют тоже сами по себе и происходят по каким-то общим и высшим юридическим, государственным и экономическим законам. Люди эти стараются не видеть того, что они пользуются теми преимуществами, которыми они пользуются, всегда только вследствие того же самого, вследствие чего теперь будут принуждены крестьяне, вырастившие лес и крайне нуждающиеся в нем, отдать его не оказавшему никакого участия в его оберегании во время роста и не нуждающемуся в нем богатому помещику, т. е. вследствие того, что если они не отдадут этот лес, их будут бить или убивать.

А между тем, если совершенно ясно, что орловская мельница стала приносить больший доход помещику и лес, выращенный крестьянами, передается помещику только вследствие побоев и убийств или угроз их, то точно так же должно бы быть ясно, что и все другие исключительные права богатых, лишающих бедных необходимого, должны быть основаны на том же. Если нуждающиеся в земле для пропитания своих семей крестьяне не пашут ту землю, которая у них под дворами, а землей этой в количестве, могущем накормить 1000 семей, пользуется один человек – русский, английский, австрийский или какой бы то ни было крупный землевладелец, не работающий на этой земле, и если закупивший в нужде у земледельцев хлеб купец может безопасно держать этот хлеб в своих амбарах среди голодающих людей и продавать его в тридорога тем же земледельцам, у которых он купил его втрое дешевле, то очевидно, что это происходит по тем же причинам. И если не может один человек купить у другого продаваемого ему из-за известной условной черты, названной границей, дешевого товара, не заплатив за это таможенной пошлины людям, не имевшим никакого участия в производстве товара, и если не могут люди не отдавать последней коровы на подати, раздаваемые правительством своим чиновникам и употребляемые на содержание солдат, которые будут убивать этих самых плательщиков, то, казалось бы, очевидно, что и это сделалось никак не вследствие каких-либо отвлеченных прав, а вследствие того самого, что совершилось в Орле и что может совершиться теперь в Тульской губернии и периодически в том или другом виде совершается во всем мире, где есть государственное устройство и есть богатые и бедные.

Вследствие того, что не при всех насильственных отношениях людей совершаются истязания и убийства, люди, пользующиеся исключительными выгодами правящих классов, уверяют себя и других, что выгоды, которыми они пользуются, происходят не от

истязаний и убийств, а от каких-то других таинственных общих причин, отвлеченных прав и т. п. А между тем, казалось бы, ясно, что если люди, считая это несправедливым (как это считают теперь все рабочие), отдают главную долю своего труда капиталисту, землевладельцу и платят подати, зная, что подати эти употребляются дурно, то делают они это прежде всего не по сознанию каких-то отвлеченных прав, о которых они никогда и не слыхали, а только потому, что знают, что их будут бить и убивать, если они не сделают этого.

Если же не всякий раз приходится сажать в тюрьму, бить и убивать людей, когда собирается землевладельцем аренда за землю и нуждающийся в хлебе платит обманувшему его купцу тройную цену, и фабричный довольствуется платой пропорционально вдвое меньшей дохода хозяина, и когда бедный человек отдает последний рубль на пошлину и подати, то происходит это оттого, что людей уже так много били и убивали за их попытки не делать того, чего от них требуется, что они твердо помнят это. Как усмиренный тигр в клетке не берет мяса, которое ему положено под морду, и не лежит спокойно, а прыгает через палку, когда ему велят делать это, не потому, что ему хочется делать это, а потому что он помнит раскаленный железный прут или голод, которому он подвергался каждый раз, когда не повиновался, точно так же и люди, подчиняющиеся тому, что им невыгодно, даже губительно для них, и что они считают несправедливым, делают это потому, что они помнят то, что бывало им за противодействие этому.

Люди же, пользующиеся преимуществами, произведенными давнишними насилиями, часто забывают и любят забывать то, как приобретены эти преимущества. А между тем стоит только вспомнить историю, не историю успехов разных династий властителей, а настоящую историю, историю угнетения малым числом людей большинства, для того чтобы увидать, что основы всех преимуществ богатых над бедными все произошли ни от чего другого, как от розог, тюрем, каторг, убийств.

Стоит только подумать о том неперестающем, упорном стремлении всех людей к увеличению своего благосостояния, которым руководятся люди нашего времени, для того чтобы убедиться, что преимущества богатых над бедными ничем иным не могли и не могут быть поддерживаемы.

Могут быть угнетения, побои, тюрьмы, казни, не имеющие целью преимущества богатых классов (хотя это очень редко), но смело можно сказать, что в нашем обществе, где на каждого достаточного, по-господски живущего человека приходится 10 измученных работой, завистливых, жадных и часто прямо с своими семьями

страдающих рабочих, все преимущества богатых, вся роскошь их, всё то, чем лищним пользуются богатые против среднего рабочего, всё это приобретено и поддерживаемо только истязаниями, заключениями, казнями.

Встреченный мною 9-го сентября поезд, едущий с солдатами, ружьями, боевыми патронами и розгами к голодным крестьянам для того, чтобы утвердить за богачом помещиком отнятый им у крестьян небольшой лес, ненужный ему и страшно нужный крестьянам, с поразительной очевидностью доказывал, до какой степени выработалась в людях способность совершать самые противные их убеждениям и совести дела, не видя этого.

Экстренный поезд, с которым я съехался, состоял из одного вагона 1-го класса для губернатора, чиновников и офицеров и из нескольких товарных вагонов, набитых солдатами.

Молодцеватые молодые ребята солдаты в своих новых, чистых мундирах толпились стоя или спустив ноги, сидя в раздвинутых широких дверях товарных вагонов. Одни курили, другие толкались, шутили,.смеялись, оскаливая зубы, третьи щелкали семечки, самоуверенно выплевывая их. Некоторые из них бегали по платформе к кадке с водой, чтобы напиться, и, встречая офицеров, умеряя шаг, делали свои глупые жесты прикладывания руки ко лбу и с серьезными лицами, как будто делали что-то не только разумное, но и очень важное, проходили мимо них, провожая их глазами, и потом еще веселее пускались рысью, топая по доскам платформы, смеясь и болтая, как это свойственно здоровым, добрым молодым ребятам, переезжающим в веселой компании из одного места в другое.

Они ехали на убийство своих голодных отцов и дедов, точно как будто на какое-нибудь веселое или по крайней мере на самое обыкновенное дело.

Такое же впечатление производили и нарядные чиновники и офицеры, рассыпанные по платформе и зале 1-го класса. У стола, уставленного бутылками, в своем полувоенном мундире сидел губернатор, начальник всей экспедиции, и ел что-то и спокойно разговаривал о погоде с встретившимися знакомыми, как будто дело, на которое он ехал, было такое простое и обыкновенное, что оно не могло нарушить его спокойствия и интереса к перемене погоды.

Поодаль от стола, не принимая пищи, сидел жандармский генерал с непроницаемым, но унылым видом, как будто тяготясь надоевшей ему формальностью. Со всех сторон двигались и шумели офицеры в своих красивых, украшенных золотом мундирах; кто, си

дя за столом, допивал бутылку пива, кто, стоя у буфета, разжевывал закусочный пирожок, отряхивал крошки, упавшие на грудь мундира, и самоуверенным жестом кидал монету, кто, подрагивая на каждой ноге, прогуливался перед вагонами нашего поезда, заглядывая на женские лица.

Все эти люди, ехавшие на убийство или истязание голодных и беззащитных, тех самых людей, которые кормят их, имели вид людей, которые твердо знают, что они делают то, что нужно делать, и даже несколько гордятся, «куражатся», делая это дело.

Что же это такое?

Все эти люди находятся в получасе езды от того места, где они, для того чтобы доставить богатому малому ненужные ему 3000, отнятые им у целого общества голодных крестьян, могут быть вынуждены начать делать дела самые ужасные, какие только можно себе представить, могут начать убивать или истязать так же, как в Орле, невинных людей, своих братьев, и они спокойно приближаются к тому месту и времени, где и когда это может начаться.

Сказать, что люди эти, все эти чиновники, офицеры и солдаты не знают того, что им предстоит и на что они едут,– нельзя, потому что они готовились к этому. Губернатор должен был сделать распоряжение о розгах, чиновники должны были покупать березовые прутья, торговаться и вписывать эту статью в расход. Военные отдавали и получали, и исполняли приказания о боевых патронах. Все они знают, что они едут истязать, а может быть, и убивать своих замученных голодом братьев и что начнут делать это, может быть, через час.

Сказать, что они это делают из убеждения, как это обыкновенно говорят и они сами повторяют,– из убеждения в необходимости поддержания государственного устройства, было бы несправедливо, во-первых, потому, что все эти люди едва ли когда-нибудь даже думали о государственном устройстве и необходимости его; во-вторых, никак не могут они быть убеждены, чтобы то дело, в котором они участвуют, служило бы поддержанию, а не разрушению государства, а в-третьих, в действительности большинство этих людей, если не все, не только не пожертвуют никогда своим спокойствием и радостью для поддержания государства, но никогда не пропустят случая воспользоваться для своего спокойствия и радости всем, чем только можно, в ущерб государству. Стало быть, не из-за отвлеченного принципа государства они делают это.

Что же это такое?

Ведь всех этих людей я знаю. Если не знаю лично всех, то знаю приблизительно их характеры, их прошедшее, образ мыслей. Ведь у всех их есть матери, у некоторых есть жены, дети. Ведь всё это

большею частью по сердцу добрые, кроткие, часто нежные люди, ненавидящие всякую жестокость, не говоря уже об убийстве людей, не могущие многие из них совершать убийства и истязания животных; кроме того, всё это люди, исповедующие христианство и считающие насилие над беззащитными людьми гнусным и постыдным делом. Ведь ни один из этих людей в обыкновенной жизни не только не в состоянии сделать ради своей маленькой выгоды одну сотую того, что сделал орловский губернатор над людьми, но каждый из них обидится, если предположат о нем, что он может в частной жизни совершить что-нибудь подобное.

А между тем вот они в получасе езды от того места, где они могут быть неизбежно приведены к необходимости делать это.

Что же это такое?

Но не только эти люди, едущие в этом поезде и готовые на убийства и истязания, но как могли те люди, от которых началось всё дело: помещик, управляющий, судья и те, которые из Петербурга предписали это дело и участвуют в нем своими распоряжениями, как могли эти люди: министр, государь, тоже добрые, исповедующие христианство люди, как могли они затеять и предписать такое дело, зная его последствия? Как могут даже не участвующие в этом деле зрители, возмущающиеся всяким частным случаем насилия, даже истязанием лошади,– допускать совершение такого ужасного дела? Как могут они не возмутиться против него, не стать поперек дороги и не закричать: «Нет, этого, убивать и сечь голодных людей за то, что они не отдают мошеннически отнимаемое у них последнее достояние,– этого мы не позволим!» Но не только никто этого не делает, но, напротив, большинство людей, даже те люди, которые были заводчиками дела, как управляющий, помещик, судья и те, которые были участниками и распорядителями его, как губернатор, министр, государь, совершенно спокойны и даже не чувствуют укоров совести. Так же, по-видимому, спокойны и все эти люди, едущие совершать это злодеяние.

Зрители, казалось бы, ничем не заинтересованные в деле, и те большею частью скорее с сочувствием, чем с неодобрением, смотрели на всех тех людей, готовящихся к совершению этого гадкого дела. В одном со мной вагоне ехал купец, торговец лесом, из крестьян, он прямо и громко выразил сочувствие тем истязаниям, которые предполагались над крестьянами: «Нельзя не повиноваться начальству,– говорил он,– на то – начальство. Вот, дай срок, повыгонят блох. Небось бросят бунтовать. Так им и надо».

Что же это такое?

Сказать, что все эти люди: подстрекатели, участники, попустители этого дела такие негодяи, что, зная всю мерзость того, что они

делают, они – одни за жалованье, за выгоды, а другие из-за страха наказания делают дело, противное своим убеждениям,– тоже никак нельзя. Все эти люди умеют в известных положениях постоять за свои убеждения. Ни один из этих чиновников не украдет кошелька, не прочтет чужого письма, не снесет оскорбления, не потребовав от оскорбителя удовлетворения. Ни один из этих офицеров не согласится передернуть в картах, не заплатить карточный долг, выдать товарища, убежать с поля сражения или бросить знамя. Ни один из этих солдат не решится выплюнуть причастия или даже съесть говядины в страстную пятницу. Все люди эти готовы перенести всякого рода лишения, страдания, опасности скорее, чем согласиться сделать дело, которое они считают дурным. Стало быть, есть в этих людях сила противодействия, когда им приходится сделать дело, противное их убеждению.

Сказать, что все эти люди такие звери, что им свойственно и не больно делать такие дела, еще менее возможно. Стоит только поговорить с этими людьми, чтобы увидать, что все они, и помещик, и судья, и министр, и царь, и губернатор, и офицеры, и солдаты не только в глубине души не одобряют такие дела, но страдают от сознания своего участия в них, когда, им напомнят о значении этого дела. Они только стараются не думать об этом.

Стоит только поговорить с ними, со всеми участниками этого дела, от помешика до последнего городового и солдата, чтобы увидать, что все они в глубине души знают, что это дело дурное и что лучше бы было не участвовать в нем, и страдают от этого.

Ехавшая с нами в одном поезде либеральная дама, увидав в зале 1-го класса губернатора и офицеров и узнав про цель их поездки, начала нарочно, громко, так, чтобы они слышали, ругать порядки нашего времени и срамить людей, участвующих в этом деле. Всем стало неловко. Все не знали, куда смотреть, но никто не возражал ей. Едущие в поезде делали вид, что не стоит возражать на такие пустые речи. Но было видно по лицам и бегающим глазам, что всем было стыдно. Это же я заметил и на солдатах. И они знали, что то дело, на которое они ехали,– дурное дело, но не хотели думать о том, что предстоит им.

Когда лесоторговец, и то, как я думаю, не искренно, а только для того, чтобы показать свою цивилизованность, начал говорить о том, как необходимы такие меры, то солдаты, слышавшие его, все отворачивались от него, делая вид, что не слышат, и хмурились.

Все эти люди, как те, которые, как помещик, управляющий, министр, царь, содействовали совершению этого дела, так же как и те, которые едут теперь в этом поезде, даже и те, которые, не участвуя в этом деле, видят со стороны совершение его, все знают, что

дело это дурное, и стыдятся своего участия в нем и даже присутствия при нем.

Так зачем же они делали, делают и терпят его?

Спросите об этом и тех, которые, как помещик, затеяли дело, и тех, которые, как судьи, постановили, хотя и формально законное, но явно несправедливое решение, и тех, которые предписали исполнение решения, и тех, которые, как солдаты, городовые и крестьяне, своими руками будут исполнять эти дела: бить и убивать своих братьев,– все они, и подстрекатели, и пособники, и исполнители, и попустители этих преступлений, все скажут в сущности одно и то же.

Начальствующие, возбуждавшие, содействовавшие делу и распоряжавшиеся им, скажут, что делают то, что делают, потому, что такие дела необходимы для поддержания существующего порядка; поддержание же существующего порядка необходимо для блага отечества, человечества, для возможности общественной жизни и движения прогресса.

Люди низших сословий, крестьяне, солдаты, те, которые своими руками должны будут исполнять насилие, скажут, что они делают то, что делают, потому, что это предписано высшим начальством, а высшее начальство знает, что оно делает. То же, что начальство состоит из тех самых людей, которые и должны быть начальством, и знает, что делает, представляется им несомненной истиной. Если эти низшие исполнители и допускают возможность ошибки или заблуждения, то только в низших начальственных лицах; высшая же власть, от которой исходит всё, кажется им несомненно непогрешимой.

Хотя и различно объясняя мотивы своей деятельности, и те и другие, как начальствующие, так и подчиняющиеся, сходятся в том, что делают они то, что делают, потому, что существующий порядок есть тот самый порядок, который необходим и должен существовать в настоящее время и поддерживать который поэтому составляет священную обязанность каждого.

На этом признании необходимости и потому неизменности существующего порядка зиждется и то всегда всеми участниками государственных насилий приводимое в свое оправдание рассуждение о том, что так как существующий порядок неизменен, то отказ отдельного лица от исполнения возлагаемых на него обязанностей не изменит сущности дела, а может сделать только то, что на месте отказавшегося будет другой человек, который может исполнить дело хуже, т. е. еще жесточе, еще вреднее для тех людей, над которыми производится насилие.

Эта-то уверенность в том, что существующий порядок есть необходимый и потому неизменный порядок, поддерживать который составляет священную обязанность всякого человека, и дает добрым и в частной жизни нравственным людям возможность участвовать с более или менее спокойной совестью в таких делах, как то, которое совершалось в Орле и к совершению которого готовились люди, ехавшие в тульском поезде.

Но на чем же основана эта уверенность?

Понятно, что помещику приятно и желательно верить в то, что существующий порядок необходим и неизменен, потому что этот-то существующий порядок и обеспечивает ему доход с его сотен и тысяч десятин, благодаря которому он ведет свою привычную, праздную и роскошную жизнь.

Понятно тоже, что судья охотно верит в необходимость того порядка, вследствие которого он получает в 50 раз больше самого трудолюбивого чернорабочего. Также понятно это для высшего судьи, получающего 6 и более тысяч жалованья, и для всех высших чиновников. Только при этом порядке он, как губернатор, прокурор, сенатор, член разных советов, может получать свои несколько тысяч жалованья, без которых он тотчас же погиб бы с своей семьей, так как, кроме как на том месте, которое он занимает, он, по своим способностям, трудолюбию и знаниям, не мог бы получать и 0,001 того, что он получает. В том же положении и министр, и государь, и всякая высшая власть, с тою только разницей, что чем они выше и чем исключительнее их положение, тем им необходимее верить в то, что существующий порядок есть единственно возможный порядок, так как вне его они не только не могут получить равного положения, но должны будут пасть ниже всех других людей. Человек, поступивший вольным наймом в городовые за 10 рублей жалованья, которые он получит легко и во всяком другом месте, мало нуждается в сохранении существующего порядка и потому может и не верить в его неизменность. Но король или император, получающий на этом месте миллионы, знающий, что вокруг него есть тысячи людей, желающих столкнуть его и стать на его месте, знающий, что он нигде на другом месте не получит такого дохода и почета, знающий в большей части случаев, при более или менее деспотическом правлении, даже то, что, если его свергнут, его будут еще судить за всё то, что он делал, пользуясь своей властью,– всякий король или император не может не верить в неизменность и священность существующего порядка. Чем выше то положение, на котором стоит человек, чем оно выгоднее и поэтому шатче и чем страшнее и опаснее падение с него, тем более верит человек, занимающий это положение, в неизменность существующего порядка, и

поэтому с тем большим спокойствием совести может такой человек совершать как будто не для себя, а для поддержания этого порядка, дела дурные и жестокие.

Так это для всех начальствующих людей, занимающих положения выгоднее тех, которые они могли бы занять без существующего порядка, начиная от низших полицейских чиновников до высшей власти. Все эти люди более или менее верят в неизменность суще- ствуюшего порядка потому, главное, что он выгоден им.

Но что заставляет крестьян, солдат, стоящих на низшей ступени лестницы, не имеющих никакой выгоды от существующего порядка, находящихся в положении самого последнего подчинения и унижения, верить в то, что существующий порядок, вследствие которого они находятся в своем невыгодном и униженном положении, и есть тот самый порядок, который должен быть и который поэтому надо поддерживать, совершая для этого даже дурные, противные совести дела?

Что заставляет этих людей делать то ложное рассуждение, что существующий порядок неизменен и потому должно поддерживать его, тогда как очевидно, что, напротив, он только оттого неизменен, что они-то и поддерживают его?

Что заставляет вчера взятых от сохи и наряженных в эти безобразные, неприличные с голубыми воротниками и золотыми пуговицами одежды ехать с ружьями и саблями на убийство своих голодных отцов и братьев? У этих уже нет никаких выгод и никакой опасности потерять занимаемое положение, потому что положение их хуже того, из которого они взяты.

Начальствующие лица высших сословий: помещики, купцы, судьи, сенаторы, губернаторы, министры, цари, офицеры участвуют в таких делах, поддерживая существующий порядок, потому что этот порядок выгоден им. Кроме того, они, часто добрые, кроткие люди, чувствуют себя в состоянии участвовать в таких делах еще и потому, что участие их ограничивается подстрекательствами, решениями, распоряжениями. Все эти начальствующие люди не сами делают то, что они вызывают, решают и приказывают делать. Большею частью они даже не видят того, как делаются все те страшные дела, которые ими вызваны и предписаны.

Но несчастные люди низших сословий, не получаюшие от существующего порядка никакой выгоды, находящиеся, напротив, вследствие этого порядка в величайшем презрении, они-то, для поддержания этого невыгодного для них порядка сами своими руками вырывающие людей из семей, вяжущие их, запирающие их в тюрьмы, каторги, стерегущие, стреляющие их,– зачем они это делают?

Что заставляет этих людей верить в то, что существующий порядок неизменен и что должно поддерживать его?

Ведь всякое насилие зиждется только на них, на этих людях, которые своими руками бьют, вяжут, запирают, убивают. Ведь если бы не было этих людей – солдат или полицейских, вообще вооруженных, готовых по приказанию насиловать, убивать всех тех, кого им велят, ни один из тех людей, которые подписывают приговоры казней, вечных заключений, каторг, никогда не решился бы сам повесить, запереть, замучить одну тысячную часть тех, которых он теперь спокойно, сидя в кабинете, распоряжается вешать и всячески мучить только потому, что он этого не видит, а делает это не он, а где-то вдалеке покорные исполнители.

Ведь все те несправедливости и жестокости, вошедшие в обычай существуюшей жизни, вошли в обычай только потому, что есть эти люди, всегда готовые поддерживать эти несправедливости и жестокости. Ведь если бы не было этих людей, то не только некому было бы насиловать все эти огромные массы насилуемых людей, но распоряжающиеся никогда и не решились бы не только предписывать, но не смели бы и мечтать о том, что они теперь с уверенностью предписывают. Ведь если бы не было этих людей, готовых по воле тех, кому они подчиняются, истязать, убивать того, кого велят, никто никогда не решился бы утверждать то, что с уверенностью утверждают все неработающие землевладельцы, а именно, что земля, окружающая мрущих от безземелья крестьян, есть собственность человека, не работающего на ней, и что мошеннически собранные хлебные запасы должны храниться в целости среди умирающего с голода населения, потому что купцу нужны барыши и т. п. Не будь этих людей, готовых по воле начальства истязать и убивать всякого, кого велят, не могло бы никогда прийти в голову помещику отнять у мужиков лес, ими выращенный, и чиновникам считать законным получение своих жалований, собираемых с голодного народа за то, что они угнетают его, не говоря уже о том, чтобы казнить, или запирать, или изгонять людей за то, что они опровергают ложь и проповедуют истину. Ведь всё это требуется и делается только потому, что все эти начальствующие люди несомненно уверены, что у них всегда под руками покорные люди, готовые привести всякие их требования в исполнение посредством истязаний и убийств.

Ведь только оттого совершаются такие дела, как те, которые делали все тираны от Наполеона до последнего ротного командира, стреляющего в толпу, что их одуряет стоящая за ними власть из покорных людей, готовых исполнять всё, что им прикажут. Вся сила, стало быть, в людях, исполняющих своими руками дела насилия, в людях, служащих в полиции, в солдатах, преимущественно в сол

датах, потому что полиция только тогда совершает свои дела, когда за нею стоят войска.

Так что же привело этих-то, не имеющих от этого никакой выгоды, принужденных своими руками делать все эти страшные дела, добрых людей, от которых зависит всё дело, что привело этих добрых людей в то удивительное заблуждение, при котором они уверились, что существующий невыгодный, губительный и мучительный для них порядок и есть тот самый порядок, который и должен существовать?

Кто ввел их в это удивительное заблуждение?

Не сами же они уверили себя в том, что им нужно делать то, что не только мучительно, невыгодно и губительно для них и для всего их сословия, составляющего 0,9 всего населения, но и противно их совести.

Как же ты будешь убивать людей, когда в законе божьем сказано: не убий? – много раз спрашивал я у различных солдат и всегда приводил этим вопрошаемого, напоминая ему то, о чем он хотел бы не думать, в неловкое и смущенное положение. Он знал, что есть обязательный закон Бога: не убий, и знал, что есть обязательная военная служба, но никогда не думал, что тут есть противоречие. Смысл робких ответов, которые я получал на этот вопрос, состоял всегда приблизительно в том, что убийство на войне и казнь преступников по распоряжению правительства не включается в общее запрещение убийств. Но когда я говорил, что такого ограничения не сделано в Божьем законе, и упоминал об обязательном для всех христианском учении братства, прощения обид, любви, которые никак не могли согласоваться с убийством, люди из народа обыкновенно соглашались, но уже с своей стороны задавали мне вопрос: каким же образом делается то, спрашивали они, что правительство, которое, по их понятиям, не может ошибаться, распоряжается, когда нужно, войсками, посылая их на войну, и казнями преступников? Когда же я отвечал на это, что правительство, распоряжаясь такими делами, поступает неправильно, собеседник приходил в еще большее смущение и либо прекращал разговор, либо раздражался на меня.

«Стало быть, нашли такой закон. Я, чай, архиереи не хуже нашего знают»,– сказал мне на это один русский солдат. И, сказав это, солдат, очевидно, почувствовал себя успокоенным, вполне уверенный, что руководители его нашли закон, тот самый, по которому служили его предки, служат цари, наследники царей и миллионы людей и служит он сам, и что то, что я ему говорил, была какая- нибудь хитрость или тонкость вроде загадки.

Все люди нашего христианского мира знают, несомненно знают и по преданию, и по откровению, и по непререкаемому голосу совести, что убийство есть одно из самых страшных преступлений, которые только может сделать человек, как это и сказано в Евангелии, и что не может быть этот грех убийства ограничен известными людьми, т. е. что одних людей грех убить, а других не грех. Все знают, что если грех убийства – грех, то он грех всегда, независимо от тех людей, над которыми он совершается, как грех прелюбодеяния, воровства и всякий другой, но вместе с тем люди с детства, смолоду видят, что убийство не только признается, но благословляется всеми теми, которых они привыкли почитать своими духовными, от Бога поставленными руководителями, видят, что светские руководители их с спокойной уверенностью учреждают убийства, носят на себе, гордясь ими, орудия убийства и от всех требуют, во имя закона гражданского и даже божеского, участия в убийстве. Люди видят, что тут есть какое-то противоречие, и, не будучи в силах распутать его, невольно предполагают, что противоречие это происходит только от их незнания. Самая грубость и очевидность противоречия поддерживает их в этом убеждении. Не могут они себе представить, чтобы просветители их, ученые люди, могли с такою уверенностью проповедовать два кажущиеся столь противоположными положения: обязанность для людей христианского закона и убийства. Не может себе простой неиспорченный ребенок, а потом юноша представить, чтобы те люди, так высоко стоящие в его мнении, которых он считает или священными, или учеными, для каких бы то ни было целей могли бы так бессовестно обманывать его. А это-то самое и сделано и, не переставая, делается над ним. Делается, во-1-х, тем, что всем рабочим людям, не имеющим времени самим разбирать нравственные и религиозные вопросы, с детства и до старости, примером и прямым поучением внушается, что истязания и убийства совместимы с христианством и что для известных государственных целей не только могут быть допущены, но и должны быть употребляемы истязания и убийства; во-2-х, тем, что некоторым из них, отобранным по набору, по воинской повинности или найму, внушается, что совершение своими руками истязаний и убийств составляет священную обязанность и даже доблестный, достойный похвал и вознаграждений поступок.

Общий обман, распространенный на всех людей, состоит в том, что во всех катехизисах или заменивших их книгах, служащих теперь обязательному обучению детей, сказано, что насилие, т. е. истязание, заключения и казни, равно как и убийства на междоусобной или внешней войне для поддержания и защиты существующего государственного устройства (какое бы оно ни было, самодержав

ное, монархическое, конвент, консульство, империя того или другого Наполеона или Буланже, конституционная монархия, коммуна или республика), совершенно законны и не противоречат ни нравственности, ни христианству.

Во всех катехизисах или книгах, употребляемых в школах, сказано это. И люди так уверяются в этом, что вырастают, живут и умирают в этом убеждении, ни разу не усомнившись в нем.

Это один обман – общий, обман, производимый над всеми людьми; другой есть обман частный, производимый над отобранными тем или другим способом солдатами или полицейскими, исполняющими нужные для поддержания и защиты существующего строя истязания и убийства.

Во всех военных уставах сказано теми или другими словами то, что сказано в русском военном уставе следующими словами (§ 87): Точно и беспрекословно исполнять приказания начальства значит: полученное от начальства приказание в точности исполнить, не рассуждая о том, хорошо оно или нет и возможно ли его исполнить. Сам начальник отвечает за последствия отданного им приказания. (§ 88). Подчиненный не должен исполнять приказания начальника только в том случае, когда он ясно видит, что, исполняя приказание начальника, он...– невольно думаешь, что будет сказано: когда ясно видит, что, исполняя приказание начальника, он нарушает закон Бога. Ничуть не бывало: ***если он ясно видит, что нарушает присягу, и верность, и службу государю.***

Сказано, что человек, будучи солдатом, может и должен без исключения совершать ***все*** приказания начальника, состоящие для солдата преимущественно в убийстве, и, следовательно, нарушать все законы божеские и человеческие, но только не свою верность и службу тому, кто в данный момент случайно находится в обладании властью.

Так это сказано в русском военном уставе и точно то же, хотя и другими словами, сказано во всех военных уставах, как оно и не может быть иначе, потому что в сущности на этом обмане освобождения людей от повиновения Богу или своей совести и замене этого повиновения повиновением случайному начальнику основано всё могущество войска и государства.

Так вот на чем основывается та странная уверенность низших сословий в том, что существующий губительный для них порядок есть тот самый, который и должен быть, и что потому они должны истязаниями и убийствами поддерживать его.

Уверенность эта основывается на сознательном обмане, совершаемом над ними высшими сословиями.

Оно и не может быть иначе. Для того, чтобы заставить низшие, самые многочисленные классы людей угнетать и мучить самих себя, совершая при этом поступки, противные своей совести, необходимо было обмануть эти низшие, самые многочисленные классы. Так оно и сделано.

На днях я опять видел открытое совершение этого бесстыдного обмана и опять удивлялся на то, как беспрепятственно и нагло совершается он.

В начале ноября, проезжая по Туле, я увидал опять у ворот дома земской управы знакомую мне густую толпу народа, из которой слышались вместе пьяные голоса и жалостный вой матерей и жен. Это был рекрутский набор.

Как и всегда, я не мог проехать мимо этого зрелища; оно притягивает меня к себе какими-то злыми чарами. Я опять вошел в толпу, стоял, смотрел, расспрашивал и удивлялся на ту беспрепятственность, с которою совершается это ужаснейшее преступление среди бела дня и большого города.

Как и все прежние года, во всех селах и деревнях 100-миллионной России к 1-му ноября старосты отобрали по спискам назначенных ребят, часто своих сыновей, и повезли их в город.

Дорогой шло безудержное пьянство, в котором старшие не мешали рекрутам, чувствуя, что идти на такое безумное дело, на которое они шли, бросая жен, матерей, отрекаясь от всего святого только для того, чтобы сделаться чьими-то бессмысленными орудиями убийства, слишком мучительно, если не одурманить себя вином.

И вот они ехали, пьянствовали, ругались, пели, дрались, уродовали себя. Ночь они провели на постоялых дворах. Утром опять опохмелились и собрались у земской управы.

Одна часть их в новых полушубках, в вязаных шарфах на шеях, с влажными пьяными глазами или с дикими подбадривающими себя криками, или тихие и унылые толкутся около ворот между заплаканными матерями и женами, дожидаясь очереди (я застал тот день, в который шел самый прием, т. е. осмотр назначенных в ставку); другая часть в это время толпится в прихожей присутствия.

В присутствии же идет спешная работа. Отворяется дверь, и сторож вызывает Петра Сидорова. Петр Сидоров вздрагивает, крестится, и входит в маленькую комнатку с стеклянной дверью. В этой комнатке раздеваются призываемые. Только что принятый и вышедший голым из присутствия рекрут, товарищ Петра Сидорова, с дрожащей челюстью торопливо одевается. Петр Сидоров уже слышал и по лицу видит, что тот принят. Петр Сидоров хочет спросить, но его торопят и велят скорее раздеваться. Он скидыва

ет полушубок, нога об ногу сапоги, снимает жилет, перетягивает через голову рубаху и с выступающими ребрами, голый, дрожа телом и издавая запах вина, табаку и пота, босыми ногами входит в присутствие, не зная, куда деть обнаженные жилистые руки.

В присутствии висит прямо на виду в большой золотой раме портрет государя в мундире с лентой и в углу маленький портрет Христа в рубахе и терновом венке. По середине комнаты стоит покрытый зеленым сукном стол, на котором разложены бумаги и стоит треугольная штучка с орлом, называемая зерцало. Вокруг стола сидят с уверенным, спокойным видом начальники. Один курит, другой перелистывает бумаги. Как только Сидоров вошел, к нему подходит сторож, и его ставят под мерку, толкают под подбородок, поправляют его ноги. Подходит один с папироской – это доктор, и, не глядя в лицо рекрута, а куда-то мимо, гадливо дотрагивается до его тела и меряет, щупает и велит сторожу разевать ему рот, велит дышать, что-то говорить. Кто-то что-то записывает. Наконец, ни разу не взглянув ему в глаза, доктор, говорит: «Годен! Следующего!» и с усталым видом садится опять к столу. Опять солдаты толкают малого, торопят его. Он кое-как, поспешая, натягивает рубаху, не попадая в рукава, кое-как завертывает штаны, портянки, надевает сапоги, ищет шарф, шапку, подхватывает в охапку полушубок, и его выводят в залу, отгораживая его скамьей. За этой скамьей ждут принятые. Такой же, как он, молодой малый из деревни, но из дальней губернии, уже готовый солдат с ружьем, с примкнутым острым штыком караулит его, готовый заколоть его, если бы он вздумал бежать.

Между тем толпа отцов, матерей, жен, толкаемая городовыми, жмется у ворот, узнавая, чей принят, чей нет. Выходит один забракованный и объявляет, что Петруху приняли, и раздается взвизг Петрухиной молодайки, для которой это слово; «принят», значит разлука на 4–5 лет, жизнь солдатки в кухарках, в распутстве.

Но вот по улице проехал человек с длинными волосами и в особенном, отличающемся от всех наряде и, сойдя с дрожек, подходит к дому земской управы. Городовые расчищают ему дорогу между толпою. «Приехал «батюшка» приводить к присяге». И вот этот батюшка, которого уверили, что он особенный, исключительный служитель Христа, большей частью не видящий сам того обмана, под которым он находится, входит в комнату, где ждут принятые, надевает занавеску парчовую, выпростывая из-за нее длинные волосы, открывает то самое Евангелие, в котором запрещена клятва, берет крест, тот самый крест, на котором был распят Христос за то, что он не делал того, что велит делать этот мнимый его служитель, кладет их на аналой, и все эти несчастные, беззащитные и обманутые

ребята повторяют за ним ту ложь, которую он смело и привычно произносит. Он читает, а они повторяют: обещаюсь и клянусь всемогущим Богом пред святым его Евангелием... и т. д. защищать, т. е. убивать всех тех, кого мне велят, и делать всё то, что мне велят те люди, которых я не знаю и которым я нужен только на то, чтобы совершать те злодеяния, которыми они держатся в своем положении и которыми угнетают моих братьев. Все принятые ребята бессмысленно повторяют эти дикие слова, и так называемый «батюшка» уезжает с сознанием того, что он правильно и добросовестно исполнил свой долг, а все эти обманутые ребята считают, что те нелепые, не понятные им слова, которые они только что произнесли, теперь, на всё время их солдатства, освободили их от их человеческих обязанностей и связали их новыми, более обязательными солдатскими обязанностями.

И дело это совершается публично, и никто не крикнет обманывающим и обманутым: опомнитесь и разойдитесь, ведь это всё самая гнусная и коварная ложь, которая губит не только ваши тела, но и души.

Никто не делает этого; напротив, когда всех приняли и надо выпускать их, как бы в насмешку им, воинский начальник с самоуверенными, величественными приемами входит в залу, где заперты обманутые, пьяные ребята, и смело по-военному кричит им: Здорово, ребята! Поздравляю с ***«царской службой».*** И они бедные (уже кто-то научил их) лопочут что-то непривычным, полупьяным языком, вроде того, что они этому рады.

Между тем толпа отцов, матерей, жен стоит у дверей и ждет. Женщины заплаканными, остановившимися глазами смотрят на дверь. И вот она отворяется, и выходят, шатаясь и кружась, принятые рекрута: и Петруха, и Ванюха, и Макар, стараясь не смотреть на своих и не видеть их. Раздается вой матерей и жен. Одни обнимаются и плачут, другие храбрятся, третьи утешают. Матери, жены, зная, что они теперь на три, четыре, пять лет остались сиротами без кормильца, воют и наголос причитают. Отцы мало говорят, а только с сожалением чмокают языками и вздыхают, зная, что теперь уж не видать им выхоженных ими и выученных помощников, а вернутся к ним уж не те смирные, работающие земледельцы, какими они были, а большей частью уже развращенные, отвыкшие от простой жизни щеголи-солдаты.

И вот вся толпа рассаживается по саням и трогается вниз по улице к постоялым дворам и трактирам, и еще громче раздаются вместе, перебивая друг друга, песни, рыдания, пьяные крики, причитания матерей и жен, звуки гармонии и ругательства. Все отправляются в кабаки, трактиры, доход с которых поступает прави

тельству, и идет пьянство, заглушающее в них чувствуемое сознание беззаконности того, что делается над ними.

Две-три недели они живут дома и большею частью гуляют, т. е. пьянствуют.

В назначенный срок их собирают, сгоняют, как скотину, в одно место и начинают обучать солдатским приемам и учениям. Обучают их этому такие же, как они, но только раньше, года два-три назад, обманутые и одичалые люди. Средства обучения; обманы, одурения, пинки, водка. И не проходит года, как душевноздоровые, умные, добрые ребята, становятся такими же дикими существами, как и их учителя.

— Ну, а если арестант – твой отец и бежит? – спросил я у одного молодого солдата.

— Могу заколоть штыком,– отвечал он особенным, бессмысленным солдатским голосом.– А если «удаляется», *должен* стрелять,– прибавил он, очевидно гордясь тем, что он знает, что нужно делать, когда отец его станет удаляться.

И вот когда он, добрый молодой человек, доведен до этого состояния, ниже зверя, он таков, какой нужен тем, которые употребляют его как орудие насилия. Он готов: погублен человек, и сделано новое орудие насилия.

И всё это совершается каждый год, каждую осень везде, по всей России, среди бела дня и большого города, на виду у всех, и обман так искусен, так хитер, что все видят его, знают в глубине души всю гнусность его, все страшные последствия его и не могут освободиться от него.

Когда откроются глаза на этот ужасный, совершаемый над людьми, обман, то удивляешься на то, как могут проповедники религии христианства, нравственности, воспитатели юношества, просто добрые, разумные родители, которые всегда есть в каждом обществе, проповедовать какое бы то ни было учение нравственности среди общества, в котором открыто признается всеми церквами и правительствами, что истязания и убийства составляют необходимое условие жизни всех людей, и что среди всех людей всегда должны находиться особенные люди, готовые убить братьев, и что каждый из нас может быть таким же?

Как же учить детей, юношей, вообще просвещать людей, не говоря уже о просвещении в духе христианском, но как учить детей, юношей, вообще людей какой бы то ни было нравственности рядом с учением о том, что убийство необходимо для поддержания обще

го, следовательно, нашего благосостояния и потому законно, и что есть люди, которыми может быть и каждый из нас, обязанные истязать и убивать своих ближних и совершать всякого рода преступления по воле тех, в руках кого находится власть. Если можно и должно истязать и убивать и совершать всякого рода преступления по воле тех, в руках кого находится власть, то нет и не может быть никакого нравственного учения, а есть только право сильного. Оно так и есть. В сущности такое учение, для некоторых теоретически оправдываемое теорией борьбы за существование, царствует в нашем обществе.

И действительно, какое же может быть нравственное учение, при котором можно допустить убийство для каких бы то ни было целей? Это так же невозможно, как какое бы то ни было математическое учение, при котором можно допустить, что 2 равно 3.

Может быть при допущении того, что 2 равно 3, подобие математики, но не может быть никакого действительного математического знания. И при допущении убийства в виде казни, войны, самозащиты, может быть только подобие нравственности, но никакой действительной нравственности. Признание жизни каждого человека священной есть первое и единственное основание всякой нравственности.

Учение око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь оттого и отменено христианином, что это учение есть только оправдание безнравственности, есть только подобие справедливости и не имеет никакого смысла. Жизнь есть величина, не имеющая ни веса, ни меры и не могущая быть приравнена никакой другой, и потому уничтожение жизни за жизнь не имеет смысла. Кроме того, всякий закон общественный есть закон, имеющий целью улучшение жизни людей. Каким же образом может уничтожение жизни некоторых людей улучшать жизнь людей? Уничтожение жизни не есть акт улучшения жизни, но акт самоубийства.

Уничтожение чужой жизни для соблюдения справедливости подобно тому, что бы сделал человек, когда для того, чтобы поправить беду, состоящую в том, что он лишился одной руки, он для справедливости отрубил бы себе и другую.

Но не говоря уже о грехе обмана, при котором самое ужасное преступление представляется людям их обязанностью, не говоря об ужасном грехе употребления имени и авторитета Христа для узаконения наиболее отрицаемого этим Христом дела, как это делается в присяге, не говоря уже о том соблазне, посредством которого губят не только тела, но и души «малых сих», не говоря обо всем этом, как могут люди даже в виду своей личной безопасности допускать то, чтобы образовывалась среди них, людей, дорожащих сво

ими формами жизни, своим прогрессом, эта ужасная, бессмысленная и жестокая и губительная сила, которую составляет всякое организованное правительство, опирающееся на войско? Самая жестокая, ужасная шайка разбойников не так страшна, как страшна такая государственная организация. Всякий атаман разбойников все-таки ограничен тем, что люди, составляющие его шайку, удерживают хотя долю человеческой свободы и могут воспротивиться совершению противных своей совести дел. Но для людей, составляющих часть правильно организованного правительства с войском, при той дисциплине, до которой оно доведено теперь, для таких людей нет никаких преград. Нет тех ужасающих преступлений, которые не совершили бы люди, составляющие часть правительства, и войска по воле того, кто случайно (Буланже, Пугачев, Наполеон) может стать во главе их.

Часто, когда видишь не только рекрутские наборы, учения военных, маневры, но городовых с заряженными револьверами, часовых, стоящих с ружьями и налаженными штыками, когда слышишь (как я слышу в Хамовниках, где я живу) целыми днями свист и шлепанье пуль, влипающих в мишень, и видишь среди города, где всякая попытка самоуправства, насилия запрещается, где не разрешается продажа пороха, лекарств, быстрая езда, бездипломное лечение и т. п., видишь в этом же городе тысячи дисциплинированных людей, обучаемых убийству и подчиненных одному человеку,– спрашиваешь себя: да как же те люди, которые дорожат своей безопасностью, могут спокойно допускать и переносить это? Ведь, не говоря о вреде и безнравственности, ничего не может быть опаснее этого. Что же глядят все, не говорю уже христиане, христианские пастыри, все человеколюбцы, моралисты, что глядят все те люди, которые хоть только дорожат своей жизнью, безопасностью, благосостоянием? Ведь организация эта будет действовать всё так же, в чьих бы руках она ни находилась; нынче власть эта, положим, в руках сносного правителя, но завтра ее может захватить Бирон, Елизавета, Екатерина, Пугачев, Наполеон первый, третий. Да и тот человек, в руках которого находится власть, нынче еще сносный, завтра может сделаться зверем, или на его место может стать сумасшедший или полусумасшедший его наследник, как баварский король или Павел.

Да не только высшие правители; все эти маленькие сатрапы, которые распространены везде, как разные Барановы, полицеймейстеры, даже становые, ротные командиры, урядники могут совершить страшные злодеяния прежде, чем успеют их сменить, как это и бывает беспрестанно.

Невольно спрашиваешь себя: как же допускают это люди, уже не ради высших правительственных соображений, а ради совей безопасности?

Ответ на этот вопрос тот, что допускают это не все люди (одни – большая часть людей – обманутые и подчиненные, и не могут не допускать чего бы то ни было), а допускают это люди, занимающие только при такой организации выгодное положение в обществе; допускают потому, что для этих людей риск пострадать оттого, что во главе правительства или войска станет безумный или жестокий человек, всегда меньше тех невыгод, которым они подвергаются в случае уничтожения самой организации.

Судья, полицейский, губернатор, офицер будет занимать свое положение безразлично при Буланже или республике, при Пугачеве или Екатерине. Потеряет же он свое положение наверное, если распадется существующий порядок, который обеспечивает ему его выгодное положение. И потому все эти люди не боятся того, кто станет во главе организации насилия, они подделаются ко всякому, но боятся только уничтожения самой организации и потому всегда, часто даже бессознательно, поддерживают ее.

Часто удивляешься на то, зачем свободные люди, ничем к этому не принужденные, так называемый цвет общества, поступают в военную службу в России, в Англии, Германии, Австрии, даже Франции и ищут случая стать убийцами! Зачем родители, нравственные люди, отдают детей в заведения, приготовляющие к военному делу? Зачем матери, как любимые игрушки, покупают детям кивера, ружья, шашки? (Дети крестьян никогда не играют в солдаты.) Зачем добрые мужчины и даже женщины, ничем не причастные к военному делу, восторгаются разными подвигами Скобелевых и других и старательно расхваливают их; зачем люди, ничем к этому не принужденные, не получающие за это жалованья, как в России предводители, посвящают целые месяцы усидчивого труда на совершение физически тяжелого и нравственно мучительнейшего дела – приема рекрут? Зачем все- императоры, короли ходят в военных нарядах, зачем делают маневры, парады, раздают награды военным, ставят памятники генералам и завоевателям? Зачем люди свободные, богатые считают честью поступить в лакейские должности к коронованным особам, унижаются, льстят им и притворяются в том, что они верят в особенное величие этих лиц? Зачем люди, давно не верующие в средневековые церковные суеверия и не могущие верить в них, серьезно и неуклонно притворяются верующими, поддерживая соблазнительное и кощунственное религиозное учреждение? Зачем с такою ревностью ограждается невежество народа не только правительствами, но людьми

свободными из высшего общества? Зачем они с такою яростью нападают на всякую попытку разрушения религиозных суеверий и на истинное просвещение народа? Зачем люди – историки, романисты, поэты, ничего уже не могущие получить за свою лесть, расписывают героями давно умерших императоров, королей или военоначальников? Зачем люди, называющие себя учеными, посвящают целые жизни на составление теорий, по которым выходило бы, что насилие, совершаемое властью над народом, не есть насилие, а какое-то особенное право?

Часто удивляешься на то, зачем, с какой стати светской женщине или художнику, казалось бы не интересующимся ни социальными, ни военными вопросами, осуждать стачки рабочих и проповедовать войну, и всегда так определенно нападать на одну сторону и защищать другую?

Но удивляешься всему этому только до тех пор, пока не поймешь, что делается это только потому, что все люди правящих классов всегда инстинктивно чувствуют, что поддерживает и что разрушает ту организацию, при которой они могут пользоваться теми преимуществами, которыми они пользуются.

Светская барыня и не делала рассуждения о том', что если не будет капиталистов и не будет войск, которые защищают их, то у мужа не будет денег, а у нее не будет ее салона и нарядов; и художник не делал такого же рассуждения о том, что капиталисты, защищаемые войсками, нужны ему для того, чтобы было кому покупать его картину; но инстинкт, заменяющий в этом случае рассуждение, безошибочно руководит ими. И точно тот же инстинкт руководит, за малыми исключениями, всеми людьми, поддерживающими все те политические, религиозные, экономические учреждения, которые выгодны для них.

Но неужели люди высших сословий могут поддерживать этот порядок вещей только потому, что он им выгоден? Не могут эти люди не видеть того, что этот порядок вещей сам по себе неразумен, не соответствует уже степени сознания людей и даже общественному мнению и исполнен опасностей. Не могут люди правящих классов,– честные, добрые, умные люди из них, не страдать от этих внутренних противоречий и не видеть опасностей, которыми им угрожает этот порядок. И неужели люди низших сословий, все миллионы этих людей могут совершать с спокойным духом все очевидно злые дела, истязания и убийства, к которым их принуждают, только потому, что боятся наказаний? И действительно, этого не могло бы быть, и ни те, ни другие не могли бы не видеть неразумности своей деятельности, если бы особенность государственного

устройства не скрывала от тех и других людей всей неестественности и неразумности совершаемых ими дел.

Неразумность эта скрывается тем, что при совершении каждого из таких дел в нем бывает столько подстрекателей, пособников, попустителей, что ни один из участвующих в деле не чувствует себя в нем нравственно ответственным.

Убийцы заставляют всех присутствующих при убийстве ударить уже убитую жертву, с тем чтобы ответственность распределилась между небольщим количеством людей. Это самое, сложившись в определенные формы, установилось и в государственном устройстве при совершении всех тех преступлений, без постоянного совершения которых немыслимо никакое государственное устройство. Государственные правители всегда стремятся привлечь наибольшее количество граждан к наибольшему участию во всех совершаемых ими и необходимых для них преступлениях.

В последнее время это особенно ярко выразилось через привлечение граждан в суды в качестве присяжных, в войска в качестве солдат и в местное управление, в законодательное собрание в качестве избирателей и представителей.

Через государственное устройство, в котором, как в сплетенной из прутьев корзине, все концы так спрятаны, что нельзя найти их, ответственность в совершаемых преступлениях так скрывается от людей, что люди, совершая самые ужасные дела, не видят своей ответственности в них.

В старину за совершение злодейств обвиняли тиранов, но в наше время совершаются самые ужасные, немыслимые при Неронах преступления, и винить некого.

Одни потребовали, другие решили, третьи подтвердили, четвертые предложили, пятые доложили, шестые предписали, седьмые исполнили. Убьют, повесят, засекут женщин, стариков, невинных, как у нас в России недавно на Юзовском заводе и как это делается везде в Европе и Америке – в борьбе с анархистами и всякими на- рущителями существующего порядка: расстреляют, убьют, повесят сотни, тысячи людей, или, как это делают на войнах,– побьют, погубят миллионы людей, или как это делается постоянно,– губят души людей в одиночных заключениях, в развращенном состоянии солдатства, и никто не виноват.

На низшей ступени общественной лестницы – солдаты с ружьями, пистолетами, саблями истязают и убивают людей и этими же истязаниями и убийствами заставляют людей поступать в солдаты и вполне уверены, что ответственность за эти поступки снята с них тем начальством, которое предписывает им их поступки.

На высшей ступени – цари, президенты, министры, палаты предписывают эти истязания, и убийства, и вербовку в солдаты и вполне уверены в том, что так как они или от Бога поставлены на свое место, или то общество, которым они управляют, требует от них того самого, что они предписывают, то они и не могут быть виноваты.

В середине между теми и другими находятся промежуточные лица, которые распоряжаются истязаниями и убийствами и вербовкой в солдаты и вполне уверены, что ответственность отчасти снята с них предписаниями свыше, отчасти тем, что этих самых распоряжений требуют от них все, стоящие на низших ступенях.

Власть предписывающая и власть исполняющая, лежащая на двух пределах государственного устройства, сходятся, как два конца, соединенные в кольцо, и одна обусловливает и поддерживает другую и все промежуточные звенья.

Без убеждения в том, что есть то лицо или те лица, которые берут на себя всю ответственность совершаемых дел, не мог бы ни один солдат поднять руки на истязание или убийство. Без убеждения в том, что этого требует весь народ, не мог бы никогда ни один император, король, президент, ни одно собрание предписать эти самые истязания и убийства. Без убеждения в том, что есть лица, выше его стоящие и берущие на себя ответственность в его поступке, и люди, стоящие ниже его, которые требуют для своего блага исполнения таких дел, не мог бы ни один из людей, находящихся на промежуточных между правителем и солдатом ступенях, совершать те дела, которые он совершает.

Устройство государственное таково, что, на какой бы ступени общественной лестницы ни находился человек, степень невменяемости его всегда одна и та же; чем выше он стоит на общественной лестнице, тем больше он подлежит воздействию требования распоряжений снизу и тем меньше подлежит воздействию предписаний сверху, и наоборот.

Так, в том случае, который был передо мною, каждый из людей, участвовавших в этом деле, находился тем более под воздействием снизу требования распоряжений и тем менее под воздействием приказаний свыше, чем выше было его положение, и наоборот.

Но мало того, что все люди, связанные государственным устройством, переносят друг на друга ответственность за совершаемые ими дела: крестьянин, взятый в солдаты,– на дворянина или купца, поступившего в офицеры, а офицер – на дворянина, занимающего место губернатора, а губернатор – на сына чиновника или дворянина, занимающего место министра, а министр – на члена царского дома, занимающего место царя, а царь опять на всех этих

чиновников, дворян, купцов и крестьян; мало того, что люди этим путем избавляются от сознания ответственности за совершаемые ими дела, они теряют нравственное сознание своей ответственности еще и оттого, что, складываясь в государственное устройство, они так продолжительно, постоянно и напряженно уверяют себя и других в том, что все они не одинаковые люди, а люди, различающиеся между собою, «как звезда от звезды», что начинают искренно верить в это. Так, одних людей они уверяют в том, что они не простые, одинаковые с другими людьми, а люди особенные, которые должны быть особенно возвеличиваемы, другим же внушают всеми средствами, что они ниже всех других людей и потому должны безропотно подчиняться тому, что им предписывают высшие.

На этом-то неравенстве и возвеличении одних людей и уничтожении других и основывается преимущественно та способность людей не видеть неразумия существуюещго порядка жизни и жестокости и преступности его, и того обмана, который совершают одни и которому подвергаются другие.

Одни, те, которым внушено, что они облечены особенным, сверхъестественным значением и величием, так опьяняются этим своим воображаемым величием, что перестают уже видеть свою ответственность в совершаемых ими делах; другие люди, те, которым, напротив, внушается то, что они ничтожные существа, долженствующие во всем покоряться высшим, вследствие этого постоянного состояния унижения впадают в странное состояние опьянения подобострастия и под влиянием этого опьянения тоже не видят значения своих поступков и теряют сознание ответственности в них. Серединные же люди, отчасти подчиняясь высшим, отчасти считая себя высшими, подпадают одновременно опьянению и власти и подобострастия и от этого теряют сознание своей ответственности.

Стоит только взглянуть при каком-нибудь народе на опьяненного величием высшего начальника, сопутствуемого своим штатом: всё это на великолепных, разубранных лошадях, в особенных мундирах и знаках отличия, когда он под звуки стройной и торжественной трубной музыки проезжает перед фронтом замерших от подобострастия солдат, держащих на караул,– стоит взглянуть на это, чтобы понять, что в эти минуты, находясь в этом высшем состоянии опьянения, одинаково и высший начальник, и солдат, и все средние между ними могут совершать такие поступки, которые они никогда бы не подумали совершать при других условиях.

Но опьянение, испытываемое людьми при таких явлениях, как парады, выходы, церковные торжества, коронации, суть состояния временные и острые, но есть другие – хронические, постоянные состояния опьянения, которые одинаково испытывают и люди, име

ющие какую бы то ни было власть, от власти царя до полицейского, стоящие на улице, и люди, подчиняющиеся власти и находящиеся в состоянии опьянения подобострастием, для оправдания этого своего состояния всегда приписывающие, как это проявлялось и проявляется у всех рабов, наибольщее значение и достоинство тем, кому они повинуются.

На этом обмане неравенства людей и вытекающего из него опьянения власти и подобострастия и зиждется преимущественно способность людей, соединенных в государственное устройство, совершать, не испытывая укоров совести, дела, противные ей.

Под влиянием такого опьянения – одинаково власти и подобострастия – люди представляются себе и другим уже не тем, что они есть в действительности,– людьми, а особенными, условными существами: дворянами, купцами, губернаторами, судьями, офицерами, царями, министрами, солдатами, подлежащими уже не обыкновенным человеческим обязанностям, а прежде всего и предпочтительно перед человеческими – дворянским, купеческим, губернаторским, судейским, офицерским, царским, министерским, солдатским обязанностям.

Так, помещик, судившийся за лес, сделал то, что он сделал, только потому, что он представлялся себе не простым человеком, который имеет такие же права на жизнь, как и все те люди – крестьяне, живущие с ним рядом, а представлялся себе крупным собственником и членом дворянского сословия, и вследствие этого под влиянием опьянения власти чувствовал себя оскорбленным притязаниями крестьян. Только от этого он, невзирая на те последствия, которые могли возникнуть из его требования, послал прошение о восстановлении своего мнимого права.

Точно так же судьи, присудившие неправильно лес помешику, потому только и сделали то, что сделали, что они представляются себе не просто людьми, такими же, как и все другие, и потому обязанными во всех делах руководиться только тем, что они считают правдой, а под опьянением власти представляются себе блюстителями правосудия, которые не могут ошибаться, и под влиянием же опьянения подобострастия представляются себе людьми, обязанными исполнять написанные в известной книге слова, называемые законом. Точно такими же условными лицами, а не тем, что они суть на самом деле, под влиянием опьянения власти или подобострастия, представляются людям и самим себе и все другие участники этого дела от царя, подписавшего согласие на докладе министра и предводителя, набиравшего в рекрутском наборе солдат, и священника, обманывавшего их, до последнего солдата, готовящегося теперь стрелять в своих братьев. Все они сделали то, что сделали, и

готовятся делать то, что предстоит им, только потому, что представляются себе и другим не тем, что они суть в действительности,– людьми, перед которыми стоит вопрос; участвовать или не участвовать в дурном, осуждаемом их совестью деле, а представляются себе и другим различными условными лицами: кто – царем-помазанником, особенным существом, призванным к попечению о благе 100 миллионов людей, кто – представителем дворянства, кто – священником, получившим особенную благодать своим посвящением, кто – солдатом, обязанным присягой без рассуждения исполнять всё, что ему прикажут.

Только под влиянием опьянения власти и подобострастия, вытекающих из их воображаемых положений, и могли и могут все эти люди делать то, что делают.

Не будь у всех этих людей твердого убеждения в том, что звания царей, министров, губернаторов, судей, дворян, землевладельцев, предводителей, офицеров, солдат суть нечто действительно существующее и очень важное, ни один из этих людей не подумал бы без ужаса и отвращения об участии в таких делах, которые они делают теперь.

Условные положения, установленные сотни лет назад, признававшиеся веками и теперь признаваемые всеми окружающими и обозначаемые особенными названиями и особыми нарядами, кроме того подтверждаемые всякого рода торжественностью, воздействием на внешние чувства, до такой степени внушаются людям, что они, забывая обычные и общие всем условия жизни, начинают смотреть на себя и всех людей только с этой условной точки зрения и только этой условной точкой зрения руководствуются в оценке своих и чужих поступков.

Так, вполне душевно здоровый и старый уже человек, только оттого, что на него надета какая-нибудь побрякушка или шутовской наряд, ключи на заднице или голубая лента, приличная только для наряжающейся девочки, и ему внушено при этом, что он генерал, камергер, андреевский кавалер или тому подобная глупость, вдруг делается от этого самоуверен, горд и даже счастлив, или, наоборот оттого, что лишается или не получает ожидаемой побрякушки и клички, становится печальным и несчастным, так что даже заболевает. Или, что еще поразительнее, вполне в остальном здоровый душевно, молодой, свободный и даже обеспеченный человек только оттого, что он назвался и его назвали судебным следователем или земским начальником, хватает несчастную вдову от ее малолетних детей и запирает или устраивает ее заключение в тюрьме, оставляя без матери ее детей, и всё это из-за того, что эта несчастная тайно торговала вином и этим лишила казну 25 рублей дохода, и не чув

ствует при этом ни малейшего раскаяния. Или, что еще удивительнее, в остальном разумный и кроткий человек, только оттого, что на него надета бляха или мундир и ему сказано, что он сторож или таможенный солдат, начинает стрелять пулей в людей, и ни он, ни окружающие не только не считают его в этом виноватым, но считают его виноватым, когда он не стрелял; не говорю уже про судей и присяжных, приговаривающих к казням, и про военных, убивающих тысячи без малейшего раскаяния только потому, что им внушено, что они не просто люди, а присяжные, судьи, генералы, солдаты.

Такое постоянное неестественное и странное состояние людей в государственной жизни выражается словами обыкновенно так: «Как человек, я жалею его, но как сторож, судья, генерал, губернатор, царь, солдат я должен убить или истязать его», точно как будто может быть какое-нибудь данное или признанное людьми положение, которое могло бы упразднить обязанности, налагаемые на каждого из нас положением человека.

Так, например, в настоящем случае люди едут на убийство и истязание голодных людей и признают, что в споре крестьян с помещиком – крестьяне правы (это говорили мне все начальствующие), знают, что крестьяне несчастны, бедны, голодны; помещик богат и не внушает сочувствия, и все эти люди все-таки едут убивать крестьян для того, чтобы приобрести этим помещику 3000 рублей, только потому, что эти люди воображают себя в эту минуту не людьми, а – кто губернатором, кто чиновником, кто жандармским генералом, кто офицером, кто солдатом, и считают для себя обязательными не вечные требования совести человека, а случайные, временные требования своих офицерских, солдатских положений.

Как ни странно сказать это, единственное объяснение этого удивительного явления – то, что люди эти находятся в том же состоянии, в котором находятся те загипнотизированные люди, которым, как говорят, приказывают воображать или чувствовать себя в известных условных положениях и действовать так, как бы действовали те существа, которых они изображают; как, например, когда загипнотизированному лицу внушено, что он хромой, и он начинает хромать, слепой, и он не видит, что он зверь, и он начинает кусаться. В таком состоянии находятся не только люди, едущие в этом поезде, но и все люди, исполняющие свои общественные и государственные обязанности предпочтительно и в ущерб человеческим.

Сущность этого состояния в том, что люди под влиянием внушенной им одной мысли не в силах обсуживать своих поступков и потому делают, не рассуждая, всё то, что в соответствии с внушенной мыслью предписывается им и на что они наводятся посредством примера, совета или намека.

Разница между загипнотизированными искусственным способом и теми, которые находятся под влиянием государственного внушения, состоит в том, что искусственно загипнотизированным внушено их воображаемое положение вдруг, одним лицом и в самый короткий промежуток времени, и потому внушение это представляется нам в резкой, удивляющей нас форме, тогда как людям, действующим под государственным внушением, их воображаемое положение внушается им исподволь, понемногу, незаметно, с детства, иногда не только годами, но целыми поколениями, и кроме того внушается не одним лицом, а всеми окружающими их.

«Но,– скажут на это,– всегда во всех обществах большинство людей; все дети, все поглощаемые трудом детонощения, рождения и кормления женщины, все огромные массы рабочего народа, поставленные в необходимость напряженной и неустанной физической работы, все от природы слабые духом, все люди ненормальные, с ослабленной духовной деятельностью вследствие отравления никотином, алкоголем и опиумом или других причин,– все эти люди всегда находятся в том положении, что, не имея возможности мыслить самостоятельно, подчиняются или тем людям, которые стоят на более высокой степени разумного сознания, или преданиям семейным или государственным, тому, что называется общественным мнением, и в этом подчинении нет ничего неестественного и противоречивого».

И действительно, в этом нет ничего неестественного, и способность людей маломыслящих подчиняться указаниям людей, стоящих на высшей степени сознания, есть всегдашнее свойство людей, то свойство, вследствие которого люди, подчиняясь одним и тем же разумным началам, могут жить обществами; одни – меньшинство – сознательно подчиняясь одним и тем же разумным началам, вследствие согласия их с требованиями своего разума; другие – большинство – подчиняясь тем же началам бессознательно только потому, что эти требования стали общественным мнением. Такое подчинение маломыслящих людей общественному мнению не представляет ничего неестественного до тех пор, пока общественное мнение не раздвояется.

Но бывают времена, когда открывшаяся сначала некоторым людям высшая против прежней степень сознания истины, равномерно переходя от одних к другим, захватывает такое большое количество людей, что прежнее общественное мнение, основанное на низшей степени сознания, начинает колебаться и новое уже готово установиться, но еще не установилось. Бывают такие времена, подобные весне, когда старое общественное мнение еще не разрушилось и новое еще не установилось, когда люди уже начинают обсуживать по

ступки свои и других людей на основании нового сознания, а между тем в жизни по инерции, по преданию продолжают подчиняться началам, которые только в прежние времена составляли высшую степень разумного сознания, но которые теперь уже находятся в явном противоречии с ним. И тогда люди, с одной стороны, чувствуя необходимость подчиниться новому общественному мнению, и, с другой стороны, не решаясь отступать от прежнего, находятся в неестественном, колеблющемся состоянии. И в таком состоянии находятся по отнощению к христианским истинам не только люди этого поезда, но и большинство людей нащего времени.

В таком состоянии находятся одинаково и люди высщих сословий, пользующиеся исключительно выгодными положениями, и люди низших сословий, беспрекословно повинующиеся тому, что им предписывается.

Одни, люди правящих классов, не имея уже разумного объяснения занимаемых ими выгодных положений, поставлены в необходимость для удержания этих положений подавлять в себе высшие, разумные любовные способности и внушать самим себе необходимость своего исключительного положения; другие же, низшие сословия, задавленные трудом и умышленно одуряемые, находятся в постоянном состоянии внушения, неуклонно и постоянно производимом над ними людьми высших классов.

Только этим можно объяснить те удивительные явления, которыми наполнена наша жизнь и поразительным образцом которых представились мне те, встреченные мною 9-го сентября, знакомые мне, добрые, смирные люди, которые с спокойным духом ехали на совершение самого зверского, бессмысленного и подлого преступления. Не будь в этих людях каким-либо средством усыплена совесть, ни один человек из них не мог бы сделать одной сотой того, что они собираются сделать, и очень может быть, что и сделают.

Не то что в них нет той совести, которая запрещает им делать то, что они собираются делать, как ее, такой совести, не было в людях даже 400, 300, 200, 100 лет тому назад,– сжигавщих на кострах, пытавших, засекавших людей; она есть во всех этих людях, но только она усыплена в них; в одних – в начальствующих, в тех, которые находятся в исключительно выгодных положениях,– самовнушением, как называют это психиатры; в других, в исполнителях, в солдатах,– прямым, сознательным внушением, гипнотизацией, производимой высшими классами.

Совесть усыплена в этих людях, но она есть в них и сквозь то самовнушение и внушение, которое обладает ими, уже говорит в них и вот-вот может пробудиться.

Все эти люди находятся в положении подобном тому, в котором находился бы загипнотизированный человек, которому бы было внушено и приказано совершить дело, противное всему тому, что он считает разумным и добрым; убить свою мать или ребенка. Загипнотизированный человек чувствует себя связанным напущенным на него внушением, ему кажется, что он не может остановиться, но вместе с тем, чем ближе он подходит к времени и месту совершения поступка, тем сильнее подымается в нем заглушенный голос совести, и он всё больше и больше начинает упираться, корчиться и хочет пробудиться. И нельзя вперед сказать, сделает ли он, или не сделает внушенный ему поступок,– что возьмет верх: разумное сознание или неразумное внушение. Всё зависит от относительной силы того и другого.

Точно то же совершается теперь и в людях этого поезда и вообще во всех людях, совершающих в наще время государственные насилия и пользующихся ими.

Было время, когда люди, выехав с целью истязания и убийства, показания примера, не возвращались иначе, как соверщив то дело, на которое они ехали, и, соверщив такое дело, не мучились раскаяниями и сомнениями, а спокойно, засекщи людей, возвращались в семью и ласкали детей,– щутили, смеялись и предавались тихим семейным удовольствиям. Тогда и людям, пользовавшимся этими насилиями, и помещикам, и богачам и в голову не приходило, чтобы те выгоды, которыми они пользуются, имели бы прямую связь с этими жестокостями. Но теперь уже не то; люди знают уже или близки к тому, чтобы знать, что они делают и для чего делают то, что делают. Они могут закрывать глаза, заставлять бездействовать свою совесть, но с незакрытыми глазами и незаглущенной совестью они не могут уже – как те, которые соверщают их, так и те, которые ими пользуются,– не видеть того значения, которое имеют эти дела. Бывает, что люди понимают значение того, что они сделали, только уже после совершения дела; бывает и то, что они понимают это перед самым совершением его. Так, люди, распоряжавшиеся истязаниями в Нижнем Новгороде, Саратове, Орле, Юзовском заводе, поняли значение того, что они сделали, только после совершения дела и теперь мучаются стыдом перед общественным мнением и перед своей совестью. Мучаются и распорядители и исполнители. Я говорил с солдатами, исполнявщими такие дела, и они всегда старательно отклоняли разговор об этом; когда же говорили, то говорили с недоумением и ужасом. Бывают же случаи, когда люди опоминаются перед самым соверщением дела. Так, я знаю случай с фельдфебелем, во время усмирения избитым двумя мужиками и по- давщим об этом рапорт, но на другой день, как он увидал истяза

ния, совершенные над другими крестьянами, упросившим ротного командира разорвать рапорт и отпустить побивших его мужиков. Знаю случай, когда солдаты, назначенные расстреливать, отказывались повиноваться, и знаю много случаев, когда начальствующие отказывались распоряжаться истязаниями и убийствами. Так что люди, учреждающие насилия и совершающие их, иногда опоминаются много прежде совершения внушенного им дела, иногда же перед самым совершением его, иногда и после его.

Люди, едущие в этом поезде, выехали для истязания и убийства своих братьев, но никто не знает того, сделают или не сделают они то, для чего они едут. Как ни скрыта для каждого его ответственность в этом деле, как ни сильно во всех этих людях внушение того, что они не люди, а губернаторы, исправники, офицеры, солдаты, и что, как такие существа, они могут нарушать свои человеческие обязанности, чем ближе они будут подвигаться к месту своего назначения, тем сильнее в них будет подниматься сомнение о том: нужно ли сделать то дело, на которое они едут, и сомнение это дойдет до высшей степени, когда они подойдут к самому моменту исполнения.

Не может губернатор, несмотря на весь дурман окружающей обстановки, не задуматься в ту минуту, когда ему придется отдавать последнее решительное приказание об убийстве или истязании. Он знает, что дело орловского губернатора' вызвало негодование лучших людей обшества, и сам он уже под влиянием общественного мнения тех кругов, в которых он находится, не раз выражал неодобрение ему; он знает, что прокурор, который должен был ехать, прямо отказался от участия в деле, потому что считает это дело постыдным; знает и то, что в правительстве нынче-завтра могут произойти перемены, вследствие которых то, чем выслуживались вчера, может завтра сделаться причиной немилости; знает, что есть пресса, если не русская, то заграничная, которая может описать это дело и навеки осрамить его. Он уже чует то новое общественное мнение, которое отменяет то, что требовало прежнее. Кроме того, он не может быть вполне уверен в том, послушаются ли его в последнюю минуту исполнители. Он колеблется, и нельзя предугадать, что он сделает.

То же в большей или меньшей мере испытывают все чиновники и офицеры, едущие с ним. Все они знают в глубине души, что дело, которое делается,– постыдно, что участие в нем роняет и марает человека перед некоторыми людьми, мнением которых они уже дорожат. Они знают, что прийти к невесте или женщине, перед которой кокетничаещь, после убийства или истязания беззащитных людей – стыдно. И, кроме того, они так же, как и губернатор, сомне

ваются в том, наверное ли послушаются их солдаты. И как ни непохоже это на тот уверенный вид, с которым теперь все эти начальствующие люди движутся по станции и платформе, все они в глубине души не только страдают, но и колеблются. Даже затем и напускают они на себя этот самоуверенный тон, чтобы скрыть внутреннее колебание. И чувство это увеличивается по мере приближения их к месту действия.

И, как ни незаметно это и как ни странно сказать это, в таком же положении находится и вся эта масса молодых ребят, солдат, кажущихся столь покорными.

Все они уже не такие солдаты, какие были прежде, люди, отказавшиеся от трудовой естественной жизни и посвятившие свою жизнь исключительно разгулу, грабежу и убийству, как какие-нибудь римские легионеры или воины 30-летней войны, или даже хоть недавние 25-летние солдаты; всё это теперь большею частью люди, недавно взятые из семей, всё еще полные воспоминаниями о той доброй, естественной и разумной жизни, из которой они взяты.

Все эти большею частью крестьянские ребята знают, по какому делу они едут, знают, что помещики всегда обижают их братью, крестьян, и что поэтому и в этом деле должно быть то же. Кроме того, большая половина этих людей уже читает книги, и не все книги такие, в которых восхваляется военное дело, но есть и такие, в которых доказывается его безнравственность. Среди них служат часто свободомыслящие товарищи – вольноопределяющиеся и такие же молодые либеральные офицеры, и среди них уже заброщено зерно сомнения о безусловной законности и доблестности их деятельности. Правда, что все они прощли через ту страшную, искусную, веками выработанную муштровку, убивающую всякую самодеятельность человека, и так приучены к механическому повиновению, что при словах команды; Пальба шеренгой!.. Шеренга... Пли!., и т. п., у них сами собою поднимаются ружья и совершаются привычные движения. Но ведь «пли!» будет значить теперь не то, что забавляться, стреляя в мишень, а значит убивать своих измученных, обиженных отцов, братьев, которые, вот они, стоят кучей с бабами, ребятами на улице и что-то кричат, махая руками. Вот они – кто с редкой бородкой в заплатанном кафтане и лаптях, такой же, как оставшийся дома в Казанской или Рязанской губернии родитель, кто с седой бородой, с согнутой спиной, с большой палкой, такой же, как отцов отец – дед, кто молодой малый в сапогах и красной рубахе, такой же, каким год назад был он сам, тот солдат, который должен теперь стрелять в него. А вот и женщина в лаптях и паневе, такая же, как оставленная дома мать...

Неужели стрелять в них?

и Бог знает, что сделает каждый солдат в эту последнюю минуту. Одного малейшего указания на то, что этого нельзя делать, главное, что этого можно не делать, одного такого слова, намека будет тогда достаточно для того, чтобы остановить их.

Все люди, едущие в этом поезде, когда приступят к совершению того дела, на которое едут, будут в том же положении, в котором был бы загипнотизированный человек, которому внушено разрубить бревно, и он, подойдя уже к тому, что ему указано как бревно, и уже взмахнув топором, сам увидал бы или ему указали бы, что это не бревно, а его спящий брат. Он может совершить предписанное ему дело и может очнуться перед совершением его. Так же и все эти люди могут очнуться или не очнуться. Не очнутся они, и совершится такое же ужасное дело, какое было в Орле, и усилится в других людях то самовнушение и внушение, под влиянием которого они действуют; очнутся они, и не только не произойдет такого дела, но еще и многие из тех, которые узнают про оборот, который приняло дело, освободятся от того внушения, в котором они находились, или по крайней мере приблизятся к такому освобождению.

Но не только если все люди, едущие в этом поезде, очнутся и воздержатся от совершения начатого дела, если очнутся и воздержатся хоть некоторые из них и выскажут смело другим людям преступность этого дела, то и тогда воздействие этих нескольких людей может сделать то, что и остальные люди очнутся от того внушения, под которым они находились, и предполагаемое злодеяние не будет совершено.

Мало того, если даже хоть несколько людей, не участвующих в этом деле, но только присутствующих при приготовлениях к нему или узнавших про совершившиеся уже прежде подобные дела, не останутся равнодушными, а прямо и смело выскажут свое отвращение к участникам таких дел и укажут им на всю неразумность, жестокость и преступность их, то и это не пройдет бесследно.

Так это и было в настоящем случае. Стоило некоторым людям, участникам и неучастникам этого дела, свободным от внушения, еще тогда, когда только готовились к этому делу, смело высказывать свое негодование перед совершившимися в других местах истязаниями и отвращение и презрение к людям, участвовавшим в них, стоило в настоящем тульском деле некоторым лицам выразить нежелание участвовать в нем, стоило проезжавшей барыне и другим лицам тут же на станции высказать тем, которые ехали в этом поезде, свое негодование перед совершаемым ими делом, стоило одному из полковых командиров, от которых требовались части войск для усмирения, высказать свое мнение, что военные не могут быть палачами, и благодаря этим и некоторым другим, кажущимся не

важными частным воздействиям на людей, находящихся под внушением, дело приняло совсем другой оборот, и войска, приехав на место, не совершили истязаний, а только срубили лес и отдали его помещику.

Не будь в некоторых людях ясного сознания того, что то, что они делают,– дурно, и не будь вследствие этого воздействий в этом смысле людей друг на друга, произошло бы то, что было в Орле. Будь это сознание еще сильнее и потому количество этих воздействий больше, чем то, какое было, очень может быть, что губернатор с войсками не решился бы даже и срубить леса, отдавая его помещику. Будь это сознание еще сильнее и воздействий этих еще больше, очень может быть, что губернатор не решился бы даже ехать на место действия. Будь сознание еще сильнее и воздействий еще больше, очень может быть, что не решился бы и министр предписывать и государь утверждать такое решение.

Всё зависит, следовательно, от силы сознания каждым отдельным человеком христианской истины.

И потому, казалось бы, на усиление в себе и других ясности требований христианской истины и должна бы была быть направлена деятельность всех людей нашего времени, утверждающих, что они желают содействовать благу человечества.

Но удивительное дело: именно те люди, которые в наше время более всех других говорят, что заботятся об улучшении человеческой жизни, и считаются руководителями общественного мнения, утверждают, что этого-то и не нужно делать и что для улучшения положения людей существуют другие, более действительные средства. Люди эти утверждают, что улучшение жизни человеческой происходит не вследствие внутренних усилий отдельных людей сознания, уяснения и исповедания истины, а вследствие постепенного изменения общих внешних условий жизни, и что потому силы каждого отдельного человека должны быть направлены не на сознание и уяснение себе и исповедание истины, а на постепенное изменение в полезном для человечества направлении общих внешних условий жизни, всякое же исповедание отдельным человеком истины, несогласной с существующим порядком, не только не полезно, но вредно, потому что вызывает со стороны власти стеснения, мешающие этим отдельным людям продолжать их полезную для служения обществу деятельность. По учению этому все изменения в жизни человеческой происходят по тем же законам, по которым они происходят и в жизни животных.

Так что по учению этому все основатели религий, как Моисей и пророки, Конфуций, Лао-дзи, Будда, Христос и другие проповедовали свои учения, а последователи их принимали их не потому, что они любили истину, уясняли ее себе и исповедовали, а потому, что политические, социальные и, главное, экономические условия тех народов, среди которых появились и распространялись эти учения, были благоприятны для проявления и распространения их.

И потому главная деятельность человека, желающего служить обществу и улучщить положение человечества, должна по этому учению быть направлена не на уяснение истины и исповедание ее, а на улучщение внещних политических, социальных и, главное, экономических условий. Изменение же этих политических, социальных и экономических условий совершается посредством отчасти служения правительству и внесения в него либеральных и прогрессивных начал, отчасти содействием развитию промышленности и распространению социалистических идей и, главное, распространением научного образования.

По этому учению важно не то, чтобы исповедовать в жизни ту истину, которая открылась тебе, и вследствие этого неизбежно быть вынужденным осуществлять ее в жизни или по крайней мере не совершать поступков, противных исповедуемой истине: не служить правительству и не усиливать его власть, если считаешь власть эту вредною, не пользоваться капиталистическим строем, если считаешь этот строй неправильным, не выказывать уважения разным обрядам, если считаешь их вредным суеверием, не участвовать в судах, если считаешь их устройство ложным, не служить солдатом, не присягать, вообще не лгать, не подличать, а важно то, чтобы, не изменяя существующих форм жизни и, противно своим убеждениям, подчиняясь им, вносить либерализм в существующие учреждения: содействовать промышленности, пропаганде социализма и успехам того, что называется науками, и распространению образования. По этой теории можно, оставаясь землевладельцем, купцом, фабрикантом, судьей, чиновником, получающим жалованье от правительства, солдатом, офицером, быть при этом не только гуманным человеком, но даже социалистом и революционером.

Лицемерие, имевшее прежде одну религиозную основу в учении о падении рода человеческого, об искуплении и о церкви, в этом учении получило в наше время новую научную основу и вследствие этого захватило в свои сети всех тех людей, которые уже не могут по степени своего развития опираться на лицемерие религиозное. Так что если прежде только человек, исповедующий церковное религиозное учение, мог, признавая себя при этом чистым от всякого греха, участвовать во всех преступлениях, совершаемых государст-

вом, и пользоваться ими, если он только при этом исполнял внешние требования своего исповедания, то теперь и все люди, не верящие в церковное христианство, имеют такую же твердую светскую научную основу для признания себя чистыми и даже высоконравственными людьми, несмотря на свое участие в государственных злодеяниях и пользование ими.

Живет не в одной России, но где бы то ни было – во Франции, Англии, Германии, Америке – богатый землевладелец и за право, предоставляемое им людям, живущим на его земле, кормиться с нее, сдирает с этих большею частью голодных людей всё, что только он может содрать с них. Право собственности на землю этого человека основывается на том, что при каждой попытке угнетенных людей без его согласия воспользоваться землями, которые он считает своими, приходят войска и подвергают людей, захватывающих эти земли, истязаниям и убийствам. Казалось бы, очевидно, что человек, живущий так, есть злое и эгоистическое существо и никак не может считать себя христианином или либеральным человеком. Казалось бы очевидным, что первое, что должен сделать такой человек, если он хочет хоть сколько-нибудь приблизиться к христианству или либерализму, состоит в том, чтобы перестать грабить и губить людей посредством поддерживаемого правительством убийствами и истязаниями его права на землю. Но так бы это было, если бы не было метафизики лицемерия, которая говорит, что с религиозной точки зрения владение или невладение землей – безразлично для спасения, а с научной точки зрения – то, что отказ от владения землей был бы бесполезным личным усилием и что содействие благу людей совершается не этим путем, а постепенным изменением внешних форм. И вот этот человек, нисколько не смущаясь и не сомневаясь в том, что ему поверят, устроив земледельческую выставку, общество трезвости или разослав через жену и детей фуфайки и бульон трем старухам, смело в семье, в гостиных, в комитетах, печати проповедует евангельскую или гуманную любовь к ближнему вообще и в особенности к тому рабочему земледельческому народу, который он, не переставая, мучит и угнетает. И люди, находящиеся в том же положении, как и он, верят ему, восхваляют его и с ним вместе с важностью обсуждают вопросы о том, какими бы еще мерами улучшить положение того рабочего народа, на ограблении которого основана их жизнь, придумывая для этого всевозможные средства, но только не то одно, без которого невозможно никакое улучшение положения народа, и именно то, чтобы перестать отнимать у этого народа необходимую ему для пропитания землю.

Поразительнейшим примером такого лицемерия были заботы русских землевладельцев во время последнего года о борьбе с голодом, который они-то и произвели и которым они тут же пользовались, продавая не только хлеб по самой высокой цене, но картофельную ботву по 5 рублей за десятину на топливо мерзнущим крестьянам.

Или живет купец, вся торговля которого, как и всякая торговля, основана на ряде мошенничеств, посредством которых, пользуясь невежеством и нуждой людей, у них покупаются предметы ниже их стоимости и, пользуясь невежеством же, нуждой и соблазном, продаются назад выше стоимости. Казалось бы, очевидно, что человек, вся деятельность которого основана на том, что на его же языке называется мошенничеством, если только эти же дела совершаются при других условиях, должен бы стыдиться своего положения и никак уже не может, продолжая быть купцом, выставлять себя христианином или либеральным человеком. Но метафизика лицемерия говорит ему, что он может слыть добродетельным человеком, продолжая свою вредную деятельность: религиозному человеку нужно только верить, а либеральному нужно только содействовать изменению внешних условий – прогрессу промышленности. И вот этот купец (который часто кроме того совершает еще и ряд прямых мошенничеств, продавая дурное за хорошее, обвешивает, обмеривает или торгует исключительно губящими жизнь народа предметами, как вино, опиум) смело считает себя и считается другими, если только он прямо не обманывает в делах своих сотоварищей по обману, т. е. свою братью – купцов, то считается образцом честности и добросовестности. Если же он истратит 0,001 из украденных им денег на какое-нибудь общественное учреждение: больницу, музей, учебное заведение, то его считают еще и благотворителем того народа, на обмане и развращении которого основано всё его благосостояние; если же он пожертвовал часть украденных денег на церковь и бедных,– то и примерным христианином.

Или живет фабрикант, доход которого весь составляется из платы, отнятой у рабочих, и вся деятельность которого основана на принудительном, неестественном труде, губящем целые поколения людей; казалось бы, очевидно, что прежде всего, если человек этот исповедует какие-нибудь христианские или либеральные принципы, ему нужно перестать губить для своих барыщей человеческие жизни. Но по существующей теории он содействует промыщленности, и ему не нужно, даже было бы вредно для людей и общества, прекращать свою деятельность. И вот человек этот, жестокий, рабовладелец тысяч людей, устроив для искалеченных на его работе людей домики с двухаршинными садиками, и кассу, и богадельню,

больницу, вполне уверен, что он этим с излишком заплатил за все те погубленные и губимые им физически и духовно человеческие жизни, спокойно, гордясь ею, продолжает свою деятельность.

Или живет правитель или какой бы то ни было гражданский, духовный, военный слуга государства, служащий для того, чтобы удовлетворить свое честолюбие или властолюбие, или, что чаще всего бывает, для того только, чтобы получить собираемое с изнуренного, измученного работой народа жалованье (подати, от кого бы ни щли, всегда идут с труда, т. е. с рабочего народа), и если он, что очень редко бывает, еще прямо не крадет государственные деньги непривычным способом, то считает себя и считается другими, подобными ему, полезнейщим и добродетельнейщим членом общества.

Живет какой-нибудь судья, прокурор, правитель и знает, что по его приговору или рещению сидят сейчас сотни, тысячи оторванных от семей несчастных в одиночных тюрьмах, на каторгах, сходя с ума и убивая себя стеклом, голодом, знает, что у этих тысяч людей есть еще тысячи матерей, жен, детей, страдающих разлукой, ли- щенных свиданья, опозоренных, тщетно вымаливающих прощенья или хоть облегченья судьбы отцов, сыновей, мужей, братьев, и судья и правитель этот так загрубел в своем лицемерии, что он сам и ему подобные и их жены и домочадцы вполне уверены, что он при этом может быть очень добрый и чувствительный человек. По метафизике лицемерия выходит, что он делает полезное общественное дело. И человек этот, погубив сотни, тысячи людей, проклинающих его и отчаивающихся благодаря его деятельности в вере в добро и Бога, с сияющей, благодущной улыбкой на гладком лице идет к обедне, слушает Евангелие, произносит либеральные речи, ласкает своих детей, проповедует им нравственность и умиляется перед воображаемыми страданиями.

Живут все эти люди и те, которые кормятся около них, их жены, учителя, дети, повара, актеры, жокеи и т. п., живут той кровью, которая тем или другим способом, теми или другими пиявками высасывается из рабочего народа, живут так, поглощая каждый ежедневно для своих удовольствий сотни и тысячи рабочих дней замученных рабочих, принужденных к работе угрозами убийств, видят лищения и страдания этих рабочих, их детей, стариков, жен, больных, знают про те казни, которым подвергаются нарушители этого установленного грабежа, и не только не уменьшают свою роскошь, не скрывают ее, но нагло выставляют перед этими угнетенными, большею частью ненавидящими их рабочими, как бы нарочно дразня их, свои парки, дворцы, театры, охоты, скачки и вместе с тем, не переставая, уверяют себя и друг друга, что они все очень

озабочены благом того народа, который они, не переставая, топчут ногами, и по воскресеньям в богатых одеждах, на богатых экипажах едут в нарочно для издевательства над христианством устроенные дома и там слушают, как нарочно для этой лжи обученные люди на все лады, в ризах или без риз, в белых галстуках, проповедуют друг другу любовь к людям, которую они все отрицают всею своею жизнью. И, делая всё это, люди эти так входят в свою роль, что серьезно верят, что они действительно то самое, чем притворяются.

Всеобщее лицемерие, вошедшее в плоть и кровь всех сословий нашего времени, дошло до таких пределов, что ничто уже в этом роде никого уже не возмущает. Недаром гипокритство значит актерство, и притворяться – играть роль можно всякую. Такие явления, как то, что наместники Христа благословляют в порядке стоящих убийц, держащих заряженное на своих братьев ружье, на молитву; что священники, пастыри всяких христианских исповеданий всегда так же неизбежно, как и палачи, участвуют в казнях, своим присутствием признавая убийство совместимым с христианством (на опыте в Америке во время убийства электричеством присутствовал пастор),– все такие явления никого уже не удивляют.

Недавно была международная тюремная выставка в Петербурге, где выставляли орудия истязаний: кандалы, модели одиночных заключений, т. е. орудия пытки худшие, чем кнуты и розги, и чувствительные господа и дамы ходили осматривать это и веселились этим.

Никого не удивляет и то, как либеральная наука доказывает, рядом с признанием равенства, братства, свободы людей, необходимость войска, казней, таможен, цензуры, регламентации проституции, изгнания дешевых работников, запрещений эмиграции, необходимости и справедливости колонизации, основанной на отравлении, ограблении и уничтожении целых пород людей, называемых дикими, и т. п.

Говорят о том, что будет тогда, когда все люди будут исповедовать то, что называется христианством (т. е. различные враждебные между собой исповедания), когда все будут сыты и одеты, будут все соединены друг с другом с одного конца света до другого телеграфами, телефонами, будут сообщаться воздушными шарами, когда все рабочие проникнутся социальными учениями и когда рабочие союзы соберут столько-то миллионов членов и рублей, и все люди будут образованы, все будут читать газеты, знать все науки.

Но что же может произойти полезного и доброго от всех этих усовершенствований, если при этом люди не будут говорить и делать то, что они считают правдой?

Ведь бедствия людей происходят от разъединения. Разъединение же происходит оттого, что люди следуют не истине, которая одна, а лжам, которых много. Единственное средство соединения людей воедино есть соединение в истине. И потому, чем искреннее люди стремятся к истине, тем ближе они к этому соединению.

Но как же могут люди соединиться в истине или хотя бы приблизиться к ней, если они не только не высказывают ту истину, которую знают, но считают, что этого не нужно делать, и притворяются, что считают истиной то, что не считают истиной.

И потому никакое улучшение положения людей невозможно до тех пор, пока люди будут притворяться, т. е. сами от себя скрывать истину, до тех пор, пока не признают того, что единение их, а потому и благо их возможно только в истине, и потому не будут ставить выше всего другого признание и исповедание истины, той истины, которая открылась им.

Пусть совершатся все те внешние усовершенствования, о которых могут только мечтать религиозные и научные люди; пусть все люди примут христианство и пусть совершатся все те улучшения, которых желают разные Беллами и Рише со всевозможными добавлениями и исправлениями, но пусть при этом останется то лицемерие, которое есть теперь; пусть люди не исповедуют ту истину, которую они знают, а продолжают притворяться, что верят в то, во что не верят, и уважают то, чего не уважают, и положение людей не только останется то же, но будет становиться всё хуже и хуже. Чем будут сытее люди, чем больше будет телеграфов, телефонов, книг, газет, журналов, тем будет только больше средств распространения несогласных между собой лжей и лицемерия и тем больше будут разъединены и потому бедственны люди, как это и есть теперь.

Пусть совершатся все эти внешние изменения, и положение человечества не улучшится. Но пусть только каждый человек сейчас же в своей жизни по мере сил своих исповедует ту правду, которую он знает, или хотя по крайней мере пусть не защищает ту неправду, которую он делает, выдавая ее за правду, и тотчас же в нынешнем 93-м году совершились бы такие перемены к освобождению людей и установлению правды на земле, о которых мы не смеем мечтать и через столетия.

Недаром единственная не кроткая, а обличительная и жестокая речь Христа была обращена к лицемерам и против лицемерия. Развращает, озлобляет, озверяет и потому разъединяет людей не воровство, не грабеж, не убийство, не блуд, не подлоги, а ложь, та особенная ложь лицемерия, которая уничтожает в сознании людей различие между добром и злом, лишает их этим возможности избе

гать зла и искать добра, лишает их того, что составляет сущность истинной человеческой жизни, и потому стоит на пути всякого совершенствования людей.

Люди, не знающие истины и делающие зло, возбуждая в других сострадание к своим жертвам и отвращение к своим поступкам, делают зло только тем, над кем они совершают его, но люди, знающие истину и делающие зло, прикрытое лицемерием, делают зло и себе и тем, над кем его совершают, и еще тысячам и тысячам других людей, соблазняемых той ложью, которою они стараются прикрыть совершаемое ими зло.

Воры, грабители, убийцы, обманщики, совершающие дела, признаваемые злом ими самими и всеми людьми, служат примером того, чего не нужно делать, и отвращают людей от зла. Люди же, делающие те же дела воровства, грабежа, истязаний, убийств, прикрываясь религиозными и научными либеральными оправданиями, как это делают все землевладельцы, купцы, фабриканты и всякие слуги правительства нашего времени, призывают других к подражанию своим поступкам и делают зло не только тем, которые страдают от него, но тысячам и миллионам людей, которых они развращают, уничтожая для этих людей различие между добром и злом.

Одно состояние, нажитое торговлей предметами, необходимыми для народа или развращающими народ, или биржевыми операциями, или приобретением дешевых земель, которые потом дорожают от нужды народной, или устройством заводов, губящих здоровье и жизни людей, или посредством гражданской или военной службы государству, или какими-либо делами, потворствующими соблазнам людей,– состояние, приобретаемое такими делами не только с разрешения, но с одобрения руководителей общества, скрашенное при этом показною благотворительностью, без сравнения более развращает людей, чем миллионы краж, мошенничеств, грабежей, совершенных вне признанных законом форм и подвергающихся уголовному преследованию.

Одна казнь, совершенная не находящимися под действием страсти, достаточными, образованными людьми, с одобрения и с участием христианских пастырей и выставляемая как нечто необходимое и даже справедливое, развращает и озверяет людей больше, чем сотни и тысячи убийств, совершенных людьми рабочими, необразованными, да еще в увлечениях страсти. Казнь такая, какую предлагал устроить Жуковский, такая, при которой люди испытывали бы даже, как предлагал Жуковский, религиозное умиление, была бы самым развращающим действием, которое только можно себе представить. (См. VI том ПОЛИ. собр. соч. Жуковского.)

Всякая, самая короткая война с сопровождающими обыкновенно войну тратами, истреблениями посевов, воровствами, допускаемым развратом, грабежами, убийствами, с придумываемыми оправданиями необходимости и справедливости ее, с возвеличением и восхвалением военных подвигов, любви к знамени, к отечеству и с притворством забот о раненых и т. п.,– развращает в один год людей больще, чем миллионы грабежей, поджогов, убийств, совершаемых в продолжение сотни лет одиночными людьми под влиянием страстей.

Одна, степенно ведомая в пределах приличия роскощная жизнь благопристойной, так называемой добродетельной семьи, проедающей, однако, на себя столько рабочих дней, сколько достало бы на прокормление тысяч людей, в нищете живущих рядом с этой семьей,– более развращает людей, чем тысячи неистовых оргий грубых купцов, офицеров, рабочих, предающихся пьянству и разврату, разбивающих для потехи зеркала, посуду и т. п.

Одна торжественная процессия, молебствие или проповедь с амвона или кафедры лжи, в которую не верят проповедующие, производит без сравнения более зла, чем тысячи подлогов и фальсификаций пищи и т. п.

Говорят о лицемерии фарисеев. Но лицемерие людей нашего времени далеко превосходит невинное сравнительно лицемерие фарисеев. У тех был хоть внешний религиозный закон, из-за исполнения которого они могли не видеть своих обязанностей по отношению своих близких, да и обязанности-то эти были тогда еще неясно указаны; в наше же время, во-первых, нет такого религиозного закона, который освобождал бы людей от их обязанностей к близким, всем без различия (я не считаю тех грубых и глупых людей, которые думают еще и теперь, что таинства или разрешение папы могут разрешать их грехи); напротив, тот евангельский закон, который в том или другом виде мы все исповедуем, прямо указывает на эти обязанности, и кроме того эти самые обязанности, которые тогда в туманных выражениях были высказаны только некоторыми пророками, теперь уже так ясно высказаны, что стали такими труизмами, что их повторяют гимназисты и фельетонисты. И потому людям нашего времени, казалось бы, уж никак нельзя притворяться, что они не знают этих своих обязанностей.

Люди нашего времени, пользующиеся держащимся насилием порядком вещей и вместе с тем уверяющие, что они очень любят своих ближних и совсем не замечают того, что они всей своей жизнью делают зло этим ближним, подобны человеку, непрестанно грабившему людей, который бы, будучи, наконец, захвачен с поднятым ножом над отчаянным криком зовущей себе на помощь жертвой, уве

рял бы, что он не знал, что то, что он делал, было неприятно тому, кого он грабил и собирался резать. Ведь как нельзя этому грабителю и убийце отрицать того, что у всех на виду, так точно нельзя, казалось бы, теперь уже и людям нашего времени, живущим насчет страданий угнетенных людей, уверять себя и других, что они желают добра тем людям, которых они, не переставая, грабят, и что они не знали того, каким образом приобретается ими то, чем они пользуются.

Нельзя уж нам уверять, что мы не знали про те 100 тысяч человек в одной России, которые сидят всегда по тюрьмам и каторгам для обеспечения нашей собственности и спокойствия, и что мы не знаем про те суды, в которых мы сами участвуем и которые по нашим прошениям приговаривают покушающихся на нашу собственность и безопасность людей к тюрьмам, ссылкам и каторгам, в которых люди, нисколько не худшие, чем те, которые их судят, гибнут и развращаются; что мы не знали того, что всё, чтб мы имеем, мы имеем только потому, что это добывается и ограждается для нас убийством и истязаниями. Нельзя нам притворяться, что мы не видим того городового, который с заряженным револьвером ходит перед окнами, защищая нас в то время, как мы едим свой вкусный обед или смотрим новую пьесу, и про тех солдат, которые сейчас же выедут с ружьями и боевыми патронами туда, где будет нарушена наша собственность.

Ведь мы знаем, что если мы доедим свой обед, и досмотрим новую пьесу, и довеселимся на бале, на елке, на катанье, скачке или охоте, то только благодаря пуле в револьвере городового и в ружье солдата, которая пробьет голодное брюхо того обделенного, который из-за угла, облизываясь, глядит на наши удовольствия и тотчас же нарушит их, как только уйдет городовой с револьвером или не будет солдата в казармах, готового явиться по нашему первому зову.

И потому как человеку, пойманному среди бела дня в грабеже, никак нельзя уверять всех, что он замахнулся на грабимого им человека не затем, чтобы отнять у него его кошелек, и не угрожал зарезать его, так и нам, казалось бы, нельзя уже уверять себя и других, что солдаты и городовые с револьверами находятся около нас совсем не для того, чтобы оберегать нас, а для защиты от внешних врагов, для порядка, для украшения, развлечения и парадов, и что мы и не знали того, что люди не любят умирать от голода, не имея права вырабатывать себе пропитание из земли, на которой они живут, не любят работать под землей, в воде, в пекле, по 10–14 часов в сутки и по ночам на разных фабриках и заводах для изготовления предметов наших удовольствий. Казалось

бы, невозможно отрицать того, что так очевидно. А между тем это-то самое и делается.

И хотя и есть среди богатых живые люди, каких я, к счастью, встречаю всё чаще и чаще, особенно из молодых и женщин, которые при напоминании о том, как и чем покупаются их удовольствия, не стараясь скрыть истину, схватываются за голову и говорят: «Ах, не говорите об этом. Ведь если так, то жить нельзя»; хотя и есть такие искренние люди, которые, хотя и не могут избавиться от него, видят свой грех, огромное большинство людей нашего времени так вошло в свою роль лицемерия, что уж смело отрицает то, что режет глаза всякому зрячему.

«Всё это несправедливо,– говорят они,– никто не принуждает народ работать у землевладельцев и на фабриках. Это дело свободного договора. Крупная собственность и капиталы необходимы, потому что организуют работу и дают ее рабочему классу. Работы же на фабриках и заводах совсем не так ужасны, как вы их представляете. И если есть некоторые злоупотребления на фабриках, то правительство и общество принимают меры к тому, чтобы устранить их и сделать труд рабочих еще более легким и даже приятным. Рабочий народ привык к физическим работам и пока ни на что другое не способен. Бедность же народа происходит совсем не от землевладения, не от угнетения капиталистов, а от других причин; она происходит от необразования, грубости, пьянства народа. И мы, правительственные люди, противодействующие этому обеднению мудрым управлением, и мы, капиталисты, противодействующие этому распространением полезных изобретений, мы, духовенство,– религиозным обучением, а мы, либералы,– устройством союзов рабочих, увеличением и распространением образования, этим путем, не изменяя своего положения, увеличиваем благосостояние народа. Мы не хотим, чтобы все были бедны, как бедные, а хотим, чтобы все были богаты, как богатые. То же, что людей будто бы истязают и убивают для того, чтобы заставить их работать на богатых, есть софизм; войска посылаются против народа только тогда, когда народ, не понимая своей выгоды, бунтует и нарушает спокойствие, нужное для всеобщего блага. Так же необходимо и обуздание злодеев, для которых устроены тюрьмы, виселицы, каторги. Мы сами бы желали упразднить их и работаем в этом направлении».

Лицемерие в наше время, поддерживаемое с двух сторон; quasi- религией и quasi-наукой, дошло до таких размеров, что если бы мы не жили среди него, то нельзя бы было поверить, что люди могут дойти до такой степени самообмана. Люди дошли в наше время до того удивительного положения, что так огрубело сердце их, что они глядят и не видят, слушают и не слышат и не разумеют.

Люди уже давно живут жизнью, противной их сознанию. Если бы не было лицемерия, они не могли бы жить этой жизнью. Этот противный их сознанию строй жизни продолжается только потому, что он прикрыт лицемерием.

И чем больше увеличивается расстояние между действительностью и сознанием людей, тем больше растягивается и лицемерие. Но и лицемерию есть пределы. И мне кажется, что мы в наше время дошли до этого предела.

Каждый человек нашего времени с невольно усвоенным им христианским сознанием находится в положении, совершенно подобном положению спящего человека, который видит во сне, что он должен делать то, чего, как он знает это и во сне, он не должен делать. Он знает это в самой глубине своего сознания, и все-таки как будто не может изменить своего положения, не может остановиться и перестать делать то, чего, он знает, ему не должно делать. И, как это бывает во сне, положение его, становясь всё мучительнее и мучительнее, доходит, наконец, до последней степени напряжения, и тогда он начинает сомневаться в действительности того, что представляется ему, и делает усилие сознания, чтобы разорвать то наваждение, которое сковывает его.

В таком же положении находится средний человек нашего христианского мира. Он чувствует, что всё то, что делается им самим и вокруг него, есть что-то нелепое, безобразное, невозможное и противное его сознанию, чувствует, что положение это становится всё мучительнее и мучительнее и дошло уже до последней степени напряжения.

Не может этого быть: не может быть того, чтобы мы, люди нашего времени, с нашим вошедшим уже в нашу плоть и кровь христианским сознанием достоинства человека, равенства людей, с нашей потребностью мирного общения и единения народов, действительно жили бы так, чтобы всякая наша радость, всякое удобство оплачивалось бы страданиями, жизнями наших братий и чтобы мы при этом еще всякую минуту были бы на волоске от того, чтобы, как дикие звери, броситься друг на друга, народ на народ, безжалостно истребляя труды и жизни людей только потому, что какой-нибудь заблудший дипломат или правитель скажет или напишет какую-нибудь глупость другому такому же, как он, заблудшему дипломату или правителю.

Не может этого быть. А между тем всякий человек нашего времени видит, что это самое делается и это самое ожидает его. И положение становится всё мучительнее и мучительнее.

И как человек во сне не верит тому, чтобы то, что ему представляется действительностью, было бы точно действительностью, и хо

чет проснуться к другой, настоящей действительности, так точно и средний человек нашего времени не может в глубине души верить тому, чтобы то ужасное положение, в котором он находится и которое становится всё хуже и хуже, было бы действительностью, и хочет проснуться к настоящей действительности, к действительности уже живущего в нем сознания.

И как стоит человеку во сне только сделать усилие сознания и спросить себя: да не сон ли это? для того, чтобы мгновенно разрушилось казавшееся ему таким безнадежным положение и он проснулся бы к спокойной и радостной действительности, точно так же и современному человеку стоит только сделать усилие сознания, усомниться в действительности того, что ему представляет его собственное и окружающее его лицемерие, и спросить себя: да не обман ли это? чтобы он почувствовал себя тотчас же перешедшим так же, как и проснувшийся человек, из воображаемого и страшного мира в настоящую, спокойную и радостную действительность.

И для этого человеку не нужно делать никаких подвигов и поступков, а нужно сделать только внутреннее усилие сознания.

Но может ли человек сделать это усилие?

По существующей и необходимой для лицемерия теории человек не свободен и не может изменить своей жизни.

«Человек не может изменить своей жизни, потому что он не свободен; не свободен же он потому, что все поступки его обусловлены предшествующими причинами. И что бы ни делал человек, существуют всегда те или другие причины, по которым человек совершил те или другие поступки, и потому человек не может быть свободен и изменять сам свою жизнь»,– говорят защитники метафизики лицемерия. И они были бы совершенно правы, если бы человек был существо бессознательное и неподвижное по отношению истины, т. е., раз познав истину, всегда бы оставался на одной и той же степени познания ее. Но человек – существо сознательное и познающее всё большую и большую степень истины, и потому, если человек и не свободен в совершении тех или других поступков, потому что для каждого поступка существует причина, самые причины этих поступков, заключающиеся для сознательного человека в том, что он признает ту или другую истину достаточной причиной поступка, находятся во власти человека.

Так что человек, не свободный в совершении тех или других поступков, свободен в том, на основании чего совершаются поступки. Вроде того как машинист на паровозе, не свободный в том, чтобы

изменить уже совершившееся или совершающееся движение паровоза, свободен в том, чтобы вперед определить его будущие движения.

Что бы ни делал сознательный человек, он поступает так, а не иначе, только потому, что он или теперь признает, что истина в том, что должно поступать так, как он поступает, или потому, что он когда-то прежде признал это, теперь же только по инерции, по привычке поступает так, как он это признал должным прежде.

В том или другом случае причиной его поступка было не известное явление, а признание известного положения истиной и вследствие того признание того или другого явления достаточной причиной поступка.

Ест ли человек, или воздерживается от пищи, работает или отдыхает, бежит опасности или подвергается ей, если он сознательный человек, он поступает так, как поступает, только потому, что теперь считает это должным, разумным: считает, что истина состоит в том, чтобы поступать так, а не иначе, или уже давно прежде считал это.

Признание же известной истины или непризнание ее зависит не от внещних, а от каких-то других причин, находящихся в самом человеке. Так что иногда при всех внещних, казалось бы, выгодных условиях для признания истины один человек не признает ее, и, напротив, другой при всех самых невыгодных к тому условиях без всяких видимых причин признает ее. Как это и сказано в Евангелии: «и никто не придет ко мне, если отец не привлечет его к себе» (Иоан. VI, 44), т. е. что признание истины, составляющее причину всех явлений жизни человеческой, не зависит от внешних явлений, а от каких-то внутренних свойств человека, не подлежащих его наблюдению.

И потому человек, не свободный в своих поступках, всегда чувствует себя свободным в том, что служит причиной его поступков,– в признании или непризнании истины. И чувствует себя свободным не только независимо от внещних, происходящих вне его событий, но даже и от своих поступков.

Так, человек, соверщив под влиянием страсти поступок, противный сознанной истине, остается все-таки свободным в признании или непризнании ее, т. е. может, не признавая истину, считать свой поступок необходимым и оправдывать себя в совершении его, и может, признавая истину, считать свой поступок дурным и осуждать себя в нем.

Так, игрок или пьяница, не выдержавший соблазна и подпавший своей страсти, остается все-таки свободным признавать игру и пьянство или злом, или безразличной забавой. В первом случае он,

если и не тотчас избавляется от своей страсти, тем больше освобождается от нее, чем искреннее он признает истину; во втором же он усиливает свою страсть и лишает себя всякой возможности освобождения.

Точно так же и человек, не выдержавший жара и, не спасши своего товарища, выбежавший из горящего дома, остается свободным (признавая истину о том, что человек с опасностью своей жизни должен служить чужим жизням) считать свой поступок дурным и потому осуждать себя за него; или (не признавая эту истину) считать свой поступок естественным, необходимым и оправдывать себя в нем. В первом случае – в том, когда он признает истину, несмотря на свое отступление от нее, он готовит себе целый ряд неизбежно имеющих вытечь из такого признания самоотверженных поступков; во втором случае готовит целый ряд противоположных первым эгоистических поступков.

Не то чтобы человек был свободен всегда признавать или но признавать всякую истину. Есть истины, давно уже признанные или самим человеком, или переданные ему воспитанием, преданием и принятые им на веру, следование которым стало для него привычкой,– второй природой, и есть истины, только неясно, вдалеке представляющиеся ему. Человек одинаково несвободен в непризнании первых и в признании вторых. Но есть третий род истин, таких, которые не стали еще для человека бессознательным мотивом деятельности, но вместе с тем уже с такою ясностью открылись ему, что он не может обойти их и неизбежно должен так или иначе отнестись к ним, признать или не признать их. По отношению этих-то истин и проявляется свобода человека.

Всякий человек в своей жизни находится по отношению к истине в положении путника, идущего в темноте при свете впереди двигающегося фонаря; он не видит того, что еще не освещено фонарем, не видит и того, что он прошел и что закрылось уже темнотою, и не властен изменить своего отношения ни к тому, ни к другому; но он видит, на каком бы месте пути он ни стоял, то, что освещено фонарем, и всегда властен выбрать ту или другую сторону дороги, по которой движется.

Для каждого человека есть всегда истины, не видимые ему, не открывшиеся еще его умственному взору, есть другие истины, уже пережитые, забытые и усвоенные им, и есть известные истины, при свете его разума восставшие перед ним и требующие своего признания. И вот в признании или непризнании этих-то истин и проявляется то, что мы сознаем своей свободой.

Вся трудность и кажущаяся неразрешимость вопроса о свободе человека происходит оттого, что люди, решающие этот вопрос, представляют себе человека неподвижным по отношению истины.

Человек несомненно несвободен, если мы представим себе его неподвижным, если мы забудем, что жизнь человека и человечества есть только постоянное движение от темноты к свету, от низшей степени истины к высшей, от истины, более смешанной с заблуждениями, к истине, более освобожденной от них.

Человек был бы несвободен, если бы он не знал никакой истины, и точно так же не был бы свободен и даже не имел бы понятия о свободе, если бы вся истина, долженствующая руководить его в жизни, раз навсегда, во всей чистоте своей, без примеси заблуждений была бы открыта ему.

Но человек не неподвижен относительно истины, а постоянно, по мере движения своего в жизни, каждый отдельный человек, так же как и всё человечество, познает всё большую и большую степень истины и всё больше и больше освобождается от заблуждений. И потому люди всегда находятся в трояком отношении к истине: одни истины так уже усвоены ими, что стали бессознательными причинами поступков, другие только начинают открываться им, и третьи, хотя и не усвоены еще ими, до такой степени ясности открыты им, что они неизбежно так или иначе должны отнестись к ним, должны признать или не признать их.

И вот в признании или непризнании этих-то истин и свободен человек.

Свобода человека не в том, что он может независимо от хода жизни и уже существующих и влияющих на него причин совершать произвольные поступки, а в том, что он может, признавая открывшуюся ему истину и исповедуя ее, сделаться свободным и радостным делателем вечного и бесконечного дела, совершаемого Богом или жизнью мира, и может, не признавая эту истину, сделаться рабом ее и быть насильно и мучительно влекомым туда, куда он не хочет идти.

Истина не только указывает путь жизни человеческой, но открывает тот единственный путь, по которому может идти жизнь человеческая. И потому все люди неизбежно, свободно или не свободно пойдут по пути истины: одни – сами собою совершая предназначенное им дело жизни, другие – невольно подчиняясь закону жизни. Свобода человека в этом выборе.

Такая свобода, в таких узких пределах, кажется людям столь ничтожною, что они не замечают ее; одни (детерминисты) считают эту долю свободы столь малою, что вовсе не признают ее; другие, защитники полной свободы, имея в виду свою воображаемую свобо

ду, пренебрегают этой кажущейся им ничтожной степенью свободы. Свобода, заключенная между пределами незнания истины и признания известной степени ее, кажется людям не свободою, тем более, что, хочет или не хочет человек признать открывшуюся ему истину, он неизбежно будет принужден к исполнению ее в жизни.

Лошадь, запряженная вместе с другими в воз, не свободна не идти впереди воза. И если она не везет, воз будет бить ее по ногам, и она пойдет туда же, куда пойдет воз, и будет невольно везти его. Но, несмотря на эту ограниченную свободу, она свободна сама везти воз или быть влекомой им. То же и с человеком.

Велика ли, невелика ли эта свобода в сравнении с той фантастической свободой, которую мы бы хотели иметь, свобода эта одна несомненно существует, и свобода эта есть свобода, и в этой свободе заключается благо, доступное человеку.

И мало того, что свобода эта дает благо людям, она же есть и единственное средство совершения того дела, которое делается жизнью мира.

По учению Христа человек, который видит смысл жизни в той области, в которой она несвободна, в области последствий, т. е. поступков, не имеет истинной жизни. Истинную жизнь, по христианскому учению, имеет только тот, кто перенес свою жизнь в ту область, в которой она свободна,– в область причин, т. е. познания и признания открывающейся истины, исповедания ее, и потому неизбежно следующего,– как воз за лошадью, исполнения ее.

Полагая жизнь свою в делах плотских, человек делает те дела, которые всегда находятся в зависимости от пространственных и временных, вне его находящихся причин. Он сам даже ничего не делает, ему только кажется, что делает он, но в действительности творятся все те дела, которые ему кажется, что он делает, через него высшею силою, и. он не творец жизни, а раб ее; полагая же жизнь свою в признании и исповедании открывающейся ему истины, он, соединяясь с источником всеобщей жизни, совершает дела уже не личные, частные, зависящие от условий пространства и времени, но дела, не имеющие причины и сами составляющие причины всего остального и имеющие бесконечное, ничем не ограниченное значение.

Пренебрегая сущностью истинной жизни, состоящей в признании и исповедании истины, и напрягая свои усилия для улучшения своей жизни на внешние поступки, люди языческого жизнепонимания подобны людям на пароходе, которые бы для того, чтобы дойти до цели, заглушили бы паровик, мешающий им разместить гребцов, и в бурю старались бы, вместо того чтобы идти готовым уже паром и винтом, грести не достающими до воды веслами.

Царство Божие усилием берется, и только делающие усилие восхищают его,– и это-то усилие отречения от изменений внещних условий для признания и исповедания истины и есть то усилие, которым берется Царство Божие и которое должно и может быть сделано в наще время.

Стоит людям только понять это: перестать заботиться о делах внещних и общих, в которых они не свободны, а только одну сотую той энергии, которую они употребляют на внешние дела, употребить на то, в чем они свободны, на признание и исповедание той истины, которая стоит перед ними, на освобождение себя и людей от лжи и лицемерия, скрывавших истину, для того чтобы без усилий и борьбы тотчас же разрушился тот ложный строй жизни, который мучает людей и угрожает им еще худшими бедствиями, и осуществилось бы то Царство Божие или хоть та первая ступень его, к которой уже готовы люди по своему сознанию.

Как бывает достаточно одного толчка для того, чтобы вся насыщенная солью жидкость мгновенно перешла бы в кристаллы, так, может быть, теперь достаточно самого малого усилия для того, чтобы открытая уже людям истина охватила бы сотни, тысячи, миллионы людей,– установилось бы соответствующее сознанию общественное мнение, и вследствие установления его изменился бы весь строй существующей жизни. И сделать это усилие зависит от нас.

Только бы каждый из нас постарался понять и признать ту христианскую истину, которая в самых разнообразных видах со всех сторон окружает нас и просится нам в душу; только бы мы перестали лгать и притворяться, что мы не видим эту истину или желаем исполнять ее, но только не в том, чего она прежде всего требует от нас; только бы мы признали эту истину, которая зовет нас, и смело исповедовали ее, и мы тотчас же увидали бы, что сотни, тысячи, миллионы людей находятся в том же положении, как и мы, так же, как и мы, видят истину и так же, как и мы, только ждут от других признания ее.

Только бы перестали люди лицемерить, и они тотчас же увидали бы, что тот жестокий строй жизни, который один связывает их и представляется им чем-то твердым, необходимым и священным, от Бога установленным, уже весь колеблется и держится только той ложью лицемерия, которой мы вместе с подобными нам поддерживаем его.

Но если это так, если справедливо, что от нас зависит разрушить существующий строй жизни, имеем ли мы право разрушать его, не зная ясно того, что мы поставим на его место? Что будет с миром, если уничтожится существующий порядок вещей?

«Что будет там, за стенами оставляемого нами мира?»'

Страх берет – пустота, ширина, воля... Как идти, не зная куда, как терять, не видя приобретений!..

«Если бы Колумб так рассуждал, он никогда не снялся бы с якоря. Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги, по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой – вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если бы народы переезжали из одного готового hotel garni в другой, еще лучший,– было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане – ничего нет,– оно будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.

Если вы довольны старым миром,– старайтесь его сохранить, он очень хил и надолго его не станет; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре убеждений с жизнью, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных средневековых сводов на свой страх. Я очень знаю, что это нелегко. Шутка ли расстаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди готовы на страшные жертвы, но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями, плодов, которыми мы хвастаемся три столетия, лишиться всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность образованной дряхлости, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо лучше после нас?» (Герцен, т. V, с. 55).

Так говорил почти полстолетия тому назад русский писатель, своим проницательным умом уже тогда ясно видевший то, что видит теперь уже всякий самый мало размышляющий человек нашего времени: невозможность продолжения жизни на прежних основах и необходимость установления каких-то новых форм жизни.

С самой простой, низменной, мирской точки зрения уже ясно, что безумно оставаться под сводом не выдерживающего своей тяжести здания и надо выходить из него. И действительно, трудно придумать положение, которое было бы бедственнее того, в котором находится теперь христианский мир с своими вооруженными друг против друга народами, с своими постоянно неудержимо возрастающими для поддержания всё растущих этих вооружений податями, со всё разгорающейся ненавистью рабочего сословия к бога-

Слова Герцена.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

тому, с висящим надо всеми дамокловым мечом воины, всякую секунду готовым и необходимо долженствующим рано или поздно оборваться.

Едва ли какая-либо революция может быть бедственнее для большой массы народа постоянно существующего порядка или скорее беспорядка нащей жизни с своими обычными жертвами неестественной работы, нищеты, пьянства, разврата и со всеми ужасами предстоящей войны, имеющей поглотить в один год больще жертв, чем все революции нынещнего столетия.

Что будет с нами, со всем человечеством, если каждый из нас исполнит то, что требует от него Бог через вложенную в него совесть? Не будет ли беды оттого, что, находясь весь во власти хозяина, я в устроенном и руководимом им заведении исполню то, что он мне велит делать, но что мне, не знающему конечных целей хозяина, кажется странным?

Но даже не этот вопрос: «что будет?» тревожит людей, когда они медлят исполнить волю хозяина, их тревожит вопрос, как жить без тех привычных нам условий нашей жизни, которые мы называем наукой, искусством, цивилизацией, культурой. Мы чувствуем для себя лично всю тяжесть настоящей жизни, мы видим и то, что порядок жизни этой, если будет продолжаться, неизбежно погубит нас, но вместе с тем мы хотим, чтобы условия этой нашей жизни, выросшие из нее: наши науки, искусства, цивилизации, культуры при изменении нашей жизни остались бы целы. Вроде того, как если бы человек, живущий в старом доме, страдающий от холода и неудобств этого дома и знающий кроме того то, что дом этот вот- вот завалится, согласился бы на перестройку его только с тем, чтобы не выходить из него: условие, равняющееся отказу от перестройки дома. «А что, как я выйду из дома, лишусь на время всех удобств, а новый дом не построится или построится иначе и в нем не будет того, к чему я привык?»

Но ведь когда есть материал, его строители, то все вероятия за то, что новый дом построится лучше прежнего, а вместе с тем есть не только вероятие, но несомненность того, что старый дом завалится и задавит тех, которые останутся в нем. Удержатся ли прежние, привычные условия жизни, уничтожатся ли они, возникнут ли совсем новые, лучшие, нужно неизбежно выходить из старых, ставших невозможными и губительными, условий нашей жизни и идти навстречу будущего.

«Исчезнут науки, искусства, цивилизации, культуры!»

Да ведь всё это суть только различные проявления истины – предстоящее же изменение совершается только во имя приближения к истине и осуществления ее. Так как же могут исчезнуть про

явления истины вследствие осуществления ее? Они будут иные, лучшие и высшие, но никак не уничтожатся. Уничтожится в них то, что было ложно; то же, что было от истины, то только более процветет и усилится.

Одумайтесь, люди, и веруйте в Евангелие, в учение о благе. Если не одумаетесь, все так же погибнете, как погибли люди, убитые Пилатом, как погибли те, которых задавила башня Силоамская, как погибли миллионы и миллионы людей, убивавших и убитых, казнивших и казненных, мучащих и мучимых, и как глупо погиб тот человек, засыпавший житницы и сбиравшийся долго жить и умерший в ту же ночь, с которой он хотел начинать жизнь. «Одумайтесь, люди, и веруйте в Евангелие»,– говорил Христос 1800 лет тому назад и говорит еще с большей убедительностью теперь,– предсказанною им и совершившеюся теперь бедственностью и неразумностью нашей жизни, дошедшей теперь до последних пределов бедственности и неразумия.

Ведь теперь, после стольких веков тщетных стараний языческим устройством насилия обеспечить нашу жизнь, казалось бы, не может не быть очевидным для всякого, что все направленные к этой цели усилия вносят только новые опасности в жизнь и личную и общественную, но никак не обеспечивают ее.

Ведь, как бы мы ни назывались, какие бы мы ни надевали на себя наряды, чем бы и при каких священниках ни мазали себя, сколько бы ни имели миллионов, сколько бы охраны ни стояло по нашему пути, сколько бы полицейских ни ограждали наше богатство, сколько бы мы ни казнили так называемых злодеев-революционеров и анархистов, какие бы мы сами ни совершали подвиги, какие бы ни основывали государства и ни воздвигали крепости и башни от Вавилонской до Эйфелевой,– перед всеми нами всегда стоят два неотвратимые условия нашей жизни, уничтожающие весь смысл ее; 1) смерть, всякую минуту могущая постигнуть каждого из нас, и 2) непрочность всех совершаемых нами дел, очень быстро, бесследно уничтожающихся. Что бы мы ни делали: основывали государства, строили дворцы и памятники, сочиняли поэмы и песни,– всё это не надолго и всё проходит, не оставляя следа. И потому, как бы мы ни скрывали это от себя, мы не можем не видеть, что смысл жизни нашей не может быть ни в нашем личном плотском существовании, подверженном неотвратимым страданиям и неизбежной смерти, ни в каком-либо мирском учреждении или устройстве.

Кто бы ты ни был, читающий эти строки, подумай о твоем положении и о твоих обязанностях,– не о том положении землевладельца, купца, судьи, императора, президента, министра, священника, солдата, которое временно приписывают тебе люди, и не о тех воображаемых обязанностях, которые на тебя налагают эти положения, а о твоем настоящем, вечном положении существа, по чьей- то воле после целой вечности несуществования выщедщего из бессознательности и всякую минуту по чьей-то воле могущего возвратиться туда, откуда ты выщел. Подумай о твоих обязанностях: не о тех воображаемых обязанностях твоих землевладельца к своему имению, купца к капиталу, императора, министра, чиновника к государству, а о тех настоящих твоих обязанностях, которые вытекают из твоего настоящего положения существа, вызванного к жизни и одаренного разумом и любовью. То ли ты делаещь, что требует от тебя тот, кто послал тебя в мир и к которому ты очень скоро вер- нещься? То ли ты делаещь, что он хочет от тебя? То ли ты делаещь, когда, будучи землевладельцем, фабрикантом, ты отбираещь произведения труда бедных, строя свою жизнь на этом ограблении, или, будучи правителем, судьей, насилуещь, приговариваещь людей к казням, или, будучи военным, готовищься к войнам, воюещь, гра- бищь, убиваещь?

Ты говоришь, что так устроен мир, что это неизбежно, что ты не по своей воле делаещь это, но принужден к этому.– Но разве это может быть, чтобы в тебя заложено было с такой силой отвращение к страданиям людей, к истязаниям, к убийству их, чтобы в тебя вложена была такая потребность любви к людям и еще более сильная потребность любви от них, чтобы ты ясно видел, что только при признании равенства всех людей, при служении их друг другу возможно осуществление наибольщего блага, доступного людям, чтобы то же самое говорили тебе твое сердце, твой разум, исповедуемая тобой вера, чтобы это самое говорила наука и чтобы, несмотря на это, ты бы был по каким-то очень туманным, сложным рассуждениям принужден делать всё прямо противоположное этому; чтобы ты, будучи землевладельцем или капиталистом, должен был на угнетении народа строить всю свою жизнь, или чтобы, будучи императором или президентом, был принужден командовать войсками, т. е. быть начальником и руководителем убийц, или чтобы, будучи правительственным чиновником, был принужден насильно отнимать у бедных людей их кровные деньги для того, чтобы пользоваться ими и раздавать их богатым, или, будучи судьей, присяжным, был бы принужден приговаривать заблудших людей к истязаниям и к смерти за то, что им не открыли истины, или – главное, на чем зиждется всё зло мира,– чтобы ты, всякий молодой

мужчина, должен был идти в военные и, отрекаясь от своей воли и от всех человеческих чувств, обещаться по воле чуждых тебе людей убивать всех тех, кого они тебе прикажут?

Не может этого быть.

Если и говорят тебе люди, что всё это необходимо для поддержания существующего строя жизни, а что существующий строй с своей нищетой, голодом, тюрьмами, казнями, войсками, войнами необходим для общества, что если бы этот строй нарушился, то наступят худщие бедствия, то ведь это говорят только те, которым выгоден этот строй жизни, все же те, их в 10 раз больше, которые страдают от этого строя жизни, все думают и говорят обратное. И ты сам в глубине души знаешь, что это неправда, что существующий строй жизни отжил свое время и неизбежно должен быть перестроен на новых началах и что потому нет никакой нужды, жертвуя человеческими чувствами, поддерживать его.

Главное же то, что если бы и допустить, что существующий строй необходим, почему ты именно чувствуещь себя обязанным, попирая все лучщие человеческие чувства, поддерживать его? Кто тебя приставил нянькой этого разрушающегося строя? Ни общество, ни государство, ни все люди никогда не просили тебя о том, чтобы ты поддерживал этот строй, занимая то место землевладельца, купца, императора, священника, солдата, которое ты занимаешь; и ты знаешь очень хорошо, что ты занял, принял свое положение вовсе не с самоотверженною целью поддерживать необходимый для блага людей порядок жизни, а для себя: для своей корысти, славолюбия, честолюбия,’своей лени, трусости. Если бы ты не желал этого положения, ты не делал бы всего того, что постоянно нужно делать, чтобы удерживать твое положение. Попробуй только перестать делать те сложные, жестокие, коварные и подлые дела, которые ты, не переставая, делаешь, чтобы удерживать свое положение, и ты сейчас же лишишься его. Попробуй только перестать, будучи правителем или чиновником, лгать, подличать, участвовать в насилиях, казнях; будучи священником, перестать обманывать; будучи военным, перестать убивать; будучи землевладельцем, фабрикантом, перестать защищать свою собственность судами и насилиями, и ты тотчас лишишься того положения, которое, ты говоришь, навязано тебе и которым ты будто бы тяготишься.

Не может быть того, чтобы человек был поставлен против своей воли в положение, противное его сознанию.

Если ты находишься в этом положении, то не потому, что это необходимо для кого-то, а только потому, что ты этого хочешь. И потому, зная, что это положение прямо противно и твоему сердцу, и твоему разуму, и твоей вере, и даже науке, в которую ты ве

ришь, нельзя не задуматься над вопросом о том, то ли ты делаешь, что тебе должно делать, если остаешься в этом положении и, главное, стараешься оправдать его?

Ведь можно бы было рисковать ошибиться, если бы ты имел время увидать и поправить свою ошибку и если бы то, во имя чего ты так рискуешь, имело бы какую-нибудь важность. Но когда ты знаешь наверное, что ты всякую секунду можешь исчезнуть без малейшей возможности ни для себя, ни для тех, кого ты вовлечешь в свою ошибку, поправить ее, и знаешь, кроме того, что что бы ты ни сделал во внешнем устройстве мира, всё это очень скоро и так же наверно, как и ты сам, исчезнет, не оставив следа, то очевидно, что не из-за чего тебе рисковать такой страшной ошибкой.

Ведь это так просто и ясно, если бы только мы лицемерием не затемняли себе несомненно открытую нам истину.

«Делись тем, что у тебя есть, с другими, не собирай богатств, не величайся, не грабь, не мучай, не убивай никого, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали»,– сказано не 1800, а 5000 лет тому назад, и сомнения в истине этого закона не могло бы быть, если бы не было лицемерия: нельзя бы было, если не делать этого, то по крайней мере не признавать, что это всегда нужно делать и что тот, кто не делает этого, делает дурно.

Но ты говоришь, что есть еще общее благо, для которого можно и должно отступить от этих правил; для общего блага можно убивать, истязать, грабить. Лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу, говоришь ты, как Каиафа, и подписываешь одному, и другому, и третьему человеку смертный приговор, заряжаешь ружье на этого долженствующего для блага общего погибнуть человека, сажаешь его в тюрьму, отбираешь у него его имущество. Ты говоришь, что ты делаешь эти жестокие дела потому, что ты чувствуешь себя человеком общества, государства, обязанным служить ему и исполнять его законы, землевладельцем, судьей, императором, военным. Но ведь, кроме твоей принадлежности к известному государству и вытекающих из того обязанностей, у тебя есть еще принадлежность к бесконечной жизни мира и к Богу и вытекающие из этой принадлежности обязанности.

И как твои обязанности, вытекающие из твоей принадлежности к известной семье, обществу, всегда подчиняются высшим обязанностям, вытекающим из принадлежности к государству, так и твои обязанности, вытекающие из твоей принадлежности к государству, необходимо должны быть подчинены обязанностям, вытекающим из твоей принадлежности к жизни мира, к Богу.

и как неразумно было бы срубить телеграфные столбы для того, чтобы обеспечить отопление семейства или общества и увеличить благосостояние его, потому что это нарушит законы, соблюдающие благо государства, точно так же неразумно, для того чтобы обеспечить государство и увеличить благосостояние его, истязать, казнить, убить человека, потому что это нарушает несомненные законы, соблюдающие благо мира.

Обязанности твои, вытекающие из твоей принадлежности к государству, не могут не быть подчинены высшей вечной обязанности, вытекающей из твоей принадлежности к бесконечной жизни мира или к Богу, и не могут противоречить им, как это и сказали 1800 лет тому назад ученики Христа (Деян. Ап. IV, 19): «Судйте, справедливо ли слушать вас более, чем Бога» и (V, 29) «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам».

Тебя уверяют, что для того, чтобы не нарушился вчера устроенный несколькими людьми в известном уголке мира постоянно изменяющийся порядок, ты должен совершать поступки истязаний, мучений, убийств отдельных людей, нарушающие вечный, установленный Богом или разумом неизменный порядок мира. Разве может это быть?

И потому не можешь ты не задуматься над твоим положением землевладельца, купца, судьи, императора, президента, министра, священника, солдата – связанным с угнетениями, насилиями, обманами, истязаниями и убийствами, и не признать незаконности их.

Я не говорю, что, если ты землевладелец, чтобы ты сейчас же отдал свою землю бедным, если капиталист, сейчас бы отдал свои деньги, фабрику рабочим, если царь, министр, служащий, судья, генерал, то чтобы ты тотчас отказался от своего выгодного положения, если солдат (т. е. занимаешь то положение, на котором стоят все насилия), то, несмотря на все опасности отказа в повиновении, тотчас бы отказался от своего положения.

Если ты сделаешь это, ты сделаешь самое лучшее, но может случиться – и самое вероятное – то, что ты не в силах будешь сделать этого: у тебя связи, семья, подчиненные, начальники, ты можешь быть под таким сильным влиянием соблазнов, что будешь не в силах сделать это,– но признать истину истиной и не лгать ты всегда можешь. Не утверждать того, что ты остаешься землевладельцем, фабрикантом, купцом, художником, писателем потому, что это полезно для людей, что ты служишь губернатором, прокурором, царем не потому, что тебе это приятно, привычно, а для блага людей; что ты продолжаешь быть солдатом не потому, что боишься наказания, а потому, что считаешь войско необходи

мым для обеспечения жизни людей; не лгать так перед собой и людьми ты всегда можешь, и не только можешь, но и должен, потому что в этом одном, в освобождении себя от лжи и исповедании истины состоит единственное благо твоей жизни.

И стоит тебе только сделать это и само собой неизбежно изменится и твое положение.

Одно, только одно дело, в котором ты свободен и всемогущ, дано тебе в жизни, все остальные вне твоей власти. Дело это в том, чтобы познавать истину и исповедовать ее.

И вдруг, оттого что такие же, как и ты, жалкие, заблудшие люди уверили тебя, что ты солдат, император, землевладелец, богач, священник, генерал,– ты начинаешь делать очевидно, несомненно противное твоему разуму и сердцу зло: начинаешь истязать, грабить, убивать людей, строить свою жизнь на страданиях их и, главное,– вместо того, чтобы исполнять единственное дело твоей жизни – признавать и исповедовать известную тебе истину,– ты, старательно притворяясь, что не знаешь ее, скрываешь ее от себя и других, делая этим прямо противоположное тому единственному делу, к которому ты призван.

И в каких условиях ты делаешь это? Ты, всякую минуту могущий умереть, подписываешь смертный приговор, объявляешь войну, идешь на войну, судишь, мучаешь, обираешь рабочих, роскошествуешь среди нищих и научаешь слабых и верящих тебе людей тому, что это так и должно быть и что в этом обязанность людей, рискуя тем, что в тот самый момент, как ты сделал это, залетит в тебя бактерия или пуля, и ты захрипишь и умрешь и навеки лишишься возможности исправить, изменить то зло, которое ты сделал другим и, главное, себе, погубив задаром один раз в целой вечности данную тебе жизнь, не сделав в ней то одно, что ты несомненно должен был сделать.

Ведь, как это ни просто, и как ни старо, и как бы мы ни одуряли себя лицемерием и вытекающим из него самовнушением, ничто не может разрушить несомненности той простой и ясной истины, что никакие внешние усилия не могут обеспечить нашей жизни, неизбежно связанной с неотвратимыми страданиями и кончающейся еще более неотвратимой смертью, могущей наступить для каждого из нас всякую минуту, и что потому жизнь наша не может иметь никакого другого смысла, как только исполнение всякую минуту того, что хочет от нас сила, пославшая нас в жизнь и давшая нам в этой жизни одного несомненного руководителя: наше разумное сознание.

И потому сила эта не может хотеть от нас того, что неразумно и невозможно: устроения нашей временной, плотской жизни, жиз

ни общества или государства. Сила эта требует от нас того, что одно несомненно, и разумно, и возможно; служения Царствию Божию, т. е. содействия установлению наибольшего единения всего живущего, возможного только в истине, и потому признания от- крывщейся нам истины и исповедания ее, того самого, что одно всегда в нашей власти.

«Ищите Царствия Божия и правды Его, а остальное приложится вам». Единственный смысл жизни человека состоит в служении миру содействием установлению Царства Божия. Служение же это может совершиться только через признание истины и исповедание ее каждым отдельным человеком.

«И не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот; Царствие Божие внутрь вас есть».

11890-18931

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

I

Если человек делает дело не для показу, а с желанием совершить его, то он неизбежно действует в одной, определенной сущностью дела, последовательности. Если человек делает после то, что по сущности дела должно быть сделано прежде, или вовсе пропускает то, что необходимо сделать для того, чтобы можно было продолжать дело, то он наверное делает дело не серьезно, а только притворяется. Правило это неизменно остается верным как в материальных, так и в нематериальных делах. Как нельзя серьезно желать печь хлебы, не замесив прежде муку, и не вытопив потом, и не выметя печи и т. д., так точно нельзя серьезно желать вести добрую жизнь, не соблюдая известной последовательности в приобретении необходимых для того качеств.

Правило это в делах доброй жизни особенно важно, потому что в материальном деле, как, например, в печении хлеба, можно узнать, серьезно ли человек занимается делом, или только притворяется, по результатам его деятельности; в ведении же доброй жизни проверка эта невозможна. Если люди, не меся муки, не топя печи, как на театре, делают только вид, что они пекут хлеб, то по последствиям – отсутствию хлеба – очевидно для каждого, что они только притворялись; но если человек делает вид, что он ведет добрую жизнь, мы не имеем таких прямых указаний, по которым мы могли бы узнать, серьезно ли он стремится к ведению доброй жизни, или только притворяется, потому что последствия доброй жизни не только не всегда ощутительны и очевидны для окружающих, но очень часто представляются им вредными; уважение же и признание полезности и приятности для современников деятельности человека ничего не доказывают в пользу действительности его доброй жизни.

и потому для распознавания действительности доброй жизни от видимости ее особенно дорог этот признак, состоящий в правильной последовательности приобретения нужных для доброй жизни качеств. Дорог этот признак преимущественно не для того, чтобы распознавать истинность стремлений к доброй жизни в других, но для распознавания ее в самом себе, так как мы в этом отношении склонны обманывать самих себя еще более, чем других.

Правильная последовательность приобретения добрых качеств есть необходимое условие движения к доброй жизни, и потому всегда всеми учителями человечества предписывалась людям известная, неизменная последовательность приобретения добрых качеств.

Во всех нравственных учениях устанавливается та лестница, которая, как говорит китайская мудрость, стоит от земли до неба, и на которую восхождение не может происходить иначе, как с низшей ступени. Как в учениях браминов, буддистов, конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются ступени добродетелей, и высшая не может быть достигнута без того, чтобы не была усвоена низшая. Все нравственные учители человечества, как религиозные, так и не религиозные, признавали необходимость определенной последовательности в приобретении добродетелей, нужных для доброй жизни; необходимость эта вытекает и из самой сущности дела, и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема всеми людьми.

Но удивительное дело! Сознание необходимой последовательности качеств и действий, существенных для доброй жизни, как будто утрачивается всё более и более и остается только в среде аскетической, монашествующей. В среде же светских людей предполагается и признается возможность приобретения высших свойств доброй жизни только при отсутствии низших добрых качеств, обусловливаюших высшие, но и при самом широком развитии пороков; вследствие чего и представление о том, в чем состоит добрая жизнь, доходит в наше время в среде большинства светских людей до величайшей путаницы. Утрачено представление о том, что есть добрая жизнь.

II

Произошло это, как я думаю, следующим образом.

Христианство, заменяя язычество, выставило более высокие, чем языческие, нравственные требования и, как и не могло быть иначе, выставляя свои требования, установило, как и в языческой нравственности, одну необходимую последовательность приобретения добродетелей или ступеней для достижения доброй жизни.

Добродетели Платона, начинаясь воздержанием, через мужество и мудрость, достигали справедливости; христианские добродетели, начинаясь самоотречением, через преданность воле Божией достигают любви.

Люди, серьезно принявшие христианство и стремившиеся усвоить для себя добрую христианскую жизнь, так и понимали христианство и всегда начинали добрую жизнь отречением от своих похотей, включающим в себя языческое воздержание.

Христианское учение потому только и заменило языческое, что оно иное и выше языческого. Но христианское учение, как и языческое, ведет людей к истине и добру; а так как истина и добро всегда одни, то и путь к ним должен быть один, и ***первые*** шаги на этом пути неизбежно должны быть одни и те же как для христианина, так и для язычника.

Различие христианского от языческого учения добра в том, что языческое учение есть учение конечного, христианское же – бесконечного совершенства. Платон, например, ставит образцом совершенства справедливость; Христос же ставит образцом бесконечное совершенство любви. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». От этого и различное отношение языческого и христианского учения к различным ступеням добродетелей. Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения имеет свое относительное значение: чем выше ступень, тем больше достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть. Не может быть и ступеней высших и низших. По христианскому учению, указавшему бесконечность совершенства, все ступени равны между собою по отношению к бесконечному идеалу. Различие достоинства в язычестве состоит в той ступени, которая достигнута человеком; в христианстве достоинство состоит только в процессе достижения, в большей или меньшей скорости движения. С языческой точки зрения человек, обладающий добродетелью благоразумия, стоит в нравственном значении выше человека, не обладающего этой добродетелью; человек, обладающий сверх благоразумия и мужеством, стоит еще выше; человек, обладающий и благоразумием, и мужеством, и сверх того справедливостью, стоит еще выше; христианин же не может считаться ни один ни выше, ни ниже другого в нравственном значении; христианин только тем более христианин, чем быстрее он движется к бесконечному совершенству, независимо от той ступени, на которой он в данную минуту нахо

дится. Так что неподвижная праведность фарисея ниже движения кающегося разбойника на кресте.

Но в том, что движение к добродетели, к совершенству не может совершаться помимо низших ступеней добродетели как в язычестве, так и в христианстве,– в этом не может быть различия.

Христианин, как и язычник, не может не начать работу совершенствования с самого начала, т. е. с того же, с чего начинает ее язычник, именно с воздержания, как не может тот, кто хочет войти на лестницу, не начать с первой ступени. Разница только в том, что для язычника воздержание само по себе представляется добродетелью, для христианина же воздержание есть только часть самоотречения, составляющего необходимое условие стремления к совершенст- ву. И потому истинное христианство в своем проявлении не могло отвергнуть добродетели, которые указывало и язычество.

Но не все люди понимали христианство, как стремление к совершенству Отца Небесного; христианство, ложно понятое, уничтожало искренность и серьезность отношения людей к нравственному его учению.

Если человек верит, что может спастись помимо исполнения нравственного учения христианства, то ему естественно думать, что усилия его быть добрым излишни. И потому человек, верующий в то, что есть средства спасения помимо личных усилий к достижению совершенства*, не может стремиться к этому с той энергией и серьезностью, с которою стремится человек, не знающий никаких других средств, кроме личных усилий. А не стремясь к этому с полною серьезностью, зная другие средства кроме личных усилий, человек неизбежно будет пренебрегать и тем одним неизменным порядком, в котором могут быть приобретаемы добрые качества, нужные для доброй жизни. Это самое и случилось с большинством людей, внешним образом исповедующих христианство.

III

Учение о том, что личные усилия не нужны для достижения человеком духовного совершенства, а что есть для этого другие средства, является причиной ослабления стремления к доброй жизни и отступления от необходимой для доброй жизни последовательности.

Огромная масса людей, которая внешним только образом приняла христианство, воспользовалась заменой язычества христианством для того, чтобы, освободившись от требований языческих доб-

Как, например, индульгенция у католиков.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

родетелей, как бы не нужных уже для христианина, освободить себя от всякой необходимости борьбы с своей животной природой.

То же самое сделали и люди, переставшие верить во внешнее только христианство. Они точно так же, как и те веруюшие, выставляя вместо внешнего христианства какое-нибудь принятое большинством мнимое доброе дело, в роде служения науке, искусству, человечеству,– во имя этого мнимого доброго дела освобождают себя от последовательности приобретения качеств, нужных для доброй жизни, и довольствуются тем, что притворяются, как на театре, что живут доброю жизнью.

Такие люди, отставшие от язычества и не приставшие к христианству в его истинном значении, стали проповедовать любовь к Богу и людям без самоотречения и справедливость без воздержания, т. е. проповедывать высшие добродетели без достижения низших, т. е. не самые добродетели, а только подобие их.

Одни проповедуют любовь к Богу и людям без самоотречения, другие – гуманность, служение людям, человечеству без воздержания.

И так как проповедь эта поощряет животную природу человека под видом введения его в высшие нравственные сферы, освобождая его от самых элементарных требований нравственности, давным- давно высказанных язычниками, и не только не отвергнутых, но усиленных истинным христианством, то она охотно была принята как верующими, так и неверующими.

На днях только вышла энциклика папы о социализме. Там после опровержения мнения социалистов о незаконности собственности сказано прямо, что «никто, несомненно, не обязан помогать ближнему, давая из того, что ему или семье его нужно (Nul assurement n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son necessaire ou sur celui de sa famille), ни даже уменьшить что-либо из того, чего требуют от него приличия. Никто, в самом деле, не должен жить противно обычаям». (Это место из святого Фомы; Nullus enim incon- venienter debet vivere.) «Но после того, как отдано должное нужде и внешним приличиям», говорит далее энциклика, «обязанность каждого – отдавать излишек бедным».

Так проповедует глава одной из самых распространенных теперь церквей. И рядом с этой проповедью эгоизма, предписывающей отдавать ближнему то, что вам не нужно, проповедуется любовь, и постоянно с пафосом приводятся знаменитые слова Павла из 13 главы 1-го послания к коринфянам о любви.

Несмотря на то, что всё учение Евангелия переполнено требованиями самоотречения, указаниями на то, что самоотречение есть первое условие христианского совершенства, несмотря на такие яс

ные изречения, как: «кто не возьмет креста своего... кто не отречется от отца, матери... кто не погубит жизнь свою...» — люди уверяют себя и других, что возможно любить людей, не отрекаясь не только от того, к чему привык, но и от того, что так считаешь для себя приличным.

Так говорят ложные христиане, и точь-в-точь так же думают и говорят и пишут и поступают люди, отвергающие не только внешнее, но и истинное христианское учение, люди свободомыслящие. Люди эти уверяют себя и других, что, вовсе не уменьшая своих потребностей, не побеждая своих похотей, можно служить людям и человечеству, т. е. вести добрую жизнь.

Люди отбросили языческую последовательность добродетелей и, не усвоив христианского учения в его истинном значении, не приняли и христианской последовательности и остались без всякого руководства.

IV

В старину, когда не было христианского учения, у всех учителей жизни, начиная с Сократа, первою добродетелью в жизни было воздержание — syxpiiteia или ссосрроаОvТ], и было понятно, что всякая добродетель должна начинаться с нее и проходить через нее. Было ясно, что человек, не владеющий собой, развивший в себе огромное количество похотей и подчиняющийся всем им, не мог вести добрую жизнь. Было ясно, что прежде, чем человек мог думать не только о великодушии, о любви, но о бескорыстии, справедливости, он должен был научиться владеть собою. По нашим же взглядам этого ничего не нужно. Мы вполне уверены, что человек, развивший свои похоти до той высшей ступени, в которой они развиты в нашем мире, человек, не могущий жить без удовлетворения сотни получивших над ним власть ненужных привычек, может вести вполне нравственную, добрую жизнь.

В наше время и в нашем мире стремление к ограничению своих похотей считается не только не первым, но даже и не последним, а совершенно не нужным для ведения доброй жизни делом.

По царствующему самому распространенному современному учению о жизни увеличение потребностей считается, напротив, желательным качеством, признаком развития, цивилизации, культуры и совершенствования. Люди так называемые образованные считают, что привычки комфорта, т. е. изнеженности, суть привычки не только не вредные, но хорошие, показывающие известную нравственную высоту человека, почти что добродетель.

Чем больше потребностей, чем утонченнее эти потребности, тем считается это лучше.

Ничто так ясно не подтверждает этого, как описательная поэзия и в особенности романы прошедшего и нашего века.

Как изображаются герои и героини, представляющие идеалы добродетелей?

В большинстве случаев мужчины, долженствующие представить нечто возвышенное и благородное, начиная с Чайльд-Гарольда и до последних героев Фелье, Троллопа, Мопассана,– суть не что иное, как развратные тунеядцы, ни на что, ни для кого не нужные; героини же – это так или иначе, более или менее доставляющие наслаждение мужчинам любовницы, точно так же праздные и преданные роскоши.

Я не говорю о встречающемся изредка в литературе изображении действительно воздержных и трудящихся лиц,– я говорю о типе обычном, представляющем идеал для массы, о том лице, похожем на которое старается быть большинство мужчин и женщин. Помню, когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился и с которым боролся,– и с которым теперь, я знаю, борются все романисты, имеющие хотя самое смутное сознание того, чтб составляет действительную нравственную красоту,– заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который бы был верен действительности.

V

Несомненным доказательством того, что действительно люди нашего времени не только не признают того, что языческое воздержание или христианское самоотречение суть свойства желательные и добрые, но считают увеличение потребностей чем-то хорошим и возвышенным, служит то, как в огромном большинстве воспитываются дети нашего мира. Их не только не приучают к воздержанию, как это было у язычников, и к самоотречению, как это должно быть у христиан, но сознательно прививают им привычки изнеженности, физической праздности и роскоши.

Мне давно хотелось написать такую сказку; женщина, оскорбленная другой, желая отмстить ей, похищает ребенка своего врага, идет к колдуну, прося его научить, чем она злее всего может отмстить своему врагу на единственном похищенном детище. Колдун научает похитительницу отнести ребенка в место, которое он указывает, и утверждает, что месть будет самая ужасная. Злая женщина делает это, но следит за ребенком и, к удивлению своему, видит,

что ребенок взят и усыновлен бездетным богачом. Она идет к колдуну и упрекает его, но колдун велит ждать. Ребенок растет в роскоши и изнеженности. Злая женщина в недоумении, но колдун велит ждать. И действительно наступает время, когда злая женщина удовлетворена и даже жалеет свою жертву. Ребенок вырастает в изнеженности и распущенности и, благодаря своему доброму характеру, разоряется. И тут начинается ряд физических страданий, нищеты и унижений, к которым он особенно чувствителен и с которыми не умеет бороться. Стремление к нравственной жизни – и бессилие изнеженной, приученной к роскощи и праздности плоти. Тщетная борьба, падение всё ниже и ниже, пьянство, чтоб забыться, и преступление, или сумасшествие, или самоубийство.

В самом деле, нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребенку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенностями матерями. Ужас берет, глядя на это и еще более на последствия этого, если уметь видеть то, чтб делается в душах лучших Из этих старательно самими родителями по- губляемых детей.

■ Привиты привычки изнеженности, привиты тогда, когда еще молодое существо не понимает их нравственного значения. Уничтожена не только привычка воздержания и самообладания, но, обратно тому, что делалось при воспитании в Спарте и вообще в древнем мире, совершенно атрофирована эта способность. Не только не приучен человек к труду, ко всем условиям всякого плодотворного труда, сосредоточенного внимания, напряжения, выдержки, увлечения делом, уменья исправить испорченное, привычки усталости, радости совершения, но приучен к праздности и пренебрежению всяким произведением труда, приучен к тому, чтоб портить, бросать и вновь за деньги приобретать всё, что вздумается, не думая даже никогда о том, как что делается. Человек лишен способности к приобретению первой по порядку добродетели, необходимой для приобретения всех других,– благоразумия, и пущен в мир, в котором проповедуются и как будто ценятся высокие добродетели справедливости, служения людям, любви. Хорошо, если молодой человек – натура нравственно слабая, не чуткая, не чующая разницы между показной доброй жизнью и настоящей, и которая может удовлетворяться царствующим в жизни злом. Если так, то всё устраивается как будто хорошо, и с непроснувшимся нравственным чувством такой человек иногда спокойно доживает до гроба. Но не всегда это так бывает, в особенности в последнее время, когда сознание безнравственности такой жизни носится в воздухе и невольно западает в сердце. Часто, и всё чаще и чаще, бывает так, что

требования настоящей, непоказной нравственности пробуждаются, и тогда начинаются внутренняя мучительнейшая борьба и страдания, редко кончающиеся победой нравственного чувства. Человек чувствует, что жизнь его дурна, что ему надо изменить ее всю с самого начала, и он пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борьбу и не выдержавшие ее, со всех сторон нападают на пытающегося изменить свою жизнь и стараются всеми средствами внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержание и самоотречение не нужны для того, чтобы быть добрым, что можно, предаваясь объядению, наряжанию, физической праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, полезным человеком. И борьба большей частью кончается плачевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиняется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести, кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает ее верой во внешнее христианство или служением науке, искусству; либо борется, страдает и сходит с ума, или застреливается. Редко бывает то, чтобы среди всех соблазнов, окружающих его, человек нашего мира понял то, чтб есть и было тысячелетия тому назад азбучной истиной для всех разумных людей, именно то, что для достижения доброй жизни надо прежде всего перестать жить дурной жизнью и что для достижения каких-либо высших добродетелей надо прежде всего приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет ее христианство,– и стал бы понемногу усилиями над собой достигать ее.

VI

Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека сороковых годов, изгнанника Огарева, к другому еще более высокообразованному и даровитому человеку – Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои задушевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисуется перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т. д. И тут же спокойным тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет, тем, что, как он пишет «возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадаю долгие часы с погибшим, но милым созданием...» Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что-нибудь хоть сколько-нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая

родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный, пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько-нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем-то очень милым, нисколько не мешающим стремлению к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучщем свете, но прямо выставлял их.

Так это было полстолетия тому назад. Я застал еще этих людей. Я знал самого Огарева и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в тех же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искреннее горячее желание добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел. Они сажали неме- шанные хлеба в нетопленную печь и верили, что хлеба испекутся. Когда же под старость они стали замечать, что хлеба не пекутся, т. е. что никакого добра от их жизни не совершается, они видели в этом особенный трагизм.

Трагизм такой жизни действительно ужасен. И трагизм этот, каков он был в те времена для Герцена, Огарева и других, таков он и теперь для многих и многих так называемых образованных людей нашего времени, удержавших те же взгляды. Человек стремится жить доброю жизнью, но та необходимая последовательность, которая нужна для этого, потеряна в том обществе, в котором он живет. Как 50 лет тому назад Огарев и Герцен, так и большинство теперешних людей убеждены, что вести изнеженную жизнь, есть сладко, жирно, наслаждаться, всячески удовлетворять своей похоти – не мешает доброй жизни. Но, очевидно, добрая жизнь не выходит у них, и они предаются пессимизму и говорят; «таково трагическое положение человека».

VII

Заблуждение в том, что люди, предаваясь своим похотям, считая эту похотливую жизнь хорошею, могут при этом вести добрую, полезную, справедливую, любовную жизнь, так удивительно, что люди последующих поколений, я думаю, прямо не будут понимать, чтб именно разумели люди нашего времени под словом «добрая жизнь», когда они говорили, что обжоры, изнеженные, похотливые ведут добрую жизнь. В самом деле, стоит только на

время отрешиться от привычного взгляда на нашу жизнь и посмотреть на нее – не говорю с точки зрения христианской – но с точки зрения языческой, с точки зрения самых низших требований справедливости, чтобы убедиться, что здесь не может быть и речи ни о какой доброй жизни.

Всякому человеку в нашем мире для того, чтобы, не скажу начать добрую жизнь, но только начать хоть немного подвигаться к ней, надо прежде всего перестать вести злую жизнь, надо начать разрушать те условия злой жизни, в которой он находится.

Как часто слышишь, как оправдание того, что мы не изменяем нашей дурной жизни, рассуждение о том, что поступок, идущий вразрез с обычной жизнью, был бы ненатуральным, был бы смешным, или желанием выказаться, и был бы от того не добрым поступком. Рассуждение это как будто сделано для того, чтобы люди никогда не изменили своей дурной жизни. Ведь если бы вся жизнь наша была хорошею, справедливою, доброю, то ведь только тогда всякий поступок, согласный с общею жизнью, был бы добрый. Если же жизнь на половину хорошая, на половину дурная, то для всякого поступка, не согласного с общей жизнью, столько же вероятия быть хорошим, сколько и дурным. Если же жизнь вся дурная, неправильная, то человеку, живущему этой жизнью, нельзя сделать ни одного доброго поступка, не нарушив привычного течения жизни. Можно сделать дурной поступок, не нарушив обычного течения жизни, но нельзя сделать хорошего.

Человеку, живущему нашей жизнью, нельзя вести добрую жизнь, прежде чем он не выйдет из тех условий зла, в которых он находится, нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое. Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь. Все его попытки добрых дел будут тщетны, пока он не изменит своей жизни, не сделает то первое по порядку дело, которое ему предстоит сделать. Добрая жизнь, как по языческому мировоззрению, так тем более по христианскому, измеряется одним, и не может измеряться ничем иным, как только отношением в математическом смысле любви к себе – к любви к другим. Чем меньше любви к себе и вытекающей из нее заботы о себе, трудов и требований от других для себя, и чем больше любви к другим и вытекающих из нее заботы о других, трудов своих для других, тем добрее жизнь.

Так понимали и понимают добрую жизнь все мудрецы мира и все истинные христиане, и точно так же понимают ее все самые простые люди. Чем больше человек дает людям и меньше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает другим и больше требует себе, тем он хуже.

Если передвинуть точку опоры рычага от длинного конца к короткому, то этим не только увеличится длинное плечо, но укоротится еще и короткое. Так что, если человек, имея одну данную способность любви, увеличил любовь и заботу о себе, то этим он уменьшил возможность любви и заботы о других не только на то количество любви, которое он перенес на себя, но во много раз больше. Вместо того, чтобы кормить других, человек съел лишнее, и этим не только уменьшил возможность отдать это лишнее, но еще себя лишил вследствие объядения возможности заботиться о других.

Для того, чтобы точно, не на словах быть в состоянии любить других, надо не любить себя – тоже не на словах, а на деле. Обыкновенно же бывает так: других мы думаем, что любим, уверяем в этом себя и других, но любим только на словах, себя же любим на деле. Других мы забудем покормить и уложить спать, себя же никогда. И потому для того, чтобы точно любить других на деле, надо выучиться забывать покормить себя и уложить себя спать, так же как мы забываем это сделать относительно других.

Мы говорим «добрый человек» и «ведет добрую жизнь» про человека изнеженного, привыкшего к роскошной жизни. Но человек такой – мужчина или женщина – может иметь самые любезные черты характера, кротости, благодушия, но не может вести добрую жизнь, как не может быть острым и резать самой хорошей работы и стали нож, если он не наточен. Быть добрым и вести добрую жизнь значит давать другим больше, чем берешь от них. Человек же изнеженный, и привыкший к роскошной жизни, не может этого делать, во-первых, потому, что ему самому всегда много нужно (и нужно не по эгоизму его, а потому что он привык, и для него составляет страдание лишиться того, к чему он привык), а во-вторых, потому, что, потребляя всё то, что он потребляет от других, он этим самым потреблением ослабляет себя, лишает себя возможности работать и потому служить другим. Человек изнеженный, мягко, долго спящий, жирно, сладко и много едящий и пьющий, соответственно тепло или прохладно одетый, не приучивший себя к напряжению работы, может сделать только очень мало.

Мы так привыкли лгать сами себе и ко лжи других,– так выгодно нам не видеть лжи других, чтобы они не увидали нашей, что мы нисколько не удивляемся и не сомневаемся в справедливости утверждения добродетели, иногда даже святости людей, живущих вполне распущенной жизнью. Человек, мужчина или женщина, спит на постели с пружинами, двумя матрацами и двумя чистыми глажеными простынями, наволочками, на пуховых подушках. У кровати его коврик, чтобы ему не холодно было ступить на пол, не

смотря на то, что тут же стоят туфли. Тут же еще необходимые принадлежности так, что ему не надо выходить. Окна завешаны шторами так, что свет не может разбудить его, и он спит до какого ему поспится часа. Кроме того, приняты меры, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно, чтобы его не тревожили шум и мухи и другие насекомые. Он спит, а вода горячая и холодная для умывания, иногда для ванны или для бриться, уже готова. Готовится и чай или кофе, возбудительные напитки, которые выпиваются тотчас же после вставания. Сапоги, башмаки, калоши, несколько пар, которые он запачкал вчера, уже чистятся так, что они блестят, как стекло, и на них нет ни пылинки. Также чистятся разные заношенные предшествующим днем одежды, соответствующие не только зиме и лету, но весне, осени, дождливой, сырой, жаркой погоде. Приготовляется вымытое, накрахмаленное, разутюженное чистое белье с пуговками, запонками, петельками, которые все осматриваются приставленными к тому людьми. Если человек деятелен, он встает рано, т. е. в 7 часов, т. е. все-таки часа два, три после тех, которые всё это готовят для него. Кроме приготовления одежд для дня и покрывала для ночи есть еще одежда и обувь для времени одеванья, халаты, туфли, и вот человек идет умываться, чиститься, чесаться, для чего употребляет несколько сортов щеток, мыл и большое количество воды и мыла. (Многие англичане и женщины особенно гордятся почему-то тем, что они могут очень много вымылить мыла и вылить на себя воды.) Потом человек одевается, причесывается перед особым от тех, которые висят почти во всех комнатах, зеркалом, берет необходимые ему вещи, как-то: большей частью очки или pince-nez, лорнет, потом раскладывает по карманам: платок чистый, чтобы сморкаться, часы на цепочке, несмотря на то, что везде, где он будет, почти в каждой комнате есть часы; берет деньги разных сортов, мелкие (часто в особой для того машинке, избавляющей от труда найти то, что нужно) и бумажки, карточки, на которых напечатано его имя, избавляющее от труда сказать или написать; книжку белую, карандаш. Для женщины одеванье еще много сложнее: корсет, прическа, длинные волосы, украшения, тесемочки, ластики, ленточки, завязочки, шпильки, булавки, брошки.

Но вот всё кончено, начинается день обыкновенно едой, пьется приготовленный кофе или чай с большим количеством сахара, едят булки; хлеб первого сорта пшеничной муки с большим количеством масла, иногда свиного мяса. Мужчины большей частью при этом курят папиросы или сигары и затем читают газету свежую, только что принесенную. Потом хождение из дома на службу или по делам, или езда в экипажах, нарочно существующих для перевозки этих людей. Потом завтрак из убитых животных, птиц, рыб, потом

обед такой же, при большой скромности из трех блюд,– сладкое блюдо, кофе, потом игра – карты, и игра – музыка, или театр, чтение или беседа в мягких пружинных креслах при усиленном и смягченном свете свечи, газа, электричества,– опять чай, опять еда, ужин и опять в постель, приготовленную, взбитую с чистым бельем и с очищенной посудой.

Таков день человека скромной жизни, про которого, если он мягкого характера и не имеет исключительно неприятных для других привычек, говорят, что это человек, ведущий добрую жизнь.

Но добрая жизнь есть жизнь того человека, который делает добро людям; как же может делать добро людям человек, живущий так и привыкщий жить так? Ведь прежде, чем делать добро, он должен перестать делать зло людям. А сочтите всё то зло, которое он, часто сам не зная этого, делает людям, и вы увидите, что ему далеко до добра людям, и много, много ему надо совершить подвигов для того, чтобы искупить делаемое им зло, а что подвигов-то он, расслабленный своей похотливой жизнью, никаких производить и не может. Ведь спать он мог бы и здоровей и физически, и нравственно, лежа на полу на плаще, как спал Марк Аврелий, и потому все труды и работы матрацов и пружин и пуховых подущек и ежедневной работы прачки, женщины, слабого существа с своими женскими слабостями и родами и кормлением детей, полоскающей его, сильного мужчины, белье,– все эти труды могли бы не быть. Он мог бы лечь раньше и встать раньше, и труды гардин и освещения вечером могли бы тоже не быть. Мог бы он спать в той же рубахе, в которой ходил днем, мог бы ступать босыми ногами на пол и выйти на двор, мог бы умыться водой у колодца,– одним словом, мог бы жить так, как живут все те, которые работают всё это на него, и потому всех этих трудов на него могло бы не быть. Могло бы не быть и всех тех трудов для его одежд, для его утонченной пищи, для его увеселений.

Так как же такому человеку делать добро людям и вести добрую жизнь, не изменив свою изнеженную, роскошную жизнь. Не может нравственный человек, не говорю христианин, но только исповедующий гуманность, или хоть только справедливость, не может не желать изменить своей жизни и не перестать пользоваться предметами роскоши, изготовляемыми иногда с вредом для других людей.

Если человек точно жалеет людей, работающих табак, то первое, что он невольно сделает, это то, что он перестанет курить, потому что, продолжая курить и покупая табак, он этим поощряет производство табаку, губящее здоровье людей.

Но люди нашего времени рассуждают не так. Они придумывают самые разнообразные и хитрые рассуждения, но только не то, кото

рое естественно представляется всякому простому человеку. По их рассуждениям, воздерживаться от предметов роскоши совсем не нужно. Можно соболезновать положению рабочих, говорить речи и писать книги в их пользу и вместе с тем продолжать пользоваться теми трудами, которые мы считаем для них губительными.

По одним рассуждениям выходит, что пользоваться губительными трудами других людей можно, потому что, если я не буду пользоваться, то будет пользоваться другой. Вроде того рассуждения, что надо выпить вредное мне вино, потому что оно куплено, и если не я, то другие выпьют его.

По другим выходит, что пользование для роскоши трудами этих людей даже очень полезно для них, так как этим мы даем им деньги, т. е. возможность существования, точно как будто нельзя давать им возможность существования ничем иным, как только тем, чтобы заставлять их работать вредные для них и излишние для нас вещи.

Всё это происходит от того, что люди вообразили себе, что можно вести добрую жизнь, не усвоив по порядку первое свойство, нужное для доброй жизни.

И первое свойство это есть воздержание.

VIII

Доброй жизни не было и не может быть без воздержания. Помимо воздержания не мыслима никакая добрая жизнь. Всякое достижение доброй жизни должно начаться через него.

Есть лестница добродетелей, и надо начинать с первой ступени, чтобы взойти на последующие; и первую добродетель, которую должен усвоить человек, если он хочет усвоить последующие, есть то, что древние называли еухрйхвга или асофроабут), т. е. благоразумие или самообладание.

Если в христианском учении воздержание включено в понятие самоотречения, то тем не менее последовательность остается та же самая, и приобретение никаких христианских добродетелей невозможно без воздержания – не потому, что кто-либо это выдумал, а потому, что таково существо дела.

Воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни.

Но и воздержание достигается не вдруг, а тоже постепенно.

Воздержание есть освобождение человека от похотей, есть покорение их благоразумию, асофростОуг|. Но похотей у человека много различных, и для того, чтобы борьба с ними была успешна, человек должен начинать с основных,– таких, на которых вырастают другие, более сложные, а не с сложных, выросших на основных. Есть

похоти сложные, как похоть украшения тела, игр, увеселений, болтовни, любопытства и много других, и есть похоти основные: обжорства, праздности, плотской любви. В борьбе с похотями нельзя начинать с конца, с борьбы с похотями сложными; надо начинать с основных, и то в одном определенном порядке. И порядок этот определен и сущностью дела, и преданием мудрости человеческой.

Объедающийся человек не в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и праздный человек никогда не будет в силах бороться с половой похотью. И потому по всем учениям стремление к воздержанию начиналось с борьбы с похотью обжорства, начиналось постом. В нащем же мире, где до такой степени потеряно, и так давно потеряно всякое серьезное отношение к приобретению доброй жизни, что самая первая добродетель – воздержание,– без которого другие невозможны, считается излишней,– потеряна и та постепенность, которая нужна для приобретения этой первой добродетели, и о посте многими забыто и решено, что пост есть глупое суеверие и что пост совсем не нужен.

А между тем так же, как первое условие жизни есть воздержание, так и первое условие воздержанной жизни есть пост.

Можно желать быть добрым, мечтать о добре, не постясь; но в действительности быть добрым без поста так же невозможно, как идти, не вставши на ноги.

Пост есть необходимое условие доброй жизни. Обжорство же всегда было и есть признак обратного – недоброй жизни, и, к сожалению, этот признак относится в высшей степени к жизни большинства людей нашего времени.

Взгляните на лица и сложения людей нашего круга и времени,– на многих из этих лиц с висящими подбородками и щеками, ожиревшими членами и развитыми животами лежит неизгладимый отпечаток развратной жизни. Да это и не может быть иначе. Присмотритесь к нашей жизни, к тому, чем движимо большинство людей нашего мира; спросите себя, какой главный интерес этого большинства? И как ни странно это может показаться нам, привыкшим скрывать наши настоящие интересы и выставлять фальшивые, искусственные,– главный интерес жизни большинства людей нашего времени – это удовлетворение вкуса, удовольствие еды, жранье. Начиная с беднейших до богатейших сословий общества, обжорство, я думаю, есть главная цель, есть главное удовольствие нащей жизни. Бедный, рабочий народ составляет исключение только в той мере, в которой нужда мешает ему предаваться этой страсти. Как только у него есть время и средства к тому, он, подражая высшим классам, приобретает самое вкусное и сладкое, и ест и пьет, сколько может. Чем больше он съест, тем больше он не только считает

себя счастливым, но сильным и здоровым. И в этом убеждении поддерживают его образованные люди, которые именно так и смотрят на пищу. Образованные классы представляют себе счастье и здоровье (в чем уверяют их доктора, утверждая, что самая дорогая пища, мясо – самая здоровая) в вкусной, питательной, легко перевариваемой пище,– хотя и стараются скрыть это.

Посмотрите на жизнь этих людей, послушайте их разговоры. Какие все возвышенные предметы как будто занимают их: и философия, и наука, и искусство, и поэзия, и распределение богатств, и благосостояние народа, и воспитание юношества; но всё это для огромного большинства – ложь, всё это их занимает между делом, между настоящим делом, между завтраком и обедом, пока желудок полон, и нельзя есть еще. Интерес один живой, настоящий, интерес большинства, и мужчин и женщин – это еда, особенно после первой молодости. Как поесть, чтб поесть, когда, где?

Ни одно торжество, ни одна радость, ни одно освящение, открытие чего бы то ни было не обходится без еды.

Посмотрите на путешествующих людей. На них это особенно видно. «Музей, библиотека, парламент – как интересно! А где мы будем обедать? Кто лучше кормит?» Да взгляните только на людей, как они сходятся к обеду, разодетые, раздушенные, к украшенному цветами столу, как радостно потирают руки и улыбаются.

Если бы заглянуть в души,– чего ждет большинство людей? – Аппетита к завтраку, к обеду. В чем наказание самое жестокое с детства? Посадить на хлеб и воду. Кто получает из мастеровых наибольшее жалованье? Повара. В чем главный интерес хозяйки дома? К чему в большинстве случаев склоняется разговор между хозяек среднего круга? И если разговор людей высшего круга не склоняется к этому, то это не потому, что они более образованны и заняты высшими интересами, а только потому, что у них есть экономка или дворецкий, которые заняты этим и обеспечивают их обеды. Но попробуйте лишить их этого удобства, и вы увидите, в чем их забота. Всё сводится к вопросам о еде, о цене тетеревов, о наилучших средствах варить кофе, печь сладкие пирожки и т. д. Собираются люди вместе, по какому бы случаю они ни собирались; для крестин, похорон, свадьбы, освяшения церкви, проводов, встречи, празднования памятного дня, смерти, рождения великого ученого, мыслителя, учителя нравственности, собираются люди, занятые будто бы самыми возвышенными интересами. Так они говорят; но они притворяются: все они знают, что будет еда, хорошая, вкусная еда, и питье, и это главное их собрало вместе. За несколько дней уже для этой самой цели били и резали животных, тащили корзины продуктов из гастрономических магазинов, и повара, помощники их,

поваренки, буфетные мужики, особенно одетые, в чистых крахмальных фартуках, колпаках, «работали». Работали получающие 500 и больше рублей в месяц сЬеГы, отдавая приказания. Рубили, месили, мыли, укладывали, украшали повара. Еще с таким же торжеством и важностью работал такой же начальник сервировки, считая, обдумывая, прикидывая взглядом, как художник. Работал садовник для цветов. Судомойки... Работает армия людей, поглощаются произведения тысяч рабочих дней, и всё для того, чтобы людям, собравшись, поговорить о памятном великом учителе науки, нравственности, или вспомнить умершего друга, или напутствовать молодых супругов, вступающих в новую жизнь.

В низшем и среднем быту ясно видно, что праздник, похороны, свадьба – это жранье. Так там и понимают это дело. Жранье так заступает место самого мотива соединения, что по-гречески и по- французски свадьба и пир однозначащи. Но в высшем кругу, среди утонченных людей, употребляется большое искусство для того, чтобы скрыть это и делать вид, что еда есть дело второстепенное, что это так только приличие. Они и удобно могут представлять это, потому что большей частью в настоящем смысле пресыщены – никогда не голодны.

Они притворяются, что обед, еда, им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утонченных блюд дать им, не говорю хлеба с водой, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что в собрании этих людей главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды.

Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по городу и посмотрите, что продается: наряды и предметы для объядения.

В сущности это так и должно быть и не может быть иначе. Не думать о еде, держать эту свою похоть в пределах можно только тогда, когда человек покоряется необходимости есть; но когда человек, только покоряясь необходимости, т. е. полноте желудка, перестает есть, тогда это не может быть иначе. Если человек полюбил удовольствие еды, позволил себе любить это удовольствие, находит, что это удовольствие хорошо (как это находит всё огромное большинство людей нашего мира, и образованные, хотя они и притворяются в обратном), тогда нет пределов его увеличению, нет пределов, дальше которых оно не могло бы разрастись. Удовлетворение потребности имеет пределы, но удовольствие не имеет их. Для удовлетворения потребности необходимо и достаточно есть хлеб, кашу или рис; для увеличения удовольствия нет конца приправам и приспособлениям.

Хлеб есть необходимая и достаточная пища (доказательство этому – миллионы людей сильных, легких, здоровых, много работающих на одном хлебе). Но лучше есть хлеб с приправой. Хорошо мочить хлеб в воде, наварной от мяса. Еще лучше положить в эту воду овощи, и еще лучше разные овощи. Хорошо съесть и мясо. Но мясо лучше съесть не вываренное, а только зажаренное. А еще лучше с маслом слегка зажаренное и с кровью, известные части. А к этому еще овощи и горчицу. И запить это вином, лучше всего красным. Есть уже не хочется, но можно съесть еще рыбы, если приправить ее соусом и запить вином белым.– Казалось бы, больше нельзя ни жирного, ни вкусного. Но сладкое еще можно съесть, летом мороженое, зимой компот, варенье и т. п. И вот обед, скромный обед. Удовольствие этого обеда можно еще много, много увеличить. И увеличивают, и увеличению этому нет пределов; и возбуждающие аппетит закуски, и entremets', и десерты, и разные соединения вкусных вещей, и цветы, и украшения, и музыка за обедом.

И удивительная вещь,– люди, каждый день объедающиеся такими обедами, перед которым ничто Валтасаров пир, вызвавший чудесную угрозу, наивно уверены, что они при этом могут вести нравственную жизнь.

IX

Пост есть необходимое условие доброй жизни; но и в посте, как и в воздержании, является вопрос, с чего начинать пост, как поститься,– как часто есть, что есть, чего не есть? И как нельзя заняться серьезно никаким делом, не усвоив нужной в нем последовательности, так нельзя и поститься, не зная, с чего начать пост, с чего начать воздержание в пище.

Пост. Да еще в посте разборка, как и с чего поститься. Мысль эта кажется смешной, дикой большинству людей.

Помню, как с гордостью за свою оригинальность нападавший на аскетизм монашества евангелик говорил мне; мое христианство не с постом и лишениями, а на бифстексах. Христианство и добродетель вообще с бифстексом!

В нашу жизнь въелось столько диких, безнравственных вещей, особенно в ту низшую область первого шага к доброй жизни,– отношения к пище, на которое мало кто обращал внимания,– что нам трудно даже понять дерзость и безумие утверждения в наше время христианства или добродетели с бифстексом.

Легкие блюда, подаваемые после жаркого.

Ведь мы не ужасаемся перед этим утверждением только потому, что над нами случилось то необычное дело, что мы смотрим и не видим, слушаем и не слышим. Нет зловония, к которому человек бы не принюхался, нет звуков, к которым бы не прислушался, безобразия, к которому бы не пригляделся, так что уже не замечает того, что поразительно для непривыкшего человека. Точно то же и в области нравственной. Христианство и нравственность с бифстексом!

На днях я был на бойне в нашем городе Туле. Бойня у нас построена по новому, усовершенствованному способу, как она устроена в больших городах, так чтобы убиваемые животные мучились как можно меньше. Это было в пятницу, за два дня до Троицы. Скотины было много.

Еще прежде, давно, читая прекрасную книгу «Ethics of Diet», мне захотелось побывать на бойне с тем, чтобы самому глазами увидеть сущность того дела, о котором идет речь, когда говорят о вегетарианстве. Но всё совестно было, как всегда бывает совестно смотреть на страдания, которые наверное будут, но которых ты предотвратить не можешь, и я всё откладывал.

Но недавно я встретился на дороге с мясником, который ходил домой и теперь возвращался в Тулу. Он еще неискусный мясник, а его обязанность колоть кинжалом. Я спросил его, не жалко ли ему убивать скотину? И как всегда отвечают, он ответил: «Чего же жалеть? Ведь надо же». Но когда я сказал ему, что питание мясом не необходимо, то он согласился и тогда согласился, что и жалко. «Что же делать, кормиться надо»,– сказал он.– «Прежде ***боялся*** убивать. Отец, тот в жизнь курицы не зарезал».– Большинство русских людей не могут убивать, жалеют, выражая это чувство словом ***«бояться».*** Он тоже боялся, но перестал. Он объяснил мне, что самая большая работа бывает по пятницам и продолжается до вечера.

Недавно я также разговаривал с солдатом, мясником, и опять точно так же он был удивлен моим утверждением о том, что жалко убивать; и, как всегда, сказал, что это положено; но потом согласился; «Особенно, когда смирная, ручная скотина. Идет сердешная, верит тебе. Живо жалко!»

Мы шли как раз из Москвы, и по дороге нас подвезли ломовые извозчики, ехавшие из Серпухова в рощу к купцу за дровами. Был чистый четверг. Я ехал на передней телеге с извозчиком, сильным, красным, грубым, очевидно сильно пьющим мужиком. Въезжая в одну деревню, мы увидали, что из крайнего двора тащили откормленную, голую, розовую свинью бить. Она визжала отчаянным голосом, похожим на человеческий крик. Как раз в то время, как мы

проезжали мимо, свинью стали резать. Один из людей полоснул ее по горлу ножом. Она завизжала еще громче и пронзительней, вырвалась и побежала прочь, обливаясь кровью. Я близорук и не видел всего подробно, я видел только розовое, как человеческое, тело свиньи и слышал отчаянный визг; но извозчик видел все подробности и, не отрывая глаз, смотрел туда. Свинью поймали, повалили и стали дорезывать. Когда визг ее затих, извозчик тяжело вздохнул. «Ужели ж за это отвечать не будут?» – проговорил он.

Так сильно в людях отвращение ко всякому убийству, но примером, поощрением жадности людей, утверждением о том, что это разрещено Богом, и главное привычкой, людей доводят до полной утраты этого естественного чувства.

В пятницу я пошел в Тулу и, встретив знакомого мне кроткого доброго человека, пригласил его с собой.

— Да, я слышал, что тут хорошее устройство, и хотел посмотреть, но если там бьют, я не войду.

— Отчего же, я имено это-то и хочу видеть! Если есть мясо, то ведь надо бить.

— Нет, нет, я не могу.

Замечательно при этом, что этот человек – охотник и сам убивает птиц и зверей.

Мы пришли. У подъезда уже стал чувствителен тяжелый, отвратительный гнилой запах столярного клея или краски на клею. Чем дальше подходили мы, тем сильнее был этот запах. Строение – красное, кирпичное, очень большое, со сводами и высокими трубами. Мы вошли в ворота. Направо был большой, в ‘/4 десятины, огороженный двор – это площадка, на которую два дня в неделю пригоняют продажную скотину,– и на краю этого пространства домик дворника; налево были, как они называют, кйморы, т. е. комнаты с круглыми воротами, с асфальтовым вогнутым полом и с приспособлением для подвешиванья и перемещения туш. У стены домика направо, на лавочке сидело человек шесть мясников в фартуках, залитых кровью, с засученными, забрызганными рукавами на мускулистых руках. Они с полчаса как кончили работу, так что в этот день мы могли видеть только пустые каморы. Несмотря на открытые с двух сторон ворота, в каморе был тяжелый запах теплой крови, пол был весь коричневый, глянцовитый, и в углублениях пола стояла сгущающаяся черная кровь.

Один из мясников рассказал нам, как бьют, и показал то место, где это производится. Я не совсем понял его и составил себе ложное, но очень страшное представление о том, как бьют, и думал, как это часто бывает, что действительность произведет на меня меньшее впечатление, чем воображаемое. Но в этом я ошибся.

в следующий раз я пришел на бойню вовремя. Это было в пятницу перед Троицыным днем. Был жаркий июньский день. Запах клея, крови был еще сильнее и заметнее утром, чем в первое мое посещение. Работа была в самом разгаре. Вся пыльная площадка была полна скота, и скот был загнан во все загоны около камор.

У подъезда на улице стояли телеги с привязанными к грядкам и оглоблям быками, телками, коровами. Полки, запряженные хорошими лошадьми, с наваленными живыми, болтающимися свесившимися головами, телятами подъезжали и разгружались; и такие же полки с торчащими и качающимися ногами туш быков, с их головами, ярко-красными легкими и бурыми оттенками отъезжали от бойни. У забора стояли верховые лошади гуртовщиков. Сами гуртовщики-торговцы в своих длинных сюртуках, с плетями и кнутами в руках ходили по двору, или замечая мазками дегтя скотину одного хозяина, или торгуясь, или руководя переводом волов и быков с площади в те загоны, из которых скотина поступала в самые каморы. Люди эти, очевидно, были все поглощены оборотами, расчетами, и мысль о том, что хорошо или нехорошо убивать этих животных, была от них так же далека, как мысль о том, каков химический состав той крови, которой был залит пол каморы.

Мясников никого не видно было на дворе, все были в каморах, работая. В этот день было убито около ста штук быков. Я вошел в камору и остановился у двери. Остановился я и потому, что в каморе было тесно от передвигаемых туш, и потому, что кровь текла внизу и капала сверху, и все мясники, находившиеся тут, были измазаны ею, и, войдя в середину, я непременно измазался бы кровью. Одну подвешенную тушу снимали, другую переводили к двери, третья – убитый вол лежал белыми ногами кверху, и мясник сильным кулаком подпарывал растянутую шкуру.

Из противоположной двери той, у которой я стоял, в это же время вводили большого красного сытого вола. Двое тянули его. И не успели они ввести его, как я увидал, как один мясник занес кинжал над его шеей и ударил. Вол, как будто ему сразу подбили все четыре ноги, грохнулся на брюхо, тотчас же перевалился на один бок и забился ногами и всем задом. Тотчас же один мясник навалился на перед быка с противоположной стороны его бьющихся ног, ухватил его за рога, пригнул ему голову к земле, и другой мясник ножом разрезал ему горло, и из-под головы хлынула черно-красная кровь, под поток которой измазанный мальчик подставил жестяной таз. Всё время, пока это делали, вол, не переставая, дергался головой, как бы стараясь подняться, и бился всеми четырьмя ногами в воздухе. Таз быстро наполнялся, но вол был жив и, тяжело нося животом, бился задними и передними ногами, так что мясники сторо

нились его. Когда один таз наполнился, мальчик понес его на голове в альбуминный завод, другой – подставил другой таз, и этот стал наполняться. Но вол всё так же носил животом и дергался задними ногами. Когда кровь перестала течь, мясник поднял голову вола и стал снимать с нее шкуру. Вол продолжал биться. Голова оголилась и стала красная с белыми прожилками и принимала то положение, которое ей давали мясники, с обеих сторон ее висела шкура. Вол не переставал биться. Потом другой мясник ухватил быка за ногу, надломил ее и отрезал. В животе и остальных ногах еще пробегали содрогания. Отрезали и остальные ноги и бросили их туда, куда кидали ноги волов одного хозяина. Потом потащили тущу к лебедке и там распяли ее, и там движений уже не было.

Так я смотрел из двери на второго, третьего, четвертого вола. Со всеми было то же: также снятая голова с закушенным языком и бьющимся задом. Разница была только в том, что не всегда сразу попадал боец в то место, от которого вол падал. Бывало то, что мясник промахивался, и вол вскидывался, ревел и, обливаясь кровью, рвался из рук. Но тогда его притягивали под брус, ударяли другой раз, и он падал.

Я зашел потом со стороны той двери, в которую вводили. Тут я видел то же, только ближе и потому яснее. Я увидал тут главное то, чего я не видал из первой двери; чем заставляли входить волов в эту дверь. Всякий раз, как брали вола из загона и тянули его спереди на веревке, привязанной за рога, вол, чуя кровь, упирался, иногда ревел и пятился. Силой втащить двум людям его нельзя было бы, и потому всякий раз один из мясников заходил сзади, брал вола за хвост и винтил хвост, ломая репицу, так что хрящи трещали и вол подвигался.

Кончили волов одного хозяина, повели скотину другого. Первая скотина из этой партии другого хозяина был не вол, а бык. Породистый, красивый, черный с белыми отметинами и ногами,– молодое, мускулистое, энергическое животное. Его потянули; он опустил голову книзу и уперся решительно. Но шедший сзади мясник, как машинист берется за ручку свистка, взялся за хвост, перекрутил его, хрящи хрустнули, и бык рванулся вперед, сбивая тащивших за веревку людей, и опять уперся, косясь черным, налившимся в белке кровью глазом. Но опять хвост затрещал, и бык рванулся и уже был там, где и нужно было. Боец подошел, прицелился и ударил. Удар не попал в место. Бык подпрыгнул, замотал головой, заревел и, весь в крови, вырвался и бросился назад. Весь народ в дверях шарахнулся. Но привычные мясники с молодцеватостью, выработанной опасностью, живо ухватили веревку, опять хвост и опять бык очутился в каморе, где его притянули головой под брус, из-под

которого он уже не вырвался. Боец примерился живо в то местечко, где расходятся звездой волосы, и, несмотря на кровь, нашел его, ударил, и прекрасная, полная жизни скотина рухнулась и забилась головой, ногами, пока ему выпускали кровь и свежевали голову.

– Вишь, проклятый чёрт, и упал-то не куда надо,– ворчал мясник, разрезая ему кожу головы.

Через пять минут торчала уже красная, вместо черной, голова без кожи, с стеклянно-остановившимися глазами, таким красивым цветом блестевшими за пять минут тому назад.

Потом я пошел в отделение, где режут мелкий скот. Очень большая камора, длинная с асфальтовым полом и с столами со спинками, на которых режут овец и телят. Здесь уже кончилась работа; в длинной каморе, пропитанной запахом крови, было только два мясника. Один надувал в ногу уже убитого барана и похлопывал его ладонью по раздутому животу; другой, молодой малый в забрызганном кровью фартуке, курил папироску загнутую. Больше никого не было в мрачной, длинной, пропитанной тяжелым запахом каморе. Вслед за мной пришел по виду отставной солдат и принес связанного по ногам черного с отметиной на шее молодого нынешнего баранчика и положил на один из столов, точно на постель. Солдат, очевидно, знакомый, поздоровался, завел речь о том, когда отпускает хозяин. Малый с папироской подошел с ножом, поправил его на краю стола и отвечал, что по праздникам. Живой баран так же тихо лежал, как и мертвый, надутый, только быстро помахивал коротеньким хвостиком и чаще, чем обыкновенно, носил боками. Солдат слегка, без усилия придержал его подымающуюся голову; малый, продолжая разговор, взял левой рукой за голову барана и резанул его по горлу. Баран затрепыхался, и хвостик напружинился и перестал махаться. Малый, дожидаясь, пока вытечет кровь, стал раскуривать потухавщую папироску. Полилась кровь, и баран стал дергаться. Разговор продолжался без малейшего перерыва.

А те куры, цыплята, которые каждый день в тысячах кухонь, с срезанными головами, обливаясь кровью, комично, страшно прыгают, вскидывая крыльями?

И, смотришь, нежная утонченная барыня будет пожирать трупы этих животных с полной уверенностью в своей правоте, утверждая два взаимно-исключающие друг друга положения;

Первое, что она, в чем уверяет ее ее доктор, так деликатна, что не может переносить одной растительной пищи и что для ее слабого организма ей необходима пища мясная; и второе, что она так чувствительна, что не может не только сама причинять страданий животным, но переносить и вида их.

А между тем слаба-то она, эта бедная барыня, только именно потому, что ее приучили питаться несвойственной человеку пищей; не причинять же страданий животным она не может потому, что пожирает их.

X

Нельзя притворяться, что мы не знаем этого. Мы не страусы и не можем верить тому, что если мы не будем смотреть, то не будет того, чего мы не хотим видеть. Тем более этого нельзя, когда мы не хотим видеть того самого, чего мы хотим есть. И главное, если бы это было необходимо. Но, положим, не необходимо, но на что-нибудь нужно? – Ни на что'. Только на то, чтобы воспитывать зверские чувства, разводить похоть, блуд, пьянство. Что и подтверждается постоянно тем, что молодые, добрые, неиспорченные люди, особенно женщины и девущки, чувствуют, не зная, как одно вытекает из другого, что добродетель не совместима с бифстексом, и как только пожелают быть добрыми,– бросают мясную пищу.

Что же я хочу сказать? То, что людям для того, чтобы быть нравственными, надо перестать есть мясо? Совсем нет.

Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков; что если стремление к доброй жизни серьезно в человеке, то оно неизбежно примет один известный порядок; и что в этом порядке первой добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет следовать тоже одному известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьезно и искренно ищет доброй жизни,– первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи, потому что, не говоря о возбуждении страстей, производимом этой пищей, употребление ее прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка – убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства.

Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не одним человеком, а всем человечеством в лице наилучщих представи-

' Те, которые сомневаются в этом, пусть прочтут те многочисленные, составленные учеными и врачами, книги об этом предмете, в которых доказывается, что мясо не нужно для питания человека. И пусть не слушают тех старозаветных врачей, которые отстаивают необходимость питания мясом только потому, что это признавали очень долго их предшественники и они сами; отстаивают с упорством, с недоброжелательностью, как отстаивают всё старое, отживающее.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

телеи его в продолжение всей сознательной жизни человечества. Но почему, если незаконность, т. е. безнравственность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к сознанию этого закона? – спросят люди, которым свойственно руководиться не столько своим разумом, сколько общим мнением. Ответ на этот вопрос в том, что всё нравственное движение человечества, составляющее основу всякого движения, совершается всегда медленно; но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение.

И таково движение вегетарианства. Движение это выражено и во всех мыслях писателей по этому предмету и в самой жизни человечества, всё больше и больше переходящего бессознательно от мясоедения к растительной пище, и сознательно – в проявившемся с особенной силой и принимающем всё ббльшие и ббльшие размеры движении вегетарианства. Движение это идет последние 10 лет, всё убыстряясь и убыстряясь; всё больше и больше с каждым годом является книг и журналов, издающихся по этому предмету; всё больше и больше встречается людей, отказывающихся от мясной пищи; и за границею с каждым годом, особенно в Германии, Англии и Америке, увеличивается число вегетарианских гостиниц и трактиров.

Движение это должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению Царства Божия на земле, не потому, что само вегетарианство есть важный шаг к этому Царству (все истинные шаги и важны, и не важны), а потому, что оно служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьезно и искренно, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени.

Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти на верх дома и прежде беспорядочно и тщетно лезшие с разных сторон прямо на стены, когда бы они стали сходиться, наконец, к первой ступени лестницы и все бы теснились у нее, зная, что хода на верх не может быть помимо этой первой ступени лестницы.

Лев Толстой.

Ц89Ц

НЕДЕЛАНИЕ

Редактор парижского журнала «Revue des revues», предполагая, как он пишет в своем письме, что мнение двух знаменитых писателей о современном положении умов будет мне интересно, прислал мне две вырезки из французских газет. Одна из них содержит речь Золя, другая – письмо Дюма к редактору «Голуа». Я очень благодарен г-ну Smith за его посылку. Оба документа эти и по знаменитости своих авторов, и по своей современности, и, главное, по своей противоположности представляют глубокий интерес, и мне хочется высказать несколько вызванных ими мыслей.

Трудно нарочно подыскать в текущей литературе в более сжатой, сильной и яркой форме выражение тех двух самых основных сил, из которых слагается равнодействующая движения человечества: одна – мертвая сила инерции, стремящаяся удержать человечество на раз избранном им пути, другая – живая сила разума, влекущая его к свету.

Вот в полноте речь Золя:

ЮНОШЕСТВУ

Господа!

Вы меня глубоко осчастливили и много порадовали, избрав председателем этого годичного собрания. Нет лучщего общества, более милого, и, главное, нет аудитории симпатичнее молодежи, перед которой широко раскрывается сердце, полное желания быть любимым и выслущанным.

Увы! я уже в летах, когда наступает сожаление о минувщей молодости и когда заботятся уже о вновь подрастающем поколении. Они будут нащими и судьями, и продолжателями. Я чую в них рождение будущего и часто с тревогой задаю себе вопрос: что из наще- го они отбросят и что сберегут, что станет нащим делом в их руках,

потому что только в их руках оно станет делом, только тогда оно будет, если они примут его, чтобы расширить и довести до конца. Вот почему я страстно слежу за движением мысли в современной молодежи, читаю передовые газеты и журналы, стараясь узнать новый дух, оживляющий школы, узнать, наконец, куда вы все идете, вы – разум и воля будущего. Правда, господа, тут есть эгоизм, я этого не скрываю. Я похож на работника, кончающего постройку дома, в котором он надеется провести остаток дней своих и который беспокоится, какая будет погода. Не повредит ли дождь его стенам? Или вдруг задует северный ветер и сорвет крышу с дома? А главное, прочно ли он построил дом, устоит ли он против бури? Прочен ли материал, предусмотрены ли несчастные случаи? Я говорю это не потому, чтобы предполагал, что какие-нибудь человеческие произведения могли бы быть вечны и окончательны. Величайшие из них должны примириться с тем, чтобы быть только моментом в непрерывном развитии человеческого разума. Достаточно за глаза и того, чтобы сознавать себя хоть на самое короткое время носителем слова одного поколения. И так как нельзя закрепить литературу, а всё беспрерывно развивается, всё вновь начинается, нужно быть готовым видеть, как рождаются и растут младшие, которые заместят вас, которые, быть может, сотрут даже воспоминание о вас. Я вовсе не хочу сказать, что старый боец, который сидит во мне, не чувствует временами желания сопротивляться, когда он видит нападение на свое произведение. Но, право, в отношении наступающего будущего столетия у меня больше любопытства, чем возмущения, больше горячего сочувствия, чем личного беспокойства, и да сгину я, и да сгинет со мной всё наше поколение, если мы в самом деле годны только на то, чтобы завалить собой ямы и облегчить этим путь к свету тем, кто следует за нами.

Господа! Я слышу постоянные толки о том, что позитивизм кончается в предсмертных муках, что натурализм уже умер, что наука обанкротится того и гляди, потому что не дала нравственного мира и счастия людям, которые обещала. Вы понимаете хорошо, что я не берусь здесь решать великие задачи, затрагиваемые этими вопросами. Я невежда. Я не имею права говорить от имени науки и философии. Если хотите знать, я просто романист, писатель, иногда немного угадывавший, и всё мое значение происходит оттого, что я много наблюдал и много работал. И только лишь в качестве свидетеля я позволю себе говорить вам о том, чем было или, по крайней мере, хотело быть мое поколение, люди, которым теперь пятьдесят лет и которых ваше поколение скоро назовет предками.

Я был очень удивлен на днях, при открытии выставки на Марсовом поле, особенным видом зал. Предполагается, что это всё те же

картины. Это заблуждение,– эволюция медленна, но каково бы было изумление, если бы можно было восстановить прежние выставки! Что касается до меня, то я хорошо помню последние выставки академические и романтические в 1863 году. Работа на воздухе («полный свет», plein air) еще не восторжествовала, был общий тон битюма; это была какая-то мания, какие-то зажаренные тона, полумрак мастерских. Потом, лет пятнадцать спустя, после победоносного и так оспариваемого влияния г-на Мане, я вспоминаю новые выставки, где блистал светлый тон полного солнца. Это было как бы наводнение светом, забота о правде, что делало из каждой рамки окно, широко раскрытое на природу, купающуюся в ярком блеске. И вчера, спустя еще пятнадцать лет, я мог усмотреть, как среди этой свежести произведений как будто подымается что-то вроде мистического тумана. Здесь всё та же забота о правдивой живописи, но действительность видоизменяется, фигуры как-то удлиняются, потребность оригинальности и новизны уносят художника за пределы мечты.

Если я говорю об этих трех стадиях современной живописи, то это потому, что они, мне кажется, очень ярко выражают движенце идей нашего времени. В самом деле, мое поколение после знаменитых предшественников, которых мы были последователями, старалось широко открыть окна на природу: всё видеть, всё сказать. В нем, даже между самыми бессознательными, завершалось продолжительное усилие позитивной философии и аналитических и опытных наук. Мы были переполнены наукою, которая окружала нас со всех сторон, мы жили ею, вдыхая в себя воздух того времени. Теперь я могу признаться в этом, я лично был даже сектантом, старающимся перенести в область литературы строгий метод ученого. Но где тот человек, который в борьбе не заходит далее того, что нужно, и ограничивается победой, не нарушая выгоды ее? Впрочем, я ни о чем не жалею и продолжаю верить в страстность, которая желает и действует. И потом, какой энтузиазм и какие надежды одушевляли нас! Всё знать, всё мочь, всё победить! Посредством истины сделать человечество более высоким и счастливым! И вот тут-то, господа, вы, молодежь, выступаете на сцену. Я говорю, молодежь – что-то неопределенное, отдаленное и глубокое, как море: потому что где она – молодежь? Чем она будет в действительности? Кто призван говорить во имя ее? Я должен держаться тех мыслей, которые ей приписывают. И если эти мысли не принадлежат многим из вас, я вперед прошу их простить меня. Я обращаю их к тем, которые обманули нас сомнительными сведениями, более согласными, вероятно, с их желанием, чем с действительностью.

Итак, господа, нас уверяют, что ваше поколение разрывает с нашим, что вы не полагаете уже всей вашей надежды в науке, что вы признали такую социальную и нравственную опасность в том, чтобы всё строить на науке, что вы решились возвратиться к прошедшему и из остатков прежних верований создать для себя живое верование. Конечно, речь идет не о полном разрыве с наукою,– предполагается, что вы принимаете все ее последние приобретения и что вы намерены расширить их. Допускается, что вы признаете доказанные истины, и прилагаются старания о том, чтобы приладить их к старинным догматам. В сущности же, наука поставлена в стороне от веры. Ее отталкивают на ее прежнее место. Она – простое упражнение ума и допускаемое исследование до тех пор, пока она не касается до сверхъестественного и загробного. Говорят, что опыт уже сделан, что наука не способна вновь заселить небо, которое она опустошила, и возвратить счастие душам, наивный мир которых она разрушала. Время лживого торжества ее кончено. Она должна быть скромна, потому что не может всего знать, не может сразу всё обогатить, всё исцелить. И если еще не смеют сказать интеллигентной молодежи, чтобы она бросила свои книги и оставила своих учителей, уже есть святые и пророки, которые ходят среди людей, восхваляя добродетель невежества, ясность простоты и необходимость для слишком ученого и состарившегося человечества, необходимость освежения в глубинах доисторической деревни среди предков, едва только отделившихся от земли, до всякого обшества и всякого знания.

Я не отрицаю того кризиса, который мы переживаем; это – усталость и возмущение в конце этого века, после столь лихорадочного и колоссального труда, цель которого состояла в том, чтобы всё знать и всё сказать. Казалось, что наука, которая только что разрушила древний мир, должна была живо воссоздать его по тому идеалу, который мы имеем о справедливости и счастии. Ждали 20, 50, даже 100 лет. И потом, когда увидали, что справедливость все-таки не царствовала, что счастие не приходило, многие отдались всё растущему нетерпению, отчаиваясь и отрицая даже то, чтобы можно было посредством знания достигнуть блаженной воли. Явление известное; нет действия без реакции, и мы присутствуем при неизбежной усталости, свойственной длинным путешествиям: люди садятся на краю дороги и, глядя на бесконечную равнину развертывающегося следующего века, отчаиваются дойти когда-нибудь до цели; доходят даже до того, что сомневаются даже в пройденном пути, сожалеют о том, что не легли в поле, чтобы спать в нем целую вечность. К чему идти, если цель будет постоянно удаляться? К чему знать, если нельзя знать всего? Уж лучше оставаться в чистой простоте, в счастливом неведении ребенка. Таким образом,

людям кажется, что наука, будто бы обещавшая счастие, на наших глазах обанкротилась.

Но наука разве обещала счастие? Я не думаю этого. Она обещала истину, и вопрос в том, можно ли делать счастие из истины? Чтобы довольствоваться ею, без сомнения, нужно много стоицизма, полного отречения от своего «я», ясности удовлетворенного ума, который можно встретить только у избранных. А между тем, какой крик отчаяния раздается среди страдающего человечества! Как жить без лжи и иллюзии! Если нет где-нибудь другого мира, в котором царствует справедливость, где богатые наказаны и добрые вознаграждены, как прожить без возмущения эту отвратительную человеческую жизнь? Природа несправедлива и жестока, и наука как будто приводит нас к уродливому праву сильного, так что разрущается всякая нравственность и всякое общество влечется к деспотизму. И вот в этой происходящей реакции, в этой усталости от излишка знания, о которой я говорил, есть тоже это отступление перед истиной, еще плохо разъясненной и кажущейся жестокой на нащи глаза, неспособные еще понять и проникнуть все законы. Нет, нет, воротимся к спокойному сну неведения! Действительность есть школа извращения, надо убить ее и отрицать, потому что действительность есть только безобразие и преступление, и люди бросаются в мечту, и нет другого спасения, как уйти от земли, довериться загробному и надеяться, что там, наконец, мы найдем удовлетворение нашей потребности братства и справедливости.

Этот-то отчаянный призыв к счастию мы слышим теперь. Он меня бесконечно трогает. И заметьте, что он слышится со всех сторон, как жалостный вопль среди грома движения науки, которая не останавливает своих колес и машин. Довольно с нас истины, давайте нам химер! Мы найдем спокойствие только тогда, когда будем мечтать о том, чего нет, когда будем уноситься в бесконечное: там только распускаются те мистические цветы, запах которых усыпит наше страдание. Уже музыка ответила, литература стремится удовлетворить новую жажду, живопись сообразуется с новой модой. Я говорил вам о выставке Марсова поля; вы увидите там расцвет этой флоры древней живописи на окнах, жидких и худых мадонн, видения в сумрачных тенях, окостенелые лица с надломленными жестами примитивистов. Это – реакция против натурализма, который умер и похоронен, как это говорят нам. Во всяком случае движение несомненно, потому что оно захватило все проявления духа, и надо считаться с ним и изучить и объяснить его, если не хочешь отчаяться в завтрашнем дне.

С своей стороны, господа, я, как старый и закоренелый позитивист, вижу в этом только неизбежную остановку в поступательном

движении. Остановки, собственно, нет, потому что наши библиотеки, лаборатории, амфитеатры и школы не опустели. Внушает мне доверие и то, что социальная почва не изменилась, а остается всё тою же демократическою почвою, на которой вырос наш век. Для того, чтобы расцвело другое искусство, чтобы новое верование изменило направление движения человечества, надо, чтобы это верование имело и новую почву, в которой оно могло бы произрасти, потому что не может быть нового общества без новой почвы. Вера не воскресает, и из мертвых религий можно делать только мифологии.

Потому следующий век будет только утверждением нашего в том демократическом и научном порыве, который увлек нас и который продолжается. Всё, что я могу допустить, это – то, что в литературе мы слишком закрыли горизонты.

Я лично сожалел уже о том, что был сектантом, желающим в искусстве держаться только что доказанных истин. Вновь пришедшие раскрыли горизонты, захватив неизвестное и тайну, и они хорошо сделали. Между истинами, установленными наукой и потому непоколебимыми, и истинами, которые она вырвет завтра из области неизвестного, чтобы в свою очередь закрепить их, есть неопределенное поле сомнений и исследований, которое принадлежит, как мне кажется, столько же литературе, сколько и науке.

Вот тут-то мы и можем делать наше дело передовых пионеров, объясняя соответственно своему характеру и силе ума действия неизвестных сил. Идеал ведь есть не что иное, как необъяснимое, как силы того бесконечного мира, в котором мы купаемся, не зная их. И если мы можем придумывать решения, объясняющие неизвестное, неужели мы можем позволить себе сомневаться в открытых уже законах, представляя их себе иными и этим самым отрицая их? По мере того, как подвигается наука, несомненно отступает и идеал, и мне кажется, что единственный смысл жизни, единственная радость, которую должно находить в жизни, состоит в этом медленном завоевании, хотя бы нам ясна была грустная достоверность того, что всего мы никогда не узнаем.

В то смутное время, которое мы переживаем, господа, в наше время, столь пресыщенное и столь ищущее, появились пастыри душ, которые озабочены и горячо предлагают молодежи веру. Предложение великодушно, но, к сожалению, эта вера изменяется и извращается соответственно тому пророку, который ее предлагает. Их много различных, но ни одна из них не кажется мне ни очень ясною, ни очень определенною. Вас умоляют верить, не говоря определено во что. Может быть, этого и нельзя, а может быть, тоже, что и не решаются этого сделать. Вас приглашают верить для того, чтобы вы имели счастие верить; главное, чтобы вы научились

верить. Вопрос сам по себе не дурен: конечно, большое счастие полагается на достоверность веры, какая бы она ни была; но беда в том, что нельзя руководить благодатью; она дует, где хочет.

Итак, я закончу с своей стороны, предложив вам тоже веру, умоляя вас иметь веру в труд. Работайте же, молодые люди! Я знаю, насколько этот совет кажется банальным. Нет публичного акта, при котором его не повторяли бы среди всеобщего равнодушия воспитанников. Но я прошу вас подумать о нем и позволю себе, я, бывший всё время только работником, сказать вам о том благе, которое я извлек из того долгого труда, который наполнил всю мою жизнь. Мое вступление в жизнь было трудное; я знал и нищету, и отчаяние, я жил потом в борьбе, живу в ней и теперь, разбираемый, отрицаемый, осыпаемый оскорблениями. И что ж? У меня была только одна вера, одна сила – труд. Поддержала меня только та огромная работа, которую я задал себе, передо мной всегда стояла вдалеке та цель, к которой я двигался,– и этого было достаточно, чтобы поднимать меня, придавать мне мужество, когда плохая жизнь подавляла меня. Труд, про который я говорю вам,– это труд правильный, ежедневный, урок, обязанность, которую себе задал, хоть на шаг каждый день подвигаться в своем деле. Сколько раз поутру я садился за свой стол с потерянной головой, с горечью во рту, мучимый какою-нибудь великой болью, физической или нравственной! И каждый раз, несмотря на возмущения моего страдания, мой урок для меня был облегчением и подкреплением. Я всегда выходил утешенным из своего ежедневного занятия, с сердцем, может быть, и разбитым, но еще не падающим и могущим жить до завтра.

Труд! Господа, только подумайте о том, что это единственный закон мира, тот регулятор, который влечет органическую материю к ее известной цели! Жизнь не имеет другого смысла, другой причины быть, мы все появляемся только для того, чтобы совершить нашу долю труда и исчезнуть.

Жизнь есть не что иное, как сообщенное движение, которое она получает и завещает и которое в сущности есть не что иное, как труд, как работа великого дела, совершаемого во все века. И потому как же нам не быть скромными и не принять того урока, который задан каждому из нас, без возмущения и не уступая гордости своего «я», которое считает себя центром и не хочет ступить в ряды?

Как только этот урок принят, мне кажется, что спокойствие должно установиться во всяком человеке, даже самом измученном. Я знаю, что есть умы, мучимые бесконечностью, которые страдают от тайны; к ним я братски обращаюсь, советую им занять свою жизнь каким-нибудь огромным трудом, которого, хорошо бы было,

они не видели конца. Это – тот маятник, который даст им возможность идти прямо, это – ежечасное рассеяние, это – зерно, брошенное уму для того, чтобы он молол его и делал из него насущный хлеб с удовлетворенным сознанием исполненного долга. Конечно, это не разрешает никакой метафизической задачи, это только эмпирическое средство для того, чтобы честно или почти спокойно прожить свою жизнь; но разве мало того, чтобы приобрести нравственное и физическое здоровье, избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос о приобретении наибольшего возможного счастия на этой земле?

Я, признаюсь, никогда не доверял химерам. Нет ничего менее здорового как для человека, так и для народов, как заблуждение: оно уничтожает усилие, оно ослепляет, оно составляет тщеславие слабых. Продолжать держаться легенды, скрывать от себя действительность, верить, что достаточно мечтать о силе для того, чтобы быть сильным,– мы видели, куда это ведет, к каким страшным бедствиям. Народам говорят, чтобы они смотрели вверх, чтобы они верили в высшую власть, чтобы они возносились к идеалу.

Нет, нет! Такие речи кажутся мне иногда безбожными. Сильный народ только тот, который трудится, и только труд дает мужество и веру. Чтобы победить, нужно, чтобы арсеналы были полны, чтобы вооружение было самое прочное и усовершенствованное, чтобы войско было обучено, доверяло своим начальникам и самому себе. Всё это приобретается: для этого нужно только доброе желание и метод. Будущий век, беспредельное будущее принадлежит труду. Пусть не сомневаются в этом. И разве мы не видим уже в поднимающемся социализме зачаток социального закона будущего, закона труда для всех, труда – освободителя и примирителя?

Юноши, молодые люди, беритесь же за дело. Пусть каждый из вас берется за свой урок, который должен наполнить его жизнь. Как ни скромно бы было это дело, оно тем не менее будет полезно; в чем бы оно ни состояло, только бы оно поднимало вас. Когда вы его упорядочите без переутомления, давая то количество, которое вы в состоянии произвести каждый день, оно даст вам возможность жить здорово и весело и избавит вас от мук бесконечности. Какое здоровое и великое общество людей было бы то общество, в которое каждый член его вносил бы свою логическую долю труда! Человек, который работает, всегда бывает добр. И потому я убежден, что единственная вера, которая может спасти нас, есть вера в совершенное усилие. Прекрасно мечтать о вечности, но для честного человека достаточно пройти эту жизнь, совершив свое дело.

Г-н Золя не одобряет того, что новые учители молодежи предлагают ей верить во что-то неопределенное и неясное, и он совершенно прав в том, но, к сожалению, с своей стороны предлагает ей тоже веру и веру в нечто еще более неясное и неопределенное: веру в науку и в труд.

Г-н Золя считает как будто совершенно решенным и неподлежащим сомнению вопрос о том, что есть та наука, в которую надо не переставать верить. Трудиться во имя науки! Но в том-то и дело, что слово «наука» имеет очень широкое и мало определенное значение, так что то, что одни люди считают наукой, т. е. делом очень важным, считается другими и самым большим количеством людей, всем рабочим народом, ненужными глупостями. И нельзя сказать, чтобы это происходило только от необразования рабочего народа, не могущего понять всего глубокомыслия науки: сами ученые постоянно отрицают друг друга. Одни ученые считают наукой из наук философию, богословие, юриспруденцию, политическую экономию; другие ученые – естественники – считают всё это самым пустым, ненаучным делом, и, наоборот, то, что позитивисты считают самыми важными науками, считается спиритуалистами, философами и богословами если не вредными, то бесполезными занятиями. Но мало того, в одной и той же области всякая система среди самих жрецов своих имеет своих горячих защитников и противников, одинаково компетентных, утверждающих диаметрально противоположное. Мало того, в каждой области постоянно являются такие научные положения, которые, просуществовав иногда год, иногда десятки лет, оказываются вдруг заблуждениями и поспешно забываются теми самыми, которые их пропагандировали.

Ведь мы все знаем, что то, что считалось исключительно наукой и делом очень важным у римлян, чем они гордились, без чего считали человека варваром, была риторика, т. е. такое упражнение, над которым мы теперь смеемся и считаем не только не наукой, но пустяками. Мы также знаем, что то, что считалось наукой и самым важным делом в средние века, была схоластика, над которой мы теперь также смеемся. И я думаю, не нужно особенной смелости мысли для того, чтобы и в том огромном количестве знаний, которые в нашем мире считаются важным делом и называются наукой, предугадывать такие, над которыми наши потомки, читая описания той серьезности, с которой мы занимались нашими риторикой и схоластикой,– предметами, признаваемыми в наше время наукой, будут также пожимать плечами.

В наше время люди, освободившись от одних суеверий, не заметив еще этого, подпали под другие, не менее безосновательные и вредные, как и те, от которых они только что избавились. Избавив

шись от суеверии отживших религии, люди подпали под суеверия научные. Сначала кажется, что не может быть ничего общего между верованиями древнего еврея в то, что мир сотворен в 6 дней, что грехи отцов будут взысканы на детях, что некоторые болезни излечиваются созерцанием змеи, и верованием людей нашего времени в то, что мир произошел от вращения материи и борьбы существ, что преступность происходит от наследственности и что существуют микроорганизмы в виде запятых, от которых происходят такие-то болезни, и т. п. Кажется, что нет ничего общего между этими верованиями, но это только кажется.

Стоит перенестись воображением в умственное состояние древнего еврея, когда ему предлагались его верования его жрецами, чтобы убедиться в том, что основания, на которых принимались им положения и происхождении мира, и те, на которых принимаются людьми нашего времени различные научные положения, не только похожи, но совершенно тождественны.

Как еврей верил ведь собственно не в шестидневное творение и целительную змею, а в то, что есть люди, которые несомненно знают высшую, доступную человеку истину, и что поэтому хорошо верить в них, точно так же и люди нашего времени верят не в дарвинскую теорию наследственности и запятые, а во всё то, что им выдают за истину жрецы науки, основы деятельности которых остаются для верующих такими же таинственными, какими оставались для евреев основы знания их руководителей.

Позволю себе сказать даже и то, что я неоднократно замечал, что, точно так же, не будучи никем, кроме своими же жрецами, проверяемы, древние жрецы смело лгали и выдавали за истину то, что им взбредало в голову, точно так же нередко случается делать то же самое и так называемым людям науки.

Вся речь г-на Золя направлена против учителей молодежи, призывающих ее к возвращению к отжитым верованиям, и г-н Золя считает себя их противником. В сущности же те, против которых он вооружается, т. е. верующие или скорее желающие верить в отжившую религию, и те, за которых борется г-н Золя, т. е. представители науки,– люди одного лагеря, и если им разобраться хорошенько в своих стремлениях, то им спорить не о чем: querelles d'amoureux', как говорит Дюма. И те и другие ищут основ жизни, двигателей ее не в себе, не в своем разуме, а во внешних человеческих формах жизни; одни в том, что они называют религией, другие в том, что называется наукой. Одни, те, которые ищут спасения в религии, берут ее из предания о древнем знании других людей и хо-

Ссоры влюбленных *(фр.)*.

тят верить этому чужому древнему знанию; другие, те, которые ищут спасения в том, что они называют наукой, берут не из своего знания, а из знания других людей и верят этому чужому знанию. Одни видят спасение человечества в исправленном, подновленном или очищенном полуеврейском, полуязыческом христианстве; другие видят его в совокупности самых случайных, разнообразных и ненужных знаний, которые они называют наукой и считают чем-то самобытно действующим, благодетельным и потому неизбежно долженствующим исправить все недостатки жизни и дать человечеству высщее доступное благо. Одни как будто нарочно не хотят видеть того, что то, что они хотят восстановить и называют религией, есть только пустая кризалида, из которой бабочка уже давно улетела и кладет яички в другом месте, и что восстановление такой религии не только не может помочь бедам нащего времени, но может только усилить их, отводя глаза людей от настоящего дела. Другие не хотят видеть того, что то, что они называют наукой, будучи случайным собранием некоторых знаний, в настоящее время заинтересо- вавщих нескольких праздных людей, может быть или невинным препровождением времени для богатых людей или, в лучщем случае, только орудием зла или добра, смотря по тому, в чьих руках оно будет находиться, но само по себе ничего не может исправить. В сущности же, в глубине дущи ни те, ни другие не верят в действительность того средства, которое они предлагают; а и те, и другие одинаково хотят только чем-нибудь отвести глаза себе и людям от той пропасти, перед которой уже стоит человечество и в которую, продолжая идти по тому же пути, оно неизбежно должно рухнуться. Одни видят это отвлекающее средство в мистицизме, религии; другие, выразителем которых выступил Золя, в одуряющем действии труда для науки.

Разница между людьми, верующими в религию и в науку, только та, что одни верят в старую мудрость, ложь которой уже развенчана, а другие в новую, ложь которой еще не развенчана и которая поэтому еще внушает благоговейный трепет некоторым наивным людям. А между тем суеверие в том, что называется наукой, едва ли меньше, чем в том, что называется религией. Разница только в том, что одно – суеверие прошедшего, другое – суеверие настоящего.

И потому, не будет ли также опасно, последовав совету г-на Золя, посвятить свою жизнь служению тому, что в наше время и в нашем мире считается наукой? Что как я посвящу всю свою жизнь на исследование явлений вроде наследственности по учению Ломбро- **30,** или коховской жидкости, или образования чернозема посредством деятельности червей, или круксовского четвертого состояния

/

материи и т. п., и вдруг узнаю перед смертью, что то, на что я посвятил всю свою жизнь, были глупые, а может быть, даже и вредные пустяки, а жизнь у меня была только одна.

Есть малоизвестный китайский философ Лаодзи (первый и лучший перевод его книги «О пути добродетели» Stanislas Julien). Сущность учения Лаодзи состоит в том, что высшее благо как отдельных людей, так в особенности и совокупности людей, народов может быть приобретено через познание «Тао» – слово, которое переводится «путем, добродетелью, истиной», познание же «Тао» может быть приобретено только через ***неделание,*** «1е поп agir», как переводит это Julien: Все бедствия людей, по учению Лаодзи, происходят не столько от того, что они не сделали того, что нужно, сколько от того, что они делают то, чего не нужно делать. И потому люди избавились бы от всех бедствий личных и в особенности общественных, которые преимущественно имеет в виду китайский философ, если бы они соблюдали неделание (s'ils pratiquaient le non agir).

И я думаю, что он совершенно прав. Пусть каждый усердно работает. Но что? Биржевой игрок, банкир возвращается с биржи, где он усердно работал; полковник с обучения людей убийству, фабрикант – из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки. Все эти люди работают, но неужели можно поощрять их работу?

Но, может быть, надо говорить только о людях, работающих для науки?

Я постоянно получаю от разных авторов многочисленные тетради, часто и книги с работами, художественными и научными.

Один в окончательной форме разрешил вопрос христианской гносеологии, другой напечатал книгу о космическом эфире, третий разрешил социальный, четвертый – политический, пятый – восточный вопросы, шестой издает журнал, посвященный исследованиям таинственных сил духа и природы, седьмой разрешил проблему коня.

Все эти люди работают для науки постоянно и усердно, но я думаю, что время и труд не только всех этих писателей, но и многих других, не только пропали даром, но были еще и вредны. Вредны, во-первых, тем, что для приготовления этих писаний тысячи других людей делали бумагу, шрифт, набирали, печатали и, главное, кормили, одевали всех своих тружеников науки, и еще тем, что все сочинители эти, вместо того чтобы чувствовать свою вину перед обществом, как бы они чувствовали ее, если бы играли в карты или горелки, со спокойной совестью продолжают делать свое никому ненужное дело.

Кто не знает тех безнадежных для истины и часто жестоких людей, которые так заняты, что им всегда некогда, главное – некогда справиться с тем, нужно ли кому-нибудь и не вредно ли то дело, над которым они так усердно работают. Вы говорите им; «Ваша работа бесполезна или вредна потому-то и потому-то, погодите, рассудимте дело»; они не слушают вас и даже с иронией возражают: «Хорошо вам рассуждать, когда нечего делать, а я работаю над исследованием того, сколько раз такое-то слово употреблено таким-то древним писателем, или над определением форм атомов, или над телепатией» и т. п.

Но кроме этого меня всегда уже давно поражало то удивительное, утвердившееся в Западной Европе, мнение, что труд есть что- то вроде добродетели, и еще гораздо прежде, чем прочесть это мнение, ясно выраженное в речи г-на Золя, я уже не раз удивлялся на это странное значение, приписываемое труду.

Ведь только муравей в басне, как существо, лишенное разума и стремлений к добру, мог думать, что труд есть добродетель, и мог гордиться им.

Г-н Золя говорит, что труд делает человека добрым; я же замечал всегда обратное; сознанный труд, муравьиная гордость своим трудом, делает не только муравья, но и человека жестоким. Величайшие злодеи человечества Нерон, Петр I всегда были особенно заняты и озабочены, ни на минуту не оставаясь сами с собой без занятий или увеселений.

Но если даже трудолюбие не есть явный порок, то ни в каком случае оно не может быть добродетелью. Труд так же мало может быть добродетелью, как питание. Труд есть потребность, лишение которой составляет страдание, но никак не добродетель. Возведение труда в достоинство есть такое же уродство, каким бы было возведение питания человека в достоинство и добродетель. Значение, приписываемое труду в нашем обществе, могло возникнуть только как реакция против праздности, возведенной в признак благородства и до сих пор еще считающейся признаком достоинства в богатых и малообразованных классах. Труд, упражнение своих органов, для человека есть всегда необходимость, как о том одиноко свидетельствуют телята, скачущие вокруг кола, к которому они привязаны, и люди богатых классов, мученики гимнастики, всякого рода игр: карт, шахмат, lawn tennis'a и т. п., не умеющие найти более разумного упражнения своих органов.

Труд не только не есть добродетель, но в нашем ложно организованном обществе есть большею частью нравственно анестезирующее средство вроде курения или вина, для скрывания от себя неправильности и порочности своей жизни.

«Когда мне рассуждать с вами о философии, нравственности и религии,– мне надо издавать ежедневную газету с полмиллионом подписчиков, мне надо организовать войско, мне надо строить Эйфелеву башню, устраивать выставку в Чикаго, прорывать Панамский перешеек, дописать двадцать восьмой том своих сочинений, свою картину, оперу». Не будь у людей нашего времени отговорки постоянного, поглощающего их всех труда, они не могли бы жить, как живут теперь. Только благодаря тому, что они пустым и большею частью вредным трудом скрывают от себя те противоречия, в которых они живут, только благодаря этому и могут люди жить так, как они живут.

И именно в качестве такого средства и представляет г-г Золя труд своим слушателям. Он прямо говорит: «Это только эмпирическое средство прожить честную жизнь и почти спокойную. Но разве этого мало, разве мало того, чтобы приобрести хорошее физическое и моральное здоровье и избежать опасности мечты, разрешая трудом вопрос наивысшего доступного человеку счастия?»

Таков совет, даваемый молодежи нашего времени г-ном Золя!

Совсем другое говорит Дюма.

Вот его письмо, написанное к редактору «Голуа».

Милостивый государь!

Вы спрашиваете моего мнения относительно стремлений, которые, кажется, что обнаруживаются среди школьной молодежи, и относительно споров, которые предшествовали и сопровождали происшествия в Сорбонне. Я предпочел бы не давать своего мнения относительно чего бы то ни было, очень хорошо зная, что это ни к чему не поведет. Люди, которые и прежде были одинакового с нами мнения, останутся в нем еще в продолжение некоторого времени; те, которые были противоположного, будут упорствовать в нем всё более и более. Лучше бы было совсем не спорить. Мнения подобны гвоздям, сказал один моралист из моих приятелей: чем более по ним колотят, тем глубже их вколачивают.

Это не то, чтобы я не имел своего мнения относительно того, что называют великими мировыми вопросами, и относительно различных форм, которыми человеческий ум мгновенно одевает те предметы, о которых он рассуждает. Это мнение такое определенное и такое безусловное, что я предпочел бы сохранить его для своего личного руководства, не имея притязания ничего творить, ничего разрушать. Мне должно бы было возвратиться к тем великим политическим, социальным, философским, религиозным вопросам, и это повело бы нас слишком далеко, если бы я последовал за вами в исследовании незначительных внешних явлений, вызываемых эти

ми вопросами в каждом новом поколении. В самом деле, каждое новое поколение приходит с мыслями и страстями, старыми как мир, хотя оно думает, что никто не имел их раньше его, потому что оно в первый раз находится под их влиянием, и оно убеждено, что оно вот-вот преобразует всё существующее.

В то время, как человечество пытается разрешить в продолжение тысячелетий эту великую задачу причин и следствий, которую оно едва ли разрешит и через тысячи веков, если и допустит, чего я не допускаю, возможность ее разрешения, двадцатилетние дети объявляют, что они имеют неопровержимое разрешение ее в их совершенно молодых мозгах. И как первый довод в первом же споре, они начинают колотить по тем, которые с ними не согласны. Должно ли из этого заключить, что это есть признак возвращения целого общества к религиозному идеалу, временно затемненному и оставленному? Или у всех этих молодых апостолов это есть только чистый физиологический вопрос, вопрос горячности крови, силы мускулов, горячности и силы, которые толкали молодежь двадцать лет тому назад на противоположное движение? Я склоняюсь к последнему предположению.

Тот грубо ошибался бы, кто хотел бы видеть в проявлениях возраста, полного силы, доказательство окончательного развития или хотя бы прочного. Тут есть только припадок лихорадки роста. Какого бы рода ни были те идеи, во имя которых молодые люди колотят друг друга, можно пари держать, что они будут противниками этих идей, как скоро они встретят их в своих детях. Возраст и опыт сделают это.

Многие, многие из воюющих и врагов настоящего часа рано или поздно встретятся на проселочных дорогах жизни отчасти усталые, отчасти разочарованные борьбой с действительностью и вместе рука с рукой вернутся на большую дорогу, с грустью признавая то, что, несмотря на их прежние убеждения, земля осталась круглою и вертится всё в том же направлении и что те же горизонты расстилаются под всё тем же бесконечным и закрытым небом.

Вволю поспорив и подравшись, одни во имя веры, другие во имя науки, столько же для того, чтобы доказать, что есть Бог, сколько и для того, чтобы доказать, что его нет,– два утверждения, насчет которых можно драться вечно, если решать не разоружаться до тех пор, пока не докажут,– они согласятся окончательно, что одни не знают об этом больше, чем другие, но что они твердо знают, что в конце концов человеку нужно надеяться столько же, если и не больше, чем знать, и что он страдает ужасно от неизвестности, в которой он находится, о вещах более всего для него интересных, что он постоянно ищет положения лучшего, чем то, в котором он

находится, и что ему надо предоставить полную свободу искать в области философии это средство быть более счастливым.

Перед ним был мир, который был до него и останется после него, и он знает, что мир этот вечен и что он желал бы участвовать в этой вечности. Раз он был призван к жизни, он требует своей доли в жизни вечной, которая окружает его, возбуждает его, подсмеивается над ним и уничтожает его. Так как он знает, что он начался, он не хочет кончиться. Он громко призывает, он тихим голосом молит о достоверности, которая постоянно ускользает от него для его же счастия, потому что достоверное знание было бы для него неподвижностью и смертью. Так как сильнейший двигатель человеческой энергии есть неизвестное, так как он не может установиться в достоверности, он носится в неопределенных идеалах, и как бы далеко он ни отклонялся в скептицизм, в отрицания, вследствие гордости, любопытства, злобы, моды, он всегда возвращается к надежде, без которой он не может жить. Это как ссора влюбленных: ненадолго.

Так что бывает иногда затемнение, но нет никогда полного исчезновения человеческого идеала. Через него проходят философские туманы, как облака перед месяцем, но белое светило продолжает свое шествие и вдруг появляется из-за них нетронутым и блестящим. Эта неудержимая потребность идеала в человеке объясняет то, что человек бросался с таким доверием, с таким восторгом, без разумного контроля в различные религиозные формулы, которые, обещая ему бесконечное, предлагали его ему сообразно его природе и ставили его в известные рамки, всегда необходимые даже для идеала.

Но вот уже давно при каждой станции движения человечества новые люди выходят из мрака в всё в большем и большем количестве, в особенности за последние 100 лет, и люди эти во имя разума, науки, наблюдения отрицают истины, объявляют их относительными и хотят разрушить те формулы, которые их содержат.

Кто прав в этом споре? Все – до тех пор, покуда все ищут, и никто – как только начинают угрожать. Между истиной, которая составляет цель, и свободным исследованием, на которое всякий имеет право, силе нечего делать, несмотря на знаменитые примеры противного. Сила только удаляет цель, вот и всё. Она не только жестока, она бесполезна, что составляет самый большой недостаток в деле цивилизации. Никакой удар кулака, как бы силен он ни был, не докажет ни существования, ни несуществования Бога.

И, наконец, та сила, какая бы она ни была, которая сотворила мир, так как он, как мне кажется, все-таки не мог сотвориться сам, сделав нас своими орудиями, удержала за собой право знать, зачем она нас сделала и куда она нас ведет. Сила эта, несмотря на все на

мерения, которые ей приписывали, и на все требования, которые к ней предъявляли, сила эта, как кажется, желает удержать свою тайну, и потому (я скажу здесь всё, что думаю) мне кажется, что человечество начинает отказываться от желания проникнуть ее. Человечество обращалось к религиям, которые ничего не доказали ему, потому что они были различны; обращалось к философиям, которые не более того разъяснили ему, потому что они были противоречивы; оно постарается теперь управиться одно с своим простым инстинктом и своим здравым смыслом, и так как оно живет на земле, не зная зачем и как, оно постарается быть настолько счастливым, насколько это возможно, теми средствами, которые предоставляет ему наша планета.

Недавно Золя в замечательной речи, обращенной к студентам, советовал им как лекарство, даже как панацею против всех затруднений в жизни,– труд. Labor improbus omnia vincit*. Лекарство известно, и от этого оно не менее хорошо, но оно всегда было и продолжает быть недостаточным. Пусть работает человек своими мускулами или своим умом, все-таки никогда не может быть его единственной заботой приобретение пищи, наживание состояния или приобретение славы. Все те, которые ограничивают себя этими целями, чувствуют и тогда, когда они достигли их, что им еще недостает чего-то: дело в том, что, что бы ни производил человек, что бы ни говорил, что бы ему ни говорили, он состоит не только из тела, которое надо кормить, и ума, который надо образовать и развивать, у него несомненно есть еще и душа, которая еще заявляет свои требования. Эта-то душа находится в неперестающем труде, в постоянном развитии и стремлении к свету и истине. До тех пор, пока она не получит весь свет и не завоюет всю истину, она будет мучать человека.

И вот – она никогда так не занимала, никогда не налагала с такою силою свою власть на человека, как в наше время. Она, так сказать, разлита во всем том воздухе, который вдыхает мир. Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскали, призвали друг друга, сблизились, соединились, поняли себя и составили группу, центр притяжения, к которому стремятся теперь другие души с четырех концов света, как летят жаворонки на зеркало: они составили таким образом общую, коллективную душу с тем, чтобы люди вперед осуществляли сообща, сознательно и неудержимо предстоящее единение и правильный прогресс наций, недавно еще враждебных друг другу. Эту новую душу я нахожу и узнаю в явлениях, которые кажутся более всего отрицающими ее.

Неутомимый труд всё побеждает *(лат.)*.

Эти вооружения всех народов, эти угрозы, которые делают друг другу их представители, эти возобновления гонений известных народностей, эти враждебности между соотечественниками и даже эти ребячества Сорбонны суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это – последние судороги того, что должно исчезнуть. Болезнь в этом случае есть только энергическое усилие организма освободиться от смертоносного начала.

Те, которые воспользовались и надеялись еще долго и всегда пользоваться заблуждениями прошедшего, соединяются с целью помешать всякому изменению. Вследствие этого – эти вооружения, эти угрозы, эти гонения; но, если вы вглядитесь внимательнее, вы увидите, что всё это только внешнее. Всё это колоссально, но пусто.

Во всем этом уже нет души; она перешла в иное место. Все эти миллионы вооруженных людей, которые каждый день упражняются в виду всеобщей истребительной войны, не ненавидят уже тех, с которыми они должны сражаться, и ни один из их начальников не смеет объявить войны. Что касается до упреков, даже заражающих, которые слышатся снизу, то уже сверху начинает отвечать им признающее их справедливость великое и искреннее сострадание.

Взаимное понимание неизбежно наступит в определенное время и более близкое, чем мы полагаем. Я не знаю, происходит ли это оттого, что я скоро уйду из этого мира и что свет, исходящий из- под горизонта, освещающий меня, уже затемняет мне зрение, но я думаю, что наш мир вступает в эпоху осуществления слов: «Любите друг друга», без рассуждения о том, кто сказал эти слова: Бог или человек.

Спиритуалистическое движение, заметное со всех сторон и которым столько самолюбивых и наивных людей думают управлять, будет безусловно человечно. Люди, которые ничего не делают с умеренностью, будут охвачены безумием, бешенством любить друг друга. Это сначала, очевидно, не совершится само собой. Будут недоразумения, может быть и кровавые: так уж мы воспитаны и приучены ненавидеть друг друга часто теми самыми людьми, которые призваны научать нас любви. Но так как очевидно, что этот великий закон братства должен когда-нибудь совершиться, я убежден, что наступают времена, в которые мы неудержимо пожелаем, чтобы это совершилось.

А. Дюма

1 июня 1893 года.

Главная разница между письмом Дюма и речью Золя, не говоря уже о внешней разнице, состоящей в том, что речь Золя обращена к молодежи и точно как будто заискивает перед нею (что стало обыкновенным и неприятным явлением нашего времени так же, как

и заискивание писателей перед женщинами), письмо же Дюма не обращено к молодежи и не говорит ей комплиментов, а напротив, указывает ей ее всегдашнюю ошибку самонадеянности, и вследствие этого самого, вместо того чтобы внушать юношам, что они очень важные люди и что в них вся сила, чего они никак не должны думать для того, чтобы сделать что-нибудь путное, научает не только их, но взрослых и старых очень многому,– разница главная в том, что речь Золя усыпляет людей, удерживая их на том пути, на котором они стоят, уверяя их в том, что то, что они знают, и есть то самое, что им нужно знать; письмо же Дюма будит людей, указывая им то, что жизнь их идет совсем не так, как она должна идти, и что они не знают того самого главного, что им нужно знать. Дюма также мало верит в суеверие прошедшего, как и в суеверие настоящего. Но зато и именно потому, что он не верит ни в суеверие прошедшего, ни в суеверие настоящего, он сам наблюдает, сам думает и потому видит ясно не только настоящее, но и будущее, как видели его всегда те, которых в древности называли ***видящими*** пророками. Как ни странно это может казаться тем, которые, читая сочинения писателей, видят только внешнюю сторону писания, а не душу писателя, тот самый Дюма, который написал «Dame aux Cameliac», «Affaire Clemenceau»' и др., этот самый Дюма видит теперь будущее и пророчествует о нем. Как ни странно это кажется нам, привыкшим представлять себе пророка в звериной шкуре и в пустыне, пророчество остается пророчеством, несмотря на то, что оно раздается не на берегах Иордана, а печатается на берегах Сены в типографии «Голуа», и слова Дюма – действительное пророчество и носят на себе все главные признаки пророчества; во-первых, тот, что слова эти совершенно противоположны всеобщему настроению людей, среди которых они раздаются; во-вторых, тот, что, несмотря на это, люди, слышащие эти слова, сами не зная почему, соглашаются с ними и, в-третьих, главное, тот, что пророчество содействует осуществлению того, что оно предсказывает.

Чем больше люди будут верить в то, что они могут быть приведены чем-то внешним, действующим само собою, помимо их воли, религией или наукой, к изменению и улучшению своей жизни, тем труднее совершится это изменение и улучшение. И в этом главный недостаток речи Золя. Но, напротив, чем больше они будут верить тому, что предсказывает Дюма,– тому, что неизбежно и скоро наступит то время, когда люди все будут увлечены любовью друг к другу и, отдавшись ей, сами по своей воле изменят всю теперешнюю жизнь,– тем скорее наступит это время. И в этом главное до-

«Дама с камелиями», «Дело Клемансо» *(фр.)*.

стоинство письма Дюма. Золя советует людям не изменять своей жизни, а только усиливать деятельность в раз принятом направлении, и этим внушает им неизменение их жизни. Дюма же, предсказывая внутреннее изменение чувств людей, внушает им его.

Дюма предсказывает, что люди, испробовав всё, возьмутся наконец – ив очень скором времени – серьезно за приложение к жизни закона «любви друг к другу» и будут, как он говорит, охвачены «безумием, бешенством» любви. Он говорит, что видит уже среди явлений, представляющихся столь угрожающими, признаки этого нового нарождающегося любовного настроения людей, видит, что поголовно вооруженные народы уже ненавидят друг друга: видит, что в борьбе богатых классов с бедными проявляется уже не торжество победителей, а искреннее сострадание победителей к побежденным и недовольство и стыд перед своей победой; видит, главное, как он говорит, образовавшиеся центры любовного притяжения, нарастающие, как ком снега, и неизбежно долженствующие привлечь к себе всё живое, до сих пор еще не присоединявшееся к ним, и этим путем изменения настроения уничтожится всё то зло, от которого страдают люди.

Я думаю, что если и можно оспаривать близость того переворота, который предсказывает Дюма, или даже самую возможность такого увлечения людей любовью друг к другу, никто не будет спорить о том, что если бы это случилось, то человечество избавилось бы от большей части всех удручающих его и угрожающих ему бедствий. Нельзя не признать того, что если бы люди делали то, что им предписывали тысячи лет тому назад, не только Христос, но все мудрецы мира, т. е. хотя бы не только любили других, как себя, но не делали бы хоть другим того, чего не хотят, чтобы им делали, что если бы люди вместо эгоизма предались альтруизму, если бы склад жизни из индивидуалистического переменился в коллективистический, как на своем дурном жаргоне выражают ту же самую мысль люди науки, то жизнь людей, вместо того чтобы быть бедственной, стала бы счастливой. Мало того, все признают и то, что жизнь, продолжаемая на тех языческих основах борьбы, на которых она идет теперь, приведет неизбежно человечество к величайшим бедствиям и что время это уже близко. Все люди видят, что чем больше и энергичнее будут они отнимать друг у друга землю и произведения их труда, тем озлобленнее будут становиться они и тем неизбежнее рано или поздно отнимут те люди, у которых более всего отнято, у похитителей то, чего их так долго лишали, и жестоко отплатят еще за все перенесенные ими лищения. Все уже давно видят ту до смещного очевидную нелепость взаимного вооружения народов, которое неизбежно должно кончиться если не ужаснейшими и

бесконечными побоищами, то всеобщим совершающимся уже разорением и вырождением всех людей, участвующих в этом круге вооружения. Кроме того, все люди нащего мира признают обязательным для себя или религиозный христианский закон любви, или на том же христианстве основанный светский закон уважения к чужой жизни, личности и правам человека.

Люди знают всё это и, несмотря на то, устраивают жизнь свою противно и своей выгоде, и безопасности, и закону, который они исповедуют.

Очевидно, есть какая-то скрытая, но важная причина, мещаю- щая людям исполнять то, что им выгодно, что избавило бы их от очевидной опасности и что они признают обязательным для себя, религиозным или нравственным законом. Ведь не для того же, чтобы обманывать друг друга, восхваляется среди них уже столько столетий и теперь с тысяч разных религиозных и светских кафедр проповедуется любовь друг к другу. Ведь давно пора бы людям рещить, что любовь к ближнему выгодное, полезное и доброе дело, и на основании ее устроить свою жизнь или, признав, что любовь есть неосуществимая мечта, перестать говорить о ней. Но люди все не делают ни того, ни другого; они продолжают жить противно любви и продолжают восхвалять ее. Очевидно, они верят, что любовь возможна, желательна и свойственна им, но не могут осуществить ее. Отчего же это происходит?

Все великие перемены в жизни одного человека или всего человечества начинаются и совершаются только в мысли. Какие бы ни происходили внещние перемены в жизни людей, как ни проповеды- вали бы люди необходимость изменения чувств и поступков, жизнь людей не изменится до тех пор, пока не произойдет перемены в мысли. Но стоит произойти перемене в мысли, и рано или поздно, смотря по важности перемены, она произойдет в чувствах и в действиях и в жизни людей так же неизбежно, как произойдет поворот корабля после поворота руля.

С первых слов своей проповеди Христос не говорил людям: поступайте так или иначе, имейте такие или иные чувства; но он говорил людям; |л8тауоЕ1Х8 – одумайтесь, измените свое понимание жизни. Он не говорил людям: любите друг друга (это уже он говорил после своим ученикам, людям, понявщим его учение); но он говорил всем людям то же, что говорил его предщественник Иоанн Креститель: покайтесь, т. е. одумайтесь, измените свое понимание жизни, pEtavosixs – одумайтесь, иначе все погибнете, говорил он. Не может смысл ващей жизни состоять в том, чтобы каждый из вас искал отдельного блага своей личности или блага известной совокупности людей, говорил он, потому что благо это, приобретаемое

в ущерб другим личностям, семьям, народам и ищущим того же и теми же средствами, очевидно не только не достижимо, но неизбежно должно привести вас к погибели; Поймите то, что смысл нашей жизни может быть только в исполнении воли того, кто послал вас в нее и требует от вас не служения вашим личным целям, а его цели, состоящей в установлении единения и любви между всеми тварями, в установлении царства небесного, когда перекуют мечи на сощники и копья на серпы и лев будет лежать с ягненком, как выражали это пророки. Измените ваще понимание жизни, иначе все погибнете, говорил он. Но люди не слушали Христа и не изменили своего понимания жизни тогда и до сих пор удержали его. И вот это ложное понимание жизни, удерживаемое людьми, несмотря на усложнение форм жизни и развитие сознания людей нашего времени, и составляет ту причину, по которой люди, понимая всю благодетельность любви, всю опасность жизни, противной ей, признавая ее законом своего Бога или законом жизни, все-таки не могут следовать ей.

И в самом деле, какая же есть возможность человеку нашего мира, полагающему цель своей жизни в своем личном или семейном, или народном благе, добываемом только напряженною борьбой с другими людьми, стремящимися к тому же, среди учреждений мира, узаконивающих всякую борьбу и насилие,– действительно любить тех, которые всегда стоят ему на дороге и которых он должен неизбежно губить для достижения поставленных им для себя целей?

Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. Для того же, чтобы могла произойти перемена мысли, человеку необходимо остановиться и обратить внимание на то, что ему нужно понять. Чтобы люди, с криком и грохотом колес несущиеся к пропасти, услыхали то, что им кричат те, которые хотят спасти их, им надо прежде всего остановиться. А то как же человек изменит свои мысли, свое понимание жизни, когда он, не переставая, будет с увлечением, да еще подгоняемый людьми, которые уверяют его, что это-то и нужно, работать на основании того самого ложного понимания жизни, которое ему нужно изменить?

Страдания людей, вытекающие из ложного понимания жизни, так назрели, благо, даваемое истинным пониманием жизни, так стало всем ясно и очевидно, что для того, чтобы люди изменили свою жизнь сообразно своему сознанию, им не нужно в наше время уже ничего предпринимать, ничего делать, а нужно только остановиться, перестать делать то, что они делают, сосредоточиться и подумать.

Люди нашего христианского мира находятся в том же положении, в котором находились бы люди, надрывающиеся над стягива

нием с места легкой тяжести только потому, что они спеша не могут сговориться и не переставая тянут в противоположные стороны.

Если в прежние времена, когда еще не до такой степени выяснилась бедственность языческой жизни и благо, обещаемое любовью, люди могли бессознательно поддерживать рабство, угнетения, казни, войны и разумными доводами защищать свое положение, то в настоящее время это стало уже совершенно невозможно: люди нашего времени могут жить языческою жизнью, но уже не могут оправдывать ее. Людям нашего христианского мира стоит только на минуту остановиться в своей деятельности, обдумать свое положение, примерить требование своего разума и своего сердца к окружающим их условиям жизни, чтобы увидать, что вся жизнь их, все поступки их есть постоянное вопиющее противоречие с их совестью, разумом и сердцем.

Спросите отдельно каждого человека нашего времени о том, чем он руководится и считает нужным руководиться в своей жизни, и почти каждый скажет вам, что он руководится если не любовью, то справедливостью,– скажет вам, что для него лично, признающего или обязательность христианского учения, или нравственные светские принципы, основанные на том же христианстве, не нужны ни насилия, ни суды, ни казни, ни война и что подчиняется этим условиям жизни потому, что они нужны для других людей; спросите другого, третьего, и почти все скажут то же. И все они искренни. По свойству их сознания большинство людей нашего времени уже давно должны жить между собой, как христиане. Посмотрите, как они живут в действительности; они живут, как звери.

Итак, большинство людей христианского мира нашего времени живет языческою жизнью не столько потому, что оно желает жить так, сколько потому, что устройство жизни, когда-то нужное для людей с совершенно другим сознанием, осталось то же и поддерживается постоянною суетой людей, не дающей им времени опомниться и изменить его соответственно своему сознанию.

Стоит людям перестать хоть только на время делать то, что им советует Золя и его мнимые противники, все те, которые под предлогом медленного и постепенного прогресса желают удержать существующий порядок: перестать одурять себя ложными верованиями религии или науки и, главное, неустанным самодовольным трудом над делами, не оправдываемыми их совестью, и они тотчас же увидали бы, что смысл их жизни не может быть в очевидно обманчивом стремлении к одиночному, построенному на борьбе с другими, благу личному, семейному, народному или государственному; увидали бы, что единственный возможный, разумный смысл жизни

есть тот, который уже 1800 лет тому назад был христианством открыт человечеству.

Пир уже давно готов, и уже давно все званы на него; но один купил землю, другой женится, третий пробует быков, четвертый строит железную дорогу, фабрику, занят миссионерством в Индии или Японии, читает проповеди, проводит билль «гомруля» или военного закона, или проваливает его, держит экзамен, пишет ученое сочинение, поэму, роман. Всем некогда, некогда очнуться, опомниться, оглянуться на себя и на мир и спросить себя; что я делаю? зачем? Ведь не может же быть того, чтобы та сила, которая произвела меня на свет с моими свойствами разума и любви, произвела меня с ними только затем, чтобы обмануть, только затем, чтобы я, вообразив себе, что для достижения наибольшего блага своей гиб- нушей личности я могу распоряжаться как хочу своей и другими жизнями, убедился, наконец, что чем больше я стараюсь делать всё это, тем хуже и мне, и семье, и народу, и тем дальше отступаю я и от требований любви и разума, вложенных в меня и ни на минуту не перестающих заявлять свои требования, и от истинного блага. Не может же быть того, чтобы эти высшие свойства моей души были присвоены мне только затем, чтобы они, как колодка на ногах пленника, мешали мне в достижении моих целей. И не вероятнее ли то, что сила, произведшая меня на свет, произвела меня с моим разумом и любовью не для моих случайных, мгновенных, всегда противных целям других существ, целей (чего она и не могла сделать, так как меня и моих целей не было еще, когда она производила меня), а для достижения своей цели, для содействия которой и даны мне эти основные свойства моей души. И потому не лучше ли мне, вместо того чтобы, упорствуя в следовании своей воле и воле других людей, противных этим высшим свойствам и приводящих меня к бедствиям, раз навсегда признав целью своей жизни исполнение воли пославшего меня во всем и всегда, несмотря ни на какие другие соображения, следовать только тем указаниям разума и любви, которые он вложил в меня для исполнения его воли?

Таково христианское понимание жизни, просящееся в душу каждого человека нашего времени. Для того, чтобы осуществилось Царство Божие, нужно, чтобы все люди начали любить друг друга без различия личностей, семей, народностей. Для того, чтобы люди могли так любить друг друга, нужно, чтобы изменилось их жизнепонимание. Для того, чтобы изменилось их жизнепонимание, нужно, чтобы они опомнились; а чтобы они могли опомниться, им нужно прежде всего остановиться хоть на время в той горячечной деятельности во имя дел, требуемых языческим пониманием жизни, которой они предаются; нужно хоть на время освободиться от того,

что индейцы называют «сансара», от той суеты жизни, которая более всего другого мешает, людям понять смысл их существования.

Бедственность жизни языческой и ясность и распространенность христианского сознания дошли в наше время до такой степени, что людям стоит только остановиться в своей суете, и они тотчас увидят бессмысленность своей деятельности, и христианское понимание само собой так же неизбежно, как неизбежно на морозе замерзает вода, как скоро перестать шевелить ее, сложится в их сознании. А стоит людям усвоить это жизнепонимание, и любовь их друг к другу, ко всем людям, ко всему живому, находящаяся теперь в них в скрытом состоянии, так же неизбежно проявится в их деятельности и станет двигателем всех их поступков, как теперь при языческом понимании жизни проявляется любовь к себе, к своей исключительной семье, исключительному народу.

А стоит проявиться этой любви христианской в людях, и сами собой, без малейшего усилия, распадутся старые и сложатся те новые формы благой жизни, отсутствие которых представляется людям главным препятствием к осуществлению того, чего уже давно требуют их разум и сердце.

Только бы люди одну сотую той энергии, которую они прилагают теперь к совершению различных материальных, ничем не оправданных и потому затемняющих их сознание дел, употребили на уяснение этого самого сознания и на исполнение того, чего оно требует от них, и гораздо скорее и проще, чем мы можем себе представить это, установилось бы то Царство Божие, которого Он требует от людей, и люди нашли бы то благо, которое обещано им.

Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам.

Лев Толстой.

9 августа 1893 г.

РЕЛИГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ'

Вы спрашивали меня: 1) что я понимаю под словом «религия» и 2) считаю ли я возможной нравственность, независимую от религии, как я понимаю ее?

Постараюсь по мере своих сил наилучшим образом ответить на эти в высшей степени важные и прекрасно поставленные вопросы.

Слову «религия» приписываются обыкновенно три различных значения.

Первое то, что религия есть известное, данное Богом людям истинное откровение и вытекающее из этого откровения богопочита- ние. Такое значение приписывают религии люди, веруюшие в какую-нибудь одну из существующих религий и считающие поэтому эту одну религию истинною.

Второе значение, приписываемое религии, то, что религия есть свод известных суеверных положений и вытекающее из этих положений суеверное богопочитание. Такое значение приписывается религии людьми неверующими вообще или не верующими в ту религию, которую они определяют.

Третье значение, приписываемое религии, то, что религия есть свод придуманных умными людьми положений и законов, необходимых грубым народным массам как для их утещения, так и для сдерживания их страстей и для управления ими. Такое значение приписывают религии люди равнодущные к религии, как религии, но считающие ее полезным орудием государственности.

Религия по первому определению есть несомненная, непререкаемая истина, которую желательно и даже обязательно для блага людей распространять между ними всеми возможными средствами.

' Статья представляет собой ответ Толстого на письмо к нему Георга фон Гижиц- кого, профессора Берлинского университета, основателя «Этического общества для содействия социально-этическим реформам».

По второму определению религия есть собрание суеверий, от которых желательно и даже обязательно для блага человечества всеми возможными средствами избавлять людей.

По третьему определению религия есть известное полезное для людей приспособление, хотя и не нужное для людей высшего развития, необходимое, однако, для утешения грубого народа и для управления им, и которое поэтому необходимо поддерживать.

Первое определение подобно тому, которое сделал бы человек музыке, сказав, что музыка есть та самая известная ему любимая им песня, которой желательно научить как можно больше народа.

Второе – подобно тому, которое сделал бы музыке человек, не понимающий и потому не любящий ее, сказав, что музыка есть произведение звуков гортанью и ртом или руками над известными инструментами и что надо отучить людей, как можно скорее, от этого ненужного или даже вредного занятия.

Третье – подобно тому, которое бы сделал человек музыке, сказав, что это есть дело полезное для обучения танцам или для мар- щирования, и которое для этих целей надо поддерживать.

Различие и неполнота этих определений происходит оттого, что все они не захватывают сущности музыки, а определяют только признаки ее, смотря по точке зрения определяющего. Точно то же и с тремя данными определениями религии.

По первому определению религия есть то, во что, по его убеждению, справедливо верит тот человек, который определяет ее.

По второму определению она есть то, во что, по наблюдениям определяющего, несправедливо верят другие люди.

По третьему определению она есть то, во что полезно заставлять верить людей.

Во всех трех определениях определяется не то, что составляет сущность религии, а вера людей в то, что они считают религией. При первом определении под понятие религии подставляется вера того, кто определяет религию; при втором определении – вера других людей в то, что эти другие люди считают религией; при третьем определении вера людей в то, что им выдают за религию.

Но что же такое вера? И почему люди верят в то, во что верят? Что такое вера и откуда она возникла?

Среди большинства людей современной культурной толпы считается вопросом решенным то, что сущность всякой религии состоит в происшедшем от суеверного страха перед непонятными явлениями природы олицетворении, обоготворении этих сил природы и поклонении им.

Мнение это принимается без критики, на веру культурною толпой нашего времени и не только не встречает возражения в людях науки, но большею частью среди них-то и находит самые определенные подтверждения. Если и раздаются изредка голоса людей, как Макса Мюллера и других, приписывающих религии другое происхождение и смысл, то голоса эти не слышны и не заметны среди всеобщего единодушного признания религии вообще проявлением суеверия и невежества. Еще недавно, в начале настоящего столетия, самые передовые люди если и отвергали католичество, протестантство и православие, как это делали энциклопедисты конца прошлого столетия, то никто из них не отвергал того, что религия вообще была и есть необходимое условие жизни каждого человека. Не говоря о деистах, как Бернарден-де-Сен-Пьер, Дидро и Руссо, Вольтер ставил памятник Богу, Робеспьер устанавливал празднество высшего существа. Но в наше время, благодаря легкомысленному и поверхностному учению Огюста Конта, искренно верившего, как и большинство французов, что христианство есть не что иное, как католичество, и потому в католичестве видевшего полное осуществление христианства, решено и признано культурною толпою, как всегда охотно и быстро принимающей самые низменные представления,– решено и признано, что религия есть только известная, давно уже пережитая фаза развития человечества, мешающая его прогрессу. Признается, что человечество пережило уже два периода; религиозный и метафизический, и теперь вступило в третий, высший – научный, и что все явления религиозные среди людей суть только переживания когда-то нужного духовного органа человечества, уже давно потерявшего свой смысл и значение, вроде ногтя пятого пальца лошади. Признается, что сущность религии состоит в вызванном страхом перед непонятными силами природы признании воображаемых существ и поклонении им, как это еще в древности думал Демокрит и как это утверждают новейшие философы и историки религий.

Но, не говоря уже о том, что признание невидимых сверхъестественных существ или существа происходило и происходит не всегда от страха перед неведомыми силами природы, как свидетельствуют о том сотни самых передовых и высокообразованных людей прошедшего времени, Сократы, Декарты, Ньютоны, и таких же людей нашего времени, никак уже не из страха перед неведомыми силами природы признававших высшие сверхъестественные существа или существо,– утверждение о том, что религия произошла от суеверного страха людей перед непонятными силами природы, в действительности ничего не отвечает на главный вопрос; откуда взялось в людях представление о невидимых сверхъестественных существах?

Если люди боялись грома и молнии, то они и боялись бы грома и молнии, но для чего же они придумали какое-то невидимое сверхъестественное существо. Юпитера, которое где-то находится и кидает иногда в людей стрелами?

Если люди были поражены видом смерти, то они и боялись бы смерти, а для чего же они «придумали» души умерших, с которыми стали входить в воображаемое сношение? От грома люди могли прятаться, от ужаса перед смертью могли бежать от нее, но придумали они вечное и могущественное существо, от которого они считают себя в зависимости, и живые души умерших не от страха только, а по каким-то другим причинам. И в этих-то причинах, очевидно, и заключается сущность того, что называется религией. Кроме того, всякий человек, когда-либо, хотя бы в детстве, испытавший религиозное чувство, по своему личному опыту знает, что чувство это всегда вызываемо было в нем не внешними страшными вещественными явлениями, а внутренним, не имеющим ничего общего с страхом перед непонятными силами природы сознанием своего ничтожества, одиночества и своей греховности. И потому человек и по внешнему наблюдению и по личному опыту может узнать, что религия не есть поклонение божествам, вызванное суеверным страхом перед неведомыми силами природы, которое свойственно людям только в известный период их развития, а нечто совершенно независимое от страха и от степени образования человека и не могущее уничтожиться никаким развитием просвещения, так как сознание человеком своей конечности среди бесконечного мира и своей греховности, т. е. неисполнения всего того, что он мог бы и должен был сделать, но не сделал, всегда было и всегда будет до тех пор, пока человек останется человеком.

В самом деле, всякий человек, как только он выходит из животного состояния ребячества и первого детства, во время которого он живет, руководясь только теми требованиями, которые предъявляются ему его животной природой,– всякий человек, проснувшись к разумному сознанию, не может не заметить того, что всё вокруг него живет, возобновляясь, не уничтожаясь и неуклонно подчиняясь одному определенному, вечному закону, а что он только один, сознавая себя отдельным от всего мира существом, приговорен к смерти, к исчезновению в беспредельном пространстве и бесконечном времени и к мучительному сознанию ответственности в своих поступках, т. е. сознанию того, что, поступив хорошо, он мог бы поступить лучше. И, поняв это, всякий разумный человек не может не задуматься и не спросить себя; для чего это мгновенное, неопределенное и колеблющееся существование среди этого вечного,

твердо определенного и бесконечного мира? Вступая в истинную человеческую жизнь, человек не может обойти этого вопроса.

Вопрос этот стоит всегда перед каждым человеком, и всякий человек всегда так или иначе отвечает на него. Ответ же на этот вопрос и есть то, что составляет сущность всякой религии. Сущность всякой религии состоит в ответе на вопрос; зачем я живу и какое мое отношение к окружающему меня бесконечному миру?

Вся же метафизика религии, все учения о божествах, о происхождении мира, всё внешнее богопочитание, которые обыкновенно принимаются за религию, суть только различные по географическим, этнографическим и историческим условиям сопутствующие религии признаки. Нет ни одной религии, от самой возвышенной и до самой грубой, которая не имела бы в основе своей этого установления отношения человека к окружающему его миру или первопричине его. Нет ни одного самого грубого религиозного обряда, так же как и самого утонченного культа, которые не имели бы в своей основе того же самого. Всякое религиозное учение есть выражение основателем религии того отношения, в котором он признает себя, как человека, а вследствие того и всех других людей, к миру или началу и первопричине его.

Выражения этих отношений очень многообразны, соответственно этнографическим и историческим условиям, в которых находятся основатель религии и народ, усвоивающий ее; кроме того, выражения эти всегда различно перетолковываются и уродуются последователями учителя, обыкновенно на сотни, иногда на тысячи лет предваряющего понимания масс; и потому этих отношений человека к миру, т. е. религий, кажется очень много, но в сущности основных отношений человека к миру или началу его есть только три: 1) первобытное личное, 2) языческое общественное, или семейногосударственное и 3) христианское, или божеское.

Строго говоря, основных отношений человека к миру только два: личное, состоящее в признании смысла жизни в благе личности, приобретаемом отдельно или в соединении с другими личностями, и христианское, признающее смысл жизни в служении пославшему человека в мир. Второе же отношение человека к миру – общественное – в сущности есть только расширение первого.

Первое из этих отношений, самое древнее – то, которое теперь встречается между людьми, стоящими на самой низшей степени развития,– состоит в том, что человек признает себя самодовлеющим существом, живущим в мире для приобретения в нем наибольшего возможного личного блага, независимо от того, насколько страдает от этого благо других существ.

Из этого самого первого отношения к миру, в котором находится всякий ребенок, вступая в жизнь, и в котором жило человечество на первой, языческой, ступени своего развития и живут еще и теперь многие, отдельные, самые нравственно грубые люди и дикие народы, вытекают все языческие древние религии, так же как и низшие формы позднейших религий в их извращенном виде: буддизм', таосизм, магометанство и другие. Из этого же отношения к миру вытекает и новейший спиритизм, имеющий в основе своей сохранение личности и блага ее. Все языческие культы – гадания, обоготворения таких же, как и человек, наслаждающихся существ, или святых, молящихся за него, все жертвоприношения и молитвы о даровании благ земных и избавления от бедствий – вытекают из этого отношения к жизни.

Второе, языческое отношение человека к миру, общественное – то, которое устанавливается им на следующей ступени развития, отношение, свойственное преимущественно возмужалым людям,– состоит в том, что значение жизни признается не в благе одной отдельной личности, а в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, государства, и даже человечества (попытка религии позитивистов).

Смысл жизни при этом отношении человека к миру переносится из личности в семью, род, народ, государство, в известную совокупность личностей, благо которой и считается при этом целью существования. Из этого отношения вытекают все одного характера религии патриархальные и общественные: китайская и японская религия, религия избранного народа – еврейская, государственная религия римлян, наша церковно-государственная, низведенная на эту степень Августином, хотя она и называется не свойственным ей именем – христианской, и предполагаемая религия человечества – позитивистов. Все обряды поклонения предкам в Китае и Японии, поклонения императорам в Риме, вся многосложная еврейская обрядность, имеющая целью соблюсти договор избранного народа с Богом, все семейные, общественные церковно-христианские молебствия за благоденствие государства и за военные успехи зиждутся на этом отношении человека к миру.

Третье отношение человека к миру, христианское – то, в котором невольно чувствует себя всякий старый человек и в который

' Буддизм, хотя и требующий от своих последователей отречения от благ мира и от самой жизни, основывается на том же отношении самодовлеющей и предназначенной к благу личности к окружающему ее миру, только с тою разницей, что прямое язычество признает право человека на наслаждения, буддизм же — на отсутствие страданий. Язычество считает, что мир должен служить благу личности. Буддизм считает, что мир должен исчезнуть, так как он производит страдание личности. Буддизм есть только отрицательное

вступает теперь, по моему мнению, человечество,– состоит в том, что значение жизни признается человеком уже не в достижении своей личной цели или цели какой-либо совокупности людей, а только в служении той воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой воли.

Из этого отношения к миру вытекает высшее известное нам религиозное учение, зачатки которого были уже у пифагорийцев, терапевтов, ессеев, у египтян и у персов, у браминов, буддистов и таосистов в их высших представителях, но которое получило свое полное и последнее выражение только в христианстве – в его истинном, неизвращенном значении.

Все обряды древних религий, вытекавших из этого понимания жизни, и все в наше время внешние формы общения унитарианцев, универсалистов, квакеров, сербских назаренов, русских духоборов и всех так называемых рационалистических сект, все проповеди, песнопения, беседы, книги их суть религиозные проявления этого отношения человека к миру.

Все возможные религии, какие бы они ни были, неизбежно распределяются между этими тремя отношениями людей к миру.

Всякий человек, вышедший из животного состояния, неизбежно признает то, или другое, или третье из этих отношений, и в этом признании и состоит истинная религия каждого человека, несмотря на то, к какому исповеданию он номинально признает себя принадлежащим.

Каждый человек непременно как-нибудь представляет себе свое отношение к миру, потому что разумное существо не может жить в мире, окружающем его, не имея какого-либо отношения к нему. А так как отношений к этому миру человечеством до сих пор выработано и нам известно только три, то всякий человек неизбежно держится одного из трех существующих отношений и – хочет или не хочет того – принадлежит к одной из трех основных религий, между которыми распределяется весь род человеческий.

И потому весьма распространенное утверждение людей культурной толпы христианского мира о том, что они поднялись на такую высоту развития, что уже не нуждаются ни в какой религии и не имеют ее, в сущности означает только то, что люди эти, не признавая религии христианской, той единственной религии, которая свойственна нашему времени, держатся низшей – или обществен- но-семейно-государственной или первобытной языческой религии, сами не сознавая этого. Человек без религии, т. е. без какого-либо отношения к миру, так же невозможен, как человек без сердца. Он может не знать, что у него есть религия, как может человек не

знать того, что- у него есть сердце; но как без религии, так и без сердца человек не может существовать.

Религия есть то отношение, в котором признает себя человек к окружающему его бесконечному миру, или началу и первопричине его, и разумный человек не может не находиться в каком-нибудь отношении к нему.

Но вы скажете, может быть, что установление отношения человека к миру есть дело не религии, но философии или вообще науки, если рассматривать философию, как часть ее. Я не думаю этого. Я думаю, напротив, что предположение о том, что наука вообще, включая в нее и философию, может установить отнощение человека к миру, совершено ошибочно и служит главною причиной той путаницы понятий о религии, науке и нравственности, которые существуют в культурных слоях нашего общества.

Наука, включая в нее философию, не может установить отношения человека к бесконечному миру или началу его уже по одному тому, что прежде, чем могла возникнуть какая-нибудь философия или какая-нибудь наука, должно было уже существовать то, без чего невозможна никакая деятельность мысли и какое-либо, то или другое, отношение человека к миру.

Как не может человек посредством какого бы то ни было движения найти то направление, по которому ему нужно двигаться, а всякое движение неизбежно совершается по какому-нибудь направлению, так точно невозможно посредством умственной работы, философии или науки, найти то направление, в котором должна быть совершена эта работа, а всякая умственная работа неизбежно совершается по какому-нибудь уже данному ей направлению. И такое направление для всякой умственной работы указывает всегда религия. Все известные нам философии, начиная от Платона до Шопенгауэра, всегда неизбежно следовали даваемому им религией направлению. Философия Платона и его последователей была философией ***языческой,*** исследовавшей средства приобретения наибольшего блага как отдельной личности, так и совокупности личностей в ***государстве.*** Средневековая церковно-христианская философия, вытекая из того же языческого понимания жизни, исследовала способы спасения личности, т. е. приобретения наибольшего блага личности в будущей жизни, и только в своих теократических попытках трактовала об устройстве блага обществ.

Новейщая философия, как Гегеля, так и Конта, имеет в своей основе общественно-государственное религиозное понимание жизни. Философия пессимизма Шопенгауэра и Гартмана, хотевщего освободиться от еврейского религиозного миросозерцания, невольно подпадала религиозным основам буддизма. Философия всегда была и будет

только исследованием того, что вытекает из установленного религией отношения человека к миру, так как до установления этого отношения нет материала для философского исследования.

Точно так же и наука положительная в тесном смысле этого слова. Такая наука всегда была и будет только исследованием и изучением всех тех предметов и явлений, которые представляются подлежащими исследованию, вследствие известного, установленного религией отношения человека к миру.

Наука всегда была и будет не изучением «всего», как это наивно думают теперь люди науки (это и невозможно, так как предметов, подлежащих исследованию, бесчисленное количество), а только того, что религия в правильном порядке и по степени их важности выдвигает из всего бесчисленного количества предметов, явлений и условий, подлежащих исследованию. И потому наука не одна, а есть столько же наук, сколько есть религий. Каждая религия отбирает известный круг предметов, подлежащих изучению, и потому наука каждого отдельного времени и народа неизбежно носит на себе характер той религии, с точки зрения которой она рассматривает предмет.

Так языческая наука, восстановленная во времена Возрождения, процветающая и теперь в нашем обществе под названием христианской, всегда была и продолжает быть только исследованием всех тех условий, при которых человек получает наибольшее благо, и всех тех явлений мира, которые могут доставить его. Браминская и буддийская философская наука всегда была только исследованием тех условий, при которых человек избавляется от удручающих его страданий. Еврейская наука (талмуд) всегда была только изучением и разъяснением тех условий, которые должны быть соблюдены человеком для того, чтобы исполнить его договор с Богом и удержать избранный народ на высоте его призвания. Церковно-христианская наука и была и есть исследование тех условий, при которых приобретается спасение человека. Наука истинно христианская, та, которая только зарождается, есть исследование тех условий, при которых человек может познать требования высшей воли, пославшей его, и приложить их к жизни.

Ни философия, ни наука не могут установить отношения человека к миру, потому что отношение это должно быть установлено прежде, чем может начаться какая-либо философия или наука. Они не могут сделать этого еще и потому, что наука, включая в нее и философию, исследует явления рассудочно и независимо от положения исследующего и от чувств, испытываемых им. Отношение же человека к миру определяется не одним рассудком, но и чувством, всею совокупностью духовных сил человека. Сколько бы ни

внушали и ни разъясняли человеку, что всё истинно существующее суть только идеи, что всё состоит из атомов, или что сущность жизни есть субстанция или воля, или что теплота, свет, движение, электричество суть различные проявления одной и той же энергии,– всё это не' уяснит человеку – чувствующему, страдающему и радующемуся, борющемуся и надеющемуся существу – его места в мире. Такое место и потому отношение к миру указывает ему только религия, говорящая ему: мир существует для тебя и потому бери от этой жизни всё, что ты можешь взять от нее; или: ты член любимого Богом народа, служи этому народу, исполняй всё то, что предписал Бог, и ты получишь вместе со своим народом наибольшее доступное тебе благо; или: ты орудие высшей воли, пославшей тебя в мир для исполнения предназначенного тебе дела, познай эту волю и исполняй ее, и ты сделаешь для себя лучшее, что можешь сделать.

Для понимания данных философии и науки нужно подготовление и изучение; для религиозного понимания этого не нужно: оно сразу доступно всякому, хотя бы самому ограниченному и невежественному человеку.

Для того чтобы человеку познать свое отношение к окружающему его миру или началу его, ему не нужно ни философских, ни научных знаний,– обилие знаний, загромождая сознание, скорее препятствует этому,– а нужны только хоть временное отречение от суеты мира, сознание своего материального ничтожества и правдивость, встречающиеся чаще, как это и сказано в Евангелии, в детях и самых простых, малоученых людях. От этого-то мы и видим, что часто самые простые, неученые и необразованные люди вполне ясно, сознательно и легко принимают высшее христианское жизнепонимание, тогда как самые ученые и культурные люди продолжают коснеть в самом грубом язычестве. Так, например, мы видим самых утонченных и высокообразованных людей, полагающих смысл жизни в личном наслаждении или в избавлении себя от страданий, как полагал это умнейший и образованнейший Шопенгауэр, или в спасении души посредством таинств, благодати, как полагали это самые высокообразованные епископы, тогда как русский полуграмотный мужик-сектант без малейшего усилия мысли признает смысл жизни в том самом, в чем его полагали величайшие мудрецы мира: Эпиктеты, Марки Аврелии, Сенеки,– в сознании себя орудием воли Божией, сыном Бога.

Но вы спросите меня: в чем же состоит сущность этого ненаучного и нефилософского способа познания? Если познание это не философское и не научное, то какое же оно? чем оно определяется? На эти вопросы я могу ответить только то, что так как религиозное

познание есть то, на котором зиждется всякое другое и которое предшествует всякому другому познанию, то мы и не можем определять его, не имея для него орудия определения. На богословском языке познание это называется откровением. И название это, если не приписывать слову «откровение» никакого мистического значения, совершенно правильно, потому что познание это приобретается не изучением и не усилиями отдельного человека или людей, а только восприятием отдельным человеком или людьми проявления бесконечного разума, постепенно открывающего себя людям.

Почему люди 10 000 лет тому назад не могли понять того, что смысл их жизни не исчерпывается благом личности, а потом наступило время, и людям открылось высшее – семейное, общественное, народное, государственное – понимание жизни? Почему на нашей исторической памяти открылось людям жизнепонимание христианское? И почему оно открылось именно такому человеку или таким людям и именно в такое время, в таком, а не в другом месте, в такой, а не в другой форме? Стараться ответить на эти вопросы, отыскивая причины этого в исторических условиях времени, жизни и характера тех людей, которые первые усвоили это жизнепонимание и выразили его в особенных свойствах этих людей, всё равно, что стараться ответить на вопрос о том, почему восходящее солнце осветило прежде именно те, а не другие предметы. Солнце истины, всё выше и выше восходя над миром, всё более и более освещает его и отражается на тех предметах, которые первые подпадают освещению лучей солнца и наиболее способны отражать их. Свойства же, делающие одних людей более других способными воспринимать эту восходящую истину не какие-либо особенные активные качества ума, а напротив, суть редко совпадающие с большим и любопытным умом пассивные свойства сердца; отречение от суеты мира, сознание своего материального ничтожества, правдивость, как мы это и видим на всех основателях религии, никогда не отличавшихся ни философскими, ни научными знаниями.

По моему мнению, главное заблуждение, более всего другого препятствующее истинному прогрессу нашего христианского человечества, состоит именно в том, что люди науки нашего времени, севшие теперь на седалище Моисеевом, руководясь восстановленным во времена Возрождения языческим миросозерцанием, признав за сущность христианства самое грубое извращение его и решив, что оно есть пережитое уже людьми состояние (а что, напротив, то языческое, общественно-государственное, древнее и действительно пережитое человечеством понимание жизни, которого они держатся, и есть самое высшее понимание жизни – и такое, которого неуклонно должно держаться человечество),– не только не понима

ют истинного христианства, составляющего то высшее жизнепонимание, к которому движется всё человечество, но даже не стараются понять его. Главный источник этого недоразумения состоит в том, что люди науки, разойдясь с христианством и увидав несоответствие с ним своей науки, признали виноватой в этом не свою науку, а христианство, т. е. вообразили себе не то, что есть в действительности, т. е. что их наука на 1800 лет отстала от христианства, уже охватившего большую часть современного обшества, а то, что христианство будто бы на 1800 лет отстало от науки.

Из этого-то извращения ролей и вытекает то поразительное явление, что нет людей с более запутанными понятиями о сущности истинного значения религии, о религии, о нравственности, о жизни, чем люди науки; и еще более поразительное явление то, что наука нашего времени, совершая действительно большие успехи в своей области исследования условий материального мира, в жизни людей оказывается ни на что ненужной, а иногда производящей даже вредные последствия.

И потому я думаю, что никак не философия и не наука установ- ляют отношение человека к миру, а только религия.

Итак, на первый вопрос ваш о том, чтб я понимаю под словом «религия», я отвечаю; религия есть установленное человеком между собой и вечным бесконечным миром или началом и первопричиной его известное отношение.

Из этого ответа на первый вопрос сам собою вытекает и ответ на второй;

Если религия есть установленное отношение человека к миру, определяющее смысл его жизни, то нравственность есть указание и разъяснение той деятельности человека, которая сама собой вытекает из того или другого отношения человека к миру. А так как основных отношений к миру или началу его известно нам только два, если рассматривать языческое общественное отношение как распространение личного, или три, если рассматривать общественное языческое отношение как отдельное, то нравственных учений суше- ствует только три; нравственное учение первобытное, дикое, личное, нравственное учение языческое — семейно-государственное или общественное и нравственное учение христианское, т. е. служение миру или Богу, или божеское.

Из первого отношения человека к миру вытекают общие всем языческим религиям учения о нравственности, имеющие в своей основе стремление к благу отдельной личности и потому определяющие все состояния, дающие наибольщее благо личности и указывающие средства приобретения этого блага. Из этого отнощения к

миру вытекают нравственные учения: эпикурейское в его низшем проявлении, учение нравственности магометанское, обещающее благо личности на этом и на том свете, учение нравственности церковно-христианское, имеющее целью спасение, т. е. благо личности преимущественно на том свете, и учение светской утилитарной нравственности, имеющее целью благо личности только на этом свете.

Из этого же отношения, ставящего целью жизни благо отдельного человека, а потому избавление от страданий личности, вытекают нравственное учение буддизма в его грубой форме и светское учение пессимистическое.

Из второго, языческого отношения человека к миру, ставящего целью жизни благо известной совокупности личностей, вытекают нравственные учения, требующие от человека служения той совокупности, благо которой признается целью жизни. По этому учению пользование личным благом допускается только в той мере, в которой оно приобретается всею тою совокупностью, которая составляет религиозную основу жизни. Из этого отнощения к миру вытекают известные нам нравственные учения древнего римского и греческого мира, где личность всегда приносила себя в жертву обществу, также и нравственность китайская; из этого же отношения вытекают нравственность еврейская – подчинение своего блага благу избранного народа – и церковно-государственная нравственность нашего времени, требующая жертвы личности для блага государства; из этого же отношения к миру вытекает нравственность большинства женщин, жертвующих личностью для блага семьи и, главное, детей.

Вся древняя, отчасти средняя и новая история полны описаний подвигов этой самой семейно-общественной и государственной нравственности. И в настоящее время большинство людей, только воображая себе, что они, исповедуя христианство, держатся христианской нравственности, в действительности следуют только этой семейно-государственной, т. е. языческой нравственности, и эту нравственность ставят идеалом воспитания молодого поколения.

Из третьего, христианского отношения к миру, состоящего в признании человеком себя орудием высшей воли для исполнения ее целей, вытекают и соответствующие этому пониманию жизни нравственные учения, уясняющие зависимость человека от высшей воли и определяющие требования этой воли. Из этого отношения человека к миру вытекают все высшие известные человечеству нравственные учения: пифагорийское, стоическое, буддийское, брамин- ское, таосийское в их высшем проявлении и христианское в его на

стоящем смысле, требующее отречения от личной воли и от блага не только личного, но и семейного, и общественного, и государственного во имя исполнения открытой нам в нащем сознании воли того, кто послал нас в жизнь. Из того, другого или третьего отно- щения к бесконечному миру или началу его вытекает действительная, нелицемерная нравственность каждого человека, несмотря на то, что он номинально исповедует или проповедует, как нравственность, или чем хочет казаться.

Так что человек, признающий сущность своего отнощения к миру в приобретении для себя наибольщего блага, сколько бы он ни говорил о том, что он считает нравственным жить для семьи, для общества, для государства, для человечества или для исполнения воли Бога, он может искусно притворяться перед людьми, обманывая их, но действительным мотивом его деятельности будет всегда только благо его личности, так что, когда представится необходимость выбора, он пожертвует не своею личностью для семьи, для государства, для исполнения воли Бога, а всем для себя, потому что, видя смысл своей жизни только в благе своей личности, он не может поступать иначе до тех пор, пока не изменит своего отношения к миру.

Точно так же, сколько бы ни говорил человек, отношение которого к миру состоит в служении своей семье (каковы бывают преимущественно женщины) или роду, народу, государству (каковы бывают люди угнетенных народностей или политические деятели во время борьбы), что он христианин, нравственность его всегда будет или семейная, или народная, или государственная, а не христианская, и, когда явится необходимость выбора между благом семейным, общественным и благом личным или благом общественным и исполнением воли Бога, он неизбежно выберет служение благу той совокупности людей, для которой, по его миросозерцанию, он существует, потому что только в этом служении он видит смысл своей жизни. И точно так же сколько бы ни внушали человеку, полагающему свое отношение к миру в исполнении воли пославшего его, что он должен, соответственно с требованиями личности, семьи, народа, государства, человечества, совершать поступки, противные этой высшей воле, сознаваемой им во вложенных в него свойствах разума и любви, он всегда пожертвует и личностью, и семьей, и отечеством, и человечеством для того, чтобы не отступить от воли пославшего его, потому что только в исполнении этой воли он видит смысл своей жизни.

Нравственность не может быть независима от религии, потому что она не только есть последствие религии, т. е. того отношения, в котором человек признает себя к миру, но она включена уже, im-

pliquee, в религии. Всякая религия есть ответ на вопрос: каков смысл моей жизни? И религиозный ответ включает в себя уже известное нравственное требование, которое может становиться иногда после объяснения смысла жизни, иногда прежде его. На вопрос о смысле жизни можно отвечать так: смысл жизни в благе личности, и потому пользуйся всеми благами, которые доступны тебе; или: смысл жизни в благе совокупности людей, и потому служи этой совокупности всеми своими силами, или: смысл жизни в исполнении воли Пославшего тебя, и потому всеми силами стремись познать эту волю и исполнить ее. На этот же вопрос можно отвечать и так: смысл жизни твоей в твоем личном наслаждении, так как в этом назначение человека; или: смысл жизни твоей в служении той совокупности, которой ты считаешь себя членом, так как в этом твое назначение; или: смысл жизни твоей в служении Богу, так как в этом твое назначение.

Нравственность заключена в даваемом религией объяснении жизни и потому никак не может быть отделена от религии. Истина эта особенно очевидна на тех попытках философов нехристианских вывести учение о высшей нравственности из их философии. Философы эти видят, что нравственность христианская необходима, что без нее нельзя жить; мало того, они видят, что она есть, и им хочется как-нибудь связать ее со своею нехристианской философией и даже представить дело в таком виде, как будто нравственность христианская вытекает из их языческой или общественной философии. И они пытаются сделать это, но именно попытки эти очевиднее всего другого показывают не только независимость, но и полное противоречие христианской нравственности с философиею личного блага или освобождения от личных страданий и с философиею общественною.

Христианская этика – та, которую мы сознаем вследствие нашего религиозного миросозерцания,– требует не только жертвы личности для совокупности личностей, но требует отречения от своей личности и от совокупности личностей для служения Богу; языческая же философия исследует только средства приобретения наибольшего блага личности или совокупности их, и потому противоречие неизбежно. Чтобы скрыть это противоречие, есть только одно средство – нагромождать отвлеченные, условные понятия одно на другое и не выходить из туманной области метафизики. Так преимущественно и поступали философы со времени Возрождения, и этому-то обстоятельству – невозможности примирить требования христианской, признаваемой уже вперед данной, нравственности с философией, исходящей из языческих основ,– и нужно приписать эту страшную отвлеченность, неясность, непонятность и от

чужденность от жизни новой философии. За исключением Спинозы, исходящего в своей философии из религиозных – несмотря на то, что он не числился христианином,– истинно христианских основ, и гениального Канта, прямо поставившего свою этику независимо от своей метафизики, все остальные философы, даже и блестящий Шопенгауэр, очевидно придумывают искусственную связь между своею этикой и своею метафизикой.

Чувствуется, что христианская этика есть нечто вперед данное, стоящее совершенно твердо и независимо от философии и не нуждающееся в подводимых под нее фиктивных подпорках, а что философия только придумывает такие положения, по которым данная этика не противоречила бы ей, а связывалась бы с ней и как будто бы вытекала из нее. Но все положения эти кажутся оправдывающими христианскую этику только до тех пор, пока они рассматриваются отвлеченно. Как только они прилагаются к вопросам практической жизни, так не только несогласие, но явное противоречие философских основ с тем, что мы считаем нравственностью, выступает во всей силе.

Недавно ставший столь известным несчастный Ницше особенно драгоценен обличением этого противоречия. Он неопровержим, когда он говорит, что все правила нравственности, с точки зрения существующей нехристианской философии, суть только ложь и лицемерие и что человеку гораздо выгоднее и приятнее и разумнее составить сообщество Uebermensch'eB' и быть одним из них, чем тою толпой, которая должна служить подмостками для этих Uebermensch'eB. Никакие построения философии, исходящей из языческого религиозного миросозерцания, не могут доказать человеку, что ему выгоднее и разумнее жить не для своего желательного, понятного и возможного блага или для блага своей семьи, своего общества, а для чужого, нежелательного, непонятного и недостижимого человеческими ничтожными средствами блага. Философия, основанная на понимании жизни, заключающемся в благе человека, никогда не будет в состоянии доказать разумному человеку, знающему, что он всякую минуту может умереть, того, что ему хорошо и должно отказаться от своего желательного, понятного и несомненного блага даже не для блага других, потому что он никогда не может знать, какие последствия будут от его жертвы, а для того только, что это должно или хорошо, что это категорический императив.

Доказать это с языческой философской точки зрения невозможно. Чтобы доказать то, что люди все равны, что человеку лучше отдать

Сверхчеловеков *(нем.)*.

свою жизнь для служения другим, чем заставить других людей служить себе, попирая их жизни, нужно иначе определить свое отношение к миру: нужно показать, что положение человека таково, что ему больше делать нечего, потому что смысл его жизни только в исполнении воли пославшего его; воля же пославшего его в том, чтоб он отдавал свою жизнь для служения людям. А такое изменение отношения человека к миру дает только религия.

То же самое и с попытками вывести и примирить христианскую нравственность с основными положениями языческой науки. Никакие софизмы и извороты мысли не уничтожат того простого и ясного положения, что закон эволюции, лежащий в основе всей науки нашего времени, зиждется на законе общем, вечном и неизменном – на законе борьбы за существование и переживание способнейшего (the fittest) и что потому каждому человеку для достижения блага своего или своего общества надо быть этим fittest и сделать таковым свое общество, чтобы погибнуть не ему и не его обществу, а другому, неспособнейшему.

Сколько ни стараются некоторые натуралисты, испугавшиеся логических выводов из этого закона и приложения их к человеческой жизни, заглушить словами, заговорить этот закон, все попытки их только еще очевиднее показывают неотразимость этого закона, руководящего жизнью всего органического мира, а потому и человека, рассматриваемого как животное.

Как раз в то время, когда я писал это, вышла в русском переводе статья г-на Гекели, составленная из недавно прочитанной им в каком-то английском обществе речи об эволюции и этике.

В статье этой ученый профессор, так же как и несколько лет тому назад наш известный профессор Бекетов и многие другие, писавшие о том же предмете, с таким же неуспехом, как и его предшественники, старается доказать, что борьба за существование не нарушает нравственности и что при признании закона борьбы за существование основным законом жизни нравственность может не только существовать, но и совершенствоваться. Статья г-на Гекели переполнена всякими щутками, стихами и общими взглядами на религию и философию древних и вследствие того так кудрява и запутана, что только с большим трудом можно добраться до основной мысли ее. Мысль эта, однако, следующая: закон эволюции противен закону нравственности, это знали древние как греческого, так и индейского мира. И философия, и религия обоих народов привела их к учению самоотречения. Это учение, по мнению автора, неправильно, а правильно следующее: существует закон, который автор называет законом космическим, по которому все существа борются между собой и переживает только способнейшее, the fittest. Закону

этому подчиняется и человек; только благодаря этому закону человек образовался таким, каким он есть теперь. Но закон этот противен нравственности. Как же примирить этот' закон с нравственностью? А вот как: существует социальный прогресс, который стремится задержать космический процесс и подставить под него другой процесс — этический, цель которого есть уже переживание не способнейшего, the fittest, но лучшего, the best, в этическом смысле. Откуда взялся этот этический процесс, г-н Гекели не объясняет, но в примечании 19-м говорит, что основа этого процесса состоит в том, что люди, как и животные, с одной стороны, сами любят быть в обществе и подавляют в себе свойство, вредное для обществ, с другой — члены общества силой подавляют поступки, противные благу общества. Г-ну Гекели кажется, что этот процесс, заставляющий людей обуздывать свои страсти для сохранения той совокупности, которой они состоят членами, и страх быть наказанными за нарушение порядков совокупности и есть тот самый закон этический, существование которого ему нужно доказать.

Г-ну Гекели в невинности его души, очевидно, кажется, что в теперешнем английском обществе с его Ирландией, нищетой народа, безумной роскошью богачей, с его торговлей опиумом и водкой, с его казнями, с его побоищами, истреблениями народов для выгод торговли и политики, скрытым развратом и лицемерием,— человек, не нарушающий требований полиции, есть человек нравственный и что руководит этим человеком закон этический, забывая то, что качества, которые могут быть нужны для того, чтобы не разрушилось то общество, в котором живет его член, могут быть очень полезны для самого общества, как полезны качества членов разбойничьей шайки, как даже в нашем обществе полезно качество палачей, тюремщиков, судей, солдат, лицемеров-священников и т. п., но что качества эти не имеют ничего общего с нравственностью.

Нравственность есть нечто постоянно развивающееся, растущее, и потому ненарушение установленных порядков известного общества, удержание их посредством виселицы и топора, о которых, как об орудиях нравственности, говорит г-н Гекели, будет не только не утверждением, но нарушением нравственности.

И, напротив, всякое нарушение существующих порядков, каковы были не только нарушения Христом и его учениками порядков римской провинции, но нарушение теперешних порядков человеком, который откажется от участия в суде, в военной службе, в уплате податей, употребляемых на военные приготовления, будет не только не противно нравственности, но необходимым условием проявления ее. Всякий людоед, перестающий есть себе подобных и поступающий сообразно с этим, нарушает порядок своего общества. И потому поступ

ки, нарушающие порядок всякого общества, могут быть безнравственны, но несомненно и то, что всякий истинно нравственный поступок, двигающий вперед нравственность, будет всегда нарушением привычек общества. И потому если в обществе и появился закон, по которому люди жертвуют своими выгодами для соблюдения целости своего общества, то этот закон не есть закон этический, а большею частью напротив – закон, противный всякой этике, тот же закон борьбы за существование, только в скрытом, латентном, состоянии. Это та же борьба за существование, только перенесенная из единиц в совокупности их. Это не прекращение драки, а размах руки для того только, чтобы сильнее ударить.

Если закон борьбы за существование и переживание способнейшего, the fittest, есть вечный закон всего живого (а он не может не признаваться таким для человека, рассматриваемого как животное), то никакие путаные рассуждения о социальном прогрессе и будто бы вытекающим из него этическом, как deus ex machina', выскочившем неизвестно откуда, законе, когда он нам понадобился, не могут нарушить этого закона.

Если социальный прогресс, как уверяет г-н Гекели, собирает людей в группы, то та же борьба и то же переживание будут происходить между семьями, родами, государствами, и борьба эта не только не будет нравственнее, но еще жесточе и безнравственнее борьбы личностей, как мы это и видим в действительности.

Если даже допустить невозможное, то, что всё человечество через тысячи лет одним социальным прогрессом соединится в одно целое, будет составлять один народ и одно государство, то и тогда, не говоря уже о том, что борьба, упраздненная между государствами и народами, перейдет в борьбу между человечеством и миром животных, и борьба останется борьбой, т. е. деятельностью, в корне исключающею возможность признаваемой нами христианской нравственности. Не говоря уже об этом, и тогда борьба между личностями, составляющими совокупности, и между совокупностями: семей, родов, народностей, нисколько не уменьшится, а будет происходить то же, только в другой форме, как мы это и видим при всех соединениях людей в семьи, роды и государства. Семейные точно так же ссорятся и борются между собой, как и посторонние, и часто еще больше и злее.

Точно так же и в государстве; среди людей, живущих в государстве, продолжается та же самая борьба, как и среди людей, живущих вне государства, только в иных формах. Там убивают стрелами

' **Букв.: бог из машины** *(лат.).* **В переносном смысле; неожиданно появляющееся обстоятельство.**

и ножами, а здесь голодом. Если же спасаются слабые и в семье, и в государстве, то никак не от государственного соединения, а оттого, что в людях, соединенных в семьи и в государства, есть самоотвержение и любовь. Если вне семьи из двух детей выживет только the fittest, а в семье у доброй матери останутся жить оба, то это произойдет совсем не от соединения людей в семью, а оттого, что у матери есть любовь и самоотвержение. А ни самоотвержение, ни любовь никак не могут вытекать из социального прогресса.

Утверждать, что социальный прогресс производит нравственность, всё равно что утверждать, что постройка печей производит тепло.

Тепло происходит от солнца; печи же производят тепло только тогда, когда в печи положены дрова, т. е. работа солнца. Точно также и нравственность происходит от религии. Социальные же формы жизни производят нравственность только тогда, когда в эти формы жизни вложены последствия религиозного воздействия на людей – нравственность.

Печи могут топиться и тогда давать тепло, или не топиться и оставаться холодными; точно так же и социальные формы могут включать в себя нравственность, и тогда нравственно воздействовать на общество, или не включать в себя нравственность и тогда оставаться без всякого воздействия на общество.

Нравственность христианская не может быть основана на языческом понимании жизни и не может быть выведена ни из философии, ни из науки нехристианской, не только не может быть выведена из них, но не может даже быть согласована с ними.

Так и понимала это всегда всякая серьезная, последовательная и строгая, философия и наука; «не сходятся нащи положения с нравственностью – тем хуже для нее», совершенно правильно говорят такая философия и наука, и продолжают свои исследования.

Этические трактаты, не основанные на религии, и даже лаиче- ские катехизисы пищутся и преподаются, и люди могут думать, что человечество руководится ими, но это кажется только потому, что люди руководятся в действительности не этими трактатами и катехизисами, а религией, которую они всегда имели и имеют; трактаты же и катехизисы эти только подделываются под то, что само собой вытекает из религии.

Предписания лаической нравственности, основанные не на религиозном учении, совершенно подобны тому, что сделал бы человек, который, не зная музыки, стал бы на место капельмейстера и начал бы размахивать руками перед исполняющими привычное дело музыкантами. Музыка по инерции и по тому, чему научились музыканты от прежних капельмейстеров, продолжались бы еще некоторое вре

мя, но, очевидно, что махание палочкой не знающего музыки не только не было бы полезно, но непременно со временем спутало бы музыкантов и расстроило бы оркестр. Такая же путаница начинает происходить в умах людей нашего времени вследствие попыток руководителей преподать людям нравственность, основанную не на той высшей религии, которая начинает усваиваться и отчасти уже усвоена христианским человечеством.

Действительно, желательно бы иметь нравственное учение без примеси к нему суеверий, но дело в том, что нравственное учение есть только последствие установленного известного отношения человека к миру или Богу. Если же установление такого отношения выражается в кажущихся нам суеверными формах, то для того, чтобы этого не было, надо стараться выразить это отношение более разумно, ясно и точно, или даже, разрушив ставшее недостаточным прежнее отношение человека к миру, поставить на его место высшее, более ясное и разумное, но никак не придумывать основанную на софизмах, или ни на чем не основанную, так называемую светскую, нерелигиозную нравственность.

Попытки основать нравственность помимо религии подобны тому, что делают дети, которые, желая пересадить нравящееся им растение, отрывают от него ненравящийся им и кажущийся им лишний корень и без корня втыкают растение в землю. Без религиозной основы не может быть никакой настоящей, непритворной нравственности, точно так же, как без корня не может быть настоящего растения.

Итак, отвечая на ваши два вопроса, я говорю: «Религия есть известное, установленное человеком отношение своей отдельной личности к бесконечному миру или началу его. Нравственность же есть всегдашнее руководство жизни, вытекающее из этого отношения».

28-го октября 1893 г.
Ясная Поляна.

ПАТРИОТИЗМ ИЛИ МИР?'

Милостивый государь,

Вы пишете мне о том, чтобы я высказался по случаю Североамериканских Штатов с Англией «в интересах христианской последовательности и истинного мира», и выражаете надежду, «что народы скоро проснутся к единственному средству обеспечить международный мир».

Я питаю ту же надежду. Питаю эту надежду потому, что ослепление, в котором в наше время находятся народы, восхваляющие патриотизм, воспитывающие свои молодые поколения в суеверии патриотизма и, между тем, не желающие неизбежных последствий патриотизма – войны, дошло, как мне кажется, до той последней степени, при которой достаточно самого простого, просящегося на язык каждого непредубежденного человека, рассуждения, для того, чтобы люди увидали то вопиющее противоречие, в котором они находятся.

Часто, когда спрашиваешь у детей, что они выбирают из двух несовместимых вещей, но которых им обеим очень хочется, они отвечают: и того и другого. Что хочешь: ехать кататься или дома играть? И ехать кататься и дома играть.

Точно так же отвечают нам христианские народы на поставленный им жизнью вопрос: что они выбирают из двух: патриотизм или мир? Они отвечают: и патриотизм и мир, хотя соединить патриотизм и мир так же невозможно, как в одно и то же время ехать кататься и оставаться дома.

На днях между Североамериканскими Штатами и Англией произошло столкновение из-за границ Венецуэлы. Сольсбери на что-то

' Статья написана как ответ на письмо к Толстому английского журналиста Джона Мэнсона.

не согласился, Кливеленд написал послание в сенат, с обеих сторон раздались патриотические, воинственные возгласы, на бирже произошла паника, люди потеряли миллионы фунтов и долларов, Эдис- сон объявил, что он выдумает такие снаряды, которыми можно будет в час убивать больше людей, чем убил Атилла во все свои войны, и оба народа стали энергически готовиться к войне. Но оттого ли, что одновременно с этими приготовлениями к войне как в Англии, так и в Америке разные литераторы, принцы и государственные люди стали увещевать правительства обоих народов о том, чтобы они воздержались от войны, что предмет раздора недостаточно важен для того, чтобы начинать войну, в особенности между двумя родственными, говорящими на одном языке, англосаксонскими народами, которые должны не воевать между собою, а спокойно властвовать над другими. Или оттого, что об этом молились и читали проповеди в своих церквах всякого рода епископы и архидьяконы, каноники, или оттого, что та и другая сторона не считали себя еще готовыми, но случилось так, что войны на этот раз не будет. И люди успокоились.

Но ведь надо иметь слишком мало perspicacite (проницательности) для того, чтобы не видеть того, что причины, которые привели теперь к столкновению между Англией и Америкой, остались те же, и что если теперешнее столкновение и разрешится без войны, то неизбежно завтра, послезавтра явятся другие столкновения между Англией и Америкой, и Англией и Германией, и Англией и Россией, и Англией и Турцией во всех возможных перемещениях, как они и возникают ежедневно, и какое-нибудь из них неизбежно приведет к войне.

Ведь если живут рядом два вооруженные человека, которым с детства внушено, что могущество, богатство и слава суть высшие добродетели и что потому приобретать могущество, богатство и славу оружием в ущерб другим соседним владетелям есть самое похвальное дело, и если при этом над этими людьми не стоит никакого ни нравственного, ни религиозного, ни государственного ограничения, то разве не очевидно, что такие люди будут всегда воевать, что нормальное отнощение их между собой будет война и что если такие люди, сцепивщись, разощлись на время, то это они сделали только по французской пословице: pour mieux sauter, т. е. разбежались для того, чтобы лучще прыгнуть, с большим остервенением броситься друг на друга.

Страшен эгоизм частных людей, но эгоисты частной жизни не вооружены, не считают хорошим ни готовить, ни употреблять оружие против своих срперников; эгоизм частных людей находится под контролем и государственной власти и общественного мнения. Ча

стного человека, который с оружием в руках отнимет у соседа корову или десятину посева, сейчас же возьмут полицейские и посадят в тюрьму. Кроме того, такого человека осудит общественное мнение, его назовут вором и грабителем. Совсем иное с государствами: все они вооружены, власти над ними нет никакой, кроме комических попыток поймать птицу, посыпав ей соли на хвост, попыток учреждения международных конгрессов, которые, очевидно, никогда не будут приняты могущественными (для того-то и вооруженными, чтобы не слушаться никого) государствами, и главное то, что общественное мнение, которое карает всякое насилие частного человека, восхваляет, возводит в добродетель патриотизма всякое присвоение чужого для увеличения могущества своего отечества.

За какое хотите время откройте газеты и всегда, всякую минуту вы увидите черную точку, причину возможной войны: то это будет Корея, то Памиры, то Африканские земли, то Абиссиния, то Армения, то Турция, то Венецуэла, то Трансвааль. Разбойничья работа ни на минуту не прекращается, и то здесь, то там не переставая идет маленькая война, как перестрелка в цепи, и настоящая, большая война всякую минуту может и должна начаться.

Если американец желает предпочтительного пред всеми другими народами величия и благоденствия Америки, и точно того же желает англичанин, и того же желает русский, и турок, и голландец, и абиссинец, и гражданин Венецуэлы и Трансвааля, и армянин, и поляк, и чех, и все они убеждены, что эти желания не только не надо скрывать и подавлять, но что этими желаниями можно гордиться и должно развивать их в себе и других, и если величие и благоденствие одной страны или народа не может быть приобретено иначе, как в ущерб другой или иногда и многих других стран и народов, то как же не быть войне. И потому для того, чтобы не было войны, нужно не читать проповеди и молиться Богу о том, чтобы был мир, не уговаривать English speaking nations* быть в дружбе между собою, чтобы властвовать над другими народами, не составлять действенный и тройственный союзы друг против друга, не женить принцев на принцессах других народов, а нужно уничтожить то, что производит войну. Производит же войну желание исключительного блага своему народу, то, что называется патриотизмом. А потому для того, чтобы уничтожить войну, надо уничтожить патриотизм. А чтобы уничтожить патриотизм, надо прежде всего убедиться, что он зло, и вот это-то и трудно сделать.

Скажите людям, что война дурно, они посмеются: кто же этого не знает? Скажите, что патриотизм дурно, и на это большинство

Нации, говорящие по-английски *(англ.)*.

людей согласится, но с маленькой оговоркой.– Да, дурной патриотизм дурно, но есть другой патриотизм, тот, какого мы держимся.– Но в чем этот хороший патриотизм, никто не объясняет. Если хороший патриотизм состоит в том, чтобы не быть завоевательным, как говорят многие, то ведь всякий патриотизм, если он не завоевательный, то непременно удержательный, то есть что люди хотят удержать то, что прежде было завоевано, так как нет такой страны, которая основалась бы не завоеванием, а удержать завоеванное нельзя иными средствами, как только теми же, которыми что-либо завоевывается, то есть насилием, убийством. Если же патриотизм даже и не удержательный, то он восстановительный – патриотизм покоренных, угнетенных народов – армян, поляков, чехов, ирландцев и т. п. И этот патриотизм едва ли не самый худший, потому что самый озлобленный и требующий наибольшего насилия.

Патриотизм не может быть хороший. Отчего люди не говорят, что эгоизм может быть хороший, хотя это скорее можно бы было утверждать, потому что эгоизм есть естественное чувство, с которым человек рождается, патриотизм же чувство неестественное, искусственно привитое ему.

Скажут: «Патриотизм связал людей в государства и поддерживает единство государств». Но ведь люди уже соединились в государства, дело это совершилось; зачем же теперь поддерживать исключительную преданность людей к своему государству, когда эта преданность производит страшные бедствия для всех государств и народов. Ведь тот самый патриотизм, который произвел объединение людей в государства, теперь разрушает эти самые государства. Ведь если бы патриотизм был только один: патриотизм один англичан, то можно бы было его считать объединяющим или благодетельным, но когда, как теперь, есть патриотизм: американский, английский, немецкий, французский, русский, всё противоположные один другому, то патриотизм уже не соединяет, а разъединяет. Говорить, что если патриотизм был благодетелен, соединяя людей в государства, как это было во времена его расцвета в Греции и Риме, то от этого патриотизм и теперь, после 1800 лет христианской жизни, так же благодетелен, всё равно, что говорить, что так как пахота была полезна и благодетельна для поля перед посевом, то она так же будет благодетельна теперь, когда посев уже взошел.

Ведь хорошо бы было удерживать патриотизм в память той пользы, которую он когда-то принес людям, как хранят и удерживают люди старинные памятники храмов, гробниц и т. п. Но храмы стоят, не принося людям никакого вреда, патриотизм же не переставая производит неисчислимые бедствия.

Отчего страдают и режутся теперь и звереют армяне и турки? Отчего Англия и Россия, озабоченная каждая своей долей наследства после Турции, выжидают, а не прекращают армянские побоища? Отчего режутся абиссинцы и итальянцы? Отчего чуть не возникла страшная война из-за Венецуэлы, а теперь из-за Трансвааля? А Китайско-японская война, а Турецкая, а Германская, Французская? А озлобление покоренных народов: армян, поляков, ирландцев! А приготовления к войне всех народов? – Всё это плоды патриотизма. Моря крови пролиты из-за этого чувства и будут еще пролиты из-за него, если люди не освободятся от этого отжившего остатка страны.

Мне несколько раз уже приходилось писать о патриотизме, о полной несовместимости его с учением не только Христа, в его идеальном смысле, но и с самыми низщими требованиями нравственности христианского общества, и всякий раз на мои доводы мне отвечали или молчанием, или высокомерным указанием на то, что высказываемые мною мысли суть утопические выражения мистицизма, анархизма и космополитизма. Часто мысли мои повторялись в сжатой форме, и вместо возражений против них прибавлялось только то, что это не что иное, как космополитизм, как будто это слово «космополитизм» бесповоротно опровергало все мои доводы.

Люди серьезные, старые, умные, добрые и, главное, стоящие как город на верху горы, люди, которые своим примером невольно руководят массами, делают вид, что законность и благодетельность патриотизма до такой степени очевидна и несомненна, что не стоит отвечать на легкомысленные и безумные нападки на это священное чувство, и большинство людей, с детства обманутое и зараженное патриотизмом, принимает это высокомерное молчание за самый убедительный довод и продолжает коснеть в своем невежестве.

И потому те люди, которые по своему положению могут избавить массы от их бедствий и не делают этого,– совершают боль- щой грех.

Самое ужасное зло в мире есть лицемерие. Недаром Христос один только раз прогневался, и это было против лицемерия фарисеев.

Но что было лицемерие фарисеев в сравнении с лицемерием на- щего времени. В сравнении с нашими лицемеры-фарисеи были самые правдивые люди, и их искусство лицемерить в сравнении с искусством наших – детская игрушка. И оно не может быть иначе. Вся наша жизнь с исповеданием христианства, учения смирения и любви, соединенная с жизнью вооруженного разбойничьего стана, не может быть ни чем иным, как сплошным, ужасным лицемерием. Оно очень удобно – исповедывать такое учение, в котором: на одном конце христианская святость и потому непогрешимость, а дру

гом – языческий меч и виселица, так что, когда можно импонировать и обманывать святостью, пускается в ход святость, когда же обман не удается, пускается в ход меч и виселица. Такое учение очень удобно, но приходит время, когда эта паутина лжи расползается и нельзя уже продолжать держаться того и другого и необходимо примкнуть к тому или другому. Это самое теперь наступает по отношению к учению о патриотизме.

Хотят или не хотят этого люди, вопрос ясно стоит перед человечеством; ***каким образом может тот патриотизм, от которого происходят неисчислимые как физические, так и нравственные страдания людей,— быть нужным и быть добродетелью?*** И ответить на этот вопрос необходимо. Необходимо или показать, что патриотизм есть такое великое благо, что он выкупает все те страшные бедствия, какие он производит в человечестве, или признать, что патриотизм есть зло, которое не только не надо прививать и внушать людям, но от которого надо всеми силами стараться избавиться.

C'est a prendre ou a laisser', как говорят французы. Если патриотизм добро, то христианство, дающее мир,– пустая мечта, и чем скорее искоренить это учение, тем лучше. Если же христианство действительно дает мир и мы действительно хотим мира, то патриотизм есть пережиток варварского времени, который не только не надо возбуждать и воспитывать, как мы это делаем теперь, но который надо искоренить всеми средствами; проповедью, убеждением, презрением, насмешкой. Если христианство истина и мы хотим жить в мире, то не только нельзя сочувствовать могуществу своего отечества, но надо радоваться ослаблению его и содействовать этому. Надо радоваться, когда от России отделяется Польша, Остзейский край, Финляндия, Армения; и англичанину радоваться тому же по отношению Ирландии, Австралии, Индии и других колоний и содействовать этому, потому что чем больше государство, тем злее и жесточе его патриотизм, тем на большем количестве страданий зиждется его могущество. И потому, если мы хотим действительно быть тем, что мы исповедуем, мы не только не должны, как теперь, желать увеличения своего государства, но желать уменьшения, ослабления его и всеми силами содействовать этому. И так и воспитывать молодые поколения. Должны воспитывать молодые поколения так, чтобы, как теперь стыдно молодому человеку проявлять свой грубый эгоизм, например, тем, чтобы съесть всё, не оставив другим, столкнуть слабейшего с дороги, чтобы самому пройти, отнять силою то, что нужно другому,– так же бы было стыдно же-

Хотите избавляйтесь, хотите не избавляйтесь *(фр.)*.

лать увеличения могущества своего отечества; и так же, как считается глупым и смешным теперь восхваление самого себя, так же бы считалось [глупым] восхваление своего народа, как оно теперь производится в разных лживых отечественных историях, картинах, памятниках, учебниках, статьях, стихах, проповедях и глупых народных гимнах. Но надо понимать, что до тех пор, пока мы будем восхвалять патриотизм и воспитывать его в молодых поколениях, у нас будут вооружения, губящие и физическую и духовную жизнь народов, будут войны, ужасные, страшные войны, как те, к которым мы готовимся и в круг которых мы вводим теперь, развращая их своим патриотизмом, новых страшных бойцов Дальнего Востока.

Император Вильгельм, одно из самых комических лиц нашего времени, оратор, поэт, музыкант, драматург и живописец и, главное, патриот, нарисовал недавно картину, изображающую все народы Европы с мечами, стоящие на берегу моря и по указанию архангела Михаила смотрящие на сидящие вдалеке фигуры Будды и Конфуция. По намерению Вильгельма это должно означать то, что народы Европы должны соединиться, чтобы противостоять надвигающейся оттуда опасности. И он совершенно прав с своей отставшей на 1800 лет языческой, грубой, патриотической точкой зрения.

Европейские народы, забыв Христа во имя своего патриотизма, всё больше и больше раздражали и научали патриотизму и войне эти мирные народы и теперь раздразнили их так, что действительно, если только Япония и Китай так же вполне забудут учение Будды и Конфуция, как мы забыли учение Христа, то скоро выучатся искусству убивать людей (этому скоро научаются, как и показала Япония) и, будучи бесстрашны, ловки, сильны и многочисленны, неизбежно очень скоро сделают из стран Европы, если только Европа не сумеет противопоставить чего-нибудь более сильного, чем оружие и выдумки Эдиссона, то, что страны Европы делают из Африки. «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Лука, VI, 40).

На вопрос одного царька; сколько и как прибавить войска, чтобы победить один южный не покорявшийся ему народец,– Конфуций отвечал: «уничтожь всё твое войско, употреби то, что ты тратишь теперь на войско, на просвещение своего народа и на улучшение земледелия, и южный народец прогонит своего царька и без войны покорится твоей власти».

Так учил Конфуций, которого нам советуют бояться. Мы же, забыв учение Христа, отрекшись от него, хотим покорить народы силою и этим приготовляем себе новых и более сильных врагов, чем наши соседи.

Один мой приятель, увидав картину Вильгельма, сказал: «Картина прекрасная. Только она означает совсем не то, что подписано. Она означает то, что архангел Михаил указывает всем правительствам Европы, изображенным в виде увешанных оружием разбойников, то, что погубит и уничтожит их, а именно: кротость Будды и разумность Конфуция». Он мог прибавить: «и смирение Лао-Тзе». И действительно, мы, благодаря своему лицемерию, до такой степени забыли Христа, вытравили из своей жизни всё христианское, что учение Будды и Конфуция без сравнения стоят выше того зверского патриотизма, которым руководятся наши мнимохристианские народы.

И потому спасение Европы и вообще христианского мира не в том, чтобы, как разбойники, обвешавшись мечами, как их изобразил Вильгельм, бросаться убивать своих братьев за морем, а, напротив, в том, чтобы отказаться от пережитка варварских времен – патриотизма и, отказавшись от него, снять оружие и показать восточным народам не пример дикого патриотизма и зверства, а пример братской жизни, которой мы научены Христом.

Москва. 5 января 1896.

по поводу КОНГРЕССА О МИРЕ

*Письмо к шведам^*

Милостивые государи!

Мысль, высказанная в прекрасном письме вашем о том, что всеобщее разоружение может быть достигнуто самым легким и верным путем посредством отказа отдельных лиц от участия в военной службе,– совершенно справедлива. Я даже думаю, что это единственный путь избавления людей от всё усиливающихся и усиливающихся ужаснейших бедствий военшины. Мысль же ваша о том, что вопрос о замене воинской повинности для лиц, отказываюшихся от исполнения ее, общественными работами, может быть рассматриваема на имеющей, по предложению царя, собраться конференции, мне кажется совершенно ошибочной,– уже по одному тому, что самая конференция не может быть ни чем иным, как одним из тех лицемерных учреждений, которые имеют целью не достижение мира, но, напротив, скрытие от людей того единственного средства достижения всеобщего мира, которое уже начинают видеть передовые люди.

Конференция, говорят, будет иметь целью если не разоружение, то прекращение увеличения вооружений. Предполагается, что на этой конференции представители правительств условятся о том, чтобы не увеличивать больше своих вооружений. Если это так, то невольно представляется вопрос, как будут поступать правительства тех государств, которые во время сбора конференции случайно слабее, чем их соседи? Едва ли такие правительства согласятся и в будущем оставаться в таком же более слабом, чем их соседи, положении. Если же они согласятся оставаться в таком более слабом положении, твердо веря в силу постановлений конференции, то им можно быть и еще слабее и вовсе не тратиться на войско.

‘ Статья является ответом Толстого на просьбу группы шведских пацифистов высказаться по поводу Гаагской мирной конференции.

Если же дело конференции будет состоять в том, чтобы уравнять военные силы государств и на этом остановиться, то если бы даже и могло быть достигнуто такое невозможное уравнение, невольно возникает вопрос: почему правительства должны остановиться на таком вооружении, которое существует теперь, а не на более низком. Почему нужно, чтобы у Германии, Франции, России, скажем примерно, было по миллиону солдат, а не по 500 тысяч, не по 10 тысяч, не по одной тысяче солдат. Если можно уменьшить, то почему не уменьшить до минимума, и, наконец, почему бы не выставлять вместо войск – борцов; Давида и Голиафа, и решать международные дела, смотря по тому, кто поборет?

Говорят; конфликты правительств будут решаться третейским судом. Но,– не говоря уже о том, что решать дело будут не представители народа, а представители правительств, и потому нет никакого ручательства о том, что решения эти будут правильны,– кто же будет приводить в исполнение решения этого суда? – Войска.– Чьи войска? – Всех держав.– Но ведь сила этих держав не равная. Кто, например, приведет на континенте в исполнение решение, которое, предположим, будет невыгодно для Германии, России или Франции, соединенных в союз; или кто приведет на море – решение, противное интересам Англии, Америки, Франции? Решение третейского суда против военного насилия государств будут приводиться в исполнение военным насилием, т. е. то самое, чтб нужно ограничить, будет средством ограничения. Чтобы поймать птицу, надо посыпать ей соли на хвост.

Я помню, во время осады Севастополя, я сидел раз у адъютантов Сакена, начальника гарнизона, когда в приемную пришел князь С. С. Урусов, очень храбрый офицер, большой чудак и вместе с тем один из лучших европейских шахматных игроков того времени. Он сказал, что имеет дело до генерала. Адъютант повел его в кабинет генерала. Через десять минут Урусов прошел мимо нас с недовольным лицом. Провожавший его адъютант вернулся к нам и, смеясь, рассказал, по какому делу Урусов приходил к Сакену. Он приходил к Сакену затем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-м бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже несколько сот жизней.

Несомненно, что было бы гораздо лучше сыграть на траншею в шахматы, чем убивать людей. Но Сакен не согласился на предложение Урусова, понимая очень хорошо, что сыграть в шахматы на траншею можно бы было только тогда, когда бы было полное взаимное доверие сторон в исполнении постановленного условия. Присутствие же войск, стоявших перед траншеей, и пушек, направленных на нее,

показывало, что доверия этого не существует. Пока были войска с той и другой стороны,– было ясно, что дело решится не шахматами, а штыками. Точно то же и с международными вопросами. Для того, чтобы они могли быть решены третейским судом, нужно, чтобы было полное взаимное доверие держав о том, что они исполнят решение суда. Если есть это доверие, то не нужно совсем войск. Если же есть войска, то ясно, что нет этого доверия, и международные вопросы не могут решаться ни чем иным, как только силою войск. Пока есть войска, то они нужны для того, чтобы не только вновь приобретать, как это теперь делают все государства – кто в Азии, кто в Африке, кто в Европе,– но и для того, чтобы удержать силою то, что приобретено силою. А приобретать и удерживать силою можно, только побеждая. Побеждают же всегда только gros bataillons. И потому, если правительство имеет войско, то оно должно иметь его как можно больше. И в этом состоит его обязанность. Если правительство не делает этого, то оно не нужно. Правительство может делать очень многое во внутреннем управлении: может освобождать, просвещать, обогащать народ, строить дороги, каналы, колонизировать пустыни, устраивать общественные работы, но одного не может делать, именно того, для чего собирается конференция, т. е. уменьшать свои военные силы.

Если же цель конференции, как это видно из последних разъяснений, будет состоять в том, чтобы изъять из употребления представляющиеся людям особенно жестокими орудия истребления (почему бы в том числе и прежде всего не постараться изъять заодно и перехватывание писем, подмену телеграмм, и шпионство, и все те ужасающие подлости, которые составляют необходимое условие военной обороны?),– то такое запрещение пользоваться для борьбы всеми теми средствами, которые есть, совершенно так же возможно, как запрещение людям, которые дерутся за свою жизнь, касаться, в драке наиболее чувствительных частей тела. И почему рана и смерть от разрывной пули хуже, чем рана в очень болезненное место от самой простой пули или осколка, от которых страдания доходят до последней степени и наступает та же самая смерть, как и от какого бы то ни было орудия?

Поразительно, как могут взрослые и душевно здоровые люди серьезно высказывать такие странные мысли.

Положим, дипломаты, посвящающие свою жизнь лжи, так привыкли к этому пороку и постоянно живут и действуют в такой густой атмосфере лжи, что им самим незаметна вся бессмысленность и лживость их предложений; но как могут частные люди,– честные частные, не те, которые для того, чтобы подделаться к царю, восхваляют его смешное предложение,– как могут честные частные люди не видеть того, что результатом этой конференции не может

быть ничего другого, как только закрепление того обмана, в котором правительства держат своих подданных, как это было при священном союзе Александра 1-го?

Конференция будет иметь целью не установление мира, а сокрытие от людей единственного средства освобождения их от бедствий войны, состоящее в отказах отдельных лиц от участия в военном убийстве, и потому конференция никак не может принять на обсуждение этого вопроса.

С отказывающимися по своим убеждениям от воинской повинности всякое правительство всегда поступит так же, как поступило русское правительство с духоборами. В то самое время, когда оно публиковало на весь мир свои будто бы миролюбивые намерения, оно, стараясь скрыть это от всех, мучило, разоряло и изгоняло самых миролюбивых людей России только за то, что они были миролюбивы не на словах, а на деле и потому отказывались от военной службы. Точно так же, хотя и менее грубо, поступали и поступают все европейские правительства в случаях отказов от воинской повинности. Так поступало и поступает австрийское, прусское, французское, шведское, швейцарское, голландское правительства и не могут поступать иначе.

Они не могут поступать иначе потому, что, управляя своими подданными силою, которую составляет дисциплинированное войско, они никак не могут предоставить уменьшение этой силы и, следовательно, своей власти случайным настроениям частных лиц, тем более, что, по всем вероятиям, как только была бы допущена для всех замена военной службы – рабочей, то огромное большинство людей (никто не любит убивать и быть убитым) предпочло бы работу военной службе, и очень скоро набралось бы столько рабочих и так мало осталось бы военных, что некому бы было заставить работать рабочих.

Запутавшиеся в своем многословии либералы, социалисты и другие, так называемые передовые деятели, могут воображать, что их речи в палатах и собраниях, их союзы, стачки, брошюры суть явления очень важные, но что отказы отдельных лиц от военной службы суть ничтожные, на которые не стоит обращать внимания; но правительства знают очень хорошо, чтб для них важно и чтб не важно, и правительства охотно допускают всякие либеральные и радикальные речи в рейхстагах, и союзы рабочих, и социалистические демонстрации, и даже сами делают вид, что сочувствуют этому, зная, что эти явления очень полезны для них, отвлекая внимание народов от главного и единственного средства освобождения; но никогда открыто не допустят отказов от военной службы или отказов от податей для военной службы (это одно и то же), потому

что знают, что такие отказы, обнажая обман правительства, под корень подрывают власть их.

До тех пор, пока правительства будут управлять своими народами силою и будут желать, как теперь, приобретать новые владения (Филиппины, Порт-Артур и т. п.) и удерживать приобретенные (Польшу, Эльзас, Индию, Алжир и т. п.), до тех пор они сами не только никогда не уменьшат войска, но, напротив, будут постоянно увеличивать их.

На днях было известие о том, что американский полк отказался идти в Ило-Ило. Известие это передается как нечто удивительное. А между тем удивляться можно только тому, как такие явления не повторяются постоянно: каким образом могли все те русские, немецкие, французские, итальянские, американские люди, воевавшие в последнее время, по воле чуждых и, большей частью, не уважаемых ими людей, идти убивать людей другого народа и самим подвергаться страданиям и смерти?

Казалось бы, так ясно и естественно всем этим людям опомниться, если еще не в то время, когда их вербовали в солдаты, то хоть в последнюю минуту, когда их ведут на неприятеля: остановиться, бросить ружья и закричать противникам, чтобы и они сделали то же.

Казалось бы это так просто, естественно, что все должны бы поступать так. Но если люди не поступают так, то происходит это только оттого, что люди верят правительствам, уверяющим их, что все те тяжести, которые несут люди для войны, накладываются на них для их же блага. Все правительства с поразительной наглостью всегда уверяли и уверяют, что все те военные приготовления и даже самые войны, которые они ведут, нужны для мира. Теперь в этой области лицемерия и обмана делается еще новый щаг, состоящий в том, что те самые правительства, для"существования которых необходимы войска и войны, делают вид, что они озабочены изысканием мер для сокращения войск и уничтожения войн. Правительства хотят уверить народы, что отдельным людям нечего заботиться об избавлении себя от войны; сами правительства на своих конференциях устроят так, что сначала уменьшатся, а потом и совсем уничтожатся войска. Но это – неправда.

Уменьшиться и уничтожиться войска могут только против воли и никак не по воле правительства. Уменьшатся и уничтожатся войска только тогда, когда люди перестанут доверять правительствам и будут сами искать спасения от удручающих их бедствий и будут искать этого спасения не в сложных и утонченных комбинациях дипломатов, а в простом исполнении обязательного для каждого человека, написанного и во всех религиозных учениях и в сердце каж

дого человека, закона о том, чтобы не делать другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали, тем более не убивать своего ближнего.

Уменьшатся, а потом и уничтожатся войска только тогда, когда общественное мнение будет клеймить позором людей, продающих из-за страха или выгоды свою свободу и становящихся в ряды убийц, называемых войском; а людей – теперь неизвестных и даже осуждаемых,– которые, несмотря на все гонения и страдания, переносимые ими за это, отказываются, отдав свою свободу в руки других людей, стать опять орудиями убийства,– будет выставлять тем, чтб они есть: передовыми борцами и благодетелями человечества.

Только тогда сначала уменьшатся, а потом совсем уничтожатся войска, и наступит новая эра в жизни человечества.

И время это близко.

И вот почему я думаю, что мысль ваша о том, что отказы от воинской повинности суть явления огромной важности и что они освободят человечество от бедствий военщины,– совершенно справедлива; мысль же ваша, что этому может содействовать конференция,– совершенно ошибочна. Конференция может только отвести глаза народа от единственного средства спасения и освобождения.

Л. Толстой.

Москва. Январь 1899 г.

что ТАКОЕ РЕЛИГИЯ И В ЧЕМ СУЩНОСТЬ ЕЕ?

I

Всегда во всех человеческих обществах, в известные периоды их жизни, наступало время, когда религия сначала отклонялась от своего основного значения, потом, всё более и более отклоняясь, теряла свое значение и, наконец, замирала в раз установленных формах, и тогда действие ее на жизнь людей становилось все меньше и меньше.

В такие периоды образованное меньшинство, не веря в существующее религиозное учение, делает только вид, что верит в него, находя это нужным для удержания народных масс в установленном строе жизни; народные же массы, хотя и держатся по инерции раз установленных форм религии, в жизни своей не руководятся уже требованиями религии, а только народными обычаями и государственными законами.

Так это было много раз в различных человеческих обществах. Но никогда не было того, что происходит теперь в нашем христианском обществе. Никогда не было того, чтобы богатое, властвующее и более образованное меньшинство, имеющее наибольшее влияние на массы, не только не верило в существующую религию, но было бы уверено в том, что в наше время религии уже никакой не нужно, и внушало бы людям, сомневающимся в истинности исповедуемой религии, не какое-либо более разумное и ясное религиозное учение, чем то, которое существует, а то, что религия вообще отжила свое время и стала теперь не только бесполезным, но и вредным органом жизни общества, вроде того, как слепая кишка в организме человека. Религия изучается этого рода людьми не как нечто известное нам по внутреннему опыту, а как внешнее явление, как бы болезнь, которою бывают одержимы некоторые люди и которую мы можем исследовать только по внешним симптомам.

Религия, по мнению одних из этих людей, произошла от одухотворения всех явлений природы (анимизм), по мнению других,– из

представления о возможности отношений с умершими предками, по мнению третьих,– из страха перед силами природы.

А так как, рассуждают далее ученые люди нашего времени, наука доказала, что деревья и камни не могут быть одушевлены, и умершие предки уже не чувствуют того, что делают живые, и явления природы объясняемы естественными причинами, то и уничтожилась необходимость в религии, и во всех тех стеснениях, которые, вследствие религиозных верований, налагали на себя люди. По мнению ученых, был период невежественный – религиозный. Этот период уже давно пережит человечеством, остались редкие, атавистические признаки его. Потом был период метафизический, и этот пережит. Теперь же мы, просвещенные люди, живем в периоде научном, в периоде позитивной науки, которая заменяет религию и ведет человечество на такую высокую степень развития, до которой оно никогда не могло бы достигнуть, подчиняясь суеверным религиозным учениям.

В начале нынешнего 1901 года французский знаменитый ученый Berthelot произнес речь', в которой он сообщил своим слушателям мысль о том, что время религии прошло и что религия теперь должна быть заменена наукой. Я цитирую эту речь потому, что она первая попалась мне под руку и произнесена в столице образованного мира всеми признанным ученым, но та же мысль выражается беспрестанно и везде, начиная от философских трактатов до газетных фельетонов. Г-н Вертело говорит в этой речи, что были прежде два начала, двигавшие человечество: сила и религия. Теперь же двигатели эти стали излишни, потому что на место их стала ***наука.*** Под ***наукой*** же г-н Вертело, очевидно, разумеет, как и все люди, верующие в науку, такую науку, которая обнимает всю область человеческих знаний, гармонически связанных и, по степени их важности, распределенных между собою, и обладает такими методами, что все добытые ею данные составляют несомненную истину. Но так как такой науки в действительности не существует, а то, что называется наукой, составляет сбор случайных, ничем не связанных между собою знаний, часто совсем ненужных и не только не представляющих несомненной истины, но сплошь да рядом самые грубые заблуждения, нынче выставляемые для истины, а завтра опровергаемые,– то очевидно, что не существует того самого предмета, который должен, по мнению г-на Вертело, заменить и религию. А потому и утверждение г-на Вертело и людей, согласных с ним, о том, что наука заменит религию, совершенно произвольно и основано на ничем не оправдываемой вере в непогрещимую науку, со-

' «Revue de Paris», janvier 1901.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

вершенно подобную вере в непогрешимую церковь. А между тем люди, называющиеся и считающиеся учеными, совершенно уверены в том, что уже существует такая наука, которая должна и может заменить религию и даже теперь упразднила ее.

«Религия отжила, верить во что-нибудь, кроме науки, есть невежество. Наука устроит всё, что надо, и руководствоваться в жизни надо только одной наукой», думают и говорят как сами ученые, так и те люди толпы, которые, хотя и очень далеки от науки, верят ученым и вместе с ними утверждают, что религия есть пережитое суеверие и в жизни нужно руководиться только наукой, т. е. собственно ничем, потому что наука по самой цели своей – исследования всего существующего – не может дать никакого руководства в жизни людей.

II

Ученые люди нащего времени рещили, что религия не нужна, что наука заменит или уже заменила ее, а между тем, как прежде, так и теперь, без религии никогда не жило и не может жить ни одно человеческое общество, ни один разумный человек (я говорю разумный человек потому, что неразумный человек, так же как и животное, может жить и без религии). А не может жить без религии разумный человек потому, что только религия дает разумному человеку необходимое ему руководство о том, что ему надо делать и что надо делать прежде и что после. Разумный человек не может жить без религии именно потому, что разум составляет свойство его природы. Всякое животное руководится в своих поступках,– кроме тех, к которым его влечет прямая потребность удовлетворения своих желаний,– соображение о ближайщих последствиях своего поступка. Сообразив эти последствия посредством тех средств познавания, которыми оно владеет, животное согласует с этими последствиями свои поступки и всегда без колебаний поступает одним и тем же образом, соответственно этим соображениям. Так, например, пчела летит за медом и приносит его в улей, потому что зимой ей понадобится собранный ею корм для себя и детей, и дальще этих соображений ничего не знает и не может знать; так же поступает и птица, свивающая гнездо или перелетающая с севера на юг и обратно. Так же поступает и всякое животное, совершающее поступок, не вытекающий из прямой, сейчасной потребности, но обусловленный соображениями об ожидаемых последствиях. Но не то с человеком. Разница между человеком и животным – в том, что познавательные способности животного ограничиваются тем, что мы называем инстинктом, тогда как основная познавательная способ

ность человека есть разум. Пчела, собирающая корм, не может иметь никаких сомнений о том, хорошо или дурно собирать его. Но человек, собирая жатву или плоды, не может не думать о том – не уничтожает ли он на будущее время произрастание хлеба или плодов? и о том – не отнимает ли он этим собиранием пищу у ближних? Не может не думать и о том, что будет из тех детей, которых он кормит? и многое другое. Самые важные вопросы поведения в жизни не могут разумным человеком быть решены окончательно именно по обилию последствий, которых он не может не видеть. Всякий разумный человек, если не знает, то чувствует, что в самых важных вопросах жизни ему нельзя руководствоваться ни личными побуждениями чувств, ни соображениями о ближайших последствиях его деятельности, потому что последствий этих он видит слишком много различных и часто противоречивых, т. е. таких, которые так же вероятно могут быть благодетельны или зловредны как для него, так и для других людей. Есть легенда о том, как ангел, сошедши на землю в богобоязненную семью, убил ребенка, который был в колыбели, и когда его спросили; зачем он это сделал? – объяснил, что ребенок был бы величайшим злодеем и сделал бы несчастие семьи. Но не только в вопросе о том, какая жизнь человеческая полезна, бесполезна и вредна,– все самые важные вопросы жизни не могут быть решены разумным человеком по соображению с их ближайшими отношениями и последствиями. Разумный человек не может удовлетвориться теми соображениями, которые руководят поступками животных. Человек может рассматривать себя как животное среди животных, живущих сегодняшним днем, он может рассматривать себя и как члена семьи и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже непременно должен (потому что к этому неудержимо влечет его разум) рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому разумный человек должен был сделать и всегда делал по отношению бесконечно малых жизненных явлений, могущих влиять на его поступки, то, что в математике называется интегрированием, т. е. установлять, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, свое отношение ко всему бесконечному по времени и пространству миру, понимая его как одно целое. И такое установление отношения человека к тому целому, которого он чувствует себя частью и из которого он выводит руководство в своих поступках, и есть то, что называлось и называется религией. И потому религия всегда была и не может перестать быть необходимостью и неустранимым условием жизни разумного человека и разумного человечества.

Так и понимали всегда религию люди, не лишенные способности высшего, т. е. религиозного сознания, отличающего человека от животного. Самое древнее и обычное определение религии, от которого и произошло самое слово: religio (religare, связывать), состоит в том, что ***религия есть связь человека с Богом.*** Les obligations de rhomme envers Dieu voila la religion',— говорит Вовенарг. Такое же значение придают религии Шлейермахер и Фейербах, признавая ***основой религии сознание человеком своей зависимости от Бога.*** La religion est une affaire entre chaque homme et Dieu. (Beile.)^ La religion est le resultat des besoins de Fame et des effets de l'intelli- gence. (B. Constant.)3

Религия есть известный способ осуществления человеком своего отношения к сверхчеловеческим и таинственным силам, от которых он считает себя зависимым. (Goblet d'Alviella.) ***Религия есть определение человеческой жизни посредством связи человеческой души с тем таинственным духом, владычество которого над миром и над собою признается человеком и с которым он чувствует себя соединенным.*** (A. Reville).

Так что сущность религии всегда понималась и теперь понимается людьми, не лишенными высшего человеческого свойства, как установление человеком его отношения к бесконечному существу или существам, власть которых он чувствует над собой. И отноще- ние это, как бы оно ни было различно для разных народов и в разные времена, всегда определяло для людей их назначение в мире, из которого естественно вытекало и руководство для их деятельности. Еврей понимал свое отношение к бесконечному так, что он член избранного Богом из всех народов народа и потому должен соблюдать перед Богом заключенное Богом и этим народом условие. Грек понимал свое отношение так, что он, будучи в зависимости от представителей бесконечности — богов, должен делать им приятное. Брамин понимал свое отношение к бесконечному Браме так, что он есть произведение этого Брамы и должен отрешением от жизни стремиться к слиянию с этим высшим существом. Буддист понимал и понимает свое отношение к бесконечному так, что он, переходя из одной формы жизни в другую, неизбежно страдает, страдания же происходят от страстей и желаний, и потому он должен стремиться к уничтожению всех страстей и желаний и перехо-

' Обязательства человека в отношении Бога — вот что значит религия *(фр.).*

^ Религия есть личное дело между человеком и Богом. (Бейль.) *(фр.)*

® Религия есть результат потребности души и проявления разума. (Б. Кон-

ду в нирвану. Всякая религия есть установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого он выводит руководство своей деятельности. И потому, если религия не устанавливает отношения человека к бесконечному, как, например, идолопоклонство или волхвова- ние,– это уже не религия, а только вырождение ее. Если религия хотя и устанавливает отношение человека к Богу, но устанавливает его утверждениями, несогласными с разумом и современными знаниями людей, так что человек не может верить в такие утверждения, то это тоже не религия, а подобие ее. Если религия не связывает жизнь человека с бесконечным существованием, это тоже не религия. И также не религия требования веры в такие положения, из которых не вытекает определенное направление деятельности человека. И также нельзя назвать религией позитивизма Конта, который устанавливает отношение человека только к человечеству, а не к бесконечному и из этого отношения совершенно произвольно выводит свои нравственные, ни на чем не упирающиеся, хотя и очень высокие требования. Так что самый образованный контист стоит в религиозном отношении несравненно ниже самого простого человека, верующего в Бога – какого бы то ни было, но только – бесконечного,– и из этой веры выводящего свои поступки. Рассуждения же контистов о «grand etre» не составляют веры в Бога и не могут заменить ее.

Истинная религия есть такое согласие с разумом и знаниями человека установленное им отноиление к окружаюш^ей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками.

IV

Ученые люди нашего времени, несмотря на то, что везде и всегда люди не жили и не живут без религии, говорят, как тот невольный мольеровский доктор, уверявший, что печень в левом боку: nous avons change tout cela', и можно и должно жить без религии. Но религия как была, так и остается главным двигателем, сердцем жизни человеческих обществ, и без нее, как без сердца, не может быть разумной жизни. Религий было и теперь много различных, потому что выражение отношения человека к бесконечному, к Богу или богам, различно и по времени, и по степени развития различных народов, но никогда ни одно общество людей, с тех пор как лю-

' Мы всё это переменили *(фр.)*.

ди стали разумными существами, не могло жить и потому не жило и не может жить без религии.

Правда, бывали и бывают в жизни народов периоды, когда существующая религия бывала так извращена и так отставала от жизни, что уже не руководила ею. Но это наступающее в известное время для каждой религии прекращение воздействия ее на жизнь людей бывало только временное. Религии, как и всё живое, имеют свойство рождаться, развиваться, стареться, умирать, вновь возрождаться и возрождаться всегда в более совершенной, чем прежде, форме. После периода высшего развития религии всегда наступает период ее ослабления и замирания, за которым следует обыкновенно период возрождения и установления более, чем прежнее, разумного и ясного религиозного учения. Такие периоды развития, замирания и возрождения были во всех религиях: в глубокомысленной брамин- ской религии,– в которой, как только она стала стареться и окаменевать в раз установившихся и отклонившихся от ее основного смысла грубых формах,– появились, с одной стороны, возрождение браманизма, а с другой – высокое учение буддизма, двинувшее вперед понимание человечеством своего отношения к бесконечному. Такой же упадок был в греческой и римской религии, и также вслед за дошедшим до высшей степени упадком появилось христианство. То же было и с церковным христианством, выродившимся в Византии в идолопоклонство и многобожие, когда, в противовес этого извращенного христианства, появились, с одной стороны, пав- ликианство, с другой – в отпор учению о Троице и Богородице – старое магометанство со своим основным догматом единого Бога. То же произошло и с папским средневековым христианством, вызвавшим реформацию. Так что периоды ослабления религий в смысле воздействия их на большинство людей, составляют необходимое условие жизни и развитие всех религиозных учений. Происходит это оттого, что всякое религиозное учение в своем истинном смысле, как бы грубо оно ни было,– всегда устанавливает отношение человека к бесконечному, одинаковое для всех людей. Всякая религия признает человека одинаково ничтожным перед бесконечностью, и потому всегда всякая религия включает понятие равенства всех людей перед тем, что она считает Богом, будет ли то молния, ветер, дерево, животное, герой, умерший или даже живой царь, как это было в Риме. Так что признание равенства людей есть неизбежное, основное свойство всякой религии. Но так как в действительности равенства людей между собою нигде и никогда не существовало и не существует, то как только появилось новое религиозное учение, всегда включающее в себе и признание равенства всех людей, так тотчас те люди, для которых неравенство было выгодно.

старались скрыть это основное свойство религиозного учения, извратив самое религиозное учение. Так это и делалось всегда и везде, где появлялось новое религиозное учение. И делалось это большей частью не сознательно, а только вследствие того, что люди, которым было выгодно неравенство, люди властвующие, богатые для того, чтобы, не изменяя своего положения, чувствовать себя правыми перед принятым учением, всеми средствами старались придать религиозному учению такое значение, при котором неравенство было бы возможно. Извращение же религии, такое, при котором властвующие над другими могли считать себя правыми, естественно передаваемое массам, внушало и этим массам то, что их покорность тем, которые властвуют, есть требование исповедуемой ими религии.

V

Всякая деятельность человеческая вызывается тремя побудительными причинами: чувством, разумом и внушением, тем самым свойством, которое врачи называют гипнозом. Иногда человек действует под влиянием только чувства, стремясь достигнуть того, чего желает; иногда он действует под влиянием одного разума, указывающего ему то, что он должен делать; иногда и чаще всего человек действует потому, что он сам или другие люди внушили ему известную деятельность, и он бессознательно покоряется внушению. При нормальных условиях жизни все три двигателя участвуют в деятельности человека. Чувство влечет человека к известной деятельности, разум проверяет сообразность этой деятельности с окружающей средою, прошедшим и предполагаемым будущим, и внушение заставляет человека исполнять, не чувствуя и не думая, вызванные чувством и одобренные разумом поступки. Если бы не было чувства, человек не предпринял бы никакого дела; если бы не было разума, человек предавался бы сразу многим чувствам, противоречивым и вредным себе и другим; если бы не было способности подчиняться внушению своему и других людей, человек должен бы был не переставая испытывать то чувство, которое побудило его к известной деятельности, и постоянно напрягать свой разум на поверку целесообразности этого чувства. И потому все три двигателя эти необходимы для всякой самой простой деятельности людской. Если человек идет из одного места в другое, то происходит это потому, что чувство побудило его перейти с места на место, разум одобрил это намерение, предписал средство исполнения (в данном случае шаганье по известной дороге), и мускулы тела повинуются, и человек идет по предписанной дороге. В то же время, как он идет,

и чувство, и разум его освобождаются для другой деятельности, чего бы не могло быть, если бы не было способности подчинения внушению. Так это происходит для всех деятельностей людских и так же для самой важной из них: для религиозной деятельности. Чувство вызывает потребность установления отношения человека к Богу; разум определяет это отношение; внушение побуждает человека к деятельности, вытекающей из этого отношения. Но так это происходит только тогда, когда религия не подверглась еще извращению. Но как только начинается это извращение, так всё более и более усиливается внущение и ослабляется деятельность чувства и разума. Средства же внушения всегда и везде одни и те же. Средства эти – в том, чтобы, пользуясь тем состоянием человека, когда он более всего восприимчив к внушению (детский возраст, важные события жизни – смерть, роды, браки), воздействовать на него произведениями искусства: архитектуры, ваяния, живописи, музыки, драматических представлений, и в этом состоянии восприимчивости, подобной той, которая достигается над отдельными людьми полуусыплением, внушать ему то, что желательно внушителям.

Это явление можно наблюдать на всех старых вероучениях: и в возвышенном учении браманизма, выродившемся в грубое поклонение бесчисленным изображениям в различных храмах при пении и курении; и в древнееврейской религии, проповеданной пророками и превратившейся в поклонение Богу в величественном храме при торжественных пениях и шествиях; и в возвышенном буддизме, превратившемся с его монастырями и изображениями будд, с бесчисленными торжественными обрядами в таинственный ламаизм; и в таоизме с его колдовством и заклинаниями.

Всегда во всех религиозных учениях, когда они начинали извращаться, блюстители религиозных учений употребляют все усилия на то, чтобы, приведя людей в состояние ослабления деятельности разума, внушать им то, чтб им нужно. А нужно было внушать во всех религиях одни и те же три положения, служащие основанием всех тех извращений, которым подвергались стареющие религии. Во-первых, то, что есть особенного рода люди, которые одни могут быть посредниками между людьми и Богом или богами; во-вторых, то, что совершались и совершаются чудеса, которые доказывают и подтверждают истинность того, что говорят посредники между людьми и Богом, и, в-третьих, то, что есть известные слова, изустно повторяемые или записанные в книгах, которые выражают неизменную волю Бога и богов и потому святы и непогрешимы. А как только под влиянием гипноза приняты эти положения, так уже и всё то, что говорят посредники между Богом и людьми, принимается как святая истина, и достигается главная цель извращения рели-

ГИИ – не только скрытие закона равенства людей, но и установление и утверждение величайшего неравенства, разделение на касты, деление на людей и гоев, на правоверных и неверных, на святых и грешных. То же самое совершалось и совершается в христианстве: было признано полное неравенство между собою людей, разделенных не только в смысле понимания учения на клир и народ, но и в смысле общественного положения на людей имеющих власть и долженствующих покоряться ей,– которое по учению Павла признается установленным самим Богом.

VI

Неравенство людей, не только клира и мирян, но и богатых и бедных, господ и рабов, установлено христианской церковной религией в такой же определенной и резкой форме, как и в других религиях. А между тем, судя по тем данным, которые мы имеем о начальном состоянии христианства, по учению, выраженному в Евангелиях, казалось, предвидены были главные способы извращения, которые употребляются в других религиях, и ясно высказано предостережение против них. Против сословия жрецов прямо сказано, что никакой человек не может быть учителем другого (не называйтесь отцами и учителями); против приписывания священного значения книгам сказано: что важен дух, а не буква, и что люди не должны верить преданиям человеческим, и что весь закон и пророки, т. е. все книги, считавщиеся Священным Писанием, сводятся только к тому, чтобы поступать с ближними так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Если ничего не сказано против чудес, и в самом Евангелии описаны чудеса, будто бы произведенные Иисусом, то все-таки по всему духу учения видно, что истинность учения Иисус основывал не на чудесах, а на самом учении. («Кто хочет знать, истинно ли мое учение, пусть делает, что я говорю»). Главное же, христианством провозглашено равенство людей, уже не как вывод из отношения людей к бесконечному, а как основное учение братства всех людей, так как все люди признаны сынами Бога. И потому, казалось бы, нельзя извратить христианство так, чтобы уничтожить сознание равенства людей между собою.

Но ум человеческий изворотлив, и придумано было, может быть и бессознательно или полусознательно, еще совершенно новое средство (true, как говорят французы) для того, чтобы сделать предостережения евангельские и явное провозглашение равенства всех людей недействительными. True этот состоит в том, что приписывается непогрешимость не только известной букве, но и изве

стному собранию людей, называемому церковью и имеющему право передавать эту непогрешимость избираемым ими людям.

Придумано было маленькое прибавление к Евангелиям, именно то, что Христос, уходя на небо, передал известным людям исключительное право не только учить людей божеской истине (он передал при этом по букве стиха Евангелия и право, которым обыкновенно не пользуются, быть неуязвимым для змей, всяких ядов, огня), но и делать людей спасенными или не спасенными и, главное, передавать это другим людям. А как только было твердо установлено понятие церкви, так уже недействительны стали все положения евангельские, препятствовавшие извращению, так как церковь была старше и разума, и Писания, признаваемого священным. Разум признан был источником заблуждений, а Евангелие толковалось не так, как того требовал здравый смысл, а как того хотели те, кто составляли церковь.

И потому все прежние три способа извращения религий; жречество, чудеса и непогрешимость Писания были и в христианстве признаны во всей силе. Была признана законность существования посредников между Богом и людьми, потому что необходимость и законность посредников признала церковь; была признана действительность чудес, потому что о них свидетельствовала непогрешимая церковь; была признана священной Библия, потому что это признавала церковь.

И христианство было извращено так же, как и все другие религии, с той только разницей, что именно потому, что христианство с особенной ясностью провозгласило свое основное положение равенства всех людей, как сынов Бога, нужно было особенно сильно извратить всё учение, чтобы скрыть его основное положение. И это самое с помощью понятия церкви и было сделано и в такой мере, в какой это не происходило ни в одном религиозном учении. И действительно, никогда ни одна религия не проповедовала таких явно несогласных с разумом и с современными знаниями людей и таких безнравственных положений, как те, которые проповедует церковное христианство. Не говоря уже о всех нелепостях Ветхого Завета вроде сотворения света прежде солнца, сотворения мира 6000 лет тому назад, помещения всех животных в ковчег и о разных безнравственных гадостях вроде предписания убиения детей и целых населений по приказанию Бога, не говоря и о том нелепом таинстве, про которое Вольтер еще говорил, что были и есть всякие нелепые религиозные учения, но никогда еще не было такого, в котором главный религиозный акт состоял бы в том, чтобы есть своего Бога,– чтб может быть бессмысленнее того, что Богородица – и мать, и дева, что небо открылось и оттуда послышался голос, что

Христос улетел на небо и сидит там где-то одесную Отца, или что Бог один и три, и не три Бога, как Брама, Вишну и Шива, а один и вместе с тем три. И что может быть безнравственнее того ужасного учения, по которому Бог, злой и мстительный, наказывает всех людей за грех Адама и для спасения их посылает своего сына за землю, зная вперед, что люди убьют его и будут за это прокляты; и того, что спасение людей от греха состоит в том, чтобы быть окрещенным или верить, что всё это так именно и было, и что сын Бога убит людьми для спасения людей, и что те, кто не верит в это, тех Бог казнит вечными мучениями. Так что, даже не говоря о том, чтб считается некоторыми прибавлением к главным догматам этой религии, как все верования в разные мощи, иконы различных Богородиц, просительные молитвы, обращенные к разным, смотря по их специальностям, святым, не говоря и об учении о предопределении протестантов,– самые признанные всеми основы этой религии, установленные никейским символом, так нелепы и безнравственны и доведены до такого противоречия здравому человеческому чувству и разуму, что люди не могут верить в них. Люди могут устами повторять известные слова, но не могут верить в то, что не имеет смысла. Можно устами сказать: я верю в то, что мир сотворен 6000 лет тому назад, или сказать: я верю, что Христос улетел на небо и сел одесную Отца; или то, что Бог один и вместе с тем три; но верить во всё это никто не может, потому что слова эти не представляют никакого смысла. И потому люди нашего мира, исповедующие извращенное христианство, в действительности ни во что не верят. И в этом состоит особенность нашего времени.

VII

Люди нашего времени ни во что не верят, а вместе с тем по тому ложному определению веры, которое взято ими из Послания к евреям, неправильно приписываемого Павлу, воображают, что они имеют веру. Вера по этому определению есть осуществление (ияоатася^^) ожидаемого и уверенность *(ёХеухоО* в невидимом. Но, не говоря уже о том, что вера не может быть осуществлением ожидаемого, так как вера есть душевное состояние, а осуществление ожидаемого есть внешнее событие, вера не есть также и уверенность в невидимом, так как уверенность эта, как и сказано в дальнейшем разъяснении, основывается на доверии к свидетельству истины; доверие же и вера суть два понятия различные. Вера не есть надежда и не есть доверие, а есть особое душевное состояние. Вера есть сознание человеком такого своего положения в мире, которое обязывает его к известным поступкам. Человек поступает согласно своей вере не потому, что, как

сказано в катехизисе, верит в невидимое, как в видимое, и не потому, что надеется получить ожидаемое, а только потому, что, определив свое положение в мире, он естественно поступает соответственно этому положению. Так что земледелец обрабатывает землю и мореплаватель пускается в море не потому, как это сказано в катехизисах, что и тот, и другой верят в невидимое или надеются получить за свою деятельность награду (надежда эта существует, но не она руководит ими), а потому, что они эту деятельность считают своим призванием. Также и религиозно верующий человек поступает известным образом не потому, что он верит в невидимое или ожидает за свою деятельность награду, а потому, что, поняв свое положение в мире, он естественно поступает согласно с этим положением. Если человек определил свое положение в обществе тем, что он чернорабочий, или мастеровой, или чиновник, или купец, то он и считает нужным работать и работает как чернорабочий, как мастеровой, как чиновник или купец. Точно так же и человек вообще, так или иначе определив свое положение в мире, неизбежно и естественно поступает соответственно этому определению (иногда даже не определению, а смутному сознанию). Так, например, человек, определив свое положение в мире тем, что он член избранного Богом народа, который, чтобы пользоваться покровительством Бога, должен исполнять требования этого Бога, будет жить так, чтобы исполнить эти требования; другой же человек, определив свое положение тем, что он проходил и проходит различные формы существования и что от его поступков зависит более или менее его лучшее или худшее будущее, будет в жизни руководиться этим своим определением; и поведение третьего человека, определившего свое положение тем, что он есть случайное соединение атомов, на котором загорелось на время сознание, долженствующее навсегда уничтожиться, будет различно от двух первых.

Поведение этих людей будет совершенно различно, потому что они различно определили свое положение, то есть различно веруют. Вера есть то же, что религия, с той только разницей, что под словом религия мы разумеем наблюдаемое во вне явление, верою же мы называем это же явление, испытываемое человеком в самом себе. Вера есть сознанное человеком отношение к бесконечному миру, из которого вытекает направление его деятельности. И потому истинная вера никогда не бывает неразумна, несогласна с существующими знаниями, и свойством ее не может быть сверхъестественность и бессмысленность, как это думают и как выразил это отец церкви, сказав: credo quia absurdum*. Напротив того, утверж-

Верю, потому что нелепо *(лат.)*.

дения настоящей веры, хотя и не могут быть доказаны, никогда не только не содержат в себе ничего противного разуму и несогласного с знаниями людей, а всегда разъясняют то, что в жизни без положений веры представляется неразумным и противоречивым.

Так, например, древний еврей, веровавший в то, что есть высшее вечное, всемогущее существо, которое сотворило мир, землю, животных и человека и т. п. и обещалось покровительствовать его народу, если народ будет исполнять его закон, не верит во что-либо неразумное, несогласное с его знаниями, а напротив, это верование разъясняло ему многие без того неразъяснимые явления жизни.

Точно так же и индус, верующий в то, что души наши были в животных и что, по нашей хорошей или дурной жизни, они перейдут в высшие животные, разъясняет себе этой верой много без нее непонятных явлений. То же и с человеком, считающим жизнь злом и целью жизни успокоение, достигаемое уничтожением желаний. Он верит не в нечто неразумное, а, напротив, в то, что делает его мировоззрение более разумным, чем оно было без этой веры. То же и с истинным христианином, верующим в то, что Бог – духовный отец всех людей и что высшее благо человека достигается тогда, когда он сознает свою сыновность Богу и братство всех людей между собою. Все эти верования, если и не могут быть доказаны, не неразумны сами по себе, а, напротив, придают более разумный смысл явлениям жизни, кажущимся неразумными и противоречивыми без их верований. Кроме того, все эти верования, определяя положение человека в мире, неизбежно требуют известных соответственных этому положению поступков. И потому, если религиозное учение утверждает положения бессмысленные, ничего не разъясняющие, а только еще больше запутывающие понимание жизни, то это не есть вера, а такое извращение ее, которое потеряло уже главные свойства истинной веры.

И вот этой-то веры не только нет у людей нашего времени, но они даже не знают, что это такое, и под верою подразумевают или повторение устами того, что им выдают за сущность веры, или исполнение обрядов, содействующее получению ими желаемого, как их учит этому церковное христианство.

VIII

Люди нашего мира живут без всякой веры. Одна часть людей, образованное, богатое меньшинство, освободившееся от церковного внушения, ни во что не верит, потому что считает всякую веру или глупостью, или только полезным орудием для властвования над

массами. Огромное же бедное, необразованное большинство, за малыми исключениями людей действительно верующих, находясь под действием гипноза, думает, что верит в то, что ему внушается под видом веры, но что не есть вера, потому что оно не только не объясняет человеку его положение в мире, но только затемняет его. Из этого положения и взаимного отношения неверующего, притворяющегося меньшинства и загипнотизированного большинства и слагается жизнь нашего мира, называемого христианским. И жизнь эта, как меньшинства, держащего в своих руках средства гипнотизации, так и загипнотизированного большинства, ужасна и по жестокости и безнравственности властвующих, и по задавленности и одуренно- сти больших рабочих масс. Никогда ни в какие времена религиозного упадка не доходило пренебрежение и забвение главного свойства всякой религии и в особенности христианской – равенства людей, до той степени, до которой оно дошло в наше время. Главную причину ужасной в наше время жестокости человека к человеку, кроме отсутствия религии, составляет еще и та утонченная сложность жизни, которая скрывает от людей последствия их поступков. Как ни могли быть жестоки Атиллы, и Чингис-ханы, и их люди, но когда они сами лицом к лицу убивали людей, процесс убивания должен был быть неприятен им, и еще более неприятны последствия убивания; вопли родных, присутствие трупов. Так что последствия жестокости умеряли ее. В наше же время мы убиваем людей через такую сложную передачу, и последствия нашей жестокости так старательно убираются и скрыты от нас, что нет никаких сдерживающих жестокость воздействий, и жестокость одних людей к другим всё увеличивается и увеличивается и дошла в наше время до пределов, до которых она еще никогда не доходила.

Я думаю, что если в наше время не то, что признанный злодеем Нерон, а самый обыкновенный предприниматель захотел бы сделать пруд из человеческой крови для того, чтобы, по предписанию ученых врачей, купаться в нем больным богатым людям,– он беспрепятственно мог бы устроить это дело, только бы он сделал это в приличных принятых формах, т. е. не заставлял бы насильно людей выпускать свою кровь, а поставил бы их в такое положение, что им нельзя бы было жить без этого, и, кроме того, пригласил бы духовенство и ученых, из которых первое освятило бы новый пруд, как оно освящает пушки, ружья, тюрьмы, виселицы, а вторые приискали бы доказательство необходимости и законности такого учреждения, так же как они приискали доказательство необходимости войн и домом терпимости. Основной принцип всякой религии – равенство людей между собою – до такой степени забыт, оставлен и загроможден всякими нелепыми догматами исповедуемой религии,

а в науке это самое неравенство до такой степени – в виде борьбы за существование и выживание более способного (the fittest) – признано необходимым условием жизни,– что уничтожение миллионов жизней человеческих для удобства меньшинства властвующих считается самым обычным и необходимым явлением жизни и постоянно производится.

Люди нащего времени не могут нарадоваться на те блестящие, небывалые, колоссальные успехи, которые сделаны техникой в XIX веке.

Нет сомнения в том, что никогда не было в истории подобного матерьяльного успеха, т. е. овладевания силами природы, как тот, который достигнут в XIX веке. Но нет сомнения и в том, что никогда в истории не было примера такой безнравственной жизни, свободной от каких-либо сдерживающих животные стремления человека сил, как та, которою живет, всё больше и больше оскотиниваясь, наше христианское человечество. Успех матерьяльный, до которого достигли люди XIX века, действительно велик; но успех этот куплен и покупается таким пренебрежением к самым элементарным требованиям нравственности, до которого еще никогда не доходило человечество даже во времена Чингис-хана, Атиллы или Нерона.

Нет спора в том, что очень хороши броненосцы, железные дороги, книгопечатание, туннели, фонографы, рентгеновские лучи и т. п. Всё это очень хорошо, но хороши также, несравненно ни с чем хороши, как говорил Рескин, жизни человеческие, которые теперь безжалостно миллионами губятся для приобретения броненосцев, дорог, туннелей, не только не украшающих, но уродующих жизнь. На это говорят обыкновенно, что уже придумываются и со временем будут придуманы такие приспособления, при которых жизни человеческие не будут так губиться, как они губятся теперь,– но это неправда. Если только люди и считают всех людей братьями и жизни человеческие не считаются самым священным предметом, который не только не может быть нарушен, но поддержать который считается самой первой, неотложной обязанностью,– т. е. если люди не относятся религиозно друг к другу, они всегда будут для своих личных выгод губить жизни друг друга. Никакой дурак не согласится тратить тысячи, если он может достигнуть той же цели, истратив сотню с придачей нескольких жизней человеческих, находящихся в его власти. В Чикаго давят железными дорогами ежегодно приблизительно одно и то же число людей. И владетели дорог, совершенно основательно, не делают таких приспособлений, при которых не давили бы людей, рассчитав, что ежегодно плата пострадавшим и их семьям меньше, чем процент с суммы, необходимой для таких приспособлений.

Очень может быть, что людей, губящих жизни человеческие для своих выгод, устыдят общественным мнением или заставят сделать приспособления. Но если только люди нерелигиозны и делают свои дела перед людьми, а не перед Богом, то, сделав приспособления, охраняющие жизни людей в одном месте, они в другом деле опять будут, как самым выгодным в деле наживы материалом, пользоваться людскими жизнями.

Легко завоевать природу и наделать железных дорог, пароходов, музеев и т. п., если не жалеть жизней человеческих. Египетские цари гордились своими пирамидами, и мы восхищаемся ими, забывая про миллионы жизней рабов, загубленных при этих постройках. Также мы восхищаемся нашими дворцами на выставках, броненосцами, океанскими телеграфами, забывая про то, чем мы платим за всё это. Гордиться всем этим мы могли только тогда, когда бы всё это делалось свободно свободными людьми, а не рабами.

Христианские народы завоевали и покорили американских индейцев, индусов, африканцев, теперь завоевывают и покоряют китайцев и гордятся этим. Но ведь эти завоевания и покорения происходят не оттого, что христианские народы духовно выше покоряемых народов, а, напротив, оттого, что они духовно несравненно ниже их. Не говоря об индусах и китайцах, и у зулусов были и есть какие бы то ни было религиозные, обязательные правила, предписывающие известные поступки и запрещающие другие; у наших же христианских народов нет никаких. Рим завоевал весь мир тогда, когда он стал свободен от всякой религии. Это же самое, только в сильнейшей степени, происходит теперь и с христианскими народами. Все они находятся в одних и тех же условиях отсутствия религии и потому, несмотря на внутренний раздор, все соединены в одну федеративную разбойничью шайку, в которой воровство, грабеж, разврат, убийство отдельных лиц и массами – совершается не только без малейшего угрызения совести, но с величайшим самодовольством, как это на днях происходило в Китае. Одни ни во что не веруют и гордятся этим, другие притворяются, что веруют в то, что они для своей выгоды, под видом веры, внушают народу, и третьи – огромное большинство, весь народ – принимают за веру то внушение, под которым они находятся, и рабски подчиняются всему, чего требует от них их властвующие и ни во что не верующие внущители.

А требуют эти внушители того же, чего требуют все Нероны, старающиеся чем-нибудь заполнить пустоту своей жизни,– удовлетворения своей безумной, во все стороны расходящейся роскоши. Роскошь же добывается ничем иным, как порабощением людей; а как только есть порабощение, так увеличивается роскошь; а уве

личение роскоши неизменно влечет за собою усиление порабощения, потому что только голодные, холодные, связанные нуждою люди могут делать всю жизнь то, что им не нужно, а нужно только для забавы их властителей.

IX

В главе VI книги Бытия есть глубокомысленное место, в котором писатель Библии говорит, что Бог перед потопом,– увидав, что тот дух свой, который Он дал людям для служения Ему, люди весь употребили на служение своей плоти,– так прогневался на людей, что раскаялся в том, что сотворил их, и прежде, чем уничтожить людей совсем, решил сократить жизнь людей до 120 лет. Вот это самое, за что, по словам Библии, Бог прогневался и сократил их жизнь, случилось теперь с людьми нашего христианского мира.

Разум есть та сила людей, которая определяет их отношение к миру; а так как отношение всех людей к миру одно и то же, то установление этого отношения, т. е. религия, соединяет людей. Единение же людей дает им высшее благо и телесное, и духовное, которое им доступно.

Совершенное единение – в совершенном высшем разуме, и потому совершенное благо есть идеал, к которому стремится человечество; но всякая религия, отвечающая людям известного общества одинаково на их вопросы о том, что такое мир и что такое они, люди, в этом мире – соединяет людей между собою и потому приближает их к осуществлению блага. Когда же разум, отвлекаясь от свойственной ему деятельности – установления своего отношения к Богу и сообразной этому отношению деятельности,– направляется не только на служение своей плоти и не только на злую борьбу с людьми и другими существами, а и на то, чтобы оправдать эту свою дурную жизнь, противную свойствам и назначению человека, то и происходят те страшные бедствия, от которых теперь страдает большинство людей, и такое состояние, при котором возвращение к разумной и доброй жизни представляется почти невозможным. Язычники, соединенные между собою самым грубым религиозным учением, гораздо ближе к сознанию истины, чем мнимохристианские народы нашего времени, которые живут без всякой религии и среди которых самые передовые люди уверены и внушают другим, что религии не нужно, что гораздо лучше жить без всякой религии.

Среди язычников могут найтись люди, которые, сознав несоответствие их веры с их увеличившимися знаниями и запросами их разума, выработают или усвоят более сообразное с душевным со

стоянием народа религиозное учение, к которому присоединятся их соотечественники и единоверцы. Но люди нашего мира, из которых одни смотрят на религию как на орудие властвования над людьми, другие считают религию глупостью и третьи – всё огромное большинство народа – находясь под внушением грубого обмана, думает, что оно обладает истинной религией,– делаются непроницаемы для всякого движения вперед и приближения к истине.

Гордые своими усовершенствованиями, нужными для телесной жизни, и своими утонченными, праздными умствованиями, имеющими целью доказать не только свою правоту, но и превосходство над всеми народами во все века истории,– они коснеют в своем невежестве и безнравственности, в полной уверенности, что они стоят на такой высоте, до которой никогда прежде не достигало человечество, и что каждый их шаг вперед по пути невежества и безнравственности поднимает их на еще большую высоту просвещения и прогресса.

X

Человеку свойственно устанавливать согласие между своей телесной – физической и разумной – духовной деятельностью. Человек не может быть спокоен, пока так или иначе не установит этого согласия. Но согласие это устанавливается двумя способами. Один – когда человек разумом рещает необходимость или желательность известного поступка или поступков и потом уже поступает согласно с решением разума, и другой способ – когда человек совершает поступки под влиянием чувства и потом уже придумывает им умственное объяснение или оправдание.

Первый способ согласования поступков с разумом свойствен людям, исповедующим какую-либо религию и на основании ее положений знающим, какие им следует и какие не следует соверщать поступки. Второй же способ свойствен преимущественно людям нерелигиозным, не имеющим общей основы для определения достоинства своих поступков и потому всегда устанавливающим согласие между своим разумом и своими поступками не подчинением своих поступков разуму, а тем, что, соверщив поступок на основании влечения чувства, они уже потом употребляют разум на оправдание своих поступков.

Религиозный человек, зная, чтб в его деятельности и деятельности других людей хорошо или дурно и почему одно хорошо, а другое дурно, если и видит противоречие между требованиями своего разума и поступками своими и других людей, то все усилия своего разума употребляет на то, чтобы найти средство уничтожения этих

противоречий, т. е. научиться наилучшим способом согласовать свои поступки с требованиями своего разума. Нерелигиозный же человек, не имея руководства для определения достоинства поступков, независимо от их приятности, отдаваясь влечению своих чувств, самых разнообразных и часто противоречивых, невольно впадает в противоречия; впадая же в противоречия, старается разрешить или скрыть их более или менее сложными и умными, но всегда лживыми рассуждениями. И потому, тогда как рассуждения людей религиозных всегда просты, немногосложны и правдивы, умственная деятельность нерелигиозных людей делается особенно утонченной, многосложной и лживой.

Возьму самый обычный пример. Человек предан разврату, т. е. нецеломудрен, изменяет жене или, не женясь, предается разврату. Если он религиозный человек, он знает, что это дурно, и вся деятельность его разума направлена на то, чтобы найти средства освободиться от своего порока; не иметь общения с блудниками и блудницами, увеличить труд, устроить себе суровую жизнь, не позволять себе смотреть на женщин как на предмет похоти и т. п. И всё это очень просто и всем понятно. Но если развратный человек нерелигиозен, то он тотчас же придумывает всякие объяснения, почему любить женщин очень хорошо. И тут начинаются всякого рода самые сложные и хитрые, утонченные соображения о слиянии душ, о красоте, о свободе любви и т. п., которые чем больше распространяются, тем больше и затемняют дело и скрывают то, что нужно.

То же самое для нерелигиозных людей происходит во всех областях деятельности и мысли. Для скрытия внутренних противоречий накопляются сложные, утонченные рассуждения, которые, наполняя ум всякой ненужной дребеденью, отвлекают внимание людей от важного и существенного и дают им возможность коснеть в той лжи, в которой живут, не замечая ее, люди нашего мира.

«Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы», сказано в Евангелии. «Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы».

И потому люди нашего мира, вследствие отсутствия религии, устроив себе самую жестокую, животную, безнравственную жизнь, довели и сложную, утонченную, праздную деятельность ума, скрывающую зло этой жизни, до той степени ненужного усложнения и запутанности, что большинство людей совершенно потеряло способность видеть различие между добром и злом, ложью и истиной.

Для людей нашего мира нет ни одного вопроса, к которому бы они могли подойти прямо и просто: все вопросы – экономические, государственные внешние и внутренние, политические, дипломати

ческие, научные, не говоря уже о вопросах философских и религиозных, поставлены так искусственно неправильно и потому опутаны такой густой пеленой сложных, ненужных рассуждений, утонченных извращений понятий и слов, софизмов, споров, что все рассуждения о таких вопросах кружатся на одном месте, ничего не захватывая, и, как колесо без приводного ремня передачи, ни к чему не приводят, кроме как к той единой цели, в виду которой они и возникают, к тому, чтобы скрыть самим от себя и от людей то зло, в котором они живут и которое они делают.

XI

Во всех областях так называемой науки нашего времени – одна и та же черта, делающая праздными все усилия ума людей, направленные на исследования различных областей знания. Черта эта состоит в том, что все исследования науки нашего времени обходят существенный вопрос, на который требуется ответ, и исследуют побочные обстоятельства, исследование которых ни к чему не приводит и тем больше запутываются, чем дальше они продолжаются. Оно и не может быть иначе при науке, избирающей предметы исследования случайно, а не по требованиям религиозного мировоззрения, определяющего, что и зачем нужно изучать, что прежде и что после. Так, например, в модном теперь вопросе социологии или политической экономии, казалось бы, есть только один вопрос; зачем и почему одни люди ничего не делают, а другие на них работают? (Если есть другой вопрос, состоящий в том, зачем люди работают порознь, мешая друг другу, а не вместе, сообща, что было бы выгоднее, то этот вопрос включен в первый. Не будет неравенства, не будет и борьбы.) Казалось бы, есть только один этот вопрос, но наука и не думает ставить его и отвечать на него, а заводит свои рассуждения издалека и ведет их так, что ни в каком случае ее выводы не могут разрешить, ни содействовать разрешению основного вопроса. Начинаются рассуждения о том, что было и что есть, и это бывшее и существующее рассматривается, как нечто столь же неизменное, как течение светил небесных, и выдумываются отвлеченные понятия ценности, капитала, прибыли, процента, и является сложная, уже сто лет продолжающаяся игра ума людей, спорящих между собой. В сущности же вопрос разрешается очень легко и просто.

Разрешение его в том, что, так как все люди братья и равны между собой, то каждый должен поступать с другими, как он хочет, чтобы поступали с ним, и что поэтому всё дело в разрушении ложного религиозного закона и восстановлении истинного. Но передо

вые люди христианского мира не только не принимают этого решения, а, напротив, стараются скрыть от людей возможность такого разрешения и для этого предаются тем праздным умствованиям, которые они называют наукой.

То же происходит в области юридической. Казалось бы, один существенный вопрос – в том, почему есть люди, которые позволяют себе производить насилия над другими людьми, обирать их, запирать, казнить, посылать на войну и многое другое. Разрешение вопроса очень просто, если рассматривать его с единственной приличествующей вопросу точки зрения – религиозной. С религиозной точки зрения человек не может и не должен совершать насилия над своим ближним, и потому для разрешения вопроса нужно одно; разрушить все суеверия и софизмы, разрешающие насилия, и ясно внушить людям религиозные начала, исключающие возможность насилия.

Но передовые люди не только не делают этого, но все хитрости своего ума употребляют на то, чтобы скрыть от людей возможность и необходимость этого разрещения. Они пищут горы книг о разных правах – гражданском, уголовном, полицейском, церковном, финансовом и др. и излагают и спорят на эти темы, совершенно уверенные, что они делают не только полезное, но очень важное дело. На вопрос же о том, почему люди, будучи по существу равными, могут одни судить, принуждать, обирать, казнить других, не только не отвечают, но не признают его существования. По их учению выходит, что насилия эти совершают не люди, а что-то такое отвлеченное, называемое государством.

Точно так же обходятся и замалчиваются учеными людьми нашего времени существенные вопросы и скрываются внутренние противоречия во всех областях знания. В знаниях исторических существенный вопрос один: как жил рабочий народ, т. е. юш всего человечества? И на вопрос этот нет и подобия ответа, вопрос этот и не существует, и пишутся горы книг историками одного направления о том, как болел живот у Лудовика XI, какие гадости делала Елизавета английская и Иоан IV, и кто были министры, и какие писали стихи и комедии литераторы для забавы этих королей и их любовниц, и министров. Историки же другого направления пишут о том, какая была местность, в которой жили народы, чем они питались и чем торговали, и какое носили платье, вообще всё то, что не могло иметь влияния на жизнь народа, но было последствием его религии, которая признается историками этой категории последствием пищи и одежды, употреблявшихся народом.

А между тем, ответ на вопрос о том, как жил прежде рабочий народ, может дать только признание религии необходимым услови

ем жизни народа, и потому ответ – в изучении тех религии, которые исповедывали народы и которые поставили народ в то положение, в котором они находились.

В знаниях естественно-исторических, казалось бы, не было особенной надобности затемнять здравый смысл людей; но и тут, по тому складу мысли, который усвоила наука нашего времени, вместо самых естественных ответов на вопрос о том, что такое и как подразделяется мир живых существ, растений и животных,– разводится праздная, неясная и совершенно бесполезная болтовня, направленная преимущественно против библейской истории сотворения мира, о том, как произошли организмы, что собственно никому не нужно, да и невозможно знать, потому что происхождение это, как бы мы ни объясняли его, всегда скроется для нас в бесконечном времени и пространстве. И на эти темы придуманы теории и возражения, и добавления на теории, которые составляют миллионы книг, и неожиданный вывод из которых один тот, что закон жизни, которому должен подчиниться человек, есть борьба за существование.

Мало того, науки прикладные, как технология, медицина, вследствие отсутствия религиозного руководящего начала, невольно уклоняются от разумного назначения и получают ложные направления. Так, вся технология направлена не на то, чтобы облегчить труд народа, а на усовершенствования, нужные только богатым классам, еще более разделяющие богатых от бедных, господ от рабов. Если же выгоды от этих изобретений и усовершенствований, крупицы от них попадают и к народным массам, то никак не потому, что они предназначены народу, а только потому, что они по свойству своему не могут быть удержаны от народа.

То же и с врачебной наукой, дошедшей в своем ложном направлении до того, что она доступна только богатым классам; массы же народа по своему образу жизни и бедности и по пренебрежению к главным вопросам улучшения жизни бедноты, могут ею пользоваться в таких размерах и при таких условиях, что эта помощь только яснее показывает отклонение врачебной науки от своего назначения.

Поразительнее же всего это уклонение от основных вопросов и извращение их в том, что в наше время называется философией. Казалось бы, есть один вопрос, подлежащий решению философии: что мне делать? И на этот вопрос, если и бывали в философии христианских народов, хотя и соединенные с величайшей ненужной путаницей, ответы, как они были у Спинозы, Канта в его критике практического разума, у Шопенгауера, в особенности у Руссо, ответы эти все-таки были. Но в последнее время, со времени Гегеля,

признававшего всё существующее разумным, вопрос: что делать? отходит на задний план, философия всё внимание направляет на исследование того, что есть, и подведение этого под вперед составленную теорию. Это первая спускающаяся ступень. Вторая ступень, спускающая мысль человеческую еще ниже, это признание основным законом борьбу за существование только потому, что эту борьбу можно наблюдать у животных и растений. По этой теории считается, что погибель слабейших есть закон, которому не надо препятствовать. Наконец, наступает третья ступень, при которой мальчишеское оригинальничанье полубезумного Ничше, не представляющее даже ничего цельного и связного, какие-то наброски безнравственных, ничем не обоснованных мыслей, признается передовыми людьми последним словом философской науки. В ответ на вопрос: что делать? уже прямо говорится: жить в свое удовольствие, не обращая внимания на жизнь других людей.

Если бы кто сомневался в том страшном одурении и озверении, до которого дошло в наше время христианское человечество, то, не говоря уже о последних бурских и китайских преступлениях, защищаемых духовенством и признаваемых подвигами всеми сильными мира, один необыкновенный успех писаний Ничше может служить этому неопровержимым доказательством. Являются бессвязные, самым пошлым образом бьющие на эффект писания одержимого манией величия, бойкого, но ограниченного и ненормального немца. Писания эти ни по таланту, ни по основательности не имеют никакого права на внимание публики. Такие писания не только во времена Канта, Лейбница, Юма, но и 50 лет тому назад не только не обратили бы на себя внимания, но не могли бы и появиться. В наше же время всё так называемое образованное человечество восхищается бредом г-на Ничше, оспаривает и разъясняет его, и сочинения его печатаются на всех языках в бесчисленном количестве экземпляров.

Тургенев остроумно говорил, что есть обратные общие места, которые часто употребляются бездарными людьми, желающими обратить на себя внимание. Все знают, например, что вода мокрая, и вдруг человек с серьезным видом говорит, что вода сухая,– не лед,– а вода сухая, и с уверенностью высказанное такое утверждение обращает на себя внимание.

Точно так же весь мир знает, что добродетель состоит в подавлении страстей, в самоотречении. Это знает не одно христианство, с которым мнимо воюет Ничше, но это вечный высший закон, до которого доросло всё человечество в браманизме, буддизме, конфуцианстве, в древней персидской религии. И вдруг является человек, который объявляет, что он убедился, что самоотречение, кротость.

смирение, любовь,– всё это пороки, губящие человечество (он имеет в виду христианство, забывая все другие религии). Понятно, что такое утверждение в первое время озадачивает. Но, подумав немного и не найдя в сочинении никаких доказательств этого странного положения, всякий разумный человек должен откинуть такую книгу и подивиться на то, что нет в наше время такой глупости, которая не нашла бы издателя. Но с книгами Ничше это не так. Большинство людей, мнимо просвещенных, серьезно разбирают теорию о сверхчеловеке, признавая автора ее великим философом, наследником Декарта, Лейбница, Канта.

А всё происходит оттого, что для большинства мнимо просвещенных людей нашего времени противно напоминание о добродетели, о главной основе ее – самоотречении, любви, стесняющих и осуждающих их животную жизнь, и радостно встретить хоть кое- как, хоть бестолково, несвязно выраженное то учение эгоизма, жестокости, утверждения своего счастия и величия на жизни других людей, которым они живут.

XII

Христос упрекал фарисеев и книжников за то, что они взяли ключи Царства Небесного и сами не входят и других не впускают.

То же самое делают теперь ученые книжники нашего времени: эти люди взяли в наше время ключи,– не Царства Небесного, а просвещения и сами не входят, и других не впускают. Жрецы, духовенство, посредством всякого рода обманов и гипноза, внушили людям, что христианство не есть учение, проповедующее равенство всех людей и потому разрушающее весь теперешний языческий строй жизни, а что оно, напротив, поддерживает его, предписывает различать людей, как звезды друг от друга, предписывает признавать то, что всякая власть от Бога, и беспрекословно повиноваться ей, внушает вообще людям угнетенным, что такое положение их – от Бога и что они должны нести его с кротостью и смирением и покоряться тем угнетателям, которые могут быть не только не кротки и смиренны, но должны, исправляя других, учить, наказывать – как императоры, короли, папы, епископы и всякого рода мирские и духовные власти – и жить в блеске и роскоши, доставлять которую обязаны им их подчиненные. Правящие же классы, благодаря этому ложному учению, которое они усиленно поддерживают, властвуют над народом, заставляя его служить своей праздности, роскоши и порокам. Между тем как единственные люди, ученые, освободившиеся от гипноза и которые одни могли бы избавить народ от его угнетения и которые говорят, что они желают этого, вместо то

го, чтобы делать то, что могло бы достигнуть этой цели, делают совершенно обратное, воображая, что они этим служат народу.

Казалось бы, люди эти из самого поверхностного наблюдения над тем, чем прежде всего озабочены те, которые держат народ в своей власти, могли бы понять, чем движутся и чем удерживаются народы в известном положении, и должны бы были на этот двигатель обратить все свои силы, но они не только не делают этого, но считают это совершенно бесполезным.

Люди эти как будто не хотят видеть этого и старательно, часто искренно делая для народа самые разнообразные дела, не делают ■ того одного, которое прежде всего нужно народу. А стоит им только посмотреть на то, с какой ревностью отстаивают все властители этот двигатель, которым они властвуют над народами, чтобы понять, на что надо направить свои усилия для того, чтобы освободить народ от его порабощения.

Что защищает турецкий султан и за что больше всего держится? И почему русский император, приезжая в город, первым делом идет прикладываться к мощам или иконам? И почему, несмотря на весь напускаемый на себя лоск культурный, немецкий император во всех речах своих, кстати или не кстати, говорит о Боге, о Христе, о святости религии, присяги и т. п.? А потому, что все они знают, что власть их держится на войске, а войско, возможность существования войска,– только на религии. И если богатые люди бывают особенно набожными и притворяются верующими, ходят в церковь и соблюдают день субботний, то всё это они делают преимущественно потому, что инстинкт самосохранения подсказывает им, что с религией, которую они исповедуют, связано их исключительное, выгодное положение в обществе.

Все эти люди часто не знают, каким образом власть их держится религиозным обманом, но они по чувству самосохранения знают, где их слабое место, то, на чем держится их положение, и защищают прежде всего это место. Люди эти всегда допустят и допускали в известных пределах социалистическую, даже революционную пропаганду; религиозные же основы они никогда не дадут затронуть.

И потому, если передовые люди нашего времени – ученые, либералы, социалисты, революционеры, анархисты – не могут из истории и из психологии понять то, чем движутся народы, то они этим наглядным опытом могли бы убедиться, что двигатель их не в матерьяльных условиях, а только в религии.

Но, удивительное дело, ученые, передовые люди нашего времени, очень тонко разбирающие и понимающие условия жизни народов, не видят того, что режет глаза своей очевидностью. Если люди, поступающие так, умышленно оставляют народ в его религиозном

невежестве для того, чтобы удерживать свое выгодное положение среди меньшинства, то это ужасный, отвратительный обман. Поступающие так люди суть те самые лицемеры, которых больше всех людей, даже которых одних из всех людей осуждал Христос, осуждал потому, что никакие изверги и злодеи не вносили и не вносят столько, сколько эти люди, зла в жизнь человечества.

Если же люди эти искренни, то единственное объяснение этого страшного затмения только то, что как массы находятся под внушением ложной религии, так и эти мнимопросвещенные люди нашего времени находятся под внушением ложной науки, решившей, что главный нерв, которым всегда жило и живет человечество, уже не нужен ему и может быть заменен чем-то другим.

XIII

В этом заблуждении или коварстве книжников – образованных людей нашего мира – особенность нашего времени, и в этом причина того бедственного состояния, в котором живет христианское общество, и того озверения, в которое оно более и более погружается.

Обыкновенно передовые, образованные люди нашего мира утверждают, что те ложные религиозные верования, которые исповедуются массами, не представляют особенной важности и что не стоит того и нет надобности прямо бороться с ними, как это делали прежде Юм, Вольтер, Руссо и др. Наука, по их мнению, т. е. те разрозненные, случайные знания, которые они распространяют между народом, сама собой достигнет этой цели, т. е. что человек, узнав о том, сколько миллионов миль от земли до солнца и какие металлы находятся в солнце и звездах, перестанет верить в церковные положения.

В этом искреннем или неискренном утверждении или предположении – великое заблуждение или ужасное коварство. С самого первого детского возраста – возраста наиболее восприимчивого к внушению,– именно тогда, когда воспитателю нельзя быть достаточно осторожным в том, что он передает ребенку, ему внушаются несовместимые с разумом и знаниями, нелепые и безнравственные догматы так называемой христианской религии. Учат ребенка не вмещающемуся в здравый разум догмату Троицы, сошествию одного из этих трех богов на землю для искупления рода человеческого, его воскресению и вознесению на небо; учат ожиданию второго пришествия и наказания вечными мучениями за неверие в эти догматы; учат молиться о своих нуждах и многому другому. И когда все эти, несогласные ни с разумом, ни с современными знаниями, ни с человеческой

совестью, положения неизгладимо запечатлеются в восприимчивом уме ребенка, его оставляют одного, предоставляя ему разбираться, как он умеет, в тех противоречиях, которые вытекают из принятых и усвоенных им, как несомненная истина, догматов. Никто не говорит ему о том, как он может и должен примирить эти противоречия. Если же богословы и пытаются примирить эти противоречия, то попытки эти еще более запутывают дело. И понемногу человек привыкает (в чем усиленно поддерживают его богословы) к тому, что разуму нельзя верить, и что поэтому на свете всё возможно, и что в человеке нет ничего такого, посредством чего он сам мог бы отличать добро от зла и ложь от истины, что в самом важном для него – в своих поступках – он должен руководиться не своим разумом, а тем, что скажут ему другие люди. Понятно, какое страшное извращение в духовном мире человека должно произвести такое воспитание, поддерживаемое и в зрелом возрасте всеми средствами внушения, которое постоянно с помощью духовенства производится над народом.

Если же сильный духом человек с великим трудом и страданиями и освободится от того гипноза, в котором его воспитали с детства и держали в зрелом возрасте, то это извращение его души, при котором ему внушалось недоверие к своему разуму, не может пройти бесследно, как не может в мире физическом пройти бесследно отравление организма каким-либо сильным ядом. Освободившись от гипноза обмана, такой человек, ненавидя ту ложь, от которой он только что освободился, естественно усвоит то учение передовых людей, по которому всякая религия считается одним из главных препятствий движения человечества вперед по пути прогресса. А усвоив это учение, такой человек сделается, как и его учителя, тем беспринципным, т. е. бессовестным человеком, руководящимся в жизни только своими похотями и не только не осуждающим себя за это, но считающим себя поэтому на высшей, доступной человеку, точке духовного развития.

Так это будет с самыми духовно сильными людьми. Менее же сильные, хотя и пробудятся к сомнению, никогда не освободятся вполне от того обмана, в котором они воспитаны, и, примкнув к различным хитросплетенным туманным теориям, которые должны оправдывать нелепости принятых ими догматов, и придумывая такие, живя в области сомнений, тумана, софизмов и самообманыва- ния, будут только содействовать ослеплению масс и противодействовать их пробуждению.

Большинство же людей, не имеющих ни сил, ни возможности бороться с внушением, произведенным над ними, поколениями будут жить и умирать, как оно живет теперь, лишенное высшего блага человека – истинного религиозного понимания жизни, и будет

всегда составлять только покорное орудие для властвующих и обманывающих его классов.

И про этот-то ужасный обман передовые ученые люди говорят, что он не важен и не стоит прямо бороться с ним. Единственное объяснение такого утверждения, если искренни утверждающие, это то, что они сами находятся под гипнозом ложной науки; если же они не искренни, то – в том, что нападение на установленные верования не выгодно и часто опасно. Так или иначе, во всяком случае, утверждение о том, что исповедание ложной религии безвредно или хотя не важно, и что поэтому можно распространять просвещение, не разрущая религиозного обмана,– вполне несправедливо.

Спасение человечества от его бедствий только в освобождении его от того гипноза, в котором держат его жрецы, так же, как и от того, в которое вводят его ученые. Для того, чтобы влить что-либо в сосуд, надо прежде всего освободить его от того, что он содержит. Точно также необходимо освободить людей от того обмана, в котором их держат, для того, чтобы они могли усвоить истинную религию, т. е. правильное, соответствующее развитию человечества от- нощение к началу всего – к Богу и выведенное из этого отнощения руководство деятельности.

XIV

«Но разве есть истинная религия? Все религии бесконечно различны, и мы не имеем права ни одну назвать истинной только потому, что она более подходит к нащим вкусам», скажут люди, рассматривающие религии по их внешним формам, как некоторую болезнь, от которой они чувствуют себя свободными, но которой страдают еще остальные люди. Но это неправда: религии различны по своим внешним формам, но все одинаковы в своих основных началах. И вот эти-то основные начала всех религий и составляют ту истинную религию, которая одна в наше время свойственна всем людям и усвоение которой одно может спасти людей от их бедствий.

Человечество живет давно, и как преемственно выработало свои практические приобретения, так не могло не выработать тех духовных начал, которые составляли основы его жизни, и вытекающих из них правил поведения. То, что ослепленные люди не видят их, не доказывает того, что их не существует. Такая общая всем людям религия нашего времени – не какая-нибудь религия со всеми ее особенностями и извращениями, а религия, состоящая из тех религиозных положений, которые одинаковы во всех распространенных и известных нам, исповедуемых более чем ®/ю рода человеческого

религиях,– существует, и люди еще не окончательно озверели только потому, что лучшие люди всех народов, хотя и бессознательно, но держатся этой религии и исповедуют ее, и только внущение обмана, которое с помощью жрецов и ученых производится над людьми, мещает им сознательно принять ее.

Положения этой истинной религии до такой степени свойственны людям, что как только они сообщены людям, то принимаются ими как что-то давно известное и само собой разумеющееся. Для нас эта истинная религия есть христианство, в тех положениях его, в которых оно сходится не с внешними формами, а с основными положениями браманизма, конфуцианства, таоизма, еврейства, буддизма, даже магометанства. Точно также и для исповедующих браманизм, конфуцианство и др. истинная религия будет та, основные положения которой сходятся с основными положениями всех других больших религий. И положения эти очень просты, понятны и не многосложны.

Положения эти в том, что есть Бог, начало всего; что в человеке есть частица этого божественного начала, которую он может уменьшить или увеличить в себе своей жизнью; что для увеличения этого начала человек должен подавлять свои страсти и увеличивать в себе любовь; и что практическое средство достижения этого состоит в том, чтобы поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобою. Все эти положения общи и браманизму, и еврейству, и конфуцианству, и таоизму, и буддизму, и христианству, и магометанству. (Если буддизм и не дает определения Бога, то он все-таки признает то, с чем сливается и во что погружается человек, достигая нирваны. Так что то, с чем соединяется человек, погружаясь в нирвану, есть то же начало, признаваемое Богом в еврействе, христианстве и магометанстве.)

«Но это не религия», скажут люди нашего времени, привыкшие принимать сверхъестественное, т. е. бессмысленное, за главный признак религии; «это всё, что хотите: философия, этика и рассуждения, но не религия». Религия, по их понятию, должна быть нелепа и непонятна (credo quia absurdum). А между тем, только из этих самых положений или, скорее, вследствие проповедания их, как религиозного учения, и выработались длинным процессом извращения все те нелепости чудес и сверхъестественных событий, которые считаются основными признаками всякой религии. Утверждать, что сверхъестественность и неразумность составляют основные свойства религии, всё равно, что, наблюдая только гнилые яблоки, утверждать, что дряблая горечь и вредное влияние на желудок есть основное свойство плода яблока.

Религия есть определение отношения человека к началу всего и вытекающего из этого положения назначения человека и, из этого назначения, правил поведения. И общая религия, основные положения которой одни и те же во всех исповеданиях, вполне удовлетворяют этим требованиям. Она определяет отношение человека к Богу, как части к целому; из этого отношения выводит назначение человека, состоящее в увеличении в себе божественного свойства; назначение же человека выводить практические правила из правила: поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобою.

Часто люди сомневаются, я и сам одно время сомневался в том, что такое отвлеченное правило, как то, чтобы поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой, могло быть столь же обязательным правилом и руководителем поступков, как правила более простые – поста, молитвы, причащения и т. п. Но на это сомнение дает неопровержимый ответ душевное состояние хотя бы русского крестьянина, который скорее умрет, чем выплюнет в навоз причастие, а между тем по приказанию людей готов убивать своих братьев.

Почему бы требования, выведенные из правила – поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой,– как-то: не убивать своих братьев, не ругаться, не прелюбодействовать, не мстить, не пользоваться нуждою братьев для удовлетворения своих прихотей и многие другие,– не могли бы быть внушены с такою же силой и стать столь же обязательными и непереступимыми, как вера в святость причастия, образов и т. п. для людей, вера которых основана более на доверии, чем на ясном внутреннем сознании?

XV

Истины общей всем людям религии нашего времени так просты, понятны и близки сердцу каждого человека, что, казалось бы, стоило бы только родителям, правителям и наставникам вместо отживших и нелепых учений о троицах, богородицах, искуплениях, инд- рах, тримуртиях и улетающих на небо буддах и Магометах, в которые они сами часто не верят,– внушать детям и взрослым те простые, ясные истины общей всем людям религии, метафизическая сущность которой в том, что в человеке живет дух Божий, и практическое правило которой в том, что человек должен поступать с другими так, как он хочет, чтобы поступали с ним,– и сама собою изменилась бы вся жизнь человеческая. Только бы так же, как теперь внушается детям и подтверждается взрослым вера в то, что Бог послал сына своего, чтобы искупить грехи Адама, и установил свою церковь, которой надо повиноваться, и вытекающие из этого правила о том, чтобы тогда-то и там-то молиться и приносить

жертвы и тогда-то воздерживаться от такой-то пищи и в такие-то дни от работы,– внушалось и подтверждалось бы то, что Бог есть дух, проявление которого живет в нас, и силу которого мы можем увеличить своей жизнью. Только бы внушалось это и всё то, чтб само собой вытекает из этих основ, так же, как внушаются теперь ни на что не нужные рассказы о невозможных событиях и вытекающие из этих рассказов правила бессмысленных обрядов – и вместо неразумной борьбы и разъединения очень скоро, без помощи дипломатов, международного права и конгресса мира и политикоэкономов и социалистов всех подразделений, наступила бы мирная, согласная и руководимая единой религией счастливая жизнь человечества.

Но ничего подобного не делается; не только не разрушается обман ложной религии и не проповедуется истинная, но люди, напротив, всё больше и больше, всё дальше и дальше удаляются от возможности принять истину.

Главная причина того, почему люди не делают того, что так естественно, необходимо и возможно, состоит в том, что люди нашего времени так привыкли, вследствие долгой безрелигиозной жизни, устраивать и упрочивать свой быт насилием, штыками, пулями, тюрьмами, виселицами, что им кажется, что такое устройство жизни не только нормально, но что другого и не может быть. Мало того, что так думают те, для которых существующий порядок выгоден, но и те, которые страдают от него, так одурены производимым над ними внушением, что точно так же считают насилие единственным средством благоустройства в человеческом обществе. А между тем это-то устроение и упрочение общественного быта насилиями более всего удаляет людей от понимания причин своих страданий и потому от возможности истинного благоустройства.

Совершается нечто подобное тому, что делает дурной или злонамеренный врач, загоняя внутрь злокачественную сыпь, не только обманывая этим больного, но усиливая самую болезнь и делая невозможным лечение ее.

Людям властвующим, поработившим массы и думающим и говорящим: «аргёз nous 1e deluge»*, кажется очень удобным посредством армии, духовенства, солдат и полицейских и угроз штыков, пуль, тюрьм, рабочих домов, виселиц – заставить порабощенных людей продолжать жить в своем одурении и порабощении и не мешать властвующим пользоваться своим положением. И властвующие люди делают это, называя такой порядок вещей благоустройством, а между тем ничто не препятствует столько истинному об-

После нас хоть потоп *(фр.)*.

щественному благоустройству, как это. В сущности такое благоустройство есть не только не благоустройство, но устройство зла.

Если бы люди наших обществ с остатками тех религиозных начал, которые все-таки живут в массах, не видели перед собой постоянно совершаемых преступлений теми людьми, которые взяли на себя обязанность блюсти порядок и нравственность в жизни людей – войны, казни, тюрьмы, подати, продажи водки, опиума – они никогда не подумали бы сделать одной сотой тех дурных дел, обманов, насилий, убийств, которые они делают теперь с полной уверенностью, что дела эти хороши и свойственны людям.

Закон жизни человеческой таков, что улучшение ее как для отдельного человека, так и для общества людей возможно только через внутренее, нравственное совершенствование. Все же старания людей улучшить свою жизнь внешними друг на друга воздействиями насилия служат самой действительной проповедью и примером зла, и потому не только не улучшают жизни, а, напротив, увеличивают зло, которое, как снежный ком, нарастает всё больше и больше и всё больше и больше удаляет людей от единственной возможности истинного улучшения их жизни.

По мере того, как обычай насилий и преступлений, совершаемых под видом закона самими блюстителями порядка и нравственности, становится чаще и чаще, жесточе и жесточе, и всё более и более оправдывается внушением лжи, выдаваемой за религию, люди всё более и более утверждаются в мысли, что закон их жизни не в любви и служении друг другу, а в борьбе и в поедании друг друга.

И чем больше они утверждаются в этой мысли, спускающей их на степень животного, тем труднее им пробудиться от того гипноза, в котором они находятся, и принять в основу жизни истинную, общую всему человечеству религию нашего времени.

Устанавливается ложный круг; отсутствие религии делает возможным животную жизнь, основанную на насилии; животная жизнь, основанная на насилии, делает всё больше и больше невозможным освобождение от гипноза и усвоение истинной религии. И потому люди не делают того, что естественно, возможно и необходимо в наше время; не разрушают обмана подобия религии и не усваивают и не проповедуют истинной.

XVI

Возможен ли выход из этого заколдованного круга, и в чем он? Сначала представляется, что вывести людей из этого круга должны бы правительства, взявшие на себя обязанность руководить для их блага жизнью народов. Так думали всегда люди, пытавшиеся

заменить строи жизни, основанный на насилии, разумным и основанным на взаимном служении и любви устройством жизни. Так думали и христианские реформаторы и так же основатели различных теорий европейского коммунизма, и так же думал знаменитый китайский реформатор Ми-ти, который предлагал правительству, для блага народа, обучать детей в школах не военным наукам и упражнениям и давать награды взрослым не за военные подвиги, а обучать детей и взрослых правилам уважения и любви, и за подвиги любви выдавать награды и поощрения. Так же думали и думают многие русские религиозные реформаторы из народа, которых я знал и знаю многих теперь, начиная с Сютаева и кончая старичком, уже 5 раз подававшим прошение государю о том, чтобы он приказал отменить ложную религию и проповедовать истинное христианство.

Людям естественно кажется, что правительства, оправдывающие свое существование заботами о благе народном, должны, для упрочения этого блага, желать употребить то единственное средство, которое ни в каком случае не может быть вредным для народа, а может только произвести самые плодотворные последствия. Но правительства никогда нигде не только не брали на себя этой обязанности, но, напротив, всегда и везде с величайшей ревностью защищали существующее ложное, отжившее вероучение и всеми средствами преследовали тех, кто пытался сообщить народу основы истинной религии. В сущности оно не может быть иначе; правительствам обличать ложь существующей религии и проповедовать истинную значит то же, что человеку рубить тот сук, на котором он сидит.

Но если не делают этого правительства, то, казалось бы, наверное должны сделать это те ученые люди, которые, освободившись от обмана ложной религии, желают, как они говорят, служить тому народу, который воспитал их. Но эти люди так же, как и правительства, не делают этого: во-первых, потому, что они считают нецелесообразным подвергать себя неприятностям и опасностям гонений от правительств за обличение того обмана, который защищается правительством и который по их убеждению сам собою уничтожится; во-вторых, потому, что, считая всякую религию пережитым заблуждением, им нечего предложить народу на место того обмана, который бы они разрушили.

Остаются те большие массы неученых людей, находящихся под гипнозом церковного и правительственного обмана и потому считающих, что то подобие религии, которое внушено им, есть единственная истинная религия, и другой никакой нет и быть не может. Массы эти находятся под постоянным усиленным воздействием гип

ноза; поколения за поколениями рождаются, живут и умирают в том одуренном состоянии, в котором их держат духовенство и правительство, и если и освобождаются от него, то неизбежно попадают в школу ученых, отрицающих религию, и влияние их становится столь же бесполезно и вредно, как влияние их учителей.

Так что для одних это невыгодно, для других это невозможно.

XVII

Выхода как будто нет никакого.

И действительно, для нерелигиозных людей нет и не может быть из этого положения никакого выхода: люди, принадлежащие к высшим правящим классам, если и будут притворяться, что озабочены благом народных масс, никогда серьезно не станут (они и не могут этого делать, руководясь мирскими целями) уничтожать того одурения и порабощения, в котором живут массы и которые дают им возможность властвовать над ними. Точно также и люди, принадлежащие к порабощенным, тоже, руководствуясь мирскими целями, не могут желать ухудшить свое и так тяжелое положение борьбою с высшими классами из-за обличения ложного учения и проповеда- ния истинного. Ни тем, ни другим незачем это делать, и если они умные люди – они никогда не станут делать этого.

Но не то для людей религиозных, тех религиозных людей, которые, как бы ни было развращено общество, всегда блюдут своей жизнью тот священный огонь религии, без которого не могла бы существовать жизнь человечества. Бывают времена (таково наше время), когда людей этих не видно, когда они, всеми презираемые и унижаемые, безвестно проводят свои жизни, как у нас – в изгнании, тюрьмах, дисциплинарных батальонах; но они есть, и ими держится разумная жизнь человеческая. И эти-то религиозные люди, как бы мало их ни было, одни могут разорвать и разорвут тот заколдованный круг, а котором закованы люди. Люди эти могут сделать это, потому что все те невыгоды и опасности, препятствующие мирскому человеку идти против существующего строя жизни, не только не существуют для религиозного человека, но усиливают его рвение в борьбе с ложью и в исповедании словом и делом того, что он считает божеской истиной. Если он принадлежит к правящим классам, он не только не захочет скрывать истину ради выгод своего положения, но, напротив, возненавидя эти выгоды, все силы души своей употребит на освобождение себя от этих выгод и на проповедание истины, так как у него в жизни уже не будет иной, кроме служения Богу, цели. Если же он принадлежит к порабощенным, то, точно так же, отказавшись от общего людям в его положе-

НИИ желания улучшить условия своей плотской жизни, такой человек не будет иметь другой цели, кроме исполнения воли Бога обличением лжи и исповеданием истины, и никакие страдания и угрозы не могут уже заставить его перестать жить сообразно с тем единым смыслом, который он признает в своей жизни. И тот и другой будут так поступать так же естественно, как мирской человек трудится, неся лишения для приобретения богатств или для угождения тому властелину, от которого он ожидает себе выгоды. Всякий религиозный человек поступает так, потому что просвещенная религией душа живет уже не одной жизнью этого мира, как живут нерелигиозные люди, а живет вечной, бесконечной жизнью, для которой так же ничтожны страдания и смерть в этой жизни, как ничтожны для работника, пашущего поле, мозоли на руках и усталость членов.

Вот эти-то люди разорвут тот заколдованный круг, в котором закованы теперь люди. Как ни мало таких людей, как ни низко их общественное положение, как ни слабы они образованием или умом, люди эти так же верно, как огонь зажигает сухую степь, зажгут весь мир, все высохшие от долгой безрелигиозной жизни сердца людей, жаждущие обновления.

Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть также, как думают ученые, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; религия есть устанавливаемое, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни и к Богу, которое одно движет человечество вперед к предназначенной ему цели.

«Душа человеческая есть светильник Бога», говорит мудрое еврейское изречение. Человек есть слабое, несчастное животное до тех пор, пока в душе его не горит свет Бога. Когда же свет этот загорелся (а зажигается он только в душе, просвещенной религией), человек становится могущественнейшим существом мира. И это не может быть иначе, потому что действует тогда в нем уже не его сила, а сила Божья.

Так вот что такое религия и в чем ее сущность.

«ОДУМАЙТЕСЬ!»

«Ныне ваше время и власть тьмы».
Лука, XXII, 53.

I

«Только беззакония ваши были средостением между вами и Богом вашим, и грехи ваши закрыли лицо Его от вас, чтобы Он не слышал; потому что руки ваши осквернены кровью и персты ваши беззаконием; уста ваши говорят ложь; язык ваш произносит неправду. Никто не поднимает голоса за правду и никто не судится по истине; уповают на пустое и говорят ложью, зачинают беду и рождают беззаконие. Дела их суть дела греховные, и руки их производят насилие; ноги их бегут ко злу и спешат проливать невинную кровь; помышления их — помышления греховные; опустошение и гибель на пути их; они не знают пути мира, и нет правосудия на стезях их, они сами искривили свои пути; никто ходящий по ним не знает мира. Потому-то и далеко от нас правосудие, и правда не доходит до нас; мы ожидаем света, но вот тьма; ждем сияния, но ходим во мраке; ощупываем стену, как слепые, и ощупью ходим, как безглазые, в полдень спотыкаемся, как в сумерки, в темноте, как мертвецы».

Исаия, их 2-4, 6-10.

«Ограничимся тем, что напомним, что различные государства Европы накопили долг в 130 миллиардов, из которых около 110 сделано в продолжение одного века, и что весь колоссальный долг этот сделан исключительно для расходов по войне, что европейские государства держат в мирное время в войске более 4 миллионов людей и могут довести это число до 110 миллионов в военное время; что две трети их бюджетов поглощены процентами на долг и содержанием армий сухопутных и морских».

Молинари.

«Но война более уважаема, чем когда-либо. Искусный артист этого дела, гениальный убийца г-н Мольтке, такими странными словами отвечал делегатам мира;

— Война свята, божественного учреждения, один из священных законов мира. Она поддерживает в людях все великие и благородные чувства; честь, бескорыстие, добродетель, храбрость; одним словом, спасает людей от отвратительного материализма.

Так что соединиться в стада четырехсот тысяч человек, без отдыха ходить день и ночь, ни о чем не думать, ничего не изучать, ничему не научаться, ничего не читать, не быть полезным никому, загнивать в нечистоте, спать в грязи, жить как скоты, в постоянном одурении, грабить города, сжигать деревни, разорять народы, потом, встретив такое же другое скопище человеческого мяса, бросаться на него, проливать озера крови, покрывать поля разорванным мясом и кучами трупов устилать землю, быть искалеченными, быть разможженными без пользы для кого бы то ни было и наконец издохнуть где-нибудь на чужом поле, тогда как ваши родители, ваши жена и дети дома умирают с голода,— это называется спасать людей от отвратительного материализма».

Гюи де Мопассан.

Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей.

Люди, десятками тысяч верст отделенные друг от друга, сотни тысяч таких людей, с одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных, с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери, на суще и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом.

Что же это такое? Во сне это или наяву? Совершается что-то такое, чего не должно, не может быть,– хочется верить, что это сон, , и проснуться.

Но нет, это не сон, а ужасная действительность.

Еще можно понять, что оторванный от своего поля, бедный, неученый, обманутый японец, которому внушено, что буддизм не состоит в сострадании ко всему живому, а в жертвоприношениях идолам, и такой же бедняга тульский, нижегородский, полуграмотный малый, которому внушено, что христианство состоит в поклонении Христу, Богородице, святым и их иконам,– можно понять, что эти несчастные люди, доведенные вековым насилием и обманом до признания величайшего преступления в мире – убийства братьев – доблестным делом, могут совершать эти страшные дела, не считая себя в них виноватыми. Но как могут так называемые просвещенные люди проповедовать войну, содействовать ей, участвовать в ней, и, что ужаснее всего, не подвергаясь опасностям войны, возбуждать к ней, посылать на нее своих несчастных, обманутых братьев? Ведь не могут же эти так называемые просвещенные люди, не говоря уже о христианском законе, если они признают себя его исповедниками, не знать всего того, что писалось, пишется, говорилось и говорится о жестокости, ненужности, бессмысленности войны. Ведь потому они и считаются просвещенными людьми, что они знают всё это. Большинство из них сами писали или говорили об этом. Не говоря уже о вызвавшей всеобщее восхваление Гааг

ской конференции, о всех книгах, брошюрах, газетных статьях, речах, трактующих о возможности разрешения международных недоразумений международными судилищами, все просвещенные люди не могут не знать того, что всеобщие вооружения государств друг перед другом неизбежно должны привести их к бесконечным войнам или к всеобщему банкротству, или к тому и другому вместе; не могут не знать, что кроме безумной, бесцельной траты миллиардов рублей, т. е. трудов людских на приготовления к войнам, в самых войнах гибнут миллионы самых энергических, сильных людей в лучшую для производительного труда пору их жизни (войны прошлого столетия погубили 14 000 000 людей). Не могут просвещенные люди не знать того, что поводы к войнам всегда такие, из- за которых не стоит тратить не только одной жизни человеческой, но и одной сотой тех средств, которые расходуются на войну (за освобождение негров истрачено в много раз больше того, что стоил бы выкуп всех негров юга). Все знают, не могут не знать главного, что войны, вызывая в людях самые низкие, животные страсти, развращают, озверяют людей. Все знают неубедительность доводов, приводимых в пользу войн, вроде тех, которые приводил Де-Местр, Мольтке и другие, так как все они основаны на том софизме, что во всяком бедствии человеческом можно найти полезную сторону, или на совершенно произвольном утверждении, что войны всегда были и потому всегда будут, как будто дурные поступки людей могут оправдываться теми выводами и пользой, которые они приносят, или тем, что они в продолжение долгого времени совершались. Все так называемые просвещенные люди знают всё это. И вдруг начинается война, и всё это мгновенно забывается, и те самые люди, которые вчера еще доказывали жестокость, ненужность, безумие войн, нынче думают, говорят, пишут только о том, как бы побить как можно больше людей, разорить и уничтожить как можно больше произведений труда людей, и как бы как можно сильнее разжечь страсти человеконенавистничества в тех мирных, безобидных, трудолюбивых людях, которые своими трудами кормят, одевают, содержат тех самых мнимопросвещенных людей, заставляющих их совершать эти страшные, противные их совести, благу и вере дела.

II

«И Микромегас сказал:

— О, вы, разумные атомы, в которых вечное Существо выразило свое искусство и свое могущество, вы, верно, пользуетесь чистыми радостями на вашем земном шаре, потому что, будучи так мало материальны и так развиты духовно, вы должны проводить вашу жизнь в

любви и мышлении, так как в этом настоящая жизнь духовных существ».

На эту речь все философы покачали головами, и один из них, наиболее откровенный, сказал, что, за исключением малого числа мало уважаемых жителей, всё остальное население состоит из безумцев, злодеев и несчастных.

— В нас больше телесности, чем нужно, если зло происходит от телесности, и слишком много духовности, если зло происходит от духовности,— сказал он.— Так, например, в настоящую минуту тысячи безумцев в шляпах убивают тысячи других животных в чалмах или убиваемы ими, и так это ведется с незапамятных времен по всей земле.

— Из-за чего же ссорятся эти маленькие животные?

— Из-за какого-нибудь маленького кусочка грязи, величиной с вашу пятку,— отвечал философ,— и ни одному из людей, которые режут друг друга, нет ни малейшего дела до этого кусочка грязи. Вопрос для них только в том, будет ли этот кусочек принадлежать тому, кого называют султаном, или тому, кого называют кесарем, хотя ни тот, ни другой не видал этого кусочка земли. Из тех же животных, которые режут друг друга, почти никто не видал того животного, ради которого они режутся.

— Несчастные,— воскликнул Сириец,— можно ли представить себе такое безумное бешенство! Право, мне хочется сделать три шага и раздавить весь муравейник этих смешных убийц.

— Не трудитесь делать этого,— отвечали ему.— Они сами заботятся об этом. Впрочем, и не надо их наказывать, а тех варваров, которые, сидя в своих дворцах, предписывают убийства людей и велят торжественно благодарить за это Бога».

Вольтер.

«Безумие современных войн оправдывается династическим интересом, национальностью, европейским равновесием, честью. Этот последний мотив самый дикий, потому что нет ни одного народа, который не осквернил бы себя всеми преступлениями и постыдными поступками, нет ни одного, который не испытал бы всевозможных унижений. Ежели же и существует честь в народах, то какой же странный способ поддерживать ее войной, то есть всеми теми преступлениями, которыми бесчестит себя честный человек; поджигательством, грабежами, убийством...»

Анатоль Франс.

«Дикий инстинкт военного убийства так заботливо в продолжение тысячелетий культивировался и поощрялся, что пустил глубокие корни в мозгу человеческом. Надо надеяться однако, что лучшее, чем ваше, человечество, сумеет освободиться от этого ужасного преступления.

Но что подумает тогда это лучшее человечество о той так называемой утонченной цивилизации, которой мы так гордимся?

А почти то же, что мы думаем о древнемексиканском народе и его канибализме в одно и то же время воинственном, набожном и животном».

Летурно.

«Иногда один властелин нападает на другого из страха, чтобы тот не напал на него. Иногда начинают войну потому, что неприятель слишком силен, а иногда потому, что слишком слаб; иногда наши соседи желают того, чем мы владеем, или владеют тем, что нам недостает. Тогда начинается война до тех пор, покуда они захватят то, что им нужно, или отдадут то, что нужно нам».

Джонатан Свифт.

Совершается что-то непонятное и невозможное по своей жестокости, лживости и глупости.

Русский царь, тот самый, который призывал все народы к миру, всенародно объявляет, что, несмотря на все заботы свои о сохранении дорогого его сердцу мира (заботы, выражавшиеся захватом чужих земель и усилением войск для защиты этих захваченных земель), он, вследствие нападения японцев, повелевает делать по отношению японцев то же, что начали делать японцы по отношению русских, т. е. убивать их; и объявляя об этом призыве к убийству, он поминает Бога, призывая Его благословение на самое ужасное в свете преступление. То же самое по отношению русских провозгласил японский император. Ученые юристы, господа Муравьев и Мартенс, старательно доказывают, что в призыве народов ко всеобщему миру и возбуждении войны из-за захватов чужих земель нет никакого противоречия. И дипломаты на утонченном французском языке печатают и рассылают циркуляры, в которых подробно и старательно доказывают,– хотя и знают, что никто им не верит,– что только после всех попыток установить мирные отношения (в действительности, всех попыток обмануть другие государства) русское правительство вынуждено прибегнуть к единственному средству разумного разрешения вопроса, т. е. к убийству людей. И то же самое пишут японские дипломаты. Ученые, историки, философы, с своей стороны сравнивая настоящее с прошедшим и делая из этих сопоставлений глубокомысленные выводы, пространно рассуждают о законах движения народов, об отношении желтой и белой расы, буддизма и христианства, и на основании этих выводов и соображений оправдывают убийство христианами людей желтой расы, точно так же как ученые и философы японские оправдывают убийство людей белой расы. Журналисты, не скрывая своей радости, стараясь перещеголять друг друга и не останавливаясь ни перед какой, самой наглой, очевидной ложью, на разные лады доказывают, что и правы, и сильны, и во всех отношениях хороши только русские, а не правы и слабы и дурны во всех отношениях все японцы, а также дурны и все те, которые враждебны или могут быть враждебны русским – англичане, американцы, чтб точно так же по отношению русских доказывается японцами и их сторонниками.

и не говоря уже о военных, по своей профессии готовящихся к убийству, толпы так называемых просвещенных людей, ничем и никем к этому не побуждаемых, как профессора, земские деятели, студенты, дворяне, купцы, выражают самые враждебные, презрительные чувства к японцам, англичанам, американцам, к которым они вчера еще были доброжелательны или равнодущны, и без всякой надобности выражают самые подлые, рабские чувства перед царем, к которому они, по меньшей мере, совершенно равнодушны, уверяя его в своей беспредельной любви и готовности жертвовать для него своими жизнями.

И несчастный, запутанный молодой человек, признаваемый руководителем 130-миллионного народа, постоянно обманываемый и поставленный в необходимость противоречить самому себе, верит и благодарит и благословляет на убийство войско, которое он называет своим, для защиты земель, которые он еще с меньщим правом может называть своими. Все подносят друг другу безобразные иконы, в которые не только никто из просвещенных людей не верит, но которые безграмотные мужики начинают оставлять, все в землю кланяются перед этими иконами, целуют их и говорят высокопарнолживые речи, в которые никто не верит.

Богачи жертвуют ничтожные доли своих безнравственно нажитых богатств на дело убийства или на устройство помощи в деле убийства, и бедняки, с которых правительство собирает ежегодно два миллиарда, считают нужным делать то же самое, отдавая правительству и свои гроши. Правительство возбуждает и поощряет толпы праздных гуляк, которые, расхаживая с портретом царя по улицам, поют, кричат «ура» и под видом патриотизма делают всякого рода бесчинства. И по всей России, от дворца до последнего села, пастыри церкви, называющей себя христианской, призывают того Бога, который велел любить врагов, Бога-Любовь на помощь делу дьявола, на помощь человекоубийству.

И одуренные молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело; убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. И за ними едут врачи, сестры милосердия, почему-то полагающие, что дома они не могут служить простым, мирным, страдающим людям, а могут служить только тем людям, которые заняты убийством друг друга. Остающиеся же дома радуются известиям об убийстве людей и, когда узнают, что убитых японцев много, благодарят за это кого-то, кого они называют Богом.

и всё это не только признается проявлением высоких чувств, но люди, воздерживающиеся от таких проявлений, если они пытаются образумить людей, считаются изменниками, предателями и находятся в опасности быть обруганными и избитыми озверевшей толпой людей, не имеющих в защиту своего безумия и жестокости никакого иного орудия, кроме грубого насилия.

Ill

«Война образует людей, перестающих быть гражданами и делающихся солдатами. Их привычки выделяют их из общества, их главное чувство есть преданность начальнику, они в лагерях приучаются к деспотизму, к тому, чтобы достигать своих целей насилием и играть правами и счастием ближних; их главное удовольствие — бурные приключения, опасности. Мирные труды им противны.

Война сама собой производит войну и продолжает ее без конца. Победивший народ, опьяненный успехом, стремится к новым победам: пострадавший же народ, раздраженный поражением, спешит восстановить свою честь и свои потери.

Народы, озлобленные друг против друга взаимными обидами, желают друг другу унижения, разорения. Они радуются тому, что болезни, голод, нужда, поражения постигают враждебную страну.

Убийство тысяч людей вместо сострадания вызывает в них восторженную радость; города освещаются иллюминациями, и вся страна празднует.

Так огрубевает сердце человека и воспитываются его худшие страсти. Человек отрекается от чувств симпатии и гуманности».

Чаннинг.

«Наступил возраст военной службы, и всякий молодой человек должен подчиняться не имеющим объяснения приказаниям негодяя или невежды; он должен поверить, что благородство и величие состоит в том, чтобы отказаться от своей воли и сделаться орудием воли другого, рубить и быть рубимым, страдать от голода, жажды, дождя и холода, быть искалеченным, не зная зачем, без другого вознаграждения, как чарка водки в день сражения и обещание неосязаемой и фиктивной вещи — бессмертия после смерти и славы, которую дает или в которой отказывает газетчик своим пером, сидя в теплой комнате.

Выстрел. Он раненый падает. Товарищи доканчивают его, топча ногами. Его закапывают полуживого, и тогда он может наслаждаться бессмертием. Товарищи, родные забывают его; тот, кому он отдал свое счастие, свое страдание и свою жизнь, никогда не знал его. И после нескольких лет кто-нибудь отыскивает его побелевшие кости и из них делает черную краску и английскую ваксу, чтобы чистить сапоги его генерала».

Альфонс Карр.

«Они берут человека во всей силе, в лучшую пору молодости, дают ему в руки ружье, на спину ранец, а голову его отмечают кокардой, потом говорят ему: „Мой собрат, государь такой-то дурно обошелся со мной, и потому ты должен нападать на всех его подданных; я объ-

явил им, что ты такого-то числа явишься на их границу, чтобы убивать их...“

„Ты, может быть, по неопытности подумаешь, что наши враги — люди, но это не люди, а пруссаки, французы (японцы); ты будешь отличать их от человеческой породы по цвету их мундира. Постарайся исполнить как можно лучше твою обязанность, потому что я, оставаясь дома, буду наблюдать за тобой. Если ты победишь, то, когда вы возвратитесь, я выйду к вам в мундире и скажу: солдаты, я доволен вами. В случае, если ты останешься на поле сражения, что весьма вероятно, я пошлю сведения о твоей смерти твоему семейству, чтобы оно могло оплакивать тебя и наследовать после тебя. Если ты лишишься руки или ноги, я заплачу тебе, что они стоят. Если же ты останешься жив и будешь уже негоден, чтобы носить ранец, я дам тебе отставку, и ты можешь идти издыхать где хочешь, это до меня не касается"».

Клод Тилье.

«И я понял дисциплину, именно то, что капрал всегда прав, когда он говорит с солдатом, сержант, когда он говорит с капралом, унтер- офицер, когда он говорит с сержантом, и т. д., до фельдмаршала, хотя бы они говорили, что дважды два •— пять! Сначала это трудно понять, но пониманию этого помогает то, что в каждой казарме висит табличка, и ее прочитывают, чтобы уяснить свои мысли. На этой табличке написано всё то, что может желать сделать солдат, как, например, возвратиться в свою деревню, отказаться от исполнения службы, не покориться своему начальнику и прочее, и за всё это обозначены наказания: смертная казнь или пять лет каторжной работы».

Эркман-Шатриан.

«Я купил негра, он мой. Он работает, как лошадь; я плохо кормлю его, так же одеваю и бью его, когда он не слушается. Что же тут удивительного? Разве мы лучше обращаемся с своими солдатами? Разве они не лишены свободы так же, как этот негр? Разница только в том, что солдат стоит гораздо дешевле. Хороший негр стоит теперь по крайней мере 500 экю, хороший солдат стоит едва 50. Ни тот, ни другой не может уйти с того места, где их держат; и того и другого бьют за малейшую ошибку; жалованье почти одинаковое, но негр имеет преимущество перед солдатом в том, что не подвергает опасности свою жизнь, а проводит ее с своей женой и детьми».

(Questions sur I’Encyclopedie, par des amateurs. Art. Esclavage.)

Точно как будто не было ни Вольтера, ни Монтеня, ни Паскаля, ни Свифта, ни Канта, ни Спинозы, ни сотен других писателей, с большой силой обличавших бессмысленность, ненужность войны и изображавших ее жестокость, безнравственность, дикость и, главное, точно как будто не было Христа и его проповеди о братстве людей и любви к Богу и людям.

Вспомнишь всё это и посмотришь вокруг себя на то, что делается теперь, и испытываешь ужас уже не перед ужасами войны, а перед тем, что ужаснее всех ужасов,– перед сознанием бессилия человеческого разума.

То, что единственно отличает человека от животного, то, что составляет его достоинство – его разум, оказывается ненужным, бесполезным, даже не бесполезным, а вредным придатком, только затрудняющим всякую деятельность, вроде как узда, сбившаяся с головы лошади и путающаяся в ее ногах и только раздражающая ее.

Понятно, что язычник грек, римлянин, даже средневековой христианин, не знавший Евангелия и слепо веровавший во все предписания церкви, мог воевать и, воюя, гордиться своим военным званием; но как может верующий христианин или даже неверующий, но весь невольно проникнутый христианскими идеалами братства людей и любви, которыми воодушевлены произведения философов, моралистов, художников нашего времени, как может такой человек взять ружье или стать к пушке и целиться в толпы ближних, желая убить их как можно больше?

Ассириане, римляне, греки могли быть уверены, что, воюя, поступают не только согласно с своей совестью, но совершают даже доброе дело. Но ведь, хотим мы или не хотим этого, мы христиане, и христианство, как бы оно ни было извращено, общий дух его, не мог не поднять нас на ту высшую ступень разума, с которой мы уже не можем не чувствовать всем существом своим не только безумия, жестокости войны, но совершенной противуположности всему, что мы считаем хорошим и должным. И потому мы не можем делать того же не только уверенно, твердо и спокойно, но без сознания своей преступности, без отчаянного чувства того преступника-убий- цы, который, начав убивать свою жертву и сознавая в глубине души преступность начатого дела, старается одурманить, раздражить себя, чтобы быть в состоянии докончить ужасное дело. Всё это неестественное, лихорадочное, горячечное, безумное возбуждение, охватившее теперь праздные верхние слои русского общества, есть только признак сознания преступности совершаемого дела. Все эти наглые, лживые речи о преданности, обожании монарха, о готовности жертвовать жизнью (надо бы сказать чужой, а не своей), все эти обещания отстаивания грудью чужой земли, все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами, все эти молебны, все эти приготовления простынь и бинтов, все эти отряды сестер милосердия, все эти жертвы на флот и Красный Крест, отдаваемые тому правительству, прямая обязанность которого в том, чтобы, имея возможность собирать с народа сколько ему нужно денег, объявив войну, завести нужный флот и нужные средства перевязки раненых, все эти славянские напыщенные, бессмысленные и кощунственные молитвы, про произнесение которых в разных городах газеты сообщают, как про важную новость, все эти шествия, требования гимна, крики «ура», вся эта

ужасная, отчаянная, не боящаяся обличения, потому что всеобщая, газетная ложь, всё это одурение и озверение, в котором находится теперь русское общество и которое передается понемногу и массам,– всё это есть только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается.

Непосредственное чувство говорит людям, что не должно быть того, что они делают, но как тот убийца, который, начав резать свою жертву, не может остановиться, так и русским людям кажется теперь неопровержимым доводом в пользу войны то, что дело начато. Война начата, и потому надо продолжать ее. Так это представляется самым простым, заблудщим, неученым людям, действующим под влиянием мелких страстей и одурения, которому они подверглись. И точно так же рассуждают самые ученые люди наще- го времени, доказывая то, что человек не имеет свободы воли, и потому, если бы он и понял, что начатое им дело нехорощо, он не может остановиться.

И ощалевщие, озверевшие люди продолжают ужасное дело.

IV

«Удивительно, до какой степени, благодаря дипломатии и журналам, может самое ничтожное несогласие превратиться в священную войну. Когда Англия и Франция объявили войну России в 1856 году, то это произошло по такому ничтожному обстоятельству, что надо долго рыться в дипломатических архивах, чтобы понять эту причину. А вместе с тем последствиями этого странного недоразумения была смерть 500 тысяч добрых людей и израсходование от 5 до 6 миллиардов.

В сущности, причины были, но такие, в которых не признаются. Наполеон III хотел посредством союза с Англией и счастливой войны утвердить свою преступного происхождения власть; русские хотели захватить Константинополь; англичане хотели утвердить могущество своей торговли и помешать влиянию русских на Востоке. Под одним или другим видом это всегда тот же дух завоевания и насилия».

Рише.

«Может ли быть что-нибудь нелепее того, что человек имеет право убить меня, потому что он живет на той стороне реки и что его государь в ссоре с моим, хотя я и не ссорился с ним?»

Паскаль.

«Обитатели земной планеты находятся еще в таком состоянии нелепости, неразумия, тупости, что каждый день читаешь в журналах цивилизованных стран обсуждение дипломатических отношений глав государств, имеющих целью союзы против предполагаемого врага, приготовление войн, при которых народы позволяют своим руководителям располагать ими как скотом, ведомым на бойню, как будто и не подозревая того, что жизнь каждого человека есть его личная собственность.

Обитатели этой странной планеты все воспитаны в убеждении, что есть народы, границы, знамена, и все имеют такое слабое сознание человечности, что это чувство совершенно исчезает перед представлением отечества... Правда, что если бы мыслящие люди сумели согласиться, это положение изменилось бы, так как лично никто не желает войны... Но есть такие политические сцепления, вследствие которых могут существовать миллионы паразитов».

Фламмарион.

«Когда изучаешь не поверхностно, но основательно различные деятельности человеческие, то нельзя воздержаться от следующего печального размышления: сколько тратится жизней для продолжения на земле царства зла и как этому злу содействует больше всего учреждение постоянных армий.

Удивление и чувство печали увеличивается еще при мысли о том, что всё это ненужно и что это зло, принимаемое так благодушно огромным большинством людей, происходит только от их глупости, только оттого, что они позволяют относительно малому числу людей искусных и развращенных эксплуатировать себя».

Патрис Ларрок.

Спросите у бросившего старых родителей, жену, детей солдата-рядового, ефрейтора, унтер-офицера, зачем он готовится убивать неизвестных ему людей,– он сначала удивится вашему вопросу. Он солдат, присягал и должен исполнять приказания начальства. Если же вы скажете ему, что война, т. е. убийство людей, не сходится с заповедью «не убий», то он скажет: «А как же, коли на наших нападают? За царя, за веру православную». (Один на мой вопрос сказал мне: – А как же, коли он на святыню нападет? – На какую? – На знамя.) Если же вы попытаетесь объяснить такому солдату, что заповедь Бога важнее не только знамени, но всего на свете, то он замолчит или рассердится и донесет начальству.

Спросите офицера, генерала, зачем он идет на войну,– он скажет вам, что он военный, а что военные необходимы для зашиты отечества. То же, что убийство не сходится с духом христианского закона, не смушает его, потому что он или не верит в этот закон или, если и верит, то не в самый закон, а в то разъяснение, которое дано этому закону. Главное же то, что он, так же как и солдат, на место вопроса личного, что ему делать, всегда подставляет вопрос обший о государстве, отечестве. «В теперешнее время, когда отечество в опасности, надо действовать, а не рассуждать», скажет он.

Спросите дипломатов, которые своими обманами подготавливают войны, зачем они делают это. Они скажут вам, что цель их деятельности в установлении мира между народами и что цель эта достигается не идеальными, неосуществимыми теориями, а дипломатической деятельностью и готовностью к войне. И точно так же, как военные вместо вопроса о своей жизни поставят вопрос общий, так и дипломаты будут говорить об интересах России, о недобросо

вестности других держав, об европейском равновесии, а не о своей жизни и деятельности.

Спросите журналистов, зачем они своими писаниями возбуждают людей к войне,– они скажут, что войны вообще необходимы и полезны, в особенности же теперешняя война, и подтвердят это свое мнение неясными патриотическими фразами и, точно так же как военные и дипломаты, на вопрос о том, почему он, журналист, определенная личность, живой человек, поступает известным образом, будет говорить об общих интересах народа, государстве, цивилизации, белой расе.

Точно так же объяснят свое участие в деле войны все подготовители ее. Они, пожалуй, согласны в том, что желательно было бы уничтожить войну, но теперь это невозможно, теперь они, как русские и как люди, занимающие известные положения предводителя, земца, врача, деятеля Красного Креста, призваны действовать, а не рассуждать. Некогда рассуждать и о себе думать, скажут они, когда есть великое общее дело.

То же скажет кажущийся виновником всего дела царь. Он, так же как солдат, удивится вопросу о том, нужна ли теперь война. Он не допускает даже мысли о том, что можно было бы теперь прекратить войну. Он скажет, что он не может не исполнять того, что требует от него весь народ, что, хотя он и признает войну великим злом и употреблял и готов употреблять все средства для уничтожения ее, в данном случае он не мог не объявить ее и не может не продолжать ее. Это необходимо для блага и величия России.

Все эти люди на вопрос о том, почему он, такой-то, Иван, Петр, Николай, признавая для себя обязанность христианского закона, запрещающего не только убийство ближнего, но требующего любви к нему, служения ему, позволяют себе участие в войне, то есть в насилии, в грабеже, убийстве,– одинаково всегда ответят тем, что поступают они так во имя или отечества, или веры, или присяги, или чести, или цивилизации, или будущего блага всего человечества, вообще чего-то отвлеченного и неопределенного. Кроме того, все эти люди всегда так усиленно заняты или приготовлениями к войне, или распоряжениями, или рассуждениями о ней, что в свободное время могут только отдыхать от своих трудов и не имеют времени заниматься рассуждениями о своей жизни, которые они считают праздными.

V

«Мысль с ужасом останавливается перед неизбежно ожидающей нас в конце века катастрофой, и надо приготавливаться к ней. В про- должени! 20 лет (теперь уже более 40) все усилия знания истощаются на то, чтобы изобретать орудия разрушения, и скоро будет доста

точно нескольких пушечных выстрелов, чтобы уничтожить целую армию; под ружьем теперь уже не так, как прежде, несколько тысяч продажных бедняков, но народы, целые народы готовятся убивать друг друга. Для того чтобы приготовить их к убийству, разжигают их ненависть, уверяя их, что они ненавидимы, и кроткие люди верят этому, и вот-вот толпы мирных граждан, получив нелепое приказание убивать друг друга. Бог знает из-за какого смешного распределения границ или каких-нибудь торговых, колониальных интересов, бросятся друг на друга с жестокостью диких зверей.

И пойдут они, как бараны, на бойню, зная, куда они идут, зная, что они оставляют своих жен, что дети их будут голодать; но они будут идти, до такой степени опьяненные звучными и лживыми словами, до такой степени обманутые, что, воображая, что бойня составляет их обязанность, будут просить Бога благословить их кровавые дела. И будут они идти, растаптывая урожаи, которые они сеяли, сжигая города, которые они строили, с восторженным пением, криками радости, праздничной музыкой, будут идти без возмущения, покорные и смиренные, несмотря на то, что в них сила и что, если бы они могли согласиться, они установили бы здравый смысл и братство вместо диких хитростей дипломатов».

Э. Род.

«Очевидец рассказывает, что он в нынешнюю русско-японскую войну увидал, войдя на палубу Варяга. Зрелище была ужасно. Везде кровь, обрывки человеческого мяса, туловища без голов, оторванные руки, запах крови, от которого тошнило самых привычных. Боевая башня более всех пострадала. Гранату разорвало на ее вершине и убило молодого офицера, который руководил наводкой. От несчастного осталась только сжатая рука, державшая инструмент. Из четырех людей, бывших с командиром, два были разорваны в куски, два другие сильно ранены (это те, о которых я рассказывал и которым отрезали обе ноги и потом должны были еще раз отрезать их); командир отделался ударом осколка в висок.

И это не всё. Нейтральные не могут принять на свои пароходы раненых, потому что гангрена и горячка заразительны.

Гангрена и гнойные госпитальные заражения составляют вместе с голодом, пожаром, разорениями, болезнями, тифом, оспой тоже часть военной славы,— такова война.

А между тем Жозеф Местр так воспевал благодеяния войны: „Когда человеческая душа вследствие изнеженности теряет свою упругость, становится неверующей и усваивает гнилостные пороки, которые следуют за излишками цивилизации, она может быть восстановлена только в крови".

Господин Вогюе, академик, так же как и г. Брюнетьер, говорят почти то же самое.

Но бедняки, из которых делается пушечное мясо, имеют право не соглашаться с этим.

К несчастью, они не имеют мужества своих убеждений. От этого всё зло. Привыкнув издавна позволять убивать себя ради вопросов, которые они не понимают, они продолжают это делать, воображая, что всё идет очень хорошо.

От этого-то теперь там лежат трупы, которые под водой поедают морские раки.

в то время когда картечь разбивала всё вокруг них, едва ли они рады были думать, что всё это делается для их блага, чтобы восстановить душу их современников, потерявшую свою упругость от излишка цивилизации.

Несчастные, вероятно, не читали Жозефа Местра. Я советую раненым читать его между двумя перевязками.

Они узнают, что война так же необходима, как и палач, потому что, как и он, она есть проявление справедливости Бога.

И эта великая мысль будет служить им утешением в то время, когда пила хирурга будет распиливать их кости».

«В „Русских Ведомостях" я прочла рассуждение о том, что выгода России в том, что у нее неистощимый человеческий материал.

Для детей, у которых убьют отца, у жены — мужа, у матери — сына, материал этот истощается скоро».

Hardouin.

(Из частного письма русской матери. Март, 1904 г.)

«Вы спрашиваете, необходима ли *еще* война между цивилизованными народами. Я отвечаю: не только *уже* не необходима, но никогда и не была необходима, никогда. Она всегда нарушала правильное историческое развитие человечества, нарушала право, задерживала прогресс.

Если последствия войн иногда и бывали выгодны для общей цивилизации, то вредных последствий было гораздо больше. Мы обманываемся потому, что только часть вредных последствий тотчас же очевидна. Большая часть их, и самых важных, незаметны нам. И потому мы не можем допустить слово «еще». Допущение этого слова дает право защитникам войны утверждать, что спор между нами есть дело только временного соответствия и личной оценки, и разногласие наше тогда сведется к тому, что мы считаем войну бесполезной, тогда как они считают ее еще полезной. Они охотно согласятся с нами, с такой постановкой вопроса, и скажут, что война, действительно, может сделаться бесполезной и даже вредной, но только завтра, но не нынче; нынче же они считают нужным произвести над народом те страшные кровопускания, называемые войнами, которые совершаются только для удовлетворения личных честолюбий самого малого меньшинства.

Потому что такова была и такова теперь единственная причина войн: власть, почести, богатства малого числа людей в ущерб массам, естественное легковерие которых и предрассудки, вызываемые и поддерживаемые этим меньшинством, дают эту возможность».

Гастон Мох.

Люди нашего христианского мира и нашего времени подобны человеку, который, пропустив настоящую дорогу, чем дальше едет, тем всё больше и больше убеждается в том, что едет не туда, куда надобно. И чем больше он сомневается в верности пути, тем быстрее и отчаяннее гонит по нем, утешаясь мыслью, что куда-нибудь да выедет. Но проходит время, когда становится совершенно ясно, что путь, по которому он едет, никуда не приведет, кроме как к пропасти, которую он начинает уже видеть перед собой.

в таком положении находится теперь христианское человечество нашего времени. Ведь совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь, руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств одним желанием блага себе и своему государству, и будем, как теперь, обеспечивать это благо насилием, то, неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга и государства против государства, мы, во-первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося ббльшую часть своей производительности на вооружение; во-вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться.

Что это так будет, если мы не изменим нашей жизни, это так же верно, как математически верно то, что две непараллельные линии должны встретиться. Но мало того, что это теоретически верно: в наше время это становится верно уже не для одного рассудка, но и для чувства. Пропасть, к которой мы идем, уже становится видна нам, и самые простые, не философствующие, неученые люди не могут не видеть того, что, всё больше и больше вооружаясь друг против друга и истребляя друг друга на войнах, мы, как пауки в банке, ни к чему иному не можем прийти, как только к уничтожению друг друга.

Искреннему, сериозному, разумному человеку нельзя уже утешать себя мыслью о том, что дело может исправить, как это думали прежде, всемирная монархия Рима, Карла Великого, Наполеона, средневековая духовная власть папы, или священные союзы, или политическое равновесие европейского концерта и мирные международные судилища, или, как думали некоторые, увеличение военных сил и вновь изобретенные могущественные орудия истребления.

Устроить всемирную монархию или республику с европейскими штатами невозможно, потому что различные народы никогда не захотят соединиться в одно государство. Устроить международные судилища для решения международных споров? Но кто же заставит подчиниться решению судилища тяжущегося, у которого под ружьем миллионы войска? Разоружиться? Никто не хочет и не может начинать.. Придумать еще более ужасные средства истребления: баллоны с начиненными удушливыми газами бомбами, снарядами, которыми люди будут посыпать друг друга? Что бы ни придумали, все государства заведутся такими же орудиями истребления, пушечное же мясо, как после холодного оружия шло под пули и после пуль покорно шло под гранаты, бомбы, дальнобойные орудия, кар- течницы, мины, пойдет и под высыпаемые из баллонов бомбы, начиненные удушливыми газами.

Ничто очевиднее речей господина Муравьева и профессора Мартенса о том, что японская война не противоречит Гаагской конференции мира, ничто очевиднее этих речей не показывает, до какой степени среди нашего мира извращено орудие передачи мысли – слово и совершенно потеряна способность ясного, разумного мышления. Мысль и слово употребляются не на то, чтобы служить руководством человеческой деятельности, а на то, чтобы оправдывать всякую деятельность, как бы она ни была преступна. Последняя бурская война и теперь японская, которая всякую минуту может перейти во всеобщую бойню, без малейшего сомнения доказали это. Все антимилитаристические рассуждения так же мало могут содействовать прекращению войны, как самые красноречивые, убедительные, обращенные к грызущимся собакам доводы о том, что им выгоднее разделить тот кусок мяса, за который они грызутся, чем перекусать друг друга и лишиться куска мяса, который унесет прохожая, неучаствующая в драке собака.

Мы разогнались к пропасти и не можем остановиться и летим в нее.

Для всякого разумного человека, думающего о том положении, в котором находится теперь человечество, и о том, к которому оно неизбежно приближается, не может не быть очевидно, что практического выхода из этого положения нет никакого, что нельзя придумать никакого такого устройства, учреждения, которое спасло бы нас от той погибели, к которой мы неудержимо стремимся.

Не говоря уже об экономических неразрешимых и всё усложняющихся и усложняющихся опасностями, взаимные отношения вооружающихся друг против друга держав, всякую минуту готовые разразиться и разражающиеся войнами, ясно указывают на ту неизбежную гибель, к которой влечется всё так называемое цивилизованное человечество.

Так что же делать?

VI

«Заканчивая свою миссию, Иисус установил основание нового общества. До него народы принадлежали одному или многим господам, как стада принадлежат своим хозяевам... Князья и сильные давили народ всей тяжестью своей гордости и корыстолюбия. Иисус кладет конец этому неустройству, поднимает согбенные головы, освобождает рабов. Он научает их тому, что, будучи равными перед Богом, люди свободны друг перед другом, что никто не может иметь сам по себе власти над своими братьями, что равенство и свобода — божественные законы человеческого рода — ненарушаемы; что власть не может быть правом, что в общественном устройстве она есть должность, служение, некоторого рода рабство, свободно принятое на себя в виду общего блага. Таково общество, которое устанавливает Иисус. Это ли

мы видим в мире? Это ли учение царствует на земле? Слуги или господа князья народов в нашем мире? В продолжение 18 веков поколение за поколением передают друг другу учение Христа и говорят, что верят в него; а что же изменилось в мире? Народы, раздавленные и страдающие, все ждут обещанного освобождения, и не оттого, чтобы слово Христа было неверно или недействительно, но оттого, что народы или не поняли, что осуществление учения должно совершиться их собственными усилиями, их твердой волей, или, заснувши в своем унижении, не делали того одного, что дает победу,— не готовы были умереть за истину. Но они проснутся. Уже что-то шевелится среди них; они слышат уже голос, который говорит; спасение близко».

Ламенэ.

«Нельзя не признать того, что XIX век стремится ступить на новый путь. Люди этого века начинают понимать, что должны существо- вать законы и суды и для народов и что преступления народа против народа, хотя и совершаемые в великих размерах, не менее ненавистны, чем преступления человека против человека».

Кетлэ.

«Все люди одного происхождения, подлежат одному закону и все предназначены к одной цели.

И потому у нас должна быть одна вера, одна цель поступков, одно знамя, под которым все должны сражаться. Поступки, слезы и мученичество есть общий всему человечеству язык, который понимают все».

Иосиф Мадзини.

«...Нет, призываю в свидетели возмущение совести всякого человека, который видел, как текла кровь его сограждан, или был причиной этого,— недостаточно одной головы, чтобы нести тяжесть стольких убийств. Надо было бы столько же голов, сколько есть сражающихся. Для того чтобы быть ответственными за закон крови, который они устанавливают, нужно бы было, чтобы они по крайней мере понимали его. Но лучшие учреждения, о которых здесь идет речь, будут всё-таки только временными, потому что, повторяю еще раз, армии и война должны кончиться; несмотря на слова софиста, которого я опровергал в другом месте, неправда, чтобы война даже против чужеземца была *священна,* неправда, чтобы земля *алкала крови.* Война проклята Богом и даже теми людьми, которые в ней участвуют и которые испытывают от нее тайный ужас. Земля же просит у неба воды своих рек и чистой росы ее облак».

Альфред де Виньи.

«Человек также мало сотворен для того, чтобы принуждать, как и для того, чтобы повиноваться. Люди взаимно портятся от этих двух привычек. Тут одурение, там наглость, и нигде истинного человеческого достоинства».

Консидеран.

«Если бы мои солдаты начали думать, ни один не остался бы в войске».

Фридрих II.

Две ТЫСЯЧИ лет тому назад Иоанн Креститель и за ним Христос говорили людям: «исполнилось время и приблизилось царство Бо

жие, одумайтесь (^exavoEixe) и веруйте в Евангелие» (Марка I, 15). И «если не одумаетесь, все погибнете» (Луки XIII, 5).

Но люди не послушали его. И та погибель, которую он предсказывал, уже близка. И мы, люди нашего времени, не можем не видеть ее. Мы погибаем уже и потому не можем пропустить мимо ушей того, старого по времени, но нового для нас, средства спасения. Мы не можем не видеть того, что кроме всех других бедствий, проистекающих из нашей дурной, неразумной жизни, одни военные приготовления и неизбежные вследствие них войны неминуемо должны погубить нас. Мы не можем не видеть, что все придумываемые людьми практические средства избавления от этих зол оказываются и должны оказываться бессильными и что бедственность положения народов, вооружающихся друг против друга, не может не идти всё усиливаясь и усиливаясь. И потому слова Христа, больше чем когда-нибудь и к кому-нибудь, относятся к нам и нашему времени.

Христос говорил: одумайтесь, т. е. каждый человек остановись в своей начатой деятельности и спроси себя: кто ты? откуда ты взялся и в чем твое назначение? И, ответив на эти вопросы, соответственно ответу реши, свойственно ли твоему назначению то, что ты делаешь. И стоит только каждому человеку нашего мира и времени, то есть человеку, знающему сущность христианского учения, на минуту остановиться в своей деятельности, забыть то, чем его считают люди: императором, солдатом, министром, журналистом, и сериозно спросить себя: кто он и в чем его назначение,– чтобы усомниться в полезности, законности, разумности своей деятельности. Прежде чем я император, солдат, министр, журналист,– должен ответить себе всякий человек нашего времени и христианского мира,– прежде всего я человек, т. е. ограниченное существо, посланное высщей волей в бесконечный по времени и пространству мир для того, чтобы, пробыв в нем мгновенье, умереть, т. е. исчезнуть из него. И потому все те личные, общественные и даже общечеловеческие цели, которые я могу ставить себе и которые ставят мне люди, вследствие краткости моей жизни, так же как и вследствие бесконечности жизни мира, все ничтожны и должны быть подчинены той высщей цели, для достижения которой я послан в мир. Конечная цель эта, вследствие моей ограниченности, недоступна мне, но она есть (как должна быть цель всего существующего), и мое дело в том, чтобы быть орудием ее, то есть назначение мое в том, чтобы быть работником Бога, исполнять Его дело. И поняв так свое назначение, всякий человек нащего мира и времени, от императора до солдата, не может не посмотреть иначе на те обязанности, которые он сам или люди наложили на него.

Прежде чем меня короновали, признали императором,– должен сказать себе император,– прежде чем я обязался исполнять свои обязанности главы государства, я тем самым, что живу, обещался исполнить то, чего требует от меня та высшая воля, которая послала меня в жизнь. Требования эти я не только знаю, но чувствую в своем сердце. Они состоят в том, как это выражено в христианском законе, который я исповедую, чтобы я покорялся воле Бога и исполнял то, чего она хочет от меня, любил бы ближнего, служил ему, поступал бы с ним, как я хочу чтобы поступали со мной. То ли я делаю, управляя людьми, предписывая насилия, казни и самое ужасное дело – войны?

Люди говорят мне, что я должен делать это. Бог же говорит, что я должен делать совершенно другое. И потому, сколько бы мне ни говорили, что я, как глава государства, должен руководить насилиями, сборами податей, казнями и, главное, войной, т. е. убийством ближнего, я не хочу и не могу этого делать.

И то же самое должен сказать себе солдат, которому внушено, что он должен убивать людей, и министр, считавший своей обязанностью приготовления к войне, и журналист, возбуждающий к войне, и всякий человек, задавший себе вопрос о том, что он такое, в чем его назначение в жизни. А как только глава государства перестанет распоряжаться войной, солдат перестанет воевать, министр готовить средства к войне, журналист возбуждать к ней, так без всяких новых учреждений, приспособлений, равновесий, судилищ, само собою уничтожится то безвыходное положение, в которое поставили себя люди не только по отношению к войне, но и ко всем тем бедствиям, которые они сами наносят себе.

Так что, как ни странно это кажется, самое верное и несомненное избавление людей от всех бедствий, которые они сами наносят себе, и от самого ужасного из них – от войны достигается не какими-либо внешними обшими мерами, а только тем простым обращением к сознанию каждого отдельного человека, которое 1900 лет тому назад предлагал Христос,– тем, чтобы каждый человек одумался, спросил себя: кто он? зачем он живет и что ему должно и что не должно делать?

VII

«Существует распространенное мнение, что религия не составляет постоянного элемента человеческой природы. Многие говорят нам, что это только один из фазисов мысли и чувства, свойственный людям в ранний и сравнительно некультурный период жизни людей; что это нечто такое, из чего человек постепенно вырастает и должен оставить позади себя.

Мы можем смотреть спокойно на этот вопрос, потому что если религия есть только суеверие, то, очевидно, мы должны вырасти из нее. Если же религия свойственна высшей и лучшей человеческой жизни, то христианское исследование этого вопроса должно показать нам это. Если вы на каждой монете находите отпечаток, и отпечаток этот один и тот же, то вы должны быть уверены, несомненно убеждены, что то, что кладет отпечаток на каждую монету, есть нечто действительно существующее. Так что везде, где вы находите всеобщее и постоянное характеристическое свойство в человеческой природе или природе какого-либо другого существа, вы можете быть совершено уверены, что в мире есть нечто соответствующее этому, что вызвало это свойство. Вы находите человека всегда и везде религиозным существом. Вы находите его везде верующим в то, что его окружает неведомый мир. На основании какой бы теории вы ни смотрели на весь мир, мир сделал нас тем, что мы есмы, и если мир не есть обман, то и то, что соответствует этому миру в нас,— есть тоже действительность, потому что действительный мир вызвал в нас эти свойства».

Саведж.

«Религия есть высший и благороднейший деятель в воспитании человека, величайшая сила цивилизации, между тем как внешние проявления веры и политическая эгоистическая деятельность суть главные препятствия прогресса человечества. Деятельность и духовенства и государства противоположны религии. Наше исследование показало, что сущность религии, вечная и божественная, одинаково наполняет сердце человека везде, где только оно чувствует и бьется. Логический вывод наших исследований указывает нам на единую основу всех великих религий, на единое учение, развивающееся с самого начала жизни человечества до настоящего дня...»

«В глубине всех вер течет поток единого, вечного откровения, *единой религии* слова Божьего, обращенного к человеку.

Пускай парсы носят свои таавиды, евреи свои филактерии, христиане свой крест, мусульмане свой полумесяц, но пусть все они помнят, что это только формы и эмблемы, тогда как основная сущность всех религий — любовь к ближнему — одинаково требуется Ману, Зоро- астром. Буддой, Моисеем, Сократом, Гиллелем, Иисусом, Павлом, Магометом».

Морис Флюгель.

«Ни одно общество не может существовать без общей веры и общей цели; политическая деятельность есть приложение, религия устанавливает принцип. Где нет этой общей веры, там правит воля большинства, состоящая в постоянной переменчивости и угнетении остальных. Без Бога можно принуждать людей, но нельзя убедить. Без Бога большинство будет тираном, а не воспитателем людей...

То, что нам нужно, что нужно народу, то, чего требует наш век для того, чтобы найти выход из той грязи эгоизма, сомнения и отрицания, в которые он погружен,— это вера, в которой наши души могли бы перестать блуждать в отыскивании личных целей, могли бы все идти вместе, признавая одно происхождение, один закон, одну цель. Всякая сильная вера, которая возникает на развалинах старых, изжитых верований, изменяет существующий общественный порядок, так

как каждая сильная вера неизбежно прилагается ко всякой отрасли человеческой деятельности...

Человечество повторяет в различных формулах и различных степенях слова молитвы Господней; „да приидет царство Твое на земле, как и на небе“».

Мадзини.

«Человек может рассматривать себя как животное среди животных, живущих сегодняшним днем, он может рассматривать себя и как члена семьи и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже непременно должен (потому что к этому неудержимо влечет его разум) рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому разумный человек всегда устанавливал, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, свое отношение ко всему бесконечному по времени и пространству и потому непостижимому для него миру, понимая его как одно целое. И такое установление отношения человека к тому непостижимому целому, которого он чувствует себя частью и из которого он выводит руководство в своих поступках, и есть то, что называлось и называется религией. И потому религия всегда была и не может перестать быть необходимостью и неустранимым условием в жизни разумного человека и разумного человечества».

«Истинная религия есть такое установленное человеком отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками».

Л. Толстой.

«Религия (рассматриваемая объективно) есть признание всех наших обязанностей заповедями Бога.

Есть только одна истинная религия, хотя может быть много разных вер.

Кант.

Зло, ОТ которого страдают люди нашего времени, происходит оттого, что большинство их живет без того, чтб одно дает разумное руководство человеческой деятельности – без религии, не той религии, которая состоит в вере в догматы, в исполнение обрядов, доставляющих приятное развлечение, утешение, возбуждение, а той религии, которая устанавливает отношение человека ко Всему, к Богу, и потому дает общее высшее направление всей деятельности человеческой, без которой люди становятся на уровень животных и даже ниже их. Зло это, ведущее людей к неизбежной погибели, проявилось с особенной силой в наще время, потому что, утратив разумное руководство в жизни и направив все свои усилия на открытия и усоверщенствования в области знаний преимущественно прикладных, люди нащего времени выработали себе огромную власть над силами природы; не имея же руководства для разумного приложения этой власти, они естественно стали употреблять ее на удовлетворение своих самых низких, животных побуждений.

Лишенные религии люди, обладая огромной властью над силами природы, подобны детям, которым дали бы для игры порох или гремучий газ. Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, и на то, как они употребляют его, чувствуется, что по степени своего нравственного развития люди не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефонами, фотографиями, беспроволочными телеграфами, но даже простым искусством обработки железа и стали, потому что все эти усовершенствования и искусства они употребляют только на удовлетворение своих похотей, на забавы, разврат и истребление друг друга.

Что же делать? Отбросить все те усовершенствования жизни, всё то могущество, которое приобрело человечество? Забыть то, чтб оно узнало? Невозможно. Как ни зловредно употребляются эти умственные приобретения, они всё-таки приобретения, и люди не могут забыть их. Изменить те соединения народов, которые образовались веками и установить новые? Придумать такие новые учреждения, которые помешали бы меньшинству обманывать и эксплуатировать большинство? Распространить знания? Всё это испробовано и делается с большим усердием. Все эти мнимые приемы исправления составляют главное средство самозабвения, отвлечения себя от сознания неизбежной гибели. Изменяются границы государств, изменяются учреждения, распространяются знания, но люди в других пределах, с другими учреждениями, с увеличенными знаниями остаются теми же зверями, готовыми всякую минуту разорвать друг друга, или теми рабами, какими всегда были и будут, пока будут руководиться не религиозным сознанием, а страстями, рассудком и посторонними внушениями.

Человеку нет выбора: он должен быть рабом наиболее бессовестного и наглого, чем другие, раба или – Бога, потому что для человека есть только одно средство быть свободным; это соединение своей воли с волей Бога. Лишенные религии люди, одни, отрицающие самую религию, другие, признающие религией те внешние, уродливые формы, которые заменили ее, и руководимые только своими личными похотями, страхом, человеческими законами и, главное, взаимным гипнозом, не могут перестать быть животными или рабами, и никакие внешние усилия не могут вывести их из этого состояния, потому что только религия делает человека свободным.

А большинство людей нашего времени лишено ее.

VIII

«Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что несогласно с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты исполнил всю задачу своей жизни...»

«Никто не может насиловать твою волю, на нее нет ни вора, ни разбойника; не желай неразумного, желай общего блага, а не личного, как большая часть людей. Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы не попасть в ряды умалишенных...»

«Помни, что есть Бог, который хочет не хвалы или славы людской от людей, созданных им по подобию своему, а того, чтобы они, руководясь данным им разумением, поступками своими уподоблялись ему. Ведь смоковница верна своему делу, собака, пчела также. А человек неужели не исполнит своего призвания? Но увы, эти великие святые истины меркнут в памяти твоей: суета ежедневной жизни, война, неразумный страх, немощь духа и привычка быть рабом заглушают их...»

«Ветвь, отрезанная от своего сучка, тем самым отделилась и от целого дерева. Человек при раздоре с другим человеком отрывается от всего человечества. Но ветвь отсекается посторонней рукой, человек же сам отчуждает себя от ближнего своего ненавистью и злобой, не ведая, правда, что он тем самым отрывает себя от всего человечества. Но божество, призвавшее людей, как братьев, к жизни общей, одарило их свободой после раздора снова примиряться между собой».

Марк Аврелий.

«Просвещение есть выход человека из своего, им же самим поддерживаемого ребячества. *Ребячество* состоит в его неспособности пользоваться своим разумом без руководства другого. *Им же самим поддерживается это ребячество* тогда, когда причина его лежит не в недостатке разума, но в недостатке решительности и мужества пользоваться им без руководства другого. Sapere aude'.

Имей мужество пользоваться собственным разумом. Это девиз просвещения».

Кант.

«Нужно высвободить ту религию, которую исповедовал Иисус, от той религии, предмет которой есть Иисус. И когда мы узнаем состояние сознания, составляющего основную ячейку и начало вечного Евангелия, надо будет держаться его.

Как жалкие плошки деревенской иллюминации или маленькие свечи процессии потухают перед великим чудом света солнца, так же потухнут ничтожные, местные, случайные и сомнительные чудеса перед законом жизни духа, перед великим зрелищем человеческой истории, руководимой Богом».

Амиель.

«Я признаю следующее положение не нуждающимся ни в каком доказательстве: всё, что человек думает делать угодного Богу, кроме доброй жизни, есть только религиозное заблуждение и суеверие».

Кант.

‘ Имей мужество быть мудрым *(лат.).*

«в сущности есть только одно средство почитания Бога — это исполнение своих обязанностей и поведение сообразно с законами разума».
Лихтенберг.

Но ДЛЯ ТОГО чтобы уничтожилось ТО ЗЛО, ОТ которого мы страдаем, скажут люди, увлеченные различными житейскими деятельностями, необходимо не несколько людей, а чтобы все люди одумались и чтобы, одумавшись, одинаково поняли назначение своей жизни в исполнении воли Бога и служении ближнему.

Возможно ли это?

Не только возможно,– отвечу я,– но невозможно, чтобы этого не было.

Невозможно людям не одуматься, то есть не поставить себе каждому человеку вопрос о том, кто он такое и зачем живет, потому что человек, как разумное существо, не может жить, не зная зачем он живет, и всегда ставил себе этот вопрос и всегда по мере степени своего развития отвечал на него в религиозном учении; в наше же время внутреннее противоречие, в котором чувствуют себя люди, с особенной настоятельностью вызывает этот вопрос и требует на него ответа. Невозможно же людям нашего времени ответить на этот вопрос иначе, как признанием закона жизни в любви к людям и служении им, потому что это единственный разумный для нашего времени ответ о смысле человеческой жизни, и ответ этот 1900 лет тому назад выражен в христианской религии и точно также известен огромному большинству всего человечества.

Ответ этот в скрытом состоянии живет в сознании всех людей христианского мира нашего времени, но явно не выражается и не служит руководством нашей жизни потому, что, с одной стороны, люди, которые пользуются наибольшим авторитетом, так называемые ученые, находясь в грубом заблуждении о том, что религия есть временная ступень развития человечества, пережитая им, и что люди могут жить без религии, внушают это заблуждение начинающим образовываться людям из народа; с другой стороны, потому что люди, имеющие власть, сознательно и часто бессознательно (находясь сами в заблуждении о том, что церковная вера есть христианская религия) стараются поддерживать и вызывать в народе грубые суеверия, выдаваемые за христианскую религию.

Только бы уничтожились эти два обмана, и та истинная религия, которая в скрытом состоянии уже живет в людях нашего времени, стала бы явной и обязательной.

Для того чтобы это свершилось, нужно, чтобы, с одной стороны, люди ученые поняли, что положение о братстве всех людей и правило о делании другим того, чего себе хочешь, не есть случай

ное, одно из многих человеческих рассуждении, которое может быть подчинено каким-либо другим соображениям, а есть несомненное, стоящее выше других соображений положение, вытекающее из неизменного отношения человека к бесконечному, к Богу, и есть религия и вся религия, и потому всегда обязательно.

С другой стороны,– чтобы те люди, которые сознательно и бессознательно проповедуют под видом христианства грубые суеверия, поняли, что все те догматы, таинства, обряды, которые они поддерживают и проповедуют, не только не безразличны, как они думают, а в высшей степени вредны, скрывая от людей ту единую религиозную истину, которая выражена в исполнении воли Бога, братстве людей, служении людям, и что правило о том, чтобы поступать с другими, как хочешь чтобы поступали с тобой, не есть одно из предписаний христианской религии, а вся практическая религия, как это и сказано в Евангелии.

Для того чтобы люди нашего времени одинаково поставили себе вопрос о смысле жизни и одинаково ответили на него, нужно только людям, считающим себя просвещенными, перестать думать и внушать другим поколениям, что религия есть атавизм, пережиток прошедшего дикого состояния, и что для хорошей жизни людей достаточно распространения образования, то есть самых разнообразных знаний, которые как-то приведут людей к справедливости и нравственной жизни; а понять, что для доброй жизни людей необходима религия и что религия эта есть уже и живет в сознании людей нашего времени; людям же, умышленно и неумышленно одуряющим народ церковными суевериями, перестать делать это и признать, что важно и обязательно в христианстве не крещение, причастие, исповедание догматов и т. п., а только любовь к Богу и ближнему и исполнение заповеди о том, чтобы поступать с другими, как хочешь чтобы поступали с тобой, что в этом весь закон и пророки.

Если бы только поняли это как лжехристиане, так и люди науки и проповедовали бы и детям и неученым эти простые, ясные и нужные истины так же, как они проповедуют теперь свои сложные, путаные и ненужные положения, все люди одинаково понимали бы смысл своей жизни и признавали бы одни и те же вытекающие из него обязанности.

IX

Письма крестьянина, отказавшегося от военной службы.

«1895 года Октября 15-го дня я был призван к отбыванию воинской повинности. Когда пришла очередь мне тянуть жребий, я сказал, что жребий тянуть не буду. Чиновники посмотрели на меня, потом поговорили друг с другом и спросили меня, почему я не буду тянуть.

я отвечал, что это потому, что я ни присягать, ни ружья брать не буду.

Они сказали, что это дело будет после, а жребий тянуть надо.

Я опять отказался. Тогда велели тянуть старосте жребий. Староста вытянул; оказался № 674. Записали.

Входит воинский начальник, вызывает меня в канцелярию и спрашивает; кто тебя всему этому научил, что ты не хочешь присягать?

Я ответил: сам научился, читая Евангелие.

Он говорит: не думаю, чтобы ты сам понял так Евангелие, ведь там всё непонятно; чтобы понимать, для этого надо много учиться.

На это я сказал, что Христос учил не мудрости, потому что самые простые, неграмотные люди, и те понимали его учение.

Тогда он сказал солдату, чтобы отправил меня в команду. С солдатом мы пошли на кухню, там пообедали.

После обеда стали спрашивать меня, почему не присягал?

Я сказал; потому что в Евангелии сказано; «Не клянись вовсе».

Они удивились; потом спросили: да разве это есть в Евангелии? А ну, найди.

Я нашел, прочитал, они послушали.

— Хотя и есть, а всё-таки нельзя не присягать, потому что замучат.

Я сказал на это: кто погубит земную жизнь, тот наследует жизнь вечную».

«20-го числа меня поставили в ряд с другими молодыми солдатами и рассказали нам солдатские правила. Я им сказал, что я ничего этого делать не буду. Они спросили; почему?

Я сказал: потому что, как христианин, не буду носить оружия и защищаться от врагов, потому что Христос велел любить и врагов. Они сказали; да разве только ты один христианин? Ведь мы же все христиане. Я сказал: про других я ничего не знаю, знаю только про себя, что Христос говорил делать то, что я делаю.

Воинский начальник сказал: если ты не будещь заниматься, то я тебя сгною в тюрьме.

На это я сказал: что хотите, то и делайте со мной, а служить я не буду».

«Сегодня смотрела комиссия. Генерал говорит офицерам: «Какие убеждения находит этот молокосос, что отказывается от службы? Какие-нибудь миллионы служат, а он один отказывается, его выпороть хорошо розгами, тогда он оставит свои убеждения».

«Ольховика отправили на Амур. На пароходе все говели, он отказался. Солдаты спрашивали его почему. Он объяснил. В разговор вмешался солдат Кирилл Середа. Он раскрыл Евангелие и начал читать 5-ю главу Матвея. Прочитавши, начал говорить: вот Христос запреша- ет клятву, суды и войну, а у нас всё это делается и считается за законное дело. Тут стояли, столпившись кучей, солдаты и заметили, что у Середы нет на шее креста. Его спросили; а где твой крест?

Он говорит: в сундуке.

Они опять спрашивали: почему же ты его не носишь на шее?

Он говорит: потому что я люблю Христа, а потому и не могу носить того орудия, на котором распят Христос,

Потом вошли два ефрейтора, стали говорить с Середой. Они сказали ему: почему же ты говел недавно, а теперь сбросил крест?

Он ответил так: потому что я тогда был темный, не видел света, а теперь начал читать Евангелие и узнал, что всё это не нужно делать по-христиански.

Они опять спросили: значит, и ты служить не будешь, как и Ольховик?

Он сказал, что не будет.

Они спросили: почему?

Он сказал: потому что я христианин, а христиане не должны вооружаться против людей.

Середу арестовали и вместе с Ольховиком сослали в Якутскую область, где они теперь и находятся».

Из книги «Письма П. А. Ольховика».

«27-го Января 1894 года в больнице Воронежской тюрьмы умер от воспаления легких некто Дрожжин, бывший сельский учитель. Курской губернии. Тело его брошено в могилу на острожном кладбище, как кидают туда тела всех преступников, умирающих в тюрьме. Между тем это был один из самых святых, чистых и правдивых людей, какие бывают в жизни.

В августе 1891 года он был призван к отбыванию воинской повинности, но, считая всех людей братьями и признавая убийство и насилие самым большим грехом, противным совести и воле Бога, он отказался быть солдатом и носить оружие. Точно так же, признавая грехом отдавать свою волю во власть других людей, могущих потребовать от него дурных поступков, он отказался и от присяги. Люди, жизнь которых основана на насилии и убийстве, заключили его сначала на год в одиночное заключение в Харькове, а потом перевели в Воронежский дисциплинарный батальон, где в течение 15 месяцев мучили его холодом, голодом и одиночным заключением. Наконец, когда у него от непрерывных страданий и лишений развилась чахотка и он был признан негодным к военной службе, его решили перевести в гражданскую тюрьму, где он должен был отсиживать еще 9 лет заключения. Но при доставлении его из батальона в тюрьму в сильно морозный день полицейские служители, по небрежности своей, повезли его без теплой одежды, долго стояли на улице у полицейского дома и поэтому так простудили его, что у него сделалось воспаление легких, от которого он умер через 22 дня.

За день до смерти Дрожжин сказал доктору: «Жил я хотя не долго, но умираю с сознанием, что поступил по своим убеждениям, согласно с своей совестью. Конечно, об этом лучше могут судить другие. Может быть... нет, я думаю, что я прав», сказал он утвердительно».

Из книги «Жизнь и смерть Дрожжина».

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противустать в день злый и, всё преодолевши, устоять.

Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности».

Послание Павла к Эфесянам.

Но как же поступить теперь, сейчас? – скажут мне,– у нас в России в ту минуту, когда враги уже напали на нас, убивают наших, угрожают нам,– как поступить русскому солдату, офицеру, генералу, царю, частному человеку? Неужели предоставить врагам разорять наши владения, захватывать произведения наших трудов, захватывать пленных, убивать наших? Что делать теперь, когда дело начато?

Но ведь прежде чем начато дело войны, кем бы оно ни было начато,– должен ответить всякий одумавшийся человек,– прежде всего начато дело всей моей жизни. А дело моей жизни не имеет ничего общего с признанием прав на Порт-Артур китайцев, японцев или русских. Дело моей жизни в том, чтобы исполнить волю Того, кто меня послал в эту жизнь. И воля эта известна мне. Воля эта в том, чтобы я любил ближнего и служил ему. Для чего же я, следуя временным, случайным требованиям, неразумным и жестоким, отступлю от известного мне вечного и неизменного закона всей моей жизни? Если есть Бог, то Он не спросит меня, когда я умру (что может случиться всякую секунду), отстоял ли я Юнампо с его лесными складами, или Порт-Артур, или даже то сцепление, называемое русским государством, которое Он не поручал мне, а спросит у меня; чтб я сделал с той жизнью, которую Он дал в мое распоряжение, употребил ли я ее на то, на что она была предназначена и под условием чего она была вверена мне? Исполнял ли я закон Его?

Так что на вопрос о том, что делать теперь, когда начата война, мне, человеку, понимающему свое назначение, какое бы я ни занимал положение, не может быть другого ответа, как тот, что никакие обстоятельства,– начата или не начата война, убиты ли тысячи японцев или русских, отнят ли не только Порт-Артур, но Петербург и Москва,– я не могу поступить иначе как так, как того требует от меня Бог, и потому я, как человек, не могу ни прямо, ни косвенно, ни распоряжениями, ни помощью, ни возбуждением к ней, участвовать в войне, ***не могу, не хочу и не буду.*** Что будет сейчас или вскоре из того, что я перестану делать то, что противно воле Бога, я не знаю и не могу знать, но верю, что из исполнения воли Бога не может выйти ничего, кроме хорошего, для меня и для всех людей.

Вы с ужасом говорите о том, что бы было, если бы мы, русские, сейчас перестали воевать и уступили бы японцам всё то, что они хотят от нас.

Но если справедливо то, что спасение человечества от озверения, самоистребления только в одном: установлении в людях истинной религии, требующей любви к ближнему и служения ему (в чем нельзя не согласиться), то всякая война, всякий час ее и мое участие в ней только делает более трудным и отдаленным осуществление этого единственно возможного спасения. Так что даже становясь на вашу шаткую точку зрения – определения поступков по предполагаемым их последствиям, и тогда уступка японцам со стороны русских всего того, чего они хотят от нас, кроме несомненного блага прекращения разорения и убийства, было бы приближением к единственному средству спасения человечества от его погибели, тогда как продолжение войны, чем бы она ни кончилась, было бы отдалением от единственного средства спасения.

Но если это и так, говорят на это, то прекратиться войны могут только тогда, когда все люди или большинство их откажется от участия в них. Отказ же одного человека, будет ли он царь или солдат, только напрасно, без всякой пользы для кого бы то ни было погубит его жизнь. Откажись теперь русский царь от войны, его свергли бы с престола, может быть, убили бы, чтобы избавиться от него; откажись от военной службы обыкновенный человек, его отдадут в дисциплинарный батальон, а может быть, и расстреляют. Для чего же без всякой пользы губить свою жизнь, могущую быть полезной обществу? – говорят обыкновенно люди, не думавшие о значении всей своей жизни и потому не понимающие его.

Но не то чувствует и говорит человек, понимающий назначение своей жизни, то есть человек религиозный. Такой человек руководится в своей деятельности не предполагаемыми последствиями своих поступков, а сознанием своего назначения в жизни. Фабричный рабочий идет на фабрику и делает на ней предписанное ему дело без соображения о том, какие будут последствия его работ. Так же поступает солдат, исполняя волю начальства. То же делает религиозный человек, делая то дело, которое предписано ему Богом, не рассуждая о том, что именно выйдет из его работы. И потому для религиозного человека нет вопроса о том, много или мало людей поступают так же, как он, и что с ним может случиться, если он сделает то, что должно. Он знает, что кроме жизни и смерти ничего не будет, а что жизнь и смерть в руках Бога, которому он повинуется.

Религиозный человек поступает так, а не иначе, не потому, что он хочет поступить так, или потому, что это выгодно ему или другим людям, а потому, что он, веруя в то, что жизнь его в воле Бога, не может поступить иначе.

В этом особенность деятельности религиозных людей.

и потому-то и спасение людей от тех бед, которые они причиняют сами себе, произойдет только в той мере, в которой они будут руководиться в своей жизни не выгодой, не рассуждениями, а религиозным сознанием.

X

«...Божьи люди это та таинственная соль, которая сохраняет мир, так как вещи мира сохраняются только постольку, поскольку божественная соль не теряет своей силы. «Потому что если соль потеряет свою силу, чем посолят ее? Она не может служить ни для земли, ни для навоза, но ее выбросят вон. Кто имеет уши слышать, да слышит». Что касается нас, то мы преследуемы, когда Бог дает искусителю власть нас преследовать, но когда Он не хочет нас подвергать страданиям, мы пользуемся чудесным спокойствием даже среди этого мира, который нас ненавидит, и мы полагаемся на покровительство Того, Кто сказал: «имейте доверие, я победил мир».

Цельзий говорит еще, что невозможно, чтобы все жители Азии, Европы и Ливии, как греки, так и варвары, согласились бы следовать одному и тому же закону. Думать так,— говорит он,— значит ничего не понимать». Мы же скажем, что это не только возможно, но что придет день, когда все разумные существа соединятся под одним законом. Потому что Слово или Разум покорит себе все разумные существа и преобразит их в свое собственное совершенство.

Есть болезни и раны телесные, которые не может исцелить никакое врачевание; но не то с недугами души: нет такого зла, излечение которого не было бы возможно для высшего разума, который и есть Бог».

Ориген против Цельзия.

«Я сознаю в себе силу, которая со временем преобразит мир. Она не толкает и не давит, но я чувствую, как она понемногу и неудержимо влечет меня.

И я вижу, что меня что-то притягивает так же, как я бессознательно притягиваю других.

Я увлекаю их, и они увлекают меня, и мы сознаем стремление к новому соединению. Стань в прикосновение с центральным магнитом, и ты сам станешь магнитом; и чем больше мы все сознаем свое назначение и свои силы, тем очевиднее образовывается новый мир. Мы становимся законодателями божественного закона, получая его от самого Бога, и человеческие законы вянут и ссыхаются перед нами.

И я спросил ту силу, которая была во мне; кто ты?

И она отвечала: я — Любовь, владыка неба, и хочу быть Любовью — владыкой земли.

Я — могущественнейшая из всех сил небесных, и я пришла, чтобы образовать государство будущего».

Кросби.

«Можно с полным основанием сказать, что пришло к нам Царство Божие уже тогда, когда где-нибудь открыто укоренится принцип постепенного перехода церковной веры во всеобщую разумную религию, хотя бы полное осуществление этого царства было бы от нас бесконеч

но удалено, потому что в этом принципе, как в развивающемся и потом размножающемся зародыше, содержится уже всё то, что должно просветить мир и овладеть им.

В жизни мира тысячи лет, как один день. Мы должны терпеливо работать над этим осуществлением и ждать его».

Кант.

«Когда я говорю тебе о Боге, то ты не думай, что я говорю тебе о каком-нибудь предмете, сделанном из золота или серебра. Тот Бог, о котором я тебе говорю, то ты его чувствуещь в своей дуще. Ты носишь его в самом себе и своими нечистыми помыслами и отвратительными поступками оскверняешь его образ в своей душе. Перед идолом золотым, которого ты почитаешь за Бога, ты остерегаешься делать что-либо непристойное, а перед лицом того Бога, который в тебе самом всё видит и слышит, ты даже не краснеешь, когда предаешься своим гнусным мыслям и поступкам».

«Если бы только мы постоянно помнили, что Бог в нас свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог бы неотлучно пребывал в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и беседовать о нем как можно чаще».

Эпиктет.

Но как же быть с врагами, которые нападают на нас?

«Любите врагов ваших, и не будет у вас врага», сказано в «Учении Двенадцати Апостолов». И ответ этот – не одни слова, как это может казаться людям, привыкшим думать, что предписание любви к врагам есть нечто иносказательное и означает не то, что сказано, а что-то другое. Ответ этот есть указание очень ясной и определенной деятельности и ее последствий.

Любить врагов, японцев, китайцев, тех желтых людей, к которым заблудшие люди теперь стараются возбудить в нас ненависть, любить их – значит не убивать их для того, чтобы иметь право отравлять их опиумом, как делали это англичане, не убивать их для того, чтобы отнимать у них земли, как делали это французы, русские, немцы, не закапывать их живыми в землю в наказание за повреждение дороги, не связывать косами и не топить в Амуре, как делали это русские.

«Ученик не бывает выше учителя... Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его».

Любить желтых людей, которых мы называем врагами, значит не учить их под именем христианства нелепым суевериям грехопадения, искупления, воскресения и т. п., не учить их искусству обманывать и убивать людей, а учить их справедливости, бескорыстию, милосердию, любви, и не словами, а примером нашей доброй жизни.

И что же мы делали и делаем с ними?..

Так что если бы мы точно любили врагов, хотя бы теперь начали так любить врагов японцев, у нас не было бы врага.

И потому, как ни странно это может показаться людям, занятым военными планами, приготовлениями, дипломатическими соображе

ниями, административными, финансовыми, экономическими мерами, революционными, социалистическими проповедями и различными ненужными знаниями, которыми они думают избавить человечество от его бедствий,– избавление людей не только от бедствий войн, но и от всех тех бедствий, которые сами себе причиняют люди, сделается не теми императорами, королями, которые будут учреждать союзы мира, не теми людьми, которые свергнут императоров, королей, или ограничат их конституциями или заменят монархии республиками, не конференциями мира, не осуществлением социалистических проектов, не победами и поражениями на суше и на море, не библиотеками, университетами, не теми праздными умственными упражнениями, которые теперь называются наукой, а только тем, что будет всё больше и больше тех простых людей, которые, как духоборы, Дрожжины, Ольховики в России, назарены в Австрии, Гутодье во Франции, Тервей в Голландии и другие, поставив себе целью не внешние изменения жизни, а наиточнейшее исполнение в себе воли Того, кто послал их в жизнь, на это исполнение направят все свои силы. Только эти люди, осуществляя Царствие Божие в себе, в своей душе, установят, не стремясь непосредственно к этой цели, то внешнее царство Божие, которого желает всякая душа человеческая.

Спасение произойдет только одним этим, а не каким-либо другим путем. И потому то, что делается теперь, как теми, которыми, .управляя людьми, внушают им религиозные и патриотические суеверия, возбуждая их к исключительности, ненависти и человекоубийству, или теми, которые, для избавления людей от порабощения и угнетения, призывают их к насильственным, внешним переворотам или думают, что приобретение людьми очень многих, случайных, большей частью ненужных знаний само собою приведет их к доброй жизни,– всё это, отвлекая людей от того, что им одно нужно, только отдаляет их от возможности спасения.

Зло, от которого страдают люди христианского мира,– в том, что они временно лишились религии.

Одни люди, убедившись в несоответствии существующей религии и степени умственного и научного развития человечества наще- го времени, решили, что религии вообще совсем не нужно никакой, живут без религии и проповедуют бесполезность всякой, какой бы то ни было религии; другие же, держась той извращенной формы христианской религии, в которой она проповедуется теперь, точно так же живут без религии, исповедуя пустые, внешние формы, не могущие служить руководством жизни людей.

А между тем религия, отвечающая требованиям нашего времени, есть и известна всем людям и в скрытом состоянии живет в

сердцах людей христианского мира. И потому, для того чтобы религия эта стала явной и обязательной для всех людей, нужно только то, чтобы ученые люди, руководители масс, поняли, что религия нужна людям, что без религии не могут жить люди доброй жизнью и что то, что они называют наукой, не может заменить религии; люди же, власть имеющие и поддерживающие старую, пустую форму религии, поняли бы, что то, что они поддерживают и проповедуют под видом религии, есть не только не религия, но главное препятствие к тому, чтобы люди усвоили ту истинную религию, которую они уже знают и которая одна может спасти их от их бедствий.

Так что единственно верное средство спасения людей состоит только в том, чтобы перестать делать то, что мещает людям усвоить истинную религию, которая живет в сознании людей.

XI

«Изумительное и ужасное совершается в сей земле: пророки пророкают ложь, и священники господствуют посредством их, и народу моему нравится это. Но что станете делать в будущем?»

Иеремия V, 30, 31.

«Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их».

Иоан. XII, 40.

Самое прекрасное оружие есть неблагословенное оружие. И потому разумный человек не полагается на него. Он больше всего дорожит спокойствием. Он побеждает, но не радуется. Радоваться победе — значит радоваться убийству людей; тот, кто радуется убийству людей, не может достигнуть цели».

Лао-Тзе.

«Если бы путешественник увидал на каком-нибудь отдаленном острове людей, дома которых были бы обставлены заряженными орудиями и вокруг этих домов ходили бы днем и ночью часовые, он не мог бы не подумать, что на острове живут одни разбойники. Разве не то же с европейскими государствами?

Как же мало влияния имеет на людей религия, или как мы еще далеки от истинной религии!»

Лихтенберг.

Я кончал эту статью, когда прищло известие о погибели щестисот невинных жизней против Порт-Артура. Казалось бы, бесполезные страдания и смерть этих несчастных, обманутых, ни за что погибших ужасной смертью людей должны бы образумить тех, которые были причиной этой погибели. Я не говорю о Макарове и других офицерах– все эти люди знали, что и зачем они делают, и добровольно, из- за выгод, из-за честолюбия, прикрываясь очевидной, но не обличаемой только потому, что она всеобщая, ложью патриотизма, делали то,

что делали; я говорю о тех несчастных, собранных со всей России людях, которых с помощью религиозного обмана и под страхом наказания, оторвав от их честной, разумной, полезной, трудовой, семейной жизни, загнали на другой конец света, посадили на жестокую и нелепую машину убийства и, разорвав в клочки, потопили вместе с этой глупой машиной в далеком море, без всякой нужды и какой бы то ни было возможности пользы от всех тех лишений, усилий, страданий и смерти, которая их постигла.

В 1830 году, во время польской войны, посланный от Хлопицко- го в Петербург адъютант Вылежинский в разговоре с Дибичем, шедшем на французском языке, на поставленное Дибичем условие, чтобы русские войска вступили в Польшу, Вылежинский сказал:

— Monsieur 1e Marechal, je crois que de cette maniere il est de toute impossibilite que la nation polonaise accepte ce manifeste...

— Croyez-moi, l'Empereur ne fera pas de concessions.

— Je prevois done qu'il y aura guerre malheureusement, qu'il y aura bien du sang repandu, bien de malheureuses victimes.

— Ne croyez pas cela, tout au plus dix mille hommes qui periront des deux cotes et voila tout'. «Tis mille hommes et foila dout» – сказал своим немецким акцентом Дибич, вполне уверенный, что он, вместе с другим, столь же жестоким и чуждым, как и он, русской и польской жизни человеком, Николаем Павловичем, имеет полное право приговорить или не приговорить к смерти десятки, сотни тысяч русских и польских людей.

Не верится тому, что это могло быть, так это нелепо и ужасно, а между тем это было: 60 тысяч жизней кормильцев семей погибло по их воле. И теперь происходит то же самое.

Для того чтобы не пустить японцев в Манчжурию и выбить их из Кореи, понадобится по всем вероятиям не 10, а 50 и более тысяч. Не знаю, говорят ли словами Николай II и Куропаткин, как Дибич, что для этого нужно ***не более 50 тысяч жизней с одной русской стороны и только,*** но они это думают, не могут не думать, потому что дело, которое они делают, говорит за себя: тот не перестающий поток везомых теперь тысячами на Дальний Восток несчастных, обманутых

' [— Господин маршал, я думаю, что при этих условиях совершенно невозможно, чтобы польский народ согласился принять этот манифест.

— Поверьте, император не сделает уступок.

— Тогда я предвижу, что, к несчастью, будет война, много будет пролито крови, много несчастных жертв.

— Напрасно вы думаете так, самое большое погибнет с обеих сторон 10000 человек, только всего *(фр.).]*

Вылежинский прибавляет от себя: «Фельдмаршал не думал тогда, что более 60000 только русских погибнет в этой войне, не столько от неприятельского огня, сколько от болезней, и что он сам будет в том числе.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

русских крестьян,– это те самые ***не более 50 тысяч*** живых русских людей, которых Николай Романов и Алексей Куропаткин решили убить и будут убивать ради поддержания тех глупостей, грабительств и всяких гадостей, которые делали в Китае и Корее безнравственные, тщеславные люди, сидящие теперь спокойно в своих дворцах и ожидающие новой славы и новых выгод и барыщей от убийства этих 50000 ни в чем не виноватых, ничего не приобретающих своими страданиями и смертями, несчастных, обманутых русских рабочих людей. Из-за чужой земли, на которую русские не имеют никакого права, которая грабительски захвачена у законных владельцев и которая в действительности и не нужна русским, да еще из-за каких-то темных дел аферистов, хотевших в Корее наживать деньги на чужих лесах, тратятся огромные миллионы денег, то есть большая часть трудов всего русского народа, закобаляются в долги будущие поколения этого народа, отнимаются от труда его лучшие работники и безжалостно обрекаются на смерть десятки тысяч его сынов. И погибель этих несчастных уже начинается. Мало того, война ведется теми, которые затеяли ее, так дурно, небрежно: всё так не предвидено, не приготовлено, что, как и говорит одна газета, главный шанс успеха России в том, что у нее неистощимый человеческий материал. На это и рассчитывают те, которые посылают на смерть десятки тысяч русских людей.

Прямо говорится; прискорбные неудачи нашего флота должны быть возмещены на суше. По-русски это значит то, что если начальство дурно распоряжалось на море и погубило своей небрежностью не только народные миллионы, но тысячи жизней, то мы наверстаем это тем, что приговорим к смерти на суше еще несколько десятков тысяч.

Пешая саранча переходит реки так, что нижние слои тонут до тех пор, пока из потонувших образуется мост, по которому пройдут верхние. Так распоряжаются теперь и с русским народом.

И вот первый нижний слой уже начинает топиться, показывая путь другим тысячам, которые все так же погибнут.

И что же, начинают понимать свой грех, свое преступление зачинщики, распорядители и возбудители этого ужасного дела? Нисколько. Они вполне уверены, что исполняли и исполняют свою обязанность, и гордятся своей деятельностью.

Толкуют о потере храброго Макарова, который, как все согласны, мог очень искусно убивать людей, сожалеют о потонувшей хорошей машине убийства, стоившей столько-то миллионов рублей, рассуждают о том, какого найти другого, столь же искусного, как бедный, заблудший Макаров, убийцу, придумывают новые, еще более действительные орудия убийства, и все виновники этого страш

ного дела, от царя до последнего журналиста, все в один голос взывают к новым безумствам, жестокостям, к усилению зверства и человеконенавистничества.

«Макаров не один в России, и каждый поставленный на его место адмирал пойдет по его следам и будет продолжать план и мысль честно в бою погибшего Макарова», пишет «Новое время».

«Будем тепло молиться Богу о положивших души свои за святую родину, ни минуты не сомневаясь в том, что она же, родина наша, даст нам новых, столь же доблестных сынов для дальнейшей борьбы и найдет в них неисчерпаемый запас сил для достойного окончания дела», пишут «Петербургские ведомости».

«Зрелая нация не сделает другого вывода из поражения, хотя бы и неслыханного для нее, как тот, что надо продолжать, развить и закончить борьбу. Найдем же в себе новые силы; явятся новые витязи духа», пишет «Русь». И т. п.

И с еще ббльшим остервенением продолжаются убийства и всякого рода преступления. Восторгаются воинственным духом охотников, которые, застав врасплох 50 своих ближних, перерезали их всех, или заняли селение и перерезали всё население, или повесили, расстреляли обвиняемых в шпионстве, т. е. в том самом деле, которое считается необходимым и не переставая делается с нашей стороны. И о таких злодеяниях доносится торжественными телеграммами главному распорядителю их, царю, который посылает своим доблестным войскам благословение на продолжение таких дел.

Разве не ясно, что если есть спасение из этого положения, то только одно: то, которое проповедует Христос.

Ищите Царствия Божия и правды Его (того, которое внутри нас) ***и остальное,*** то есть всё то практическое благо, к которому может стремиться человек, само собою осуществится.

Таков закон жизни; практическое благо достигается не тогда, когда человек стремится к этому практическому благу – такое стремление, напротив, большей частью отдаляет человека от достижения того, чего он ищет,– а только тогда, когда человек, не думая о достижении практического блага, стремится к наисовер- щенному исполнению того, чтб он перед Богом, перед Началом и Законом своей жизни считает должным. Тогда только, попутно, достигается и практическое благо.

Так что истинное спасение людей одно: исполнение воли Бога каждым отдельным человеком в себе, т. е. в той части мира, которая одна подлежит его власти. В этом главное, единственное назначение каждого отдельного человека, и это вместе с тем единствен

ное средство воздействия на других каждого отдельного человека; и потому на это, и только на это, должны быть направлены все усилия каждого человека.

XII

Только что отослал последние листы статьи о войне, как пришло ужасное известие о новом злодеянии, совершенном над русским народом теми легкомысленными, ошалевшими от власти людьми, которые присвоили себе право распоряжаться им. Опять наряженные в разные пестрые наряды, раболепные и грубые рабы рабов, разных сортов генералы, из-за желания отличиться или насолить один другому, или заслужить право присоединить к своим дурацким пестрым нарядам еще звездочку, побрякушку или ленточку, или по глупости, или по неряшеству,– опять эти ничтожные, жалкие люди погубили в страшных страданиях несколько тысяч тех почтенных, добрых, трудолюбивых рабочих людей, которые кормят их. И опять это злодеяние не только не заставляет задуматься или покаяться виновников этого дела, но и слышишь и читаешь только о том, как бы поскорее еще искалечить и убить побольше людей и еще больше разорить семей и русских и японских.

Мало того: чтобы приготовить людей к новым таким же злодеяниям, виновники этих преступлений не только не признают того, что всем очевидно, что для русских это было даже с их патриотической, военной точки зрения постыдным поражением, но стараются внушить легковерным людям, что эти, как скотина на бойню, заведенные в западню несчастные русские рабочие люди, которых перебили и искалечили несколько тысяч только потому, что один генерал не понял того, что сказал другой генерал,– совершили геройский подвиг тем, что те из них, которые не могли убежать, были убиты, а те, которые убежали, остались живы. То же, что один из этих ужасных, безнравственных, жестоких людей, величаемых генералами и адмиралами, потопил множество мирных японцев, расписывается также как великий, доблестный подвиг, долженствующий радовать русских людей. И во всех газетах перепечатывается ужасное воззвание к убийству:

«Пусть две тысячи убитых на Ялу русских солдат вместе с искалеченными «Ретвизаном» и его собратьями, с нашими погибшими миноносцами научат наши крейсеры, с какими разгромами им надо обрушиться на берега низкой Японии. Она послала своих солдат проливать русскую кровь, и не должно быть ей пощады; теперь нельзя, теперь грешно сентиментальничать, надо воевать, надо наносить такие тяжкие удары, чтобы воспоминание о них веяло холо

дом на коварные сердца японцев. Теперь-то и время крейсерам выйти в море, чтобы испепелить города Японии, чтобы пронестись ужасным несчастьем вдоль ее красивых берегов.

Довольно сентиментальничать».

И начатое ужасное дело продолжается. Продолжаются грабежи, насилия, убийство, лицемерие, воровство и, главное, ужаснейшая ложь: извращение религиозных учений, как христианского, так и буддийского.

Царь, главное ответственное лицо, продолжает делать парады войскам, благодарить, награждать, поощрять, издает указ о сборе запасных. Верноподданные вновь и вновь повергают к стопам называемого ими обожаемым монарха свои преимущества и жизни, но на словах только. Сами же, желая отличиться друг перед другом на деле, а не на словах, отрывают отцов, кормильцев от осиротевших семейств, приготовливая их к отправке на бойню. Газетчики, чем хуже положение русских, тем бессовестнее лгут, переделывая постыдные поражения в победы, зная, что никто их не опровергнет, и спокойно собирают деньги за подписку и продажу. Чем больше идет на войну денег и трудов народа, тем больше грабят всякие начальники и аферисты, зная, что никто их не обличит, потому что все грабят. Военные, воспитанные для убийства, проведшие десятки лет в школе бесчеловечности, грубости и праздности, радуются, несчастные, тому, что, кроме прибавки содержания, убитые открывают вакансию для их повышения. Христианские пастыри продолжают призывать людей к величайшему преступлению, продолжают кощунствовать, прося у Бога помощи делу войны, и не только не осуждают, но оправдывают и восхваляют того из таких пастырей, который с крестом в руках поощрял людей к убийству на самом месте преступления. И то же происходит в Японии. Еще с ббльшим рвением, вследствие своих побед, набрасываются на убийство подражающие всему скверному в Европе, заблудшие японцы. Так же делает парады, награждает Микадо. Так же храбрятся разные генералы, воображая себе, что они, научившись убивать, научились просвещению. Так же стонет несчастный рабочий народ, отрываемый от полезного труда и семей. Так же лгут и радуются подписке газетчики, и так же, вероятно (так как там, где убийство возведено в доблесть, должны процветать всякие пороки), так же, вероятно, наживают деньги всякие начальники и аферисты, и японские богословы и религиозные учители, не отстающие, как их военные в технике вооружения, и в технике религиозного обмана и кощунства от европейцев, извращают великое буддийское учение, не только допуская, но оправдывая запрещенное Буддой убийство.

Буддийский ученый, начальствующий над 800 монастырями, Сойен Шакю объясняет, что, хотя Будда и запретил убийство, он

сказал, что он не будет спокоен до тех пор, пока все существа не будут соединены в бесконечном, любящем сердце, а потому, чтобы привести находящиеся в беспорядке вещи в порядок, нужно воевать и убивать людей'.

И как будто никогда не существовало христианского и буддийского учения о единстве человеческого духа, о братстве людей, о любви, сострадании, о неприкосновенности жизни человеческой. Люди, уже просвещенные светом истины, и японцы и русские, как дикие звери, хуже диких зверей, бросаются друг на друга с одним желанием уничтожить как можно больше жизней. Тысячи несчастных уже стонут и корчатся от жестоких страданий и мучительно умирают в японских и русских лазаретах, с недоумением спрашивая себя, зачем сделали над ними это ужасное дело, и другие тысячи гниют в земле и над землей или плавают по морю, распухая и разлагаясь. И десятки тысяч жен, отцов, матерей, детей оплакивают своих ни за что погубленных кормильцев. Но всего этого мало, и готовятся все новые и новые жертвы. Главная забота начальников убийства в том, чтобы с русской стороны поток пушечного мяса – трех тысяч человек в день, обреченных на погибель, ни на минуту не прерывался. И о том же озабочены и японцы. Пешую саранчу не переставая гонят в реку, чтобы задние ряды прошли по тем, которые затонут...

Да когда же это кончится? И когда же, наконец, обманутые люди опомнятся и скажут: «да идите вы, безжалостные и безбожные цари, микады, министры, митрополиты, аббаты, генералы, редакторы, аферисты, и как там вас называют, идите вы под ядра и пули, а мы не хотим и не пойдем. Оставьте нас в покое пахать, сеять, строить, кор-

' в статье сказано: «Тройной мир принадлежит мне. Все вещи в нем мои дети... Все они только отражения моего Я. Все из одного источника... Все части моего тела. Поэтому я не могу быть покоен до тех пор, пока малейшая часть существующего не будет доведена до своего назначения...

Таково отношение Будды к миру, и мы, его смиренные последователи, должны идти по его пути.

Почему же мы сражаемся?

Потому что мир не таков, каким должен быть, потому что есть извращенные существа, ложные мысли, дурно направленные сердца, вследствие невежественной субъективности. И потому буддисты никогда не перестанут воевать со всеми произведениями невежества, и война их продолжится до горького конца. (To the bitter end.) Они не помилуют. (They will show no quarter). Они уничтожат корни, из которых вытекают несчастия жизни.

Чтобы достигнуть этого, они не пощадят своих жизней».

Дальше идут, так же как у нас, путанные рассуждения о самоотвержении и незлобивости, о переселении душ и многое другое, всё только для того, чтобы закрыть ту простую и ясную заповедь Будды о том, чтобы не убивать.

Далее говорится: «Рука, поднятая для удара, и глаз, берущий прицел, не принадлежат личности, а суть орудия, которыми пользуется Начало, стоящее выше преходящей жизни» и т. д. («The Open Court», May, 1904. Buddhist Views of War. The Right Rev. Soyen Shaku).— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

МИТЬ вас же, дармоедов». Ведь сказать это так естественно теперь, кода у нас в России идет плач и вой сотен тысяч матерей, жен, детей, от которых отбирают их кормильцев, так называемых запасных. Ведь эти самые люди, большинство запасных, знают грамоте; они знают, что такое Дальний Восток; знают, что война идет не из какого-нибудь сколько-нибудь нужного русским людям дела, а за какую-то чужую, ***арендовую,*** как они говорят, землю, в которой выгодно было строить дорогу и делать свои дела каким-то гадким аферистам; знают или могут знать и то, что их будут бить, как овец на бойне, потому что у японцев последние усовершенствованные орудия убийства, а у нас нет их, так как русское начальство, которое посылает их на смерть, не догадалось вовремя завести таких же орудий, как у японцев. Ведь так естественно, зная всё это, сказать: «да идите вы, те, кто затеял это дело, все вы, кому нужна война и кто оправдывает ее, идите вы под японские пули и мины, а мы не пойдем, потому что нам не только не нужно этого, но мы не можем понять, зачем это кому-нибудь может быть нужно».

Но нет, они не говорят этого, идут и будут идти, не могут не идти до тех пор, пока будут бояться того, чтб губит тело, а не того, чтб губит тело и душу.

«Убьют ли, искалечат ли в этих каких-то Юнампо, куда гонят нас,– рассуждают они,– еще неизвестно, может быть и целы выйдем, да еще с наградами и торжеством, как те моряки, которых так чествуют теперь по всей России за то, что бомбы и пули японцев попали не в них, а в других; а отказаться, наверное, посадят в тюрьму, будут морить голодом, сечь, сошлют в Якутскую область, а то и убьют сейчас же». И с отчаянием в сердце, оставляя добрую, разумную жизнь, жен, детей, они идут.

Вчера я встретил провожаемого матерью и женой запасного. Они втроем ехали на телеге. Он был немного выпивши, лицо жены распухло от слез. Он обратился ко мне:

— Прощай, Лев Николаевич, на Дальний Восток.

— Что же, воевать будешь?

— Надо же кому-нибудь драться.

— Никому не надо драться.

Он задумался.

— Как же быть-то? ***Куда же денешься?***

Я видел, что он понял меня, понял, что то дело, на которое посылают его, дурное дело.

Куда же денешься? Вот точное выражение того душевного состояния, которое в официальном и газетном мире переводится словами; «За веру, царя и отечество». Те, которые, бросая голодные семьи, идут на страдания и смерть, говорят то, что чувствуют: «Ку

да же денешься?» Те же, которые сидят в безопасности в своих роскошных дворцах, говорят, что все русские готовы пожертвовать жизнью за обожаемого монарха, за славу и величие России.

Вчера я получил от знакомого мне крестьянина одно за другим два письма.

Вот первое:

«Дорогой Лев Николаевич.

– Ну вот, сегодня я получил явочную карту о призыве на службу, завтра должен явиться на сборный пункт. Вот и всё, а там дальше на Дальний Восток под японские пули.

Про мое и горе моей семьи я вам не говорю, вам ли не понять всего ужаса моего положения и ужасов войны. Всем этим вы давно уже переболели и всё понимаете. А как мне всё хотелось у вас побывать, с вами поговорить. Я было написал вам большое письмо, в котором изложил муки моей души, но не успел переписать, как получил явочную карту. Что делать теперь моей жене с четырьмя детьми? Как старый человек, вы, разумеется, не можете интересоваться судьбой моей семьи, но вы можете попросить кого-либо из ваших друзей, ради прогулки, навестить мою осиротелую семью. Я вас прошу душевно, что если моя жена не выдержит муки своего сиротства с кучей ребят и решится пойти к вам за помощью и советом – вы примите ее и утешьте: она хоть вас и не знает лично, но верит в ваше слово, а это много значит.

Противиться призыву я не мог, но я наперед говорю, что через меня ни одна японская семья сиротой не останется. Господи, как всё это ужасно, как тяжко и больно бросать все, чем живешь и интересуешься».

Второе письмо такое:

«Милый Лев Николаевич,

Вот, миновал только день действительной службы, а я уже пережил вечность самой отчаянной муки. С 8 часов утра до 9 часов вечера нас толкли и канителили на казарменном дворе, как стадо животных. Три раза повторялась комедия телесного смотра, и все, заявлявшие себя больными, не получили к себе и по 10 минут внимания и были отмечены: «годен». Когда нас, этих годных, 2 000 человек, погнали от воинского начальника в казармы, по улице чуть ли не в версту длиной стояла толпа – тысячи родственников, матерей, жен с детьми на руках, и если бы вы слышали и видели, как они цеплялись за своих отцов, мужей, сыновей, и, тащась на их шеях, отчаянно рыдали. Я вообще веду себя сдержанно и владею своими чувствами, но я не выдержал и также плакал...» (На газетном языке это самое выражается так: подъем патриотизма огромный). «Где та мера, чтобы измерить всё это огульное горе, которое

распространится теперь чуть ли не на одну треть земного шара? А мы, мы теперь пушечное мясо, которое в недалеком будущем не замедлят подставить жертвами богу мшения и ужаса...

Я никак не могу установить внутреннего равновесия. О, как я ненавижу себя за эту двойственность, которая мешает мне служить одному господину и Богу...»

Человек этот недостаточно еще верит в то, что стращно не то, чтб погубит тело, а то, чтб погубит тело и дущу, и потому и не может отказаться; но, покидая семью, вперед обещается, что через него не осиротится ни одна японская семья. Он верит в главный закон Бога, закон всех религий; поступать с другими так, как хочещь чтобы поступали с тобой. И таких людей в наще время, более или менее сознательно признающих этот закон, не в одном христианском, но и в буддийском, магометанском, конфуцианском, браминском мире не тысячи, а миллионы.

Есть истинные герои – не те, которых чествуют теперь за то, что они, желая убивать других, сами не были убиты, а истинные герои, сидящие теперь по тюрьмам и в Якутской области за то, что они прямо отказались идти в ряды убийц и предпочли мученичество отступлению от закона Христа. Есть и такие, как тот, который пишет мне, которые пойдут, но не будут убивать. Но и то большинство, которое идет, не думая, стараясь не думать о том, что оно делает, в глубине души уже чувствует теперь, что делает дурное дело, повинуясь властям, отрывающим их от труда и семьи и посылающим их на ненужное, противное их душе и вере смертоубийство; но идут только потому, что они так опутаны со всех сторон, что ***«куда же денешься?»***

Те же, которые остаются, не только чувствуют, но знают и выражают это. Вчера я встретил на большой дороге порожнем возвращавшихся из Тулы крестьян. Один из них, идя подле телеги, читал листок.

Я спросил;

— Что это, телеграмма?

Он остановился.

— Это вчерашняя, а есть и нынешняя.

Он достал другую из кармана. Мы остановились. Я читал.

— Что вчера на вокзале было,– начал он,– страсть. Жены, дети, больше тысячи; ревут, обступили поезд, не пускают. Чужие плакали, глядучи. Одна тульская женщина ахнула и тут же померла; пять человек детей. Распихали по приютам, а его всё же погнали... И на что нам эта какая-то Манчжурия? Своей земли много. А что народа побили и денег загубили...

Да, совсем иное отношение людей к войне теперь, чем то, которое было прежде, даже недавно в 77 году. Никогда не было того, что совершается теперь.

Газеты пишут, что при встречах царя, разъезжающего по России гипнотизировать людей, отправляемых на убийство, проявляется неописуемый восторг в народе. В действительности же проявляется совсем другое. Со всех сторон слышатся рассказы о том, как там повесилось трое призванных запасных, там еще двое, там оставща- яся без мужа женщина принесла детей в воинское присутствие и оставила их там, а другая повесилась во дворе воинского начальника. Все недовольны, мрачны, озлоблены. Слова: «за веру, царя и отечество», гимны и крики «ура» уже не действуют на людей, как прежде: другая, противоположная волна сознания неправды и греха того дела, к которому призываются люди, всё больше и больше захватывает народ.

Да, великая борьба нашего времени не та, которая идет теперь между японцами и русскими, или та, которая может разгореться между белой и желтой расами, не та борьба, которая ведется минами, бомбами, пулями, а та духовная борьба, которая не переставая шла и теперь идет между готовым к проявлению просвещенным сознанием человечества и тем мраком и тяжестью, которые окружают и давят его.

Христос, тогда еще, в свое время томился ожиданием и говорил: «Огонь пришел низвесть Я на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся». (Лука XII, 49.)

Чего желал Христос, совершается. Огонь возгорается. Не будем же противиться, а будем служить ему.

30 Апреля 1904 г.

Я никогда бы не кончил своей статьи о войне, если бы продолжал включать в нее всё то, что подтверждает ее главную мысль. Вчера получено известие о затоплении японских броненосцев, и в так называемых высших сферах русского знатного, богатого, интеллигентного общества без всякого зазрения совести радуются погибели тысячи человеческих жизней. Нынче же я получил от рядового матроса, человека, стоящего на самой низшей ступени общества, следующее письмо:

«Письмо от матроса (следует имя, отчество и фамилия). Многа уважемаму Леву Николаевичу кланеюсь и Вам нижающае Почтение низкае Поклон слюбовью многоуважаемае Лев некалаевич Вот и че- тал ваше соченение оно для мене очен была четать Преятна я очень Любитель Был четать ваше соченение так Лев никалаевич унас теперь Военая дество как Припишите Мне пожалуста Угодна оно Во-

гу ил нет что нас началства заставляет убевать Прашу я Вас лев никалаевич Припишите мена Пожалуста что есть теперя на свети Правда ил нет Припишите мне Лев никалаевич унас уцеркви Идет Малитва Священник поминает Христалюбимае военства Правда эта или нет что Бог Узлюбел Воену Прашу я вас лев никалаевич нетли увас таких книжек чтоб и увидал есть несвети Правда или нет Пришлите мне таких книжек сколка это будет стоеть я заплачу Прашу я вас лев неколаевич неаставте мое прозби когда книжак нет то пришлите Мне писмо я очень Буду рад как я Получу ат вас Писмо Снетерпениям буду ажидать ат вас Писма Теперь да сведане остаюсь жив издаров итого вам желаю ота Госпада Бога добраго здорово вделах ваших хорошаго успеха».

Следует адрес; Порт-Артур, название судна, на котором служит пишущий, звание, имя, отчество, фамилия.

Прямо словами я не могу ответить этому милому, серьезному и истинно просвещенному человеку. Он в Порт-Артуре, с которым уже нет сообщения ни письменного, ни телеграфного. Но у нас с ним всё-таки есть средство общения. Средство это есть тот Бог, в которого мы оба верим и про которого мы оба знаем, что военное «действо» не угодно Ему. Возникшее в его душе сомнение есть уже и разрешение его.

И сомнение это возникло и живет теперь в душах тысяч и тысяч людей, не только русских и не только японских, но и всех тех несчастных людей, которые насилием принуждаемы к исполнению самого противного человеческой природе дела.

Гипноз, которым одуряли и теперь стараются одурять людей, скоро проходит, и действие его всё слабеет и слабеет; сомнение же о том, ***<<угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать»,*** становится всё сильнее и сильнее, ничем не может быть уничтожаемо и всё более и более распространяется.

Сомнение о том, угодно ли Богу или нет, что нас начальство заставляет убивать, это искра того огня, который Христос низвел на землю и который начинает возгораться.

И знать и чувствовать это – великая радость.

8 Мая 1904 г.

КОНЕЦ ВЕКА

«Никогда людям не предстояло столько дела. Наш век есть век революции в высшем смысле этого слова — не материальной, но нравственной революции. Вырабатывается высшая идея общественного устройства и человеческого совершенства».

Чаннинг.

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Иоан. VIII, 32.

КОНЕЦ ВЕКА, УНИЧТОЖЕНИЕ СТАРОГО. ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ

Век и конец века на евангельском языке не означает конца и начала столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей и начало другого мировоззрения, другой веры, другого способа общения. В Евангелии сказано, что при таком переходе от одного века к другому будут всякие бедствия: предательства, обманы, жестокости и войны, и по причине беззакония охладеет любовь. Я понимаю эти слова не как сверхъестественное пророчество, а как указание на то, что когда та вера, тот склад жизни, в котором жили люди, будут заменяться иным, когда будет отпадать отживщее старое и замещаться новым, неизбежно должны будут происходить большие волнения, жестокости, обманы, предательства, всякого рода беззакония, и вследствие этих беззаконий должна будет охладеть любовь, самое важное и нужное для общественной жизни людей свойство.

Это самое и совершается теперь не только в России, но во всем христианском мире: в России оно только проявилось более ярко и открыто, во всем же христианском мире происходит то же самое, только в скрытом (латентном) состоянии.

Я думаю, что теперь, именно теперь, жизнь христианских народов находится близко к той черте, которая разделяет кончающийся

старый век от начинающегося нового. Думаю, что теперь, именно теперь, начал совершаться тот великий переворот, который готовился почти 2 000 лет во всем христианском мире, переворот, состоящий в замене извращенного христианства и основанной на нем власти одних людей и рабства других – истинным христианством и основанным на нем признанием равенства всех людей и истинной, свойственной разумным существам свободой всех людей.

Внешние признаки этого я вижу в напряженной борьбе сословий во всех народах, в холодной жестокости богачей, в озлоблении и отчаянии бедных; в безумном, бессмысленном, всё растущем вооружении всех государств друг против друга; в распространении неосуществимого, ужасающего по своему деспотизму и удивительного по своему легкомыслию учения социализма; в ненужности и глупости возводимых в наиважнейшую духовную деятельность праздных рассуждений и исследований, называемых наукой; в болезненной развращенности и бессодержательности искусства во всех его проявлениях; главное же не только в отсутствии в имеющих наибольшее влияние на других какой бы то ни было религии, но в сознательном отрицании всякой религии и замене ее признанием законности подавления слабых сильными и потому в полном отсутствии каких бы то ни было разумных руководящих начал в жизни.

Таковы общие признаки наступающего переворота или, скорей, той готовности к перевороту, в которой находятся христианские народы. Временные же исторические признаки или тот толчок, который должен начать переворот,– это только что окончившаяся русско-японская война и одновременно с нею вспыхнувшее и никогда прежде не проявлявшееся революционное движение среди русского народа.

Причину разгрома японцами русской армии и флота видят в несчастных случайностях, в злоупотреблении русских правительственных лиц; причину революционного движения в России видят в дурном правительстве, в усиленной деятельности революционеров; последствием же этих событий представляется как русским, так и иностранным политикам ослабление России и перестановка центра тяжести в международных отношениях и изменение образа правления русского государства. Я же думаю, что эти события имеют гораздо более важное значение. Разгром русской армии и флота, разгром русского правительства не есть только разгром армии, флота и русского правительства, а признак начинающегося разрушения русского государства. Разрушение же русского государства есть, по моему мнению, признак начала разрушения всей лжехристианской цивилизации. Это конец старого и начало нового века.

То, что привело христианские народы к тому положению, в котором они теперь находятся, началось уже давно. Оно началось с тех пор, как христианство было признано государственной религией.

Такое учреждение, как государство, держащееся на насилии, требующее для своего существования полного повиновения своим законам преимущественно перед законом религиозным, учреждение, не могущее существовать без казней, войск и войн, учреждение, приписывающее почти божеское значение своим правителям, учреждение, возвеличивающее богатство и могущество,– такое учреждение принимает в лице своих правителей и подданных христианскую религию, провозглащающую полное равенство и свободу всех людей, полагающую один закон Бога выше всех других законов, принимает религию, не только отрицающую всякое насилие, всякое возмездие, казни и войны, но и предписывающую любовь к врагам, религию, возвеличивающую не могущество и богатство, а смирение и нищету,– это-то учреждение в лице своих языческих правителей принимает эту христианскую религию. И правители и их советники, большею частию совсем не понимая сущности истинного христианства, совершенно искренно возмущаются против людей, исповедующих и проповедующих христианство в его истинном значении, и с спокойной совестью казнят, изгоняют их и запрещают им проповедовать христианство в его истинном смысле. Духовенство запрещает чтение Евангелия и признает только за собой право толковать Священное Писание, придумывает сложные софизмы, оправдывающие невозможное соединение государства и христианства, и устраивает торжественные обряды, гипнотизирующие народ. И большинство людей веками живет, считая себя христианами, не подозревая даже сотой доли значения истинного христианства.

Но как ни велик был престиж государства, как ни продолжительно было торжество его, как ни жестоко подавлялось христианство, раз высказанную истину, открывающую человеку его душу, составляющую сущность христианства, нельзя было заглущить. Чем дольще продолжалось такое положение, тем яснее становилось противоречие между христианским учением смирения и любви и государством – учреждением гордости и насилия. Величайшая плотина в мире не может задержать источника живой воды. Вода неизбежно найдет себе путь или через плотину, или размыв или обойдя ее. Дело только во времени. Так это было с скрытым государственной властью истинным христианством. Государство долго удерживало его живую воду, но пришло время, и христианство разрушает задерживающую его плотину и увлекает за собой ее остатки.

Внешние признаки того, что время это пришло именно теперь, я вижу в легко одержанной японцами победе над Россией и в тех волнениях, которые одновременно с этой войной охватили все сословия русского народа.

II

ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ ЯПОНЦЕВ

Как всегда бывало и бывает при всех поражениях, так и теперь причину поражения русских стараются объяснить ошибками побежденного; дурным устройством русского военного дела, злоупотреблениями и промахами начальников и т. п.

Но главное не в этом. Причина успехов японцев не столько в дурном управлении Россией или в дурном устройстве русских войск, сколько в большом, положительном превосходстве японцев в военном деле. Япония победила не потому, что русские слабы, а потому что Япония теперь едва ли не самая могущественная в мире на суше и на море военная держава; и это так, во-первых, потому, что все те научные технические усовершенствования, которые давали преимущество в борьбе христианским народам над нехристианскими, усвоены японцами (вследствие их практичности и той важности, которую они приписывают военному делу) много лучше, чем то было сделано народами христианскими; во-вторых, потому, что японцы по природе своей более храбры и равнодушны к смерти, чем теперь христианские народы; в-третьих, потому, что тот воинственный патриотизм, совершенно несогласный с христианством, который с таким усилием вводился и поддерживался христианскими правительствами среди своих народов, живет до сих пор во всей своей нетронутой силе среди японцев; в-четвертых, потому, что, рабски подчиняясь деспотической власти обожествляемого микадо, сила японцев более сосредоточена и объединена, чем силы народов, переросших свое рабское подчинение деспотизму. Одним словом, японцы имели и имеют огромное преимущество; то, что они не христиане.

Как ни извращено среди христианских народов христианство, оно, хотя смутно, но всё же живет в их сознании, и люди-христиане, во всяком случае лучшие из них, не могут уже отдавать все свои духовные силы на изобретение и приготовление орудий убийства, не могут не относиться более или менее отрицательно к воинственному патриотизму, не могут, как японцы, распарывать себе животы, только бы не отдаться в плен врагу, не могут взрываться на воздух вместе с неприятелем, как это было прежде, не ценят уже, как прежде, военных доблестей, военного геройства, всё ме

нее и менее уважают военное сословие, не могут уже без сознания оскорбления человеческого достоинства рабски подчиняться власти и, главное, не могут уже, по крайней мере большинство, равнодушно совершать убийства.

Всегда и в мирных деятельностях, несогласных с духом христианства, христианские народы не могли бороться с нехристианами. Так это было и продолжает быть в борьбе денежной с нехристианами. Как бы плохо и превратно ни толковалось христианство, христианин (и чем более он христианин, тем более) сознает, что богатство не есть высшее благо, и потому не может положить на него все свои силы, как делает это тот, у кого нет никаких идеалов выше богатства, или тот, для кого богатство есть благословение Божие.

То же и в области нехристианской науки и искусства. И в этих областях позитивной, опытной науки и искусства, ставящего себе целью удовольствие, первенство принадлежало и принадлежит и всегда будет принадлежать наименее христианским людям и народам.

То, что мы видим в проявлении деятельности мирной, то тем более должно было быть в деле войны, прямо отрицаемой истинным христианством. Вот это-то необходимое превосходство в военном деле нехристианских народов над христианскими с полной очевидностью проявилось в блестяшей победе японцев над русскими.

И в этом неизбежном и необходимом превосходстве нехристианских народов над христианскими и заключается огромное значение японской победы.

Значение победы японцев заключается в том, что победа эта самым очевидным образом показала не только побежденной России, но и всему христианскому миру, всю ничтожность внешней культуры, которой так гордились христианские народы, показала, что вся эта внешняя культура, которая казалась им каким-то особенно важным результатом вековых усилий христианского человечества, есть нечто очень неважное и столь ничтожное, что никакими особенными высшими духовными свойствами не отличающийся японский народ, когда ему понадобилось, в несколько десятков лет усвоил себе всю научную мудрость христианских народов, с бактериями и взрывчатыми веществами включительно, и так хорошо сумел практически применить эту мудрость к практическим целям, что стал в применении этой мудрости к военному делу и в самом военном деле, столь высоко ценимом христианскими народами, выще всех христианских народов.

Христианские народы веками под предлогом самозащиты придумывали одно перед другим самые действительные способы истребления друг друга (способы, тотчас же применяемые всеми другими противниками) и пользовались этими способами и для угрозы друг другу и для приобретения всякого рода выгод среди нецивилизован

ных народов в Африке и Азии. И вот среди нехристианских народов появляется народ воинственный, ловкий и переимчивый, который, увидав угрожающую ему вместе с другими нехристианскими народами опасность, с необыкновенной легкостью и быстротой усвоил ту простую истину, что если тебя бьют толстой, крепкой дубиной, то надо взять точно такую же или еще более толстую и крепкую дубину и бить ею того, кто тебя бьет. Японцы очень скоро и легко усвоили эту мудрость и вместе с тем и всю ту технику войны и, пользуясь сверх того всеми выгодами религиозного деспотизма и патриотизма, проявили такое военное могущество, которое оказалось сильнее самой могущественной военной державы. Победа японцев над русскими показала всем военным державам, что военная власть больше не в их руках, а перешла или вскоре должна перейти в другие, нехристианские руки, так как всем нехристианским, угнетаемым христианами народам в Азии и Африке совсем не трудно, по примеру Японии, усвоив себе военную технику, которой мы так гордимся, не только освободиться, но и стереть с лица земли все христианские государства.

Так что христианские правительства исходом этой войны самым очевидным образом приведены к необходимости еще усиливать и так задавившие своими расходами их народы военные приготовления и, удвоив эти вооружения, всё-таки сознавать, что со временем подавленные ими языческие народы, так же как японцы, обучившись военному искусству, свергнут их иго и отомстят им. Уже не по рассуждениям, а на горьком опыте подтвердилась этой войной не только для русских, но и для всех христианских народов та простая истина, что насилие ни к чему, кроме как к увеличению бедствий и страданий, привести не может.

Победа эта показала, что, занимаясь увеличением своей военной силы, христианские народы делали дело не только противное тому христианскому духу, который живет в них, но и безнравственное и глупое дело, такое, в котором они, как христианские народы, должны всегда быть превзойдены и побеждены нехристианскими народами. Победа эта показала христианским народам, что всё то, на что их правительства направляли свою деятельность, было губительно для них и напрасным истощением их сил и, главное, приготовлением для себя более могущественных врагов среди нехристианских народов.

Война эта самым очевидным образом показала, что сила христианских народов никак не может быть в противном духу христианства военном могуществе и что если христианские народы хотят оставаться христианскими, то усилия их должны быть направлены никак не на военное могущество, а на нечто другое: на такое

устройство жизни, которое, вытекая из христианского учения, давало бы наибольшее благо людям не посредством грубого насилия, а посредством разумного согласия и любви.

В этом великое для христианского мира значение победы японцев.

m

СУЩНОСТЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ в РОССИИ

Японская победа показала всему христианскому миру неверность того пути, по которому шли и идут христианские народы. Русским же людям война эта с своими ужасными, бессмысленными страданиями и тратами трудов и жизней миллионов людей показала, кроме общего для всех христианских народов противоречия между христианским и насильническим государственным устройством, ту страшную опасность, в которой постоянно находятся эти народы, повинуясь своему правительству.

Без всякой надобности, для каких-то темных, личных целей, для каких-то ничтожных лиц, находящихся во главе управления, русское правительство ввергло свой народ в бессмысленную войну, которая ни в каком случае не могла иметь никаких, кроме вредных для русского народа, последствий. Потеряны сотни тысяч жизней, потеряны миллиарды денег, произведения трудов народа, потеряна для тех, которые гордились ею, слава России. И виновники всех этих злодеяний не только не чувствуют своей вины, но упрекают других во всем случившемся и, оставаясь в том же положении, завтра могут ввергнуть русский народ в еще худшие бедствия.

Всякая революция начинается тогда, когда обшество выросло из того мировоззрения, на котором основывались существующие формы общественной жизни, когда противоречие между жизнью, какая она есть, и той, какая должна и может быть, становится настолько ясным для большинства людей, что они чувствуют невозможность продолжения жизни в прежних условиях. Начинается же революция в том народе, в котором наибольщее число людей сознают это противоречие.

Что же касается до средств, употребляемых революцией, то средства эти зависят от той цели, к которой стремится революция.

В 1793 году сознание противоречия между идеей равенства людей и деспотичной властью королей, духовенства, дворян, чиновников чувствовалось не только страдающими от своего угнетения народами, но и лучшими людьми властвующих сословий во всем христианском мире. Но нигде эти сословия не были так чутки к этому неравенству и нигде сознание народа не было так мало забито рабством, как во Франции, и потому революция 1793 года началась

именно во Франции. Средством же осуществления равенства естественно представлялось тогда отнятие силою того, что имели властвующие, и потому деятели той революции старались осуществлять свои цели насилием.

В нынещнем, 1905 году, противоречие между сознанием возможности и законности свободной жизни и неразумностью и бедственностью повиновения насильническим властям, произвольно отбирающим от людей произведения их трудов для немогущих иметь конца вооружений, властям, всякую минуту могущим заставить народы участвовать в бессмысленных и смертоубийственных войнах, чувствуется не только страдающими от этого насилия народами, но и лучшими людьми властвующих сословий. Нигде же противоречие это не чувствуется так резко, как в русском народе. Чувствуется это противоречие теперь особенно резко в русском народе и вследствие нелепой и постыдной войны, в которую русский народ был вовлечен правительством, и вследствие удержавшегося еще среди русского народа земледельческого быта и, главное, вследствие особенно живого, христианского сознания этого народа.

Поэтому я и думаю, что революция 1905 года, имеющая целью освобождение людей от насилия, должна начаться и начинается уже теперь именно в России.

Средства же осуществления цели революции, состоящей в освобождении людей, очевидно, должны быть иные, чем то насилие, которым до сих пор люди пытались осуществить равенство.

Людям великой революции, желавшим достигнуть равенства, можно было заблуждаться, когда они думали, что равенство достигается насилием, хотя и казалось бы очевидным, что равенство не может быть достигнуто насилием, так как насилие есть само по себе самое резкое проявление неравенства. Свобода же, составляющая цель теперешней революции, уже ни в коем случае не может быть достигнута насилием. Казалось бы, что это должно бы быть очевидно.

А между тем люди, производящие теперь революцию в России, думают, что насилием свергнув существующее правительство и насилием же учредив новое – конституционную монархию или даже социалистическую республику, они достигнут цели совершающейся революции – свободы.

Но история не повторяется. Насильническая революция отложила свое время. Всё, что она могла дать людям, она уже дала им и вместе с тем показала, чего она не может достигнуть. Начинающаяся теперь революция в России среди совсем особенного по своему складу стомиллионного народа, и не в 1793 году, а в 1905, никак не может иметь тех целей и осуществиться теми же средствами,

как революции, бывшие 60, 80, 100 лет тому назад среди совершенно иного духовного склада германских и романских народов.

Русскому земледельческому стомиллионному народу, в котором собственно и заключается весь народ, нужна не дума и не .дарование каких-то свобод, перечисление которых очевиднее всего показывает отсутствие простой, истинной свободы, не учредительное собрание и замена одной насильнической власти другою, а настоящая, полная свобода от всякой насильнической власти.

Значение начинающейся в России и предстоящей всему миру революции не в установлении подоходных или иных налогов, не в отделении церкви от государства или присвоении государством общественных учреждений, не в организации выборов и мнимого участия народа во власти, не в учреждении республики самой демократической, даже социалистической, с всеобщей подачей голосов, а в действительной свободе.

Действительная же свобода достигается не баррикадами, не убийствами, не какими бы то ни было новыми насильническими учреждениями, а только прекращением повиновения людям.

IV

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРЕВОРОТА

Основная причина предстоящего переворота, как и всех бывших и будущих революций,– религиозная.

Под словом религия обыкновенно принято понимать или некоторые мистические определения невидимого мира, или известные обряды, культ, поддерживающий, утешающий, возбуждающий людей в их жизни, или объяснения происхождения мира, или нравственные, санкционированные божеским повелением правила жизни; но истинная религия есть прежде всего открытие того высщего, общего всем людям закона, дающего им в данное время наибольшее благо.

Еще до христианского учения среди разных народов был выражен и провозглашен высший, общий всему человечеству религиозный закон, состоящий в том, что люди для своего блага должны жить не каждый для себя, а каждый для блага всех, для взаимного служения (буддизм, Исаия, Конфуций, Лао-Тзе, стоики). Закон был провозглашен, и те люди, которые знали его, не могли не видеть всей его истинности и благотворности. Но установившаяся жизнь, основанная не на взаимном служении, но на насилии, до такой степени проникла во все учреждения и нравы, что, признавая благотворность закона взаимного служения, люди продолжали жить по законам насилия, которые они оправдывали необходимостью воз

мездия. Им казалось, что без возмездия злом за зло общественная жизнь невозможна. Одни люди брали на себя обязанность для установления благоустройства и исправления людей применять законы насилия и повелевали, другие повиновались. И повелевающие развращались той властью, которой они пользовались. Будучи же сами развращены, они, вместо исправления людей, передавали им свой разврат. Повинующиеся же развращались участием в насилиях власти и подражанием властителям и рабской покорностью.

Тысяча девятьсот лет тому назад появилось христианство. Христианство с новой силой подтвердило закон взаимного служения и сверх того разъяснило причины, по которым закон этот не исполнялся.

Христианское учение с необыкновенной ясностью показало, что причиной этого было ложное представление о законности, необходимости насилия, как возмездия. И с разных сторон, разъяснив неразумность, зловредность возмездия, оно показало, что главное бедствие людей происходит от насилий, которые, под предлогом возмездия, производятся одними людьми над другими. Христианское учение показало, что единственное средство избавления от насилия есть покорное, без борьбы перенесение его.

«Вы слышали, что сказано древними: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся».

Учение это указывало на то, что если судьей того, в каких случаях допустимо насилие, будет человек, совершающий насилие, то не будет пределов насилию, и потому, чтобы не было насилия, надо, чтобы ***никто ни под каким предлогом не употреблял насилия, в особенности же под самым употребительным предлогом возмездия.***

Учение это подтверждало ту простую, само собой понятную истину, что злом нельзя уничтожить зло, что единственное средство уменьшения зла насилия – это воздержание от насилия.

Учение это было ясно выражено и установлено. Но ложное понятие о справедливости возмездия и о необходимости угрозы, как необходимого условия жизни людей, так укоренилось и так много людей не знало христианского учения или знало его только в извращенном виде, что люди, принявшие закон Христа, продолжали жить по закону насилия.

Руководители людей христианского мира думали, что можно принять учение взаимного служения без учения о непротивлении,

составляющего замбк (в смысле свода) всего учения о жизни людей между собой. Принять же закон взаимного служения, не приняв заповеди непротивления, было всё равно, что, сложив свод, не укрепить его там, где он смыкается.

Люди-христиане, воображая, что, не приняв заповеди непротивления, они могут устроить жизнь лучше языческой, продолжали делать не только то, что делали нехристианские народы, но и гораздо худшие дела, и всё больше и больше удалялись от христианской жизни. Сущность христианства, вследствие неполного принятия его, всё больще и больше скрывалась, и христианские народы дошли, наконец, до того положения, в котором находятся теперь, а именно – до превращения христианских народов во вражеские войска, отдающие все свои силы на вооружения друг против друга и готовых всякую минуту растерзать друг друга; и дошли до того положения, что не только вооружились друг против друга, но вооружили и вооружают против себя и ненавидящие их и поднявшиеся против них нехристианские народы; дошли, главное, до полного в жизни отрицания не только христианства, но какого бы то ни было высшего закона.

Извращение высшего закона взаимного служения и заповеди непротивления, данной христианством для возможности осуществления этого закона,– в этом основная религиозная причина предстоящего переворота.

V

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРИНЯТИЯ ЗАПОВЕДИ НЕПРОТИВЛЕНИЯ

Мало того, что христианское учение показывало, что мщение и воздаяние злом за зло невыгодно и неразумно, увеличивая зло,– оно показывало и то, что непротивление злу насилием, перенесение всякого насилия без борьбы с насилием было единственное средство достижения той истинной свободы, которая свойственна человеку. Христианское учение показывало, что как только человек вступал в борьбу с насилием, он этим самым лишал себя свободы, так как, допуская насилие для себя против других, он этим самым допускал насилие и против себя и потому мог быть покорен тем насилием, с которым боролся, и если даже оставался победителем, то, вступая в область внешней борьбы, был всегда в опасности в будущем быть покоренным более сильным.

Учение христианское показывало, что свободен может быть только человек, целью своей ставящий исполнение высшего, общего всему человечеству закона взаимного служения, для которого не может быть препятствий. Учение это показывало, что единственное

средство как для уменьшения в мире насилия, так и для достижения полной свободы есть только одно: покорное, без борьбы, перенесение какого бы то ни было насилия.

Христианское учение провозглашало закон полной свободы человека, но при необходимом условии подчинения высшему закону, во всем его значении.

«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. X, 28).

Принявшие это учение во всем его значении, повинуясь высшему закону, были свободны от всякого другого повиновения. Они покорно переносили насилие от людей, но не повиновались людям в делах, не согласных с высшим законом.

И так поступали первые христиане, когда они были в малом числе среди языческих народов.

Они отказывались от повиновения правительствам в делах, не согласных с высшим законом, который они называли законом Бога; они были гонимы и казнимы за это, но не повиновались людям и были свободны.

Когда же целые народы, жившие в установленном и поддерживаемом насилием государственном устройстве, были посредством внешних обрядов крещения признаны христианами, отношение христиан к власти совершенно изменилось. Правительства с помощью покорного им духовенства внушали своим подданным, что насилия и убийства могут быть совершаемы, когда употребляются для справедливого возмездия и для защиты угнетенных и слабых. Кроме того, заставляя людей присягать властям, то есть клясться перед Богом, что они будут беспрекословно выполнять всё, что будет предписано властью, правительства довели своих подданных до того, что люди, считавшие себя христианами, перестали считать запрещенным насилия и убийства. Совершая же насилия и убийства, они естественно подчинялись и тем насилиям, которые совершались над ними.

И сделалось то, что люди-христиане, вместо свободы, провозглашенной Христом, вместо того чтобы считать, как это и было прежде, своим долгом переносить всякое насилие, но не повиноваться никому, кроме Бога, и быть свободными, стали понимать свои обязанности совершенно обратно: стали считать для себя позорным переносить без борьбы насилия (честь) и считать священнейшей обязанностью повиноваться власти правительств и стали рабами. Воспитываемые в этих преданиях, они не только не стыдились своего рабства, но гордились могуществом своих правительств, как всегда рабы гордятся величием своих господ.

в последнее же время из этого извращения христианства вырос еще новый обман, закрепивший христианские народы в их порабощении. Обман этот состоит в том, что посредством сложного устройства выборов представителей в правительственные учреждения людям известного народа внушается, что, избирая того, кто далее будет вместе с другими избирать того или другого из десятка неизвестных ему кандидатов или избирая прямо своих представителей, они делаются участниками правительственной власти и потому, повинуясь правительству, повинуются сами себе и потому будто бы свободны. Обман этот, казалось бы, должен быть очевиден и теоретически и практически, так как при самом демократическом устройстве и при всеобщей подаче голосов народ не может выразить свою волю. Не может выразить ее, во-первых, потому, что такой общей воли всего многомиллионного народа нет и не может быть, а во-вторых, потому, что если и была бы такая общая воля всего народа, большинство голосов никак не может выразить ее. Обман этот, не говоря уже о том, что выбранные люди, участвующие в правлении, составляют законы и управляют народом не в виду его блага, а руководствуясь по большей части единственной целью среди борьбы партий удержать свое значение и власть,– не говоря уже о производимом этим обманом развращении народа всякого рода ложью, одурением и подкупами,– обман этот особенно вреден тем самодовольным рабством, в которое он приводит людей, подпавших ему. Люди, подпавшие этому обману, воображая, что они, повинуясь правительству, повинуются сами себе, уже никогда не решаются ослушаться постановлений человеческой власти, хотя бы они и были противны не только их личным вкусам, выгодам, желаниям, но и высшему закону и их совести.

А между тем действия и распоряжения правительства таких мнимо самоуправляющихся народов, обусловливаемые сложной борьбой партий и интриг, борьбой честолюбия и корыстолюбия, так же мало зависят от воли и желания всего народа, как и действия и распоряжения самых деспотических правительств. Люди эти подобны заключенным в тюрьмах, воображающим, что они свободны, если имеют право подавать голос при выборе тюремщиков для внутренних хозяйственных распоряжений тюрьмы.

Член самого деспотического дагомейского народа может быть вполне свободен, хотя и может подвергнуться жестоким насилиям от власти, которую он не устанавливал; член же конституционного государства всегда раб, потому что, воображая, что он участвовал или может участвовать в своем правительстве, он признает законность всякого совершаемого над ним насилия, повинуется всякому распоряжению власти.

Так что люди конституционных государств, воображая, что они свободны, именно вследствие этого воображения утрачивают даже понятие о том, в чем состоит истинная свобода. Такие люди, воображая, что они освобождают себя, всё более и более отдаются в всё большее и большее рабство своим правительствам.

Ничто так ясно не показывает того всё большего и большего стремления к порабощению народов, как распространение и успех социалистических теорий, то есть стремление ко всё большему и большему порабощению.

Хотя русские люди в этом отношении и находятся в более выгодных условиях, так как они до сих пор никогда не участвовали во власти и не развращались этим участием, но и русские люди, как и другие народы, подвергались всем обманам возвеличения власти, клятвы, присяги, престижу величия государства, отечества и также считают своей обязанностью во всем повиноваться правительству.

В последнее же время легкомысленные люди русского общества стараются привести русский народ и к тому конституционному рабству, в котором находятся европейские народы.

Так что главным последствием непринятия заповеди непротивления, кроме бедствия всеобщего вооружения и войн, было еще всё большее и большее лишение свободы людей, исповедующих извращенный закон Христа.

VI

ПЕРВАЯ ВНЕШНЯЯ ПРИЧИНА ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРЕВОРОТА

Извращение учения Христа с непризнанием заповеди непротивления привело христианские народы к взаимной вражде и к вытекающим из нее бедствиям и всё усиливающемуся рабству, и люди христианского мира начинают чувствовать тяжесть этого рабства. В этом основная, общая причина предстоящего переворота. Частные же, временные причины, сделавшие то, что переворот этот начинается именно теперь, заключаются, во-первых, в особенно обли- чившемся в японской войне безумии всё растущего милитаризма народов христианского мира и, во-вторых, во всё увеличивающихся бедственности и недовольстве рабочего народа, происходящих от лишения этого народа его законного и естественного права пользования землей.

Две причины эти общи всем христианским народам, но, по особенным историческим условиям жизни русского народа, они резче, живее других народов чувствуются русским народом, и именно теперь. Бедственность своего положения, вытекающая из повиновения правительству, особенно ясна стала русскому народу, я думаю,

не только вследствие той ужасной, нелепой войны, в которую он был вовлечен своим правительством, но и потому, что русский народ всегда иначе относился к власти, чем европейские народы. Русский народ никогда не боролся со властью и, главное, никогда не участвовал в ней, не развращался участием в ней.

Русский народ всегда смотрел на власть не как на благо, к которому свойственно стремиться каждому человеку, как смотрит на власть большинство европейских народов (и как, к сожалению, смотрят уже некоторые испорченные люди русского народа), но смотрел всегда на власть как на зло, от которого человек должен устраняться. Большинство людей русского народа поэтому всегда предпочитало нести телесные бедствия, происходящие от насилия, чем духовную ответственность за участие в нем. Так что русский народ в своем большинстве подчинялся и подчиняется власти не потому, что не может свергнуть ее, чему хотят научить его революционеры, и не принимает в ней участия не потому, что не может добиться этого участия, чему хотят научить его либералы, а потому, что всегда в своем большинстве предпочитал и предпочитает подчинение насилию борьбе с ним или участию в нем. От этого установилось и держалось в России всегда деспотическое правление, то есть простое насилие сильного и желающего бороться над слабым или не желающим бороться.

Легенда о призвании варягов, составленная, очевидно, после того, как варяги уже завоевали славян, вполне выражает отношение русских людей к власти даже до христианства. «Мы сами не хотим участвовать в грехах власти. Если вы не считаете это грехом, приходите и властвуйте». Этим же отношением к власти объясняется та покорность русских людей самым жестоким и безумным, часто даже не русским самодержцам.

Так в старину смотрел русский народ на власть и свои отношения с ней. Так в своем большинстве смотрит он на нее и теперь. Правда, что, как и в других государствах, те же обманы внушения, посредством которых христианских людей заставляли незаметно не только подчиняться, но и повиноваться ей в делах, противных христианству, произведены были и над русским народом. Но обманы эти захватили только верхние, испорченные слои народа, большинство же его удержало тот взгляд на власть, при котором человек считает лучшим нести страдания от насилия, чем участвовать в нем.

Причина такого отношения русского народа к власти, я думаю, заключается в том, что в русском народе, больше чем в других народах, удержалось истинное христианство, как учение братства, равенства, смирения и любви, то христианство, которое делает резкое различие между подчинением насилию и повиновением ему. Истин-

ныи христианин может подчиняться, даже не может не подчиняться без борьбы всякому насилию, но не может повиноваться ему, то есть признавать его законность.

Как ни старались и ни стараются правительства вообще, и русское в особенности, заменить это истинное христианское отношение к власти православно-государственным учением, требующим повиновения, христианский дух и различение между подчинением и повиновением власти продолжает жить в огромном большинстве русского рабочего народа.

Несогласие правительственного насилия с христианством никогда не переставало чувствоваться большинством русских людей. В особенности же сильно и определенно чувствовалось это противоречие наиболее чуткими христианами, не принадлежавшими к извращенному учению православия, между так называемыми сектантами. Эти разных наименований христиане, все одинаково, не признавали законности власти правительства. Большинство ради страха покорялось признаваемым ими незаконными требованиям правительства, некоторые же, малая часть, разными хитростями обходили эти требования или убегали от них. Когда же введением общей воинской повинности государственное насилие как бы бросило вызов всем истинным христианам, требуя от всякого человека готовности к убийству, многие православные русские люди начали понимать несогласие христианства с властью. Христиане же не православные, самых различных вероисповеданий, стали прямо отказываться от солдатства. И хотя таких отказов было немного (едва ли один на тысячу призываемых), значение их было велико тем, что отказы эти, вызвавшие жестокие казни и гонения правительства, открывали глаза уже не одним сектантам, а всем русским людям на нехристианские требования правительства, и огромное большинство людей, прежде не думавших о противоречии закона божеского и человеческого, увидали это противоречие. И среди большинства русского народа началась та невидимая, глухая, не подлежащая взвешиванию работа освобождения сознания.

Таково было положение русского народа, когда возникла жестокая, не имеющая никаких оправданий японская война.

И вот эта-то война, при развитии грамотности, при всеобщем недовольстве и, главное, при необходимости вызова в первый раз сотен тысяч рассеянных по всей России пожилых, отрываемых от семей и разумного труда людей (запасных), для явно безумного и жестокого дела – война эта была тем толчком, который превратил невидную, глухую, внутреннюю работу в явное сознание незаконности требований правительства.

и сознание это выразилось и выражается теперь в самых разнообразных и значительных явлениях; в сознательных отказах запасных от вступления в войска, в таких же сознательных отказах стрелять и драться, особенно в отказах стрелять в своих при усмирении возмущений, а, главное, в всё учащающихся и учащающихся отказах от присяги и солдатства.

Таковы сознательные проявления незаконности и ненужности повиновения правительству. Бессознательные же проявления этого же самого – это всё то, что творится теперь как революционерами, так и их врагами: таковы бунты моряков в Черном море, Кронштадте, военные бунты в Киеве и других местах, погромы, самоуправства, крестьянские бунты. Престиж власти разрушен, и перед русскими людьми нашего времени, перед огромным большинством их, возник во всем великом значении вопрос о том, должно ли, следует ли повиноваться правительству.

В этом возникшем в русском народе вопросе – одна из причин предстоящего, а может быть, и начавшегося великого всемирного переворота.

VII

ВТОРАЯ ВНЕШНЯЯ ПРИЧИНА ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРЕВОРОТА

Вторая внешняя причина предстоящего переворота в том, что рабочий народ лишен своего естественного, законного права пользования землей и что это лишение довело народы христианского мира до всё увеличивающейся и увеличивающейся бедственности рабочего народа и всё увеличивающейся озлобленности его против пользующихся его трудами сословий.

Причина эта особенно живо чувствуется в России потому, что только в России большинство рабочего народа живет еще земледельческой жизнью, и русские люди только теперь, вследствие увеличения населения и недостатка земли, поставлены в необходимость или оставлять ту привычную им земледельческую жизнь, в которой одной они полагают возможным осуществление христианского общежития, или перестать повиноваться правительству, которое удерживает за частными владельцами отнятую у народа землю.

Обыкновенно думают, что самое жестокое рабство есть рабство личное, когда один человек может сделать над другим всё, что хочет: истязать, изуродовать, убить его и что то, что мы даже не называем рабством – лишение человека возможности пользоваться землей,– есть только некоторое, не совсем справедливое экономическое учреждение.

Но мнение это совершенно несправедливо.

То, что сделал Иосиф с египтянами, что делали все завоеватели над завоеванными народами, что делают теперь люди над людьми, лишая их возможности пользоваться землей,– есть самое ужасное и жестокое порабощение. Раб личный – раб одного, человек же, лишенный права пользоваться землей,– раб всех.

Но не в этом главное бедствие раба земельного. Как ни жесток мог быть хозяин личного раба, он, в виду своей выгоды, чтобы не лишиться раба, не заставлял его не переставая работать; не мучил, не морил его голодом; лишенный же земли раб часто должен через силы работать, мучиться, голодать и никогда ни минуты не может быть вполне обеспеченным, т. е. свободным от произвола людей и преимущественно от произвола недобрых, корыстных людей, во власти которых он находится.

И в этом еще не главное бедствие земельного раба. Главное его бедствие в том, что он не может жить нравственной жизнью. Не живя трудами с земли, не борясь с природой, он должен неизбежно бороться с людьми; силой или хитростью стараться отбирать у них то, что они приобрели от земли и от трудов других людей.

Земельное рабство не есть, как думают даже и те, которые признают лишение людей земли рабством, одна из остающихся форм рабства, а есть коренное, основное рабство, из которого вырастает и выросло всякое рабство и которое несравненно мучительнее личного рабства.

Личное рабство есть только один из частых случаев злоупотребления земельным рабством, так что освобождение людей от личного рабства без освобождения их от земельного рабства есть не освобождение, а только прекращение одного из злоупотреблений рабства и во многих случаях, как это было в России при освобождении крепостных с малым количеством земли, только обман, на время скрывающий от рабов их положение.

Русский народ понимал это всегда при крепостном праве, говоря; «мы ваши, а земля наша», и при освобождении не переставая всем народом требовал и ожидал освобождения земли. Народ поманили, дав ему при освобождении от крепостного права немного земли, и он на время затих, но при увеличившемся населении, при той же земле вопрос возник для него вновь и в самой ясной и определенной форме.

Пока народ был крепостной, он пользовался землею в тех размерах, которые были необходимы ему для существования. О распределении же увеличивающегося населения заботилось правительство и помещики, и народу не чувствительна была основная несправедливость захвата земель частными лицами. Но как скоро снято было крепостное право, уничтожилась забота правительства и по

мещиков об экономическом, земледельческом хотя не благосостоянии, а возможности существования народа. Количество земли, которым крестьяне могли владеть, было раз навсегда определено без возможности его увеличения, а население увеличивалось, и народ всё живее и живее чувствовал тяжесть своего положения. И он ждал, что правительство отменит законы, лишавшие его земли. Ждал 10, 20, 30, 40 лет, а земля всё больше и больше захватывалась частными владельцами, и народу был поставлен выбор: голодать, не размножаться или совсем бросать сельскую жизнь и образовывать поколения грабарей, ткачей, слесарей.

Прошло полстолетия, положение народа всё ухудшалось и ухудшалось и дошло, наконец, до того, что стал разрушаться тот строй жизни, который он считает необходимым для христианской жизни: и правительство, мало того что не дает ему земли, а, отдавая ее своим слугам и удерживая ее за ними, внушает народу, чтобы он не надеялся на свободу земли, и устраивает ему, по европейскому образцу, с фабричными инспекторами, промышленную жизнь, которую он считает дурной и греховной.

Лишение народа его законного права на землю – главная причина бедственного положения русского народа. И та же причина лежит в основе бедственности и недовольства своим положением рабочего народа Европы и Америки. Разница только в том, что отъем земли у европейских народов признанием законности частной земельной собственности совершился так давно, столько новых отношений легло сверх этой несправедливости, что люди Европы и Америки не видят истинной причины своего положения и ищут ее везде: в отсутствии рынков, в тарифах, в неправильном обложении, в капитализме, во всем, только не в том, в чем она действительно заключается,– в отнятии у народов права на землю.

Русским же людям эта основная несправедливость, еще не вполне совершенная над ними, ясно видна.

Русские люди, живя на земле, видят ясно то, что хотят сделать с ними, и не могут примириться с этим.

Бессмысленные и губительные вооружения и войны и лишение народа общего права на землю – таковы, по моему мнению, две ближайшие внешние причины предстоящего всему христианскому миру переворота. Начинается же этот переворот не где-нибудь, а именно в России, потому, что нигде, как в русском народе, не удержалось в такой силе и чистоте христианское мировоззрение, и нигде, как в России, не удержалось еще земледельческое состояние большинства народа.

VIII

КАКОВО БУДЕТ ПОЛОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ПОВИНОВЕНИЯ?

Русский народ раньше других народов христианского мира, благодаря своим особенным свойствам и условиям жизни, приведен к сознанию бедственности, происходящей от повиновения насильнической государственной власти. И в этом сознании и стремлении освободиться от насилия этой власти заключается, по моему мнению, сущность того переворота, который предстоит не только русскому народу, но и всем народам христианского мира.

Людям, живущим в государствах, основанных на насилии, кажется, что уничтожение власти правительств неизбежно повлечет за собой величайщие бедствия.

Но ведь утверждение о том, что та степень безопасности и блага, которыми пользуются люди, обеспечивается государственной властью, совершенно произвольно. Мы знаем те бедствия и и те блага, если они есть, которыми пользуются люди, живущие в государственном устройстве, но не знаем того положения, в котором бы были люди, упразднившие государство. Если же принять в соображение жизнь тех небольших общин, которые случайно жили и живут вне больших государств, то такие общины, пользуясь всеми благами общественного устройства, не испытывают одной сотой тех бедствий, которые испытывают люди, повинующиеся государственной власти.

О невозможности жить без государственного устройства ведь говорят преимущественно те самые люди правящих классов, для которых выгодно государственное устройство. Но спросите у тех людей, которые несут только тяжести государственной власти, у земледельцев, у 100 миллионов крестьян в России, и они скажут, что чувствуют только тяжесть ее и не только не считают себя обеспеченными государственной властью, но совершенно не нуждаются в ней.

Я много раз, во многих писаниях своих старался показать, что то, чем пугают людей, а именно тем, что без правительственной власти восторжествуют худшие люди, лучшие же будут угнетены,– что именно это самое давно уже совершилось и совершается во всех государствах, так как везде власть в руках худших людей, чтб и не может быть иначе, потому что только худшие люди могут делать все те хитрости, подлости, жестокости, которые нужны для участия во власти; много раз я старался показать, что все главные бедствия, от которых страдают люди, как накопление огромных богатств у одних людей и нищета большинства, захват земли нерабо-

тающими на ней, неперестающие вооружения и воины и развращение людей,– происходит только от признания законности правительственного насилия; старался показать, что для того чтобы ответить на вопрос о том, хуже или лучше будет положение людей без правительств, надо прежде решить вопрос о том, из кого состоят правительство. Хуже или лучше среднего уровня людей люди, составляющие правительство? Если эти люди лучще среднего уровня, то правительство будет благотворно, если же хуже, то зловредно. А то, что эти люди – Иоанны IV, Генрихи VIII, Мараты, Наполеоны, Аракчеевы, Меттернихи и Талейраны – хуже общего уровня, показывает история.

Я старался показать, что во всяком обществе людей всегда есть люди властолюбивые, бессовестные, жестокие, готовые для своей выгоды совершать всякого рода насилия, грабежи, убийства; и что в обществе без правительства эти люди будут разбойниками, сдерживаемыми в своих поступках отчасти борьбой с ними оскорбленных ими людей (самосуд, линчеванье), отчасти, и преимущественно, могущественнейщим орудием воздействия на людей – общественным мнением. В обществе же, управляемом насильнической властью, эти самые люди захватят власть и будут пользоваться ею, не только не сдерживаемые общественным мнением, а, напротив, поддерживаемые, восхваляемые, возвеличиваемые подкупленным и искусственно вызванным ими общественным мнением.

Говорят: как могут люди жить без правительств, т. е. насилия? Надо сказать напротив: как могут люди, разумные существа, жить, признавая внутренней связью своей жизни насилие, а не разумное согласие?

Одно из двух: разумные или неразумные существа люди? Если они неразумные существа, то всё между ними может и должно решаться насилием, и нет причины одним иметь, а другим не иметь права насилия. Если же люди разумные существа, то их отношения должны быть основаны не на насилии, а на разуме.

Казалось, довод этот должен бы быть убедителен для людей, признающих себя разумными существами. Но люди, защищающие государственную власть, не думают о человеке, о его свойствах, об его разумной природе; они говорят об известном соединении людей, которому они придают какое-то сверхъестественное, мистическое значение.

«Что станется с Россией, Францией, Британией, Германией,– говорят они,– если люди перестанут повиноваться правительствам?»

Что станет с Россией? Россия? Что такое Россия? Где ее начало, где конец? Польша? Остзейский край? Кавказ со всеми своими

народами? Казанские татары? Ферганская область? Амур? Всё это не только не Россия, но всё это чужие народы, желающие освобождения от того соединения, которое называется Россией. То, что эти народы считаются частью России, есть случайное, временное явление, обусловливаемое в прошедшем целым рядом исторических событий, преимущественно насилий, несправедливостей и жестокостей; в настоящем же соединение это держится только той властью, которая распространяется на эти народы.

На нашей памяти Ницца была Италия, вдруг стала Францией; Эльзас был Франция, стал Пруссией; Приморская область была Китай, стала Россией; Сахалин был Россия, стал Японией. Нынче власть Австрии распространяется на Венгрию, Богемию, Галицию, а английского правительства – на Ирландию, Канаду, Австралию, Египет и мн. др., русского правительства на Польшу, Грузию и т. д. Но завтра власть эта может прекратиться. Единственная сила, связывающая воедино все эти России, Австрии, Британии, Франции,– это власть. Власть же есть произведение людей, которые, противно своей разумной природе и закону свободы, открытому Христом, повинуются людям, требующим от них дурных дел насилия. Стоит только людям сознать свою, свойственную разумным существам свободу и перестать делать по требованию власти дела, противные их совести и закону, и не будет этих искусственных, кажущихся столь величественными соединений Россий, Британий, Германий, Франций, того самого, во имя чего люди жертвуют не только своей жизнью, но и свойственной разумным существам свободой.

Стоит только людям перестать повиноваться власти ради тех нигде не существующих, кроме как в их воображении, кумиров единой России, Франции, Британии, Соединенных Штатов, Австрий, и сами собою исчезнут эти ужасные кумиры, которые теперь губят телесное и душевное благо людей.

Принято говорить, что образование больших государств из мелких, постоянно борющихся между собой, заменяя внешней, большой границей мелкие разграничения, уменьшило тем самым борьбу и кровопролитие и зло борьбы. Но утверждение это совершенно произвольно, так как никто не взвесил количества зла и в том и в другом положении. И трудно думать, что все войны удельного периода в России, Бургундии, Фландрии, Нормандии, во Франции стоили столько жертв, сколько войны Наполеона, Александра, сколько японская, только что окончившаяся война.

Единственное оправдание увеличения государства – это образование всемирной монархии, при существовании которой уничтожи- . лась бы возможность войн. Но все попытки образования такой монархии, от Александра Македонского и Римской империи до Наполеона,

никогда не достигали цели умиротворения, а, напротив, были причиной величайших бедствий для народов. Так что умиротворение людей никак не может быть достигнуто увеличением и усилением государств. Достигнуто это может быть только обратным: уничтожением государств с их насильнической властью.

Были и жестокие и губительные суеверия, людские жертвы, костры за колдовство, войны за веру, пытки... Но ведь люди освободились от этих суеверий. Суеверие же государства, отечества, как чего-то священного, продолжает властвовать над людьми, и суеверию этому приносятся едва ли не более жестокие и губительные жертвы, чем всем прежним. Сущность этого суеверия в том, что людей разных местностей, нравов, интересов уверяют, что они все составляют одно целое, потому что одно и то же насилие употребляется над всеми ими, и люди верят в это и гордятся своей принадлежностью к этому соединению.

Суеверие это существует так давно и так усиленно поддерживается, что не только все те люди, которые пользуются этим суеверием: короли, министры, генералы, военные, чиновники, уверены в том, что существование, утверждение и увеличение этих искусственных единиц составляет благо тех людей, которые захвачены этими соединениями, но и эти самые люди так привыкают к этому суеверию, что гордятся своей принадлежностью к России, Франции, Германии, хотя эта принадлежность ни на что им не нужна и ничего, кроме зла, не доставляет им.

И потому уничтожение искусственных соединений больших государств вследствие того, что люди покорно, без борьбы, подчиняясь всякому насилию, перестанут повиноваться правительству, не представляет ничего страшного, и если и когда совершится, сделает только то, что среди таких людей, не признающих своей принадлежности к государству, будет меньше насилия, меньше страданий, меньше зла и что таким людям будет легче жить согласно тому высшему закону взаимного служения, который уже столько веков тому назад был открыт людям и понемногу всё более и более входит в сознание человечества.

IX

КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕДСТОЯЩЕМУ ПЕРЕВОРОТУ

Переворот, предстоящий теперь человечеству, состоит в освобождении себя от обмана повиновения человеческой власти. И так как сущность этого переворота совсем иная, чем сущность всех прежде бывших в христианском мире революций, то и деятельность

людей, участвующих в этом перевороте, не может не быть совсем иная, чем деятельность участников прежних революций.

Деятельность участников прежних революций состояла в насильственном свержении власти и захвате ее. Деятельность участников теперешнего переворота должна и может состоять только в прекращении потерявшего смысл повиновения какой бы то ни было насильнической власти и в устроении своей жизни независимо от правительства.

Мало того, что деятельность участников предстоящего переворота иная, чем деятельность участников прежних переворотов, но и главные участники этого переворота совсем другие, и место, где он должен происходить, иное, и количество участников иное.

Участники прежних революций – это преимущественно люди высших, освобожденных от физического труда профессий и руководимые этими людьми городские рабочие; участники же предстоящего переворота должны быть и будут преимущественно народные земледельческие массы. Места, в которых начинались и происходили прежние революции, были города; местом теперешней революции должна быть преимущественно деревня. Количество участников прежних революций – 10, 20 процентов всего народа; количество участников теперешней совершающейся в России революции должно быть 80, 90 процентов.

И потому вся деятельность волнующихся городских людей в России, которые, подражая Европе, собираются в союзы, делают стачки, демонстрации, бунты, придумывают новые формы правления, не говоря уже о тех несчастных, озверевших людях, которые совершают смертоубийства, думая этим служить начинающемуся перевороту,– вся деятельность этих людей не только не соответствует имеющему совершиться перевороту, но гораздо действительнее, чем правительства (они, сами не зная того, самые верные помощники правительства), останавливает ход имеющего совершиться переворота, ложно направляет и тормозит его.

Опасность, угрожающая теперь русскому народу, не в том, что не будет свергнуто силою существующее насильническое правительство и не будет поставлено на его место другое, также насильническое, какое бы то ни было демократическое или даже социалистическое, а в том, что эта борьба с правительством вовлечет народ в насильническую деятельность. Опасность в том, что русский народ, по своему особенному положению призванный к указанию мирного и верного пути освобождения, вместо этого будет вовлечен людьми, не понимающими всего значения совершающегося переворота, в рабское подражание прежде бывшим революциям и, бросив тот спасительный путь, на котором он стоит теперь, пойдет по тому

ложному пути, по которому к своей верной погибели идут остальные народы христианского мира.

Для того чтобы избавиться от этой опасности, русским людям надо прежде всего быть самими собою, не справляться о том, как поступать и что делать, у европейских и американских конституций или в социалистических проектах, а справляться и спрашивать совета только у своей совести. Русским людям, для того чтобы исполнить то великое дело, которое предстоит им, надо не только не заботиться о политическом управлении России и об обеспечении свободы граждан русского государства, но прежде всего освободиться от самого понятия русского государства, а потому и от заботы о правах граждан этого государства. Русским людям в настоящую минуту, для того чтобы достигнуть освобождения, надо не только не предпринимать что-либо, но, напротив, надо воздерживаться от всяких предприятий, как от тех, в которые их втягивает правительство, так и от тех, в которые хотят втянуть их революционеры и либералы.

Русскому народу, большинству его, крестьянам, нужно продолжать жить, как они всегда жили,– своей земледельческой, мирской, общинной жизнью и без борьбы подчиняться всякому, как правительственному, так неправительственному насилию, но не повиноваться требованиям участия в каком бы то ни было правительственном насилии, не давать добровольно податей, не служить добровольно ни в полиции, ни в администрации, ни в таможне, ни в войске, ни во флоте, ни в каком бы то ни было насильническом учреждении. Точно также, и еще строже, надо крестьянам воздерживаться от насилий, к которым возбуждают их революционеры. Всякое насилие крестьян над землевладельцами вызовет борьбу с ответным насилием и во всяком случае кончится установлением такого или другого, но непременно насильнического правительства. А при всяком насильническом правительстве, как это происходит в самых свободных землях Европы и Америки, точно так же объявляются и ведутся бессмысленные, жестокие войны и точно так же земля продолжает быть собственностью богачей. Только неучастие народа ни в каком насилии может уничтожить все насилия, от которых он страдает, может прекратить возможность нескончаемых вооружений и войн и может уничтожить земельную собственность.

Так надо поступать крестьянам-земледельцам, для того чтобы совершающийся переворот принес благие последствия.

Людям же городских сословий: дворянам, купцам, врачам, ученым, писателям, техникам, фабричным рабочим, которые теперь заняты революцией, надо прежде всего понять свое.ничтожество, хотя бы только численное,– одного против ста – в сравнении с зем

ледельческим народом; понять, что цель совершающегося переворота не может быть и не должна состоять в учреждении нового политического, насильнического строя с каким бы то ни было всеобщим голосованием, с какими бы то ни было усовершенствованными социалистическими учреждениями, а цель эта может и должна состоять только в освобождении всего и в особенности большинства его, стомиллионного земледельческого народа от всякого рода насилия, от военного насилия – солдатства, от податного насилия – пошлин и податей и от земельного насилия – захвата земли землевладельцами и что для этого нужна совсем не та суетливая и недобрая деятельность, которой теперь заняты русские либералы и революционеры, а совсем другое. Люди эти должны понять, что революция не делается нарочно; «дай, мы сделаем революцию», что революцию нельзя делать по готовым образцам, подражая тому, что делалось сто лет тому назад, при совершенно других условиях. Главное же – люди эти должны понять, что революция только тогда улучшает положение людей, когда люди, сознав неосновательность и бедственность прежних основ жизни, стремятся к устроению жизни на новых основах, могущих дать им истинное благо.

Улюдей же, теперь стремящихся сделать в России политическую революцию по образцу европейских революций, нет никаких новых основ. Они стремятся только к тому, чтобы переменить одну старую форму насилия на новую, точно так же осуществляемую насилием и несущую с собой те же бедствия, как и те, которые терпит теперь русский народ, как мы это видим в Европе и Америке, где тот же милитаризм, те же подати, тот же захват земли.

То же, что большинство революционеров выставляет новой основой жизни социалистическое устройство, которое может быть достигнуто только самым жестоким насилием и которое, если бы когда-нибудь и было достигнуто, лишило бы людей последних остатков свободы, показывает только то, что у людей этих нет никаких новых основ жизни.

Идеалом нашего времени не может быть изменение формы насилия, а только полное упразднение его, достигаемое неповиновением человеческой власти.

Так что если люди городских сословий хотят действительно служить совершающемуся великому перевороту, то первое, что они должны сделать,– это то, чтобы оставить ту жестокую революционную, неестественную, выдуманную деятельность, которой они теперь заняты, и, поселившись в деревне и разделяя труд народа, постараться, научившись от него его терпению, равнодушию и презрению к власти и, главное, трудолюбию, служить ему своими, если это понадобится, книжными знаниями в разъяснении тех вопросов,

которые неизбежно возникнут при упразднении правительства, не только не возбуждать его, как они это теперь делают, к насилию, а, напротив, удерживать его от всякого участия в насильнической деятельности, от всякого повиновения какой бы то ни было насильнической власти.

УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА, ОСВОБОДИВШЕГОСЯ ОТ НАСИЛЬНИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Но как, в каких формах могут жить люди христианского мира, если они не будут жить в форме государства, повинуясь правительственной власти?

Ответ на этот вопрос дают те самые свойства русского народа, вследствие которых я думаю, что предстоящий переворот начинается и должен совершиться не где-нибудь, а именно в России.

Отсутствие власти в России никогда не мешало правильной и мирной общественной жизни земледельческих общин. Напротив, вмешательство правительственной власти всегда мешало этому внутреннему, свойственному русскому народу устройству.

Русский народ, как и большинство земледельческих народов, естественно складывается, как пчелы в ульи, в определенные общественные отношения, вполне удовлетворяющие требованиям совместной жизни людей. Везде, где только русские люди осаживались без вмешательства правительства, они устанавливали между собой не насильническое, а свободное, основанное на взаимном согласии мирское, с общинным владением землей управление, которое вполне удовлетворяло требованиям мирного общежития. Такие общины заселили без помощи правительства все восточные окраины России. Такие общины уходили в Среднюю Азию, в Турцию, как некра- совцы, и удерживая свое христианское общинное устройство, спокойно жили там поколениями под властью турецкого султана. Такие общины переходили в Китай, не зная того, что занимаемая ими земля принадлежит Китаю, и жили там долгое время, не нуждаясь ни в каком, кроме своего внутреннего управления, правительстве. И точно так же живут русские земледельческие люди, огромное большинство населения в России, не нуждаясь в правительстве, а только терпя его. Правительство для русского народа никогда не было необходимостью, а всегда было тягостью.

Отсутствие правительства, того самого правительства, которое удерживает силою право на пользование землей за неработающими. землевладельцами, только может содействовать той общинной земледельческой жизни, которую русский народ считает необходи-

мым условием хорошей жизни, содействовать тем, что, уничтожив власть, поддерживающую земельную собственность, освободит землю и даст на нее одинаковые, равные права всем людям.

И потому русским людям не нужно при упразднении правительства выдумывать те новые формы общежития, которые должны были бы заменить прежние. Такие формы общежития существуют среди русского народа, всегда были свойственны ему и вполне удовлетворяют его требованиям общественной жизни.

Формы эти – это мирское, при равенстве всех членов мира, управление, артельное устройство при промышленных предприятиях и общинное владение землей.

Переворот, который предстоит христианскому миру и который начинается теперь в русском народе, тем и отличается от прежних революций, что прежние разрушали, не ставя ничего на место разрушенного ими или ставя вместо одной формы насилия другую. В предстоящем же перевороте ничего не нужно разрушать, нужно только перестать участвовать в насилии, не вырывать растения, ставя на его место нечто искусственное и неживое, а только устранять всё то, что мешает его росту.

И потому содействовать великому, совершающемуся теперь перевороту будут не те торопливые и самоуверенные люди, которые, не понимая того, что причина зла, с которым они борются, в насилии и, не представляя себе никакой формы жизни вне насилия, слепо и необдуманно разрушают существующее насилие с тем, чтобы заменить его новым. Содействовать совершающейся революции будут только те люди, которые, ничего не разрушая, ничего не ломая, будут устраивать свою жизнь независимо от правительства, будут без борьбы нести всякое совершаемое над ними насилие, но не будут участвовать в правительстве, не будут повиноваться ему.

Русскому народу, земледельческому народу, огромному большинству, надо, продолжая жить, как он живет теперь, земледельческой, общинной жизнью, ***не участвовать в делах правительства и не повиноваться ему.***

Чем больше будет держаться русский народ такого свойственного ему общежития, тем менее будет возможно вмешательство в его жизнь правительственной, насильнической власти и тем легче будет упразднена эта власть, всё менее и менее находя поводов к вмешательству и всё менее и менее находя помощников для исполнения своих дел насилия.

И потому на вопрос о том, к каким последствиям приведет людей прекращение повиновения правительствам, можно наверное сказать, что последствием этого будет уничтожение того насилия, которое заставляло людей вооружаться и воевать друг с другом и

лишало их права пользоваться землей. Освобожденные же от насилия люди, не готовясь более к войне и не воюя друг с другом и имея доступ к земле, естественно вернутся к тому свойственному вообще людям самому радостному, здоровому и нравственному земледельческому труду, при котором усилия человека направлены на борьбу с природой, а не с людьми, к тому труду, на котором зиждутся все другие отрасли труда и который может быть оставлен только людьми, живущими насилием.

Прекращение повиновения правительствам должно привести людей к земледельческой жизни, земледельческая же жизнь – к самому естественному при такой жизни общинному устройству небольших, находящихся в одинаковых земледельческих условиях обществ.

Весьма вероятно, что общины эти не будут жить обособленно и войдут между собою, вследствие единства экономических, племенных или религиозных условий, в новые, свободные соединения, но совершенно иные, чем прежние,– государственные, основанные на насилии.

Отрицание насилия не лишает людей возможности соединений, но соединения, основанные на взаимном согласии, могут образоваться только тогда, когда будут разрушены соединения, основанные на насилии.

Для того чтобы построить новый и прочный дом на месте разрушающегося, надо разобрать старые стены, камень по камню, и вновь строить.

То же и с теми соединениями, которые могут образоваться между людьми после разрушения соединения, основанного на насилии.

XI

ЧТО СТАНЕТСЯ С ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ?

Но что же станется со всем тем, что выработали люди, что станется с цивилизацией?

«Возвращение к обезьянам», «письмо Вольтера к Руссо о том, чтобы научиться ходить на четвереньках», «возвращение к какой-то естественной жизни», скажут люди, которые так уверены в том, что та цивилизация, которой мы пользуемся, есть великое благо, что они не допускают даже мысли о потере чего-нибудь из того, что выработано цивилизацией.

«Как – грубая, давно пережитая человечеством земледельческая община в деревенской глущи вместо наших городов, с подземными и. надземными электрическими дорогами, электрическими солнцами, музеями, театрами, памятниками?» – скажут эти люди.

Да, и с нищенскими кварталами, с slums' Лондона, Нью-Йорка и всех больших городов, с домами терпимости, банками, взрывчатыми бомбами против врагов внешних и внутренних, с тюрьмами, эшафотами, с миллионными войсками, скажу я.

«Цивилизация, наша цивилизация – великое благо», говорят люди. Но ведь люди, которые так уверены в этом,– это те немногие люди, которые живут не только в этой цивилизации, но ***живут ею,*** живут в полном довольстве, живут почти праздно в сравнении с трудом рабочего народа, только потому, что есть эта цивилизация.

Все эти люди – короли, императоры, президенты, князья, министры, чиновники, военные, землевладельцы, купцы, техники, врачи, ученые, художники, учителя, священники, писатели – знают, наверное знают, что наша цивилизация есть такое великое благо, что нельзя допустить и мысли о том, чтобы она могла не только исчезнуть, но даже измениться. Но спросите у огромной массы земледельческого народа – славянского, китайского, индийского, русского, у девяти десятых человечества – благо или не благо та цивилизация, которая кажется такой драгоценной неземледельческим профессиям? И, странное дело, девять десятых человечества ответят совершенно иначе. Они знают, что им нужна земля, навоз, орошение, солнце, дождь, леса, урожаи, некоторые простые орудия труда, которые можно делать, не оставляя земледельческой жизни; но про цивилизацию они или не знают, или, когда она представляется им в виде разврата городов или в виде несправедливых судов с своими тюрьмами и каторгами, или в виде податей и устройства ненужных дворцов, музеев, памятников, или в виде таможен, мешающих свободному обмену произведений, или в виде пушек, броненосцев, войск, разграбляющих страны,– они скажут, что если в этом цивилизация, то она не только не нужна, но очень вредна им.

Люди, пользующиеся благами цивилизации, говорят, что она благо для всего человечества, но ведь они в этом вопросе не судьи и не свидетели, а сторона.

Нет спора в том, что мы далеко ушли по дороге технического прогресса. Но кто ушел по этой дороге? То маленькое меньшинство, которое живет на шее рабочего народа; рабочий же народ, тот, который обслуживает всех людей, пользующихся цивилизацией, продолжает во всем христианском мире жить так, как он жил 5, 6 веков тому назад, пользуясь только изредка отбросами цивилизации. Если он живет и лучше, то расстояние, отделяющее его положение от положения богатых классов, не меньше, а скорее больше.

Трущобами *(англ.).*

чем то, которое отделяло его от богатых за 6 веков тому назад. Я не говорю, что, поняв, что цивилизация не есть абсолютное благо, как думают многие, мы должны бросить всё, что выработали люди для борьбы с природой; но я говорю, что для того чтобы знать, что выработанное людьми действительно служит их благу, надо, чтоб все люди пользовались этими благами, а не малое число; надо, чтобы люди не были вынуждены лишаться своего блага для других людей в надежде на то, что эти блага достанутся когда-то и их потомкам.

Мы смотрим на египетские пирамиды и ужасаемся на жестокость и нелепость тех людей, которые приказывали их строить, как и тех, которые исполняли их приказания. Но насколько жесточе, нелепее те 10-ти и 36-тиэтажные дома, которые люди нашего мира строят по городам и гордятся ими. Кругом земля со своими травами, лесами, чистыми водами, чистым воздухом, солнцем, птицами, зверями, а люди со страшными усилиями, загораживая от других солнце, воздвигают качающиеся от ветра 36-тиэтажные дома в месте, где нет ни травы, ни деревьев и где всё, и вода и воздух, загажены, вся пища подделана и испорчена и жизнь трудна, нездорова. Разве это не признак явного умопомешательства целого общества людей, не только совершающих такие безумства, но еще и гордящихся ими? Но это не единственный пример. Взгляните вокруг себя, и вы на каждом шагу увидите всяких родов нелепости, такие же, как эти 36-тиэтажные дома, стоящие египетских пирамид.

Бессознательная, а иногда и сознательная ошибка, которую делают люди, защищающие цивилизацию, состоит в том, что они цивилизацию, которая есть только орудие, признают за цель и считают ее всегда благом. Но ведь она будет благом только тогда, когда властвующие в обществе силы будут добрыми. Очень полезны взрывчатые газы для прокладки путей, но губительны в бомбах. Полезно железо для плугов, но губительно в ядрах, тюремных запорах.

Печать может распространять добрые чувства и мудрые мысли, но еще с ббльшим, как мы это видим, успехом – глупые, развратные и ложные. Вопрос о том, полезна или вредна цивилизация, решается тем, чтб преобладает в данном обществе – добро или зло. В нащем же христианском мире, где большинство находится в рабском угнетении у меньшинства, она есть только лишнее орудие угнетения.

Пора людям высших классов понять, что то, что они называют цивилизацией, культурой, есть только и средство и последствие того рабства, в котором малая часть нерабочего народа держит огромное большинство работающих.

Пора понять нам, что спасение наше не в продолжении того пути, по которому мы шли, и не в удержании всего того, что выработали, а в признании того, что мы шли по ложной дороге и зашли в трясину, из которой надо выбраться, и что нам не заботиться надо о том, чтобы удержать то, что мы несем, а, напротив, смело побросать всё то, наименее нужное, что мы тащили на себе, чтобы только как-нибудь (хоть на четвереньках) выбраться до твердого берега.

Разумная и добрая жизнь ведь только в том и состоит, что человек или люди выбирают из многих всегда предстоящих им поступков или путей тот, который более разумен и добр. И христианскому человечеству в его теперешнем положении необходимо, для того чтобы жить разумной жизнью, выбрать одно из двух: или продолжение того пути, при котором существующая цивилизация дает наибольшее благо немногим, удерживая в нужде и рабстве многих, или сейчас, не откладывая это в далекое будущее, отказаться от части или хоть от всех тех благ, которые выработала эта цивилизация для немногих, если только эти блага мешают освобождению большинства людей от их нужды и рабства.

XII

СВОБОДЫ И СВОБОДА

То, что люди нашего времени толкуют о каких-то отдельных свободах: свободе слова, печати, совести, свободе таких, а не иных выборов, свободе сходок, союзов, труда и многих других,– очевидно показывает, что такие люди, как теперь наши русские революционеры, имеют очень превратное понятие или вовсе не имеют понятия о свободе вообще, о той простой, понятной всем свободе, которая состоит в том, что над человеком нет такой власти, которая требует от него поступков, противных его желаниям и выгодам.

В этом непонимании того, чтб есть свобода, и вытекающем из этого непонимания представления о том, что разрешение какими-то людьми другим людям некоторых поступков есть свобода, заключается большое и чрезвычайное вредное заблуждение. Заблуждение состоит в том, что людям нашего времени кажется, что рабская покорность насилию, в которой они находятся перед правительством, и есть естественное положение, а что разрешение правительственной властью известных поступков, определенных этой властью, есть свобода; вроде того, как рабы считали бы свободой разрешение по воскресеньям ходить в церковь, или в жаркие дни купаться, или во время свободное от работы на хозяев чинить свою одежду и т. п.

Ведь стоит только, на минуту отрешившись от установленных привычек и суеверий, взглянуть на положение всякого человека.

живущего в государстве, к какому бы самому деспотическому или самому демократическому государству он ни принадлежал, чтобы ужаснуться на ту степень рабства, в котором живут теперь люди, воображая, что они свободны.

Над всяким человеком, где бы он ни родился, существует собрание людей, совершенно неизвестных ему, которые устанавливают законы его жизни: чтб он должен и чего не должен делать; и чем совершеннее государственное устройство, тем теснее сеть этих законов. Определено, кому и как он должен присягать, то есть обещаться исполнять все те законы, которые будут составляться и провозглашаться. Определено, как и когда он может жениться (он может жениться только на одной женщине, но может пользоваться домами терпимости). Определено, как он может разводиться с женой, как содержать своих детей, каких считать законными, каких незаконными и кому и как наследовать и передавать свое имущество. Определено, за какие нарушения законов и как и кем он судится и наказуется. Определено, когда он сам должен являться в суд в качестве присяжного или свидетеля. Определен возраст, при котором он может пользоваться трудами помещиков, работников и даже число часов, которое может работать в день его помощник, пища, которую он должен давать им. Определено, когда и как он должен прививать предохранительные болезни своим детям; определены меры, которые он должен принимать и которым должен подвергаться при такой-то и такой-то болезни, постигшей его или его семейных и животных. Определены школы, в которые он должен посылать своих детей. Определены размеры и прочность дома, который он может строить. Определено содержание его животных; лошадей, собак; как он может пользоваться водой и где может ходить без дороги. Определены наказания за неисполнение всех этих и еще многих других законов. Нельзя перечислить всех законов на законах и правил на правилах, которым он должен подчиняться и незнанием которых (хотя и нельзя их знать) не может отговариваться человек самого либерального государства.

При этом человек этот поставлен в такое положение, что при всякой покупке потребляемых им предметов; соли, пива, вина, сукна, железа, керосина, чая, сахара и многого другого он должен отдавать большую часть своего труда для каких-то неизвестных ему дел и для уплаты процентов за долги, которые совершены кем-то во времена его дедов и прадедов. Должен отдавать также часть своего труда и при всяком переезде с места на место, при всяком получении наследства, или какой бы то ни было сделке с ближним. Кроме того, за ту часть земли, которую он занимает или своим жилищем или обработкой поля, с него требуют еще более значительную часть

его труда. Так что ббльшая часть его труда, если он живет своим трудом, а не чужим, вместо того, чтобы облегчать и улучшать положения его и положения его семьи, уходит на эти подати, пошлины, монополии.

Мало и этого: человеку этому в одних, в большинстве государств велят, как только он войдет в возраст, поступать на несколько лет в военное, самое жестокое рабство и идти воевать; в других же государствах, Англии и Америке, он должен нанимать людей для этого же дела. И вот люди, поставленные в такое положение, не только не видят своего рабства, но гордятся им, считая себя свободными гражданами великих государств Британии, Франции, Германии, России, гордятся этим так же, как лакеи гордятся важностью тех господ, перед которыми они служат.

Казалось бы естественно человеку с не извращенными и не расслабленными духовными силами, застав себя в таком ужасном и унизительном положении, сказать себе: «да зачем же я буду исполнять всё это? Я хочу наилучшим образом прожить свою жизнь, хочу работать, кормить семью. Оставьте меня в покое с вашей Россией, Францией, Британией. Кому это нужно, те пускай соблюдают эти Британии и Франции, а мне они не нужны. Силою вы можете отобрать у меня всё, что хотите, и убить меня, но сам я не хочу и не буду участвовать в своем порабощении». Казалось бы, естественно поступить так, но никто не говорит этого и никто так не поступает.

Вера в то, что принадлежность к какому-нибудь государству есть необходимое условие жизни человеческой, так сильно укоренилась, что люди не могут решиться поступить так, как велит им их разум, их чувство добра, их прямая польза.

Люди, поддерживая свое рабство ради веры в государство, совершенно подобны тем птицам, которые, несмотря на то что дверь клетки открыта, продолжают сидеть в неволе отчасти по привычке, отчасти не понимая того, что они свободны.

Заблуждение это особенно странно в людях, удовлетворяющих сами своим потребностям, как земледельческие населения Германии, Австрии, Индии, Канады и др. и в особенности России. Людям этим нет никакой ни нужды, ни выгоды в том рабстве, которому они добровольно подчиняются.

Еще понятно, что городские люди не поступают так, потому что интересы их так переплетены с интересами правящих классов больших государств, что то порабощение, в котором они находятся, выгодно для них. Рокфеллер не может желать отказаться от повиновения законам страны, потому что законы этой страны дают ему возможность наживать и сохранять свои миллиарды в ущерб инте

ресам массы народа; не могут желать отказаться и директора предприятий Рокфеллера, и служащие у этих директоров, и служащие у этих служащих. Так это для городских жителей. Это прежние дворовые по отношению крестьян: порабощение их полезно им. Но для чего покоряться этой ненужной им власти земледельческим народам, большинству русского народа?

Живет семья в Тульской губернии, в Познани, в Канзасе, в Нормандии, в Ирландии, в Канаде. Людям этим нет никакого дела до русского государства с Петербургом, Кавказом, Остзейским краем, с его манчжурскими захватами и дипломатическими хитростями. Точно так же и семье, живущей в Познани,– до Пруссии с Берлином и африканскими колониями; и ирландцу – до Британии с Лондоном и ее египетскими, бурскими и другими делами; и канзасцу – до Соединенных Штатов с своим Нью-Йорком и Филиппинами. А между тем эти семьи должны отдавать определенную часть своих трудов, должны участвовать в приготовлениях к войне и в самой войне, затеваемой тоже не ими, а кем-то, должны повиноваться установленным не ими, а кем-то законам. Правда, что их уверяют, что, повинуясь во всех этих, имеющих самую большую важность для их жизни, делах неизвестным им людям, они, вследствие того, что выбрали одного из тысячи неизвестных им представителей, повинуются не другим людям, но сами себе. Но ведь верить этому может только тот, кому хочется и нужно обмануть себя и других.

Принадлежа к государству, человек не может быть свободен. И чем больше государство, тем больше нужно насилия и тем меньше возможна истинная свобода. Для составления одного целого из самых разнообразных народностей и людей, каковы Британия, Россия, Австрия, и удержания их в этом соединении, нужно очень большое насилие. Хотя и меньше насилия нужно для удержания соединений людей в малых государствах, как Швеция, Португалия, Швейцария, но зато в этих малых государствах труднее гражданам уклониться от требований власти, и сумма несвободы, насилия та же, как и в больших государствах.

Как для того, чтобы связать и держать вместе вязанку дров, нужна крепкая веревка и известная степень натянутости ее, так и для того, чтобы держать вместе в одном государстве большое соединение людей, нужна известная степень насилия и приложения его. Разница для дров может быть только в размещении их, в том, что не те, а другие дрова будут непосредственно сжаты веревкой, но сила, удерживающая их вместе, будет, при каком бы то ни было размещении дров, одна и та же. То же и с насильническим государством, какое бы оно ни было: деспотия, конституционная монархия, олигархия, республика. Если соединение людей держится насили

ем, то есть тем, что устанавливаемые одними людьми законы насилием приводятся другими в исполнение, то всегда будет одинаковое по степени силы насилие одних людей над другими. В одном месте оно будет проявляться грубым насилием, в другом денежной властью. Разница будет только в том, что при одном насильническом государственном устройстве насилие будет давить больше одних людей, при другом устройстве – более других.

Государственное насилие можно сравнить с черной ниткой, на которой свободно нанизаны бусы. Бусы – это люди. Черная нитка – это государство. До тех пор, пока бусы будут на нитке, они не будут иметь возможности свободно перемещаться. Можно сдвинуть их всех в одну сторону, и на этой стороне не будет видна между ними черная нитка, но зато на другой стороне ббльшая часть нитки будет голая (деспотизм). Можно местами равномерно сдвинуть бусы, оставив между ними соответственные промежутки черной нитки (конституционная монархия). Можно между каждой бусой оставить небольшую часть нитки (республика). Но пока не будут бусы сняты с нитки, пока не будет разорвана нитка, не будет возможности скрыть черную нитку.

Пока будет государство и нужное для его поддержания насилие, в какой бы ни было форме, не будет, не может быть свободы, настоящей свободы, того, что всегда все люди понимали и понимают под этим словом.

«Но как же будут жить люди без государства?» – обыкновенно спрашивают люди, так привыкшие к тому, что каждый человек, кроме того, что он сын своих родителей, внук своих дедов и предков, живущий избранным им трудом, и, главное, кроме того, что он человек, еще и француз, или британец, германец, янки, русский, т. е. принадлежит к тому или иному насильническому учреждению, которое называется Францией с своим Алжиром, Аннамом, Ниццей и т. п., или к Британии с ее чуждыми ей населениями Индии, Египта, Австралии и Канады, или к Австрии с ее ничем внутренно не связанными народами, или к такому разноплеменному и огромному государству, как Соединенные Штаты или Россия. Люди так привыкли к этому, что им кажется, что жить, не принадлежа к этим не имеющим никакого внутреннего смысла соединениям, так же невозможно, как казалось людям невозможным тысячи лет тому назад жить без принесения жертв богам и без прорицателей, рещающих поступки людей.

Как будут жить люди, не принадлежа ни к какому правительству?

Да совершенно так же, как они живут теперь, только не делая тех глупостей и гадостей, которые делают теперь ради этого ужасного суеверия. Будут жить так же, как теперь, не отнимая от своей

семьи произведений своих трудов для того чтобы в виде податей и пошлин отдавать их на дурные дела неизвестным им людям, и не участвуя ни в насилии, ни в судах, ни в войнах, устраиваемых этими людьми.

Да, только это, не имеющее в наше время никакого смысла суеверие дает ту безумную, ничем не оправдываемую власть сотням людей над миллионами и лишает истинной свободы эти миллионы. Не может человек, живущий в Канаде, в Канзасе, в Богемии, в Малороссии, Нормандии, быть свободен, пока он считает себя, и часто гордится этим, британским, североамериканским, австрийским, русским, французским гражданином. Не может и правительство, призвание которого состоит в том, чтобы соблюдать единство такого невозможного и бессмысленного соединения, как Россия, Британия, Германия, Франция, дать своим гражданам действительную свободу, а не подобие ее, как это делается при всяких хитроумных конституциях, монархических, республиканских или демократических. Главная и едва ли не единственная причина отсутствия свободы – суеверие государства. Люди могут быть лишены свободы и при отсутствии государства. Но при принадлежности людей к государству не может быть свободы.

Люди, участвующие теперь в русской революции, не понимают этого. Люди эти добиваются разных свобод для граждан русского государства, воображая себе, что в этом состоит цель совершающейся революции. Но цель и последний результат совершающейся революции гораздо дальше той, которую видят революционеры. Цель эта – освобождение от государственного насилия. И к этому великому перевороту ведет та сложная работа ошибок, злодеяний, совершающихся теперь на загнившей поверхности огромного русского народа, среди малой части его городских сословий, так называемой интеллигенции и фабричных рабочих. Вся эта сложная и большею частью исходящая из самых низких мотивов мести, злобы, честолюбия деятельность имеет для большого русского народа только одно значение: она должна показать народу, чего он не должен делать, и что он может и что должен сделать; должна показать всю тщету замены одной государственной формы насилия и злодеяний другой формой государственного насилия и злодеяний и разрушить в его сознании суеверие и наваждение государственности.

Русский народ, огромное большинство его, глядя на совершающиеся события, на все те новые формы насилия, проявляющиеся в жестокой революционной деятельности: погромы, разорения, стачки, лишающие целые населения пропитания, и, главное, братоубийства,– начинает понимать, что дурно не только то прежнее государственное насилие, под которым он жил и от которого уже много

пострадал, но и то новое государственное же насилие, которое проявляется теперь такими же, но только новыми обманами и злодействами, и что ни то, ни другое ни хуже, ни лучше, а оба худы, и надо избавиться от всякого государственного насилия и что это очень легко и возможно.

Народ, в особенности земледельческий русский народ, огромное большинство его, тот, который жил и живет, решая все свои общественные дела мирским сходом, не нуждаясь в правительстве, глядя на совершающиеся события, должен будет понять, что ему не нужно никакого, ни самого деспотического, ни самого демократического правительства, как не нужны человеку ни медные, ни железные, ни короткие, ни длинные цепи. Народу не нужны никакие отдельные свободы, а нужна одна, настоящая, полная, простая свобода.

И, как всегда бывает, решение кажущихся трудными вопросов бывает самое простое; так и теперь, для достижения не тех или иных свобод, а этой одной, настоящей, полной свободы, нужна не борьба с правительственной властью, не придумывание таких или иных способов представительства, могущих только скрыть от людей их состояние рабства, а только одно; ***неповиновение людям.***

Пусть только народ перестанет повиноваться правительству, и не будет ни податей, ни отнятий земли, ни всяких стеснений от властей, ни солдатства, ни войн. Это так просто и так кажется легко. Отчего же люди не делали этого до сих пор и теперь еще не делают этого?

А оттого, что для того, чтобы не повиноваться правительству, надо повиноваться Богу, т. е. жить доброй, нравственной жизнью.

Только в той мере, в которой люди живут такою жизнью, то есть повинуются Богу, могут они и перестать повиноваться людям и освободиться.

Нельзя сказать себе; «дай я не буду повиноваться людям». Не повиноваться людям можно только тогда, когда повинуешься высшему, общему для всех закону Бога. Нельзя быть свободным, нарушая высший, общий закон взаимного служения, как нарушают его всей своей жизнью люди богатых, городских классов, живущие трудами рабочего, особенно земледельческого народа. Свободен может быть человек только в той мере, в какой он исполняет высший закон. Исполнение же этого закона не только трудно, но почти невозможно при городском, фабричном устройстве общества. Оно возможно и легко только при земледельческой жизни.

И потому освобождение людей от повиновения правительствам и от признания искусственных соединений государств, отечества должно привести их к естественной, радостной и наиболее нрав

ственной жизни земледельческих общин, подчиняющихся только своим, доступным всем, основанным не на насилии, а на взаимном согласии установлениям.

В этом сущность предстоящего христианским народам великого переворота.

Как произойдет этот переворот, какие перейдет ступени, нам не дано знать, но мы знаем, что он неизбежен, потому что он совершается и отчасти уже совершился в сознании людей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жизнь людей только в том и состоит, что время дальше и дальше открывает скрытое и показывает верность или неверность пути, по которому они шли в прошедшем. Жизнь есть уясняющееся сознание ложности прежних основ и установление новых и следование им. Жизнь человечества, так же как отдельного человека, есть вырастание из прежнего состояния в новое. Вырастание же это неизбежно сопровождается сознанием своих ошибок и освобождением от них.

Но бывают времена, когда в жизни как отдельного человека, так и всего человечества, сразу открывается ясно та ошибка, которая сделана была в направлении прошедшего, и выясняется та деятельность, которая должна исправить эту ошибку. Это времена революций. И в таком положении находятся теперь христианские народы.

Человечество жило по закону насилия и не знало никакого другого. Пришло время, и передовые люди человечества провозгласили новый, общий всему человечеству закон взаимного служения. Люди приняли этот закон, но не во всем его значении, и, хотя и старались применить его, продолжали жить по закону насилия. Явилось христианство, которое подтвердило людям истину о том, что есть только один закон, общий всем людям, дающий им наибольшее благо,– закон взаимного служения, и указало на причину, по которой закон этот не был осуществлен в жизни. Он не был осуществлен потому, что люди считали необходимым и благотворным употребление насилия для благих целей и считали справедливым закон возмездия. Христианство показало, что насилие всегда губительно, и возмездие не может быть применяемо людьми. Но христианское человечество, не приняв этого разъяснения общего всем людям закона взаимного служения, хотя и желало жить по этому закону, невольно продолжало жить по языческому закону насилия. Такая противоречивая жизнь всё увеличивала и увеличивала преступность

жизни и внешние удобства и роскошь меньшинства, увеличивала и рабство и бедствия большинства в христианских народах.

В последнее время преступность и роскошь жизни одной части и бедствия и рабство другой части людей христианского мира дошли до высшей степени, особенно среди народов, давно уже оставивших естественную жизнь земледелия и подпавших обману мнимого самоуправления. Народы эти, страдая от бедственности своего положения и от сознания противоречия, в котором они находятся, ищут спасения везде; в империализме, милитаризме, социализме, захватах чужих земель, во всякого рода борьбе, в тарифах, технических усовершенствованиях, в разврате, во всем, только не в том одном, что может спасти их,– освобождение себя от суеверия государства, отечества и прекращение повиновения государственной насильнической власти, какая бы она ни была.

Вследствие своей земледельческой жизни, вследствие отсутствия обмана самоуправления, вследствие своей многочисленности и, главное, вследствие удержавшегося в нем христианского отношения к насилию русский народ, после жестокой, ненужной и несчастной войны, в которую он был вовлечен своим правительством, и после неудовлетворения требований о возвращении ему отнятой у него земли,– русский народ прежде других народов почувствовал главные причины бедствий христианского человечества наших времен, и потому именно среди него начнется тот великий переворот, который предстоит всему человечеству и который один может спасти его от его ненужных страданий.

В этом значение начинающейся теперь в России революции. Революция эта не началась еще среди народов Европы и Америки, но причины, вызвавшие революцию в России, те же для всего христианского мира; та же японская война, показавшая всему миру неизбежное в военном деле преимущество языческих народов перед христианскими, те же дошедщие до последней степени напряжения вооружения больших государств, не могущие никогда кончиться, и то же бедственное положение и всеобщее недовольство рабочего народа вследствие отнятого у него естественного права на землю.

Большинство русских людей ясно видят, что причина всех претерпеваемых ими бедствий – повиновение власти и что русским людям предстоит одно из двух; или перестать быть разумными, свободными существами или перестать повиноваться правительству.

И то же самое, если и не видят теперь из-за суеты своей жизни и обмана самоуправления, то очень скоро увидят народы Европы и Америки. Участие в насилии правительств больших госу

дарств, которое они называют свободой, привело и ведет их к всё большему рабству и к бедствиям, вытекающим из этого рабства. Увеличивающиеся же бедствия неизбежно приведут их к единственному средству избавления от них: прекращению повиновения правительствам и, вследствие прекращения повиновения правительствам, уничтожению государственных насильнических соединений.

Для того чтобы совершился этот великий переворот, нужно только, чтобы люди поняли, что государство, отечество есть фикция, а жизнь и истинная свобода есть реальность; и что поэтому не жизнью и свободой надо жертвовать для искусственного соединения, называемого государством, а ради истинной жизни и свободы – освободиться от суеверия государства и вытекающего из него преступного повиновения людям.

В этом изменении отношения людей к государству и власти – конец старого и начало нового века.

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ НАРОДЫ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ РУССКИЙ НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

Люди мирно живут между собой и согласно действуют только тогда, когда они соединены одним и тем же мировоззрением: одинаково понимают цель и назначение своей деятельности.

Так это для семей, так это и для различных кружков людей, так это для политических партий, так это для целых сословий и так это в особенности для народов, соединенных в государства.

Люди одного народа живут более или менее мирно между собой и отстаивают дружно свои общие интересы только до тех пор, пока живут одним и тем же усвоенным и признаваемым всеми людьми народа мировоззрением. Общее людям народа мировоззрение выражается обыкновенно установившейся в народе религией.

Так это было всегда и в языческой древности, так это есть и теперь и в языческих, и магометанских народах, и с особенной ясностью в самом древнем и до сих пор продолжающем жить одной и той же мирной и согласной жизнью народе Китая*. Так это было и среди так называемых христианских народов. Народы эти были внутренне соединены той религией, которая носила название христианской.

Религия эта представляла из себя очень неразумное и внутренне противоречивое соединение самых основных и вечных истин о жизни человеческой с самыми грубыми требованиями языческой жизни. Но как ни грубо было это соединение, оно, облекаясь в торжественные формы, долгое время отвечало нравственным и умственным требованиям европейских народов.

в подлиннике: Китае.

Но чем дальше подвигалась жизнь, чем больше просвещались народы, тем всё очевиднее и очевиднее становилось внутреннее противоречие, заключающееся в этой религии, ее неосновательность, несостоятельность и ненужность. Так это продолжалось веками и в наше время дошло до того, что религия эта держится только инерцией, никем уже не признается и не исполняет главного свойственного религии внешнего воздействия на народ; соединения людей в одном мировоззрении, одном общем всем понимании назначения и цели жизни.

Прежде религиозное учение это распадалось на различные секты, и секты горячо отстаивали каждая свое понимание, теперь этого уже нет. Если и существуют различные секты между разными охотниками словопрений, никто уже серьезно не интересуется этими сектами. Вся масса народа – как самые ученые, так и самые неученые рабочие не верят уже не только в эту когда-[то] двигавшую людьми христианскую религию, но не верят ни в какую религию, верят, что самое понятие религии есть нечто отсталое и ненужное. Люди ученые верят в науку, в социализм, анархизм, прогресс. Люди неученые верят в обряды, в церковную службу, в воскресное неделание, но верят как в предание, приличие; но веры, как веры, соединяющей людей, движущей ими, совсем нет, или остаются исчезающие ее остатки.

Ослабление веры, замена или скорее затемнение ее суеверными обычаями и для масс и рационалистическое толкование основ веры высшими учеными классами происходит везде; и в браманизме, и в конфуцианстве, и в буддизме, и в магометанстве, но нигде нет того полного освобождения народов от религии, какое произошло и с необыкновенной быстротой происходит в христианстве.

Затемнение основ веры суеверными толкованиями и обычаями есть общее всем религиям явление. Общие причины затемнения основ веры заключаются, во-первых, и главное, в том, что всегда именно непонимающие люди желают толковать учение и своими толкованиями извращают и ослабляют его; во-вторых, в том, что большинство ищет видимых форм проявления учения и переводит на вещественный духовный смысл учения; в-третьих, в общих всем религиям жреческих искажениях религиозных основ учений ради выгод жрецов и властвующих классов.

Все три причины эти извращения религии общи всем религиозным учениям и исказили отчасти учения браманизма, буддизма, та- осизма, конфуцианства, еврейства, магометанства; но причины эти не уничтожили веру в эти учения. И народы Азии, несмотря на из: вращения, которым подверглись эти учения, продолжают верить в

них и соединены между собою и отстаивают свою независимость. Только одна так называемая христианская религия утратила всякую обязательность для народов, исповедующих ее, и перестала быть религией. Отчего это? Какие особенные причины произвели это странное явление?

Причина эта в том, что так называемое церковно-христианское учение не есть цельное, возникшее на основании проповеди одного великого учителя учение, каковы буддизм, конфуцианство, таосизм, а есть только подделка под истинное учение великого учителя, не имеющая с истинным учением почти ничего общего, кроме названия основателя и некоторых ничем не связанных положений, заимствованных из основного учения.

Знаю, что то, что я имею высказать теперь, именно то, что та церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством,– покажется людям, исповедующим на словах учение этой секты, не только невероятным, но верхом ужаснейщего кощунства.

Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать этого потому, что для того, чтобы люди могли воспользоваться тем великим благом, которое дает нам истинное христианское учение, нам необходимо прежде всего освободиться от того бессвязного, ложного и, главное, глубоко безнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение. Учение это, скрывшее от нас учение Христа, есть то учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение прямо противоположное ему.

Стоит только внимательно прочесть Евангелия, не обращая <в них> особенного внимания на всё то, что носит печать суеверных вставок, сделанных составителями, вроде чуда Каны Галилейской, воскрещений, исцелений, изгнания бесов и воскресения самого Христа, а останавливаясь на том, чтб просто, ясно, понятно и внутренне связано одною и тою же мыслью,– и прочесть затем хотя бы признаваемые самыми лучшими послания Павла, чтобы ясно стало то полное несогласие, которое не может не быть между всемирным, вечным учением простого, святого человека Иисуса с практическим временным, местным, неясным, запутанным, высокопарным и подделывающимся под существующее зло учением фарисея Павла.

Как сущность учения Христа (как всё истинно великое) проста, ясна, доступна всем и может быть выражена одним словом;

человек – сын Бога,– так сущность учения Павла искусственна, темна и совершенно непонятна для всякого свободного от гипноза человека.

Сущность учения Христа в том, что истинное благо человека – в исполнении воли Отца. Воля же Отца – в единении людей. А потому и награда за исполнение воли Отца есть само исполнение, слияние с Отцом. Награда сейчас – в сознании единства с волей Отца. Сознание это дает высшую радость и свободу. Достигнуть этого можно только возвышением в себе духа, перенесением жизни в жизнь духовную.

Сущность учения Павла в том, что смерть Христа и его воскресение спасает людей от их грехов и жестоких наказаний, предназначенных Богом теперешним людям за грехи прародительские.

Как основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека есть исполнение воли Бога, то есть любви к людям,– единственная основа учения Павла та, что единственная обязанность человека – это вера в то, что Христос своей смертью искупил и искупает грехи людей.

Как, по учению Христа, награда за перенесение своей жизни в духовную сущность каждого человека есть радостная свобода этого сознания соединения с Богом,– так, по учению Павла, награда доброй жизни не здесь, а в будущем, посмертном состоянии. По учению Павла, жить доброй жизнью надо, главное, для того, чтобы получить за это награду «там». С своей обычной нелогичностью он говорит, как бы в доказательство того, что должно быть блаженство будущей жизни; «Если мы не распутничаем и лишаем себя удовольствия делать гадости здесь, а награды в будущей жизни нет, то мы останемся в дураках».

Да, основа учения Христа – истина, смысл – назначение жизни. Основа учения Павла – расчет и фантазия.

Из таких различных основ естественно вытекают и еще более различные выводы.

Там, где Христос говорит, что люди не должны ждать наград и наказаний в будущем и должны, как работники у хозяина, понимать свое назначение, исполнять его,– всё учение Павла основано на страхе наказаний и на обещаниях наград, вознесения на небо или на самом безнравственном положении о том, что если ты веришь, то избавишься от грехов, ты безгрешен.

Там, где в Евангелии признается равенство всех людей и говорится, что то, что велико перед людьми, мерзость перед Богом, Павел учит повиновению властям, признавая установление их от

Бога, так что противящийся власти противится Божию установлению.

Там, где Христос учит тому, что человек должен всегда прощать, Павел призывает анафему на тех, кто не делает то, чтб он велит, и советует напоить и накормить голодного врага с тем, чтобы этим поступком собрать на голову врагу горячие уголья, и просит Бога наказать за какие-то личные расчеты с ним Александра Медника.

Евангелие говорит, что люди все равны; Павел знает рабов и велит им повиноваться господам. Христос говорит: не клянись вовсе и кесарю отдавай только то, чтб кесарево, а то, чтб Богово – твоя душа – не отдавай никому. Павел говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». (К Римл. XIII, 1, 2.)

Христос говорит: «Взявшие меч от меча погибнут». Павел говорит: «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч; он – Божий слуга..., отмститель в наказание делающему злое». (Римл. XIII, 4.)

Христос говорит: сыны Бога никому не обязаны платить подати. Павел говорит: «Для сего вы и подати платите: ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. И потому отдавайте всякому должное; кому пбдать – пбдать; кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». (Римл. XIII, 6, 7.)

Но не одни эти противоположные учения Христа и Павла показывают несовместимость великого, всемирного учения, уясняющего то, что было высказано всеми величайшими мудрецами Греции, Рима и Востока, с мелкой, сектантской, случайной, задорной проповедью непросвещенного, самоуверенного и мелкотщеславного, хвастливого и ловкого еврея. Несовместимость эта не может не быть очевидна для всякого человека, воспринявшего сущность великого христианского учения.

А между тем целый ряд случайных причин сделали то, что это ничтожное и лживое учение заняло место великого вечного и истинного учения Христа и даже на много веков скрыло его от сознания большинства людей.

Правда, во все времена среди христианских народов были люди, понимавшие христианское учение в его истинном значении, но это были только исключения. Большинство же так называемых христиан, в особенности после того, как властью церкви все писания Павла даже и его советы приятелям о том, чтобы пить вино для поправления желудка, были признаны непререкаемым произ

ведением святого духа,– большинство верило, что именно это безнравственное и запутанное учение, поддающееся, вследствие этого, самым произвольным толкованиям, и есть настоящее учение самого Бога-Христа.

Причин такого заблуждения было много различных.

Первая та, что Павел, как и все самолюбивые, славолюбивые проповедники лжи, суетился, бегал из места в место, вербовал учеников, не брезгая никакими средствами для приобретения их; люди же, понявшие истинное учение, жили им и не торопились проповедовать.

Вторая причина была в том, что послания, проповедующие, под именем Иисуса Христа, учение Павла, стали, вследствие торопливой деятельности Павла, известны прежде, чем Евангелия (это было в 50-х годах после рождения Христа. Евангелия же появились позднее).

Третья причина была в том, что грубо суеверное учение Павла было доступнее грубой толпе, охотно принявшей новое суеверие, заменявшее старое.

Четвертая причина была та, что учение это (как ни ложно оно было по отношению тех основ, которые оно извращало), будучи все-таки разумнее грубого исповедуемого* народами язычества, между тем не нарушало языческих форм жизни, как и язычество, допуская и оправдывая насилия, казни, рабство. Тогда как истинное учение Христа, отрицая всякое насилие, казни, войны, рабство, богатство,– в корне уничтожало весь склад языческой жизни.

Сущность дела была такая.

В Галилее и Иудее появился великий мудрец, учитель жизни, Иисус, прозванный Христом. Учение его слагалось из тех вечных истин о жизни человеческой, смутно предчувствуемых всеми людьми и более или менее ясно высказанных всеми великими учителями человечества: браминскими мудрецами, Конфуцием, Лао- Тзе, Буддой. Истины эти были восприняты окружавшими Христа простыми людьми и более или менее приурочены к еврейским верованиям того времени, из которых главное было ожидание пришествия мессии.

Появление Христа с его учением, изменявшим весь строй существующей жизни, было принято некоторыми как исполнение пророчеств о мессии. Очень может быть, что и сам Христос более или менее приурочивал свое вечное, всемирное учение к случайным, временным религиозным формам того народа, среди которого он

В подлиннике: исповедоваемого.

проповедовал. Но, как бы то ни было, учение Иисуса привлекло учеников, расшевелило народ и, всё более и более распространяясь, стало так неприятно еврейским властям, что они казнили Христа и после его смерти гнали, мучили и казнили его последователей (Стефана и других). Казни, как всегда, только усиливали веру последователей.

Упорство и убежденность этих последователей, вероятно, обратили на себя внимание и сильно поразили одного из фарисеев-го- нителей, по имени Савла. И Савл этот, получив потом название Павла, человек очень славолюбивый, легкомысленный, горячий и ловкий, вдруг по каким-то внутренним причинам, о которых мы можем только догадываться, вместо прежней своей деятельности, направленной против учеников Иисуса, решился, воспользовавшись той силой убежденности, которую он встретил в последователях Христа, сделаться основателем новой религиозной секты, в основы которой он положил те очень неопределенные и неясные понятия, которые он имел об учении Христа, все сросшиеся с ним еврейские фарисейские предания, а главное, свои измышления о действенности веры, которая должна спасать и оправдывать людей.

С этого времени, с 50-х годов, после смерти Христа, и началась усиленная проповедь этого ложного христианства, и в эти 5–6 лет были написаны первые (признанные потом священными) псевдохри- стианские письмена, именно послания. Послания первые определили для масс совершенно превратное значение христианства. Когда же было установлено среди большинства верующих именно это ложное понимание христианства, стали появляться и Евангелия, которые, в особенности Матфея, были не цельные произведения одного лица, а соединение многих описаний о жизни и учении Христа. Сначала появилось [Евангелие] Марка, потом Матфея, Луки, потом Иоанна.

Все Евангелия эти не представляют из себя цельных произведений, а все они суть соединения из различных писаний. Так, например, Евангелие Матфея в основе своей имеет краткое Евангелие евреев, заключающее в себе одну нагорную проповедь. Всё же Евангелие составлено из прибавляемых к нему дополнений. То же и с другими Евангелиями. Все Евангелия эти (кроме главной части Евангелия Иоанна), появившись позднее Павла, более или менее подгонялись под существовавщее уже павловское учение.

Так что истинное учение великого учителя, то, которое сделало то, что сам Христос и его последователи, умирали за него, сделало и то, что Павел избрал это учение для своих славолюбивых целей;

истинное учение, с первых шагов своих извращенное павловским извращением, всё более и более прикрывалось толстым слоем суеверий, искажений, лжепониманием, и кончилось тем, что истинное учение Христа стало неизвестно большинству и заменилось вполне тем странным церковным учением – с папами, митрополитами, таинствами, иконами, оправданиями верою и т. п., которое с истинным христианским учением почти ничего не имеет общего, кроме имени.

Таково отношение истинно христианского учения к павловско-церковному учению, называемому христианским. Учение было ложное по отношению к тому, что им будто бы представлялось, но как ни ложно оно было, учение это все-таки было шагом вперед в сравнении с религиозными понятиями варваров времен Константина. И потому Константин и окружающие его люди охотно приняли это учение, совершенно уверенные в том, что учение это есть учение Христа. Попав в руки властвующих, учение это всё более и более огрубевало и приближалось к миросозерцанию народных масс. Явились иконы, статуи, обоготворенные существа, и народ искренно верил в это учение.

Так это было и в Византии и в Риме. Так это было и все средние века, и часть новых – до конца 18 столетия, когда люди, так называемые христианские народы, дружно соединились во имя этой церковной павловской веры, которая давала им, хотя и очень низменное и ничего не имеющее общего с истинным христианством, объяснение смысла и назначения человеческой жизни.

У людей была религия, они верили в нее, и потому могли жить согласной жизнью, защищая общие интересы.

Так это продолжалось долго, продолжалось бы и теперь, если бы эта церковная вера была самостоятельное религиозное учение, как учение браманизма, буддизма, как учение шинто, в особенности как китайское учение Конфуция, и не была подделкой под учение христианства, не имеющей в самой себе никакого корня.

Чем дальше жило христианское человечество, чем больше распространялось образование и чем смелее и смелее становились на основании извращенной и признанной непогрешимой веры как светские, так и духовные властители, тем всё больше и больше изобличалась фальшь извращенной веры, вся неосновательность и внутренняя противоречивость учения, признающего основой жизни любовь и вместе с тем оправдывающего войны и всякого рода насилия.

Люди всё меньще и меньше верили в учение, и кончилось тем,, что всё огромное большинство христианских народов перестало ве

рить не только в это извращенное учение, но и в какое бы то ни было общее большинству людей религиозное учение. Все разделились на бесчисленное количество не вер, а мировоззрений; все, как пословица говорит, расползлись, как слепые щенята от матери, и все теперь люди нашего христианского мира с разными мировоззрениями и даже верами; монархисты, социалисты, республиканцы, анархисты, спиритисты, евангелисты и т. п., все боятся друг друга, ненавидят друг друга.

Не стану описывать бедственность, разделенность, озлобленность людей христианского человечества. Всякий знает это. Стоит только прочесть первую попавшуюся какую бы то ни было, самую консервативную или самую революционную газету. Всякий, живущий среди христианского мира, не может не видеть, что как ни плохо теперешнее положение христианского мира, то, чтб ожидает его, еще хуже.

Взаимное озлобление растет, и все заплатки, предлагаемые' как правительствами, так и революционерами, социалистами, анархистами, не могут привести людей, не имеющих перед собою никакого другого идеала, кроме личного благосостояния, и потому не могущих не завидовать друг другу и не ненавидеть друг друга, ни к чему другому, кроме [как] к всякого рода побоищам внешним и внутренним и к величайшим бедствиям.

Спасение не в мирных конференциях и пенсионных кассах, не в спиритизме, евангелизме, свободном протестантстве, социализме; спасение в одном; в признании одной такой веры, которая могла бы соединить людей нашего времени. И вера эта есть, и много есть людей уже теперь, которые знают ее.

Вера эта есть то учение Христа, которое было скрыто от людей лживым учением Павла и церковью. Стоит только снять эти покровы, скрывающие от нас истину, и нам откроется то учение Христа, которое объясняет людям смысл их жизни и указывает на проявление этого учения в жизни и дает людям возможность мирной и разумной жизни.

Учение это просто, ясно, удобоисполнимо, одно для всех людей мира и не только не расходится с учениями Кришны, Будды, Лао- Тзе, Конфуция в их неизвращенном виде, Сократа, Эпиктета, Марка Аврелия и всех мудрецов, понимавших общее для всех людей одно назначение человека и общий всем, во всех учениях один и тот же закон, вытекающий из сознания этого назначения,– но подтверждает и уясняет их.

' *В подлиннике:* предполагаемые.

Казалось бы, так просто и легко страдающим людям освободиться от того грубого суеверия, извращенного христианства, в котором они жили и живут, и усвоить то религиозное учение, которое было извращено и исполнение которого неизбежно дает полное удовлетворение как телесной, так и духовной природе человека. Но на пути этого осуществления стоит много и много самых разнообразных препятствий: и то, что ложное учение это признано божественным; и то, что оно так переплелось с истинным учением, что отделить ложное от истинного особенно трудно; и то, что обман этот освящен преданием древности, и на основании его совершено много дел, считающихся хорошими, которые, признав истинное учение, надо было бы признать постыдными; и то, что на основании ложного учения сложилась жизнь господ и рабов, вследствие которой возможно было произвести все те мнимые блага матерьяльного прогресса, которым так гордится на- ще человечество; – а при установлении истинного христианства вся наибольщая часть этих приспособлений должна будет погибнуть, так как без рабов некому будет их делать.

Препятствие особенно важное и то, что истинное учение невыгодно для людей властвующих. Властвующие же люди имеют возможность, посредством и ложного воспитания и подкупа, насилия и гипноза взрослых, распространять ложное учение, вполне скрывающее от людей то истинное учение, которое одно дает несомненное и неотъемлемое благо всем людям.

Главное препятствие <состоит> в том, что именно вследствие того, что ложь извращения христианского учения слищком очевидна, в последнее время всё более и более распространялось и распространяется грубое суеверие, в много раз вреднейщее, чем все суеверия древности, суеверие о том, что религия вообще есть нечто ненужное, отжитое, что без религии человечество может жить разумной жизнью.

Суеверие это особенно свойственно людям ограниченным. А так как таковых большинство людей в наще время, то грубое суеверие это всё более и более распространяется. Люди эти, имея в виду самые извращения религии, воображают, что религия вообще есть нечто отсталое, пережитое человечеством и что теперь люди узнали, что они могут жить без религии, то есть без ответа на вопрос: зачем живут люди, и чем им, как разумным существам, надо руководствоваться.

Грубое суеверие это распространяется преимущественно людьми, так называемыми учеными, то есть людьми особенно ограниченными и потерявщими способность самобытного, разумного

мышления, вследствие постоянного изучения чужих мыслей и занятия самыми праздными и ненужными вопросами. Особенно же легко и охотно воспринимается это суеверие отупевшими от машинной работы городскими фабричными рабочими, количество которых становится всё больше и больше, в самых считающихся просвещенными, то есть в сущности самых отсталых и извращенных людях нашего времени.

В этом всё более и более распространяющемся суеверии причина непринятия истинного учения Христа. Но в нем же, в этом распространяющемся суеверии, и причина того, что люди неизбежно будут приведены к пониманию того, что та религия, которую они отвергают, воображая, что это религия Христа, есть только извращение этой религии, а что истинная религия одна может спасти людей от тех бедствий, в которые они всё более и более впадают, живя без религии.

Люди самым опытом жизни будут приведены к необходимости понять то, что без религии люди никогда не жили и не могут жить, что если они живы теперь, то только потому, что среди них еще живы остатки религии; поймут, что волки, зайцы могут жить без религии, человек [же], имеющий разум, такое орудие, которое дает ему огромную силу,– если живет без религии, подчиняясь своим животным инстинктам, становится самым ужасным зверем, вредным особенно для себе подобных.

Вот это-то люди неизбежно поймут, и уже начинают понимать теперь, после тех ужасных бедствий, которые они причиняют и готовятся причинить себе. Люди поймут, что им нельзя жить в обществе без одного соединяющего их, общего понимания жизни. И это общее, соединяющее всех людей понимание жизни смутно носится в сознании всех людей христианского мира отчасти потому, что это сознание присуще человеку вообще, отчасти потому, что это понимание жизни выражено в том самом учении, которое было извращено, но сущность которого проникала и сквозь извращение.

Надо только понять, что всё, чем еще держится наш мир, всё, чтб есть в нем доброго, всё единение людей, то, какое есть, все те идеалы, которые носятся перед людьми; социализм, анархизм, всё это – не что иное, как частные проявления той истинной религии, которая была скрыта от нас павловством и церковью (скрыта она была, вероятно, оттого, что сознание народов еще не доросло до истинной) и до которой теперь доросло христианское человечество.

Людям нашего времени и мира не нужно, как это думают ограниченные и легкомысленные люди, так называемые ученые, придумывать какие-то новые основы жизни, могущие соединить всех людей, а нужно только откинуть все те извращения, которые скрывают от нас истинную веру, и эта вера, единая со всеми разумными основами вер всего человечества, откроется перед нами во всем своем не только величии, но всей обязательности своей для всякого человека, обладающего разумом.

Как готовая кристаллизироваться жидкость ожидает толчка для того, чтобы превратиться в кристаллы, так и христианское человечество ждало только толчка для того, чтобы все его смутные христианские стремления, заглущаемые ложными учениями и в особенности суеверием о возможности человечества жить без религии, [превратились в действительность], и толчок это[т] почти одновременно дан нам пробуждением восточных народов и революцией среди русского народа, больще всех других удержавщего в себе дух истинного христианства, а не павловского христианства.

Причина, по которой христианские народы вообще и русский народ в особенности находятся теперь в бедственном положении,– та, что народы не только потеряли единственное условие, необходимое для мирного, согласного и счастливого сожительства людей: верования в одни и те же основы жизни и общие всем людям законы поступков,– не только лищены этого главного условия хорошей жизни, но еще и коснеют в грубом суеверии о том, что люди могут жить хорощей жизнью без веры.

Спасение от этого положения в одном: в признании того, что если извращение христианской веры и было извращение веры и должно быть отвергнуто, то та вера, которая была извращена, есть единая, необходимейщая в наще время истина, сознаваемая всеми людьми не только христианского, но и восточного мира, и следование которой дает людям, каждому отдельно и всем вместе, не бедственную, а согласную и добрую жизнь.

Спасение не в том, чтобы устроить придуманную нами для других людей жизнь, как понимают это спасение теперь люди, не имеющие веры,– каждый по-своему: одни парламентаризм, другие республику, третьи социализм, четвертые анархизм, а в том, чтобы всем людям в одном и том же понимать для каждого самого себя назначение жизни и закон ее и жить на основании этого закона в любви с другими людьми, но без определения вперед какого-либо известного устройства людей.

Устройство жизни всех людей будет хорошо только тогда, когда люди не будут заботиться об этом устройстве, а будут заботиться только о том, чтобы каждому перед своей совестью исполнить требование своей веры. Только тогда и устройство жизни будет наилучшим, не такое, какое мы придумываем, а такое, какое должно быть соответственно той веры, которую исповедуют люди и законы которой они исполняют.

Вера же эта существует в чистом христианстве, совпадающем со всеми учениями мудрецов древности и Востока.

И я думаю, что именно теперь настало время этой веры, и что лучшее, что может человек сделать в наше время, это то, чтобы в жизни своей следовать учению этой веры и содействовать распространению ее в людях.

1907. 17 мая.

НЕ УБИИ НИКОГО

I

В начале июля 1907 года человек, участвовавший в Петербурге в издательстве «Обновление», был посажен в тюрьму Петербургским судебным следователем по обвинению его в распространении написанной мною семь лет тому назад брошюры под заглавием «Не убий».

«Незначительное» при теперешних беспрестанных заточениях, ссылках, казнях событие это знаменательно по тому поводу, по которому оно совершено.

Теперь, когда вся Россия стонет от ужаса перед неперестающими и всё увеличивающимися в числе и по дерзости убийствами, брошюра, подтверждающая древний, признанный за тысячи лет всеми религиями закон «Не убий», брошюра эта запрещается, и распространитель ее, как преступник, сажается в тюрьму.

Казалось бы, правительство, так давно и так безуспешно борющееся с всё более и более охватывающей русских людей манией убийства, должно бы поощрять людей, распространяющих мысли, противодействующие убийству: но удивительное дело, правительство, напротив того, карает таких людей.

Но, может быть, брошюра «Не убий» только носит такое заглавие, а говорит что-нибудь другое, противное религии и нравственности?

Я давно писал эту брошюру и мог забыть ее содержание. Я внимательно перечел ее. Нет, в ней говорится то самое, что говорит заглавие, и только то, что оно говорит. В брошюре говорится, что кроме того, что всякое убийство человека человеком преступно и противно тому религиозному учению, которое мы исповедуем, убийства революционерами королей, императоров, вообще правителей, бессмысленны, так как строй государственной жизни не может из

мениться вследствие убийства правителей; мотивы же таких убийств неосновательны, так как, убивая правителей за совершаемые ими дела насилия, люди забывают, что виноваты в этом они сами своим повиновением правительствам и содействием тому, за что они упрекают правителей.

Так что в общем смысл брошюры тот, что «Не убий» значит только то, что христианам ***не должно убивать никого,*** ни непосредственно, ни посредственно, подсобляя убийствам.

Но, может быть, участвовавший в издательстве «Обновление» судится не за брошюру «Не убий», написанную по случаю убийства итальянского короля, но и за брошюру того же названия, к которой присоединены еще три статьи: «Письмо к фельдфебелю», «Солдатская и офицерская памятка». Я перечел и эти статейки и в них нашел то же, что и в первой: подтверждение заповеди «Не убий», и в особенности разъяснение того, что приготовление к убийствам, содействие им так же преступно и так же противно закону Христа, как и самое убийство.

Так что, в общем, смысл и этих статей тот, что люди христиане не должны ни содействовать убийству, ни готовиться к нему, ни убивать кого бы то ни было. ^

II

Удивительный закон возмездия, неизбежно карающий людей, извращающих закон Бога.

Тысяча девятьсот лет тому назад Христос, провозглашая основные заповеди своего учения, во главу всех поставил уже не старинную заповедь «не убий» (заповедь эту он считал до такой степени установленной, что он не говорил о ней), а заповедь о том, что всякий человек должен избегать всего того, что может привести к убийству: не держать зла на ближнего, прощать всех, со всеми мириться, не иметь врагов (Матф. V, 21–26).

Но эта заповедь не только не была принята людьми, но даже древняя заповедь, запрещающая убийство, была отвергнута, так же как она была отвергнута и законами Моисея, и люди, называвшие себя христианами, продолжали с полной уверенностью в своей правоте убивать и на войне, и дома всех тех людей, смерть которых представлялась им желательной.

Правительства христианских народов с помошью церковников долго обучали управляемые ими народы тому, что закон «не убий» не значит то, что люди не должны без всяких исключений убивать себе подобных,, но что есть случаи, когда не только можно, но должно убивать людей; и народы верили правительствам и содейство

вали убийствам тех, кого правительство предназначало к убийству. Когда же пришло время и вера в непогрешимость правительств нарушилась, народы стали по отношению к людям, составляюшим правительства, поступать точно так же, как поступали правительства по отношению людей, смерть которых представлялась им желательной, только с той разницей, что правительства считали, что убивать можно на войне и после известных совещаний, которые называются судами; народы же решили, что можно убивать во время революций и после совещаний известных людей, называющих себя революционными комитетами, и т. п.

И сделалось то, что происходит теперь в России, то есть то, что после 1900 лет проповеди христианства люди уже два года не переставая убивают друг друга; революционеры своих, правительства своих врагов, убивают мужчин, женщин, детей,– всех тех, смерть которых считают для себя полезной, и что удивительней всего – это то, что, поступая так, они вполне уверены, что не нарушают ни нравственного, ни религиозного закона.

Дошло до того, что если бы теперь дать в России всем людям возможность убивать всех тех, кого они считают для себя вредными, то почти все русские люди поубивали бы друг друга: революционеры всех правителей и капиталистов, правители и капиталисты всех революционеров, крестьяне – всех землевладельцев, землевладельцы – всех крестьян и т. д.

И это не шутка, а действительно так. И это ужасное состояние народа продолжается уже несколько лет и с каждым годом, месяцем, днем становится всё хуже и хуже.

III

Становится же положение всё хуже и хуже в особенности оттого, что правительство, чувствуя себя обязанным противодействовать этому положению дел, старается прекратить его теми средствами, которые оно считает единственно действительными. Средства же эти, и глупые и жестокие, состоят в совершении тех самых преступлений, против которых борется правительство. И, как это должно быть, особенно теперь, при теперешних усовершенствованных орудиях убийства: браунингах, бомбах, пулеметах, при которых маленький ребенок может убить сотню сильных людей,– глупые и жестокие средства эти не только не достигают цели, но всё больше и больше ухудшают положение.

Трагизм положения русского правительства теперь в том, что, несмотря на то, что оно не может не видеть, что от приложения тех глупых и жестоких средств, которыми оно пользуется, поло

жение только ухудшается, оно не может остановиться. Мало того, что не может остановиться, оно не может употребить единственно возможное и действительное средство борьбы против убийства; разъяснение преступности, греха убийства. Не только не может употребить это средство, но должно употреблять свои глупые и жестокие приемы и против тех людей, которые хотят приложить это единственное возможное средство спасения от того бедственного состояния, в котором находятся теперь русские люди.

Правительство преследует мою брошюру «Не убий» и сажает в тюрьму ее распространителя. Теперь оно неизбежно должно преследовать то, что я сейчас пишу, должно казнить и меня, и, чтобы быть последовательным, должно бы уже давно запретить не только Евангелие, но и десять заповедей Ветхого Завета и казнить всех тех, кто распространяет их.

IV

Да, удивительный закон возмездия, казнящий наверное тех, кто извращает закон Бога.

Вся Россия стонет от ужаса вырвавшихся наружу, ничем не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих людей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства.

И вот самые либеральные, отстаивающие всякие свободы люди, на вопрос о том, следует ли соблюдать свободу жизни, то есть не убивать людей, люди эти не могут поступать иначе, как молчать, молчанием своим признавать необходимость убийств, или явно признавать эту необходимость, как явно признают эту необходимость революционеры и правительство. И правительство, и революционеры, и не принадлежащие ни к каким партиям убийцы под самыми разнообразными предлогами продолжают убивать друг друга.

Положение России ужасно. Но ужаснее всего не материальное положение, не застой промышленности, не земельное неустройство, не пролетариат, не финансовое расстройство, не грабежи, не бунты, не вообще революция. Ужасно то душевное, умственное расстройство, которое лежит в основе всех этих бедствий. Ужасно то, что большинство русских людей живет без какого бы то ни было нравственного или религиозного, обязательного для всех и общего всем закона: одни, признавая религией отжившие, не имеющие уже никакого разумного смысла, ни, главное, обязательного для поведения значения, старинные верования, руководятся в жизни только своими соображениями и вкусами; другие же, признавая ненужность каких-либо верований (религии), точно также

руководятся только своими самыми разнообразными соображениями и желаниями. Так что большинство людей, действующих теперь в России, под предлогом самых разноречивых соображений о том, в чем заключается благо общества, в сущности руководятся только своими эгоистическими, почти животными побуждениями. Самое ужасное при этом то, что люди эти, отказавшись от разумной человеческой жизни, спустившись почти на ступень животных, вполне довольны собою и уверены, что все те глупости и гадости, которые они говорят и делают в подражание западным народам (как правительственные люди, так и революционеры), несомненно доказывают их превосходство над мудрыми и святыми людьми прошедшего, и что не только не надо стараться установить какое-либо общее всем религиозное жизнепонимание – веру, могущую соединить людей, но что отсутствие всякой веры и доказывает их умственное и нравственное превосходство.

V

Люди могут жить согласной человеческой жизнью никак не вследствие каких-либо политических верований, а только вследствие своего соединения одним и тем же пониманием основного смысла жизни.

Политические верования потому не могут соединить людей, что политических верований может быть бесчисленное количество, одни верят в такой, другие в другой парламентаризм, или социализм, или анархизм. Высшее же понимание смысла жизни в известный исторический период и для известного народа может быть только одно. Так это и было всегда. Так жили соединенные одним и тем же высшим законом жизни греки, римляне, арабы, индусы, так жили и живут китайцы, так жили и европейские народы, так называемые христиане, пока они действительно верили в ту, приспособленную Павлом к языческим нравам, веру, которая называлась христианскою, католическою религией.

Нам ясно теперь всё несоответствие этого религиозного, запутанного, неясного и лицемерного учения церквей, запрещавшего чтение Евангелия, ставившего спасение верою и исполнение таинств на место евангельского отречения от земных благ и дел любви, признававшего обязательность покорности светской власти вместо евангельского признания власти одного Бога, признававшего чудеса, поклонение иконам, мощам, непогрешимость папы и т. п. Нам ясно несоответствие этого учения с простым, ясным учением Евангелия.. Но люди рождались в этой ложной вере, вера эта внушалась им с детства, и как ни груба (на наш теперешний

взгляд) была эта вера, разрешавшая убийства, казни, войны, поединки, вместе с признанием Бога любви,– люди искренно верили в нее, и вера эта соединяла их. Соединение это продолжалось веками, но пришло время, когда явились люди, начавшие иначе, по-своему толковать учение. Явилось протестантство в своих самых разнообразных формах, и начались вражды и споры между различными исповеданиями извращенного христианства. Споры всё более и более ослабляли веру, и кончилось тем, что павловское приспособление христианства к язычеству, еще более извращенное церквами, перестало быть религией в настоящем значении этого слова, то есть руководящим началом жизни людей. Нарушилось то единство веры, которое до этого времени соединяло их. Люди перестали верить в одну и ту же религию. Сначала перестали верить в одну и ту же религию, а потом, вследствие разных толкований и споров, перестали верить, действительно верить в самую христианскую религию.

VI

Много было причин, уничтоживших веру людей в христианскую религию во всех ее формах: в католичество, в православие, в протестантство. Такими причинами были и религиозные споры и всё большее и большее просвещение; главной же причиной было то, что как церковное католическое, так и протестантское христианство допускало казни и войны.

Людям, вводившим христианство в языческие народы, вследствие своей принадлежности их к правящим классам общества, естественно было, принимая и вводя в христианство народ, или скрыть, или не видеть в нем того, что было несовместимо со всем строем языческой жизни, выгодами которой они пользовались. Людям этим для того, чтобы принять христианство и ввести его в народ, неизбежно предстояло одно из двух: или изменить строй языческой жизни согласно с христианским учением, или изменить христианское учение согласно с существующим строем жизни. Они избрали второе, то есть, пользуясь толкованиями Павла, так извратили учение, чтобы всё то, что в истинном христианстве противоречило существующему строю, держащемуся на насилии и убийстве, было скрыто и перетолковано. Для того же, чтобы перетолковать христианство так, чтобы оно не противоречило языческому устройству жизни и разрешению убийства, на котором держится весь строй языческой жизни, надо было изменить и скрыть самую сущность христианства. В еврействе и в магометанстве можно было обойти заповедь «не убий», не разрушая

закон, так как в обеих религиях признавалось деление людей на верных и неверных и потому можно было признавать заповедь «не убий» только по отношению верных. В христианстве же, где по самой сущности учения все люди признавались братьями, где всё учение основывалось на любви, выражающейся в прощении обид, в любви к врагам, в христианстве этого нельзя было сделать: допущение убийства каких бы то ни было людей разрущало главную основу христианского учения. И потому совместить христианство с убийством нельзя было иначе, как такими толкованиями, которые разрушали самую сущность его. Так это и было сделано. А когда это было сделано, христианство, извратившись, перестало быть религией. И сделалось то, что христианская церковная вера стала или делом обычая, или приличия, или выгоды, или поэтическим настроением, а настоящей религии, то есть такой веры, которая действительно соединяла бы людей и руководила их поступками между людьми христианского мира, не осталось никакой.

VII

Казалось бы, что, потеряв то единственное начало: религию, которое может соединять людей,– люди церковного христианского мира должны бы были разъединиться, распасться, перестать жить общей жизнью, но этого не случилось. Не случилось этого потому, что освобождение от веры в извращенное христианство совершилось не вдруг, а совершалось понемногу, и рядом с этим освобождением от соединения верою люди всё больше и больше подпадали другому соединению, основанному уже не на религии, а на власти, на той власти, которая была основана религией и поддерживалась ею. Люди, переставая верить в Бога и его закон, всё больше и больше, как это и внушалось им, верили во власть правителей и их закон. И когда вера в ложное христианство исчезла, вера в правителей, в их власть и их закон заменила исчезнувшую ложную религию и продолжала держать людей в искусственном соединении.

Но соединение, основанное не на религии, а на инерции власти, не могло продолжаться. Пришло время, когда с распространением просвещения люди поняли, что для них нет никакой внутренней причины, по которой они должны бы были подчиняться именно этой, а не какой-либо другой власти. И, поняв это, люди перестали верить в необходимость повиновения государственной власти и стали бороться с ней- Борьба эта началась уже давно, но особенно сильно проявилась она в конце XVIII столетия. Борьба

эта продолжалась в прошлом веке, продолжается и теперь в более или менее скрытой форме во всем так называемом христианском мире и с особенной энергией происходит теперь в России.

То, что происходит теперь в России, есть эта самая борьба людей, потерявших внутреннюю религиозную связь между собой, потерявших и веру в необходимость повиновения власти. Борьба эта состоит в том, что люди стараются освободить себя от насильнической власти теми же самыми грубыми и жестокими средствами, которые употребляла и употребляет власть для удержания их в повиновении себе.

Если в России эта борьба проявляется безобразнее и жесточе, чем она проявлялась в других государствах, то это происходит только оттого, что это проявление позднейшее.

VIII

Во многих отношениях положение русского народа подобно тому, в каком были европейские народы сто лет назад, но во многом положение это и совсем иное. Подобно оно тем, что русский народ теперь, так же как и тогда европейские народы, в своем огромном большинстве, понял, что та вера, которой его обучали, в Троицу, рай и ад, таинства, иконы, мощи, посты, молитвы, вера в святость и величие царя и обязанность повиновения властям, вера, совместимая с убийствами и всякого рода насилиями, не есть вера, а только подобие ее, и в последнее время с необыкновенной быстротой и легкостью освобождается как от ложной религиозной веры, так и от еше более безоснбвной веры в благодетельность, необходимость царской и вообще правительственной власти.

В этом стремлении к освобождению себя от веры в извращенное христианство и в необходимость и священность власти положение русских людей совершенно подобно положению европейских людей в начале прощлого столетия. Разница же в том, что революция, совершающаяся теперь в России,– позднейщая, и что поэтому русские люди могут видеть теперь то, чего не могли видеть европейские народы, именно то, к чему привела народы их борьба с своими правительствами. Русские люди не могут не видеть того, что вся эта борьба не только не уничтожила, но даже не уменьщила того зла, с которым они боролись. Не могут не видеть русские люди того, что все потраченные во время революции усилия, вся пролитая кровь не уничтожили бедность и зависимость трудящихся от богатых и властвующих, не прекратили те траты народных сил на захваты чужих владений, на войны, не

освободили народ от власти немногих. Не могут не видеть русские люди ту тщету борьбы насилия против насилия, на которую столько сил напрасно потратили европейские народы. В этом одна причина различия теперешнего положения русских людей от положения людей западного мира сто лет тому назад.

Другая же, и самая важная, в том, что, кроме той официальной, мнимо христианской религии, одинаково привитой как всем западным, так и русскому народу, в русском народе с самых древних времен, рядом с этой официальной, всегда жила другая, неофициальная, жизненная христианская вера, каким-то странным путем, через святые жизни старцев, через юродивых, странников, проникшая в народ, и в пословицах, в рассказах, легендах утвердившаяся в нем и руководящая им. Сущность этой веры в том, что человеку жить надо ***по-божьи, для души,*** что люди все братья, что то, что велико перед людьми, то мерзость перед Богом, что спастись может человек не исполнением обрядов и молитвами, а только делами милосердия и любви. Вера эта всегда жила в народе и была его истинной верой, руководящей его жизнью рядом с той ложной церковной верой, которая внешним образом была привита ему. Вера эта лет 70 тому назад еще была сильна в народе, но за последние 50 лет, особенно вследствие упадка нравственности духовенства и в особенности монашества, стала всё больше и больше ослабевать во всем народе и стала выделяться в секты так называемых: молокан, штундистов, хлыстов, субботников, божьих людей, малеванцев, еговистов, духоборов и многих других. Общие черты большинства этих сект, кроме общего всем решительного отрицания православия, были всё большее и большее внесение в поведение нравственных христианских правил и непризнание требований государственной власти, главное же, законности и необходимости убийства человека человеком. Вера эта в последнее время, как в отпор революционному озлоблению, захватившему часть русских людей, всё более и более уясняется и очищается; людей самых различных общественных положений и образований, исповедующих эту веру, становится всё больше и больше, люди всё больше и больше сближаются между собой, и понимание ими христианской истины всё более и более упрощается и вносится в жизнь.

Так что, несмотря на общие черты русской революции со всеми, прежде происходившими революциями в христианском мире, русские люди, и вследствие того, что она позднейшая, и вследствие того, что русский народ был всегда особенно религиозен и рядом с внешней официальной религией воспитал и удержал в себе христианские начала в их истинном значении, русские люди не

могут не приити к другому из своей революции исходу, чем тот, к которому пришли в прошлом веке западные народы.

В русском народе происходит теперь напряженная борьба двух самых противоположных свойств человека: человека зверя и человека христианина.

Русскому народу предстоят теперь два пути: один тот, по которому шли и идут европейские народы: насилием бороться с насилием, побороть его и насилием же установить и стараться поддерживать вновь установленный, такой же, как и отвергнутый, насильственный порядок вещей. Другой же – тот, чтобы, поняв то, что соединение людей насилием может быть только временным, но что истинно соединить людей может только одно и то же понимание жизни и вытекающий из него закон,– попытаться уяснить себе то более или менее ясно сознаваемое народом понимание жизни и вытекающий из него закон, исключающий во всяком случае разрешение убийства человеком человека, уяснить себе это понимание жизни и на нем, только на нем, а не на насилии, основать свою жизнь и свое единение.

И такая замена соединения людей, основанного на насилии, соединением, основанным на общем всем людям нашего христианского мира понимании жизни, предстоит, я думаю, в наше время не только русскому народу, но и всему христианскому человечеству.

IX

Утечет еще много воды, а может быть и крови, пока это совершится. Но не может быть того, чтобы не пришло, наконец, время для людей христианского мира, когда они, освободившись от ложной веры и от возникшего на ней насилия, не соединились бы все в одном высшем, таком обшем им всем религиозном понимании жизни, при котором не только невозможно, но совершенно ненужно убийство человека человеком. Придет это время, потому что жизнь людей, соединенная насилием, возникшим на пережитой уже людьми вере, может быть временным, переходным состоянием, но не может быть жизнью разумных существ. Животные могут быть соединены насилием, но люди могут соединяться только одним общим для всех пониманием, жизни. Общее же для всех людей нашего мира понимание жизни есть только одно. И я думаю, что понимание это есть то, которое выражено в том христианстве, при котором, как бы мы ни понимали его, не может быть допущена полезность, необходимость, законность убийства.

Ведь стоит только людям, думающим, что они верят в христианство, выбросить из него все те бессмыслицы о троицах и происхождении святого духа, об искуплении верой, рае, аде и т. п., даже все чувствительные слова о любви в столь любимой XIII главе Коринфянам, а людям, не верующим в христианство, а верующим в науку, выбросить из нее многословные и сложные рассуждения о праве, государстве, представительстве, прогрессе, будущем социализме, а вместо всего этого признать только одну простую и ясную и высказанную за тысячи лет истину, составляющую первое, необходимое отрицательное условие всякой нравственности – истину, признаваемую и сердцем, и умом, и всем существом всякого неиспорченного человека, истину о том, что человек не должен убивать человека, и тотчас же изменился бы весь существующий ужасный, зверский строй нашей жизни, и сложилась бы жизнь, согласная с сознанием людей нашего времени, сделалось бы то самое, чего стремятся достигнуть теперь лучшие люди нашего времени.

Человечество медленно, с остановками, отступлениями, возвращениями назад, поднимается всё выше и выше, переходя с ступени на ступень при своем движении к совершенству и благу. Долго стояло человечество перед той ступенью, которая поднимала его к возможности согласной жизни людей без необходимости убийства; но оно в наше время, хочет или не хочет этого, необходимо должно наступить на нее. Если не разум, не стремление к добру, то самая бедственность положения, всё увеличивающаяся и увеличивающаяся, заставит людей сделать это, то есть начать устраивать свою жизнь не на началах ненависти и угрозы, а на началах разума и любви.

«Царство Божие на земле – это конечная цель и желание человечества. (Да приидет Царство Твое.) Христос приблизил к нам это Царство, но люди не поняли его и воздвигли в нас царство попов, а не Царство Бога»,– говорил Кант.

«И только тогда,– говорил он,– можно будет с полным основанием сказать, что пришло к нам это Царство Божие, когда укоренится в людях сознание необходимости постепенного перехода церковной веры во всеобщую разумную религию».

И я думаю, не только думаю, но уверен, что время это пришло.

Люди устроили себе жизнь, всю державшуюся на противном и разуму и сердцу человека деянии,– убийстве, и вместе с этим, целым длинным, веками выработавшимся, хитрым обманом вполне уверили себя, что они или исповедуют такой закон Христа, или знают такую науку, при которых несомненно доказывается то, что убийство человека человеком согласно и с разумом и с сердцем че

ловека, и когда им говорят о том, что жизнь их зверская и что их христианство и их наука есть насмешка и надругательство над религией и наукой, что им надо перестать быть убийцами, если они хотят быть христианами и просвещенными людьми, они только улыбаются и пожимают плечами. Так неисполнимо кажется им перестать делать то, что было запрещено самыми первобытными религиозными законами самых древних людей,– то, что заложено самыми первобытными религиозными законами самых древних людей,– то, что заложено и в сознании и в сердце всякого неиспорченного человека, и то, что никакими, самыми хитроумными рассуждениями не может быть соединено с христианским учением, которое они будто бы исповедуют, ни с просвещением, которым они так гордятся.

Да, какой должен быть ужасный умственный упадок людей нашего мира, когда они могут верить тому, что жизнь их станет хуже, если они перестанут казнить, мучить, убивать, вешать друг друга.

Да, как велико должно быть извращение нравственно-религиозного чувства людей и даже простого рассудка, когда им нужно доказывать, и почти наверное тщетно, что «не убий» не значит то, что можно убивать людей других, чем свой, народов и еще тех, убийство которых мы признали для себя полезным; а что слова эти, нами же приписываемые Богу, значат то, что ***не должно убивать никого.***

Да, ужасно нравственное и умственное падение таких людей, когда они еще при этом считают себя стоящими на высшей степени духовного развития. А таковы, страшно сказать, все, за малыми исключениями, люди нашего цивилизованного развращенного мира.

Одно утешение в этом – то, что этот ужасный упадок есть признак последней степени развращения, при которой должно наступить пробуждение. И я верю, что теперешняя русская революция приведет нас к этому.

Да, разумеется, неисполнимо учение Христа для тех людей, которые живут заведованием и распоряжением над постройками броненосцев, крепостей, над солдатами, обучаемыми убийству, над школами, воспитывающими убийц, над судами, тюрьмами, виселицами, для людей, владеющих богатствами, охраняемых убийством; для этих людей понятно, что учение Христа неисполнимо; но пора понять тем, кто строит крепости и броненосцы, кого обучают убийству, кого развращают в школах, кого казнят и расстреливают, кто собирает те богатства, которые охраняются убийством, что жизнь без убийств, без насилия гораздо исполнимее, чем

та, которую они теперь ведут. И я думаю, что русские люди, огромное большинство русских людей, поймут и отчасти уже понимают это.

X

Я верю в это, потому что нелепость того, что совершается, слишком очевидна. Люди правительственные и революционные – одни придумывают и проповедывают самые утонченные, хитроумные научные и государственные законы, другие – еще более хитроумные, сложные и дальновидные планы о том, как в будущем должно устроиться человечество, но и те, и другие, и третьи для достижения своих целей считают не важным делом до времени допустить необходимость и законность убийства, и потому, несмотря на всё глубокомыслие, старательность и усердие этих людей, все их утонченные и хитроумные соображения не улучшают жизни, а, напротив, жизнь становится всё хуже и хуже.

Люди устроили огород и сажают в нем самым усовершенствованным способом самые драгоценные и нежные растения, и удобряют, и полют, и поливают, но только забыли одно: оставили лазейку в ограде, и скотина заходит в огород, затаптывает и вырывает всё то, чтб есть в огороде. И люди удивляются и огорчаются и никак не могут понять, отчего все труды их пропадают даром.

То же и с жизнью людей христианского мира. Люди нашего времени придумали себе всякие религиозные и государственные законы, будто бы ограждающие их, и всячески усовершенствовали свою телесную жизнь: сообщаются мыслями через океаны, летают по воздуху, делают всякие чудеса, но допустили одно маленькое отступление от того, что говорит им мудрость прошедшего, их разум, их сердце, признали за людьми право убивать людей, друг друга, и все – и религиозные, и государственные ограждения перестали быть ограждениями, и все чудеса технических усовершенствований не только не содействуют их благу, но разрушают это благо.

Происходит это оттого, что прежде чем устанавливать такой или иной строй жизни, прежде чем усовершенствовать средства пользования силами природы,– прежде всего людям надо установить то открытое им за тысячу лет религиозно-нравственное учение о том, что в каждом теле человека живет одно и то же божественное начало и что поэтому ни один ни человек, ни собрание людей не может иметь права нарушить это установленное соединение божест

венного начала с человеческим телом, то есть лишить человека жизни.

И признание, и установление такого религиозно-нравственного учения не только возможно, но жизнь становится невозможной без признания и установления этого религиозно-нравственного учения, которое есть не что иное, как всем нам близкое и известное учение Христа в его истинном значении.

И я верю, что наша нелепая и ужасная революция приведет большинство русского народа к признанию, установлению и введению в жизнь этого религиозно-нравственного начала христианского учения.

XI

Да, всё это будет, когда наступит Царство Божие, но что же делать, пока его нет?

Делать то, что нужно для того, чтобы наступило Царство Божие.

Что делать голодному человеку, когда у него нет пищи? Работать для того, чтобы приобрести пищу. Как пища не приходит сама собою, так Царство Божие, то есть добрая жизнь людей, не придет сама собой. Надо ее делать. А чтобы делать ее, надо перестать делать самое ужасное зло, то, которое более всего утверждает дурную жизнь людей; убийство.

И для того, чтобы перестать делать это дело, нужно очень немногое. Сознание несвойственности человеческой природе убийства себе подобных уже достаточно укоренилось в огромном боль- щинстве христианского мира. Нужно только одно: понять, признать и проводить в жизнь мысль о том, что мы не призваны устраивать жизнь других людей насилием, неизбежно влекущим за собой убийство, и что всякое убийство, которое мы совершаем, в котором участвуем, на котором строим выгоды своей жизни, не может быть полезно ни другим, ни нам, а напротив, только увеличивает то зло, которое мы хотим исправить. Только бы познали это люди и воздержались от всякого вмешательства в жизнь других людей, только бы перестали люди искать улучшения своего положения в внешнем, насильственном устройстве, которое невозможно без убийства, а искали бы его каждый для себя в приближении того идеала совершенства, который так определенно поставлен перед каждым человеком христианским учением и который никак уже не совместим с убийством, и сама собой сложилась бы та жизнь, которую так тщетно стараются люди осуществить внешними, всё больше и больше ухудшающими жизнь людей средствами.

Есть только одно средство избавления людей от тех бедствий, которые они несут и которые всё увеличиваются. Средство это: признание и введение в жизнь того открывающего новую эру человечества истинного христианского учения, того истинного христианского учения, которое без признания основного положения его непротивления злу злом есть только лицемерное, никого ни к чему не обязывающее учение, не только не изменяющее той зверской животной жизни, которой живут теперь люди, но еще поддерживающее ее.

«А, опять старая песня непротивления!» – слышу я самоуверенные презрительные голоса.

Но что же делать человеку, который видит, что толпа, давя, губя друг друга, валит и напирает на неразрушимую дверь, надеясь отворить ее наружу, когда он знает, что дверь отворяется только внутрь.

5 *августа 1907 г.*

ЗАКОН НАСИЛИЯ И ЗАКОН ЛЮБВИ

Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и тело и душу погубить.

Мф. X, 28.

Вследствие извращения христианства жизнь христианских народов стала хуже языческой.

Исправление существующего зла жизни не может начаться ни с чего другого, как только с обличения религиозной лжи и установления религиозной истины в себе каждым отдельным человеком.

Страдания жизни неразумной приводят к сознанию необходимости разумной жизни.

Все бедствия и всего человечества и отдельных людей не бесполезны и ведут человечество, хотя и окольным путем, всё к той же одной деятельности, которая предназначена людям: совершенствованию.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы; а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Иоанн. III. 19-21.

Нет несчастия хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его.

Паскаль.

Слава добрых в их совести, а не в устах людей.

Пишу Я ТО, ЧТО пишу, только потому, что, зная то одно, что может освободить людей христианского мира от тех страшных телесных страданий и, главное, от того духовного развращения, в которых они всё дальше и дальше погрязают; я, стоя на краю гроба, не могу молчать.

В наше время не может не быть ясно для всех мыслящих людей то, что жизнь людей,– не одних русских людей, но всех народов христианского мира, с своей всё увеличивающейся нуждой бедных

и роскошью богатых, с своей борьбой всех против всех, революционеров против правительств, правительств против революционеров, порабощенных народностей против поработителей, борьбы государств между собою. Запада с Востоком, с своими всё растущими и поглощающими силы народа вооружениями, своей утонченностью и развращенностью,– что жизнь такая не может продолжаться, что жизнь христианских народов, если она не изменится, неизбежно будет становиться всё бедственнее и бедственнее.

Это ясно многим, но, к сожалению, люди часто не видят причины этого бедственного положения и еще менее видят средство избавления. Причиною этого положения признаются многие, самые разнообразные условия и предлагаются самые разнообразные средства избавления. А между тем причина одна, одно и средство избавления.

Причина бедственного положения христианских народов – отсутствие среди христианских народов общего им всем высшего понимания смысла жизни, веры и вытекающего из него руководства поведения.

Средство избавления от этого бедственного положения, и средство не фантастическое, не искусственное, а самое естественное, состоит в усвоении людьми христианского мира открытого им 19 веков тому назад высшего, соответствующего теперешнему возрасту человечества понимания жизни и вытекающего из него руководства поведения, то есть ***христианского учения в его истинном смысле.***

I

Одно из самых грубых суеверий есть суеверие научных людей о том, что человек может жить без веры.

Истинная религия есть такое установленное человеком отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками.

Если ты сознаешь, что у тебя нет веры, знай, что ты в самом опасном положении, в котором только может находиться человек в этом мире.

Люди могут жить и живут свойственной людям разумной и согласной жизнью только тогда, когда соединяются пониманием смысла жизни, то есть верой в одно и то же, одинаково удовлетворяющее большинство их понимание смысла жизни и вытекающее из этого понимания руководство в поступках. Когда же случается то, что и не может не случаться, так как объяснение смысла жизни и вытекающее из него руководство поведения никогда не бывает последним, а посто

янно всё более и более уясняется,– когда случается то, что понимание смысла жизни, ставшее более точным и определенным, требует вытекающего из этого уяснения иного, чем прежнее, руководства поведения, жизнь же народа иди народов продолжает идти по-прежнему, то жизнь таких народов бывает и разъединенной и бедственной. И разъединенность эта и бедственность не переставая увеличиваются по мере того, как люди, не усваивая свойственного времени религиозного понимания и вытекающего из него руководства поведения, продолжают жить по руководству, вытекающему из прежнего, отжитого уже понимания жизни, и, кроме того, чтобы усвоить свойственное времени религиозное понимание, стараются искусственно придумать такое понимание жизни, которое оправдывало бы их устройство жизни, не соответствующее уже духовным требованиям большинства людей.

Повторялось это много раз в истории, но никогда, я думаю, этот разлад между образом жизни людей, отставщих от религиозного уяснения смысла жизни и вытекающего из него руководства поведения, не был так велик, каков он теперь среди христианских народов, не принявших открытого им христианского учения в ***истинном его значении*** и вытекающего из этого учения руководства поведения, а живущих и продолжающих жить прежней языческой жизнью.

Разлад этот в жизни христианских народов в особенности велик, я думаю, потому, что объяснение понимания жизни, внесенное христианством в сознание народов, слишком далеко опередило склад жизни народов, принявших его, а по этому и вытекаюшее из него руководство поведения было слишком противоположно не только личным привычкам людей, но и всему складу жизни языческих народов, принявших христианское учение.

От этого-то и произошла та поразительная разъединенность, безнравственность, бедственность, неразумие жизни христианских народов.

Произошло это оттого, что люди христианского мира, приняв, под видом христианства, церковное учение, отличавшееся в своих основах от язычества только своей неискренностью и искусственностью, очень скоро перестали верить в это учение, не заменив его никаким другим. Так что люди христианского мира, всё больше и больше освобождаясь от веры в извращенное христианское учение, дощли, наконец, до того положения, в котором они находятся в настоящее время, что большинство их не имеют никакого объяснения смысла своей жизни, то есть никакой религии, веры и никакого общего руководства поведения. Большинство людей, рабочий народ, хотя по внешности и держится старой, церковной веры, уже не ве

рит в нее, не руководствуется ею в жизни, а держится ее только по привычке, преданию и ради приличия. Меньшинство же, так называемые образованные классы, большей частью или уже сознательно не верят ни во что и только ради политических целей некоторые из них притворяются, что верят еще в церковное христианство, или же – самое малое меньшинство – искренно верят в учение, несовместимое с жизнью и отставшее от нее, и разными сложными софизмами стараются оправдать свою веру.

В этом главная и единственная причина переживаемого в наше время христианскими народами бедственного положения.

Бедственное положение это усиливается еще тем, что, так как это состояние неверия продолжается уже много времени, сделалось то, что среди людей христианского мира те из них, которым это положение безверия выгодно, все властвующие классы, либо самым бессовестным образом притворяются, что верят в то, чему не верят и не могут верить, либо, в особенности наиболее развращенные из них ученые, прямо проповедуют, что для людей нашего времени совсем и не нужно ни какого бы то ни было объяснения смысла жизни – веры, ни какого бы то ни было вытекающего из веры руководства поступков, а что единственный основной закон жизни человеческой есть закон развития и борьбы за существование и что поэтому жизнь людей может и должна быть руководима только похотями и страстями людскими.

В этом-то бессознательном неверии народа и сознательном отрицании веры так называемых образованных людей христианского мира и заключается причина бедствий людей этого мира.

II

> Человек обладает непреодолимым стремлением верить, что его не видят, когда он ничего не видит,— как дети, которые закрывают глаза, чтобы их не увидали.
>
> *Лихтенберг.*

> Люди нашего времени верят, что вся бессмысленность и жестокость нашей жизни с безумным богатством нескольких, с завистливой озлобленной нищетой большинства, с насилием, вооружениями и войнами, не видны никому и что ничто не мешает нам продолжать жить такою жизнью.
>
> Заблуждение не перестает быть заблуждением оттого, что большинство разделяет его.

Люди христианского мира, приняв под видом христианского учения составленное церковью извращение его, заменившее язычество и сначала отчасти удовлетворявшее людей своими новыми формами, перестали со временем верить и в это извращенное церковью

христианство и дошли наконец до того, что остались без всякого религиозного понимания жизни и вытекающего из него руководства поведения. А так как без такого общего всем или, по крайней мере, общего большинству людей понимания смысла и вытекающего из него общего руководства поступков жизнь людей не может не быть и неразумной, и бедственной, то чем дальше продолжалась такая жизнь людей христианского мира, тем она становилась всё более и более и неразумной и бедственной. И жизнь эта в наше время дошла до той степени неразумия и бедственности, при которой она не может уже продолжаться в прежних формах.

Большинство рабочего народа, лишенного земли и потому возможности пользоваться произведениями своего труда, ненавидит землевладельцев и капиталистов, держащих его в рабстве. Землевладельцы и капиталисты, зная отношение к себе рабочих, боятся и ненавидят их и с помощью организованного правительством насилия удерживают их в рабстве. И равномерно, не переставая ухудшается положение рабочих, увеличивается их зависимость от богатых, и так же равномерно, не переставая увеличивается богатство богатых, их власть над рабочим народом и их страх и ненависть. Так же равномерно увеличиваются и не могущие иметь конца вооружения народов против народов, затрачивающие всё большие и большие труды рабов-рабочих на сухопутные, водяные, подводные, воздушные сооружения, имеющие целью только приготовления к международным массовым убийствам. И убийства эти совершались, совершаются и не могут не совершаться, так как все христианские народы (не как люди, а как народы), соединенные в государства, ненавидят друг друга и другие, нехристианские государства и всякую минуту готовы наброситься друг на друга. Кроме того, нет ни одного большого христианского государства, которое, по каким-то никому не нужным патриотическим преданиям, не держало бы, против их воли, в своей власти один или несколько небольших народов, принуждаемых к участию в жизни ненавидимого ими большого народа: Австрия, Пруссия, Англия, Россия, Франция с своими покоренными народами: Польшей, Ирландией, Индией, Финляндией, Кавказом, Алжиром и др. Так что, кроме всё растущей ненависти бедных против богатых, такой же ненависти больших народов друг против друга, еще всё разрастается и разрастается ненависть угнетенных народов против угнетающих. И что хуже всего – это то, что все ненависти эти, самые противные природе человека, как больших народов друг к другу, так и покоренных народов к покорителям и наоборот, не только не осуждаются, как всякое недоброе чувство людей к людям, а, напротив, восхваляются, возводятся в заслугу, в добродетель. Ненависть задавленных рабочих к богатым и властвуюшим восхваляется как любовь к свободе, к братству, равен

ству. Ненависть немцев к французам, англичан к янки и русских к японцам и т. п. и обратно считается добродетелью патриотизма. Так же и еще больше ценится патриотическая ненависть поляков к русским и пруссакам, и пруссаков и русских к полякам, финляндцам и обратно.

И это не всё. Все эти бедствия не показывали бы еще то, что жизнь христианских народов и не может продолжаться в том же направлении. Бедствия эти могли бы быть случайным, временным явлением, если бы среди этих народов было какое-нибудь общее им всем религиозное руководящее начало. Но этого-то нет; нет ничего подобного общему руководящему, религиозному началу среди народов христианского мира. Есть ложь религиозная, церковная, и не одна, а несколько различных, враждебных между собою: католическая, православная, лютеранская и др., есть ложь научная – и тоже много разных, враждебных друг другу. Есть лжи политические, международные, партийные, есть лжи искусства, лжи преданий и привычек; есть много самых разнообразных лжей, но руководства, нравственного руководства, вытекающего из религиозного мировоззрения, нет никакого. И люди христианского мира живут, как животные, руководствуясь в своей жизни одними личными интересами и борьбой друг с другом, тем только отличаясь от животных, что животные остаются с незапамятных времен с тем же желудком, когтями и клыками; люди же переходят и всё с большей и большей быстротой от грунтовых дорог к железным, от лошадей к пару, от устной проповеди и письма к книгопечатанию, к телеграфам, телефонам, от лодок с парусами к океанским пароходам, от холодного оружия к пороху, пушкам, маузерам, бомбам и аэропланам. И жизнь с телеграфами, телефонами, электричеством, бомбами и аэропланами, и с ненавистью всех против всех, руководимая не каким-либо соединяющим людей духовным началом, а, напротив, разъединяющими всех животными инстинктами, пользующимися для своего удовлетворения умственными силами, становится всё безумнее и безумнее, всё бедственнее и бедственнее.

III

Те, которые думают, что нельзя руководить людьми иначе, как насилием, пренебрегая их разумом, делают с людьми то же, что делают с лошадьми, ослепляя их, чтобы они смирнее ходили по кругу.

Для чего же разум людей, если на них можно воздействовать только насилием.

Право сильного не есть право, но простой факт, который может быть правом, только покуда не встречает протеста и сопротивления. Это как бы холод, тьма, тяжесть, которые должны быть переносимы до тех пор, покуда не най

дешь отопления, освещения, рычага. Вся человеческая промышленность есть освобождение из-под власти грубой природы; прогресс же справедливости есть не что иное, как ряд ограничений, которым подвергалась тирания сильного. Как медицина состоит в победе над болезнью, так благо состоит в победе над слепым зверством и необузданными вожделениями человека-зверя. Таким образом, я вижу всегда один и тот же закон, возрастающее освобождение личности, восхождение всего существа в жизни к благу, к справедливости, к мудрости. Алчная жадность есть точка отправления; разумное великодушие есть точка достижения.

Амиель.

Из того, что возможно насилием подчинить людей справедливости, вовсе не следует, чтобы было справедливо подчинить людей насилию.

Паскаль.

Насилие производит только подобие справедливости, но удаляет людей от возможности жить справедливо без насилия.

Большинство людей христианского мира чувствует всё увеличивающуюся и увеличивающуюся бедственность своего положения и употребляет для избавления себя то средство, которое по своему миросозерцанию оно одно считает действительным. Средство это – насилие одних людей над другими. Одни люди, считающие для себя выгодным существующий порядок, насилием государственной деятельности стараются удержать этот порядок, другие тем же насилием революционной деятельности стараются разрушить существующее устройство и установить на место его другое, лучшее.

Революций и подавлений их в христианском мире было много. Внешние формы изменялись, но сущность государственного устройства: власть немногих над многими, развращенность, ложь и страх перед угнетаемыми властвующих классов, задавленность, порабощение, одурение и озлобленность народных масс если и изменялись по форме, то по существу не только не уменьшались, но заметно увеличивались и увеличиваются. То, что совершается теперь в России, особенно ясно выставляет всю не только бесцельность, но очевидную зловредность употребления насилия как средства соединения людей.

В каждой газете последнего времени всё реже и реже известия о том, где и как ограблена касса, где убиты жандарм, офицер, городовые, где обнаружено покушение, и в каждой газете всё чаще и чаще известия о казнях и смертных приговорах.

Застреливают и вешают не переставая уже год и два, и задавлены и застрелены тысячи. Побито и разорвано революционными бомбами тоже тысячи; но так как в последнее время убиваемых власт

вующими всё больше и больше, убиваемых же революционерами всё меньше и меньше, то правящие классы торжествуют, и им кажется, что они победили и что они теперь будут продолжать свою обычную жизнь, насилием поддерживая обман и обманом поддерживая насилие.

Сущность заблуждения всех возможных политических учений, как самых консервативных, так и самых передовых, приведшего людей к их бедственному положению, в том, что люди этого мира считали и считают возможным посредством насилия соединить людей так, чтобы они все, не противясь, подчинялись одному и тому же устройству жизни и вытекающему из него руководству в поведении. Понятно, что люди могут, подчиняясь страсти, заставлять посредством насилия несогласных с ними людей исполнять свою волю. Можно силою вытолкать человека или втащить его туда, куда он не хочет идти. (Как животные, так и люди всегда и поступают так под влиянием страсти.) И это понятно, но совершенно непонятно рассуждение о том, что насилие может быть средством побуждения людей к совершению желательных нам поступков.

Всякое насилие состоит в том, что одни люди под угрозой страданий или смерти заставляют других людей делать то, чего не хотят насилуемые. И потому насилуемые делают то, чего они не хотят, только до тех пор, пока они слабее насилующих и не могут избавиться от того, что им угрожает за неисполнение требуемого. Как только они сильнее, то они естественно не только перестают делать то, чего не хотят, но, раздраженные борьбой с насиловавшими и всем перенесенным от них, сначала освобождаются от насилующих, а потом заставляют, в свою очередь, несогласных с ними делать то, что они считают для себя хорошим и нужным. И потому казалось бы ясно, что борьба насилующих с насилуемыми никак не может соединить людей, а, напротив, чем дальще продолжается, тем больше разъединяет их. Казалось бы, это так ясно, что не стоило бы говорить про это, если бы с давнего времени обман о том, что насилие одних людей над другими может быть полезно людям и соединять их, не был бы так распространен и принят молчаливым согласием, как самая несомненная истина, не только теми, кому выгодно насилие, но и большинством тех самых людей, которые более всего страдали и страдают от насилия. Обман этот существует давно, и до христианства и после него, и оставался и остается еще во всей силе и теперь во всем христианском мире.

Разница между тем, что было в старину, до появления христианства, и тем, что есть теперь в христианском мире, только в том, что неосновательность предположения о том, что насилие одних людей над другими может быть полезно людям и соединять их, в старину

была совершенно скрыта от людей, теперь же, выраженная особенно ясно в учении Христа истина о том, что насилие одних людей над другими не может соединять, а может только разъединять людей, всё более и более уясняется. А как только люди понимают, что насилие одних людей над другими, кроме того, что мучительно для них, еще и не разумно, как тотчас же люди, прежде спокойно переносившие насилие, возмущаются и озлобляются против него.

Это самое происходит теперь во всех народах среди насилуемых.

Но мало того, что истину эту всё более и более сознают насилуемые, ее сознают в наше время и насилующие. У самих насилующих в наше время уже нет уверенности в том, что, насилуя людей, они поступают хорошо и справедливо. Заблуждение это разрушается как для правителей, так и для борющихся с ними. Увлеченные своим положением, как те, так и другие – хотя и стараются всякого рода убеждениями, большей частью лживыми, убедить себя, что насилие полезно и необходимо,– в глубине души уже знают, что, делая свои жестокие дела, они достигают только подобия того, чего желают, и то только временно, в сущности же отдаляющего, а не приближающего их к цели.

Вот это-то сознание, всё яснее и яснее усваиваемое людьми христианского мира, и приводит их неизбежно к тому выходу, который один может вывести их из их бедственного настоящего положения. Выход этот в одном; в принятии человечеством скрытого от людей учения Христа в его истинном значении, неизвестного еще большинству людей и вытекаюшего из него руководства поведения, исключающего насилие.

IV

Когда среди 100 человек один властвует над 99, это несправедливо, это деспотизм; когда 10 властвует над 90,— это также несправедливо, это олигархия; когда же 51 властвует над 49 (и то только в воображении — в сущности же опять 10 или 11 из этих 51) — тогда это совершенно справедливо,— это свобода!

Может ли быть что-нибудь смешнее, по своей очевидной нелепости, такого рассуждения, а между тем это самое рассуждение служит основой деятельности всех улучшате- лей государственного устройства.

Народы земли трепещут, содрогаются. Всюду чувствуется какая-то работа сил, как бы подготовляющая землетрясение. Никогда еще человек не имел за собою такой огромной ответственности. Каждый момент приносит с собою всё более и более важные заботы. Чувствуется, что что-то великое должно совершиться. Но перед явлением Христа мир ждал великих событий и, однако, не принял его, когда он

пришел. Так и теперь мир может испытывать муки родов перед его новым пришествием и всё не понимать того, что происходит.

Люси Малори.

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить.

Матф. X, 28.

Государства христианского мира не только дошли, но перешли в наше время тот предел, до_ которого доходили перед своим распадением государства древнего мира. Это особенно ясно видно из того, что в наше время всякий шаг вперед в технических усовершенствованиях не только не содействует общему благу, но, напротив, всё с большей и большей очевидностью показывает, что все эти усовершенствования могут только увеличить бедствия людей, но никак не уменьшить их. Можно выдумать еще новые – подводные, подземные, воздушные, надвоздушные снаряды для быстрейшего перенесения людей с места в место и новые приспособления для распространения людских речей и мыслей, но так как переносимые из места в место люди ничего другого, кроме зла, не хотят, не умеют и не могут делать, то и распространяемые ими мысли и речи ни к чему иному, как только к злу, не могут побуждать людей. Те же, всё усовершенствующиеся и усовершенствующиеся средства истребления друг друга, которые делают всё более и более возможными убийства без под- вержения себя опасности, только всё яснее и яснее показывают невозможность продолжения деятельности христианских народов в том направлении, в котором она теперь происходит.

Жизнь христианских народов теперь ужасна и в особенности по отсутствию какого бы то ни было нравственного начала, соединяющего их, и по неразумности своей, сводящей человека, несмотря на все его умственные приобретения, в нравственном отношении на степень низшую, чем животные, и, главное, по той сложности установившейся лжи, которая всё более и более скрывает от людей всю бедственность и жестокость их жизни.

Ложь поддерживает жестокость жизни, жестокость жизни требует всё больше и больше лжи, и, как ком снега, неудержимо растет и то и другое.

Но всему бывает конец. И я думаю, что конец этого бедственного положения народов христианского мира наступил теперь.

Положение людей христианского мира ужасно, но вместе с тем оно – то самое, которое не могло не быть, которое должно было быть и которое неизбежно должно привести эти народы к избавлению. Страдания, испытываемые людьми христианского мира, выте-. кающие из отсутствия свойственного нашему времени религиозного

миросозерцания, суть неизбежные условия роста и неизбежно должны окончиться принятием людьми свойственного их времени религиозного миросозерцания.

Свойственное же нашему времени миросозерцание есть то понимание смысла человеческой жизни и вытекающее из него руководство поведения, которое было открыто христианским учением в его истинном значении 1900 лет тому назад, но было скрыто от людей искусственным и лживым церковным извращением.

V

> С того часа, как первые члены соборов сказали: «изво- лися нам и Святому Духу», то есть вознесли внешний авторитет выше внутреннего, признали результат жалких человеческих рассуждений на соборах важнее и святее того единого истинно святого, что есть в человеке,— его разума и совести,— с того часа началась та ложь, убаюкивающая тела и души людей, которая погубила миллионы человеческих существ и продолжает до сей поры свое ужасное дело.
>
> В 1682 году в Англии доктор Лейтон, почтенный человек, написавший книгу против епископства, был судим и приговорен к следующим совершенным над ним наказаниям. Его жестоко высекли, потом отрезали ухо и распороли одну сторону носа, потом горячим железом выжгли на щеке буквы S. S.: сеятель смут. После семи дней его опять высекли, несмотря на то, что рубцы на спине еще не зажили, и распороли другую сторону носа и отрезали другое ухо и выжгли клеймо на другой щеке. Всё это было сделано во имя христианства.
>
> *Морисон Давидсон.*
>
> Христос не основывал никакой церкви, не устанавливал никакого государства, не дал никаких законов, никакого правительства, ни внешнего авторитета, но он старался написать закон Бога в сердцах людей с тем, чтобы сделать их самоуправляющимися.
>
> *Герберт Ньютон.*

Особенность положения христианских народов нашего времени в том, что народы эти основали свою жизнь на том учении, которое в своем истинном значении разрушает эту жизнь, и это скрытое прежде значение начинает уясняться. Христианские народы построили дом свой даже не на песке, а на тающем льду. И лед начинает таять и уже растаял, и дом валится.

Пока большинство людей, обманутое церковным учением, имея самое смутное понятие об истинном значении учения Христа, вместо прежних идолов, обоготворяло Христа-Бога, его мать, угодников, поклонялось мощам, иконам, верило в чудеса, таинства, верило в искупление, в непогрешимость церковной иерархии,– языческое устройст

во мира могло держаться и удовлетворять людей. Люди одинаково верили и в то объяснение смысла жизни, которое давала им церковь, и в вытекающее из него руководство поведения, и вера эта сближала людей. И так это было, пока люди не видели того, что таилось за этой церковной верой, которую им выдавали за истинную. Но несчастье церковной веры состояло в том, что существовало Евангелие, которое самими же церквами было признано священным. Как ни старались церковники скрыть от людей сущность этого учения, выраженного в Евангелиях,– ни запрещения переводов Евангелия на всем понятный язык, ни лжетолкование их – ничто не могло затущить свет, прорывающийся сквозь церковные обманы и освещающий души людей, всё более и более ясно сознающих великую истину, которая была в этом учении.

Как только с распространением грамотности и печати люди стали узнавать Евангелие и понимать то, что в нем написано, люди не могли уже, несмотря на все извороты церкви, не увидать того бьющего в глаза противоречия, которое было между государственным устройством, поддерживаемым церковью, и учением Евангелия. Евангелие прямо отрицало и церковь и государство с своими властями.

И противоречие это, становясь всё более и более очевидным, сделало наконец то, что люди перестали верить в церковную веру, а в большинстве своем продолжали, по преданию, ради приличия, отчасти и страха перед властью, держаться внешних форм церковной веры, одинаково, как католической, православной, так и протестантской, не признавая уже ее внутреннего религиозного значения.

Так это случилось с огромным большинством рабочего народа. (Я не говорю про те небольшие общины людей, прямо отрицавших церковное учение и устанавливающих свое более или менее близкое к христианскому, в его истинном значении, учение, не говорю потому, что число таких людей слишком ничтожно в сравнении с огромной массой людей, всё больше и больше освобождающихся от всякого религиозного сознания.)

То же самое случилось и с нерабочими, учеными людьми христианского мира. Люди эти еще яснее, чем простые люди, увидали всю несостоятельность и внутренние противоречия церковного учения и естественно откинули это учение, но вместе с тем не могли признать и истинное учение Христа, так как это учение было противно всему существующему строю и, главное, их исключительно выгодному положению в нем.

Так что в наше время в нашем христианском мире одни люди, огромное большинство людей, живут, внешним образом исполняя

еще церковные обряды по привычке, для приличия, удобства, из страха перед властями или даже корыстных целей, но не верят и не могут верить в учение этой церкви, уже ясно видя ее внутреннее противоречие; другая же, всё увеличивающаяся часть населения уже не только не признает существующей религии, но признает, под влиянием того учения, которое называется «наукой», всякую религию остатком суеверия и не руководится в жизни ничем иным, кроме своих личных побуждений.

С людьми, принявщими религиозное учение, превосходящее их силы,– а таково было христианское учение для язычников, при- нявщих его тогда, когда жизнь общественная в форме государственного насильнического устройства уже глубоко вкоренилась в нравы и привычки людей,– с людьми, принявщими христианское учение, случилось нечто, кажущееся сначала противоречивым, а вместе с тем такое, чего не могло не случиться. Именно то, что эти народы, вследствие того, что приняли самую высокую для своего времени религию, лищились всякой религии и пали в своем религиозном и нравственном состоянии ниже людей, исповедующих гораздо более низкие или даже самые грубые религиозные учения.

VI

Церковное извращение христианства отдалило от нас осуществление Царства Божия, но истина христианства, как огонь в сухом дереве, прожгла свою оболочку и выбилась наружу. Значение христианства видно всем, и влияние его уже сильнее того обмана, который скрывает его.

Я вижу новую религию, основанную на доверии к человеку; призывающую к тем нетронутым глубинам, которые живут в нас; верующую в то, что он может любить добро без мысли о награде; в то, что божественное начало живет в человеке.

Сольтер.

То, что нам нужно, что нужно народу, то, чего требует нащ век для того, чтобы найти выход из той грязи эгоизма, сомнения и отрицания, в которые он погружен,— это вера, в которой наши души могли бы перестать блуждать в отыскивании личных целей, могли бы все идти вместе, признавая одно происхождение, один закон, одну цель. Всякая сильная вера, которая возникает на развалинах старых, изжитых верований, изменяет существующий общественный порядок, так как каждая сильная вера неизбежно прилагается ко всякой отрасли человеческой деятельности.

Человечество повторяет в разных формулах и различных степенях слова молитвы Господней: «Да приидет Царство Твое на земле, как и на небе».

Мадзини.

Нельзя ни взвесить, ни изменить того вреда, который производила и производит ложная вера.

Вера есть установление отношения человека к Богу и миру и вытекающее из этого отношения определение своего назначения. Какова же должна быть жизнь человека, если это отношение и вытекающее из него определение назначения ложны?

Недостаточно откинуть ложную веру, то есть ложное отношение к миру. Нужно еще установить истинное.

Трагизм положения людей христианского мира в том, что, по неизбежному недоразумению, христианскими народами принято было, как свойственное им религиозное учение, такое учение, которое в своем истинном значении самым определенным образом отрицало, разрушало весь тот строй общественной жизни, которым жили уже эти народы и вне которого не могли себе представить жизни.

В этом и трагизм положения, в этом и великое, исключительное благо христианских народов.

В том извращенном виде, в котором христианское учение было предложено языческим народам, оно представлялось им только как некоторое смягчение грубости понимания божества, как более высокое понимание назначения человека и требований нравственности. Истинное же значение учения до такой степени было скрыто от них сложными догматами и привлекательными внушительными обрядами, что оно и не подозревалось ими. А между тем учение это в его истинном значении было не только ясно выражено в тех, признаваемых церквами божественным откровением, книгах Евангелия, которое было нераздельно с извращенным учением, но учение это было до такой степени свойственно, родственно душам человеческим, что, несмотря на всё загромождение и извращение учения ложными догматами, наиболее чуткие к истине люди всё чаще и чаще воспринимали учение в его истинном значении и всё яснее и яснее видели противоречие устройства мира с истинным христианским учением.

Не говоря уже об учителях церкви древнего мира: Татиане, Клименте, Оригене, Тертуллиане, Киприане, Лактанции и других, противоречие это сознавалось и в средние века, в новое же время выяснялось всё больше и больше и выражалось и в огромном количестве сект, отрицающих противное христианству государственное устройство с необходимым условием существования его – насилием, и в самых разнообразных гуманитарных учениях, даже не признающих себя христианскими, которые все, так же, как и особенно распространившиеся в последнее время учения социалистические, коммунистические, анархические, суть не что иное, как только од

носторонние проявления отрицающего насилие христианского сознания в его истинном значении.

В том, что народы христианского мира приняли в скрытом, извращенном виде то учение, которое в своем настоящем значении неизбежно должно было разрушить тот строй жизни, в котором они живут и с которым не хотят расстаться,– в этом причина страданий христианских народов. Великое же благо их в том, что, приняв в извращенном виде христианство, включавшее в себя скрытую от них истину, они неизбежно приведены теперь к необходимости принятия христианского учения уже не в извращенном, а в том истинном смысле, в котором оно всё более и более выяснялось и вполне уже выяснилось теперь и которое одно может спасти людей от того бедственного положения, в котором они находятся.

VII

> Главная причина дурного устройства жизни есть ложная вера.
>
> Мы должны с глубоким вниманием относиться к нашим общественным делам; мы должны быть готовы изменять наши мнения, отказываться от старых взглядов, усваивать новые. Мы должны бросать предрассудки и рассуждать с совершенно свободным умом. Моряк, который будет ставить одни и те же паруса, невзирая на перемены в ветре, никогда не достигнет своей гавани.
>
> *Генри Джордж.*
>
> Стоит прямо и просто понять учение Христа, чтобы ясен был тот ужасный обман, в котором живем все мы и живет каждый из нас.

Христианское учение во всем его истинном значении, как оно всё более и более выясняется в наше время, состоит в том, что сущность жизни человеческой есть сознательное всё большее и большее проявление того начала всего, признак проявления которого в нас есть любовь, и что поэтому сущность жизни человеческой и высший закон, долженствующий руководить ею, есть любовь.

То, что любовь есть необходимое и благое условие жизни человеческой, было признаваемо всеми религиозными учениями древности. Во всех учениях: египетских мудрецов, браминов, стоиков, буддистов, таосистов и др., дружелюбие, жалость, милосердие, благотворительность и вообще любовь признавались одною из главных добродетелей. Это признавание наиболее высокими из этих учений доходило даже до такой степени, при которой восхвалялась любовь ко всем и даже воздаяние добром за зло, как это проповедовалось в особенности таосистами и буддистами. Но ни одно из этих учений не постави

ло этой добродетели основой жизни, высшим законом, долженствующим быть не только главным, но единым руководством поступков людей, как это сделано позднейшим из всех религиозных учений – христианством. Во всех дохристианских учениях любовь признавалась как одна из добродетелей, но не тем, чем она признается в христианском учении; метафизически – основой всего, практически – высшим законом жизни человеческой, то есть таким, который ни в каком случае не допускает исключений. Христианское учение по отношению всех древних учений не есть новое и особенное учение; это есть только более ясное и определенное выражение той основы жизни человеческой, которая чувствовалась и неопределенно проповедовалась предшествовавшими религиозными учениями. Особенность христианского учения в этом отношении только в том, что оно, как позднейшее, более точно и определенно выразило сущность закона любви и неизбежно вытекающее из него руководство в поступках. Так что христианское учение о любви не есть, как в прежних учениях, только проповедь известной добродетели, но есть определение высшего закона жизни человеческой и неизбежно вытекающего из него руководства поведения. Учение Христа выясняет, почему этот закон есть высший закон жизни человеческой, и с другой стороны показывает тот ряд поступков, которые человек должен или не должен делать вследствие признания истинности этого учения. В особенности ясно и определенно выражено в христианском учении то, что исполнение этого закона, так как это есть высший закон, не может допускать, как это допускали прежние учения, никаких исключений, что любовь, определяемая этим законом, есть только тогда любовь, когда она не допускает никаких исключений и одинаково обращена как на иноземцев, разноверцев, так и врагов, ненавидящих и делающих нам зло.

В этом уяснении того, почему закон этот – высший закон жизни людей, и в точном определении неизбежно вытекающих из него поступков, в этом тот шаг вперед, который сделало христианское учение, и в этом главное его значение и благодетельность.

Объяснение, почему этот закон есть высший закон жизни, особенно ясно выражено в посланиях Иоанна:

«Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бога никто никогда не видел; если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. Мы знаем, что мы перешли из смерти к жизни,

. потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти» (Первое послание Иоанна, IV, 7, 8, 12, 16; III, 14).

Учение всё в том, что то, что мы называем собою, нашей жизнью, есть ограниченное в нас нашим телом божественное начало, проявляющееся в нас любовью, и что потому истинная жизнь каждого человека, божественная, свободная, проявляется в любви.

Вытекающее же из такого понимания закона любви руководство в поступках, не допускающее никаких исключений, выражено во многих местах евангелий, и особенно точно, ясно и определенно в четвертой заповеди Нагорной проповеди:

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб (Исход, 21, 14), а Я говорю вам, не противься злому», сказано в 38 ст. V гл. Матфея. В стихах же 39 и 40, как бы предвидя те исключения, которые могут показаться нужными при приложении к жизни закона любви, ясно и определенно говорится, что нет и не может быть таких условий, при которых возможно бы было отступление от самого простого и первого требования любви: неделания другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали.

Говорится: «но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду», то есть что совершенное над тобой насилие не может служить оправданием насилия с твоей стороны. Эта же недопустимость оправдания отступления от закона любви никакими поступками других людей еще яснее и точнее выражена в последней из заповедей, прямо указывающей на те обычные ложные толкования, при которых будто бы возможно нарушение ее:

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (Левит, 19, 17—18). А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, в чем тут заслуга? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. V, 43–46).

Вот это-то признание закона любви высшим законом жизни человеческой и ясно выраженное руководство поведения, вытекающее из христианского учения о любви, одинаковой к врагам, к людям ненавидящим, обижающим, проклинающим нас, и составляют ту особенность учения Христа, которая, давая учению о любви и вытекающему из него руководству точное, определенное значение, не

избежно влечет за собой полное изменение установившегося устройства жизни не только христианских, но и всех народов мира.

В этом главное отличие от прежних учений и главное значение христианского учения в его истинном смысле; в этом шаг вперед в сознании человечества, который сделан был христианским учением. Шаг этот в том, что все прежние религиозные и нравственные учения о любви, признавая, как это и не могло быть иначе, благодетельность любви для жизни человечества, вместе с тем допускали возможность таких условий, при которых исполнение закона любви становилось необязательным, могло быть обойдено. А как только закон любви переставал быть высшим, неизменным законом жизни людей, так уничтожалась вся благодетельность закона, и учение о любви сводилось к ни к чему не обязывающим красноречивым поучениям и словам, оставлявшим весь склад жизни народов таким же, каким он был и до учения о любви, то есть основанным на одном насилии. Христианское же учение в его истинном смысле, признавая закон любви высшим и приложение его к жизни не подлежащим никаким исключениям, уничтожало этим признанием всякое насилие, а следовательно, не могло не отрицать всё основанное на насилии устройство мира.

Вот это-то главное значение учения и было скрыто от людей лже-христианством, признавшим учение о любви не высшим законом жизни человеческой, а так же, как и дохристианские учения, лишь одним из правил поведения, которое полезно соблюдать, когда ничто не препятствует этому.

VIII

Бедствия войн и военных приготовлений не только не соответствуют тем причинам, которые выставляются в их оправдание, но причины их большей частью так ничтожны, что не стоят обсуждения и совершенно неизвестны тем, которые гибнут в войнах.

Люди так привыкли к поддержанию внешнего порядка жизни насилием, что жизнь людей без насилия представляется им невозможною.

А между тем, если люди насилием учреждают справедливую (по внешности) жизнь, то те люди, которые учреждают такую жизнь, должны знать, в чем справедливость, и быть сами справедливы. Если же одни люди могут знать, в чем справедливость и могут быть справедливыми, то почему же всем людям не знать этого и не быть справедливыми?-

Если бы люди были вполне добродетельны, они никогда не отступали бы от истины.

Истина вредна только тому, кто делает зло. Делающий добро любит истину.

Рассудок часто делается рабом греха — направляется на то, чтобы оправдывать его.

Удивляешься иногда, зачем человек защищает такие страшные, неразумные положения: религиозные, политические, научные. Поищи, и ты найдешь, что он защищает свое положение.

Учение Христа в его истинном смысле состоит в признании любви ***высшим*** законом жизни, и потому не могущим допускать никаких исключений.

Христианство, то есть учение о законе любви, допускающее исключения в виде насилия во имя других законов, есть такое же внутреннее противоречие, как холодный огонь или горячий лед.

Казалось бы очевидно, что, если одни люди могут, несмотря на признания благодетельности любви, во имя каких-то благих целей в будущем, допускать необходимость мучительства или убийства некоторых людей, то точно с таким же правом могут другие люди, тоже признавая благодетельность любви, допускать, тоже во имя будущих благ, необходимость мучительства и убийства других людей. Так что казалось бы очевидно, что допущение хотя какого бы то ни было исключения из требования исполнения закона любви уничтожает всё значение, весь смысл, всю благодетельность закона любви, лежащего в основе и всякого религиозного учения и всякого нравственного учения. Казалось бы, это так очевидно, что совестно доказывать это, а между тем люди христианского мира,– как признающие себя верующими, так считающие себя неверующими, но признающие нравственный закон,– и те и другие смотрят на учение о любви, отрицающее всякое насилие, и в особенности на вытекающее из этого учения положение о непротивлении злу злом, как на нечто фантастическое, невозможное и совершенно неприложимое к жизни.

Понятно, что люди властвующие могут говорить, что без насилия не может быть никакого порядка и доброй жизни, разумея под «порядком» такое устройство жизни, при котором немногие могут в излишестве пользоваться трудами других людей, под «доброй» же жизнью разумея беспрепятственность ведения такой жизни. Но как ни несправедливо то, что они говорят, понятно, что они могут говорить так, потому что уничтожение насилия не только лишает их возможности жить так, как они живут, но и обличает всю давнишнюю несправедливость и жестокость их жизни.

Но рабочим-то людям, казалось бы, уже не нужно того насилия, которое они, как это ни удивительно сказать, так старательно сами над собою делают и от которого они так страдают. Ведь насилие властвующих над покоряющимися не есть прямое, непосредствен

ное насилие сильного человека над слабым и большого числа над меньшим, ста над двадцатью и т. п. Насилие властвующих держится, как и может держаться насилие меньшинства над большинством, только на давно уж устроенном ловкими и сметливыми людьми обмане, вследствие которого люди, ради своей близкой и очевидной им малой выгоды, не только лишаются самых больших выгод, но лишаются свободы и подвергаются самым жестоким страданиям. Сущность этого обмана еще четыреста лет тому назад была высказана французским писателем Ла-Боэти в статье «Добровольное рабство».

Вот что он пишет об этом:

«Не оружие и не вооруженные люди – конные и пешие – защищают тиранов, но, как ни трудно этому поверить, три или четыре человека поддерживают тирана и держат для него всю страну в рабстве. Всегда круг приближенных тирана состоял из пяти или шести человек; эти люди или сами вкрадывались к нему в доверие, или были приближаемы им, чтобы быть соучастниками его жестокостей, товарищами его удовольствий, устроителями его наслаждений и сообщниками его грабительств. Эти шестеро имеют шестьсот, находящихся под их властью и относящихся к шестерым так же, как шестеро относятся к тиранам. Шестьсот же имеют под собой шесть тысяч, которых они возвысили, которым дали управление провинциями или денежными делами, с тем, чтобы они служили их корыстолюбию и жестокости. За этими следует еще большая свита. И тот, кому охота распутывать эту сеть, увидит, что не только шесть тысяч, но сотни тысяч, миллионы скованы этой цепью с тираном. Ради этого умножаются должности, которые все суть поддержка тирании. И все занимающие эти должности люди имеют тут свои выгоды, и этими выгодами они связаны с тиранами, и людей, которым тирания выгодна, такое множество, что их наберется почти столько же, сколько тех, которым свобода была бы радостна. И как доктора говорят, что если есть в нашем теле что-нибудь испорченное, то тотчас же к этому больному месту приливают все дурные соки, так же точно и к государю, как скоро он делается тираном, собирается всё дурное, все подонки государства, куча воров и негодяев, неспособных ни на что, но корыстолюбивых и алчных,– собираются, чтобы участвовать в добыче, чтобы быть под большим тираном маленькими тиранятами.

Так что тиран подчиняет одних подданных посредством других и бывает охраняем теми, которых, если бы они не были негодяи, он бы должен был опасаться. Но, как говорится, «чтобы колоть дрова, делают клинья из того же дерева», так и его телохранители таковы же, как и он.

Бывает, что и они страдают от него; но эти оставленные Богом, потерянные люди готовы переносить зло, только бы им быть в состоянии делать его не тому, кто делает зло им, но тем, которые переносят его и не могут иначе».

Вот от этого-то обмана, до такой степени укоренившегося в народе, что те самые люди, которые только страдают от употребления насилия, оправдывают его, даже требуют его для себя, как чего-то необходимого, и сами совершают его друг над другом – от этой-то ставшей второй природой привычки и происходит то удивительное заблуждение людей, вследствие которого люди, наиболее страдающие от обмана, сами поддерживают его.

Казалось бы, рабочим-то людям, не получающим никакой выгоды от совершаемого над ними насилия, можно бы увидать, наконец, тот обман, в котором они запутаны и, увидав обман, освободиться от него самым простым и легким способом: прекращением участия в том насилии, которое может совершаться над ними только благодаря их участию.

Казалось бы, чтб может быть проще и естественнее того, чтобы, веками страдая от производимого самими над собою, без всякой для себя пользы, насилия, рабочие люди, в особенности земледельцы, которых в России, да и во всем мире большинство, поняли наконец, что они страдают сами от себя, что та земельная собственность неработающих владельцев, от которой они больще всего страдают, поддерживается ими же самими, в виде стражников, урядников, солдат; что точно так же все подати – и прямые и косвенные – собирают с самих себя они же сами в виде старост, сотских, сборщиков податей и опять же полицейских и солдат. Казалось бы, так просто понять это рабочим людям и сказать наконец тем, кого они считают своими начальниками: «Оставьте нас в покое. Если вам, императорам, президентам, генералам, судьям, архиереям, профессорам и всяким ученым людям, нужны войска, флоты, университеты, балеты, синоды, консерватории, тюрьмы, виселицы, гильотины,– устраивайте всё это сами, сами с себя собирайте деньги, судите, сажайте друг друга в тюрьмы, казните, убивайте людей на войнах, но делайте это сами, нас же оставьте в покое, потому что ничего этого нам не нужно и мы не хотим больше участвовать во всех этих бесполезных для нас и, главное, дурных делах».

Что, казалось бы, естественнее этого? А между тем рабочие люди, и в особенности земледельцы, которым этого ничего не нужно, не только ни в России, ни в какой бы то ни было стране, не делают этого, а одни, большинство, продолжают сами себя мучить, исполняя против самих себя требования начальства и сами поступая в полицию, в сборщики податей, в солдаты; другие же, меньщинство,

для того чтобы избавиться от насилия, когда могут это сделать, совершают во время революций насилия над теми людьми, от насилия которых страдают, то есть тушат огонь огнем, и этим только увеличивают над собою насилие.

Отчего же так неразумно поступают люди?

Оттого, что они вследствие продолжительности обмана уже не видят связи их угнетенности с их же участием в насилии.

А отчего же не видят этой связи?

А всё оттого же, отчего все бедствия людей, оттого, что у людей этих нет веры, а без веры люди могут быть руководимы только выгодой, а человек, руководимый только выгодой, не может быть ничем иным, как только обманщиком или обманутым.

От этого-то и происходит то кажущееся удивительным явление, что, несмотря на очевидную невыгоду для себя насилия, несмотря на всю очевидность в наше время того обмана, в котором запутаны рабочие люди, несмотря на явные обличения той несправедливости, от которой они страдают, несмотря на все революции, имеющие целью уничтожение насилия, рабочие люди, огромное большинство людей, продолжают не только подчиняться насилию, но поддерживают его и противно здравому смыслу и самой своей выгоде совершают насилие сами над собой.

Одни рабочие, огромное большинство их, держатся по привычке прежнего церковного лжехристианского учения, не веря уже в него, а веря только в древнее «око за око» и основанное на нем государственное устройство; другая же часть, каковы все тронутые цивилизацией рабочие (особенно в Европе), хотя и отрицают всякую религию, бессознательно в глубине души верят, верят в древний закон «око за око» и, следуя этому закону, когда не могут иначе, ненавидя существующее устройство, подчиняются; когда же могут иначе, то самыми разнообразными насильническими средствами стараются уничтожить насилие.

Первые, большая часть рабочих, нецивилизованных людей, не могут изменить своего положения, потому что не могут по исповедуемой ими вере в государственное устройство отказаться от участия в насилии; не имеющие же никакой веры нецивилизованные рабочие, следуя только различным политическим учениям, не могут освободиться от насилия, потому что насилием же стараются уничтожить насилие.

IX

Дикий инстинкт военного убийства так заботливо в продолжение тысячелетий культивировался и поощрялся, что пустил глубокие корни в мозгу человеческом. Надо надеяться, однако, что лучшее, чем наше, человечество сумеет

освободиться от этого ужасного преступления. Но что подумает тогда это лучшее человечество о той так называемой утонченной цивилизации, которой мы так гордимся? А почти то же, что мы думаем о древнемексиканском народе и его каннибализме, в одно и то же время воинственном, набожном и животном.

Летурно.

Война уничтожится только тогда, когда люди не будут принимать никакого участия в насилии и будут готовы нести все те гонения, которым они могут подвергнуться за это. Это одно средство уничтожения войны.

Спросите у большинства христиан, в чем главное зло, от которого Христос освободил человечество, и они скажут; от ада, от вечного огня, от наказания в будущем. Они соответственно этому думают, что спасение — это нечто такое, что другой может совершить для нас. Слово ад, которое так редко встречается в Священном Писании, вследствие ложных толкований сделало много вреда христианству.— Люди убегают от внешнего ада, которого они должны больше всего бояться. Спасение, больше всего нужное человеку, и то, которое дает освобождение человеку, это спасение от зла в своей душе. Есть нечто много худшее внешнего наказания. Это грех — состояние души, возмутившейся против Бога, состояние души, одаренной божественной силой, но отдающей себя во власть животных похотей,-—■ души, которая, живя в виду Бога, боится угрозы или гнева человека и предпочитает человеческую славу своему спокойному сознанию добродетели. Нет погибели хуже этой.

И это — то, что нераскаявшийся человек уносит с собой в могилу. Вот чего надо бояться.

Спастись, в высшем значении этого слова, значит поднять упавший дух, излечить больную душу, возвратить ей свободу мысли, совести, любви. В этом состоянии то спасение, за которое умер Христос.

Для этого спасения дан нам святой дух, и к такому спасению направлено всё истинное учение христианства.

Чаннинг.

Как, кажется, легко говорить правду, а как много нужно внутренней работы, чтобы достигнуть этого.

Степень правдивости человека есть указатель степени его нравственного совершенства.

Так ЭТО было долгое время, продолжается и теперь во всем и нехристианском и христианском мире. Но думаю, что теперь, именно теперь, после жалкой, глупой русской революции и в особенности после ужасного по своей дерзкой, бессмысленной жестокости подавления ее, русские, менее других цивилизованные, то есть менее умственно развращенные и удерживающие еще смутное представление о сущности христианского учения, русские, преимуществен

но земледельческие люди, поймут, наконец, где средство спасения, и первые начнут применять его.

Это средство спасения уже давно предчувствуется людьми и влечет их к себе и в последнее время всё более и более входит в сознание людей и уже начинает применяться.

В губернском городе заседает военный суд. Стоит стол, на столе зерцало с двуглавым орлом наверху и печатными словами внизу, лежат книги законов, аккуратно сложенные цельные исписанные листы бумаг с печатными заголовками. За столом на первом месте сидит в военном мундире с галунами и крестом на шее плотный человек с лицом умным, выражающим добродушие, особенно умиленное теперь тем, что он только что хорошо позавтракал и получил успокоительное известие о здоровье меньшого ребенка. Рядом с ним другой офицер немецкого происхождения, недовольный своим назначением и обдумывающий теперь тот рапорт, который он подаст начальнику. На третьем месте совсем молодой офицер, щеголь и весельчак, только что отпустивший за завтраком у полковника остроумную шутку, развеселившую всех. Он вспоминает теперь эту шутку и чуть заметно улыбается. Ему страшно хочется курить, он с нетерпением ждет перерыва. За отдельным столиком сидит секретарь. Перед ним куча бумаг, и он весь поглощен заботой о том, чтобы быть готовым по первому требованию начальства подать требуемую бумагу.

Два молодых человека: один крестьянин Пензенской губернии, другой мещанин города Любима, одетые в солдатскую одежду, вводят третьего, совсем молодого человека, одетого тоже в солдатскую шинель. Молодой человек этот бледен, он только раз взглянул на суд и сосредоточенно смотрит перед собою. Молодой человек этот уже три года просидел в тюрьме за отказ от присяги и военной службы. Чтобы избавиться от него, после трех лет тюрьмы, ему предложили присягнуть, и тогда он, как солдат, пробывший три года на службе, хотя и в тюрьме, мог бы быть отпущен. Но молодой человек и в церкви сказал то же, что он говорил при приеме,– что он, как христианин, не может ни присягать, ни быть убийцей. Теперь его судят за этот новый отказ. Секретарь читает бумагу, называемую обвинительным актом. В нем говорится о том, что молодой человек отказался получать жалованье и считает военную службу грехом. Добродушный председатель спрашивает: признаешь ли ты себя виновным?

– Всё, что сказано тут, всё это я делал и говорил, но виновным себя не признаю,– запинаясь и с дрожью в голосе говорит молодой человек.

Председатель кивает головой в знак того, что ответ в порядке, заглядывает в бумагу и спрашивает: что ты можешь сказать в объяснение своего отказа?

— Отказался я и отказываюсь потому, что считаю военную службу грехом (он запинается)... противным учению Христа.

Председатель удовлетворен и этим и одобрительно кивает головой. Всё в порядке.

— Не имеешь ли ты еще чего заявить?

Молодой человек с дрожащей нижней челюстью говорит о том, что в Евангелии сказано, запрещено не только убийство, но недоброе чувство к брату.

Председатель одобряет и это. Немец недовольно хмурится, молодой офицер, подняв голову и брови, внимательно слушает, как что-то новое и интересное.

Обвиняемый, всё более и более волнуясь, говорит о том, что клятва прямо запрещена, что он считал бы себя виновным, если бы не отказался, что он и теперь готов...

Председатель останавливает его, так как находит, что подсудимый говорит уже не подходящее к делу и потому ненужное.

После этого вызываются свидетели; командир полка и фельдфебель. Командир полка, обычный партнер председателя в винт и великий охотник и мастер игры, и фельдфебель, ловкий, красивый, услужливый поляк шляхтич, большой охотник до чтения романов. Входит и священник, пожилой человек, только что проводивший свою дочь с зятем и внуками, приезжавших к нему в гости, и расстроенный столкновением с матушкой из-за того, что он отдал дочери ковер, который матушка не желала отдавать.

— Потрудитесь, батюшка, привести к присяге свидетелей и сделать напоминание о грехе перед Богом за неправильное показание,– обращается председатель к священнику.

Батюшка надевает епитрахиль, берет крест и Евангелие и говорит привычные слова увещания. Потом приводит к присяге полковника. Полковник, быстрым движением подняв два чистых пальца, которые так хорошо знает председатель, следя за ними во время карточной игры, проговаривает за священником слова присяги и чмокая целует, как будто с удовольствием, крест и Евангелие. Вслед за полковником входит и католический священник и так же скоро приводит к присяге красавца фельдфебеля.

Судьи спокойно и серьезно дожидаются. Молодой офицер вышел и затянулся и вернулся вовремя к показанию свидетелей.

Свидетели показывают то самое, что говорил отказавшийся. Председатель выражает одобрение. Потом встает сидевший отдельно офицер,– это обвинитель. Он подходит к конторке, перекладывает с места на место лежащие на ней бумаги и начинает говорить, громко, связно излагая всё то, чтб сделал этот молодой человек, чтб все судьи знают и чтб сам молодой человек только что выска

зывал, не только не утаивая того, за что его обвиняли, но, напротив, усиливая повод обвинения. Обвинитель говорит о том, что подсудимый, как сам говорит, не принадлежит ни к какой секте, что родители его православные и что поэтому отказ его от военной службы имеет основанием своим только упорство. И что упорство это, как его, так и подобных ему заблуждающихся и непокорствующих людей, привело правительство к определению против таких людей строгих мер наказания, таких, которые, по его мнению, и приложимы в настощем случае. После этого что-то совсем не нужное говорит защитник. Потом все выходят, потом опять вводят подсудимого, и входит суд. Судьи присаживаются и тотчас же встают, и председатель, не глядя на подсудимого, ровным, спокойным голосом объявляет решение суда: подсудимый, тот человек, который три года страдал из-за того, чтобы не признавать себя солдатом, во- первых, лишается военного звания и каких-то прав состояния и преимуществ и присуждается к арестантским ротам на 4 года.

После этого конвойные отводят молодого человека, и все участвующие идут к своим обычным занятиям и увеселениям, как будто ничего не случилось особенного.

Только молодой человек, охотник до куренья, испытывает какое- то странное, тревожащее его чувство, которое он не может отогнать при неотвязчиво вспоминающихся ему благородных, сильных, неотразимых словах подсудимого, выраженных с таким волнением. На совещании судей молодой офицер этот хотел было не согласиться с решением старших, но замялся, проглотил слюну и согласился.

На вечере у полкового командира, где в промежутках между робе- рами собрались все у чайного стола, разговор зашел об отказавшемся солдате. Полковой командир определенно выразил свое мнение о том, что причина всего – необразованность: нахватаются всяких понятий, а не знают, что к чему, и выходят такие несообразности.

— Нет, я, дядя, не согласна с вами,– вступилась в разговор курсистка социал-демократка, племянница полкового командира.– Достойна уважения энергия, стойкость этого человека. Жалеть можно только о том, что сила его ложно направлена,– прибавила она, думая о том, как полезны были бы такие стойкие люди, если бы они стояли только не за отжившие религиозные фантазии, а за научные социалистические истины.

— Ну, да ты известная революционерка,– улыбаясь, сказал дядя.

— А мне кажется,– беспрестанно затягиваясь, заговорил молодой офицер,– что с точки зрения христианства ничего нельзя возражать ему.

— Уж не знаю с какой точки,— строго сказал старший генерал,— знаю только то, что солдату надо быть солдатом, а не проповедником.

— По-моему же, главное дело в том,— сказал, улыбаясь глазами, председатель суда,— что если мы хотим доиграть все шесть ро- беров, то надо не терять золотого времени.

— Кто не допил чай, я подам к карточному столу,— сказал гостеприимный хозяин, и один из игроков ловким, привычным движением веером раскинул карты. И игроки разместились.

В сенях тюрьмы, где конвойные с отказавшимся от службы арестантом дожидались распоряжения начальства, шел такой разговор:

— Як же батька не знае,— говорил один из конвойных,— хиба не було у книгах, як бы им.

— Стало быть, не понимают,— отвечал отказавшийся.— Если бы понимали, они бы то же самое говорили. Христос не убивать велел, а любить.

— Так-то так. Чудно и, главное, дело трудное.

— Ничего не трудно, я вот просидел и еще просижу, и на душе мне так хорошо, что дай Бог всякому.

Подошел унтер-офицер нестроевой роты, уже не молодой человек.— Что, Семеныч,— обратился он с уважением к арестанту.— Приговорили?

— Приговорили.

Унтер-офицер мотнул головой.— Так-то так, да терпеть трудно.

— Стало быть, так надо,— отвечал, улыбаясь, арестант, видимо тронутый сочувствием.

— Так-то так. Господь терпел и нам велел, да трудно.

На эти слова быстрым молодецким шагом вошел в сени красавец поляк фельдфебель.

— Нечего разговоры разговаривать, марш в новую тюрьму.— Фельдфебель был особенно строг, потому что ему было дано приказание следить за тем, чтобы арестованный не общался с солдатами, так как вследствие этих общений за те два года, которые он просидел здесь, четыре человека были совращены им в такие же отказы от службы и судились уже и сидят теперь в различных тюрьмах.

X

Христианское откровение было учением о равенстве людей, о том, что Бог есть отец, а люди — братья. Оно ударяло в самый корень той чудовищной тирании, которая душила цивилизованный мир, оно разбивало цепи рабов и уничтожало ту великую неправду, которая давала возможность кучке людей роскошествовать на счет труда массы и держа

ла рабочих людей что называется в черном теле. Вот почему преследовалось первое христианство и вот почему, когда стало ясно, что его нельзя уничтожить, привилегированные классы приняли его и извратили. Оно перестало в своем торжестве быть истинным христианством первых веков и сделалось, до весьма значительной степени, служителем привилегированных классов.

Генри Джордж.

Церковное извращение христианства отдалило от нас осуществление Царства Божия, но истина христианства, как огонь в сухом дереве, прожгла свою оболочку и выбилась наружу. Значение христианства видно всем, и влияние его уже сильнее того обмана, который скрывает его.

Я вижу новую религию, основанную на доверии к человеку; призывающую к тем нетронутым глубинам, которые живут в нас; верующую в то, что он может любить добро без мысли о награде; в то, что божественное начало живет в человеке.

Сольтер.

Не думай, чтобы церковное христианство было неполным, односторонним, формальным христианством, но все-таки христианством. Не думай так: церковное христианство — враг истинного христианства и стоит теперь по отношению к истинному христианству, как преступник, пойманный на месте преступления. Оно должно уничтожить само себя или совершать новые и новые преступления.

То, ЧТО говорил отказавшийся на суде, говорилось давно, с самого начала христианства. Самые искренние и горячие отцы церкви говорили то же самое о несовместимости христианства с одним из основных неизбежных условий существования государственного устройства,– с войском, то есть, что христианин не может быть солдатом, то есть быть готовым убивать всех, кого ему прикажут.

Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала, в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне.

Так, во втором веке, перешедщий в христианство философ Татиан считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство, и почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афинагор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах.

В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим «воинственным» народам – «мирное племя христиан». Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген. Прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на серпы и копья на плуги, он со

вершенно определенно говорит; «Мы не поднимаем оружия ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать,– ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира». Отвечая на обвинение Цельзом христиан в том, что они уклоняются от военной службы (так что, по мнению Цельза, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет), Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора,– сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал.

Так же решительно высказывается и Тертуллиан, современник Оригена, о невозможности христианина быть военным: «Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола,– говорит он про военную службу,– крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Неужели можно упражняться мечом, когда Господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча погибнет. И как будет участвовать в сражении Сын мира?»

«Безумствует мир во взаимном кровопролитии,– говорит знаменитый Киприан,– и убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, именуется добродетелью, если делается в массе. Преступникам приобретает безнаказанность умножение ярости».

В четвертом веке Лактанций говорит то же; «Не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех,– говорит он.– Носить оружие христианам не дозволено, ибо их оружие – только истина».

В правилах египетской церкви П1-го века и в так называемом «Завещании Господа нашего Иисуса Христа» безусловно запрещено всякому христианину поступать на военную службу под страхом отлучения от церкви. В деяниях святых много примеров христианских мучеников первых веков, пострадавших за отказ от военной службы.

Так, Максимилиан, приведенный в присутствие по отбыванию воинской повинности, на первый вопрос проконсула о том, как его зовут, отвечал: «Мое имя – христианин, и потому я сражаться не могу». Несмотря на это заявление, его зачислили в солдаты, но он отказался от службы. Ему было объявлено, что он должен выбрать между отбыванием воинской повинности и смертью. Он сказал: «Лучше умру, но не могу сражаться». Его отдали палачам.

Марцеллий был сотником в троянском легионе. Поверив в учение Христа и убедившись в том, что война – нехристианское дело, он в виду всего легиона снял с себя военные доспехи, бросил их на землю и объявил, что, став христианином, он более служить не может. Его послали в тюрьму, но он и там говорил; «Нельзя христианину носить оружие». Его казнили.

Вслед за Марцеллием отказался от военной службы служивший в том же легионе Кассиан. Его также казнили.

При Юлиане Отступнике отказался продолжить военную службу Мартын, воспитывавшийся и выросший в военной среде. На допросе, сделанном ему императором, он сказал только; «Я – христианин и потому не могу сражаться».

Первый вселенский собор (в 325 году) ясно определил строгую эпитимью за возвращение в войска христиан, оставивших службу. Подлинные слова этого постановления в переводе, признанном православной церковью, таковы;

«Благодатью призванные к исповеданию веры и первый порыв ревности явившие и отложившие воинские поясы, но потом, аки псы на свою блевотину возвратившиеся... таковые десять лет да припадают к церкви, прося прощение по трилетнем слущании Писания в притворе».

Оставшимся в войсках христианам вменялось в обязанность во время войны не убивать врагов. Еще в четвертом веке Василий Великий рекомендует в течение трех лет не допускать до причащения солдат, виновных в нарушении этого постановления.

Таким образом, не только в первые три века во время гонений, но и в первые времена торжества христианства над язычеством, когда христианство было признано господствующей, государственной религией, в среде христиан еще держалось убеждение о том, что война несовместима с христианством. Ферруций высказал это определенно и решительно и был за это казнен; «Не дозволено христианам проливать кровь, даже в справедливой войне и по приказу христианских государей». В четвертом веке Люцифер, епископ Кальярский, проповедует, что даже самое дорогое для христиан благо – свою веру – они должны защищать «не убийством других, а собственной смертью». Павлин, епископ Ноланский, умер- щий в 431 году, еще грозил вечными муками за службу кесарю с оружием в руках.

Так это было в первые четыре века христианства. При Константине же на знаменах римских легионов уже появился крест. А в четыреста щестнадцатом году был издан указ о том, чтобы не допускать в армию язычников. Все солдаты стали христианами, то есть все христиане за самыми малыми исключениями отреклись от Христа.

с той поры в продолжение почти 15 веков та простая, несомненная и очевиднейшая истина о том, что исповедание христианства несовместимо с готовностью по воле других людей совершать всякого рода насилия и даже убийства, до такой степени скрыта от людей, до такой степени ослаблено истинно христианское религиозное чувство, что люди, поколения за поколениями, по имени исповедуя христианство, живут и умирают, разрешая убийства, участвуя в них, совершая их и пользуясь ими.

Так проходят века. Как бы в насмешку над христианством совершаются крестовые походы, во имя христианства совершаются ужасающие злодейства, и те редкие люди, удержавшие основные начала христианства, не допускающие насилия: манихеи, монтанисты, катары и другие, вызывают в большинстве людей только презрение или гонение.

Но истина, как огонь, прожигает понемногу все скрывавшие ее покровы и с начала прошлого века всё ярче и ярче начинает выступать перед людьми, волей неволей привлекая к себе внимание.

Истина эта проявлялась во многих местах, но особенно ярко в начале прошлого века в России. Проявлений этих было, вероятно, очень много, не оставивших никаких следов.

Некоторые только известны нам.

XI

Всякое движение к добру среди людей, живущих злою жизнью, вызывает не любовь, а гонение.

Истинное мужество в борьбе свойственно тому, кто знает, что его союзник — Бог.

В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: я победил мир.
Иоанн. XVI, 33.

Не жди совершения того Божьего дела, которому ты служишь, но знай, что каждое твое усилие не останется бесплодным и подвинет дело.

Самые важные и нужные для самого и для других дела человека — это те, последствия которых он не увидит.

В 1818 году, как записал это в свой дневник генерал-губернатор Кавказа Муравьев, были присланы на Кавказ из Тамбовской губернии пять помещичьих крестьян за то, что они, будучи сданы в солдаты, отказались служить. Их несколько раз секли кнутом, гоняли сквозь строй, но они не сдавались и говорили одно: «Все люди равны, государь, такой же человек, как и мы; не будем повиноваться, не будем платить податей, а главное, не будем убивать на войне лю

дей братьев. Можете на куски резать нас, мы не сдадимся, не наденем шинели, не будем пайка есть, не будем солдатами. Милостыню мы примем, а казенного ничего не хотим».

Таких людей засекали, морили в тюрьмах, и всё, касавшееся их, старательно скрывалось, но количество их в продолжение прошлого столетия постоянно увеличивалось.

Так; «В 1827 году гвардейцы Николаев и Богданов бежали из военной службы в раскольничий скит, устроенный в лесу мещанином Соколовым. При поимке они отказались служить в военной службе, как несогласной с их убеждениями, и не хотели присягать. Военное начальство решило за такой проступок прогнать их сквозь строй и отдать в арестантские роты».

«В 1830 году в Пошехонском уезде Ярославской губернии местным исправником были схвачены неизвестные мужчина и женщина. При допросе мужчина показал: зовут его Егор Иванов, откуда он – того не знает, отца у себя кроме Христа Спасителя не имел и не имеет, от роду 65 лет. То же заявила и женщина.

При священническом увещевании в земском суде люди эти дополнили, что, кроме одного Небесного Царя, никого на земле, как то: государя императора, установленного гражданского и духовного правительства, не признают. На допросе в палате Егор Иванов повторил, что ему 70 лет, властей духовных и гражданских не признает, а принимает их за отступников от правил религии христианской. Егор Иванов был сослан в Соловецкий монастырь для употребления в работы, но почему-то содержался в остроге, где и пробыл до своей смерти, случившейся в 1839 году. Умер твердым в своих заблуждениях».

«В 1835 году в Ярославской губернии пойман неизвестный человек, называющий себя Иваном. Он заявил себя непризнающим святых угодников, императора и никакого начальства. По повелению государя был отправлен в Соловки для употребления по летам в работы. В том же году по высочайшему повелению отдан в солдаты».

«В 1849 году рекрут из крестьян Московской губернии Иван Шурупов, 19 лет, по принятии на службу, отказался дать присягу, несмотря на всевозможные принуждения. Свой отказ он мотивировал тем, что, по слову Божьему, нужно служить одному Богу, а потому служить государю он не хочет и присяги принимать не желает, боясь быть клятвопреступником. Начальство, рассуждая, что разглашать это дело, предав суду Шурупова, было бы соблазном, решило заключить его в монастырь. Император Николай Павлович на докладе о Шурупове положил такую резолюцию: «Отправить упомянутого рекрута с конвойными в Соловецкий монастырь».

Таковы некоторые из попавших в печать сведений об отдельных лицах, едва ли тысячный процент всех людей в России, не признававших возможности соединить исповедание христианства с повиновением государственной власти. Целых же общин, много тысяч человек, признающих несовместимость учения Христа и существующего порядка, было в прощлом веке и продолжает существовать и теперь, очень много; и молокане, и иеговисты, и хлысты, и скопцы, и староверы и многие другие, больщею частью скрывающие свое непризнание государственной власти, но считающие ее произведением начала зла – диавола. В особенности заметны и сильны в прощлом столетии были своим прямым отрицанием государственной власти несколько десятков тысяч духоборов, из которых недавно тысячи, несмотря на все гонения, устояли в истине и переселились в Америку. Число людей, признающих несовместимость христианства с покорностью государству, постоянно увеличивалось; в наше же время, в особенности с тех пор, как правительством было введено самое очевидно противоположное христианскому учению требование обшей воинской повинности, несогласие людей христианского понимания с государственным устройством стало всё чаще и чаще проявляться.

Так, в самое последнее время всё больше и больше молодых людей отказываются от военной службы и предпочитают все жестокие мучительства, которым их подвергают, отречению от закона Бога, как они понимают его.

Мне случайно известны несколько десятков человек в России, отчасти выстрадавших тяжелые мучительства за веру, отчасти теперь еще сидящих по тюрьмам. Вот имена некоторых из пострадавших; Залюбовский, Любич, Мокеев, Дрожжин, Изюмченко, Ольхо- вик, Середа, Фарафонов, Егоров, Ганжа, Акулов, Чага, Шевчук, Буров, Гончаренко, Захаров, Тригубов, Волков, Кошевой; из сидящих теперь по тюрьмам мне известны; Иконников, Куртыш, Варнавский, Орлов, Мокрый, Молосай, Кудрин, Панчиков, Сиксне, Дерябин, Калачев, Баннов, Маркин.

Знаю про таких же людей в Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии. В Болгарии их особенно много. Мало этого; отказы эти в последнее время стали происходить, и на тех же основаниях, и в магометанском мире; в Персии среди бабидов, в России в секте Божьего полка, основанной в самое последнее время в Казани Ваисовым.

Основа этих отказов одна и та же, самая естественная, необходимая, неоспоримая. Основа эта в признании и необходимости следования религиозному закону преимущественно перед законом государственным, когда они противоположны. Закон же государственный со своим требованием военной службы, то есть готовности

к убийству по воле других людей, не может не быть противоположен всякому религиозно-нравственному закону, всегда основанному на любви к ближнему, как все религиозные учения, не только христианское, но и магометанское, и буддийское, и браминское, и конфуцианское.

То самое точное определение закона любви, не допускающее никакого исключения, которое высказано было Христом 1900 лет тому назад, в наше время уже не вследствие следования Христу, а непосредственно сознается уже наиболее нравственно чуткими людьми всех вер.

Да, средство спасения только в этом.

Сначала кажется, что отказы от военной службы частные случаи, касающиеся только военной службы, но ведь это только кажется, отказы эти ведь не суть случайные поступки людей, вызванные известными обстоятельствами, отказы эти – последствия истинного и искреннего исповедания религиозного учения. А такое исповедание естественно разрушает всё то устройство жизни, которое основано на несогласных, противоположных ему началах. Разрушает оно существующее устройство потому, что, если люди, понимая то, что участие в насилии несовместимо с христианством, не будут идти в солдаты, в сборщики податей, в судьи, в присяжные, в полицейские, во всякого рода начальники, то ясно, что не будет и тех насилий, от которых теперь страдают люди.

XII

> Когда ты можешь сказать по правде и от всего сердца: Господи, Боже мой! веди меня туда, куда ты хочешь,— тогда только ты избавишься от рабства и сделаешься истинно свободным.
>
> Свободный человек распоряжается только тем, чем можно распоряжаться беспрепятственно. А распоряжаться вполне беспрепятственно можно только самим собою. И потому, если ты увидишь, что человек хочет распоряжаться не самим собою, а другими, то знай, что он не свободен: он сделался рабом своего желания властвовать над людьми.
>
> *Эпиктет.*

Но ЧТО же могут сделать эти сотни, тысячи, допустим сотни тысяч ничтожных, бессильных, разрозненных людей против всего огромного количества людей, связанных правительствами и вооруженных всеми могущественными орудиями насилия? Борьба кажется не только не равной, но невозможной, а между тем исход борьбы так же мало может быть сомнителен, как исход борьбы ночного мрака и утренней зари.

Вот что пишет один из тех юношей, которые сидят по тюрьмам за отказ от военной службы;

«Иногда мне приходится говорить с солдатами из караула, и всякий раз искренно улыбнешься, когда говорят мне: «Эх, землячок, плохо, что молодость вся ваша пройдет в заключении».– А не всё ли равно, скажешь им, конец-то ведь всем один.

– Так-то оно так, да вам бы и в роте плохо не было, если бы служили.– Да ведь мне здесь покойнее,– говоришь им, чем вам в роте.– Уж что говорить,– насмешливо, иронически говорят они.– Хорошего мало. Четвертый год сидите. А кабы служили, домой давно бы уехали, а то когда вас теперь освободят.– Да коли мне и здесь хорошо,– скажешь им. Покачают головой и задумаются.– Чудно.

Подобного рода разговоры происходят у меня и с товарищами моими по камере – солдатами. Один еврей солдат говорит мне: – Удивительно. Сколько вы страдаете и всегда почти веселый и бодрый.– А прочие товарищи мои по камере, когда кто из них заскучает, загрустит, говорят: «Эх ты! не успел сесть, а уж и затосковал! Ты вон смотри на отца (так они прозвали меня за мою небольщую бородку), он вон уж сколько сидит, а веселый». И так слово за слово завязывается у нас разговор. Бывает, что и попусту болтаем, а бывает, что и дельную балачку заведем; о Боге, о жизни и обо всем, что заинтересует. А то кто-нибудь из них рассказывает из своей жизни в деревне, и как хорошо себя чувствуешь, слушая это.– Итак, в общем, живется мне ничего».

Вот что пишет другой:

«Внутренняя жизнь моя не скажу, что бывает всегда одинакова, бывают и минуты изнеможения и минуты радости.

В настоящее время чувствую себя хорошо, да все-таки много надо иметь сил, чтобы победоносно смотреть на всё то, что часто встречаешь в тюремной жизни, тогда стараешься вникнуть в подробность дела и убеждаешь себя, что всё это творится только во мгновении времени, что во мне есть, положено сил более, чем этого нужно для этого случая, и тогда радость опять озаряет сердце, и забываешь про всё, всё случившееся. Так во внутреннем борении проходит жизнь».

Вот что пишет третий:

«28 марта был мне суд, я приговорен на 5 лет, 5 месяцев и шесть дней в арестантское отделение. Вы не поверите, как легко и радостно стало мне после суда: словно после тяжелой ноши чувствуешь себя легко, когда снял ее, так и я чувствую после суда легко и бодро и желаю навсегда чувствовать так хорошо».

Но не то с душевным состоянием те.х людей, которые пользуются насилием, подчиняются ему, участвуют в нем. Все эти тысячи.

миллионы людей вместо естественного и свойственного людям чувство любви к братьям испытывают ко всем людям, кроме маленького кружка единомышленников, только чувства ненависти, осуждения и страха, и до такой степени заглушают в себе все человеческие чувства, что убийства братьев кажутся им необходимыми условиями блага их жизни.

«Вы говорите: жестокость казней, но что же делать с этими мерзавцами?» – говорят теперь в России такие люди из области консерваторов. «Во Франции достигли успокоения после, не помню, сколько тысяч голов. Пускай они перестанут чинить и швырять бомбы, и мы перестанем вешать их».

С такой же нечеловеческой жестокостью требуют, желают руководители революции смерти правителей, революционные рабочие и земледельцы смерти капиталистов и землевладельцев.

Люди эти знают, что делают не то, что свойственно и должно, и боятся и лгут и стараются вызвать в себе злобу, чтобы не видать правды, заглушить в себе ту истину, которая живет в них и зовет их, и не переставая страдают самыми жестокими страданиями, страданиями душевными.

Одни знают, что делают то, что свойственно всем людям, делают то, к чему идет человечество и что неизменно дает благо и отдельному человеку и всем людям; другие, как ни стараются скрыть это от себя, знают, что делают то, что несвойственно, противно всем людям, то, от чего всё больше и больше уходит человечество, делают то, от чего страдает и отдельный человек и все люди и больше всего они сами. На одной стороне – сознание несвободы, страх и скрытность, на другой – свобода, спокойствие и открытость; на одной – безверие, на другой – вера; на одной ложь, на другой истина; на одной ненависть – на другой любовь; на одной отжившее мучительное прошедшее – на другой наступающее радостное будущее. Так какое же может быть сомнение в том, на чьей стороне будет победа?

Неотразимую истину высказал умерший теперь французский писатель, когда писал это удивительное, вдохновенное письмо:

«Духовная сила никогда так не занимала, никогда не налагала с такой силой свою власть на человека, как в наше время. Она, так сказать, разлита во всем том воздухе, который вдыхает мир. Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскали, призвали друг друга, сблизились, соединились, поняли себя и составили группу, центр притяжения, к которому стремятся теперь другие дущи с четырех концов света, как летят жаворонки на зеркало; они составили, таким образом, общую, коллективную душу, с тем, чтобы люди вперед осуществляли сообща, сознательно и неудержимо предстоящее

единение и правильный прогресс наций, недавно еще враждебных друг другу. Эту новую душу я нахожу и узнаю в явлениях, которые кажутся более всего отрицающими ее.

Эти вооружения всех народов, эти угрозы, которые делают друг другу их представители, эти возобновления гонений известных народностей, эти враждебности между соотечественниками и даже эти ребячества Сорбонны суть явления дурного вида, но не дурного предзнаменования. Это – последние судороги того, что должно исчезнуть. Болезнь в этом случае есть только энергическое усилие организма освободиться от смертоносного начала.

Те, которые воспользовались и надеялись еще долго и всегда пользоваться заблуждениями прошедщего, соединяются с целью помешать всякому изменению. Вследствие этого – эти вооружения, эти угрозы, эти гонения; но если вы вглядитесь внимательнее, вы увидите, что всё это только внешнее. Всё это колоссально, но пусто.

Во всем этом уж нет души: она перешла в иное место. Все эти миллионы вооруженных людей, которые каждый день упражняются в виду всеобщей истребительной войны, не ненавидят уже тех, с которыми они должны сражаться, ни один из их начальников не смеет объявить войны. Что касается до упреков, даже зарождающихся, которые слышатся снизу, то уже сверху начинает отвечать им признающее их справедливость великое и искреннее сострадание.

Взаимное понимание неизбежно наступит в определенное время, и более близкое, чем мы полагаем. Я не знаю, происходит ли это оттого, что я скоро уйду из этого мира и что свет, исходящий из-под горизонта, освещающий меня, уже затемняет мне зрение, но я думаю, что наш мир вступает в эпоху осуществления слов: «любите друг друга», без рассуждения о том, кто сказал эти слова: Бог или человек». (Дюма-сын.)

Да, в этом, только в этом осуществлении в жизни закона любви не в его ограниченном, а в его истинном значении, как высшего закона, не допускающего никаких исключений, только в этом одном спасение от того ужасного, становящегося всё более и более бедственным, кажущегося безвыходным, положения, в котором находятся теперь народы христианского мира.

XIII

Общественная жизнь может быть улучшена только самоотречением людей.

Говорят: одна ласточка не делает весны; но неужели оттого, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться? Если так дожидаться всякой почке и травке, то весны никогда не

будет. Так и нам для установления Царства Божия не надо думать о том, первая ли я, или тысячная ласточка.

Делай свое дело жизни, исполняя волю Бога, и будь уверен, что только этим путем ты будешь самым плодотворным образом содействовать улучшению общей жизни.

Над ЛЮДЬМИ мира нависла страшная тяжесть зла и давит их. Люди, стоящие под этой тяжестью, всё более и более задавливаемые, ищут средств избавиться от нее.

Они знают, что общими силами они могут поднять тяжесть и сбросить ее с себя; но они не могут согласиться все вместе взяться за нее, и каждый сгибается всё ниже и ниже, предоставляя тяжести ложиться на чужие плечи, и тяжесть всё больше и больше давит людей и давно бы уже раздавила их, если бы не было людей, руководящихся в своих поступках не соображениями о последствиях внешних поступков, а только внутренним соответствием поступка с голосом совести. И такие люди и были и есть – христиане, потому что в том, чтобы вместо цели внешней, для достижения которой нужно согласие всех, ставить себе цель внутреннюю, для достижения которой не нужно ничьего согласия, и состоит сущность христианства в его истинном значении. И потому спасение от порабощения, в котором находятся люди, невозможное для людей общественных, и совершалось и совершается только христианством, только заменой закона насилия законом любви.

Цель общей жизни не может быть вполне известна тебе – говорит христианское учение каждому человеку – и представляется тебе только как всё большее и большее приближение к благу всего мира, к осуществлению Царства Божия; цель же личной жизни несомненно известна тебе и состоит в осуществлении в себе наибольшего совершенства любви, необходимого для осуществления Царства Божия. И цель эта всегда известна тебе и всегда достижима.

Тебе могут быть неизвестны наилучшие частные внешние цели; могут быть положены преграды для осуществления их; но приближение к внутреннему совершенству, увеличение любви в себе и в других не может быть ничем и никем остановлено.

И стоит только человеку поставить себе вместо ложной внешней общественной цели эту одну истинную, несомненную и достижимую внутреннюю цель жизни, чтобы мгновенно распались все те цепи, которыми он, казалось, был так неразрывно скован, и он почувствовал бы себя совершенно свободным...

Христианин освобождается от государственного закона тем, что не нуждается в нем ни для себя, ни для других, считая жизнь человеческую более, обеспеченною законом любви, который он исповедует, чем законом, поддерживаемым насилием...

Для христианина, познавшего требования закона любви, все требования закона насилия не только не могут быть обязательны, но всегда представляются теми самыми заблуждениями людей, которые подлежат обличению и упразднению...

Исповедание христианства в его истинном значении, включающем непротивление злу насилием, освобождает людей от всякой внешней власти. Но .оно не только освобождает их от внешней власти, оно вместе с тем дает им возможность достижения того улучшения жизни, которого они тщетно ищут через изменение внешних форм жизни.

Людям кажется, что положение их улучшается вследствие изменения внешних форм жизни, а между тем изменение внешних форм есть всегда только последствие изменения сознания, и только в той мере улучшается жизнь, в которой это изменение основано на изменении сознания.

Все внешние изменения форм жизни, не имеющие в основе своей изменения сознания, не только не улучшают положения людей, но большей частью ухудшают его. Не правительственные указы уничтожили избиение детей, пытки, рабство, а изменение сознания людей вызвало необходимость этих указов. И только в той мере совершилось улучшение жизни, в которой оно было основано на изменении сознания, то есть в той мере, в которой в сознании людей закон насилия заменился законом любви. Людям кажется, что если изменение сознания влияет на изменение форм жизни, то должно быть и обратное, и, так как направлять деятельность на внешние изменения и приятнее (последствия деятельности виднее) и легче, то они всегда предпочитают направлять свои силы не на изменение сознания, а на изменение форм, и потому большей частью заняты не сущностью дела, а только подобием его. Внешняя суетливая, бесполезная деятельность, состоящая в установлении и применении внешних форм жизни, скрывает от людей ту существенную внутреннюю деятельность изменения сознания, которая одна может улучшить их жизнь. И это-то суеверие больше всего мешает общему улучшению жизни людей.

Лучшая жизнь может быть только тогда, когда к лучшему изменится сознание людей, и потому все усилия людей, желающих улучщить жизнь, должны бы быть направляемы на изменение сознания своего и других людей.

Христианство в его истинном значении, и только такое христианство, освобождает людей от того рабства, в котором они находятся в наше время, и только оно дает людям возможность действительного улучшения своей личной и общей жизни.

Казалось бы, должно быть ясно, что только истинное христианство, исключающее насилие, дает спасение отдельно каждому человеку и что оно же одно дает возможность улучшения общей жизни человечества, но люди не могли принять его до тех пор, пока жизнь по закону насилия не была изведана вполне, до тех пор, пока поле заблуждения, жестокостей и страданий государственной жизни не было исхожено по всем направлениям.

Часто как самое убедительное доказательство неистинности, а главное, неисполнимости учения Христа приводится то, что учение это, известное людям 1900 лет, не было принято во всем его значении, а принято только внешним образом. «Если столько уже лет оно известно и все-таки не стало руководством жизни людей, если столько мучеников и исповедников христианства бесцельно погибло, не изменив существующего строя, то это очевидно показывает, что учение это не истинно и неисполнимо», говорят люди.

Говорить и думать так, всё равно, что говорить и думать, что, если посеянное зерно не только не дает тотчас же и цвета и плода, а лежит в земле и разлагается, то это есть доказательство того, что зерно это не настоящее и не всхожее, и можно и надо затоптать его.

То, что христианское учение не было принято во всем его значении тогда же, когда оно появилось, а было только принято во внешнем, извращенном виде, было и неизбежно и необходимо.

Учение, разрушающее всё существовавшее устройство мира, не могло быть принято при своем появлении во всем его значении, а было принято только во внешнем, извращенном виде.

Люди, тогда огромное большинство людей, не были в состоянии понять учение Христа одним духовным путем: надо было привести их к пониманию его тем, чтобы, изведав то, что всякое отступление от учения – погибель, они узнали бы это на жизни, своими боками.

Учение было принято, как не могло быть иначе, как внешнее богопочитание, заменившее язычество, и жизнь продолжала идти дальше и дальше по пути язычества. Но извращенное учение это было неразрывно связано с Евангелием, и жрецы лжехристианства, несмотря на все старания, не могли скрыть от людей самой сущности учения, и истинное учение, против воли их, понемногу раскрываясь людям, сделалось частью их сознания.

В продолжение 18 веков шла эта двойная работа: положительная и отрицательная. С одной стороны всё большее и большее удаление людей от возможности доброй и разумной жизни, а с другой стороны всё большее и большее уяснение учения в его истинном смысле.

И в наше время дело дошло до того, что христианская истина, прежде познавшаяся только немногими людьми, одаренными живым религиозным чувством, теперь, в некоторых проявлениях сво

их, в виде социалистических учении, сделалась истиной, доступной каждому самому простому человеку, жизнь же общества самым грубым и очевидным образом на каждом шагу противоречит этой истине.

Положение нашего европейского человечества с своей земельной собственностью, податями, духовенством, тюрьмами, гильотинами, крепостями, пушками, динамитами, миллиардерами и нищими действительно кажется ужасным. Но ведь всё это только кажется. Ведь всё это все те ужасы, которые совершаются, и те, которые мы ожидаем, все ведь делаются или готовы делаться нами самими. Ведь всего этого не только может не быть, но и должно не быть соответственно состоянию сознания человечества. Ведь сила не в формах жизни, а в сознании людей. А сознание людей находится в самом напряженном, растягиваемом в две противоположные стороны, вопиющем противоречии. Христос сказал, что он победил мир, и он действительно победил его. Зло мира, как ни ужасно оно, уже не существует, потому что оно не существует уже в сознании людей.

Рост сознания происходит равномерно, не скачками, и никогда нельзя найти той черты, которая отделяет один период жизни человечества от другого, а между тем эта черта есть, как есть черта между ребячеством и юностью, зимою и весною и т. п. Если нет определенной черты, то есть переходное время. И такое переходное время переживает теперь европейское человечество. Всё готово для перехода от одного состояния в другое, нужен только тот толчок, который совершит изменение. И толчок может быть дан каждую секунду. Общественное сознание уже отрицает прежнюю форму жизни и давно готово на усвоение новой. Все одинаково и знают и чувствуют это. Но инерция прошедшего, робость перед будущим делают, что то, что уже давно готово в сознании, иногда еще долго не переходит в действительность. В такие моменты достаточно иногда одного слова для того, чтобы сознание получило выражение, и та главная в совокупной жизни человечества сила – общественное мнение – мгновенно перевернуло бы без борьбы и насилия весь существующий строй...

Спасение людей от их унижения, порабощения и невежества произойдет не через революции, не через рабочие союзы, конгрессы мира, а через самый простой путь,– тот, что каждый человек, которого будут привлекать к участию в насилии над своими братьями и над самим собой, сознавая в себе свое истинное духовное «я», с недоумением спросит: «Да зачем же я буду делать это?»

Не революции, хитрые, мудрые, социалистические, коммунистические устройства союзов, арбитрации и т. п. спасут человечество, а только такое духовное сознание, когда оно сделается общим.

Ведь стоит только человеку очнуться от гипноза, скрывающего от него его истинное человеческое призвание, чтобы не то что отказаться от тех требований, которые предъявляет ему государство, а прийти в страшное удивление и негодование, что к нему могут обращаться с такими требованиями.

«И пробуждение это может совершиться каждую минуту»,– так писал я 15 лет тому назад.– Пробуждение это совершается,– смело пишу я теперь. Знаю я, что я с своими 80-ю годами не увижу его, но знаю так же верно, как то, что после зимы наступит весна, а после ночи – день, что время это наступило в жизни нашего христианского человечества.

XIV

Душа человеческая по природе своей христианка.

Христианство воспринимается людьми всегда как что-то забытое, вдруг вспомнившееся... Христианство поднимает человека на такую высоту, с которой ему открывается радостный мир, подчиненный разумному закону. Чувство, испытываемое человеком, узнающим истину христианства, подобно тому, которое испытал бы человек, запертый в темной душной башне, когда бы он поднялся на высшую открытую площадку башни, с которой он увидал бы невидный прежде прекрасный мир.

Сознание подчинения закону человеческому порабощает; сознание подчинения Божескому закону освобождает.

Одно из определенных условий труда человека состоит в том, что чем отдаленнее цель наших стремлений, чем меньше мы желаем сами видеть плоды наших трудов, тем больше и обширнее будет мера нашего успеха.

Джон Рёскин.

Самые важные и нужные для самого и для других дела человека — это те, последствия которых он не увидит.

«Всё ЭТО может быть, но для того, чтобы люди могли освободиться от той, основанной на насилии, жизни, в которой они запутаны и которая держит их, нужно, чтобы все люди были религиозны, то есть готовы были бы ради исполнения закона Бога быть готовыми пожертвовать своим телесным, личным благом и жить не будущим, а только настоящим, стремясь только в этом настоящем исполнять открытую им в любви волю Бога. Но люди нашего мира не религиозны и потому не могут жить так».

Так говорят люди нашего времени, как бы предполагая, что религиозное сознание, вера – есть состояние, несвойственное человеку, что религиозное сознание в человеке есть нечто исключительное, воспитанное, напущенное. Но думать и говорить так могут лю

ди вследствие особенного состояния христианского мира, временно лишенные самого необходимого и естественного условия жизни человеческой – веры.

Такое возражение подобно тому, которое сделал бы человек против необходимости труда для блага людей тем, что для того, чтобы трудиться, надо иметь силы для этого, но что же делать тем, которые так отвыкли от труда, что не могут, не умеют и не имеют сил телесно трудиться.

Но так же, как труд не составляет нечто искусственное, выдуманное, предписываемое людьми, а нечто неизбежное, необходимое, без чего не могли бы жить люди, так точно и вера, то есть сознание своего отношения к бесконечному и вытекающего из него руководства поступков. Такая вера есть не только не нечто воспитанное, искусственное, исключительное, а, напротив, такое естественное свойство человеческой природы, без которого, как птицы без крыльев, никогда не жили и не могут жить люди.

Если мы теперь в нашем христианском мире видим людей, лишенных, или, вернее сказать, не лишенных, а с затемненным религиозным сознанием, то уродливое, неестественное положение это только временное и случайное, положение немногих, происшедшее от тех особенных условий, в которых жили и живут люди христианского мира, точно такое же исключительное, как и положение тех людей, которые живут и могут жить, не работая.

И потому для того, чтобы люди, утратившие это свойственное и необходимое для жизни людей чувство, вновь испытали его, им не нужно ничего придумывать, устанавливать, а надо только устранить тот обман, который временно скрыл от них это чувство и затемнил его.

Только освободись люди нашего мира от того обмана извращения христианского учения церковной веры и утвержденного на ней не только оправдания, но возвеличения, несовместимого с христианством, основанного на насилии, государственного устройства, и само собой устранится в душах людей не только христианского, но и всего мира главная помеха к религиозному сознанию высшего закона любви без возможности исключений и насилия, который 1900 лет тому назад был открыт человечеству и который теперь один только удовлетворяет требованиям человеческой совести.

А войдет в сознание закон этот, как ***высший*** закон жизни – и само собой прекратится то губительное для нравственности состояние людей, при котором величайшие несправедливости и жестокости, совершаемые людьми друг против друга, считаются естественными., свойственными людям поступками, совершится то, о чем мечтают теперь, чего желают и что обещают все социалистические,

коммунистические устроители будущих обществ, и гораздо больще этого. И достигается это совершенно противоположными средствами, и только потому и достигнется, что будет достигаться не теми, самим себе противоречащими средствами насилия, которыми стараются достигнуть этого как правительства, так и противники их. Достигнется это освобождение от мучащего и развращающего людей зла не тем, что люди укрепят или удержат существующее устройство: монархию, республику, какую бы то ни было, и не тем, что, уничтожив существующее устройство, установят лучшее, социалистическое, коммунистическое, вообще не тем, что одни люди будут себе представлять известное, считаемое ими наилучшим, устройство общества и будут насилием принуждать к нему других людей, а только тем, что каждый человек (большинство людей), не думая и не заботясь для себя и для других о последствиях своей деятельности, будет поступать так или иначе, не ради того или иного устройства общества, а только ради исполнения для себя, для своей жизни, признаваемого им высшим, закона жизни, закона любви, не допускающего насилия ни при каких условиях.

XV

Гораздо естественнее представить себе общество людей, управляемое разумными, выгодными и признаваемыми всеми правилами, чем те общества, в которых живут теперь люди, подчиняясь только насилию.

Для непробудившегося человека государственная власть — это некоторые священные учреждения, составляющие органы живого тела, необходимое условие жизни людей. Для пробудившегося человека — это люди очень за- блудщие, приписывающие себе какое-то фантастическое значение, не имеющее никакого разумного оправдания, и посредством насилия приводящие свои желания в исполнение. Всё это для пробудившегося человека заблудщие и большей частью подкупленные люди, насилующие других людей, точно такие же, как те разбойники, которые схватывают людей на дорогах и насилуют их. Древность этого насилия, размер насилия, организация его — не может изменить сущности дела. Для пробудившегося человека нет того, что называется государством, и потому нет оправдания всем совершаемым во имя государства насилиям; и потому для него невозможно участие в них. Насилие государственное уничтожится не внешними средствами, а только сознанием пробудившихся к истине людей.

Может быть, что для прежнего состояния людей было нужно государственное насилие, может быть оно нужно еще и теперь, но люди не могут не видеть, не предвидеть того состояния, при котором насилие может только мешать мирной жизни людей. А видя и предвидя это, люди не могут

не стремиться к осуществлению такого порядка. Средство осуществления такого порядка есть внутреннее совершенствование и неучастие в насилии.

«Но как же жить без правительства, без власти? Никогда люди не жили так», скажут на это.

Люди так привыкли к этой государственной форме, в которой они живут, что она кажется им неизбежной, всегдашней формой жизни человечества. Но это только кажется: жили и живут люди и вне государственной формы. Жили и живут так теперь все дикие народы, не дошедшие до того, что называется цивилизацией; живут так и люди, ставшие в своем понимании смысла жизни выше цивилизации: живут и в Европе, и в Америке, и в особенности в России христианские общины, отказавшиеся от правительства, не нуждающиеся в нем и только неизбежно терпящие его вмещательство.

Государственная форма есть временная, но никак не постоянная форма жизни человечества. Как жизнь одного человека не неподвижна, а постоянно изменяется, подвигается, совершенствуется, так не переставая изменяется, подвигается, совершенствуется жизнь и всего человечества. Каждый отдельный человек когда-то сосал грудь, играл в игрушки, учился, работал, женился, воспитывал детей, освобождался от страстей, умудрялся к старости. Точно так же умудряется и совершенствуется и жизнь народов, только не годами, как для человека, а веками, тысячелетиями. И как для человека главные изменения совершаются в области духовной, невидимой, так и в человечестве главные изменения совершаются прежде всего в невидимой области, в его религиозном сознании.

И как изменения эти для отдельного человека совершаются так постепенно, что никогда нельзя указать тот час, день, месяц, когда ребенок перестал быть ребенком, а стал юношей, и юноша мужем, а между тем мы всегда безошибочно знаем, когда переходы эти уже совершились, так точно мы и не можем никогда указать на те годы, когда человечество или известная часть его пережила один религиозный возраст и вступило в другой, следующий; но так же, как мы знаем про бывшего ребенка, что он стал юношей, мы знаем и про человечество или часть его, что оно пережило один и вступило в другой, высший, религиозный возраст, когда переход этот уже совершился.

Такой переход от одного возраста человечества к другому совершился в наше время в жизни народов христианского мира.

Мы не знаем того часа, когда ребенок стал юношей, но знаем, что бывший ребенок уже не может играть в игрушки; так же мы не можем назвать того года, десятилетия даже, во .время которого люди христианского мира выросли из прежней формы жизни и пере

шли в другой, определяемый их религиозным сознанием, возраст, но не можем не знать, не видеть того, что люди христианского мира уже не могут серьезно играть в завоевания, в свидания монархов, в дипломатические хитрости, в конституции, с своими палатами и думами, в социал-революционные, демократические, анархические партии и революции, а главное, не могут делать всех этих дел, основывая их на насилии.

Особенно это заметно теперь у нас в России, с внешним изменением государственного устройства. Серьезно мыслящие русские люди не могут уже не испытывать теперь по отношению всех введенных новых форм управления нечто вроде того, как если бы взрослому человеку подарили новую, не бывшую у него во время детства игрушку. Как ни нова и интересна игрушка, она не нужна ему, и он только с улыбкой может глядеть на нее. Так это у нас, в России, и для всех мыслящих людей и для большой массы народа с нашей конституцией, думой и разными революционными союзами и партиями. Ведь не могут же русские люди нашего времени – я думаю, что не ошибаясь скажу, чующие уже, хотя и в неясном виде, сущность истинного учения Христа,– серьезно верить в то, что призвание человека в этом мире состоит в том, чтобы данный ему короткий промежуток времени между рождением и смертью употребить на то, чтобы говорить речи в палатах или собраниях товарищей социалистов или в судах, судить своих ближних, ловить, запирать, убивать их, или кидать в них бомбы, или отбирать у них земли, или заботиться о том, чтобы Финляндия, Индия, Польша, Корея были бы присоединены к тому, что называется Россией, Англией, Пруссией, Японией, или о том, чтобы освободить насилием эти земли и быть для того готовым к массовым убийствам друг друга. Не может человек нашего времени не сознавать в глубине души всего безумия такой деятельности.

Ведь мы не видим всего ужаса, несвойственности человеческой природе той жизни, которую мы ведем, только потому, что все те ужасы, в среде которых мы спокойно живем, наступали так постепенно, что мы не замечали их. Мне довелось в своей жизни видеть заброшенного старика в самом ужасном положении: черви кишели в его теле, он не мог двинуться без страдания ни одним членом, и он не замечал всего ужаса своего положения, так незаметно он пришел к нему, он только просил чайку и сахарцу. То же и мы в нашей жизни: мы не видим всего ее ужаса только потому, что незаметными шажками пришли к своему положению и, как тот старик, не замечаем всего ужаса его и только радуемся на новые кинематографы и автомобили, как тот радовался на чай и сахар. Не говоря уже о том, что нет никакого вероятия, что уничтожение несвойственного человече

ской разумной и любовной природе насилия человека над человеком, не улучшило бы, а ухудшило положение людей, не говоря уже об этом, теперешнее положение общества так ужасно дурно, что трудно себе представить положение хуже.

И потому вопрос о том: могут ли люди жить без правительства, не только не страшен, каким хотят представить его защитники существующего строя, а только смещон, как был бы смещон обращенный к истязаемому человеку вопрос о том, как он будет жить, когда его перестанут мучить.

Люди, находящиеся в исключительно выгодном положении, вследствие существования государственного устройства, представляют себе жизнь людей без государственной власти в виде величайшей неурядицы, борьбы всех против всех, точно как будто говорится о сожитии не только животных (животные живут мирно без государственного насилия), а каких-то ужасных существ, руководимых в своей деятельности только ненавистью и безумием. Но представляют они себе людей такими только потому, что приписывают людям те противные их существу свойства, которые воспитаны тем самым государственным устройством, в которое они сложились и которое они, несмотря на то, что оно очевидно не нужно и только вредно, продолжают поддерживать.

И потому на вопрос о том, какая будет жизнь без власти, без правительства? ответ может быть только один – тот, что наверное не будет всего того зла, которое производит правительство: не будет земельной собственности, не будет податей, употребляемых на ненужные народу дела, не будет разделений народов, порабощения одних другими, не будет поглощения лучших сил народов на приготовление к войнам, не будет страха – с одной стороны бомб, с другой – виселиц, не будет безумной роскоши одних и еще более безумной нищеты других.

XVI

Мы живем в эпоху дисциплины, культуры и цивилизации, но далеко еще не в эпоху морали. При настоящем состоянии людей можно сказать, что счастье государств растет вместе с несчастием людей. И еще вопрос, не счастливее ли мы были бы в первобытном состоянии, когда у нас не было бы этой культуры, чем в нашем настоящем состоянии.

Ибо как можно сделать людей счастливыми, когда их не делают нравственными и мудрыми!

Кант.

Старайся жить так, чтобы насилие было не нужно тебе.

Мы очень привыкли к рассуждениям о том, как нам устроить жизнь других людей,— людей вообще. И нам та

кие рассуждения не кажутся странными. А между тем такие рассуждения не могли бы никогда существовать между религиозными и потому свободными людьми. Такие рассуждения суть последствия деспотизма — управления одним человеком или несколькими людьми другими.

Так рассуждают и сами деспоты и люди, развращенные ими.

Это заблуждение вредно не только потому, что оно мучает, уродует людей, подвергающихся насилию деспотов, но и потому, что ослабляет во всех людях сознание необходимости исправлять себя, тогда как это одно единственно действительное средство воздействия на других людей.

Не только один человек не имеет права распоряжаться многими, но и многие не имеют права распоряжаться одним.

В. Чертков.

«Но все-таки, в какую форму сложится жизнь людей, которые решатся жить без правительств?» спрашивают люди, очевидно предполагая, что люди всегда знают, в какую форму сложится и в какой форме будет продолжаться их жизнь и что поэтому люди, решающиеся жить без правительства, должны тоже вперед знать, в какую форму сложится их жизнь. Но ведь люди никогда не знали и не могут знать того, в какую форму в будущем сложится их жизнь. Убеждение о том, что люди могут знать это и даже устраивать эту будущую форму, есть только очень грубое, хотя и очень старое и распространенное суеверие. Подчиняясь ли правительствам, или не подчиняясь им, люди одинаково никогда не знали, не знают и не могут знать, в какую форму сложится их жизнь, и тем более не может по своей воле небольщое число людей устраивать жизнь всех, так как форма жизни людей складывается всегда не по воле некоторых людей, а по очень многим сложным и независимым от воли некоторых людей причинам, из которых главная – нравственное, религиозное состояние большинства людей общества.

Суеверие же о том, что некоторые люди могут не только знать вперед, в какую форму сложится жизнь других, большинства людей, но и могут устраивать в будущем эту жизнь,– суеверие это возникло и держится на желании людей, совершающих насилие, оправдать свою деятельность и на желании людей, терпящих насилие, объяснить и смягчить тяжесть испытываемого ими насилия. Люди, совершающие насилие, уверяют себя и других в том, что они знают, что надо делать для того, чтобы жизнь людей приняла ту форму, какую они считают наилучшею. Люди же, терпящие насилия, до тех пор, пока не в силах свергнуть насилия, верят в это, так как только такая вера придает какой-либо смысл их положению.

Казалось бы, история народов должна бы была самым рещитель- ным образом разрущить это суеверие.

Несколько людей французского народа в конце XVIII столетия насилием поддерживают деспотическое устройство королевства, но, несмотря на все их усилия, устройство это разрушается и появляется республиканское устройство. И точно так же, несмотря на все усилия людей, руководящих республикой, удержать это устройство, несмотря на величайшие насилия, вместо республики является Наполеоновская империя и так же противно воле правителей вместо наследственной империи появляется коалиция, Карл X, конституция, опять революция, опять новая республика и опять вместо республики Людовик Филипп и т. д. до теперешней республики. То же и во всех других насильнических деятельностях людских. Все усилия папства не только не уничтожают возможности протестантства, а только вызывают его. Все усилия капитализма только усиливают социалистические стремления. Если и держатся некоторое время установленные насилием формы или изменяются насилием же, то только оттого, что в данное время одни формы перестали быть свойственны общему и, главное, духовному состоянию народа, а не потому, что их кто-нибудь поддерживал или устраивал.

Так что вера в то, что одни люди – меньшинство – может устраивать жизнь большинства, то самое, что считается несомненнейшей истиной, такой истиной, во имя которой совершаются величайшие злодеяния, есть только суеверие, деятельность же, основанная на этом суеверии, та политическая деятельность революционеров и правителей и их помощников, которая обыкновенно считается самым почтенным и важным делом, есть в сущности самая пустая, притом же и вредная человеческая деятельность, более всего другого препятствовавшая и препятствующая истинному благу человечества. Реки крови пролиты и проливаются во имя этого суеверия и неисчислимые страдания перенесены и переносятся людьми из-за той глупой и вредной деятельности, которая возникла на этом суеверии. И что хуже всего,– это то, что реки крови пролиты и проливаются во имя этого суеверия, а между тем именно это суеверие более всего другого препятствовало и препятствует тому, чтобы в общественном устройстве совершались успешно те самые улучшения жизни, которые свойственны и времени и известной ступени развития человеческого сознания. Суеверие это препятствует истинному прогрессу главное тем, что во имя сохранения и укрепления, или изменения и улучшения общественного устройства, люди, обращая все свои силы на воздействие на других людей, этим самым лишают себя той деятельности внутреннего совершенствования, которая одна может содействовать изменению устройства всего общества.

Человеческая жизнь в своей совокупности двигается и не может не придвигаться к тому вечному идеалу совершенства только приближением каждого отдельного человека к своему личному, такому же безграничному совершенству.

Какое же страшное губительное суеверие то, под влиянием которого люди, пренебрегая внутренней работой над собою, то есть тем одним, что действительно нужно для блага своего и общего и в чем одном властен человек, направляют все свои силы на находящееся вне их власти устройство жизни других людей и для достижения этой невозможной цели употребляют наверное дурные и вредные для себя и других средства насилия, вернее всего отдаляющие их как от своего личного, так и от общего совершенства?!

XVII

> Стоит человеку отвернуться от разрешения внешних вопросов и поставить себе единый, истинный, свойственный человеку внутренний вопрос, как ему лучше прожить свою жизнь, чтобы все внешние вопросы получили наилучшее разрешение.
>
> Мы не знаем, не можем знать, в чем состоит общее благо, но твердо знаем, что достижение этого общего блага возможно только при исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку.
>
> Когда бы люди захотели, вместо того чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того чтобы освобождать человечество, себя освобождать — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества!
>
> *Герцен.*
>
> В частной и общей жизни один закон: хочешь улучшить жизнь, будь готов отдать ее.
>
> Делай свое дело жизни, исполняя волю Бога, и будь уверен, что только этим путем ты будешь самым плодотворным образом содействовать улучшению общей жизни.

«Всё ЭТО может быть и справедливо, но воздерживаться от насилия будет разумно только тогда, когда все или большинство людей поймут невыгоду, ненужность, неразумность насилия. Пока же этого нет, что делать отдельным людям? Неужели не ограждать себя, предоставить себя и жизнь и судьбу своих близких произволу злых, жестоких людей?

Но ведь вопрос о том, чтб я должен сделать для противодействия совершаемому на моих глазах насилию, основывается всё на том же грубом суеверии о возможности человека не только знать

будущее, но и устраивать его по своей воле. Для человека, свободного от этого суеверия, вопроса этого нет и не может быть.

Злодей занес нож над своей жертвой, у меня в руке пистолет, я убью его. Но ведь я не знаю и никак не могу знать, совершил ли бы, или не совершил бы занесший нож свое намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я же наверное совершу свое злое дело. И потому одно, что может и должен человек сделать как в этом, так и во всех подобных случаях, это то, что должно делать всегда во всех возможных случаях: делать то, что он считает должным перед Богом, перед своей совестью. Совесть же человека может требовать от него жертвы своей, но никакой не чужой жизни. То же самое относится и к способам противодействия злу общественному.

Так что на вопрос о том, что делать человеку при виде совершаемых злодейств одного или многих людей, ответ человека, свободного от суеверия возможности знания будущего состояния людей и возможности устройства такого состояния насилием, только один: поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой.

«Но он крадет, грабит, убивает, я же не краду, не граблю, не убиваю. Пускай он исполняет закон взаимности, тогда и от меня можно будет требовать исполнения его», обыкновенно говорят люди нашего мира, и с тем большей уверенностью, чем на более высокой ступени обшественного положения они находятся.– «Я не краду, не граблю, не убиваю»,– говорит правитель, министр, генерал, судья, земельный собственник, торговец, солдат, полицейский. Суеверие общественного устройства, оправдывающее всякого рода насилие, до такой степени омрачило сознание людей нашего мира, что они, не видя тех сплошных, неперестаюших грабежей, убийств, которые совершаются во имя суеверия будущего устройства мира, видят только те редкие попытки насилия так называемых убийц, грабителей, воров, не имеющих за собой оправдания насилия во имя блага.

«Он вор, он грабитель, он убийца, он не соблюдает правила не делать другому того, чего не хочещь, чтобы тебе делали», говорят – кто же? – те самые люди, которые не переставая убивают на войнах и заставляют людей готовиться к убийствам, грабят и обкрадывают чужие и свои народы.

Если правило о том, чтобы делать другому то, что ты хочешь, чтобы тебе делали, стало недостаточным против людей, которых в нашем обществе называют убийцами, грабителями и ворами, то только потому, что эти люди составляют часть того огромного большинства народа, которое не переставая поколения за поколениями

убивалось, ограблялось и обкрадывалось людьми, вследствие своих суеверий не видящими преступности своих поступков.

И потому на вопрос о том, как поступать относительно тех людей, которые будут покушаться на совершение против нас всякого рода насилий, ответ один: перестать делать другому то, чего ты не желаешь, чтобы тебе делали.

Но не говоря уже о всей несправедливости приложения отжившего закона возмездия к некоторым случаям насилия, оставляя безнаказанными самые ужасные и жестокие насилия, совершаемые государством во имя суеверия будущего устройства, приложение грубого возмездия за насилия, совершаемые так называемыми разбойниками, ворами, кроме того явно неразумно и ведет прямо к противоположному той цели, ради которой совершается. Ведет к противоположной цели потому, что разрушает ту могущественнейшую силу общественного мнения, которая в сто раз больше острогов и виселиц ограждает людей от всякого рода насилий друг над другом.

И это же рассуждение с особенной поразительностью приложимо к отношениям международным. «Что делать, когда придут дикие народы, будут отнимать от нас плоды трудов наших, наших жен, дочерей?» говорят люди, думая только о возможности предупреждения против себя тех самых злодейств и преступлений, которые они, забывая их, не переставая совершают против других народов. Белые говорят: желтая опасность. Индусы, китайцы, японцы говорят с гораздо большим основанием: белая опасность. Ведь стоит только освободиться от суеверия, оправдывающего насилия, для того, чтобы ужаснуться на все те преступления, которые совершены и не переставая совершаются одними народами над другими, и еще более ужаснуться перед той нравственной, происходящей от суеверия тупостью народов, при которой англичане, русские, немцы, французы, южноамериканцы могут говорить ввиду ужасающих преступлений, совершенных и совершаемых ими в Индии, Индо-Китае, Польше, Манчжурии, Алжире,– не только об угрожающих им опасностях насилий, но и о необходимости оградить себя от них.

Так что стоит только человеку в мыслях хоть на время освободиться от того ужасного суеверия возможности знания будущего устройства общества, оправдывающего всякого рода насилия для этого устройства, и искренно и серьезно посмотреть на жизнь людей, и ему ясно станет, что ***признание необходимости противления злу насилием есть не что иное, как только оправдание людьми своих привычных, излюбленных пороков: мести, корысти, зависти, честолюбия, властолюбия, гордости, трусости, злости.***

XVIII

Самим Создателем предопределено, чтобы мерилом всех человеческих поступков служила не выгода, а справедливость, и, в силу этого, все усилия определить степень выгоды всегда бесплодны. Ни один человек никогда не знал, не знает и не может знать, каковы будут как для него, так и для других людей конечные результаты известного поступка или целого ряда поступков. Но каждый человек может знать, какой поступок справедлив и какой нет. И все мы точно так же можем знать, что последствия справедливости будут, в конце концов, наилучшие как для других, так и для нас, хотя мы не в силах заранее сказать, каково будет это наилучшее и в чем оно будет состоять.

Джон Рёскин.

И познаете истину, и истина сделает вас свободными.

Иоанн. VIII. 32.

Человек мыслит — так он создан. Ясно, что он должен мыслить разумно. Разумно мыслящий человек прежде всего думает о том, для какой цели он должен жить; он думает о своей душе, о Боге. Посмотрите же, о чем думают мирские люди. О чем угодно, только не об этом. Они думают о плясках, о музыке, о пении и тому подобных удовольствиях; они думают о постройках, о богатстве, о власти; они завидуют положению богачей и царей. Но они вовсе не думают о том, что значит быть человеком.

Паскаль.

Только освободитесь все вы, страдающие люди христианского мира, как властвующие и богатые, так же и подавленные и бедные, от тех обманов лжехристианства и государственности, которые скрывают от вас то, что открыл вам Христос и чего требует ващ разум и ваще сердце,– и вам ясно станет, что в вас, только в вас самих причины всех телесных страданий – нужды – и духовных: сознания несправедливости, зависти, раздражения, которые мучают вас, задавленных и бедных; и в вас же, вы, властвующие и богатые,– причины тех страхов, укоров совести, сознания греха своей жизни, которые более или менее, по степени ващей нравственной чуткости, тревожат и вас.

Поймите вы, и те и другие, что вы не рождены ни рабами, ни повелителями других людей, что вы свободные люди, но свободные и разумные только тогда, когда вы исполняете высший закон своей жизни. И закон этот открыт вам, и стоит вам только откинуть те лжи, которые скрывают его от вас, чтобы вам ясно было, в чем этот закон и в чем ваше благо. Закон этот в любви, и благо – только в исполнении этого закона. Поймите это – и вы станете истинно свободными и получите всё то, чего теперь так тщетно стараетесь

достигнуть теми сложными путями, на которые увлекают вас запутанные, ни во что не верующие, развращенные люди.

«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные,– и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня: ибо я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим. Иго мое благо и бремя мое легко» (Матф. XI, 28–30). Спасет, избавит вас от претерпеваемого вами зла и даст вам истинное благо, к которому вы так неумело стремитесь, не желание своей выгоды, не зависть, не следование .партийной программе, не ненависть, не негодование, не желание славы, даже не чувство справедливости, и главное, не забота об устройстве жизни других людей, а только деятельность для своей души, как ни странно это вам покажется, не имеющая никакой внещней цели, никаких соображений о том, что из нее может выйти.

Поймите, что предположение о том, что человек может устроить жизнь других людей, есть грубое суеверие, признаваемое людьми только по своей древности. Поймите, что люди, занятые тем, чтобы устраивать жизнь других людей, начиная с монархов, президентов, министров и кончая шпионами, палачами, так же как и членов и руководителей партий, диктаторов, представляют из себя не нечто высокое, как думают теперь многие, но, напротив, людей жалких, глубоко заблуждающихся, занятых не только невозможным и глупым, но одним из самых гадких дел, какие может избрать человек.

Люди уже понимают жалкую низость шпиона, палача, начинают понимать это отношение к жандарму, полицейскому, даже отчасти к военному, но еще не понимают этого по отнощению к судье, сенатору, министру, монарху, руководителю, участнику революции. А между тем дело сенатора, министра, монарха, руководителя партии точно так же низко, несвойственно человеческой природе, гадко, даже хуже дела палача, шпиона, тем, что оно, будучи таким же, как и дело палача, шпиона, прикрыто лицемерием.

Поймите вы, все люди, особенно вы, молодые люди, что не только посвящать свою жизнь, но заниматься тем, чтобы по своим мыслям насилием устраивать жизнь других людей, есть не только грубое суеверие, но есть гадкое, преступное, губительное для души дело. Поймите, что свойственному просвещенной душе человека желанию блага других людей удовлетворяет никак не суета устройства их жизни посредством насилия, а только та внутренняя работа над собой, в которой одной вполне свободен и властен человек. Только эта работа, состоящая в увеличении в себе любви, может служить удовлетворением этого желания. Поймите, что всякая деятельность, направленная на устройство жизни других людей посредством насилия, не может служить благу людей, а есть всегда

более или менее сознаваемый лицемерный обман, под личиной служения людям скрывающий низкие страсти: тщеславие, гордость, корыстолюбие.

Поймите это, особенно вы, молодежь, поколение будущего, перестаньте, как это делают теперь большинство из вас, искать этого воображаемого счастья в составлении блага народа посредством участия в управлении, в суде, в обучении других людей, поступления для этого в приучающие вас к праздности, самомнению, гордости, развращающие заведения всякого рода гимназий, университетов, перестаньте участвовать в разных организациях, имеющих целью будто бы благо народных масс, а ищите одного того, что всегда одно нужно всякому человеку, что всегда доступно всякому, что дает наибольщее благо ему самому и вернее всего служит благу его ближних. Ищите в себе одного; увеличения любви посредством уничтожения всего того: ощибок, грехов, страстей, что мещает ее проявлению, и вы наидействительнейшим способом будете содействовать благу людей. Поймите, что исполнение в наше время познанного нами высшего закона любви, исключающего насилие, так же неизбежно для нас, как неизбежен для птиц закон перелета, витья гнезд, закон питания растениями для травоядных, и мясом для хищных животных, и что поэтому всякое наше отступление от этого закона наверное губительно для нас.

Только поймите это и положите жизнь в этой радостной работе, только начните это делать – и вы тотчас же узнаете, что в этом, только в одном этом дело жизни человека и что это одно производит то улучшение жизни всех людей, к которому вы стремитесь так тщетно и такими ложными путями. Поймите, что благо людей только в единении их, единение же не может быть достигнуто посредством насилия. Единение достигается только тогда, когда люди, не думая об единении, каждый думает только об исполнении закона жизни. Только этот ***высший*** закон жизни, один для всех людей, соединяет людей.

Высший закон жизни, открытый Христом, ясен теперь людям и одно следование ему может теперь до тех пор, пока не будет открыт новый, еще более ясный и близкий закон душе человеческой, соединить людей.

XIX

Одни ищут блага или счастия во власти, другие — в науке, третьи — в сластолюбии. Те же люди, которые действительно близки к своему благу, понимают, что оно не может быть в том, чем владеть могут только некоторые люди, а не ■ все. Они понимают, что истинное благо человека таково, что им могут обладать все люди разом, без раздела и без зави

сти; оно таково, что никто не может потерять его, если он сам того не захочет.

Паскаль.

Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам стремиться к Богу и в этом стремлении всё более и более соединяться друг с другом.

Истинная вера влечет к себе не тем, что обещает благо верующему, а тем, что представляет единственное прибежище спасения от всех бед и смерти.

Спасение не в обрядах и исповедании веры, а в ясном понимании смысла своей жизни.

Вот всё, что я хотел сказать.

Хотел сказать я то, что мы дожили в наше время до того положения, в котором нам нельзя долее оставаться, и что, хотим мы или не хотим этого, мы должны вступить на новый путь жизни, и что для того, чтобы нам вступить на этот путь, нам не нужно ни выдумывать новой веры, ни новых научных теорий, которые могли бы объяснить смысл жизни и руководить ею,– главное, не нужно и никакой особенной деятельности, а нужно только одно; освободиться от суеверий как лжехристианской веры, так и государственного устройства.

Только пойми всякий человек, что он не только не имеет никакого права, но и возможности устраивать жизнь других людей, что дело каждого устраивать, блюсти только свою жизнь, соответственно тому высшему религиозному закону, который открыт ему, и само собой уничтожится то мучительное, несоответственное требованиям нашей души и всё ухудшающееся и ухудшающееся зверское устройство жизни так называемых христианских народов.

Кто бы ты ни был: царь, судья, земледелец, мастеровой, нищий, подумай об этом, пожалей себя, пожалей свою душу... Ведь как бы ты ни был затуманен, одурен своим царством, властью, богатством, как бы ты ни был измучен, озлоблен своей нуждой и обидой, ты так же, как и мы все, обладатель или скорее проявитель того же духа Божья, который живет во всех нас и который в наше время ясно, понятно говорит тебе: зачем, для чего ты мучаешь себя и всех, с кем имеешь общение в этом мире? Только пойми, кто ты, и как, с одной стороны, ничтожно то, что ты ошибочно называешь собою, признавая себя в своем теле, как необъятно велико то,, что ты сознаешь истинно собою,– твое духовное существо,– только пойми это и начни каждый час своей жизни жить

не для внешних целей, а для исполнения того истинного назначения твоей жизни, которое открыто тебе и мудростью всего мира, и учением Христа, и твоим собственным сознанием, начни жить, полагая цель и благо твоей жизни в том, чтобы с каждым днем всё больше и больше освобождать дух свой от обманов плоти, всё больше и больше совершенствоваться в любви, что в сущности одно и то же; только начни делать это – и с первого часа, дня ты почувствуешь, какое новое и радостное чувство сознания полной свободы и блага всё больше и больше будет вливаться в твою душу и – что больше всего поразит тебя – как те самые внешние условия, которыми ты так был озабочен и которые всё-таки так далеки были от твоих желаний,– как эти условия сами собой (оставляя тебя в твоем внешнем положении или выводя из него) перестанут быть препятствиями и будут только всё большими и большими радостями твоей жизни.

И если ты несчастлив,– а я знаю, что ты несчастлив,– подумай о том, что то, что предлагается тебе здесь, выдумано не мною, а есть плод духовных усилий всех высших, лучших умов и сердец человечества, и что в этом одном единственное средство избавиться тебе от твоего несчастья и получить величайшее благо, доступное человеку в этой жизни.

Вот это я и хотел, прежде чем умереть, сказать своим братьям.

2-го июля 1908 года.
Ясная Поляна.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

(К гл. III)

Самые вредные люди повешены или сидят по каторгам, крепостям и тюрьмам; другие, менее вредные десятки тысяч людей, выгнаны из столиц и больших городов и голодные, оборванные бродят по России; явные полицейские хватают, тайные разведывают и следят; все вредные правительству книги и газеты извлекаются из обращения. В Думе идут споры ораторов разных партий о том, как соблюсти благо народа, строить или не строить флот, так или иначе устраивать крестьянское землевладение, как и почему собирать или не собирать собор. Есть лидеры, которые ходят по кулуарам, есть кворум, блоки, премьеры, и всё до капельки, как у всех цивилизованных народов. Казалось бы, чего же еще. А между тем распадение существующего строя жизни именно теперь и именно у нас в России всё больше и больше приближается.

Ну хорошо, вы, правительственные люди, перевешаете, перестреляете еще 5, 10, 30 тысяч, как, очевидно, вы, подражая преж

ним европейским подавлениям революций, и собираетесь сделать. Ну хорошо, вы сделаете это. Но ведь, кроме петли, виселицы, шпионов, винтовки, приклада, тюрем, есть еще силы духовные, самые могущественные, гораздо более сильные, чем всевозможные виселицы и тюрьмы. Ведь у всех задавленных вами веревками и застреленных вами, над вырытыми для них, живых, могилами, были и есть отцы, братья, жены, сестры, друзья, единомышленники, и, если казни эти избавляют вас от тех, которые зарыты в могилы, то эти казни возрождают не только в их близких, но и в чужих людях вдвое больше и вдвое злейших врагов вам, чем те, которые вами убиты и зарыты в землю. Чем больше вы перебьете людей, тем меньше вам возможности избавиться от главного врага вашего; от ненависти к вам людей. Своими преступлениями вы только удесятеряете эту ненависть и делаете ее для себя более опасной.

Но мало того, что вы среди близких казненных увеличиваете врагов своих и увеличиваете их ненависть, вы этими самыми казнями увеличиваете и в совсем посторонних и вам и вашим врагам людях то чувство жестокости и безнравственности, с которыми вы думаете, что боретесь этими казнями. Ведь казни эти не делаются сами собою теми бумажками, которые вы пишете в своих судах и министерствах. Казни делаются людьми над людьми. Молодой, бывший солдат с явным недоумением о том, как надо относиться к этому, рассказывал мне, как его заставляли рыть траншею – могилу для 10 живых, приговоренных к расстрелу, и как заставляли одних солдат убивать этих приговоренных, а других стоять с заряженными винтовками позади убивающих и быть готовыми стрелять в этих, если они поколеблются в исполнении требуемого от них страшного, нечеловеческого дела. Разве может пройти даром для душ человеческих исполнение таких ужасных дел по приказанию всех властей, которых им внушено уважать и считать священными?

На днях я прочел в газете сообщение о том, как какой-то несчастный генерал-губернатор отдал приказ, в котором выражал похвалу и одобрение двум, по его выражению, молодцам городовым, назначив им по 25 рублей награждения за то, что они застрелили безоружного пленника, который, соскочив с повозки, хотел убежать от них. Я не поверил этому ужасному поступку начальства и написал в редакцию газеты, прося подтверждения. Мне прислали подлинный приказ и объяснили, что такие похвалы за убийства – самые обыкновенные явления, и самые высокопоставленные лица высказывают такие похвалы.

Разве могут такие дела и такие слова проходить бесследно? Не могут такие дерзко высказываемые, извращенные мысли и чувства не оставлять страшных следов развращения, безнравственности,

жестокости в душах людей, участвующих в таких делах и читающих такие приказы. Не могут такие дела и приказы не вызывать в людях и недоверия и презрения к тем людям, которые предписывают эти ужасные, противные человеческой совести дела и хвалят и награждают за них. Так что, если казнены тысячи людей, то сколько десятков, сотен тысяч людей, участвовавщих так или иначе в этих делах, развращены этим участием, лишены этим участием последних остатков религиозных и нравственных основ и подготовлены к тому, чтобы, если не ненавидеть еще, то уже презирать людей, совершающих такие дела, и совершать при первом случае те же самые злодейства против тех самых людей, которые теперь заставляют делать их против врагов своих.

А влияние прочитываемых миллионами газетных известий о том, сколько казнено и приговорено к смерти, печатаемых каждый день, как известно о переменах погоды, которые должны и не могут не повторяться ежедневно и постоянно. Если читающие каждый день такие известия и не спращивают себя, как примирить такие, совершаемые по повелению высшей власти дела, не говорю уже с Евангелием, но с 6-ой заповедью Моисея, то не могут противоречия эти не отозваться в душе людей и пренебрежением к заповедям, к религии вообше и к власти, совершаюшей дела, явно противные и религиозному закону и совести.

Разве не ясно, что совершаемые правящими властями злодеяния, имеющие целью избавления себя от видимых врагов правительственной власти, подготавливают для себя вдвое, вдесятеро больше врагов невидимых и злейших?

Казалось, не может не быть очевидным всякому мыслящему человеку, что такая деятельность правительства не может улучшить положения. Это должно быть очевидным не только посторонним, но и самим правителям. Не могут они не видеть ясно тшету своей деятельности, не могут не видеть и всей преступности ее. Не могут не видеть потому, что то учение Христа о любви к врагам, которое так старательно скрывалось и скрывается людьми, живущими насилием,– хотя и не вполне, в полном и истинном его значении, а некоторыми частными проявлениями, но все-таки проникло уже в сознание людей христианского мира и думаю, что не ощибаюсь,– особенно живо воспринято было простым рабочим русским народом, который теперь так усердно развращается правительством.

Если Марк Аврелий мог, несмотря на всю свою кротость и мудрость, с спокойной совестью и воевать и распоряжаться казнями людей, то люди христианского мира уже не могут этого делать без внутреннего сознания своей преступности, и какие бы они ни придумывали лицемерные и глупые гаагские конференции и условные

наказания, все эти лицемерные глупости не только не скрывают их преступлений, но, напротив, показывают то, что они сами знают, что то, что они делают, дурно. Сколько бы они ни уверяли себя и других, что они по каким-то высшим соображениям делают те ужасные преступления всех законов и божеских и человеческих, которые они не переставая делают,– они не могут скрыть ни от себя, ни от всех добрых людей всей преступности, порочности, низости своей деятельности. Ведь все уже знают теперь, что убийство, какое бы то ни было, гадко, преступно, дурно; знают это и все цари, министры, генералы, сколько бы они ни прятались за какие-то выдуманные высшие соображения.

То же самое и революционеры каких бы то ни было партий, если они допускают убийство для достижения своих целей. Сколько бы ни говорили они о том, что, когда власть будет в их руках, им не нужно будет употреблять тех средств насилия, которые они употребляют теперь,– поступки их столь же безнравственны и жестоки, как и действия правительств. И потому точно так же, как и злодейства правительств, производят такие страшные последствия: озлобления, озверения, развращения людей.

Отличается их деятельность только тем,– отчего она и представляется менее преступной,– что тщета деятельности стоящего во власти правительства очевидна, тогда как деятельность революционеров, проявляемая большею частью в теории и только урывками на практике – во времена революций, как у нас теперь,– не так очевидна.

Приемы же и средства борьбы у тех и других одинаково чужды свойствам человеческой души и основам христианского учения и, одинаково озлобляя людей и доводя их до высшей степени неразумия и озверения, не только не достигают той цели, которую они выставляют, но, напротив, только отдаляют людей от возможности достижения ее.

Положение и деятельность обеих враждующих сторон – правительства и революционеров – как в России, так и во всем христианском мире, с их средствами улучшения быта народа насилием, подобны людям, которые для того, чтобы согреться, ломают стены того дома, в котором живут, и топят ими.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

(К гл. VII)

Христианское учение в его истинном значении, признающее ***высшим законом*** жизни человеческой закон любви, не допускающий ни в каком случае насилие человека над человеком, учение это

так близко сердцу человеческому, дает такую несомненную свободу и такое ни от чего не зависимое благо и отдельному человеку, и обществам людей, и всему человечеству, что, казалось бы, стоило только узнать его, чтобы все люди приняли его за руководство своей деятельности. И люди действительно, несмотря на все усилия церкви скрыть этот закон, всё более и более понимали и стремились осуществить его. Но горе было в том, что к тому времени, когда христианское учение в его истинном значении стало выясняться людям, большая часть христианского мира уже привыкла считать истиной те внешние религиозные формы, которые не только скрывают от людей истинный смысл христианского учения, но и утверждают прямо противоположные христианскому учению государственные установления. Так что для восприятия христианского учения в его истинном значении людям христианского мира, более или менее понявшим истину христианства, нужно освободиться не только от веры в ложные формы извращенного христианского учения, но еще и от веры в необходимость, неизбежность того государственного устройства, которое установилось на этой ложной церковной вере.

Так что хотя освобождение от ложных религиозных форм, всё убыстряясь и убыстряясь, совершается, люди нашего времени, откинув веру в догматы, таинства, чудеса, святость Библии и другие установления церкви, не могут все-таки освободиться от тех ложных государственных учений, которые основались на извращенном христианстве и скрывают истинное.

Одни люди, большинство рабочего народа, продолжая по преданию исполнять то, чего требуют церкви, и отчасти вера в это учение, без малейшего сомнения ***верят,*** именно верят, и в то, возникшее в церковной вере и основанное на насилии государственное устройство, которое ни в каком случае не может быть совместимо с христианским учением в его истинном значении. Другие же люди, так называемые образованные, большей частью уже давно не веряшие в церковное, и потому и ни в какое христианство, так же бессознательно верят, как и люди народа, в то государственное устройство, основанное на том самом насилии, которое введено и утверждено тем самым церковным христианством, в которое они давно уже не верят.

Так что одинаково верят в необходимость насилия, как главное орудие устройства общества, как те, которые, как рабочий народ, верят в законность существующего устройства общества, так и так называемые образованные люди, которые стараются постепенно исправить или революционным переворотом изменить существующее. И те и другие не только не признают, но не могут себе представить устройства общества, как только основанное на насилии.

Вот эта-то бессознательная вера, вернее, суеверие людей христианского мира в законность поддерживания устройства мира насилием и в законность и неизбежность самого насилия,– вот эта- то вера, основанная на извращенном христианстве и прямо противоположная истинному (хотя люди, освободившиеся от веры в лжехристианство, и не признают этого), и составляла и составляет до последнего времени главное препятствие для принятия людьми всё более и более выясняющегося для них в наше время христианского учения в его истинном значении.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

(К гл. VIII)

Стоит только упомянуть об учении Христа, воспрещающем противление злу насилием, и люди, принадлежащие к привилегированному, в сравнении с чернорабочими, сословию, и верующие и неверующие, только иронически улыбнутся на такое упоминание, как будто положение о возможности непротивления злу насилием есть такая очевидная нелепость, про которую нельзя и говорить серьезным людям.

Большинство таких людей, считая себя нравственными и образованными людьми, будут серьезно говорить и спорить о троичности Бога, о божественности Христа, об искуплении, таинствах ИТ. п., или о том, какая из двух политических партий имеет больше шансов на успех, какой союз государств более желателен, чьи предположения более основательны: социал-демократов или социа- листов-революционеров,– но и те и другие совершенно согласно убеждены в том, что о непротивлении злу насилием нельзя говорить серьезно.

Отчего это?

А оттого, что люди не могут не чувствовать, что признание положения о непротивлении злу насилием под корень разрушает всю установившуюся их жизнь и требует от них чего-то нового, неизвестного и кажущегося им страшным.

От этого-то и происходит то, что вопросы о троичности, о бессемейном зачатии, о причастии, крещении могут занимать людей религиозных; так же могут занимать людей нерелигиозных вопросы о политических союзах, партиях, о социализме и коммунизме, но вопрос о непротивлении злу насилием им представляется какой-то удивительной бессмыслицей, и тем большей бессмыслицей, чем большими преимуществами при теперешнем устройстве мира пользуются люди.

От этого происходит и то, что наиболее резкое отрицание учения о непротивлении и непонимание его всегда пропорционально степени власти, богатства, цивилизации людей.

Люди, занимающие важные положения во власти, люди очень богатые, люди, привыкшие к своему положению, и люди, оправдывающие это положение, как большинство ученых, только пожимают плечами в ответ на упоминание о непротивлении. Люди менее значительные, и менее богатые, и менее ученые – менее презрительны. Еще менее презрительны люди еще меньшей важности, достатка и учености. Но все-таки все люди, жизнь которых непосредственно основана на насилии, хотя и не одинаково презрительно, но всегда отрицательно относятся к мысли о возможности приложения к жизни учения о непротивлении злу насилием.

Так что если бы решение вопроса об освобождении себя от извращенного христианского учения и вытекающего из него допущения насилия, нарушающего любовь, и признание христианского учения в его истинном значении зависело только от людей цивилизованных, пользующихся в нашем обществе в материальном отношении лучшим, в сравнении с большинством рабочего народа, положением, то предстоящий переход людей от жизни, основанной на насилии, к жизни, основанной на любви, еще не был бы так близок и настоятелен, как он близок и настоятелен теперь и особенно у нас в России, где огромное большинство народа, более двух третей, еще не развращено ни богатством, ни властью, ни цивилизацией.

А так как этому большинству народа нет причины и выгоды лишать себя блага любовной жизни, допуская в нее возможность насилия, то среди этих людей, не развращенных ни властью, ни богатством, ни цивилизацией, и должна бы начаться та перемена строя, которую требует совершившееся уяснение христианской истины.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(К гл. XVII)

Но как ни странно кажется мне ослепление людей, верящих в необходимость, неизбежность насилия, как ни неотразимо очевидна для меня неизбежность непротивления, не разумные доводы убеждают меня и могут неотразимо убедить людей в истине непротивления, убеждает только сознание человеком своей духовности, основное выражение которого есть любовь. Любовь же, истинная любовь, составляющая сущность души человека, та любовь, которая открыта учением Христа, исключает возможность мысли о каком бы то ни было насилии.

Полезно ли, не полезно ли, вредно ли, безвредно будет употребление насилий или претерпение зла, я не знаю и никто не знает, но знаю и знает это всякий человек, что любовь есть благо, благо и любовь ко мне людей и еще большее благо и любовь моя к людям. Самое же великое благо – это любовь моя к людям не только не любящим меня, но, как и сказал Христос, ненавидящим меня, обижающим меня, делающим мне зло. Как ни странно это кажется тому, кто не испытал этого, это так, и когда вдумаешься в это и испытаешь это, то только удивляешься, как мог я не понимать этого. Любовь, истинная любовь, любовь, отрицающая себя и переносящая себя в другого, есть пробуждение в себе высшего всемирного начала жизни. Но она тогда истинная любовь и тогда дает всё то благо, какое она может дать, когда она только любовь, освобожденная от всего личного, от всякой малейшей доли пристрастия для себя к предмету любви. И такая любовь может быть только к врагу, к ненавидящим, обижающим. И потому предписание любить не любящих, а ненавидящих, не есть преувеличение, не есть указание на возможность исключений, но есть только указание на тот случай, ту возможность получения высшего блага, какую дает любовь. То, что это так должно быть, вытекает из рассуждения, и стоит испытать это, чтобы убедиться. Так что случаи обиды, нападения станут дорогими, желательными. Так что, вникнув в сущность свойств души человеческой, мы увидим, что она такова, что отвечание злом на зло заставляет ее страдать, и напротив, отвечание любовью на зло дает высшее доступное ей благо.

И потому всякое противление злу злом есть лишение блага, всякое любовное отвечание на зло есть приобретение блага, и такого блага, которое, уничтожая личность и потому давая высшее благо, уничтожает вместе с тем и всякое страдание и, главное, вызывающее сопротивление пугало – страх смерти.

ПИСЬМО К ИНДУСУ»

Всё, что существует, едино; люди только называют это единое разными именами.

Веды.

Бог есть любовь; пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

1-е Поел. Иоанна.

Бог есть одно целое; мы только части его.

Изл. учения Вед. Вивекананды.

I

Не ищи спокойствия, отдыха в той земной области, которая порождает рассуждения и желания, потому что, если будешь искать этого там, ты будешь влеком через пустыню жизни, чуждой мне. Когда ты почувствуешь, что ноги твои путаются в свившихся корнях жизни, знай, что ты сбился с того пути, на который я призывал тебя, потому что я поставил тебя на пути широком, легком, усыпанном цветами, и дал свет, за которым ты всегда можешь идти и следуя которому никогда не споткнешься.

Кришна.

Получил ваше письмо и два номера журнала. И то и другое мне было в высшей степени интересно, так как угнетение и неизбежно вытекающее из этого развращение одних людей другими, малым числом большого числа, есть явление, всегда занимавшее и особенно живо занимающее меня последнее время. Постараюсь высказать вам то, что я думаю об этом вообще и в частности по отнощению к тем причинам, вследствие которых произошли и происходят те страшные бедствия, о которых вы говорите в вашем письме и говорится в присланных вами мне номерах индийского журнала.

Причины, по которым происходит то удивительное явление, что большинство трудящегося народа подчиняется кучке праздных людей, распоряжающихся не только трудами, но и жизнью большин-

' Статья представляет собой ответ Толстого на письмо индийского публициста Таракнатха Даса.

ства, всегда и везде одни и те же, как там, где угнетаемые и угнетенные принадлежат к одному и тому же народу, так и там, где, как это происходит в Индии и в других странах, угнетатели принадлежат к иной, чем угнетенные, нации. В Индии это кажется особенно странным, так как здесь более чем 200-миллионный, высокоодаренный и духовными и телесными силами народ находится во власти совершенно чуждого ему небольшого кружка людей, стоящих в религиозно-нравственном отношении неизмеримо ниже тех людей, над которыми они властвуют. Причины эти, как это видно из вашего письма и из статей «Free Hindusthan», и из весьма интересных сочинений индусского писателя Свами Вивекананды и других, состоят в том же, в чем причины бедствий всех народов нашего времени: в отсутствии разумного религиозного учения, которое, одинаково уясняя людям смысл их существования, определяло бы и высший закон, долженствующий руководить их поступками, и в замене и того и другого теми, более чем сомнительными положениями, ложной религии и ложной науки и вытекающими из того и другого безнравственными выводами, называемыми цивилизацией.

Как видно из вашего письма и из статей не только «Free Hindusthan», но и из всей политической индийской литературы нового времени, большинство руководителей общественного мнения вашего народа, не приписывая уже никакого значения религиозным учениям, которые исповедовались и исповедуются индийским народом, видят единственную возможность избавления этого народа от претерпеваемого им угнетения в приобщении его к тем антирелигиозным и глубоко безнравственным формам общественного устройства, в которых живут теперь английские и другие мнимохристианские народы. Ничто очевиднее этого стремления внушить индусскому народу усвоение форм жизни европейских народов не показывает в теперешних руководителях индусского народа полного отсутствия религиозного сознания. А между тем в этом отсутствии религиозного сознания и вытекающего из него руководства поведения,– отсутствии, общем в наше время всем народам и Запада и Востока, от Японии до Англии и Америки, и заключается главная, если не единственная причина порабощения индусского народа англичанами.

II

О вы, видящие бедствия над вашими главами и под вашими ногами и справа и слева! Вечно вы будете загадкой для самих себя, пока не сделаетесь смиренными и радостными, как ребенок. Тогда признаете меня, и, познавши меня в себе, вы будете управлять мирами и, глядя из великого

мира внутри себя на малый мир вне себя, вы будете благословлять всё, что есть, и будете знать, что всё хорошо и в вас и вне вас.

Кришна.

Для ТОГО, чтобы уяснить МОЮ МЫСЛЬ, должен начать немного издалека.

Как жило человечество за миллионы, хотя бы десятки тысяч лет тому назад, мы не знаем и не можем (смело скажу, и не нуждаемся) знать; но то, что человечество с тех пор, как мы что-нибудь знаем о нем, всегда жило отдельными соединениями семей, родов, народов, в которых большинство покорно и охотно, считая это неизбежно необходимым, подчинялось насилию одного или нескольких лиц, самого малого меньшинства, это мы верно знаем. Такое устройство жизни людей, несмотря на внешнее разнообразие событий и лиц, проявлялось одинаково во всех народах, о прежней жизни которых мы что-нибудь знаем. И такое устройство жизни, чем дальше назад, тем больше считалось как властвующими, так и подвластными необходимым условием возможности согласного сожития людей между собою.

Так это происходило везде.

Но, несмотря на то что такое устройство жизни в своих внешних формах продолжалось веками, продолжается и теперь, еще очень давно, за тысячи лет до нашего времени, среди держащегося на насилии устройства жизни, была высказываема в различные времена, среди различных народов одна и та же мысль о том, что в каждом отдельном человеке проявляется одно и то же духовное начало, дающее жизнь всему существующему, и что это-то духовное начало стремится к единению со всем однородным ему и достигает этого единения любовью. Мысль эта в разных формах и с большей или меньшей полнотой и ясностью выражалась в разные времена и в разных местах. Выражалась она и в браманизме, и в еврействе, и в маздеизме (учение Зороастра), и в буддизме, и в таосизме, и в конфуцианстве, и в писаниях греческих и римских мудрецов, и в христианстве, и в магометанстве. Уже то одно, что мысль эта, одна и та же, высказывалась среди самых различных народов и в различное время, показывает то, что мысль эта была свойственна человеческой природе и заключала в себе истину. Но истина эта, провозглашавшаяся среди людей, считавших возможным соединение людей в общества только посредством употребления насилия одних над другими, была так несогласна с существующим устройством и, кроме того, была выражаема первое время своего появления так отрывочно и неясно, что люди, хотя отвлеченно и признавали ее, не могли принять ее как обязательное руководство поведения. Кроме того, со всеми выражениями этой истины, по мере того, как

она высказывалась среди основанного на насилии устройства жизни людей, происходило одно и то же, а именно то, что люди, пользовавшиеся выгодами власти, чувствуя то, что признание людьми этой истины разрушало их положение, отчасти сознательно, отчасти бессознательно, как могли, извращали истину, одевая ее самыми чуждыми ей прибавлениями, толкованиями и, кроме того, прямым насилием противодействовали ее распространению. Так что свойственная человеческой природе истина о том, что жизнь человеческая должна быть руководима тем духовным началом, которое составляет основу жизни человеческой и проявляется любовью, для того чтобы войти в сознание людей, должна была, кроме своей неясности выражения, бороться еше с умышленными и неумышленными извращениями ее, а также и с прямым насилием, заставлявшим людей наказаниями и гонениями признавать установленное властью понимание религиозного закона, противное открытой истине. Такое извращение и затемнение новой, не доведенной еще до полной ясности истины происходило везде: и в конфуцианстве, и в таосизме, и в буддизме, и в христианстве, и в магометанстве, и в вашем браманизме.

III

Моя рука рассеяла любовь повсюду, предлагая ее тем, кто хочет взять ее. Благо дано всем моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его. Только немногие поднимают те дары, которые в изобилии лежат у их ног, но еще больше тех людей, которые в своем самодовольном легкомыслии отворачиваются от них и с плачем жалуются на то, что у них нет того, что я дал им. Многие из них отрицают не только дары мои, но и меня. Меня, источника всех благ, творца их жизни.

Кришна.

О, остановись, хоть на время, от суеты и борьбы мира, и я украшу твою жизнь любовью и радостью, потому что свет души — это любовь. Там, где есть любовь, есть довольство и мир, а где есть довольство и мир, там и я среди них.

Кришна.

Решение безгрешного состоит в том, чтобы не причинять печали другим, хотя бы он мог через это получить великую власть.

Решение безгрешного в том, чтобы не делать зла тем, кто сделал ему зло.

Если человек заставит страдать даже тех, которые без причины ненавидят его, он в конце концов будет иметь неустранимую печаль.

Наказание делающим зло состоит в том, чтобы сделанным им великим добром заставить их устыдиться своих дел.

Какая польза в учености того, кто не старается избавить от страданий своего ближнего столько же, как и самого себя.

Если человек поутру хочет сделать зло другому, ввечеру зло посетит его.

Индийский Кюрал.

Так это происходило везде. Везде истина о том, что любовь есть высшее нравственное чувство, не отвергалась и не опровергалась, но везде так искусно соединялась с таким количеством самой разнообразной лжи, извращающей ее, что от признания любви высшим нравственным чувством ничего не оставалось, кроме слов. Внушалось то, что это высшее нравственное чувство применимо только для личной жизни, годно, так сказать, для домашнего обихода, для общественной же жизни признавалось необходимым для блага большинства людей употребление против злых людей всякого рода насилия, тюрем, казней, войн, поступков, прямо противоположных самому слабому чувству любви. Несмотря на то что здравый смысл говорил то, что если одни люди могут быть ре- шителями того, каких людей надо подвергать всякого рода насилиям ради предполагаемого блага многих, то и эти некоторые люди могли решать то же самое по отношению тех, кто их подвергал насилию, несмотря и на то, что великие религиозные учители – и браминские, и буддийские, и в особенности христианские, предвидя это извращение закона любви, прямо указывали на неизбежное условие любви: перенесение обид, оскорблений, всякого рода насилий без противления злу злом, люди продолжали признавать несовместимое: благодетельность любви и, вместе с тем, противление злу насилием, прямо противоположное любви. И такие учения, несмотря на явное заключающееся в них противоречие, так укоренилось, что люди, признавая благодетельность любви, признают вместе с тем и законность устройства жизни, основанного на насилии, включающем нанесение одними людьми другим не только истязаний, но и смерти.

Люди долгое время жили в этом явном противоречии, не замечая его. Но пришло время, когда противоречие это всё чаще и чаще стало поражать мыслящих людей разных народов. И древняя простая истина о том, что людям свойственно помогать и любить, а не мучить и убивать друг друга, всё более и более стала выясняться, и всё менее и менее могли люди верить в те лжетолкования, которыми оправдывались отступления от нее.

В старинные времена главным средством оправдания употребления насилия, противного любви, было признание особенных, сверхъестественных прав за так называемыми государями, царями, султанами, раджами, шахами и т. п. главами государств. Но чем

дольше жили люди, тем всё больше и больше стала ослабевать вера в особенные, освященные Богом права государей. Ослабевала эта вера одинаково и почти одновременно и в христианском, и в бра- минском, и в буддийском, и в конфуцианском мире, а в последнее время уже так ослабела, что не могла уже служить, как прежде, оправданием поступков, явно противных и здравому смыслу и истинному религиозному чувству. Люди всё яснее и яснее и уже теперь в большинстве вполне ясно видят бессмысленность и безнравственность подчинения своей воли воле таких же, как они, людей, требующих от них поступков, противных не только их выгоде, но и нравственному чувству. И потому, казалось бы, естественно людям, потеряв веру в поддерживаемую религией божественность власти всякого рода властителей, освободиться от подчинения ей. Но, к сожалению, выгодами властвования над народами пользовались не одни эти считавщиеся сверхъестественными существами государи, но везде вследствие существования этих мнимо-сверхъестественных существ образовалось в продолжение их царствования всё большее и большее количество людей, пристраивавшихся к властителям и, под видом управления народом, живших его трудами. И вот эти-то люди позаботились о том, чтобы по мере того, как ослабевал старый религиозный обман о сверхъестественном и самим Богом определенном властвовании государей, вырастал такой новый обман, который мог бы, заменив старый, продолжать так же, как и старый, держать народы в рабстве немногих властителей.

IV

> Хотите знать, дети, чем должны быть руководимы сердца ваши! Оставьте ваши желания и стремления к тому, что ничтожно и пусто; откиньте ваши невежественные мысли о счастье, о мудрости, о пустых и неискренних желаниях. Откиньте всё это, и вы познаете любовь.
>
> *Кришна.*
>
> Не будьте уничтожателями самих себя. Поднимитесь к вашему истинному я, поднимитесь до него, и тогда вам нечего бояться.
>
> *Кришна.*

На место устарелых, отживших религиозных оправданий явились новые. Оправдания эти так же неосновательны, как и прежние, но они еще новы, так что несостоятельность их еще не сразу может быть сознана большинством, и, кроме того, люди, пользующиеся властью, так искусно распространяют и поддерживают их, что оправдания эти многим, даже тем, которые страдают от того, что они оправдывают, кажутся неопровержимыми. Новые оправда

ния эти называются научными. Под словом же «научное» разумеется то же самое, что разумеется под словом «религиозное», а именно то, что так же, как всё то, что называлось религией, уже по одному тому, что называлось религией, всегда было несомненно истинно, так точно и всё то, что называется наукой, уже по одному тому, что оно называется наукой, всегда несомненно истинно. Так в данном случае отжившее религиозное оправдание насилия, заключавшееся в признании особенности, сверхъестественности лиц, стоящих во власти и утверждаемых во власти Богом («нет власти не от Бога»), заменилось научным оправданием, заключающимся, во-первых, в том, что всегдашнее существование среди людей насилия одних людей над другими доказывает то, что такое насилие должно всегда существовать. В этом, то есть в том, что люди должны жить не согласно с разумом и с совестью, а с тем, что долгое время происходило между ними,– в этом состоит то, что «наукой» называется «историческим законом». Второе же «научное» оправдание насилия состоит в том, что так как среди растений и животных происходит борьба за существование, оканчивающаяся всегда переживанием наиболее приспособленных, то эта же самая борьба должна происходить и между людьми, существами, одаренными свойствами разума и любви,– свойствами, отсутствующими у существ, подчиняющихся закону борьбы и отбора. В этом другом «научное» оправдание насилия.

Третье же, самое главное и самое, к сожалению, распространенное научное оправдание насилия есть, в сущности, самое старое религиозное оправдание, только несколько видоизмененное, состоящее в том, что, так как в общественной жизни бывает неизбежно необходимо употребление насилия против некоторых для блага многих, то, как ни желательна любовь людей между собою, насилие все-таки необходимо. Отличие оправдания насилия лженаукой от оправдания лжерелигией состоит только в том, что на вопрос о том, почему те, а не другие люди имеют право определять, кто именно те люди, против которых может и должно быть употреблено насилие, наука отвечает уже не то, что отвечала религия: что определения эти справедливы потому, что делаются лицами, имеющими сверхъестественную власть, а то, что определения эти представляют волю народа, которая будто бы при избирательном образе правления выражается во всех решениях и поступках людей, в данную минуту находящихся во власти.

Таковы научные оправдания насилий. Оправдания эти не только неосновательны, но прямо нелепы, но они так нужны людям, занимающим привилегированное положение, что они слепо верят в них,

как прежде верили в бессемейное зачатие, и так же уверенно распространяют эту веру.

Несчастное же, задавленное трудом большинство так ослеплено той важностью, с которой передаются ему эти «научные истины», что, находясь под этим новым внушением, принимают, так же, как прежде принимали лжерелигиозные оправдания, все эти научные глупости за священную истину и продолжают рабски подчиняться своим новым, столь же жестоким, только несколько увеличившимся по численности властителям.

> Кто я? Я то, чего ты искал с тех пор, как твой детский взгляд с удивлением смотрел на мир, пределы которого скрывают от тебя истинную жизнь. Я то, о чем ты молил в своем сердце, чего ты требовал, как право своего рождения, хотя и не знал, что это такое. Я то, что лежало в твоем сердце веками, тысячелетиями. Иногда я лежало в тебе с печалью о том, что ты не узнаешь меня. Иногда я поднимало голову, открывало глаза и простирало руки, призывая тебя, то тихо, то громко требуя от тебя, чтобы ты возмутился против тех жизненных цепей земли, которые притягивали тебя к праху.
>
> *Кришна.*

Так ЭТО происходило и происходит в христианском мире. Можно было надеяться, что в огромном брамино-буддийском, конфуцианском мире новое научное суеверие это не будет иметь места, и китайцы, японцы, индусы, поняв ложь религиозных обманов, оправдывающих насилие, прямо перейдут к сознанию свойственного человечеству закона любви, так сильно провозглашенного великими учителями Востока, но оказывается, что научное суеверие, заменившее религиозное, захватило и захватывает всё больше и больше восточные народы. Оно захватило уже с особенной силой и страну крайнего востока, Японию, и, кажется, уже не одних руководителей, но и большинство этого народа, готовя ему величайшие бедствия; захватило и 400-миллионный Китай и вашу 200-миллионную Индию, или, по крайней мере, большинство людей, считающих себя, так же как и вы, руководителями этих народов.

Вы в своем журнале, как основной принцип, долженствующий руководить деятельностью вашего народа, ставите эпиграфом такую мысль: Resistance to aggression is not simply justifiable, but empera- tive; not resistance hurst both Altruism and Egoism (Противодействие нападению не только справедливо, но и обязательно: непротивление вредит одинаково и альтруизму и эгоизму).

Любовь есть единственное средство спасения людей от всех претерпеваемых ими бедствий. В данном случае единственное средство освобождения вашего народа от порабощения только в любви. Любовь, как религиозная основа жизни людей, с особенной силой и ясностью была еще в далекой древности провозглашена в вашем народе. Любовь при допущении противления злу насилием есть внутреннее противоречие, так что теряет всякий смысл и значение. И что же? В 20-м веке вы, член одного из самых религиозных народов, с легким сердцем и уверенностью в своем научном просвещении и потому несомненной правоте отрицаете этот закон, повторяя ту – простите меня – поразительную глупость, которую внушили вам защитники насилия, враги истины, сначала служители богословия, потом науки, ваши европейские учителя.

Вы говорите, что англичане поработили и держат в порабощении индусов потому, что индусы недостаточно противились и противятся насилию силою.

Но ведь это совершенно наоборот. Если англичане поработили индусов, то только потому, что индусы признавали и признают главными, основными принципами своего общественного устройства насилие. Во имя этого принципа подчинялись своим царькам, во имя его боролись между собой, боролись с европейцами, с англичанами и теперь стараются бороться с ними.

Торговая компания поработила 200-миллионный народ. Скажите это человеку, свободному от суеверия, он не поймет, что значат эти слова. Что значит то, что 30 тысяч людей, не силачей, даже скорее слабых и дурных людей, поработили 200 миллионов живых, умных, сильных, любящих свободу людей? Разве не ясно по одним цифрам, что не англичане, а сами индусы поработили себя. Индусам жаловаться на то, что англичане поработили их, всё равно, что людям, предающимся пьянству, жаловаться на то, что поселившиеся среди них продавцы вина поработили их. Вы говорите им, что они могут не пить, но они отвечают вам, что они так привыкли, что не могут воздержаться, что им стало необходимо поддерживать свою энергию вином. Разве не то же самое со всеми людьми, с миллионами людей, покоряющихся тысячам, сотням людей своих или чужих народов.

Если индусы порабощены насилием, то только оттого, что они сами жили насилием, живут насилием и не признают вечного, свойственного человечеству закона любви.

«Жалок и невежественен тот человек, который ищет того, что он имеет, но не знает, что имеет его. Да, жалок и невежественен человек, который не знает блага той любви, которая окружает его, которую я дал ему» (Кришна).

Только живи человек согласно с свойственным его сердцу и открытым уже ему законом любви, включающей в себя непротивление, и потому естественно не участвуя в каком бы то ни было насилии, и не только сотни не поработят миллионы, но миллионы не поработят одного. Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас.

VI

> О вы, сидящие в заключениях и страдающие о свободе и ищущие ее, ищите только любви. Любовь есть мир в самом себе, и мир, дающий полное удовлетворение. Я — тот ключ, который отпирает дверь в ту редко открываемую страну, в которой одной живет довольство.
>
> *Кришна.*

С человечеством нашего времени, одинаково с восточным, как и с западным, совершается то же, что совершается с каждым отдельным человеком, когда он, переходя от одного возраста в другой (ребенок в юношу, юноша в мужа), теряет прежнее руководство в жизни и, не уяснив себе еще нового, свойственного его возрасту, живет без всякого руководства и придумывает какие может, суеты, заботы, развлечения, раздражения, одурманивания, которые бы скрыли от него бедственность и бессмысленность его жизни. Такое состояние может продолжаться долго.

Но как при переходе одного человека от одного возраста к другому неизбежно должно наступить время, когда жизнь не может уже продолжаться по-прежнему, в бессмысленной суете и раздражении, и человек должен понять, что если прежнее руководство жизни уже несвойственно ему, то это не значит то, что ему надо жить без всякого разумного руководства в жизни, а только то, что надо постараться уяснить себе то понимание жизни, которое свойственно его возрасту, и, уяснив его, руководствоваться им в своем новом возрасте. Точно такие же времена должны наступать и для движущегося и изменяющегося человечества.

И я думаю, что время такого перехода человечества от одного возраста к другому наступило теперь, и теперь не в том смысле, что оно наступило именно в 1908 году, а в том, что то внутреннее противоречие жизни людей: сознания благодетельности закона любви и устройства жизни на противном закону любви насилии, вызвавшее бессмысленную, раздраженную, суетливую и страдальческую жизнь человечества, продолжавшееся столетия, в наше время дошло до того напряжения, при котором оно не может уже более продолжаться и неизбежно должно разрешиться, и разре

шится, очевидно, не в пользу отжившего свое время закона насилия, а в пользу с самых древних времен уже сознаваемой всем человечеством истины о том, что закон жизни людей есть закон любви.

Признание же этой истины во всем ее значении возможно для людей только тогда, когда они вполне освободятся от всех, как религиозных, так и научных, суеверий и вытекающих из них лжетолкований, извращений и нагромождений, посредством которых столько веков она скрывалась от человечества.

Для того чтобы спасти тонущий корабль, надо выбросить из него тот балласт, который если и был, может быть, когда-нибудь нужен, теперь губит его. То же и с религиозными и научными суевериями, скрывающими от людей спасительную для них истину. Для того чтобы люди могли воспринять истину уже не так смутно, как она представлялась им в период их детства, и не так односторонне и превратно, как она истолковывалась для них религиозными и научными учителями, а так, чтобы она стала высшим законом жизни людей, для этого нужно полное освобождение этой истины от всех, всех тех суеверий, как лжерелигиозных, так и лженаучных, которые теперь скрывают ее, освобождение не частичное, робкое, считающееся с освященным древностью преданием, с привычками народа, такое, какое в области религиозной сделано у вас Гуру Нанака, основателем религии сейков, а в христианстве Лютером и такими же реформаторами в других религиях, а полное освобождение религиозной истины от всех, как древних религиозных, так и новых научных, суеверий.

Только освободи себя люди от верования в разных ормуздов, брам, Саваофов, в воплощении их в кришнах и христах, от верований в рай и ад, ангелов и демонов, от перевоплощений и воскресений, от вмешательства Бога во внешнюю земную жизнь; освободи себя, главное, от признания непогрешимости разных вед, библий, евангелий, трипитак, коранов и т. п.; освободи себя люди точно также и от слепого верования в разные научные учения о бесконечно малых атомах, молекулах, о разных бесконечно, великих и бесконечно удаленных мирах, их движении и происхождении их, силах, от слепой веры в несомненность разных научных мнимых законов, которым будто бы подчинено человечество,– законов исторических, экономических, законов борьбы и переживания ИТ. п.; освободи себя только люди от этого страшного нагромождения праздных упражнений низших способностей ума и памяти, называемых науками, от всех этих бесчисленных отделов разных историй, антропологий, гомилетик, бактериологий, юриспруденций, космографий, стратегий, им же имя легион,– только

освободись люди от этого губительного, одуряющего их балласта, и тот простой, ясный, доступный всем и разрешающий все вопросы и недоумения закон любви, который так свойственен человечеству, станет сам собой ясным и обязательным.

VII

Дети, смотрите на цветы под вашими ногами, не топчите их. Смотрите на любовь между вами, не отвергайте ее.

Кришна.

Есть один высший разум, превосходящий все человеческие умы. Он далек и близок. Он проникает все миры и вместе с тем до бесконечности выше их.

Человек, который видит, что все вещи содержатся в высшем духе и что высший дух проникает все существа, не может относиться с презрением ни к какому существу.

Для того, для кого все духовные существа одинаковы с высшим, не может быть места для обмана или для печали. Те, кто невежественны, преданы одним обрядам религии, находятся в густом мраке, но те, кто преданы только бесплодным размышлениям, находятся в еще большей темноте.

Упанишады из Вед.

Да, В наше время людям для избавления себя от наносимых ими самим себе, дошедших до высшей степени бедствий: индусу ли, ищущему своего освобождения от английского порабощения, или какому бы то ни было человеку в борьбе его с насильниками, будут ли эти насильники люди своего или чужого народа, в борьбе или негра с североамериканцами, или персиянина, русского, турка со своим персидским, русским, турецким правительством, как и вообще для каждого человека, ищущего наибольшего блага как для себя, так и для всех людей, нужны не новые объяснения и оправдания стдрых религиозных суеверий, как это делали у вас Вивекананды, Баба-Барати и другие, и у нас, в христианстве, бесчисленное количество таких же новых толкователей и разъяснителей того, что никому ни на что не нужно; и не бесчисленные науки о предметах не только никому не нужных, но большею частью вредных (в духовной области не бывает безразличного, а то, что не полезно, всегда вредно). Нужны как индусу, так и англичанину, и французу, и немцу, и русскому не конституции, не революции, не какие-либо конференции, не конгрессы, не новые хитрые изобретения подводного плавания, воздушного летания, могущественных взрывов или различного рода удобств для удовольствия богатых, властвующих классов, не новые училища, университеты с преподаванием бесчисленных наук, не увеличение газет и книг, и граммофонов, и кинемато-. графов, не те ребяческие, большею частью развратные глупости,

которые называются искусствами, а нужно только одно: знание той простой, ясной, укладывающейся в душе каждого человека, не оду- ренного религиозными и научными суевериями, истины о том, что закон жизни человеческой есть закон любви, дающий высшее благо как отдельному человеку, так и всему человечеству. Только освободись люди в сознании своем от тех гор чепухи, которые скрывают теперь от них истину, и та, несомненно вечная, всегда свойственная всем людям истина, которая одна и та же во всех великих религиях мира, сама собой выделится из всей той лжерелигиозной чепухи, которая теперь скрывает ее. А выделится эта истина так, что войдет в сознание людей, и сама собой исчезнет вся та чепуха, которая скрывает ее, и вместе с ней и то зло, от которого теперь страдает человечество.

«Дети, взгляните вверх своими ослепленными глазами, и мир, полный радости и любви, откроется вам, разумный мир, сделанный моей мудростью, один мир действительный. Тогда вы узнаете, что любовь сделала с вами, чем наградила вас любовь и чего она от вас хочет» (Кришна).

14 дек. 1908.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И ХРИСТИАНСТВО

Третьего дня получил следующее письмо от Петербургского студента:

«Многоуважаемый Лев Николаевич! Посылаю вам статью А. Ст-на, напечатанную в «Новом Времени» 18 декабря, и очень прошу Вас сообщить, что Вы думаете о ней, а в особенности о словах Христа: утверждает ли Он: что злословящий отца и мать подлежит смертной казни».

При письме приложена была следующая вырезка из «Нового Времени» от 18/31 декабря 1908 года:

ЗАМЕТКИ

Восставать против смертной казни — задача очень легкая, приятная и выигрышная. Я с детства всю жизнь так и думал, что государство может отлично обходиться без смертной казни, что заповедь «не убий» является повелительным руководством для человечества, что смертная казнь противоречит христианскому укладу.

Но пережитая в России революция и страшный рост преступности во Франции при фактической отмене смертной казни заставили многих (в двух государствах с противоположным гГолитическим строем) переоценить и эту ценность. Мне этот вопрос представляется гораздо более сложным и сомнительным, чем он всегда представлялся в своей кажущейся простоте и ясности.

Первое сомнение, которое является, следующее:

Отказываясь казнить преступников, не обрекает ли этим самым государство на казнь случайных жертв разнообразных преступлений? Другими словами: милуя заведомо виновных, государство казнит гораздо большее число заведомо невинных людей.

Но ведь это противоречит нашим религиозным понятиям...

Приходится и тут разобраться. Как примирить суровый Моисеев закон, пестрящий смертными казнями, с общей заповедью: «Не убий». Совершенно

очевидно, что эта заповедь касалась частных отношений граждан, оберегая государственную монополию еврейской теократии.

Совершенно так же, как закон, возбраняющий, например, частным лицам постройку железных дорог, этим самым указывал бы на преимущественное право государства пользоваться этой регалией.

Но суровый закон Моисея доразвился до кроткой религии Христа. Принято думать, что достаточно простого указания на Евангелие, чтобы победоносно оспаривать самую возможность казни. Между тем в Евангелии только в одном месте (Ев. от Марка гл. 7, ст. 9—13) упоминается о смертной казни и... в пользу ее:

«9. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?

10. Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать, смертью да умрет (Исх. 20, 12, 21, 16).

И. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался,

12. Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей,

13. Устраняя слово Божие преданием ващим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное».

Здесь мы видим, что Христос закон, влекущий смертную казнь, называет словом Божиим и противопоставляет ему предание, отменяющее частное применение этого закона.

Как же смотрел Христос на возможность судебных ощибок, на приговоры несправедливые? Он имел в виду верующих, которым смерть не должна вну- щать панического ужаса, естественного для отрицающих загробное существование, и потому повелел не бояться «убивающих тело».

Право на человеческую жизнь — страшное право. Когда государство выпускает его из рук, его подбирают самозванцы и пользуются им без удержа и страха..

Л. ***Ст-н.***

Я не верил глазам. До такой степени не верил, что отыскал полученный в тот же день № 18 Декабря «Нового Времени» и прочел.

Все так, все это не во сне, наяву. В большой распространенной консервативной газете, стоящей будто бы за поддержание христианской религии, разносится по всей России с видом значительности, серьезности и авторитетности это ужасающее кощунство, насмешка, издевательство над учением Христа и полнейшее отрицание его.

В тот же вечер я написал студенту, приславшему статью, и Ст-ну. Студенту я написал следующее:

«Оправдывать смертную казнь словами Христа не рещался до сих пор ни один изувер. Такое оправдание, кроме своей искусственности, и глупо, и бессовестно.

Вывод из такого толкования буквы Писания, называемого Свя-. щенным, только один: тот, что нет ничего более вредного для пони

мания учения Христа и более губительного и для истинной религии и истинной нравственности, как приписывание непогрешимости букве Писания, так как нет больших нелепостей, гадостей и жестокостей, чем те, которые основывались на этой букве. На статью же С-на можно ответить только одним словом: «стыдно», что и написал ему.

Лев Толстой.

20-го декабря 1908 года».

Положение людей нашего мира, и в особенности в наше время нашего русского народа, ужасно, не тем только, что самодовольно, спокойно, не скрываясь, а во всеуслышание совершаются каждый день, как что-то необходимое и законное, ужаснейшие преступления, убийства теми людьми, которые сами себя считают и считаются темными массами руководителями народа, но, главное, тем, что той наглостью, с которой совершаются эти преступления, разрушаются в рабочем народе последние остатки веры в какой-нибудь обязательный для людей закон Бога.

Знаю, что соединенные сложным правительственным устройством люди, совершающие те преступления, которые они называют казнями, не услышат, потому что не хотят слышать того, что я кричу, о чем умоляю их, но я все-таки не перестану кричать, умолять все об одном и том же до последней минуты моей жизни, которой так немного осталось, или до тех пор, пока те самые люди, которых я обличаю за их злодейства, не помешают мне обличать их, сделав надо мной то же, что они делают над другими неприятными им людьми, в том числе все чаще и чаще в последнее время и над моими друзьями за распространение моих книжек. Не могу молчать я именно потому, что, будучи своим ли возрастом, своей ли случайно раздутой репутацией или по каким-либо другим неизвестным и непонятным мне обстоятельствам поставлен в исключительное положение, такое, при котором я один могу говорить среди всех живущих в России с зажатыми ртами людей, я своим молчанием показывал бы согласие и одобрение тем злодействам, которые, не слыша за них осуждения, все смелее и смелее совершают несчастные, заблудшие люди, называющие и считающие себя правителями.

Пишу и теперь о том же, о том отношении людей нашего мнимохристианского мира, в особенности так называемого образованного класса нашего мира, к смертной казни.

Отношение это с поразительной яркостью выразилось и в статье Г-на С-на. Как ни ничтожна сама по себе.статья эта и как ни нелепа, она все-таки представляет из себя очень определенное кощунст

во над всем тем, что всегда было и есть и будет священно для людей, понимающих христианское учение в его истинном смысле. В статье этой, напечатанной в газете, имеющей сотни тысяч читателей, говорится о том, что Христос не только не запрещал убийства, не только признавал необходимой смертную казнь, но упрекал людей за то, что они отменили ее. Это Христос, проявление Бога любви, того Бога, который есть любовь! И статья эта печатается, распространяется по всей России, и те мнимые христиане, которые изо всего Евангелия дорожат более всего тем местом, где говорится о том, как Христос хлестал кнутом людей в храме и как спращивал, есть ли у учеников мечи, не только не возражают, но не обращают никакого внимания на это кощунство, и статья проходит замеченной только теми, которые видят в ней новое оправдание необходимого им преступления. Статья, положим, очень неосновательна и даже глупа', но ведь либеральные газеты, по своей партийности стоящие против смертной казни, казалось, должны бы были – как они это всегда делают в обзоре печати – указать на лживость и глупость этой статьи, но я пересмотрел около десятка газет и нигде не нащел ни слова об этом кощунстве. Студент наивно спращивает, справедливо ли толкование С-на, либеральная же профессорская газета, хотя и не по случаю статьи С-на, а по случаю моей статьи о Боснии и Герцеговине, рассуждает точно так же, как и Г-н С-н, приводя в защиту насилия, как всегда, изгнание из храма. И статья, приписывающая Христу упреки тем, кто желал бы отменить смертную казнь, проходит невозбранно, одобряемая, очевидно, и правительством и либералами.

Почти в то же время на последнем заседании женского съезда происходит следующее: одна из женщин желает высказать испытываемое ею и большинством женщин тяжелое чувство, вызываемое частыми смертными казнями, но не успела она произнести слова: смертная казнь, как выступил полицейский и запретил продолжать говорить об том, что нехорошо убивать друг друга.

То же самое происходит и в Думе на другой или на третий день после статьи С-на. Один из членов Думы, узнав о том, что в одном из русских городов в один день было приговорено к задушению 32 человека, нашел, что такое количество задушенных в один раз слишком велико, и нашел нужным выразить по этому случаю

■ Не говоря уже о том, что в древнем законе не говорится о смертной казни, а о простой смерти, ни о том, что предсказывается смерть не за непрокормление, а за злословие родителей, явное значение всего места только то, что Христос, приводя слова Моисея, очевидно, говорит только о том, что надо почитать родителей, а никак не о том, что те злодеи, которые убивают теперь сотнями людей в России, поступают правильно.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

свое и своих единомышленников негодование. Как ни странно торжественное выражение негодования людей, исповедующих закон Христа, против людей, исповедующих тот же закон и занимающихся уже несколько лет задушением своих братьев и пожелавших, по мнению протестующих, задушить сразу уже слишком много людей, заявление это было сделано. И что же? Как отозвалось на это выражение негодования большинство мнимых представителей народа?

Отозвалось дикими воплями, ругательствами, отозвалось, главное,– как у всех преступников, знающих свою преступность,– тем же, чем отозвалось на выражение несочувствия убийству на женском съезде, чем выражается оно во всех цензурных распоряжениях, карающих за всякую попытку осуждения убийства, желанием во что бы то ни стало скрыть свое преступление, сделать то, что делает всякий преступник: устранить свидетелей своего преступления. Замечательно при этом особенно то, кто были те, которые больше всего старались заставить замолчать людей, выражавших негодование против смертной казни, которые особенно возмущались желанием людей прекращения братоубийства. Все это были те самые люди, которые уверяют себя и других, что они верят в какой-то устанавливаемый разными духовными и недуховными лицами закон, который они называют христианским и во имя которого они совершали, совершают и хотят продолжать совершать невозбранно свои злодейства.

В христианском государстве всякий человек, достигший возраста, должен быть солдатом, готовым к убийству. Поощряется всякая готовность к убийству. Разрешаются всякого рода истязания, отнимание земли у людей, желающих кормиться земледелием. Разрешается проституция, организуется пьянство, признается необходимым шпионство, запрещается с величайшей старательностью и заботливостью одно – высказывание несочувствия убийцам.

Разве не ясно, что люди, поступающие так, знают, кто они такие, знают, что для деятельности их нет и не может быть никакого не только религиозного или нравственного, но какого бы то ни было разумного оправдания, и что им остается одно: всякими самыми отвратительными преступлениями – убийствами, грабежами, всякого рода обманами, мошенничествами, подлостями, удерживать свое положение, чтб они и делают с удивительной наглостью и дерзостью.

Люди удивляются тому, что жизнь полна всякого рода ужасов и зла. Да разве это может быть иначе? Ведь жизнь может быть несовершенна в том обществе, где условия жизни отстают от идеала,

указываемого верой, или где самая вера включает некоторые неясности и извращения, но какая же может быть жизнь, не говорю уже нравственная, но сколько-нибудь порядочная в том обществе, где нет никакой веры, никакого определения смысла жизни и вытекающего из него руководства поведения? В Китае, в Индии, в Японии, среди тех народов, которых мы, воображающие себя христианами, считаем дикими, может протекать более или менее разумная человеческая жизнь. Если у них нет столько грамофонов, синематографов, автомобилей, туалетных украшений, аэропланов, 30-этажных домов, гор печатной бумаги и т. п., как у нас, то зато у них есть признаваемый большинством религиозно-нравственный закон и вытекающее из .него руководство поведения, которое люди считают для себя обязательным. У нас же, у так называемых христиан, есть много ненужных и вредных глупостей, которыми мы гордимся, но нет того одного, без чего жизнь человеческая не жизнь, а животное существование, нет никакого признаваемого всеми высщего закона, объясняющего смысл человеческой жизни, и вытекающего из него руководства поведения.

Удивительное дело, именно вследствие высоты, истинности и приложимости к жизни христианского религиозного учения люди, принявщие его, остались без всякого, какого бы то ни было, религиозного учения!

Христианское учение было принято людьми, живущими в обществах, соединенных только насилием, угрозой всякого рода казней против тех, кто бы захотел не подчиняться существующему насилию, и потому понятно, что сущность христианского учения, предлагавшего замену насилия любовью (а только в этом было и есть сущность христианства), не могла быть принята, но должна была быть не только старательно скрыта, но скрыта так, чтобы само христианское учение, отрицающее всякое насилие, сделалось бы оправданием, опорой, утверждением всякого насилия.

И это кажущееся при первом взгляде невозможное дело было однако сделано. Учение любви, всепрощения, воздаяния добром за зло было не только соединено, но делалось оправданием существования войск, войн, патриотизма, судов, тюрем, казней, земельной собственности и всякого рода насилий. Бесчисленное количество богословов и ученых потрудились над этим, казавшимся невозможным, трудным делом. И дело было сделано. Вместо простого, ясного христианского учения любви, отвечающего на требования души каждого человека, возникло сложное, одинаково в католичестве, православии и протестантстве хитросплетенное здание богословских и научных софизмов, с своими торжественными обрядами и бессмысленными догматами, не имеющими в себе ни

какого внутреннего содержания, но зато достигающими двоякой цели, поставленной себе властвующими классами: одной цели в том, чтобы скрыть истинное значение христианства, другой – в том, чтобы дать людям взамен христианства нечто подобное ему. И одно время обе цели были вполне достигнуты: люди не видели истинного значения христианства и слепо верили в выдуманную веру, в церковь, в папу, в догматы, таинства, искупление, мощи, иконы. Библию и, довольствуясь этой идолопоклоннической, грубой верой, покорно подчинялись властвующим классам. Так это продолжалось долгое время, но с развитием просвещения выдуманная вера эта все слабее и слабее воспринималась людьми, и наконец наступило время, когда люди увидали всю бессодержательность и внутренние противоречия этой веры и стали все более и более освобождаться от нее. Освобождаясь же от церковной веры, люди освобождались и от христианства, которое так было искусно сплетено с церковной верой, что, освободившись от церковности, они невольно освобождались и от христианства в его истинном смысле. И сделалось то, что огромное большинство христианского мира, в особенности так называемые интеллигентные классы, освободившись от лжи церковной веры, остались в самом неестественном для человека положении: без всякой веры, без всякого объяснения смысла жизни и общего, вытекающего из понимания жизни, руководства поведения. В таком положении находится огромное большинство всех достаточных классов христианского мира, и в особенности в России. Большинство людей тех классов, которые, как революционеры, так и правительственные люди, хотят и думают руководить народом, ни во что не верят, не признают никакого иного понимания смысла жизни, кроме грубого, животного эгоизма или тщеславия. Разница между теми и другими только в том, что революционеры признают свое неверие, даже хвастаются им, правительственные же деятели хвастаются тем, что верят в то, во что уже нельзя верить.

Это-то отсутствие всякой какой бы то ни было веры как в людях, борющихся с правительством, так и в людях, составляющих правительство, проявляется в самых разнообразных явлениях и в особенности резко теперь в отношении нашего русского интеллигентного общества к смертной казни.

В Думе члены выступают против смертной казни, но выступают они против нее не во имя каких-либо религиозно-нравственных основ, а только потому, что казнь противна прогрессу, что в передовых странах она все меньше и меньше применяется, и потому, что отрицание смертной казни есть сильный козырь против враждебных партий. Казалось бы, самый простой, естественный и не

отразимый довод против смертной казни был бы довод религиозный, о том, что смертная казнь несовместима с тем христианством, которого исповедниками признают себя защитники казни. Но либералы не могут воспользоваться этим доводом, во-первых, потому, что они сами не признают никакой религии и всякую религию считают остатком невежества и суеверия, во-вторых, потому, что они смутно чувствуют, что настоящее христианство должно отрицать всякое насилие. Необходимость же насилия – хотя и для противуположных целей – они признают так же, как и их противники. Противники же их, считающие себя религиозными людьми, т. е. исповедующими мнимохристианскую религию, исправленную и духовными, и гражданскими толкователями вроде Г-на С-на, считают смертную казнь до такой степени необходимым условием христианской жизни, что избавление людей от смерти, казалось бы обязательное для всякого человека, могущего совершить это избавление, представляется таким людям каким-то особенным подвигом. Так, в то время, когда я дописывал эту статью, в газетах появилось известие о том, что русский царь, как он выразился, «даровал жизнь» этим приговоренным 32 человекам. И известие это о том, что человек, который, имея возможность спасти от смерти тысячи людей, приговоренных к казни, в продолжение нескольких лет не делал этого, и только теперь, по ужасу перед приговором зараз тридцати двух людей, сделал это по отношению одной сотой тех, которые были убиты по его желанию или с его согласия, известие это вызвало среди людей, называющих себя христианами, не ужас и отвращение к этому несчастному, заблудшему человеку, а величайшие восхваления и восторги.

Да, главное бедствие наше не в деспотизме, не в ничтожности и жестокости и глупости людей, стоящих во власти, не в озлобленности революционеров, не в бедности народа, а в одном: в отсутствии религии у одних и в притворстве или самообмане других.

Одни, либералы, революционеры, воображают, что люди могут жить без религии и что у них нет религии, тогда как у них есть очень односторонняя, мелкая и ограниченная, неопределенная – чтобы не сказать глупая, религия, которую они называют наукой. Другие же, правительственные люди, охранители, воображают, что у них есть религия, тогда как у них нет никакой, а есть только тот церковный обман, который нужен им только для того, чтобы не потерять свою власть над обманутым народом.

Ты, консерватор, предписываешь казни, участвуешь в них, оправдываешь их, потому что ты озабочен благом общества. То же говоришь и ты, революционер, устраивая свои взрывы, убийст

ва, экспроприации. Но ведь вы оба ошибаетесь и только обманываете людей и часто самих себя. Ведь, во-первых, излюбленное тобою устройство жизни не может быть несомненно истинным (так же уверены другие); во-вторых, никогда не осуществляется то устройство, которое хотят установить люди, а совершается большей частью совершенно противоположное, в-третьих, всякое насилие, а потому и то, которое вы считаете себя вправе употреблять, никак не содействует, а, напротив, всегда противодействует всякому благоустройству, и в-четвертых, главное, ваше призвание в этой жизни, которая всякую минуту может прекратиться, никак не может быть ни в том, чтобы удержать существующее устройство, ни в том, чтобы установить то или другое общественное устройство, а может быть только в исполнении своих человеческих обязанностей перед Богом или перед своей совестью, если вы не признаете Бога.

И ты, человек, всякую минуту могущий умереть, не находишь ничего лучшего, как то, чтобы употребить твою жизнь на то, чтобы посредством насилия, убийств осуществлять или поддерживать излюбленное тобою общественное устройство, которое для твоей ду- щи, для исполнения твоего истинного назначения жизни совершенно не нужно.

И потому, кто бы ты ни был: царь, террорист, палач, лидер какой-либо партии, солдат, профессор, кто бы ты ни был, вопрос для тебя только один: какие твои обязанности главнее и какими для каких ты должен пожертвовать: обязанностями ли члена государства, народа, революционной партии, или обязанностями человека, члена всего настоящего, прощедшего и будущего человечества? Свойственно ли тебе, разумному существу, человеку, с злобой, раздражением и часто отчаянием употреблять твою, всякий час могущую исчезнуть, жизнь на дела насилия и убийства, во имя предполагаемого тобой наилучщего устройства, или, напротив, независимо от всякой заботы о том или другом устройстве, ставя выще всего свое человеческое достоинство, употреблять свои силы на согласные с твоей совестью дела добра и любви, которые сейчас, вполне удовлетворяя тебя, вместе с тем неизбежно приближают и все человечество не к тому фантастическому благу людей, которое каждый определяет по-своему, а к тому несомненному, хотя и неясному нам по своей форме благу, к которому не переставая стремится человечество?

Да, положение теперещнего христианского человечества ужасно. Одно утещение то, что оно так ужасно, что не может дольще продолжаться. Не могут же люди не признать наконец ту вечную, хотя и смутно, но всегда сознаваемую каждым человеком истину

о том, что людям свойственно жить не насилием, не угрозами, не убийствами, а любовью, и, сознав эту истину, не могут же не изменить сообразно ей свою деятельность. Изменение же деятельности само собой, хотя мы и не знаем как, изменит и устройство жизни людей. Да, люди не могут не сделать этого! Не могут потому, что жизнь можно изменить по сознаваемой истине, истину же нельзя изменить по той форме жизни, которая нам нравится. Тем более нельзя, что люди христианского мира уже несколько столетий пытаются делать это, и все попытки такого извращения истины и продолжения прежней жизни ведут только к все бРльшим и ббльшим бедствиям и к все ббльшему и ббльшему уяснению истины.

2 Янв. 1909.

[письмо СТУДЕНТУ о ПРАВЕ]'

Получил ваше письмо и с удовольствием отвечаю на него. То, что вы выписываете из книги Г-на Петражицкого^, показалось мне, с одной стороны, в высшей степени забавным своими императивными, атрибутивными, этическими и какими-то еще переживаниями, особенно когда я живо представил себе ту важность, с которой все это преподается почтенными, часто старыми уже людьми, и то подобострастное уважение, с которым все это воспринимается и заучивается тысячами не глупых и считающихся просвещенными молодых людей. Но кроме этой комической стороны есть в этом деле и сторона серьезная и очень серьезная. И про нее-то мне и хочется сказать то, что я о ней думаю. Серьезная сторона эта в том, что вся эта удивительная так называемая наука о праве, в сущности величайшая чепуха, придумана и распространяема не de gaiete de coeur^, как говорят французы, а с очень определенной и очень нехо-

‘ Статья представляет собой ответ на письмо студента И. Крутика, просившего Толстого высказать мнение о книге Л. И. Петражицкого «Теория права».

^ «Существенное значение этических переживаний и нравственного и правового типа в человеческой жизни состоит в том, что они 1) действуют в качестве мотивов поведения (мотивационное действие этических переживаний); 2) производят известные изменения в самой психике индивидов (педагогическое, воспитательное действие этических переживаний)...» — «Чисто моральная, беспритязательная психика — очень высокая и идеальная психика, но она требует для нормального и здорового развития характера еще другой, притязательной, правовой психики. Без такого дополнения, или, правильнее, без такого (императивно-атрибутивного) фундамента нет здоровой этики, а существует почва для разных, подчас отвратительных, уродливостей...» «В обществе принято относиться к праву, как к чему-то низшему по сравнению с нравственностью, менее ценному, менее достойному уважения. А есть учения (напр. учение Л. Толстого, разные анархистические учения), которые относятся к праву прямо отрицательно. В основе этих воззрений, как видно из всего вышеизложенного, лежит незнание природы и значения и той и другой ветви человеческой этики».— *При- меч. Л. Н. Толстого.*

® С легким сердцем *(фр.).*

рошеи целью: оправдать дурные поступки, постоянно совершаемые людьми нерабочих сословий. Серьезная сторона этого дела еще и в том, что ни на чем нельзя с большей очевидностью увидать ту низкую степень истинного просвещения людей нашего времени, как на том удивительном явлении, что собрание таких самых запутанных, неясных рассуждений, выражаемых выдуманными, ничего не значащими, смешными словами, признается в нашем мире «наукой» и серьезно преподается в университетах и академиях.

Право? Право естественное, право государственное, гражданское, уголовное право, церковное, право войны, право международное, das Recht, le Droit, право'. Что же такое то, что называется этим странным словом? Если рассуждать не по «науке», т. е. не по атрибутивно-императивным переживаниям, а по общему всем людям здравому смыслу определять то, что в действительности подразумевается под словом «право», то ответ на вопрос о том, что такое право, будет очень простой и ясный: правом в действительности называется для людей, имеющих власть, разрешение, даваемое ими самим себе, заставлять людей, над которыми они имеют власть, делать то, что им — властвующим, выгодно, для подвластных же правом называется разрещение делать все то, что им не запрещено. Право государственное есть право отбирать у людей произведения их труда, посылать их на убийства, называемые войнами, а для тех, у кого отбирают произведения их труда и которых посылают на войны, право пользоваться теми произведениями своего труда, которые еще не отобраны от них, и не идти на войны до тех пор, пока их не посылают. Право гражданское есть право одних людей на собственность земли, на тысячи, десятки тысяч десятин и на владение орудиями труда, и право тех, у кого нет земли и нет орудий труда, продавать свои труды и свои жизни, умирая от нужды и голода, тем, которые владеют землею и капиталами. Уголовное право есть право одних людей ссылать, заточать, вешать всех тех людей, которых они считают нужным ссылать, заточать, вешать; для людей же ссылаемых, заточаемых и вешаемых есть право не быть изгнанными, заключенными, повешанными до тех пор, пока это тем, кто имеет возможность это делать, не покажется нужным. То же самое и по международному праву: это право Польши, Индии, Боснии и Герцеговины жить независимо от чужих властей, но только до тех пор, пока люди, распоряжающиеся большими количествами войска, не решат иначе. Так это ясно для всякого человека, думающего не по

‘ По-английски слово *право,* das Recht, le Droit, передается словом law. Англичане совершенно основательно соединили в одно два искусственно разделенные понятия, так как правом называется только то., что утверждено законом.— *Примеч. Л. Н. Толстого.*

атрибутивно-императивным переживаниям, а по общему всем людям здравому смыслу. Для такого человека ясно, что то, что скрывается под словом «право», есть не что иное, как только самое грубое оправдание тех насилий, которые совершаются одними людьми над другими.

Но права эти определяются законами, говорят на это «ученые». Законами? да, но законы-то эти придумываются теми самыми людьми, будь они императоры, короли, советники императоров и королей, или члены парламентов, которые живут насилиями и потому ограждают эти насилия устанавливаемыми ими законами. Они же, те же люди и приводят эти законы в исполнение, приводят же их в исполнение до тех пор, пока законы эти для них выгодны, когда же законы эти становятся невыгодными им, они придумывают новые, такие, какие им нужно.

Ведь все дело очень просто: есть насилующие и насилуемые, и насилующим хочется оправдать свое насилие. И вот свои распоряжения о том, как они в данном случае и в данное время намерены насиловать людей, они называют законами, разрешение же, которое они сами себе дают совершать свои насилия, и предписания насилуемым делать только то, что не запрещается им, называют правом.

И тысячи и тысячи молодых людей старательно изучают все эти глупости – еще не беда бы была, если бы только глупости, но гадости, на которых строится этот грубый и губительный обман, и большие миллионы простых людей, доверяя тому, что им внушают «ученые», безропотно подчиняются той неестественной подавленной жизни, которая слагается для них вследствие этого проповедуемого и признаваемого «учеными» людьми обмана.

Когда какой-нибудь Шах персидский, Иоанн Грозный, Чингис Хан, Нерон режут, бьют людей тысячами, это ужасно, но все-таки не так ужасно, как то, что делают Г-да Петражицкие и им подобные. Эти убивают не людей, а все то святое, что есть в них.

Нехорошо суеверие и отчасти обман какой-нибудь разносимой по народу чудотворной иконы матушки царицы небесной, но в этом суеверии и обмане есть некоторая поэзия, кроме того, обман этот вызывает все-таки добрые чувства в людях, но в суеверии и обмане «права» нет ничего кроме самого гадкого мошенничества, желания не только скрыть от людей сознаваемую всеми нравственно-религиозную истину, но извратить ее, выдать за истину самые жестокие и противные нравственности поступки: грабежи, насилия, убийства.

Поразительны при этом и дерзость, и глупость, и пренебрежение к здравому смыслу, с которыми эти Г-да ученые вполне спокойно и самоуверенно утверждают, что тот самый обман, который более всего другого развращает людей, нравственно воспитывает их. Ведь гово

рить это можно было, и то с грехом пополам, когда происхождение «права» признавалось божественным, теперь же, когда то, что называется «правом», выражается в законах, придумываемых или отдельными людьми, или спорящими партиями парламентов, казалось бы уже совершенно невозможно признавать постановления «права» абсолютно справедливыми и говорить о воспитательном значении «права». Главное же говорить о воспитательном значении «права» нельзя уже потому, что решения «права» приводятся в исполнение насилиями, ссылками, тюрьмами, казнями, т. е. поступками самыми безнравственными. Говорить теперь об этическом, воспитательном значении «права» все равно, что говорить (да и говорили это) об этическом воспитательном значении для рабов власти рабовладельцев. Мы теперь в России с полной очевидностью видим это воспитательное значение «права». Видим, как на наших глазах развращается народ, благодаря тем неперестающим преступлениям, которые – вероятно, оправдываемые «правом» – совершаются русскими властями. Развращающее влияние деятельности, основанной на «праве», особенно резко заметно теперь в России, но то же самое всегда и везде есть, было и будет, где есть,– а оно везде есть – признание законности всякого рода насилий, включающих и убийство, основанных на «праве».

Да, воспитательное значение «права»!

Едва ли в каком-либо другом случае доходили до таких пределов и наглость лжи и глупость людей.

Этическое, воспитательное значение «права»! Ведь это ужасно. Главная причина безнравственности людей нашего христианского мира это этот ужасный обман, который называется «правом», а они говорят о воспитательном значении «права».

Ведь никто не станет спорить о том, что самые первые, невысокие требования нравственности, не говоря уже о любви, состоят в том, чтобы не делать другому, чего не хочешь, чтоб тебе делали, сострадать бедному, голодному, прощать обиды, не грабить людей, не присвоивать одним людям того, на что другие имеют одинаковое с ними право, вообще не делать того, что сознается злом всяким неиспорченным разумным человеком. И что же, как образец справедливости и исполнения нравственных требований, самым торжественным образом делается людьми, считающими сами себя учителями, руководителями людей? Охранение богатств крупных земельных собственников, фабрикантов, капиталистов, наживших свои богатства захватом земли, естественно долженствующей быть общей, или ограблением трудов рабочих, поставленных вследствие отнятия земли в полную зависимость от капиталистов; охранение такое усердное, что когда [кто]-либо из ограбленных, забитых, обманутых, со всех сторон спаиваемых одуряющими напитками людей

как-нибудь присвоит себе '/ юооооо тех предметов, которые постоянным грабежом отняты у него и его товарищей, его по «праву» судят, запирают, ссылают.

Живет владелец тысячи десятин земли, т. е. человек, противно всякой самой несомненной справедливости завладевший один естественным достоянием многих, в особенности тех, которые живут на этой земле, т. е. явно ограбивший и не перестающий грабить их. И вот один из этих ограбляемых людей, безграмотный, одуренный ложной верой, передаваемой ему из рода в род, спаиваемый правительством водкой, нуждающийся в удовлетворении самых первых жизненных потребностей, идет ночью с топором в лес и срубает дерево, необходимое ему или для постройки, или для того, чтобы на вырученные деньги купить самое необходимое. Его ловят. Он нарушил «право» владетеля 1000 десятин леса, знатоки «права» судят его и сажают в тюрьму, оставляя голодную семью без последнего работника. То же совершается везде, в сотнях, тысячах таких случаев в городах, заводах и фабриках.

Казалось бы, что не может быть нравственности без справедливости, доброты, сострадания, прощения обид. Тут все это нарушается во имя «права». И такие-то дела, совершаемые на основании «права» ежедневно повсюду тысячами, нравственно воспитывают людей!

Воспитательное, этическое влияние «права»?!

Нет ничего – даже не исключая богословия, которое так неизбежно развращало бы, не могло бы не развращать людей.

Можно только удивляться тому, как, несмотря на это постоянное и усиленное с двух сторон развращение народа, еще удержалось в нем истинное понимание справедливости, уже совершенно потерянное нерабочими сословиями.

«Если ученые господа, знаюшие все божеские и человеческие законы, притом ни в чем не нуждающиеся, богатые, считают, что надо бедняка, который по нужде, или даже по глупости, пьянству, невежеству срубил в лесу дерево или унес из завода на 2 рубля товару, посадить в тюрьму и не прощать, а морить с голоду его семью, то что же мне-то голому, безграмотному делать, когда у меня сведут лошадь. Судить, и не то что засудить, а убить конокрада?» – Так должны бы рассуждать люди из народа, но они, несмотря на все развращение, которому подвергаются от «права» и богословия, преимущественно от «права», все-таки удерживают настоящие нравственные человеческие черты, которых нет и помину у людей, устанавливающих «права» и живущих по ним.

Кант говорил, что болтовня высших учебных заведений есть большей частью соглашение уклоняться от решения трудных вопро

сов, придавая словам изменчивый смысл. Но мало того, что эта болтовня ученых имеет целью уклонение от решения трудных вопросов, болтовня эта, как это происходит при болтовне о «праве», имеет часто еще самую определенную безнравственную цель – оправдание существующего зла.

Так это в нравственном отношении, но и с точки зрения разумности вера в какую-нибудь чудотворную матушку царицу небесную, или в канонизированную на днях Жанну Дарк все-таки не так нелепа, как вера в атрибутивные, императивные переживания и т. п. Казалось бы, в наше время уже и явная неточность, софистичность самых понятий и искусственность несуществующих выдуманных слов для их выражения должны бы сразу отталкивать свежие, молодые умы от занятия такими предметами. Но по вашему письму вижу, что и теперь то же самое, что было 60 лет тому назад. Я ведь сам был юристом и помню, как на втором курсе меня заинтересовала теория права, и я не для экзамена только начал изучать ее, думая, что я найду в ней объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни людей. Но помню, что чем более я вникал тогда в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или есть что-то неладное в этой науке, или я не в силах понять ее; проще говоря, я понемногу убеждался, что кто-то из нас двух должен быть очень глуп: или Неволин, автор энциклопедии права, которую я изучал, или я, лишенный способности понять всю мудрость этой науки. Мне было тогда 18 лет, и я не мог не признать того, что глуп я, и потому решил, что занятия юриспруденцией свыше моих умственных способностей, и оставил эти занятия. Теперь же, занятый десятками лет совсем другими интересами, я как-то забыл о науке «права» и даже мне смутно представлялось, что большинство людей нашего времени уже выросли из этого обмана. Но по вашему письму я, к сожалению, вижу, что «наука» эта все еще существует и продолжает совершать свое злотворное дело. И потому я рад случаю высказать об этой науке то, что теперь о ней думаю, и полагаю, что думаю не один я, а вместе с очень многими и многими.

Не стану советовать профессорам разных «прав», проведшим всю жизнь в изучении и преподавании этой лжи и устроившим на этом преподавании свое положение в университетах и академиях и часто наивно воображающим, что, преподавая свои мотивационные действия этических переживаний и т. п., они делают что-то очень важное и полезное, не стану таким людям советовать бросить это дурное занятие, как не стану советовать это священникам, архиереям, проведшим, как и эти господа, всю жизнь в распространении и поддерживании того, что они считают необходимым и полезным. Но

вам, молодому человеку, и всем вашим товарищам не могу не советовать как можно скорее, пока голова ваша не совсем запуталась и нравственное чувство не совсем притупилось, бросить это не только пустое и одуряющее, но и вредное и развращающее занятие.

Вы пишете, что г. Петражицкий в своих лекциях упоминает о том, что он называет моим учением. Учения у меня никакого нет и не было. Я ничего не знаю такого, чего не знали бы все люди. Знаю же я со всеми людьми, с огромным большинством людей всего мира то, что все люди свободные, разумные существа, в душу которых вложен один высший, очень простой, ясный и доступный всем закон, не имеющий ничего общего с предписаниями людей, называемыми правами и законами. Высший закон этот, самый простой и доступный всякому человеку, состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя, и потому не делать другому того, чего не хочешь себе. Закон этот так близок сердцу человеческому, так разумен, исполнение его так несомненно устанавливает благо как отдельного лица, так и всего человечества и так одинаково был провозглашен закон этот всеми мудрецами мира, от Ведантистов Индии, Будды, Христа, Конфуция до Руссо, Канта и позднейших мыслителей, что если бы не те коварные и зловредные усилия, которые делали и делают богословы и правоведы для того, чтобы скрыть этот закон от людей, закон этот уже давно был бы усвоен огромным большинством людей, и нравственность людей нашего времени не стояла бы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь.

Так вот те мысли, которые вызвало во мне ваше письмо и которые я очень рад случаю высказать.

Письмо это мне бы хотелось напечатать. Если вы разрешите это, я бы напечатал его с вашим письмом.

27 Апр. 1909.
Ясная Поляна.

НЕИЗБЕЖНЫМ ПЕРЕВОРОТ

Царство Божие внутри вас и достигается усилием.

Самые глухие люди это те, которые не хотят слышать.

Французская поговорка.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Знаю, что много, много людей, особенно из числа так называемых образованных, заглянув в это мое писание и поняв, о чем идет речь, только пожмут плечами, презрительно улыбнутся и не станут читать дальше. Все старое «непротивление», как это не надоест ему, скажут они.

Знаю, что это так будет, во-первых, для людей, называемых учеными и знания которых не сходятся с тем, что я говорю, во- вторых, для людей, находящихся в увлечении деятельности правительственной или революционной, которым это мое писание ставит дилемму; признать нелепость или то, что они делали и делают годами и ради чего пожертвовали столь многим, или то, что я говорю. Будет это так и для многих людей так называемых образованных, которые в самых важных вопросах жизни привыкли, не думая своей головой, усвоивать мнения, исповедуемые окружающим большинством, оправдывающие их положение. Но знаю, что все люди, самобытно думающие, а также и большинство рабочих людей, не испорченных еще тем нагромождением пустых и ложных знаний, которое называется в наше время наукой, будут со мною. Знаю это потому, что в наше время, как для самобытно мыслящих людей, так и для огромного большинства трудящихся рабочих, становится с каждым днем все более и более очевидным и неразумие, и безнравственность причиняемых ими самим себе ненужных страданий. И те, и другие не могут уже в наше время не признать, наконец, ту простую и режущую теперь глаза истину о том, что для улучщения жизни нужно только одно,, перестать делать то, что причиняет эти страдания.

I

Человек может избежать несчастий, ниспосылаемых Небом, но от тех несчастий, которые он сам навлекает на себя, нет спасения.

Восточная пословица.

Люди жалуются на страдания, не понимая того, что они сами себе их причиняют.

Когда человек не видит связи между испытываемыми страданиями и своею жизнью, он может сделать одно из двух: или продолжать нести такие страдания, как мучения, не имеющие никакого смысла, или признать то, что страдания его суть указания на его грехи.

При первом взгляде страдания не имеют никакого объяснения и не вызывают никакой другой деятельности, кроме постоянно растущего и ничем не разрешимого отчаяния и озлобления. При втором — страдания вызывают ту самую деятельность, которая и составляет движение истинной жизни — сознание греха, освобождение от заблуждений и подчинение закону любви.

Сколько средств, чтобы быть счастливым, сколько удобств, о которых не имели понятия наши предки. И что же, счастливы ли мы? Если малое число более счастливо, то большинство тем более несчастно. Увеличивая средства жизни для малого числа богатых, заставили большинство быть и считать себя несчастными. Какое может быть счастие, которое приобретается в ущерб счастию других?

Руссо.

Казалось бы, что те внешние условия, в которых находится человечество нашего времени, должны бы были довести его благосостояние до высшей степени. Земель, пригодных для обработки, доступно людям столько, что все люди могли бы с избытком пользоваться на них всеми благами жизни. Средства передачи мыслей и передвижения (печать, почта, телеграф, железные дороги, паровые и электрические двигатели, аеропланы и др.), т. е. средства того, что более всего содействует благу людей, средства единения, доведены до высокой степени совершенства. Средств борьбы с природой, облегчений труда придумано столько, что, казалось, все люди могли бы пользоваться полным удовлетворением своих потребностей без напряжения труда, лишающего досуга и разрушающего здоровье. Все есть для того, чтобы благо людей увеличивалось, а вместо этого люди нащего времени страдают, мучаются и телесно и духовно, как никогда в прежние времена не страдали и не мучались, и страдания и мучения эти растут с каждым годом.

Скажут, страдания свойственны вообще жизни людей. Да, страдания свойственны, но не те страдания, которыми страдают теперь люди нашего мира. Свойственны жизни человеческой стра-

Дания внешние, всякого рода болезни, наводнения, пожары, землетрясения, засухи, свойственны также и страдания случайные, временные, от войн или жестокости некоторых правителей, но не те страдания, которыми не переставая страдают теперь ***все*** люди. Страдают теперь все люди; и те, которые властвуют или прямой силой или богатством, и те, которые с неперестающей ненавистью несут свою зависимость от властвующих и богатых, и страдают все уже не от внешних причин, не от землетрясений и наводнений, не от Неронов, Иоаннов Четвертых, Чингис-ханов и т. п., а страдают друг от друга, страдают оттого, что все разделены на два враждебных, ненавидящих друг друга стана: страдают одни от зависти и ненависти к тем, кто над ними властвует, другие от страха и тоже презрительного недоброго чувства к тем, над кем они властвуют, страдают и те, и другие от сознания непрочности своего положения, от той неперестающей, временами вспыхивающей и проявляющейся величайшими жестокостями, но никогда не перестающей глухой борьбы между двумя ненавидящими друг друга лагерями. Страдают особенно жестоко преимущественно оттого, что и те, и другие в глубине души знают, что причина их страданий в них самих, что им можно бы было избавиться от этих наносимых самим себе страданий, но и тем и другим кажется, что они не могут этого сделать, что виноваты не они, а враги их, и тем с большим озлоблением нападают друг на друга, и тем все больше и больше ухудшают свое положение.

Так что причина бедственности положения, в котором находится теперь человечество, причина совершенно особенная, исключительная, свойственная только нашему времени.

II

Люди так привыкли к поддержанию внешнего порядка жизни насилием, что жизнь людей без насилия представляется им невозможною. А между тем, если люди насилием могут учреждать справедливую жизнь, то те люди, которые силою учреждают такую жизнь, должны знать, в чем справедливость, и быть сами справедливы. Если же одни люди могут знать, в чем справедливость, и могут быть справедливыми, то почему же всем людям не знать этого и не быть справедливыми?

Среди китайских мудрецов был один Ми-Ти, который предлагал правителям внушать людям уважение не к силе, к храбрости, богатству, власти, а к любви. Он говорил: «Воспитывают людей так, чтобы они ценили силу, богатство, славу, и они ценят их. Воспитывайте их так, чтобы они любили любовь, и они будут любить любовь». Мен-Дзе, ученик Конфуция, не соглашался с ним и опровергнул его,

и учение Ми-Ти не восторжествовало. Это самое учение было проповедано Христом 1900 лет тому назад, и учение это, хотя и было как будто бы принято церковной верой, было этой самой церковной верой скрыто от людей.

С тех пор как мы знаем совокупную жизнь людей, мы знаем, что всегда люди соединялись между собой, кроме связей семейных, родовых, обменных, торговых, еще подчинением многих одному или нескольким властителям. Такое подчинение одних другим, большинства меньшинству, было так обще всем народам, так давно существовало, что все люди, как те, которые властвовали над многими, так и те, которые подчинялись им, считали такое устройство жизни неизбежным, естественным и единственно возможным для совокупной жизни людей. Властвующие считали, что, будучи самим Богом предназначены для властвования над народами, они должны были стараться наилучшим образом пользоваться своей властью для спокойного, мирного и счастливого жития подвластных. Так это много раз выражено во всех учениях мудрости, а также и в религиозных учениях самой древней и многочисленной части человечества; в священных книгах Китая и Индии: Шу-Кинге и законах Ману. Подвластные же считали такое устройство жизни предопределенным от Бога, неизбежным, и потому покорно подчинялись власти и поддерживали ее для возможности наибольшего пользования свободой в общении с такими же, как и они, подвластными подданными. Таково было это основанное на насилии устройство жизни. И человечество жило так веками. Так было это в Индии, и в Китае; так было это и в Греции и Риме и в средневековой Европе; так это, как это ни противно сознанию человечества нашего времени, продолжается для большинства людей и теперь. И в Европе и на Востоке люди, как подчинявшиеся, так и властвующие, жили веками, продолжают жить и теперь, не допуская в большинстве своем возможности какого-либо другого средства единения, кроме насилия. А между тем во всех религиозных учениях древнего мира: и в браминизме, и в буддизме, и в таосизме, и в конфуцианстве, а также и в учениях греческих и римских мудрецов, вместе с утверждением власти властвующих на насилии, всегда выражалось с разных сторон еще другое учение о том, что любовь людей между собою есть наилучшее средство общения людей, так как дает людям наибольшее благо. Мысль эта различно и с различной степенью ясности выражалась в разных учениях Востока, но за 1900 лет до нашего времени мысль эта с поразительной ясностью и определенностью была выражена в христианстве. Христианство указало людям не только то, что любовь есть средство общения людей, дающее им благо, но и то, что любовь есть высший закон жизни людей, и что

поэтому закон любви несовместим с прежним, основанным на насилии, устройством жизни.

Главное значение христианства и особенность его от всех прежних учений, проповедывавших любовь, было в том, что оно, провозглашая закон любви высшим законом жизни, таким, который, не допуская исключений, ***всегда*** должен исполняться, указало на те обычные отступления от закона любви, которые, вместе с признанием благодетельности любви, допускались при прежнем устройстве жизни, основанном на власти властвующих, поддерживаемой насилием. При прежнем устройстве жизни насилие, включающее в себя убийства, при защите себя, ближних или отечества, при наложении наказаний на преступников и т. п., было необходимым условием общественной жизни. Христианство же, ставящее высщим законом жизни любовь, признающее всех людей равными, проповедующее прощение всякой обиды, оскорбления, насилия, и воздаяние добром за зло, не могло допускать ни в каком случае насилия чело-, века над человеком, всегда в последнем своем проявлении требующего даже убийства. Так что христианство в своем истинном значении, признавая основным законом жизни любовь, прямо и определенно отрицало то самое насилие, которое стояло в основе всего прежнего устройства жизни.

Таково было и есть главное значение христианства. Но люди, принявщие христианство, веками жившие в сложном государственном устройстве, основанном на насилии, приняв христианство, отчасти не понимая всего его значения, отчасти понимая, но стараясь скрыть его от себя и других людей, взяли из христианства только то, что не было противно установившемуся складу их жизни. Возникшее же на первобытном христианстве церковное учение, соединив учение Христа с древнееврейским учением, уже так искусно, под различными, совершенно чуждыми христианству догматами и постановлениями, скрыло сущность христианства, что насилие, так явно несовместимое с христианством в его истинном значении, стало считаться как насилующими, так и насилуемыми не только не противным христианству учению о любви, но и вполне законным и согласным с христианским учением.

Люди жили, подчиняясь насилиям и совершая их, и вместе с тем исповедовали учение любви, явно противоречащее насилию. Внутреннее противоречие это всегда жило в христианском мире и соответственно умственному развитию людей становилось все более и более явным. В другой, ббльшей половине нехристианского человечества – Египет, Индия, Китай (я не говорю про магометан- ,ский мир, который жил по учению, вышедшему из христианства), где точно так же было – ив браминизме, и в буддизме, и в конфу

цианстве, и в таосизме – провозглашено учение любви среди людей, живших по закону насилия, противуречие этих двух несогласных начал проявлялось не так резко и сильно, как в христианстве. Но хотя в религиозных учениях Востока, Индии, Китая, не было указано с такой ясностью, как это было в христианстве, на несовместимость закона насилия и закона любви, внутреннее противоре- чение это и в нехристианском мире делало и делает свое дело, все более и более выясняя людям необходимость замены старого, отжившего начала насилия новым законом любви, с разных сторон входящим в сознание людей.

III

> Из того, что возможно насилием подчинять людей справедливости, вовсе не следует, чтобы было справедливо подчинять людей насилием.
>
> *Паскаль.*

> Насилие, производя только подобие справедливости, более всего удаляет людей от возможности жить справедливо без насилия.

В сознание людей входило все большее и большее признание закона любви, долженствовавшего заменить насилие, а между тем жизнь продолжала идти на прежних основаниях.

Так это продолжалось веками. Но пришло время, когда истина о том, что любовь есть высший закон жизни человеческой, и что поэтому насилие, несовместимое с любовью, не может быть высшим законом жизни, истина, столь свойственная духовной природе человека и выраженная более или менее ясно во всех религиозных учениях и с особенной ясностью в христианстве, несмотря на все усилия властителей и их помощников, все более и более входила в сознание Людей и в наше время более или менее сознательно уже стала достоянием большинства людей. Как нельзя затушить огонь, завалив его стружками, так же невозможно было заглушить раз возникшую в сознании людей и с такой ясностью выраженную во всех религиозных учениях и столь близкую сердцу человеческому истину о том, что свойственное природе людей единение есть единение, основанное на любви, а не насилии, страхе. И истина эта, хотя и не в прямом своем выражении, но в различных вытекающих из этой истины положениях и требованиях, все чаще и чаще проявлялась во всем мире, отыскивая свое приложение к жизни. Так, среди христианского мира истина эта, прежде, чем в других странах, проявилась в требованиях равенства граждан, людей (хотя только одного государства), в уничтожении рабства, в признании прав женщин, в учениях социализма, коммунизма, анархизма; проявлялась и проявляется эта истина и в самых раз

нообразных союзах, конгрессах мира, проявляется и во многих так называемых сектах, как христианских, так и магометанских, прямо отрицающих закон насилия и освобождающих себя от подчинения ему.

В христианском мире и близком ему магометанском истина эта более явно входила в сознание людей, но и на дальнем Востоке истина эта не переставая делала свое дело. Так что даже в Индии и Китае, где насилие утверждено религиозным законом, насилие и касты в Индии в наще время представляются людям уже чем-то несвойственным человеческой природе.

Все люди мира, хотя еще и не признавая закона любви во всем его значении, уже чувствуют всю невозможность продолжения жизни по прежнему закону насилия и ищут другой, соответствующей духовному росту человечества, основы взаимного общения...

Основа же эта есть только одна и тысячи лет тому назад уже высказана лучщими людьми мира.

IV

> Мы живем в эпоху дисциплины, культуры и цивилизации, но далеко еще не в эпоху морали. При настоящем состоянии людей можно сказать, что счастье государств растет вместе с несчастием людей. И еще вопрос, не счастливее ли мы были бы в первобытном состоянии, когда у нас не было бы этой культуры, чем в нащем настоящем состоянии.
>
> Ибо как можно сделать людей счастливыми, когда их не делают нравственными и мудрыми!
>
> *Кант.*

> Все наши благотворительные учреждения, все наши карательные законы, все наши ограничения и запрещения, которыми мы стараемся предупредить и пресечь преступления — что такое они в лучшем случае, как не выдумки дурака, который, взвалив весь груз в корзину с одной стороны осла, решил помочь несчастному животному, навалив столько же камней в корзину с другой его стороны?
>
> *Генри Джордж.*

Прежняя основа единения людей, насилие, в наще время не вну- щают людям, как прежде, слепого доверия, но представляется, напротив, чем-то уже противным их сознанию.

Люди теперь в большинстве своем более или менее живо чувствуют уже необходимость устройства жизни на других основаниях, чем насилие. Но старые обычаи, предания, воспитание, привычки, главное самое устройство жизни таково, что люди, желая делать дела, вытекающие из закона любви, приводят их в исполнение посредством насилия, т. е. посредством того, что прямо противупо-

ложно тому закону любви, во имя которого они действуют, делают то, что делают.

Так в наше время революционеры, коммунисты, анархисты, во имя любви, блага народа совершают свои разрушения, убийства. Во имя же любви, опять для блага народа устраивают правительства свои тюрьмы, крепости, каторги, казни. Во имя любви, высшего блага уже не одного, а всех народов, устраивают дипломаты свои союзы, конгрессы, опирающиеся на все увеличиваемые и все больше и больше вооружаемые войска. Во имя любви же устраивают богачи, собравшие богатство и удерживающие его только благодаря законам, утверждаемым насилием, свои всякого рода благотворительные учреждения, неприкосновенность которых удерживается опять-таки насилием.

Так это делается везде. Большое незамечаемое людьми зло насилия совершается во имя умышленно выставляемого на вид подобия добра. И как и не может быть иначе, это не только не улучшает положения, но, напротив, только ухудшает его. И потому положение людей нашего времени, становясь все хуже и хуже, стало несравненно хуже положения людей в древности. Оно стало хуже оттого, что в наше время средства насилия увеличились в сотни раз, а увеличение средств насилия увеличило и происходящее от насилия зло. Как ни жестоки и бесчеловечны могли быть Нероны и Иоанны Четвертые, у них не было тех средств воздействия на людей, какие есть теперь у Наполеонов, Бисмарков, с своими войнами, и английских парламентов с своими усмирениями индусов, и наших русских Шлиссельбур- гов, каторги, ссылки. Были в старину Соловьи-разбойники, Пугачевы, но не было тех орудий убийства, бомб, динамитов, дающих возможность одному слабому человеку убивать сотни. В старину было рабство одних у других, но не было того всеобщего захвата земли, какой есть теперь, и той трудности приобретения предметов первой необходимости, а потому и не было того отчаянного положения, в котором находятся теперь миллионы безработных, положения без сравнения худшего, чем положение прежних рабов: теперь рабочие ищут рабства и страдают оттого, что не могут найти хозяина рабовладельца. В наше время, именно вследствие непризнания причины зла в насилии и прикрывания этого зла добрыми намерениями, особенно при теперешних средствах общения, вооружения и развращения народа, положение рабочих масс дошло до высшей степени бедственности, до высшей степени дошло и их раздражение против властвующих и богатых, точно так же как до высшей степени дошло и сознание непрочности своего положения пластующих и богатых и их страх перед рабочим народом и недоброжелательство к нему.

V

Народы земли трепещут и содрогаются. Всюду чувствуется какая-то работа сил, как бы подготовляющая землетрясение. Никогда еще человек не имел за собой такой огромной ответственности. Каждый момент приносит с собой все более и более важные заботы. Чувствуется, что что-то великое должно совершиться.

Люси Малори.

Существующее устройство жизни не соответствует ни требованиям общественной совести, ни даже требованиям рассудка.

Люди разумные существа. Для чего же они в общественной жизни руководствуются не разумом, а насилием?

Продолжение жизни людей нашего времени, как властвующих, так и тех, над кем властвуют властвующие, в том положении, в котором они находятся теперь, становится все более и более невозможным. И это живо чувствуется и теми и другими. Возможна была жизнь человечества с его разделением на десятки враждебных государств, с своими императорами, королями, войсками, дипломатами, с своим отбиранием от народа произведений его труда на вооружения и содержание войск, тогда, когда народы еще наивно думали каждый про себя, что он один настоящий народ, а что все другие народы враги, варвары, и что не только похвально отдавать свои труды и жизнь на защиту своего народа и его правителей, но что это даже не может быть иначе, что это так же естественно, как кормиться, жениться, дышать. Возможна была такая жизнь людей, когда люди верили, что бедность и богатство суть условия жизни, предопределенные Богом, когда властвующие и богатые не только не сомневались в законности своего положения, но в душе своей перед Богом гордились им, считая себя избранной, особой породой людей, людей же народа, «подлых», занимающихся ручной работой или даже торговлей, считали низшей породой людей, подвластные же и бедные верили, что властвующие и богатые особенная порода людей, предназначенная на властвование самим Богом, так же как Богом же предопределена их жизнь, подвластных и бедных.

Возможно, была такая жизнь и в христианском мире, когда людям, ни властвующим, ни подчиненным, не приходило в голову усумниться в той католической, православной или лютеранской религии, которая называлась христианской, которая допускала не только полное неравенство людей, но прямое рабство их, считала возможным и даже похвальным убийство людей, когда люди так верили в эту искусственную религию, что ее не нужно было защищать ни сознательным обманом, ни насилием.

Так продолжалось веками, но пришло время, когда все то, что делало такую жизнь возможной, стало понемногу разрушаться, и наконец люди всего мира, и в особенности христианского, пришли к сознанию, более или менее ясному, того, что не они одни, немцы, французы, японцы, русские, живут на свете и не они одни хотят отстоять выгоды своего народа, но что все народы в том же положении, и что поэтому всякая война не только губительна для народных масс, не получающих от войны никаких выгод, а только лишения, но и совершенно бессмысленна; кроме того, пришли люди нашего времени и к тому более или менее ясному сознанию, что все подати, собираемые с них, не служат к их благу, а растрачиваются большей частью во вред им на войны и на роскошь властвующих, что богатство не есть нечто предопределенное свыше, как это представлялось им прежде, но есть плод целого ряда обманов, вымогательств, насилий над трудящимся народом. Знают все это в наше время в глубине души и властвующие и богатые, но не имеют сил отказаться от своих положений и или грубым насилием или обманами или уступками стараются удержать свое положение. И потому теперь, когда все люди, все, кроме того, что разделены между собою на различные народности, подавленные и желающие освободиться или желающие удержать подавленных, разделены еще везде на два озлобленно враждебные друг к другу стана; одних рабочих, обделенных, униженных и сознающих несправедливость своего положения, и других властвующих и богатых, тоже сознающих несправедливость своего положения, но во что бы то ни стало все-таки отстаивающих его, и тех и других готовых для достижения своей цели совершать и совершающих друг против друга величайшие злодеяния: обманы, кражи, шпионства, убийства, взрывы, казни – положение людей таково, что оно очевидно не может уж продолжаться.

Правда, есть еще такие люди, которые хотят уверить себя и рабочих, что вот-вот еще одно ***убедительное*** разъяснение существующей несправедливости, еще одна, самая прекрасная теория будущего устройства жизни, еще одно небольшое усилие борьбы с врагами – и установится наконец тот новый порядок, при котором не будет уже зла и все люди будут благоденствовать. Есть такие же люди и среди властвующих. Люди эти стараются уверить себя и других, что человечество не может жить иначе, как так, как оно жило веками, тысячелетиями, что изменять ничего не нужно, что стоит только, как ни неприятно это, неукоснительно подавлять силой все попытки изменения существующего строя и, не отказывая в «разумных» требованиях народа, твердо вести его по пути умеренного прогресса, и всем будет хорошо.

Есть такие верующие и в, том и в другом лагере, но люди уже не верят им, а два враждебные лагеря все резче и резче разделяются:

становится все больше и больше зависть, ненависть, злоба рабочих к властвующим и богатым, и все больше и больше страх и ненависть властвующих и богатых к рабочим и обделенным, и все больше и больше заражают обе стороны друг друга взаимной ненавистью.

VI

> Пора перестать верить в обман о том, что религия неподвижна. Верить в неподвижность религии — все равно, что верить в неподвижность того корабля, на котором мы плывем. Неподвижно подобие религии, культ; истинная же религия, сознание смысла жизни и вытекающего из него руководства, не может быть неподвижною, а не переставая движется и движением своим изменяет жизнь человечества.

Положение людей нашего времени ужасно. Причина же этого ужасного положения та, что мы, люди нашего времени, живем не по тому миросозерцанию, которое свойственно нашему сознанию, а по тому миросозерцанию, которое за тысячи лет до нашей эры было свойственно нашим предкам, но теперь уже не может удовлетворять нашим духовным требованиям. Причина в том, что мы, более или менее ясно сознающие уже теперь ту основу любви, которая, заменив насилие, может и должна соединить людей, все еще живем тем насилием, которое в прежние времена соединяло людей, но теперь уже несвойственно нам, противно нашему сознанию и потому не только не соединяет, но теперь только разъединяет людей.

Может ли быть счастлив, или вернее, не быть несчастлив старик, который захотел бы жить жизнью молодости, или взрослый человек, желающий жить жизнью ребенка? И сколько бы ни старался человек продолжать жить несвойственной уже ему жизнью прежнего возраста, он, если не разумом, то страданиями, волей или неволей будет приведен к необходимости жить сообразно своему возрасту.

То же самое с обществами людей и со всем человечеством, если оно руководствуется в своей жизни не свойственным его возрасту сознанием, а тем, которое уже давно пережито им. А это самое совершается теперь с человечеством нашего времени.

Мы не знаем и не можем знать условий ни рождения, ни происхождения, ни исчезновения как отдельного человека, так и человечества, но в пределах доступного нам времени знаем и несомненно знаем, что жизнь человечества всегда подчинялась и подчиняется тому же самому закону постепенного роста и развития, которому подчиняется и жизнь отдельного человека. Как и в жизни каждого отдельного человека мы видим, что человек в главном направлении своей деятельности руководится пониманием смысла своей жизни, т. е. своим

сознательным или бессознательным религиозным мировоззрением, то же самое видим мы и в жизни всего человечества.

И как жизнь отдельного человека не переставая изменяется соответственно его росту, т. е. согласно с изменением общего понимания смысла своей жизни, точно так же не переставая изменяется и не может не изменяться и жизнь не перестающего расти, подвигаться вперед к более разумной жизни всего человечества. И точно так же, как естественно, почти неизбежно задерживается всегда движение вперед отдельного человека тем, что, усвоив привычки прежнего, пережитого им возраста, он не охотно, не скоро расстается с ними, часто умыщленно старается, отдаваясь деятельности прежнего возраста, оправдать различными придумываемыми рассуждениями продолжение прежней, уже несвойственной ему жизни, так точно и человечество, естественно по инерции задерживаясь на предшествующем, пережитом уж складе жизни, оправдывает для самого себя эти задержки придуманными рассуждениями, принимающими для человечества всегда вид ложных религиозных вер и одинаково ложных научных построений.

Много есть суеверий, от которых страдают люди, но нет более общего, более губительного по своим последствиям суеверия, чем то, по которому люди уверяют себя в том, что сознание человечества (то, которое выражается учениями о смысле жизни и о вытекающем из него руководстве поведения, называемыми религиями), что это сознание может остановиться и быть одно и то же во все времена жизни людей.

Вот это-то суеверие, побуждавщее человеческие общества жить по религиозным и научным учениям, всегда отстающим от постоянно развивающегося сознания человечества, и было всегда одним из главных источников тех бедствий, которые постигали человеческие общества. И бедствия эти бывали всегда тем больще, чем большая часть человечества подвергалась этим задержкам в движении и чем дольше они продолжались.

Бывает так, что эти задержки захватывают и особенно ярко выражаются и разрешаются в одной небольшой части человечества, но бывает и так, что задержки эти захватывают жизнь всего человечества, как это происходит теперь.

Так, например, задержка движения к более разумной жизни одной части человечества, произведенная злоупотреблениями Римской церкви, дошедшими до крайнего извращения сущности учения Христа, захватила только небольшую часть человечества, подпавшую несоответствующему сознанию людей суеверию папства, и бедствия, вызванные реформацией и последовавшими за ней войнами, продолжались относительно недолго.

Но бывает и так, что уже не известные народы и не по отношению одного какого-либо вопроса местного, религиозного или общественного, а все человечество и по отношению не частных вопросов, но общих всем народам основ жизни живет веками несоответственно своему сознанию. И тогда бедствия, вытекающие из таких зедержек жизни, ведомой по несоответствующим уже сознанию людей религиозным началам, продолжаются особенно долго и бывают особенно велики. И таково то положение, в котором живет теперь уже не часть, а все человечество вследствие того, что, продолжая еще по инерции повсюду руководствоваться для единения людей между собой когда-то неизбежным и общим всем народам насилием, люди все более и более ясно сознают уже другое, высшее начало любви, долженствующее заменить прежние приемы насилия.

VII

Невозможность продолжения той жизни, которой мы живем теперь, чувствуется уже всеми мыслящими людьми нашего времени. Все, что мы называем культурой; наши науки, искусства, усовершенствования удобств и приятностей жизни, все это только усилия заглушить в человеке сознание этой невозможности. Но все усилия эти в наше время оказываются тщетными: невозможность эта чувствуется и сознается уже не как далекое будущее, а как наступившее настоящее, которое нельзя обойти, а к которому, хочешь или не хочешь этого, надо отнестись так или иначе.

Мы живем в важное время. Никогда людям не предстояло столько дела. Наш век есть век революций в лучшем смысле этого слова — не материальной, но нравственной революции. Вырабатывается высшая идея общественного устройства и человеческого совершенства.

Чаннинг.

Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко живется, пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что все выгоды работы — для других, и те и другие считали это естественным порядком,— мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину — и тогда она их не теснит. Но когда они однажды поняли, что их исти-на— вздор,— дело кончено. Тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым (и только на самое короткое время. *Л. Т.).*

Герцен.

Три, два века тому назад люди, призываемые в войско по повелению главы государства, ни на минуту не сомневались в том, что как ни трудно, то, чего от них требуют, они, идя на войну, делают не только хорошее, но неизбежно необходимое дело, жертвуя своей

свободой, трудом, даже жизнью для святого дела: защиты отечества против врагов его, главное же исполняя волю Богом поставленного владыки. Теперь же всякий человек, которого гонят на войну (особенно содействовала уничтожению патриотического обмана общая воинская повинность), всякий знает, что те, против кого его гонят, такие же люди, как и он, так же обмануты своими правительствами, а зная это, не может уже не видеть в особенности в христианском мире всего безумия и безнравственности того дела, к которому его принуждают. А понимая безумие и безнравственность дела, к которому его призывают, не может не презирать и не ненавидеть тех людей, которые принуждают его.Точно так же в старину люди, отдавая свои подати, т. е. свои труды правительствам, были уверены, что отданное правительству необходимое для важных и нужных дел; кроме того, считали тех людей, которые распоряжались этими произведениями их труда, чуть не святыми, безгрещными людьми. Теперь же почти всякий рабочий считает правительство если не щайкой разбойников, то во всяком случае людьми, озабоченными своими интересами, а никак не интересами народа, и необходимость отдавать свои труды в их распоряжение только временным бедствием, от которого он желает всеми силами дущи и надеется тем или иным способом скоро освободиться.

200, даже 100 лет тому назад люди смотрели на богатство как на достоинство и на собирание богатства как на добродетель и уважали богатых и старались подражать им, теперь люди, в особенности бедные, презирают и ненавидят богатых только за то, что они богаты, всякие же попытки богатых тем или иным путем поделиться с бедными вызывают в этих самых бедных только еще большую ненависть к богатым.

В прежние времена властители и богатые верили в свое положение и знали, что рабочий народ верит в его законность, и народ действительно верил в предопределенность положения и своего и своих властителей. Теперь же и те, и другие знают, что нет никакого оправдания ни властвованию правителей, ни богатству богатых, ни задавленности рабочих, и что для того, чтобы властителям и богатым удержать свое положение, а рабочим освободиться от своей задавленности, надо и тем и другим не брезгать употреблением для этого всевозможных средств: обманов, подкупов, убийств. И те и другие делают это и, что хуже всего, делая это, в глубине души большей частью знают, что ничего не достигнут этим, и что продолжение такой жизни становится все более и более невозможным, и ищут и не находят выхода из этого положения. А выход неизбежный и один тот же для всех все яснее и яснее представляется людям. Выход один: освобождение себя от той когда-то свойственной человечеству веры

в необходимость и законность насилия и усвоение отвечающей теперешнему возрасту человечества, однако проповеданной во всех религиях мира, веры в необходимость и законность любви, исключающей какое бы то ни было насилие человека над человеком.

Перед этим-то решительным шагом, который предстоит в наше время всему человечеству, и стоят теперь в нерешительности люди нашего мира и времени.

Но хотят ли или не хотят этого люди, они не могут не совершить шаг этот. Не могут не совершить его, потому что то религиозное верование, которое обосновывало власть одних людей над другими, отжило свое время, новое же, соответственное времени верование в высший закон любви все более и более входит в сознание людей.

VIII

Для чего же разум людей, если на них можно воздействовать только насилием?

Ничто не препятствует столько улучшению общественного устройства, как предположение о том, что такое улучшение может быть достигнуто изменением внешних форм. Ложное предположение это направляет деятельность людей на то, что не может содействовать, и отвлекает от того, что может содействовать улучшению жизни людей.

Мы так привыкли к рассуждениям о том, что одним людям свойственно устраивать жизнь других людей, людей вообще, что такие рассуждения нам не кажутся странными. А между тем такие рассуждения не могли бы никогда существовать между религиозными, и потому свободными людьми. Такие рассуждения суть последствия суеверия признания законности власти одних людей над другими.

Суеверие это не только совершенно бессмысленно, потому что нет никакого основания, почему одни люди — и большинство — должны подчиняться воле других — меньшинству, да еще наименее нравственных людей: оно еще и особенно вредно тем, что ослабляет во всех людях сознание необходимости исправлять себя, тогда как это одно единственное действительное средство воздействия на других людей.

Казалось бы, что бедствия, вытекающие из насилий, производимых людьми друг над другом, должны бы вызывать в них мысль о том, что они сами виноваты в этих бедствиях. А если люди сами виноваты, а я человек, стало быть, и я виноват, казалось бы, должен сказать себе каждый, а потому и спросить себя, в чем моя вина в претерпеваемых мною и всеми людьми бедствиях?

Так, казалось, должно бы быть,.но суеверие о том, что одни люди не только имеют право, но и призваны и могут устраивать жизнь дру

гих людей, вследствие долгой жизни, основанной на насилии, до такой степени укоренилось в привычках людей, что мысль о своем участии в дурном устройстве жизни людей никому не приходит в голову. Все обвиняют друг друга. Одни обвиняют тех, которые, по их мнению, обязаны устраивать их жизнь и устраивают ее не так, как они считают это нужным. Другие же, устраивающие чужую жизнь, недовольны теми, жизнь которых они устраивают. И как те, так и другие думают о самых сложных и трудных вопросах, но не задают себе только одного, самого, казалось бы, естественного вопроса: что мне делать для того, чтобы изменилось то устройство жизни, которое я считаю дурным и в котором так или иначе не могу не участвовать.

«Любовь должна заменить насилие. Допустим, что это так, скажут люди, но как, каким путем должен и может произойти этот переворот? ***Что делать*** для того, чтобы переворот этот мог совершиться, чтобы жизнь насильническая заменилась жизнью мирной, любовной?»

Что делать? спрашивают одинаково и властители, и подвластные, и революционеры, и общественные деятели, подразумевая под вопросом: что делать? всегда вопрос о том, как должна быть устроена жизнь людей.

Все спрашивают, как должна быть устроена жизнь людей, т. е. что делать с другими людьми? Все спрашивают, что делать с другими, но никто не спрашивает, что мне делать с самим собою?

Суеверие неподвижности религии, породившее признание законности властвования одних людей над другими, породило еще и это другое, вытекающее из первого, суеверие, больше всего препятствующее людям перейти от жизни насильнической к жизни мирной, любовной, суеверие о том, что одни люди должны и могут устраивать жизнь других людей.

Так что главная причина коснения людей в складе жизни, уже признаваемом ими ложным, заключается в удивительном (проис- шедщем от суеверия неподвижности религии) суеверии о том, что одни люди не только могут, но и имеют право вперед определять и насилием устраивать жизнь других людей.

Стоит освободиться людям от этого обычного суеверия, и тотчас же стало бы ясно всем, что устраивается жизнь всякого соединения людей только так, как каждый сам для себя устраивает свою жизнь. А поняли бы это люди, как те, которые устраивают жизнь других, так и те, которые подчиняются этому устроению, так очевидно бы стало всем, что всякое насилие человека над человеком ничем не может быть оправдываемо и есть не только нарущение любви или даже спра-, ведливости, но и здравого смысла.

Так что избавление людей от тех бедствий, которые они переживают в наше время, прежде всего в освобождении себя от суеверия о неподвижности религии, а потому и от ложного уже пережитого людьми нашего времени религиозного учения о божественности власти и вытекающего из него признания законности и полезности насилия.

IX

Не противиться злому силою не значит, что нужно отказаться и от охраны жизни и трудов своих и других людей, а значит только, что охранять все это нужно иным способом, не противоречащим высшему разумному существу в человеке; охранять жизнь и труды других людей и свои нужно пробуждением в нападающем злодее жизни разумного существа. Способ этот состоит преимущественно в собственном духовном совершенстве, необходимом для приобретения силы воздействия на других добром, любовью, разумным освещением. Если я вижу, например, что один человек намерен убить другого, то самое большее, что я могу предпринять, это поставить самого себя на место убиваемого и сказать злодею: «Вот тебе моя грудь, убей прежде меня, потому что я не могу выносить и не могу допустить, пока жив, человекоубийства»,— и защитить, закрыть собою того человека и, если можно спасти, утащить, спрятать его, все равно, как я стал бы спасать человека на пламени пожара или утопающего: либо самому гибнуть, либо спасти. Если же я оказываюсь бессильным в этом способе, потому что я сам заблудший грешник, то это мое бессилие не дает мне права на грех, права пробуждать в себе зверя, еще более усиливать беспорядок в своей душе и вносить беспорядок в мир злом насилия и его оправданием.

Бука.

«Хорошо, любовь вместо законов, приводимых в исполнение насилием. Допустим, что признание всеми людьми средством единения между собою любви вместо насилия увеличило бы благо людей, но оно увеличило бы его только тогда, когда все люди признавали бы для себя обязательным закон любви», говорят обыкновенно. «Но что будет со всеми теми, кто откажется от насилия, живя среди людей, не отказавшихся от него? Людей этих лишат всего, будут мучить, люди эти будут рабами людей, живущих насилием».

Так всегда и все одно и то же и не стараясь понимать того, что включено в самом учении любви, говорят защитники насилия.

Не стану говорить о том, что если насилие когда-либо защищало жизнь и спокойствие людей, то бесчисленное количество раз оно напротив было причиной величайших бедствий, которые не могли бы быть, если бы люди не допускали насилия. Не буду говорить про

все те ужасы, которые с самых древних времен совершались во имя признания необходимости насилия, ни про ужасы древних и средневековых войн, ни про ужасы большой французской революции, про 30000 коммунаров 70 года, про ужасы наполеоновских, франко-прусских, турецкий, японских войн, индийских усмирений, теперешних персидских дел, теперь совершающейся резни армян, убийств и казней в России, ни миллиардов непрестанно погибающих от нужды и голода рабочих. Взвесить и решить вопрос о том, больше или меньше было или будет матерьяльных зол от применения в общественной жизни насилия или закона любви, мы никак не можем, потому что не знаем – и не можем знать – того, что бы было, если бы хотя бы и малая часть людей следовала закону любви, а большая [жила бы насилием]. Вопрос этот никак не может быть решен ни опытом, ни рассуждением. Вопрос этот вопрос религиозно-нравственный и потому решается не опытом, а внутренним сознанием, как и все вопросы религиозно-нравственные, решается не соображениями о том, что выгоднее, а тем, что человек признает хорошим и что дурным, что должным и что недолжным.

Ни на чем, как на отношении людей нашего мира к вопросу о применении к жизни закона любви и неразрывно связанному с ним понятию непротивления злу насилием, так не видно полного отсутствия в людях нашего времени не только христианского верования, но хотя какого бы то ни было религиозного верования, и не только какого бы то ни было религиозного верования, но даже и понимая того, в чем состоит религиозное верование.

«Закон любви, исключающий насилие, неисполним, потому что может случиться, что злодей на наших глазах будет убивать беззащитного ребенка», говорят люди.

Люди эти не спрашивают о том, что им делать, когда они видят ведомого на казнь человека, или когда видят обучаемых к убийству людей, или когда видят замариваемых на фабриках нездоровым трудом работников, женщин, детей. Все это они видят и не только не спрашивают, что им при этом делать, но сами участвуют в этих делах, в казнях, солдатских обучениях, войнах, в замаривании рабочих и во многих других таких же делах. Но вот, видите ли, их всех очень занимает и беспокоит вопрос о том, как им поступить с убиваемым на их глазах воображаемым ребенком. До такой степени трогает их судьба этого воображаемого ребенка, что они никак не могут допустить, чтобы одним из необходимых условий любви было бы неупотребление насилия. В сущности же занимает этих людей, желающих оправдать насилие, никак не судьба воображаемого ребенка, а своя судьба, своя вся основанная на насилии, жизнь, которая при отрицании насилия не может продолжаться.

Защитить убиваемого ребенка всегда можно, подставив свою грудь под удар убийцы, но мысль эта, естественная для человека, руководимого любовью, не может прийти в голову людям, живущим насилием, так как для этих людей нет и не может быть никаких других кроме животных – побуждений к деятельности.

В действительности же вопрос о приложении к жизни требований любви сводится к самому простому умозаключению, умозаключению, всегда признававщемуся и не могущему не признаваться разумными людьми, а именно тому, что любовь, несовместимая с деланием другому чего себе не хочешь, несовместима поэтому и с ранами, лишением свободы, убийствами других людей, которые всегда неизбежно включены в понятие насилия. И потому можно жить насилием, не признавая закона любви религиозным законом любви; можно жить и по закону любви, не признавая необходимости насилия, но признавать божественными и закон власти, т. е. насилия, и таким же божественным и закон любви, казалось бы, невозможно. А между тем в этом самом вопиющем противоречии живут все люди нашего времени и в особенности люди христианского мира.

X

Если ты страдаешь от зла существующего устройства мира или возмущаешься им, то знай, что для борьбы с этим порядком есть только одно средство: усиление в людях религиозного сознания.

Понятно, что такое усиление должно произойти прежде всего в тебе самом, и это усиление религиозного сознания в тебе есть могущественнейшее средство усиления его в других.

Чем больше будут верить люди в то, что они могут быть приведены чем-то внешним, действующим само собою, помимо их воли, к изменению и улучшению своей жизни, тем труднее совершится это изменение и улучшение.

«Но ЭТО все общие рассуждения. Допустим, что я верю в закон любви», скажут на это. «Что делать мне, Ивану, Петру, Марье, каждому человеку, если он признает справедливость того, что человечество дожило до необходимости вступления на новый путь жизни? Что делать мне, Ивану, Петру, Марье, для того, чтобы уничтожилась та дурная жизнь насилия и установилась бы добрая жизнь по любви? Что именно надо делать мне, Ивану, Петру, Марье, для того, чтобы содействовать этому перевороту?»

Вопрос этот, несмотря на то, что он кажется нам столь естественным, так же странен, как странен бы был вопрос человека, губящего свою жизнь пьянством, игрой, распутством, ссорами, который бы спрашивал: что мне делать, чтобы улучшить свою жизнь?

Как ни совестно отвечать на такой наивный вопрос, все-таки отвечу для тех, кому такой ответ может быть нужен.

Ответ на вопрос о том, что надо делать человеку, осуждающему существующее устройство жизни и желающему изменить и улучшить его, ответ простой, естественный и один для каждого, не одержимого суеверием насилия человека, такой:

Первое: ***перестать самому делать прямое насилие, а также и готовиться к нему.*** Это первое, второе ***не принимать участия в каком бы то ни было насилии, делаемом другими людьми, и также в приготовлениях к насилию.*** Третье ***не одобрять никакое насилие.***

1) Не делать самому прямого насилия значит не хватать никого своими руками, не бить, не убивать, не делать этого для своих личных целей, а также и под предлогом общественной деятельности.

2) Не принимать участия в каком бы то ни было насилии значит не только не быть полицмейстером, губернатором, судьей, стражником, сборщиком податей, царем, министром, солдатом, но и не участвовать в судах просителем, защитником, сторожем, присяжным.

3) Не одобрять никакое насилие значит, кроме того, чтобы не пользоваться для своей выгоды никаким насилием, ни в речах, ни в писаниях, ни в поступках не выражать ни похвалы, ни согласия ни с самым насилием, ни с делами, поддерживающими насилие или основанными на насилии.

Очень может быть, что если человек будет поступать так, откажется от солдатства, от судов, от паспортов, от уплаты податей, от признания властей и будет обличать насильников и их сторонников, подвергнется гонениям. Весьма вероятно, что такого человека по нынешним временам будут мучать: отнимут у него имущество, сошлют, запрут в тюрьму, может быть и убьют. Но может быть и то, что человек и не делающий ничего этого и напротив исполняющий требования властей, пострадает от других причин точно так же, а может быть и еще больше, чем тот, который откажется от повиновения. Так же, как может быть и то, что отказ человека от участия в насилии, основанный на требованиях любви, откроет глаза другим людям и привлечет многих к таким же отказам, так что власти не будут уже в состоянии применить насилие ко всем отказавшимся.

Все это может быть, но может и не быть. И потому ответ на вопрос о том, что делать человеку, признающему истинность и приложимость к жизни закона любви, не может быть основан на предполагаемых последствиях.

Последствия наших поступков не в нашей власти. В нашей власти только самые поступки наши. Поступки же, какие свойст

венно делать и, главное, какие свойственно ***не делать*** человеку, основываются всегда только на вере человека. Верит человек в необходимость насилия, религиозно верит, и такой человек будет совершать насилия не во имя благих последствий, которых он ожидает от насилия, а только потому что верит. Если же верит человек в закон любви, то он точно так же будет исполнять требования любви и воздерживаться от поступков, противных закону любви, независимо от каких бы то ни было соображений о последствиях, а только потому что верит и оттого не может поступить иначе.

И потому для осуществления в жизни закона любви и замены им закона насилия, нужно только одно; то, чтобы люди верили в закон любви так же, как они верят теперь в необходимость насилия. Поверь только люди в закон любви хоть приблизительно так же, как они верят теперь в необходимость насилия, и вопрос о том, как поступать людям, отказавшимся от насилия, с людьми, совершающими насилия, перестанет быть вопросом, и жизнь людей без всякий усилий и потрясений сложится в неизвестную нам форму жизни, к которой идет человечество и которая избавит его от тех зол, от которых оно страдает теперь.

Возможно ли это?

XI

> Стоит человеку отвернуться от разрешения внешних вопросов и поставить себе единый истинно свойственный человеку внутренний вопрос: как ему лучше прожить свою жизнь? чтобы все внешние вопросы получили наилучшее разрешение.
>
> Мы не знаем, не можем знать, в чем состоит общее благо, но твердо знаем, что достижение блага возможно только при исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку.
>
> Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать,— как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества!
>
> **Г***ерцен.*

Разрешение не одного вопроса общественного устройства, а ***всех,*** всех вопросов, волнующих человечество, в одном, в перенесении вопроса из области кажущейся широкой и значительной, но в сущности самой узкой, ничтожной и всегда сомнительной: из области внешней деятельности (имеющей, будто бы, в виду благо всего человечества, деятельности научной, общественной) в область, кажущуюся узкой, но в сущности самую широкую и глубокую

и, главное, несомненную; в область своей личной, не телесной, но духовной жизни, в область религиозную.

Только сделай это для себя каждый человек, спроси себя, настоящего себя, свою душу, что тебе перед Богом или перед своей совестью (если не хочешь признавать Бога) нужно, и тотчас же получатся самые простые, ясные, несомненные ответы на самые казавшиеся сложными и неразрешимыми вопросы, уничтожатся большей частью и самые вопросы, и все, что было сложно, запутанно, неразрешимо, мучительно, все тотчас же станет просто, ясно, радостно и несомненно.

Кто бы ты ни был: император, король, палач, миллиардер, тюремщик, нищий, министр, вор, писатель, монах, остановись на минуту в своей деятельности и загляни в свою святую святых, в свое сердце и спроси себя, что тебе, настоящему тебе нужно для того, чтобы прожить наилучшим образом те часы или десятилетия, которые еше могут предстоять тебе. И кто бы ты ни был, если ты только искренно и серьезно спросишь себя об этом, ты не можешь не ответить себе то же, что отвечали и отвечают себе все люди, серьезно и искренно ставившие и ставящие себе вопрос этот: нужно тебе одно, наверное одно, то самое, что всегда было и теперь нужно для всех: благо, истинное благо, не такое благо, которое нынче может быть благом, а завтра может стать злом, и не такое, какое было бы благом для одного тебя, а злом для других, а одно истинное несомненное благо, такое благо, которое благо и для тебя, и для всех людей, и сегодня и завтра и во всяком месте. А такое истинное благо дается только тому, кто исполняет закон своей жизни. Закон же этот ты знаешь и по разуму, и по учениям всех мудрецов мира, и по влечению своего сердца. Закон этот любовь: любовь к высшему совершенству, к Богу и ко всему живому и в особенности к подобным себе существам – людям.

Только пойми это каждый из нас, и он тотчас же поймет и то, что причина страданий и своих и всего мира не в каких-либо злых людях, виновных в том зле, которое совершается, а только в одном; в том, что живут люди в условиях жизни, сложившихся на насилии, условиях, противных любви, несовместимых с нею, и что потому причина того зла, от которого мы все страдаем, не в людях, а в том ложном устройстве жизни на насилии, которое люди считают необходимым.

А пойми это каждый человек – и он поймет, что ворующий вор и богач, скопляющий и удерживающий богатства, и властитель, подписывающий смертный приговор, и палач, приводящий его в исполнение, и революционер, бросающий бомбу, и дипломат, приготавливающий войну, и проститутка, отдающая на поругание свою

душу и тело, и солдат, стреляющим в того, в кого ему велят, все одинаково не виноваты, а делают то, что делают, только потому, что живут по ложной вере в [необходимость] насилия, без которого они не могут себе представить жизни.

А поймет это человек, и он ясно увидит всю несправедливость, жестокость, неразумность осуждения людей, приведенных своей отжившей верой в насилие и вытекающими из нее сложными условиями жизни к своим противным любви поступкам, поймет то, что люди делают дурное не потому что они виноваты, а потому что существует то суеверие насилия, которое может быть уничтожено никак не насилием же, а только освобождением себя, каждым человеком, от этого губительного суеверия.

Освобождение же от суеверия насилия в одном: в освобождении себя от общих мнимоважных вопросов общественной жизни, в перенесении всех усилий духа из области общественной, внещ- ней деятельности, в исполнении требований своей внутренней духовной жизни. Требования же эти ясно выражены в учениях всех религиозных учителей человечества, а также в внутреннем сознании каждого человека; требования эти в увеличении в себе каждым человеком способности любви.

XII

Заканчивая свою миссию, Иисус установил основание нового общества. До него народы принадлежали одному или многим господам, как стада принадлежат хозяевам... Князья и сильные давили народ всей тяжестью своей гордости и корыстолюбия. Иисус кладет конец этому неустройству, поднимает согбенные головы, освобождает рабов. Он научает их тому, что, будучи равными перед Богом, люди свободны друг перед другом, что никто не может иметь сам по себе власти над своими братьями, что равенство и свобода — божественные законы человеческого рода — ненарушаемы: что власть не может быть правом; что в общественном устройстве она есть должность, служение, некоторого рода рабство, свободно принятое на себя в виду общего блага. Таково общество, которое устанавливает Иисус.

Это ли мы видим в мире? Это ли учение царствует на земле? Слуги или господа — князья народов в нащем мире?

В продолжение 18 веков поколение за поколением передает друг другу учение Христа и говорят, что верят в него. А что же изменилось в мире? Народы задавленные и страдающие все еще ждут обещанного освобождения, и не оттого, чтобы слово Христа было неверно или недействительно, но оттого, что народы или не поняли, что осуществление учения должно совершиться их собственными усилиями, их твердой волей, или, заснувши в своем унижении, не сделали того одного, что дает победу — не готовы были

за истину. Но они проснутся. Уже что-то шевелится среди них: они слышат уже голос, который говорит: спасение близко.

Ламенэ».

Истинное направление мысли состоит не в том, чтобы установить новые законы для светской или духовной власти, а в том, чтобы признать личность человека и скрытую в ней власть. Такое направление мысли будет содействовать прогрессу человечества несравненно более, чем все несчастные попытки слепых предводительствовать слепым, при которых все они падают в яму догматов, авторитетов и нравственных систем.

Иатс.

В наше время продолжение жизни на основах отжитых и резко противуположных сознаваемой уже всеми истине стало невозможно, и потому, хотим ли мы или не хотим этого, мы должны в устройстве своей жизни поставить закон любви на место насилия. Но как же сложится жизнь людей на основании любви, исключающей насилие? На вопрос этот никто не может ответить, да кроме того, ответ этот и не нужен. Закон любви не есть закон общественного устройства того или другого народа или государства, которому можно содействовать, когда предвидишь, или скорее, воображаешь, что предвидишь те условия, при которых совершится желательное изменение. Закон любви, будучи законом жизни каждого отдельного человека, есть вместе с тем и закон жизни всего человечества, и потому безумно было бы воображать, что можно знать и желать знать конечную цель как своей жизни, так тем более жизни всего человечества.

То, что мы не знаем и не можем даже себе представить того, какая будет жизнь людей, верящих в закон любви, так же, как верят теперь люди в необходимость насилия, показывает только то, что, следуя закону любви, мы истинно живем, делая то, что должно каждый для себя и то, что должно для жизни всего человечества. То, что, следуя закону любви, мы делаем то, что должно для себя, мы знаем потому, что, только следуя этому закону, мы получаем наибольшее благо. То же, что, следуя этому закону, мы делаем и то, что должно [и] для всего человечества, мы знаем потому, что благо человечества в единении, а ничто не может по самому свойству своему так тесно и радостно соединять людей, как тот самый закон любви, который дает и высшее благо каждому отдельному человеку.

Вот все, что я хотел сказать.

Всей душой веря в то, что мы живем накануне всемирного великого переворота в жизни людей, и что всякое усилие для скорейшего разрушения того, что не может не быть разрушено,

и скорейшего осуществления того, что не может не быть осуществлено, всякое усилие, хотя бы и самое слабое, содействует наступлению этого переворота, я не мог, доживая по всем вероятиям последние дни моей жизни, не попытаться передать другим людям эту мою веру.

Да, мы стоим на пороге совсем новой радостной жизни, и вступление в эту жизнь зависит только от нащего освобождения себя от все более и более мучающего нас суеверия необходимости насилия для совокупной жизни людей и признания того вечного начала любви, которое уже давно живет в сознании людей и неизбежно должно заменить отжитое и уже давно ненужное и только губительное для людей начало насилия.

Лев Толстой.

Ясная Поляна.
5 Июля 1909 г.

ЕДИНАЯ ЗАПОВЕДЬ

Бог есть любовь.

I поел. Иоанна IV, 16.

Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.

I поел. Иоанна IV, 12.

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Мтф. XXII, 36-40.

I

Учение Евангелия содержит простую веру, а именно, веру в Бога и почитание Его, или, что то же самое, послушание Его закону. Весь же закон Его только в одном: любить ближнего.

Спиноза.

Христианская вера – вся в любви. Все мы знаем это. И знаем не только потому, что это написано в книге Евангелии, но потому, что это написано в душах наших. Скажи о любви какому хочешь человеку; русскому, немцу, китайцу, японцу, индусу, скажи это вору, разбойнику, палачу, нет того человека, который бы не согласился с тем, что лучше жить людям по любви, чем так, как они живут теперь. И мало того, что каждый знает, что лучше жить по любви, чем во вражде и ненависти, каждый знает и то, что можно так жить.

Отчего же мы, христиане, не говорю уже про. людей других вер, а мы, те самые христиане, которые, как все другие люди, знаем, что

хорошо и можно жить по любви, кроме того знаем это по Евангелию, а Евангелие мы считаем священной книгой,– отчего же мы, христиане, живем не по любви, а во вражде и ненависти?

Отчего это?

А оттого, что и в Евангелии и в душах наших дана нам одна единственная вера, вера в любовь, и одна единственная заповедь, заповедь любви, мы же, кроме веры в любовь, верим еще во многое другое и, кроме заповеди любви, считаем божескими заповедями еще много других заповедей, и потому в жизни своей следуем больше этим другим заповедям, а не той заповеди любви, которая дана нам в нашем сердце и в христианском учении.

II

С того часа, как первые члены соборов сказали: «Изво- лися нам и Святому Духу», т. е. вознесли внешний авторитет выше внутреннего, признали результат жалких человеческих рассуждений на соборах важнее и святее того единого истинно святого, что есть в человеке: его разума и совести, с того часа началась та ложь, убаюкивающая души людей, которая погубила миллионы человеческих существ и продолжает до сей поры свое ужасное дело.

Большинству людей мы оказываем слишком много чести, когда говорим про них, что они исповедуют ту или иную религию. Ибо они не знают и не ищут никакой религии, уставная церковная вера — вот все, что они подразумевают под этим словом. И так называемые религиозные войны, которые так часто потрясали мир и заливали его кровью, никогда не были ничем иным, как только препирательствами из-за церковной веры, и угнетенный жаловался, в сущности, не на то, что ему препятствовали принадлежать к его религии, ибо этого не может сделать никакая внешняя сила, а на то, что ему не позволяли следовать публично его церковной вере.

Кант.

Хозяин показал рабочим работу и велел делать одну ее и обещал им за это добрую жизнь. Нашлись же между рабочими такие люди, что вздумали устроить себе добрую жизнь не одной работой, а тем, чтобы угодить хозяину и другими делами. И придумали эти люди много разных дел для угождения хозяину и стали делать эти дела, а показанное хозяином дело делали только когда вздумается, а то и вовсе не делали. Мало того, случилось еще и то, что нашлись и такие рабочие, которые, рассудив то, что хозяину не могут быть нужны все те пустые дела, которыми их учили угождать хозяину, усумнились в том, чтобы хозяину могло быть что- нибудь от рабочих, и перестали делать ту работу, которую велел хозяин. Нашлись и такие, что прямо решили, что нет никакого хо

зяина, и что можно жить и работать только для себя. И стала жизнь таких рабочих дурная, плохая.

Вот это самое случилось и с людьми, установившими, кроме веры в любовь, разные веры, которые они назвали божескими: веру в Троицу, в божественность Христа, в искупление им грехов людей, в Божью матерь, в святых, чудотворцев и во многое другое, и разные заповеди, которые.они тоже назвали божескими: заповеди о крещении, исповеди, причащении, браке, посещении церкви, соблюдении постов и многие другие, которыми они думают устроить себе добрую жизнь и угодить Богу. И случилось с людьми, установившими и признавшими эти веры и заповеди, то, что большинство таких людей только говорит, что верит во все эти многие веры и заповеди, в душе же не верит в них и наравне с ними не верит и в затерянную между ними заповедь любви, а из заповедей исполняют только те, какие полегче и за которые люди одобряют. Заповедь же любви признают только на словах, на деле же и на каждом шагу делают дела, прямо противные ей: вместо того чтобы по любви делиться друг с другом, одни, богатые, живут в роскоши среди голодных, измученных трудом бедных, бедные же ненавидят богатых и стараются делать им худое. Вместо того чтобы любить и прощать братьев, люди мучают друг дружку, разоряют, ссылают, запирают, казнят, убивают сотнями и тысячами друг друга на войнах. Но мало того. Случилось то, что многие хорошие и умные люди, воспитавшись на том, что Богу можно угодить передаваемыми людьми друг от друга разными верами и заповедями, входя в разум, видят, что все это одни человеческие выдумки, перестают верить во все церковные веры и заповеди, а вместе с ними и в заповедь любви. Находятся еще и такие люди, и с каждым годом все больше и больше находится таких, которые не верят не только ни в какие Божеские заповеди, но не верят и в самого Бога. Так что в наше время все больше и больше становится людей, которые ни во что не верят и не думают о том, и не знают, зачем они явились на свет Божий и что им в нем делать. А живут, пока не умрут, и делают то, что хочется и взбредет в голову. От этого-то и плоха так жизнь людей нашего мира и с каждым годом, месяцем и днем становится все хуже и хуже.

А плохая жизнь оттого, что живут люди противно той одной заповеди, какая записана не в одном Евангелии, а и во всех учениях всех мудрецов мира: и у индусов, и у китайцев, и у египтян, и у магометан, и др., но и в душах всех людей мира. Живут же люди противно той вере и заповеди, какая записана во всех учениях и в душах всех людей, оттого, что вместо того, чтобы признавать эту одну заповедь и следовать ей одной, люди нарав

не с ней установили много других вер и заповедей и следуют больше этим другим заповедям, чем единой, всемирной заповеди любви.

III

Мудрец сказал; мое учение просто, и смысл его легко постигнуть. Оно все состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя.

Китайская мудрость.

Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его; какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему; первая из всех заповедей; слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей; вот первая заповедь. Вторая подобна ей; возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет.

Мрк. XII, 28-31.

«Но если и согласиться с тем, что есть только одна истинная вера, вера в любовь, и только одна нужная заповедь, заповедь любви, то в чем же будет состоять вера и какое же будет богослужение, какие молитвы, как общаться с Богом?» – спросят люди. «Когда веришь в обыкновенную установленную веру, то знаешь, кто твой Бог и от кого все сотворилось и кому молиться и от кого ожидать милости. А если верить только в любовь, то нет настоящего Бога и нет никакого богопочитания. А без понятного Бога и богопочитания никогда не жили, да и нельзя жить людям».

Так скажут люди, когда им вместо понятного Бога, которому можно молиться и служить, дадут только какую-то непонятную веру в любовь. Так и скажут, да и говорят люди.

И в том, что люди никогда не жили и не могут жить без ясного, понятного большинству предмета веры и без вытекающего из веры ясного и доступного большинству богопочитания, они совершенно правы. Неправы они только в том, что любовь представляется им недостаточно ясным и понятным большинству предметом веры, и деятельность, вытекающая из этой веры, недостаточно ясным и доступным большинству богопочитанием. Думают они так потому только, что так привыкли представлять себе главным предметом веры воображаемое человекообразное, вечное, всемогущее существо. Творца промыслителя, различными сверхъестественными способами открывавшего свою волю людям, и так привыкли к точно определенному по форме, времени и месту богопочитанию, требующему в известное время определенных внешних поступков, что. единая вера в неимеющую никакого внешнего образа любовь и вытакающее из этой веры

богопочитание, тоже не определенное ни формой, ни временем, ни местом, кажется им чем-то неясным, недоступным большинству и даже сомнительным.

А между тем единая вера в любовь и вытекающая из нее деятельность богопочитания не только не менее определенны, ясны и доступны для большинства простых людей, чем установленные людьми веры с многими предметами веры и заповедями, но имеют еще и то великое преимущество перед другими верами, что тогда как все разные противные друг другу и осуждающие друг друга веры и богопочитания, доводящие людей до ненависти, убийств, войн, разделяют людей, только одна вера в любовь и вытекающее из нее богопочитание делают то самое, что обещают: соединяют всех людей в одной вере и одном богопочитании.

IV

Пока человек живет, он верит. Чем ближе его вера к истине, тем счастливее его жизнь; чем дальше от истины, тем человек несчастнее.

Верить можно только в то, что несомненно есть, но чего мы не можем обнять разумом.

Лучшее богопочитание — то, которое делается без надежды на достижение какой-либо цели; худшее — такое, которое имеет в виду определенную цель. Тот, кто обожает высшее существо, должен созерцать его во всяком творении и всякую тварь в нем.

Агни Пурана.

Самое губительное неверие не в том, что человек не верит, а в том, что человек исповедует то, во что он не верит.

Мартино.

Но мало того, что вера в любовь яснее, определеннее, понятнее всех других установленных людьми вер, мало того, что только одна эта вера соединяет людей, тогда как все другие разъединяют их, вера эта имеет перед всеми другими верами еще и то преимущество, что она вместе с тем и самая несомненная.

Как бы ни был убежден человек в истинности своей веры, трудно ему не усумниться в ней, когда он узнает про то, как другие люди точно так же уверены в истинности своих вер и признают его веру ложною. Только для человека, признающего один общий всем людям предмет веры любовь, не может быть никакого сомнения в истинности своей веры.

Всякая религиозная вера ведь есть всегда только признание существования такого начала, которого человек не может понять умом, но без которого человек не может понимать ни. своей жизни, ни жизни мира и в существовании которого он поэтому должен ***ве***

рить. Существование такого начала признается всеми верами. Это Брама, это Иегова, это Троица, это Аллах, это Тао Даосистов, это Танга буддистов, это вещество матерьялистов. Такое начало жизни признается и верой в единую заповедь любви, но с тою только разницею, что тогда как во всех верах, еврейской, браминской, церковнохристианской, магометанской и других начало это называется Богом, более или менее определяется и представляется существом личным, всемогущим, вечным, воля и поступки которого известны людям по чудесным деланным самим этим существом о себе откровениям, при вере в любовь начало это, также называемое Богом, Богом любовью («Бог есть любовь»), признается доступным всем людям не по человеческим преданиям, а по одинаковому для всех людей непосредственному, непрестанному откровению Его любовью в душе каждого человека.

Поэтому-то и вера эта не может быть не только яснее и определеннее всякой, какой бы то ни было другой веры и другого богопочитания, основанных на человеческом, различном по разным народам преданию, не может не быть и благодетельнее для человечества, соединяя людей вместо того разъединения, которое производят другие веры, не может и не представляться наиболее несомненной, так как утверждается не на человеческих преданиях, а на непосредственном всегдашнем одинаковом для всех людей сознании Бога.

V

Бог непостижим для человеческого ума. Мы знаем только то, что Он есть.

Верь в Бога, служи Ему, но не старайся узнать Его; ты ничего не получишь за свои труды, кроме путаницы в мыслях. Не заботься даже о том, чтобы узнать, есть Он или нет Его; служи Ему, как будто Он есть всегда и во всем.

Филимон.

Мы познаем существование Бога не столько разумом, сколько сознанием той полной зависимости от Него, в которой мы себя чувствуем, вроде того чувства, которое испытывает грудной ребенок на руках матери. Ребенок не знает, кто держит, кто греет, кто кормит его, но знает, что есть этот кто-то, и мало того, что знает, любит того, во власти кого он находится. То же и с человеком.

Не смущайся тем, что понятие Бога неясно тебе. Чем проще и яснее оно, тем оно дальше от истины и .тем ненадежнее, как опора.

Когда я говорю тебе о Боге, то ты не думай, что я говорю тебе о каком-нибудь предмете, сделанном из золота или серебра. Тот Бог, о котором я тебе говорю, ты Его чувствуешь в своей душе, ты носишь Его в самом себе и своими нечистыми помыслами и отвратительными поступками оскверняешь Его образ в своей душе. Перед идолом золотым, ко-

Того ты почитаешь за Бога, ты остерегаешься делать что-либо непристойное, а перед лицом Того Бога, который в тебе самом и который все видит и слышит, ты даже не краснеешь, когда предаешься своим гнусным мыслям и поступкам.

Если б мы только постоянно помнили, что Бог в нас — свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог неотлучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и беседовать о Нем как можно чаще.

Эпиктет.

Вера в заповедь любви и вытекающее из нее богопочитание и яснее, и определеннее, и благодельнее, и несомненнее всяких других вер, только надо ясно понимать в чем вера и в чем богопочитание.

Вера в заповедь любви в том, что Бога мы можем познавать только в себе. И познаем мы Его только той стороной, которой Он открывается нам. Открывается же Он нам любовью. Так что хотя и знаем мы Его далеко неполно, только одной стороной Его, той, которой Он открывается нам, мы несомненно знаем об Его существовании, и о том свойстве Его, которое мы сознаем в себе, и о том, чего Он хочет от нас.

Вера эта много раз была выражаема во всех религиозных учениях мира, начиная с самых древних египетских, индусских, так называемых языческих даже, и в особенности с особенной определенностью выражена в учении Христа.

Так выражена она в Евангелии Марка XII, 28–31 и с особенной ясностью в Евангелии и Посланиях Иоанна.

«Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну да иметь жизнь в Самом Себе» (Еванг. Иоанна, V, 26).

«Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги» (Псал. 81, 6)? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание,– Тому ли. Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я сказал: «Я Сын Божий?» Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». (X, 34–38.)

«Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам». (XIV, 10–11.)

«Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,– да уверует мир, что Ты послал Меня». (XVII, 21.)

«Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем». (I Поел. Иоанна, IV, 12, 13, 16.)

Вера в любовь – это признание того, что основное начало жизни нашей есть непостижимое для нас существо, проявляющееся в нас любовью.

VI

Дурно то, что люди не знают Бога, но хуже всего то, что люди признают Богом то, что не есть Бог.

Лактанций.

Есть две веры: вера доверия к тому, что говорят люди,— эта вера в человека или в людей, и таких вер много различных,— и вера в свою зависимость от Того, Кто послал меня в мир. Это вера в Бога, и такая вера одна для всех людей.

Религия человека состоит не из тех многих вещей, в которых он сомневается и которым старается верить, но из тех малых, в которых он уверен и вера в которые не требует от него никакого труда.

Карлейль.

Вера в единую заповедь в том, что Бог живет в нас и проявляется в нас любовью.

Богопочитание же веры в единую заповедь, как и во всех верах, в том, чтобы делать то, что велит вера, и не делать того, что она запрещает. Но разница в том, что тогда как богопочитания всех вер, а также и церковной, требуют для угождения Богу исполнения очень многих дел и воздержания от еще больших, богопочитание единой веры требует исполнения только одного дела, а также и воздержания только от одного дела.

Церковная вера для угождения Богу требует совершения таинств: крещения, миропомазания, исповеди, причастия, брака, требует признания непогрешимости известных писаний и лиц, требует посещения храмов, произнесения известных молитв в известное время и исполнения еще многих других положительных заповедей. Отрицательных же церковных заповедей еще гораздо больше. Наравне с требованиями воздержания от убийства, воровства, блуда, требуется воздержание от поклонения другим богам, от употребления запрещенной пищи в известное время, требуется же более всего воздержание от оскорбления предметов, почитаемых священными. Предметов же таких огромное количество.

Богопочитание же единой заповеди требует от каждого человека только одного, любви: любви к Богу в себе и к тому, который живет во всех других людях. Любить Бога в себе значит стремиться к высшему совершенству любви, и любить Бога в других людях значит признавать в каждом человеке того же Бога, который живет во мне, и потому делать каждому человеку не то, чего сам хочешь, а чего хочет Бог, живущий во всех людях. В этом вся заповедь того, что должен делать человек по вере в единую заповедь. Также только в одном запрещении того, чего не должен делать человек по этой вере. Запрещение все в одном: в том, чтобы не нарушать благоговения к Богу, живущему во мне и в каждом человеке. Не нарушать благоговения к Богу в себе значит то, чтобы помнить о присутствии в себе Бога, исправлять, уничтожать в себе все то, что несовместимо с Его присутствием в душе человека; не нарушать же благоговения к Богу, живущему в других людях, значит то, чтобы не только не вредить ближнему, не оскорблять, не унижать никакого человека, какой бы он ни был, уважать, почитать его, как самый священный предмет, который только есть на свете.

В сущности же, как положительные, так и отрицательные заповеди веры в любовь сходятся в одном: в признании того, что Бог живет в человеке, и что поэтому нужно почитать и не оскорблять Его ни в себе, ни в каком бы то ни было человеке.

Богопочитание это много раз было выражаемо во всех религиозно-нравственных учениях человечества в положительном смысле в том, чтобы любить Бога в себе и в людях, и в отрицательном в том, чтобы не оскорблять Его в себе и в людях.

VII

Основа всякой государственной религии есть насилие, основа христианства — любовь. Государство — это принуждение, христианство — убеждение. Меч и посох пастуха противоположны и не могут быть союзниками.

Кунингам Гейкей.

Нельзя ни взвесить, ни измерить того вреда, который производила и производит ложная вера. Вера есть установление отношения человека к Богу и миру и вытекающее из этого отношения определение своего назначения. Какова же должна быть жизнь человека, если это отношение и вытекающее из него определение назначения ложны.

Недостаточно откинуть ложную веру, т. е. ложное отношение к миру. Нужно еще установить истинное.

Несчастье и зло людей происходят не столько оттого, что люди не знают своих обязанностей, сколько оттого, что они признают своими обязанностями не то, что есть их обязанность.

Любовь к людям дает истинное внутреннее неотъемлемое благо, потому что любовь соединяет человека и с другими и с Богом.

Несмышленому мальчику натолковали, что он не сын своей честной, доброй, любящей, выкормившей его и теперь кормящей и одевающей его матери, а сын какой-то удивительно прекрасной, могущественной, совершающей всякого рода чудеса волшебницы, могушей дать ему всякие великие блага, если он будет почитать и преклоняться перед ней. И мальчик поверил и отшатнулся от матери, не слушается ее, не пользуется тем добром, которое она дает ему, а ждет великих необыкновенных благ от воображаемой волшебницы. Он не только верит рассказам про все те необыкновенные чудеса, которые будто бы делает волшебница, но даже сам выдумывает такие чудеса и верит в них, хотя никогда не видал никаких чудес. И что дальше, то все больше и больше он верит в волшебницу, потому что раз уж он отшатнулся от матери, вся надежда его на волшебницу. И он все молится и просит о чудесах, хотя никогда не видал их. Но проходит время, чудес нет, и он начинает сомневаться в волшебнице. Но раз уж он отшатнулся от своей матери, забыл ее, он все-таки не возвращается к любви ее, а напротив, вместо того, чтобы угождать своей матери, делает ей противное.

То же самое с огромным большинством людей, с людьми, верующими в чудеса какого-то личного Бога Творца, которого никто никогда не видал («Бога не видал никто никогда». Евангелие Иоанна I, 18). Так же и эти люди ждут от этого воображаемого Бога великих, богатых милостей, молятся Ему, придумывают за Него речи, приказания и, главное, чудеса самые странные, удивительные и ни на что не нужные. И так же, как тот несмышленый мальчик, люди эти не знают, не хотят знать свою простую, доступную им, всегда живущую с ними мать, не переставая любящую их и могущую дать им не воображаемое, но истинное благо, только бы они признали ее. Мать эта тот Бог ***любовь,*** который дал и дает нам жизнь и один может дать нам благо, истинное, ничем ненарушимое благо. И для того, чтобы верить в эту мать,– в этого единственно доступного человеку Бога-любовь, не нужно никаких чудес, и для того, чтобы получить от Него благо, не нужно никаких прошений и молитв, нужно только одно: как тому мальчику не верить в пустяки, в обманы, а верить в свою мать, так и людям нужно только верить в то, что действительно есть и что одно может дать нам благо, в то, во что нельзя не верить, в Бога-любовь, живущего в душе каждого человека. А верь человек в этого Бога-любовь, и то благо, к которому свойственно стремиться всякому человеку, откроется ему и никакими средствами не может быть отнято от него. Не может быть отнято от него потому, что и получается-то это

благо никак не через чью-то внешнюю силу, а только через свою собственную деятельность. Только отдайся человек Богу-любви, и он наверно получит то благо, которое свойственно душе его.

VIII

Ничто не препятствует так сильно распространению истины, как упорство в удержании древнего, освященного временем предания.

Неуважение к преданию не сделало V юоо того зла, которое производит это уважение к обычаям, законам, учреждениям, не имеющим в наще время никакого разумного оправдания.

Нет ничего более недостойного разумного существа, как то, чтобы плакаться на то, что то, что нащи отцы считали истиной, оказалось ложью. Не лучще ли искать новых основ единения, которые заменят прежние.

Мартино.

Есть люди, которые берут на себя право решать за других их отношение к Богу и к миру, и есть люди, огромное большинство людей, которые отдают это право другим и слепо верят тому, что говорят им.

Часто удивляешься на то, как это люди верят в такие странные, глупые, нелепые предания Адама, Эвы, Каина, Авеля и еще более глупые и не нужные чудеса: насышение хлебами, вознесение, воскресение, исцеления, совершаемые иконами, искупление грехов верою в таинства, и такие же нелепые предания индусские, буддийские и др. Удивительнее всего то, что верят во все это часто люди вполне разумные, делают величайшие усилия ума для того, чтобы оправдать, объяснить все эти явно ненужные и невозможные предположения.

Отчего это? А оттого, что люди потеряли веру – (потеряли потому, что им были внушены ложные веры) – естественную, понятную, необходимую, даже не веру, а сознание своей духовной связи с Богом любви. А потеряв это сознание, им нужно было то, что могло бы заменить его. И вот для того, чтобы заменить это утерянное сознание связи с бесконечным, они были неизбежно приведены к выдумыванию Бога такого, существованием которого они могли бы объяснить свою связь с миром. Для того же, чтобы заставить себя и людей верить такому странному Богу, несогласному с главным понятием о Боге, как о чем-то внепространственном, вневременном, неопределимом умом и словом, для того, чтобы верить в такого вечного Бога, надо было представлять Его особенным, превыше всех людей, делающим дела, недоступные людям – чудеса. И чем больше было чудес, тем, казалось, крепче должна была быть вера. И мало того, что при отсут

ствии того несомненного сознания связи с началом всего, которое дает вера в любовь, нужны были чудеса, творимые этим Богом; для укрепления веры в этого Бога, творящего чудеса, нужны были угрозы, наказания от Бога за неверие в чудеса.

Для того чтобы верить в такого Бога, нужно было верить в творимые Им чудеса; для того чтобы верить в творимые Им чудеса, надо было верить в Бога, повелевающего верить в чудеса. Ложный круг этот не мог долго держаться. Все больше и больше разрушалась вера и в личного Бога и в чудеса, творимые Им. А по мере разрушения веры в личного Бога и в чудеса Его, все больше и больше выяснялся тот единственный свойственный людям предмет веры: любовь, которая звала и зовет к себе людей так же, как любящая мать не переставая призывает к себе отшатнувшегося от нее ребенка.

IX

> *Различие религий* — какое странное выражение! Конечно, могут быть различные *веры* в исторические события, употреблявшиеся не в религии, а в истории, для укрепления религии, и относящиеся к области учености средства и точно так же могут быть различные религиозные книги (Зендавеста, Веды, Коран и т. д.). Но может быть только одна действительная для всех времен *религия.* Все же различные веры не могут содержать в себе ничего иного, как только вспомогательное средство для религии, которое является случайно и может быть различным, смотря по различию времени и места.
>
> *Кант.*
>
> Религия не потому истинна, что ее проповедовали апостолы, а апостолы проповедовали ее потому, что она — истина.
>
> *Лессинг.*
>
> Нельзя не верить такому духовному учению, приложение которого осуществляет самое простое практическое благо всех. Нет большей поверки истинности учения. И таково христианское учение.

И СТОИТ ТОЛЬКО человеку, познавшему заповедь любви, отрешиться хоть на время от той с детства воспитанной слепой веры в личного Бога Творца мира, мздовоздаятеля и установителя различных по месту и времени заповедей, для того чтобы вера в единого для всего мира Бога любви и единую не данную, а непрестанно даваемую Им одну и ту же всем людям заповедь любви представилась бы одной возможной, естественной, необходимой и несомненной.

Только ясно пойми человек, кто он такой, пойми ясно, что ему искать Бога и Его закон можно и должно только в себе, и с каким недоумением и удивлением будет вспоминать такой человек о всех тех

странных предметах и сказаниях, в которые он говорил, что верил, и, как ему казалось, как будто бы и в самом деле верил. Такой человек кроме удивления тому, что он мог верить таким странным, противным требованиям разума и чувства предмета веры, испытает еще особенно радостное чувство успокоения и твердости, вроде того, которое испытывает человек, с трудом и напряжением ходивший на нетвердых, выскальзывающих из-под ног и из рук ходулях, когда он сойдет с них и станет на твердую землю и пойдет по ней своими ногами.

В сущности оно и не может быть иначе.

В Бога Творца, карателя, наградителя и установителя многих разнообразных и различных по исповеданиям заповедей, совершающего в разных местах разнообразные и удивительные чудеса, верят люди, несмотря на явные возражения разума, на еще более сильные возражения чувства, не могущего примириться с понятием Бога, делающего дела, противные любви только потому, что верят освященному древностью преданию, верят только людям, а не Богу, и потому не знают Его. В Бога же не Творца, не карателя, а всегда благотворящего людям, не учредителя многих, различных по народам заповедей, а установившего не на словах, а на деле единую для всех времен и народов заповедь любви и не совершающего для убеждения людей в своем существовании разные странные чудеса, а непрестанно совершающего одно только удивительнейшее и благодетельнейшее чудо проявления Себя в душе каждого человека, в такого Бога нельзя не верить.

X

Истинное благо всегда в наших руках. Оно как тень следует за доброй жизнью.

Настоящих благ немного. То только истинное благо и добро, что благо и добро для всех. Поэтому, чтобы не уклоняться от избранной цели, надо, чтобы эта цель была добро, согласное с общим благом. Кто направит свою деятельность на такую цель, приобретет себе благо.

Марк Аврелий.

Сын Кеза из Таломо пришел к Будде и стал жаловаться.

— Учитель, сказал он, всякий священник и монах хвалит свою веру, говорит, что она одна истинная, и проклинает чужую веру, называет ее ложною. Сомнения мучают меня, и я не знаю, чьих слов надо слушаться.

Будда отвечал;

— Твои сомнения основательны, сын Кеза. Выслушай мое наставление. Ничему не верь по слухам, не верь преданиям, потому что они прошли через много поколений, прежде чем дошли до нас. Ничему не верь на основании слухов или потому, что люди много говорят об этом. Не верь толь

ко потому, что тебе покажут свидетельства какого-нибудь древнего мудреца. Не верь ничему потому, что тебе выгодно, или потому, что давнишняя привычка вовлекает тебя в признание этого правдой. Не верь ничему на основании только авторитета твоих учителей или духовенства.

— Только то, что сходится с твоим опытом и по твоему собственному исследованию согласно с разумом и ведет к благу и счастью твоему и всех живых существ, только это принимай за правду и живи в нем.

Anquttara Nikayo.

Да, только верь люди так же, как они верят теперь в многие считающиеся божескими заповеди: в Троицу, Христа Бога искупителя, Богородицу, в Кришну, Моисея, Будду, в книги, считающиеся священными и потому содержащие будто бы непререкаемые истины, в чудеса, которых никто не видал, и в таинства и молитвы, действия которых никто не знает и не может знать, только верь люди хоть приблизительно так же в ту одну заповедь, которая дана Богом всем людям и записана в сердце каждого человека, и в то одно всег- дащнее, неперестающее чудо присутствия Бога в душе человека и исполняй только люди богопочитание, вытекающее из этой веры, исполняй хоть приблизительно так же, как они исполняют теперь богопочитание церковное – таинств, обрядов, молитв, отдельных и общественных, и как скоро забыли бы люди про все те ужасы, которые они совершают теперь друг над другом, и как сама собой, без внешних потрясений, сложилась бы для людей и в особенности людей христианского мира та свойственная людям нашего времени и справедливая жизнь, которой хотят теперь достигнуть люди своими самыми противными любви делами насилия и жестокости.

– Но разве это возможно?

Спросите лучше: возможно ли, чтобы этого не было? Возможно ли, чтобы было то, что теперь? Возможно ли, чтобы люди, большинство людей, признавая высшим божеским законом веру в Бога любви, сознавая в своем сердце неперестающее проявление этого Бога, продолжали бы исповедовать самое странное собрание ни на что ненужных мнимых откровений Бога и вместо единственного, вытекающего из веры в Бога любви богопочитания, состоящего в деятельной любви к Богу и ближнему, продолжали бы очевидно тщетные попытки улучшить свое положение тем самым, что одно сделало его таким, каким оно есть?

И как мало нужно для того, чтобы совершилось все то, от отсутствия чего так мучительно страдают люди.

Нужно только одно: вера, но настоящая вера, не в людей, а в Бога. Нужно, только перестать верить людям, а верить Богу, не откровениям Бога, написанным в книгах, а тому Богу, который живет

в нашей душе и не переставая говорит нам о том, кто Он, кто мы и как нам надо жить по Его воле.

Только верь люди в необходимость исполнения единой заповеди любви так же, как они верят теперь в необходимость исполнения таких или иных таинств и молитв, только верь они так же, как верят теперь в святость своих писаний, храмов, изображений чаш, в то, что есть в мире только одна несомненная святыня – человек, и что единственный предмет, который не может и не должен быть осквернен и оскорбляем человеком – это человек, носитель божеского начала, и невозможны бы были не только казни и войны, но и какие бы то ни было насилия человека над человеком.

Будь только воспитаны люди с детства в признании единственной святыней Бога в человеке и единственным богопочитанием любви и уважения к Нему, ни один человек не решился бы осквернить Бога в себе и в брате, разделяясь с ним враждой и совершая над ним насилия.

Скажите буддисту, магометанину, церковному христианину, чтоб он осквернил те безжизненные предметы богопочитания, которые он считает священными, и он охотнее перенесет всякие лишения, скорее даст убить себя, чем решится осквернить то, что считает святыней.

То же было бы для христианина, воспитанного по-христиански и по отношению его ко всякому человеку. Такой человек ни ради каких бы то ни было выгод, ни вследствие каких бы то ни было угроз наказаний, даже смерти, не совершит дела, противные единой заповеди любви: не осквернит, не оскорбит Бога в самом себе и в ближнем, а тем более не посягнет на то, что считается людьми, верующими в заповедь любви, высшей и единственной святыней – на жизнь другого человека. И потому не мог бы быть ни один человек, верующий в единую заповедь, ни палачом, ни царем, ни солдатом, ни судьей, ни тюремщиком, ни землевладельцем, ни сборщиком податей, ни капиталистом, ни каким бы то ни было прямым или даже косвенным участником в делах, противных любви, оскверняющих, оскорбляющих, разрушающих, уничтожающих жизнь людей. А не соглашались бы люди, все большее и большее количество людей, совершать такие дела и участвовать в них, и само собой установилось бы не скажу Царство Божие (Царство Божие, полное исполнения того, к чему не могут не стремиться люди, никогда не установится, пока будет жизнь в людях), но несомненно установилась бы такая жизнь, при которой стьщ- но бы было как властвовать, так и добровольно подчиняться власти человека над человеком. Стыдно бы было быть богатым, стыдно бы было владеть земельной собственностью, стыдно бы было не говорю уже воевать, но считать врагами людей других народов. А было бы

среди людей ясное сознание того, чего они не должны делать, и не могла бы уже продолжаться та зверская, противная и разуму и чувству жизнь, которой мы живем теперь, и неизбежно и непрестанно приближались бы мы к той одной разумной и благой жизни, которая одна свойственна людям нашего времени.

ПРИБАВЛЕНИЕ

Идеал — это путеводная звезда. Без него нет твердого направления, а нет направления — нет движения, нет жизни.

Идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему бесконечна.

«Но если и допустить, что заповедь любви есть единая заповедь Бога, то исполнение этой заповеди такое, какого требует евангельское учение, невозможно для человека», говорят люди, исповедующие многие установленные церковью веры и заповеди. «Для полного исполнение заповеди любви по требованию евангельского учения надо возненавидеть семейных, бросить их, надо не противиться злу насилием, сделаться нищим, отречься от себя и своей жизни, а этого не может сделать ни один человек. И потому мы, не отрицая заповеди любви и необходимость исполнения ее в известных пределах, стараемся угодить Богу исполнением и других Его заповедей, тем самым облегчая себе возможность исполнения заповеди любви и вместе с тем получая надежду своего прощения за неполное исполнение закона Бога в этой жизни».

Так говорят люди, исповедующие церковные веры. Но рассуждение это, основанное на утверждении того, что полное исполнение заповеди любви невозможно, так как требует отречения от своей жизни, и что поэтому необходимо признание других, исполнимых для угождения Богу заповедей, рассуждение это не только совершенно неправильно, но и умышленно обманчиво.

Христианское учение не требует и не может требовать от человека невозможного полного отречения от своей телесной жизни; оно только показывает людям тот высший идеал, к которому им свойственно стремиться, исполнение же заповеди полагает не в невозможном для человека в этой жизни полном исполнении всех требований любви, а во все большем и большем приближении к этому идеалу, посредством все большего и большего увеличения в себе любви и все большего и большего самоотречения. Так что признание недостижимого идеала заповедью есть только уловка, имеющая целью показать то, что так как исполнение заповеди любви в

ее полном совершенстве недоступно человеку в этой жизни, то заповедь любви и не может быть единой заповедью, а должны быть другие заповеди, исполнением которых человек может угодить Богу.

Признание невозможности исполнения заповеди любви, потому что она указывает на недостижимый идеал, и вследствие этого допущение возможности отступлений от требований любви и замещение исполнения заповеди любви другими заповедями, подобно тому, что сделал бы путешественник, вооруженный компасом, если бы он, решив, что движение его по прямому направлению, указываемому компасом, невозможно вследствие гор и рек, находящихся на пути, перестал бы держаться указываемого ему компасом прямого кратчайшего направления, а стал бы руководствоваться в своем путешествии другими, независимыми от указаний компаса соображениями.

Таково же и рассуждение о том, что так как человек не может достигнуть полного исполнения заповеди любви, включающего в себя полное самоотречение, то ему нужно признавать другие божеские заповеди, исполнение которых отчасти замещает исполнение заповеди любви.

Неправда это. Обман это, обман, губящий жизнь людей тем, что отводит их от истинной жизни. Исполнение заповеди любви, заключающееся во все большем и большем приучении себя к жизни любовной в делах, словах, мыслях, не только возможно, но только одна такая жизнь дает человеку всегда полную свободу и неперестающее благо.

15 июля 1909 г.
Ясная Поляна.

СОДЕРЖАНИЕ

О. Дорофеев. Ковчег завета. Два поприща на пути к Толстому 5
Исповедь. (Вступление к ненапечатанному сочинению) 121
В чем моя вера? 173
Царство Божие внутри вас 314
Первая ступень 572
Неделание 598
Религия и нравственность 623
Патриотизм или мир? 644
По поводу Конгресса о мире. Письмо к шведам 652
Что такое религия и в чем сущность ее? 658
«Одумайтесь!» 694
Конец века 738
Почему христианские народы вообще, и в особенности русский, находятся теперь в бедственном положении 779
Не убий никого 792
Закон насилия и закон любви 807
Письмо к индусу 871
Смертная казнь и христианство 884
[Письмо студенту о праве] 894
Неизбежный переворот 901
Единая заповедь 926

Литературно-художественное издание

Толстой Лев Николаевич

ЗАКОН НАСИЛИЯ И ЗАКОН ЛЮБВИ

О ПУТИ, ОБ ИСТИНЕ, О ЖИЗНИ

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Редактор *О. А. Дорофеев*
Художественное оформление: Я. *Ю. Дмитриева*
Компьютерная верстка: *Е. В. Фролова*
Технические редакторы *А. Н. Филиппов, Е. А. Крылова*
Корректоры *Г. Н. Курносенкова, Н. В. Железнова, Л. Н. Мельникова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.12.03.
Формат 60x90/16. Печ. л. 59,0. Тираж 3000 экз.
Заказ № 4407011.

Отпечатано на ФГУИПП «Нижполиграф».
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ИД «РИПОЛ КЛАССИК»
107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1
Изд. лиц. № 04620 от 24.04.2001 г.

; ■ л.-/ ;

b 4 - 2 ? 1 8 o

Ш-'
.'■ ' '
“Н
' i '

ISBN 5-7905-2283-1
9 785790 522833 >

РИПОЛ
КЛАССИК

2010087565